



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

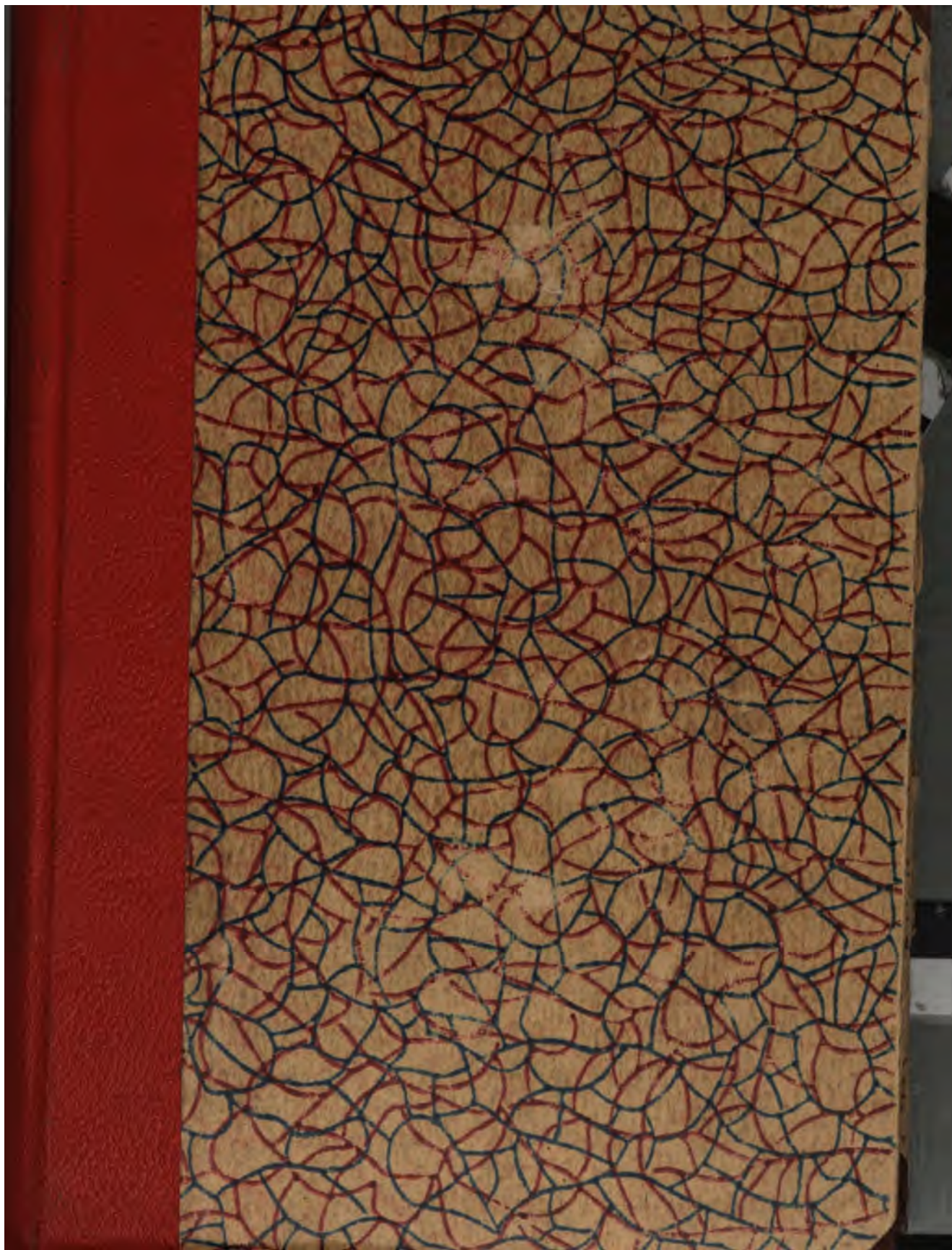
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>









1




Edw. Jones

2000

2001

2002

Утин, Е.И. 

Е. И. УТИНЪ

ИЗЪ
ЛИТЕРАТУРЫ И ЖИЗНИ

ЖУРНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ, ЭТЮДЫ, ЗАМѢТКИ.

Съ портретомъ автора.

ТОМЪ I.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.

1896.

12

PH 517

U8



2370

Еще при жизни Е. И. Утинъ имѣлъ въ виду издать особо нѣкоторые изъ своихъ трудовъ, появлявшихся въ періодической печати въ теченіе двадцати-пяти лѣтъ (1866—1892), и остановился преимущественно на описаніи поѣздки во Францію, непосредственно по окончаніи франко-прусской войны (1871 г.), и въ Болгарію (1877 г.), а также на изслѣдованіи эпохи перваго германскаго императора и его канцлера (1888 г.); въ свѣтъ появились только послѣднія двѣ книги: о Болгаріи и объ эпохѣ Вильгельма I¹⁾. Но, какъ справедливо замѣтилъ А. Θ. Кони въ своихъ „Юридическихъ поминкахъ“²⁾,—Е. И. Утинъ, „отзывчивый къ вопросамъ искусства, исторіи и политики, оставилъ послѣ себя цѣлый рядъ интересныхъ изслѣдованій, написанныхъ талантливою рукою“, и настоящее собраніе можетъ такимъ образомъ послужить дополненіемъ къ тому, что успѣлъ издать авторъ еще при жизни³⁾. Въ своихъ трудахъ онъ всегда касался такихъ предметовъ изъ литературы и жизни, которые интересовали да и теперь не перестаютъ интересоваться общество, и при этомъ „отличался прежде всего, — какъ выразился

¹⁾ „Письма изъ Болгаріи въ 1877 г.“ Спб. 1879. Стр. 471.—„Вильгельмъ I и Бисмаркъ. Историческіе очерки“. Спб. 1892. Стр. 446.

²⁾ „Юридическія поминки“, А. Θ. Кони. Спб. 1895. Стр. 6 и 7.

³⁾ Настоящее собраніе далеко не можетъ быть названо полнымъ, такъ какъ въ него вошли только статьи, избранныя друзьями покойнаго изъ всего написаннаго имъ за 25 лѣтъ.

К. К. Арсеньевъ, — тщательнымъ изученіемъ каждаго избраннаго имъ предмета... Чутый въ красотѣ формъ, онъ заботился объ изяществѣ рѣчи, письменной и устной, и часто достигалъ того, не впадая въ изысканность и вычурность. Онъ остался вѣренъ идеаламъ своей молодости и до конца былъ человѣкомъ „шестидесятыхъ годовъ“, приверженцемъ движенія и свободы“ ¹⁾).

Е. И. Утинъ родился въ С.-Петербургѣ, 3 ноября 1843 г.; скончался на югѣ Россіи, 9 августа 1894 года. Окончивъ курсъ по юридическому факультету въ спб. университетѣ, въ началѣ 60-хъ годовъ, онъ провелъ нѣсколько лѣтъ за границей, преимущественно во Франціи и Италіи, а по возвращеніи въ Петербургъ, посвятилъ свою дѣятельность, главнымъ образомъ, адвокатурѣ; начиная съ 1870 г., до конца жизни онъ оставался въ званіи присяжнаго повѣреннаго. Его рѣчи могли бы составить не менѣе обширный сборникъ, какъ и литературные труды, но онѣ не были приготовлены къ печати самимъ покойнымъ, а найденныя послѣ него черновыя, очевидно, служили ему только программой или конспектомъ. Въ вышеупомянутыхъ „Юридическихъ поминкахъ“ А. Θ. Кони такъ характеризуетъ его адвокатскую дѣятельность: „Утинъ былъ образецъ образованнаго юриста, т. е. именно такого человѣка, въ которомъ общее образованіе идетъ впереди спеціальнаго, скрашивая и расширяя послѣднее. Сухія научныя изслѣдованія или отчетливое знаніе статей закона и кассационныхъ рѣшеній не создаютъ еще юриста въ настоящемъ и желательномъ смыслѣ слова. Въ первомъ случаѣ онъ становится глухъ къ требованіямъ жизни, не умѣщающимся въ теоретическія схемы, — во второмъ онъ становится тѣмъ, что высшій сановникъ судебнаго вѣдомства въ 70-хъ годахъ остроумно называлъ „статистомъ“, производя это слово отъ „статьи“, но вмѣстѣ съ тѣмъ — ха-

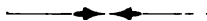
¹⁾ „Некрологъ“, „Вѣсти. Европы“, 1894, сент., 435 стр.

рактизуя ту роль, которую такіе люди играютъ въ отправленіи правосудія. Широкое и глубокое образованіе, знакомство съ исторіею искусства и литературою необходимы для человѣка, посвятившаго себя служенію правосудія. Только благодаря имъ можно не опасаться обратитъ своего „служенія“ въ ремесло... Всякій, знавшій Утина, не забудетъ его безупречную адвокатскую дѣятельность, сочувствіе къ начинающей жизненной путь молодежи“... „Дѣятельное его участіе—замѣчаетъ выше А. Θ. Кони—въ трудахъ Юридическаго Общества по разсмотрѣнію проекта уложенія дало ему возможность, при преніяхъ по вопросу о постановкѣ въ новомъ уложеніи понятія и условій „вмѣненія“ съ участіемъ приглашенныхъ психіатровъ, выказать большія знанія въ области душевныхъ болѣзней, лекціи о которыхъ онъ спеціально слушалъ...”

По поводу послѣдняго дѣла, которое долженъ былъ защищать покойный въ Вильнѣ, 20 сентября, В. Д. Спасовичъ въ своемъ надгробномъ словѣ напомнилъ: „Мы въ этотъ самый день его хоронимъ, а тамъ, въ Вильнѣ, въ эту самую минуту открывается то засѣданіе, въ которому онъ всею душою стремился, и въ которомъ долженъ былъ защищать одинъ изъ самыхъ дорогихъ для него интересовъ—свободу совѣсти. Во всѣ такіа дѣла, гдѣ бывали затронуты высшіе интересы человѣка, онъ вносилъ жаръ чувства и заразительно-увлекающую слушателей убѣжденность. Таковы были его рѣчи по дѣламъ печати, по преступленіямъ политическимъ; таковы были дѣла такъ-называемыя пасторскія, которыя въ послѣднее время велъ только онъ одинъ въ Правительствующемъ Сенатѣ. Тѣ свойства, которыя я намѣтилъ, какъ отличительные признаки его дарованія: жаръ чувства и убѣжденность—обыкновенныя качества молодости; потомъ, съ лѣтами они пропадаютъ. Есть однако счастливые люди, у которыхъ они сохраняются, которые остаются юношами, приближаясь, какъ онъ, въ пятидесятымъ годамъ своей жизни и достигая иногда

болѣ превлонныхъ лѣтъ. Но неувыдаемая юность — удѣлъ
весьма рѣдкихъ избранниковъ, никогда не падающихъ ду-
хомъ начинателей, людей одержимыхъ „священнымъ недо-
вольствомъ“ настоящей минуты, исканіемъ лучшаго буду-
щаго“...

Октябрь, 1895 г.



СОДЕРЖАНІЕ

ПЕРВАГО ТОМА.

	СТРАН.
Наканунѣ единства Италіи. (Письмо изъ Венеціи.)	1
Задача новѣйшей литературы	18
Литература и народъ	79
Сатира Щедрина	149
Политическая литература въ Германіи.—Людвигъ Берне . .	177
«Ходъ назадъ!» въ наукѣ уголовного права	435—447

НАКАНУНЪ ЕДИНСТВА ИТАЛІИ.

Письмо изъ Венеціи.

.... Третье октября 1866 года осуществило, наконецъ, мечту всего итальянскаго народа, загладило большую историческую ошибку, исполнило завѣщаніе великихъ мучениковъ Италіи, навсегда разорвало несчастный кампо-формійскій миръ, который закрѣпилъ за Австріей ея господство въ Италіи! Отъ Альпъ и до Этны, отъ Адріатики до Тирренскаго моря раздается одинъ радостный крикъ: нѣтъ болѣе австрійцевъ! Венеція, древняя царица морей, эта замученная, закованная въ тяжелыя цѣпи красавица, наконецъ, наконецъ, освобождена! Отъ сильнаго толчка, который она получила, отъ восторга, что она наконецъ избавлена отъ незаконнаго и суроваго супруга, она позабыла на минуты тяжелыя и глубокія раны, нанесенныя ей, забыла свое наболѣвшее тѣло, и во всей красѣ предстала предъ остальной Италіей. Видъ освобожденной Венеціи, сознаніе, что Италія принадлежитъ Италіи, что нѣтъ болѣе австрійцевъ, нѣтъ чужеземнаго господства, это сознаніе такъ ново, такъ сладко итальянцамъ, что они ему едва довѣряютъ. Несмотря на то, что съ той минуты, какъ Венеція была уступлена Франціи, они знали, что эта уступка равняется уступкѣ Италіи, несмотря на то, что въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ они только и говорили объ ея присоединеніи, — въ ту минуту, когда имъ объявили, что миръ подписанъ, что Венеція свободна присоединиться къ Италіи, въ ту минуту, когда они узнали, что послѣдній австрійскій солдатъ отчалилъ отъ итальянскаго берега, что трехцвѣтное національное знамя развѣвается уже

надъ св. **Маркомъ**, — сердце итальянцевъ забилось такъ сильно, какъ будто бы они не ожидали такого извѣстія, какъ будто бы оно было совершенно внезапно. Всеобщая подача голосовъ о присоединеніи или неприсоединеніи Венеціи къ Италіи была одною пустою формальностью; всѣ впередъ знали ея исходъ, и потому никого не удивило, когда былъ обнародованъ результатъ плебисцита, именно, что изъ 700.000 вотировавшихъ нашлось только 70 голосовъ, которые дали отрицательный отвѣтъ! Изъ всѣхъ городовъ посыпались адреса, поздравленія, выраженія сочувствія и любви, всѣ торопились приѣхать въ давножеланную, вся Италія праздновала и ликовала освобожденіе Венеціи!

Переѣздъ депутаціи, которая должна была представить королю результаты плебисцита, былъ однимъ триумфальнымъ шествіемъ отъ самой Венеціи до Турина. На всѣхъ станціяхъ толпилась масса народа, которая повторяла всюду одно и то же восклицаніе: *Viva Venezia!* Пушечные выстрѣлы, раздавшіеся во всѣхъ городахъ Италіи, возвѣстили ту минуту, когда депутація исполнила возложенную на нее обязанность, минуту, когда Венеція *de jure* вошла въ составъ итальянскаго государства. Флоренція, какъ столица, старалась особенно ревностно праздновать этотъ день; весь городъ съ утра украсился флагами; вечеромъ въ нѣсколькихъ частяхъ города играла музыка; зданія были иллюминированы; народъ толпился на всѣхъ углахъ, на всѣхъ площадяхъ, но особенно на *piazza della Signoria*, любясь великолѣпно освѣщеннымъ *Palazzo Vecchio*. Всѣ жители не только Флоренціи, но и всей Италіи раздѣлялись въ эти дни на два разряда: на счастливыхъ и несчастныхъ! Счастливые, которые ѣхали въ Венецію, которая всѣхъ приглашала къ себѣ, чтобы вмѣстѣ праздновать избавленіе отъ австрійскаго ига; несчастные, которые оставались на мѣстѣ. Такъ какъ въ этомъ случаѣ я принадлежалъ къ счастливымъ, то въ этотъ самый день и отправился на желѣзную дорогу.

На дебаркадерѣ не трудно было уже понять, что ожидаетъ чловѣка впереди, на мѣстѣ, въ самой Венеціи... это было преддверіе, но гораздо скорѣе ада, нежели рая! Тьма народа, шумъ, говоръ, смѣхъ, возгласы, восклицанія, споры — невольно являлся вопросъ самому себѣ: да куда же это я? что они обезумѣли или нѣтъ? — „И ты здѣсь!“ кричитъ одинъ. „Какъ, и ты!“ восклицаетъ другой; „да, и

мы!“ доносится изъ дальняго угла. „Кондукторъ, дайте мнѣ мѣсто, мѣста нѣтъ!“ слышишь тутъ; „виноватъ, я занялъ прежде это мѣсто, оно принадлежитъ мнѣ!“ слышишь тамъ. „Это безпорядокъ, это ни на что не похоже, дирекція должна была позаботиться!“ ворчитъ одинъ. „Я не понимаю, куда весь этотъ народъ ѣдетъ, чего онъ не видѣлъ!“ говоритъ господинъ, взявшій билетъ до самой Венеціи! Но вся эта смѣсь восклицаній, споровъ, ворчаній покрывается все-таки смѣхомъ, весельемъ, жизнію! Всѣ ѣдутъ въ Венецію: одни—чтобы только взглянуть на нее, повеселиться на праздникахъ; другіе—чтобы повидать друзей, которыхъ не видѣли много лѣтъ; третьи возвращаются *къ себѣ*, на родину, въ среду своихъ родныхъ, своей семьи, которую должны были покинуть, чтобы избѣгнуть австрійскихъ преслѣдованій; всѣ ѣдутъ весело, налегкѣ, точно на часовую прогулку, всѣ между собою точно давно знакомы, между всѣми есть что-то такое, что ихъ связываетъ, что ихъ не дѣлаетъ чужими, что-то такое, вслѣдствіе чего всѣ смотрятъ другъ на друга не искоса, не исподлобья, не какъ враги, не какъ люди, которые боятся, опасаются другъ друга, а какъ друзья, какъ люди одной и той же семьи; это *что-то такое* есть ихъ общая идея, общее стремленіе, общая цѣль, общая радость, общее дѣло: Италія!

Наконецъ, кое-какъ всѣ уѣли, и поѣздъ тронулся. Черезъ минуту былъ уже общій разговоръ, и, разумѣется, о Венеціи! Сначала всѣ предложили другъ другу вопросъ, какимъ образомъ Венеція помѣститъ въ себѣ всю эту толпу народа? За нѣсколько дней уже было извѣстно, что всѣ квартиры заняты, обѣ отеляхъ нельзя и думать, у многихъ являлась въ головѣ мысль не ѣхать въ самую Венецію, а остановиться въ Падуѣ, за полтора часа отъ мѣста всѣхъ празднествъ. „Я слышалъ, замѣтилъ кто-то, что и въ Падуѣ почти все уже занято!“—очевидный страхъ, боязнь, что придется ночевать на водѣ, выразился на лицахъ всѣхъ присутствующихъ. „Ну, чтожъ такое, вскрикнулъ мой сосѣдъ: на водѣ такъ на водѣ; по крайней мѣрѣ до конца будетъ оригинально!“ — „Всегда вѣдь говорятъ, что нѣтъ мѣста, и всегда находится!“ произнесъ болѣе положительный господинъ. Боязнь такимъ образомъ прошла, и разговоръ упалъ на вѣчную спасительницу людей, на политику! Изъ сосѣдняго вагона все время долеталъ до насъ отчаянный шумъ, крикъ, но о чемъ такъ горячо спорили, разумѣется, нельзя было знать; и только подѣзжая къ ка-

кой-то станціи, мы слышали, какъ кто-то громко и рѣзко произнесъ: „да вѣдь Персано...“ Дальше мы не слышали, такъ какъ машина свиснула и мы полетѣли впередъ!

Но одного этого имени было достаточно, чтобы занять публику на часъ или на два! „Да, конечно, началъ кто-то (въ моемъ отдѣленіи были исключительно итальянцы): если бы не Персано, не Лисса, мы бы съ другимъ чувствомъ ѣхали въ Венецію!“ — „Что же дѣлать, потеряннаго не воротить, но все-таки у насъ есть убѣжденіе, что мы дрались хорошо, что мы своею кровью купили Венецію!“ — „Я не спорю, возразилъ первый, но все-таки мы не должны забывать, мы, итальянцы, менѣе чѣмъ кто-либо другіе, что не мы сами вырвали Венецію, что намъ ее уступили, что мы войдемъ туда не какъ побѣдители, а какъ...“ Онъ не докопчилъ: очевидно ему тяжело было произнести послѣднее слово. На нѣсколько секундъ водворилось какое-то грустное молчаніе; всѣ задумались надъ недоконченною фразою... „Еще загладимъ, загладимъ, снова началъ кто-то: можетъ быть, это послужить намъ въ пользу; по крайней мѣрѣ у насъ не закружится голова отъ военныхъ побѣдъ, а мы между тѣмъ, мы все-таки движемся, хотя и тихонько, а все же впередъ“. — Разумѣется, такъ, добавилъ я: лучше тихо двигаться впередъ, чѣмъ быстро пятиться назадъ, пословица на этотъ разъ права: *chi va piano, va sano*! „Ну, пѣтъ, возразилъ первый: Персано не оправдалъ этой пословицы!“ — Напротивъ, совершенно оправдалъ, отвѣчалъ я: развѣ онъ шелъ тихо, онъ бѣжалъ! — „Да! такъ!“ вскрикнулъ онъ и разсмѣялся. За нимъ разсмѣялись и всѣ остальные, и такимъ образомъ исчезъ водворившійся было *malaise*. „Я себѣ далъ слово, закончилъ мой сосѣдъ, никогда не говорить обо всемъ, чтѣ случилось до послѣдняго заключенія мира: слишкомъ обидно!“ рѣзко произнесъ онъ. „Для меня исторія Италіи начинается съ 3 октября 66 года!“ Эту фразу я слышалъ уже не отъ одного итальянца. Рано утромъ на другой день мы были на берегу По. Тутъ желѣзная дорога обрывается, и потому всѣ перешли въ дилижансы, кареты, коляски, которыя вытянулись въ одинъ безконечный рядъ. Подъѣхавъ къ мосту, всѣ вышли изъ экипажей, чтобы лучше видѣть одну изъ самыхъ красивыхъ рѣкъ Европы, и отправились пѣшкомъ. Когда мы перешли эту широкую, синеватую полосу воды, всѣ почти въ одинъ голосъ воскликнули: „нѣсколько дней тому назадъ здѣсь еще были австрійцы!“ и я убѣжденъ, что не

одному итальянцу въ эту минуту хотѣлось поцѣловать родную, вырванную изъ рукъ врага землю.

Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ въ экипажѣ, мы увидѣли живые слѣды австрійцевъ. „Съ двухъ сторонъ дороги, по которой мы ѣдемъ, сказалъ мнѣ мой сосѣдъ, еще нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ возвышались вѣковые деревья, а теперь, посмотрите!“ Я выглянулъ изъ окошка кареты и увидѣлъ на огромномъ протяженіи валявшіяся порубленные деревья. „Что это?“ спросилъ я. „Это тудески все вырубили, отвѣчалъ онъ съ грустью; здѣсь былъ ихъ лагерь, и они все, что было здѣсь, все уничтожили!“ Въ самомъ дѣлѣ, дорога представляла собою грустный видъ: тутъ поваленныя деревья, тамъ разрушенные дома, съ одной стороны навалена груда камней, съ другой полуразрушенное земляное укрѣпленіе. Воображеніе дополняло эту невеселую картину, рисуя вдали обезображенные трупы, показывая гдѣ-то поднимающійся паръ еще теплой крови... Тяжело, тяжело! — читалъ я на всѣхъ лицахъ. Проѣхавъ часъ или полтора, мы увидѣли, наконецъ, какой-то маленькій городокъ, но здѣсь картина была уже другая! Все, что было жителей въ этомъ городкѣ или большой деревнѣ, все высыпало на улицу, въ праздничныхъ платьяхъ, съ праздничными лицами. Не было двери, не было стѣны, на которой не былъ бы приклеенъ листокъ, на которомъ напечатано большими буквами: *Viva l'Italia una!* и немножко ниже: *poi vogliamo Vittorio Emanuele II per nostro re!* Иногда эта надпись была нѣсколько измѣнена: такъ, напр., вмѣсто *Viva l'Italia una*, встрѣчалось часто: *Viva unita italiana!* Всѣ стѣны исписаны углемъ, мѣломъ, вездѣ восклицанія: *Viva Garibaldi, viva l'Italia, viva, viva, безконечное viva.* Много попадалось печатныхъ бюллетеней такого рода: *vogliamo Vitt. Em. II per nostro re con Roma capitale.* Въ другомъ мѣстѣ аршинными буквами на цѣлой стѣнѣ размазано: *si, si, Roma capitale!* Меня поразило при этомъ, что, несмотря на жажду писать всякія воззванія, всякіе виваты, всякія насмѣшки, я не встрѣтилъ буквально пигдѣ ни одного слова противъ угнетавшаго ихъ врага; его больше нѣтъ, они не хотятъ даже помнить о немъ, стараются забыть его, они всѣ отдались одной радости! Это мелкая черта, но она обрисовываетъ цѣлый характеръ итальянцевъ. Мы—въ Rovigo. Тѣ же праздничныя лица, тѣ же объявленія, тѣ же восклицанія, съ тою только разницею, что такъ какъ городъ нѣсколько больше, жители богаче, то они

успѣли уже украсить свои дома трехцвѣтными флагами. Въмѣсто флаговъ попадаются иногда незатѣйливые лоскутки матеріи, наскоро сшитые; за неизвѣстнымъ краснаго куска, является розовый, вмѣсто зеленого встрѣчается иногда синій, но все сходитъ, всѣ понимаютъ, что эти цвѣта должны собственно обозначать: бѣлый, зеленый и красный! Здѣсь мы опять успѣли въ вагоны и полетѣли дальше. Стеннѣло. Мы оставили за собою уже и Падую; въ вагонѣ всѣ начинаютъ беспокоиться, поминутно выглядываютъ изъ оконъ, разговоръ дѣлается отрывистымъ: очевидно на умѣ каждого только и есть въ эту минуту одно слово, магическое слово—Венеція! Кто-то смотритъ изъ окна: „посмотрите, что это, говоритъ онъ, кажется, лагуны!“ Всѣ выглядываютъ и подхватываютъ: „лагуны, лагуны!“ Вдали, далеко заблестѣлъ огонекъ. Всѣ молчатъ и каждый думаетъ про себя: это она, она, Венеція!

Конечно, ни одна красавица въ мірѣ не заставляла заразъ биться столько сердецъ, какъ эта вѣчная любовница прошедшей, настоящей и будущей молодости! Огоньки все ближе и ближе, и нашъ въ самомъ дѣлѣ безконечный поѣздъ наконецъ остановился—мы пріѣхали, мы въ Венеціи! Темная, густая масса народа толпилась на станціи; всякій встрѣчалъ или родныхъ, или друзей; многіе никого не встрѣчали, а просто пришли посмотрѣть, кто пріѣхалъ, не увидятъ ли знакомаго лица. Отуманенный этою толпою, этимъ шумомъ, какими-то радостнымъ гуломъ, я вышелъ, прыгнулъ въ первую гондолу и поплылъ. Плавно, какъ лебедь, скользила моя гондола по большому каналу. Полное гармоніи движеніе весель, едва слышное колыханіе воды, отрывистыя перекликиванья гондольеровъ, среди полной тишины, полного спокойствія, производили какое-то таинственное впечатлѣніе. Темная ночь набросила черное покрывало на все окружающее, но фантазія была сильнѣе тьмы, и едва видимыхъ контуровъ зданій было слишкомъ много, чтобы смотрѣть и любоваться мраморными дворцами, выросшими изъ воды. Воображеніе работало, и много знакомыхъ тѣней проносило на своемъ лету. Вотъ поднимается тѣнь несчастнаго Вгаво, описаннаго мастерскою рукою Купера; вотъ Marino Faliero, пробирающійся на ночное собраніе заговорщиковъ; вотъ и исхудалая, измученная тѣнь молодого Foscarі, вырваннаго изъ объятій любимой женщины, для того, чтобы быть брошеннымъ въ подземелье; вотъ наконецъ и сама блѣдная тѣнь

Чайльд-Гарольда, грустно стоящаго на „мосту вздоховъ“ и думающаго о задавленной Венеціи... Гондола остановилась, и я съ радостію вспомнилъ, что моя Венеція освобождена!

Когда на другой день я вышелъ, чтобы взглянуть на этотъ волшебный городъ, я былъ пораженъ его праздничнымъ видомъ! Буквально не было ни одного дома, да не только дома, ни одного балкона, пожалуй ни одного окна, изъ котораго не развѣвался бы національный флагъ; всѣ балконы были покрыты или покрывались еще коврами, всевозможными матеріями, всякими украшеніями, и всюду одинъ неизбѣжный атрибутъ: савойскій крестъ. Величественная площадь св. Марка представляла собою такое зрѣлище, которое увидишь не каждый день: люди бросались другъ другу въ объятія, цѣловались, со слезами жали другъ другу руки; на площадь стекались всѣ, которые пріѣзжали, и всѣ, которые дожидались пріѣзжихъ—здѣсь впервые послѣ десяти, послѣ пятнадцати лѣтъ разлуки встрѣчались опять люди, которые были разбросаны по разнымъ концамъ Италіи! Въ одну минуту одна и та же фязіономія получала двадцать разныхъ выраженій! Спрашиваютъ объ одномъ—говорятъ: умеръ; спрашиваютъ о другомъ, котораго оставили ребенкомъ—отвѣчаютъ: женатъ; на вопросъ, что дѣлаетъ тотъ или другой несчастный—отвѣчаютъ, что богатъ, счастливъ; на вопросъ, что дѣлаетъ тотъ счастливый—отвѣчаютъ: въ отчаянномъ положеніи! Всѣ венеціанскіе эмигранты, которыхъ болѣе двадцати тысячъ, даже тѣ, которымъ это трудно, собираютъ послѣднюю копѣйку, чтобы пріѣхать хоть на нѣсколько дней, если не навсегда, лишь только бы взглянуть на возлюбленную Венецію! На всѣхъ лицахъ выражается такая радость, такое счастье, всѣ такъ добродушно улыбаются, что по неволѣ и самъ улыбаешься, и самому хочется радоваться! Всѣ глаза точно спрашиваютъ другъ друга: да правда ли это? неужели нѣтъ болѣе австрійцевъ? неужели мы навсегда избавлены отъ ихъ ига? не такой же ли это сонъ, какъ и республика 48 года?

Избавленіе отъ австрійцевъ кажется имъ и началомъ и концомъ всѣхъ благъ; о другомъ они не хотятъ, да и не могутъ теперь думать! Частная дѣла, частная забота, частное горе, частная радость, все на минуту позабыто, чтобы наслаждаться общою радостію—освобожденіемъ. Дѣти, юноши, взрослые, старики—всѣ на площади, всѣ принимаютъ участіе въ весельи, всѣ чувствуютъ, что тяжелый камень

упалъ съ плечъ, что тѣсныя оковы раскованы и отброшены! Во время подачи голосовъ пришелъ или вѣрнѣе дотащился на площадь св. Марка одинъ глубокий старецъ, который конечно помнилъ еще послѣдняго дожа. „Ты за что вотируешь?“ спросили его. „Я, отвѣчалъ онъ, снимая дрожащею рукою свою шапку: я—*viva la gerublica!*“ произнесъ онъ своимъ дряхлымъ голосомъ. — „Республики нѣтъ, есть Викторъ-Эммануиль!“ — „Все равно, повторилъ онъ, не понимая, что можетъ быть что-нибудь кромѣ австрійцевъ или республики: я все равно—*viva la gerublica, viva St. Marco!*“ и былъ счастливъ старикъ, что могъ еще разъ въ жизни громко на площади произнести: *viva St. Marco!* Я видѣлъ на площади нѣсколько такихъ стариковъ съ сіяющими лицами.

Не одна площадь св. Марка была оживлена: полонъ жизни былъ и большой каналъ. Я сѣлъ въ гондолу и поѣхалъ смотрѣть, насколько моя вчерашняя фантазія соответствовала дѣйствительности; конечно, она не обманула ее, скорѣе превзошла! Гондольеръ называлъ мнѣ дворцы, глаза мои разбѣгались, я не зналъ, на что смотрѣть, о чемъ думать; все, все, начиная отъ послѣдняго камня до любого дворца изъ чуднаго мраморнаго кружева, все имѣетъ свою исторію, все вызываетъ бездну воспоминаній! А дворецъ дожей—какъ ни восхитителенъ онъ, а все-таки морозъ пробѣгаетъ по жиламъ, когда думаешь, что въ этомъ самомъ дворцѣ собирался совѣтъ десяти, совѣтъ трехъ, и чего, и чего здѣсь не происходило! Всѣ эти дворцы точно также приготавливались къ слѣдующему дню, къ 7 ноября, т.-е. къ началу праздниковъ. Я смотрѣлъ на дворцы, смотрѣлъ на встрѣчавшіяся гондолы, и изъ каждой почти долетали ко мнѣ звуки смѣха и веселья. „Хороша наша Венеція! хороша вѣдь?“ спрашивалъ гондольеръ, и, не дожидаясь отвѣта, потому что зналъ его впередъ, прибавлялъ: „О, теперь мы ожили! а что было здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ назадъ... вы бы двухъ дней здѣсь не захотѣли остаться!“ Я смотрѣлъ на него, и думалъ: да, по твоему лицу вижу, что вѣрно было нехорошо! „Поѣдемте на Лидо, снова началъ гондольеръ, которому я отдался въ распоряженіе, на наше бѣдное Лидо, которое растерзали тудески, для того, чтобы настроить тамъ укрѣпленій!“ По одну сторону Адриатическое море, по другую видъ на Венецію,— что же можетъ быть лучше Лидо! Лидо вызываетъ фигуру Байрона: сюда онъ укрывался отъ преслѣдовавшихъ его англичанокъ, здѣсь

онъ проводилъ цѣлые дни, творя своего Донъ-Жуана, сюда онъ убѣгалъ отъ грустной Венеціи!.. Возвратившись съ Лидо, я отправился бродить по городу, чтобы взглянуть, неужели вездѣ такая же жизнь, какъ на большомъ каналѣ и на площади св. Марка. Узенькія дорожки, которыя называются улицами Венеціи, были покрыты народомъ, послѣ каждаго шага впередъ слѣдовала довольно значительная пауза — очевидно было, что весь городъ на улицѣ. И въ этихъ узенькихъ улицахъ, точно такъ же какъ на площади, какъ на большомъ каналѣ, вездѣ флаги, ковры; здѣсь даже болѣе красиво, потому что флаги, выставленные отъ противоположныхъ домовъ, скрещиваясь, образовывали изъ себя одну длинную арку. Какъ передать эту картину воскресенія, я право не знаю! говоря, что люди въ толпѣ пожимали другъ другу руку, я ничего не объясню, а между тѣмъ въ этомъ пожатіи руки, съ которыми встрѣчались два человека, цѣлая исторія 80-ти лѣтъ. Это пожатіе, сопровождаемое только молчаливою улыбкою, безъ словъ, безъ фразы, говорило мнѣ все, что они хотѣли сказать другъ другу; глаза ихъ выражали одно: мы свободны!! Сколько милыхъ словъ, сколько наивныхъ прелестей, которыя характеризуютъ эту радость! Такъ, напримѣръ, въ первый же день моего приѣзда я услышалъ одно выраженіе, которое мнѣ чрезвычайно понравилось. Какой-то гарибальдіецъ покупаетъ журналъ, которыхъ съ 3-го октября расплодилось огромное количество; мальчишки, которые продаютъ, съ одного спрашиваютъ столько, съ другого столько, однимъ словомъ видно, что все это еще свѣжо, ново! „Сколько стоитъ?“ спрашиваетъ гарибальдіецъ. „Шесть сольдовъ“, отвѣчаетъ мальчишка. „Шесть сольдовъ! какихъ это? maledetti или benedetti?“ — „Maledetti, maledetti, signore!“ Понятно, что австрійскіе сольды называются maledetti, а итальянскіе — benedetti, между ними есть небольшая разница! Но этотъ высшій градусъ радости, которой они отдаются въ эту минуту, доказываетъ прежде всего, какъ велика въ самомъ дѣлѣ была степень ихъ страданій во время австрійскаго владычества! Что они претерпѣли до 1848 года — лучше всего показываетъ ихъ геройская защита 1849 года, ихъ желаніе, рѣшимость умереть скорѣй отъ голодной смерти, нежели снова отдаться въ руки враговъ, доказываетъ ихъ безграничная любовь, съ которою они смотрятъ на одинъ изъ трехъ портретовъ, которые видишь здѣсь въ каждомъ магазинѣ, въ каждомъ домѣ, на

любомъ перекресткѣ! Это портреты Гарибальди, Виктора-Эммануила и наконецъ того, котораго венеціанцы называютъ своимъ *padre*—Даніеля Манина, съ именемъ котораго связано послѣднее движеніе 1848 года.

Объяснить причину френетическаго восторга венеціанъ значило бы написать исторію управленія австрійцевъ въ Венеціи. Короче будетъ привести нѣсколько цифръ венеціанскаго бюджета изъ той эпохи, чтобы заключить о тяжести прессы.

Уже въ 1848 г. Ломбардо-Венеціанская область была обложена болѣе всѣхъ другихъ частей этой многочисленной имперіи. Постоянные налоги давали 110 милл. австрійскихъ ливровъ, а расходы доходили всего до 85 милл.; остальные же 25 милл. ливровъ шли на покрытіе дефицита другихъ провинцій! Съ 1849 же года начинаются всевозможные насильственные займы, произвольныя таксы, экстренные налоги. Такъ, въ силу приказа Радецкаго отъ 11 ноября 1849 года, назначалась произвольная такса, взимаемая военнымъ порядкомъ, со всѣхъ тѣхъ, которые принимали хотя косвенное участіе въ возстаніи. Венеціанцы измѣряютъ величину этой произвольной таксы въ 50 милл. ливровъ. Кромѣ этой таксы, Венеція заплатила 92 милл. ливровъ на покрытіе экстренныхъ расходовъ, вызванныхъ войною 1848 и 1849 годовъ. Поземельная собственность была обложена такъ, что весь доходъ съ земли шелъ на уплату налога—многіе не въ состояніи были продолжать обработку земель! Оффиціальныя данныя свидѣлствуютъ, что поземельная собственность отъ 1848 до 1861 г. въ 2.260.000 гектаровъ заплатила Австріи 695.900.000 ливровъ. Несмотря на всю тяжесть существовавшихъ уже налоговъ, они все же продолжали расти, и особенно увеличились въ 1859 г.,—годъ, въ который, кромѣ того, указомъ 7 мая былъ сдѣланъ насильственный заемъ въ Ломбардо-Венеціанской области въ 35 милл. флориновъ. Когда же Ломбардія отошла къ Италіи, на долю Венеціи выпало заплатить 20 милл. флор., въ то время какъ Венеція входила въ составъ Ломбардо-Венеціанской области всего какъ $\frac{3}{4}$. Экстренные налоги, вызванные войной 1859 г., по указу 10 октября 1859 года перешли и на 1860 годъ, а по указу

28 октября 1860 года перешли и на 1861 годъ. Кромѣ того, въ 1861 году налоги возвысились еще на 16⁰/. Такимъ образомъ, въ 1861 г. сумма всѣхъ общественныхъ тягостей въ Венеціанской области, въ которой считается 2.300.000 жителей, достигла цифры 92.000.000 фр., что составляетъ 40 франк. на каждого человѣка. Если съ 1861 года налоги не увеличивались, то только потому, что страна разорена въ конецъ, торговля совершенно уничтожена, и не съ чего было брать... Вотъ изъ-подъ какого пресса освободилась наконецъ Венеція—какъ же ей было не радоваться, не радоваться до опьяненія, до экстаза?

Приготовленія кончились. Народу наѣхало столько, что некуда его помѣстить; на одни флаги истрачено чуть не миллионъ франковъ; все украшено, вычищено, все приняло торжественный видъ—праздники начинаются! Чуть свѣтъ поднялась вся Венеція; еще не разсвѣло кажется, а на узенькихъ улицахъ толпится уже народъ, слышенъ шумъ, всѣ стараются бѣжать, и потому всѣ едва двигаются, у всѣхъ на лицѣ ожиданіе, нетерпѣніе, всѣ приготовляются насладиться какимъ-то новымъ зрѣлищемъ, и всѣ, не замѣчая сами того, уже наслаждаются ожиданіемъ! Всѣ маленькіе каналы покрыты гондолами, одна толкается объ другую, всѣ стараются поскорѣе пробраться на большой каналъ—вотъ и онъ! Что это? гдѣ мы? въ какомъ благословенномъ столѣтіи мы вдругъ очутились? какими судьбами, какими таинственными силами совершилось это превращеніе? Мы на блистательномъ венеціанскомъ праздникѣ XVI вѣка! Всѣ изящные, легкіе дворцы разукрашены красною, синею, голубою матеріею; на одномъ балконѣ разстилается великолѣпный гобленъ, на другомъ—дорогая парча; каждое окно—живая картина; въ красивой мраморной рамкѣ виднѣются веронезовскія головки съ улыбкою на лицѣ; на темномъ же фонѣ картины выдаются гордые, великолѣпныя фигуры молодыхъ венеціанцевъ. Все движется, все живетъ, и одни только погруженные въ воду дворцы, эти старожилы столѣтій, эти молчаливые свидетели и ясныхъ и мрачныхъ дней, одни они стоятъ безстрастно и думаютъ про себя: пробудились! Весь каналъ покрытъ гондолами, одна скользитъ за другою, и всѣ онѣ сбросили съ себя свой мрачный, траурный видъ и одѣлись въ золото, серебро, бархатъ и шолкъ; молодые гондольеры разстались съ буржуазнымъ платьемъ, съ рубищемъ меркантильнаго вѣка, и набросили на себя одежду ихъ протцевъ.

Вотъ выплываетъ гондола, обтянутая вся отъ верху до низу розовымъ и лиловымъ шолкомъ, на одномъ концѣ золотой щитъ и на его фонѣ—гербъ Венеціи; всѣ гондолеры въ красныхъ шолковыхъ чулкахъ, въ бѣлыхъ бархатныхъ шараварахъ; къ ихъ бронзовымъ лицамъ такъ идутъ красныя бархатныя блузы и шитыя золотомъ шапочки. За первую грандіозно плыветъ другая гондола, вся покрытая синимъ бархатомъ, съ большимъ золотымъ балдахиномъ, поддерживаемымъ легкими, граціозными колоннами, съ которыхъ падаетъ прозрачная золотая матерія; всѣ гондолеры въ черныхъ бархатныхъ шараварахъ, въ блузахъ изъ золотой парчи и въ круглыхъ шляпахъ съ бѣлыми перьями. За этою тянутся семь гондолъ, одинаковой формы, только разныхъ цвѣтовъ, всѣ покрыты шолкомъ; вмѣсто балдахина сдѣланы одни легкіе навѣсы въ видѣ раковины, и эти навѣсы обтянуты бархатомъ разныхъ цвѣтовъ—это гондолы семи провинцій Венеціанской области. За ними выплываетъ другая гондола, обтянутая бѣлымъ бархатомъ; на серебряныхъ столбикахъ поддерживается голубой шолковый балдахинъ съ серебряною рѣшеточкою, отъ которой падаютъ прозрачныя занавѣски изъ розоваго тюля; внутренность гондолы убрана цвѣтами, всѣ гондолеры одѣты въ черный и голубой бархатъ съ серебряными поясами. Ее обгоняетъ легкая, изящная, маленькая гондола, снаружи обитая чернымъ сукномъ, внутри розовымъ бархатомъ, и только мѣста, на которыхъ лежатъ веслы, сдѣланы изъ серебра. Четыре гондолера въ черныхъ блузахъ съ перетянутой таліей, съ большими кружевными воротниками и круглыхъ шляпахъ съ бѣлыми перьями. Вотъ еще летитъ небольшая гондола, удивляя всѣхъ своимъ вкусомъ; она обтянута сѣрымъ и розовымъ шолкомъ, съ розовыми шнурками, а гондолеры одѣты въ черный бархатъ, съ высокими бѣлыми чулками. Рядомъ съ нею плыветъ другая, вся бѣлая, и внутри и снаружи обтянута бѣлымъ бархатомъ, перемѣшаннымъ съ шолкомъ. Вотъ еще нѣсколько роскошныхъ гондолъ, которыя принадлежатъ муниципіи, и всѣ онѣ разъѣзжаютъ назадъ и впередъ, стараясь освободить средину канала. Проѣхавъ отъ св. Марка до желѣзной дороги, которыя на двухъ концахъ города, гондолы стали устанавливаться по бокамъ канала, оставляя между собою широкую полосу. Осталось еще полчаса до пріѣзда Виктора-Эммануила. Ото всюду раздается смѣхъ, веселый говоръ, остроты, выраженіе восторга, всѣ сами поражены этимъ величавымъ зрѣлищемъ, никто не

ожидалъ такого блеска, такого великолѣпія! Всѣ взываютъ къ Аполлону и умоляютъ этого, чѣмъ-то разгнѣваннаго бога, но никакія мольбы не помогаютъ — туманъ не проходитъ! Одинъ изъ моихъ гондольеровъ, юноша лѣтъ двадцати, со злобою говоритъ, показывая на небо: „Какъ на зло точно! вчера цѣлый день свѣтило, а сегодня, когда нужно, такъ нѣтъ!“ — „Все равно“, отвѣчаетъ ему другой гондольеръ, почтенный старикъ: „и такъ хорошо сегодня, и солнца не нужно! хорошо вѣдь?“ добавляетъ онъ, обращаясь ко мнѣ. Колоколъ св. Марка ударилъ, за нимъ начали звонить всѣ остальные колокола, раздался громъ пушекъ, гулъ пробѣжалъ по всему каналу, всѣ поднялись, засуетились; слова: „пріѣхалъ, пріѣхалъ!“ въ одну секунду, передаваясь отъ одного къ другому, пронеслись по всему каналу. Раздалось громкое viva, и весь народъ замахалъ своими платками. Изъ-подъ красиваго моста, убраннаго зеленью и цвѣтами, показался сначала одинъ только крылатый золотой левъ, державшій въ своихъ лапахъ доску, на которой большими буквами было написано: „*paх tibi, Marce, evangelista meus!*“ Наконецъ, выплыла и вся великолѣпная гондола, которую привѣтствовали громкими криками. Вся гондола была золотая. Великолѣпный балдахинъ поддерживался четырьмя фигурами, на одномъ концѣ стоялъ левъ, а на другомъ сидѣла золотая женская фигура, которая изображала собою Италію, а около нея стояла другая женщина, изображавшая собою Венецію, и эта послѣдняя надѣвала на первую золотую корону. Лишь только прошла эта гондола, тотчасъ всѣ остальные гондолы слились вмѣстѣ, затерли проходъ, другія гондолы опередили золотую, на которой стоялъ Викторъ-Эммануилъ, лишая ее такимъ образомъ возможности быстро двигаться впередъ; все слилось въ одну массу и массой еле-еле, почти незамѣтно приближались къ св. Марку. Соединеніе этого золота, серебра, бархата, шолка, соединеніе всевозможныхъ свѣтлыхъ цвѣтовъ на темномъ фонѣ нѣсколькихъ тысячъ черныхъ гондолъ, этотъ протяжный звонъ св. Марка среди мелкаго звона остальныхъ колоколовъ Венеціи, этотъ неумолкаемый гулъ человѣческихъ головъ, заглушаемый только отъ времени до времени пушечными выстрѣлами, наконецъ вся эта пестрая масса народа, наполнявшего собою разукрашенные дворцы, все это вмѣстѣ производило такое впечатлѣніе, представляло такую роскошную картину, что едва ли ее можно живо себѣ представить. Все, что было въ гондолахъ, все

вышло на площадь св. Марка, на которой через нѣсколько минутъ сдѣлалась такая давка, что нельзя было сдѣлать ни шагу впередъ, ни шагу назадъ. Одинъ крикъ слѣдовалъ за другимъ, но трудно было понять, чтѣ кричали. Лишь только на минуту площадь притихла, какъ какой-то венеціанецъ, взобравшись на крышу дворца, громко крикнулъ: „viva l'Italia!“ Взрывъ криковъ ему отвѣчалъ: „viva l'Italia uia!“ За первымъ крикомъ слѣдовалъ другой, третій и т. д. Когда не знали больше, какой прокричать еще вивать, кто-то забрался на крышу св. Марка и, махая руками и всею своею фигурою, крикнулъ: „viva Roma capitale!“... Взрывъ криковъ и апплодисментовъ заглушилъ послѣднее слово: d'Italia! Въ продолженіе цѣлаго дня площадь св. Марка оставалась покрытою народомъ и оглушаемою всевозможными криками. Вечеромъ все бросилось опять въ гондолы: на протяженіи всего большого канала должна была быть великолѣпная иллюминація. Она и была, но всѣ были крайне опечалены тѣмъ, что утренній туманъ, увеличившись, все покрылъ своею густою занавѣсью. По моему, туманъ ничего не испортилъ, а скорѣе придалъ всему какой-то волшебный характеръ. Уничтожая собою всѣ зданія, всю матеріальную основу иллюминаціи, онъ давалъ видѣть только одни огоньки, которые, казалось, падая съ неба, вдругъ останавливались, не долетѣвъ до земли. Rialto былъ восхитителенъ. Онъ весь былъ залитъ огнемъ, и такъ какъ туманъ не давалъ различать моста, то видно было только, что надъ широкимъ каналомъ висѣла высокая огненная арка, не прикрѣпленная къ землѣ. Вдали виднѣлась по серединѣ канала между небомъ и землею брилліантовая надпись: „Italia uia!“ Неизвѣстно гдѣ, неизвѣстно откуда раздавались звуки музыки, виваты, пѣніе. Послѣ иллюминаціи—опять на площадь св. Марка: тотъ же шумъ, та же жизнь, то же веселье, ни къ одному сафѣ нельзя пробраться, ни въ одномъ сафѣ нельзя ничего спроситься, все кишитъ народомъ, ночь не разгоняетъ людей, на площади такъ же свѣтло, во всѣхъ сафѣ столько же народа. Венеція не хочетъ знать больше покоя, не хочетъ знать сна, ночь ей слишкомъ знакома, она устала отъ тьмы, нужно нагнать потерянное время. На другой день былъ спектакль-гала въ Fenice, въ лучшемъ венеціанскомъ театрѣ. Но такъ какъ этотъ спектакль походилъ на всѣ другіе подобнаго рода, то я не стану о немъ говорить—все прошло очень прилично, очень чинно. Гораздо интереснѣе было представленіе на

слѣдующій день въ циркѣ, огромномъ зданіи, которое вмѣщаетъ въ себя по крайней мѣрѣ двѣ-три тысячи народа. Когда въ ложу вошелъ Викторъ-Эммануилъ, весь народъ поднялся, и въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ одинъ вивать смѣнялъ другой. Представленіе началось, но лишь только одну лошадь увели, чтобы привести другую, весь театръ снова началъ кричать; когда крики успокоились, кто-то крикнулъ: „viva Roma capitale d'Italia!“ Всѣ подхватили этотъ крикъ, двадцать разъ его повторяли, покамѣстъ Викторъ-Эммануилъ не всталъ съ своего кресла и не раскланялся. Но крикъ этотъ не могъ утихнуть, онъ двадцать разъ возобновлялся въ разныхъ формахъ; раздалось громкое: „Roma o morte!“ и тысячи „si“ было отвѣтомъ на этотъ крикъ. Вообще, гдѣ бы ни появлялся король, тотчасъ раздавался крикъ въ пользу Рима. Итальянцы, собравшіеся въ Венецію со всѣхъ концовъ, еще разъ подтвердили, что они не успокоятся, пока Римъ не будетъ имъ отданъ.

Праздникъ слѣдовалъ за праздникомъ; всѣ удавались какъ нельзя лучше, за исключеніемъ одного — маскарада. Венеціанцы могутъ маскироваться, наряжаться, дурачиться только во время карнавала, перенести его нѣтъ возможности, что въ этотъ разъ и было доказано. Съ трехъ, четырехъ часовъ на площади показалось множество замаскированныхъ, которые устраивали разныя процессіи, танцы, выкидывали всевозможныя штуки, фарсы, но, несмотря на все это, не было довольно жизни, видно было, что существовала какая-то натяжка, не было того entrain, которымъ славятся венеціанскіе карнавалы. Когда я спросилъ одного венеціанца: „Неужели и на карнавалѣ то же самое?“ онъ мнѣ отвѣчалъ: „Да, первый день такъ, но веселье начинается всегда на пятый, шестой день, когда всѣ войдутъ во вкусъ, когда всѣ будутъ увлечены общимъ весельемъ, когда тѣ даже, которые заранѣе рѣшаются не маскироваться, не могутъ устоять и одѣваютъ маски; а теперь кому охота дѣлать себѣ костюмъ на одинъ день; намъ нужно, прибавилъ онъ, что называется, разойтись!“ Вечеромъ былъ маскарадъ въ Fenice, но онъ очень походилъ на парижскіе и петербургскіе маскарады, чтобы стоило о немъ говорить. И того, что нигдѣ нельзя увидѣть, кромѣ Венеціи, именно регаты, было дѣйствительно великолѣпно. Регата—это гонка нѣсколькихъ гондолъ на большомъ каналѣ. Съ одиннадцати часовъ утра всѣ дворцы, начиная отъ

ступеней, покрытыхъ водою, до самой крыши, усьялись народомъ; весь каналъ былъ устланъ роскошными гондолами, но которыя на этотъ разъ казались еще великолѣпнѣе, потому что ихъ бархатъ и шолкъ покрылись золотымъ блескомъ яркаго солнца. Гондолы вытянулись опять въ два ряда, оставляя мѣсто для состязующихся, раздалось нѣсколько хоровъ военной музыки, сигналъ—пушечный выстрѣлъ—былъ поданъ, и семь крошечныхъ, легкихъ, вѣсомъ всего въ 30 фунтовъ, гондолъ полетѣли по большому каналу. Все время ихъ сопровождалъ громъ рукоплесканій! Когда онѣ, сдѣлавъ назначенное пространство, возвратились къ дворцу Foscari, гдѣ раздавались небольшія преміи, состязавшіеся стали перебѣгать съ гондолы на гондолу, собирая по обычаю дань со всѣхъ присутствовавшихъ. Гондолы до того запрудили весь каналъ, что, по выраженію гондольера, можно было пройти пѣшкомъ по большому каналу отъ желѣзной дороги до св. Марка, ни разу не замочивъ себѣ ногъ. Когда вся эта масса гондолъ подъ звуки музыки и крики народа, привѣтствовавшего Виктора-Эммануила, сидѣвшаго въ крошечной черной гондолѣ, терявшейся между всѣми другими, тронулась отъ Foscari къ св. Марку, видъ съ балкона, на которомъ я стоялъ, былъ единственный въ своемъ родѣ. Смѣшеніе богатыхъ костюмовъ, которые такъ шли къ красивымъ лицамъ гондольеровъ, роскошная пестрота изящныхъ гондолъ, которыя несли венеціанскихъ красавицъ, солнечные лучи, окрашивавшіе какимъ-то розоватымъ цвѣтомъ рѣзной мраморъ артистическихъ дворцовъ, тянувшихся въ два ряда, давали, мнѣ кажется, полное понятіе о венеціанскихъ праздникахъ лучшей эпохи республики.

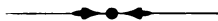
Вечеромъ въ тотъ же день былъ праздникъ на площади св. Марка. Не тысячи, а милліоны пестрыхъ огней освѣтили, чтобы употребить выраженіе Наполеона I, эту бальную залу Венеціи! Оригинальная, смѣшанныхъ стилей, архитектура церкви св. Марка отлично поддавалась самой роскошной иллюминаціи. Всѣ куполы, въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ подъ-рядъ, освѣщались измѣнявшимися бенгальскими огнями, середина фасада была занята огромнымъ огненнымъ крылатымъ львомъ, а боковыя башенки были освѣщены контурными огненными линіями.

Въ три часа ночи на площади раздавалось еще пѣніе. Вотъ мы и подошли къ послѣднему, можетъ быть, лучшему празднику, кото-

рый и, впрочем, не берусь описать. Праздникъ этотъ состоялъ въ ночной сарае на большомъ каналѣ. Было почти часомъ вечера и было нѣсколько тысячъ гондолъ, освѣщенныхъ разноцвѣтными цвѣтками фонарями, бенгальскими огнями, лантанами. Отъ св. Марка шла изъ желѣзной дорогѣ, т. е. черезъ весь каналъ. Впереди шли гондолы или двѣ громадины барки, соединенныя между собой, роскошно освѣщенныя и украшенныя коврами. На этомъ плавающемъ мосту выѣхался оперный хоръ и оркестръ струнной музыки. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ этой барки шла еще такая же лантана, освѣщенная точно также разноцвѣтными фонарями: тутъ находился оркестръ военной музыки. Всѣ дворцы безъ исключенія были иллюминированы, но не снаружи, а внутри, такъ что на каналъ падалъ только мягкій полусвѣтъ. Цѣлое зданіе, шившее впередъ, на своемъ пути оставляло въ нѣсколькихъ пунктахъ, и стройное гнѣие съ большого канала разносилось по цѣлой Венеціи. Въ антрактахъ, во время плаванія, воздухъ оглашался каждую секунду все тѣми же криками: „viva Vittorio-Emmanuel! viva Garibaldi! viva l'Italia! viva Venezia libera!“

Далеко за полночь на каналѣ раздавалось гнѣие и музыка. Далеко за полночь провожали венеціанцы свой праздникъ въ честь освобожденія Венеціи.

Венеція, $\frac{1}{2}$ ноября 1866.



ЗАДАЧА НОВѢЙШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Подлинповцы. Спб. 1867.—Гдѣ лучше? Спб. 1869.—Сочиненія *Θ. Рѣштинкова*
Спб. 1869.

Путь, которымъ пошли въ литературѣ наши новѣйшіе писатели, опредѣлялся самою жизнью общества, а этотъ путь велъ къ изученію народной жизни, къ ея правдивому и безпристрастному изображенію. Такое новое отношеніе литературы къ жизни оказало уже свою долю услуги русскому обществу, помогая ему выяснить ту силу, которая до сихъ поръ играла только пассивную роль въ общественной жизни. Эта сила представилась намъ теперь въ первый разъ въ такомъ грубомъ, первобытномъ состояніи, что по неволѣ дѣлается страшно задаться вопросомъ, сколько нужно времени на распространеніе въ массѣ образованія настолько, чтобы эта масса сдѣлалась дѣйствительною, т. е. нравственною силою. Въ изображеніи народной жизни новѣйшіе писатели пошли своею собственною дорогою, не обращая вниманія на то, какъ изображалась она ихъ ближайшими предшественниками. Конечно, починъ въ изображеніи народной жизни, въ стремленіи знакомить съ нею болѣе или менѣе образованные слои русскаго общества, сдѣланъ не новѣйшими писателями. Еще до нихъ и довольно давно уже обращались къ народной жизни, довольно давно стали писать повѣсти и рассказы, заимствованные изъ народнаго быта, но прежняя литературная дѣятельность въ этомъ направленіи была совершенно другого свойства, чѣмъ дѣятельность писателей

последняго поколѣнія. Прежде у насъ, какъ то было и у иностранныхъ художниковъ, содержаніе для повѣстей и романовъ заимствовалось изъ народнаго быта, но на этотъ бытъ набрасывали какое-то поэтическое облако, такъ сказать, идеализировали его. Говоря такъ, мы не упрекаемъ нашихъ писателей прежняго поколѣнія; эта идеализація соответствовала и личному настроенію писателей, и самому положенію народа. Писатели наши были воодушевлены самыми возвышенными идеями, самыми гуманными принципами, и потому, глядя на народъ, его несчастное положеніе, на его загнанность, забитость, у нихъ являлось сожалѣніе, состраданіе къ горькой жизни русскаго человека, и такое же сожалѣніе, состраданіе они старались вызывать въ читателяхъ своихъ повѣстей и рассказовъ. Жизнь мужиковъ, ихъ бѣдствія изображались большею частію въ такомъ патетическомъ стилѣ, что самыя грубыя натуры должны были на минуту смягчиться и промолвить сквозь зубы: „да, не хорошо! но что же дѣлать! безвыходное положеніе!“ Безвыходность положенія — вотъ что бросалось прежде всего въ глаза въ такихъ повѣстяхъ, типомъ которыхъ можно назвать хоть бы „Антонъ Горемыку“ г. Григоровича; но знанія дѣйствительной жизни, дѣйствительнаго состоянія русскаго народа, его нравовъ, степени умственнаго развитія, его жизненныхъ отношеній, всѣ подобныя повѣсти нисколько не прибавляли. Этотъ колоритъ отчаянія, безвыходности, который набрасывали прежніе романисты, былъ довольно понятенъ въ ту минуту, когда они писали.

Тогда въ самомъ дѣлѣ могло явиться одно отчаяніе, сознаніе полной безпомощности, потому что щель, черезъ которую проходилъ свѣтъ въ мрачную русскую жизнь, была едва замѣтна; можно было подумать, что его лучъ никогда не освѣтитъ собою того безпредѣльнаго пространства тьмы, среди которой прозябалъ русскій народъ. Рядомъ съ представленіемъ народной жизни, представленіемъ полнымъ патетическаго тона, мы встрѣчаемъ такія художественныя, мастерскія картины, какъ „Хоръ и Калинычъ“, „Бѣжинъ Лугъ“, эти перлы „Записокъ Охотника“, которые представляютъ намъ народную жизнь въ такомъ заманчивомъ, притягивающемъ къ себѣ свѣтѣ, что просто вѣрить не хочется, чтобы рѣчь шла о той самой жизни, о тѣхъ самыхъ людяхъ, о которыхъ рассказываютъ теперь намъ наши новѣйшіе писатели. Кто не знаетъ „Хоря и Калиныча“, кто не

вчитывался въ „Бѣжинъ Лугъ“, не останавливался передъ этою группою, высѣченною точно изъ мрамора; кто послѣ этого, на минуту забываясь, не говорилъ себѣ: „а хороша русская жизнь, сколько въ ней поэзіи, сколько наивной, изящной простоты!“? кого не подкупали эти яркія, привлекательныя краски, которыми рисовалъ подчасъ русскаго мужика Тургеневъ? Правда, въ этихъ же самыхъ „Запискахъ Охотника“ была и другая нота, та, которая даетъ имъ преимущественное значеніе: это—нота протеста противъ уродливыхъ отношеній, создаваемыхъ крѣпостнымъ правомъ; но тѣмъ не менѣе, еслибы кто-нибудь захотѣлъ судить о народной жизни и народныхъ нравахъ по артистическимъ рассказамъ, составляющимъ „Записки Охотника“, тотъ вынесъ бы о нихъ понятіе, далеко не отвѣчающее строгой истинѣ. Оно и естественно: прежде смотрѣли на народъ мимоходомъ, заносили въ свои записныя книжки случайныя черты, которыя удалось подмѣтить, но никогда не подходили къ народу, задавшись серьезною цѣлью близко освоиться съ народною жизнью и изобразить ее во всей наготѣ, сохраняя строгую истину, строгую правду. Изображеніе строгой истины выпало именно на долю новѣйшихъ писателей, которые взялись нарисовать жизнь народа такъ, какъ она есть, безъ всякихъ вымышленныхъ прикрасъ, безъ всякаго сентиментальнаго отношенія ко всѣмъ уродливостямъ этой жизни. Прежде заботились только о томъ, чтобы въ описаніе народнаго быта внести какъ можно болѣе мягкій тонъ, нѣжность, идиллію, сентиментальность, какое-то, если можно такъ выразиться, „салонное“ воззрѣніе на народъ; новѣйшіе писатели предпочли отнестись къ этому предмету какъ нельзя болѣе трезво, не прикрывая поэтическимъ облакомъ той некрасивой, тяжелой картины, которую представляетъ собою наша народная жизнь.

Эта картина въ ихъ описаніяхъ явилась въ ужасающей наготѣ; на сцену выступила страшная дикость, непроходимое невѣжество, грубость; оказалось, что въ этомъ загнанномъ народѣ нѣтъ развитія, нѣтъ ничего, что составляетъ достоинствѣ цивилизованныхъ массъ; что въ основѣ всѣхъ отношеній лежитъ самое вопіющее безправіе, и только изрѣдка попадаются хорошіе инстинкты, которые должны развиваться, когда образованіе проникнетъ въ эту густую невѣжественную народную массу. Такая обнаженная истина должна была бы ослабить фальшивую гордость однихъ, которые кричали о народѣ,

какъ о готовой уже силѣ, и вразумить другихъ, которые, приосанясь, говорятъ: „что ваша цивилизація, что ваша западная образованность! посмотрите на насъ, на нашего русскаго мужичка, на нашъ святой русскій народъ!“ А на дѣлѣ, этотъ „русскій мужичокъ“, въ своихъ семейныхъ и житейскихъ отношеніяхъ, не всегда разсуждаетъ по-человѣчески и тонетъ въ непроходимой дикости нравовъ, благодаря всему строю русской жизни. Несмотря однако на такую печальную картину, которая рѣзко противорѣчитъ сентиментальнымъ и идиллическимъ описаніямъ прежнихъ писателей, нельзя не чувствовать, что новѣйшіе писатели несравненно ближе къ этому народу, что они относятся къ нему съ большимъ участіемъ, большею любовью, чѣмъ относились къ народу въ старыя годы. Они не боятся говорить о народѣ сущую правду, рисовать дикость и грубость его, потому что они отлично сознаютъ, что не народъ виноватъ въ этихъ порокахъ, которые должны будутъ исчезнуть, какъ только въ его жизнь войдетъ образованіе, развитіе. „Описаніе народа со всею дикостью и невѣжествомъ, которымъ пропитанъ онъ, безъ всякихъ прикрасъ и ретушей, не художественно“, скажутъ нѣкоторые, и затѣмъ отвернутся съ презрѣніемъ отъ произведеній новѣйшей беллетристики. Но такое презрительное отношеніе къ молодымъ писателямъ не представляетъ собою ничего новаго, небывалаго.

Въ исторіи русской литературы встрѣчается не одинъ примѣръ ожесточенной вражды противъ всякаго новаго направленія и противъ тѣхъ писателей, которые имѣли достаточно силы, чтобы не идти по старой дорогѣ, а пробивать себѣ свою, еще не протоптанную рутину. Стоить только припомнить, какимъ свистомъ, какимъ дикимъ гуломъ и злостными воплями встрѣчены были первые шаги Пушкина, который имѣлъ дерзость заговорить своимъ простымъ, но вмѣстѣ удивительнымъ языкомъ, и описывать жизнь, людскія отношенія такъ, какъ они представляются на самомъ дѣлѣ, безъ всякихъ высокопарныхъ прикрасъ, безъ всякой фальшивой прикрасы. Развѣ не съ одинаковымъ ожесточеніемъ встрѣченъ былъ натурализмъ или, проще сказать, реализмъ Гоголя, развѣ старая школа, старое направленіе не хотѣло забросать его камнями, развѣ не кричало оно: распни, распни его! И однако, что же вышло изъ этихъ криковъ, что же вышло изъ этой страстной вражды? какъ пушкинское, такъ и гоголевское направленіе глубоко врѣзались въ исторію русской литературы, въ

исторію русской жизни; и то и другое „воздвигло памятникъ себѣ нерукотворный“. Мы знаемъ, что насъ тутъ могутъ прервать насмѣшливымъ вопросомъ: „ужъ не претендуете ли вы приравнивать этихъ колоссовъ къ вашимъ пигмеямъ, ужъ не думаете ли ставить на одну доску значеніе современнаго новаго направленія съ „новыми“ направленіями тѣхъ крупныхъ литературныхъ періодовъ?!“ Мы вовсе и не думаемъ сравнивать тѣхъ, на кого нападали тогда и теперь; мы сравниваемъ только тѣхъ, кто нападалъ тогда, и кто теперь нападаетъ, и только среди этихъ послѣднихъ мы находимъ совершенно сходною.

Дѣло не въ томъ, что имена однихъ писателей останутся вѣчны въ русской литературѣ, а имена другихъ послѣ извѣстнаго промежутка времени исчезнутъ,—вся важность для насъ въ томъ, чтобы каждое направленіе въ литературѣ сослужило свою службу. Направленіе литературы въ извѣстный періодъ времени—это одинъ вопросъ, а высота писателей, поддерживающихъ его своею дѣятельностью—другой, и эти два вопроса можно разсматривать совершенно отдѣльно. Направленіе литературы представляется результатомъ времени, обусловливается тѣми или другими общественными требованіями, жизнью народа въ данный моментъ; что же касается до писателей, то дѣятельность ихъ хотя, безъ сомнѣнія, и опредѣляется существующимъ направленіемъ въ литературѣ, но самая сила таланта остается независимой отъ него. Талантъ, гений—это даръ, прирожденный человеку, который нельзя произвести никакими способами, никакими усиліями, и только характеръ произведеній, твореній, въ которыя выливается этотъ гений, обусловливается эпохою, когда появляется новое свѣтило человечества. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что родился сегодня Дантъ—онъ не создалъ бы своей „Божественной Комедіи“: гений его нашелъ бы себѣ иное выраженіе; иное время, иныя условія жизни, иная образованность направили бы его творческую дѣятельность на предметы болѣе близкіе намъ, чѣмъ его адъ, чистилище или рай. Правда, одно время, одни условія жизни болѣе содѣйствуютъ широкому развитію таланта или гения, чѣмъ другое время, другія условія, но тѣмъ не менѣе, если въ человѣкѣ есть эта прирожденная сила, она скажется, обнаружится, какое бы направленіе ни господствовало въ литературѣ.

Какое бы направленіе ни господствовало, въ основаніи его все-

такъ всегда лежитъ природа, человѣкъ, жизнь, понимаемая болѣе узко или болѣе широко; а тамъ, гдѣ есть жизнь, тамъ есть и возможность дѣйствовать для таланта или для генія. Слѣдовательно, не извѣстное направленіе нужно обвинять за то, что оно не выставило крупнаго таланта или генія, а скорѣе простой случай, что въ данную минуту не родился человѣкъ съ исключительною силою, или, можетъ быть, еще вѣрнѣе будетъ обвинять предшествовавшій періодъ, который такъ мало посягалъ, и предшествовавшее направленіе, которое не дало отъ себя богатыхъ ростковъ. Насколько выгодны условія новаго направленія для развитія талантовъ, на это можетъ отвѣтить только будущее, потому что это направленіе только сѣетъ теперь, жатва же еще далеко впереди. Явятся или нѣтъ въ новомъ направленіи такіе же крупные таланты, какими отличались предшествовавшіе періоды, это другой вопросъ; значеніе же этого направленія, по преимуществу народнаго, отъ этого не измѣнится; оно имѣетъ важность само по себѣ, опредѣляя собою, какая перемѣна произошла какъ въ русской жизни, такъ и въ русской литературѣ.

I.

Разсматривая значеніе извѣстнаго направленія въ литературѣ независимо отъ силы тѣхъ или другихъ талантовъ, которые ему служатъ, мы имѣемъ полное право сказать, что вражда, встрѣчающая новое направленіе въ русской литературѣ, принадлежитъ къ тому же самому роду, къ второму относится и вражда, встрѣтившая въ былое время появленіе пушкинскаго или гоголевскаго направленія. Великая тѣнь Пушкина или Гоголя, мы полагаемъ, не будетъ оскорблена подобнымъ приравливаніемъ. Упреки и обвиненія, которые дѣлаются молодымъ писателямъ нашего времени, до того похожи на упреки и обвиненія, которые дѣлались „натурализму“ Гоголя, что, оправдывая ихъ, мы могли бы ограничиться буквальнымъ повтореніемъ тѣхъ же самыхъ возраженій, которыя дѣлались двадцать лѣтъ тому назадъ. Литература должна изъ всѣхъ своихъ силъ стремиться къ самобытности, къ народности, сдѣлаться естественною, натуральною. Это было сказано давно уже, но мы такъ мало ушли впередъ въ этомъ отношеніи, что и теперь еще не излишне повторять ту старую истину. Давно уже говорилось, что „нужно обратить все вниманіе на

толпу, на массу, изображать людей обыкновенныхъ, а не пріятныхъ только исключенія изъ общаго правила, которыя всегда соблазняютъ поэтовъ на идеализированіе и носятъ на себѣ чужой отпечатокъ". „И вотъ—замѣчали тогда—теперь обвиняютъ писателей... что они любятъ изображать людей низкаго званія, дѣлаютъ героями своихъ повѣстей мужиковъ, дворниковъ, извозчиковъ, описываютъ „углы“, убѣжища голодной нищеты и часто всяческой безнравственности. Чтобы устыдить новыхъ писателей (т. е. 40-хъ годовъ), обвинители съ торжествомъ указываютъ на прекрасныя времена русской литературы, ссылаются на имена Карамзина и Дмитріева, избравшихъ для своихъ сочиненій предметы высокіе и благородные, и приводятъ въ примѣръ забытаго теперь изящества чувствительную пѣсенку: „Всѣхъ цвѣточковъ болѣ розу я любилъ“. Мы же напомнимъ имъ, что первая русская замѣчательная повѣсть была написана Карамзинимъ, и ея героиня была обольщенная петиметромъ крестьянка — бѣдная Лиза... Но тамъ, скажутъ они, все опрятно и чисто, и подмосковная крестьянка не уступитъ самой благовоспитанной „барышнѣ“. Вотъ мы и дошли до причины спора: тутъ виновата, какъ видите, старая пѣснѣжка. Она позволяетъ изображать, пожалуй, и мужиковъ, но не иначе, какъ одѣтыхъ въ театральные костюмы, обнаруживающихъ чувства и понятія, чуждыя ихъ быту, положенію и образованію, и объясняющихся такимъ языкомъ, которымъ никто не говоритъ, а тѣмъ менѣе крестьяне, — языкомъ литературнымъ...“ Такъ говорилъ Бѣлинскій, возражая порицателямъ натуральной школы, и тѣмъ хулителямъ, которые приходили въ негодованіе отъ попытокъ изображать въ повѣстяхъ народныя типы. Положеніе съ тѣхъ поръ, нужно сознаться, не слишкомъ много измѣнилось въ нашемъ литературномъ мірѣ. Разумѣется, старая пѣснѣжка должна была сдѣлать нѣкоторыя уступки; она примирилась съ мужиками г. Григоровича и даже полюбила ихъ, она примирилась съ прелестными картинками Тургенева, но дальше этихъ уступокъ она не хочетъ идти, о болѣе близкомъ знакомствѣ съ народомъ не хочетъ и слышать. Изображеніе народа этими писателями было, конечно, верхомъ совершенства для эпохи Бѣлинскаго, для того времени, когда знакомство съ дѣйствительною народною жизнью только-что начиналось, когда лица, взятые изъ народа, показывались только на заднемъ планѣ.

Съ тѣхъ поръ прошло много времени, въ народной жизни совер-

шилось крупное событіе, и потому литература не могла болѣе довольствоваться идеализированными „мужичками“, какими являются русскіе мужики у нашихъ прежнихъ писателей. То, что прежде удовлетворяло, не можетъ удовлетворять болѣе теперь, когда знакомство съ народною жизнью вступило совершенно въ новый фазисъ. Мы вполне понимаемъ, что еще не такъ давно наши писатели не могли изображать народъ съ тою правдою, съ которою изображаютъ его теперь, такъ какъ для того требовалось глубокое знаніе, котораго тогда еще не было; но и того, какъ изображали народъ тогда, было уже слишкомъ довольно, чтобы вызвать негодованіе противъ „натуралистовъ“ 40-хъ годовъ. Старые пинты, нападавшіе тогда на „натуралистовъ“, не вымерли, они даже мало измѣнили свою позицію, и потому слова Бѣлинскаго сохраняютъ всю свою свѣжесть. Тѣ народные типы, которые въ 40-хъ годахъ вызвали порицаніе за свою нескромную наготу, теперь представляются уже намъ одѣтыми въ „театральные костюмы“; иначе быть и не могло, послѣ того, какъ мы увидѣли другое, болѣе близкое къ правдѣ изображеніе. Между тѣмъ наши вѣчные поклонники старины продолжаютъ требовать, чтобы писатели не снимали съ изображаемыхъ ими лицъ сотканные ими театральные костюмы, и накидываются поэтому на „реалистовъ“ шестидесятыхъ годовъ, какъ накидывались прежде на „натуралистовъ“ сороковыхъ годовъ. Эти порицатели новаго направленія, которые по какой-то странной логикѣ причисляютъ Бѣлинскаго къ своимъ, забываютъ, что онъ говорилъ о необходимости возможно-близкаго сходства лицъ въ литературѣ съ ихъ образцами въ дѣйствительности, и восклицаютъ теперь, какъ, по словамъ Бѣлинскаго, восклицали и тогда: „посмотрите, что теперь пишутъ! мужики въ лаптяхъ и армякахъ, часто отъ нихъ несетъ сивухою, баба — родъ centaвра, по одеждѣ не вдругъ узнаешь, какого это пола существо; углы — убожища нищеты, отчаянія и разврата, до которыхъ надо доходить по двору, грязному по колѣни; какой-нибудь пьянюшка, подъячій или учитель изъ семинаристовъ, выгнанный изъ службы — все это описывается съ натуры, въ наготѣ страшной истины, такъ что если прочитаешь — жди ночью тяжелыхъ сновъ...“ Влагая подобное восклицаніе въ уста противниковъ школы „натуралистовъ“, Бѣлинскій прибавляетъ: „такъ или почти такъ говорятъ маститые питомцы старой пинтики“. Еслибы мы захотѣли резюмировать то, что гово-

рится въ настоящее время противниками новаго направленія въ литературѣ, то мы не могли бы этого сдѣлать лучше, чѣмъ сдѣлалъ это двадцать лѣтъ тому назадъ Бѣлинскій, когда онъ защищалъ молодыхъ писателей того времени противъ нападокъ старыхъ пѣнтовъ. Возгласы, раздававшіеся тогда, когда дѣлались только первыя попытки ввести въ русскую литературу русскаго мужика, до того похожи на тѣ, которые раздаются теперь, когда попытка превратилась уже въ направленіе, что мы могли бы цѣликомъ выписать нѣсколько страницъ изъ Бѣлинскаго, вполне предоставляя ему отвѣчать на всѣ упреки, дѣлаемые молодымъ писателямъ. „Что за охота наводнять литературу мужиками?“ говорится у насъ сплошь и рядомъ, и вопросъ этотъ до такой степени современенъ, что мы по неволѣ нѣсколько удивлены, когда этотъ вопросъ, сформулированный именно такимъ образомъ, находимъ у человѣка, который писалъ уже двадцать лѣтъ тому назадъ. „Что можетъ быть интереснаго въ грубомъ, необразованномъ человѣкѣ?“ спрашивалось тогда, какъ спрашивается и до сихъ поръ, и на этотъ вопросъ приходится отвѣчать, какъ отвѣчали и тогда, краснѣя только за необходимость подобнаго объясненія. „Какъ что? его душа, умъ, сердце, страсти, склонности—словомъ, все то же, что и въ образованномъ человѣкѣ“. Интересны въ изображеніи мужиковъ, народа, его жизнь, его понятія, его нравы, и чѣмъ больше образованная среда была до сихъ поръ оторвана отъ народа, отъ массы, отъ толпы, тѣмъ больше должны быть направлены на его изученіе, на знакомство съ нимъ литературныя силы, тѣмъ больше литература должна дѣлаться понятною вѣстѣ съ тѣмъ и для самой массы, и стараться вливать въ нее всѣ тѣ идеи, всѣ тѣ результаты образованности, которые мы могли только перенять у западной цивилизаціи.

Тѣ, которые въ изображеніи народа не видятъ ничего кромѣ грязи и пошлости, тѣ конечно совершенно основательно жалуются на крайнее паденіе литературы и въ народномъ направленіи не могутъ усматривать ничего иного, какъ только гибель искусства да посягательство на эстетику. Чтобы показать, какъ несправедливы подобныя жалобы, намъ пужно было бы заговорить о томъ, какъ понимается искусство одними, и какъ понимается другими, что разумѣть подѣ эстетикой и т. п., но это отвлекло бы насъ слишкомъ далеко отъ главнаго предмета нашей статьи. Мы не можемъ удержаться однако,

чтобы по поводу этих жалоб не привести еще разъ словъ Вѣлинскаго, которыя относились точно также къ жалобамъ старыхъ пштовъ на поползновеніе ввести въ литературу народныя типы. „Въ сущности, говорилъ онъ, ихъ жалобы состоятъ въ томъ, зачѣмъ поэзія перестала безстыдно лгать, изъ дѣтской сказки превратилась въ быль, не всегда пріятную; зачѣмъ отказалась она быть гремушкою, подъ которую дѣтямъ пріятно и прыгать и засыпать. Странные люди, счастливые люди! имъ удалось на всю жизнь остаться дѣтьми и даже въ старости быть несовершеннолѣтними, недорослями, — и вотъ они требуютъ, чтобы и всѣ походили на нихъ! Да читайте, продолжалъ Вѣлинскій, свои старыя сказки — никто вамъ не мѣшаетъ, а другимъ оставьте занятія, свойственныя совершеннолѣтію. Вамъ ложь — намъ истина: раздѣлился безъ спору, благо вамъ не нужно нашего пая, а мы даромъ не возьмемъ вашего...“ Слова эти служатъ отличнымъ отвѣтомъ всѣмъ порицателямъ народнаго направленія, которые не признаютъ въ немъ ничего, кромѣ грязи и пошлости, которые не умѣютъ открывать подъ этою грязью и пошлостью и человѣческой мысли, и человѣческой боли, страданія, и подъ грубою рѣчью услышать инстинктивный крикъ, вызванный изуродованною невѣжествомъ жизнью. Порицатели этого направленія до такой степени потеряли сознаніе того, чѣмъ должна быть литература, къ чему она должна стремиться, что они полагаютъ, что вся задача ея заключается въ томъ, чтобы удовлетворять самымъ тонкимъ ощущеніямъ изощреннаго вкуса да заниматься изображеніемъ самыхъ возвышенныхъ чувствъ высшихъ классовъ общества. Чтожъ, было и такое время, когда литература занималась исключительно самыми высокопоставленными лицами, когда все, что стояло ниже королей, считалось недостойнымъ сюжетомъ для литературы. Въ сущности порицатели народнаго направленія держатся почти того же воззрѣнія на литературу; они точно также не пришли еще къ убѣжденію, что вся природа, вся жизнь должна служить для нея матеріаломъ, выражается ли эта жизнь въ королѣ, дворянинѣ, мѣщанинѣ или мужикѣ. До сихъ поръ, собственно говоря, эти порицатели сидятъ еще на литературной азбукѣ, признавая, что искусство, художественность, эстетичность должны быть непременно обставлены бархатомъ и золотомъ, шолкомъ и серебромъ, и что все, что внѣ этого, недостойно быть предметомъ литературнаго описанія. Безъ всякаго сомнѣнія, кто такимъ обра-

зомъ понимаетъ литературу, кто любитъ читать только для пріятнаго препровожденія времени, для того чтеніе не есть потребность ума, источникъ знанія, для того грязь и пошлость народнаго быта должны представлять именно только грязь и пошлость, тотъ не отыщетъ тутъ для себя пищи для серьезныхъ и глубокихъ думъ и размышленій, чувство того не будетъ задѣто мрачною картиною, которую рисуютъ намъ новѣйшіе писатели. „Книга должна пріятно развивать; я и безъ того знаю, что въ жизни много тяжелаго и мрачнаго, и если я читаю, такъ для того, чтобы забыть это“: такъ или почти такъ говорятъ всѣ порицатели каждаго новаго, болѣе серьезнаго стремленія литературы, и къ такимъ цѣнителямъ литературы можно обратиться и теперь ту же рѣчь, съ которою обращались къ нимъ двадцать лѣтъ назадъ: „такъ, милый, добрый сибаритъ, для твоего спокойствія и книги должны лгать, и бѣдный забывать свое горе, голодный свой голодъ, стоны страданія должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетитъ, не нарушился твой сонъ...“ Къ счастью, задача литературы вовсе не такова, чтобы удовлетворять пустому любопытству, праздною забавѣ, которой главный интересъ заключается въ любопытныхъ описаніяхъ, въ изображеніяхъ страсти и т. п. Конечно, литература не должна чуждаться любви, страсти, потому что чувства эти принадлежатъ человѣческой природѣ, но чувства эти не должны брать перевѣса надъ всею остальною жизнью, какъ то было почти правиломъ въ старой литературѣ. Задача литературы болѣе широка, она должна захватывать всѣ стороны человѣческой жизни, а не ограничиваться одною какою-нибудь стороною, подъ угрозою сдѣлаться бесполезною для развитія общества. Быть полезно—вотъ главное условіе для литературы; какъ только она перестанетъ приносить собою пользу обществу, она теряетъ право на существованіе и въ жизни народа отступаетъ на самый дальній планъ. Горе литературѣ, когда она доходитъ до подобнаго упадка.

Бываютъ періоды въ жизни общества, когда литература повинна, занимаясь исключительно описаніемъ любви, страсти, но это тѣ безотрадные періоды, когда всѣ общественные интересы лежатъ подъ тяжелымъ спудомъ и потому недоступны для литературы. Если въ эти періоды литература перестаетъ быть эхомъ общественныхъ интересовъ, то конечно изъ этого не слѣдуетъ немедленно заключать,

чтобы въ обществѣ вовсе не шевелились важные общественные интересы; часто они долго тлѣютъ невидимо для глаза, но за то, какъ только наступаетъ благоприятная минута, сдерживавшая ихъ плотина прорывается и они начинаютъ бушевать съ усиленною дѣятельностью. Русская литература не разъ уже переживала подобныя безотрадные эпохи, и потому мы хорошо понимаемъ, отчего въ нашемъ обществѣ такъ глубоко укоренилось понятіе, что изящная литература должна быть главнымъ образомъ посвящена изображенію возвышенныхъ чувствъ. Это уже старая истина, что привычка — вторая натура. Чѣмъ больше вкоренилось какое-нибудь понятіе, тѣмъ болѣе нужно доказывать всю его несообразность. Изящная литература, не переставая быть изящною, точно также какъ и всякая другая, должна главнымъ образомъ служить живымъ общественнымъ интересамъ. Служеніе этимъ общественнымъ интересамъ должно создавать новыя условія для художественныхъ или эстетическихъ интересовъ. Только въ такомъ случаѣ изящная литература, какъ самая популярная, выполняетъ свое назначеніе, и та польза, которую она обязана приносить, конечно не рождаетъ изящную литературу, а только возвышаетъ ея роль, ея значеніе въ развитіи общества.

Какъ много ни смѣялись у насъ надъ этою старинною, избрѣтенною какими-то мудрецами, формулою: „искусство для искусства“, но нужно сказать, что она обладаетъ необыкновенною живучестью, имѣетъ въ нашемъ обществѣ множество партизановъ, которые съ презрѣніемъ отнесутся къ нашимъ словамъ, что искусство должно главнымъ образомъ имѣть въ виду одно: приносить пользу обществу. Требованіе, выставляемое нами, вовсе не наше требованіе, не намъ принадлежитъ честь открытія этой простой истины, до нея дошли прежде насъ, и мы, „на зло надменному сосѣду“, который утверждаетъ, что въ современной литературѣ не признаютъ никакихъ авторитетовъ замѣчательныхъ умовъ, геніевъ, прикроемся авторитетомъ все того же Бѣлинскаго, который давно уже писалъ, что художественный интересъ долженъ уступать другимъ важнѣйшимъ для человѣчества интересамъ, и что искусство отъ этого не только не перестаетъ быть искусствомъ, но получаетъ только новый характеръ. „Отнимать у искусства, писалъ Бѣлинскій, право служить общественнымъ интересамъ, значитъ не возвышать, а унижать его, потому что это значитъ — лишать его самой живой силы, т.-е. мысли, дѣлать

его предметомъ какого-то сибаритскаго наслажденія, игрушкою праздныхъ лѣнливцевъ. Это значитъ даже убивать его, чему доказательствомъ можетъ служить жалкое положеніе живописи нашего времени. Какъ будто не замѣчая кипящей вокругъ него жизни, съ закрытыми глазами на все живое, современное, дѣйствительное, это искусство ищетъ вдохновенія въ отжившемъ прошедшемъ, беретъ оттуда готовые идеалы, къ которымъ люди давно охладѣли, которые никого уже не интересуютъ, не грѣютъ, ни въ комъ не пробуждаютъ живого сочувствія“.

Значеніе литературы обусловливается также принадлежащимъ ей вліяніемъ; чѣмъ шире кругъ, на который она дѣйствуетъ, чѣмъ крупнѣе общественные интересы, которыми она задается, чѣмъ ближе, понятнѣе она становится массѣ, толпѣ, тѣмъ больше пользы приноситъ литература обществу. Есть нѣсколько путей становится болѣе понятнымъ, болѣе близкимъ народу, и не мы, конечно, стали бы радоваться, еслибы литература ради того, чтобы болѣе цѣльно представлять интересы цѣлаго народа и становится ему болѣе понятною, избрала бы средствомъ для того пониженіе своего уровня; не мы стали бы радоваться, еслибы изящная литература, въ виду расширенія своего круга дѣйствія, отрѣшилась отъ самыхъ дорогихъ идей, выработанныхъ западною цивилизаціею, подъ тѣмъ предлогомъ, что идеи эти непонятны народу. Цѣль литературы, стремленіе ея, задача—не опускаться до уровня народа, а напротивъ, возвышать народъ до своего уровня,—только тогда она будетъ имѣть воспитательное значеніе. Вотъ путь, на которомъ должна стоять литература, и путь этотъ, нужно сказать, не представляетъ затрудненій. Всякая выработанная, готовая идея такъ проста въ своемъ существѣ, что будь она выражена только въ формѣ удобопонятной для большинства, и нѣтъ сомнѣнія, что идея эта примется, войдетъ въ народное пониманіе.

Таково, конечно, должно быть значеніе новаго направленія въ литературѣ. Писатели, примыкающіе къ нему, должны были поставить себѣ важную и серьезную задачу: изучить народную жизнь, показать намъ всѣ формы, всѣ проявленія ея; они должны были проникнуться всѣми интересами народа, печальми, горемъ, небольшими радостями его, живо представить всѣ его нравы, понятія, стремленія, вывести живые образы, живые типы, безъ всякихъ при-

украшиваній, безъ всякаго идеализированія ихъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ свои произведенія внести серьезную мысль, здоровныя идеи, освѣтить мрачныя стороны народной жизни сильнымъ лучомъ знанія, развитія, образованности. Только при выполненіи всѣхъ этихъ условій новое направленіе въ литературѣ исполнитъ всю свою роль, сдѣлаетъ литературу вполне народною, и, почерпая изъ народа свою силу, будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ вліять на него, выправлять его понятія и осмыслить народное міросозерцаніе, внося въ него свѣтлыя идеи. Тогда только литература будетъ приносить всю ту пользу, которую она обязана приносить. Тогда только она сдѣлается истинною силою, какою литература и должна быть въ странѣ; но это будетъ искусство не для искусства, а искусство для жизни.

Если такова должна быть задача, такова должна быть роль новаго направленія въ литературѣ, то изъ этого, конечно, нельзя выводить еще, чтобы задача эта была уже выполнена. Безъ сомнѣнія, нѣтъ. Новое направленіе приблизилось только къ истинному пути; оно, благодаря ходу самой жизни, вступило болѣе рѣшительно, чѣмъ когда бы то ни было, на вѣрную дорогу и сдѣлало въ русской литературѣ новый и добрый посѣвъ. Какова будетъ жатва, этого, конечно, мы не возьмемся рѣшать.

Ошиблись бы, разумѣется, тѣ, которые вздумали бы утверждать, что новое направленіе въ литературѣ, о которомъ идетъ рѣчь, должно замкнуться и ограничить свой кругъ изображеніемъ исключительно однихъ мужиковъ. Для того, чтобы литература сдѣлалась народною, ей не нужно суживаться, потому что ограниченіе себя однимъ только слоемъ низшихъ классовъ народа было бы въ концѣ концовъ, можетъ быть, такъ же вредно, какъ и ограниченіе однимъ только слоемъ высшихъ классовъ народа. Нужно только одно, чтобы въ произведеніяхъ писателей изображались лица, не чуждыя народу, чтобы они тѣсно связаны были другъ съ другомъ общественными интересами, чтобы стремленія однихъ не были чужды, противоположны стремленіямъ другихъ, чтобы лица, выводимыя писателями, были близки, понятны народу, чтобы жизнь этихъ лицъ была, однимъ словомъ, неразрывно переплетена съ жизнью народа, съ разумно понятными его интересами. Такой тѣсной связи героевъ съ народными интересами не было у писателей предшествующаго поколѣнія, и напрасно стали бы они указывать на то, что изображеніе лицъ изъ

образованныхъ слоевъ общества никогда не можетъ быть понятно народу. Это не вѣрно. Возьмите крупныя произведенія какой угодно страны, и вы увидите, что какъ ни чужда масса высшему обществу, но когда крупный талантъ, гений берется изображать типъ изъ какого бы то ни было класса общества, масса всегда пойметъ его. Изъ какого бы общества, изъ какой бы среды ни взялъ Сервантесъ своего Донъ-Кихота, масса всегда поняла бы его въ Испаніи; изъ какой бы среды Шекспиръ ни бралъ своихъ героевъ, масса всегда пойметъ ихъ въ Англіи, потому что въ подобныхъ лицахъ, будь сто разъ они королями, есть столько національнаго, не говоря уже объ ихъ общечеловѣческой сторонѣ, столько общаго въ нравахъ, свойствахъ, цѣломъ характерѣ, что всякій испанецъ узнаетъ въ Донъ-Кихотѣ своего, какъ узнаетъ своего всякій англичанинъ въ герояхъ Шекспира. Масса, какъ бы она ни была неразвита, всегда пойметъ близкіе ей типы, и близкіе не по положенію, а по тѣмъ стремленіямъ, по тѣмъ интересамъ, которыми они воодушевлены. Пусть поэтому молодые писатели, если у нихъ есть только къ тому стремленіе, рисуютъ типы изъ какой угодно среды; если только въ изображаемыхъ ими лицахъ будутъ живы общественные интересы, пониманіе народныхъ выгодъ или просто широкое пониманіе вообще челонѣческой жизни, тогда эти типы, эти произведенія не будутъ чужды массѣ, въ ихъ біеніи сердца она подслушаетъ отголосокъ своего собственнаго біенія. Новое направленіе не обусловливается непременно изображеніемъ однихъ мужиковъ, какъ утверждаютъ тѣ, которые, съ умысломъ или безъ умысла, не понимаютъ его значенія, — оно требуетъ только отъ писателя, чтобы такъ или иначе имъ преслѣдовались народные интересы, чтобы изображаемые типы были понятны, близки народу; оно требуетъ, — въ видахъ главной цѣли литературы, пользы, — начертанія такихъ типовъ, изображенія такихъ сторонъ, преслѣдованія такихъ общественныхъ вопросовъ, чтобы литература была истиннымъ отраженіемъ жизни всего общества, всего народа, чтобы по русской литературѣ, однимъ словомъ, можно было познакомиться съ дѣйствительною жизнью, съ дѣйствительнымъ развитіемъ, нравами, обычаями массы. Оно требуетъ, иначе говоря, чтобы русская литература была не литературою отдѣльнаго только кружка, а литературою цѣлаго народа.

Если писатели новаго направленія сосредоточили главнымъ обра-

зюмъ всѣ свои силы на изображеніе быта простого народа, то, какъ мы уже сказали, они вызваны были къ тому новыми условіями нашего общественнаго развитія. Народная жизнь, построенная на самыхъ чудовищныхъ основаніяхъ, въ концѣ которыхъ было крѣпостное право, должна была теперь преобразоваться на основаніи болѣе разумныхъ началъ. Въ этомъ случаѣ, какъ и во всѣхъ остальныхъ, наше развитіе должно было подчиниться въ концѣ концовъ благотворительному давленію европейской цивилизаціи. Та перемѣна въ положеніи народа, которая совершается на нашихъ глазахъ, представляется только отголоскомъ, прямымъ результатомъ того общаго европейскаго движенія, которое съ такою неудержимою силою стремится все впередъ и впередъ. Въ этой связи — а не въ чемъ иномъ — нашего движенія съ общеевропейскимъ движеніемъ лежитъ лучший залогъ, лучшее ручательство нашего будущаго развитія. Эта-то связь и даетъ намъ полное право называть или лицемѣрами, или слѣпными всѣхъ тѣхъ, которые рѣшаются утверждать, что мы не принадлежимъ къ Европѣ. Нѣтъ, мы питаемся западною цивилизаціею, мы идемъ по ея слѣдамъ, и каждое движеніе, которое совершается тамъ, черезъ болѣе или менѣе промежутокъ времени, отзывается рѣшительнымъ образомъ и на нашемъ развитіи. Если связь наша съ Европою и съ цивилизаціею неразрывна, то какъ, спрашивается, могли мы быть тронуты тѣмъ потокомъ народности, который успѣлъ уже разлиться по цѣлой Европѣ? Народность — вотъ имя европейскаго движенія XIX вѣка, того начала, которое вѣлось во всѣ стороны человеческой жизни, всюду выдвигая народъ на первый планъ, всюду вооружая его всѣми необходимыми орудіями для завоеванія себѣ мѣста и для конечнаго торжества. Если народное начало проникло во всѣ стороны жизни, то возможно ли было бы ожидать, чтобы оно миновало искусство, литературу, т.-е. ту отрасль человеческой дѣятельности, въ которой по преимуществу отражается цѣлое общество? Народное начало не могло миновать искусства, и мы на самомъ дѣлѣ видимъ, что искусство, какъ выражаются на Западѣ, демократизируется во всей Европѣ. Живопись, скульптура, музыка, литература — всѣ эти отрасли искусства получаютъ содержаніе и принимаютъ формы болѣе понятныя для массы, а такая „демократизація“ искусства ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть названа его паденіемъ. Напротивъ того, она возвышаетъ значеніе искусства, опредѣляемое его вліяніемъ,

и открываетъ ему болѣе широкіе горизонты, расширяетъ его вліяніе, и тѣмъ самымъ увеличиваетъ его значеніе. Ни одна изъ отраслей искусства не получила такого рѣзко опредѣленнаго народнаго направленія, какъ литература. Во всѣхъ почти европейскихъ литературахъ низшіе слои общества, народъ, занялъ видное мѣсто, всѣ главныя литературныя силы занялись его изображеніемъ. Литература въ этомъ случаѣ отражаетъ только жизнь, она дѣлаетъ какъ бы наглядною ту пережвѣну, которая произошла въ обществѣ положеніи дѣлъ.

То самое явленіе, которое мы замѣчаемъ въ европейской жизни, повторяется и въ русской; здѣсь точно также искусство становится народнымъ, и рѣшительный шагъ къ тому сдѣланъ именно новымъ направленіемъ, которое въ свою очередь вызвано, какъ мы уже сказали, новыми условіями нашей общественной жизни. Мы подчиняемся, къ нашему, разумѣется, счастью, общему закону развитія, и у насъ литература служитъ немедленнымъ отголоскомъ тѣхъ пережвѣтъ, которыя совершаются въ нашихъ общественныхъ порядкахъ. Новые порядки, въ болѣе или меньшей мѣрѣ, призвали къ жизни народную массу, и вотъ искусство тотчасъ же спускается изъ высшихъ слоевъ въ низшіе, и принимаетъ характеръ по преимуществу народный. Народная сила выступила на первый планъ, и литература немедленно должна была задаться вопросами: чтѣ же это за сила, какія ея свойства, какой ея характеръ, каково ея развитіе, какими началами руководится ея жизнь? Естественнo, что новое направленіе въ русской литературѣ должно было прежде всего сосредоточить всѣ свои силы, чтобы постараться отвѣтить или по крайней мѣрѣ уяснить обществу эти вопросы. Въ этомъ анализѣ народной жизни заключается весь смыслъ, все значеніе новаго направленія, вся заслуга молодыхъ писателей; имъ же объясняется и тотъ путь, по которому они должны были слѣдовать для изученія народной жизни. Выходя изъ начала: мы ничего не знаемъ о народѣ, или по крайней мѣрѣ очень мало, они неизбѣжно должны были придти къ изученію частныхъ фактовъ, отдѣльныхъ сторонъ жизни, прежде чѣмъ перейти къ ихъ обобщенію. Когда отдѣльныя стороны жизни будутъ достаточно изслѣдованы, когда накопится бездна фактовъ, случаевъ, отдѣльныхъ характеровъ, тогда можно надѣяться, что наши молодые писатели представятъ намъ полныя обобщенныя картины народной жизни и законченныя народныя типы. Надежда эта, нужно сказать, вовсе

не произвольна, она основывается на сдѣланныхъ уже попыткахъ къ подобному обобщенію, и попыткахъ—будемъ справедливы къ новому направленію—чрезвычайно удачныхъ. Такого рода попытка была сдѣлана, напр., въ романѣ „Гдѣ лучше?“, въ этомъ послѣднемъ произведеніи г. Рѣшетникова.

II.

Изъ всѣхъ новѣйшихъ писателей, къ числу которыхъ относятся гг. Николай Успенскій, Глѣбъ Успенскій, Слѣпцовъ, Левитовъ и нѣкоторые другіе, первенство, по нашему крайнему разумѣнію, принадлежитъ г. Рѣшетникову. Всѣ эти писатели одарены несомнѣннымъ талантомъ, но никто изъ нихъ такъ глубоко не захватываетъ народной жизни, какъ г. Рѣшетниковъ. Большая часть изъ нихъ останавливается на внѣшнихъ сторонахъ этой жизни, и хотя внѣшность эта подсказываетъ уже намъ, какова должна быть внутренняя жизнь этого быта, тѣмъ не менѣе рассказы и повѣсти ихъ, благодаря ихъ болѣе поверхностному, такъ сказать, характеру, не производятъ на читателя такого сильнаго впечатлѣнія. Николай Успенскій далъ намъ довольно много мастерскихъ отрывковъ, удачныхъ сценъ, представилъ типическія стороны народного характера, но вы напрасно стали бы искать у него рѣзко очерченныхъ лицъ, психологическаго анализа, законченныхъ рассказовъ. Онъ передаетъ чрезвычайно рельефно то, что ему случалось видѣть и слышать, и это, конечно, уже большая заслуга; но рассказы его дѣлаютъ то впечатлѣніе, какъ будто бы онъ никогда долго не задумывался надъ тѣмъ, что видѣлъ и слышалъ, никогда не углублялся до корня, до причины, до внутренней стороны подмѣченныхъ имъ явленій и характерныхъ народныхъ чертъ. Ему, собственно говоря, нѣтъ дѣла до смысла его рассказовъ, онъ не заботится ни малѣйшимъ образомъ, чтобы они имѣли какую-нибудь цѣльность, онъ съ одинаковымъ спокойствіемъ и хладнокровіемъ рисуетъ самую веселую и виѣстѣ самую возмутительную сцену. Онъ, кажется, такъ часто и такъ много видѣлъ „виды“, что его болѣе ничто не возмущаетъ, чувства его какъ бы притупѣли, и потому на рассказахъ его, чуждыхъ какихъ бы то ни было прикрасъ, лежитъ довольно холодный колоритъ. Поэтому намъ кажется, что чтеніе рассказовъ г. Успенскаго должно производить на читателей самыя разнообразныя

впечатлѣнія. На однихъ, не привыкшихъ задумываться надъ тѣмъ, что они читаютъ, рассказы г. Успенскаго будутъ производить очень веселое впечатлѣніе, они будутъ нравиться имъ, какъ юмористическія сценны изъ народнаго быта, они вызовутъ смѣхъ надъ простоватостью русскаго мужика и только. Другіе же, которые любятъ доискиваться до борта того или другого явленія, не засмѣются рассказамъ г-на Успенскаго, а скорѣе почувствуютъ досаду на автора за его безучастное отношеніе къ изображаемому имъ народному быту, и его рассказы наведутъ такого рода читателей на очень грустное раздумье. Не будемъ впрочемъ слишкомъ жаловаться на безучастность г. Успенскаго: она имѣетъ свою выгодную сторону, не допуская автора до умышленнаго искаженія всего того, что онъ видитъ и слышитъ. Правдивое же изображеніе народа представляется для насъ едва-ли не важнѣйшимъ условіемъ современныхъ рассказовъ и повѣстей, посвященныхъ изображенію народной жизни. У г. Глѣба Успенскаго нѣтъ той живости, той рельефности въ описаніяхъ, какъ у г. Н. Успенскаго, но за то мы находимъ въ немъ больше отдѣлки, больше законченности, округленности, чѣмъ въ безыскусственныхъ рассказахъ перваго изъ названныхъ нами писателей. Мы находимъ у г. Глѣба Успенскаго положительное стремленіе, и часто удающееся, создать цѣлую фигуру, каждому лицу дать свой характеръ, и потому въ рассказахъ его есть больше разнообразія. Не говоря уже о его языкѣ, несравненно болѣе выдѣланномъ, всѣ почти его очерки и рассказы имѣютъ начало и конецъ, что далеко не всегда встрѣчаемъ мы въ рассказахъ г. Н. Успенскаго. Въ его „Нравахъ Растеряевой улицы“, въ его „Деревенскихъ встрѣчахъ“, въ маленькихъ рассказахъ въ видѣ „Зарокъ не пить“ и въ другихъ, нельзя не признать серьезнаго дарованія.

Ту же самую законченность, даже, пожалуй, еще болѣшую, находимъ мы и въ рассказахъ г. В. Слѣпцова. Ни одинъ изъ молодыхъ писателей не заботится, можетъ быть, до такой степени объ изящной отдѣлкѣ своихъ рассказовъ; у г. В. Слѣпцова они имѣютъ ту общую сторону съ рассказами г. Н. Успенскаго, что какъ у одного, такъ и у другого мы не замѣчаемъ изученія отдѣльныхъ народныхъ характеровъ, точно также какъ и не находимъ теплаго отношенія къ изображаемому ими быту. Отъ талантливыхъ рассказовъ г. Слѣпцова, въ которыхъ такъ много истиннаго юмора, и такъ мѣтко переданы

нѣкоторыя народныя черты, вѣсть какимъ-то холодомъ, который заставляетъ подозрѣвать въ авторѣ недостатокъ чувства. Если упрекъ этотъ можетъ—намъ кажется справедливо—быть отнесенъ ко всѣмъ почти произведеніямъ г. Слѣпцова, то тѣмъ болѣе охотно указываемъ мы на одинъ рассказъ, составляющій въ этомъ отношеніи самое счастливое исключеніе. Мы говоримъ о его „Питомѣ“, гдѣ главная фигура крестьянки, отыскивающей въ деревнѣ своего ребенка, почувствована какъ нельзя болѣе сильно.

Если есть какой-нибудь писатель, которому нельзя сдѣлать никакого упрека въ недостаткѣ чувства, то это, безъ сомнѣнія, г. Левитовъ. Чувство—преобладающая сторона въ талантѣ г. Левитова, и оно накладываетъ на всѣ его рассказы совершенно особый отпечатокъ и рѣзко отдѣляетъ изъ всѣхъ рассказовъ и повѣстей изъ народного быта. Г. Левитовъ очевидно очень хорошо знаетъ народную жизнь, но онъ любитъ преимущественно останавливаться на такихъ сторонахъ и на такихъ характерахъ, которые не встрѣчаются каждый день, а представляются, напротивъ, какъ бы исключительными явленіями. Мы не хотимъ сказать, чтобы эта исключительность переходила въ какую бы то ни было натяжку, чтобы она была у него плодомъ его личной фантазіи,—нисколько. То, что онъ описываетъ, онъ хорошо знаетъ и, безъ сомнѣнія, ему приходилось встрѣчать такое или по крайней мѣрѣ близкое къ описываемымъ имъ случаямъ и лицамъ; ко всему видѣнному имъ онъ придаетъ свой личный, мягкій, теплый тонъ, лежащій конечно уже въ самой натурѣ таланта г. Левитова. Теплоота г. Левитова чрезвычайно содѣйствуетъ тому впечатлѣнію, преисполненному грусти, которое оставляютъ по себѣ рассказы этого даровитаго писателя. Возьмите лучший изъ его рассказовъ, именно „Выселки“, и вы увидите тутъ всѣ свойства таланта г. Левитова. Съ необыкновенною нѣжностью рисуетъ онъ своихъ героевъ: Ивана, по прозвищу Колдуна, и Петра Крутого, которому народное невѣжество отравило всю жизнь. Не успѣлъ Петръ родиться на свѣтъ, какъ уже стали говорить мужики, что лѣшій подмѣнилъ его у матери, и, утащивъ ея сына, оставилъ ей лѣшенка. Лѣшенокъ да лѣшенокъ, такъ и пошла жизнь молодого Петра, пока не втерпѣжъ ему сдѣлалось обращеніе съ нимъ міра, и онъ пошелъ скитаться по свѣту. Оба героя по личности исключительныя, но нужно видѣть, съ какою теплою описываетъ авторъ ихъ жизнь и характеры. Какъ

въ этомъ разсказѣ, такъ и во многихъ другихъ, каковы: „Сосѣди“, „Расправа“, „Бабушка Маслиха“, „Блаженненькая“,—вездѣ рядомъ съ страшною грубостью г. Левитовъ умѣетъ отыскивать симпатичныя стороны народной жизни, и эти-то симпатичныя стороны производятъ тѣмъ болѣе тяжелое и грустное впечатлѣніе, что онѣ особенно ясно освѣщаютъ сросшуюся съ ними страшную тьму, порождаемую глубокимъ невѣжествомъ и тяжелою грубостью массы. Если чувство г. Левитова придаетъ его разсказамъ большую теплоту, то нельзя не сказать, что къ нему значительно притупляешься, когда читаешь подрядъ нѣсколько его разсказовъ. Чувство это имѣетъ у него всего одну ноту, которая проходитъ во всемъ, что онъ дѣлаетъ, и потому придаетъ его разсказамъ большую монотонность и однообразіе. Къ этому существенному недостатку г. Левитова нужно отнести еще и другой недостатокъ, какъ нельзя болѣе вредящій его разсказамъ,—это недостатокъ обработки. Онъ не даетъ намъ цѣльныхъ картинъ, онъ не развиваетъ свои сюжеты, и несмотря на то, что изображаемыя имъ лица далеко не лишены психологическаго анализа, онъ не даетъ имъ возможности выказаться со всѣхъ сторонъ, обрывая свои разсказы и сообщая имъ такимъ образомъ отрывочный характеръ.

Какими бы качествами ни обладали всѣ упомянутые нами писатели, ни одинъ изъ нихъ, по нашему мнѣнію, не оказалъ такой важной услуги новому направленію, какъ г. Рѣшетниковъ. Никто изъ нихъ такъ глубоко не захватываетъ жизни русскаго народа, никто изъ нихъ не открываетъ съ такимъ знаніемъ, съ такою неподдѣльною истинною внутреннихъ сторонъ этой жизни, никто не доходитъ до такого драматизма, до такихъ трагическихъ положеній въ своемъ простомъ, пожалуй слишкомъ простомъ, неряшливомъ даже изображеніи, какъ г. Рѣшетниковъ. Другіе писатели преимущественно останавливаются на вѣшнихъ сторонахъ народнаго быта, или, если и случается имъ затрогивать его глубокія, чувствительныя струны, то они дѣлаютъ это только небольшими картинками, этюдами отдѣльныхъ, частныхъ случаевъ, между тѣмъ какъ г. Рѣшетниковъ задался трудною задачею вставить картину народнаго быта въ широкую раму и нарисовать эту картину такъ, чтобы въ ней какъ нельзя болѣе просто, безъ всякой утрировки, и вѣстѣ какъ нельзя болѣе драматично, отразилась обывденная жизнь простого русскаго люда, выраженнаго въ нѣсколькихъ удачно намѣченныхъ типахъ.

Онъ представилъ эту жизнь во всей ея ужасающей матеріальной и еще болѣе нравственной нищетѣ, вывелъ довольно законченныя и цѣльныя фигуры и бросилъ свѣтъ въ ту кромѣшную тьму, въ которой бьется и будетъ безсильно биться русскій народъ до тѣхъ поръ, пока въ нашу жизнь не войдутъ дѣйствительныя, а не внѣшніе только образомъ живительные элементы европейской цивилизаціи.

Указывая на общія достоинства произведеній г. Рѣшетникова, мы должны бы, можетъ быть, остановиться также и на общихъ недостаткахъ его таланта, которые заключаются въ поразительномъ неуѣдѣ распоряжаться своимъ матеріаломъ, въ отсутствіи удачной концепціи и въ томъ невыработанномъ слогѣ, которымъ пишетъ г. Рѣшетниковъ; но мы охотно сознаемся въ нашей склонности не настаивать на недостаткахъ писателя и останавливаться охотно на его хорошихъ качествахъ. Склонность эта въ русской литературѣ простиетельнѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было; такъ какъ у насъ, несмотря на то, что мы могли бы пользоваться хорошими примѣрами, которые намъ были даны въ этомъ отношеніи Вѣлинскимъ и Добролюбовымъ, подъ критикою разумѣется главнымъ образомъ порицаніе, хула, даже брань писателя, а вовсе не добросовѣстный разборъ его произведеній. Кто же не знаетъ, что порицать, хулить что бы то ни было несравненно легче, чѣмъ опредѣлять и выставять въ настоящемъ свѣтѣ смыслъ и достоинства извѣстнаго произведенія. Мысль эта намъ приходитъ на умъ по поводу прочтеннаго нами недавно разбора сочиненій г. Рѣшетникова въ одномъ изъ петербургскихъ журналовъ. Пріемъ подобной критики чрезвычайно простъ: вырвать изъ сочиненій какого-нибудь автора одно изъ менѣе удачныхъ произведеній, выхватить затѣмъ изъ этого произведенія какую-нибудь страницу, мы допускаемъ—даже дурно написанную, приправить все это бранными выраженіями, и вотъ критика на того или другого писателя готова. Такимъ образомъ можно „смѣшать съ грязью“, какъ это дѣлается въ этой критикѣ съ г. Рѣшетниковымъ, рѣшительно всякаго писателя, будь онъ двадцать разъ Пушкинъ, Лермонтовъ или Гоголь. Въ каждомъ изъ нихъ можно отыскать слабыя стороны, слабыя произведенія; но какова же будетъ критика и каковъ будетъ критикъ, если онъ возьметъ эти слабыя стороны и не коснется тѣхъ, которыя и дѣлаютъ этихъ писателей Пушкинымъ,

Лермонтовнѣ, Гоголѣмъ. Точно также мы недоумѣваемъ, возможно ли, сохраняя полную добросовѣстность, разбирать произведенія г. Рѣшетникова, и не упомянуть ни однимъ словомъ объ его „Подлиповцахъ“, объ его послѣднемъ романѣ „Гдѣ лучше?“ и ограничиться указаніемъ на тѣ изъ его повѣстей, которыя принадлежатъ къ произведеніямъ самымъ слабымъ. Нѣтъ, обязанность критика состоитъ гораздо больше въ разъясненіи смысла произведенія, въ освѣщеніи его задачи, хорошихъ сторонъ писателя, чѣмъ въ нападеніи на тотъ или другой изъ его недостатковъ. Тотъ же критикъ вопрошаетъ Тургенева, какъ могъ онъ такъ грубо ошибиться, опредѣляя дѣятельность автора „Гдѣ лучше?“ словами: „трезвая правда г. Рѣшетникова“. Нужно ли говорить намъ, что въ этомъ случаѣ ошибается не Тургеневъ, а кто-нибудь другой, и что эти два слова „трезвая правда“ — отдадимъ справедливость большому критическому чутью нашего извѣстнаго романиста — опредѣляютъ какъ нельзя лучше значеніе г. Рѣшетникова въ русской литературѣ. Да, дѣйствительно, сочиненія г. Рѣшетникова даютъ намъ „трезвую правду“, и мы надѣемся, что читатель согласится съ нами, если намъ удастся хоть крупными штрихами представить въ ихъ настоящемъ значеніи произведенія г. Рѣшетникова.

Если мы не ошибаемся, г. Рѣшетниковъ выступилъ на литературное поприще около 1863 года съ своею повѣстью „Подлиповцы“, которую онъ назвалъ этнографическимъ очеркомъ. „Подлиповцы“ не могли не обратить вниманія на молодого автора, выказавшаго съ перваго же разу оригинальность, силу въ описаніи и драматизмъ въ изображеніи быта почти-что дикихъ людей. Г. Рѣшетниковъ задается задачею въ этомъ разсказѣ представить намъ бытъ людей въ первобытномъ еще состояніи, когда никакія понятія цивилизованныхъ народовъ не коснулись еще ихъ жизни. Задача, безъ сомнѣнія, очень тяжелая; и нужно было много знанія и много таланта, чтобы нарисовать такую картину, и нарисовать ее такъ, чтобы показать читателю эту жизнь не въ однихъ внѣшнихъ проявленіяхъ, а изобразить весь небогатый внутренній міръ этихъ людей и открыть въ ней всѣ тѣ человѣческія чувства, которыя впоследствии при своемъ развитіи должны получить только иную форму. Какихъ же именно людей, какіе именно нравы изображаетъ въ „Подлиповцахъ“ г. Рѣшетниковъ? Онъ беретъ для своего разсказа

восточную часть Россіи, описываетъ тамъ деревню, гдѣ живетъ собственно не-русское населеніе, но тѣмъ не менѣе входящее въ составъ русскаго государства, составляющее такъ-сказать часть этого великаго „цѣлаго“. „Живутъ въ этой деревнѣ, опредѣляетъ авторъ, государственные крестьяне, Чудиновской волости, Чердынскаго уѣзда, какихъ много въ сѣверной части этого уѣзда, но еще бѣднѣе прочихъ крестьянъ“. Бѣдность—понятіе относительное, точно также какъ и богатство, и потому вѣроятно, чтобы читатель не могъ сомнѣваться, какого рода была бѣдность описываемаго имъ населенія, г. Рѣшетиновъ пишетъ: „Настоящій хлѣбъ ѣдятъ рѣдкіе съ мѣсяцъ въ годъ, остальное время всѣ ѣдятъ мякину съ корой и отъ этого у нихъ является лѣнь къ работѣ, болѣзнь, и часто всѣ подлиповцы лежатъ больные, сами не зная, что съ ними дѣлается, а только ругаются и плачутъ“. Полно, возможно ли,—хочется спросить автора, —чтобы среди насъ въ русскомъ царствѣ, въ русскомъ государствѣ, которое, какъ утверждаютъ инне, чуть не обогнало въ своемъ развитіи всю остальную Европу, существовала такая варварская нищета, и главное, не какъ бѣдствіе, не какъ исключеніе, а какъ самое обыкновенное явленіе, какъ правило въ одной части имперіи? Этой варварской нищетѣ отвѣчаетъ и степень нравственнаго ихъ развитія; молятся подлиповцы чучеламъ, молятся солнцу, молятся лунѣ; „и дождь, и снѣгъ, и молнія—все Богъ“ для нихъ. Жили же люди и ничего не знали, кромѣ своей деревни; знали, правда, рассказываетъ авторъ, что есть городъ Чердынь, а есть ли что-нибудь за Чердынью — „дѣло темное“. Пріѣзжалъ впрочемъ къ этимъ людямъ священникъ, „толковалъ о Богѣ“; они ничего понять не могли, но образъ имѣли, прятали ихъ подъ лавку, и вынимали только тогда, когда наѣзжалъ священникъ. Изъ боязни они крестились, изъ боязни вѣнчались, изъ боязни возили къ попу своихъ покойниковъ. Пріѣзжалъ къ нимъ также и становой: обложили ихъ податью, но результатъ получился только тотъ, что съ каждымъ днемъ недоимки на подлиповцахъ все растутъ, да растутъ. „Подлиповцевъ нельзя винить ни въ чемъ: они глупы, необразованы, но кто ихъ вразумить, куда они пойдутъ“. Въ самомъ дѣлѣ, вразумить этотъ людъ некому, всѣхъ они боятся; попъ пріѣзжаетъ къ нимъ, требуетъ съ нихъ денегъ; нѣтъ денегъ, дай корову, лошадь, что хочешь, да дай; становой пріѣзжаетъ, требуетъ податей... другихъ отно-

шеній государство къ нимъ не имѣть. Люди рождаются и умираютъ полудикими. Вотъ изъ какой среды беретъ г. Рѣшетниковъ своихъ героевъ. Понятно, что повѣсть, подобная „Подлиповцамъ“, должна имѣть болѣе или менѣе исключительный характеръ, потому что тутъ описывается не совсѣмъ русскій народъ, не совсѣмъ русскіе нравы, не совсѣмъ русская жизнь. Довольно и того, что люди эти живутъ въ Россіи, именуются „русскими“, а потому самому имѣютъ къ намъ, нужно сказать, очень близкое отношеніе. Вслѣдствіе этого близкаго отношенія къ намъ, „Подлиповцы“, несмотря на свою исключительность, возбуждаютъ въ насъ сильный интересъ, и, читая эту страшную картину нравовъ, мы счастливы, что отъ времени до времени можемъ утѣшать себя фразою: да вѣдь въ концѣ концовъ это не русскіе. Но тотъ самый процессъ, что мы вынуждены утѣшать себя подобною фразою, доказываетъ уже, что въ этомъ утѣшеніи есть что-то фальшивое, натянутое, какъ будто бы мы не имѣли даже права утѣшать себя подобнымъ образомъ. Можетъ быть, это и не „братья-славяне“, но тѣмъ не менѣе это просто братья, и потому утѣшаться, по поводу ихъ матеріальной и умственной нищеты, нельзя ничѣмъ.

Но что, спроситъ насъ читатель, незнакомый съ „Подлиповцами“, могъ найти г. Рѣшетниковъ въ этой средѣ, какихъ героевъ могъ онъ выкопать здѣсь? развѣ люди въ подобномъ состояніи имѣютъ какую-нибудь опредѣленную фізіономію, развѣ встрѣчается здѣсь какое-нибудь разнообразіе въ лицахъ, въ характерахъ, развѣ подобный бытъ не представляетъ сплошной безличной массы? Г. Рѣшетниковъ своими „Подлиповцами“ доказалъ противное: онъ сумѣлъ изъ этой среды выбрать себѣ героевъ, и нарисовалъ намъ два рѣзко очерченныхъ типа, которые поражаютъ насъ своею жизнью, своею правдою, которую мы инстинктивно чувствуемъ въ нихъ. Эти два типа, созданные твердою рукою, изъ которыхъ одинъ — Пила, представляетъ собою болѣе развитой, болѣе сильный характеръ, другой — Сысойка, болѣе слабый и мягкій, нѣсколько женственный, доказываютъ, какъ глубоко умѣетъ чувствовать и понимать человѣческую природу г. Рѣшетниковъ. Подъ этою дикою корою несравненно труднѣе доискаться до истинныхъ человѣческихъ чувствъ, чѣмъ въ средѣ болѣе нравственно-развитой. Гаврило Гаврилычъ Пилинъ, или, какъ его называли подлиповцы,

Пила, вмѣстѣ съ энергическимъ и сильнымъ характеромъ сохранялъ въ себѣ необыкновенную нѣжность и любовь къ ближнему—чувства, которыя не всегда, даже и очень рѣдко, встрѣтишь и въ образованномъ человѣкѣ. Только внѣшность его, наружная рѣчь его была часто груба; но за то подъ этою оболочкою таилось желаніе и стремленіе помочь не только своимъ роднымъ, но и всякому, находящемуся въ дурномъ положеніи человѣку. Въ дурномъ же положеніи находилась вся деревня Подлипная, а потому Пила старался какъ-нибудь облегчить участь своихъ сосѣдей. Но какъ облегчить участь людей, которые не понимаютъ даже необходимости работать, трудиться для своего существованія? а такого пониманія не было у подлиповцевъ. Одинъ Пила понялъ, что „ничего не дѣлая жить нельзя“, и потому онъ не только самъ сталъ работать, ѣздить въ городъ для продажи настрѣленной дичи и другихъ товаровъ, но заставлялъ работать и подлиповцевъ. „Своимъ подлиповцамъ онъ помогалъ тѣмъ только могъ“, но главная помощь заключалась въ томъ, что Пила преподавалъ имъ самыя основныя начала общественной жизни. „Работайте, что сидите“, говорилъ Пила, и подлиповцы работали; „косите траву“, говорилъ онъ, и подлиповцы косили; а не скажи имъ этого Пила—подлиповцы сами и не догадались бы. До этихъ необходимыхъ условій жизни Пила дошелъ отчасти своимъ умомъ, отчасти благодаря тому, что видѣлъ высшую степень „цивилизациі“ въ сосѣднемъ городѣ Чердынѣ. Другой типъ въ разсказѣ г. Рѣшетникова представляется съ первыхъ же страницъ такъ же ясно очерченнымъ, какъ и характеръ Пилы. Сколько въ послѣднемъ силы воли, энергіи, столько же въ первомъ апатіи, слабости, младенческой простоты. „Сысойка былъ самый бѣдный въ деревнѣ и рѣдко бывалъ здоровымъ“. Вся дѣятельность Сысойки или Сыоя Степановича Сысоева ограничивалась плетеніемъ лаптей, да тѣмъ еще, что онъ помогалъ Пилѣ искать лекарственныхъ травъ, ѣздилъ съ нимъ въ село и городъ, однимъ словомъ, жизнь свою онъ прицѣпилъ къ жизни Пилы. Отношенія между этими двумя лицами были самыя тѣсныя, до такой степени тѣсныя, что „если Пила хворалъ, да Сысойка былъ здоровъ, Сысойкѣ казалось, что и онъ хвораетъ“. Пила, какъ стоявшій выше по своему развитію, представлялъ и несравненно большую цѣльность характера; во всѣхъ своихъ отношеніяхъ, къ своему семейству, къ своему другу

Сысойка и ко всѣмъ окружающимъ, онъ всегда почти былъ ровень, и если случалось ему бить землю, „какъ лошадь, чѣмъ понало“, то только въ минуты особенной злости. Дочь свою онъ любилъ, сыновей Ивана и Павла приучалъ работать и вообще что называется былъ хорошимъ семьяниномъ. Сысойка же, хотя и болѣе слабый и мягкій, былъ не таковъ. Любилъ онъ только Пилу, да его дочь, съ которою вмѣстѣ росъ и потомъ сдѣлался ея любовникомъ; къ семьѣ же своей, къ старухѣ-матери, да къ брату, да сестрѣ не чувствовалъ ничего подобнаго; напротивъ даже, по отношенію къ нимъ у него являлась жестокость, смысла которой онъ собственно вовсе не понималъ. Ему хотѣлось поскорѣй отдѣлаться отъ матери и маленькихъ дѣтей, для того, чтобы совсѣмъ уже жить съ дочерью Пилы, и онъ, желая ихъ смерти, билъ, ѣсть не давалъ, а убить ихъ все-таки ему было жаль. Опредѣленіе ихъ общихъ характеровъ, ихъ пониманія жизни, семейныхъ отношеній сдѣлано г. Рѣшетниковымъ съ такимъ знаніемъ и умѣніемъ, что постоянное противорѣчіе въ этихъ первобытныхъ натурахъ нисколько не поражаетъ и не кажется фальшивымъ. Тутъ страшная жестокость, тамъ непонятная нѣжность и сила теплаго чувства; все это вяжется въ этихъ двухъ фигурахъ и какъ нельзя болѣе представляется намъ совершенно естественнымъ въ нихъ.

Нужно посмотреть, какимъ образомъ въ этихъ полудикихъ людяхъ выражается грусть, отчаяніе, чтобы понять, какъ вѣрно схватываетъ г. Рѣшетниковъ душевныя движенія своихъ героевъ. Какъ ни страшна и невѣжественна эта жизнь, какъ ни велика грубость и дикость ихъ нравовъ, ни разу во всемъ рассказѣ г. Рѣшетниковъ не вызываетъ насмѣшки или даже невольнаго смѣха надъ этою грубостью, надъ этимъ невѣжествомъ. Кто бы ни читалъ этотъ рассказъ, какъ бы мало читатель ни былъ приготовленъ сочувствовать этому несчастному люду, никто не въ состояніи, намъ кажется, по крайней мѣрѣ, противиться тому тяжелому и необычайно грустному чувству, которое производятъ этотъ Пила и этотъ Сысойка своимъ нечеловѣческимъ положеніемъ. Сколько въ этихъ нравахъ и въ этихъ людяхъ есть такихъ сторонъ, которыя такъ и просятся подъ насмѣшку, сколько жизнь ихъ представляетъ такого, что, рассказанное безъ теплаго участія вообще къ людямъ, вызывало бы не болѣе какъ веселую улыбку. Мы полагаемъ, что нѣкоторые изъ нашихъ народъ-

ных писателей, привыкших рисовать только ви́шнія стороны жизни, а не углубляться до ея внутренняго смысла, достигли бы именно такого только результата. Заслуга же г. Рѣшетникова и заключается въ томъ, что, передавая дикость и невѣжество, доведенное до крайнихъ предѣловъ, до которыхъ не доходилъ ни одинъ изъ другихъ писателей того же направленія, онъ рисуетъ ихъ съ такою же вѣрностью, съ такою же правдою, съ тою только разницею, что правда эта пробирается гораздо глубже, доходитъ до самыхъ скрытыхъ сторонъ человѣческой природы, на какой бы ступени развитія она ни стояла.

Конечно, по Пилѣ и Сысойкѣ нельзя судить о положеніи русскаго народа,—объ этомъ нечего и говорить,—но можно судить о томъ, какъ трудно выбираться людямъ изъ невѣжественныхъ добрей, какъ мало люди находятъ поддержку внѣ себя, чтобы преодолѣть свою непоправимую грубость. Еслибы условія общей жизни были иныя, еслибы кругомъ подобныхъ людей шла на самомъ дѣлѣ жизнь, основанная вовсе на другихъ началахъ, тогда Пилѣ и Сысойкѣ далеко не такъ трудно было бы превратиться въ смышленный народъ. Человѣческія чувства живутъ въ нихъ, но ничто только не способствуетъ ихъ развитію. Посмотрите, какъ просто описываетъ г. Рѣшетниковъ эти человѣческія чувства и ви́стъ какія тяжелыя мысли нагоняетъ онъ на читателя, показывая ему, что дѣлаютъ люди, стоящіе по своему положенію и по своему развитію выше героевъ „Подлиповцевъ“ для того, чтобы вывести ихъ изъ полудикаго состоянія. Умерли маленькій братъ и маленькая сестра Сысойки: убиты они были камнемъ, отвалившимся отъ печи, гдѣ спали ребята; повезъ хоронить ихъ Пила, но не тутъ-то было. Подлиповцы, питавшіеся короемъ, показались должно быть слишкомъ зажиточными людьми, и вотъ стали страшать ихъ становымъ и потребовали отъ Пилы единственной его коровы, которая кормила и его семью, и семью Сысойки. „Пилѣ все теперь опротивѣло, проклялъ онъ свою жизнь, долго билъ свою лошадь, самъ не зная за что“, подумалъ, подумалъ Пила и отправился въ городъ добывать себѣ пропитаніе. Сталъ Пила приглядываться къ людямъ, прислушиваться къ тому, что они говорятъ, и въ первый разъ блеснула у него въ головѣ мысль, не покинуть ли Подлиповую, не пойти ли искать по-бѣлу свѣта „богачества“. И раньше видѣлъ уже въ городѣ Пила мужиковъ, которые ходятъ бурлачить, и раньше

слышалъ про „богачество“, но раньше Пила „не вѣрилъ мужикамъ, говорящимъ про богачество, и не спрашивалъ, что такое бурлачество; теперь ему опротивѣла жизнь, мужики раззадорили его: не лучше ли бурлачить? спросилъ самъ себя Пила“. Вотъ какъ западаетъ въ голову подлиповца первая мысль о томъ, что не хорошо жить такъ, какъ прежде онъ жилъ, что нельзя ли найти что-нибудь получше— и Богъ знаетъ сколько времени не пришла бы ему эта мысль въ голову, еслибы священникъ, запугивая его становымъ, не отнялъ у него корову. Конечно, отнять у мужика корову, это—странное средство способствовать развитію мужика, но, какъ видно, и оно иногда удается. Нужда пляшетъ, нужда... Возвращается Пила въ Подлипную и все думаетъ: идти ему бурлачить или не идти? Натура его возмущается противъ прежней жизни, онъ, подъ вліяніемъ отнятой коровы, страха передъ становымъ, рассказовъ о „богачествѣ“ мужиковъ, начинаетъ чувствовать отвращеніе къ своей деревнѣ и нѣкоторую злобу на подлиповцевъ: „надоѣли подлиповцы; пусть помрутъ, мнѣ не пособить“.

Въ развитіи чувства ожесточенія противъ прежней жизни, въ желаніи попробовать чего-нибудь другого, въ пробужденіи Пилы, въ его озлобленіи на людей, на украденную корову, на священника, на станового, г. Рѣшетниковъ выказалъ много психическаго анализа, точно также, какъ много неподдѣльнаго чувства въ описаніи горя, которое поразило Пилу и Сысойку—смерти Апроськи, дочери перваго и любовницы послѣдняго. Послѣ того, что Пила рѣшился оставить Подлипную, послѣ того, что протестъ вызвался у этого невѣжественнаго человѣка въ сильной озлобленной формѣ, онъ сказалъ себѣ: „уйду же я, уйду! Ужъ не поклонюсь я болѣ никому, не дамъ коровы... и станового теперь не боюсь...“; онъ почувствовалъ въ первый разъ какое-то довольство. Спокойно пошелъ въ деревню Пила, желая взять съ собою Сысойку и Апроську и отправиться вѣстѣ бурлачить, потому что безъ Сысойки и Апроськи жизнь казалась ему невозможною. Грубая натура Пилы способна была испытывать сильныя привязанности. „Живы ли Сысойка и Апроська?“ сказалъ онъ себѣ разъ, проснувшись. „Сердце дрогнуло у Пилы: а что если померли?.. Пила не могъ придумать, что будетъ съ нимъ, если помрутъ Апроська и Сысойка. Онъ только и придумалъ: „а пошто я-то не помру? Я-то на што живу“... Въ первый разъ въ жизни Пила

почувствовалъ сильное горе. Его мучила не корова, а Сысойка и Апроська...“ Обстановка, въ которую поставлены герои г. Рѣшетникова, до такой степени некрасива, что подчасъ хочется отказаться вѣрить, чтобы она была возможна въ нашъ цивилизованный вѣкъ и въ наше цивилизованное государство. Но какъ возможно не вѣрить, когда авторъ, слѣдя шагъ за шагомъ за своими подлиповцами, заставляетъ присутствовать васъ при такихъ раздирающихъ сценахъ, при такихъ картинахъ этой получеловѣческой по наружности жизни, что, вглядываясь, вдумываясь въ нихъ, по неволѣ говоришь себѣ: нѣтъ, сцены эти, характеры до такой степени естественны, въ нихъ слышится такая правда, что авторъ долженъ былъ видѣть что-нибудь очень похожее на описываемое, иначе неизбѣжно въ нихъ чувствовалась бы фальшь. Вошелъ Пила въ избу Сысойки и засталъ тамъ лежащій на печкѣ холодный уже трупъ матери Сысойки. „Пила струсилъ старухи, соскочилъ съ палатей, плюнулъ на печку и убѣжалъ на улицу...“ Дома у себя Пилу ожидала другая сцена. Не успѣлъ онъ войти въ избу, какъ жена его Матрена набросилась на него: „Што дьяволъ!.. Всѣхъ насъ уморить, что-ли, захотѣлъ? Вонъ Апроська-то померла!.. Пилу какъ обухомъ кто ударилъ по головѣ, онъ ротъ разинулъ и тупо смотрѣлъ на печку, гдѣ сидѣлъ Сысойко, блѣдный и такой сердитый...“ Нужно отдать справедливость г. Рѣшетникову, что онъ съ большою простотою рисуетъ намъ драму этой полудикой жизни, и нужно большое дарованіе, чтобы заставлять трепетать самыя чувствительныя человѣческія струны подъ грубой корою подлиповцевъ. Г. Рѣшетниковъ описываетъ и эту грубость, и кроющееся въ ней рядомъ чувство такъ, что никому не придетъ на умъ сказать: это идеализація, въ этихъ натурахъ ничего подобнаго не бываетъ! Чувство это поражаетъ по внутренней своей силѣ, но оно выражается, какъ и должно быть, въ чрезвычайно грубой формѣ, и тѣмъ производитъ еще большее впечатлѣніе. Что дѣлаетъ Пила, когда узнаетъ о смерти Апроськи, своей любимой дочери? „Ударилъ онъ жену и полѣзъ на печку“, вотъ какъ выражается горе Пилы; онъ хочетъ сорвать на комъ-нибудь свою досаду и потому бьетъ свою жену, но рядомъ съ этимъ слезы подступаютъ уже къ его горлу и онъ только хочетъ убѣдиться, умерла ли на самомъ дѣлѣ его Апроська“. На полатяхъ лежала Апроська. Она была такая же, какъ и двѣ недѣли тому назадъ, только не дышала. Пила не вѣрилъ, что она умерла,

сталъ онъ ее толкать, она не шевелится... “ Убѣдившись, что Апроська умерла, Пила „взылъ, убѣжалъ на улицу, забрался въ стойку и долго тамъ плакалъ“. Пила, какъ натура болѣе сильная, долженъ былъ мужественнѣе перенести горе; поревѣвши нѣкоторое время, онъ „вскочилъ какъ бѣшеный и сказалъ самъ себѣ: что я за чучело? Что мнѣ жить-то? пойду изъ Подлинной, наплюю на ихъ всѣхъ...“ и рѣшился тогда во что бы то ни стало идти бурлачить. Но „наплевать“ на всѣхъ Пилѣ было не такъ легко; онъ былъ привязанъ къ Сысойкѣ, къ своимъ сыновьямъ, и потому бросить ихъ ему было бы не легко. На Сысойку смерть его любовницы произвела вовсе другое впечатлѣніе, хотя болѣе или менѣе выразившееся въ той же формѣ. Долго Сысойко не могъ постичь: какъ такъ могла умереть Апроська? Смерть, казалось, въ первый разъ представилась въ ея загадочномъ характерѣ слабому уму Сысойки. Прежде умирали другіе, умеръ отецъ, мать, братъ, сестра, а онъ не очень задумывался, — ну, умерли, и все тутъ; но смерть Апроськи, его любовницы, была чѣмъ-то особеннымъ для него; „онъ не плакалъ, а видно было, что его страшно мучило горе“, и онъ задавалъ себѣ вопросъ: „онъ-то зачѣмъ не померъ?“ Очевидно, Сысойкѣ трудно было помириться съ мыслью, что Апроська отнята у него, и отнята навсегда. Сысойка все думалъ только о томъ, что хорошо было бы и ему умереть; мысль эта впрочемъ являлась и у Пилы, и вотъ какъ рисуетъ г. Рѣшетниковъ и ихъ мысль о смерти, и кризисъ въ ихъ горькой долѣ:

— Пила, заруби меня! сказалъ Сысойко.

— Э!... ты заруби.

Оба они думали о смерти; но все-таки обоимъ имъ казалось страшно умереть, обоимъ хотѣлось еще пожить...

— Поѣдемъ, Сысойко!.. Поѣдемъ, говорилъ Пила.

— Куда къ дѣшнимъ?

— Бурлачить.

— Убей меня!..

— Богачество тамъ... Ну, что въ деревнѣ? Апроськи нѣтъ! Эхъ, горе! Пила заплакалъ.

Сысойко изругался; въ ругани онъ хотѣлъ налить все зло на эту жизнь, — на все, чего онъ не понималъ...

— Пойди ты въ Подлинную... Ну, что тамъ? померѣ.

— Пойдемъ, Пила, пойдѣмъ, братанъ!.. Эхъ, Пила!

Горе обоимъ было велико. Для обоимъ міръ этотъ казался тяжелымъ, невыносимымъ. У нихъ не было отрады. При всей бѣдности, безъ Апроськи, они думали: какъ жить теперь?

— Пойдемъ вмѣстѣ, сказалъ Сысойко... Веди, а въ Подлинную шабашъ!

— Ужъ ты иди, не отставай... Сысойко! умри ты—бѣда мнѣ...

— Мнѣ тоже...

Тутъ, собственно говоря, оканчивается первая часть разсказа „Подлиповцы“. Послѣ стрясшагося надъ ними горя, взявъ Пила свою жену, дѣтей и вмѣстѣ съ Сысойкой отправились въ городъ, чтобы идти оттуда бурлачить. Хотя г. Рѣшетниковъ и продолжалъ первую часть гораздо дальше, рисуя въ ней же, какъ наши подлиповцы пришли въ городъ, какъ на другой же день подрались они съ мужиками и попали въ полицію, гдѣ быстро познакомились они со всѣми порядками благоустроеннаго государства, тѣмъ не менѣе эта часть уже рѣзко отличается отъ начала разсказа и, по нашему мнѣнію, отличается не къ выгодѣ всего остального. Въ продолженіе разсказа нѣтъ уже той силы, которую мы видимъ въ первой половинѣ, многое растянуто, много встрѣчается повтореній, утомительныхъ подробностей, но главные фигуры Пилы и Сысойки сохраняютъ все-таки всю свою выдержанность. Первые плоды цивилизаціи Пила и Сысойко вкушаютъ въ полиціи, на судебномъ слѣдствіи, гдѣ они впервые узнаютъ о какихъ-то „паспортахъ“, и затѣмъ главнымъ образомъ въ острогѣ, куда ихъ засадили вмѣстѣ со всѣми другими арестантами. Подлиповцы довольно скептически относились къ тому, что имъ говорили о лицахъ болѣе высокихъ, нежели ихъ сельскій попъ и становой, удивлялись, что имъ даютъ даромъ хлѣбъ и настоящій хлѣбъ, но не понравилось имъ, когда они уразумѣли, что находятся подъ судомъ. Освободились наконецъ отъ преслѣдованій наши подлиповцы и отправились они въ дальній путь наниматься въ бурлаки. Г. Рѣшетниковъ описываетъ чрезвычайно подробно, какъ дѣйствуютъ на подлиповцевъ ихъ первыя сношенія съ людьми, новыя мѣста, новыя чудеса, какъ поражаются они различными диковинками въ видѣ соляныхъ варницъ, пароходовъ, какъ дѣйствуетъ все, что они видятъ и слышатъ, на ихъ неприготовленные умы. Скоро подлиповцы увидѣли и другихъ людей въ такомъ же положеніи, какъ они, и другихъ, точно также какъ и подлиповцевъ, „нужда, бѣдность края, неумѣніе работать заставили ихъ покинуть свои семьи и идти въ бурлаки съ такимъ же убѣжденіемъ, какъ шли подлиповцы и ихъ товарищи. Каждому, какъ видно, опротивѣла родная сторона; хочется чего-то хорошаго, хочется раздолья, хорошо поработать, хорошо поѣсть, хорошо поспать...“ Пила остается попрежнему руководителемъ подлиповцевъ, Сысойки, Павла, Ивана, но недолго. Сыновья Пилы, какъ люди молодые и потому болѣе воспримчивые, скоро въ своемъ развитіи обо-

гнади отца. Отвѣдавъ сладкаго, они не хотятъ больше горькаго и потому говорятъ: „уже мы туда не пойдемъ, показывая рукой на ту сторону, откуда они пришли“. Наконецъ, послѣ далекихъ странствованій, нанялись подлиповцы въ бурлаки.

Во второй части „Подлиповцевъ“ г. Рѣшетниковъ описываетъ намъ жизнь бурлаковъ, куда стремились такъ Пила и Сысойко, чтобы добыть себѣ „богачество“, и какъ ни тяжела эта жизнь, все-таки для подлиповцевъ, по крайней мѣрѣ сначала, она казалась какимъ-то праздникомъ послѣ ихъ жизни въ Подлипной. Немногое въ прежней жизни оставило имъ по себѣ хорошую память, и только изрѣдка скажетъ Сысойко: „все бы Апроську надо“, и Пила отвѣтитъ ему, задумавшись: „надо бы“. Трудно было понять подлиповцамъ, что имъ нужно дѣлать, тяжела показалась работа, но дѣлать нечего, должны были привыкать. Бурлаки „то-и-дѣло нагибаютъ спины, наклоняются, поднимаются, шлепаютъ тяжелыми, усталыми ногами, думаютъ что-то, вѣроятно, о томъ: ахъ бы лечь, да отдохнуть... Рубашки смокли, прильнули къ горячему тѣлу, по бородамъ текутъ крупныя потныя капли и падаютъ то на весла, то на рукавицы... А барку несутъ бокомъ; лѣса, поля, деревни, люди—все и все куда-то несутъ. Эхъ ты жизнь, жизнь горе-горькая! Только одно солнышко стоять на одномъ мѣстѣ, ласково такъ смотреть на міръ Божій, да и то ненадолго, возьметъ да и спрячется за сѣрыя тучи, словно дразнится...“ Много простоты есть въ тѣхъ описаніяхъ природы, которыя попадаютъ изрѣдка у г. Рѣшетникова, много задушевности въ описаніяхъ тѣхъ чувствъ, которыя шевелятся въ его герояхъ. Правда, простота эта доходитъ иногда до сухости, которая прямо вытекаетъ изъ недостаточной литературной отдѣлки разсказа.

Мы не будемъ подробно слѣдить за второю частью „Подлиповцевъ“, гдѣ рельефно передана бурлацкая жизнь. Очевидно, что г. Рѣшетниковъ отлично изучилъ бытъ бурлаковъ и разсказываетъ о немъ, рисуетъ его очень живо, хотя иногда и впадаетъ въ повторенія и подробности, которыя только утомляютъ читателя, не прибавляя ничего къ полнотѣ разсказа. Пила и Сысойко видѣли уже много селъ и городовъ, видѣли и слышали много народу, но они попрежнему оставались тѣмъ же, чѣмъ были, имъ хотѣлось только одного: больше хлѣба и подольше спать. Въ то время, когда у Ивана и Павла, этихъ молодыхъ парней, измѣнялось, такъ сказать, міросозерцаніе,

когда они входятъ нравственно въ ту болѣе широкую жизнь, куда они попали, Пила и Сысойко продолжаютъ быть чуждыми этой болѣе широкой жизни, хотя они и поняли, что она лучше жизни въ Подлишней, но многимъ ли лучше—вотъ вопросъ, къ разрѣшенію котораго скоро доведены будутъ Пила и Сысойко. Въ большомъ городѣ, куда пристали ихъ барки, съ Пилой и Сысойкой случилась бѣда: потеряли они въ городѣ, въ толпѣ, Ивана да Павла, которые зазѣвались на народъ, въ то время, когда барки должны были уже трогаться съ мѣста. Барки ушли, а сыновья Пилы остались въ городѣ, ихъ не дождался лопчанъ. „Эко горе! Какъ же теперь безъ ребятъ-то! Помрутъ они тамъ“, подумали Пила и Сысойко, и жизнь сдѣлалась для нихъ еще скучнѣе. Потерявши сыновей, Пила почувствовалъ страшное одиночество, у него оставался теперь одинъ Сысойко, и это одиночество, эту тоску г. Рѣшетниковъ передаетъ очень хорошо.

Съ каждымъ шагомъ впередъ, Пила и Сысойко становятся для насъ болѣе понятны, болѣе цѣльны, болѣе законченны. Передъ нами, какъ живые, являются эти люди, въ которыхъ не умерли всѣ человѣческія чувства, но которые гибнутъ въ невѣжествѣ, въ дикости, и несмотря на ихъ добрую волю, несмотря на энергію, не находятъ средствъ освободиться отъ своихъ путъ. Они бросаютъ свою деревню, идутъ искать такого мѣста, гдѣ дадутъ имъ больше хлѣба, гдѣ имъ не нужно будетъ питаться корою, идутъ искать себѣ, однимъ словомъ, лучшей жизни—и что же они находятъ? Ихъ дикія понятія замѣняются другими, которыя, собственно говоря, немногимъ менѣе дикі, чѣмъ ихъ старыя представленія объ окружающемъ мірѣ, ихъ новая жизнь немногимъ легче той, которую они бросили съ ожесточеніемъ. Причину того нужно искать уже не въ исключительномъ положеніи Пилы и Сысойки, а въ общемъ положеніи той среды, куда они попадаютъ. Пила уже начинаетъ догадываться, что мало прока будетъ имъ отъ всего ихъ труда, „какъ прежде жили, такъ и теперь придетъ безъ всего“, говоритъ онъ, а Сысойко только прибавляетъ: „што дѣлать!.. вотъ-те и бурлачество!“ Договариваются они до того, что спрашиваютъ, какъ спрашивали и въ началѣ разсказа, зачѣмъ они родились на свѣтѣ Божій? Какъ мрачно и тяжело началась жизнь Пилы и Сысойки, такъ же мрачно и тяжело оканчивается она въ разсказѣ г. Рѣшетникова: „идутъ бурлаки часа четыре, то по колѣна въ водѣ, то по болотистому берегу, то перескакиваютъ черезъ ручей“

и изображеніе правдивое, сдѣланное съ большимъ знаніемъ и глубокою наблюдательностью. Жизнь представляется тутъ въ ея будничномъ свѣтѣ, обыденномъ ходѣ; авторъ не подумалъ даже выбрать въ этой жизни какой-нибудь выдающійся моментъ. Жизнь эта представляется тутъ въ двухъ фигурахъ, находящихся въ исключительно невѣжественномъ положеніи, но фигуры эти движутся и бродятъ среди общаго русскаго населенія. И чтѣ при этомъ не можетъ не поражать въ этомъ разсказѣ—это то, что жизнь и понятія этой массы вовсе не таковы, чтобы Пила и Сысойко выдавались на ней черными пятномъ. Нѣтъ, понятія Пилы и Сысойки и понятія этой массы почти-что сливаются въ одно общее. Мы не сомнѣваемся, что „Подлиповцы“ много бы выиграли, и значеніе этого, какъ скромно называетъ его авторъ, очерка было бы больше, еслибы вмѣсто той безличной массы, которою онъ окружаетъ своихъ героевъ, были выведены одна или двѣ фигуры, которыя бы захватили въ себя типическія стороны этой массы; одна фигура нѣсколько цѣльная больше знакомитъ насъ съ народомъ, съ его развитіемъ и пониманіемъ, чѣмъ десятки сценъ, гдѣ описываются разговоры толпы. Высказывая такое желаніе, съ которымъ, собственно говоря, можно отнести ко всѣмъ молодымъ народнымъ писателямъ, мы вовсе не хотимъ сдѣлать упрека г. Рѣшетникову, что онъ не удовлетворяетъ ему въ своихъ „Подлиповцахъ“. Многое могло бы быть улучшено въ этомъ разсказѣ; но и такъ, какъ онъ есть, онъ очень хорошъ.

Въ „Подлиповцахъ“, по нашему мнѣнію, сказались всѣ существенныя достоинства и существенныя недостатки г. Рѣшетникова. Достоинства мы уже видѣли во всемъ томъ, чтѣ сказали до сихъ поръ о „Подлиповцахъ“, и увидимъ далѣе, говоря о другихъ его произведеніяхъ; что же касается недостатковъ, то мы можемъ ихъ высказать теперь же. Г. Рѣшетниковъ или рѣшительно пренебрегаетъ литературной отдѣлкой, или, чтѣ также весьма можетъ быть, онъ просто неспособенъ къ ней. Мы конечно предпочитаемъ, чтобы въ произведеніи стояло на первомъ планѣ содержаніе, но жестоко ошибается тотъ писатель, который думаетъ, что форма равно ничего не значить, что о ней не стоитъ заботиться. Чѣмъ лучше форма, тѣмъ рельефнѣе въ ней отливается содержаніе; форма придаетъ ему крѣпость и силу. Форма же является у г. Рѣшетникова въ весьма непривлекательномъ, такъ сказать въ первобытномъ видѣ. Трудно

сказать, для чего, напр., г. Рѣшетниковъ такъ часто прибѣгаетъ къ выраженіямъ совершенно нелитературнымъ, къ чему онъ такъ щедръ на крѣпкія слова; если онъ полагаетъ, что этия онъ передаетъ грубость нравовъ, дикость жизни, то онъ какъ нельзя болѣе заблуждается. Грубость и дикость передаются не словами, а цѣлою картиною нравовъ, изображеніемъ людскихъ понятій, поступковъ, отношеній, которые характеризуются вовсе не отдѣльными грубыми словами. Способъ характеризовать нравы и жизнь сильными выраженіями очень дешевъ, и къ нему не долженъ прибѣгать писатель съ такимъ талантомъ, какъ г. Рѣшетниковъ. Если крѣпкія слова онъ употребляетъ безъ намѣренія, безъ умысла, то мы можемъ только жалѣть, что онъ не замѣчаетъ самъ, какъ они не усиливаютъ, а только ослабляютъ впечатлѣніе. Кромѣ этого упрека, мы укажемъ еще на одинъ недостатокъ г. Рѣшетникова, который относится уже къ самой постройкѣ, къ концепціи его произведенія. Читая г. Рѣшетникова, намъ представляется, что онъ пишетъ безъ строго опредѣленнаго плана, вслѣдствіе чего въ произведенія его вкрадывается бездна лишннихъ, ненужныхъ сценъ, бездна повтореній, которыя одинаково вредятъ общему впечатлѣнію. Еслибы г. Рѣшетниковъ болѣе отдѣлывалъ свои произведенія, какъ въ отношеніи общаго плана, такъ и въ отношеніи деталей; еслибы онъ сжималъ свой рассказъ, опуская все, что прямо не относится къ начерченной имъ задачѣ; еслибы онъ избѣгалъ утомляющихъ повтореній и болѣе обрабатывалъ выводимыя имъ фигуры, придавая имъ тѣ тонкія черты, рѣзко отличающія одного человека отъ другого, которыя становятся замѣтными, какъ только начинаешь приглядываться къ извѣстному характеру; еслибы при этомъ онъ болѣе наблюдалъ за своимъ слогомъ и постоянно очищалъ его отъ вкрадывающагося въ него по временамъ мусора, тогда, нѣтъ сомнѣнія, произведенія г. Рѣшетникова выиграли бы очень много и производили бы еще болѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ то, которое они производятъ и теперь.

III.

Если всѣ эти недостатки, въ большей или меньшей мѣрѣ, мы встрѣчаемъ въ „Подлиповцахъ“, также какъ и въ его повѣстяхъ и рассказахъ, собранныхъ недавно въ два большіе тома, то мы находимъ

ихъ и въ послѣднемъ, главномъ и лучшемъ его произведеніи, въ его романъ „Гдѣ лучше?“. Изъ недостатковъ г. Рѣшетникова, которые мы упомянули, въ этомъ произведеніи бросается въ глаза прежде всего одинъ, касающійся самой постройки, концепціи романа. Въ немъ, точно также какъ и въ другихъ его произведеніяхъ, пожалуй даже еще больше, есть много лишняго, растянутого, какъ будто авторъ не можетъ схватить сильною рукою своего содержанія, и потому расплывается въ немъ. Если таковъ главный недостатокъ романа г. Рѣшетникова, если въ немъ есть еще и другіе, съ которыми мы встрѣтимся при самомъ его разборѣ, то скажемъ тутъ же, что всѣ эти недостатки искупаются достоинствами, и весьма значительными, послѣднаго произведенія автора „Подлиповцевъ“. Главное достоинство и крайне дорогое, по нашему мнѣнію, это то, что на этотъ разъ г. Рѣшетниковъ не ограничился изображеніемъ какой-нибудь одной стороны простонародной жизни, не задался мыслию представить намъ какую-нибудь исключительную фигуру, точно также и не ограничился изображеніемъ пестрой толпы, говоръ которой онъ могъ бы подслушать гдѣ-нибудь на большой дорогѣ или на площади. Мы только тогда можемъ познакомиться близко съ этою толпою, тогда только мы узнаемъ ея характеръ, ея нравы, ея развитіе, существующія въ ней отношенія людей между собою, когда мы не только близко подойдемъ къ ней, но когда въ этой безличной толпѣ мы въ самомъ дѣлѣ начнемъ распознавать лица, когда изъ этой толпы выдѣлятся для насъ отдѣльныя фигуры, типы этой толпы, когда эти выдѣлившіяся лица мы увидимъ въ ихъ обыденной жизни, когда мы познакомимся со всѣмъ ихъ матеріальнымъ и нравственнымъ состояніемъ. Толпа не безлична, она состоитъ изъ отдѣльныхъ индивидуумовъ, и до тѣхъ поръ, пока передъ нами не пройдетъ цѣлый рядъ типическихъ индивидуальностей, пока мы не узнаемъ жизни и нравственнаго развитія этихъ народныхъ типовъ, нарисованныхъ съ знаніемъ и правдивостію, до тѣхъ поръ мы и не будемъ знать хорошо жизни и развитія этой толпы, до тѣхъ поръ всѣ наши мечтанія о величіи русскаго народа и его удивительныхъ способностяхъ и драгоцѣнныхъ качествахъ будутъ не чѣмъ инымъ какъ словами, брошенными на вѣтеръ.

Г. Рѣшетниковъ сдѣлалъ драгоцѣнную попытку изобразить намъ массу русскаго народа, представленнаго нѣсколькими отдѣльными лицами, изъ которыхъ каждое имѣетъ свой характеръ, свою физіо-

номію, и если на всѣхъ этихъ фигурахъ лежитъ одна общая печать — печать невѣжества, то это уже не вина г. Рѣшетникова, а вина невѣжества, густою корою покрывающаго русскій народъ. Но виновать ли русскій народъ въ этомъ невѣжествѣ — это другой вопросъ. Конечно, виновать не народъ, а тѣ „историческія причины“, которыя сдерживаютъ его развитіе. Стремиться нарисовать типическія фигуры, движущіяся въ обыденной жизни русскаго народа, войти въ самую глубину этой обыденной жизни, проникнуть въ самыя сокровенныя мысли обыденныхъ личностей, схватить въ этихъ людяхъ и въ этой жизни всѣ ихъ драматическіе, чтобы не сказать трагическіе элементы и затѣмъ представить все это въ одной цѣльной и полной картинѣ — такова, кажется намъ, задача, которая должна была занимать г. Рѣшетникова. Была она у него или не была, мы не знаемъ; мы видимъ только ея осуществленіе, тѣмъ болѣе удачное, что это еще первая попытка въ русской литературѣ — написать, романъ заимствованный изъ жизни чернаго народа. Кого непріятно поражала грубость нравовъ и невѣжество, изображенія г. Рѣшетниковымъ въ его „Подлиповцахъ“, тотъ могъ, какъ мы уже сказали, утѣшать себя легкою фразою: это не совсѣмъ русскіе! Такого утѣшенія читатель не можетъ найти себѣ при чтеніи новаго романа г. Рѣшетникова, гдѣ изображается уже вполне быть коренного русскаго народа, и гдѣ точно также на васъ производитъ потрясающее впечатлѣніе и матеріальная жизнь этихъ людей, и низкій уровень ихъ нравственнаго развитія, гдѣ одинаково поражаютъ читателя грубость нравовъ, невѣжественность, но гдѣ точно также вы встрѣчаете человѣческія чувства, глубокія душевныя движенія, которыя еще болѣе возмущаютъ васъ противъ той тьмы, въ которой блуждаетъ народъ.

Если рамка „Гдѣ лучше?“ несравненно шире рамки „Подлиповцевъ“; если значеніе одного произведенія г. Рѣшетникова гораздо серьезнѣе значенія другого; если въ одномъ задача крупнѣе и авторъ выказалъ въ немъ высшую степень развитія своего таланта, чѣмъ въ другомъ, то въ основаніи обоихъ произведеній г. Рѣшетникова лежитъ одна и та же мысль, оба они построены на одномъ и томъ же положеніи, и даже внѣшняя завязка исходитъ изъ одного и того же мотива. Что мы видимъ въ „Подлиповцахъ“? Люди живутъ въ своемъ краю, проклиная свою жизнь, не имѣя чѣмъ существовать, мечтаютъ о томъ, что должно быть въ другихъ мѣстахъ лучше, что въ другихъ мѣстахъ

можно приобрести себѣ „богачество“, такъ какъ тутъ кромѣ нищеты ни до чего не добьешься, и потому рѣшаются покинуть свою сторону и отправляются искать такого мѣста, гдѣ легче можно было бы добыть себѣ хлѣбъ, гдѣ жизнь была бы отраднѣе и веселѣе. Долго странствуютъ эти люди, отыскивая, гдѣ имъ лучше, и наконецъ кончаютъ тѣмъ, что убѣждаются, что вездѣ скверно, и успокоиваются наконецъ только тогда, когда, замученные жизнью и не увидавъ въ ней ни одной радости, умираютъ забытые, какъ умерли Пила и Сысойко. Та же мысль лежитъ и въ основаніи новаго произведенія г. Рѣшетникова. Тутъ точно также Пелагея Прохоровна Мокроносова съ своими двумя братьями, Григоріемъ и Панфиломъ, да еще съ двумя мастеровыми, Короваевымъ да Горюновымъ, бросаютъ свой край, гдѣ дурно жилось имъ, и отправляются бродить по свѣту, не найдуть ли такого мѣста, гдѣ они въ состояніи были бы устроить свою жизнь лучше, чѣмъ до сихъ поръ. Бросать свою сторону не легко, и жизнь должна сдѣлаться ужъ больно тяжела, чтобы принудить къ тому людей. Но вотъ бросаютъ они ее и отправляются искать такое мѣсто: „гдѣ лучше?“ — какъ это и объясняетъ самъ авторъ заглавіемъ своего романа. Чѣмъ кончились ихъ поиски лучшаго, мы это скажемъ тогда, когда постраниваемъ вѣстѣ съ Пелагеей Прохоровной—этимъ самымъ удачнымъ, по нашему мнѣнію, типомъ изъ всѣхъ лицъ, выведенныхъ въ романѣ. Куда они теперь направляютъ свой путь—они еще сами не знаютъ, у нихъ есть только рѣшимость бѣжать изъ своей стороны, относительно же будущаго они руководятся чисто русскимъ принципомъ, вылившимся въ словъ: на авось! Темно для нихъ это будущее, и на вопросъ полѣсовщика, встрѣтившагося имъ на дорогѣ и спрашивающаго ихъ: „куда Богъ несетъ?“ они отвѣчаютъ только двумя словами: „туда, гдѣ лучше“. Вопросъ, гдѣ же это лучше, такъ естественъ, что онъ немедленно представился полѣсовщику.

— „Такъ вы туда, гдѣ лучше! Гмъ!! Гдѣ это такое мѣсто?—говорилъ въ раздумѣ полѣсовщикъ.

— Искать будемъ“.

И съ этими словами: „искать будемъ“, Пелагея Прохоровна съ братьями, да еще съ Горюновымъ и Короваевымъ, отправляются на поиски лучшей жизни. Пелагея Прохоровна—это самое симпатичное лицо въ романѣ, и потому прежде всего мы остановимся на этой фигурѣ. Г. Рѣшетниковъ представилъ намъ въ ней простую, хорошую

русскую женщину, которая обладает большою энергіею и чрезвычайно возвышенными чувствами, которые сказываются съ первыхъ страницъ романа. Еслибы мы не видѣли по всѣмъ произведеніямъ г. Рѣшетникова, какъ мало способенъ или желаетъ даже идеализировать онъ выводимые имъ типы, то мы, глядя на Пелагею Прохоровну, подумали бы, что авторъ значительно прикрасилъ ее и надѣлилъ такими качествами, которыми въ дѣйствительности Пелагея Прохоровна не обладаетъ.

По поводу этого женскаго русскаго типа нельзя не сдѣлать одного замѣчанія, которое относится вообще ко всей русской литературѣ. Замѣчательно, что всѣ писатели всѣхъ направленій на первый планъ всегда выставляли женщинъ. Женщина всегда является у насъ стоящею выше мужчинъ, честнѣе, благороднѣе, съ болѣе развитыми чувствами и почти что можно сказать — съ болѣе широкимъ умомъ. Намъ нечего и говорить о героиняхъ повѣстей и романовъ предшествовавшаго направленія; тутъ много разъ уже было замѣчено гораздо раньше насъ, что женщина выставляется всегда въ несравненно болѣе выгодномъ свѣтѣ, нежели мужчина; но любопытно, что то же самое явленіе замѣчаемъ мы и въ литературѣ, изображающей народную жизнь. У Островскаго видѣли мы болѣе или менѣе идеализированную Катерину и нѣсколько ея младшихъ сестеръ; у писателей реалистовъ по преимуществу мы видимъ то же самое; здѣсь встрѣчаемъ мы такую женщину, какъ Пелагея Прохоровна, фигуру, разумеется, несравненно болѣе положительную, болѣе реальную, но тѣмъ не менѣе принадлежащую къ той же семьѣ, изъ которой вышла Катерина. Чему приписать подобное явленіе, это возвышеніе женщины на счетъ мужчинъ: тому ли, что оно въ самомъ дѣлѣ такъ и есть въ дѣйствительной жизни, или нѣкоторому рыцарству нашихъ писателей, становящихся на сторону болѣе слабыхъ противъ болѣе сильныхъ. Трудно допустить намъ, чтобы послѣднее соображеніе руководило г. Рѣшетниковымъ.

Пелагея Прохоровна отправилась искать, гдѣ лучше, виѣсть съ любимымъ человекомъ ея, Кироваевымъ, который вдругъ, ни съ того ни съ сего, объявилъ, что онъ отстаетъ отъ компаніи и отправляется одинъ отыскивать, гдѣ лучше. Когда услышала это Пелагея Прохоровна, она пришла въ большое волненіе, и въ то время, когда всѣ улеглись спать, она одна „ворочалась съ бока на бокъ“ и говорила про себя:

— „Оказія!.. Это оттого не спится все, што давеча спала...“ проговорила шопотомъ Пелагея Прохоровна.

— Не спишь?—произнесъ негромко Короваевъ.

Пелагея Прохоровна притаялась, т.-е. старалась не шевельнуться, ни вздохнуть тяжело, чтобы Короваевъ думалъ, что она спитъ.

„Погоди! коли ты гордецъ, и я буду такая“, подумала Пелагея Прохоровна.

— Не спишь, говорю?—произнесъ такъ же негромко Короваевъ.

„Ладно“, подумала Пелагея Прохоровна, улыбаясь. Но черезъ полчаса она уже сожалѣла о томъ, что не отозвалась на голосъ Короваева, а потомъ, пораздумавши, пришла опять къ тому же заключенію, что хорошо сдѣлала.

Пелагея Прохоровна горда, она не хочетъ вызывать сожалѣнія къ себѣ, и если Короваевъ рѣшается ее оставить, значитъ, рѣшаетъ она, и ей нечего грустить. Но когда любишь, разсужденія мало помогаютъ, и сколько ни будешь обвинять другого, сколько ни будешь сознавать, что онъ, а не кто иной, причина моего горя, его все-таки будешь любить. Такъ и Пелагея Прохоровна: сначала она хотѣла наказать Короваева своимъ молчаніемъ, но скоро увидѣла, что она наказала только себя, и цѣлую ночь „не спалось Пелагее Прохоровнѣ“. Сцена прощанія между Пелагеей Прохоровной и Коровевымъ написана съ такою теплотою и въ ней такъ хорошо рисуется этотъ наружно грубый, но въ сущности нѣжный, любящій характеръ Пелагеи, что мы съ трудомъ удерживаемся, чтобы не познакомиться съ нею читателя цѣликомъ. Короваевъ собрался въ дорогу; Пелагея Прохоровна послѣдовала за нимъ, ей хотѣлось проститься.

— Пелагея Прохоровна, ты гдѣ? Ты гдѣ?—услыхала она голосъ Коровева.

Слезы болѣе прежняго пошли изъ глазъ Пелагеи Прохоровны. Она рыдала.

— Ну, о чемъ ты плачешь, Пелагея Прохоровна?—проговорилъ Коровевъ, ощущавъ въ темнотѣ Пелагею Прохоровну.

Пелагея Прохоровна очнулась. Ей и стыдно, и досадно сдѣлалось, что ее поймали на мѣстѣ въ слезахъ.

— Тебѣ што за дѣло?—проговорила она неровнымъ голосомъ.

Слушала Пелагея Прохоровна, какъ говорилъ ей Коровевъ о своемъ намѣреніи жениться, какъ только добудетъ капиталъ, видѣла, что онъ уходитъ, дала ему на прощаніе руку, но когда Коровевъ произнесъ: „прощай“, она испугалась и могла только сказать: „ты развѣ ужъ совѣишь?“. Не хотѣлось ей показать передъ Коровевымъ своего горя, только „грустно сдѣлалось Пелагее Прохоровнѣ, голова ея отяжелѣла, слезы душили ее“. Какою мы видимъ ее въ этой сценѣ,

т.-е. сдержанною, гордою, но виѣстъ съ тѣмъ глубоко чувствующею, такою же является она и въ продолженіе всего романа, въ продолженіе всей своей жизни, пока она ищетъ и все не находитъ того мѣста, гдѣ лучше. Поселилась Пелагея Прохоровна виѣстъ съ братьями и Горюновымъ около соляныхъ варницъ въ семействѣ того самаго полѣсовщика, который такъ скептически относился къ ихъ поискамъ за лучшею жизнью. Жизнь Пелагеи Прохоровны была невесела: цѣлый день работала, хлопотала, а все проку было мало; виѣсто того, чтобы становиться лучше, становилось, напротивъ, все хуже. На заводахъ стали надъ ней смѣяться, подозрѣвать ее въ томъ да семъ, она все молчитъ, и только когда уже очень надоѣдаютъ ей, она отвѣтитъ: „мало вы меня знаете, безсовѣстныя вы этакія“. Со всѣми она была добра, всѣ, которые ближе узнавали, любили ее, но ни съ кѣмъ она не сходилась, и подружилась только съ дочерью полѣсовщика Лизаветою, да и то больше потому, что та была тоже несчастная, брошенная своимъ любовникомъ. Ушла бы она съ соляныхъ варницъ, но все надѣялась, авось получить извѣстіе отъ Короваева, но извѣстіе не приходило. Пелагея Прохоровна работала за всѣхъ и о всѣхъ заботилась, но никого не допускала заботиться о себѣ. Никому не хотѣла показывать она своей тоски, никому не хотѣла говорить, что жизнь тяжела ей, и только изрѣдка слезы невольно пробивались у нея. Сидѣла однажды Пелагея Прохоровна съ Лизаветою, „недалеко отъ нихъ рабочіе, мужчины и женщины, голосовъ въ двѣсти поютъ-тянутъ промышленную пѣсню, словъ которой вдали почти невозможно понять. Сердце надрывается отъ этой пѣсни, хочется другой жизни; въ этомъ плескѣ волнъ какъ будто слышится отзывъ, что лучшая жизнь есть. Но гдѣ она? „Нѣтъ ужъ, я пойду въ городъ“,—подумала Пелагея Прохоровна, и ей такъ сдѣлалось горько, что изъ глазъ закапали горячія слезы, но она постаралась поскорѣй вытереть ихъ“. Если тяжела была матеріальная жизнь Пелагеи Прохоровны, то еще болѣе тяжело было ея нравственное состояніе. Другая, не привыкшая къ окружающимъ правамъ и людямъ женщина непремѣнно должна была бы озлобиться на все и на всѣхъ; но Пелагея Прохоровна не измѣнялась. Всѣми была она брошена мало-по-малу: дядя ушелъ на другіе заводы, тоже искать лучшей жизни; братъ Григорій послѣдовалъ за нимъ, послѣ того какъ узналъ, что Лизавета, которую онъ любилъ, была беременна отъ другого; Панфилъ скоро попался въ тюрьму за

то, что отдалъ фальшивую ассигнацію, не зная, что она фальшивая; а когда вышелъ, то, стащивъ всѣ деньги, которыя были у сестры, тоже убѣжалъ куда-то; одна, однимъ словомъ, осталась Пелагея Прохоровна. Бросила она варницы и отправилась въ городъ, гдѣ стала она переходить съ одного мѣста на другое, но вездѣ было дурно, а Пелагея Прохоровна все стремилась съ большою энергію найти, гдѣ бы ей было лучше. Сколько ни жила Пелагея Прохоровна, у нея на умѣ все былъ Короваевъ, его одного она не могла забыть, и какъ только услышала, что Короваевъ пошелъ работать на желѣзныя дороги, потянуло ее тоже. Все она перепробовала, всѣмъ занималась, и ничто ей не удавалось. „Что будетъ, то и будь, а здѣсь я не останусь. Если здѣсь не знаютъ дороги на желѣзную дорогу, пойду въ Прикамскъ. Вѣдь ходятъ же бабы на богомолье и въ Кіевъ, и въ Ерусалимъ, а сперва тоже не знаютъ дороги. А чѣмъ я-то хуже другихъ?“ Такъ размышляла Пелагея Прохоровна, рѣшившись отправиться тоже работать на желѣзную дорогу и надѣясь, что встрѣтитъ тамъ Короваева. Энергично она принялась работать, чтобы приобрести нѣсколько денегъ на дорогу. Отправилась она въ путь. Пробралась она до Нижняго, отсвѣтовали ей поступать на желѣзную дорогу; послушалась Пелагея Прохоровна и рѣшилась отправиться въ Петербургъ. Встрѣчала она много народу, „и кого она ни спроситъ: куда идетъ этотъ народъ? Ей отвѣчали: туда, гдѣ лучше!“ Съ прїѣздомъ Пелагеи Прохоровны въ Петербургъ, начинается вторая часть романа „Гдѣ лучше?“

Характеръ женщины разбитной, энергичной, гордой, рѣшительной и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣжной и любящей задуманъ г. Рѣшетниковымъ очень хорошо. Мы бы желали видѣть этотъ характеръ болѣе развитымъ, чѣмъ онъ является въ первой части романа. Фигура Пелагеи Прохоровны заслуживала бы, чтобы г. Рѣшетниковъ болѣе сосредоточился на ней, чтобы онъ указалъ намъ болѣе подробно ея внутреннее состояніе, чтобы онъ показалъ ея воззрѣніе на идущую кругомъ жизнь, чтобы онъ опредѣлилъ болѣе ясно ея отношенія къ окружающимъ людямъ. На многія черты характера сдѣланъ только намекъ, вмѣсто того, чтобы онъ были выражены рельефнѣе; это стремленіе къ лучшему, еслибы мы сами не дополняли его объясненіями, основанными на общихъ, нѣсколько контурныхъ линіяхъ этого характера, могло бы показаться не чѣмъ инымъ какъ неусидчивостью

на одномъ мѣстѣ и страстью къ странствованію—такъ мало г. Рѣшетниковъ показываетъ намъ дѣйствительныя причины недовольства Пелагеи Прохоровны, такъ мелко—въ этой, по крайней мѣрѣ, части—онъ указываетъ на ея безотрадное существованіе. Г. Рѣшетниковъ слишкомъ многое предоставляетъ въ этомъ характерѣ читателю дополнять своимъ собственнымъ воображеніемъ. Недостатокъ болѣе подробнаго и болѣе тонкаго анализа этого симпатичнаго характера, представляющаго собою отрадную сторону романа, объясняется, безъ сомнѣнія, тѣмъ множествомъ фигуръ, множествомъ эпизодовъ, которые наполняютъ собою первую часть „Гдѣ лучше?“. Фигура Пелагеи Прохоровны постоянно оттирается на задній планъ, потому что, собственно говоря, она не есть то лицо, вокругъ котораго группируются, какъ это бываетъ обыкновенно въ романахъ, всѣ прочія лица, около котораго сосредоточиваются всѣ сцены. Въ романѣ г. Рѣшетникова нѣтъ, собственно говоря, героя или героини, тутъ каждое лицо является само по себѣ, и на первый взглядъ представляется, что оно чрезвычайно мало имѣетъ связи съ остальными лицами. То же кажется и относительно отдѣльныхъ сценъ, отдѣльныхъ эпизодовъ, которые идутъ другъ за другомъ безъ особенной послѣдовательности, но которые въ концѣ концовъ, взятыя всѣ вмѣстѣ, представляютъ довольно полную и яркую картину обыденной жизни простого народа. Мы не станемъ слѣдовать за всѣми лицами, за всѣми эпизодами, наполняющими собою первую часть, потому что иначе мы бы зашли слишкомъ далеко. Едва ли не самое интересное лицо, послѣ Пелагеи Прохоровны, въ этой части романа является Лизавета Елизаровна.

Нельзя сказать, чтобы она была полною противоположностью Пелагеи Прохоровны—напротивъ, у той и у другой женщины есть много общихъ чертъ; но Лизавета Елизаровна является болѣе легкой, еще несравненно болѣе разбитною; она не задумывается надъ жизнью, ей, собственно говоря, море по колѣно. Въ характерѣ ея нѣтъ той скрытности, той сосредоточенности и глубины, что мы видимъ въ Пелагее Прохоровнѣ. Внешній портретъ ея какъ нельзя болѣе отвѣчаетъ цѣлому характеру этой женщины: „Она была высокая, здоровая дѣвушка, такъ что, по загорѣлому или красному отъ вѣтра и отъ огня лицу ея, ей можно было дать года двадцать-два. Руки ея были довольно развиты, крѣпки и жестки, что доказывало, что она уже давно знакома съ тяжелою работою, а на ~~ея~~ ~~лицо~~ ~~взглядъ~~“

ея карихъ глазъ какъ будто говорилъ, что она не боится никого". Нигдѣ этотъ характеръ не обнаруживается такъ хорошо, какъ въ той сценѣ, гдѣ она сообщаетъ Григорію, брату Пелагеи Прохоровны, почему не можетъ она пойти за него замужъ. Она полюбила этого человѣка, и хотя любовь эта выражалась у нея скорѣе дурнымъ обращеніемъ, чѣмъ хорошимъ, но тѣмъ не менѣе любовь ея была серьезна, и она не хотѣла обманывать любимого человѣка. Послѣ смѣха, послѣ слезъ, Лизавета Елизаровна вдругъ спросила Григорія: „Подумалъ ли ты о томъ, што про меня говорятъ на промыслахъ и на вечеринкахъ? — Што? — Ты вѣришь тому, што говорятъ про меня? — Нѣтъ. — Такъ я тебѣ скажу: што про меня говорятъ — вѣрно... Я говорю тебѣ потому, штобы ты зналъ и послѣ не каялся, што я обманула тебя... Одна голова не бѣдна!.. Я себя съ ребенкомъ прокурмлю какъ-нибудь, за то меня никто не укоритъ“.

Дѣло въ томъ, что съ Лизаветой Елизаровной случилась та бѣда, которая такъ часто случается на свѣтѣ — соблазнилъ ее одинъ парень, и бросилъ, когда она сдѣлалась беременною. Еслибы г. Рѣшетниковъ походилъ на тѣхъ писателей, которые такъ любятъ идеализировать народъ, разукрашивать его чувства, то онъ, безъ сомнѣнія, заставилъ бы Григорія простить прошедшую связь Лизаветы и великодушно женился бы на ней. Такая черта была бы, разумѣется, фальшивою чертою, потому что для того, чтобы не постыдиться взять за себя дѣвушку, которая въ прошедшемъ своемъ имѣла уже связь, нужно такое развитіе, которое какъ исключеніе является даже въ образованномъ обществѣ. Григорій Прохорычъ не женился на Лизаветѣ, ушелъ на другія варницы, чтобы только не встрѣчаться съ Лизаветой Елизаровной. Связь Лизаветы Елизаровны съ парнемъ Зубаревымъ подала поводъ г. Рѣшетникову написать еще одну сцену, въ которой разбитной и вмѣстѣ честный характеръ Лизаветы рисуется еще лучше. — Связь Лизаветы и Зубарева сдѣлалась предметомъ общихъ толковъ, разсужденій, ссоръ и споровъ. Всѣ кричали на промыслахъ, шумѣли, обвиняли Лизавету, и всѣ эти разсужденія описываетъ г. Рѣшетниковъ очень живо. Приходитъ Лизавета, крики замолкли, только не надолго; снова начали насмѣхаться надъ Лизаветой; но она скоро заставила не только всѣхъ замолчать своими отвѣтами, но даже принять еще ея сторону. Пристыдила она кричавшихъ и насмѣхавшихся надъ нею бабъ самими

простыми словами: „и какое вамъ дѣло, бабы, до меня... будто и за вами нѣтъ грѣховъ...“ Всѣ сознавали, что грѣхи дѣйствительно есть, и потому нечѣмъ попрекать особенно Елизавету. „Женщины вооружились противъ мужчинъ; мужчины доказывали, что никому не охота жениться на беременной, и стояли больше за свою братью. Но теперь всѣ были вооружены противъ Ивана Зубарева. Всѣ грозились, какъ только онъ покажется на промыслахъ, свернуть ему голову“. Толпа инстинктивно поняла, что если кто-нибудь виноватъ тутъ, то безъ сомнѣнія не брошенная Лизавета, а человекъ, который соблазнилъ ее и потомъ бросилъ съ ребенкомъ, и потому, не долго думая, она смѣнила свои насмѣшки надъ Лизаветою на гнѣвъ противъ Зубарева. Когда показался Зубаревъ на промыслахъ и подошелъ къ одной дѣвушкѣ, та не хотѣла говорить съ нимъ, а только стала попрекать Лизаветой.

— Не хочешь ли ты и со мною такую же штуку сдѣлать, какъ съ ней?—сказала она, и ушла.

— Гляди, бабы, Зубаревъ!—начала Лизавета Елизаровна:—стоитъ какъ оплеванный! На него никто и вниманія не обращаетъ, а онъ стоитъ... Спросите, чего ему надо еще?

Бабы заголосили, парни приняли угрожающій видъ.

— Лучше уходи добромъ въ свое село. Намъ ты теперь, послѣ твоихъ пакостей, не товарищъ,—сказала одна дѣвица.

Парни окружили Зубарева.

— Не троньте его... Я больше васъ имѣю право бить его, да не хочу рукъ марать объ такую гадину... Посмотримъ, удастся ли ему еще надуть такую дуру, какъ я,—проговорила Лизавета Елизаровна.

Въ этой сценѣ обнаруживается съ одной стороны оскорбленное самолюбіе, злоба, досада Лизаветы, но выражающаяся въ энергической формѣ; она не хочетъ показать, насколько она страдаетъ отъ того, что Зубаревъ бросилъ ее, и старается свое чувство къ нему замѣнить презрѣніемъ. Съ другой стороны въ этой сценѣ связывается инстинктивное хорошее чувство этой невѣжественной среды, которая съумѣла угадать чутьемъ, что оттолкнуться слѣдуетъ не отъ Лизаветы, а скорѣй отъ Зубарева. Такое поведеніе было бы подѣ стать и образованному обществу, которое сплошь и рядомъ закидываетъ камнями дѣвушку, когда она уступаетъ и дѣлается жертвою какого-нибудь негодяя, въ то время, когда этотъ самый негодяй стяжаетъ себѣ славу героя.

Такою, какою является Лизавета по отношенію къ Григорію и Зубареву, т. е. прямою, открытою, сильною, такою же является

она и въ своей семьѣ, гдѣ, кромѣ горя и тяжелой заботы, она больше ничего не находить. Семья ея обѣдѣла; отецъ ея, Ульяновъ, бросилъ свою семью и отправился виѣстѣ съ дядей Пелагемъ Прохоровымъ, Горюновымъ, отыскивать, гдѣ лучше; мать со злобы и съ отчаянія спилась, такъ что Лизавета одна должна была все дѣлать, всѣхъ содержать своей работой, и виѣстѣ съ тѣмъ всѣ ея попрекали, что бросилъ ее Зубаревъ. Молчитъ Лизавета, когда мать начнетъ укорять ее, и только изрѣдка не хватить у нея терпѣнія и у нея вырвется: „хоть бы ты этого-то не говорила, мать! взѣзъся Лизавета Елизаровна“. Бѣдность страшная, одна корова осталась дома, да и той нечѣмъ кормить; „какъ бы ее прокормить сегодня, какъ бы украсть гдѣ сѣна...“ думаетъ, думаетъ Лизавета Елизаровна, и полѣзетъ на поломанную телѣгу къ сосѣднему сараю, засунетъ въ шелку руку, пошарить, пошарить — труха одна“. Ей вовсе не совѣстно было воровать сѣно, потому что на первомъ планѣ у нея стояла корова, и для нея она все готова была сдѣлать. Не удастся украсть сѣна, пойдетъ она выпрашивать по сосѣдямъ, и чего-чего только не выслушаетъ она: „пусть говорятъ, что хотятъ, пусть конфузятъ и срамятъ насъ, какъ хочутъ—все снесу, только бы дали сѣна“. Тяжело ей все-таки было выпрашивать сѣна, гордая натура ея не мало должна была страдать отъ того. Виѣстѣ съ тѣмъ, что она рѣшалась воровать сѣно, ей тяжело было выносить, что мать ея шатается по сосѣдямъ да пьянствуетъ: „лучше бы она не ходила, меньше бы говорили про насъ“, думала Лизавета. У нея въ зародышѣ лежало чувство собственного достоинства. Скоро еще бѣдшая случилась въ семействѣ Ульяновыхъ. Братъ Лизаветы, молодой малый Степанъ, работалъ также на варницахъ. Мать отбирала у Степана всѣ заработанныя имъ деньги и большая часть его заработковъ уходила на пьянство его матери. „Слышь, Степка, што мужики говорятъ: мы напрасно деньги-то отдаемъ дома“, сказалъ разъ Панфилъ Степану. „А имъ што за дѣло“, отвѣчалъ Степанъ. Ему еще, собственно говоря, ни разу не приходило въ голову, что деньги можно было не отдавать семьѣ; такъ велось съ самаго начала, такъ велось бы и долго еще, еслибы Панфилъ не вразумилъ Степана. Степанъ хотя и является въ романѣ мимоходомъ, но нѣсколькими штрихами онъ обрисованъ довольно полно. У Степана натура мягкая, робкая, несамостоятельная; онъ готовъ подчиниться всякому вліянію, и какъ

сначала подчинялся вліянію матери, такъ теперь подчиняется вліянію Панфила. „А ты возьми и не отдай—не дали, моль...“ говоритъ ему Панфилъ, приводя и себя въ примѣръ, что и онъ сестрѣ ничего не даетъ, да и „Гришка тоже не живетъ съ нами“. Слова Панфила сильно озадачили Степана. „Онъ, вытараща глаза, смотрѣлъ на метелку и долго простоялъ въ такомъ положеніи, до тѣхъ поръ, пока не вывела его изъ оцѣпенѣнія одна лошадь, начавшая чихать“. Сердце у Степана было доброе, мать свою онъ любилъ, и тяжело ему было, что все она ругаетъ да ругаетъ его“. Мать день ото дня становилась сердитѣе; „если сынъ отдавалъ ей деньги, она ругала его, зачѣмъ онъ мало принесъ, что онъ, вѣроятно, сошелся съ мошенниками, которые обираютъ его. Станетъ возражать Степанъ, мать такъ крикнетъ на него, что онъ вздрогнетъ и не найдетъся, что сказать“. А тутъ еще у Степана завелась зазнобушка, которая проситъ у него, чтобы онъ ей подарилъ то да это. „Въ самомъ дѣлѣ, думалъ онъ, если я не стану отдавать деньги матери или сестрѣ, я накоплю денегъ. Куплю себѣ ботинки, Варехѣ платокъ; Вареха мнѣ подаритъ варежки и чулки“. Руководимый подобными соображеніями, онъ не вернулся ночевать домой, зачѣмъ не пошелъ и на другой день, и на третій, хотя онъ и „находилъ себя неправымъ“, потому что, какъ разсуждалъ онъ, мать прежде любила его. Встрѣтила его мать, обругала его и устроила такъ, что заработную плату за цѣлую недѣлю отдали ей, а не Степану. Степанъ, когда узналъ объ этомъ, „стоялъ блѣдный, молчалъ“. Мать пропила деньги, заработанныя Степаномъ, а Степанъ возвратился домой; скоро всѣ улеглись, слышался храпъ Степаниды Власьевны, матери Степана, и только онъ да Пелагея Прохоровна не спали, „занятые своими мыслями“ и оба думая, что всѣ спятъ. Скоро Пелагея Прохоровна услышала какой-то стукъ и что кто-то ходитъ около Степаниды Власьевны. „Она чиркнула спичкой, спичка зажглась, и въ этотъ моментъ она увидѣла Степана, поднявшаго руки вверхъ и съ топоромъ. Въ тотъ моментъ, какъ освѣтило избу, топоръ выпалъ у Степана назадъ отъ него и попалъ на голую ногу Пелагеи Прохоровны, но, къ счастью, не остріемъ, а обухомъ“. Страхъ, ужасъ одолѣлъ Степана, и онъ могъ только проговорить въ отвѣтъ Пелагеѣ Прохоровнѣ, которая вскрикнула: „что ты дѣлаешь, разбойникъ?“ „Ничего... пусти...“ Когда проснулись Панфилъ, Лизавета Елизаровна и мать, Степанъ уже

вырвался и убѣжалъ изъ избы. Сцена эта производитъ самое тяжелое впечатлѣніе, которое только можно себѣ представить. Боже мой, невольно думаешь, какъ мало должно быть развито въ человѣкѣ человѣческое чувство, какъ мало должна была коснуться какая-нибудь мысль человѣческой жизни, чтобы человѣкъ, который вовсе не злодѣй, который обладаетъ, напротивъ, мягкой и доброю натурою, могъ рѣшиться на убійство матери за то только, что она взяла его заработокъ. Очевидно, что здѣсь виновата не натура именно этого человѣка, а та всеобщая грубость нравовъ, благодаря которой человеку ничего не стоитъ совершить страшное злодѣйство. Человѣкъ дѣйствуетъ тутъ по первому впечатлѣнію, тутъ нѣтъ еще никакого сознательнаго пониманія долга, обязанности, все стоитъ еще на почвѣ инстинкта, и какъ мало можемъ мы осуждать человѣка за дурной инстинктъ, такъ мало въ сущности можемъ мы радоваться и хорошему. Хорошее только тогда хорошо, когда оно является результатомъ разумнаго пониманія людскихъ отношеній. Преступленіе Степана произвело разгромъ въ семействѣ Ульяновыхъ: Лизавета отъ испуга выкинула; мать ея ходила какъ убитая; одна Пелагея Прохорова въ это время работала на всю семью. Но и на ея долю выпало скоро горе. Попался Панфилъ съ фальшивою бумажкою, засадили его въ острогъ, и долго держали его тамъ, несмотря на всю его невинность. Бѣжалъ онъ наконецъ, соскучившись, но его поймали и снова засадили въ острогъ. Должно быть, онъ многому хорошему научился тамъ, потому что какъ только выпустили его оттуда, онъ укралъ все, что успѣла заработать Пелагея Прохорова, и ушелъ по бѣлу-свѣту искать такого мѣста, гдѣ лучше. Всѣ мало-по-малу разбредаются по разнымъ сторонамъ, всѣ съ одною цѣлію искать, гдѣ лучше; ушла Пелагея Прохорова, ушла потомъ и Лизавета Елизаровна, ушли Григорій, Панфилъ, самъ Ульяновъ, и долго будутъ бродить они, и долго будутъ искать, гдѣ лучше.

Мы не станемъ болѣе останавливаться на другихъ лицахъ, на другихъ сценахъ и эпизодахъ первой части романа г. Рѣшетникова; скажемъ только, что среди этихъ лицъ мы встрѣчаемъ чрезвычайно мѣтко очерченныя фигуры, которыя—мы должны это повторить еще разъ—не имѣютъ никакой связи съ тѣми, которыя занимаютъ болѣе или менѣе главное мѣсто въ романѣ; масса второстепенныхъ лицъ разрозниваетъ, конечно, впечатлѣніе, нить романа въ двадцати мѣстахъ

вслѣдствіе того кажется оборванною, — это невыгодная ихъ сторона; но съ другой стороны, когда закрываешь книгу, то въ общемъ впечатлѣніи всѣ эти лица, вся эта толпа придаетъ какую-то полноту той картинѣ народной жизни, которую съ такимъ знаніемъ и талантомъ рисуетъ г. Рѣшетниковъ. То же, что мы говоримъ объ этой массѣ вводныхъ, второстепенныхъ лицъ, то же должны мы сказать и о тѣхъ сценахъ, которыя, разумѣется, могли бы быть смѣло выкинуты изъ романа, безъ того, чтобы кто-нибудь изъ читателей замѣтилъ какой-нибудь скачокъ въ послѣдовательности разсказа, и это, безъ всякаго сомнѣнія, уже недостатокъ въ романѣ; но ихъ, такъ сказать, *raison d'être* точно также можетъ быть объясненъ желаніемъ автора сдѣлать впечатлѣніе болѣе полнымъ. Какъ примѣръ подобныхъ сценъ и лицъ, мы можемъ привести тѣ главы романа, гдѣ описываются Удойкинскіе золотые пріиски и гдѣ выступаютъ на сцену Костромины, Анучкинъ и другіе. Намъ, можетъ быть, слѣдовало бы сказать еще о нѣкоторыхъ сценахъ первой части романа, упомянуть еще о нѣкоторыхъ главахъ, какъ, напр., о той, гдѣ г. Рѣшетниковъ описываетъ такъ живо и такъ тепло пребываніе Панфила въ острогѣ. Намъ нужно было бы тутъ просто выписать двѣ-три страницы цѣликомъ и прибавить къ нимъ: какъ это хорошо! но мы предпочитаемъ отослать читателя къ самому роману.

Оставляя первую часть романа и вѣстѣ съ тѣмъ большинство изъ выступившихъ въ ней лицъ, которыя не появляются болѣе во второй части, мы должны передать то общее впечатлѣніе, которое мы вынесли изъ ея чтенія. Впечатлѣніе это до-нельзя тяжелое. Мы видимъ, что среди этой массы, среди этихъ людей, гдѣ встрѣчаются и симпатичныя личности, и одаренныя хорошими инстинктами, нѣтъ еще никакихъ разумно-сознанныхъ началъ жизни, что всѣ понятія, всѣ отношенія находятся, такъ сказать, въ первобытномъ, хаотическомъ состояніи. Базисомъ всѣхъ отношеній людей между собою является крайняя несправедливость, и главное, несправедливость безсознательная. Отецъ бросаетъ дѣтей, мужъ жену, братъ грабитъ сестру, сынъ убиваетъ мать, не говоря уже о томъ, что обманъ, воровство являются какъ бы въ порядкѣ вещей, глубоко вошли въ жизнь, и все это вовсе не вслѣдствіе испорченности натуръ, не оттого, чтобы люди были особенно злы, отличались преступными свойствами, — вовсе нѣтъ: между ними, какъ и вообще между всѣми людьми, есть вообще

и хорошіе и дурныя, и добрыя и злыя. Причина дурныхъ отношеній между людьми лежитъ не въ винѣ этихъ людей, ихъ личныя свойства и склонности вовсе неповинны, — между этими свойствами и склонностями есть, напротивъ, очень хорошія, — причина тутъ въ страшной грубости нравовъ, въ вопіющей невѣжественности массы, которая рѣжетъ глаза вамъ, когда вы читаете произведеніе г. Рѣшетникова, очевидно, написанное безъ всякой задней мысли. Когда читаете романъ г. Рѣшетникова и встрѣчаете симпатичныя фигуры, хорошія стороны, добрыя инстинкты, тогда спрашиваете себя и долго не можете отдать себѣ отчета: что же это такое, что такъ давить, тяготить васъ, что это такое, что такъ сжимаетъ ваше сердце и бросаетъ васъ въ волненіе, тѣмъ болѣе, что въ романѣ нѣтъ ничего особенно выходящаго изъ уровня обыденной жизни, ничего особенно страшнаго, все ровно, спокойно, просто?.. И все-таки, закрывая книгу, вы находитесь подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ; вдумайтесь — и вы увидите, что васъ тяготитъ общая среда, цѣлый строй жизни, гдѣ грубость и невѣжество являются не исключеніемъ, а правиломъ. Въ этомъ-то общемъ впечатлѣніи и скрывается сила г. Рѣшетникова, который не хочетъ вызывать въ своемъ читателѣ ни состраданія къ той средѣ, которую онъ изображаетъ, ни тѣмъ менѣе насмѣшку надъ нею. Чѣмъ больше спокойствія и безпристрастія въ изображеніи народной жизни, тѣмъ больше въ немъ правды; а чѣмъ больше правды, тѣмъ сильнѣе впечатлѣніе, которое она производитъ, и тѣмъ обширнѣе польза, которую приносятъ тотъ или другой писатель литературѣ. Самое отрадное еще въ этомъ изображеніи то, что всѣ эти люди начинаютъ сознавать, что имъ нехорошо, что они стремятся къ лучшей жизни, и что въ нихъ является наконецъ энергія и рѣшимость искать, гдѣ именно лучше?

IV.

Мы рассматривали отдѣльно первую часть, потому что она представляетъ собою почти самостоятельное цѣлое по отношенію ко второй части, гдѣ изъ всѣхъ дѣйствовавшихъ въ первой части лицъ мы встрѣчаемъ только одну Целагею Прохоровну и мимоходомъ Панфила, всѣ же остальные лица не выступаютъ больше на сцену. Вторая часть, которая носитъ названіе: „въ Петербургѣ“, какъ первая

носила— „въ Провинціи“, по нашему мнѣнію, значительно слабѣе того, что мы видѣли до сихъ поръ. Описаніе Петербурга, постоянныхъ дворовъ, куда повѣдаетъ Пелагея Прохоровна, главы, гдѣ изображается, какъ Пелагея Прохоровна отыскиваетъ себѣ работу, все это изложено довольно живо и представляетъ большій или меньшій интересъ. Тутъ схвачены любопытныя черты, переданы любопытные разговоры; разсужденія бабъ, въ видѣ тѣхъ, гдѣ онѣ толкуютъ о холерѣ, имѣютъ свое значеніе, хотя съ подобными чертами мы не разъ уже встрѣчались и у другихъ писателей. Послѣ нѣсколькихъ дней поисковъ, Пелагея Прохоровна, убѣдившись, что въ Петербургѣ нисколько не лучше, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, и попенявъ на тѣхъ, которые разсказывали ей о прелестяхъ петербургской жизни, нанимается наконецъ кухаркой къ одной кухмистершѣ—чиновницѣ Овчинниковой. Всѣ эти главы романа, которыя г. Рѣшетниковъ посвящаетъ описанію семейства чиновницы Овчинниковой, пьянаго маіора, ухаживающаго и женящагося на одной изъ дочерей чиновницы, представляютъ, нужно сказать правду, чрезвычайно мало интереса, и мы рѣшительно не видимъ причины, побудившей автора вставить эти лишнія и скучныя описанія, тѣмъ болѣе, что главы эти не имѣютъ никакого отношенія къ избранной имъ задачѣ. Мы бы не стали еще сѣтовать на эти главы, посвященныя изображенію мелко-чиновничьяго быта, еслибы разсказъ г. Рѣшетникова отличался какою-нибудь новизною, оригинальностью, но ничего подобнаго нѣтъ. Двадцать разъ уже описывался мелко-чиновничій бытъ въ нашей литературѣ, и описывался съ большою силою и съ большою живостью. Въ этой части разсказа мы не встрѣчаемъ ни типическихъ характеровъ, ни типическихъ чертъ чиновничьяго быта. Все вяло и скучно. Но лишь только г. Рѣшетниковъ снова возвращается въ своемъ романѣ къ изображенію быта простаго народа, тамъ снова все вѣетъ духомъ правды, вѣрностью съ жизнью, большою теплотою, тамъ все ново, все оригинально. Не долго прожила въ людяхъ Пелагея Прохоровна, не могла она ужиться ни гдѣ, не выпадало на ея долю счастье напасть на хорошихъ людей, и все, что только удалось ей сдѣлать въ Петербургѣ—это внушить къ себѣ расположеніе и любовь мастерового Игнатія Прокофьевича Петрова. Петровъ былъ малый аккуратный, не пьющій, и хотѣлъ бы онъ жениться на Пелагее Прохоровнѣ, да, съ одной стороны, нечѣмъ было жить, а съ другой и сама Пелагея Прохоровна не очень-то

отвѣчала на его чувства. Что Петровъ былъ малый смысленный, мы это видимъ изъ разговоръ съ Пелагеей Прохоровной. Жалуются Петровъ, что дурно ему жить у мастера-нѣмца, потому что „надъ тобою куражится, какъ Богъ знаетъ какая особа“, и на совѣтъ Пелагеи поступить къ русскому мастеровому, Петровъ даетъ такой отвѣтъ, который, нужно сказать, обличаетъ въ немъ большой здравый смыслъ. „Русскій! Русскій еще хуже. Дай русскому начальство, онъ и изважничается, начнетъ пьянствовать... Ужъ русскій человѣкъ, какъ попалъ въ начальники, совсѣмъ иной человѣкъ сдѣлался; вѣсто того, чтобы поддержать своего брата, онъ же съ него прогулы высчитываетъ; въ кабакъ при немъ што есть нельзя придти—угощай его, а если онъ угоститъ на пятакъ, такъ перекуровъ наслушаешься на гривенникъ; и дорогой, гдѣ встрѣтится, шапку ему скидывай—вездѣ начальникомъ себя считаетъ...“ Петровъ, или вѣрнѣе будетъ сказать, г. Рѣшетниковъ, какъ нельзя болѣе вѣрно подмѣтилъ эту черту, черту драгоцѣнную саму по себѣ, способную послужить богатымъ матеріаломъ для повѣствователя или романиста. Но какъ ни ловокъ, какъ ни остроуменъ Петровъ, онъ все не можетъ хорошенько пристроиться и точно также, какъ и другія лица въ романѣ, отыскиваетъ все, гдѣ лучше. Какъ ни жестока была судьба, преслѣдовавшая Пелагею Прохоровну, но ей не удалось все-таки сломить прямого характера этой женщины, не удалось преклонить ея гордость, которая заставляетъ ее отказаться отъ предложенія Петрова поступить кухаркою къ мастеровымъ. Отказалась она, потому что не знала хорошо Петрова и предполагала въ немъ дурныя побужденія. Чѣмъ дальше въ лѣсъ, говоритъ пословица, тѣмъ больше дровъ—чѣмъ дальше жила Пелагея Прохоровна, тѣмъ тяжелѣе становилось ей жить. Подробно описываетъ г. Рѣшетниковъ, какъ осталась Пелагея Прохоровна безъ мѣста, какъ бродила она одна по улицамъ Петербурга, и какъ попала наконецъ въ полицію, гдѣ просидѣла безъ вины нѣсколько дней. Когда вышла она, оказалось, что послѣдніе ея пять рублей, скопленные долгимъ трудомъ, и тѣ были украдены у нея. Не знала больше Пелагея Прохоровна, куда ей дѣваться. Стала проситься она, чтобы пустили переночевать въ полицію—не пустили; нечего было ей дѣлать, некуда было дѣваться, бродила, бродила она по улицамъ Петербурга, добрела до какого-то пустыннаго мѣста, силъ больше не было у нея, упала на сырую землю и заснула подъ холод-

нимъ небомъ. Вопросъ: гдѣ лучше? долженъ былъ смѣниться на другой вопросъ: гдѣ добыть кусокъ хлѣба? Вступила Пелагея Прохорова на широкую, торную дорогу — протянула руку со словами: Христа ради! Не одна Пелагея Прохорова кончаетъ подобнымъ образомъ, не одна женщина, выбившись изъ силъ, проработавъ цѣлую жизнь, должна протянуть свою руку, и будь только Пелагея Прохорова попрежнему красива и здорова, Богъ знаетъ оттолкнула ли бы теперь она предложеніе женщины извѣстнаго рода, которая предлагала ей, какъ только она пришла въ Петербургъ, продать ей не что иное, какъ ея тѣло. Объ остальномъ стоило ли говорить. Но Пелагея Прохорова даже для этого была негодна теперь; она до такой степени похудѣла, измѣнилась, что ее едва могъ узнать ея собственный братъ Панфилъ, съ которымъ она встрѣтилась въ Петербургѣ. Пусть тѣ, которые обращаются съ упрекомъ къ молодымъ писателямъ и спрашиваютъ, что за охота возиться имъ съ мужиками, пусть тѣ, которые не хотятъ признавать въ нихъ ничего интереснаго, никакихъ человѣческихъ чувствъ, пускай прочтутъ они хоть эту встрѣчу брата съ сестрою, ихъ первые разговоры, ихъ воспоминанія о прежней жизни. Да, грубы, страшно грубы, невѣжественны эти люди, но тотъ, кто умѣетъ глубоко смотрѣть, глубоко заглядывать въ народную жизнь, тотъ, какъ г. Рѣшетниковъ, сумѣетъ отыскать подъ этою грубостью самыя тонкія душевныя струны. Хорошо показалось Пелагее Прохоровѣ быть съ братомъ послѣ того, что жила она все въ чужихъ людяхъ, только одно стало печалить ее, это то, что Панфилъ ходилъ все въ кабакъ. Стала она упрекать рабочихъ, которые втягивали ея брата: „а штожъ ему не пить-то? съ тобой штоль обниматься?.. какія-такія ты ему радости предоставишь? проговорилъ недовольно одинъ изъ рабочихъ“. Въ самомъ дѣлѣ, какія радости выпадаютъ на долю огромной массы Панфиловъ? Отвѣтъ рабочаго, можетъ быть, попалъ больше въ самое сердце вопроса, въ самый корень того зла, которое свирѣпствуетъ въ Россіи; быть можетъ, онъ однимъ словомъ болѣе нѣтъ опредѣлилъ причину этой страшной эпидеміи, чѣмъ многія самыя глубокомысленныя изслѣдованія. Нѣтъ радостей у русскаго человѣка, негдѣ искать ему развлеченія отъ труда; онъ ничего больше не знаетъ, кромѣ своей работы, у него нѣтъ никакихъ другихъ интересовъ. Чтѣ же ему дѣлать въ минуты отдыха? читать не умѣетъ, да и не учать, или учать мало и плохо, общественной

жизни онъ не знаетъ, а ему нужно развлеченіе, нуженъ отдыхъ; онъ и находитъ этотъ отдыхъ и это развлеченіе въ водѣ. Водка, пьянство должно было, слѣдовательно, неизбежно войти однимъ изъ самыхъ существенныхъ элементовъ въ народную жизнь; что оно дѣйствительно и вошло, то въ этомъ можно убѣдиться, стоитъ только взглянуть, какую часть общаго дохода Имперіи составляетъ доходъ съ вина. Сто тридцать милліоновъ, или около того, если мы не ошибаемся, получается путемъ пьянства, сто тридцать милліоновъ на общій бюджетъ въ 435 милліоновъ! Однимъ словомъ, значительно болѣе четверти всего дохода получается, благодаря процвѣтанію пьянства. Что, еслибъ хоть четвертая доля этого дохода шла на народныя школы; что, еслибы хоть четвертая доля того, что народъ пропиваетъ, обращалась на народное образованіе? По истинѣ безумное желаніе, могутъ возразить намъ: желать увеличенія числа школъ и уменьшенія числа кабаковъ! да на что это похоже? Вотъ почему мы и видимъ, что пьянство и пьяные люди такъ часто встрѣчаются въ изображеніи народной жизни, вотъ одна изъ причинъ, которая задерживаетъ рѣшеніе вопроса—гдѣ лучше? Если пьянство составляетъ четвертую часть дохода, то неудивительно, что оно такъ часто и въ литературѣ является предметомъ наблюденія и описанія.

Не надолго улучшилась жизнь Пелагеи Прохоровны. Не успѣла она и пожить съ своимъ братомъ, не успѣли они пріискать себѣ работы, какъ братъ ея заболѣлъ и она должна была свезти его въ госпиталь. Давно уже упали силы Пелагеи Прохоровны, давно уже мучительный вопросъ: да гдѣ же лучше, „неужели эту жизнь нельзя сдѣлать получше“? наводилъ ее на самыя горькія думы, но никогда еще она не была такъ убита. Теперь „жизнь казалась ей такъ пуста и тяжела, что она готова была кинуться въ рѣку“. Пелагея Прохоровна не могла, кажется, въ эту минуту придумать ничего лучшаго, какъ заболѣть. На слѣдующій день послѣ брата и ее свезли въ госпиталь. Глубокое, потрясающее впечатлѣніе производятъ послѣднія главы романа „Гдѣ лучше?“ и въ особенности та глава, „въ которой столичные рабочіе разясняютъ вопросъ: гдѣ лучше?“ Въ описаніи положенія Панфила и потомъ въ этомъ разговорѣ, который ведутъ рабочіе въ кабакѣ, столько драматизма, столько трагической простоты, что нѣтъ возможности читать этихъ страницъ, написанныхъ безъ всякой сентиментальности, и не отдаться самому тяжелому волненію.

Опустили въ могилу гробъ Панфила, и гробъ этотъ плепнулъ въ воду. „Вотъ, братъ, тебѣ и покой. Ищи, братъ, гдѣ лучше! И жизнь-то худая человѣку на землѣ, и умрешь-то, такъ въ воду попадешь... А вѣдь тоже искалъ, гдѣ лучше...“ произнесъ при этомъ одинъ изъ присутствовавшихъ. Куда пойти съ кладбища? пошли въ кабакъ, и стали разсуждать между собою, да гдѣ же въ самомъ дѣлѣ-то лучше, когда выходитъ, что вездѣ худо? „Въ кабакъ лучше“, рѣшилъ одинъ простонародный мудрецъ, и рѣшеніе это казалось такъ разумно, такъ естественно людямъ въ ихъ положеніи, что нѣсколько человѣкъ тотчасъ подхватили: „въ самомъ дѣлѣ, братцы, въ кабакъ лучше.“ Грустное, обидное рѣшеніе вопроса, но развѣ виноваты тѣ люди, которые дошли до него? Не знаютъ они, гдѣ лучше, да и не могутъ сказать, никто имъ никогда этого не говорилъ. Въ этомъ-то безсиліи разрѣшить подобный вопросъ, въ этомъ сознаніи собственной безпомощности и скрывается вся драма, весь трагизмъ положенія русскаго человѣка. Не всѣ однако согласились, что въ кабакъ лучше; нѣкоторые иначе рѣшили этотъ замысловатый вопросъ. „Въ могилѣ лучше“, произнесъ кто-то. „А въ самомъ дѣлѣ, умрешь—и конецъ“, подхватилъ кто-то другой и это мнѣніе. Да, грубы, дики, невѣжественны эти нравы и эта жизнь, но сколько подъ этою грубостью скрывается истинныхъ чувствъ, сколько человѣчности! Сопоставить эту грубость и эту человѣчность и освѣтить ту и другую яркимъ свѣтомъ—такова была задача, лежавшая передъ г. Рѣшетниковымъ, задача, которую онъ и выполнилъ съ большою добросовѣстностью, искренностью и съ серьезнымъ талантомъ.

Главный характеръ въ романѣ, типъ Пелагеи Прохоровны, доведенъ до конца, онъ выдержанъ какъ нельзя болѣе. Вездѣ до послѣдней минуты Пелагея Прохоровна остается вѣрна себѣ, вездѣ мы видимъ эту сдержанную, сосредоточенную, энергическую, гордую и вѣсть чрезвычайно симпатичную женщину. Не долго прожила Пелагея Прохоровна послѣ того, что схоронили ея брата и что она вышла изъ госпиталя. Поздно жизнь улыбнулась ей слабою улыбкою, поздно полюбила она Петрова, поздно отвѣчаетъ на вопросы, которыми допытывается Петровъ узнать у нея, пошла ли бы она за него замужъ: „Ахъ, какой ты!... Ну, разумѣется, пошла бы“. Силы у нея были уже надорваны, смерть стояла у порога ея жизни. Черезъ нѣсколько дней Петровъ стоялъ уже передъ трупомъ Пелагеи Прохоровны, а въ го-

ловѣ у него вертѣлась мысль: „Все, значить, конечно! ищи, голу-бушка, гдѣ лучше... Охъ ты, жизнь проклятая!!!... И онъ заплакалъ“. Весь этотъ конецъ романа накладываетъ какой-то убійственно-мрачный колоритъ на цѣлое произведеніе: отчаяніе должно закрасться въ душу читателя, какъ оно охватило самого автора, который приводитъ своихъ героевъ къ могилѣ, какъ къ единственному исходу изъ ихъ тяжелой жизни. Мы отлично понимаемъ, что это отчаяніе могло явиться у писателя, проникшаго въ самыя сокровенныя стороны народной жизни, онъ могъ на минуту отдаться ему и, указывая на могилу, произнести: здѣсь лучше! Но мы не хотимъ, мы не должны тутъ слѣдовать за авторомъ: мы знаемъ, что вѣчная тьма не есть выходъ изъ мрака, мы знаемъ, гдѣ лучше, и потому мы не можемъ отчаиваться. Лучше тамъ, гдѣ ведется разумная жизнь, гдѣ образованіе идетъ впередъ по непреклонному пути, гдѣ человѣческій свѣтъ каждый день одерживаетъ верхъ надъ нечеловѣческою тьмою. Выработанная уже другими народами цивилизація есть достояніе всего человѣчества; она принадлежитъ и русской жизни, и русскому народу; и въ ней, и только въ ней одной, кроется вѣрный выходъ изъ самаго мрачнаго положенія. Если мы знаемъ выходъ, тогда отчаянію уже нѣтъ болѣе простора; оно должно уступить мѣсто энергіи и твердой волѣ бороться, при помощи образованія, съ грубостью нравовъ и невѣжествомъ общественной жизни.

Мы разобрали такимъ образомъ два главныя произведенія одного изъ лучшихъ представителей новѣйшей литературы. Мы старались указать на его недостатки и опредѣлить его достоинства. Къ первымъ относятся: неудачная постройка его произведеній, отсутствие строгой концепціи, вслѣдствіе чего происходитъ разбросанность, введеніе лишнихъ сценъ, лишнихъ лицъ, характеры которыхъ онъ часто недостаточно додѣлываетъ, недостаточно анализируетъ; недостатки эти принадлежатъ, такъ сказать, къ внутренней сторонѣ произведеній г. Рѣшетникова; что же касается до внѣшней стороны, до формы его произведеній, то тутъ недостатки автора еще болѣе рѣзки, еще болѣе вредятъ производимому имъ впечатлѣнію. Бѣдность литературной отделки—не во всѣхъ, но въ значительной части его произведеній—является на первомъ планѣ: авторъ недостаточно обрабатываетъ свой

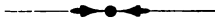
слогъ, злоупотребляетъ иногда народнымъ языкомъ, бранными выражениями, забывая, что они ровно ничего не придаютъ къ силѣ его изображеній, что онъ писатель не внѣшности, а, главнымъ образомъ, внутреннихъ сторонъ народной жизни. Въ этомъ послѣднемъ и заключается главное достоинство произведеній г. Рѣшетникова, въ этомъ сказывается вся сила его крупнаго таланта. Онъ представилъ намъ довольно полную картину народной жизни, выставилъ въ ней опредѣленные характеры, общіе типы; подъ страшною грубостью, господствующею въ нравахъ, понятіяхъ и людскихъ отношеніяхъ, грубостью, которую онъ не только не скрываетъ, но, напротивъ, обнаруживаетъ со всею ясностью, онъ сумѣлъ открыть намъ тлѣющее подъ нею чувство и истинную человечность. Онъ раскрываетъ передъ нами глубокія раны на тѣлѣ русскаго народа, раны, явившіяся вслѣдствіе вѣкового рабства и невѣжества, но онъ обнаруживаетъ ихъ такъ искусно, что не вызываетъ въ читателѣ ни отвращенія къ нимъ, ни безплоднаго сожалѣнія. Мы видимъ рядомъ съ этими ранами столько здоровыхъ инстинктовъ, что въ насъ поселяется увѣренность, что онѣ могутъ быть излечены, какъ только въ жизнь народа проникнетъ европейская цивилизація. Серьезно изучивъ народную жизнь, онъ рисуетъ ее, не коверкая ни въ ту, ни въ другую сторону; въ немъ нѣтъ идеализаціи грубости, точно также, какъ и нѣтъ стремленія изобразить одну только грубость. Простота, искреннее чувство, теплота въ изображеніи народа безъ всякой патетической примѣси, безъ всякой сентиментальности, однимъ словомъ, самое трезвое отношеніе къ задачѣ беллетриста.

Всѣ эти качества и всѣ недостатки его мы находимъ и въ другихъ повѣстяхъ и разсказахъ г. Рѣшетникова, на которыхъ послѣ того, что нами сказано уже объ этомъ авторѣ, намъ нѣтъ надобности долго останавливаться. Мы не станемъ распространяться о нихъ по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому что статья наша вышла и безъ того уже слишкомъ обширна, а во-вторыхъ, и это главное, потому что повѣсти и разсказы, составляющіе два тома „Сочиненій г. Рѣшетникова“, не ослабляютъ и не усиливаютъ вынесеннаго нами впечатлѣнія,—они только пополняютъ его. Въ числѣ этихъ повѣстей и разсказовъ, мы находимъ, одни имѣютъ мало интереса, другіе, какъ, напр., его „сатирическіе и юмористическіе разсказы, очерки и сцены“, вовсе его не имѣютъ, и должны, кажется, были бы убѣдить не только читателей, но и самого автора, что онъ вовсе не обладаетъ сатириче-

скимъ талантомъ; и наконецъ третьи, написанные съ обычнымъ талантомъ г. Рѣшетникова. Къ послѣднимъ мы относимъ его „Тетюшку Опарину“ „Кумушку Мирониху“, его „Максю“, „Ильича“, „Шилохвостова“. Въ этихъ послѣднихъ разсказахъ чрезвычайно много силы, характеры личностей рисуются какъ нельзя болѣе рельефно и оригинально. Тутъ та же грубость, та же дикость и рядомъ съ этимъ тѣ же человѣческія чувства, то же стремленіе проникнуть въ самую сущность жизни, — наконецъ, тутъ та же правда, которою отличаются всѣ произведенія г. Рѣшетникова.

Мы не станемъ говорить о значеніи автора „Гдѣ лучше?“ въ русской литературѣ, потому что намъ пришлось бы повторять все то, что мы высказали въ первой главѣ нашей статьи вообще о значеніи новѣйшаго направленія въ литературѣ. Если значеніе это дѣйствительно, то дѣйствительна и роль г. Рѣшетникова въ литературѣ, потому что, какъ мы сказали, онъ является однимъ изъ лучшихъ представителей этого направленія. Это направленіе поставило себѣ задачей: возможно ближе подойти къ народу, къ его стремленіямъ и истиннымъ интересамъ, и намъ по крайней мѣрѣ кажется, что г. Рѣшетниковъ въ этомъ отношеніи сослужилъ службу, принесъ дѣйствительную пользу и выполнилъ довольно значительную часть задачи, возложенную на новѣйшее направленіе въ литературѣ.

1869 г.



ЛИТЕРАТУРА И НАРОДЪ.

—*Гмбъ Успенскій*: Люди и нравы современной деревни. Въ Сѣверной полосѣ. Въ степи.—Изъ памятной книжки.—Изъ стараго и новаго.—1879—1880.

I.

Съ русскимъ обществомъ и съ русской литературой произошла рѣшительная метаморфоза. Не за горами еще то время, когда никто почти серьезно не интересовался непримечательною жизнью простаго народа, обыкновеннаго русскаго мужика, за исключеніемъ весьма немногихъ писателей, которые настойчиво и зорко присматривались къ условіямъ этой жизни, старались заинтересовать своими наблюденіями читающую публику, но старанія эти долго, очень долго не увѣнчивались почти никакимъ успѣхомъ. Произведенія этихъ писателей находили весьма небольшой кругъ читателей и притомъ весь почти состоявшій изъ одной молодежи, масса же публики относилась къ нимъ болѣе чѣмъ равнодушно, съ нѣкоторымъ раздраженіемъ, какъ бы говорившимъ: что это за мужицкая литература! неужели эти господа, если ужъ имъ хочется сочинять и печататься, не могутъ найти болѣе интересныхъ сюжетовъ! повѣсть, романъ должны изображать героя, а какимъ же героемъ можетъ быть мужикъ въ грубой рубахѣ и лаптяхъ? Интересы народные заслуживали весьма мало вниманія, и вотъ почему на картинѣ общественной жизни, воспроизводившейся въ нашей литературѣ, мужикъ стоялъ на самомъ послѣднемъ планѣ,—чуть было видно, что была какая-то маленькая, мизерненькая фигурка, спрятанная гдѣ-то въ уголку, изъ опасенія, чтобы она не оскорбляла эстетическаго вкуса читателей.

Не одна, впрочемъ, боязнь оскорбить эстетическій вкусъ читателей заставляла литературу, и не одну только изящную, удѣлять такъ мало мѣста слову о положеніи русскаго народа. Были на то причины и болѣе уважительныя. Въ нашей литературѣ всегда существовало дѣленіе всѣхъ темъ на два рода: темы удобныя и темы не совсѣмъ удобныя. Народъ, его экономическое, нравственное, политическое положеніе—все это стояло весьма долго во главѣ не совсѣмъ удобныхъ темъ. Достаточно было, чтобы черезъ ту или другую статью писателя сквозили истинная любовь къ народу, слабые намеки на необходимость измѣненія его экономическаго положенія, указаніе на общую, держащую его въ тискахъ, эксплуатацію, на незаконное, но узаконенное безправіе, на необходимость вывести его изъ той тьмы кромѣшной, въ которой народъ въ концѣ концовъ можетъ только одичать; достаточно было этого, чтобы писатель тотчасъ навелъ на себя подозрѣніе въ томъ, что онъ „красный“ и „демагогъ“. Такое подозрѣніе всегда оказывалось у насъ зерномъ, падающимъ на жирную почву; оно вырастало и превращалось довольно быстро въ лицемерную увѣренность въ этихъ свойствахъ писателя, — что и отзывалось тяжкими послѣдствіями на литературу. Не естественно ли, что при такихъ условіяхъ у насъ было мало охотниковъ возвышать свой правдивый и честный голосъ въ защиту народа. Герои въ литературѣ, какъ и вообще въ жизни, рѣдки.

И въ настоящую пору нѣтъ основаній предаваться излишнему оптимизму. Есть очень много людей, всегда готовыхъ бить въ набатъ и кричать о крамолѣ, какъ только она гдѣ-нибудь слышится спокойную, но искреннюю рѣчь о положеніи русскаго народа и о необходимости его экономическаго и политическаго переустройства. Такъ какъ люди эти, благодаря какой-то злой ироніи судьбы, пользуются нѣкоторымъ вліяніемъ и голосъ ихъ не можетъ быть названъ теперь гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, то едва ли возможно рекомендовать писателю, не умиляющемуся передъ ихъ теоріями, эту искреннюю рѣчь. Но если современный писатель, посвящающій свое время наблюденію и изученію жизни русскаго народа, и стѣсненъ условіями, то все-таки нельзя не признать, что положеніе его за послѣднее время значительно улучшилось: veto, такъ долго лежавшее надъ темою о народѣ, повидимому, снято. Мало того, на первый взглядъ, точно какою-то непостижимою игрою судьбы, русскій народъ, на-

ходившійся такъ долго въ загонѣ, превратился вдругъ, если можно такъ выразиться, въ persona grata, онъ сдѣлался самою благона-мѣренною темою, и всѣ наши самозванные столпы отечества заговорили о народѣ. Эту неопостижимую игру судьбы, нѣсколько вдумавшись въ дѣло, не такъ трудно себѣ объяснить. Объясненіе это рѣшительно необходимо для устраненія того „демократическаго“ тумана, который искусственно напускается совсѣмъ не демократами съ одною очевидною цѣлью—отвода глазъ отъ того, что составляетъ злобу дня современной Россіи.

Не будемъ говорить о положеніи русскаго народа и общества во времена, предшествовавшія Крымской войнѣ, о тогдашней роли „интеллигенціи“, т.-е. наиболѣе образованныхъ людей. Это довольно извѣстно. Крымская кампанія наглядно обнаружила полную несостоятельность прежнихъ порядковъ: необходимо было, не медля ни минуты, приступить къ излеченію раскрывшихся язвъ государственнаго организма. Главною, самою опасною язвою было, разумѣется, крѣпостное право, пропизывавшее насквозь весь нашъ государственный строй. При сохраненіи крѣпостнаго начала, проходившаго сверху до низу, служившаго краеугольнымъ камнемъ нашего общественнаго порядка и выражавшемся не только въ крѣпостной зависимости двадцати милліоновъ крестьянъ, но и въ безправномъ состояніи самаго общества, ясно было, что Россія не можетъ выйти изъ того уровня, на которомъ стоятъ восточныя монархіи.

Но застыть на такомъ уровнѣ Россія очевидно не могла. Европейская мысль, брошенная на русскую почву Петромъ Великимъ, несмотря на всѣ усилія подавить ее, оказалась живучею, и хотя медленно, преодолевая тысячи препятствій, все-таки дѣлала свое великое дѣло.

Закипѣла работа, направленная къ оздоровленію, къ дезинфекціи страны. Освобожденіе крестьянъ и послѣдовавшія затѣмъ реформы стали вызывать къ жизни заживо схороненныя силы. Началась энергичная работа мысли, свѣточъ которой поддерживался стоявшею до этой поры одинокою группою людей, выжидавшихъ своего часа. Къ этой группѣ принадлежали всѣ такъ-называемые дѣятели сороковыхъ годовъ, значительное большинство которыхъ въ пережитые длинные беспощадные годы упорно цѣплялось за тотъ якорь спасенія, который называется западною цивилизаціею. Литература вздохнула свободнѣе, двери университетовъ раскрылись широко, шлагбаумы опустились

передъ наукой, аудиторіи наполнялись тысячною толпою. Молодежь, рвавшаяся къ свѣту, устраивались воскресныя школы, публичныя лекціи, литературныя вечера, на которые, какъ на праздники, стекались люди, жившіе до сихъ поръ въ нравственной духотѣ. Пробужденная мысль работала быстро; каждый день она вербовала себѣ новыхъ прозелитовъ. Такъ формировался тотъ образованный слой, который зовется теперь съ какой-то глупой ироніей „интеллигенціею“. Безъ сомнѣнія, уровень образованія не былъ особенно высокъ, образованіе не отличалось особенною глубиною, и этому было слишкомъ много основаній—хотя бы лишь болѣе чѣмъ скромный для Россіи бюджетъ министерства народнаго просвѣщенія. Но если мы и не могли хвалиться глубиною нашего образованія, то все-таки оно было достаточно для перваго обихода, достаточно, чтобы вполнѣ понять, въ чемъ заключается уродливый и въ чемъ если не нормальный, то болѣе правильный типъ общественнаго порядка.

Умственное движеніе, сказавшееся послѣ крымскаго погрома и охватившее верхній слой, къ несчастію не коснулось народной массы. Народъ и тутъ остался за флагомъ. Если въ нравственномъ отношеніи уничтоженіе крѣпостного права возвратило мужику званіе человека, котораго нельзя болѣе продавать, подобно скоту, но за то въ умственномъ отношеніи для народа ничего не было сдѣлано: по прежнему непроглядное невѣжество волей-неволей должно было сковывать его природныя умственныя способности. Народъ, не имѣющій возможности даже знать о существованіи иныхъ порядковъ, нежели тотъ, при которомъ онъ живетъ, очевидно способенъ легче мириться съ нимъ, нежели тѣ, которые ближе знакомы съ общественными дѣлами.

Очевидно, потому, что въ огромномъ большинствѣ случаевъ, не изъ среды темной народной массы,—хотя и тутъ мы встрѣчались уже съ исключеніями, могла выходить критика всего того, что оказывалось тѣсно переплетеннымъ со старымъ, доказавшимъ свою несостоятельность, порядкомъ.

Но эти протесты образованнаго слоя, эти стремленія къ улучшенію существующихъ условій общественной жизни и та пассивная роль, которую, благодаря умственной тѣмѣ, играетъ народная масса, доказываютъ ли разнъ между „интеллигенціею“ съ одной стороны, и народомъ—съ другой? Пусть народная масса будетъ

консервативна, пусть она имѣетъ свои преданія, за которыя крѣпко держится, но кто же сказалъ, что эти преданія не измѣнятся, когда образованіе замѣнитъ невѣжество? Для того, чтобы эти преданія остались въ неприкосновенности, необходимо, чтобы наредѣ пребывалъ въ тѣхъ же условіяхъ, въ которыхъ пребываетъ въ настоящее время. Извѣстные „народолюбцы“ ничего иного и не жалятъ.

Теперь намъ уже не трудно будетъ объяснить начавшуюся у насъ бессмысленную игру въ противопоставленіе „интеллигенціи“ и народа. Извѣстная группа людей, пожалуй, партія довольно значительная сама по себѣ, но микроскопическая по сравненію съ русскою народною массою, группа, промѣнявшая человѣческое достоинство на тѣ выгоды, которыя доставлялъ ей старинный порядокъ, сознавая, что этой дорогой для нея стариннѣ грозитъ опасность, подняла извѣстный вопль объ опасности для отечества. Кто создалъ эту опасность? Ее создали совершенныя реформы, требующія въ свою очередь—этого нельзя было отрицать—дальнѣйшаго развитія. Началась систематическая атака этихъ реформъ, прикрываемая патріотическими чувствами, притворнымъ опасеніемъ, что реформы эти доведутъ до бѣды. Эта партія прекрасно понимала, что отмѣна совершенныхъ реформъ, искаженіе ихъ, поставленныя преграды для ихъ развитія могутъ создать серьезную опасность для отечества, но какое имъ было дѣло до отечества, когда на ихъ глазахъ рушился порядокъ, при которомъ „хищеніе“ вошло въ систему!

Для достиженія своей фантастической цѣли — возвращенія Россіи вспять, къ старому порядку, — партія эта пользовалась и продолжаетъ пользоваться всѣми средствами; она клеветаетъ, запугиваетъ, разжигаетъ злобу, всюду сѣетъ одну ненависть. Въ энергіи ей отказать нельзя, она достигла уже многого, она тормозитъ спокойное движеніе впередъ. Въ комъ она видитъ своего злѣйшаго врага? Въ томъ образованномъ слоѣ, изъ котораго чаще всего исходили протесты противъ уродливыхъ условій жизни, противъ сохраненія крѣпостного начала въ государственномъ строѣ. И люди этой партіи, при поддержкѣ своихъ естественныхъ сторонниковъ, не задумываются выставять этотъ слой, эту „интеллигенцію“, какъ подкапывающуюся подъ „благополучіе“ Россіи, понимая подъ благополучіемъ Россіи — свое собственное. Сдѣлавъ при дневномъ

свѣтъ, на глазахъ у всѣхъ, самую неискусную передержку и отождествивъ, благодаря ей, партію революціонную съ партіей либеральной, ищущей только болѣе человѣческихъ порядковъ, она занялась травлею „интеллигенціи“, пользуясь тѣмъ, что эта послѣдняя поставлена слишкомъ часто въ невозможность, вслѣдствіе иного, неприлегирированнаго положенія, защищаться противъ такихъ нечистыхъ на руку игроковъ.

Но для такой травли „интеллигенціи“ нуженъ былъ благовидный предлогъ. Несмотря на кажущуюся откровенность, партія эта въ дѣйствительности лицеѣрна до крайности. Признаться, что она дѣйствуетъ во имя „старого порядка“, что ей претятъ всѣ совершенныя реформы, что ей нѣтъ никакого дѣла до блага своего народа, — она очевидно не могла подъ опасеніемъ сдѣлаться только смѣшною. При такой откровенности многіе изъ ея сторонниковъ, для которыхъ, по крайней мѣрѣ, наружное уваженіе къ реформамъ послѣдняго царствованія совершенно обязательно, волей-неволей должны были бы отъ нея отшатнуться. Нѣтъ, партія эта для объясненія своего *raison d'être* должна была выставить иной, болѣе благовидный предлогъ. Вотъ тутъ-то и подвернулся народъ.

Народъ, благодаря отсутствію образованія, да и не только образованія, а даже грамотности, благодаря экономической заботности, занятый ежечасною борьбою со всяческою нуждой и вдобавокъ неусыпно опекаемый, остается внѣ общественной жизни; высшіе интересы ему чужды; онъ не только равнодушенъ къ заязавшейся борьбѣ между старымъ и новымъ порядкомъ, но онъ даже и не подозрѣваетъ ее. Вотъ почему прикрываться народными интересами, имѣть дерзость говорить его именемъ — нѣтъ ничего легче: для этого нужно только обладать тою особою храбростію, которою отличаются люди, передергивающіе карты. Именемъ народа можно утверждать всякую неправду, всякую небылицу, безъ опасенія быть опровергнутымъ, быть уличеннымъ въ сознательной лжи. Пассивная роль народа, невыраженіе имъ никакого протеста противъ „старого“ порядка, представляется достаточнымъ основаніемъ для всѣхъ реакціонныхъ элементовъ нашего общества противопоставлять его „интеллигенціи“ и указывать на него какъ на „опору“ и на врага всякихъ нововведеній, какъ на ненавистника общечеловѣческихъ порядковъ. На него дѣйствительно можно валить, какъ на мертвого,

вса, что вадумается. Но если народъ не выражаетъ словеснаго протеста противъ стараго порядка, то онъ иначе протестуетъ: сегодня переселяясь массами въ невѣдомны страны, завтра фантазируя на тему о новомъ передѣлѣ, и т. д. Но къ такого рода протестамъ люди, отстаивающіе крѣпостное начало въ государственной жизни Россіи, которые только радятся въ народолюбцевъ, не только остаются глухи, но и настойчиво стараются исказить ихъ значеніе. До народныхъ интересовъ имъ нѣтъ дѣла, народъ имъ нуженъ только какъ знамя, какъ орудіе борьбы противъ установленія новаго порядка, возвѣщеннаго реформами прошедшаго царствованія.

Не одна эта реакціонная партія, видящая своего литературнаго вождя въ редакторѣ „Московскихъ Вѣдомостей“, занимается игрою въ противопоставленіе „народа“ и „интеллигенціи“ и въ травлю послѣдней. Съ нею заключали наступательный и оборонительный союзъ люди, заявляющіе о чистотѣ своего сердца и вѣщающіе точно также всегда именемъ народа. Эти, быть можетъ, и безсознательные добровольцы реакціи черпаютъ свой идеалъ въ „преданьяхъ старины глубокой“, они съ ненавистью относятся къ общечеловѣческимъ порядкамъ, послужившимъ будто бы источникомъ всѣхъ бѣдъ русскаго народа.

Если партія „старога порядка“ знаетъ, къ чему она стремится, если у нея есть нехитрая, но весьма опредѣленная программа, заключающаяся въ двухъ положеніяхъ: съ одной стороны, сильная бюрократія, вполне безконтрольная, съ другой—безгласный народъ, безсловесное общество, лишенное даже возможности возвышать свой голосъ противъ какихъ бы то ни было злоупотребленій, совершаемыхъ подъ прикрытіемъ законности,—за то у другихъ, у этихъ платоническихъ любителей народа, нѣтъ ничего, кромѣ достойнаго жалости лепета. Лепечутъ они о счастливомъ, живущемъ въ довольствѣ народѣ, любящемъ свое начальство, лепечутъ о начальствѣ, любящемъ свой народъ, лепечутъ о христіанскихъ добродѣтеляхъ, украшающихъ и управляемыхъ и управителей, лепечутъ даже о свободѣ, но Боже сохрани, чтобы эта свобода была прочна.

Исходя, такимъ образомъ, отъ различныхъ точекъ отправления, и тѣ и другіе приходятъ къ одному и тому же выводу: къ ненависти противъ общечеловѣческихъ порядковъ, къ защитѣ старины и, какъ логическое послѣдствіе, къ проповѣди крестоваго похода

противъ „интеллигенціи“, желающей для народа нѣчто болѣе существенное, чѣмъ одну лишь платоническую любовь. Желать же для народа чего-либо существеннаго, на лицемѣрномъ языкѣ реакціонной партіи и по своеобразной логикѣ людей, именующихъ себя славянофилами, значить не что иное какъ быть врагомъ народа.

Повторяя каждый день и на всѣ лады одинъ и тотъ же вздоръ о враждѣ „либераловъ“, „западниковъ“, всего, что входитъ въ составъ „интеллигенціи“, къ народу, и чистокровные реакціонеры, и нечистокровные славянофилы изъ кожи лѣзутъ, чтобы убѣдить, что они-то и есть истинные защитники народа, вполне безкорыстные народолюбцы. Средство для такого убѣжденія у нихъ одно—это постоянно говорить: мы представители народа; мы говоримъ его именемъ; мы знаемъ всѣ его помыслы, всѣ желанія, всѣ потребности! По каждому подходящему и неподходящему даже случаю въ настоящее время въ печати, въ литературѣ народъ выдвигается впередъ, и тѣ, которые относились къ нему всегда съ наибольшимъ презрѣніемъ, теперь, употребляя выраженіе г. Успенскаго, стали „строить ему глазки“.

У народа такимъ образомъ явилось множество „друзей“, цѣлый непечатой уголъ. Между этими друзьями есть и настоящіе, серьезно и глубоко желающіе ему добра, и съ однимъ изъ таковыхъ мы и встрѣтимся въ настоящей статьѣ; есть, какъ мы уже видѣли, друзья лицемѣрные, ведущіе свою игру, „патріоты своего отечества“. Еслибы народъ зналъ объ ихъ существованіи, онъ бы, по всей вѣроятности, сказалъ: избави меня Богъ отъ друзей, а съ врагами я и самъ управлюсь!

Мы знаемъ очень хорошо, что споръ о томъ, кому болѣе дороги народныя интересы, кто ихъ лучше понимаетъ—тѣ ли, которые отстаиваютъ „добрую старину“ и клянутъ общечеловѣческіе порядки, или тѣ, которые предпочитаютъ ихъ домашнимъ распорядкамъ—въ сущности представляется споромъ бесплоднымъ, такъ какъ ни та, ни другая сторона не можетъ представить на то наглядныхъ фактическихъ доказательствъ.

Возьмите для примѣра какой-либо серьезный успѣхъ въ нашей общественной жизни, ну, хоть бы освобожденіе крестьянъ. По поводу этой реформы, по крайней мѣрѣ, наружнымъ образомъ, оба враждебные лагеря сходятся. Несмотря на весь цинизмъ ретроградной партіи,

она все-таки совѣстится открыто высказываться противъ этой реформы. Совѣсть иное дѣло, когда рѣчь заходить о томъ, благодаря какому вліянію, какой идеѣ совершилось освобожденіе? Тутъ снова обмычный споръ. Одни ставятъ эту реформу на счетъ европейской мысли, на счетъ вліянія западной цивилизаціи; другіе всю честь ея приписываютъ „вышей русской культурной мысли“, которая есть не что иное какъ „всепримиреніе идей“. Какая это „вышая русская культурная мысль“, что за „всепримиреніе идей“, о томъ, разумѣется, лучше не спрашивать, такъ-какъ единственное объясненіе, которое вы получите, будетъ приблизительно заключаться въ слѣдующемъ: „о, если вы не понимаете, что такое эта высшая культурная русская мысль, то съ вами нечего и говорить!“ И такъ во всемъ! Гдѣ же тутъ возможенъ серьезный споръ? Споръ не выходитъ изъ границъ общихъ разсужденій приведеннаго свойства и никогда не попадаетъ на путь фактическихъ доказательствъ. Удивляться этому, впрочемъ, особенно нечего, такъ какъ объясненіе бросается въ глаза.

Какъ же, однако, быть? Слѣдуетъ ли уклониться отъ спора и предоставить московско-петербургскимъ обскурантамъ и именующимъ себя славянофилами въ волю кричать объ ихъ любви, объ ихъ благодѣяніяхъ народу, преклониться передъ произнесеннымъ ими надъ „интеллигенціею“ приговоромъ и оставить безъ вниманія весь этотъ бредъ по поводу ненависти къ народу „либераловъ“, „западниковъ“, т.-е. всего образованнаго русскаго слоя? Такъ можно было бы поступить съ противникомъ болѣе добросовѣстнымъ, который молчаніе не принявъ бы за свою непогрѣшимость и въ отсутствіи возраженій не призналъ бы невозможность возражать.

Но если споръ о томъ, кто горитъ болѣе чистою любовью къ народу, не только безплоденъ, но заключаетъ въ себѣ не малую долю и комичности, за то возможенъ другой споръ, болѣе серьезный, болѣе убѣдительный, такъ какъ вести его можно съ помощью неотразимыхъ фактовъ. Споръ этотъ можетъ быть поставленъ такъ: который изъ двухъ враждебныхъ лагерей болѣе работаетъ на пользу народа, кто посвящаетъ ему больше своего времени, своего труда, кто болѣе занятъ изслѣдованіемъ быта народа, его нравственныхъ, умственныхъ состояніемъ, его матеріальнымъ положеніемъ? Для разрѣшенія такого спора существуетъ одинъ чрезвычайно важный, рѣшительный аргументъ—это литература. За отсутствіемъ политической жизни, литература

представляется у насъ, хотя и съ грѣхомъ пополамъ, но все-таки единственною областью, въ которой могутъ выражаться стремленія, интересы, заботы, опасенія образованнаго меньшинства русскаго общества. Каждый серьезный интересъ, захватывающій собою все общество, или ту или другую его часть, несмотря ни на какіе подводные камни, прорывается наружу въ литературѣ, онъ притягиваетъ къ себѣ литературныя силы, нарождающіеся таланты и съ каждымъ днемъ отвоевываетъ себѣ все большее и большее мѣсто въ живыхъ литературныхъ органахъ, отражающихъ въ себѣ теченіе современной жизни. Кто станетъ отрицать, что за послѣднія нѣсколько лѣтъ интересъ къ народу значительно выросъ среди образованнаго русскаго общества. Оно и понятно: это образованное общество должно было убѣдиться, помимо всякихъ другихъ гуманныхъ стремленій, что улучшеніе народной жизни не можетъ быть достигнуто до тѣхъ поръ, пока народная масса будетъ пребывать въ томъ, точно заколдованномъ, кругу невѣжества, въ которомъ она остается цѣлыя столѣтія. Этотъ возбужденный интересъ къ народу тотчасъ отразился въ литературѣ; на первый планъ выступила народно-бытовая литература съ ея художественными эскизами, съ ея полу-публицистическими, полу-беллетристическими очерками, съ ея правдивыми изслѣдованіями, съ научными данными. Откройте любой журналъ, и что вы увидите?—изъ десяти, двѣнадцати статей, составляющихъ его содержаніе, иногда чуть не половина посвящена народнымъ, крестьянскимъ интересамъ. Не всегда, конечно, качество отвѣчаетъ количеству, но тѣмъ не менѣе сколько уже выдвинулось именъ, передъ которыми критика должна остановиться съ уваженіемъ.

Къ какому же, спрашивается, лагерю принадлежать не только выдающіеся писатели, но даже и заурядные писатели въ этой народно-бытовой литературѣ? Весьма интересно было бы это прослѣдить, и мы постараемся вернуться къ вопросу: кто въ научномъ, историческомъ, этнографическомъ, экономическомъ и статистическомъ отношеніи сдѣлалъ больше для ознакомленія съ народнымъ бытомъ, съ тѣми тяжелыми условіями, въ которыя онъ поставленъ,—та ли партія, которая съ такимъ апломбомъ присвоиваетъ себѣ теперь монополію любви къ народу, или та, которая предпочитаетъ правовой порядокъ и за то каждый день подвергается обвиненію въ нелюбви и даже во враждѣ къ русскому народу.

На этотъ разъ, однако, мы остановимся только на одномъ отдѣлѣ литературы, на беллетристическомъ, и посмотримъ на тѣ выводы, къ которымъ приходятъ писатели народно-бытовой литературной школы. Къ какому же лагерю принадлежатъ эти писатели? Представьте себѣ, читатель, человѣка, — а такихъ людей въ нашемъ обществѣ, какъ впрочемъ и во всякомъ другомъ, очень много, — который не имѣлъ случая въ своей жизни подолгу жить въ деревнѣ, не могъ присмотрѣться своими глазами къ народному быту, но человѣка, жаждущаго, хотя бы даже книжнымъ образомъ, поближе познакомиться съ народною массою, къ которой онъ примыкаетъ. Пусть онъ войдетъ въ любую книжную лавку и потребуетъ сочиненія тѣхъ писателей, которые посвящали или посвящаютъ свой трудъ, свой талантъ изображенію, изслѣдованію народнаго крестьянскаго быта. Ему несомнѣнно подадутъ сочиненія или укажутъ статьи Рѣшетникова, Левитова, Николая Успенскаго, Нефедова, Глѣба Успенскаго, Златовратскаго, Эртеля и еще нѣкоторыхъ другихъ. Все это прекрасно, — допустимъ, скажетъ такой покупатель, — но я бы хотѣлъ, чтобы вы мнѣ дали сочиненія писателей другого лагеря, именно того, который выдаетъ себя за единственнаго горячаго защитника и друга народа, который одинъ только признаетъ за собою право говорить именемъ русскаго народа! Но сколько бы, однако, ни рылся книгопродавецъ въ своей лавкѣ, онъ все-таки не въ состояніи будетъ удовлетворить требованію покупателя. Отчего же? да по той очень простой причинѣ, что въ лагерѣ „народолюбцевъ“ такихъ писателей не имѣется. Какъ же, однако, объяснить повидимому такое странное явленіе? Объясненіе можетъ быть только одно. Непогрѣшимые „народолюбцы“ предпочитаютъ восхищаться кротостью и смиренномудріемъ русскаго народа, умиляться передъ широкимъ смѣтливымъ умомъ русскаго крестьянина, передъ его выносливостью, приходятъ въ восторгъ отъ непоколебимой преданности завѣтнымъ преданіямъ, благо такія восхищенія, умиленія и восторги стоятъ очень и очень дешево. Повторять звонкія фразы — одно дѣло, а проникать въ народную жизнь, изслѣдовать условія его быта — совсѣмъ другое; для этого требуется серьезный интересъ, дѣйствительно теплое отношеніе къ народу, а не одна заносчивость и самопоклоненіе.

Итакъ, въ то время, когда сторонники „старинны“, ненавистники европейскихъ порядковъ, присвоивающіе себѣ и исключеніе

право быть выразителями думъ и потребностей русскаго народа, не выставили въ литературѣ ни одного писателя, который бы знакомилъ русское общество съ народною жизнью, „интеллигенція“, преданная проклятію какъ анти-народная, создаетъ цѣлую народно-бытовую литературную школу. Она взяла на себя трудную задачу—вѣрно изобразить бытъ народа, нарисовать типичныя лица, показать, какими жизненными и нравственными интересами живетъ народная масса, словомъ, дать правдивое понятіе о томъ народѣ, который такъ долго былъ въ загонѣ и въ русской жизни, и въ русской литературѣ.

II.

Мы уже сказали, что русская литература весьма продолжительный періодъ должна была волей-неволей сторониться отъ народа. На это были двѣ причины: во-первыхъ, народъ весьма тщательно охраняемъ былъ отъ вторженія въ его жизнь литературы, и во-вторыхъ, сама литература находилась подъ строгимъ надзоромъ. Область литературы, и въ особенности той, которая называется изящной, была строго ограничена. Ей отведена была сфера сердечныхъ драмъ, душевныхъ волненій, происходящихъ по преимуществу среди „благородныхъ“ классовъ общества, но задѣвать вопросъ о социальномъ положеніи низшихъ классовъ народа—это считалось дѣломъ совершенно неподходящимъ. Заботиться о народѣ—для этого существовали вѣдомства; литературѣ тутъ нечего было соваться. Если нашимъ писателямъ сороковыхъ годовъ и удавалось затрогивать народный бытъ, то это происходило единственно или по недосмотру, по упущенію приставленнаго къ литературѣ надзора, или, и послѣднее гораздо чаще, по непониманію его, въ какую сторону направлены симпатіи писателя и что они хотѣли сказать своими произведеніями. Система суровой опеки и надъ народомъ, и надъ литературой не осталась, само собою разумѣется, безъ результатовъ. Прежде всего она имѣла своимъ послѣдствіемъ ту разобщенность между народомъ и „интеллигенціей“, за которую корятъ эту послѣднюю тѣ, которые являются теперь самыми страстными и не гнушающимися никакими средствами защитниками „старыхъ“ порядковъ, забывая или, вѣрнѣе, дѣлая видъ, будто не знаютъ, что эти „старые“ порядки болѣе всего стре-

ились къ созданію такой разобщенности. Затѣмъ эта опека имѣла и другое послѣдствіе, тѣсно переплетенное съ первымъ. Литературные вкусы общества воспитываются литературой, ея содержаніемъ, направленіемъ. Литература съ подрѣзанными крыльями, приниженная, обязанная постоянно трепетать, также точно развращаетъ литературные вкусы общества, какъ возвышаетъ ихъ литература, свободно высказывающаяся, свободно располагающая всѣмъ матеріаломъ, доставляемымъ ей жизнью. Русское общество, обязательно питавшееся романами, повѣстями, рассказами, въ которыхъ неизмѣнно являлись героями люди высшаго, подчасъ средняго круга, съ внѣшнимъ лоскомъ, съ болѣе или менѣе изящными манерами, съ болѣе или меньшимъ образованіемъ, словомъ „свои“ люди,—такъ привыкло къ тому, что дѣйствующими лицами могутъ быть только люди, принадлежащіе къ тому, что зовется обществомъ, что ему волей-неволей должно было казаться дикимъ видѣть сюжетъ для повѣсти въ жизни народа, героя—въ простомъ мужикѣ. Самое большое, что могъ безнаказанно, безъ неодобренія надзора и безъ опасенія оскорбить брезгливость читателя, позволить себѣ писатель-беллетристъ, это—вывести вскользь какую-нибудь трогательную старуху-няню, стараго слугу, беззавѣтно преданнаго своему господину раба, пожалуй, даже завести своего героя на нѣсколько минутъ въ избу сѣраго мужика, ошачливленнаго, конечно, такимъ посѣщеніемъ, но не больше. Тутъ писателя останавливала строгая застава литературныхъ приличій и вкуса.

Отнестись же къ народу серьезно, жизнь простого мужика сдѣлать предметомъ повѣсти и рассказа, сосредоточить на ней все вниманіе читателя—это явленіе сравнительно новое. Первый фундаментъ такой литературы народнаго быта былъ положенъ писателями, быть можетъ, и не совсѣмъ вѣрно называемыми писателями сороковыхъ годовъ, такъ какъ лучшіе изъ нихъ почти до нашихъ дней продолжали свою плодотворную дѣятельность. Заслуга этихъ писателей въ этомъ отношеніи по истинѣ громадна. Для того, чтобы оцѣнить ее по достоинству, нужно припомнить, въ какомъ состояніи находилось въ то время русское общество. Это было общество искусственно усыпленное, запуганное, трусливое, съ полной непривычкой къ самостоятельной мысли и дѣятельности, и въ силу этого относившееся съ понятнымъ и даже простибельнымъ равнодушіемъ къ безчеловѣчному обра-

щенію съ народною массою. Но голосъ писателей сороковыхъ годовъ былъ такъ силенъ, такъ симпатиченъ и талантливъ, что изумленное общество стало прислушиваться къ нему. Появленіе „Антоня Горемыки“, „Записокъ Охотника“ можетъ быть названо откровеніемъ. Вотъ почему, говоря о литературной школѣ, сдѣлавшей излюбленнымъ предметомъ своихъ наблюденій народную жизнь, нельзя не вспомнить безъ глубокаго уваженія имена Григоровича и Тургенева, этихъ первыхъ пионеровъ въ трудномъ дѣлѣ раскопки народнаго быта. Если и теперь, когда значительно измѣнилось положеніе народа, когда общество нѣсколько оживилось и сознало необходимость интересоваться и ближе узнать народную жизнь и когда, наконецъ, самая печать получила сравнительно большій просторъ, все-таки путь современныхъ писателей-народниковъ не усянъ розами, то какія же трудности долженъ былъ преодолевать хотя бы авторъ „Записокъ Охотника“, чтобы высказать хотя бы десятую долю своей мысли, своего сочувствія. Мало того, что народъ былъ темою неудобною, — онъ былъ темою и положительно опасною. Сочувствіе къ народу въ переводѣ на административный языкъ того времени означало преступный образъ мыслей...

Мы уже сказали, что всѣ современные писатели, посвятившіе себя всецѣло изученію народа и воспроизведенію его быта, типовъ и нравовъ въ живыхъ и часто яркихъ картинахъ, принадлежатъ къ интеллигенціи, и что среди такъ называемыхъ „истинно русскихъ людей“ ихъ вовсе не имѣется.

Но, быть можетъ, имъ, этимъ „самобытнымъ“ патриотамъ, принадлежитъ честь перваго слова за народъ; быть можетъ, писатели, возвысившіе за нихъ свой голосъ въ мрачныя времена, должны быть причислены къ ихъ лагерю? Увы! нѣтъ! Въ то время, когда славянофилы — о другихъ не стоитъ и упоминать — сочиняли свои мистическія теоріи, и нѣкоторые изъ нихъ рядились въ красныя шелковыя рубахи и поддевки изъ настоящаго ліонскаго бархата, чистокровные „западники“, люди европейской жизни, первые возставали своимъ мощнымъ словомъ противъ того гнета физическаго и нравственнаго, который лежалъ на народной массѣ, противъ того бытового порядка, который не признаетъ за людьми никакихъ правъ, именно человѣческаго достоинства.

Все, что въ русской литературѣ было живого, талантливаго, и

не только въ эпоху сороковыхъ годовъ, но и раньше, и позже, начиная съ Пушкина и Лермонтова и кончая лучшими современными писателями, все это стояло на сторонѣ Европы и враждовало, въ предѣлахъ возможности, съ „старымъ“ порядкомъ, этимъ неумолимымъ врагомъ русскаго народа, сдѣлавшагося столь милымъ сердцу новыхъ друзей народа; но, по мнѣнію этихъ послѣднихъ, главный врагъ народа—это не „старый“ порядокъ, а „петербургская казенщина“, губившій Россію бюрократизмъ,—точно эта казенщина, точно этотъ бюрократизмъ не есть лучшій расцвѣтъ „старого“ порядка, его неизбежный и неизмѣнный атрибутъ! Да, наконецъ, людьми какого же лагеря наносились этой „казенщинѣ“ и этому „все-пожирающему бюрократизму“ самые мощные удары? Отиѣчая мимоходомъ только самыя крупныя явленія, мы спрашиваемъ: развѣ „Ревизоръ“ и „Губернскіе Очерки“ принадлежать людямъ, не стоящимъ на общечеловѣческой почвѣ?

Но не станемъ отклоняться въ сторону, мы говоримъ только о писателяхъ, непосредственно касавшихся въ своихъ произведеніяхъ народнаго быта. Кого можетъ противопоставить партія „старинны“ такимъ писателямъ, какъ Тургеневъ, Некрасовъ, Григоровичъ, какія произведенія они отыщутъ, чтобы поставить на ряду съ „Антономъ Горемыкой“, „Рыцаремъ на часъ“, съ поэмой „Морозъ—красный носъ“ и, наконецъ, съ Записками Охотника? Отчего среди лагеря „либераловъ“, приверженцевъ европейской мысли, находятся великіе писатели, поэты, умѣющіе горячо отзываться на народное горе, и отчего въ другомъ, выдающемъ себя преимущественно за лагерь народническій, нельзя отыскать ни одного писателя, который сдумѣлъ бы затронуть душевную струну общества, говоря о жизни русскаго народа? Скажутъ—простая случайность! не народилось ни одного глубокаго поэта, ни одного сильнаго писателя. Но такая случайность представляется самымъ суровымъ приговоромъ надъ внутреннимъ содержаніемъ извѣстнаго цикла идей, надъ извѣстнымъ міросозерцаніемъ. Она доказываетъ гнилость этого содержанія, бесплодность міросозерцанія. Тутъ дѣйствуетъ та же причина, въ силу которой мы знаемъ великихъ пѣвцовъ свободы и ни одного великаго пѣвца рабства.

Итакъ, ни въ настоящемъ, ни въ прошломъ, съ той самой поры, когда явилась возможность хоть робко заговорить о народѣ, мы не находимъ у партіи, похваляющейся своею исключительною любовью

къ народу и горячностью своего интереса къ его судьбамъ, ни одного писателя, ни одного поэта, который съумѣлъ бы животворнымъ словомъ дотронуться до народныхъ язвъ, до народныхъ думъ. Всѣ такіе писатели принадлежать другому лагерю, вовсе не приверженному къ „старинѣ“ и желающему видѣть Россію въ средѣ европейской жизни.

Намъ нѣтъ нужды, разумѣется, останавливаться на произведеніяхъ этихъ писателей, посвященныхъ изображенію народного быта. „Записки Охотника“, „Антонъ Горемыка“, народныя поэмы Некрасова, безъ сомнѣнія, слишкомъ живы въ памяти каждаго изъ нашихъ читателей, да и притомъ говорить о нихъ значило бы повторять, такъ какъ значеніе ихъ много разъ и лучше, чѣмъ мы когда-нибудь могли бы то сдѣлать, было уже разъяснено въ русской литературѣ. Для насъ же важно только одно—показать на примѣрѣ хотя одного изъ этихъ произведеній какъ ту цѣль, которую задавались ихъ авторы, такъ и тѣ приемы, къ которымъ они вынуждены были прибѣгать для изображенія народной жизни,—для того, чтобы, говоря о современныхъ произведеніяхъ, посвященныхъ тому же предмету, болѣе рельефно выступило наружу все различіе, существующее къ этимъ двумъ отношеніямъ между писателями, впервые подступавшими къ народу, и ихъ крайне талантливыми и въ высшей степени добросовѣстными преемниками.

На „Запискахъ Охотника“, на этомъ классическомъ произведеніи русской литературы конца сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ, лучше всего можно видѣть, какую цѣль преслѣдовали лучшіе представители европейской мысли у насъ и какую манеру уже усвоивали они себѣ, чтобы съ бѣльшимъ успѣхомъ достигнуть желаннаго результата—привлечь на сторону народа симпатію русскаго общества. Затрогивая народную жизнь, авторъ „Записокъ Охотника“, равно какъ и другіе писатели, составлявшіе лучшую силу русской литературы, несмотря на все ея стѣсненное положеніе, имѣлъ передъ собою одну высокую и гуманную задачу—это подготовить почву, умъ, содѣйствовать скорѣйшему созрѣванію вопроса объ освобожденіи крестьянъ. Матеріальная нищета, умственная бѣдность, среди которыхъ коснѣла и, увы! продолжаетъ коснѣть русская народная масса, все это ступеньвалось, какъ бы блекло передъ зрѣлищемъ рабовладѣнія, низводившаго чело-вѣческое существо на степень животнаго. Слишкомъ понятно поэтому, что писатели, впервые подступавшіе къ изображенію народной жизни

въ эпоху крѣпостного права, должны были сосредоточить всѣ силы своего таланта, ума и чувства на этомъ выдававшемся постыднымъ пятнѣ нашего общественнаго строя и, въ силу этого, уже гораздо меньше удѣлять мѣста въ своихъ произведеніяхъ тѣмъ злокачественнымъ наростамъ, которые образовались, благодаря и соціальному, и политическому крѣпостному началу, въ нашихъ общественныхъ нравахъ.

Точно также скользили они по тѣмъ вопросамъ, которые теперь возбуждаютъ наибольшій интересъ въ произведеніяхъ современныхъ народныхъ писателей, по вопросамъ, касающимся міросозерцанія народа, его семейной жизни, взаимныхъ отношеній, существующихъ среди простого народа, отношенія его къ „барину“, къ общественнымъ вопросамъ Россіи, тѣхъ крѣпкихъ „думъ“, которыя онъ скрываетъ про себя—на все это существуютъ только слабыя намеки, по которымъ человѣкъ, незнакомый съ народною жизнью, едва ли въ состояніи былъ бы составить о ней какое-либо понятіе. Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ такіе и подобные вопросы возникали въ умѣ первыхъ писателей, заговорившихъ о народѣ, но имъ было не до нихъ, умъ ихъ всецѣло былъ поглощенъ представленіемъ о той роковой язвѣ, которою страдала Россія, и къ ней-то, къ крѣпостной зависимости приковывалось все ихъ вниманіе. Въ то время естественно могло казаться, что съ отміной крѣпостного права, точно по мановенію волшебнаго жезла, исчезнутъ въ народной жизни всѣ гнилостные наросты, вѣками слагавшіеся и придававшіе ей своеобразный, но далеко не привлекательный характеръ. Но не скоро дѣло дѣлается. Исчезло крѣпостное право, но не исчезли созданные имъ наросты, не исчезло непроглядное невѣжество, не исчезли привитыя рабствомъ привычки, воззрѣнія, не могло исчезнуть вполне понятное недовѣріе ко всему, что народъ не считаетъ „своимъ“, не исчезла, словомъ, вся та горькая дѣйствительность народной жизни, которую впервые стараются раскрыть передъ нами современные народные писатели.

Мы говоримъ это, разумѣется, не для того, чтобы сдѣлать какой-либо упрекъ прежнимъ писателямъ за то, что они недостаточно глубоко проникли въ народную жизнь. Такой упрекъ былъ бы въ высшей степени несправедливъ. Иныя времена, инныя задачи и цѣли, да и притомъ цѣль, которая ставилась людьми, имѣвшими мужество впервые заговорить о положеніи народа, была слишкомъ высока,

чтобы нужно было объяснять, почему въ этой цѣли они, можетъ быть, и сознательно ничего не желали видѣть.

Но еслибы эти писатели и желали поближе подойти къ народной жизни и освѣтить изнуряющія ее язвы, то такое желаніе оказалось бы тотчасъ неосуществимымъ. Они бы неминуемо встрѣтились на первыхъ же шагахъ съ такою непреодолимою стѣною преградъ, что волей-неволей должны были бы отказаться отъ своихъ замысловъ. Какъ было показывать наружу разѣдающія народъ раны, какъ было заикаться о его матеріальной и нравственной нищетѣ, когда этотъ народъ лстецами выставлялся какъ самый счастливый, процвѣтающій и каждый день благословляющій свое благополучіе? Если и теперь, когда старая ложь констатируется самимъ правительствомъ, когда положеніе народа стало излюбленною темою замаскированныхъ враговъ народа, опричники русской печати каждый день съ цинизмомъ утверждаютъ, что все, что говорится о горькой судьбѣ народной жизни, есть не что иное какъ фальшивое измышленіе враговъ существующаго порядка, — то на что же должны были разсчитывать люди, писавшіе о народѣ тридцать лѣтъ тому назадъ? Они должны были считать себя слишкомъ счастливыми, что въ ту безотрадную эпоху русской жизни они, все-таки, благодаря своему таланту и необычайному искусству, могли своими произведеніями служить воодушевлявшей лучшихъ людей общества святой цѣли освобожденія народа изъ-подъ ига крѣпостного права. Ни о чемъ другомъ писатели той эпохи и не могли думать; крѣпостное право одно было ихъ гнетущей мыслью, и кто рѣшится обвинить ихъ въ близорукости, если въ немъ они видѣли горечь всѣхъ золъ и всѣхъ страданій русскаго народа? Только будущее могло показать, что уничтоженіе крѣпостного права еще не тождественно съ свободой и съ благополучіемъ народа.

Какъ отлична цѣль писателей, впервые затронувшихъ народную жизнь, отъ цѣли современныхъ народныхъ писателей, такъ же точно различны и приемы, употребляемые тѣми и другими. Современные писатели, неутомимо преслѣдуя свою задачу — представить правдивое и полное изображеніе жизни русскаго народа, его характера, воззрѣній и думъ, не вступаютъ ни въ какіе компромиссы съ суровою дѣйствительностью; они описываютъ то, что они сами видѣли, что прочувствовали, что провѣрили своимъ разсудкомъ. Они не признаютъ нужнымъ скрашивать дѣйствительность, они не щадятъ суровыхъ

красокъ тамъ, гдѣ они сталкиваются съ народною дикостью, они не страшатся правдой оттолкнуть общество отъ народа. Выставляя дѣйствительность во всей ея наготѣ, они вносятъ въ свои произведенія полную искренность и правдивость, понимая, что всѣ печальныя стороны народа, его невѣжество, суевѣріе, страсть къ пьянству, стремленіе къ наживѣ всѣми путями, зачастую встрѣчающееся подобострастіе къ богатству и силѣ, все это есть не что иное какъ результатъ несчастнымъ образомъ сложившихся для народа историческихъ условій его жизни, за которыя онъ, по всей справедливости, не можетъ нести отвѣтственности. Они знаютъ, что если народъ невѣжественъ, не его то вина; они понимаютъ, что если единственную отраду народъ видитъ въ винѣ, то только потому, что у него отняты были всякія другія отрады; они видятъ, что если народъ равнодушно относится къ своимъ общественнымъ дѣламъ, то виноваты въ томъ настоятельныя вѣковыя внушенія: не твое дѣло, мужикъ! не суйся, на то есть начальство! Современные писатели чужды всякой сентиментальной слащавости, часто описанія ихъ отдають грубостью, суровостью; они не опасаются называть порокъ порокомъ, зло зломъ, дикость дикостью, и несмотря на это, во всемъ, что они пишутъ, чувствуется самое теплое, сердечное, любовное отношеніе къ народу. Сравнивая произведенія этихъ писателей съ славословіемъ лицемерныхъ „народолюбцевъ“, вы невольно будете поражены; у послѣднихъ такъ и течетъ только медъ, одинъ медъ, прославленіе и восхваленіе доблестей русскаго народа, на которомъ они не видятъ ни единого пятнышка, и несмотря на все это вы сразу чувствуете, что за этимъ фарисейскимъ преклоненіемъ передъ народомъ не таится ни теплаго чувства, ни сердечной привязанности къ народу; что эта лесть рассчитана на то, чтобы морочить наивныхъ людей, что за ней скрывается полное равнодушіе къ народнымъ интересамъ, стремленіе попрежнему держать его въ черномъ тѣлѣ и утвердить свое господство на невѣжествѣ и дикости народа. Да и къ чему въ самомъ дѣлѣ что-либо предпринимать въ интересахъ народа, когда этотъ народъ и безъ того выше и лучше всѣхъ европейскихъ народовъ? Современные народные писатели знаютъ, что только правда, одна голая, „трезвая“ правда способна содѣйствовать исцѣленію застарѣвшей болѣзни, а ложь, до которой такъ падки извѣстные ревнители народнаго блага, можетъ только еще болѣе загнать болѣзнь во внутренность, и вотъ за эту-то правду ихъ и об-

зываютъ клеветниками на народъ. Но если такой правдивый способъ отношенія къ народу долженъ быть признанъ исключительно правильнымъ и благотворнымъ, то нельзя все-таки не сказать, что онъ далеко не всегда былъ возможенъ. Современные народные писатели находятся въ этомъ отношеніи въ гораздо болѣе благопріятномъ положеніи, нежели ихъ предшественники. Изъ этого, разумѣется, вовсе не слѣдуетъ, чтобы послѣдніе должны были лгать въ своихъ произведеніяхъ и черное называть бѣлымъ, а бѣлое чернымъ. Они слишкомъ горячо любили свое дѣло, были слишкомъ честные люди, чтобы не гнушаться приемами современныхъ своеобразныхъ заступниковъ за народъ. Но время, когда они писали, и общественныя условія, окружавшія ихъ, были таковы, что въ интересахъ самого даже народа волей-неволей должны были утаивать часть правды. Народъ былъ въ загонѣ, на него смотрѣли какъ на грубую физическую силу, обязанную служить покорнымъ орудіемъ. Представлялось совершенно нормальнымъ, чтобы народъ не мыслить, не чувствовалъ и не жилъ по-человѣчески. При существованіи такого воззрѣнія на народъ, едва ли писатели, преданные народному дѣлу, достигли бы желанныхъ результатовъ, еслибы въ своихъ произведеніяхъ они рисовали хотя и правдивую, но мрачную картину грубости нравовъ, невѣжества и дикости народа. Они не имѣли возможности, — какъ то дѣлаютъ, если не съ полною свободою, то все-таки достаточно ясно, современные писатели, — рядомъ съ изображаемыми мрачными сторонами народной жизни указывать на ихъ причины и возводить отвѣтственность за дикость народа къ тѣмъ, которые систематически поддерживали эту дикость изъ-за своихъ корыстныхъ цѣлей. А какъ только скрыты были бы причины, не указана отвѣтственность, такъ тотчасъ вся вина за некрасивыя стороны народной жизни возложена была бы на самый народъ, и вмѣсто сочувствія къ народу, которое старались вызвать въ обществѣ славные литературные дѣятели, явилось бы чувство, прямо противоположное, и тѣ, которые давили народъ, воспользовались бы ихъ произведеніями, чтобы лишній разъ сказать: ну, стоитъ ли такой народъ, чтобы для него что-либо сдѣлалось, заслуживаетъ ли онъ свободы! Необходимость желѣзной руки, ежовыхъ рукавицъ, народъ и общество, не заслуживающіе свободы — все это старыя пѣсни, которыя и мы слышимъ, какъ слышали наши отцы.

Вотъ почему предшественники современныхъ писателей, изо-

бращающихъ народную жизнь, должны были быть особенно осторожны и не показывать всей правды, изъ опасенія, чтобы эта правда не была истолкована врагами народа въ невыгодномъ для него смыслѣ. Анализъ описываемыхъ ими явленій народной жизни отсутствуетъ въ ихъ произведеніяхъ, и нужно ли говорить, что не по ихъ винѣ. Они скользили по темнымъ сторонамъ этой жизни, точно опасаясь вызвать въ читателѣ раздраженіе противъ народа, и набрасывали яркія, но все же правдивыя краски только на симпатичныя стороны народного характера и жизни. Такимъ образомъ, въ ихъ картинахъ заключалась, безспорно, правда, но только не вся правда, и если благодаря этому ихъ произведенія и выводимые образы выигрывали въ симпатичности, за то изображеніе народной жизни проигрывало въ цѣльности. Такой приѣмъ въ изображеніи народа какъ нельзя болѣе отвѣчалъ поставленной ими себѣ цѣли — пробудить сочувствіе къ народной массѣ, показать весь ужасъ крѣпостного права и укрѣпить сознаніе въ необходимости искорененія этого зла изъ всѣхъ золъ. Но и тутъ, въ самомъ изображеніи неизбежныхъ, столько же уродливыхъ, сколько и позорныхъ послѣдствій существовавшаго рабства, писатели не были свободны, они не могли показать всю правду во всей ея наготѣ, такъ какъ крѣпостное право разсматривалось тогда какъ одна изъ основъ существующаго строя. Безъ высокой художественности, отличавшей этихъ писателей, они никогда, разумѣется, не въ состояніи были бы выполнить съ такимъ мастерствомъ поставленную ими себѣ задачу. Вся любовь къ народу, вся ненависть къ крѣпостному праву отзывались въ выводимыхъ ими образахъ и картинахъ жизни, полныхъ теплоты, самаго искренняго чувства. И только благодаря тому, что авторы сами не выступали впередъ съ накопившеюся въ нихъ горечью, что они умѣли подавлять въ себѣ крикъ повятнаго негодованія, ихъ произведенія могли проникать въ среду русскаго общества, не задержанные на пути блюстителями литературы. Острая горечь, взрывы негодованія замѣнялись у нихъ глубоко затаенною грустью, проникавшею насквозь всѣ ихъ произведенія и придававшая имъ какой-то мягкій колоритъ, что не мѣшало имъ щемить сердце каждаго читателя, способнаго отзываться на человѣческое страданіе и возмущаться при видѣ униженія человѣческаго достоинства.

Такова была цѣль и таковы приемы писателей, положившихъ начало изображенію народной жизни, — въ этомъ читатель легко можетъ убѣдиться, если припомнить хотя нѣкоторые изъ рассказовъ, вошедшихъ въ „Записки Охотника“; каждый рассказъ, это — повѣсть объ униженіи человѣческой личности, о надругательствѣ надъ живымъ существомъ, о безшабашномъ произволѣ, издѣвающимся надъ человѣчностью; тутъ и безпощадное сѣченіе розгами, и сдача въ рекруты, и самое вопіющее насиліе надъ женскимъ стыдомъ; казалось бы, что такіе рассказы могли быть написаны только желчью, что злоба, негодование должны сочиться въ каждой строкѣ, что совершенно немислимо сохранить при такихъ описаніяхъ объективное спокойствіе, требовавшееся условіями того времени. А между тѣмъ, припомните Матрену въ рассказѣ „Петръ Петровичъ Каратаевъ“, „Контору“, помѣщика Пѣночкина, бурмистра Софрона, забитаго Антипа, горемыку Власа въ „Малиновой Водѣ“, и вы убѣдитесь, что великій художникъ умѣлъ карать позоромъ эти стороны нашей жизни, не произнося ни единого слова осужденія.

Возьмите, напримѣръ, рассказъ „Петръ Петровичъ Каратаевъ“. Проще этого рассказа ничего быть не можетъ. Пригласилась Петру Петровичу дѣвушка Матрена, онъ полюбилъ ее и рѣшился купить ее у старой помѣщицы. Пріѣхалъ разъ, ничего не вышло, пріѣхалъ въ другой разъ. Помѣщица его приглашаетъ, и между ними начинается разговоръ.

„Мнѣ“, говоритъ, „докладывала Катерина Карповна о вашемъ намѣреніи, докладывала“: „но я себя“, говоритъ, „положила за правило: людей въ услуженіе не отпускать. Оно и неприлично, да и не годится въ порядочномъ домѣ: это не порядокъ. Я уже распорядилась“, прибавляетъ она, „вамъ уже болѣе безпокоиться нечего“. — Какое безпокойство, помилуйте... А можетъ быть вамъ Матрена Ѳедоровна нужна? — „Нѣтъ“, говоритъ, „не нужна“. — Такъ отчего же вы мнѣ ее уступить не хотите? — Оттого, что мнѣ не угодно: не угодно, да и все тутъ. „Я, ужъ“, говоритъ, „распорядилась: она въ степную деревню посылается“. Меня какъ громомъ хлопнуло. Старуха сказала слова два по-французски зеленой барышни: та вышла. „Я“, говоритъ, „женщина правилъ строгихъ, да и здоровье мое слабое, безпокойства переносить не могу. Вы еще молодой человѣкъ; а я ужъ старая женщина и въ правѣ вамъ да-

вать совѣты. Не лучше ли вамъ пристроиться, жениться, поискать хорошей партіи; богатныя невѣсты рѣдки, но дѣвицу бѣдную, за то хорошей нравственности, найти можно". Какъ сказала помѣщица, такъ и сдѣлала: Матрену сослали. Каратаевъ, охваченный страстью, не покорился, пробрался въ мѣсто ссылки Матрены и тайно увезъ ее. Недолго, однако, прожила Матрена на свободѣ. Барыня при встрѣчѣ узнала бѣглицу, и къ Каратаеву является исправникъ. „Правосудіе требуетъ, Петръ Петровичъ, сами посудите". Затормошило это правосудіе и Каратаева, и Матрену, да такъ затормошило, что послѣдняя не вытерпѣла, страхъ осилилъ, и она рѣшилась покориться своей злой судьбѣ. „Сердце мое", говоритъ, „надрывается, Петръ Петровичъ; васъ мнѣ жаль, моего голубчика; вѣкъ не забуду ласки вашей, Петръ Петровичъ, а теперь пришла съ вами проститься". — Чтò ты, чтò ты, сумасшедшая?.. Какъ проститься? какъ проститься? — „А такъ... пойду да себя и выдамъ".

И сдѣлала Матрена, какъ сказала. А чтò съ ней случилось впоследствии, авторъ не досказалъ, да оно и не нужно. О послѣдующей судьбѣ Матрены догадаться не трудно. Мы желали только въ нѣсколькихъ строкахъ напомнить читателю содержаніе одного изъ самыхъ тонкихъ разсказовъ „Записокъ Охотника", чтобы поставить затѣмъ вопросъ: чтò тутъ выступаетъ на первый планъ? И старуха помѣщица, и Каратаевъ, и сама Матрена, все это живыя лица, мастерски очерченныя писателемъ, но не они, не ихъ жизнь глубоко потрясаетъ васъ, а то насиліе, которое совершается по праву, во имя закона, хотя авторъ и ни единымъ словомъ не осуждаетъ его. Одна картинка, нѣсколько строкъ, но эти нѣсколько строкъ вызываютъ въ душѣ читателя ненависть къ тому порядку, который уничтожалъ женщину и оставлялъ одну рабу, при которомъ личность человѣческая предавалась поруганію какой-то самодурной старухи. Вся драма заключается тутъ вовсе не въ характерахъ людей, ни даже въ дикихъ нравахъ, а въ самомъ фактѣ существованія „законнаго" безправія. Помѣщица вовсе не исключительный извергъ, она пользуется только своимъ правомъ, она даже, на подобіе современныхъ московскихъ „охранителей", выставляетъ на видъ охраненіе добрыхъ нравовъ и „порядка". Матрена—заурядная рабыня, въ которой рабство не могло искоренить человѣческихъ инстинктовъ. Мы знакомимся въ этомъ разсказѣ съ судьбою

Матрени и всѣхъ ей подобныхъ, но только съ судьбою, а не съ будничною ея жизнью, мы не знаемъ ни ея привычекъ, ни ея думъ, не знаемъ, какъ она относится къ своимъ ближнимъ, ни даже того, какъ она смотритъ на свое положеніе.

Участь Матрены та же, что и участь Арнины въ разсказѣ „Ермолай и Мельничиха“, только судьба послѣдней въ концѣ концовъ сложилась болѣе счастливо; но какъ тамъ, такъ и тутъ на первомъ планѣ стоитъ фактъ грубаго насилія надъ человѣческою личностью. Возьмите другой, третій разсказъ, и вездѣ вы увидите одно—возмутительную картину насилія, совершаемаго надъ людьми крѣпостнымъ правомъ, а жизнь народная служитъ только фономъ, на которомъ вырисовываются образы жертвъ отошедшаго въ вѣчность крѣпостническаго произвола. Припомните еще одинъ изъ классическихъ разсказовъ въ „Запискахъ Охотника“, именно „Бурмистра“, который какъ нельзя лучше выставляетъ на видъ какъ ту цѣль, которую задавался писатель — съ одной стороны вызвать сочувствіе къ народу, изображая его трагическую судьбу, съ другой—отвращеніе къ крѣпостному праву, такъ и тѣ приемы, которыми онъ пользовался для достиженія этой цѣли.

Говорить о томъ удивительномъ мастерствѣ, съ которымъ написаны фигуры господина Пѣночкина, этого молодого помѣщика, гвардейскаго офицера въ отставкѣ, который „о благѣ подданныхъ своихъ печется и наказываетъ ихъ для ихъ же блага“, и бурмистра Софрона—значило бы повторять избитыя мѣста. Мы хотимъ привести только одну сцену, въ которой сосредоточивается весь драматическій интересъ разсказа, такъ какъ она прекрасно показываетъ, какъ писатель затрогивалъ ту единственную сторону народной жизни, которую онъ только и желалъ выставить наружу, именно сторону, непосредственно соприкасающуюся съ гнетомъ крѣпостного права.

„Выходя изъ сарая, увидали мы слѣдующее зрѣлище. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ двери, подлѣ грязной лужи, въ которой беззаботно плескались три утки, стояли два мужика: одинъ старикъ лѣтъ шестидесяти, другой—малый лѣтъ двадцати, оба въ домашнихъ заплатанныхъ рубахахъ, на босу ногу и подпоясанные веревками. Земскій Федосѣичъ усердно хлопоталъ около нихъ и, вѣроятно, успѣлъ бы уговорить ихъ удалиться, еслибъ мы замѣшкались въ сараѣ, но, увидѣвъ насъ, онъ вытянулся въ струнку и замеръ на

нѣствѣ. Тутъ же стоялъ староста съ разинутымъ ртомъ и недоумѣвающимъ кулаками. Аркадій Павлычъ нахмурился, закусилъ губу и подошелъ къ просителямъ. Оба, молча, поклонились ему въ ноги.

— Что вамъ надобно? о чемъ вы просите?—спросилъ онъ строгимъ голосомъ и нѣсколько въ носъ. (Мужики взглянули другъ на друга и словечка не промолвили, только прищурились, словно отъ солнца, да поскорѣй дышать стали).

— Ну, что же?—продолжалъ Аркадій Павлычъ, и тотчасъ же обратился къ Софрону:—изъ какой семьи?

— Изъ Тоболѣвой семьи,—медленно отвѣчалъ бурмистръ.

— Ну, что же вы?—заговорилъ опять г. Пѣночкинъ:—языковъ у васъ нѣтъ, что-ли? Сказывай, ты, чего тебѣ надобно!—прибавилъ онъ, качнувъ головой на старика.—Да не бойся, дуракъ.

Старикъ вытянулъ свою темно-бурую, сморщенную шею, криво разинулъ посинѣвшія губы, сильнымъ голосомъ произнесъ: „Заступись, государь!“ и снова стукнулъ лбомъ въ землю. Молодой мужикъ тоже поклонился. Аркадій Павлычъ съ достоинствомъ посмотрѣлъ на ихъ затылки, закинулъ голову и разставилъ немного ноги.—Что такое? На кого ты жалуешься?

— Помилуй, государь! Дай вздохнуть... Замучены совсѣмъ. (Старикъ говорилъ съ трудомъ.)

— Кто тебя замучилъ?

— Да Софронъ Яковичъ, батюшка.

Аркадій Павлычъ помолчалъ.

— Какъ тебя зовутъ?

— Антипомъ, батюшка.

— А это кто?

— А сынокъ мой, батюшка.

Аркадій Павлычъ помолчалъ опять и усами повелъ.

— Ну, такъ чѣмъ же онъ тебя замучилъ?—заговорилъ онъ, глядя на старика сквозь усы.

— Батюшка, разорилъ въ конецъ. Двухъ сыновей, батюшка, безъ очереди въ некруты отдалъ, а теперя и третьяго отнимаетъ. Вчера, батюшка, послѣднюю коровушку со двора свелъ и хозяйку мою избилъ—вонъ его милость. (Онъ указалъ на старосту.)

— Гмъ!—произнесъ Аркадій Павлычъ.

— Не дай въ конецъ разориться, кор...

Г-нъ Пѣночкѣнъ нахмурился. — Что же это однако значить? — спросилъ онъ бурмистра вполголоса и съ недовольнымъ видомъ.

— Пьяный человекъ-съ, — отвѣчалъ бурмистръ, въ первый разъ употребляя „слово — ерь“: — неработящій. Изъ недоимки не выходитъ вотъ ужъ пятый годъ-съ.

— Софронъ Яковличъ за меня недоимку взнесъ, батюшка, — продолжалъ старикъ: — вотъ пятый годочекъ пошелъ, какъ взнесъ; а какъ взнесъ — въ кабалу меня и забралъ, батюшка, да вотъ и...

— А отчего недоимка за тобой завелась? — грозно спросилъ г. Пѣночкѣнъ (старикъ понурилъ голову). — Чай, пьянствовать любишь, по кабакамъ шататься? (старикъ разинулъ-было ротъ) — Знаю я васъ, — съ запальчивостью продолжалъ Аркадій Павлычъ: — ваше дѣло пить да на печи лежать, а хорошій мужикъ за васъ отвѣчай.

— И грубіянь тоже, — ввернулъ бурмистръ въ господскую рѣчь.

— Ну, ужъ это само собою разумѣется. Это всегда такъ бываетъ; это ужъ я не разъ замѣтилъ. Цѣлый годъ распутствуетъ, грубитъ, а теперь въ ногахъ валяется.

— Батюшка, Аркадій Павлычъ, — съ отчаяніемъ заговорилъ старикъ: — помилуй, заступись, — какой я грубіянь? Какъ передъ Господомъ Богомъ говорю, не въ моготу приходится. Не взлюбилъ меня Софронъ Яковличъ, за что не взлюбилъ — Господь ему судья. Разоряетъ въ конецъ, батюшка... Последняго вотъ сыночка... и того... (на желтыхъ и сморщенныхъ глазахъ старика сверкнула слезинка) — Помилуй, государь, заступись...

— Да и не насъ однихъ, — началъ-было молодой мужикъ...

Аркадій Павлычъ вдругъ вспыхнулъ:

— А тебя кто спрашиваетъ, а? Тебя не спрашиваютъ, такъ ты молчи... Это что такое? Молчать, говорить тебѣ, молчать!.. Ахъ, Боже мой! да это просто бунтъ. Нѣтъ, братъ, у меня бунтовать не совѣтую... у меня...

Дальше передавать нечего. Антипъ съ сыномъ „постояли еще немного на мѣстѣ, посмотрѣли другъ на друга и поплелись, не оглядываясь, во-свои“. Кто не согласится, что сцена эта производитъ потрясающее впечатлѣніе. Антипъ выѣстъ съ его сыномъ трогаютъ читателя до глубины души, хотя въ дѣйствительности мы не знаемъ, ни что это за люди, ни ихъ воззрѣній, ни ихъ думъ. Тро-

гаетъ насъ страшная судьба не Антипа, не сына его, а судьба вообще людей, поставленныхъ въ такое безвыходное положеніе, какъ то, въ которомъ находятся Антипъ и его сынъ. Насъ возмущаетъ самый фактъ такого грубаго, бездушнаго произвола; онъ гадокъ—проявляется ли въ отношеніи дѣйствительно негоднаго человѣка, лѣнтяя, пьяницы или человѣка хорошаго, добраго, честнаго. Гнусно такое обращеніе съ человѣческимъ существомъ—вотъ впечатлѣніе, получаемое отъ мастерскаго разсказа, за которымъ совершенно ступшевывается фигура Антипа. Говоря, что мы не знаемъ Антипа, мы хотимъ сказать, что писатель не вводитъ насъ во внутренній міръ мужика, не дѣлаетъ насъ очевидцами жизни его, его настроенія, мыслей, какъ это дѣлаетъ онъ, когда онъ рисуетъ, напримѣръ, молодого помѣщика Пѣночкина. Этого мы узнаемъ насквозь, мы видимъ его жизнь, знакомимся съ образомъ его мыслей, и настолько близко, что впередъ можемъ сказать, какъ онъ поступитъ въ томъ или другомъ случаѣ, что онъ скажетъ по поводу того или другого явленія. Въ одномъ случаѣ, писатель даетъ намъ людей съ плотью и кровью, въ другомъ показываетъ только силуэты.

Такихъ удивительныхъ картинокъ въ „Запискахъ Охотника“ множество, и мы долго не разстались бы съ Тургеневымъ, еслибы захотѣли приводить ихъ на память читателю. Но вездѣ почти, гдѣ выводится въ разсказѣ мужикъ, — а онъ выводится всюду, — онъ показывается какъ прекрасный, но все-таки только силуэтъ. Возьмите Власа въ „Малиновой Водѣ“, припомните Сучка въ разсказѣ „Льговъ“, множество другихъ образовъ, о которыхъ слѣдуетъ сказать то же, что и по поводу Антипа.

Вездѣ, во всѣхъ разсказахъ живо чувствуется, что душа автора на сторонѣ народа, что онъ скорбитъ объ его горемычной долѣ, что онъ страстно желаетъ измѣненія къ лучшему его судьбы, что жизнь народная близка его сердцу; но этой жизни мы все-таки не узнаемъ изъ его произведеній. Онъ, такъ сказать, подступаетъ къ изображенію народной жизни, но тотчасъ же и останавливается; каждый разсказъ Тургенева могъ бы быть законченъ словами, заканчивающими превосходный его разсказъ „Контора“: „конца этой сценѣ я не берусь описывать; я и такъ боюсь, не оскорбилъ ли я чувства читателя“. Эта боязнь „оскорбить“, а слѣдовательно и вооружить чувство читателя противъ народа, быть можетъ, мѣшала писателю болѣе яркимъ свѣтомъ освѣтить народную жизнь.

Повторяемъ, мы не высказываемъ этого въ видѣ упрека; у каждаго дня своя злоба, каждое время имѣетъ свою задачу. У Тургенева, какъ и другихъ предшественниковъ современныхъ народныхъ писателей, была одна задача—это бороться всѣми силами съ неумолимымъ гнетомъ крѣпостного права, и эту задачу они выполнили блистательно. Произведенія ихъ наносили мощные удары крѣпкому еще въ то время крѣпостному праву, и съ этой стороны, какъ со стороны удивительной художественности и мастерства, произведенія ихъ навсегда сохранять неувядаемую красу. Но жизни народной, изображенія характера народа, его міровоззрѣнія и думъ—въ произведеніяхъ этихъ замѣчательныхъ писателей мы еще не находимъ. Эту тяжелую задачу они предоставили своимъ преемникамъ—современнымъ народнымъ писателямъ, къ которымъ мы и перейдемъ теперь, и прежде всего остановимся на томъ изъ писателей, который, по нашему мнѣнію, является самымъ талантливымъ и наиболѣе выдающимся ихъ представителемъ, именно, на г. Глѣбу Успенскомъ.

Полнаго собранія сочиненій г. Успенскаго мы еще не имѣемъ. Онъ издалъ отдѣльно нѣсколько книжекъ, въ которыя вошли рассказы и очерки, разбросанные въ разныхъ журналахъ, но далеко не всѣ; многіе, и притомъ изъ лучшихъ, до сихъ поръ не изданы отдѣльно. Вотъ почему мы впередъ должны сдѣлать оговорку, что этюдъ нашъ, посвященный этому писателю, будетъ далеко не полнымъ; онъ не охватитъ всей литературной дѣятельности г. Глѣба Успенскаго; весьма можетъ быть, что мы упустили изъ виду не одинъ изъ его прекрасныхъ рассказовъ; но и того матеріала, который имѣется въ нашихъ рукахъ, уже вполне достаточно, чтобы показать, какой богатый вкладъ въ нашу литературу внесенъ г. Успенскимъ, какъ многое уже сдѣлано имъ для яркаго освѣщенія дѣйствительной жизни русскаго народа.



ГЛѢБЪ УСПЕНСКІЙ.

—Глѣбъ Успенскій:—Люди и нравы современной деревни: въ сѣверной полосѣ.—Въ степи.—Изъ памятной книжки.—Изъ стараго и новаго. 1879—1880.
—Деревенская неурядица (три тома). 1882 г.

I.

Имя г. Глѣба Успенскаго давно уже появилось въ русской литературѣ. Его первыя произведенія, если мы не ошибаемся, относятся къ самому началу шестидесятыхъ годовъ, и съ тѣхъ поръ г. Успенскій писалъ безъ перерыва. Въ этотъ длинный періодъ времени изъ-подъ пера талантливаго писателя вышло не мало по истинѣ замѣчательныхъ разсказовъ, очерковъ, картинъ, посвященныхъ изображенію народной жизни. Безъ преувеличенія можно сказать, что своими произведеніями г. Успенскій много содѣйствовалъ уменьшенію того мрака, который скрывалъ отъ глазъ большинства образованнаго общества существенныя черты народнаго быта. Онъ намѣтилъ новыя типы, характеры, но что, быть можетъ, еще важнѣе—онъ съ большимъ знаніемъ дѣла раскрывалъ передъ нами тѣ внутреннія стороны жизни народа, къ которымъ не имѣли возможности, повидимому, подступить писатели сороковыхъ годовъ. Онъ показывалъ, какъ и что думаетъ народъ по тому или другому нравственному, экономическому, общественному вопросу, задѣвающиму мужицкую жизнь, какъ онъ относится „къ барину“, къ „своему брату“, какъ народъ понимаетъ и насколько интересуется общественными явленіями, событіями, совершающимися въ государственной

жизни Россіи. Г. Успенскій старается проникнуть въ думы, въ міросозерцаніе простого народа, вполне справедливо увѣренный, что знакомство съ внутреннею стороною народной жизни во сто кратъ важнѣе, чѣмъ самое блестящее, мастерское изображеніе внѣшнихъ сторонъ его быта. Задача, въ высшей степени серьезная и почтенная, хотя вмѣстѣ и необычайно трудная, которою задался г. Успенскій, не оказалась не по плечу писателю. Сомнѣнія нѣтъ, онъ не исчерпалъ богатаго матеріала, встрѣченнаго имъ на своемъ литературномъ пути, но совершенно безспорно, что та узкая, едва примѣтная тропинка, которая проложена была въ народной жизни, какъ предшествовавшими писателями, такъ и писателями, работавшими съ нимъ одновременно, благодаря его произведеніямъ, значительно расширилась и просвѣтлѣла. Казалось бы, что значеніе писателя, работающаго подобно г. Успенскому, въ продолженіе цѣлыхъ двадцати лѣтъ, и, главное, работающаго съ выдающимся талантомъ надъ такою важною задачею, какъ изображеніе невѣдомыхъ сторонъ народной жизни, должно было быть давно опредѣлено и владѣть, внесенный имъ въ родную литературу, не разъ оцѣненъ по достоинству. Съ г. Успенскимъ случилось однако иное. Правда, въ глазахъ читающей публики онъ занимаетъ весьма видное мѣсто среди современныхъ литературныхъ дѣятелей, произведенія его встрѣчаютъ живое сочувствіе; но критика, на обязанности которой лежитъ разъясненіе причинъ, по которымъ тотъ или другой писатель занимаетъ извѣстное мѣсто, которая устанавливаетъ, или, вѣрнѣе, объясняетъ право писателя на видное мѣсто въ литературѣ, до сихъ поръ не исполнила своей обязанности по отношенію къ г. Успенскому.

По поводу его произведеній появлялись, правда, небольшія, большею частію фельетонныя критическія замѣтки, но вовсе не такого свойства, чтобы онѣ могли установить правильный взглядъ на литературную дѣятельность г. Успенскаго.

Бѣда этихъ замѣтокъ заключалась вовсе не въ томъ, что это были небольшія замѣтки, а не пространныя статьи. Мы очень хорошо знаемъ, что иная замѣтка на нѣсколькихъ газетныхъ столбцахъ стоитъ гораздо больше, чѣмъ обширная журнальная статья, что замѣтка на двухъ-трехъ страницахъ Бѣлинскаго или Добролюбова гораздо вѣрнѣе оцѣнитъ достоинство произведенія и опредѣлитъ мѣсто писателя, чѣмъ иная критическая статья, написанная по всѣмъ

правиламъ искусства. Дѣло не въ количествѣ печатныхъ строкъ или страницъ, а въ правильности сужденія, въ добросовѣстности оцѣнки, чуждой извращеній мысли писателя, недоступной для сознательной фальши ради проведенія той или другой излюбленной идеи. А этого-то всего и не было въ тѣхъ замѣткахъ, о которыхъ мы говоримъ. Одни указывали, что Глѣбъ Успенскій даетъ своимъ читателямъ талантливыя фотографіи, но что въ его произведеніяхъ нѣтъ того элемента, который долженъ быть присущъ выдающемуся беллетристу, именно, элемента творчества; другіе говорили, что весь его литературный багажъ заключается исключительно въ мелкихъ разсказахъ, очеркахъ, картинкахъ, но что онъ не далъ ни одного крупнаго произведенія, что онъ предлагаетъ читателю только отрывки, этюды, какіе-то наброски и не развернулъ передъ нимъ ни одной цѣльной картины народной жизни. Наконецъ, его упрекали даже въ легкомысленномъ отношеніи къ той задачѣ, которую онъ себѣ поставилъ, и въ довершеніе всего выставлялось даже обвиненіе, что г. Успенскій своими произведеніями подслуживается извѣстному направленію и съ умысломъ рисуетъ русскій народъ мрачными красками, принося такимъ образомъ свой талантъ въ жертву тому, что съ такимъ по истинѣ удивительнымъ остроуміемъ называютъ „лакейскимъ“ либерализмомъ.

Не можетъ быть, разумѣется, ничего легче какъ произносить подобныя легковѣсныя сужденія, которыми замѣняется серьезная литературная оцѣнка произведеній того или другого писателя. Последняя требуетъ вкуса, пониманія, серьезнаго отношенія къ писателю, слѣдовательно, по крайней мѣрѣ, внимательнаго чтенія его произведеній, т.-е. извѣстнаго труда, между тѣмъ какъ произнесеніе столь же рѣшительныхъ, сколько и бездоказательныхъ приговоровъ предполагаетъ развѣ одно—гостинодворскую развязность. Мы бы, разумѣется, никогда и не остановились на мнѣніяхъ этого сорта, еслибы въ наши литературныя нравы послѣдняго времени все больше и больше не въѣдалась эта деморализирующая литературу наклонность не обсуждать, не разбирать произведеніе писателя, а забрасывать самого писателя бурнымъ потокомъ неприличныхъ, бранныхъ словъ. Ни заслуги писателя, ни его талантъ, ни то уваженіе, которымъ чтятъ его общество, ничто не гарантируетъ такого писателя, чтобы какой-нибудь газетный обозрѣватель не обдалъ не только его произведенія, но глав-

ныиъ образомъ его самого цѣлымъ ушатомъ литературныхъ нечистотъ. Такъ было съ Тургеневымъ, такъ было еще недавно съ Салтыковымъ. Очевидно, что эти господа предполагають, что отсутствіе таланта, образованія, литературнаго пониманія можетъ быть съ избыткомъ возмѣщено дешевою способностью къ базарной брани. И чѣмъ беззастѣнчивѣе брань, тѣмъ, повидимому, болѣе широкимъ сознаниемъ своего собственнаго достоинства наполняетъ она ея автора, самодовольно улыбающагося при мысли: „вотъ, дескать, какъ я его отдѣлалъ“! Вотъ что по истинѣ можно назвать сознаниемъ своего „лакейскаго“ достоинства. Такіе литературные, или, вѣрнѣе, анти-литературные приемы не только роняють тѣхъ, кто къ нимъ прибѣгаетъ, но они незамѣтно свидѣтельствуютъ также объ упадкѣ литературы въ данный моментъ общественной жизни. Они всегда совпадаютъ съ временемъ наибольшаго стѣсненія печатнаго слова, и понятно почему. Отсутствіе сдержанности, страстность въ борьбѣ съ извѣстными идеями, тѣми или другими началами, съ тою или другою, напр., политическою системою, оказывается весьма естественною при извѣстныхъ условіяхъ. Когда такая борьба становится невозможна, когда эти идеи, начала, система дѣлаются вѣншиимъ образомъ недоступны литературѣ, тогда остается одинъ выходъ — это перенести споръ съ почвы идей на почву болѣе доступную, именно личную, и нападать на литературныхъ представителей этихъ взятыхъ подъ охрану идей. Такія нападенія, такая ожесточенная борьба съ нѣкоторыми литературными дѣателями никогда никого не обманываетъ. Всякій долженъ отлично понимать, что если иногда ожесточенно преслѣдуется извѣстный писатель, то вовсе не потому, чтобы именно этотъ писатель былъ особенно интересенъ, а только потому, что въ немъ видятъ представителя тѣхъ идей, которыя намъ ненавистны и лживость и вредъ которыхъ желаютъ изобличить. Все это объясняется необходимостью, правда, печальною, но все-таки необходимостью. Пусть сняты будутъ сегодня непреодолимые барьеры, разставленные для пущаго обузданія свободнаго слова, пусть предоставленъ будетъ просторъ для критики — тогда всякій уважающій себя писатель охотно дастъ клятвенное обѣщаніе никогда даже не упоминать именъ тѣхъ людей, о которыхъ, къ стыду нашему, мы такъ часто вынуждены говорить. Люди порядочные не могутъ сомнѣваться, что всѣ эти „Булгарины“, прошедшіе и настоящіе, не представляютъ ни малѣйшаго интереса сами по себѣ, и если приходится о нихъ

толковать, то дѣлается это по неволѣ, съ неизмѣннымъ чувствомъ брезгливости.

Но вотъ что болѣе всего достойно удивленія. У насъ на такіе несчастные литературные пріемы, на эту личную брань, на личные клеветы, оказываются особенно падкими не тѣ, которые вынуждены для борьбы съ идеями прибѣгать къ борьбѣ съ личностями, а именно тѣ, которые вовсе въ томъ не нуждаются, для которыхъ существуетъ полная возможность вести какую угодно атаку противъ неправящихся и ихъ идей, оставляя въ сторонѣ личность писателя. Если, слѣдовательно, они прибѣгаютъ къ некрасивымъ литературнымъ пріемамъ, то единственно потому, что въ дѣйствительности они безсильны бороться противъ тѣхъ идей, нападать на которыя не только разрѣшается, но подчасъ вмѣняется даже въ заслугу. Обозвать „лже-либераломъ“ или „пошлымъ либераломъ“, хлестнуть именемъ „измѣнника“ какому-то особому русскому духу или даже — вѣдь языкъ безъ костей — сообщникомъ „крамолы“ ничего не стоитъ, для этого не требуется никакихъ талантовъ, кромѣ безшабашной развязности да нравственной распушенности; но поставить серьезно вопросъ объ условіяхъ и путяхъ нашего національнаго развитія съ здоровой критикой, съ честнымъ желаніемъ правды — такая задача куда труднѣе. За нее эти писатели и не берутся...

Благодаря этимъ укореившимся въ нашихъ литературныхъ нравахъ некрасивымъ пріемамъ, мы точно разучились вести правильный споръ, систематически доказывать нашу мысль, а все норовимъ отдѣлаться какимъ-нибудь крѣпкимъ словомъ, или поспѣшнымъ, непродуманнымъ, а потому и легковѣснымъ сужденіемъ. Есть, конечно, исключенія, но они такъ рѣдки, что точно тонуть въ общемъ правилѣ. Появляется у насъ писатель, полный силъ, полный таланта, работающій неутомимо и обогащающій своими произведеніями нашу не такъ ужъ богатую литературу, — и что же? Радуетъ насъ его появленію, рукоплещемъ его успѣхамъ, заботимся о томъ, чтобы придать ему энергію на новые труды, укрѣпляемъ его нашимъ сочувствіемъ?.. Нѣтъ, онъ встрѣчается только съ злостными нападеніями. Правда, такія нападенія не причиняютъ особаго ущерба, но они вызываютъ чувство отвращенія. Когда эти нападенія направлены на писателя, стоящаго недосыгаемо высоко надъ такими критиками, тогда припомнишь развѣ басню Крылова „Слопъ и моська“ и съ пренебреже-

ніємъ отвернешься отъ вызванныхъ озлобленіемъ надмывательствъ; но когда такимъ надмывательствамъ подвергается писатель молодой, или начинающій, или не успѣвшій еще вступить на твердый путь, тогда въ особенности становится обидно, досадно на господствующій низкій нравственный уровень нашей современной литературы. Если же паче чаянія черезъ все произведеніе писателя проходитъ честная мысль, серьезно либеральное направленіе автора, тогда чистое горе. Пожа-луйте-ка вашъ паспортъ, скажутъ такому писателю, вы кто такой? Вы, кажется, принадлежите къ лагерю „лже-либераловъ“, вы почувствуете европейскимъ порядкамъ? Такъ?.. Ату его!

Эти некрасивые литературные приемы невольно припомнились по поводу разныхъ обвиненій противъ г. Успенскаго. Скажемъ о нихъ нѣсколько словъ.

Разказы и очерки г. Успенскаго, это—фотографіи съ народнаго быта, фотографіи, лишенныя главнаго элемента беллетристическаго произведенія, именно творчества. Вотъ одинъ изъ упрековъ, на которомъ стоитъ остановиться. Чтѣ хотятъ сказать этимъ словомъ: „фотографія“—мы, признаемся, не можемъ хорошо понять. Если этимъ словомъ желаютъ выразить, что писатель ограничивается въ своихъ произведеніяхъ перенесеніемъ на бумагу подслушанныхъ разговоровъ, простой передачей: во что были одѣты разговаривающіе и каково было жилище, комната, гдѣ происходилъ передаваемый разговоръ, то очевидно, что такой упрекъ не только не можетъ быть обращенъ къ г. Успенскому, но и вообще ни къ какому сколько-нибудь талантливому писателю. Гдѣ вы найдете такого писателя, который не внесъ бы въ подслушанные разговоры, въ подмѣченные имъ внѣшнія черты жизни своего личнаго, ему одному присущаго отношенія къ тому, чтѣ онъ слышитъ и видитъ? Если же подъ „фотографіей“ разумѣть вѣрное изображеніе дѣйствительности, точное, безъ фантастическихъ прикрасъ воспроизведеніе встрѣтившихся писателю лицъ, характеровъ, правдивое описаніе нравовъ, тогда этимъ именемъ придется окрестить произведенія всей реалистической школы, ставящей своею главною задачею отраженіе въ литературныхъ произведеніяхъ неприкрашенной дѣйствительности, жизни какъ она есть, со всѣми ея и темными и свѣтлыми сторонами. Какъ фальшива намъ кажется теперь когда-то модная идиллія, точно такъ же остаемся мы холодны при чтеніи произведеній, въ которыхъ люди и жизнь рисуются преувели-

ченными, мрачными красками. Въ обоихъ случаяхъ современный образованный читатель скажетъ: это фальшиво, и меньшее, что почувствуетъ къ такому произведенію самый благодушный читатель, это — полное равнодушіе. Сила впечатлѣнія, вызваннаго литературнымъ произведеніемъ, находится въ прямомъ отношеніи съ его правдивостью. Пусть природа, люди, нравы, характеры будутъ вѣрны дѣйствительности — вотъ первое и главное условіе, требуемое отъ литературнаго произведенія. Затѣмъ, намъ нѣтъ дѣла до того, какимъ путемъ достигъ писатель правды жизни, списываетъ ли онъ выводимое имъ лицо съ дѣйствительно существующей типической личности, или онъ изображаетъ лицо, въ дѣйствительности не существующее, но которое въ данное время, при господствѣ извѣстныхъ нравовъ, томъ или другомъ уровнѣ общественнаго развитія можетъ существовать, пусть это лицо встаетъ передъ нами живымъ — остальное для насъ безразлично. Возможно ли однако остаться вѣрнымъ дѣйствительности, воспроизводить живыя лица, правдиво рисовать нравы, не обладая тѣмъ элементомъ, который зовется творчествомъ? Конечно, нѣтъ. Безъ таланта, безъ творчества нельзя дать вѣрной „фотографіи“; списывать съ дѣйствительности вовсе не такъ легко, какъ нѣкоторые думаютъ, и тотъ, кто описываетъ и списываетъ вѣрно съ дѣйствительности (иначе этого не называли бы, конечно „фотографіей“), тотъ, несомнѣнно, творитъ. И лучшее тому доказательство заключается въ томъ, что когда человѣкъ безъ таланта, безъ творческой силы принимается весьма усердно копировать жизнь, то въ итогъ получается изображеніе случайнаго, произвольнаго взятаго факта, изображеніе не настоящей, а фальшивой дѣйствительности, въ которой никто не узнаетъ правды жизни. Понимать дѣйствительность, улавливать жизнь не всякому дано. Возьмите двухъ писателей, одного одареннаго талантомъ, надѣленнаго творческою способностью, другого лишеннаго этихъ драгоцѣнныхъ силъ, и пусть оба будутъ свидѣтелями одного и того же разговора, одного и того же событія. Одинаково ли они передадутъ свои впечатлѣнія, одинаково ли воспроизведутъ слышанное и видѣнное? Человѣкъ съ талантомъ схватитъ существенныя черты разговора, дѣйствующихъ лицъ, событія, а потому дастъ такое воспроизведеніе дѣйствительности, что каждый читатель невольно скажетъ: да, это такъ было, это сама жизнь! Писатель ничего не придаетъ, повидимому, отъ себя, не дозволилъ себѣ ни малѣйшаго вымысла, онъ остался строго вѣренъ дѣй-

ствительности — и мы получили правдивую картину жизни. Называйте ее „фотографіей“, она оттого ничего не теряет. Другой же писатель, но только лишенный таланта и творчества, изобразить тот же разговор, тѣ же лица, то же событіе, также, повидимому, сфотографируетъ известную картину, но эта картина будетъ блѣдна, мертва, и вы никогда не узнаете въ ней дѣйствительности, жизни. Вотъ почему это слово „фотографія“ лишено всякаго содержанія, и если несмотря на это оно держится въ литературной критикѣ, то только потому, что оно представляется чрезвычайно удобнымъ; оно избавляетъ критика отъ необходимости вникать въ произведеніе, сдѣлать ему надлежащую оцѣнку. „Фотографія!“ и дѣло съ концомъ, и критикъ полагаетъ, что онъ сказалъ нѣчто опредѣленное, глубокомысленное, когда онъ ровно ничего не сказалъ. Упрекъ писателю, которому никто не отказываетъ въ томъ, что онъ рисуетъ живыхъ людей и воспроизводитъ неприкрашенную дѣйствительность, упрекъ въ томъ, что онъ даетъ читателю „фотографію“ жизни, сильно отзывается добрымъ старымъ временемъ, когда велась война противъ первыхъ шаговъ нашего художественнаго реализма, или противъ „натуральной школы“. Въ то время, когда правда жизни, неразмалеванная дѣйствительность отождествлялась съ пошлостью жизни, когда „Евгеній Онѣгинъ“, „Мертвыя души“, „Шинель“ были неслыханною дерзостью геніевъ, бравировавшихъ „чувство приличія“, „вкуса“, наконецъ, всѣ литературныя преданія, когда Пушкинъ, первый, а за нимъ Гоголь и другіе писатели обвинялись въ *lèse-majesté* литературы именно за рѣшимость покинуть фальшивую реторику и черпать матеріалъ для своихъ произведеній въ окружающемъ ихъ мірѣ, въ голой дѣйствительности, въ жизни того самого общества, которому они принадлежали, тогда впервые формулировался тотъ бессодержательный упрекъ, для котораго впоследствии было найдено надлежащее выраженіе — фотографія. Старыя понятія, старыя формы исчезаютъ постепенно, умираютъ медленною смертію. Нельзя потому удивляться, что сторонники ихъ съ ожесточеніемъ нападали на литературныхъ новаторовъ, съ отвагою поднимавшихъ знамя художественной правды. Воспроизведеніе прозы жизни, сѣрыхъ будничныхъ дней, зауряднаго люда съ его какъ серьезными, такъ и мелкими интересами, подчасъ со всею его пошлостью, представлялось тогда упрямымъ приверженцамъ отживавшихъ понятій и формъ не чѣмъ инымъ какъ унижающимъ лите-

ратуру и недостойнымъ ея „копированіемъ“ нисколько неинтересной для нихъ дѣйствительности. Но что было понятно тогда, то совершенно непонятно теперь, когда реалистическое направленіе съ его главною задачею—правдивымъ, неприкрашеннымъ вымыслами, изображеніемъ дѣйствительности — сдѣлалось господствующимъ. Что сорокъ, пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, люди, бравшіеся говорить о литературѣ, не понимали, что для правдиваго изображенія повседневной жизни обыкновенныхъ людей требуется больше таланта и творчества, чѣмъ для изображенія небывалой жизни и небывалыхъ людей, это совершенно въ порядкѣ вещей; но когда, при современномъ направленіи литературы, такого писателя, какъ г. Глѣбъ Успенскій, которому никто не отказываетъ въ томъ, что жизнь, которую онъ рисуетъ, дѣйствительная народная жизнь, и люди, которыхъ онъ выводитъ, не картонные, а живые люди,—упрекаютъ, что онъ занимается фотографіей, и въ силу этого отрицаютъ въ немъ творческую способность, это доказываетъ только одно—крайнюю сбивчивость понятій, отличающую современную литературную критику.

Чѣмъ другимъ, какъ не тѣмъ же объясняется другой упрекъ, дѣлаемый г. Успенскому,—что онъ даетъ читателю только небольшіе очерки, а не крупныя произведенія, въ которыхъ развертывались бы цѣльныя картины народной жизни. Опредѣлять качество количествомъ, это вполне оригинальный критическій приѣмъ. Обыкновенно достоинство литературнаго произведенія оцѣнивается сообразно тому, насколько вѣрно и рельефно воспроизведена въ немъ дѣйствительная жизнь, насколько живо затрогиваетъ оно общественный интересъ, насколько типично изображены описываемыя лица, насколько мысль, руководящая писателемъ, сильна и справедлива, но никогда еще литературное произведеніе не оцѣнивалось по количеству заключающихся въ немъ строкъ. Можно оспаривать, конечно, достоинство произведеній г. Успенскаго, можно доказывать, что его изображеніе народной жизни фальшиво, что выводимыя имъ лица не типичны, словомъ, можно находить всевозможные недостатки и убѣждать, что писатель этотъ не заслуживаетъ ни малѣйшаго вниманія, но нельзя основывать своего сужденія на томъ, сколько печатныхъ листовъ заключается въ произведеніи автора. Прикладывая подобный критическій аршинъ къ произведеніямъ, напримѣръ, Тургенева, слѣдовало бы сказать, что „Записки Охотника“ стоятъ ниже всѣхъ его

другихъ произведеній, такъ какъ „Записки Охотника“ состоятъ изъ мелкихъ разсказовъ, а другія произведенія могутъ быть изданы отдѣльными томами. Но помимо того, что такой упрекъ доказываетъ крайнюю поверхностность сужденія, онъ еще и несправедливъ. Цѣлая серія очерковъ и разсказовъ, написанныхъ г. Успенскимъ, имѣютъ между собою такую тѣсную, неразрывную связь, одинъ очеркъ такъ явно служитъ продолженіемъ другого, что при сколько-нибудь внимательномъ чтеніи становится совершенно ясно, что вотъ такая-то серія очерковъ задумана одновременно, и что каждый изъ нихъ, хотя, быть можетъ, и носитъ отдѣльное названіе, но составляетъ не что иное какъ одну изъ главъ цѣлаго сочиненія. Всѣ подобныя упреки доказываютъ, что у насъ слишкомъ часто люди, берущіе на себя роль грозныхъ литературныхъ судей, не отдають себѣ вовсе отчета въ томъ, какія же въ самомъ дѣлѣ требованія должны быть предъявляемы къ писателю. Мало ли у насъ беллетристовъ, поставляющихъ чуть не ежегодно по большому роману, въ родѣ гг. Маркѣвича, Авсеенка и другихъ, имя которымъ легіонъ, но оставляютъ ли они по себѣ какой-нибудь прочный слѣдъ въ литературѣ? И не потому, чтобы въ нихъ не было абсолютно никакихъ достоинствъ; часто они обличаютъ въ авторахъ способность къ бойкому разсказу, умѣнье владѣть перомъ, но въ нихъ нѣтъ тѣхъ свойствъ, которыя одни дѣлаютъ литературное произведеніе жизненнымъ. Лица, ими изображаемыя, списаны не съ натуры, а представляются только говорящими манекенами, а нравы, описываемые ими, неизвѣстно гдѣ существуютъ; благодаря или отсутствію наблюдательности, или избытку неудачно примѣняемой къ дѣлу фантазіи, или, наконецъ, ради желанія во что бы то ни стало доказать справедливость какой-нибудь измышленной ими идеи, нравы общества являются въ ихъ изображеніяхъ неузнаваемыми, и ни одинъ безпристрастный и сколько-нибудь требовательный читатель не признаетъ въ нихъ дѣйствительно существующихъ нравовъ. Правда, у такихъ писателей остается помимо нравовъ еще одно убѣжище, это изображать страсти, вѣчныя человѣческія страсти. Тутъ поле широкое, фантазіи есть гдѣ разойтись: страсти не подчиняются законамъ логики; онѣ такъ же безпредѣльны, какъ безпредѣльна глубина человѣческой души. И чего не пишется, какіе фантастическіе узоры не вышиваются на этой канвѣ. Но бѣда одна: кто не съумѣетъ правдиво изобразить нравы общества, кому не удастся

нарисовать живого человека, тотъ никогда не совладаетъ съ изображеніемъ страсти; гдѣ картонные люди, тамъ неизбѣжно и картонныя страсти; правдивое изображеніе человѣческихъ страстей есть одна изъ самыхъ трудныхъ задачъ для писателя, и тому, кто не одаренъ способностью живо чувствовать, понимать и изображать дѣйствительность, тому слѣдуетъ постоянно помнить разговоръ Гамлета съ Гильденштерномъ, по поводу игры на флейтѣ и игры на душѣ человека.

О вкусахъ, конечно, спорить не слѣдуетъ. Есть люди, избравшіе даже своею спеціальностью литературную критику, которымъ нравятся такія произведенія, благо въ нихъ побиваются ненавистные „лже-либералы“, но цѣлую бібліотеку такихъ литературныхъ произведеній можно охотно отдать за одинъ небольшой рассказъ въ нѣсколько страничекъ, въ которомъ правдиво будетъ схвачена жизнь и выведены будутъ люди, а не маріонетки, говорящія голосомъ ихъ творца.

Если приведенныя упреки противъ г. Успенскаго свидѣтельствуютъ только о легкомысліи его критиковъ, то обвиненіе его въ „лакейскомъ“ либерализмѣ говоритъ уже не о легкомысліи, а о другомъ качествѣ современныхъ болгаринскихъ учениковъ. Въ чемъ же однако провинился г. Успенскій, чтобы навлечь на себя такое обвиненіе? Вопросъ, дѣйствительно, любопытный, заслуживающій того, чтобы на немъ остановиться.

Вина г. Глѣба Успенскаго, видите ли, состоитъ въ томъ, что онъ дерзаетъ относиться къ народу нѣсколько иначе, чѣмъ тотъ литературный лагерь съ „идеями“, состоящими изъ помѣси славянофильства, обскурантизма и безшабашнаго гаерства, который, какъ мы уже сказали, провозглашаетъ себя единственнымъ заступникомъ народа и исключительнымъ выразителемъ и представителемъ его интересовъ. Кто не съ нами, рѣшаетъ эта партія, тотъ противъ насъ, а кто противъ насъ, тотъ—о логика!—врагъ народа, и всѣхъ такихъ *враговъ народа* она величаетъ то „лже-либералами“, то „пошлыми либералами“, то наконецъ, безъ церемоній, какимъ-нибудь еще болѣе ругательнымъ словомъ. Такой пріемъ не имѣетъ даже достоинства оригинальности; онъ давнымъ давно извѣстенъ,—онъ усердно практиковался и въ сороковыхъ, и въ тридцатыхъ, и въ двадцатыхъ годахъ, и даже еще раньше, и имѣлъ свое дѣйствіе—въ извѣстныхъ сферахъ, но не въ литературѣ. Но въ прежнее время литературные

правы были все-таки приличіе; напр., въ сороковыхъ годахъ представители „самобытнаго“ направленія не говорили, что ихъ противники — замаскированные враги отечества, они только доказывали, что у нихъ, славянофиловъ, чувство любви къ отечеству есть „невольное и природженное“, а у ихъ противниковъ — „пріобрѣтенное волею и разсудкомъ, такъ сказать наживное“. И тогда они присвоивали себѣ „монополію на симпатію къ простому народу“ и обвиняли своихъ противниковъ въ незнаніи народа и даже въ клеветѣ на него, но они все-таки настолько себя уважали, что никогда не унижались до гнусныхъ инсинуацій и зазорнаго науськиванія правительства на интеллигентные общественные кружки.

Не будь значительной разницы въ тонѣ, въ приѣмахъ литературной полемики по поводу русскаго народа, можно было бы подумать, читая теперь статьи съ одной стороны „Москвитянина“, съ другой — удивительныя по силѣ страницы Вѣлинскаго, что все это написано вчера, сегодня. Современные народолюбцы ничего не забыли и ничему не выучились, а только обогатились съ тѣхъ поръ двумя, тремя десятками бранныхъ словъ, не допускавшихъ прежде къ литературному обращенію. Тѣ вопросы, которые ставились славянофиламъ болѣе тридцати лѣтъ тому назадъ, ставятся и по настоящее время, и по прежнему остаются безъ отвѣта. Мы не сказали ничего новаго, когда говорили, что все, что сдѣлано для болѣе близкаго знакомства съ народомъ, сдѣлано въ литературѣ не тѣми, которые присвоиваютъ себѣ, выражаясь словами Вѣлинскаго, „монополію на симпатію къ простому народу“. По поводу этой монополіи Вѣлинскій еще въ 1847 г. говорилъ: „откуда взялись у этихъ господъ притязанія на исключительное обладаніе всѣми этими добродѣтелями? Гдѣ, когда, какими книгами, сочиненіями, статьями доказали они, что они больше другихъ знаютъ и любятъ русскій народъ? Все, что дѣлается литераторами для споспѣшествованія развитію первоначальной образованности между народомъ, дѣлалось не ими“... И нѣсколько далѣе онъ прибавляетъ:.... „дѣло въ томъ, что литературная партія, на которую они такъ нападаютъ, сдѣлала что могла для народа и тѣмъ показала свое желаніе быть ему полезною; а они, славянофилы, ничего не сдѣлали для него“. Какъ теперь требуютъ отъ литературной партіи, лицемерно прикрывающей свои нечистыя поползновенія именемъ народа, чтобы она высказалась съ откровенностью, возможною для нея

болѣе, чѣмъ для кого-либо другого, по поводу самыхъ капитальныхъ общественныхъ вопросовъ, такъ требовали и тридцать лѣтъ тому назадъ отъ славянофиловъ, чтобы они замѣнили излюбленный ими туманъ яснымъ изложеніемъ своихъ политическихъ и соціальныхъ воззрѣній. Напрасныя старанія. „Можно указать на выходы, разбросанныя тамъ и сямъ, противъ европеизма, цивилизациі, необходимости образованія и грамотности для простаго народа, противъ реформы Петра Великаго, современныхъ нравовъ, какіе-то темныя намеки, что русскому обществу надо воротиться назадъ и снова начать свое самобытное развитіе съ той эпохи, на которой оно было прервано, надо сблизиться съ народомъ, который, будто бы, сохранилъ въ чистотѣ древніе славянскіе нравы, и нисколько не измѣнялся въ продолженіе вѣковъ“. Эти строки прекрасно рисуютъ партію патентованныхъ „народолюбцевъ“ и по сію минуту. Если же эти мѣткія слова, произнесенныя Вѣлинскимъ, не утратили ни на волосъ своей свѣжести, то это означаетъ только одно, что литературная партія, какъ тогда, такъ и теперь продолжающая кичиться своею болѣе, чѣмъ сомнительною любовью къ народу и бессмысленно ополчившаяся противъ „европеизма“, находится въ чистомъ застоѣ. Та мнимая жизненность, которую они обнаруживаютъ въ послѣдніе годы, чтобы не сказать мѣсяцы, служитъ однимъ изъ самыхъ печальныхъ признаковъ времени.

Въ систему, или, быть можетъ, вѣрнѣе, въ пріемы литературной партіи застоя входитъ фарисейское преклоненіе передъ народомъ. Народъ награждается ею всѣми добродѣтелями; она, какъ извѣстно, не признаетъ въ немъ не только пороковъ, но даже недостатковъ. Это солнце, на которомъ нѣтъ пятенъ. Люди, разсуждающіе такимъ образомъ, если хотите, послѣдовательны. Они не желаютъ движенія впередъ, сохрани Боже, они не желаютъ развитія, они удовлетворяются существующими соціальными и общественными условіями; слѣдовательно, необходимо доказывать, что русскій народъ есть самый совершенный изъ всѣхъ народовъ. Вѣдь если согласиться, что русскій народъ, и въ нравственномъ, и въ умственномъ, и въ соціальномъ отношеніи, находится далеко не на высокомъ уровнѣ развитія, то прямой выводъ отсюда была бы необходимость движенія впередъ, всевозможнаго содѣйствія къ дальнѣйшему развитію, — а этого-то имъ и не хочется. Поэтому, кто рѣшается выставить на видъ отрицательныя свойства русскаго народа, тотъ провозглашается клеветникомъ,

чуть не измѣнникомъ. Это также пріемъ не новый. Когда „натуральная“ школа, съ легкой руки Гоголя, стала быстро расти и крѣпнуть, тогда, какъ и теперь, славянофилы, въ фатальномъ единогласіи съ самымъ презрѣннымъ отродьемъ литературы, преслѣдовали своихъ шипѣннѣе талантливыхъ представителей новаго направленія. Полные жизни и воодушевленные самыми лучшими стремленіями, молодые писатели старались своими произведеніями противопоставить правду установленной и строго охраняемой лжи, освѣтить хотя слабымъ лучомъ свѣта обездоленную жизнь многомилліонной массы; но такъ какъ подобныя стремленія находились въ прямомъ противорѣчіи съ тѣмъ кваснымъ патріотизмомъ, котораго держались и славянофилы, и болгаринская школа, то они и встрѣчались общими злобными криками послѣднихъ. Да и могло ли, впрочемъ, быть иначе? Доказать, что „натуральная“ школа извращаетъ истину — они были безсильны; ограничиваться туманными фразами о народѣ, который будто бы „сохранилъ въ себѣ какое-то здоровое сознаніе равновѣсія между субъективными требованіями и правами дѣйствительности“, было мало пользы. Кромѣ смѣха, такія фразы ничего не вызывали, да и не могли вызывать въ людяхъ серьезныхъ. Что же оставалось дѣлать? Оставалось одно лишь средство, всегда готовое къ услугамъ неразборчивой злобы — это бросить въ противниковъ какой-нибудь сильной, но малоубѣдительной кличкой. Много ли нужно ума, знанія, таланта, чтобы забить набатъ и на всѣ лады кричать: они клеветаютъ на русскій народъ! „Изображать однѣ отрицательныя стороны жизни вовсе не значить клеветать, — отвѣчалъ имъ Бѣлинскій, — а значить находится только въ односторонности; клеветать же значить взводить на дѣйствительность такія обвиненія, находить въ ней такія пятна, какихъ въ ней вовсе нѣтъ. Давать клеветѣ другое значеніе — тоже значить клеветать... не на клевету, разумѣется, а на людей не нашего прихода... Находить въ людяхъ тѣ пороки, которые въ нихъ дѣйствительно есть, не значить поносить ихъ: поношеніе — въ самихъ порокахъ, и кто пороченъ, тотъ поноситъ самъ себя“...

Болѣе тридцати лѣтъ прошло съ той поры, когда Бѣлинскій велъ свою горячую борьбу противъ славянофильства и болгаринщины, а мы все топчемся на одномъ и томъ же мѣстѣ, несмотря на то, что съ тѣхъ поръ въ нашей общественной жизни были достигнуты нѣкоторые несомнѣнные успѣхи. И удивляться тутъ нечему, такъ какъ частныя

успѣхи не измѣнили основныхъ условій, сущности нашей общественности; а пока не измѣнятся эти условія, до тѣхъ поръ и не замретъ давно начавшаяся борьба. Какъ тогда враждебный „европеизму“ лагерь съ ожесточеніемъ нападалъ на „натуральную“ школу, и нападалъ именно въ силу того, что писатели этой школы были представителями ненавистнаго либерализма, такъ въ силу того же теперь тотъ же лагерь нападаетъ на тѣхъ современныхъ писателей, которые являются наиболѣе сильными представителями либерализма. Ошибочно было бы, однако, думать, что либерализмъ писателей сороковыхъ годовъ совсѣмъ похожъ на либерализмъ современныхъ писателей. Нѣтъ, между ними существуетъ такая же разница, какая существуетъ вообще въ состояніи понятій тогдашнихъ и нынѣшнихъ.

Либерализмъ сороковыхъ годовъ вращался около парламентаризма, конституціонализма, онъ исчерпывался политическими задачами; современный же западный либерализмъ значительно расширилъ свой горизонтъ; онъ не довольствуется политической задачей, понимаемой имъ несравненно шире и главное глубже, чѣмъ сорокъ лѣтъ тому назадъ, но онъ выдвинулъ задачу социальную, касающуюся не того или другого класса, а всей народной массы. Онъ утратилъ поэтому свою исключительно политическую окраску и рядомъ съ ней приобрѣлъ окраску социальную. Согласно съ этимъ, не новымъ, но обновленнымъ духомъ европейскаго „либерализма“ работаетъ современная, по преимуществу народная, русская литературная школа. Весьма вѣроятно, что среди писателей этой школы, и даже наиболѣе талантливыхъ, встрѣтится не одинъ, который отвергнетъ, пожалуй, свою принадлежность къ этому „западничеству“, къ либерализму, но сдѣлалъ бы это только благодаря тому, что смыслъ такихъ терминовъ, какъ „западничество“, „либерализмъ“, затуманенъ самыми фальшивыми толкованіями. Если же разсѣять тотъ искусственный туманъ, который затемняетъ эти термины, тогда эти наши писатели не отвергнутъ свою принадлежность къ „западничеству“, къ „либерализму“. Быть „западникомъ“, это значитъ быть сторонникомъ той совокупности идей, понятій, воззрѣній, которыя выработаны вѣковой западною цивилизаціею, быть солидарнымъ съ тѣмъ безостановочнымъ развитіемъ, которое совершается въ западной Европѣ въ сферѣ политической, социальной, религіозной, нравственной жизни европейскихъ народовъ, купившихъ право на такое развитіе цѣною величайшихъ усилій науки

и искусства, величайшихъ переворотовъ и жертвъ. При такомъ пониманіи слова „западничество“, которое, по нашему мнѣнію, представляется единственно правильнымъ, очевидно, что и среди западно-европейскихъ обществъ могутъ встрѣчаться люди, цѣлыя классы, которые никакимъ образомъ не могутъ быть отнесены къ „западникамъ“ (т.-е. какъ употребляется это слово у насъ). Для примѣра можно указать хоть нѣмецкую юнкерскую партію, старающуюся всячески противодѣйствовать общественному развитію, не только отвергающую значеніе великаго историческаго развитія Европы въ послѣдніе вѣка, но ненавидящую эти свѣтлыя эпохи человѣчества, партію, бессмысленно стремящуюся удержать господство тѣмъ безжизненнымъ принципамъ, которые уже отжили несомнѣнно свое время: можно ли признавать эту партію „западническою“? Очевидно, нѣтъ, такъ какъ она идетъ противъ всего того, что подразумѣвается подъ этимъ терминомъ. Всѣ такіе люди, будь они нѣмцы, французы или русскіе, представляютъ собою не что иное какъ послѣднихъ мигнущихъ старое, отживающаго міра. О непригодности этого термина къ нашей общественной жизни въ указанномъ смыслѣ можно было бы серьезно говорить только въ томъ случаѣ, еслибы наше развитіе слѣдовало какимъ-нибудь особымъ законамъ, отличнымъ отъ западно-европейскаго развитія. Мы вовсе не думаемъ этимъ сказать, чтобы у русскаго народа, какъ у всякаго другого народа, не было своихъ особенностей, своего характера, своей фizioноміи, своего историческаго пути, но каковы бы ни были чисто національныя черты, онѣ нисколько не исключаютъ примѣненія къ нашей жизни явленій обще-историческихъ и тѣхъ просвѣтительныхъ идей, которыя составляютъ наследственное достояніе образованнаго человѣчества.

Понимаемый во всякомъ иномъ смыслѣ, терминъ „западничество“ утратилъ, намъ кажется, всякое значеніе, и, собственно говоря, онъ долженъ былъ бы быть выброшеннымъ изъ употребленія. Но тѣ, которые чаще всего употребляютъ этотъ терминъ, придавая ему значеніе какой-то неостроумной бранной клички, повидимому, подкладываютъ подъ него какой-то другой смыслъ, но какой—этого они сами не рѣшаются открыто высказывать. Сознаться въ томъ, что, обзывая своихъ противниковъ „западниками“, какъ бранью, они понимаютъ этотъ терминъ именно въ указанномъ смыслѣ, значило бы сознаться въ невѣжествѣ; утверждать же, что противники ихъ стремятся пере-

«садить на русскую почву одни лишь плевелы европейской цивилизации, значило бы утверждать явную, ни съ чѣмъ несообразную клевету. Въдѣ еслибы они откровенно заявили, что плевелами они признають всѣ лучшіе результаты, добытые наукой, знаніемъ, вѣковымъ опытомъ, а хорошимъ, здоровымъ элементомъ въ западной цивилизаціи считаютъ стремленія и идеалы, наприимѣръ, нѣмецкой юнкерской партіи, ну, тогда, конечно, туманъ исчезъ бы и положеніе двухъ противоположныхъ лагерей сдѣлалось бы совершенно ясно даже для непосвященныхъ во всѣ изворотливые приемы литературной борьбы, къ которымъ прибѣгаютъ одни вполне добровольно, другіе — вынужденные къ тому условіями борьбы. Но, разумѣется, невозможно ожидать такой откровенности отъ людей, отъ партіи, которая ничто такъ не любитъ, какъ рядиться въ павлиньи перья, прикрывая свои реакціонныя вожделѣнія свободолюбивыми фразами. При такомъ маскарадѣ очевидно, что наша литературная борьба превращается не во что иное какъ въ безконечную сказку о бѣломъ бычкѣ.

Въ сороковыхъ годахъ эта партія негодовала противъ натуральной школы, обвиняла ее въ клеветѣ на народъ; такъ точно шипитъ она и теперь и обвиняетъ писателей, продолжающихъ начатое ихъ предшественниками дѣло искренняго изученія народной жизни и только подступившихъ къ нему съ бѣльшимъ запасомъ знанія и съ бѣльшею рѣшимостью не утаивать правды, какова бы она ни была, — въ „лакейскомъ“ либерализмѣ.

Совершенно естественно, что и Глѣбъ Успенскій, — прекрасно понимающій, что заниматься только, какъ то дѣлають другіе, превознесеніемъ качествъ русскаго народа, относиться къ нему какъ къ какому-то языческому богу, значить оказывать ему сознательно медвѣжьёу услугу, содѣйствуя его нравственному и матеріальному закрѣпощенію, — не ушелъ отъ этого обвиненія въ „лакейскомъ“ либерализмѣ.

Для читателя теперь совершенно ясно, что на языкѣ этой партіи такъ именуется всякое серьезное критическое отношеніе къ нашей дѣйствительности, каждое искреннее стремленіе содѣйствовать освобожденію народа отъ связывающихъ его путъ, всякое, наконецъ, честное служеніе своему народу, своему обществу.

Оставимъ же теперь всѣ эти упрёки, обвиненія, клеветы и обратимся къ занимающему насъ писателю, къ его произведеніямъ.

II.

Не дѣлая впередъ общей оцѣнки литературной дѣятельности г. Успенскаго, мы постараемся только отмѣтить главные характерныя черты, присущія этому писателю. Къ такимъ именно чертамъ мы отнесемъ прежде всего ту, если можно такъ выразиться, двойственность, которая заставляетъ часто спрашивать, читая его произведенія, съ кѣмъ мы имѣемъ дѣло: съ публицистомъ или беллетристомъ? Не только въ иностранной, но и въ нашей литературѣ можно указать много примѣровъ писателей, которые въ одно и то же время соединяютъ въ себѣ и талантъ беллетриста, и талантъ критика и публициста. Самые знаменитые и великіе писатели XVIII вѣка всѣ почти были и беллетристы, и критики, и публицисты, и философы. Но незначѣмъ ходить такъ далеко. Среди нашихъ современныхъ писателей мы можемъ указать на примѣръ автора „Обломова“, написавшаго критическій этюдъ (одинъ изъ самыхъ удачныхъ и тонкихъ) по поводу „Горе отъ ума“; на примѣръ автора „Войны и мира“, наполнившаго цѣлый томъ своихъ сочиненій статьями не то публицистическими, не то педагогическими. Перечислять не стоитъ, перечень вышелъ бы слишкомъ длиненъ. Но дѣло въ томъ, что когда тотъ или другой писатель пишетъ романъ, повѣсть, рассказъ, то въ этомъ романѣ, повѣсти, рассказѣ мы видимъ исключительно беллетриста; когда же онъ пишетъ критическую или публицистическую статью, то мы имѣемъ передъ собой исключительно критика или публициста. Были и у насъ пробы соединять, на примѣръ, романъ съ философіей, но всегда оказывалось, что философія портила романъ, а романъ портилъ бы философію, если бы ее возможно было испортить. Стоитъ припомнить то замѣчательное произведеніе, которое мы только-что назвали, т.-е. „Войну и миръ“, чтобы читатель согласился съ нами, что романъ не только ничего не проигралъ бы, но даже много бы выигралъ, еслибы пристегнутая къ нему философія графа Льва Толстого была совсѣмъ устранима. Въ дѣйствительности искусственно привязанная къ произведенію часть при чтеніи просто пропускается, и только благодаря такому приему, не зависящему отъ автора, цѣльность впечатлѣнія не ослабляется.

Совсѣмъ иное дѣло, когда посторонній беллетристическому, именно публицистическій элементъ не искусственно введенъ въ произведеніе,

а до такой степени тѣсно переплетается съ нимъ, что нѣтъ никакой возможности отдѣлить повѣсти, разсказа отъ публицистической статьи. При такой неразрывной связи этихъ двухъ различныхъ видовъ литературной дѣятельности мы, очевидно, не можемъ разсматривать отдѣльно писателя-беллетриста и писателя-публициста, также точно какъ не можемъ разграничить у сатирика художественные образы, создаваемые имъ, отъ его публицистическаго, такъ сказать, анализа современныхъ ему явленій общественной жизни. Но то, что у сатирика, какъ напр. Салтыкова, является совершенно естественнымъ, присущимъ сатирич. элементомъ, то у рассказчика представляется совершенно выходящимъ изъ тѣхъ рамокъ, въ которыхъ мы привыкли видѣть разсказъ, повѣсть, романъ. Такое именно тѣсно сплоченное соединеніе беллетриста съ публицистомъ мы встрѣчаемъ въ г. Успенскомъ, и эта особенность дѣлаетъ, можетъ быть, болѣе трудную правильную оцѣнку произведеній этого писателя. Особенность эту мы никакимъ образомъ не можемъ отнести къ достоинствамъ этого писателя; напротивъ, мы готовы гораздо скорѣе согласиться, что она составляетъ одинъ изъ главныхъ его недостатковъ, но важно знать не то, заключается ли въ извѣстной особенности автора достоинство или недостатокъ, а то, чѣмъ она обуславливается въ писателѣ. Самое легкое, разумѣется, было бы сказать: таково уже свойство писателя! но самое легкое не всегда бываетъ самымъ справедливымъ, и въ данномъ случаѣ оно было бы даже совсѣмъ несправедливо, такъ-какъ подобная особенность вовсе не лежитъ въ свойствѣ таланта г. Успенскаго. Лучшимъ тому доказательствомъ могутъ служить всѣ произведенія перваго періода дѣятельности г. Успенскаго, когда онъ описывалъ „Московскіе нравы“, „Нравы Растеряевой улицы“, когда онъ писалъ „Разоренье“ и многіе другіе разсказы. Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ г. Успенскій является исключительно какъ беллетристъ; жила публициста совсѣмъ не чувствовалась. Двойственность явилась только въ позднѣйшемъ періодѣ его дѣятельности, именно тогда, когда талантъ его значительно окрѣпъ, горизонтъ его сдѣлался шире, запасъ наблюденій выросъ. Чѣмъ же можно объяснить, что главный недостатокъ писателя сказывается не въ первомъ произведеніи, болѣе слабымъ, а въ позднѣйшемъ, когда талантъ окончательно развился? Объясненіе кроется не въ свойствахъ таланта писателя, а въ тѣхъ сюжетахъ, которые онъ беретъ для своихъ произведеній.

Съ самыхъ первыхъ шаговъ литературной дѣятельности г. Успенскаго совершенно ясно обозначилось, въ какую сторону направлено стремленіе писателя, кому принадлежать всё его симпатіи. Эти стремленія и симпатіи опредѣлили и выборъ сюжетовъ его очерковъ и рассказовъ. Горячо сочувствуя обдѣленной матеріально и нравственно народной массѣ, онъ сталъ зорко приглядываться къ ея жизни, и, будучи безусловно искреннимъ „народникомъ“, надѣленный отъ природы большою наблюдательностью, онъ смѣло, безъ всякой боязни быть заподозрѣннымъ въ какой-либо враждебности къ народнымъ интересамъ, началъ изображать неприглядныя, темныя стороны жизни и нравовъ безгласной массы.

Мы не можемъ сказать утвердительно, не имѣя о немъ никакихъ біографическихъ свѣдѣній, но болѣе чѣмъ вѣроятно, что вслѣдствіе личныхъ условій жизни г. Успенскаго, знакомство его съ народомъ началось въ городѣ, и потому его первыя произведенія отражаютъ собою городскую народную жизнь. Всѣ очерки и рассказы его перваго періода посвящены описанію быта фабричнаго люда, мелкаго мѣщанства, полуграмотнаго чиновничества, стремящагося возвыситься надъ темнымъ людомъ съ единственною цѣлью удобнѣе его обирать и эксплуатировать. Не рѣшась утверждать, что жизнь городской народной массы хорошо извѣстна образованному обществу, все-таки можно съ увѣренностью сказать, что она гораздо ближе ему знакома, чѣмъ жизнь народная въ „деревнѣ“ или въ деревняхъ. Между городскимъ „народомъ“ (понимая это слово въ томъ тѣсномъ, или, вѣрнѣе, исключительномъ смыслѣ, въ какомъ употребляютъ его всѣ разсуждающіе на одну тему о розни между народомъ и интеллигенціей) и образованнымъ обществомъ существуютъ постоянныя точки соприкосновенія, благодаря которымъ условія жизни, воззрѣнія, отношенія къ окружающимъ, нравы городского народа представляются каждому изъ насъ далеко не столь чуждыми, какъ нравы и жизнь „деревни“.

Вслѣдствіе такого болѣе близкаго знакомства съ городской народною жизнью, наблюденія надъ нею пріобрѣтаются легче, пониманіе нравовъ, характеровъ, встрѣчающихся въ этой средѣ, становится доступнѣе; а потому писатель, если только онъ обладаетъ талантомъ беллетриста, имѣетъ полную возможность воспроизводить народную жизнь „города“ въ художественныхъ картинахъ и образахъ. Важно при этомъ также и то, что писатель, изображающій городскую

народную жизнь, знает, что жизнь эта не чужда его читателямъ, что ему нѣтъ надобности въ подробныхъ объясненіяхъ, чтобы быть вѣрно понятимъ, что онъ не долженъ беспокоиться о томъ, что изображаемая имъ жизнь покажется вымышленною, что нарисованные характеры будутъ приняты за плодъ фантазіи автора.

Изображая народную жизнь, какъ она складывается въ столицахъ и большихъ губернскихъ городахъ, г. Успенскому не приходилось прокладывать новаго, неизвѣданнаго пути. Онъ шелъ той, если не торной, то все-таки намѣченной дорогой, которую пролагали прежде него другіе русскіе писатели. Съ бытомъ мѣщанскимъ, съ жизнью мелкаго духовенства русское общество познакомилось въ талантливыхъ произведеніяхъ Помяловскаго; изображенію городской народной жизни, быту рабочихъ были посвящены такія произведенія Писемскаго, какъ „Питершикъ“, „Плотничья артель“, наконецъ, что касается быта мелкаго чиновничества, то онъ много разъ и не однимъ писателемъ воспроизводился въ русской литературѣ. Такимъ образомъ, когда г. Успенскій взялся за воспроизведеніе характеровъ, нравовъ, жизни городского рабочаго люда, мелкаго мѣщанства, а послѣ духовенства или чиновничества, то онъ имѣлъ уже въ произведеніяхъ другихъ писателей готовые образцы, извѣстные приемы, ему не приходилось блуждать, расчищать себѣ дорогу. Изъ этого нисколько не слѣдуетъ, чтобы г. Успенскій въ своихъ произведеніяхъ былъ только подражателемъ. Мы не думаемъ отрицать самостоятельности его первыхъ произведеній, но мы хотимъ только сказать, что задача его значительно облегчалась существованіемъ въ русской литературѣ болѣе или менѣе однородныхъ произведеній. Вотъ гдѣ, намъ кажется, лежитъ объясненіе того на первый взглядъ страннаго явленія, что первыя произведенія г. Успенскаго, несомнѣнно болѣе слабыя, чужды того недостатка, которымъ отличаются послѣдующія его произведенія, написанныя въ болѣе зрѣломъ періодѣ его таланта, т.-е. двойственнаго характера ихъ — беллетристическаго и публицистическаго. Сравнительно болѣе знакомый обществу сюжетъ, а потому болѣе простой и болѣе изслѣдованный давалъ возможность писателю свободнѣе разбираться въ матеріалѣ его наблюденій.

Совсѣмъ въ иномъ положеніи находился г. Успенскій, когда онъ перешелъ къ изображенію нравовъ и быта въ деревенской народной средѣ. Тутъ задача его была совершенно новая. Онъ очутился въ ла-

блрантъ, въ которомъ онъ могъ ступать только ощупью, наталкиваясь на все новыя препятствія, одолѣваемый тѣми необъяснимыми, казалось, противорѣчіями, которыя онъ встрѣчалъ въ неизслѣдованной почти средѣ. Готовыхъ образцовъ литературнаго отношенія къ народу, къ „деревнѣ“, такихъ, по крайней мѣрѣ, которые удовлетворяли бы его, онъ не находилъ, а тѣ, которые существовали, были совершенно непримѣнимы въ виду измѣнившихся условій народной жизни, измѣнившихся благодаря уничтоженію крѣпостнаго права и связаннымъ съ нимъ реформамъ.

Онъ имѣлъ передъ собою рассказы и повѣсти, написанные писателями сороковыхъ годовъ, но мы уже указывали въ другомъ мѣстѣ, насколько различны были ихъ цѣли и приемы отъ цѣлей и приемовъ современныхъ писателей. Первые съ необычайнымъ мастерствомъ воспроизводили по преимуществу внѣшнія стороны народной жизни; рассказы Григоровича, Тургенева не столько изображали народную жизнь, сколько отношеніе къ крѣпостной массѣ привилегированнаго меньшинства. Задача, поставленная себѣ этими писателями, была исполнена превосходно; но все-таки это были повѣсти не столько изъ народной жизни, сколько написанныя по ея поводу.

Къ той же, въ сущности, категоріи должны быть отнесены и нѣкоторыя повѣсти Льва Толстого, какъ, напримѣръ, „Утро помѣщика“, „Поликушка“. Первая повѣсть изображаетъ молодого помѣщика, надѣленнаго добрымъ сердцемъ, отъ всей души желающаго благодѣтельствовать своимъ крестьянамъ, но всѣ его попытки не увѣнчиваются успѣхомъ. Авторъ вводитъ насъ въ нѣсколько избъ, показываетъ нѣсколько крестьянскихъ семей, даетъ возможность присутствовать при разговорахъ помѣщика съ крестьянами, и мы видимъ только одно, что помѣщикъ не понимаетъ своихъ крестьянъ, крестьяне не понимаютъ своего помѣщика и относятся къ нему съ недовѣріемъ. Но почему крестьяне не довѣряютъ добродѣтельному помѣщику, что они думаютъ, какъ сложилась ихъ жизнь—все это предоставляется отгадывать читателю. Положимъ, отгадать и не мудро, но тѣмъ не менѣе въ знаніи народной жизни повѣсть эта нисколько насъ не подвигаетъ. Нѣсколько внѣшнихъ чертъ, вѣрно подмѣченныхъ и талантливо переданныхъ—вотъ и все. Почти то же слѣдуетъ сказать и по поводу другой повѣсти. Повѣсть эта, повиди-

ному, взята прямо ужъ изъ народной жизни, но можно ли сказать, что она въ дѣйствительности даетъ реальную картину этой жизни? Фабула повѣсти такова, что она съ одинаковымъ удобствомъ могла бы быть пригнана къ описанію любого общественнаго слоя. Въ ней нѣтъ никакихъ особенностей, которыя пріурочивали бы исключительно къ изображенію народнаго быта. Есть, правда, въ повѣсти одна или двѣ сцены, удачно выхваченныя изъ дѣйствительности, напр. сцены галдящаго міра, — но почему міръ только галдитъ, отчего въ разсужденіяхъ мужиковъ господствуетъ такая безтолочь, отчего, словомъ, получается такая непривлекательная, дикая сцена, объ этомъ въ повѣсти, воспроизводящей по мысли автора народный бытъ, нѣтъ и помину. Да, все это схвачено съ натуры, творчество автора несомнѣнно, но все схвачено только внѣшнія черты, нисколько не подвигающія насъ въ знаніи народной жизни.

Оно, впрочемъ, и вполне естественно. Писатели сороковыхъ годовъ не имѣли возможности воспроизводить въ художественныхъ образахъ дѣйствительную народную жизнь, такъ какъ у нихъ не доставало одного изъ самыхъ существенныхъ, необходимыхъ элементовъ для такого воспроизведенія, безъ котораго оно совершенно немислимо, это — близкаго знакомства, знанія этой жизни. Художественное воспроизведеніе характеровъ, типовъ, нравовъ, условій жизни возможно только тогда, когда читатель покончилъ съ процессомъ изученія описываемой имъ среды. Недостаточно быть талантливымъ писателемъ, недовольно поверхностнаго наблюденія надъ народною жизнью, чтобы получить возможность воспроизвести ее въ художественныхъ образахъ и картинахъ. Для этого требуется, чтобы писатель поставилъ себя въ исключительныя условія, чтобы онъ погрузился въ народную жизнь, чтобы онъ проникъ во внутренній, всегда скрытый міръ этой жизни; иначе настроеніе, думы, своеобразное міросозерцаніе деревенской народной массы всегда останутся для него подернуты туманомъ. Такое изученіе есть очень трудная задача, и вотъ почему писатель, какимъ бы художественнымъ чутьемъ онъ ни обладалъ и какъ бы ни былъ требователенъ къ самому себѣ, — какъ былъ г. Успенскій, — постоянно колеблется, сомнѣвается, опасается, что воспроизведенные имъ образы и картины недостаточно рельефны, невѣрно будутъ поняты читателемъ, недокончены. Вслѣдствіе такого опасенія, иногда основательнаго, иногда и нѣтъ, писатель, забывая

требованія эстетики, начинаетъ досказывать свои мысли, разъяснять выведенныя имъ лица и нравы, нисколько не заботясь о томъ, что такіе комментаріи нарушаютъ цѣльность впечатлѣнія и противорѣчатъ условіямъ чисто беллетристическаго произведенія. Эти колебанія и сомнѣнія исчезнутъ только тогда, когда запасъ наблюденій, и теперь уже достаточно обильный, значительно разросется, когда всѣ сдѣланныя наблюденія прочно усвоятся писателемъ, когда жизнь народная перестанетъ такъ часто ставить для автора вопросительные знаки. Въ тѣхъ случаяхъ, когда тотъ или другой характеръ, та или другая черта народной жизни окончательно выяснились въ умѣ писателя, мы видимъ, что г. Успенскій даетъ намъ по истинѣ художественныя очерки, уже безъ всякой примѣси комментаріевъ, и гдѣ публицистъ совершенно исчезаетъ за беллетристомъ. Но такихъ рассказовъ, — образчики которыхъ мы укажемъ, — сравнительно не много; это и немудрено въ виду трудной задачи, которую поставилъ себѣ писатель. Онъ не довольствуется правдивымъ изображеніемъ внутренняго строя народной жизни; ему хочется разъяснить, откуда явились тѣ или другія черты этой жизни, отчего жизнь мужика, его воззрѣнія, характеръ, отношенія къ окружающимъ, къ семьѣ, къ общественнымъ явленіямъ стали таковы, а не иные; онъ стремится выяснитъ связь между темною жизнью мужика и слишкомъ часто безцѣльною жизнью образованнаго члена общества, весь существующій нравственный хаосъ, всѣ послѣдствія стараго, но все еще живучаго гнета, оставшееся современнымъ поколѣніемъ незавидное наслѣдство крѣпостного начала, хотя и умершаго, но все еще не погребеннаго. Задача, поставленная себѣ писателемъ, очень широка, а между тѣмъ сознательное изученіе народной жизни началось слишкомъ недавно, чтобы доставить такой запасъ наблюденій, такую глубину знанія этой жизни, которые необходимы для того, чтобы дать возможность писателю отвѣтить на волнующіе его вопросы путемъ чисто художественнаго воспроизведенія народной жизни.

Сознавая невозможность для себя разъяснить русскую народную жизнь, оставаясь исключительно на художественной почвѣ, г. Успенскій предпочелъ сойти на болѣе легкую публицистическую почву, лишь бы не отказаться отъ своей задачи. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что художественное достоинство его произведеній много бы выиграло, еслибы онъ всегда оставался только беллетристомъ, но нѣтъ

сомнѣнія и въ томъ, что въ такомъ случаѣ для уясненія народной жизни его произведенія имѣли бы гораздо меньше значенія, чѣмъ теперь, когда онъ является публицистомъ тамъ, гдѣ беллетристъ оказывается безсильнымъ.

Весьма можетъ быть, что нѣкоторые изъ нашихъ читателей, прочтя эти строки, не согласятся съ такимъ объясненіемъ причины существующей тѣсной связи беллетристическаго и публицистическаго элементовъ въ произведеніяхъ г. Успенскаго, и, пожалуй, скажутъ: дѣло объясняется гораздо проще; просто-на-просто у писателя не хватаетъ художественнаго таланта, и потому онъ волей-неволей хватается за публицистику! Едва ли однако такое возраженіе было бы справедливо. Взвѣшивать на вѣсахъ талантъ писателя, разуживается, невозможно; сужденіе о размѣрѣ таланта того или другого автора всегда бываетъ субъективно; иначе не было бы той разногласицы, такъ часто встрѣчающейся, въ мнѣніяхъ о томъ или другомъ писателѣ. Сколько бывало даже геніальныхъ писателей, которыхъ многіе изъ современниковъ ихъ ставили ни во что, и сколько, наоборотъ, такихъ, которыхъ услужливые поклонники производили въ геніи, и которымъ, черезъ небольшой періодъ времени, болѣе безпристрастное потомство отводило мѣсто въ самыхъ заднихъ рядахъ литературы, если совсѣмъ не забывало о нихъ. Вотъ почему мы не намѣрены ломать копій, споря о размѣрѣ таланта г. Успенскаго, и утверждаемъ только, что будь даже г. Успенскій въ десять разъ талантливѣе, онъ все-таки не въ силахъ былъ бы оцѣнить народную жизнь во всей ея глубинѣ одними художественными образами, однѣми художественными картинами. Причина этого лежитъ не въ недостаткѣ таланта, а главнымъ образомъ въ далеко не законченномъ еще процессѣ изученія народной жизни, въ сравнительно недостаточномъ знакомствѣ съ нею. Вотъ гдѣ главная причина внимательства публицистики въ произведеніяхъ г. Успенскаго. Чтѣ писатель не знаетъ вдоль и поперекъ, чтѣ онъ окончательно не усвоилъ себѣ, того не въ силахъ онъ воспроизвести въ художественномъ образѣ, какъ бы ни былъ великъ его талантъ. Возьмите для примѣра любого изъ писателей нашей знаменитой плеяды романистовъ сороковыхъ годовъ, задававшихся мыслью воспроизвести лицо, характеръ, взятый изъ той части молодого поколѣнія, которая по своимъ воззрѣніямъ такъ рѣзко разошлась съ предшествующимъ поколѣніемъ и

[illegible]

...при изображеніи народной
...или другихъ явле-
...или вовсе предвари-
...или выясненія ихъ не къ ху-
...или субъективному анализу.
...или баллестистики могло бы
...или образцы своихъ произве-
...или совершенно изобъять той
...или (сверхъ меры), т.е. пре-
...или явленій и умыш-
...или. При существующемъ хаосѣ
...или, потому зная тенден-

ціозность даже въ выборѣ сюжетовъ писателя. Зачѣмъ, разсуждаютъ они, онъ все съ мужиками возится, — тутъ явный умыселъ и притомъ самый неблагонамѣренный! И никакъ не хотятъ понять, или дѣлаютъ видъ, что не понимаютъ, что если цѣлый рядъ искреннихъ писателей обратился къ изученію народной жизни и описанію народнаго быта, то они это дѣлаютъ совсѣмъ по инымъ побужденіямъ, чѣмъ тѣ московско-петербургскіе литературные Колупаевы и Разуваевы, которые играютъ въ народъ и прикрываютъ его именемъ свою ловлю рыбы въ мутной водѣ. Они понимаютъ, что наше развитіе не можетъ двигаться прочно впередъ, пока народъ будетъ находиться на той низкой степени культуры, на которой онъ стоитъ, благодаря печально сложившимся историческимъ судьбамъ Россіи. Слѣдовательно, всѣ усилія должны быть направлены прежде всего на поднятіе его нравственнаго и матеріальнаго состоянія, а первый шагъ для этого въ литературѣ — правдивое, чуждое всякаго лицемѣрія, изображеніе народнаго быта. Но литературнымъ Колупаевымъ до правды нѣтъ никакого дѣла; имъ претитъ правдивое изображеніе неприглядныхъ сторонъ народнаго быта, и они обвиняютъ въ тенденціозности, въ „пошломъ либерализмѣ“ cadaго писателя, который ищетъ понять дѣйствительность народной жизни и не соглашается лгать и лицемѣрить. Отъ такого обвиненія, очевидно, не могъ уйти и г. Успенскій.

Въ чемъ другомъ еще можно обвинять этого писателя; можно доказывать, напримѣръ, и не безъ нѣкотораго основанія, что идеи его не всегда отличаются ясностью, опредѣленностью, что взгляды его подчасъ противорѣчатъ между собою, что отношеніе его къ тѣмъ или другимъ описываемымъ имъ явленіямъ не всегда бываетъ строго послѣдовательно; можно также, уже если считать себя обязаннымъ непремѣнно указать на недостатки талантливаго писателя, обвинить его въ нѣкоторой чисто литературной небрежности, — онъ слишкомъ мало заботится о языкѣ, красота формы стоитъ у него на послѣднемъ планѣ, поэтому его стиль, построеніе разсказовъ часто представляются неудовлетворительными, — но въ одномъ никакъ нельзя обвинять этого писателя, это въ фальши, въ тенденціозности.

Коренная черта г. Успенскаго, проходящая черезъ всѣ его произведенія, начиная отъ перваго и кончая послѣднимъ очеркомъ, черта, составляющая главное достоинство его произведеній — это безупречная правдивость, и она-то исключаетъ всякую возможность ка-

кой-либо тенденціозности. Рядомъ съ нею стоитъ другое рѣдкое качество писателя—это необычайная простота.

Правдивость всегда составляетъ достоинство, но если рука обрѣжетъ съ ней не идетъ серьезная мысль, если писатель не хочетъ или не умѣетъ заглянуть въ самую глубь жизни, въ сокровенныя стороны изображаемыхъ имъ людей, тогда эта правдивость теряетъ значительную долю своей цѣны. Правдивымъ можетъ быть писатель, легко относящійся къ жизни; онъ нарисуетъ вамъ веселую картинку, изобразить свѣтлыми красками и крестьянскую свадьбу, народный праздникъ, пирушку, и все это выполнить такъ, что читатель долженъ будетъ сказать: какъ все это вѣрно, это сама правда! но эта правда не заставитъ васъ призадуматься, не заставитъ дрогнуть ваше сердце, не выведетъ васъ изъ безмятежнаго спокойствія, если только вы испытывали его. Передъ вами прошла картинка дѣйствительной жизни—но только ея праздничной стороны. Отчего и не писать такихъ развлекающихъ, успокоивающихъ картинъ. Писатели, рисующіе такія картины, всегда были, есть и должны быть; но еслибы они ограничились исключительно изображеніемъ такихъ радужныхъ сторонъ жизни, то, очевидно, они не могли бы претендовать на серьезное общественное вліяніе. Совсѣмъ другое значеніе имѣютъ писатели, у которыхъ съ правдивостью ихъ произведеній соединяется серьезная мысль, не позволяющая имъ успокоиться на созерцаніи праздничной стороны жизни, когда, точно въ какомъ-то чаду, забываются заботы, лишенія, тяжелый непосильный трудъ и сознаніе личнаго безсмысла, беспомощности, всѣ семейныя и общественныя невзгоды, а напротивъ, направляющая ихъ на созерцаніе будничнаго дня съ его суровою и мрачною прозою, приковывающая ихъ вниманіе къ темнымъ сторонамъ жизни, къ людскому страданію. Личное горе людей слишкомъ часто обусловливается тяжелыми условіями общественной атмосферы, и правдивое изображеніе этихъ условій составляетъ великую услугу, оказываемую писателемъ своему обществу. Онъ заставляетъ вдумываться въ эти условія, стремиться къ измѣненію ихъ, и своими произведеніями наноситъ ударъ той лицемерной философій застою, которая предлагаетъ людямъ не заботиться объ общественныхъ дѣлахъ, а пещись исключительно о самоусовершенствованіи.

Къ такимъ именно писателямъ, соединяющимъ правдивость съ серьезною мыслию, принадлежитъ и г. Глѣбъ Успенскій. Давая своимъ

читателямъ невеселыя картины жизни русскаго мужика, онъ изображаетъ ихъ въ связи съ тѣми условіями общественной атмосферы, которыя не даютъ этой жизни выбиться на болѣе свѣтлую дорогу. Мысль объ этой связи даетъ ему рѣшимость говорить одну только правду, иногда обидную и горькую, о характерѣ, нравахъ, жизни русскаго мужика. Безъ всякаго опасенія быть заподозрѣннымъ въ какихъ-либо анти-народныхъ тенденціяхъ, онъ часто рисуетъ больше чѣмъ непривлекательныя черты русскаго мужика. Онъ показываетъ его погруженнымъ въ непроглядное невѣжество, сплошь и рядомъ дикимъ, жестокимъ, одолѣваемымъ эгоизмомъ, доходящимъ до крайняго бездушія. Казалось бы, что изображеніе этой дикости, эгоизма, безнравственности должно оттолкнуть читателя отъ народа, обладающаго такими свойствами, и вмѣсто симпатіи вызвать къ нему не только равнодушіе, но даже антипатію. Между тѣмъ въ результатѣ оказывается прямо противоположное. Каждый читатель, если только онъ умѣетъ чувствовать и не зараженъ своекорыстными предубѣжденіями противъ народа, прочтя произведенія г. Успенскаго, отнесется къ изображаемому имъ люду не только не враждебно, но, напротивъ, съ болѣе теплымъ, чѣмъ прежде, чувствомъ. Гдѣ же, спрашивается, кроется секретъ того, что всѣ съ яркостью изображаемыя некрасивыя черты народной жизни не отталкиваютъ, а привлекаютъ къ ней читателя? Прежде всего—въ этой глубокой любви писателя къ народу, которая просачивается насквозь въ каждой строчкѣ его произведеній, и которую едва ли рѣшится отрицать самый рѣшительный противникъ г. Успенскаго. Эта любовь согреваетъ всѣ произведенія писателя и заставляетъ читателя относиться къ порочнымъ чертамъ народной жизни не съ ненавистью, а съ чувствомъ состраданія и боли. Она какъ бы яснѣе заставляетъ понимать, что всѣ почти обнажаемыя имъ уродливости не представляютъ собою природенныхъ свойствъ, а только привиты къ народному характеру, къ народному быту тяжелымъ историческимъ процессомъ, черезъ который суждено было пройти жизни русскаго народа, прежде чѣмъ она достигнетъ болѣе совершенныхъ формъ общественнаго устройства. По достиженіи такого желаннаго результата, хорошія природныя свойства, придавленные старыми формами, получаютъ, наконецъ, просторъ для своего свободнаго развитія и вытѣснятъ—нельзя въ этомъ сомнѣваться—уродливыя черты, цѣлыми вѣками привитыя къ народной жизни.

Не одна, впрочемъ, личная теплота, съ которою относится г. Успенскій къ народной жизни, вліяетъ на чувство читателя и заставляетъ его не винить народъ за тѣ уродливыя черты, которыя писатель такъ рѣзко выставляетъ наружу; на то есть и другая причина, лежащая въ самой концепціи его произведеній. Г. Успенскій не обособляетъ эти уродливости; онъ показываетъ ихъ на темномъ фонѣ общихъ условій нашей общественной жизни, отличающейся не меньшими уродливостями; онъ наглядно изображаетъ, какъ относились и продолжаютъ относиться къ народу, много ли было сдѣлано для очеловѣченія народной массы, которой всегда предоставлялась одна лишь пассивная, страдательная роль въ движеніи нашей національной жизни. Всѣ произведенія писателя точно служатъ отвѣтомъ на вопросъ: отчего, выражаясь его же словами, „мужикъ сталъ въ худыхъ“?

Правдивость рассказовъ г. Успенскаго, быть можетъ, не производила бы такого сильнаго впечатлѣнія на читателя, еслибы она не соединялась у него съ неподдѣльною простотою. Авторъ нисколько не заботится о томъ, чтобы заинтересовать читателя сложною, запутанною фавбулою, поразить его эффектными сценами, тронуть его судьбою описываемыхъ имъ лицъ, хотя въ поводахъ къ тому у него не было бы недостатка. Нигдѣ у него нельзя подмѣтить дѣланности, искусственности; описывая самое настоящее, не выдуманное горе, авторъ никогда не прибѣгаетъ къ жалобному тону, — сами дѣйствующія лица относятся къ своему горю, къ своей темной, неприглядной жизни такъ, какъ будто бы это было не ихъ горе, даже вовсе и не горе, какъ будто бы ихъ суровая жизнь не заключала въ себѣ ничего ненормальнаго. Нужно ли говорить, что эта простота, вытѣсняющая вышній драматизмъ, только усиливаетъ внутренній драматизмъ рассказовъ г. Успенскаго, и что, благодаря этому драгоценному качеству писателя, читатель сплошь и рядомъ бываетъ потрясенъ его незатѣливыми очерками, какъ никогда бы не былъ потрясенъ самыми эффектными, рассчитанными на то, чтобы потрясти читателя, описаніями трагической судьбы какого-либо дѣйствующаго лица. Г. Успенскій видимо чуждается картинныхъ описаній страданій, всячески избѣгаетъ ихъ, точно опасаясь внести ими фальшь въ свои произведенія, и тѣмъ достигаетъ того, что читатель еще сильнѣе поражается въ-ковнымъ, укоренившимся страданіемъ, на которое люди давно пере-

стали жаловаться и на которое они смотрят какъ на нѣчто вполне естественное.

Отиѣтивъ, такимъ образомъ, главныя характерныя черты г. Успенскаго, мы можемъ теперь обратиться къ самымъ произведеніямъ этого писателя. Мы знаемъ очень хорошо, что мы не дали нашимъ читателямъ общей характеристики этого писателя, которая объяснила бы его значеніе въ нашей литературѣ, но это и не входило въ нашъ планъ. Мы полагаемъ, что значеніе этого писателя гораздо яснѣе опредѣлится для читателя, когда онъ вмѣстѣ съ нами прослѣдитъ за нѣкоторыми изъ его произведеній. Прежде всего, для болѣе полного знакомства съ писателемъ, мы остановимся на первыхъ его разсказахъ, посвященныхъ преимущественно описанію нравовъ „городскаго“ народа, и затѣмъ уже перейдемъ къ тѣмъ его произведеніямъ, въ которыхъ талантъ автора выразился съ наибольшею силою, т.-е. къ произведеніямъ, посвященнымъ изображенію нравовъ и жизни русской „деревни“.

III.

Начало литературной дѣятельности г. Успенскаго совпало съ тою эпохою, которую въ провинціи окрестили именемъ „всемирнаго потопа“. „Вода,—говорить онъ въ одномъ изъ своихъ разсказовъ „Другая пора“,—начала прибывать помаленьку. Сначала съ почты принесли объявленіе о какой-то газетѣ, съ почтительнѣйшимъ письмомъ къ управляющему канцеляріей, въ которомъ просили содѣйствія и сочувствія общему дѣлу у чиновниковъ, находящихся подъ его управленіемъ—сочувствія, необходимаго именно теперь, когда настала пора отличить истинное отъ ложнаго, злое отъ незлого, доброе отъ недобраго“ и проч. Чтѣ бы ни дѣлалось, кто бы о чемъ ни говорилъ, кто бы о чемъ ни писалъ, всегда и всюду можно было въ то время встрѣтить, какъ неизбѣжную ригурнель, ходячую фразу: „пора намъ наконецъ сознать, что въ настоящее время и проч.“... Это время, для большинства радостное, для довольнаго же прежними, старыми порядками меньшинства скорбное, было временемъ по истинѣ загадочнымъ. Все общество находилось въ какомъ-то напряженномъ состояніи: одни угрюмо покачивали головой, другіе сіяли, но всѣ находились въ ожиданіи чего-то новаго, доселѣ невиданнаго. Большин-

ство предавалось самым радужным надеждам на внезапное всеобщее обновление; новые нравы, новая жизнь должны были вытеснить все, что давно уже покрылось ржавчиной. Какie только в то время не строились воздушные замки, какie сладкie грезь не убаюкивали русское общество; по истинѣ то былъ періодъ наибольшаго развитія нашей мечтательности. Настроеніе всеобщее было таково, что никто в то время, какъ двадцать лѣтъ спустя, не рѣшается вывести русское общество изъ сладкаго забытiя и напомнить ему, чтобы оно не предавалось иллюзіямъ. Да впрочемъ, если бы кто и напомнилъ, все равно бы не повѣрили. Самое невозможное казалось тогда возможнымъ, когда въ дѣйствительности и возможное-то оказалось для насъ невозможнымъ. Бодрость духа, какая-то веселость, смѣнили уныніе и угнетенность, но въ этомъ блаженномъ настроеніи провинція не отставала отъ столицъ. Вездѣ раздавалось одно слово: „пора“, съ неизбѣжнымъ къ нему прибавленіемъ, доказывавшимъ какъ дважды два четыре нашу рѣшимость начать новую жизнь. „Всѣ чувствовали, — читаемъ мы у Успенскаго, — что пора; въ доказательство пробужденія провинціи приводилось множество корреспонденцій, въ которыхъ значилось, что вплоть отъ Шадринска до Мозыря и отъ Гипербореяскаго моря вплоть до Понта-Евксинскаго все возликовало, все желаетъ кого-то благодарить, обнять, расцѣловать, — и, пользуясь этимъ радостнымъ временемъ, устраиваетъ литературные вечера, на которыхъ читаютъ „Бѣжинъ Лугъ“, рассказъ о капитанѣ Копейкинѣ и „остаются въ восторгѣ“. Все видимо совершенствуется, растетъ не по днямъ, а по часамъ и, по примѣру столичныхъ счастливцевъ, порицаетъ мѣстные тротуарные столбы и покачнувшіеся фонари, и точно также заканчиваетъ эти порицанія желаніемъ, что „пора намъ сознать“. Время было превосходное“.

Время это уже такъ далеко, что мы видимъ его точно сквозь густой туманъ. Искренность подъема общественнаго духа того свѣтлаго періода нашей жизни, разумѣется, не подлежитъ сомнѣнію, хотя, тѣмъ не менѣе, онъ и не далъ тѣхъ плодовъ, на которые возлагались такie большіе надежды. Напротивъ, этотъ подъемъ проскользнулъ какъ метеоръ, и въ концѣ концовъ потерпѣлъ самое рѣшительное фіаско. Причины такого фіаско лежали, главнымъ образомъ, внѣ сферы общественнаго вліянія; вмѣсто ожидавшагося содѣйствія такому подъему общественнаго сознанія явилось съ необычайною быстро-

тою крутое противодѣйствіе въ видѣ разнообразныхъ тормозящихъ иѣропріятій, слишкомъ хорошо извѣстныхъ, чтобы нужно было о нихъ говорить. Но извѣстная доля отвѣтственности за такое фіаско не можетъ быть снята и съ самого общества. Оно оказалось слишкомъ неподготовленнымъ, апатическимъ, пришибленнымъ старыми грѣхами, чтобы умѣть отстаивать зарождавшуюся-было самостоятельность и бороться за свою правоспособность. Люди, видѣвшіе вблизи, на мѣстѣ, какъ и въ чемъ проявлялось въ провинціи это оживленіе общественнаго духа, и тогда уже относились не безъ скептицизма къ слишкомъ пылкимъ надеждамъ на новую эру въ нашей жизни. Къ такимъ именно людямъ принадлежалъ, повидимому, и г. Успенскій, если судить по тѣмъ его рассказамъ, которые относятся къ этой эпохѣ. Нужно, впрочемъ, прибавить, что такъ какъ хорошему всегда охотнѣе вѣрнись, чѣмъ дурному, то по временамъ и г. Успенскій поддавался общему настроенію и, какъ увидимъ, изъ-за его недовѣрія вдругъ прорывалась иногда струя самаго чистаго оптимизма.

Не вдаваясь въ подробный разборъ всѣхъ произведеній г. Успенскаго, мы остановимся только на тѣхъ рассказахъ его перваго періода, которые представляются намъ наиболѣе характерными, какъ для оцѣнки самого писателя, такъ и для уразумѣнія той жизни „городскаго“ народа, которую онъ изображаетъ. Къ такимъ рассказамъ безспорно принадлежать очерки подъ названіемъ „Нравы Растеряевой улицы“.

„Растеряева улица“, какъ ее описываетъ г. Успенскій, въ томъ или другомъ видѣ, съ бѣльшими или меньшими измѣненіями, но во всякомъ случаѣ несущественными, находится не въ одномъ только городѣ,—такимъ образомъ говоритъ ея быто-писатель,—но въ любомъ русскомъ провинціальномъ городѣ. Главныя черты „Растеряевой улицы“ являются поэтому не какими-нибудь исключительными, а такъ сказать типичными чертами жизни „городскаго“ народа. Всѣ эти характерныя черты выражаются въ одномъ словѣ, которое произноситъ герой рассказа, Прохоръ Порфирычъ, именно: въ „полоумствѣ“. Оно не есть удѣлъ одного какого-нибудь класса, нѣтъ, оно охватило собою жизнь всѣхъ классовъ „Растеряевой улицы“: и чиновничество, и духовенство, и купечество, и мѣщанство, и фабричныя, все это тонуло въ „полоумствѣ“. Оно господствуетъ какъ въ сферѣ семейной, такъ и въ сферѣ общественной жизни, и выражается въ безпредѣль-

номъ самодурствѣ, въ забвеніи всякихъ нравственныхъ обязанностей, въ полномъ непониманіи человѣческаго достоинства; люди живутъ изо дня въ день, ни о чемъ не думая, ни о чемъ не размышляя, въ нихъ нѣтъ отзывчивости ни на какія общественныя событія, ничто ихъ не задѣваетъ за живое; оно разлагающимъ образомъ дѣйствуетъ и на отдѣльныхъ людей, и на семью, и наконецъ на все общество. Какая можетъ быть семейная жизнь, гдѣ мужъ и отецъ только и думаетъ о томъ, какъ бы завернуть въ кабакъ, служащій ему единственнымъ развлеченіемъ послѣ цѣлой недѣли работы, въ кабакъ, гдѣ онъ оставитъ все, что успѣлъ заработать, и который выпуститъ свою жертву только тогда, когда будетъ пропита послѣдняя заработанная копейка; гдѣ жена и мать надрывается надъ своими дѣтьми, растущими въ чудовищной дикости. Всѣ ея заботы сводятся къ тому, какъ бы мужъ не пропилъ своего заработка и снова на цѣлую недѣлю не заставилъ голодать семью. Она находитъ мужа, тащитъ его домой, но онъ всегда находитъ возможность выскользнуть изъ ея рукъ и укрыться въ кабакъ отъ своеобразныхъ радостей семейной жизни. Сплошь и рядомъ ей не остается ничего другого, какъ подчиниться безропотно своей судьбѣ, быть дѣтей, быть битой мужемъ и въ свою очередь искать развлеченія въ кабакѣ. Судьба дѣтей не можетъ быть лучше. Отецъ или на работѣ, или въ кабакѣ, мать или сердитая, или плачущая и тщетно выбивающаяся изъ силъ, чтобы дать имъ по куску хлѣба — и растутъ молодое поколѣніе безъ всякаго и физическаго и нравственнаго призора, и жизнь мало-по-малу вталкиваетъ ихъ въ то же „полоумство“. Воспитаніе ихъ начинается со словъ: „ну-ка, будь молодцомъ, стащи!“ — и мальчуганъ десяти, двѣнадцати лѣтъ начинаетъ таскать; его ловятъ и бьютъ, а онъ старается лишь изловчиться такъ, чтобы таскать и не быть битымъ. Такая школа — а другой въ большинствѣ случаевъ для него вовсе нѣтъ — служить прямымъ переходомъ все въ тотъ же всеильный кабакъ.

Кабакъ является господствующимъ элементомъ жизни „городского“ народа. Но кабакъ, даже по мнѣнію Прохора Порфирныча, этого дѣльца „Растеряевой улицы“, есть только слѣдствіе безобразія и дикости этой жизни, а вовсе не причина, которую слѣдуетъ искать нѣсколько поглубже, въ самыхъ условіяхъ общественнаго быта. „Водка, она ни чуть ничего въ этомъ дѣлѣ, — разсуждалъ онъ. — Она дана человѣку на пользу... Потому она имѣетъ въ себѣ лекарственное... Какъ

кто возьмется... А главное дѣло, опять же это полоумство... Какъ вы обсудите: мальчикъ на тринадцатомъ году, — и горя-то настоящаго онъ не видалъ, — а вѣдь норовить тѣмъ же слѣдомъ въ кабакъ... И пьетъ онъ „на споръ“, — кто больше"... Но если такой дѣлецъ или просто кулакъ, какъ герой „Растеряевой улицы“, понимаетъ уже, что кабакъ не служить самъ по себѣ причиною зла, то, разумѣется, онъ, какъ человѣкъ, выросшій на той же растеряевской почвѣ, не додумался еще — да и какая ему въ томъ нужда! — до истинной причины зла. Для него кабакъ и все прочее, что такъ тѣсно съ нимъ связано, есть не что иное какъ „полоумство“ — какъ будто бы оно создано иными условіями, чѣмъ кабакъ, какъ будто бы эти два слова не синонимы! Питье водки „на споръ“ и всяческія безобразія „Растеряевой улицы“ — все это, какъ говоритъ г. Успенскій, „порождено слишкомъ долгимъ горемъ, все покорившимъ косушкѣ, которая и царила надо всѣмъ, занявъ по крайней мѣрѣ три доли въ каждомъ дѣйствиіи, поступкѣ и безъ того отуманеннаго разсудка“.

Разсудокъ же не только отуманенъ, онъ спитъ; спитъ вмѣстѣ съ нимъ и всякое нравственное чувство; не спитъ только страстное влеченіе къ кабаку, къ косушкѣ, этой единственной отрадѣ среди мрака тяжелыхъ будничныхъ дней „Растеряевой улицы“. Забрать въ руки это сонное царство, показать надъ нимъ свою власть — не стоитъ почти никакого труда. Кто взялъ палку, тотъ и господинъ. И показываетъ надъ нимъ свою власть каждый полицейскій чиновникъ, каждый будочникъ, наконецъ, каждый смышленный человѣкъ, который только пожелаетъ эксплуатировать безпомощное растеряевское населеніе. А такихъ охотниковъ всегда найдется вдоволь. Одного изъ нихъ въ этомъ разсказѣ и изображаетъ г. Успенскій. Это тотъ самый Прохоръ Порфирьчъ, который оцѣнилъ по достоинству и время, и современные нравы, и съ улыбкою говоритъ: „время теперь самое настоящее... Только умѣй намѣтить, разжечь въ самую точку“...

Среди лицъ, выводимыхъ г. Успенскимъ въ его первыхъ разсказахъ, фигура Прохора Порфирьча принадлежитъ къ самымъ удачнымъ. Это законченный образъ, въ полномъ смыслѣ слова типическое лицо. Авторъ „Нравовъ Растеряевой улицы“ показываетъ въ немъ городского кулака, основывающаго свое благополучіе на „полоумствѣ“ растеряевцевъ. Его жизненный кодексъ очень несложенъ; весь онъ заключается въ двухъ словахъ: обдирай ближняго! Съ мо-

лоду онъ уже поваль, благодаря своей природной смѣлливости, всю сущность той философіи, которая дѣлитъ всѣхъ людей на молотъ и наковальню; а какъ только онъ это поваль, такъ тотчасъ же и рѣшилъ, что лучше быть молотомъ, чѣмъ наковальнемъ, благо оно и не трудно при тѣхъ условіяхъ, среди которыхъ живетъ растеряевское населеніе. Для этого не нужно ни знанія, ни особыхъ талантовъ, ни даже капиталца, для этого нужно только одно—пользоваться дикостью и безпомощностью среды. Прохоръ Порфирычъ очень рано убѣдился, что обдираніе ближняго не только на законномъ основаніи, но даже и на незаконномъ, при помощи кражи, подлога, но лишь бы оно было сдѣлано ловко, умно, не только не вызываетъ порицанія, но, напротивъ, одобряется и даже внушаетъ уваженіе. Такой человекъ у всѣхъ будетъ въ почетѣ, начальство относится къ нему благосклонно, чиновничество любезно его принимаетъ, мелкій же людъ, рабочій, мастеровой станетъ гнуть передъ нимъ свою шею. Усвоивъ себѣ такіа истины, Прохоръ Порфирычъ и велъ уже себя сообразно съ ними. Онъ сумѣлъ приобрести себѣ уваженіе начальства, распивалъ чай съ чиновниками, бесѣдуя съ ними о „полоумствѣ“ народа и о всемогуществѣ рубля, благодаря которому можно этотъ народъ опутать и сѣсть ему на шею, велъ дружбу съ столпами Растеряевой улицы, т.-е. съ цѣловальниками, и съ достоинствомъ обманывалъ и обкрадывалъ мастеровой людъ. „Вообще, достоинство Прохора Порфирыча состояло въ умѣнѣ смотрѣть на бѣдствующаго ближняго не съ сожалѣніемъ, а съ равнодушіемъ и расчетомъ, да еще въ томъ, что такой взглядъ осуществленъ имъ прежде множества другихъ, тоже понимавшихъ дѣло, но не знавшихъ еще, какъ слѣдуетъ съ собственнымъ сердцемъ“. Вооруженный такими принципами, Прохоръ Порфирычъ шелъ твердою стезею по пути устройства собственнаго благополучія на счетъ невѣжества городского народа. Онъ уже мечталъ объ осуществленіи своей завѣтной мечты—устроить кабака вблизи какой-нибудь фабрики, о томъ, какъ онъ будетъ опинивать рабочихъ, какъ будетъ давать имъ въ долгъ, какъ онъ стикнется съ хозяиномъ фабрики и выѣстъ съ нимъ оборудуетъ закрѣпощеніе себѣ фабричнаго люда. Прохоръ Порфирычъ—изъ тѣхъ людей, для которыхъ препятствій какъ бы не существуетъ, для него не было, сомнѣній нѣтъ, всѣ несложные вопросы, вертящіеся около него, наипрѣдѣльнѣйшаго обирания ближнихъ, давно разрѣшены. Не-

смотря на все свое внѣшнее добродушіе, Прохоръ Порфирычъ возбуждаетъ, однако, какой-то инстинктивный страхъ. Чего же тутъ страшнаго? замѣтитъ читатель: мало ли на свѣтѣ ловкихъ плутовъ; Прохоръ Порфирычъ одинъ изъ нихъ, ни больше, ни меньше. Не совсѣмъ такъ. Прохоръ Порфирычъ возбуждаетъ страхъ не тѣмъ, что онъ ловкій плутъ, а тѣмъ, что среди обитателей „Растеряевой улицы“ онъ является наиболѣе живымъ, мыслящимъ,— правда, скверно мыслящимъ, но все-таки мыслящимъ человекомъ; всѣ же остальные его сограждане погружены въ спячку и апатію. Онъ имѣетъ свои идеи, какъ бы ни были онѣ отвратительны, а другіе имѣютъ въ головѣ только одну идею—косушку, кабакъ. Страхъ является потому, что Прохоръ Порфирычъ—ужъ если мы говоримъ въ единственномъ, а не во множественномъ числѣ—не встрѣчаетъ себѣ надлежащаго отпора, что идеямъ его не противопоставляются другія идеи, что онъ находитъ себѣ поддержку во всѣхъ установленныхъ формахъ жизни.

Торжество Прохора Порфирыча тѣмъ и поддерживается, что для другихъ, также начинающихъ размышлять, но только болѣе совѣстливыхъ людей, нѣтъ другого выхода, кромѣ кабака. Бывали примѣры, что среди обитателей „Растеряевой улицы“ находились люди, начинавшіе „выскизывать въ растеряевскихъ нравахъ такіе проблески жизни, которые не соприкасаются съ кабакомъ, не носятъ въ нѣдрахъ своихъ увѣчья, разбитаго глаза, сибирки и проч., такъ какъ, въ самомъ дѣлѣ,—не все же кабакъ“. Но каково же было изумленіе Кузьки (выразившееся, впрочемъ, самой неопредѣленной тоской во всемъ тѣлѣ), когда продолжительный опытъ доказалъ, что помимо кабака, помимо проклятій собственной жизни, и пр. и пр., — въ растеряевскихъ нравахъ нѣтъ жизни.

Такой выводъ можетъ показаться одностороннимъ, можно заподозрить, что Кузька недостаточно энергично принялся отыскивать иные проблески жизни, но, вдумываясь въ эту жизнь „городского“ народа, какъ ее изображаетъ г. Успенскій, съ ея неизмѣнной нуждой, невѣжествомъ, со всѣми бѣдами, къ которымъ никто не идетъ на помощь, можно, пожалуй, придти къ мрачному заключенію, что единственною отрадою, единственнымъ утѣшителемъ въ этой жизни является кабакъ и что иныхъ настоящихъ проблесковъ свѣта вовсе не существуетъ. Не одинъ, впрочемъ, злополучный Кузька тщетно

искалъ ихъ, искали и другіе люди, болѣе страстные, живые, чуткіе къ той вѣковой „прижимкѣ“, отъ которой во всевозможныхъ видахъ страдалъ русскій народъ. Одного изъ этихъ искателей показываетъ г. Успенскій въ мастерскомъ образѣ Михаила Иваныча, главного дѣйствующаго лица въ прекрасномъ, написанномъ съ большою силою рассказѣ, или, если хотите, повѣсти, „Разореніе“.

Въ „Разореніи“ г. Успенскій даетъ намъ живую картину того столкновенія съ одной стороны надеждъ и ожиданій новой жизни, съ другой проклятій и вздоховъ, вырывавшихся у тѣхъ, которые испытывали какой-то панической страхъ, что вотъ-вотъ старое, вѣковое зданіе рухнетъ и всѣ они погибнутъ подъ его развалинами. Въ художественныхъ образахъ передаетъ онъ то хаотическое нравственное состояніе, въ которомъ находились какъ люди, стремившіеся къ новой жизни, такъ и тѣ, которые во что бы то ни стало хотѣли отстоять старые порядки и скрежетали зубами при мысли, что новое теченіе унесетъ съ собой все, что столь дорого было имъ, ихъ отцамъ и дѣдамъ. Тѣ и другіе одинаково, разумѣется, заблуждались: одни потому, что слишкомъ вѣрили въ торжество новой жизни, другіе потому, что недостаточно вѣрили въ крѣпость сѣдой старины. Новая жизнь не такъ быстро вступаетъ въ свои законныя права, старыя твердыни не такъ легко поддаются разрушенію. Въ то время, къ которому относится „Разореніе“, эта простая истина, несмотря даже на множество являвшихся уже зловѣщихъ признаковъ, казалась еще многимъ едва ли не ложью, и нужна была нѣкоторая прозорливость, чтобы говорить однимъ: погодите радоваться! а другимъ: горевать еще рано, не спѣшите умирать!

Изображая, со свойственнымъ г. Успенскому скептицизмомъ, основаннымъ на близкомъ знакомствѣ съ умственнымъ и нравственнымъ уровнемъ народной массы, первую схватку чего-то народившагося новаго, еще не выяснивагося, съ старымъ зломъ, весьма определеннымъ, авторъ „Разоренія“ показываетъ намъ, какъ отзываются въ человѣкѣ простомъ, необразованномъ, первыя смутныя идеи добра и правды, случайно заброшенныя въ его голову.

Михаилъ Иванычъ, описываемый г. Успенскимъ, принадлежитъ къ „городскому“ народу. Въ молодыхъ еще годахъ ему случилось повстрѣчаться съ мыслящимъ человѣкомъ, который забросилъ въ его душу добрыя сѣмена, и результатомъ нѣсколькихъ схваченныхъ имъ,

но даже неясно усвоенныхъ имъ идей было то, что онъ „страсть сколько разбойниковъ вдругъ увидалъ“.

Но если двухъ, трехъ идей, брошенныхъ на неподготовленную почву, было достаточно, чтобы вывести человека изъ „одурѣнія“, онъ были совершенно недостаточны, чтобы твердо поставить его на ноги. Несчастный Михаилъ Ивановичъ сдѣлался страстнымъ ненавистникомъ старой „прижимки“ и „грабителей“, наивно вѣрующимъ, что наступитъ день судный, день расчета за старые грѣхи, и что вотъ-вотъ взойдетъ солнце правды и освѣтитъ и согрѣетъ всѣхъ долго терпѣвшихъ „неправду“ жизни.

Онъ понималъ только одно, что въ вѣковой „прижимкѣ“ нѣтъ правды, и онъ обличаетъ, бичуетъ, грозитъ. Ему нѣтъ дѣла до того, понимаютъ его или нѣтъ, онъ не задается мыслью, да почему же теперь все должно измѣниться, онъ только слѣпо вѣрить, что измѣнится, и въ проведеніи „чугунки“ видитъ въ томъ ручательство. Онъ ни о чемъ не можетъ говорить безъ того, чтобы не вернуться къ сознанной имъ несправедливости въ людскихъ отношеніяхъ, и съ кѣмъ бы ни встрѣтился, у него одинъ разговоръ—объ угнетеніи слабыхъ сильными.

„Почему, говорить онъ, простой человѣкъ—дуракъ, болванъ? Почему онъ въ жизнь свою сладкаго куска не ѣдалъ и сапогъ цѣлыхъ не нашивалъ? Почему онъ замѣсто этого получалъ по скулѣ?.. Потому что его сапоги-то чужіе носили“...

Но на рѣчи Михаила Ивановича никто не обращаетъ вниманія, и тѣ, которые, казалось бы, наиболѣе должны были отзываться на его слова, смотрѣли на него не то какъ на юродиваго, не то какъ на лающую собаку. Но это его нисколько не смущало и онъ продолжалъ пребывать въ роли обличителя.

„... На какомъ основаніи обязанъ я быть дубьемъ, ходить ошупкой? Предъ кѣмъ я грѣшенъ, предъ кѣмъ виновенъ? А потому что я простой человѣкъ! Простого званія! На этомъ основаніи я и виновенъ... Всякому мой хлѣбъ былъ нуженъ! Кабы я ѣлъ свой-то, трудовой хлѣбъ сполна, значить, получалъ бы, чтò мнѣ слѣдуетъ, я, можетъ быть, человѣкомъ бы былъ... Милашка моя... Можетъ быть, и я бы все понималъ, всякую причину, чтò къ чему... А то разсудитъ самъ, какъ мнѣ осломъ дуроломомъ не быть, коли я съ малыхъ день нищимъ былъ. Вѣдь мнѣ каши-то съ малыхъ день въ ротъ не

влетало—дуби-ина! А почему я недостойнъ каши? Почему въ нашей губерніи, коли кашу на столъ, бабъ и ребятъ вонъ? А на томъ основаніи, что она другимъ требуется“...

И пусть читатель, не знакомый съ „Разореніемъ“, не подумаетъ, что такъ заставило говорить Михаила Иваныча личное эгоистическое чувство; нѣтъ, онъ волновался и дѣйствительно страдалъ не за себя только, а за всѣхъ ему подобныхъ, за рабочаго, за мужика, за всѣхъ, на комъ особенно сильно отзывалась „прижимка“, результатомъ которой, по его объясненію, было „одурѣніе и обнищаніе простого человѣка“. Такое систематическое одурѣніе и обнищаніе заставляло Михаила Иваныча, человѣка не злого, но озлобленнаго, радоваться, если ему случалось слышать, что кому-нибудь изъ „грабителей и разбойниковъ“ приходится трудно.

„И очень великолѣпно, коли кого изъ этихъ грабителей чѣмъ-нибудь да припрутъ! Радъ я! Душевно. Одна мнѣ и утѣха, что на это поглядѣть. Потому ошалѣли мы отъ нихъ, дураками и нищими стали... Въ прежнее время чиновникъ-то трифоновскій, онъ бы меня въ гробъ вогналъ ни за что... А теперича погодишь!.. И слава Богу!.. Теперича еще и простой человѣкъ съ ними, пожалуй, потягается... Да-а!“

И крѣпко вѣрить Михаилъ Иванычъ, что наступить желаемый конецъ „прижимки“, что мужикъ будетъ теперь ѣсть свой хлѣбъ „сполна“, что другіе не будутъ ходить въ его сапогахъ, что палка сдѣлалась теперь о двухъ концахъ, что если однимъ концомъ она ударить по спинѣ мужика, то зато другимъ концомъ мужикъ ударить ею по спинѣ „грабителей и разбойниковъ“. И радуется онъ разоренію, плачу и стонамъ, раздающимся въ станѣ этихъ послѣднихъ, гдѣ и дѣдъ, и отецъ, и сынъ „были равны въ хищничествѣ“, и утѣшается онъ „созерцаніемъ обнищавшаго благородства“ Черемухинныхъ, Птицынныхъ, Печкиныхъ, словомъ—всѣхъ „грабителей и разбойниковъ“. Давно накопившаяся злоба безъ удержа выходитъ теперь наружу и проповѣдуетъ око за око, зубъ за зубъ. „Не нужно нашему брату стыда! зашумѣлъ Михаилъ Иванычъ. Не надо-о! Съ насъ драть стыда нѣту—и намъ требуется вдвое того... Эхъ, тетери!“... Онъ клянетъ все старое, всюду видитъ онъ въ немъ только взяточниковъ, грабителей, не переставалъ толковать „о новыхъ временахъ, о своихъ планахъ, а главнымъ образомъ о грабежѣ и разбоѣ“. Увидитъ

старого чиновника, грѣющагося въ халатѣ на солнцѣ, тотчасъ начинаетъ громить: „Ишь, словно котъ, жмурится... Кости свои оттаиваетъ... Онъ теперича приструненъ, а вы дайте ему оттаять, пойдеть щелкать по карманамъ... либо два... Надежда Андреевна!—воскликнулъ онъ черезъ минуту.—Эво-эво... еще! Вонъ грабитель на одѣялѣ растянулся... Ишь, нажевалъ утробу“...

Какъ ни велика была злоба Михаила Ивановича, но она не могла наполнить его существованія; онъ томился, тосковалъ, но не принимался ни за какое дѣло, которое ему было бы по душѣ, да и дѣла-то не было такого, которое пришлось бы ему по плечамъ. Возвратиться въ старую колею... Но вѣдь тутъ ему пришлось бы встрѣтиться съ тою же „прижимкою“, которая подняла въ немъ такую ненависть; взяться за другое... но вѣдь злоба не замѣняетъ знанія, образованія, котораго у него не было. Вотъ почему онъ рвался вонъ изъ старого гнѣзда, рвался въ Петербургъ, гдѣ, казалось ему, новая жизнь вступала уже въ свои права, и съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ожидалъ открытія движенія по чутункѣ. Увы! озлобленный, злополучный Михаилъ Ивановичъ не понималъ, что до новой жизни еще далеко, что „прижимка“, которую такъ клялъ Михаилъ Ивановичъ, осталась все та же, что „грабители“, которымъ онъ съ азартомъ пѣлъ отходную, остались цѣлы и невредимы и, потерявъ одни мѣста, получили другія, гдѣ они „обрусали, водворяли, описывали и проч.“...

Пришелъ первый поѣздъ, счастье улыбнулось Михаилу Ивановичу; дѣла его устроились такъ, что онъ получилъ возможность осуществить свою мечту и отправиться въ Петербургъ. Время пути было для него временемъ высшаго блаженства. Съ нимъ обращались какъ съ человѣкомъ. Ему говорили: „позвольте пройти“, „прошу васъ“, „извините“ и т. д., и подобныя выраженія заставили его считать себя не завалящей тряпкой, не собакой, а дѣйствительно настоящимъ человѣкомъ, котораго „не бьютъ по скулѣ“. Восторженное состояніе Михаила Ивановича было непродолжительно. Онъ не нашелъ въ Петербургѣ того человѣка, который способствовалъ, по его собственнымъ словамъ, „просіянію“ его ума. Человѣкъ этотъ куда-то исчезъ. Другихъ людей, людей новой жизни, ему также не посчастливилось встрѣтить, да наконецъ, и это главное, и самой-то новой жизни не оказалось. И пришелъ Михаилъ Ивановичъ въ крайнее уныніе, и появлялся онъ, конечно, теперь, что одна прилетѣвшая ласточка не дѣ-

ласть еще весны. И здѣсь онъ встрѣтилъ все то же, что тамъ, въ провинціи, въ деревнѣ вызывало его озлобленіе; онъ поникъ головой, но врядъ ли злоба его помогла ему разъяснить себѣ, что же мѣшаетъ вторгнуться новой жизни и почему все старое такъ крѣпко держится въ нашихъ нравахъ. Увы! „просіяніе“ его ума было слишкомъ для этого поверхностно. Г. Успенскій не сообщаетъ дальнѣйшей судьбы Михаила Ивановича, но ее не трудно отгадать. Одно изъ двухъ: или Михаилъ Ивановичъ, подобно Кузькѣ изъ Растеряевой улицы, прійдя къ убѣжденію, что нѣтъ настоящихъ проблесковъ жизни, рѣшился утопить свою злобу и горе въ томъ же кабацѣ, или, если онъ продолжалъ клясть „прижимку“, „грабителей“ и „разбойниковъ“, то тогда онъ несомнѣнно оказался за произнесеніе дерзкихъ рѣчей воднороннымъ на жительство въ какой-нибудь глухой и безлюдной окраинѣ.

Но въ чемъ же выражается „прижимка“? спроситъ читатель. На это даютъ отвѣтъ другія произведенія г. Успенскаго, къ которымъ мы когда-нибудь, быть можетъ, и обратимся.

1881 г.



САТИРА ЩЕДРИНА.

Очерки изъ современной литературы.

—Круглый Годъ; соч. М. Е. Салтыкова (Щедрина). Спб. 1880.

Давно уже русскій писатель не производилъ на современное ему общество такого глубокаго впечатлѣнія, какъ г. Салтыковъ. Каждое новое его произведеніе читается съ жадностью, всё о немъ говорятъ, спорятъ, значительное большинство восхищается имъ. Даже тѣ, у которыхъ морозъ долженъ былъ бы пробѣгать по тѣлу при чтеніи какъ молотомъ бьющей сатиры, не отваживаются вступать въ открытую борьбу съ мощнымъ писателемъ и въ большей части случаевъ относятся къ нему если не съ любовью, то по крайней мѣрѣ—съ внѣшнимъ уваженіемъ. Только немногіе отъ времени до времени тщетно стараются попасть въ него если не комкомъ грязи, то какимъ-нибудь бессмысленнымъ браннымъ словомъ, которое, разумѣется, обращается противъ тѣхъ, кто его произноситъ. Враги литературныхъ произведеній г. Салтыкова должны надѣвать на себя маску; кому же охота узнавать себя въ воспроизведенныхъ авторомъ лицахъ! Впрочемъ, нужно сказать и то, что многіе изъ тѣхъ, кому должны были бы быть куда какъ солонны произведенія г. Салтыкова, читая ихъ, весело смѣются, точно не о нихъ идетъ рѣчь. Одни изъ такихъ читателей по наивности не понимаютъ, что, смѣясь надъ типами сатирика, они смѣются надъ самими собой; другіе же обладаютъ такою толстою кожей, что слово на нихъ уже перестало дѣйствовать. Они такъ увѣрены, что

„настоящая“ сила, а не какая-то нравственная сила литературы, на сторонѣ ихъ „хищническихъ“ стремленій и дѣйствій, что они охотно сами же свѣются надъ нравственнымъ пригвожденіемъ ихъ къ позорному столбу. Когда совѣсть сгинула, когда люди потеряли способность краснѣть, тогда бичъ сатиры скользитъ по нимъ, не вызывая ни малѣйшей боли. Но удары, наносимые хотя и по безчувственному тѣлу — не безплодны; они спасаютъ другихъ, еще не зачумленныхъ, отъ паденія въ ту зловонную яму, которая душитъ въ людяхъ и чувство стыда, и понятіе о человѣчности.

Задача сатиры, впрочемъ, заключается не въ томъ, чтобы исправлять отдѣльныхъ людей, отдѣльныя группы общества; нѣтъ, поле ея шире: она стремится внести сознаніе въ затуманенное общество; она толкаетъ, будитъ цѣлое общество своимъ горькимъ смѣхомъ; она, какъ въ зеркалѣ, должна отражать общественную немочь, общественную порочность; она говоритъ: смотрите и любуйтесь! И если сатира сильна, если она съумѣла затронуть болѣзненные струны общественного организма, тогда она приобретаетъ широкое общественное значеніе. Такое именно благотворное общественное значеніе приобрѣлъ г. Салтыковъ цѣлою длинною цѣпью своихъ произведеній, начиная отъ „Губернскихъ Очерковъ“ и кончая послѣднею вышедшею его книгою „Круглый Годъ“. Если нѣтъ нужды говорить, что этотъ рядъ сочиненій упрочилъ за г. Салтыковымъ небывалое почти въ русской литературѣ вліяніе, — за то нельзя не остановиться передъ вопросомъ о характерѣ этого вліянія.

Значеніе писателя опредѣляется не только силою его таланта, но главнымъ образомъ тѣми идеями, которыя онъ вноситъ въ общественную жизнь, тѣми добрыми или дурными сѣменами, которыя онъ сѣетъ на общественной почвѣ. Нѣтъ спора, что какими бы прекрасными идеями и высокими идеалами ни обладалъ человѣкъ, но если онъ лишенъ всякаго таланта, то такой человѣкъ, пользуясь уваженіемъ въ частной сферѣ своей дѣятельности, никогда не приобрететъ крупнаго вліянія въ широкой области литературы. Но точно также нѣтъ сомнѣнія и въ томъ, что какимъ бы яркимъ талантомъ ни обладалъ писатель, но если идеи, которыя онъ высказываетъ въ своихъ произведеніяхъ, будутъ бѣдны, немощны или, еще хуже, если своими произведеніями онъ будетъ сѣять одни плевалы, то такой писатель, если и можетъ подчасъ пользоваться популярностью среди своихъ совре-

менниковъ, — за то въ будущемъ, и не далеко, а близко, онъ будетъ осужденъ на забвеніе.

Пробѣгите мысленно исторію литературы, и не только русскую, но европейскую, переберите писателей, оставшихся въ памяти потомства, и что вы увидите? Сохранились имена только тѣхъ талантовъ, которые двигали общество своими произведеніями по пути прогресса, которые пробуждали добрыя чувства, которые боролись за торжество справедливыхъ началъ надъ несправедливыми, свѣта надъ тьмою, свободы надъ безправіемъ, любви надъ ненавистью. Надъ тѣми же, которые своими произведеніями и выраженными въ нихъ идеями потворствовали низкимъ инстинктамъ современнаго имъ общества, отставали общественные предразсудки, становились служителями гнета, — надъ тѣми исторія поставила черный крестъ.

Спора нѣтъ, талантъ — великое дѣло, талантъ притягиваетъ къ себѣ современниковъ, и мы видимъ, что, сплошь и рядомъ, общество увѣнчиваетъ лаврами писателя за воспроизводимые имъ художественные образы, за мастерское умѣніе рассказывать, относясь съ поразительнымъ безразличіемъ къ тѣмъ идеямъ, которыя прячутся за этими образами, къ тѣмъ зазорнымъ мыслямъ, которыя кроются въ мастерскихъ разсказахъ. Такой писатель, благодаря своему таланту, будетъ несомнѣнно пользоваться вліяніемъ на современное общество; но, не говоря уже о томъ, что такое вліяніе представляется вреднымъ для здороваго роста общества, оно, безъ сомнѣнія и къ счастью, оказывается столь же эфемернымъ, какъ эфемерны и самыя произведенія такого писателя. Чтобы освѣтить нашу мысль примѣромъ, мы сойдемся на одно явленіе въ современной русской литературѣ. Каждый читатель и безъ насъ назоветъ писателя, который, безспорно, пользуется въ настоящее время весьма значительнымъ вліяніемъ и популярностью. Его рѣчи, дневники, романы читаются съ такою же жадностью, какъ и произведенія г. Салтыкова. Каждое появленіе его общество встрѣчаетъ шумными оваціями, въ которыхъ, впрочемъ, столько же восторга, сколько и недоумѣнія. Чѣмъ же однако вызывается такое восторженное отношеніе общества къ этому писателю? Несомнѣнно, присущимъ ему талантомъ, независимо отъ его порядочно обскурантнаго міросозерцанія, отъ его проповѣди самодовольнаго квіетизма, облекаемыхъ имъ въ смутныя и потворствующие самымъ дурнымъ инстинктамъ общества идеи „новаго слова“ и „всечеловѣчества“. Общество,

ослѣвленное талантомъ автора, доставившаго ему въ свѣтлый періодъ его дѣятельности не одно высокое наслажденіе, рукоплещеть и преклоняется передъ тѣмъ самымъ, отъ чего оно съ негодованіемъ и отвращеніемъ отворачивается, когда тѣ же самыя идеи предлагаются ему другими людьми, принадлежащими къ одному лагерю съ этимъ писателемъ, но не обладающими его талантомъ. Едва-ли можно ошибиться, говоря, что исторія отнесется болѣе строго къ писателю, надѣленному отъ природы недюжиннымъ дарованіемъ, но отдавшимъ его на служеніе извращеннымъ идеямъ и на прославленіе и идеализацію самаго грубаго и переищаннаго съ мистицизмомъ міросозерцанія. О вкусахъ, разумѣется, спорить трудно. Быть можетъ, и найдутся люди, которымъ завидно будетъ такое вліяніе, какъ въ нашей же литературѣ находились и находятся люди, которымъ спать не даютъ лавры Менцелей и Коцебу.

Прямо на противоположномъ полюсѣ подобнаго вліянія на общество стоитъ вліяніе, принадлежащее г. Салтыкову. Если одно должно быть названо вреднымъ, то другое—безусловно благотворнымъ. Вліяніе и значеніе этого законнаго вождя современной литературы основано совершенно на иныхъ данныхъ, чѣмъ значеніе, оставляя даже въ сторонѣ г. Достоевскаго, такихъ писателей, какъ гг. Тургеневъ, гр. Толстой, Островскій, Григоровичъ и Гончаровъ. Велика служба, которую сослужилъ каждый изъ этихъ писателей русскому обществу, его просвѣтленію и движенію впередъ, и долго, разумѣется, не изгладятся изъ памяти потомства имена авторовъ: „Записокъ Охотника“, „Войны и мира“, „Антонъ Горемыкинъ“, „Сна Обломова“, „Грозы“ и „Свои люди сочтемся“. Но самое свойство талантовъ этихъ писателей, ихъ художественныя задачи и самыя общественныя условія, которыми обставлена была цвѣтущая пора ихъ дѣятельности, все это вмѣстѣ взятое дѣлало для нихъ совершенно невозможнымъ пріобрѣсть такое непосредственное общественное значеніе, какое пріобрѣлъ г. Салтыковъ. Всякія сравненія, поэтому, между г. Салтыковымъ и другими современными писателями были бы совершенно неумѣстны. Разныя задачи, разныя цѣли обуславливаютъ и разное отношеніе къ явленіямъ общественной жизни.

Писатели, которыхъ мы назвали—чистые художники, ихъ задача—объективно относиться къ жизни, воспроизводить образы, вырванные изъ жизни, но прошедшіе черезъ горнило ихъ творчества.

Если художник-беллетристъ вноситъ въ свое произведеніе, не закутывая въ туманныя облака, свои личныя симпатіи и антипатіи, если онъ навязываетъ выводимымъ имъ образамъ свои идеи, ему говорятъ, что онъ тенденціозенъ, и эту тенденціозность ставятъ ему въ укоръ. Да что ставятъ! Самъ художникъ горячо защищается противъ тенденціозности, точно противъ какого-то постыднаго порока; объективность онъ считаетъ самымъ драгоценнымъ камнемъ своего литературнаго вѣнца. Писатель-художникъ, это—зритель, больше—великій судья, но не боецъ, бросающійся въ борьбу общественной жизни со всѣми своими симпатіями и антипатіями, съ открытымъ забраломъ, со всею своею личною, ему присущею субъективною силою. Писатель-художникъ своими образами, воспроизводимыми фигурами, производитъ какъ бы приговоръ надъ общественною жизнью, ея явленіями, ея дѣйствующими лицами. Необходимая объективность заставляетъ его держаться на извѣстномъ разстояніи отъ того кипучаго боя между людьми, тянущими назадъ и рвущимися впередъ, безъ котораго общественная жизнь является какъ бы заживо схороненною. Совсѣмъ въ другомъ положеніи является сатирикъ. Онъ на половину художникъ, на половину публицистъ. Онъ не спеленатъ объективностью; онъ не скрываетъ своихъ субъективныхъ воззрѣній; его произведенія не требуютъ томовъ комментарія для разъясненія вопроса, какъ въ дѣйствительности относится самъ авторъ къ тому или другому общественному явленію. Онъ не зритель, не судья, онъ боецъ, первый бросающійся въ бой; если онъ не смѣшивается съ толпою, то только для того, чтобы руководить ею; онъ громко заявляетъ, на чьей сторонѣ его симпатіи и антипатіи; онъ не скрываетъ того, что онъ любитъ, какъ не скрываетъ и того, что ненавидитъ. И вотъ именно своею-то любовью и своею ненавистью и дорогъ для русскаго общества г. Салтыковъ. Тутъ главный ключъ его общественнаго вліянія и значенія.

Мы не станемъ спорить противъ того, что самая сильная сторона г. Салтыкова заключается не въ мастерскихъ художественныхъ образахъ, хотя, говоря это, мы вовсе не думаемъ сказать, что такихъ образовъ нельзя встрѣтить въ произведеніяхъ нашего сатирика. Достаточно напомнить читателю такіа, точно изъ бронзы отлитыя, фигуры, какъ Іудушка и Арина Петровна въ „Семействѣ Головлевыхъ“, чтобы признать, что и въ этомъ отношеніи г. Салтыковъ можетъ померяться съ лучшими изъ нашихъ художниковъ-беллетристовъ. Но если и

нужно допустить, что въ созданіи яркихъ, неувядаемыхъ образовъ г. Салтыковъ уступаетъ, напримѣръ, своему непосредственному предшественнику, великому художнику Гоголю, за то г. Салтыковъ во всей исторіи русской литературы не знаетъ себѣ равнаго, когда дѣло идетъ о томъ, чтобы схватить типическія черты переживаемаго обществомъ времени, чтобы живо подиѣтить тотъ или другой новый народившійся типъ и освѣтить его со всею яркостью своего мощнаго таланта. Никогда до г. Салтыкова ни одинъ писатель не былъ еще такимъ вѣрнымъ выразителемъ думъ и настроенія лучшей части русскаго общества, и вотъ почему, если для современниковъ произведенія этого писателя представляются въ высшей степени цѣнными, то для будущаго историка русскаго общества, когда онъ подойдетъ къ переживаемой нами эпохѣ, не будетъ болѣе драгоцѣннагоклада, какъ сочиненія г. Салтыкова, въ которыхъ онъ найдетъ живую и вѣрную картину современнаго общественнаго строя. Люди, нравы, а главное — условія жизни — все для него станетъ понятнымъ и яснымъ.

Необычайно чуткій ко всякой злобѣ дня, онъ всегда умѣетъ освѣтить ее своеобразно и каждый разъ заставляетъ задумываться читателя надъ тѣми общими условіями, которыми обставлена наша общественная жизнь. Условія эти не создались сегодня или вчера, временами только они болѣе обостряются, но для того, чтобы ясно отдавать себѣ въ нихъ отчетъ, нужно постоянно помнить о той тѣсной, преемственной связи, которая существуетъ между ними и всѣмъ прошлымъ русскаго общества. Г. Салтыковъ знаетъ это лучше, чѣмъ кто-либо другой, и потому мастерски рисуетъ тотъ хроническій недугъ, ту наследственную болѣзнь русскаго общества, которая такъ часто порождаетъ чуть не сказочныя уродливости въ его жизни и создаетъ ту правственную испорченную атмосферу, въ которой сплошь и рядомъ задыхаются самыя благія начинанія. Характеры, типы, событія являются продуктами этой атмосферы, и потому въ сочиненіяхъ нашего сатирика они такъ тѣсно переплетаются между собою. Вотъ почему всѣ его произведенія отзываются только горькою правдою. Иной разъ можетъ казаться, что нѣкоторыя черты являются у автора преувеличенными, изображаемыя лица какъ бы отзываются шаржемъ, но, вдумавшись въ то, что онъ описываетъ, вы придете къ убѣжденію, что въ сущности и нѣтъ никакого преувеличенія. Впечатлѣніе преувеличенности выносится только потому, что сатирикъ схватываетъ

самыя рѣзкія, рельефныя черты, отбрасывая детали, ихъ окружающія, а эти-то подробности и скрадываютъ отъ не особенно проницательнаго взгляда всю уродливость воспроизводимыхъ имъ чертъ общественной жизни.

Всѣ достоинства этого замѣчательнаго писателя мы встрѣчаемъ и въ послѣдней изданной имъ книгѣ „Круглый Годъ“, хотя, по нашему мнѣнію, какъ ни важна она по своему общественному значенію, она все-таки не принадлежитъ къ самымъ яркимъ произведеніямъ нашего сатирика.

Книга эта представляетъ собою какъ бы дневникъ за тяжелый 1879 годъ, но дневникъ не гнетущихъ событій, быстро слѣдовавшихъ одно за другимъ, а дневникъ тѣхъ скрытыхъ, назойливыхъ и мучительныхъ думъ, которыя каждый мыслящій человѣкъ долженъ былъ переживать въ это время. Время же это нельзя лучше характеризовать, чѣмъ сдѣлалъ это въ двухъ строкахъ г. Салтыковъ, говоря, что это былъ „странный годъ, который неизгладимыми чертами врѣзался въ сердца каждого русскаго. Даже въ худшія эпохи, ничего подобнаго этому злосчастному году лѣтописи русской жизни едва ли представляли“. Писать въ такое время сатирическіе очерки было дѣломъ не легкимъ. Нужна была большая любовь къ своему дѣлу, къ литературѣ, горячая привязанность къ своей родинѣ, а главное — нуженъ былъ весь талантъ автора „Круглаго Года“, съ его неизсякаемымъ рудникомъ самаго чистаго юмора, съ его искусствомъ преодолевать всѣ трудности, поставленныя на пути русскаго писателя, чтобы въ „этотъ злосчастный годъ“ не бросить перо и не замолчать.

Случалось ли вамъ, читатель, испытывать неотвязчивую хандру, щемящую тоску, когда все вамъ становилось немило, когда все, казалось, теряло всякую вѣру въ себя и въ другихъ, когда въ вашей душѣ поднималась злоба на все и на всѣхъ, и вы чувствовали, что злоба эта бессильна, когда будущее ваше, вашихъ близкихъ, цѣлой родины рисовалось вамъ въ самыхъ мрачныхъ краскахъ, когда безсильная ненависть заглушала всѣ благородные порывы, всѣ надежды и упованія? Близкое съ такимъ именно настроеніемъ состояніе переживала еще слишкомъ недавно большая доля русскаго общества. Представьте же себѣ, что въ такіе минуты, дни или мѣсяцы, къ вамъ является другъ, который не вторитъ вашей не только бесплодной, но

вредной распушенности, но приносить съ собой живое слово ободренія, поднимающее вашъ душевный тонъ, который показываетъ вамъ во всей наготѣ людей, погрузившихъ васъ въ мрачное отчаяніе, и вы убѣждаетесь, что новаго ничего не приключилось, что продолжается только старая, никогда не прекращавшаяся пѣсня, и что если вы прежде питали надежды, то нѣтъ причинъ не питать ихъ и теперь. Вы чувствуете, что отъ такого слова ободренія пахнуло точно свѣжимъ вѣтромъ, грудь начинаетъ легче дышать и вы мало-по-малу возвращаетесь — не скажу къ хорошему, но къ вашему нормальному настроенію. Такимъ другомъ для русскаго общества и бываетъ въ трудныя минуты г. Салтыковъ.

Нѣтъ, разумѣется, особенныхъ основаній и въ настоящее время русскому обществу настраиваться на праздничный ладъ; ничего не случилось такого, чтобы это общество имѣло право гордиться успѣхами своей общественности: какъ было въ „доброе старое время“, такъ и теперь: оно также, по-прежнему безсильно, по-прежнему оно можетъ говорить только „рабынѣмъ“ языкомъ, языкомъ чувствующаго свое ничтожество просителя, который, низко кланяясь и неустанно благодаря, вручаетъ свою судьбу въ руки благодѣтеля. „Хочу—милую, хочу—казню!“ — сохранилось въ прежней силѣ, и никто не долженъ дерзать спрашивать, за что милуютъ, за что казнятъ? На то добрая воля Оденека Неугодовыхъ. Къ такому сознанію русское общество давно привыкло, оно сдѣлалось его нормальнымъ состояніемъ, и если общество не плаваетъ въ немъ какъ рыба въ водѣ, за то и не задыхается, какъ можно было бы ожидать, отъ недостатка свѣжаго воздуха. Находятся даже такіе возлюбивцы русскаго народа, которые въ этомъ-то состояніи и находятъ залогъ силы и великой будущности своей родины. Имъ мало того, что есть; они полагаютъ, что идеалъ осуществится только тогда, когда люди превратятся въ „подлыхъ людшекъ“. Слишкомъ живо въ памяти общества то недавнее ихъ время, когда идеалъ такихъ людей былъ весьма близокъ къ осуществленію. Какой-то невообразимый кошмаръ сдавливалъ грудь русскаго общества. Привыкшее къ угнетенному состоянію, оно чувствовало теперь — угнетеніе въ квадратъ: всѣ, кто только сознавалъ горечь и униженіе, а такихъ все-таки было немало, уходили въ свою скорлупу и не имѣли мужества, — да и кто рѣшится винить ихъ за то, — выражать хотя слабымъ голосомъ свое несочувствіе развернувшей крылья реак-

ціи. Куда было до протеста противъ различныхъ уродливостей, когда общество дрожало, испытывая лихорадочный ознобъ, и когда лихорадочное состояніе доходило до бреда, во время котораго люди, утраченные неустанно раздававшимся окрикомъ: „согну въ бараній рогъ!“, отзывались на этотъ окрикъ только однимъ: „гните насъ больше! мало! мало!“ Такая приниженность была омерзительна. И вотъ, въ это-то время одинъ только писатель съ изумительнымъ талантомъ воплощалъ въ себѣ чувство собственного достоинства всего русскаго общества. Когда все молчало или сквернословило, одинъ г. Салтыковъ выражалъ то, что чувствовали, но не смѣли заявлять пришибленные люди. Его голосъ звучалъ диссонансомъ въ томъ многочисленномъ хорѣ, который съ цинизмомъ торжествовалъ свою побѣду надъ искалѣченною человѣчностью и свободой мысли. „Круглый Годъ“ останется единственнымъ живымъ протестомъ противъ „злосчастнаго года“. Къ нему мы теперь и обратимся.

Намъ нѣтъ надобности подробно говорить о той общей идеѣ, которая проходитъ черезъ послѣднюю книгу г. Салтыкова. Это та самая идея, которая проникаетъ насквозь всѣ его сатирическія произведенія. Трудно проглядѣть въ его сочиненіяхъ не ту фальшивую, громко заявляющую о себѣ любовь къ русскому народу, во имя которой то лицемерные, то ограниченные люди требуютъ чуть не истребленія болѣе образованной части этого самаго народа, или какъ принято съ хихиканьемъ говорить — „интеллигенціи“ страны, — а серьезную, правдивую любовь и къ русскому народу, и къ русскому обществу. Г. Салтыковъ не противопоставляетъ народъ обществу, какъ это дѣлается своеобразными радѣтелями о народномъ благѣ, — нѣтъ, онъ народу и обществу противопоставляетъ наши бытовые формы, проѣденныя грубыми, необразованными и потому жестокими бюрократизмомъ. Зло, парализирующее здоровый ростъ общества и цѣлаго народа, это безправіе, проникающее во всѣ сферы, въ частную жизнь человѣка, въ семью, въ общество, въ весь народный бытъ. Безправіе, разлагающее всякаго рода дѣятельность; оно душитъ литературу, искусства, всѣ профессиональныя дѣятельности; оно тяготеетъ надъ промышленностью, торговлею, всюду оно даетъ себя чувствовать, всюду оно торжествуетъ надъ тѣмъ, что зовется и правдою, и правомъ. Съ верхнихъ оно постепенно сходитъ до самыхъ низшихъ ступеней; представители его занимаютъ самыя различныя общественныя положенія; приличный

сановникъ и futur-ministre Оеденька Неугодовъ и необтесанный Колупаевъ — это плоды одного и того же дерева, они дѣйствуютъ во имя одного и того же принципа, одинъ на поприщѣ государственной дѣятельности, другой — на поприщѣ кабака.

Да, пожалуй, возразятъ намъ, но все это отрицательныя идеи, укажите же намъ въ сатирѣ г. Салтыкова положительныя идеи, ясныя идеалы. Но, читатель, неужели вамъ не надобны всѣ эти безсодержательныя фразы о положительныхъ идеяхъ, всѣ эти требованія опредѣленныхъ идеаловъ?! Не говоря уже о томъ, что всѣмъ должно быть слишкомъ хорошо извѣстно, и въ „Кругломъ Годѣ“ есть превосходныя страницы, въ которыхъ авторъ съ неподражаемымъ юморомъ трактуетъ о томъ же вопросѣ, что нынѣшнее положеніе литературы вовсе не таково, чтобы давать писателю возможность съ полною ясностью, безъ всякихъ изворотовъ, безъ искусственныхъ затейливѣйшихъ выставлать свои положительные идеалы. Развѣ можно забывать, что наша литература при всякомъ удобномъ и даже неудобномъ случаѣ попадаетъ въ опалу, что она не имѣетъ законнаго существованія, официально признаннаго, что съ нею всегда обращались какъ съ нелюбимою падчерицею, какъ съ злополучнымъ подкидышемъ! Пусть пропадаетъ! туда ей и дорога! Гдѣ же тутъ до ясныхъ идеаловъ! Поддерживала бы лишь кое-какъ свое скудное существованіе, съ нею и того довольно! Какъ бы ни велико было значеніе русскаго писателя, хотя бы то былъ и г. Салтыковъ, но пусть онъ попробуетъ оставить свой „эзоповскій языкъ“, пусть онъ попробуетъ устранить свой „добродушный смѣхъ“, который такъ часто горекъ для читателя, но во сто кратъ горче для самого писателя, и кто знаетъ, не пришлось ли бы намъ распроститься съ ободряющей сатирой г. Салтыкова. Намъ такъ чужда свободная рѣчь, такъ много у насъ запретныхъ плодовъ, мы такъ привыкли къ подневольному слову, что достаточно одного сколько-нибудь прозрачнаго намека на то, что выходитъ изъ обыкновенной области гласной и негласной цензуры, что мы первые чуть не съ священнымъ ужасомъ восклицаемъ: какъ это пропустили! Если можно только радоваться, что такія восклицанія стали въ послѣдніе мѣсяцы раздаваться чаще и чаще, то какъ же горько положеніе литературы и общества, не стыдящагося такихъ восклицаній! Какъ смотреть на такое положеніе г. Салтыковъ, мы еще увидимъ это, говоря далѣе о „Кругломъ

Годъ". Но всѣ эти фразы объ отрицательныхъ идеяхъ, объ отсутствіи положительныхъ идеаловъ, фальшивы и въ другомъ отношеніи. Неужели лучшіе люди сороковыхъ годовъ, когда они говорили объ уродливости крѣпостного права, когда они рисовали безчеловѣчное обращеніе съ рабами, когда они указывали на безобразія стараго суда съ его подьячими, приказными, съ его взяточничествомъ, неужели въ ихъ рѣчи не было ничего иного, кромѣ отрицательныхъ идей, неужели подъ этимъ отрицаніемъ не слышно было бѣненіе пульса живыхъ идеаловъ! Такъ точно и теперь. Кто же не понимаетъ, что когда писатель изображаетъ безправіе русскаго общества и цѣлаго народа, когда онъ рисуетъ въ лицахъ узкій, тупой бюрократизмъ, отравляющій своимъ прикосновеніемъ все, до чего онъ дотрогивается, когда на сцену выводится неграмотный, обираемый и разоряемый мужикъ и широкими чертами очерчивается расхищеніе „на законномъ основаніи“, — что за этими отрицательными идеями скрываются весьма ясныя и положительныя идеи относительно необходимости болѣе правильнаго общественнаго строя?

Да, наконецъ, когда же и кто изъ русскихъ писателей имѣлъ возможность выставить положительные идеалы инымъ путемъ, чѣмъ тотъ, которому слѣдуетъ г. Салтыковъ, за исключеніемъ, разумеется, тѣхъ писателей, которые для того, чтобы не быть стѣсненными въ развитіи своихъ идей, рѣшались на страшную жертву и покидали навсегда свою родину. Тѣ же, которые писали въ Россіи, должны были, напротивъ, всегда дѣлать такъ, чтобы ихъ положительные идеалы обрисовывались какъ можно меньше. Каковы были идеалы Гоголя въ здоровую эпоху его дѣятельности? Мы можемъ догадываться, судить о томъ, что ему было дорого и что ненавистно, по отрицательнымъ идеямъ „Мертвыхъ Душъ“, „Ревизора“, по положительнымъ идеямъ, по которымъ можно было бы опредѣлить его общественныя воззрѣнія, мы не находимъ въ эту эпоху. Онъ получилъ возможность открыто говорить о своихъ идеалахъ только въ періодъ своего паденія, но идеалы автора „Переписки съ друзьями“ — не идеалы великаго Гоголя. Свободно говорить о своихъ идеалахъ могутъ писатели только той заплеснѣвшей литературной школы, которая пресерьёзно доказываетъ, что беззаконіе и безправіе и составляютъ залогъ великой будущности и счастья русскаго народа. Но о такихъ писателяхъ говорить не стоитъ. Если они

искренны, то ихъ можно только жалѣть; если же они держатся такихъ воззрѣній, чтобы имѣть возможность въ мутной водѣ ловить рыбу, тогда они принадлежатъ чему угодно, но только не литературѣ. Нужно всегда помнить, что лучшіе изъ представителей даже той литературной партіи, которая написала на своемъ знамени даже официально признанныя традиціи, — не имѣли возможности свободно высказываться въ Россіи и должны были печатать свои произведенія за границей.

Можно ли, спрашивается, теперь предъявлять къ г. Салтыкову бессмысленное требованіе, чтобы онъ болѣе ясно выражалъ свои идеи и раскрывалъ свои идеалы. Нѣтъ, общая идея г. Салтыкова какъ нельзя болѣе ясна, и кто недостаточно усвоилъ ее себѣ, тотъ пусть хорошенько вдумается и вчитается въ ту книгу, которая послужила намъ поводомъ, чтобы заговорить о г. Салтыковѣ.

Мы не станемъ подробно говорить о каждомъ изъ двѣнадцати очерковъ, входящихъ въ составъ „Круглаго Года“ — наша цѣль заключается вовсе не въ томъ, чтобы познакомить читателя съ содержаніемъ послѣдней книги г. Салтыкова, что легко можетъ сдѣлать и каждый изъ нашихъ читателей самъ. Намъ хочется только показать, какъ ярко выражена въ этомъ сочиненіи основная идея г. Салтыкова, и какъ то разлагающее начало, противъ котораго съ такою мощью борется авторъ „Круглаго Года“, отражается на самомъ обществѣ и ея представительницѣ — литературѣ. Незавидная доля этого общества станетъ еще болѣе понятною, когда мы посмотримъ на выразителя и виѣстѣ на продуктъ этого разлагающаго начала — безправія русской жизни, на Оеденьку Неугодова, этого вершителя судебъ своей родины и одного изъ столповъ отечества.

Не будемъ держаться порядка „Круглаго Года“, — начнемъ съ литературы.

Вопросъ о положеніи русской литературы и литераторовъ занимаетъ въ послѣднемъ произведеніи г. Салтыкова едва ли не самую значительную часть. Оно и понятно. Во-первыхъ, положеніемъ литературы въ странѣ опредѣляется и положеніе всей общественности. Если литература не имѣетъ простора, если она забита, если судьба ея зависитъ отъ произвола различныхъ Неугодовыхъ, можно быть увѣреннымъ, что и вся общественная жизнь, въ смыслѣ полн-

тическомъ, прозябаетъ, что люди испытываютъ тѣ же неудобства, какъ литературныя произведенія, что они точно также забиты, и что судьбою ихъ, по своему усмотрѣнію, распоряжаются тѣ же Неудовны. Кто отстаиваетъ, слѣдовательно, независимость литературы, тотъ отстаиваетъ и независимость цѣлаго общества. Одного этого было бы уже совершенно достаточно, чтобы понять, отчего г. Салтыковъ такъ часто обращается къ несладкому положенію русской литературы. Но помимо этого есть еще и вторая причина, отчего г. Салтыковъ такъ часто возвращается къ этой любимой своей темѣ. Литературная дѣятельность—это вся его жизнь; болѣе тридцати лѣтъ своей жизни онъ отдалъ на служеніе этому тяжелому дѣлу. Въ литературѣ, какъ онъ самъ говоритъ, онъ испыталъ всѣ радости, она доставляла ему высшія наслажденія, но та же литература слишкомъ часто бывала для него злой мачихой, оскорблявшей, издѣвавшейся надъ нимъ и заставлявшей переживать его самыя мучительныя минуты жизни. Никто лучше г. Салтыкова не знакомъ съ жалкимъ положеніемъ русскаго писателя, зависащаго въ своей дѣятельности отъ всякихъ „случаевъ“, обязаннаго глубоко хоронить свои самыя заветныя думы и вынужденнаго, какъ гимнастъ, ходить по канату, высоко поднятому надъ пропастью. Оступился, упалъ... и завтра, какъ говоритъ г. Салтыковъ словами Державина: „гдѣ ты, человѣкъ!“...

То, что пишетъ г. Салтыковъ по поводу положенія литературы и литераторовъ, имѣетъ, помимо общаго значенія, еще и другое, непосредственно относящееся къ самому автору. Для будущаго критика страницы эти послужатъ дорогимъ матеріаломъ, такъ какъ онѣ даютъ ключъ къ объясненію манеры писать г. Салтыкова. Мы говоримъ: для будущаго критика, потому что до сихъ поръ, несмотря на болѣе чѣмъ четверть вѣка продолжающуюся литературную дѣятельность автора „Губернскихъ Очерковъ“, „Помпадуровъ“, „Благонамѣренныхъ рѣчей“, „Ташкентцевъ“, „Семейства Головлевыхъ“, „Круглаго Года“ и многихъ другихъ, столь же замѣчательныхъ и сильныхъ произведеній,—настоящей оцѣнки этого таланта, которымъ справедливо могла бы гордиться не только русская, но и любая изъ болѣе богатыхъ европейскихъ литературъ, еще не было сдѣлано, и по двумъ причинамъ. Первая изъ нихъ заключается въ томъ, что у насъ нѣтъ въ настоящее время ни одного крупнаго критическаго

дарованія, и Богъ знаетъ, когда въ Россіи снова народится литературный критикъ, который могъ бы сдѣлать для г. Салтыкова то, что сдѣлано было для его предшественниковъ Вѣлинскихъ, и для одного изъ его современниковъ, Островскаго, Добролюбовымъ. Другая причина, не менѣе, конечно, серьезная, это настоящее положеніе литературы. Едва ли возможна будетъ серьезная оцѣнка этого писателя, правдивое и прямое разъясненіе всѣхъ его произведеній до тѣхъ поръ, пока положеніе литературы будетъ оставаться такимъ, какимъ изображаетъ его, и уже безъ всякаго преувеличенія, г. Салтыковъ.

Теперь, когда зашла рѣчь о пересмотрѣ законовъ о печати, — хотя кому не извѣстно, какіе это были именно законы и почему они назывались законами, — сатира г. Салтыкова по поводу положенія русской литературы получаетъ особенно важное значеніе. Сомнѣнія нѣтъ, что еще и еще разъ раздадутся противъ нашей литературы всѣ тѣ обвиненія, которыя сыпались на нее въ продолженіе послѣднихъ долгихъ лѣтъ, такъ какъ немислимо, чтобы люди, которые въ теченіе всей своей служебной карьеры доказывали, что въ литературѣ кроются всѣ „корни и нити“ зла, что она должна быть „пресѣчена“ и „искоренена“, чтобы эти люди отказались отъ своего убѣжденія и вдругъ возлюбили литературу. Сатира г. Салтыкова даетъ отвѣтъ на эти обвиненія, и въ этотъ отвѣтъ пусть вдумаются тѣ, кто желаетъ добра Россіи и признанія у насъ за человѣческую мысль права выйти не искаженною съ печатнаго станка. Какъ въ зеркалѣ отражается въ сатирѣ автора „Круглаго Года“ та роль козла отпущенія, которую волею судьбы разыгрываетъ у насъ литература. Какая бы бѣда ни стряслась, всегда и во всемъ виновата литература. Всплываетъ гдѣ-нибудь наружу грубое злоупотребленіе властей, и въ печати раздается слабый голосъ — даже не порицанія, а только робкій вопросъ: хорошо ли такъ поступать? — какъ тотчасъ слышатся обвиненія: это литература, которая все раздуваетъ, и какое ей дѣло! Обнаруживается ли невѣроятное расхищеніе, вопіющее по своему цинизму, и печать обмолвится о немъ словечкомъ, какъ тотчасъ слышатся голоса: литература подрываетъ авторитетъ власти, она нападаетъ на то, что было признано за благо высшими государственными учрежденіями! Произойдетъ ли гдѣ-нибудь волненіе — и не дай Богъ, среди молодежи, — какъ всѣ Офенъки Неугодовы въ одинъ голосъ, хоромъ затанутъ:

это литература подъуськивается, литература виновна, она распушена, подтянуть ее!

Литература для наших „правящих“ классов, это — „всякій“, держащий рассуждать о неподведомственных ему вопросах. Глубокою иронією звучат слова сатирика, когда онъ говоритъ, что какая бы у насъ ни находилась комиссія, отъ нея „ста одного тома трудовъ“ не ускользнетъ и литература. Какъ суженаго конемъ не объѣдешь, такъ ни одна комиссія не объѣдетъ этого „всякаго“ — литературы. „*Всякій*“ будетъ угрожать, *всякій* будетъ обсуждать, *всякій* будетъ выкладывать, что ему Богъ на сердце положить! *Всякій*! И вотъ картонъ съ наклеенными бумажками откладывается въ сторону, и на сцену выходитъ литература. Сначала произносится слово „распушенность“, потомъ „неуваженіе авторитетовъ“, потомъ „вредное направленіе вообще“ и наконецъ... „потрясеніе основъ“.

Какъ ни давно уже у насъ сложилась фраза: „теперь, когда господствуетъ гласность“, — въ дѣйствительности такой гласности еще никогда не существовало. Гласность, касающаяся трактирныхъ скандаловъ, гласность лакейской брани, изливаемой на нечиновныхъ лицъ, — сколько угодно; но гласность серьезная, касающаяся крупныхъ общественныхъ интересовъ, дѣлъ государственныхъ, любящихъ келейность, до сихъ поръ называется „сованіемъ своего носа“ въ неотносящіяся до гражданъ дѣла, „хожденіемъ въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ“.

Быть можетъ, тѣ страницы, гдѣ сатирикъ рассуждаетъ о плачахъ „искорененія“ русской литературы, съ которыми носятся, какъ съ любимымъ дѣтищемъ, и юные еще и, убѣленные сѣдиною администраторы въ родѣ Оеденьки Неугодова, покажутся нѣкоторымъ, болѣе добродушнымъ читателямъ преувеличенными; но пусть тогда они вдумаются, почему литература, съ одной стороны, не только часто, но сплошь и рядомъ не отзывается на самые жгучіе вопросы общественной жизни, почему она молчитъ о различныхъ „иллюзіяхъ“, которыя занимаютъ всѣ умы, и почему, съ другой стороны, она такъ падка на личныя перебранки, на грозныя пасквили, на переливаніе изъ пустого въ порожнее, и тогда, быть можетъ, то, что казалось преувеличеннымъ, станетъ фотографически вѣрнымъ. Что означаетъ этотъ длинный перечень, такъ недавно только сдѣлавшійся извѣстнымъ обществу, вопросовъ первостепенной важности, которые были изъяты

изъ обращенія въ литературѣ, какъ не стремленіе „искоренить“ литературу, или по крайней мѣрѣ сдѣлать ее недостойною самаго названія литературы. Когда будущій историкъ остановится передъ литературою семидесятыхъ годовъ и, пораженный ея низкимъ уровнемъ, широкимъ разливомъ гнойныхъ нечистотъ, захочетъ произнести надъ нею рѣзкое слово осужденія, пусть онъ прочтетъ тогда сатиру г. Салтыкова, и нѣтъ сомнѣнія, что, вмѣсто обвиненія, онъ отнесется къ ней съ состраданіемъ. Увы! даже сами обскуранты будутъ признаны заслуживающими снисхожденія, такъ какъ въ концѣ концовъ эти виртуозы цинизма имѣютъ значеніе не сами по себѣ, а только благодаря тому высокому покровительству, которое они находятъ у Неугодовыхъ и „графовъ Твердооитѣ“. Не они, такъ другіе! Было бы болото, черти будутъ! Если вообще, въ болѣе или менѣе нормальное время, отъ литературы требуютъ, чтобы она держала руки по швамъ, то горе ей, бѣдной и сирой, когда подвергается „случай“. Тогда нѣтъ ей пощады, нѣтъ спасенія. На чтѣ другое, а на такіе „случаи“ у насъ всегда урожай. „Обильна, — говоритъ г. Салтыковъ — ахъ, какъ обильна сдѣлалась за послѣднее время русская жизнь этими „случаями“. И все какъ-то литературу они задѣваютъ. Идетъ себѣ литература обычнымъ скромнымъ ходомъ, убѣжденная, что для всякаго ясно, что процессъ литературнаго мышленія представляетъ нѣкоторыя особенности, отличныя отъ процесса мышленія канцелярскаго служителя, а изъ-за угла ее стережетъ „случай“... Въ обыкновенное время, всѣ изобрѣтенія, подобныя „разбойникамъ печати“, „мошенникамъ пера“ разныхъ литературныхъ „кликуншъ“ представляются сатирику совершенно безсильными потугами „заклеймить живыя силы русской литературы какимъ-нибудь хоть завѣдомо клеветническимъ, но хлесткимъ словомъ“, но совсѣмъ иначе представляются такія изобрѣтенія, когда подходит „случай“. Тогда усердные люди вытаскиваютъ изъ арсенала, гдѣ хранятся сотни обвинительныхъ актовъ противъ литературы, всякій хламъ, и все пускаютъ въ ходъ; тогда, — замѣчаетъ сатирикъ, — „приходится убѣдиться, что дѣйствительно въ печати существуютъ и разбойники, и мошенники, и клеветники, и что, стало быть, литература не совсѣмъ тотъ храмъ, при видѣ котораго бьются чистыя и честныя сердца, и безъ котораго міръ былъ бы постылъ и безславенъ“.

Какъ на бѣднаго Макара всѣ шишки валятся, такъ на литера-

туру начинается тогда валиться градъ самыхъ разнообразныхъ, но одинаково тяжкихъ обвиненій. Литература „служить проводникомъ заблужденій въ общество“, литература съ „упорствомъ ищетъ осмѣять и подорвать священнѣйшія основы нашего общества“, словомъ, не будь литературы, Россія превратилась бы въ Аркадію. Трудно живѣе схватить, чѣмъ это дѣлаетъ г. Салтыковъ, ту злобу „легіона сорванцовъ, у которыхъ на языкѣ „государство“, а въ мысляхъ „пирогъ съ казенной начинкой“, — злобу противъ литературы, въ которой они усматриваютъ опаснаго для ихъ благополучія врага.

„— Нѣтъ, если ужъ вы хотите, чтобъ я говорилъ, — „гудить“ Ѳеденька Неугодовъ, — то я буду говорить. Серьезно спрашиваю васъ: съ какого права ваша литература нападаетъ на коренныя основы нашей жизни? кто далъ ей это полномочіе? Кто разрѣшилъ ей въ такомъ видѣ представлять семью, собственность... государство?

„— Да въ какомъ же, мой другъ, въ какомъ?

„— Въ гнусномъ-сѣ. Повторяю, кто далъ ей полномочіе судить и рядить?“

Вотъ къ искорененію этого пагубнаго свойства „судить и рядить“, т.-е. того, что составляетъ самую сущность, жизнь литературы, и направлены усилія нашихъ охранителей во вкусѣ... да, впрочемъ, „что въ имени тебѣ моему“! Утопающіе хватаются и за соломинку; они тщетно надѣются, „что не будь вмѣшательства литературы, не существовало бы ни вопросовъ, ни волненій“. Горькое заблужденіе. Не литература, а сама жизнь вызываетъ вопросы и волненія, и подрываетъ не настоящія, а фальшивыя и лицемерныя основы, за которыми прячутся, какъ за крѣпкимъ щитомъ, всевозможные Неугодовы. Основы этихъ послѣднихъ ничего не имѣютъ общаго ни съ собственностью, ни съ семьей, ни съ государствомъ.

Литература, по мнѣнію Неугодовыхъ, могла бы процвѣтать, пользоваться уваженіемъ, приносить пользу, если бы она только вмѣсто того, чтобы оказывать „противодѣйствіе“, оказывала „помощь“, т.-е., по выраженію сатирика, „писала диаграммы“. Зачѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, разсуждаютъ они, этотъ унылый тонъ, этотъ подборъ „неутѣшительныхъ“ явленій; зачѣмъ, — говорятъ они, — „забивать мысль читателя все будничными да будничными представленіями, а не освѣжать ее бесѣдою о предметахъ возвышенныхъ, вызывающихъ па-
реніе; зачѣмъ пригибать человека все къ землѣ да къ землѣ“...

Литература, по мнѣнію такихъ господъ, должна была бы закрывать глаза на всѣ уродливыя проявленія безправія, на господствующую ложь, на торжествующее лицемеріе—этотъ „гной“, „язву“, „гангрену“ общества. Если она заговариваетъ о такихъ предметахъ, то они называютъ это „заговоромъ“ литературы. „Да заговоръ же и есть, — отвѣчаетъ сатирикъ. — Только не тотъ, которому въ законѣ присвоивается названіе преступленія, а тотъ, который испоконъ вѣковъ разлитъ въ воздухъ, едва ли когда-нибудь прекращался. Это заговоръ, въ которомъ принимаетъ участіе не одна литература, а все и вся. Значитъ, язвы настолько обострились, что никому не даютъ ни отдыха, ни срока; значитъ, не только писать, но и думать ни о чемъ иномъ нельзя; значитъ, доколѣ будутъ существовать язвы, доколѣ будетъ идти рѣчь объ нихъ“.

Безсмысленныя обвиненія литературы, на той, конечно, лакейской литературы, которая сдѣлала себѣ изъ „дионисамбозъ“ всему, что носитъ на себѣ печать реакціи, и изъ клеветъ на все, что стремится противодѣйствовать лжи и безправію, одно лишь выгодное и щедро оплачиваемое ремесло, — обвиненія въ „проведеніи заблужденій“ въ среду русскаго общества, „подриваніи священныхъ основъ“ и въ систематическомъ возбужденіи неудовольствія среди русскаго люда противъ вѣковыхъ устоевъ нашего общественнаго быта, несомнѣнно доказываютъ только одно—это враждебное отношеніе къ литературѣ. Такое враждебное отношеніе къ литературѣ, возлѣ которой на часахъ стоятъ неуспянные стражи, вооруженные предостереженіями, пріостановками, запрещеніями и другими не менѣе усовершенствованными орудіями для укрощенія беспокойныхъ, не можетъ не отзываться значительными неудобствами для „дѣйствующихъ“ писателей. Такія „неудобства“ болѣе, чѣмъ кто-либо другой долженъ испытывать на себѣ сатирикъ, призванный „порицать пороки“. Благодаря имъ, противъ г. Салтыкова отъ поры до времени раздаются обвиненія, которыя намъ представляются въ высшей степени неосновательными и вызываемыми исключительно или неискренностью, или легкомысліемъ обвинителей, въ томъ, что сатирикъ маскируетъ свои симпатіи и антипатіи, что онъ не высказывается достаточно ясно и скрываетъ свое „знамя“.

Въ одномъ изъ очерковъ „Круглаго Года“ г. Салтыковъ подводитъ итогъ этимъ обвиненіямъ и отвѣчаетъ на нихъ съ убійственною

для обвинителей ироніей, изъ-за которой не трудно разсмотрѣть всю горькую серьезность его отвѣта.

Прежде всего г. Салтыковъ отмѣчаетъ одну черту, съ удивительною силою вліяющую на литературу, черту, свойственную однако не однимъ писателямъ, а всему русскому обществу. Черта эта—боязнь. „Мы, русскіе,—говоритъ онъ,—какъ-то черезъ-чуръ ужъ охотно боимся и притомъ боимся всегда съ увлеченіемъ. Начинаемъ мы бояться почти съ пеленокъ; сначала боимся родителей, потомъ начальства... Я знаю, что это дурная привычка—и ничего болѣе. Но она до такой степени крѣпко засѣла въ насъ, что побѣдить ее ужасно трудно. Ужъ сколько столѣтій русское государство живетъ славною и вполне самостоятельною жизнью, а мы, граждане этого государства, все еще продолжаемъ себя вести, какъ будто надъ нами тяготѣтъ монгольское иго, или австріякъ насъ въ плѣну держитъ“... Кто не согласится, что черта эта подмѣчена удивительно удачно. Первая мысль всегда у насъ не о томъ, какъ слѣдуетъ поступить въ каждомъ данномъ случаѣ, лишь только онъ касается общественной жизни, а о томъ, какъ отнесется къ нашему поступку „начальство“. Такъ въ земствѣ, такъ въ судѣ, такъ въ литературѣ. Трудно, конечно, за такую боязнь винить тѣхъ, кто всосалъ ее съ молокомъ матери, но отрицать ее значило бы лгать. Спросите у каждаго добросовѣстнаго литератора, занимающагося изслѣдованіемъ общественной жизни, о чемъ онъ больше всего помышляетъ, когда пишетъ свою статью? О томъ ли, чтобы мысль его была по возможности ярче выражена? О, нѣтъ! онъ вамъ скажетъ, что половина умственной работы пропадаетъ на то, чтобы написать свою статью такъ, чтобы сначала пропустилъ редакторъ, если изданіе такъ-называемое безцензурное, а затѣмъ, чтобы этому редактору не досталось отъ кого слѣдуетъ, чтобы не надѣлать ему хлопотъ предложеніемъ вырѣзать статью, и это еще въ лучшемъ случаѣ, когда „начальство“ оказывается милостивымъ. Какъ же тутъ быть? Вотъ и придумывается „езоповскій языкъ“, „рабья манера писать“, которая, какъ выражается сатирикъ, „при соответственномъ положеніи общества вполне естественна“. Сатиру г. Салтыкова, по его собственнымъ словамъ, обвиняютъ въ „двоедушіи“, въ „обманѣ“, но это двоедушіе, котораго въ дѣйствительности не существуетъ, есть только „полезная сдержанность“, которую авторъ „Круглаго Года“ приносить „въ жертву на алтарь отечества“. Тѣ,

которые его обвиняютъ, желали бы, разумеется, чтобы г. Салтыковъ отбросилъ всякую сдержанность, чтобы онъ заговорилъ смѣлымъ языкомъ пророка, бичующаго пороки и обрекающаго общество на конечную гибель, но они желали бы этого вовсе не потому, чтобы сатира г. Салтыкова была неясна, чтобы она мѣтко не попадала каждый разъ въ намѣченную цѣль, а исключительно въ надеждѣ, что, благодаря недостатку сдержанности, для этого удивительнаго писателя „произойдетъ молчаніе“. Сатира его раздражаетъ, жжетъ, бьетъ не въ бровь, а прямо въ глазъ, а писатель какъ на зло умѣетъ обходить подводные камни и не даетъ повода „сократить“ его на законномъ основаніи. Конечно, можно бы и безъ повода, но все-таки какъ-то неудобно, все-таки прорублено хотя и небольшое, но тѣмъ не менѣе окно въ Европу. Нѣтъ, г. Салтыковъ прекрасно дѣлаетъ, что не превращается, какъ того хотѣли бы его своеобразные доброжелатели, въ пророка, извергающаго громы: во-первыхъ, потому, что такая роль смѣшна, а во-вторыхъ и потому, что такая роль можетъ безнаказанно исполняться однимъ г. Катковымъ и его сподвижниками.

Другое преступленіе, въ которомъ кается сатирикъ, это отсутствіе у него „знамени“, на которомъ можно было бы прочесть его заветныя думы. Но кто обвиняетъ его въ немъ? Лишь тѣ, которые держатъ въ своихъ рукахъ знамя, на которомъ огромными буквами написаны два слова: „распивоchno и на выносъ“. Существуютъ, конечно, и другія знамена, но выставлять ихъ до поры до времени не представляется удобнымъ, если гражданинъ желаетъ сохранить свою осѣдлость. Сатирикъ не прочь и отъ того знамени, на которомъ написано: семья, собственность и государство; но только онъ не признаетъ той семьи, представителями которой являются такія „куколки“, какъ изображаемая имъ Nathalie Неугодова или противоположная ей Арина Петровна Головлева; онъ ненавидитъ тотъ принципъ собственности, который олицетворяется въ Деруновыхъ и Колупаевыхъ, и скептически относится къ такому государству, столпами котораго являются Оденъки Неугодовы, Удавы, Дыбы, графы Твердоонто, „эти поборники государственнаго союза“, которые видятъ въ государствѣ только пирогъ, „къ которому ловкіе люди могутъ во всякое время подходить и закусывать“.

Открыто, безъ всякихъ метафоръ, безъ всякаго риска могутъ, по словамъ сатирика, говорить только тѣ „гады“, которые въ несмѣт-

номъ количествѣ заполни въ литературу и „кружатся, хохочутъ, ликуютъ, брызжутъ слюнями“. Ихъ пѣсня знакомая: „земство от-
мѣнить, судъ присяжныхъ уничтожить, цензуру возстановить, крѣ-
постное право возродить“.

Таковы общія черты, которыми рисуетъ авторъ „Круглаго Года“
положеніе русской литературы и литераторовъ не изъ породы „га-
довъ“. Но казистое, разумѣется, положеніе, но оно не можетъ измѣ-
ниться къ лучшему до тѣхъ поръ, пока не измѣнится и самое поло-
женіе общества, судьбу котораго всегда дѣлитъ литература.

О положеніи общества можно говорить съ различныхъ точекъ
зрѣнія. Можно обсуждать его съ политической точки зрѣнія, т.-е.
подвергнуть разсмотрѣнію вопросъ, какими правами оно пользуется,
какими нѣтъ, участвуетъ ли оно въ управленіи общественными дѣ-
лами, или освобождено отъ этой тяжелой обязанности, имѣетъ ли
оно голосъ въ рѣшеніи жизненныхъ для него вопросовъ, или разъ на-
всегда оно отказалось отъ своего голоса, точно ли опредѣлены его
права и обязанности, или они зависятъ отъ „усмотрѣнія“, и т. д., и
т. д. Можно разсматривать положеніе общества съ экономической
точки зрѣнія, съ юридической, заняться вопросомъ о степени его не-
вѣжества или образованности, словомъ — тема самая богатая, просторъ
для анализа и наблюденія громаднѣйшій. Г. Салтыковъ, зная хорошо
предѣлы русской литературы, сторонится отъ изображенія политиче-
скаго положенія общества, обходитъ и экономическое, и юридическое
и сосредоточиваетъ свою сатиру на нравственномъ состояніи русскаго
общества. Правда, впрочемъ, и то, что нравственное состояніе и есть
тотъ итогъ, который подводится послѣ длиннаго сложенія; это общій
выводъ изъ всѣхъ данныхъ, которыя представляются для опредѣ-
ленія общественнаго положенія.

Такъ какъ мы говоримъ теперь только по поводу „Круглаго
Года“, то мы и ограничимся только однимъ небольшимъ очеркомъ,
посвященнымъ этому вопросу въ разбираемой книгѣ. Очеркъ этотъ
носитъ названіе „Вечерокъ“. Само собою разумѣется, что изобра-
женіе нравственнаго положенія русскаго общества въ произведеніяхъ
г. Салтыкова, въ цѣлой его сатирѣ, занимаетъ весьма большое мѣсто,
и если бы мы захотѣли пользоваться всѣми сочиненіями этого писа-
теля, то получилась бы крупная и яркая картина. Быть можетъ, мы
и постараемся это сдѣлать когда-нибудь, но теперь наша задача

гораздо уже и мы остановимся только на одной или двух чертахъ общественнаго настроенія, отмѣченныхъ нашимъ сатирикомъ.

Какъ самую характерною чертою русской литературы является боязнь ея говорить смѣлымъ, достойнымъ языкомъ о язвахъ, подтачивающихъ общественный организмъ, такъ та же боязнь служить и отличительною чертою нравственнаго состоянія русскаго общества. Мы идемъ и озираемся, точно спрашиваемъ себя: да имѣемъ ли мы право идти по этой дорожкѣ? мы говоримъ шопотомъ, опасаясь, что насъ подслушаютъ самыя стѣны; всякое наше дѣйствіе, всякій поступокъ отличается нерѣшительностью, внутреннимъ противорѣчіемъ, точно мы опасаемся каждую минуту услышать окрикъ: ты что тутъ дѣлаешь? Мы все норовимъ сдѣлать исподтишка, по секрету, и г. Салтыковъ какъ нельзя болѣе правъ, говоря, что нѣтъ другого народа, среди котораго было бы такъ распространено сообщать „по секрету“, какъ у насъ, русскихъ. Одинъ другому не можетъ сообщить безъ „секрета“, что завтра собирается сходить въ оперу и послушать—ну, хоть бы „Вильгельма Телля“. А ну какъ начальство заподозритъ, что ты идешь въ оперу не для оперы, а только чтобы усладить свой слухъ звукомъ: „свобода“! Какъ же тутъ обойтись безъ секрета. Воля наша ослабла, энергія улетучилась, мы идемъ не твердою поступью, а бродимъ точно впотьмахъ, какъ слѣпые, опасаясь постоянно на что-либо наткнуться и расшибить себѣ лобъ. Только въ одномъ есть смѣлость, рѣшительность—это въ стремленіи отождествить казенное имущество съ своимъ собственнымъ и безъ труда, при помощи одной ловкости или обмана, поживиться на счетъ ближняго.

Мы до того запуганы, до того забыли о чувствѣ собственнаго достоинства, что готовы унижаться, и увѣ! вовсе не по приказанію „начальства“, а исключительно по собственному вдохновенію, по единой привычкѣ къ униженію. „Начальство“ никогда не должно опасаться, что мы злоупотребимъ предоставленными намъ правами; напротивъ, мы не посмѣемъ даже воспользоваться ими во всемъ ихъ объемѣ. И сколько примѣровъ изъ хроники современной общественности можно привести тому, какъ люди начинали ползать, пресмыкаться передъ властью, и притомъ вовсе не по приказанію, а вполне добровольно, въ силу унаслѣдованнаго благонравія.

Причина такого угнетеннаго состоянія лежитъ въ привитой къ намъ боязни, никогда не покидающей насъ не только во всѣхъ на-

шихъ дѣйствіяхъ, но даже во всѣхъ помыслахъ нашихъ. Послед-
ствиемъ такой притупляющей боязни является въ концѣ концовъ тя-
желая апатія, точно въ цѣпи заковывающая общество. Если хоро-
шенько покопаться, то на днѣ этой апатіи, быть можетъ, и можно
отыскать застывшую злобу, но она такъ глубоко, глубоко лежитъ,
что на поверхности нѣтъ и слѣда самой легкой зыби. Если и вы-
даются минуты, когда общество точно встревожится, то онѣ во вся-
комъ случаѣ мимолетны и не оставляютъ по себѣ и слѣда. Вспыхнетъ
на нихъ огонекъ, но прежде чѣмъ успѣлъ онъ освѣтить вокругъ, снова
зракъ—огонекъ потухъ.

Вот это-то нравственное состояние русскаго общества и освѣщаетъ своей сатирой г. Салтыковъ. Сама болѣзнь какая-то неопредѣленная, — „боялся мы или не боялся?“ сатирикъ не знаетъ, какой дать отвѣтъ. „Очевидно, — говоритъ онъ, — что въ душевномъ недокогательствѣ, которое угнетало насъ, сама по себѣ заключалась значительная доля неясности, мѣшавшей назвать его по имени. Прямой острой болѣзни не было, но было безпокойство, была тупая боль. Одна изъ тѣхъ болей, при которыхъ, какъ говорится, не знаешь, гдѣ кѣста найти, которыя зудятъ и сверлятъ весь организмъ, не давая свободной минуты, чтобы оглядѣться и обдумать выходъ“... При такомъ состояніи люди, разумѣется, путнаго ничего дѣлать не могутъ; всякая дѣятельность отравляется горькимъ сознаніемъ „бессилія, которое на все существованіе, на всю дѣятельность кладетъ унымый, почти поистинный отпечатокъ“. Когда съ одной стороны сосетъ болѣзнь, съ другой — шутитъ сознаніе своего бессилія, тогда люди толкомъ и говорить не могутъ, а не то чтобы дѣйствовать. Вотъ почему, когда люди сходятся, то въ большинствѣ случаевъ бесѣды ихъ, говоря словами автора „Вруглаго Года“, „имѣютъ характеръ угнетенный, отрывочный, какъ это всегда бываетъ съ людьми, которые совѣтъ о другомъ думать и только ради приличія языкѣмъ шевелить. Одна мысль явственно давитъ всѣхъ: ужели дѣйствительность, среди которой мы живемъ, есть дѣйствительность конкретная, а не кошмаръ?“...

Многие ли из читателей, спрашивается, не проводили таких „вечеров“, какой описывает г. Салтыков. Соберутся несколько человек и начнут вести беседу. Долго она не клеится, о всех драматах жизни двадцать раз переговорено, все то же, хочется чего-нибудь поживее; ~~и тогда~~ только вопрос касается какой-нибудь

„злости дня“, какого-нибудь жгучаго предмета, такъ тотчасъ раздается чей-нибудь голосъ: „ахъ, господа, и что вамъ за охота объ этомъ говорить! развѣ вы не знаете“... Затѣмъ нѣсколько минутъ молчанія, снова разговоръ о дрязгахъ, чесаніе языка насчетъ ближняго, и вдругъ опять у кого-нибудь прорвется словечко о жгучемъ предметѣ—ну, смотрите, какъ бы чего-нибудь не вышло! еще разъ раздается предостереженіе, обливающее собесѣдниковъ ушатою холодной воды. Но храбрость возвращается, предостереженіе не дѣйствуетъ, „опасный“ разговоръ завязывается, и вдругъ таинственный голосъ звучитъ въ ушахъ cadaго изъ собесѣдниковъ: „Philippe ici!“ Никакого „Филиппа“ и нѣтъ, но мысль о немъ такъ вѣдлась въ насъ, что она парализуетъ разсудокъ. Но пусть двери затворятся наглухо, тайна „опаснаго“ разговора обезпечена, можно бесѣдовать въ волю. Кто-нибудь съ пафосомъ начинаетъ говорить: „господа! по нынѣшнему времени, больше, нежели когда-либо, требуется не уныніе, а дерзновеніе!“ Но лишь только такіа слова произнесены, какъ всѣ собесѣдники умолкаютъ, и каждый если не говоритъ вслухъ, то думаетъ: „такъ не угодно ли за собственный счетъ и помолодечествовать“. Разговоръ послѣ этого окончательно падаетъ, и всѣ рады, когда наконецъ произнесено будетъ рѣшительное слово: господа, не будемъ золотого времени терять, теперь время „годить“. Зеленые столы раскрыты, мужчины играютъ въ винтъ или вистъ; дамы, если не играютъ, бесѣдуютъ о будущемъ благотворительномъ вечерѣ, на которомъ такая-то будетъ въ атласномъ, а такая-то въ бархатномъ платьѣ. Затѣмъ—ужинъ, и „вечерокъ“ благополучно оканчивается. На другой день головная боль и снова одолеваетъ угнетенное состояніе.

Да и можетъ ли общество находится въ иномъ настроеніи, можетъ ли оно гордо держать свою голову и играть самостоятельную роль, когда вершителями его судебъ являются молодые и старые Оеденьки Неугодовы.

Оеденька Неугодовъ въ сатирѣ г. Салтыкова является еще пока въ образѣ „провиденціального мальчика“, но обладающаго уже всѣми свойствами, чтобы превратиться въ зрѣлаго, солиднаго по своей вѣщности, хотя и попрежнему легкомысленнаго, господина Неугодова. Онъ, едва выйдя изъ курточки, подобно своимъ старшимъ собратьямъ, грозитъ все и всѣхъ „согнуть въ бараній рогъ“, онъ уже возмущается преступною „распущенностью“ и доказываетъ чужими сло-

Вамъ необходимость „подтянуть“. Онъ уже теперь облизываетъ пальчики при видѣ казеннаго пирога, изъ котораго стремится „урвать“ лакомый кусочекъ, да и какъ ему къ этому не стремиться, когда Ворожбецкій-Пѣтухъ, одного съ нимъ выпуска, „ужъ успѣлъ ухватить полторы тысячи черноземцу“. Словомъ, какъ говоритъ сатирикъ, „изъ молодыхъ, да ранній“.

Для такихъ людей слово „отечество“ не существуетъ. Они громко смѣются надъ тѣми, которые говорятъ, что „отечеству надлежитъ служить, а не жрать его“; они остаются глухи къ убѣжденію того государственнаго человѣка, который, по словамъ г. Салтыкова, всегда такъ напутствовалъ отъѣзжающихъ чиновниковъ: „удивляюсь я, говорилъ онъ, какъ вы, русскіе, такъ мало любите свое отечество! какъ только получаете возможность, такъ сейчасъ же начинаете грабить“. Но имъ этого мало; чувствуя себя всесильными, они желаютъ, чтобы всѣ трепетали передъ ними, они потрясаютъ указательнымъ перстомъ, какъ выражается сатирикъ, и громко кричатъ, обращаясь къ обществу: вотъ я тебя! Для чего же, спрашивается, они грозятъ, страшатъ, запугиваютъ, „дразнить“? Да для того, чтобы не ослабѣвало уваженіе къ „авторитету“; они полагаютъ, что угроза и наглость могутъ съ избыткомъ замѣнить и умъ, и честность, и законное требованіе, чтобы съ людьми обращались и справедливо, и человѣчно. „Но понимаете ли вы сами, — спрашиваетъ сатирикъ, — всю непосильность взятой вами на себя задачи? Во-первыхъ, вы, очевидно, смѣшиваете уваженіе къ авторитету съ испугомъ, потому что хотите утверждать первое механически, а механически утверждается только испугъ. Во-вторыхъ, какъ ни законно желаніе, чтобы авторитетъ былъ окруженъ уваженіемъ, но насколько же можетъ содѣйствовать этому дурная привычка дразниться... Дразнясь, вы больше оскорбляете, пробуждаете въ сердцахъ несравненно болѣшую массу горечи, нежели даже допуская прямыя жестокости“. Но ко всякимъ обращающимся къ нимъ совѣтамъ они относятся презрительно, они не желаютъ ничего ни видѣть, ни слышать, ни понимать; они видятъ только появленіе нѣкоторыхъ злобѣщихъ признаковъ, указывающихъ на то, что торжество ихъ не можетъ быть вѣчно, они съ ужасомъ смотрятъ на какихъ-то чуждыхъ и ненавидимыхъ имъ людей, которые говорятъ: пощадите, такъ вѣдь нельзя! и они еще больше закусываютъ удила и пуще прежняго грозятъ „подтянуть, согнуть въ бараній рогъ“.

Пусть тѣ, которые утверждаютъ, что г. Салтыковъ умѣетъ только смѣяться надъ всѣмъ и надъ всѣми, и что сатира его не согрѣта ни горячею любовью, ни страстною ненавистью, пусть они вдумаются хотя бы въ эту короткую выдержку:

„— Пойми меня: можно пройти по странѣ съ огнемъ и мечемъ, можно разорить ее, испепелить, изсушить... Это будетъ нелѣпо, жестоко, по-татарски; но ежели изъ сего должно произойти возрожденіе—дѣлать нечего, пусть такъ. Но... „подтянуть“! Подтянуть, согнуть въ бараній рогъ—право тутъ даже идеи никакой нѣтъ! Это только уродливые образы, которыхъ въ натурѣ невозможно даже воспроизвести. Ну, представь себѣ Россію взнузданною или въ видѣ бараньяго рога... вѣдь нельзя себѣ это представить? не правда ли? нельзя?

„— Да, но вѣдь вы понимаете, что я говорю au figuré.

„— Понимаю. Но есть предметы, о которыхъ au figuré просто непозволительно говорить. Бываютъ случаи, когда инословіе становится поперекъ горла, когда отъ него гноемъ пахнетъ. Вспомни, голубчикъ, вѣдь Россія—твое отечество!“

Чѣмъ старше становятся Оеденьки Неугодовы, тѣмъ ихъ принципы, которые сводятся къ двумъ словамъ: искоренить и истребить, болѣе крѣпнутъ; получая значеніе, они изъ области слова переходятъ въ область дѣла. Не все, разумѣется, удалось имъ „искоренить и истребить“, но, во всякомъ случаѣ, они могутъ гордиться—имъ все-таки удалось причинить много зла своему „отечеству“. Искоренить не искоренили, а урѣзали все-таки достаточно. Они торжествовали, когда урѣзывалось земство и подчинялось административной власти; они ликовали, когда къ суду относились недовѣрчиво и урѣзывалась сфера его юрисдикціи; они праздновали свою побѣду, когда литература и общество посажены были на скамью подсудимыхъ и урѣзывалась даже та призрачная свобода печати, которая должна была играть роль фонтанели въ золотушномъ организмѣ. Они желали до конца загнать внутрь болѣзнь, думая только о своихъ настоящихъ выгодахъ и нисколько не помышляя о будущемъ. Но не все же будетъ праздникъ на улицѣ Неугодовыхъ, „не вѣчно,—говоря словами сатирика,—будутъ проповѣдывать, что крестьянская реформа есть источникъ всѣхъ золъ, что судъ присяжныхъ—злонамѣренная комедія, что свободная печать—вертепъ мошенниковъ пера, что человѣчность равна сочувствію“... Не вѣчно также, можно прибавить, наше обще-

ство будетъ играть роль спеленатаго младенца. Когда-нибудь да сдѣлается же оно совершеннолѣтнимъ со всѣми атрибутами такого совершеннолѣтія. Но когда наступитъ эта желанная пора — вотъ тревожный вопросъ.

Когда наступитъ? Все то безправіе русской жизни, которое съ силою истинно великаго таланта воспроизводитъ въ своей сатирѣ г. Салтыковъ, та придавленная, не лгущая и не пародирующая своимъ цинизмомъ и „дионрамбами“ литература, то жалкое положеніе общества, живущее со дня на день, въ постоянной боязни, унижительномъ страхѣ, не знающее ни личныхъ, ни общественныхъ гарантій, та „язва“, тотъ „гной“ душащаго бюрократизма, „грозящаго“, „дразнящаго“, „грабящаго“ и наслаждающагося „подтягиваніемъ“ и „взнуздываніемъ“ Россіи — все это представляется какимъ-то кошмаромъ, уродливыми призраками, которые могутъ исчезнуть только съ появленіемъ „солнечнаго луча“. Но увы! какъ не сказать вѣсть съ сатирикомъ: „я не знаю, когда этотъ солнечный лучъ появится“.

Мы увѣрены только въ одномъ, что когда наступитъ этотъ радостный день, когда „солнечный лучъ“ освѣтитъ и согрѣетъ темную и холодную общественную жизнь русскаго народа, тогда по всей справедливости будетъ оцѣнено громадное значеніе сатиры г. Салтыкова, и имя его станетъ однимъ изъ самыхъ дорогихъ и славныхъ именъ въ русской литературѣ *).

1881 г.

*) По поводу этой статьи, появившейся въ „Вѣстникѣ Европы“ 1 января 1881, М. Е. Салтыковъ писалъ автору на слѣдующій же день:

„Душевно благодаренъ Вамъ, многоуважаемый Евгений Исаковичъ, за благосклонное отношеніе къ моимъ трудамъ. Но мнѣ кажется, что Вы не совсѣмъ удачно выбрали „Кр. годъ“, и потому вопросъ объ „идеалахъ“ не выяснился. Мнѣ кажется, что писатель, имѣющій въ виду не одинъ интересъ минуты, не обязывается выставлять иныхъ идеаловъ, кромѣ тѣхъ, которые изстари волнуютъ человѣчество. А именно: свобода, равноправность и справедливость. Что же касается до практическихъ идеаловъ, то они такъ разнообразны, начиная съ конституціонализма и кончая коммунизмомъ, что останавливаться на этихъ стадіяхъ — значитъ, добровольно стѣснять себя. Я положительно убѣжденъ, что большее или меньшее совершенство этихъ идеаловъ зависитъ отъ большаго или меньшаго усвоенія человекомъ тайны природы и происходящаго отсюда успѣха прикладныхъ наукъ. Вѣдь семья, собственность, государство — тоже были въ свое время идеалами, однакожъ они видимо исчерпываются. Устраиваться въ этихъ подробностяхъ,

отстаивать одни и разрушать другія—дѣло публицистовъ. Читая романъ Чернышевскаго „Что дѣлать?“, я пришелъ къ заключенію, что ошибка его заключалась именно въ томъ, что онъ черезчуръ задался практическими идеалами. Кто знаетъ, будетъ ли оно такъ! И можно ли назвать указываемыя въ романѣ формы жизни окончательными? Вѣдь и Фуръе былъ великій мыслитель, а вся прикладная часть его теоріи оказывается болѣе или менѣе несостоятельною, и остаются только неумирающія общія положенія. Это дало мнѣ поводъ задаться болѣе скромною миссіей, а именно спасти идеалъ свободнаго изслѣдованія, какъ неотъемлемаго права всякаго человѣка, и обратиться къ тѣмъ современнымъ „основамъ“, во имя которыхъ эта свобода изслѣдованія попирается. По мѣрѣ силъ моихъ и въ размѣрахъ цензурнаго произвола, это и сдѣлано мною въ „Благонам. Рѣчахъ“. Я обратился къ семьѣ, къ собственности, къ государству, и далъ понять, что въ наличности ничего этого уже нѣтъ. Что, стало быть, принципы, во имя которыхъ стѣсняется свобода, уже не суть принципы даже для тѣхъ, которые ими пользуются.

„На принципъ семейственности написаны мною „Головлевы“. На принципъ государственности—„Круглый годъ“.

„Во всякомъ случаѣ, вновь благодарю Васъ за сочувственное отношеніе и остаюсь искренно Вамъ преданный

„М. Салтыковъ.“

„2 января.“



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ ГЕРМАНИИ

ЛУДВИГЪ ВЁРНЕ.

Статья первая.

Издание въ свѣтъ „Сочиненій Лудвига Вёрне“ какъ издатель, такъ и переводчикъ оказали истинную услугу русской читающей публикѣ *). Отсутствіе сочиненій Вёрне въ нашей переводной литературѣ составляло значительный пробѣлъ, пробѣлъ тѣмъ болѣе чувствительный, что знакомство съ этимъ писателемъ можетъ быть какъ нельзя болѣе поучительно для нашего общества. Вёрне принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, которыхъ мы не прочь назвать „элементарными“ писателями, т.-е. такими, которые, не задаваясь какимъ-нибудь спеціальнымъ вопросомъ, научнымъ, литературнымъ или политическимъ, посвящаютъ свою дѣятельность разъясненію основныхъ понятій общественной жизни народа. Тамъ, гдѣ эти основныя понятія давно уже вошли въ сознаніе людей, въ тѣхъ странахъ, гдѣ эти понятія облеклись уже въ живыя формы, сдѣлались неотъемлемнымъ достояніемъ той или другой націи, тамъ, конечно, сочиненія Вёрне имѣютъ только историческій интересъ, не говоря, конечно, объ интересѣ, возбуждаемомъ остроуміемъ, ироніею, злостью, силой языка писателя. У насъ же сочиненія Вёрне имѣютъ не-

*) *Сочиненія Лудвига Вёрне въ переводѣ Петра Вейнберга. Спб. 1870 г. Въ 2-хъ томахъ.*

сравненно болѣе важное значеніе по той простой причинѣ, что основныя понятія правильной общественной жизни находятся въ младенческомъ состояніи; идеи и начала, проповѣдуемыя Бёрне, давнымъ давно перешедшія въ дѣйствительность на Западѣ, составляютъ у насъ еще въ большей части случаевъ мечту, для осуществленія которой мы не имѣемъ ни достаточно силы, ни достаточно нравственнаго развитія. Однимъ словомъ, то, что болѣе зрѣлыя общества найдутъ или находятъ въ Бёрне устарѣлымъ; то, что для нихъ давно перестало быть вопросами дня; то, что для нихъ стало уже прошедшимъ, то для насъ представляется еще будущимъ. Для нашего общества Бёрне не только не устарѣлъ, но мы не имѣемъ права назвать его даже современнымъ писателемъ, потому что идеи и тѣ условія жизни, которыя защищаетъ Бёрне, для насъ представляются въ такой же дали, какъ обѣтованная земля представлялась взорамъ стараго Моисея. Что воззрѣнія Бёрне на общественные вопросы не только не устарѣли для насъ, но, напротивъ, стоятъ впереди тѣхъ воззрѣній, которыми довольствуется русское общество, въ этомъ можетъ легко убѣдиться всякій, кто только возьметъ въ руки два тома изданныхъ сочиненій Бёрне. Необыкновенное количество точекъ, указывающихъ на пропуски, на каждой страницѣ, какъ бы твердятъ вамъ по двадцати разъ: виноградъ зеленъ! этого вамъ нельзя, это запрещенный плодъ! Запрещенный плодъ сладокъ, и мы, открывъ нѣмецкое изданіе Бёрне въ двѣнадцать томахъ, вкусили его, и нашли, что многое изъ того, что показалось переводчику „зеленымъ виноградомъ“, оказалось зрѣлымъ плодомъ, который онъ могъ предоставить намъ вкусить безъ всякихъ опасеній. Излишество пропусковъ въ русскомъ изданіи избранныхъ сочиненій Бёрне есть едва ли не единственный недостатокъ, на который мы можемъ указать; впрочемъ и за него мы не станемъ дѣлать упрековъ издателю, потому что хорошо знаемъ русскую пословицу: у страха глаза велики! Пословица эта должна быть чисто русскаго происхожденія, потому что нигдѣ она не имѣетъ для себя такой законной, исторической почвы, какъ у насъ. Тѣмъ болѣе не станемъ дѣлать упрековъ издателю за кастрированіе Бёрне, что давно уже приучились довольствоваться малымъ, постоянно твердя себѣ: лучше мало, чѣмъ ничего.

Какъ ни неполно русское изданіе сочиненій Бёрне, тѣмъ не

менѣе оно достаточно ярко характеризуетъ этого писателя, чтобы понять весь его смыслъ, все его значеніе. Значеніе Бёрне въ Германіи было чрезвычайно велико, и мы при разборѣ его сочиненій увидимъ, съ какою необыкновенною энергіею, силою, настойчивостію будилъ онъ уснувшее нѣмецкое общество. Своимъ горячимъ словомъ точно изъ тысячи трубъ трубилъ онъ свободу и независимость народа; своею ѣдкою сатирой уничтожалъ онъ шаловливый произволъ; своею горькою ироніею душилъ онъ лавейскія наклонности деморализованнаго общества Германіи. Онъ обращался къ своей странѣ съ пламенною рѣчью, въ которой страстная любовь перемѣшивалась съ страстною ненавистью, и говорилъ своему народу: ты не народъ, а сборище недостойныхъ и жалкихъ рабовъ; у тебя нѣтъ ни свободы слова, ни даже свободы совѣсти; у тебя нѣтъ справедливаго суда, суда присяжныхъ, который распространялся бы безъ исключенія на всѣ дѣла, частныя или политическія; у тебя нѣтъ народнаго представительства, у тебя нѣтъ, однимъ словомъ, всего того, что должно быть у цивилизованнаго государства. Бёрне стремился со всѣмъ пыломъ своей огненной натуры къ единству Германіи, мечтая, что единство его родины неразрывно связано съ ея свободою—жалкая иллюзія!—и, конечно, въ томъ громадномъ шагѣ впередъ, который сдѣланъ на этомъ пути нѣмцами, Бёрне принадлежитъ одно изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ.

Бёрне является однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ политическихъ писателей нашего вѣка, и никто въ нѣмецкой литературѣ не можетъ оспаривать у него пальму первенства въ этомъ отношеніи. Распространеніе здравыхъ политическихъ понятій и караніе злыхъ и отжившихъ воззрѣній—такова была задача всей его жизни, которую онъ выполнилъ съ такимъ несравненнымъ талантомъ. Съ самыхъ юныхъ лѣтъ онъ задался мыслью служить обществу и преслѣдовалъ ее до самой смерти, и немного можно представить при-
мѣровъ, гдѣ бы это служеніе обществу было такъ искренно, такъ чисто, гдѣ бы такъ мало было въ немъ примѣси личнаго элемента. Никто съ большимъ правомъ, какъ Бёрне, не могъ избрать себѣ девизомъ тѣ слова, которыя онъ выставилъ эпитафіею къ одной изъ своихъ статей: „j'aime mieux ma famille que moi, ma patrie que ma famille, et l'univers que ma patrie“.

I.

Если безкорыстное служеніе обществу, своей родинѣ, всему человечеству, всегда должно вызывать удивленіе и безграничное уваженіе, то тѣмъ болѣе въ такія эпохи, когда служеніе обществу вызываетъ въ окружающей средѣ презрительную улыбку, когда каждый индивидуумъ заботится только о собственномъ благѣ. Это самыя тяжелыя эпохи, какія только случаются въ исторіи народа, потому что онѣ свидѣтельствуютъ о глубокомъ нравственномъ паденіи общества. Въ такую именно эпоху и появился Бёрне въ Германіи: политическая жизнь была раздавлена; на всѣхъ пунктахъ торжествовала реакція; болѣе чѣмъ тридцать маленькихъ деспотовъ ликовали свою побѣду надъ „глупымъ“ народомъ. Война за освобожденіе послужила только ко благу абсолютизма; сверженіе Наполеона не было торжествомъ для возставшаго для защиты своей земли народа; пораженіе его было вмѣстѣ и пораженіемъ только-что показавшейся на горизонтѣ свободы. А какія надежды возлагались на эту войну за освобожденіе, какъ коварны оказались большіе и маленькіе правители Германіи, и какимъ довѣрчивымъ, или, вѣрнѣе, наивно-глупымъ представляется нѣмецкій народъ! Картина въ самомъ дѣлѣ поразительная. Въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ народъ лишенъ всякаго голоса, за нимъ не признаютъ никакія права, народъ принадлежитъ верховнымъ представителямъ и дворянской кастѣ, которая горда, надменна и полна презрѣнія ко всему, что не имѣетъ частички „фонъ“. Рабство и сословныя предразсудки—вотъ самыя полныя выраженія политической жизни Германіи до тѣхъ поръ, пока сюда не долетѣло звучное эхо первыхъ громовыхъ раскатовъ французской революціи. Правительства и дворянство съ трепетомъ и негодованіемъ смотрятъ на первые удары, направленные противъ средневѣковаго строя жизни, и начинаютъ понимать, что французское движеніе неминуемо должно сдѣлаться обще-европейскимъ. Средневѣковая Германія понимала необходимость потушить пожаръ, вспыхнувшій во Франціи, прежде чѣмъ огненная головня—декларация правъ человека—не заброшена будетъ на нѣмецкую почву. Нѣмецкая дворянская каста повела народъ, какъ стадо барановъ, на уничтоженіе революціонной гидры, которая должна была барановъ превратить въ людей. Австрія, а вслѣдъ

затѣмъ и Пруссія и остальные нѣмецкія государства были разбиты, чуть не уничтожены французскими войсками. Штейнъ, этотъ замѣчательный государственный человѣкъ Пруссіи, уже въ 1796 году сказалъ, что „деспотическія правительства уничтожаютъ характеръ народа, отдавая его отъ общественныхъ дѣлъ и поручая управленіе его цѣлому войску чиновниковъ-интригановъ“. Деспотическіе нѣмецкіе государи безпрекословно повиновались Наполеону, лишь бы только онъ не лишалъ ихъ права произвольно властвовать надъ своими подданными. Въ Парижѣ былъ изготовленъ актъ Рейнскаго Союза, который былъ жестокииъ ударомъ для Пруссіи, но напрасно правительство надѣялось, что новая война избавитъ Германію отъ владычества французовъ. Результатомъ войны 1806 года было полное уничтоженіе Пруссіи, и самъ Наполеонъ, удивленный быстротою побѣды, выражался о пруссакахъ, что они еще ничтожнѣе австрійцевъ. Насколько ничтожна сдѣлалась Германія, не отступавшая отъ средневѣковыхъ понятій, можно заключить изъ словъ Наполеона, сказанныхъ прусскому посланнику Гольцу послѣ тильзитскаго мира: „Я рѣшился—такъ выражался этотъ пагубный для исторіи человѣчества геній—назначить Эльбу границею для короля; переговоры вести не нужно, потому что я переговорилъ уже обо всемъ съ императоромъ Александромъ, дружбою котораго я дорожу; король обязанъ своимъ спасеніемъ рыцарской привязанности этого монарха: безъ того мой братъ Іеронимъ сдѣлался бы королемъ прусскимъ, а теперешняя династія была бы низвержена. При такихъ обстоятельствахъ надобно считать милостью, если я что-нибудь предоставляю королю“. Но какъ ни пагубны были для Германіи завоеванія французовъ, вторженіе ихъ имѣло и выгодную сторону—идеи французской революціи были брошены въ почву, и на первый разъ какъ бы пробудили самую націю. Сами правительства, казалось, убѣдились, что борьба сдѣлается возможною только тогда, когда у французовъ будетъ существовано ихъ нравственное орудіе—демократическій духъ, возбужденный концомъ XVIII-го столѣтія. Нѣмецкіе правители, высѣченные Наполеономъ, воспламенились наружною любовью къ свободѣ, равенству и братству, рѣшились откинуть узкій аристократизмъ, дворянство отказывалось отъ всякихъ сословныхъ предразсудковъ, всѣ стали восхвалять благородство и патріотизмъ нѣмецкаго народа. На эту удочку патріотизма и либерализма поддался, разумѣется, наивный

народъ, и въ награду за свое добродушіе получилъ въ концѣ концовъ такое „отеческое“ правленіе, которое было несравненно наглѣе французскаго владычества. Германію покрылъ знаменитый союзъ, известный подъ именемъ „тугендбунда“, который щедрою рукою разсепалъ нѣмецкому народу благія обѣщанія. Народъ возгорѣлъ жаждою къ мщенію и надеждами послѣ побѣды надъ французами сдѣлаться свободнымъ народомъ.

Не всѣ, разумѣется, думали только о томъ, какъ бы обмануть народъ; нѣкоторые изъ личностей, вставшихъ во главѣ управленія, дѣйствительно были воодушевлены, если не любовью къ народу, то сознаніемъ, что только свобода и новый порядокъ, основанный на болѣе справедливыхъ демократическихъ началахъ, можетъ спасти Германію отъ вѣрной гибели и повести для освобожденія страны не тупое стадо, а сознательную народную силу. Такія личности стали во главѣ прусскаго правительства, и король, душою и тѣломъ преданный абсолютизму, долженъ былъ съ покорностью смотрѣть, какъ, съ одной стороны, Шарнгорстъ совершалъ преобразованія въ военномъ устройствѣ, вводилъ обязательную для всѣхъ гражданъ военную службу, уничтожалъ привилегію дворянъ занимать высшія государственныя должности, а съ другой, баронъ Штейнъ, который, не взирая на крики бюрократіи и юнкерской партіи, производилъ одну реформу за другою, которыя, всѣ взятыя вмѣстѣ, должны были вести къ одному—къ устройству дѣйствительнаго народнаго представительства въ Германіи. Весь этотъ либерализмъ крайне не нравился Наполеону, который понималъ, что, благодаря ему, народный духъ оживится въ Германіи и тогда страна эта ускользнетъ изъ его рукъ. По приказанію Наполеона, „тугендбундъ“ былъ уничтоженъ, но, разумѣется, только номинально, и вмѣсто одного союза Германія покрылась стѣнью патріотическихъ „тайныхъ“ обществъ, возбуждавшихъ въ народѣ ненависть къ иноземцамъ. Одинаково ненавистенъ былъ ему Штейнъ съ его реформами, котораго одинъ изъ слугъ этого „республиканскаго героя“ называлъ демагогомъ, жалуясь, что пруссаки „виновны въ опасныхъ революціонныхъ и демагогическихъ козняхъ“. Большая же часть этихъ демагоговъ особаго рода принадлежала къ аристократіи, которая была въ ярости не отъ того, что въ странѣ господствовалъ Наполеонъ, а за то, что она потеряла свои привилегіи, придворныя должности и значительную часть доходовъ. Все, къ

чему стремились подобные заговорщики, это — возвратить старое доброе время, захватить опять прежнія права и преимущества и подчинить своей власти низшіе классы народа, держа его въ черномъ тѣлѣ. Что такова была цѣль этихъ средневѣковыхъ феодаловъ, они доказали то какъ нельзя лучше въ 1814 и послѣдующихъ годахъ, когда реакція свирѣпствовала во всей Германіи. Если теперь они одѣвали іезуитскую маску либерализма и прикидывались даже защитниками народныхъ правъ, то только потому, что они хорошо понимали, что достигъ имъ своихъ цѣлей безъ содѣйствія народа нѣтъ никакой возможности. То, къ чему искренно стремились Штейнъ, Шарнгорстъ и другіе честные патріоты, къ тому масса нѣмецкаго дворянства приставала съ заднею мыслью какъ можно скорѣе отдѣлаться отъ ненавистныхъ демократическихъ нововведеній. Что касается народа, то онъ, не задумываясь, лѣзъ въ разставленные ему сѣти. Народъ воспламенился самымъ горячимъ патріотизмомъ, проникся самою глубокою ненавистью къ французамъ, и потому, когда въ 1813 году явилось воззваніе „къ моему народу“ короля Фридриха Вильгельма III, тогда по всей Германіи, можно сказать, раздался торжественный гулъ, возвѣщавшій, что въ народѣ проснулась львиная сила. Литература приняла воинственный характеръ, раздались патріотическія пѣсни Аридта, Кернера, и народъ бросился со страстью въ войну, которая, точно въ насмѣшку, называется „войною за освобожденіе“. Война за освобожденіе избавила, правда, Германію отъ французскаго господства, но, къ несчастію, оно замѣнилось болѣе тяжкимъ господствомъ развращающаго деспотизма. Всѣ сладкія надежды, которыя возлагались на войну за освобожденіе, были уничтожены въ прахъ, и Германія вмѣсто свободныхъ учреждений и единства, къ которому она стремилась, получила жалкій союзъ всевозможныхъ королей, князей и князьковъ, большихъ и маленькихъ герцоговъ. Ничто не могло быть обиднѣе для нѣмецкаго народа, да и вообще для всѣхъ народовъ, какъ этотъ оскорбительный вѣнскій конгрессъ, на которомъ, по выраженію одного современника, главнымъ образомъ занимались торгомъ людей. Собраніе интригановъ или государственныхъ мужей цѣлой Европы заботилось только о томъ, на долю какого государя выпадетъ тотъ или другой клочъ заселенной живыми людьми земли. О народѣ, о его правахъ тутъ, разумѣется, никто не заботился; да и зачѣмъ было заботиться послѣ того, что онъ

принесъ въ жертву свое достоиніе, свою кровь, въ жертву сильнымъ міра сего. Казалось, что и этой чести было достаточно для народа! О свободѣ прессы, объ уничтоженіи сословныхъ кастъ, о всяческихъ учрежденіяхъ на благо народа, забыли и думать, и только смѣялись довольно нагло надъ тѣми, кто принималъ всѣ эти общанія серьезно. Въ самомъ дѣлѣ наивные люди! Немногіе истинные патріоты, въ родѣ Штейна, горько жаловались на обманъ. „Теперь, писалъ онъ, наступило время ничтожностей и посредственностей. Всѣ подобные люди выплываютъ наружу и занимаютъ свои старыя положенія; тѣ же, которые все поставили на карту, теперь забыты и ими пренебрегаютъ“. Зыбуть былъ народъ, которому такъ недавно еще расточали самую низкую лесть.

Точно также насмѣялся вѣнскій конгрессъ и надъ идеею германскаго единства, вдохновлявшею поэтовъ, а съ ними вѣстный народъ, и никто другой, какъ президентъ вѣнскаго конгресса, князь Меттернихъ, выразился такимъ образомъ: „Германія есть не что иное, какъ географическое выраженіе“. Священный Союзъ увѣнчивалъ собою зданіе, въ основаніи котораго лежало полное презрѣніе къ народнымъ правамъ. Самая безнравственная политика досталась въ удѣлъ Германіи. Но какъ ни бесплодна оказалась для нѣмецкаго народа эта восторженная эпоха войны за освобожденіе, стоившая ей столько крови, столькохъ жертвъ, тѣмъ не менѣе идеи, брошенныя въ націю, рано или поздно должны были дать результаты; идеи эти не умерли, въ нихъ успѣло воспитаться цѣлое поколѣніе. Толчокъ, данный націи, былъ такъ силенъ, что, несмотря на злую реакцію, смѣнившую либеральное броженіе, вызванная агитація не могла тотчасъ же исчезнуть. Университетская молодежь, принимавшая такое дѣятельное участіе въ національномъ движеніи, игравшая такую важную роль въ послѣднихъ судьбахъ своего отечества, не могла и не хотѣла отказаться отъ нея; а такъ какъ правительства не позволяли ей дѣйствовать открыто, то среди ея началась естественнымъ образомъ подпольная работа. Въ Берлинѣ кружокъ студентовъ составилъ союзъ, имѣвшій цѣлью поддерживать идеи войны за освобожденіе; подобные же союзы образовались и въ другихъ университетахъ. Союзы эти стремились слиться въ одинъ большой національный союзъ, и образованіе его должно было открыться большимъ праздникомъ. Праздникъ этотъ произошелъ въ Вартбургѣ, гдѣ торжествовали трех-

сотлѣтній юбилей реформаціи, 18-го октября 1817 года. Въ этотъ день подъ вечеръ, на горѣ, лежащей противъ города, разведенъ былъ костеръ, и среди воодушевленныхъ рвѣчей сожжены были произведенія Коцебу, игравшаго роль русскаго шпіона, Кампца, Галлера и нѣкоторыхъ другихъ, произведенія, пропитанныя духомъ абсолютизма и народнаго предательства. Этотъ праздникъ университетской молодежи не замедлилъ возбудить трусость, ненависть и страсть къ преслѣдованію во всѣхъ деспотическихъ правительствахъ. Союзъ этотъ долженъ былъ работать на пользу единства Германіи, въ основаніи котораго лежали бы свободныя учрежденія. Недолго продолжалась дѣятельность этого патріотическаго союза. Воспользовавшись фанатическимъ убійствомъ Коцебу, совершеннымъ Зандомъ, правительства точно почувствовали свои руки развязанными, и съ этой минуты начались самыя дикія и безсмысленныя гоненія. Назначена была „центральная слѣдственная коммиссія“, которая, воспользовавшись одиознымъ фактомъ—преступленіемъ Занда, постаралась обобщить его, притянула къ этому дѣлу цѣлую массу молодежи, замѣшанную въ студенческомъ союзѣ, и затѣмъ новую массу другихъ лицъ, которыя находились въ какомъ-нибудь соприкосновеніи съ первыми. Тюрьмы и крѣпости переполнились. Инквизиторы деспотизма торжествовали; они могли утолить свою жажду гнусныхъ преслѣдованій, запугать высшія власти и обезпечить за собою, вмѣстѣ съ постоянно новыми жертвами, постоянно новыя выгоды, мѣста, награды, почетъ и власть. По цѣлой Германіи началась, по выраженію одного историка этой печальной эпохи, „охота на демагоговъ“, а демагоговъ было довольно, такъ какъ всякаго истинно честнаго человѣка клеймили тогда именемъ демагога. Этой шайкѣ инквизиторовъ, которая погубила столько честныхъ, благородныхъ, полныхъ здоровыхъ силъ людей, которая срѣзала цвѣтъ молодежи, помогала другая шайка негодяевъ—журналистовъ и продажныхъ писакъ, которые постоянно подливали масла въ огонь, напуская своими доносами разсвирѣпѣлыхъ звѣрей на всякое проявленіе честной мысли, направленной къ истинному благу отчизны. Политическая жизнь въ Германіи была задавлена; всякій, который осмѣливался думать и высказывать свои заботы о всеобщемъ благоденствіи, почитался чуть не государственнымъ преступникомъ и подвергался гоненіямъ. Отсутствіе общихъ интересовъ, тупоумный деспотизмъ и вражда каждого противъ всѣхъ и всѣхъ противъ каж-

даго, казалось, неминуюмо должны были водвориться въ обществѣ, и въ значительной степени водворились на самомъ дѣлѣ. Дворянство и бюрократія ликовали, потому что они начинали уже опасаться, что навсегда исчезло это доброе старое время всякихъ злоупотребленій и насилій. Оно вернулось съ новыми, обновленными силами. Мы не станемъ останавливаться болѣе подробно на этой грустной эпохѣ „слѣдственной комиссіи“, „демагогическихъ происковъ“, въ которыхъ подозрѣвались всѣ тѣ, которые не спѣшили заявить себя какою-нибудь подлостью; мы не станемъ упоминать здѣсь всѣхъ этихъ героевъ раболѣпства и циническихъ выходовъ, въ видѣ Кампцовъ, Шукмановъ, Ярке и остальной обскурантной клики. Самое забавное тутъ то, что эта реакціонная гуща всегда прикрывала свои доносы, такъ сказать, государственною пользою, но пожалуй еще забавнѣе то, что находились добродушные, но не дальновидные люди, которые серьезно принимали Кампцовъ и Шукмановъ и подобныхъ имъ фальшивыхъ патріотовъ за людей, дѣйствительно пекущихся о народныхъ интересахъ.

Реакція—вотъ въ одномъ словѣ весь результатъ, весь итогъ того горячаго настроенія нѣмецкаго народа, которое выразилось во время войны за освобожденіе; вотъ весь плодъ всѣхъ потраченныхъ жертвъ, благородныхъ стремленій, пламенной энергіи, одержавшихъ верхъ надъ французскимъ господствомъ. Увлечшійся народъ не понималъ, что, сражаясь противъ Франціи, онъ борется противъ новыхъ идей, принесенныхъ французскою революціею; онъ не понималъ, что онъ проливаетъ свою кровь не за свое освобожденіе, а за торжество старины, за торжество абсолютизма, за произволъ власти и за продленіе своего безправія. Немногіе только не заблуждались, немногіе сдумѣли понять лицемеріе нѣмецкихъ правителей и дворянской касты. Эти немногіе не раздѣляли всеобщей ненависти къ Франціи; они разумно умѣли отдѣлять Наполеона отъ французскаго народа, и не только не радовались униженію Франціи, но были имъ глубоко опечалены. Они понимали, что побѣда однихъ деспотовъ, традиціонныхъ, надъ другимъ деспотомъ, ставшимъ тѣмъ, благодаря дурно направленной гениальной силѣ, была выѣстъ съ тѣмъ и побѣдой надъ французскою революціею и надъ тѣми новыми началами, которыя были провозглашены ею. Задача этихъ немногихъ свѣтлыхъ умовъ была рѣзко начерчена. Они должны были во время господствовавшей дикой реакціи

и вмѣстѣ ненависти къ Франціи дѣйствовать на нѣмецкое общество такимъ образомъ, чтобы ненависть къ Франціи уступила мѣсто горячему къ ней сочувствію. Сочувствіе къ Франціи было равносильно сочувствію ея идеямъ, ея стремленіямъ, ея молодымъ традиціямъ, однимъ словомъ, ея революціи, очищенной отъ всѣхъ наносныхъ, часто печальныхъ, элементовъ; а тотъ, кто сочувствовалъ революціи и французскому народу, долженъ былъ неминуемо, силою логики, доходить до ожесточенной ненависти къ свирѣпствовавшей реакціи, къ нѣмецкимъ порядкамъ, къ абсолютнымъ идеямъ, къ вѣковому деспотизму, господствовавшему въ Германіи. Къ этимъ немногимъ свѣтлымъ умамъ принадлежалъ, конечно, и Бёрне, выступившій дѣятельно на литературное поприще именно въ эти трудныя времена реакціи. Послѣ того, что мы сказали объ отношеніи французофобства къ политической гнилости, намъ будетъ уже совершенно понятна горячая любовь Бёрне къ Франціи и французамъ, и въ этомъ тепломъ чувствѣ мы не только не усмотримъ ненависти къ Германіи, а напротивъ, страстное желаніе увидѣть дорогую для него родину, освобожденную отъ тяжелыхъ путъ абсолютизма, которыя мѣшали, и до сихъ поръ отчасти мѣшаютъ, свободному развитію націи.

Если таковы были политическія условія, при которыхъ выступилъ Бёрне на общественную арену, то каково, спрашивается, было положеніе нѣмецкой литературы, въ которой Бёрне занялъ такое видное мѣсто? Чтобы понять его значеніе въ нѣмецкой литературѣ, мы должны, хоть въ немногихъ словахъ, освѣжить въ памяти читателей исторію этой литературы до появленія Бёрне.

II.

Передъ французскою революціею нѣмецкая литература, по впаденію Шлоссера, совершенно опошлѣла. Причина такого упадка заключалась въ отсутствіи въ самомъ обществѣ живыхъ стремленій не только къ свободѣ, но къ самостоятельному существованію. Политическая атмосфера производила разлагающее впечатлѣніе. Безъ соинтереса, сильныя таланты, гении вырываются наружу, несмотря ни на какія обстоятельства, и примѣровъ тому можно было бы представить очень много въ исторіи каждой литературы, не исключая и нашей соб-

ственной. Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь — живыя тому доказательства; но подобные таланты не даютъ и половины того, что могли бы дать при болѣе благопріятныхъ условіяхъ, и во всякомъ случаѣ вліяніе ихъ на общество не бываетъ пропорціонально силѣ ихъ таланта. Точно то же встрѣчаемъ мы и въ нѣмецкой литературѣ конца XVIII столѣтія и начала XIX-го. Шиллеръ, Гёте являются на литературной аренѣ; но, живя среди общества, лишеннаго всякой политической свободы, они сами подчиняются господствующему вліянію, и не только не порождаютъ собою сильной, вліятельной литературной школы, но не имѣютъ достаточно могущества, чтобы не допустить господства самаго отсталаго романтическаго направленія, которое выражало собою стремленія коснѣвшаго въ старыхъ понятіяхъ дворянства. Конечно, вліяніе того или другого таланта зависитъ не только отъ атмосферы, въ которой онъ нравственно дышетъ, но также и отъ личныхъ наклонностей писателя. Когда эти личные наклонности человека заставляютъ его ставить выше всего мишуру придворной жизни, когда они заставляютъ „великаго“ Гёте быть дюжиннымъ „тайнымъ совѣтникомъ“, тогда, разумѣется, нечего думать писателю имѣть потрясающее нравственное вліяніе на общество. „Тайный совѣтникъ“ всегда покажетъ свои уши изъ-за поэта и половина вліянія пропадаетъ изъ-за одного этого. Писатель, обладающій даже меньшимъ талантомъ, чѣмъ мраморный колоссъ Гёте, но въ которомъ сильнѣе развито чувство любви къ человѣчеству и къ своему народу, въ которомъ общественные интересы преобладаютъ надъ маленькимъ и всегда остающимся ничтожнымъ *Я*, способенъ имѣть несравненно болѣе вліяніе на современное ему общество, а вмѣстѣ съ нимъ и на ходъ цѣлой литературы. Для сравненія можно взять примѣръ изъ нѣмецкой же литературы. Гёте и Лессингъ — вотъ два крупныхъ писателя. По глубинѣ своего ума, Лессингъ нисколько не уступалъ уму Гёте, но таланта, если хотите, гениальности, въ немъ, разумѣется, было меньше; и однако, несмотря на это, не прибѣгая вовсе къ парадоксальности, можно смѣло сказать, что дѣятельность Лессинга наложила на ходъ нѣмецкой литературы болѣе рельефную печать, чѣмъ дѣятельность Гёте. Гдѣ же причина такого явленія? Причина того очевидно заключается въ томъ, что Гёте непосредственно руководился своимъ талантомъ, онъ искалъ вдохновенія въ самомъ себѣ, считая что его „я“ должно быть средоточіемъ, такъ сказать центромъ цѣлаго

міра. Злая ошибка! Въ немъ не было той живой струны, которая при прикосновеніи какого-нибудь общаго интереса издавала бы дивные звуки; онъ никогда, однимъ словомъ, не могъ дойти до того, чтобы позабыть свою собственную личность, свой собственный геній подъ давленіемъ какихъ бы то ни было событій. Лессингъ же—совершенно напротивъ. Его дѣятельностью главнымъ образомъ руководила идея добра, пользы, которую онъ хотѣлъ принести обществу; онъ работалъ, воодушевляемый не своею собственною личностью, а стремленіемъ доставить торжество тѣмъ идеямъ, осуществленіе которыхъ онъ считалъ благотѣльнымъ для той страны, гдѣ онъ жилъ. Онъ въ такой же степени руководился въ своей жизни общественными интересами, какъ Гёте интересами, по сравненію съ „цѣлымъ обществомъ, своей маленькой личности. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что тотъ писатель, который забываетъ себя ради общества, которому онъ служитъ, достоинъ несравненно большаго уваженія, чѣмъ тотъ, который не знаетъ другого бога, кромѣ собственной своей личности. Писателей можно судить и цѣнить, съ одной стороны, по ихъ непосредственному таланту и, съ другой, по той пользѣ, которую они приносятъ своему обществу, по тому вліянію, которое они имѣютъ на общественное развитіе. Общественное же развитіе сказывается въ томъ, какъ велико въ обществѣ стремленіе къ свободному существованію и свободному пользованію всѣми своими правами. Какъ бы ни былъ великъ талантъ, геній человѣка, но если только своими сочиненіями онъ способствуетъ распространенію рабскаго духа въ обществѣ, поддерживаетъ рутинныя мнѣнія и воззрѣнія, тогда, не задумываясь, можно сказать, что талантъ этотъ или геній вреденъ, пагубенъ для общества, и пусть лучше онъ не родится.

Бёрне во всѣхъ своихъ сужденіяхъ о нѣмецкой литературѣ и ея дѣятеляхъ именно руководился подобнымъ мѣриломъ—насколько дѣятельность человѣка была проникнута общественною пользою, общественными интересами. Онъ никогда не отказывался отъ этого масштаба, и потому заслуги, выставляемыя обыкновенно защитниками „чистаго художества“, имѣли въ его глазахъ чрезвычайно мало значенія. Первый вопросъ, который онъ дѣлалъ писателю, котораго хотя нишодамъ онъ призывалъ на свой судъ: „что ты сдѣлалъ для пробужденія или для развитія здороваго, свободнаго духа въ обществѣ?“ Подобное мѣрило, быть можетъ и не совсѣмъ согласное съ началами

рутинной эстетической критики, чрезвычайно понятно, въ особенности, когда оно прилагается къ литературѣ, привыкшей только или витать въ недостижимыхъ высотахъ, или замыкаться въ узкій, низменный кругъ сантиментальничанья и весьма сомнительной морали. Нѣмецкая литература въ теченіе всего XVIII-го вѣка, за немногими, но блестящими исключеніями, находилась именно въ подобномъ состояніи, и потому неудивительно, что въ живомъ, свѣжемъ человѣкѣ должна была обнаружиться реакція противъ упорнаго разъединенія литературы съ требованіями народныхъ интересовъ. Неудивительно и то, если реакція эта выражалась въ рѣзкихъ заявленіяхъ, какъ случилось, напр., это у Бёрне въ его сужденіяхъ о Гёте, Шиллерѣ и нѣкоторныхъ другихъ.

У писателя XIX-го столѣтія, появившагося во время разгара реакціи, не могло не развиться жестокое, но вѣдѣтъ справедливое раздраженіе противъ всей почти нѣмецкой литературы, которую даже самъ Гёте называлъ „литературно-безхарактерною“. Окидывая быстрымъ взоромъ огромный литературный періодъ за цѣлыя сто лѣтъ, что встрѣчалъ въ ней новѣйшій писатель? Рѣзкое противорѣчіе между литературою и дѣйствительностью съ одной стороны, и съ другой — какое-то рабское отношеніе къ высшимъ классамъ и интересамъ высшаго общества. Объ интересахъ народа, о развитіи массы, почти ни у кого нѣтъ и помину. Литература не только не борется съ абсолютизмомъ, господствующимъ въ политической жизни, но скорѣе содѣйствуетъ его стремленіямъ. Играя такую роль, она, конечно, не могла имѣть дѣйствительнаго вліянія на развитіе нѣмецкаго народа. Другими словами, между литературою и жизнью массы существовалъ полный разладъ.

Въ началѣ XVIII-го вѣка, когда въ другихъ передовыхъ странахъ Европы литература получала все болѣе и болѣе блеска; когда въ Англіи на литературную арену выступили такіе таланты, какъ Аддисонъ, Свифтъ, Дефозъ, Ричардсонъ, Юмъ; когда во Франціи засвѣтили звѣзды, какъ Лесажъ, Монтескьё, Вольтеръ, Руссо, въ Германіи литература находилась въ самомъ жалкомъ положеніи. Въ такъ-называемомъ образованномъ обществѣ вовсе перестали говорить и писать по-нѣмецки: родной языкъ былъ окончательно забытъ. Дворы и дворянство употребляли французскій языкъ, воспитывались на французскій ладъ, читали французскія книжки, и притомъ еще са-

ныя дурныя, самыя нелѣпыя. Въ сферахъ не-аристократическихъ читали книги XVII-го столѣтія, написанныя испорченнымъ нѣмецкимъ языкомъ. Наука, философія, пріобрѣвшая себѣ замѣчательнаго представителя въ Лейбницѣ, точно также не осмѣливалась употреблять нѣмецкій языкъ, и Лейбницъ долженъ былъ писать на иностранныхъ языкахъ подѣ опасеніемъ, что иначе его не захотятъ читать въ его собственномъ отечествѣ. Большую услугу въ возвращеніи въ Германію къ родному языку оказали піетисты и близко стоявшій къ нимъ ученый Христіанъ Томазіусъ, который первый объявилъ въ лейпцигскомъ университетѣ, что онъ будетъ читать свои лекціи на нѣмецкомъ языкѣ. Подобное объявленіе произвело неописанный скандалъ. Томазіусъ былъ рѣшительнымъ реформаторомъ какъ въ отношеніи языка, такъ и по отношенію во взглядахъ на общій характеръ образованія. Онъ возсталъ противъ всеобщаго употребленія изуродованной латыни, и поддерживалъ свое требованіе не только чтеніемъ лекцій на нѣмецкомъ языкѣ, не только нѣмецкими сочиненіями, которыя были такъ благотѣльны для распространенія въ Германію просвѣщенія, но также и своимъ сатирико-критическимъ журналомъ, существовавшимъ нѣсколько лѣтъ. Свой журналъ Томазіусъ старался дѣлать возможно болѣе понятнымъ для народа. Томазіусъ прокладываетъ своими трудами путь, по которому двинулась цѣлая литературная фаланга.

Во главѣ этой фаланги нужно поставить человѣка не особенно умнаго и не особенно талантливаго, но который тѣмъ не менѣе сдѣлалъ очень много для распространенія въ литературѣ нѣмецкаго языка и для проникновенія въ жизнь новаго духа. Готтшедъ руководился совершенно иными побужденіями въ своей литературной дѣятельности, чѣмъ Томазіусъ. Этотъ послѣдній былъ одолеваетъ страстнымъ желаніемъ вырвать свое отечество изъ того состоянія варварства, въ которомъ оно находилось; Готтшедъ же исключительно былъ побуждаемъ жаждою славы и, главнымъ образомъ, тѣхъ матеріальныхъ выгодъ, которыя она приноситъ собою. Онъ обладалъ необыкновенною легкостью схватывать быстро все, что ему попадалось на дорогѣ, и не углубляясь, не проникая въ сущность дѣла, онъ во всемъ былъ поверхностенъ, вездѣ являлся посредственностью, что, быть можетъ, было одною изъ главныхъ причинъ его успѣха и популярности. Не было такой отрасли литературы, въ которой онъ не

попробовавъ бы своихъ силъ, и вездѣ онъ оставался однимъ и тѣмъ же: сегодня онъ писалъ философскія сочиненія, завтра драматическія произведенія, поэмы, романы; то онъ появлялся на кафедрѣ, какъ профессоръ, то дѣлался отчаяннымъ журналистомъ. Сочиненія его, не имѣвшія почти никакихъ литературныхъ достоинствъ, были полезны въ томъ отношеніи, что они нѣсколько расширяли кругъ читателей, и, заимствованныя большею частью изъ французскихъ книгъ, они знакомили съ идеями, бродившими въ болѣе живомъ обществѣ. Благодаря этимъ идеямъ, взятымъ цѣликомъ изъ иностранныхъ сочиненій, у Готтшеда оказывался иногда довольно трезвый взглядъ на литературныя произведенія, хотя онъ и лишенъ былъ художественнаго чутія. Этотъ трезвый взглядъ выразился, напр., по отношенію къ „Мессіадѣ“ Клопштока, въ которомъ онъ не призналъ почти никакого таланта, что было, разумѣется, большою ошибкою, но справедливо напалъ на напыщенность поэта, на его приторную нѣжность, сантиментальность, слезливость, наконецъ на самое содержаніе поэмы. Онъ осмѣялъ небесныя видѣнія Клопштока, и за это подвергся самымъ жестокимъ упрекамъ—популярность Готтшеда была поколеблена въ самомъ своемъ основаніи.

Какъ ни ничтоженъ былъ самъ по себѣ Готтшедъ, но онъ имѣлъ большое вліяніе, и это одно уже можетъ свидѣтельствовать о чрезвычайно низкомъ уровнѣ нѣмецкаго общества и нѣмецкой литературы. Вліяніе это въ литературѣ видно изъ того одного, что Готтшедъ имѣлъ цѣлую школу, среди которой были люди болѣе талантливыя, чѣмъ самъ Готтшедъ. Конечно, мы не станемъ подробно говорить ни объ этихъ ученикахъ, ни даже о дальнѣйшихъ дѣятеляхъ въ нѣмецкой литературѣ, такъ какъ наша цѣль, дѣлая краткій перечень литературнымъ силамъ XVIII-го столѣтія, ограничивается тѣмъ, чтобы указать, какъ бѣдственно дѣйствовали на развитіе націи отсутствіе всякой политической свободы и уродливое поработаніе народа одною кастою дворянскою, и какъ естественно, что писатель XIX-го вѣка, подобный Бёрне, главнымъ образомъ сосредоточиваетъ свои силы на политической сторонѣ жизни и съ пренебреженіемъ относится ко всякимъ художественнымъ талантамъ, какихъ бы разнѣровъ они ни были.

Боязнь коснуться злоупотребленій высшихъ классовъ отличала всѣхъ писателей, слѣдовавшихъ по стопамъ Готтшеда. Ни стихо-

творенія Цахаріэ, ни рассказы Гелерта, ни сатиры Рабенера не переступали дозволенной черты. Всѣ произведенія этихъ писателей ограничиваются описаніями и легкими насмѣшками надъ маленькими людьми, и какъ чумы бѣгутъ всякаго соприкосновенія съ сильными міра. Чтобы задѣвать власть, дворянство, нападать на душную политическую атмосферу, нужно было имѣть много гражданскаго мужества, и оно никогда не обходилось даромъ. Школа Готтшеда могла убѣдиться въ этомъ на примѣрѣ талантливаго писателя-сатирика Лискова. Лисковъ отважился возстать противъ нѣмецкихъ правителей, противъ важныхъ лицъ; онъ ударилъ своимъ сатирическимъ бичомъ уродливыя средневѣковыя учрежденія и нравы и за то жестоко поплатился многими годами заключенія въ крѣпости, гдѣ онъ оставался до самой своей смерти. Лисковъ, нападая на варварскія злоупотребленія высшихъ лицъ, не нашелъ защиты и у своей литературной братьи, къ которой онъ высказалъ презрѣніе въ своемъ знаменитомъ сочиненіи: „Трактатъ о достоинствахъ и необходимости бездарныхъ писакъ“. Противъ Лискова поднялись со всѣхъ сторонъ; ему никогда не могли простить, что онъ осмѣлился возстать противъ установившихся авторитетовъ, и что тамъ, гдѣ другіе открывали гениальность, онъ видѣлъ только ограниченность и слабоуміе. Лисковъ стремился разорвать тяжелыя цѣпи среднихъ вѣковъ, впустить хотя слабый лучъ свѣта въ окружавшую его тьму и указать путь къ новой жизни посредствомъ новаго образованія. Лисковъ не имѣлъ вліянія, не пользовался популярностью, потому что онъ всѣмъ говорилъ правду, коловшую глаза; напротивъ, всѣ наперерывъ бросали въ него грязью—обыкновенная участь писателя, возстающаго противъ господствующей рутинны.

Въ заслугу писателямъ школы Готтшеда можно поставить то, что они, впрочемъ, отдѣлившись отъ Готтшеда, основали литературное общество и стали издавать журналъ подъ именемъ „Бременскій Сборникъ“ (Bremer Beiträge). Журналъ этотъ долженъ былъ содѣйствовать успѣхамъ образованія, проникнутаго новымъ духомъ, и если въ числѣ сотрудниковъ этого журнала является Клопштокъ, который помѣщаетъ тутъ первыя пѣсни „Мессіады“, то только потому, что издатели не могли не признавать въ немъ сильнаго таланта, хотя и сознавали, что произведеніе это противорѣчитъ цѣлому направленію „Бременскаго Сборника“. Читающая публика въ

это время была чрезвычайно незначительна, такъ что писатели и издатели журналовъ писали тогда едва-ли не другъ для друга. Одинъ изъ современныхъ этому періоду нѣмецкой литературы писателей, жалуюсь на малый кругъ читающей публики, говорилъ: „Пока мѣстъ книги будутъ находиться только въ рукахъ студентовъ, профессоровъ и журналистовъ, до тѣхъ поръ, мнѣ кажется, едва-ли стоитъ писать что-нибудь для настоящаго поколѣнія. Если въ Германіи существуетъ читающая публика, которая состоитъ не изъ ученыхъ по профессіи, то признаюсь въ своемъ невѣжествѣ — я никогда не зналъ о существованіи такой публики“. Это было сказано во второй половинѣ XVIII-го столѣтія. Если кругъ читающей публики былъ такъ ограниченъ, то вина лежала, съ одной стороны, конечно на цѣломъ строѣ нѣмецкой жизни, съ другой — на самихъ писателяхъ, которые не имѣли ни силы, ни энергіи, ни таланта, ни смѣлости, чтобы разрушить старый порядокъ и призвать къ дѣятельной жизни подавленные классы народа.

Болѣе обширный кругъ читателей долженъ былъ создаться послѣдующими писателями, среди которыхъ на первый планъ выступаютъ: поэтъ Виландъ, историкъ и публицистъ Гердеръ и великій критикъ Лессингъ, который имѣлъ самое рѣшительное и могущественное вліяніе на ходъ нѣмецкой литературы. Виландъ выступилъ на литературное поприще какъ послѣдователь и поклонникъ Клопштока; его первыя произведенія отличаются тою же сентиментальностью, плаксивою возвышенностью, святостью, небеснымъ настроеніемъ, какъ и Клопштокъ „Мессіада“. Но Виландъ не долго оставался на этомъ пути, и нападенія, которыя были сдѣланы на него въ литературѣ, а главнымъ образомъ въ журналѣ, въ которомъ принималъ участіе Лессингъ, помогли ему выбраться изъ дебрей, въ которыхъ заблудился Клопштокъ. Перемѣна въ Виландѣ произошла чрезвычайно быстро, и онъ сталъ теперь самъ шутить и насмѣхаться надъ тою чувствительностью и тѣмъ возвышенно-святимъ настроеніемъ, передъ которыми прежде преклонялся. Переходъ былъ чрезвычайно рѣзкій. Виландъ сдѣлался теперь писателемъ по преимуществу свѣтскимъ; легкомысліе, остроуміе, поверхностная иронія стали отличительными качествами Виланда. Новая манера Виланда пришлась какъ нельзя болѣе по плечу „образованному“ нѣмецкому обществу, которое до сихъ поръ не читало ничего другого, кромѣ

французскихъ книгъ. Виландъ перешелъ на другой путь совершенно сознательно; онъ сознавалъ необходимость распространить нѣмецкую литературу среди высшаго общества, и это удалось ему какъ нельзя болѣе. „Благодаря Виланду, — говоритъ Шлоссеръ въ своей исторіи XVIII-го вѣка, — пробудился живой интересъ къ литературѣ въ той части нашей націи, которой недоступны ни серьезность взгляда, ни наука, которая знала Лессинга только по его пьесамъ, которая въ своей суетливой праздности ищетъ интереснаго развлеченія и находитъ его въ свѣтскомъ обществѣ, въ театрѣ, на минеральныхъ водахъ, на роскошныхъ гуляньяхъ, а между прочимъ также въ книгахъ и журналахъ“. Самъ Виландъ говоритъ почти то же самое, когда пишетъ къ одному изъ своихъ друзей: „Германія не имѣетъ еще такого писателя, котораго могла бы читать та часть публики, которая не получала университетскаго образованія, а пока не будетъ такого писателя, не будетъ и литературы“. Высшіе классы были поражены, встрѣтивъ нѣмецкаго писателя съ запасомъ такого реализма, такой граціи, съ такимъ остроуміемъ и такою терпимостью, какими представился имъ Виландъ. Его чувственная поэзія открыла двери, какъ выражается одинъ историкъ литературы, высшаго общества нѣмецкой литературѣ и приобрѣла союзниковъ литературному движенію среди свѣтскихъ людей-скептиковъ, среди пустыхъ и занятыхъ только модами людей. Конечно, роль писателя, пишущаго исключительно для высшихъ классовъ общества, служащаго только ихъ интересамъ, скорѣе достойна презрѣнія, нежели похвалы; но Виландъ находитъ себѣ оправданіе въ томъ, что въ то время нужно было заботиться прежде всего о размноженіи круга читателей и о томъ, чтобы нѣмецкая литература вытѣснила изъ общества безграничное господство французской. Но то самое обстоятельство, что Виландъ могъ съ успѣхомъ исполнить подобную задачу, доказываетъ уже, какъ неглубока была его натура, и какъ нетребователенъ былъ его умъ и талантъ, который могъ довольствоваться созданіемъ только такихъ произведеній, которыя ни въ какомъ случаѣ не превышали бы уровня развитія общества того времени. Виландъ изъ своихъ произведеній, между которыми особенно славилась романъ „Агатонъ“, гдѣ онъ рассказывалъ свою собственную исторію, „Колнческіе рассказы“, „Оберонъ“, „Грація“, написанныя прекраснымъ языкомъ, извлекъ двойную пользу: и большую популярность,

славу первокласснаго поэта, и виѣсть съ тѣмъ матеріальныя выгоды, любовь и ласки высшихъ сферъ. Подъ конецъ его дѣятельности литература стала для него чистымъ ремесломъ, при помощи котораго онъ заботился только, какъ бы пріобрѣсти больше денегъ. Несмотря на то, что Виландъ въ свое время былъ провозглашенъ великимъ талантомъ, вліяніе его на нѣмецкую литературу и нѣмецкую жизнь не могло быть особенно благотворно, потому что для этого онъ не обладалъ ни достаточною самостоятельностью мысли и еще менѣе самостоятельностью характера, которая побуждала бы его возвышаться надъ мелкими матеріальными выгодами.

Того, чего не хватало Виланду, чтобы сдѣлаться первокласснымъ писателемъ и наложить на ходъ нѣмецкой литературы печать своего генія, то въ изобиліи было у Лессинга, который даетъ своими трудами новое направленіе нѣмецкой мысли и пробуждаетъ націю къ самостоятельному существованію и самостоятельному развитію. Въ какой бы сферѣ ни проявлялось раболѣпство, Лессингъ энергически возстаетъ противъ него; всюду является онъ проповѣдникомъ свободной мысли и свободной жизни. Личная его жизнь соответствовала всему, чего онъ требуетъ отъ націи. Онъ никогда не преклонялся передъ высшими классами, никогда не раболѣпствовалъ, подобно его преемнику Гёте, передъ маленькими дворами, никогда не унижалъ своего таланта низкою лестью тѣмъ, которые владычествовали вовсе не въ силу своихъ личныхъ достоинствъ. Лессингъ никогда не добивался почестей и отличій; всякая зависимость была невыносима для его благородной гордости; во всѣхъ поступкахъ, во всей дѣятельности онъ руководился только однимъ—что полезно для его общества, для нѣмецкой націи. Впрочемъ, какъ свойственно великому уму, онъ не ограничивался только національными вопросами, онъ касался и общечеловѣческихъ задачъ, и въ этомъ направленіи ничто не можетъ сравниться съ его „Натаномъ Мудрымъ“, въ которомъ съ удивительною глубиною Лессингъ схватилъ вопросъ религіозной терпимости. На ряду съ „Натаномъ“, въ отношеніи философскихъ воззрѣній Лессинга, должна быть поставлена его полемическая дѣятельность, полная необыкновенной силы, противъ ограниченнаго фанатика пастора Гёде. Среди сумбура религіозныхъ понятій, всяческихъ суевѣрій, такъ распро-

страненныхъ въ массѣ, Лессингъ является могучимъ защитникомъ рационализма.

Какъ драматургъ, Лессингъ, помимо своего знаменитаго „Натана“, создалъ еще нѣсколько сценическихъ произведеній, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны трагедія „Эмилія Галотти“ и комедія „Минна фонъ-Баригельмъ“, написанныя съ цѣлю пробудить въ нѣмцахъ стремленіе къ національной жизни, къ самостоятельности, и научить нѣмцевъ чувству собственного достоинства. Лессингъ отлично понималъ, что онъ не рожденъ быть гениальнымъ драматическимъ писателемъ, и самъ онъ въ своей „Гамбургской Драматургіи“, въ послѣдней статьѣ, говоритъ: „Мнѣ часто дѣлають честь, принимая меня за драматическаго поэта. Это происходитъ оттого, что меня дурно понимаютъ. Нѣсколько драматическихъ попытокъ еще недостаточны. Тотъ еще не живописецъ, который умѣетъ держать въ рукѣ кисть и растереть краски. Первые изъ этихъ опытовъ были написаны еще въ тѣ годы, когда охоту къ писанію и легкость принимаешь за гениальность. Что же касается до тѣхъ, которые явились позже, совѣсть моя подсказываетъ мнѣ, что я обязанъ исключительно критикѣ въ томъ, что есть въ нихъ болѣе сноснаго“. И нѣсколько далѣе онъ возвращается къ тому же сознанію, что онъ не драматическій писатель, когда онъ говоритъ: „Мнѣ нужно отказаться сдѣлать для нѣмецкаго театра то, что Гольдони сдѣлалъ для итальянскаго, когда онъ обогащалъ его въ теченіе одного года тринадцатію новыми пьесами“. Лессингъ былъ правъ. Его истинное призваніе, истинное назначеніе было быть критикомъ, и въ этой области никто не превосходитъ его ни глубиною, ни силою таланта. Если Лессингъ обращался къ театру, къ философіи, то всегда проводилъ онъ здѣсь политическіе взгляды, свои политическія стремленія, которыя, нужно ли прибавлять, были направлены къ одному—это къ освобожденію Германіи отъ лжи и насилія правительства и господствующихъ классовъ. Если мы не встрѣчаемъ у Лессинга такихъ произведеній, гдѣ бы онъ прямо обращался къ политическимъ вопросамъ, то только потому, что путь къ нимъ былъ загражденъ всевозможными полицейскими заставами. Мысль объ освобожденіи своей родины и своего народа отъ подавлявшаго жизнь деспотизма, мысль объ измѣненіи всего политическаго строя, который мѣшалъ свободному развитію націи и не позво-

лялъ ей придти къ разумному сознанію своей силы и выказать свои нравственныя способности, эта мысль никогда не покидала Лессинга, и ее не трудно отыскать какъ въ его философскихъ произведеніяхъ, въ его драматическихъ произведеніяхъ, такъ точно и въ его критикѣ, въ его знаменитой „Гамбургской Драматургіи“. Произведеніе это, писанное въ формѣ журнальныхъ статей, имѣло огромный успѣхъ, пропорціональный не меньшему кругу читателей, такъ что послѣ того, что „Драматургія“ появилась въ газетѣ, она имѣла еще въ короткій періодъ времени три изданія. Успѣхъ этотъ, конечно, объясняется не мѣткими сужденіями объ актерахъ и пьесахъ, а тою глубиною, серьезностью, новизною мыслей, которыя Лессингъ высказывалъ по поводу театральныхъ явленій. Театръ тутъ былъ только предлогомъ, которымъ пользовался авторъ, чтобы въ болѣе популярной формѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ менѣе подозрительной для „предержащихъ властей“ высказывать свои идеи и пробуждать нѣмецкое общество отъ сросшейся съ нимъ апатіи. Всю свою „Драматургію“ онъ велъ къ тому, чтобы сказать нѣмцамъ, что у нихъ нѣтъ драматической поэзіи, что у нихъ нѣтъ драматическихъ поэтовъ, что они жалкіе и ничтожныя подражатели и больше ничего; онъ жалалъ, чтобы ему былъ предложенъ вопросъ—да отчего же у насъ нѣтъ поэтовъ, отчего у насъ нѣтъ національнаго театра? и тогда онъ имѣлъ бы право отвѣтить: а что вы сдѣлали для того, чтобы имѣть его? вы не только ничего не сдѣлали, но вы мѣшаете, не даете возможности развиться ему! „Не смѣшна ли идея, — говоритъ Лессингъ въ своей „Драматургіи“, — желать, чтобы у нѣмцевъ былъ національный театръ, когда нѣмцы еще вовсе не нація! Я не говорю о политической организаціи, но только о нравственномъ характерѣ. Слѣдовало бы сказать, что нашъ характеръ именно состоитъ въ томъ, что мы вовсе его не имѣемъ“. Вотъ основная мысль, лежащая въ Лессинговой „Драматургіи“. Народъ не можетъ имѣть здороваго, серьезнаго драматическаго искусства, до тѣхъ поръ, пока этотъ народъ представляетъ собою только бездушную массу; онъ не можетъ имѣть его, пока онъ не дышетъ свободнымъ воздухомъ, пока онъ не сброситъ съ себя тяжелыя путы такого политическаго порядка, который уничтожаетъ всякую самостоятельность въ жизни, а слѣдовательно и самостоятельность мысли. Случайно можетъ родиться талантъ или гений, но онъ не образуетъ собою еще драматической поэзіи, такъ точно

какъ одинъ писатель или даже нѣсколько не составляютъ еще литературы. Чтобы литература, театръ процвѣтали въ какой-нибудь странѣ, для этого необходимо, чтобы она окружена была такою теплою атмосферою, при которой люди, общество могли бы открыто, свободно говорить о всѣхъ своихъ дѣлахъ, о всѣхъ сторонахъ своей жизни; нужно, чтобы условія жизни благопріятствовали всестороннему развитію даннаго общества, или, по крайней мѣрѣ, искусственными преградами не стѣсняли свободного проявленія человѣческой дѣятельности. Иначе литература, какъ и театръ, будутъ всегда чахлыми цвѣткомъ, отцвѣвшимъ прежде, нежели успѣлъ онъ распуститься, или слабымъ отголоскомъ того, что производитъ литература или театръ въ какой-нибудь другой странѣ, т.-е. не чѣмъ инымъ, какъ блѣднымъ и жалкимъ подражаніемъ. Такъ именно оно и было въ Германіи. Политическій строй Германіи, нравственный порядокъ, господствовавшій въ ней, были таковы, что деморализировали націю и довели ее до того, что она какъ бы удовлетворилась своимъ положеніемъ и сдѣлалась рѣшительно равнодушною ко всѣмъ общественнымъ интересамъ.

При такомъ положеніи, при такомъ отсутствіи общихъ, связывающихъ людей, интересовъ не могло быть и рѣчи о самостоятельной литературѣ, о національномъ театрѣ. Лессингъ это понималъ какъ нельзя лучше, и потому не уставалъ говорить своимъ соотечественникамъ: сдѣлайтесь народомъ, будьте самостоятельны, независимы, свободны, и тогда все будетъ въ вашемъ распоряженіи, и богатая литература, и оригинальный театръ; безъ этого же вы навсегда останетесь жалкимъ стадомъ овецъ, произвольно управляемымъ правительствомъ. Ни самостоятельности, ни свободы не было въ странѣ, а потому и вмѣсто оригинальной литературы, оригинальнаго театра, были только и литература и театръ заимствованные у чужого народа, именно у французовъ. Заимствование это было сдѣлано не въ силу потребности націи, а просто въ силу распространеннаго между высшими классами изуродованнаго французскаго воспитанія. Подражаніе французамъ въ литературѣ было какъ бы доказательствомъ того, что она существовала только для аристократіи. Расинъ, Корнель были тутъ въ большомъ почетѣ, и этого было достаточно для Лессинга, чтобы уничтожать и того и другого, и въ своемъ увлеченіи доходить даже до несправедливости къ нимъ. „Дайте мнѣ кабую угодно пьесу

Корнеля, — восклицалъ онъ, — и я берусь написать ее лучше, чѣмъ онъ! Кто держитъ пари? “ Но изъ этого нападенія на французскихъ псевдо-классиковъ не слѣдуетъ выводить, чтобы Лессингъ былъ зараженъ тѣмъ „французоѣдствомъ“, которымъ отличалась нѣмецкая литература въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи. Онъ нападалъ на нихъ только для того, чтобы уничтожить ихъ вліяніе на нѣмецкихъ писателей, чтобы отрезвить нѣмецкую литературу, которая пресмыкалась передъ этими давно отжившими моделями. Онъ показывалъ ихъ фальшь, тщательно занимался разборомъ ихъ неестественности, и, быть можетъ, сознательно доходилъ до преувеличенія ихъ въ своемъ порицаніи, потому что онъ видѣлъ, что они идутъ въ разрѣзъ дѣйствительной жизни и ни въ какомъ случаѣ не могутъ имѣть воспитательнаго значенія для его страны. Что у Лессинга не было ожесточенія противъ всего французскаго, ожесточенія, которое не дѣлало бы чести да и не было бы совмѣстно съ его широкимъ умомъ, доказывается тѣмъ, что онъ съ большимъ сочувствіемъ относился къ драматическимъ произведеніямъ Дидро. Комедіи и драмы послѣдняго не имѣли серьезнаго значенія: это были диссертациі на заданную тему и, разумѣется, не могли своимъ художественнымъ достоинствомъ возбуждать восторга въ такомъ глубокомъ критикѣ, какимъ былъ Лессингъ. Отчего же хвалилъ ихъ авторъ „Драматургіи“? Восхваленіе Дидро происходило просто изъ того, что Лессингъ впереди своихъ художественныхъ задачъ, эстетическихъ вопросовъ ставилъ независимо болѣе важный вопросъ о пользѣ, приносимой извѣстнымъ произведеніемъ обществу. Польза же драматическихъ произведеній Дидро была несомнѣнная; съ одной стороны, онъ проводилъ въ нихъ идеи, выработанныя новѣйшею философіею, идеи „гуманныя“ по преимуществу и потому самому отвѣчавшія требованіямъ времени; съ другой стороны Дидро уничтожалъ своимъ театромъ обаятельную силу псевдо-классической школы и на первый планъ выставлялъ интересы простой, обыденной жизни. Однимъ словомъ, цѣль, которой служилъ Дидро, была тождественна съ цѣлью, къ которой стремился и Лессингъ. Оба они были людьми новаго времени, оба проповѣдовали новыя начала, оба стремились къ тому, чтобы разрушить средневѣковой строй и вселить въ народную жизнь новый духъ, освободить ее отъ давленія высшихъ классовъ.

Широкое начало гуманности, вдохновлявшее Лессинга, вдох-

новляло и другого писателя, имѣвшего значительное вліяніе на нѣмецкую литературу, именно Гердера. Несмотря на ихъ общую цѣль въ литературной дѣятельности своей, Гердеръ сплошь и рядомъ являлся противникомъ Лессинга, хотя критическія произведенія послѣдняго имѣли большое вліяніе на Гердера. Значеніе Гердера было, конечно, далеко не такъ велико, какъ Лессинга, для пробужденія національнаго духа, но цѣль его была та же самая: онъ желалъ вызвать стремленіе къ независимости въ нѣмецкомъ народѣ; онъ хотѣлъ, чтобы взаимныя отношенія низшихъ и высшихъ классовъ были въ корнѣ измѣнены, чтобы яркій лучъ освѣтилъ собою тьму, въ которой блуждалъ народъ, благодаря своему невѣжеству. Жизнь широкая, бурная—вотъ чего хотѣлъ Гердеръ для своего народа. Licht, Liebe, Leben—было его девизомъ. Космополитическая идея находила себѣ въ Гердерѣ больше простора, чѣмъ въ Лессингѣ; благо всего человѣчества занимало его больше, чѣмъ кого бы то ни было. Полу-поэтъ, полу-философъ, полу-историкъ, Гердеръ вездѣ оставилъ свой оригинальный слѣдъ. Горячая фантазія, необыкновенная самоувѣренность отличали всѣ его произведенія, принадлежащія къ области поэзіи, философіи, исторіи. Гердеръ ведетъ отчаянную борьбу съ рутиной, не хочетъ знать никакихъ правилъ, и въ своемъ поэтическомъ воодушевленіи поклоняется только народной поэзіи, и только въ ней одной признаетъ силу, богатство образовъ, истинно бурныя страсти. Въ этомъ духѣ онъ написалъ сборникъ „національных пѣсенъ“, въ которомъ изображены съ удивительною правдою и простотою характеры, наклонности, страсти различныхъ націй. Поэтическое настроеніе Гердера какъ нельзя болѣе видно и въ другомъ его произведеніи, полу-философскомъ, полу-мечтательномъ, именно въ „Духѣ еврейской поэзіи“. Фантазія, или, быть можетъ, вѣрнѣе будетъ сказать: идеализмъ, отличавшій Гердера такъ рѣзко отъ реалиста Лессинга, играетъ важную роль и въ самомъ извѣстномъ его сочиненіи: „Идеи о философіи исторіи человѣчества“. Сочиненіе это гармонируетъ со всею остальною дѣятельностью Гердера, направленною къ одному: къ проповѣди гуманности, на которую онъ указываетъ какъ на высшее начало, руководящее или долженствующее руководить человѣчествомъ.

Во всѣхъ отрасляхъ умственной дѣятельности происходитъ въ это время въ Германіи сильное движеніе. Лессингъ даетъ сильный

толчокъ литературѣ, Гердеръ — исторіи; въ области философій это движеніе выражается въ переворотѣ, совершенномъ Кантомъ. Движеніе это поддерживается не только отдѣльными сочиненіями этихъ сильныхъ умовъ, но оно распространяется журналами, которые пріобрѣтаютъ большую популярность и къ которымъ присоединяются всѣ громкія имена того времени. Другъ Лессинга, Николай, извѣстный своимъ сочиненіемъ: „Письма о нынѣшнемъ состояніи изящныхъ искусствъ въ Германіи“, вышедшимъ въ свѣтъ въ 1755 г. безъ имени автора, и сдѣлавшійся впослѣдствіи ни болѣе, ни менѣе какъ литературнымъ спекулянтъ, основалъ вмѣстѣ съ Вейссе, одинаково другомъ Лессинга, „Библіотеку изящныхъ искусствъ и знаній“, съ цѣлью быть новымъ судилищемъ и постановлять приговоры надъ прошедшими, настоящими и будущими произведеніями, согласно началамъ, провозглашеннымъ новою эстетическою критикою. Лессингъ не принималъ въ этомъ изданіи дѣятельнаго участія, потому что онъ занятъ былъ другимъ журналомъ, который былъ основанъ вскорѣ послѣ „Библіотеки“, именно „Литературными письмами“, основанными точно такъ же при главномъ содѣйствіи Николаи. Журналы эти имѣли большое вліяніе; они стремились къ тому, чтобы уничтожить въ нѣмцахъ страсть къ подражанію, пробудить самостоятельность мысли, и яростно нападали на все рутинное, устарѣвшее, гнилое. Въ этихъ журналахъ разрушались старые авторитеты, уничтожались старые боги и провозглашалось новое знаніе, новая жизнь. На подобіе „Библіотеки изящныхъ искусствъ и знаній“ и „Литературныхъ писемъ“ основалъ журналъ и Виландъ; но его „Нѣмецкій Меркурій“ не имѣлъ тѣхъ реформаторскихъ цѣлей, какими отличались первые два журнала. Цѣль его была — спекуляція, и это, конечно, не могло не отзываться на самомъ изданіи. Въ это время въ Германіи, разумѣется, не могло быть и рѣчи о свободѣ печати, и потому всякіе политическіе вопросы должны были быть отстраняемы; но это не мѣшало тому, чтобы въ статьяхъ, на первый взглядъ посвященныхъ чисто литературной пропагандѣ, нельзя было читать между строкъ и политической пропаганды. Большая заслуга въ дѣлѣ нѣмецкой журналистики принадлежитъ Шлецеру, который прямо осмѣлился затронуть политическіе вопросы. Своею „Новою Перепискою“ онъ создалъ, по выраженію Шлоссера, „трибуналъ, передъ приговорами котораго блѣднѣли всѣ германскіе ненавистники просвѣщенія, всѣ многи-

сленные маленькіе тираны, или деспотическіе чиновники и полицейскіе, по крайней мѣрѣ тѣ изъ нихъ, у которыхъ осталось столько чести и стыда, что они могли еще краснѣть или блѣднѣть“. Журналъ Шлецера обнаруживалъ всевозможныя злоупотребленія, которыя годами, столѣтіями хранились подъ спудомъ канцелярской тайны. Онъ сдѣлался грозомъ привилегированныхъ классовъ; онъ съ большимъ мужествомъ обличалъ продажность, развратъ высшаго общества; онъ ратовалъ за избавленіе народа отъ произвола дворянской касты, которая во иракѣ всеобщаго невѣжества творила невѣроятныя вещи. Страшный гулъ поднялся противъ Шлецера. Владѣтельные князья, аристократія, бюрократія направили на издателя „Новой Переписки“ свою злобу и месть. Онъ проповѣдовалъ въ своемъ журналѣ свободу печати, и сами правительства не могли не убѣдиться, какой невѣроятный вредъ происходитъ отъ того, что всѣ злоупотребленія, всѣ насилія не выходятъ на свѣтъ. Шлецеръ велъ въ одно и то же время борьбу противъ іезуитовъ и злоупотребленій духовенства, и съ этой стороны находилъ себѣ поддержку въ одномъ изъ самыхъ замѣчательныхъ и рѣдкихъ правителей, именно въ Іосифѣ II. Съ 1782 года „Новая Переписка“ приняла названіе „Государственныхъ Вѣдомостей“, и съ этихъ поръ значеніе этого журнала сдѣлалось еще болѣе велико; онъ положительно служилъ интересамъ цѣлой Германіи.

Движеніе, вызванное такими талантами, какъ Лессингъ, Гердеръ, Кантъ, поддержанное и распространенное возникшею журналистикою, должно было отозваться и отозвалось на нѣмецкой молодежи. Съ одной стороны, критика Лессинга открыла нѣмецкому юношеству нищету нѣмецкой литературы, побуждала отбросить подражаніе французскимъ псевдо-классикамъ и указывала на Шекспира какъ на великій образецъ; съ другой стороны, страстный, пламенный призывъ Руссо къ непосредственной естественности нашелъ себѣ отзывъ въ молодыхъ сердцахъ чувствительныхъ нѣмцевъ, на которыхъ и съ этой стороны Руссо имѣлъ большое вліяніе. Менцель въ своей „Исторіи нѣмецкой литературы“ называетъ не даромъ Руссо патріархомъ новаго сентиментализма. Во всякомъ случаѣ, сентиментализмъ Руссо былъ несравненно здоровѣе сладенькаго сентиментализма нѣмецкаго происхожденія. Подъ вліяніемъ Лессинга и Руссо, нѣмецкая молодежь, вооружившись необыкновенною энергіею, провозгласила своимъ лозунгомъ: свобода и природа! и стала съ увлеченіемъ, свойственнымъ молодости,

„потрясать столбы рутины, на которых покоился храмъ филистерства“. Непримируемая вражда была объявлена всему устарѣвшему, гнилому; съ необыкновеннымъ жаромъ стали нападать на всѣ сословныя предрасудки; горячая сатира бичевала пороки и злоупотребленія сильныхъ; съ трескомъ, шумомъ накидывались на отжившія общественныя формы; съ пафосомъ провозглашали они свободу; съ громомъ и молніею возвѣщаемъ былъ конецъ тираніямъ, приготовляясь служить для защиты новыхъ началъ, новой жизни. Этотъ періодъ получилъ названіе въ нѣмецкой литературѣ періода „бурь и волненій“ (Sturm und Drang). Казалось, что отнынѣ заря новой жизни засвѣтила для Германіи... но это только казалось.

Это направленіе, полное „бурныхъ стремленій“, раздвоилось; оно раздѣлилось, такъ сказать, на два лагеря. Съ одной стороны, въ Геттингенѣ образовался „союзъ геттингенскихъ бардовъ“, которые, въ силу какой-то особой логики, ухитрились слить въ одно цѣлое свои „бурныя стремленія“ къ свободѣ, къ новой жизни, къ новымъ воззрѣніямъ, съ плаксиво-догматическою поэзіею Клопштока, котораго они провозгласили главою союза. Къ этому союзу принималъ по всей правдѣ и Бюргеръ, творецъ нѣмецкихъ балладъ, который до сихъ поръ еще не забытъ въ Германіи. Несмотря на нѣкоторый сумбуръ, господствовавшій въ головахъ нѣмецкихъ бардовъ, они оказали тѣмъ не менѣе свою долю пользы нѣмецкому народу. Они старались вырвать нѣмецкое юношество изъ раболѣпства, господствовавшаго тогда въ обществѣ, отклонить его отъ лакейской угодливости и лести передъ дворомъ; они стремились поселить въ нѣмецкомъ народѣ рядомъ съ лучшимъ образованіемъ чувство собственного достоинства, благородной гордости и жажду свободы и независимости. Они желали освѣжить общественное мнѣніе, обновить и облагородить нѣмецкіе нравы. Къ несчастью только, они не понимали, что подобные результаты не достигаются сладкимъ воспѣваніемъ дружбы, любви и природы. Изъ того, какъ образовался этотъ союзъ, къ которому цѣлкомъ принадлежали Фоссъ, два брата Штальберги, Гельти, два Миллера, Волье и нѣкоторые другіе, легко видѣть, могло ли выйти что-нибудь серьезное изъ дѣятельности этихъ сентиментально-мечтательныхъ нѣмцевъ, признавшихъ Клопштока своимъ божкомъ. „Ахъ, — писалъ Фоссъ, одинъ изъ основателей геттингенскаго союза бардовъ, въ письмѣ къ другу, 12-го сентября (1772 г.), — вы должны были бы

быть здѣсь. Оба Миллера, Ганъ, Гельти и я отправились вечеромъ въ близлежащую деревню; былъ славный вечеръ и полная луна. Мы совершенно отдались ощущеніямъ чудной природы. Мы выпили въ крестьянской хижинѣ молока и отправились къ открытому полю. Тутъ нашли мы небольшую дубовую рощу, и намъ всѣмъ внезапно пришла мысль подъ этими священными деревьями освятить клятвою союзъ дружбы"... Призывая луну и звѣзды быть свидѣтелями ихъ закрѣпленнаго союза, „они клялись въ вѣчной дружбѣ“. Если эта прелестная картинка достаточно освѣщаетъ уже глубокомысліе и степень серьезности союза бардовъ, то еще болѣе бросается въ глаза незрѣлость этихъ реформаторовъ, когда мы вспомнимъ, что на своихъ празднествахъ они торжественно провозглашали тосты въ честь Клопштока и Лессинга и восклицали: „да погибнетъ развратитель нравовъ Виландъ, да погибнетъ Вольтеръ!“ Странныя сопоставленія! Этому направленію приверженцевъ „бурныхъ стремленій“ не трудно, разумѣется, было превратиться впоследствии въ католическо-средневѣковый романтизмъ.

Направленіе „бурныхъ стремленій“ представлялось не исключительно геттингенскими бардами. Противъ этой группы молодыхъ поэтовъ стояла другая группа, болѣе симпатичная,—группа, не образовавшая собою никакого союза подъ тѣнью дубовыхъ деревьевъ. Въ этой группѣ пророкомъ былъ не старецъ Клопштокъ, а „бурный геній“ Шекспиръ, почитаніе котораго доходило до обожанія. Въ этой группѣ не признавались никакіе законы, никакія правила, все возлагалось на силу природы. Писатели, причислявшіе себя къ породѣ „бурныхъ геніевъ“ (Kraftgenies), не налагали никакихъ оковъ своей фантазіи, своему воображенію. Эти „бурные геніи“ были недовольны существовавшимъ порядкомъ, они стремились къ лучшему устройству; политическая атмосфера казалась имъ слишкомъ удушливою и въ нихъ бушевали порывы къ свободѣ. Къ этимъ „бурнымъ геніямъ“ нужно отнести Шубарта, который рано познакомился съ тюрьмою, благодаря своему республиканскому вдохновенію. Въ своихъ пламенныхъ стихахъ онъ нападалъ на правителей, обвиняя ихъ во всѣхъ страданіяхъ народа и обнаруживая ихъ злоупотребленія. Этотъ самый Шубартъ въ стихотвореніи, полнымъ злобы и горечи, оплакалъ первый раздѣлъ Польши. Онъ вздыхалъ по свободѣ какъ страстный любовникъ и съ отчаяніемъ восклицалъ:

Aber wo find ich dich, heilige Freiheit,
O Du, des Himmels Erstegeborene?

Это благородное настроеніе Шубарта, это порывистое стремленіе къ свободѣ, эта смѣлость, стоившая автору цѣлыя годы заключенія, среди господствовавшаго въ обществѣ раболѣпства и пресмыканія передъ всевозможными маленькими дворами, дѣлають Шубарта однимъ изъ самыхъ симпатичныхъ представителей періода „бурныхъ стремленій“ въ нѣмецкой литературѣ. Къ этой же группѣ писателей принадлежитъ и Клингерь, который своею драмою, написанною еще во время его юности, „Sturm und Drang“, далъ имя цѣлому направленію въ литературѣ. Виѣсть съ богатою фантазією, Клингерь соединялъ въ себѣ глубокую любовь къ свободѣ и человѣчеству, на которое онъ смотрѣлъ съ большимъ состраданіемъ. Руссо былъ его моделью, онъ поклонялся ему, и во всѣхъ своихъ, особенно первыхъ произведенійхъ онъ является ученикомъ его. Все, что выходитъ изъ рукъ природы, хорошо, но все портится людьми—таково воззрѣніе Клингера, заимствованное имъ у своего учителя.

Это направленіе „бурныхъ стремленій“ и „бурныхъ геніевъ“ въ сущности не создало ни одного дѣйствительнаго генія, или выходящаго изъ ряда крупнаго таланта, который имѣлъ бы достаточно силы, чтобы выполнить задачу, начерченную Лессингомъ. Упрочить самостоятельность національной литературы выпало на долю Гёте и Шиллера, которые появляются въ періодъ „бурныхъ стремленій“. „Бурные геніи“ не имѣли именно достаточно генія, чтобы дать своему направленію такую прочную, неразрушимую силу, которая обусловливала бы собою весь будущій ходъ развитія нѣмецкой литературы. Ихъ стремленіе къ свободѣ, къ уничтоженію раболѣпства въ обществѣ, къ пробужденію духа независимости, самостоятельности, самоуваженія, не пережило ихъ самихъ, и въ колоссальномъ Гёте мы находимъ уже, виѣсто горячаго и страстнаго отношенія къ стремленіямъ „бурныхъ геніевъ“, только холодное и высокоумное равнодушіе.

Первыя произведенія Шиллера родились на вулканической почвѣ „бурныхъ стремленій“, и при появленіи „Разбойниковъ“ писательскаго направленія привѣтствовали Шиллера какъ своего. Шиллеръ въ это время дѣйствительно былъ подъ вліяніемъ „бурныхъ стремленій“; онъ

наслаждался и увлекался поэмами Шубарта; въ немъ сильно было чувство любви къ свободѣ, и это настроеніе сохранялось въ немъ болѣе или менѣе во всю его жизнь. Въ двухъ слѣдующихъ его произведеніяхъ, въ „Коварствѣ и Любви“ и въ „Фіеско“, стремленія Шиллера опредѣляются еще болѣе рѣзко. Политическая тенденція его—явно республиканская; онъ бичуетъ развратъ дворовъ, онъ встаетъ противъ наглой гордости аристократіи, ничѣмъ не оправданной, и представляетъ возмутительную картину отношеній между высшими и низшими сословіями. Трудно было бы объяснить, какимъ образомъ авторъ „Фіеско“, „Коварство и Любовь“ становится впоследствии вовсе въ иные отношенія ко двору, еслибы мы не знали, какое вліяніе имѣлъ на Шиллера Гёте. Шиллеръ—кто можетъ это отрицать—имѣлъ огромное благотворное вліяніе на нѣмецкую націю; его образовательное значеніе сохраняется и до нашего времени, потому что въ авторѣ „Вильгельма Телля“ былъ неисчерпаемый источникъ теплой любви къ человѣчеству. Вліяніе идей, проповѣдуемыхъ Шиллеромъ, было бы несравненно обширнѣе въ его время; ему скорѣе удалось бы пробудить въ нѣмецкомъ народѣ жажду свободы и независимости, еслибы Гёте не дѣйствовалъ совершенно въ противоположномъ смыслѣ. Мы, разумѣется, вовсе не намѣрены здѣсь говорить о поэтическомъ значеніи такихъ талантовъ, какъ Шиллеръ и Гёте; мы преслѣдуемъ только одну цѣль—указать, въ какой мѣрѣ затрогивались въ нѣмецкой литературѣ политическія идеи до появленія перваго истиннаго политическаго писателя, Лудвига Берне.

Въ смыслѣ политическомъ великій поэтъ Гёте является совершенно ничтожнымъ. Насколько благотворна была его дѣятельность въ литературномъ отношеніи, какъ творца „Фауста“, „Эгмонта“ и цѣлаго ряда другихъ произведеній, настолько же вредна она была, настолько же пагубно дѣйствовала она на политическое развитіе націи. Недостойное услужничество нашло въ Гёте своего представителя.

Причина этого необычайнаго явленія, что такой колоссальный умъ, такой великій талантъ встрѣтились въ одномъ и томъ же человѣкѣ съ такимъ ничтожнымъ характеромъ, съ такою политическою ограниченностью, кроется въ необъятномъ эгоизмѣ Гёте. Эгоизмъ—вотъ основная черта Гёте,—черта, объясняющая намъ всю жизнь, всю дѣятельность, все поведеніе этого человѣка. Гёте смотрѣлъ на себя какъ на средоточіе цѣлаго міра; ему казалось, что ~~на-самъ~~ ~~долженъ~~

служить цѣлому міру, а цѣлый міръ долженъ служить ему одному. Лишенный даже и тѣни любви къ человѣчеству, Гёте направлялъ весь свой талантъ, весь свой геній вовсе не къ тому, чтобы улучшить нравственное положеніе людей, доставить торжество новымъ идеямъ, быть, однимъ словомъ, проповѣдникомъ правды, справедливости, свободы,—до всего этого ему не было никакого дѣла; ему нужно было только торжество его личности, потому что онъ боготворилъ только одну свою личность. Для него не было другой святини. Ему не было никакого дѣла до страданій его народа, до бѣдствій его родины. Достаточно было нѣсколько льстивыхъ словъ Наполеона, чтобы Гёте перешелъ на его сторону. Во время самыхъ тяжелыхъ годинъ его отечества, во время самыхъ рѣшительныхъ европейскихъ переворотовъ, Гёте какъ нельзя болѣе спокойно занимался изученіемъ китайскаго языка. Придворная жизнь, которая пришлась такъ по вкусу Гёте и въ которую онъ такъ вѣлся, окончательно развратила его характеръ. Совершенно естественно, что презрительное отношеніе Гёте ко всѣмъ самымъ горячимъ вопросамъ народной жизни должно было оттолкнуть отъ него болѣшую часть молодежи, которая смотрѣла на него какъ на явленіе, принадлежащее прошедшему времени. На остальную же часть молодежи Гёте имѣлъ самое вредное вліяніе; онъ привилъ къ ней, какъ выражается Менцель, самую вредную болѣзнь: смотрѣть на весь міръ свысока и находить его для себя слишкомъ мелкимъ.

Конечно, Гёте могъ быть совершенно удовлетворенъ тѣмъ обожаніемъ, которымъ окружало его высшее общество, и его самолюбіе находило себѣ въ немъ полное удовлетвореніе; онъ признавалъ себя богомъ, другіе не оспаривали его божества—ему больше ничего не было нужно. Нападки, дѣлавшіяся иногда на Гёте, встрѣчали сильный отпоръ въ его друзьяхъ, до тѣхъ поръ, пока самъ Гёте, соединившись съ Шиллеромъ, не сталъ издавать журнала, „die Horen“, который долженъ былъ, по ихъ собственнымъ словамъ, „превозмогнуть все, что когда-нибудь появлялось въ этомъ родѣ“. Въ этомъ журналѣ, такъ точно, какъ и въ Шиллеровомъ „Альманахѣ музъ“, стали появляться жестокія насмѣшки надъ всѣми противниками Гёте и Шиллера. Если нападки не могли имѣть никакого значенія для Гёте, то онъ могъ бы, кажется, задуматься, обозрѣвая весь пройденный имъ путь, на грустный для всякаго великаго писателя фактъ—тотъ фактъ, что появленіе Гёте въ нѣмецкой литературѣ не дало ей немедленныхъ

результатовъ, что онъ не только не создалъ своего направленія, но, такъ сказать, былъ обойденъ другимъ направленіемъ — средневѣковымъ романтизмомъ. Гдѣ, въ самомъ дѣлѣ, школа Гёте, гдѣ цѣлая фаланга писателей, идущихъ по его стопамъ, гдѣ такъ отражается въ литературѣ и въ жизни того времени появленіе гениальнаго Гёте? Ничего подобнаго нѣтъ. Не будь Гёте пропитанъ самымъ жалкимъ эгоизмомъ, нѣшавшимъ ему понимать общественные интересы, отнесись онъ сочувственно къ народной жизни, его произведенія, оставаясь мировыми, отвѣчали бы стремленіямъ общества и имѣли бы потрясающее вліяніе на освобожденіе націи отъ цѣпей нравственнаго и физическаго рабства. Почва для Гёте была уже во многихъ отношеніяхъ подготовлена предшествовавшими писателями, работавшими для пробужденія народнаго духа; но его холодная, эгоистическая натура не чувствовала потребности искать себѣ сочувствія въ цѣломъ морѣ народной жизни. Поэтому-то Гёте и не имѣлъ такого крупнаго и немедленнаго вліянія на нѣмецкую жизнь и нѣмецкую литературу, которое онъ могъ имѣть, обладая такимъ гениемъ. Литературное движеніе, какъ и движеніе народной жизни, оставило его въ сторонѣ, и прошло мимо, какъ будто бы Гёте не стоялъ на дорогѣ. Правда, романтическое направленіе, начавшее господствовать въ Германіи, окружило Гёте почетомъ, причисляя его къ своимъ, но этотъ почетъ долженъ былъ быть скорѣе оскорбителенъ, нежели пріятенъ Гёте. Направленіе, которое отрицало новую жизнь, не признавало новыхъ началъ, которое искало въ среднихъ вѣкахъ для себя идеаловъ, которое было солидарно со всѣми стремленіями касты феодаловъ — сочувствіе такого направленія, собственно говоря, было самымъ обиднымъ наказаніемъ для Гёте. Вмѣсто того, чтобы литература стала передовою силою въ развитіи новыхъ началъ и новыхъ идей, провозглашенныхъ французскою революціею, въ Германіи она становится, благодаря индифферентизму Гёте и его придворнымъ поклоненіямъ, тормозомъ къ движенію націи впередъ на пути свободы и самостоятельнаго существованія. Не пользовавшаяся никогда свободою, нѣмецкая литература не въ состояніи была понять, что скрывается за тѣми, быть можетъ, слишкомъ бурными проявленіями французской революціи, которыя наводили на нее ужасъ; она не въ состояніи была понять, что смерть стараго порядка, средневѣковаго общественнаго строя, не можетъ произойти безъ всякаго кризиса, безъ потряса-

ющихъ взрывовъ. Она не догадывалась, что роды новаго міра не могли пройти безъ того, чтобы не вырвать оглушительныхъ криковъ и раздирающихъ стонъ изъ груди старой Европы. Нѣмецкая литература, лишенная гениальнаго руководителя, какимъ могъ бы быть Гёте, еслибы въ немъ было сколько-нибудь политическаго смысла и любви къ человѣчеству, перепугалась и думала найти спасеніе отъ наплыва новыхъ идей и демократическихъ стремленій въ идеяхъ и стремленіяхъ католическаго, средневѣковаго строя. Такимъ образомъ, романтическое направленіе явилось въ Германіи какъ реакція противъ французской революціи, и потому происхожденіе его было чисто политическое. Въ то время, когда во Франціи объявляется, что „старый богъ пересталъ господствовать“ и провозглашается религія разума, въ Германіи обращаются къ горячему католицизму и восхваляются старыя католическія формы; въ то время, когда во Франціи навсегда падаетъ, по крайней мѣрѣ нравственно, монархическое начало, въ Германіи литература старается усилить обожаніе деспотической власти, поэтизируя ее на всѣ лады; наконецъ, когда во Франціи провозглашаются „права человѣка“ и ставится какъ девизъ: „свобода, равенство и братство“ и вѣсть съ тѣмъ рушится аристократія, дворянство, въ Германіи возносятся хвалебныя гимны феодальной эпохѣ и воспѣваются нравы рыцарства. Романтическая школа, направленная противъ революціи, вела борьбу со всѣмъ современнымъ духомъ; литература, позабывъ свое истинное назначеніе—служить народнымъ интересамъ, сдѣлалась оплотомъ стгнившаго порядка, опорой вкоренившихся предразсудковъ, суевѣрій и всего того, отъ чего французская революція силилась освободить европейское общество. Романтическая школа желала изъ Гёте сдѣлать себѣ конституціоннаго короля, потому что она видѣла, что онъ нисколько не противорѣчить ея стремленіямъ, что въ своихъ практическихъ воззрѣніяхъ они довольно близко стоятъ другъ къ другу. Шиллеру же никогда не были прощены его либеральныя и революціонныя стремленія, которыя съ такою силою сказались въ его первыхъ произведеніяхъ, и которыя не пропадали въ немъ никогда, несмотря на дружбу, которая соединила его въ послѣдствіи съ Гёте.

Но если Шиллеръ не пользовался уваженіемъ у романтической школы, то онъ былъ совершенно вознагражденъ тѣмъ успѣхомъ, тою популярностью, которою онъ пользовался не среди аристократическаго

романтизма, а среди демократических слоев общества. Народъ всегда съумѣетъ понять, кто его любитъ и кто презираетъ. Главными представителями романтическаго направленія въ Германіи были братья Шлегели, Новалисъ, Тикъ; литературнымъ же органомъ ихъ былъ журналъ „Атенеи“, который издавался двумя братьями Шлегелями. Направленіе это становилось все болѣе и болѣе исключительнымъ, и съ каждымъ днемъ вызывало къ себѣ все большія и большія симпатіи со стороны аристократіи, которая переживала тогда не совсѣмъ пріятныя минуты. Она дрожала за свое существованіе, опасаясь, что буря, разразившаяся во Франціи, снесетъ ее съ лица земли. Аристократія радовалась, что и въ литературѣ проводится дорогое для нихъ начало, что люди раздѣляются на двѣ породы: одна—созданная для труда, для тяжелой жизни, между тѣмъ какъ другая—для жизни беззаботной, для наслажденія, для искусства, поэзіи. Возвращеніе къ идеямъ среднихъ вѣковъ, преклоненіе передъ дряхлыми формами жизни, конечно, не могло найти отголоска въ массѣ, которая искала себѣ въ литературѣ другихъ идей, другихъ писателей. Она нашла ихъ временно въ періодъ войнъ въ тѣхъ горячихъ писателяхъ, которые какъ бы составляютъ особое направленіе, патріотическое. Къ этому направленію должны быть причислены Кёрнеръ, Уландъ, Арндтъ, Геррессъ, которые раздѣляли народныя стремленія, сочувствовали ихъ интересамъ, умѣли понимать ихъ, потому что воодушевлены были истинною любовью къ свободѣ и прогрессу. Голосъ этихъ поэтовъ, которые находили протяжное эхо въ сердцахъ народа, былъ прерванъ окончаніемъ наполеоновскихъ войнъ, наступившею послѣ нихъ реакцію, установившимся Священнымъ Союзомъ. Время реакціи было временемъ высшаго торжества для романтической школы, когда она достигла до апогея своего развитія; но, достигнувъ высшей точки, она неминуемо должна была начать опускаться. Аристократіи не нужна была болѣе помощь литературы: правительства, въ воспоминаніе оказанныхъ услугъ, брали себѣ защитниковъ романтизма въ служеніе, и они превращались въ не что иное какъ въ жалкихъ льстецовъ. Однимъ словомъ, роль ихъ была сыграна. Одну довольно важную услугу, которую оказала романтическая школа, именно ту, что она познакомила Германію съ иностранными поэтами, съ Шекспиромъ, Кальдерономъ, Лопесъ-де-Вега, Дантомъ, Аріостомъ и другими, она постаралась какъ бы заставить за-

быть, нанося громадный вред нѣмецкой литературѣ, бросая въ нее средневѣковый мусоръ. Когда въ 1815 году, послѣ окончанія войны и наступленія реакціи, народъ увидѣлъ себя обманутымъ во всѣхъ своихъ ожиданіяхъ, когда онъ понялъ, что обѣщанія, которыя такъ щедро сыпались въ минуты кризисовъ, добровольно никогда не будутъ выполнены, онъ инстинктивно долженъ былъ оттолкнуться отъ всего, что стояло въ близкомъ отношеніи къ правительствамъ и аристократіи. Раболѣпная литература представляла собою въ это время самое жалкое зрѣлище. Одна половина, романтическая, не заключала въ себѣ ничего живого, напротивъ, все въ ней было умерщвлено затхлыми идеями прошедшаго; другая половина, которая была болѣе понятна народу, совершенно опошлѣлась. Достаточно вспомнить, что въ этой послѣдней господствовалъ Коцебу.

Такимъ образомъ, въ началѣ XIX-го вѣка, нѣмецкая литература была немного въ лучшемъ положеніи, чѣмъ въ началѣ XVIII-го. Какъ тогда можно было сказать, что литература не существовала, такъ точно и теперь можно было повторить тѣ же слова. Гдѣ же причина такого печальнаго явленія, — печальнаго тѣмъ болѣе, что оно случилось послѣ того, что въ прошедшемъ нѣмецкой литературы можно уже было насчитать нѣсколько гениевъ? Не бѣда еще, когда въ какой-нибудь литературѣ послѣ цѣлаго ряда блестящихъ именъ наступаетъ пора, когда кромѣ второстепенныхъ талантовъ никто не появляется на литературномъ горизонтѣ. Важность заключается вовсе не въ первостепенныхъ талантахъ; судьба литературы, успѣхъ ея вовсе не обуславливаются ими одними; гораздо важнѣе для литературы, чтобы въ ней не останавливалось развитіе идей, которыя могутъ идти впередъ помимо крупныхъ талантовъ. Какой прокъ отъ сильныхъ художественныхъ талантовъ, когда міросозерцаніе ихъ узко, кругъ идей ограниченъ, когда они являются въ своей дѣятельности пропагандистами старины, рутины, отжившихъ идей! Пусть лучше не будетъ этихъ исключительныхъ талантливыхъ единицъ, но пусть вмѣсто того средній уровень идей постоянно толкаетъ впередъ. Бѣда нѣмецкой литературы въ началѣ XIX-го вѣка заключалась именно въ томъ, что въ ней не было свѣтлыхъ идей, что она прозябала, что она покрывалась плесенью вслѣдствіе своей неподвижности. Причинъ такого явленія давно уже была объяснена Лессингомъ, когда онъ говорилъ, что нѣмецкій театръ не можетъ существовать тамъ, гдѣ нѣ

нѣмецкаго народа, въ нравственномъ смыслѣ этого слова. Лессингъ былъ правъ. Нѣмецкая литература, какъ и всякая другая, не можетъ процвѣтать до тѣхъ поръ, пока нѣтъ народа въ нравственномъ смыслѣ, т.-е. пока нѣтъ народа независимаго, пользующагося свободой и всѣми ея прерогативами, пока въ этомъ народѣ не будетъ пробуждена политическая жизнь. Писатель, который бы появился въ нѣмецкой литературѣ въ это время, т.-е. въ первой четверти XIX-го вѣка, долженъ былъ непремѣнно задуматься надъ ея жалкимъ положеніемъ, и ему должны были придти въ голову слова Лессинга: нѣтъ театра, нѣтъ литературы—пока нѣтъ народа, пока нѣтъ свободы. Писатель, который бы появился въ это время, не могъ съ грустью не остановиться передъ печальнымъ фактомъ разложенія нѣмецкой литературы и передъ причиною этого факта: отсутствіе въ литературѣ здоровыхъ политическихъ идей, пробуждающихъ народную массу, которая въ свою очередь должна питать литературу. Если народъ былъ лишенъ здоровой политической жизни, если отсутствіе ея было причиной разложенія нѣмецкой литературы, то писатель, въ которомъ горяча была бы любовь къ своему народу, сильно сочувствіе его интересамъ, долженъ былъ бы всѣ силы своего таланта направить на пробужденіе нѣмецкаго народа, на внесеніе въ его жизнь тѣхъ политическихъ идей, безъ которыхъ нѣтъ будущаго для народа. Прошедшее нѣмецкой литературы, настоящее положеніе ея должны были служить подтвержденіемъ правдивыхъ словъ Лессинга. Больше чѣмъ когда-нибудь на сцену долженъ былъ выступить политическій писатель, который силою своего убѣжденія и своего таланта воскресилъ бы жизнь и въ нѣмецкой литературѣ. Такимъ писателемъ и былъ Лудвигъ Бёрне.

Мы должны были остановиться нѣсколько подробно какъ на положеніи нѣмецкаго общества, среди котораго дѣйствовалъ Бёрне, такъ и на состояніи нѣмецкой литературы, и на ея послѣдовательномъ развитіи, потому что иначе связь Бёрне съ нѣмецкою литературою и его вліяніе на нее, быть можетъ, не были бы достаточно ясны для нашихъ читателей. Не припоминая состоянія нѣмецкаго общества и литературы, фигура Бёрне представилась бы намъ какъ бы изолированной; можно было бы сдѣлать заключеніе, что Бёрне съ своею литературною дѣятельностью, направленною главнымъ образомъ, чтобы не сказать: исключительно, на политическіе вопросы, стоитъ

особнякомъ въ общемъ развитіи литературы. Подобное заключеніе было бы прямо противоположно истинѣ. Бёрне, напротивъ, по нашему мнѣнію, представляетъ собою связующее звено между старою литературою, которая замыкается фигурою Гёте, и новою литературою, которая открывается писателями „молодой Германіи“ и, проходя черезъ Гейне, доходитъ до современныхъ намъ писателей. Бёрне, окидывая взоромъ безправное положеніе нѣмецкаго народа, жалкое нравственное состояніе общества, подавляемое десятками мелкихъ правителей и цѣлою ватагою ихъ прислужниковъ, съ горечью смотрѣлъ на выродившуюся нѣмецкую литературу, которая въ своемъ паденіи дошла до средневѣковаго романтизма. Причина такого упадка была для него какъ нельзя болѣе ясна; онъ отлично понималъ, что причина безсилія, какъ общества, такъ и литературы, заключается въ поразительномъ отсутствіи здоровыхъ политическихъ идей, значеніе которыхъ для общественнаго организма не понималъ даже такой великій умъ, какъ Гёте. Дать толчокъ нѣмецкой литературѣ, впустить въ нее свѣжую струю здороваго воздуха, пробудить общество своею злою сатирою, своею страстною любовью къ свободѣ—такова была задача Лудвига Бёрне, которую могъ выполнить только человекъ, обладавшій такимъ замѣчательнымъ талантомъ и гражданскою честностью, какъ авторъ „Парижскихъ писемъ“. Бёрне сознательно направилъ свой многосторонній талантъ почти исключительно на политическую сторону, потому что онъ понималъ, какъ настоятельно необходимо сдѣлалось для нѣмецкаго общества и литературы усвоеніе собою правильныхъ политическихъ идей. Онъ имѣлъ примѣръ на отечественной литературѣ, до какого паденія можетъ она дойти, когда на первый планъ въ ней выдвигаются такъ-называемые художественные интересы и художественныя задачи.

Но прежде чѣмъ обратимся къ сочиненіямъ Лудвига Бёрне, мы остановимся на его біографіи, потому что ознакомленіе съ жизнью человека много поясняетъ и въ его произведеніяхъ. Только тогда, когда мы знакомимся съ жизнью человека, съ воспитаніемъ его, когда мы узнаемъ, гдѣ и въ какой средѣ прошли его дѣтскіе, юношескіе и зрѣлые года, когда мы узнаемъ, въ какомъ кругу онъ вращался и съ какими людьми ставала его судьба—только тогда намъ становится совершенно понятно или другое направленіе его мыслей, тѣ или другія воззрѣнія.

Статья вторая.

I.

Людвигъ Бёрне родился наканунѣ французской революціи, въ 1786 году, и всѣ его юношескіе года проходили подъ грохотъ громоныхъ взрывовъ. Съ дѣтскихъ лѣтъ начинается на немъ рѣшительное вліяніе этой бурной эпохи, вліяніе, — которое и дѣлало его могучимъ борцомъ за свободу до послѣднихъ дней, до послѣднихъ минутъ его жизни. Обстановка, среда, въ которой родился Бёрне, казалось, мало способствовали непосредственному воспріятію имъ новыхъ идей и новыхъ стремленій. Бёрне родился въ мрачной и грязной улицѣ города Франкфурта, въ Judengasse, которая до сихъ поръ составляетъ часть еврейскаго квартала. И теперь еврейскій кварталъ рѣзко разграниченъ отъ другихъ частей города, но въ то время это былъ „городъ въ городѣ“, который заключалъ въ себѣ все еврейское населеніе Франкфурта, выпускавшееся только днемъ изъ своего заточенія. Ночью еврейскій городъ цѣнами отрѣзывался отъ христіанскаго, и ни одинъ еврей не смѣлъ позже извѣстнаго часа переступить узаконенную черту. Евреи были вообще не что иное, какъ парія, которымъ законъ желалъ запретить даже дышать однимъ воздухомъ съ христіанами; они представляли собою изолированное населеніе, которое терпѣлось какъ язва, но со всевозможными предосторожностями, чтобы оно не заразило собою населеніе христіанское. Самыя оскорбительныя и вѣсть „глупыя“ преслѣдованія, какъ выражался Бёрне, подвергалось во Франкфуртѣ еврейское населеніе, среди котораго родился авторъ „Парижскихъ писемъ“. Семейство его принадлежало если не къ числу богатыхъ, то во всякомъ случаѣ очень достаточныхъ еврейскихъ семействъ, такъ что молодому Бёрне не пришлось испытать всѣхъ тѣхъ лишеній и невзгодъ, которыми весьма многіе любятъ объяснять людское недовольство существующимъ порядкомъ и ненависть къ господствующимъ уродствамъ. Помимо порядочнаго состоянія, отецъ Бёрне пользовался, что несравненно дороже, хорошимъ именемъ, это былъ одинъ изъ самыхъ уважаемыхъ людей еврейской общины. Имя Баруха — такова была настоящая фамилія того замѣчательнаго человѣка, который принялъ другое, прославленное имя Бёрне — давно уже однимъ

изъ самыхъ почетныхъ. Дѣдъ Бёрне былъ финансовымъ агентомъ при вѣльскомъ курфирствѣ, причѣмъ часто исполнялъ весьма важныя дипломатическія порученія. Марія-Терезія, которая была обязана старому Баруху тѣмъ, что при его помощи ей удалось доставить это курфиршество одному изъ ея сыновей, общала ему, что его потомство всегда найдетъ горячихъ покровителей при вѣнскомъ дворѣ. Впослѣдствіи, какъ мы узнаемъ это изъ собственныхъ писемъ Бёрне, отецъ его старался привлечь его въ Вѣну, чтобы попробовать, не удастся ли какъ-нибудь молодого горячаго публициста заперчь въ реакціонную колесницу Меттерниха. Отецъ Бёрне поддерживалъ свои связи съ вѣнскимъ дворомъ, и о первомъ министрѣ Австріи онъ часто выражался: „мой другъ князь Меттернихъ“. Одного этого было достаточно, чтобы къ отцу Бёрне относились съ подобающимъ уваженіемъ. Если тутъ и обнаруживается доля мелкаго тщеслівія, то изъ этого не слѣдуетъ заключать, чтобы Барухъ былъ вообще пустой человѣкъ. Далеко нѣтъ. Бёрне, напротивъ, выражался про своего отца: „у него слишкомъ много ума для его положенія“. Положеніе же его, какъ одного изъ вліятельнѣйшихъ представителей еврейской общины, было таково, что онъ долженъ былъ держаться, во всей строгости, старыхъ еврейскихъ традицій, онъ не могъ ни на іоту отступаться отъ еврейскаго закона. Занимаясь торговыми дѣлами, онъ желалъ, чтобы и его дѣти слѣдовали по пробитой имъ дорогѣ, и если остальные дѣти совершенно удовлетворяли его въ этомъ отношеніи, то Бёрне съ самыхъ юныхъ лѣтъ выказывалъ такую самостоятельность и такое направленіе молодого ума, что доставлялъ отцу нѣкоторые сомнѣнія и безпокойства. Барухъ былъ слишкомъ уменъ, чтобы не понимать разумность тѣхъ началъ, которыя впослѣдствіи стали проповѣдовать его сынъ, но онъ не понималъ, зачѣмъ это дѣлалъ именно его сынъ. Во всякомъ другомъ, только не въ его сынѣ, онъ одобрилъ бы тѣ благородныя идеи, которыми былъ воодушевленъ молодой Бёрне. „Я охотно читаю, — говорилъ Барухъ, — то, что написано въ его сочиненіяхъ, только я не желалъ бы, чтобы это писалъ мой сынъ“. Въ этихъ словахъ выражается все отношеніе отца къ сыну. Онъ уважалъ его и вмѣстѣ былъ недоволенъ имъ. Результатомъ этого недовольства было то, что скоро взаимныя отношенія отца и сына сдѣлались натянутыми и холодными. Что же касается до матери Бёрне, то, какъ простая и лишенная образованія женщина, она не могла

имѣть вліянія на молодой умъ своего сына, да притомъ, она больше занималась двумя другими своими сыновьями, чѣмъ тихимъ, сосредоточеннымъ, всегда удалявшимся отъ дѣтскихъ игръ, ребенкомъ, который долженъ былъ въ послѣдствіи играть такую важную роль въ исторіи нѣмецкой литературы.

Жизнь мальчика Бёрне дома вовсе не была очень счастлива; отецъ всегда былъ строгъ, и никогда не выказывалъ нѣжности; любимцомъ матери онъ далеко не былъ, другія дѣти пользовались передъ нимъ всѣми преимуществами любви и ласки; старуха няня, вертѣвшая и заправлявшая домомъ, всегда преслѣдовала остроумнаго ребенка, никогда не ласкавшего за отвѣтомъ въ карманъ. Онъ росъ одиноко, какъ бы заброшенный, предоставленный самому себѣ, и какъ часто бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, мальчикъ становился самостоятельнымъ, и въ то время, какъ другіе его братья думали только объ играхъ, умъ его получалъ уже болѣе серьезное направленіе. Притѣсненія, выпадавшія на его долю, могли, правда, сдѣлать его раздражительнымъ и озлобленнымъ, но вмѣсто того—такова уже была его счастливая натура—онъ дѣлалъ его только болѣе равнодушнымъ ко всѣмъ мелочамъ жизни, болѣе индифферентнымъ къ его личнымъ печалямъ и радостямъ. Съ самыхъ юныхъ лѣтъ, Лудвигъ Бёрне начиналъ уже пользоваться тѣми орудіями, которыми вооружила его природа, и самыя обидныя домашнія несправедливости находили себѣ отпоръ въ его остроумныхъ, рѣзкихъ отвѣтахъ. Первые удары его сатиры были направлены на старую служанку Баруховъ, на злую Элли, которая всячески обижала ребенка, покровительствуя другимъ его братьямъ, да на тѣ „глупые“ обычаи и „глупые“ законы, которые ставили китайскую стѣну между евреями и христіанами. Гуцковъ, написавшій самую полную и, можно сказать, единственную біографію Бёрне, передаетъ нѣкоторыя блестящія остроумія маленькаго Бёрне, по которымъ можно судить, какъ рано и въѣстъ оригинально развился его умъ. „Ты навѣрно попадешь въ адъ!“ сказала ему однажды старуха няня.—„Мнѣ очень жаль,—отвѣчалъ мальчикъ,—потому что тогда и на томъ свѣтѣ я не буду имѣть отъ тебя покоя“. Но какъ ни отшучивался мальчикъ Бёрне отъ нападокъ на него, тѣмъ не менѣе эти нападки старой няни, холодность матери, суровость отца не могли не дѣйствовать тяжелымъ образомъ на дѣтское воображеніе ребенка, на его скрытное, но чувствительное сердце. Жизнь ему не улыбалась,

онъ не зналъ никакихъ радостей, и Богъ знаетъ, что вышло бы изъ этой сосредоточенности и отчужденности ребенка, еслибы въ домъ къ Баруху не поступилъ молодой учитель Яковъ Саксъ. Появленіе этого чловѣка было какъ нельзя болѣе благотѣльно для развитія Бёрне, любознательность котораго нашла себѣ полное удовлетвореніе въ знаніи и образованіи молодого учителя. Саксъ тотчасъ замѣтилъ, каково было положеніе въ домѣ этого ребенка. Положеніе это такъ рѣзко отдѣлялось отъ положенія другихъ дѣтей, что первый вопросъ, сдѣланный Саксомъ матери Бёрне, заключался въ томъ: примышль онъ, или нѣтъ? Саксъ не только не дѣлалъ никакого различія между дѣтьми, но скоро сталъ больше всего заниматься именно тѣмъ, котораго менѣе любили, потому что онъ больше всѣхъ другихъ выказывалъ способности и дарованія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя было сказать, чтобы Бёрне развивался необыкновенно быстро, скорѣе напротивъ; онъ медленно воспринималъ въ себя что бы то ни было, но воспринятое имъ бывало уже всегда прочно и постоянно усиливало его мыслительныя способности. Яковъ Саксъ былъ горячимъ послѣдователемъ Лессинга и Мендельсона; онъ съ жаромъ относился къ той реформѣ іудейства, которая была провозглашена свѣтлыми умами того времени, и въ этомъ отношеніи вліяніе его на молодого еврея Бёрне могло быть какъ нельзя болѣе благотѣльно. Къ несчастію, отецъ Бёрне поставилъ главнымъ условіемъ Саксу, чтобы онъ въ воспитаніи сына ограничивался исключительно толкованіемъ талмуда, да строгимъ внушеніемъ тѣхъ обязанностей, которыя налагаетъ еврейскій законъ и еврейскія традиціи. Исполнить это условіе Саксу было особенно тяжело по отношенію къ Лудвигу Бёрне, который относился чрезвычайно холодно ко всѣмъ правиламъ и догматамъ, давно потерявшимъ всякую жизнь. Всѣ религиозныя обряды и предписанія онъ исполнялъ механически, и въ этомъ, конечно, нельзя не видѣть пассивнаго вліянія Сакса. Его истинныя воззрѣнія не могли укрыться отъ проницательнаго ума Бёрне. Какъ ни часто слышалъ Саксъ слова: не переходите границъ традиціоннаго воспитанія! тѣмъ не менѣе, помимо своей воли, Саксъ прививалъ къ Бёрне тѣ идеи, которыми онъ былъ самъ воодушевленъ. Чтеніе іудейскихъ священныя книгъ приходилось вовсе не по вкусу Бёрне, онъ оставался къ нимъ такъ же равнодушенъ, какъ и къ посѣщенію синагоги. Ему нравилось въ обрядахъ только то, что носило сколько-нибудь поэтическій оттѣнокъ;

ко всему другому онъ принималъ свою обычную фразу: „какъ это глупо!“ Саксъ дѣлалъ все возможное, чтобы негодованіе юноши Бёрне на притѣсненія евреевъ не превратилось въ узкую злобу, чтобы онъ не сдѣлался, однимъ словомъ, исключительно евреемъ, въ то время, когда онъ долженъ былъ сдѣлаться прежде всего человекомъ. Въ этомъ отношеніи Саксъ успѣлъ какъ нельзя болѣе. Въ натурѣ Бёрне не было ничего узкаго, въ немъ было мѣсто для любви не только одного племени, но цѣлаго человѣчества, хотя на первыхъ порахъ своей жизни онъ натыкался на такіа явленія, на такіа мелкія, но оскорбительныя притѣсненія, которыми могли бы ожесточить его противъ всего христіанскаго міра. Саксъ въ своихъ разговорахъ съ ученикомъ о положеніи евреевъ дѣйствовалъ на него такъ, чтобы притѣсненіе евреевъ представлялось его уму какъ бы частнымъ притѣсненіемъ среди всеобщаго притѣсненія народовъ. Бёрне никакъ не могъ понять, какимъ образомъ люди могли дойти до такихъ „глупыхъ“ преслѣдованій, какъ тѣ, которыя онъ успѣлъ уже испытать на себѣ. Разсужденія, отвѣты юноши до такой степени характеристичны, что нельзя не привести имъ одного или двухъ примѣровъ. Такъ, во время одной прогулки по Франкфурту, Бёрне съ своимъ учителемъ были застигнуты сильнымъ дождемъ; на улицѣ сдѣлалась такая грязь, что по серединѣ улицы не было возможности идти. Бёрне хотѣлъ перейти на тротуаръ. „Развѣ ты не знаешь, — отвѣчалъ Саксъ, — что намъ, евреямъ, запрещено ходить по тротуарамъ?“ — „Никто не видитъ“, было отвѣтомъ Бёрне. Саксъ полагалъ воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы потолковать о святости законовъ, о необходимости повиноваться имъ и такъ далѣе. „Глупый законъ! — отвѣчалъ Бёрне: — еслибы бургомистру вздумалось запретить намъ топить зимой, такъ мы должны были бы замерзнуть?“ Подобный отвѣтъ рисуетъ уже намъ всю мѣткость ума, все остроуміе будущаго Бёрне, его необыкновенную ясность взгляда и энергіи. Чтò въ самомъ дѣлѣ можно было отвѣтить, кромѣ тѣхъ словъ: „глупый законъ!“ и развѣ возможно, въ самомъ дѣлѣ, преклоняться передъ святостью закона, когда онъ представляется невообразимо глупымъ и несправедливымъ? Еще ярче выражается въ немъ это сознаніе глубокой несправедливости законовъ и нежеланіе признавать ихъ святость, когда онъ въ разговорѣ о томъ, что ворота Judengasse запираются въ воскресенье въ четыре часа дня и никто изъ евреевъ не выпускается въ городъ,

за исключеніемъ тѣхъ, кто идетъ съ письмомъ или въ аптеку, воскликнулъ: „Я не выхожу только потому, что солдатъ, который стоитъ у воротъ, сильнѣе меня!“ И несмотря на эти притѣсненія, которыя возмущали молодой умъ Бёрне и заставляли его говорить, что еслибы евреи снова могли возвратиться въ Палестину, то всѣ франкфуртскіе евреи навѣрное ушли бы, тогда какъ всѣ французскіе не захотѣли бы двинуться,—несмотря на это, Бёрне вовсе не испытывалъ злобнаго чувства ко всѣмъ христіанамъ и имъ не овладѣвало желаніе мести. Эти преслѣдованія возбудили въ немъ только ненависть къ подавленію и притѣсненіямъ, на комъ бы и въ какихъ бы формахъ они ни выражались. Онъ не остановился, онъ не былъ поглощенъ этимъ притѣсненіемъ евреевъ, онъ пошелъ дальше и сталъ бороться съ преслѣдованіемъ и подавленіемъ, вообще выпадавшими на долю народовъ. Онъ добивался свободы, но свободы не въ интересъ одной расы, одного племени, а въ интересъ всѣхъ народовъ, всего человѣчества. Вездѣ и для всѣхъ онъ признавалъ свободу необходимою. Враги Бёрне, впоследствии, всегда искали причину городской злобы и негодованія Бёрне на всяческое угнетеніе—въ его еврейскомъ происхожденіи. Подобное объясненіе—употребимъ еще разъ выраженіе самого Бёрне—„глупо“ и несправедливо. Если любовь къ свободѣ прежде всего была порождена въ немъ еврейскимъ происхожденіемъ, вслѣдствіе тѣхъ преслѣдованій, которыя онъ испыталъ съ дѣтскаго возраста, то во всякомъ случаѣ они возбудили въ немъ не желаніе мести, а страстное стремленіе бороться за освобожденіе всѣхъ тѣхъ, кто находился въ угнетенномъ состояніи, къ какому бы племени онъ ни принадлежалъ, какую бы вѣру ни исповѣдовалъ. Онъ самъ, правда, рассказываетъ, что его жестоко обидѣли, когда разъ франкфуртская полиція записала его въ паспортѣ: „Juif de Francfort“, и онъ рѣшился отомстить. Но какова была его месть? Онъ понималъ, что положеніе евреевъ тѣсно связано съ общимъ политическимъ состояніемъ народа, и что одно не можетъ быть улучшено, прежде чѣмъ другое не будетъ измѣнено. Ему стало ясно, что цѣпи, въ которыхъ закованы евреи, влечать точно также и христіанскіе народы. Эти цѣпи всеобщаго рабства, этотъ политическій деспотизмъ нужно было стряхнуть ему прежде всего.

Если; съ одной стороны, притѣсненія, которыя онъ видѣлъ собственными глазами, вліяніе учителя его, Якова Сакса, невольно зна-

комившаго его съ прогрессивными идеями вѣка, вели Бёрне къ тому, чтобы въ немъ явилась страсть къ независимости и любовь къ свободѣ, то этому помогали также и другія обстоятельства. Конечно, Бёрне былъ еще слишкомъ молодъ, чтобы понимать значеніе того переворота, который совершался во Франціи, но тѣмъ не менѣе онъ прислушивался къ тому, что говорилось вокругъ него, и надъ многимъ задумывался. Въ еврейскомъ кварталѣ во Франкфуртѣ образовался въ это время клубъ, куда сходились молодые друзья свободы и новаго порядка. Яковъ Саксъ принадлежалъ къ ихъ числу. Отправляясь въ клубъ, онъ бралъ съ собою своихъ воспитанниковъ, и въ то время, когда другія дѣти играли въ различныя игры, мальчикъ Бёрне одинъ оставался среди взрослыхъ и старался вникнуть въ ихъ разговоры. Многое бывало для него непонятно, и онъ осаждалъ своего молодого учителя разными вопросами о томъ, что такое дворянство, что значить революція, tiers-état, и многое другое вывѣдывалъ онъ у своего учителя. Любознательность въ немъ развилась необыкновенно, и цѣлые дни онъ сталъ проводить за книгами, читая все, что ни попадалось ему подъ руку. Разговоры молодыхъ сторонниковъ революціи, которыхъ окрестили именемъ якобинцевъ, споры, при которыхъ присутствовалъ Лудвигъ Бёрне, наполняли его голову цѣлымъ роемъ возвышенныхъ мыслей, свободныхъ идей. Бёрне было въ это время уже около четырнадцати лѣтъ, слѣдовательно многое становилось ему уже доступно, особенно если вспомнить, что его способности выходили изъ ряда обыкновенныхъ и развитіе его шло исключительнымъ образомъ. Отецъ Бёрне безъ особеннаго удовольствія замѣчалъ въ сынѣ наклонность къ ученію, къ чтенію; онъ постоянно опасался, что сынъ выйдетъ изъ того круга, который предназначенъ былъ ему его происхожденіемъ. Но дѣлать было нечего; отецъ не хотѣлъ все-таки идти наперекоръ стремленіямъ сына, и потому Барухъ рѣшился продолжать образованіе сына и сдѣлать изъ него медика. Эта карьера была единственная, открытая въ то время для евреевъ; другія общественныя положенія были для нихъ недоступны. Бёрне оставался совершенно равнодушенъ къ такому опредѣленію, какъ будто бы дѣло не касалось вовсе его; у него была пока одна потребность—учиться; онъ зналъ, что эта потребность во всякомъ случаѣ будетъ удовлетворена, и потому онъ не могъ не радоваться, когда узналъ, что отецъ рѣшился отправить его въ Гиссенъ, гдѣ профес-

соръ Гецель открылъ тогда учебное заведеніе. Была впрочемъ и другая причина радости: юноша Бёрне былъ счастливъ оставить родительскій домъ, гдѣ его серьезно уже начинала тяготить противоположность его возрѣвій, молодыхъ идей, почерпнутыхъ изъ болѣе или менѣе близкаго знакомства съ исторіею французской революціи, съ возрѣвіями и принципами его отца, не перестававшаго дѣлать сыну всевозможныя наставленія, которыя стали наконецъ его раздражать. Молодому Бёрне сдѣлалось душно въ исключительно еврейской атмосферѣ, тѣмъ болѣе душно, что всѣ эти традиции, обычаи, еврейскіе законы стали для него не чѣмъ инымъ, какъ мертвою буквою, а ничто мертвое не способно было держаться въ живой натурѣ Бёрне. Живя дома, онъ долженъ былъ скрывать шевелившіяся въ немъ мысли и чувства, и это заставляло предполагать въ немъ совершенно иную натуру, чѣмъ ту, которая была въ немъ на самомъ дѣлѣ. Наружное его поведеніе говорило, какъ будто бы онъ не способенъ былъ сочувствовать, принимать живое участіе въ чемъ бы то ни было, какъ будто бы во всѣмъ и ко всему онъ былъ совершенно равнодушенъ, въ то время, когда подъ этою холодною корою скрывался обильный источникъ теплаго чувства, самыхъ нѣжныхъ и вмѣстѣ самыхъ сильныхъ ощущеній. Живя подъ родительскою кровлею, узкою еврейскою жизнью, видя, какъ подчиняются ей даже умные люди, въ молодую натуру Бёрне стало закрадываться все сильнѣе и сильнѣе чувство скептицизма, распространявшагося и на людей, и на жизнь. Казалось, онъ не имѣлъ больше ничего общаго съ тою средою, въ которой онъ жилъ. Онъ сталъ страго судить и людей, и событія, и мѣриломъ его сужденій становилось не чувство, столь понятное въ такомъ юношѣ, а холодный разсудокъ. Для него, казалось, не существовало хорошаго и дурного, а только умное и глупое. Онъ не жаловался, зачѣмъ люди такъ дурны, онъ жаловался, зачѣмъ они такъ глупы. Это расположеніе его ума, это мѣрило, явившееся въ немъ такъ рано, сохранилось въ немъ въ теченіе всей его жизни.

Подобное состояніе было, разумѣется, какъ нельзя болѣе тягостно для четырнадцатилѣтняго мальчика; ему невыносимо было постоянно сосредоточиваться, уходить въ самого себя, скрывать отъ другихъ свои мысли, свои чувства въ такую пору человѣческой жизни, когда все, напротивъ, просится, рвется наружу, когда такъ сладки бываютъ первыя ощущенія, первыя изліянія своихъ неустановившихся чувствъ,

желаній, стремленій. Освободиться изъ подобнаго положенія, взмахнуть крыльями и улетѣть въ безконечное пространство свободы, скрыться отъ назойливаго глаза отца, избавиться отъ скучныхъ наставленій и проповѣдей, вдохнуть въ себя свѣжую струю воздуха, — все это представляетъ величайшее блаженство, и это блаженство испыталъ Бёрне, когда онъ покинулъ родительскій домъ, гдѣ онъ не зналъ никакихъ радостей, гдѣ такъ скупы были для него на любовь и ласку, и отправился вмѣстѣ съ учителемъ своимъ, Яковомъ Саксомъ, въ Гиссенъ, для продолженія своего образованія. Здѣсь для него началась совершенно новая жизнь. Отецъ его рѣшился отправить его въ Гиссенъ главнымъ образомъ потому, что здѣсь жилъ его какой-то родственникъ, у котораго молодой Бёрне могъ бы обѣдать; отецъ опасался, что сынъ его смѣшается съ христіанскими мальчиками и отстанетъ отъ еврейскаго закона. Опасеніе было основательно, такъ какъ очень скоро послѣ того, что Бёрне пріѣхалъ въ Гиссенъ, родственникъ этотъ былъ забытъ, Бёрне велъ такую же жизнь, какъ и остальные юноши, а раввинъ, который приходилъ обучать Бёрне, получалъ деньги за урокъ и тотчасъ уходилъ. Бёрне не хотѣлъ болѣе заниматься ни еврейскимъ языкомъ, ни изученіемъ талмуда; да впрочемъ оно ему было и ненужно, такъ какъ, по свидѣтельству Гецеля, этого знаменитаго оріенталиста, Бёрне обладалъ большими познаніями въ еврейскомъ языкѣ. Гецель заставилъ Бёрне матрикулироваться въ гиссенскомъ университетѣ, хотя, собственно говоря, Бёрне былъ еще слишкомъ молодъ, чтобы посѣщать университетъ и занятія его ограничивались училищемъ. Жизнь Бёрне въ Гиссенѣ устроилась какъ нельзя лучше, и самъ онъ былъ совершенно доволенъ и счастливъ. Послѣ стѣсненія, которое онъ испыталъ въ родительскомъ домѣ, здѣсь онъ просто наслаждался свободою. Живя у Гецеля, онъ видѣлъ много людей, присутствовалъ при оживленныхъ разговорахъ, на вечерахъ, однимъ словомъ, знакомился съ болѣе широкою жизнью, которая для молодого Бёрне была особенно широка послѣ узкаго, ограниченнаго существованія, которое онъ велъ дома. Пребываніе въ Гиссенѣ было важно для Бёрне не столько въ научномъ отношеніи, сколько для развитія въ немъ общественной стороны характера. При этомъ, разумѣется, не упускались изъ виду и занятія, такъ какъ находились такіе учителя, которые жаловались на него, говоря, что у него есть наклонность къ писательству, но „голова не крѣпка“. Но если та-

кое мнѣніе свидѣтельствовало только о недалёковидности учителя, то никто не могъ оспаривать, что Бёрне отличался нѣкоторою лѣнью, которая искупалась впрочемъ извѣстною оригинальностью его ума и которую всѣ скоро должны были признать за нимъ.

Наступило наконецъ время для Бёрне перестать только числиться студентомъ, а сдѣлаться дѣйствительно студентомъ и пачать свои занятія въ университетѣ. Гиссенскій университетъ не отличался своимъ медицинскимъ факультетомъ; отправить же своего сына въ другой какой-нибудь университетъ—старикъ Барухъ не рѣшался, опасаясь слишкомъ большой независимости, которою не замедлилъ бы воспользоваться молодой Бёрне. Послѣ долгихъ переговоровъ рѣшились наконецъ поручить его дальнѣйшее образованіе, и уже спеціально-медицинское, знаменитому еврейскому медику Маркусу Герцу, который жилъ въ Берлинѣ. Въ это время берлинскаго университета еще не существовало; онъ былъ основанъ нѣсколько позже, именно въ 1810 году, когда, послѣ пораженія прусской монархіи при Іенѣ, правительство употребило всѣ свои усилія, чтобы поднять нѣсколько націю, которую чуть не убилъ Наполеонъ своими жестокими ударами. До основанія университета въ Берлинѣ, тутъ было нѣсколько знаменитыхъ докторовъ, которые собирали вокругъ себя молодежь, образовывая такимъ образомъ какъ бы вольный университетъ. Маркусъ Герцъ принадлежалъ къ числу этихъ знаменитыхъ профессоровъ-медиковъ. Подъ его именно надзоромъ и долженъ былъ начать свое медицинское научное образованіе молодой Лудвигъ Бёрне. На роду Бёрне не было написано быть докторомъ; его порывистая, нервная натура не соответствовала такому роду занятій. Медицинскія занятія Бёрне не дали особенно блистательныхъ результатовъ. Но зато во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, въ отношеніи общаго развитія жизни въ Берлинѣ имѣла на Бёрне самое рѣшительное и самое лучшее вліяніе. Берлинъ въ это время представлялъ собою центръ, средоточіе умственной жизни; сюда стекались самые свѣтлые умы, здѣсь было самое живое, самое просвѣщенное общество; наука, литература, искусство имѣли здѣсь своихъ лучшихъ представителей—тутъ только, однимъ словомъ, можно было познакомиться съ цвѣтомъ германской жизни, германской образованности. Разумѣется, далеко не всякій могъ принимать участіе въ этой высшей умственной жизни, тутъ было мало избранныхъ, и, разумѣется, молодой студентъ Бёрне, не имѣвшій вре-

мни заявить еще свой талантъ, могъ бы прожить въ Берлинѣ нѣсколько лѣтъ и все-таки никогда не приблизиться къ этой избранной средѣ. Къ счастью, сама судьба покровительствовала Бёрне, и 19-лѣтній юноша Бёрне, прямо по пріѣздѣ своемъ въ Берлинъ, попадаетъ въ этотъ кругъ. Голова молодого студента не могла не закружиться. Все, о чемъ онъ только могъ мечтать въ своей Judengasse, все это было передъ нимъ на яву. Домъ Герца привлекалъ къ себѣ все, что только было замѣчательнаго въ Берлинѣ, но въ домѣ Герца особенно привлекала къ себѣ замѣчательная по уму женщина, жена доктора, Генріетта Герцъ.

Бёрне поддался вліянію того философскаго и умственнаго движенія, представителей которыхъ онъ видѣлъ передъ собою; въ немъ какъ бы стали пробуждаться зародыши его истиннаго призванія, и медицина хотя и оставалась его, такъ сказать, официальнымъ занятіемъ, но все болѣе и болѣе отступала на задній планъ. Живой умъ Бёрне впитывалъ въ себя всѣ лучшіе соки этого умственнаго улья; онъ не могъ не быть очарованъ тѣмъ кружкомъ, который собирался то вокругъ Генріетты Герцъ, то вокругъ другой женщины, еще болѣе замѣчательной, Рахели Фарнгагенъ. Въ этомъ кругѣ появились извѣстные философы, какъ Фихте, Шлейермахеръ, извѣстные литераторы братья Шлегели, а еще болѣе знаменитые братья Гумбольдты; тутъ же наконецъ духовнымъ образомъ присутствовалъ и самъ Гёте, къ которому любовь въ кружкѣ Рахели доходила до какого-то культа. Рахель была дѣйствительно душою этого общества, описаніе котораго можно найти въ ея письмахъ, въ ея обширной корреспонденціи, которую она вела почти со всѣми замѣчательными людьми своего времени. Конечно, трудно довѣрять портрету, который пишетъ съ нея ея мужъ Фарнгагенъ фонъ-Энзе, представляющій ее какими-то особеннымъ, сверхъестественнымъ явленіемъ и говорящій въ предисловіи къ своей книгѣ „*Rahel*“, что онъ „даже не смѣетъ попробовать представить описаніе ея характера“; но во всякомъ случаѣ, сбавивъ съ этихъ похвалъ половину, нельзя не признать, что она была одною изъ самыхъ замѣчательныхъ нѣмецкихъ женщинъ. Письма ея, обличающія необыкновенную полноту жизни, какъ выражается Фарнгагенъ, обличаютъ виѣсть съ тѣмъ излишнюю наклонность къ приторности и сентиментализму, который друзья принимали за выраженіе удивительной поэтической натуры. Рахель была главною виновницею культа,

обожанія Гёте; каждое слово его должно было быть отчеканено на золотѣ; восхищеніе не знало никакихъ границъ, такъ что стали даже восхищаться тѣмъ, что вовсе не заслуживало восхищенія. Такъ, напр., съ какимъ восторгомъ она рассказываетъ, что когда докторъ явился къ Гёте и со всевозможными осторожностями, опасаясь слишкомъ сильнаго впечатлѣнія, объявилъ ему о смерти его сына, онъ спокойно отвѣтилъ: „я зналъ, что сынъ мой смертенъ“. Этотъ отвѣтъ наполняетъ Рахель какимъ-то благоговѣніемъ передъ Гёте. Впрочемъ, такое отношеніе объясняется натурою Рахели, которая вездѣ желала видѣть одну поэзію. Жанъ-Поль Рихтеръ, этотъ писатель сердца и увлеченія, писатель, котораго такъ искренно любилъ Бёрне, довольно мѣтко характеризуетъ Рахель, когда онъ пишетъ ей: „вы вносите высшую свободу поэзіи въ область дѣйствительности и то, что прекрасно тамъ, желаете находить прекраснымъ и здѣсь; но поэтическія страданія, перенесенныя въ прозу жизни, и составляютъ настоящія, истинныя страданія“. Рахель вносила свое поэтическое настроеніе въ кружокъ замѣчательныхъ людей, собравшихся въ Берлинѣ, своимъ воодушевленіемъ она воодушевляла и всѣхъ другихъ.

Вліяніе кружка Рахели на молодого студента было какъ нельзя болѣе сильно; результатомъ его было то, что связь Бёрне съ узкимъ еврействомъ, въ которомъ онъ воспитывался, была окончательно порвана, и съ этого времени онъ начинаетъ уже зорко слѣдить за умственнымъ движеніемъ Германіи и принимаетъ въ себя всѣ его лучшіе результаты. Бёрне становится уже тутъ и становится навсегда горячимъ послѣдователемъ и партизаномъ ея умственного и политическаго движенія, которое охватывало Германію, и чѣмъ больше сросся онъ съ этимъ либеральнымъ движеніемъ, тѣмъ больше возненавидѣлъ онъ противоположное движеніе, охватившее Германію въ тяжелую эпоху реакціи, наступившей послѣ 1815 года. Пребываніе въ Берлинѣ, знакомство съ кружками Генріетты Герцъ и Рахели Фарнгагенъ наложили вѣчную печать, такъ сказать, на общественную сторону характера Бёрне, на его умственное развитіе; но рядомъ съ этимъ была еще одна сторона,—сторона его внутренней, сердечной жизни, которая тутъ впервые получила сильный толчокъ. Генріетта Герцъ была уже 38-ми-лѣтнею женщиною, когда Бёрне пріѣхалъ въ Берлинъ, но, несмотря на эти годы, она была еще очень хороша собою. Бёрне, живя въ ея домѣ, находясь

постоянно около нея, почувствовалъ къ ней скоро привязанность, которая превратилась въ страстную „первую“ любовь семнадцатилѣтняго юноши.

Письма и дневникъ Бёрне показываютъ намъ всѣ фазисы этой любви, всѣ періоды ея развитія, и недавно еще, въ 1861 году, были въ первый разъ опубликованы „Письма молодого Бёрне къ Генріеттѣ Герцъ“. Издатель этихъ писемъ совершенно правъ, когда онъ говоритъ, что письма эти „показываютъ въ первый разъ“ молодого Бёрне, и нельзя не удивляться, до какой степени въ раннихъ изліяніяхъ семнадцатилѣтняго или восемнадцатилѣтняго юноши виденъ уже будущій Бёрне; остроуміе, юморъ, мягкость, рѣзкость, своеобразность будущего писателя—все сказывается тутъ. Радость, отчаяніе, грусть и счастье, наивность и остроуміе — все перемеживается въ этихъ письмахъ, гдѣ онъ то жалуется на „пустоту сердца“, то на „желанія его груди“. „Я не веселъ, я не печаленъ... мое сердце бьется медленными, сильными ударами....“ описываетъ онъ первыя ощущенія своей первой любви. Черезъ какой-нибудь мѣсяцъ чувство это успѣло уже вырасти, и онъ не можетъ иначе опредѣлить его, какъ говоря: „я чувствую, что я горю и все мое существо измѣнилось“. Необыкновенная нѣжность выходитъ наружу у Бёрне,—та нѣжность, въ которой ему отказывали всегда его враги. „Когда она читала „Ифигенію“, —пишетъ юноша Бёрне, — я съ трудомъ удерживалъ мои слезы. Я не слушалъ словъ, я замѣчалъ только ея выраженіе. Богъ мой, зачѣмъ люди стыдятся плакать?“ Любовь эта шла все crescendo и crescendo. Бёрне отъ одного слова бывалъ счастливъ и отъ одного слова убитъ; онъ желалъ въ одно время, чтобы она была гораздо старше; чтобы онъ могъ любить ее какъ мать, и гораздо моложе, чтобы онъ могъ любить ее какъ... въ головѣ Бёрне это не было ясно. Въ горячемъ, искреннемъ письмѣ онъ повѣдалъ Генріеттѣ Герцъ свою любовь, свой юношескій пылъ. Онъ нашелъ въ своей груди, въ своей головѣ слова, начерченные огненными буквами: ты любишь ее! и слова эти дѣлали его невыразимо несчастнымъ. „Ваша красота, ваша любезность, ваше дружеское ко мнѣ участіе давно уже зажгли въ моей груди страсть, которая сдѣлаетъ меня счастливымъ или несчастнымъ, которая будетъ для меня пагубна или благодатна, смотря по тому, какъ вы захотите или какъ судьба это рѣшить. Ваша любовь къ людямъ общается мнѣ, что вы не станете сердиться; ваше доброе

сердце заставляет меня надеяться, что вы будете терпѣть меня, но во мнѣ нѣтъ никакихъ достоинствъ, и это отнимаетъ у меня всякую надежду“... Письмо это было далеко не послѣднее, но скоро молодому сердцу Бёрне былъ нанесенъ жестокий ударъ: старикъ Герцъ умеръ, и ему нельзя было болѣе оставаться въ Берлинѣ. Любовь эта не скоро угасла въ немъ; долго тлѣла она въ Бёрне, долго переписывался онъ еще съ этою замѣчательною женщиною, которая въ 17-ти-лѣтнемъ юношѣ съумѣла оцѣнить будущаго писателя. Любовь эта навсегда, на всю его жизнь оставила въ немъ самыя свѣтлыя, самыя теплыя воспоминанія, и когда черезъ двадцать пять лѣтъ онъ пріѣзжаетъ въ Берлинъ, прежде всего онъ спѣшитъ увидѣть свою старую и все-таки юную, свою первую любовь. Въ это время Генріеттѣ Герцъ было уже 64 года. Въ письмѣ къ м-ше Воль, подругѣ своей цѣлой жизни, онъ описываетъ свою встрѣчу съ Генріеттой Герцъ, которой, рассказываетъ Бёрне, „моя каждая сентиментальная строчка доставляетъ величайшую радость“. Юморъ Бёрне она менѣе цѣнила. Какое неугасаемое впечатлѣніе оставила м-ше Герцъ на Бёрне, такое же прочное, хорошее впечатлѣніе произвела на него вообще берлинская жизнь, которая была для него вѣчнымъ праздникомъ. Бёрне всегда любилъ Берлинъ, и онъ охотно выносилъ его даже въ то время, когда общество не занималось болѣе политикою и литературою, а только разговорами объ оперныхъ танцовщицахъ, да еще, какъ онъ самъ выражается, о принцахъ королевскаго дома... правда, только на короткое время. Бёрне возвращается потомъ въ Берлинъ, въ этотъ городъ, гдѣ онъ сталъ впервые вдумываться въ политическія событія, въ общественные вопросы, гдѣ онъ впервые сталъ жить болѣе или менѣе самостоятельною жизнью, почерпая въ окружавшей его средѣ здоровыя соки, набираясь силъ для будущей дѣятельности. Онъ возвращается въ Берлинъ уже съ громкимъ именемъ, смѣлымъ проповѣдникомъ свободныхъ идей, а не тѣмъ робкимъ, молодымъ студентомъ, который со слезами долженъ былъ покинуть свою первую платоническую любовь — м-ше Герцъ.

М-ше Герцъ сама посоветовала Баруху отправить сына въ Галле, гдѣ въ то время славился университетъ. Только здѣсь начинается его настоящая жизнь нѣмецкаго студента, странствующаго изъ одного университета въ другой, почерпая въ каждомъ изъ нихъ все, что есть въ немъ лучшаго: здѣсь слушая одни лекціи, тамъ другія, здѣсь

работая у одного профессора, тамъ у другого. Бёрне отправился въ Галле съ твердымъ намѣреніемъ заниматься медициною, которою онъ такъ пренебрегалъ въ Берлинѣ, подъ руководствомъ знаменитаго профессора Рейля. Съ самыхъ первыхъ словъ Рейля Бёрне долженъ былъ уже понять, что школьная жизнь для него кончилась, что онъ предоставленъ уже самому себѣ, и что отъ него совершенно зависитъ дѣлать что-нибудь или нѣтъ. Суровая наружность Рейля нѣсколько испугала 18-ти-лѣтняго Бёрне, но онъ не могъ не быть доволенъ, когда Рейль сказалъ ему: „вы знаете, что я страшно занятъ, и потому мелочами я не могу съ вами заниматься; все, что я могу для васъ дѣлать, состоитъ въ томъ, что отъ времени до времени я дамъ вамъ хорошій совѣтъ и скажу вамъ, какъ вы лучше всего можете его исполнить“. — „Это драгоцѣнный совѣтникъ!“ прибавляетъ Бёрне. Университетъ Галле былъ въ то время въ самомъ цвѣтущемъ состояніи; болѣе 1.200 студентовъ посѣщали лекціи, которыя читались лучшими профессорами; сюда стеклись самыя громкія имена науки. Молодежь работала съ необыкновеннымъ рвеніемъ; наука тутъ шла рядомъ съ жизнью, и занятія студентовъ нисколько не страдали оттого, что они удѣляли часть своего времени на политическіе споры, разсужденія; они не работали хуже оттого, что имъ была предоставлена полная свобода заниматься общественными вопросами, интересоваться политическими дѣлами своей страны. Бёрне принималъ самое живое участіе во всѣхъ этихъ дѣлахъ, и если никогда не рѣшался произносить длинныхъ рѣчей, то своими шѣтками, глубокими, въ высшей степени остроумными замѣчаніями сдѣлалъ то, что скоро всѣ стали обращать вниманіе на тихаго, скромнаго, сосредоточеннаго маленькаго студента. Самъ Рейль относился всегда съ большимъ участіемъ и вниманіемъ къ молодому Бёрне, который ревностно сталъ работать. Бёрне былъ какъ нельзя болѣе доволенъ своею жизнью въ Галле; онъ съ восторгомъ вспоминаетъ объ этомъ университетѣ, который нѣсколько лѣтъ спустя былъ уничтоженъ декретомъ Наполеона. Живая наука всегда была и будетъ ненавистна деспотамъ. Никто лучше самого Бёрне не можетъ описать жизни въ Галле, никто не въ состояніи представить болѣе рельефную картину состоянія какъ самого университета, такъ и молодежи, наполнявшей его, и потому мы представимъ читателю одну или двѣ выдержки изъ его

статьи *), написанной гораздо позже, но гдѣ онъ вспоминаетъ объ университетѣ Галле, о его профессорахъ и студентахъ.

„Я съ восторгомъ вспоминаю студенческіе годы, которые я провелъ въ Галле. Молодость хороша для всѣхъ, гдѣ бы и какъ бы она ни проходила; но для студентовъ она вдвое прекраснѣе. На одной и той же тропѣ они находятъ и трудъ, и веселье, и они освобождены отъ тяжелаго выбора между удовольствіемъ и работою, въ то время какъ во всякомъ другомъ положеніи юноша слишкомъ рано поставленъ на рубежѣ двухъ дорогъ Гераклеса. Въ Галле шла здоровая, полная движенія, благотворная научная жизнь. Геттингенъ былъ тогда тѣмъ, чѣмъ онъ былъ всегда, чѣмъ остается и до сихъ поръ: пріютомъ почтеннаго традиціоннаго знанія, аристократическимъ помѣстьемъ, богатый прекрасно устроенными, обезпеченными, неотчуждаемыми землями. Въ Галле же господствовалъ больше иппіанскій, промышленный трудъ, денежные обороты ума; знаніе и обученіе быстро и весело переходили изъ устъ въ уста, изъ рукъ въ руки. Мудрая и благотѣльная заботливость прусскаго правительства образовала собраніе профессоровъ, которые, не отвергая старыхъ пріобрѣтеній науки, сочувствовали всему новому. Вольфъ, громкая слава котораго не превосходила его заслугъ, знакомилъ насъ близко съ Анакреономъ и надменными женихами Пенелопы. Шлейермахеръ читалъ богословіе такъ, какъ преподавалъ бы его Сократъ, еслибы онъ былъ христіаниномъ. Въ своихъ лекціяхъ этики онъ рассматривалъ нравственную, научную и гражданскую жизнь людей. Въ его аудиторіи собирались не только университетская молодежь, но и люди зрѣлыхъ лѣтъ и всѣхъ сословій. Въ то же самое время онъ былъ университетскимъ проповѣдникомъ, и его слушатели становились тѣмъ набожнѣе, чѣмъ болѣе вдумывались въ его рѣчи, потому что Шлейермахеръ плылъ по морю вѣры, вооруженный компасомъ знанія и держась разсчитаннаго, вѣрнаго, несомнѣнно точнаго направленія. Рейль былъ одинаково замѣчательнъ какъ человекъ, какъ профессоръ медицины и какъ практикъ. Его фигура была благородна и внушала уваженіе, глаза его походили на глаза Фридриха Великаго **). Въ то время, когда онъ

*) Die Apostaten des Wissens und die Neophyten des Glaubens, I. B. Böhrnes Gesammelte Schriften.

**) Говоря это, Бёрне, разумѣется, желалъ сдѣлать комплиментъ Рейлю, потому что, по его мнѣнію, во всей исторіи было только два достойныхъ короля: Генрихъ IV и Фридрихъ II.

былъ окруженъ своими учениками, которые столько же любили его, сколько и удивлялись ему, можно было легко вообразить себя въ академіи Афинъ; онъ умѣлъ внушать своимъ больнымъ и ихъ роднымъ непоколебимое довѣріе къ себѣ, и неисцѣлимые теряли жизнь, но никогда не лишались надежды. Свои лекціи терапіи и о глазныхъ болѣзняхъ онъ начиналъ и перемѣшивалъ стихами Шиллера и Гёте, и драгоценные плоды его изслѣдованій были скрыты подъ цвѣтами. Тому, кто посѣщалъ только первыя лекціи семестровъ, могло показаться, что онъ слушаетъ профессора нравственной философіи или эстетики. Достигнувъ уже зрѣлыхъ лѣтъ, когда знаніе можетъ распространяться только въ ширину, а не идетъ болѣе въ глубину, и когда созрѣвшіе колосья духа опускаютъ къ землѣ свои тяжелыя головы, сознавая необходимость этого закона природы—Рейль, въ тѣсные кружки своихъ друзей и учениковъ, выражалъ наивное и трогательное опасеніе, что онъ можетъ утратить молодость духа. Чтобы обезпечить себя отъ этой опасности, онъ постоянно старался окружать себя порывистою молодежью и новыми книгами. Гаркель усвоилъ себѣ ученіе Кювье и внушилъ любовь къ сравнительной анатоміи и физиологіи. Въ умныхъ лекціяхъ знакомилъ онъ насъ съ низшими относительно человѣка организмами, и показывалъ совершенство человѣческаго организма въ сравненіи съ несовершенствомъ организма животныхъ. Его скромность была такъ велика, что въ то время онъ не напечаталъ еще ни одного сочиненія, а жажда знаній въ немъ была такъ велика, что изъ-за нея онъ часто не помнилъ обязанностей профессора, и, поглощенный результатами своихъ изслѣдованій, онъ часто забывалъ сообщать, какимъ путемъ онъ дошелъ до нихъ. Наконецъ, Стеффенсъ доводилъ до энтузіазма университетскую молодежь "...

Такъ отзывался Бёрне о своихъ учителяхъ, такъ вспоминалъ онъ о тѣхъ людяхъ, которымъ онъ въ значительной степени былъ обязанъ своимъ развитіемъ. Что восхваляетъ въ нихъ Бёрне, о чемъ говоритъ онъ съ такимъ восторгомъ?—онъ восхваляетъ живую науку, преподаваемую живыми людьми. Наука въ эту свѣтлую полосу времени шла рука объ руку съ жизнью, она переплеталась съ общественными, политическими вопросами. Скоро должно было наступить время, когда наука должна была превратиться въ сухую и мертвую матерію, когда въ самой невинной фразѣ власти готовы были видѣть воззваніе къ возмущенію, бунту.

Бёрне захватилъ послѣдніе счастливые дни университета въ Галле. Если Бёрне съ увлеченіемъ вспоминаетъ о своихъ профессорахъ, то и сама студентская жизнь вызываетъ въ немъ живое сочувствіе и любовь. „Воодушевляемая такими учителями, — рассказываетъ Бёрне, — кровь университетской молодежи лилась быстрымъ и горячимъ потокомъ по всѣмъ венамъ духа. Въ то время въ Іенѣ было 1.200 студентовъ, и ихъ общественная жизнь была такъ бурна и дика, какъ можно только себѣ вообразить. Нравы, языкъ, одежда — все носило гигантски-дикій характеръ. Они ходили въ большихъ сапогахъ, называвшихся „пушками“, и въ шлемахъ, украшенныхъ красными, зелеными, бѣлыми или черными перьями, смотря по корпораціи, къ которой принадлежалъ студентъ. Они походили такимъ образомъ верхнею частью на римскихъ воиновъ, нижнею — на нѣмецкихъ почтальоновъ. Но тѣмъ трогательнѣе было видѣть, когда изъ-подъ этой грубой оболочки прорывалось воодушевленіе наукою. Я помню, какъ на одной пирушкѣ, куда граціи не были приглашены, зашелъ горячій споръ между двумя дикими юношами о Шеллинговой натуральной философій... Одинъ другому сказалъ, что онъ говоритъ вздоръ. Это былъ вызовъ: черезъ два дня кровь была пролита. Такъ протекали для насъ три года — длинный рядъ медовыхъ мѣсяцевъ. Ахъ, какъ счастлива нѣмецкая университетская молодежь! Да отсохнеть та рука, которая посмѣетъ загрязнить эту прекрасную жизнь...“ Разумѣется, каждому свое, и если мы съ снисходительною улыбкою относимся къ этимъ краснымъ, зеленымъ, чернымъ и бѣлымъ перьямъ, то Бёрне не былъ бы нѣмецъ, еслибы онъ не вспоминалъ съ удовольствіемъ о римскихъ шлемахъ и нѣмецкихъ „пушкахъ“. Бёрне заключаетъ эти воспоминанія о студентской жизни въ Галле словами: „Тогда произошло сраженіе при Іенѣ, пришли французы, и университетъ былъ закрытъ. Наполеонъ не боялся войска цѣлой Европы, но онъ опасался силы ума, потому что онъ зналъ его могущество... Наполеонъ не раздавилъ духъ, потому что онъ не презиралъ его какъ червяка, онъ крѣпко заковалъ его, потому что онъ уважалъ его какъ льва, и жестоко заплатился за то, что онъ не понялъ, что не львовъ нужно заточать, а лисицъ“.

Три года провелъ такимъ образомъ Бёрне въ Галле, ревностно занимаясь наукою, и въ то же время все глубже и глубже вникая въ политическія событія, которые наполняли тогда Европу. Онъ пригля-

дывался къ положенію Германіи, онъ старался установить себѣ трезвый взглядъ на политическія дѣла, и очень рано уже въ Бѣрне поражаетъ самостоятельное воззрѣніе на политическія отношенія Европы, на французскую революцію и на ея значеніе для цѣлаго міра. Онъ отлично сознавалъ, что энтузіазмъ, возбужденный ненавистью къ завоевателю, не долженъ вести къ ненависти противъ началъ революціи; онъ очень рано понималъ, какъ безумны тѣ, которые, любя свободу, объявили себя врагами революціи и провозглашенныхъ ею идей. Во время его пребыванія въ Галле, въ немъ слагаются уже тѣ политическія убѣжденія, которыя онъ проводилъ въ теченіе всей своей жизни, и какъ ни горячо онъ любилъ Германію, и какъ ни пламенно желалъ онъ свободы и независимости своей родины, но никогда почти ложно понятый патріотизмъ не доводилъ его до нелѣпой ненависти къ Франціи, которая такъ или иначе представляла собою олицетвореніе новыхъ началъ, новаго времени, новой жизни.

Бѣрне не присутствовалъ въ Галле при послѣднемъ издыханіи любимаго имъ университета. Послѣ трехлѣтняго пребыванія своего, онъ простился съ этимъ мѣстомъ своей лучшей юношеской поры и отправился въ Гейдельбергъ. Что побудило его бросить Галле, прежде чѣмъ университетъ тутъ былъ закрытъ по приказанію генеральнаго солдата? Главнымъ побужденіемъ къ тому было, разумѣется, его твердое рѣшеніе покинуть медицину и перейти на другой факультетъ. Онъ никогда не чувствовалъ влеченія къ этой дѣятельности, и если рѣшился на нее, то только потому, во-первыхъ, что таково было желаніе отца, и, во-вторыхъ, всякая другая общественная дѣятельность была закрыта для евреевъ. Благодаря вліянію французской революціи, это варварское исключеніе евреевъ изъ общественной жизни рушилось, и Франкфуртъ, подпавъ французскому господству, выигралъ то, что дикія преслѣдованія противъ евреевъ прекратились, и имъ сдѣлались доступны всѣ отрасли общественной дѣятельности. Бѣрне рѣшился сдѣлаться юристомъ. Это рѣшеніе молодого Бѣрне какъ нельзя болѣе возмутило его отца, который вознегодовалъ на сына, заставившаго его потратить столько денегъ на его медицинское образованіе и теперь отказывавшагося сдѣлаться медикомъ. Но рѣшеніе Бѣрне было непоколебимо; онъ чувствовалъ себя неспособнымъ относиться хладнокровно къ людскимъ страданіямъ. Его чувствительные нервы не могли къ этому привыкнуть. ~~Впрочемъ~~, не за одно это негодовалъ

Барухъ на своего сына: онъ не могъ простить ему тѣхъ небольшихъ долговъ, которые сдѣлалъ Бёрне во время своего пребыванія въ Галле. Барухъ отказался платить долги сына, и два года тянулся процессъ, кончившійся неблагопріятно для старика Баруха: онъ принужденъ былъ въ концѣ концовъ уплатить эти долги. Бёрне самъ описываетъ съ большимъ юморомъ свои столкновенія съ отцомъ и его желаніе постоянно вѣшпиваться не только въ денежныя дѣла сына, на что онъ имѣлъ полное основаніе, но и въ его научныя занятія. И въ Гейдельбергѣ, куда пріѣхалъ молодой Бёрне, отецъ не оставилъ его въ покоѣ, и тутъ онъ поручаетъ одному изъ профессоровъ слѣдить за занятіями сына. Двадцатилѣтнему юношѣ это далеко не нравилось, и онъ нисколько не считалъ себя обязаннымъ въ выборѣ своихъ занятій руководиться желаніями своего отца. Не успѣлъ этотъ послѣдній примириться съ мыслью, что сынъ его, занимаясь юридическими науками, сдѣлается современемъ извѣстнымъ адвокатомъ, какъ Бёрне уже покидаетъ юридическія науки и начинаетъ исключительно заниматься камеральными, политическими науками. Натура Бёрне брала свое: его преимущественное влеченіе къ общественнымъ, политическимъ вопросамъ вышло окончательно наружу. Вѣроятно, онъ бы и окончилъ свое образованіе въ Гейдельбергѣ, еслибы не настоятельное требованіе отца, чтобы онъ отправлялся въ Гиссенъ. Бёрне исполнилъ это желаніе, оставилъ Гейдельбергъ и вернулся для окончанія своего образованія туда, гдѣ онъ, можно сказать, его началъ. Онъ усердно сталъ въ Гиссенѣ работать, и не прошло и года, какъ онъ выдержалъ экзаменъ на доктора философіи и представилъ двѣ диссертациа, изъ которыхъ одна носила названіе: „О геометрическомъ распредѣленіи государственной территоріи, другая — „Наука и жизнь“; кромѣ того, онъ написалъ тогда же еще одно политико-экономическое изслѣдованіе: „О деньгахъ“. Совѣтъ профессоровъ объявилъ, что авторъ этихъ диссертаций какъ нельзя болѣе заслуживаетъ званія доктора философіи. Такимъ образомъ, 8-го августа 1808 года, Бёрне окончилъ свое образованіе. Ему было двадцать два года. Съ громкимъ дипломомъ доктора философіи молодой Бёрне вернулся въ свой родной городъ — Франкфуртъ-на-Майнѣ.

II.

Бёрне чувствовалъ себя не совсѣмъ пріятно въ первое время своего пребыванія на родинѣ. Въ Берлинѣ, Галле, въ Гейдельбергѣ, въ Гиссенѣ онъ получилъ привычку вращаться въ самомъ блестящемъ обществѣ, встрѣчаться каждый день съ самыми свѣтлыми умами Германіи; попавъ во Франкфуртъ опять въ замкнутый еврейскій кружокъ, онъ не могъ не испытывать какого-то нравственнаго удущья. Тѣмъ менѣе могла ему нравиться жизнь въ родномъ городѣ, что онъ оставался тутъ совершенно изолированнымъ; никто не умѣлъ оцѣнить по достоинству молодого Бёрне. Всѣ, напротивъ, относились къ нему съ какимъ-то высокоумнымъ недоумѣемъ, основываясь на томъ, что онъ постоянно бросался отъ одного занятія къ другому, не успѣвалъ сдѣлать что-нибудь въ одномъ направленіи, какъ уже покидалъ прежнее и принимался за другое. Люди обыкновенно не довѣряютъ тѣмъ, которые не хотятъ идти по протоптанному пути. Недоумѣе къ Бёрне усиливалось еще тѣмъ не совсѣмъ пріязненными отношеніями, въ которыхъ онъ находился къ своему отцу. Бёрне былъ въ переходномъ состояніи, его дѣятельность не опредѣлилась еще нормальнымъ образомъ, однимъ словомъ, онъ не зналъ еще хорошенько, что дѣлать съ собою. Отецъ Бёрне, заботившійся больше всего, чтобы сынъ его не вышелъ изъ обыкновенной колеи, постарался добыть ему мѣсто при полицейскомъ управленіи города Франкфурта. Возможность занять подобное мѣсто еврею Бёрне представилась только благодаря тому, что Франкфуртъ не имѣлъ уже въ это время своей самостоятельности: онъ подчиненъ былъ французскому господству, которое не хотѣло знать никакихъ различій между евреями и христіанами. Не по душѣ было Бёрне, который чувствовалъ въ себѣ уже священный огонь политическаго писателя, это полицейское мѣсто; но дѣлать было нечего, нужно было принять его, потому что ничто другое не представлялось ему еще въ это время. Взявшись за это дѣло, онъ выполнялъ свои обязанности съ необыкновеннымъ усердіемъ и стараніемъ. Нельзя въ самомъ дѣлѣ не согласиться съ біографами Бёрне, когда они жалуются на эту иронію судьбы, принудившую человѣка, который долженъ былъ создать политическую литературу въ Германіи, ить свою неудар-

жиною сатирою и страстною рѣчью нѣмецкій народъ, — принять скромное мѣсто въ полицейскомъ управленіи. „Нельзя безъ труда представить себѣ—говоритъ Гуцковъ—автора „Парижскихъ писемъ“ въ темныхъ комнатахъ франкфуртскаго полицейскаго управленія, занятаго визированіемъ паспортовъ, просмотромъ книжекъ рабочихъ, приѣмомъ протоколовъ, и при торжественныхъ случаяхъ являющимся представителемъ полиціи въ парадной формѣ и при шпагѣ“. Нечего и говорить, что во время своей службѣ онъ не совершилъ ни одного поступка, за который ему когда бы то ни было пришлось краснѣть, и только Гейне, впоследствии, въ своей непростительной книгѣ о Бёрне позволилъ себѣ въ минуту раздраженія обратить ему въ упрекъ его дѣятельность словами: „бывшій полицейскій чиновникъ“. На своемъ скромномъ мѣстѣ Бёрне приобрѣлъ себѣ скоро и уваженіе, и популярность своею терпѣливостью съ просителями, своимъ обращеніемъ, своими знаніями. Самые трудныя работы всегда поручались Бёрне, а другіе его руками загребали жаръ. Неподкупность Бёрне стала скоро общеизвѣстна, и въ то время, да пожалуй и по сю пору, она не была такимъ обыкновеннымъ явленіемъ, чтобы о ней громко не заговорили. Бёрне былъ чрезвычайно дѣятеленъ на своемъ мѣстѣ, стараясь приносить своимъ согражданамъ возможно большую пользу. Онъ оправдалъ собою поговорку, что не мѣсто красить человѣка, а человѣкъ мѣсто. Рядомъ съ этимъ, Бёрне выказалъ большую энергію, мужество и даже храбрость. Гуцковъ передаетъ, что когда въ 1813 году вошли во Франкфуртъ баварскіе солдаты и пытались производить грабежъ, тогда Бёрне, вмѣстѣ съ другими полицейскими чинами, съ обнаженною шпагою оказывалъ имъ сопротивленіе. „Не бойтесь этой шпаги,—говорилъ впоследствии Бёрне одному изъ своихъ друзей,—на ней не было крови“. Бёрне шутилъ надъ этимъ временемъ своей воинственности и рассказывалъ съ своимъ обыкновеннымъ остроуміемъ, что когда, стоя на одномъ мосту, мимо его головы летали баварскія пули, то онъ больше боялся сквозного вѣтра, который они производили, нежели самыхъ пуль.

Къ этому же самому времени относится начало его публицистической дѣятельности. Въ родномъ городѣ его стали цѣнить, когда узнали его рѣчи, произнесенныя имъ въ еврейской масонской ложѣ,—рѣчи, дышавшія любовью къ человѣчеству и пропитанныя самыми

возвышенными идеями. Рядомъ съ этимъ онъ начинаетъ помѣщать во Франкфуртскомъ журналѣ мелкія статьи, которыя не могли не обратить на себя всеобщаго вниманія необыкновенною силою языка, лѣткостью выраженій и, главнымъ образомъ, своимъ жаромъ и страстностью, обличавшими несомнѣнный и изъ ряду выходящій талантъ его. Статья, обратившая на себя вниманіе, называлась: „Was wir wollen“; въ ней Бёрне поддался всеобщему раздраженію противъ Франціи,—раздраженію, которое такъ скоро уступило мѣсто спокойному и трезвому взгляду на политическія событія. Онъ обращается къ нѣмецкому юношеству съ просьбою не тратить напрасно своихъ силъ, а напротивъ беречь ихъ, чтобы имѣть возможность осуществить свою волю, свои желанія. Желанія же сводились къ тому, чтобы нѣмцы были свободнымъ народомъ. „Мы хотимъ быть свободными нѣмцами,—писалъ Бёрне,—свободными въ нашей ненависти. Ни тѣломъ, ни сердцемъ мы не хотимъ подчиниться чуждому народу. Тиранія ранить, но не умерщвляеть; но развращающая забава отравляетъ и губить. Одна парализируетъ силу, другая—также и волю... Мы хотимъ быть свободными нѣмцами, и хотимъ навсегда ими остаться; надъ слабыми, раболѣпными народами мы не хотимъ владѣть...“ Бёрне взывалъ въ этой статьѣ къ побѣдѣ, не подозревая, что первую жертвою этой побѣды надъ французскими народамъ будетъ онъ самъ, а вмѣстѣ съ нимъ и вся нѣмецкая нація. Не успѣло исчезнуть французское господство, какъ старые порядки, со всѣми ихъ злоупотребленіями и уродливостями, водворились снова въ свободномъ городѣ Франкфуртѣ. Еврейское населеніе, которое при французахъ могло по крайней мѣрѣ свободно дышать, снова подверглось вѣковымъ притѣсненіямъ, снова водвигнута была между нихъ и христіанами китайская стѣна. Евреи вытѣснены были опять изъ общественной жизни, публичныя должности снова сдѣлались недоступны для евреевъ. Бёрне, несмотря на оказанныя имъ услуги, стало тяготиться правительство, и оно стремилось какъ-нибудь избавиться отъ него. Прогнать его просто со службы оно поцеремонилось, и потому оно попробовало принудить его выйти въ отставку, переведя его на низшее мѣсто и поручая ему самыя бессмысленныя работы. Но это не дѣйствовало. Бёрне безпрекословно исполнялъ все, что ему приказывали. Дѣлать было нечего, и правительство рѣшилось просто смѣстить его съ должности.

Враги Бёрне успѣли приписать ожесточенную войну, которую онъ объявилъ теперь нѣмецкимъ правительствамъ, исключительно этой личной злобѣ Бёрне, его оскорбленному самолюбію, обидѣ, нанесенной еврею Бёрне. Конечно, въ подобныхъ предположеніяхъ не было и тѣни истины. Бёрне слишкомъ горячо былъ преданъ интересамъ своего отечества, чтобы не забывать изъ-за нихъ своихъ личныхъ оскорбленій, онъ слишкомъ искрененъ былъ въ своей любви къ цѣлому народу, чтобы сдѣлаться бойцомъ за физическое и нравственное освобожденіе однихъ евреевъ.

Несправедливость, которую онъ испыталъ на самомъ себѣ, быть можетъ, помогла ему только скорѣе понять ту страшную несправедливость, которую долженъ былъ скоро испытать весь народъ. Онъ прежде другихъ понялъ, что народъ былъ обманутъ, что всѣ блестящія обѣщанія канули въ вѣчность въ ту самую минуту, когда союзники восторжествовали надъ Франціею. Ему сдѣлалось ясно какъ дважды два четыре, что нѣмецкій народъ искупить горькою цѣною лютой реакціи свою побѣду надъ Франціею, потому что побѣда эта была тождественна съ побѣдою надъ идеями французской революціи, которыми пропитано было все его существо. Задача Бёрне опредѣлилась, цѣль его была намѣчена: ему нужно было бороться не только съ военно-бюрократическимъ произволомъ нѣмецкихъ правительствъ, которыя предавались всѣмъ неистовствамъ деспотизма, но ему нужно было еще болѣе бороться съ самимъ обществомъ или, вѣрнѣе быть можетъ, протрезвить его отъ того опьяненія, которое вызвано было чужеземнымъ господствомъ. Опьяненіе это было тѣмъ опаснѣе, что оно значительно облегчало стремленія правительствъ водворить старый безправный порядокъ. Бёрне понималъ, что увлеченіе средневѣковыми идилліями пагубнымъ образомъ начинало отзываться на судьбахъ народа, и что нужно сосредоточить всѣ силы, чтобы постараться разрушить сладкія иллюзіи, которымъ предавалось нѣмецкое общество. Любовь или ненависть къ Франціи означали въ то время не только любовь или ненависть къ извѣстной странѣ, именуемой Франціею, но любовь или ненависть къ извѣстному строю понятій, къ извѣстному порядку. Любовь къ ней была равносильна влеченію къ свободѣ, новымъ идеямъ, къ новымъ правамъ человѣческаго общества; ненависть къ ней означала реакцію, коснѣніе въ средневѣковыхъ понятіяхъ, господство одного или немногихъ надъ всѣми. Германія же

была обуреваемая ненавистью къ Франціи. Задача Бёрне была высоко поднять то знамя политическихъ идей, которое выставлено было Франціею въ концѣ XVIII-го вѣка, и безъ усталы, пользуясь каждымъ удобнымъ и неудобнымъ случаемъ, толковать, объяснять обществу новое политическое міросозерцаніе. Сегодня онъ говорилъ о свободѣ печати, завтра о свободѣ вѣроисповѣданій, одинъ разъ о равноправности всѣхъ передъ закономъ, другой разъ о правомъ и гласномъ судѣ; о распространеніи просвѣщенія среди массъ, о самоуправленіи, однимъ словомъ, о всемъ томъ, что дѣлаетъ народъ полноправнымъ, свободнымъ.

Какъ только для Бёрне сдѣлалось яснымъ, что торжество Германіи надъ Франціею есть въ то же время тяжелый ударъ для свободы, такъ тотчасъ, прежде всѣхъ другихъ, Бёрне понялъ, что то раздраженіе противъ Франціи, которое обнаружилось между прочимъ въ его статьѣ „Was wir wollen“, должно уступить мѣсто, напротивъ, самому глубокому, самому искреннему сочувствію этой счастливой и вмѣстѣ несчастной странѣ. Счастливой, потому что ей болѣею частію принадлежитъ инициатива тѣхъ прогрессивныхъ идей, которыя обновляютъ собою Европу; несчастной потому, что ей такъ дорого достается осуществленіе этихъ идей у себя дома. Когда въ Бёрне улеглось это минутное, вызванное обстоятельствами, раздраженіе противъ Франціи, тогда въ немъ явилась сознательная и прочная привязанность къ этой странѣ, на которую онъ смотрѣлъ какъ на колыбель свободы. Любовь къ Франціи, къ французскому народу была въ немъ какъ нельзя болѣе разумна, и онъ не раздѣлялъ какъ ошибки однихъ, которые въ ненависти своей къ правительству ненавидятъ и самый народъ, такъ точно и ошибки другихъ, которые, любя народъ, любятъ и его правителей, какъ бы мало достойны они ни были этой любви. Такъ не понималъ онъ этой любви къ Наполеону, которую онъ встрѣчалъ во многихъ людяхъ, искренно привязанныхъ къ свободѣ, и у Гейне въ его книгѣ о Бёрне мы находимъ отрывокъ изъ разговора между этими двумя замѣчательными людьми, которые такъ мало созданы были для того, чтобы сдѣлаться непримиримыми врагами, — отрывокъ, отлично характеризующій въ этомъ отношеніи Бёрне. Гейне рассказываетъ, что, встрѣтившись съ Бёрне, этотъ тотчасъ сталъ упрекать его, что онъ съ недостаточнымъ почтеніемъ говоритъ „о Богѣ, который все-таки создалъ небо и землю и столь

мудро управляетъ міромъ, и съ такимъ преувеличеннымъ обожаніемъ относится къ Наполеону, который все-таки былъ не чѣмъ инымъ, какъ смертнымъ деспотомъ“. Бёрне не любилъ Наполеона, потому что онъ хорошо понималъ, что Наполеонъ былъ только воплощеніемъ одного злого генія Франціи, и что его геній не оказалъ человѣчеству никакихъ услугъ, а только одни бѣдствія. Правда, Гейне говоритъ, что, тѣмъ не менѣе, Бёрне чувствовалъ бессознательное уваженіе къ Наполеону, и что онъ возмущался тѣмъ, что союзные государи свергли его статую съ Вандомской колонны.

„Ахъ! — вскричалъ Бёрне съ горькимъ вздохомъ: — они могли спокойно оставить его статую; имъ слѣдовало только прибить дощечку съ надписью: „Осемнадцатое брюмера“, и Вандомская колонна превратилась бы для него въ заслуженный позорный столбъ!“ И тутъ же вслѣдъ за этимъ серьезнымъ и горькимъ восклицаніемъ, Бёрне, по поводу Наполеона, начинаетъ съ Гейне разговоръ, который показываетъ, какъ самыя серьезныя мысли переплетались у него съ шуточною формою. „Еще сегодня утромъ, — прибавилъ Бёрне, — я удивлялся ему, когда вотъ въ этой книгѣ, лежащей на моемъ столѣ (онъ указалъ на „Исторію революціи“ Тьера), я читалъ превосходный анекдотъ о томъ, какъ Наполеонъ въ Удино имѣлъ свиданіе съ Кобенцелемъ, и въ жару разговора разбилъ фарфоръ, который Кобенцель получилъ въ подарокъ отъ императрицы Екатерины и, конечно, его очень любилъ. Этотъ разбитый фарфоръ былъ, быть можетъ, причиною Кампо-Формійскаго мира. Кобенцель вѣроятно думалъ при этомъ: у моего императора очень много фарфора, и если этотъ господинъ отправится въ Вѣну и черезъ-чуръ разгорячится, пожалуй, тогда можетъ случиться несчастіе — лучше заключу я съ нимъ миръ! По всей вѣроятности, въ ту минуту, когда въ Удино фарфоровый сервизъ Кобенцеля полетѣлъ на полъ и разбился въ дребезги, въ Вѣнѣ дрожалъ весь фарфоръ, и дрожали не только кофейники и чашки, но и китайскія пѣгоды, можетъ быть, кивали сильнѣе головами, чѣмъ когда-либо — и мирный договоръ ратификованъ. Въ магазинахъ эстамповъ всегда можно видѣть Наполеона, какъ онъ взлетаетъ на Симплонъ на быстромъ конѣ или бросается на мостъ въ Лоди съ развѣвающимся знаменемъ и т. д. Но если бы я былъ живописецъ, то изобразилъ бы его въ ту минуту, когда онъ разбиваетъ фарфоръ Кобенцеля. Это былъ одинъ изъ самыхъ славныхъ его подвиговъ. Съ тѣхъ

поръ многіе сильнѣе міра стали бояться за свой фарфоръ и особенно сильно трусили берлинцы за свою большую фарфоровую фабрику. Вы не можете себя представить, любезнѣйшій Гейне, — продолжалъ Бёрне, — какъ обуздываетъ человѣка обладаніе дорогимъ фарфоромъ. Посмотрите, напр., на меня: я былъ совершенно необузданный человѣкъ, когда у меня было мало вещей, и вовсе не было фарфора. Съ пріобрѣтеніемъ собственности, а главное, ложкой собственности, является страхъ и рабство.... я чувствую, какъ этотъ проклятый фарфоръ мѣшаетъ мнѣ писать; я становлюсь такимъ кроткимъ, такимъ осторожнымъ, такимъ боязливымъ. Наконецъ, начинаю думать, что торговецъ фарфоромъ былъ не кто иной какъ австрійскій полицейскій агентъ, и что Меттернихъ навязалъ мнѣ этотъ фарфоръ, чтобы укротить меня...”

Такъ сплошь и рядомъ переходилъ Бёрне отъ самыхъ серьезныхъ разговоровъ, отъ самыхъ серьезныхъ мыслей къ шуточной формѣ, которая всегда была полна юмора и ироніи. Шутка его впрочемъ не была чужда серьезнаго элемента; трудно не видѣть въ ней большую часть самаго глубокаго смысла.

Гейне, который показываетъ намъ, какъ относился Бёрне къ Наполеону, приводитъ въ своей книгѣ еще много частныхъ интимныхъ разговоровъ, изъ которыхъ видно, какъ относился Бёрне къ Германіи. Когда Бёрне сталъ нападать на нѣмецкіе порядки, на нѣмецкія правительства, когда онъ сталъ насмѣхаться надъ нѣмецкою тяжеловѣсностью и ослиною сносливостью, и рядомъ съ этимъ выражалъ всѣ свои симпатіи къ Франціи, тогда тотчасъ раздались голоса его враговъ, которые стали обвинять Бёрне, что онъ не любитъ Германію, что онъ нападаетъ на нее, потому что чувствуетъ еврейскую злобу за то, что его отставили отъ должности и т. п. Нашлось много ограниченныхъ умовъ, которые силились объяснить благородное и честное негодованіе Бёрне единственно его еврейскимъ происхожденіемъ. Бёрне не могъ быть оскорбленъ брошеннымъ въ него обвиненіемъ, что онъ не любитъ Германіи, потому что онъ слишкомъ хорошо сознавалъ, что никто, быть можетъ, такъ сильно ее не любитъ, какъ онъ, — или по крайней мѣрѣ никто не умѣетъ ее любить такъ глубоко и такъ разумно.

Гейне, который очень хорошо зналъ, что противъ Бёрне выставляютъ его мнимую ненависть къ Германіи, является на этотъ разъ

его защитникомъ и въ своей книгѣ не разъ возвращается къ тому, какъ силенъ и искрененъ былъ патріотизмъ Лудвига Бёрне. Онъ приводитъ одинъ отрывокъ изъ его разговора о Германіи, который хорошо характеризуетъ политическое пристрастіе Бёрне къ своей родинѣ. „Ни одного нѣмецкаго ночного горшка не уступлю я Франціи!“ вскричалъ онъ однажды въ пылу разговора, когда кто-то замѣтилъ, что Франція, эта естественная представительница революціи, должна быть усилена возвращеніемъ въ ея владѣніе прирейнскихъ земель, чтобы она тѣмъ успѣшнѣе могла противодѣйствовать аристократическо-абсолютической Европѣ.

„Не уступлю ни одного нѣмецкаго ночного горшка!“ кричалъ Бёрне, гнѣвно шагая по комнатѣ взадъ и впередъ.

„Само собою разумѣется, — замѣтилъ третій, — что мы не уступимъ французамъ ни одного клочка нѣмецкой земли; но мы должны были бы уступить имъ нѣсколько нашихъ соотечественниковъ, въ которыхъ мы ни въ какомъ случаѣ не имѣемъ надобности. Что вы думаете, еслибы мы уступили французамъ, напр., Раумера или Роттека?“

„Нѣтъ, нѣтъ! — вскричалъ Бёрне, переходя отъ сильнѣйшаго гнѣва къ хохоту: — не уступлю даже Раумера или Роттека, потому что наша коллекція была бы тогда неполна; я хочу удержать Германію во всей ея цѣлости, какъ она есть, съ ея цвѣтами и чертополохами, съ ея великанами и карликами... нѣтъ, не уступлю я даже этихъ двухъ ночныхъ горшковъ!“ Конечно, любовь такого писателя, какъ Бёрне, къ своей родинѣ кажется слишкомъ очевидна, чтобы о ней стоило много говорить; но совсѣмъ умолчать объ этомъ тоже нельзя, такъ какъ съ одной стороны это обвиненіе преслѣдовало Бёрне въ продолженіе всей его жизни, съ другой — мы встрѣчаемъ въ его произведеніяхъ такіа рѣзкія выходы противъ Германіи, которыя, пожалуй, заставятъ призадуматься много читателя и заставятъ спросить его: ужъ и въ самомъ дѣлѣ не чувствовалъ ли Бёрне къ своей родинѣ ненависти вмѣсто любви? Мы, говоря о Бёрне въ Россіи и говоря нашимъ соотечественникамъ, тѣмъ болѣе должны налегать на искреннюю любовь Бёрне къ Германіи въ виду его рѣзкихъ на нее нападокъ, что у насъ, особенно въ послѣднее время, сдѣлалось обыкновеніемъ клеймить человѣка именемъ врага своей родины, какъ только онъ, отказываясь отъ тупоумнаго и ехиднаго псевдопатріотизма, перестаетъ восхищаться всѣмъ тѣмъ, что дѣлается въ

отечествѣ, и въ своей истинной и сильной привязанности къ странѣ нападаетъ гораздо болѣе на то дурное, что должно быть измѣнено, чѣмъ преклоняется передъ тѣмъ хорошимъ, что должно было быть сдѣлано и что дѣйствительно сдѣлано. Однимъ словомъ, положеніе Вёрне съ самыхъ первыхъ шаговъ сдѣлалось подобнымъ положенію всякаго истинно честнаго писателя, когда онъ имѣетъ несчастье появиться въ сирадное время развитія своего общества, когда вся выгода находится на сторонѣ льстецовъ правительства и тѣхъ недостойныхъ журналистовъ, которыхъ задача ограничивается доносами на все, что честно и пропитано серьезнымъ патріотизмомъ, и восхваленіемъ того, что носить на себѣ очевидный характеръ гаерства и псевдопатріотизма. Вёрне страстно любилъ Германію и жестоко страдалъ оттого, что положеніе вещей въ его родинѣ было такъ далеко отъ его желаній, отъ его идеала; онъ нападалъ на злоупотребленія, на порочность нѣмецкихъ правительствъ; онъ нападалъ на дурныя стороны нѣмецкаго народа, потому что въ немъ таилось гордое, но справедливое сознаніе, что слова его не пропадутъ даромъ. Жалкіе писатели, которые обыкновенно руководятся въ подобныхъ случаяхъ самыми низкими эгоистическими побужденіями и для которыхъ благо родины представляется глупою фразою и притворною сантиментальностію, поспѣшили объявить его ненавистникомъ Германіи. Гейне, становясь защитникомъ Вёрне въ этомъ отношеніи, въ значительной степени искупаетъ передъ нимъ свою тяжелую вину. „Изъ его собственнаго сердца, — говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ своей книги о Вёрне, — вылетаютъ самыя трогательныя, естественныя звуки патріотическаго чувства, точно стыдливыя признанія, которыхъ нельзя удержатъ въ послѣднія минуты жизни, и которыя мы скорѣе передаемъ рыданіями, нежели словами... Смерть стоитъ возлѣ и неопровержимо свидѣтельствуетъ ихъ правдивость. Да, онъ былъ не только хорошій писатель, но и великій патріотъ“. Гейне настаиваетъ на этихъ словахъ и черезъ нѣсколько страницъ еще разъ возвращается къ тому же, говоря: „Да, этотъ Вёрне былъ великій патріотъ, быть можетъ самый великій, который сосалъ изъ груди своей мачихи-Германіи самую пламенную жизнь и самую горькую смерть. Въ душѣ этого человека ликовала и вмѣстѣ сочилась кровью самая трогательная любовь къ отечеству, которая, какъ всякая любовь, будучи стыдлива, пряталась подъ слова порицанія, упрековъ, недовольства, но тѣмъ

сильнѣе прорывалась наружу въ порывистыя минуты. Когда на долю Германіи выпадали всякія бѣды, которыя могли имѣть печальныя послѣдствія, когда у нея не хватало духа принять спасительное лекарство, дать себѣ вырѣзать бѣльмо или выдержать другую маленькую операцію, тогда Лудвигъ Бёрне шумѣлъ, бранился, топалъ ногами и громилъ все и всѣхъ;—когда же предвидѣнное несчастье дѣйствительно случалось, когда Германію начинали топтать и бить до крови, тогда Бёрне переставалъ сердиться, и бѣдный безумецъ начиналъ хныкать и, рыдая, доказывалъ, что Германія—лучшая и самая прекрасная страна, и что нѣмцы—самый прекрасный и благороднѣйшій народъ...“ Гейне совершенно правъ, выражаясь, что только одно „тупоуміе“ могло не видѣть въ сочиненіяхъ Бёрне глубокой любви къ Германіи. Впрочемъ, въ подобномъ обвиненіи еще больше, чѣмъ „тупоуміе“, играетъ роль іезуитскій маневръ тѣхъ, которые желали во что бы то ни было бросить тѣнь на честное имя автора „Парижскихъ писемъ“. Когда дѣло шло о тупоуміи, Бёрне пожималъ только плечами, но когда онъ видѣлъ въ этомъ обвиненіи вѣсть и гнусное орудіе его враговъ, тогда „гнѣву его не было предѣловъ, и онъ, какъ оскорбленный титанъ, металъ смертельными камнями въ шипящихъ змѣй, ползавшихъ у его ногъ“.

III.

Если обвиненіе въ ненависти къ Германіи производило на Бёрне раздражающее впечатлѣніе, зато горделивымъ презрѣніемъ отвѣчалъ онъ на другое обвиненіе, что онъ нападаетъ на правительства, на господствовавшій порядокъ только потому, что онъ принадлежитъ къ еврейскому племени. Въ самомъ дѣлѣ, „глупѣе“ этого упрека нельзя было дѣлать Бёрне. Когда еврейскимъ происхожденіемъ попрекали Бёрне люди глупые и неразвитые, оно было понятно, потому что глупые и неразвитые люди не могутъ возвыситься надъ предразсудкомъ, дѣлающимъ изъ имени еврея что-то презрительное и оскорбительное. Но когда къ подобнымъ упрекамъ прибѣгаютъ люди умные, тогда, конечно, на это есть только одна причина, именно та, что человекъ такъ безупреченъ, такъ чистъ, что злоба противъ него является бессильною и въ крайности прибѣгаетъ къ тому орудію, ко-

торое по праву принадлежить только людям глупымъ и ограниченнымъ. Самъ Бёрне понималъ это очень хорошо, и потому какъ нельзя болѣе справедливо замѣчалъ: „каждый разъ, какъ мои противники видятъ, что они могутъ разбиться о *Бёрне* и потерпѣть умственное кораблекрушеніе, они хватаются за *Баруха*, какъ за свой спасительный якорь“. За этотъ „спасительный якорь“ хватался въ своихъ нападеніяхъ и Менцель, этотъ замѣчательно-умный, но еще болѣе замѣчательно-негодный человѣкъ. Онъ точно такъ же, какъ и другіе, не могъ отыскать въ характерѣ Бёрне ничего такого, за что бы онъ могъ прицѣпиться и сколько-нибудь уронить его въ общественномъ мнѣніи, и потому хватался за его еврейское происхожденіе, сознавая, безъ сомнѣнія, что и это точно такъ же не что иное, какъ мнимая и фальшивая Ахиллесова пята. Желая объяснить всѣ неотразимыя нападки Бёрне на общественный строй Германіи, всю его ѣдкую сатиру, оглушительные розмахи его страшнаго бича не чѣмъ инымъ, какъ еврейскимъ происхожденіемъ этого суроваго писателя, а вовсе не дѣйствительнымъ бѣдственнымъ состояніемъ нѣмецкаго писателя, Менцель говоритъ: „Во Франкфуртѣ-на-Майнѣ, гдѣ великаго Гёте лелѣжали какъ дитя патриціевъ, родился болѣзненный ребенокъ—еврей Барухъ. Уже въ дѣтствѣ онъ подвергался насмѣшкамъ мальчиковъ-христіанъ. Каждый день видѣлъ онъ на Саксонскомъ мосту постыдную статую, представляющую еврея рядомъ со свиньей. Проклятіе его народа лежало на немъ тяжелымъ гнетомъ. Когда онъ отправлялся путешествовать, въ паспортѣ его прописывали насмѣшливыя слова: *Juif de Francfort*. „Развѣ я не такой человѣкъ, какъ и всѣ вы?—восклицалъ онъ.—Развѣ Богъ не снабдилъ моего духа всевозможными силами? Какъ же вы можете презирать меня? Я отомщу вамъ самымъ благороднымъ образомъ, я буду помогать вамъ въ борьбѣ за вашу свободу“. Приведа это мѣсто въ своей статьѣ: „Менцель французомъ“, Бёрне прибавляетъ: „все это было бы прекрасно, будь оно справедливо; меня даже порадовало бы, еслибы это была правда, но это неправда. Никогда въ моей груди не было даже искры ненависти къ христіанскому міру; хотя я на самомъ себѣ долго и болѣзненно чувствовалъ преслѣдованіе и всегда съ негодованіемъ проклиналъ его, но все-таки я видѣлъ въ этомъ преслѣдованіи не что иное, какъ форму аристократизма, проявленіе врожденнаго человѣческаго высокомерія, которому законы, вмѣсто

того, чтобы ставить преграды, преступно покровительствовали;—придя къ этому убѣжденію, я, по обыкновенію, поднялся къ источнику зла, не забываясь объ одномъ изъ его притоковъ“. Источникомъ зла было общее состояніе нѣмецкаго народа, и въ его широкой любви къ цѣлой Германіи, въ его горячемъ стремленіи видѣть ее освобожденною отъ оковъ тонуло его стремленіе облегчить участь еврейскаго племени. Умъ Бёрне, его сердце были слишкомъ широки, чтобы могли ограничиваться узкою привязанностью къ одному племени; привязанность эта была частицею его глубокой привязанности къ цѣлому народу, такъ точно, какъ безправное состояніе еврейскаго племени составляло только одно изъ звеньевъ той роковой цѣпи, въ которую закована была нѣмецкая нація.

Бёрне постоянно твердитъ, что тотъ, кто желаетъ дѣйствовать на пользу евреевъ, не долженъ изолировать ихъ, и что только тогда будетъ добыта свобода для нихъ, когда она будетъ добыта для цѣлаго народа. „Развѣ вся Германія,—воскликаетъ онъ,—не превратилась въ Гетто Европы?“ Свое еврейское происхожденіе Бёрне обращаетъ, такъ сказать, на пользу Германіи, такъ какъ гоненія, выпадавшія на долю еврейскаго племени, заставили его ненавидѣть гоненіе вообще, гдѣ бы и противъ кого бы оно ни было направлено. Рабство евреевъ научило его ненавидѣть рабство вообще и любить свободу не только для того племени, которому онъ принадлежалъ, но любить ее и добиваться для всего народа: „Да, именно потому, что я родился рабомъ, свобода милѣе мнѣ, чѣмъ вамъ. Да, вслѣдствіе того, что я былъ обреченъ рабству, я понимаю свободу лучше васъ. Да, оттого, что у меня не было при рожденіи никакого отечества, я жажду приобрести его гораздо сильнѣе, чѣмъ вы, и вслѣдствіе того, что мѣсто, гдѣ я родился, было ограничено одною еврейскою улицей, за закрытыми воротами которой начиналась для меня чужая земля,—мнѣ недостаточно теперь имѣть отечествомъ ни городъ, ни провинцію, ни цѣлую область; я могу удовольствоваться только всею великою отчизною, на всемъ томъ пространствѣ, гдѣ звучитъ ея языкъ.... Я пересталъ быть рабомъ гражданъ, и потому не хочу теперь быть рабомъ какого-нибудь правителя,—я хочу быть совершенно свободнымъ....“ Этой свободы онъ хотѣлъ не только для себя, но для цѣлаго народа, и если могучій голосъ его раздавался отъ времени до времени исключительно въ пользу освобожденія евреевъ, то въ основаніи его за-

считать не трудно было отыскать мысль, что освобожденіе евреевъ столько же нужно для нихъ, какъ и для самихъ нѣмцевъ. Для чего, спрашивалъ онъ, правительства отдають евреевъ въ рабство нѣмцамъ? Для того, чтобы тѣмъ держать ихъ самихъ еще крѣпче въ рабствѣ. „Бѣдные нѣмцы! Живя въ подвалѣ, имѣя надъ собою семь этажей высшихъ сословій, они находятъ облегченіе въ бесѣдѣ о людяхъ, живущихъ еще ниже, чѣмъ они — въ погребѣ. Сознаніе, что они не евреи, утѣшаетъ ихъ въ томъ, что судьба не дѣлаетъ ихъ гофратами“.

Къ этой мысли, именно, что непониманіе, глупость народа съ одной стороны, и необузданность правительствъ съ другой — лежатъ въ основаніи гоненій на евреевъ, Бёрне возвращается постоянно, это его исходная точка, отъ которой онъ никогда не отступаетъ. Называя свои статьи „въ защиту евреевъ“, онъ начинается со словъ: „мнѣ слѣдовало бы сказать: въ защиту справедливости и свободы, но еслибы люди понимали эти слова, то мнѣ не было бы никакой нужды говорить“. Да, въ этомъ вопросѣ, въ вопросѣ защиты человѣческихъ правъ евреевъ, который долженъ былъ ему представиться прежде всѣхъ другихъ, такъ какъ рано его заставили почувствовать на немъ самомъ его еврейское происхожденіе, Бёрне ведетъ себя точно такъ же, какъ и во всѣхъ другихъ вопросахъ, касающихся политической жизни народа. Онъ не замыкается тутъ въ узкій кругъ понятій и требованій, онъ не тратитъ своихъ силъ на безплодныя іереміады о печальной исторіи евреевъ, ему нѣтъ дѣла до прошедшаго, онъ не судитъ, не осуждаетъ его, онъ не призываетъ его на свое судилище, — потому что судить можно только, какъ выражается Бёрне, преступленія людей, а не преступленія человѣчества, — онъ обращается къ живымъ людямъ, говоря однимъ: вы невинны, потому что вы глупы; другимъ: вы преступны, потому что вы сознательно наглы. Громкое требованіе свободы и громкая проповѣдь и призывъ къ справедливости — такова вся его дѣятельность. Въ своей защитѣ евреевъ онъ старается только о томъ, чтобы растолковать нѣмецкому народу, что имъ злоупотребляютъ, когда его заставляютъ быть тюремщикомъ евреевъ, что его вынуждаютъ на гнусное дѣло, чтобы всю выгоду его доставить немногимъ сильнымъ міра, и что его принуждаютъ къ злоупотребленію чужою свободою, чтобы доказать ему, что онъ самъ не заслуживаетъ свободы, и что „его сдѣлали тюремщикомъ евреевъ на томъ основаніи, что безсмысленное пребываніе въ тюрьмѣ равно обязательно, какъ для тюремщиковъ, такъ и для

заключенных". Намъ нечего указывать на всю глубину и вѣстѣ простоту этой мысли, лежавшей въ основаніи защиты евреевъ. Когда какой-нибудь народъ захватываетъ себя въ рабство другой народъ, для него это никогда не проходитъ даромъ. Быть въ рабствѣ или держать въ рабствѣ одинаково развращающимъ образомъ дѣйствуетъ на народный организмъ, рабскія привычки переходятъ къ властителямъ, которые сами дѣлаются неспособны для здоровой жизни и мало-по-малу сами превращаются въ рабовъ. Очевидно, что „глупость“ въ подобныхъ случаяхъ является главною виновницею народныхъ бѣдъ. Объяснить вѣщамъ, что только одна глупость, глупые предрассудки, глупое воспитаніе заставляли ихъ презрительно относиться къ евреямъ—вотъ все, чего желалъ Бёрне, защищая евреевъ. Перо его становится желчнымъ, ядовитымъ, презрительнымъ только тогда, когда онъ обращается къ властителямъ и говоритъ имъ: вы одинаково обманываете и евреевъ, и христіанъ, вы натравливаете ихъ другъ на друга только для того, чтобы прочіе владычествовать надъ тѣми и другими, вы дѣйствуете съ самымъ безстыднымъ лицемеріемъ, вы распространяете клеветы съ такою наглою дерзостью, что вводите въ заблужденіе даже честныхъ людей, которые вѣрятъ вамъ, потому что не могутъ представить себя, чтобы ихъ смѣли такъ нагло обманывать! „Я хочу сорвать съ негодеевъ маски, — восклицаетъ Бёрне, — и освѣтить ихъ лица!“

Напрасно въ цѣломъ ряду преслѣдованій и гоненій на евреевъ Бёрне отыскиваетъ хоть проблески справедливости—онъ нигдѣ ихъ не находитъ. Повсюду съ одной стороны глупость, съ другой—наглость. Такъ шли цѣлые вѣка, пока на германскую почву не были заброшены сѣмена новыхъ идей, пришедшихъ изъ Франціи. Французское господство было благотѣльно для евреевъ; оно уравнило въ правахъ христіанъ и евреевъ, но оно продолжалось недолго. „Не успѣло еще смолкнуть въ стѣнахъ Франкфурта эхо пушечныхъ выстрѣловъ бѣжавшаго непріятеля, какъ раздались громкіе голоса взаимнаго одобренія: прежде всего надо позаботиться о томъ, чтобы положить предѣлъ неслыханнымъ притязаніямъ евреевъ“. Отъ такихъ сарказмовъ, вызываемыхъ у Бёрне возмутительнымъ зрѣлищемъ всевозможныхъ обмановъ и злоупотребленій, онъ переходитъ иногда на самый грустный тонъ, когда въ умѣ его рождается вопросъ: да зачѣмъ же столько жертвъ, зачѣмъ столько страданій, если народы только то и дѣлаютъ,

что попадаютъ изъ огня въ полымя? Останавливаясь передъ фактомъ, что побѣда надъ Наполеономъ не только не привела нѣмецкій народъ къ лучшему устройству, но ухудшила его положеніе, что она не только не утвердила въ странѣ тѣ великіе нравственные результаты, которые добыты были французскою революціею, но еще уничтожила то немногое, что принесено было французскимъ господствомъ, онъ спрашиваетъ: „неужели въ самомъ дѣлѣ время, послѣ столькихъ мученій, разрѣшилось отъ бремени смѣшною мыслію? Неужели миллионы человѣческихъ существованій истреблялись только для того, чтобы послѣ тридцатилѣтней отчаянной борьбы въ результатъ оказалось то, что давно уже было извѣстно каждому—именно, что господство надъ извѣстными народами принадлежитъ Ивану, а не Петру?...“

Въ дѣятельности Бёрне по еврейскому вопросу нельзя пропустить молчаніемъ того энергическаго протеста, который вылился въ адресѣ, отправленномъ въ образовавшійся въ то время „Pressverein“, союзъ для защиты свободнаго нѣмецкаго слова. Каждая строка этого адреса говоритъ о правдивости Бёрне въ ту минуту, когда онъ восклицаетъ: „ахъ, они думаютъ, что я пишу чернилами и словами, но я пишу не такъ, какъ другіе; я пишу кровью моего сердца и сокомъ моихъ нервовъ, и у меня не всегда хватаетъ духу собственной рукой причинять себѣ боль и не всегда хватаетъ силъ долго переносить ее“. Онъ пишетъ кровью своего сердца, когда онъ начинаетъ перечислять всѣ оскорбленія, причиняемыя евреямъ, всѣ несправедливости, которыя они должны были вытерпѣть, когда онъ жалуется, что та война за освобожденіе, въ которой евреи проливали свою кровь, точно также какъ и христіане, не только не освободила ихъ, но наложила на нихъ новыя цѣпи. Онъ пишетъ сокомъ своихъ нервовъ, когда онъ клеймитъ позоромъ ту адскую несправедливость, которая допустила, чтобы евреи, возвратившись съ войны, увидѣли своихъ братьевъ и отцовъ рабами, тогда какъ они оставили ихъ уже свободными гражданами. Бёрне страдаетъ, когда онъ выставляетъ на видъ, что евреи лишены не только гражданскихъ правъ, но даже правъ человѣческихъ, на которыя никто, кажется, не смѣлъ бы посягать; онъ страдаетъ, когда пишетъ, что еврейскому населенію Франкфурта запрещено заключать болѣе пятнадцати браковъ въ годъ, чтобы это племя не могло размножаться. Между строчекъ такъ и слышится вопросъ: да неужели все это правда, все то, что я пишу, не бредъ ли это моей фантазіи,

не плоды ли это моего воображенія. „Слушай это, — произносить Бёрне, — слушай это, нѣмецкій народъ! И если находятся въ твоёмъ лексиконѣ слова: свобода, справедливость, человѣчность, краснѣй отъ сознанія, что ты могъ, не краснѣя, такъ долго переносить этотъ позоръ, пятнающій все твоё отечество!“ У всякаго другого писателя, у котораго прежде всего на сердцѣ не лежало бы благо цѣлой страны, цѣлаго народа, невольно явилось бы раздраженіе при исчисленіи всѣхъ обидъ, всѣхъ оскорбленій, выпавшихъ на долю евреевъ, раздраженіе противъ всѣхъ, кто не принадлежитъ къ угнетенному племени. То ли находимъ мы у Бёрне? раздраженія противъ нѣмецкаго народа въ немъ нѣтъ и тѣни; напротивъ, онъ не только не думаетъ обвинять его, но онъ тѣсно связываетъ страданія евреевъ съ страданіями цѣлаго народа, и потому на вопросъ: заслужили ли евреи ихъ участь? онъ отвѣчаетъ: нѣтъ, не заслужили, точно также какъ не заслужили ихъ участи и нѣмцы: „Съ тобой, христіанскій нѣмецкій народъ, — говорятъ тутъ же Бёрне, — поступили какъ съ побѣжденнымъ народомъ, съ твоею страной — какъ съ завоеванною страной“.

Справедливы ли — можно спросить теперь — обвиненія Бёрне въ томъ, что онъ сталъ нападать на существующій порядокъ въ Германіи, потому что онъ былъ еврей, потому что онъ не любилъ Германіи? Нѣтъ, тѣ, которые обвиняли его въ этомъ, клеветали на него, потому что Бёрне прежде всего человѣкъ, горячо любящій Германію, но еще болѣе горячо любящій свободу. Онъ защищалъ евреевъ такъ точно, какъ онъ защищалъ бы всякое другое угнетенное племя въ Германіи; онъ защищалъ ихъ, потому что ему глубоко ненавистна была всякая несправедливость, всякое нарушеніе человѣческихъ правъ, всякое оскорбленіе свободы. Собственно же къ еврейскому племени, какъ еврейскому, онъ не питалъ особенной привязанности; еврейство чуждо было Бёрне, онъ не сочувствовалъ узкости ихъ понятій, онъ не сочувствовалъ ихъ правамъ, обычаямъ, ему чуждо было ихъ ученіе, ему чужда была вся ихъ жизнь. Это отчужденіе отъ еврейства началось еще съ дѣтскаго возраста, и чѣмъ старше становился Бёрне, тѣмъ оно становилось сознательнѣе и опредѣленнѣе. Теперь, кажется, должно быть совершенно понятно, что если Бёрне былъ оскорбленъ, когда онъ получилъ отставку отъ своего скромнаго мѣста въ франкфуртской полиціи, то онъ былъ оскорбленъ вовсе не за себя лично; нѣтъ, собственный опытъ долженъ былъ только помочь ему скорѣй

убѣдиться, что дряхлый, казалось, окончательно сгнившій патріархально-деспотическій порядокъ еще не совсѣмъ разложился, и что въ немъ было еще достаточно живучести, чтобы нанести несчастной, только-что вышедшей изъ кроваваго побоища Германіи новыя раны, и несравненно болѣе тяжкія, чѣмъ тѣ, которыя нанесены ей были вѣшнымъ врагомъ. Ему не трудно было догадаться, что возобновленное преслѣдованіе евреевъ не будетъ изолированнымъ реакціонною мѣрою, что вѣсть съ нею возвратится и всѣ другія злоупотребленія стараго порядка, что преслѣдованіе евреевъ есть только одинъ изъ безчисленныхъ узловъ на той толстой веревкѣ, которою скоро долженъ быть перетянутъ весь нѣмецкій народъ. Ничтожнаго собственного опыта было для него слишкомъ достаточно, чтобы убѣдиться, что наступила тяжелая эпоха, когда надъ Германіею должна разостлаться продолжительная и мрачная реакціонная ночь. Вѣрне не ошибался въ своихъ горькихъ пророчествахъ. Страшная тяжесть насилія и произвола сдавила свободное дыханіе нѣмецкаго народа.

Вѣрне, выгнанному изъ службъ, закрыты были теперь почти всѣ карьеры, всѣ отрасли общественной дѣятельности. Онъ остановился въ раздумьѣ, остановился на перепутьѣ, не зная, что ему дѣлать, за что схватиться. Тайный голосъ души подсказывалъ ему, что жизнь его должна быть посвящена служенію нѣмецкому обществу, нѣмецкому народу, но какъ, въ какой формѣ, какою дорогою долженъ былъ онъ идти—въ этомъ онъ не отдавалъ себѣ ясно отчета, хотя онъ и не могъ не сознавать, что сила его заключается въ его перѣ, въ его литературномъ талантѣ. Сама судьба толкала его на одну дорогу, которая была ему какъ нельзя болѣе по сердцу. Дорога эта была въ то время полна бурь и невзгодъ, такъ какъ на журналистику деспотическія правительства Германіи смотрѣли съ особенною ненавистью, подозрѣвая въ ней гнѣздо всяческихъ козней и возмутительныхъ замысловъ, гнѣздо „демагогическихъ происковъ“. Первые попытки Вѣрне на этой дорогѣ были уже увѣнчаны успѣхомъ; его, такъ сказать, пробныя статейки обратили на себя вниманіе свѣжестію мысли, остроуміемъ, бойкимъ языкомъ. Ему нужно было теперь энергически продолжать начатое, нужно было сосредоточить всѣ свои силы, всю свою дѣятельность на литературномъ поприщѣ, для котораго онъ былъ такъ хорошо приготовленъ своими разнообразными занятіями во время университетской жизни. Вѣрне

рѣшился вступить на этотъ тернистый путь, рѣшился весь отдаться журнальной дѣятельности и идти по этой новой дорогѣ прямо, не дѣлая изгибовъ, идти гордо и непреклонно. Онъ избралъ этотъ путь сознательно, понимая, что ни на какомъ другомъ онъ не будетъ такъ полезенъ, ни на какомъ другомъ онъ не въ состояніи принести столько добра нѣмецкому народу, съ которымъ его связывала самая глубокая и искренняя любовь. вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сознавалъ, что его званіе еврея будетъ для него постоянно помѣхою въ журнальной дѣятельности, что онъ будетъ наткаться на это еврейство какъ на вѣчную преграду, что ему безъ устали будутъ кричать: не ищайте не въ ваши дѣла, вы не принадлежите къ нѣмецкой семьѣ, не притворяйтесь, въ глубинѣ вашего ума кроются у васъ не интересы Германіи, а интересы еврейскаго племени! Отчасти это соображеніе, отчасти то обстоятельство, о которомъ уже было упомянуто, именно, что ему давно уже сдѣлалось чуждо еврейство, чужды его обычаи, нравы, ученіе, заставили Бёрне рѣшиться на тотъ шагъ, который онъ давно уже обдумывалъ. 5-го іюня 1818 года Бёрне покинулъ еврейскую религію и принялъ лютеранское вѣроисповѣданіе. Съ этихъ же поръ онъ навсегда покидаетъ и свою еврейскую фамилію: Барухъ, и принимаетъ имя Карла-Людвига Бёрне. Съ этого времени открывается, такъ сказать, новый періодъ его жизни, въ который все существованіе его поглощено непрерывною и неутолимою литературною дѣятельностью, прекратившеюся только съ его смертію. Можно смѣло сказать, что на длинномъ пройденномъ имъ литературно-политическомъ пути Бёрне ни разу не упалъ, ни разу не оступился, и если иногда и ошибался, то всегда невольно, искренно, честно, ошибался безъ умысла, безъ разсчета. Вотъ почему никого съ такимъ правомъ нельзя назвать безукоризненно честнымъ писателемъ, какъ творца политической литературы въ Германіи — Людвигъ Бёрне.

IV.

Около того времени, когда Бёрне весь отдался своему истинному призванію — литературной дѣятельности, положеніе журналистики, литературы достигло въ Германіи крайнихъ предѣловъ

вялости, безцвітності, безжизненности. Во всей странѣ не раздавалось болѣе ни единого живого слова; громъ патріотической рѣчи и патріотическихъ пѣсней замѣнился какимъ-то злокачественнымъ безмолвіемъ. Реакція, наступившая послѣ 1815 года, застрашала своими преслѣдованіями, своими казематами все и всѣхъ. Старые литературные дѣятели или исчезли, точно скрылись подъ землею, или, что во сто разъ хуже, превратились въ недостойныхъ слугъ реакціоннаго порядка. Въ немногихъ либеральныхъ, не забытыхъ страхомъ кружкахъ слышались горькія жалобы на такое позорное состояніе литературы; всѣ понимали, какое благотворное вліяніе на общество могла бы имѣть журналистика, еслибы на ея поприще вышелъ человѣкъ съ сильнымъ талантомъ и рѣшился бы заговорить болѣе смѣлымъ языкомъ. Бёрне слышалъ эти жалобы, а люди, знавшіе его, слѣдившіе за его первыми шагами и угадывавшіе въ немъ, быть можетъ, будущаго неподобнаго публициста, поощряли его выступить болѣе рѣшительно въ журнальной дѣятельности, основать собственный журналъ и объявить борьбу на жизнь и на смерть существующему политическому порядку. Эти внѣшнія побужденія какъ нельзя болѣе совпадали съ его внутренними побужденіями. Онъ съ негодованіемъ смотрѣлъ на усиливавшуюся бессмысленную реакцію, онъ понималъ очень хорошо, что она въ конецъ развратитъ собою общество, если не оказывать ей хоть какого-нибудь сопротивленія; для него было ясно, что страшный упадокъ литературы является результатомъ не нравственной безсодержательности націи, а чисто внѣшнихъ политическихъ причинъ. На эти-то политическія причины Бёрне и рѣшился направить всѣ свои баттареи, съ твердымъ намѣреніемъ пользоваться всѣми средствами, чтобы имѣть только возможность наносить удары той политической системѣ, которая придушила свободное развитіе нѣмецкаго народа. Будить нѣмецкій народъ и приобщать его къ новымъ политическимъ идеямъ, къ новому политическому міросозерцанію, вышедшему изъ французской революціи—такова собственно съ этой минуты сдѣлалась задача цѣлой жизни Лудвига Бёрне.

Друзья его, привыкшіе къ тому, что Бёрне чрезвычайно медленно принималъ какое бы то ни было рѣшеніе, должны были быть удивлены, когда онъ, безъ долгихъ приготовленій, безъ особенныхъ колебаній, рѣшился начать издавать журналъ и немедленно разослалъ по

всей Германіи свое объявленіе о новомъ журналѣ „Вѣстн“. Объявленіе это не могло не привлечь къ себѣ всеобщаго вниманія, такъ какъ давно уже въ Германіи никто не говорилъ подобнымъ языкомъ. Бёрне ясно опредѣляетъ въ своей программѣ значеніе журналистики, обязанности журналистовъ, и смѣло бросаетъ перчатку господствующему направленію общественнаго мнѣнія. Нѣмцы перестали видѣть въ журналахъ, толкующихъ о близкихъ общественныхъ вопросахъ, о дѣлахъ родной страны, необходимое проявленіе здоровой человѣческой мысли, они смотрѣли на подобныя разсужденія только какъ на стоны „удрученной груди“. Какая польза, какой прокъ отъ журналовъ, отъ всей этой борьбы мнѣній, отъ рѣзко высказываемыхъ убѣжденій? начинали спрашивать себя нѣмцы, какъ зайцы, испугавшіеся отъ одного звука перваго удара реакціоннаго бича. Бёрне не отворачивался съ презрѣніемъ отъ подобныхъ вопросовъ, какъ незаслуживающихъ даже отвѣта, нѣтъ, онъ отвѣчалъ на возгласы о бесполезности и ненужности журналовъ, какъ человекъ, у котораго на умѣ одна мысль — благо народа. „Слитки истины, складываемые богатыми духомъ въ большихъ произведеніяхъ, не годятся для удовлетворенія повседневныхъ, житейскихъ потребностей людей, бѣдныхъ духомъ. Эту годность имѣетъ только вычеканенное въ ходячую монету знаніе. Вотъ эту-то монету составляютъ журналы“. Бёрне нѣтъ дѣла до того, что ходячая монета немислима безъ примѣси неблагороднаго металла; онъ понимаетъ, что лучше какая-нибудь монета, чѣмъ никакая, и что до тѣхъ поръ, пока народъ не будетъ обладать небольшимъ капиталомъ хоть изъ мелкой монеты, до тѣхъ поръ онъ не въ состояніи будетъ приобрести себѣ драгоценныхъ слитковъ.

Какъ ни былъ самъ Бёрне „богатъ духомъ“, онъ не давалъ своимъ знаніямъ, своимъ произведеніямъ формы недоступныхъ для „нищихъ духомъ“ слитковъ, напротивъ, онъ мѣнялъ ихъ на такую монету самаго чистаго чекана, которая свободно могла бы проходить въ массу народа. Бёрне ужасался тяжеловѣсности произведеній нѣмецкаго духа, потому что зналъ, что никогда народъ не въ состояніи будетъ переварить ихъ. Эти произведенія должны быть пропущены черезъ журнальную, газетную, или иную, но только популярную реторту, чтобы сдѣлаться возможными для питанія. Если журналы необходимы, то точно также необходима и борьба мнѣній, которая ведется въ нихъ, потому что изъ этой борьбы рождается истина, потому что

въ ней растетъ и крѣпнеть святая правда. Обманываются тѣ, которые требуютъ, чтобы заставили молчать журналистовъ, надѣясь, что тогда прекратится и ожесточенная война миѣній. Заставить молчать не значитъ еще погасить вражду. Утверждать это—все равно, говоритъ Бѣрне, что сказать: „больной человѣкъ излечится отъ всѣхъ своихъ страданій, коль скоро зажмутъ ему ротъ, жалующійся на нихъ“. Пусть будетъ лучше самая ожесточенная война, чѣмъ могильное спокойствіе, потому что одна говоритъ о жизни, другая означаетъ смерть. Не бѣда, если въ этой страстной борьбѣ раздаются громкіе удары; спокойствіе, умѣренность въ этихъ случаяхъ не только не всегда возможны, но часто бываютъ вредны, потому что спокойствіе и умѣренность часто скрываютъ подъ собою самый отвратительный іезуитизмъ. „Умѣнью красиво и граціозно покачиваться—говоритъ Бѣрне въ своей программѣ „Вѣсовъ“—и падать на корабль, кидаемомъ вверхъ и внизъ бурей, не можетъ выучить ни одинъ балетмейстеръ. А отъ глашатаевъ общественнаго миѣнія, которое вотъ уже столько лѣтъ несетъ съ быстротою молніи, отъ адвокатовъ общаго гѣра требуютъ, чтобы они, когда земля шатается подъ ними, вѣжливо сгибали спины, осторожно проходили между гнилыми яйцами и тихо стучались въ каждую дверь, прежде чѣмъ открыть ее. Скромность, и вѣчно скромность! На природы проявляетъ свои страданія въ крикъ, и только на деревянныхъ сценическихъ подмосткахъ скорбь поетъ въ A-moll“. Этими словами Бѣрне какъ будто бы впередъ хотѣлъ заявить публикѣ, что въ своемъ журналѣ онъ вовсе не думаетъ „вѣжливо сгибать спины“; что онъ не въ силахъ подавить въ себѣ крикъ негодованія, ненависти, который невольно вызывается совершающимися злоупотребленіями. Онъ не только не въ силахъ подавить въ себѣ этотъ крикъ, но еслибы онъ даже могъ побороть въ себѣ тяжелое чувство боли, то и въ такомъ случаѣ онъ не сталъ бы сдерживать своего крика, потому что онъ приноситъ несравненно болѣе пользы, нежели вреда. Всегда въ странѣ находится слишкомъ много писателей, изъ груди которыхъ не вырываются стоны и пронзительные крики, во-первыхъ, оттого, что они не чувствуютъ боли отъ страданій своей родины, и во-вторыхъ, оттого, что они знаютъ, что крики эти имъ невыгодны, что они раздражаютъ собою благородный слухъ сильныхъ міра, съ которыми, разумѣется, спокойнѣе и безопаснѣе жить въ мирѣ. „Умѣренныхъ“ писателей Бѣрне считаетъ самыми опасными. „Льстя одинаково прави-

телямъ и народамъ, легко защищая право первыхъ на полновластіе, право другихъ на свободу, въ однихъ они развиваютъ духъ деспотическаго обладанія, въ другихъ вялость, и портятъ такимъ образомъ тѣхъ и другихъ“. Эти „умѣренные“ писатели являются обыкновенно врагами полной свободы прессы, и если иногда и возвышаютъ свой голосъ въ пользу *принципа* свободы печати, то вмѣстѣ съ тѣмъ не упускаютъ случая доносить на тѣхъ неосторожныхъ журналистовъ, которые позволяютъ себѣ только сказать рѣзкое правдивое слово объ общественныхъ уродствахъ. Тотчасъ тогда начинается крикъ о злоупотребленіяхъ предоставленной свободы, о неблагодарности, о желаніяхъ возбуждать недовѣріе и вражду къ правительствамъ. „Но такъ какъ въ наше время, — говоритъ Бёрне, — легче обманывать другихъ, чѣмъ самого себя, то пусть эти хитрые антагонисты, въ ту минуту, когда они одни и никто не видитъ ихъ, пусть, положа руку на сердце, спросятъ самихъ себя: что кажется имъ болѣе опаснымъ: *пользованіе* свободою печати или *злоупотребленіе* ею? Отвѣтъ они не замедлятъ услышать“. Отвѣтъ этотъ даетъ и самъ Бёрне, опасаясь вѣроятно, что совѣсть тѣхъ писателей, къ которымъ онъ обращается, до такой степени извращена, такъ привыкла ко лжи и обману, что, и оставшись наединѣ, они тѣмъ не менѣе будутъ неискренни.

Слово должно быть свободно, и ничто такъ не пагубно для общества, какъ заглушенное, задавленное слово. Если въ обществѣ найдутся умы, которые воспользуются свободою, чтобы проповѣдовать превратныя мысли, превратныя идеи, то найдутся всегда и другіе умы, которые, вооруженные правдою и свѣтлою мыслью, окажутъ отпоръ, противовѣсь этимъ превратнымъ теоріямъ. Само общество, если ничто не препятствуетъ свободному развитію его силъ, выправитъ все, что есть ложнаго въ проповѣдуемыхъ мысляхъ. Но нужно знать, что разумѣть подъ этими превратными теоріями? Продажные журналисты, безсовѣстные, хотя часто и талантливые торговцы своимъ умомъ, своимъ перомъ, объявляютъ превратными идеями именно тѣ идеи, которыя направлены ко благу общества, тѣ идеи, которыя должны поселить въ обществѣ болѣе трезвыя понятія на права общества и отдѣльнаго человѣка, которыя должны вызвать въ обществѣ пробужденіе всѣхъ жизненныхъ силъ, серьезныя требованія всего того, безъ чего не можетъ дышать цивилизованное государство. Вы требуете свободы печати. Безсовѣстные журналисты кричатъ: они

проповѣдуютъ превратныя теоріи! Вы требуете широкаго народнаго образованія, которое не находилось бы въ рукахъ лицемѣрныхъ лакеевъ, испытанныхъ въ преданности господамъ, — жалкіе писаки восклицаютъ: они проповѣдуютъ превратныя теоріи! Вы требуете уничтоженія тайныхъ судилищъ, и слышите крикъ: превратныя теоріи! Вы толкуете и доказываете пользу самоуправленія — васъ преслѣдуетъ крикъ: превратныя теоріи! Вы заикнетесь о томъ, что народное богатство, народное достоиніе транжирируется самымъ безсовѣстнымъ образомъ, — вы слышите шипѣніе и въ этомъ шипѣніи различаете слово: превратныя теоріи. Вы скромно высказываете мысль, что громадныя арміи разоряютъ страну и служатъ только къ тому, чтобы держать народъ въ рабствѣ, — вокругъ васъ подымается гвалтъ, среди котораго до васъ явственно долетаетъ вопль: превратныя теоріи! Вы наконецъ начинаете теряться, недоумѣвать, вы начинаете сомнѣваться въ самихъ себѣ, и съ ужасомъ спрашиваете себя: да неужели же это правда? ужъ и въ самомъ дѣлѣ не проповѣдую ли я превратныя теоріи? Человѣкъ болѣе спокойный, менѣе довѣряющій тому, что кричатъ вокругъ, ставитъ себѣ просто на разрѣшеніе вопросъ: что такое превратныя теоріи, и что такое непревратныя теоріи? Отвѣтъ какъ нельзя болѣе простъ: превратными теоріями называется все то, всѣ тѣ мысли, идеи, всѣ тѣ понятія, которыя должны служить къ тому, чтобы общество, народъ становился совершеннolѣтнимъ, освобождался отъ непрошенной и, главное, ненужной опеки, чтобы обществу было предоставлено право распоряжаться своими дѣлами по своему разумѣнію, чтобы другіе только не беспокоились, худо ли, хорошо ли оно распоряжается. Непревратными же теоріями, по мнѣнію такихъ продажныхъ журналистовъ, называется все то, что служить для упроченія въ странѣ произвола и для развращенія общественной совѣсти. Этотъ людъ боится какъ огня свободы печати, потому что тогда роль ихъ, значеніе исчезаютъ, и они дѣлаются или всеобщимъ посмѣшищемъ, или предметомъ всеобщаго и законнаго презрѣнія. Свобода печати, и самая полная свобода, представляется самымъ необходимымъ условіемъ для всякаго здороваго политическаго организма, такъ какъ только при ней правительству становятся извѣстными всѣ желанія, всѣ требованія страны. Когда страна обладаетъ такою свободою печати, тогда она не должна жаловаться и не можетъ сваливать на правительство всѣ свои бѣды,

такъ какъ при ней народъ можетъ достигать осуществленія всѣхъ своихъ желаній удовлетвореніемъ всѣхъ своихъ требованій. „Въ томъ, что общественное мнѣніе требуетъ *серьезно*, — говоритъ Бёрне, — никто не можетъ отказать ему; если оно не получаетъ чего-нибудь по своему желанію, это значить, что требованіе было высказано вяло и равнодушно“. Въ концѣ своего объявленія объ изданіи „Вѣсовъ“ Бёрне, мимоходомъ, остроумно насмѣхается надъ тѣмъ, что „объемистыя сочиненія идутъ своей дорогой почти безпрепятственно; маленькія часто спотыкаются о преграды и заставы“ — однимъ словомъ, онъ смѣется надъ тѣмъ, что книги свыше двадцати листовъ освобождаются отъ цензуры, а ниже подвергаются самой строгой, свирѣпой цензурѣ.

Такова была, конечно, причина, отчего онъ рѣшился издавать „Вѣсы“ не въ опредѣленные сроки, а когда случится, смотря по обстоятельствамъ. „Вѣсы“ будутъ двигаться, — говоритъ онъ, — только тогда, когда исторія или наука нагрузить ихъ“. Бёрне впередъ извиняется, если въ его „Вѣсахъ“ будетъ попадаться и неудобоваримая пища, что рѣшительно неизбѣжно, когда во что бы то ни стало нужно наполнить столько-то листовъ, чтобы книга шла, не наткываясь на преграды. „Поэтому, о почтенный читатель, — восклицаетъ авторъ „Парижскихъ писемъ“, — если ты будешь находить, что въ нашихъ словахъ не все умъ и кровь, но что есть въ нихъ и бесполезная дрянь, то не забывай, отчего это происходитъ; книги будутъ начинать себя излишнимъ матеріаломъ для того, чтобы казаться толще и объемистѣе“. Сколько горечи скрывалось подъ этою шуткою — не трудно догадаться, особенно когда читаешь признаніе Бёрне, которое онъ сдѣлалъ нѣсколько лѣтъ спустя, говоря о той минутѣ, когда онъ начиналъ только издавать свои „Вѣсы“. „О небо! — восклицаетъ онъ: — въ вѣсахъ у меня не было недостатка, но мнѣ нечего было вѣсить. На рынкѣ было пусто, народъ оставался безъ дѣла, народецъ же въ высшихъ сферахъ торговалъ воздухомъ да вѣтромъ и вообще невѣсомыми матеріями. Я былъ въ большомъ затрудненіи. Журналъ былъ объявленъ, типографія въ ходу, деньги съ подписчиковъ были собраны, а я еще не зналъ, какимъ образомъ могу я выполнить всѣ мои обѣщанія“. Причина затрудненія Бёрне какъ нельзя болѣе понятна, если читатель только припомнить, что Бёрне начиналъ издавать свой журналъ въ минуту самой полной реакціи, когда всѣ ея аристократическія, іерархически-іезуитскія и абсолютистскія цѣли, какъ выра-

жастся Гутцовъ, быстро осуществлялись, при помощи отлично организованной полиціи, когда реакція, распускавшая свои парн, выражалась все рѣзче и рѣзче на конгрессахъ ахенскомъ, карлсбадскомъ, веронскомъ, когда всѣ либеральные государственные люди должны были удалиться со сцены, потому что всѣ ихъ надежды, всѣ иллюзіи, которыя они раздѣляли съ цѣлыми народами, были разбиты въ прахъ, уничтожены, когда Германія, послѣ столькихъ войнъ, послѣ столькихъ жертвъ, не только не сдѣлалась свободною, не только не освободилась отъ застарѣлыхъ средневѣковыхъ язвъ, но подпала подъ болѣе тяжкій деспотизмъ, подъ болѣе суровое иго. Въ пудовыя цѣпи заковано было теперь все тѣло Германіи. Въ пришибленной литературѣ торжествовали одни продажные писаки, которые, фиглярничая, расписались, доказывая всю прелесть абсолютизма—этой истинно отеческой, заботливой формы правленія. Время это было торжествомъ для тѣхъ гонимыхъ собакъ, которыя съ яростью набрасывались на всякаго, у кого хватало только духу „смыть свое сужденіе имѣть“. Для того, чтобы дѣйствовать въ такое время, когда всюду преслѣдовались „демагогическіе происки“, когда казематы всѣхъ тюремъ и крѣпостей были переполнены несчастною молодежью, „освободившею“ Германію отъ французскаго господства, мало еще было одной смѣлости, нужна была необыкновенная ловкость, необыкновенныя искусство и умѣнье. Одна смѣлость могла привести только къ одному результату, къ лаконическому приказу: журналъ закрыть, редактора и сотрудниковъ засадить! Цѣль Бёрне была не такова. Онъ хотѣлъ говорить, хотѣлъ писать, будить Германію, проводить свѣтлыя идеи, проповѣдовать такъ называемыя „превратныя теоріи“, „безнравственныя мысли“. Ему нужно было бороться съ непріателемъ такъ, чтобы онъ не зналъ, что ему дѣлать, сердиться ли, желчно смѣяться или представляться нечувствующимъ удары.

Бёрне въ этомъ отношеніи выказалъ замѣчательное искусство. Посвящая свой журналъ „гражданской жизни, наукъ, искусству“, онъ съ такимъ мастерствомъ перемѣшивалъ эти три отдѣла, что трудно было прямо къ чему-нибудь придратъся, и вѣстѣ съ тѣмъ не было у него ни одной строчки, которая не скрывала бы самой злой сатиры, которая не бичевала бы то или другое злоупотребленіе, то или другое уродство. Успѣхъ „Вѣсовъ“ былъ огромный. Первую книжку скоро онъ долженъ былъ печатать вторымъ изданіемъ; съ разныхъ

сторонѣ до него доходили поздравленія, выраженія сочувствія, пожеланія, чтобы онъ продолжалъ, чтобы онъ шелъ впередъ по своему пути. Ничто не даетъ, конечно, такого хорошаго понятія о первыхъ шагахъ Бёрне на этомъ поприщѣ, какъ отзывы его современниковъ, и потому нельзя не привести того, что писали о Бёрне съ одной стороны Рахель Фарнгагенъ, съ другой—достойный сподвижникъ Меттерниха—Фридрихъ Генцъ. „Читали ли вы,—писалъ этотъ послѣдній Рахели Фарнгагенъ,—статью въ „Вѣсахъ“, подписанную именемъ Лудвига Бёрне? Прочтите. Со времени Лессинга я не читалъ ничего столь остроумнаго и столь хорошо написаннаго“. Рахель не замедлила послѣдовать совѣту Генца, и, прочитавши статью, тотчасъ же написала одному изъ своихъ друзей: „Докторъ Бёрне редактируетъ журналъ „Вѣсъ“; Генцъ рекомендовалъ мнѣ его какъ самое замѣчательное изъ всего, что только появлялось; онъ разсыпался въ самыхъ восторженныхъ похвалахъ. Со времени Лессинга, говорилъ онъ, упоминаемая объ одной статьѣ, не было писано больше подобной драматической критики. Конечно, я вполне довѣряла сужденію Генца; но то, что пишетъ Бёрне, своимъ остроуміемъ и красотою языка значительно превосходить всѣ эти похвалы. Все у него выходитъ необыкновенно остро, глубоко, удивительно вѣрно и вѣстѣ смѣло; у него нѣтъ пустой модной новизны, у него въ самомъ себѣ все ново и оригинально. Безъ претензій, какъ въ доброе старое время! И какое негодованіе противъ всего фальшиваго въ искусствѣ! Что это совершенно честный человѣкъ, это также вѣрно, какъ то, что я живу. Если вы читаете его драматическія рецензіи и никогда не видѣли самыхъ пьесъ, то все же вы знаете ихъ, какъ будто бы сами видѣли. Каждой пьесѣ онъ указываетъ ея мѣсто. Постарайтесь непременно прочесть его статью... Генцъ сильно нападаетъ на его политическія мнѣнія, но онъ находитъ естественнымъ, что онъ держится ихъ“. Впослѣдствіи Генцъ перемѣнилъ свое мнѣніе о Бёрне, и, разумѣется, не рекомендовалъ бы читать его статью. Говоря о статьяхъ о Франціи, Гейне, Генцъ писалъ: „Я вполне понимаю, что и подобныя статьи находятъ цѣнителей и даже многихъ цѣнителей, такъ какъ значительная часть публики отъ души увеселяетъ себя наглостью и злостью какого-нибудь Бёрне или Гейне“... Эта „наглость“ и эта „злость“ свидѣтельствуютъ только объ одномъ, что въ то время, когда писалъ Генцъ, значеніе Бёрне уже значительно выросло, и статьи его сильно досаждали

Генцу, этому „другу порядка“. Рахель Фарнгагенъ впоследствии также достаточно охладѣла къ Лудвигу Бёрне, вѣроятно за то, что этотъ позволялъ себѣ вѣрно цѣнить Гёте какъ человѣка, а не смотрѣть на него какъ на бога, и находить въ немъ больше пятенъ, чѣмъ на солнцѣ; но тѣмъ не менѣе она никогда не объясняла его литературнаго характера „наглостью и злостью“, хотя эта послѣдняя, т.-е. злость, вовсе не есть еще недостатокъ въ писателѣ. Она часто высказывала свое мнѣніе о Бёрне, и между прочимъ по поводу одной изъ его статей она говорила: „По началу это Жанъ-Поль, безъ подражанія, очень хорошо. Душа его несравненно мрачнѣе Жанъ-Поля Рихтера“. Изъ приведенныхъ сужденій уже видно, съ кѣмъ сравнивали Бёрне съ самаго начала его дѣятельности. Лессингъ и Жанъ-Поль Рихтеръ, несмотря на все разнообразіе, несмотря на всю громадную разницу этихъ двухъ писателей, были у всѣхъ на умѣ, когда говорили о Бёрне.

Дѣйствительно, Жанъ-Поль Рихтеръ и Лессингъ вмѣстѣ съ Вольтеромъ имѣли неоспоримое вліяніе на развитіе Бёрне, на его литературную выработку, на его стиль, на его манеру. Онъ любилъ этихъ трехъ писателей болѣе всѣхъ остальныхъ, потому, быть можетъ, что имѣлъ много общаго съ каждымъ изъ нихъ. Онъ соединялъ въ себѣ независимый характеръ, ясный, свободный отъ предразсудковъ умъ Лессинга, живость, легкость и остроуміе Вольтера вмѣстѣ со страстностью и увлеченіемъ Жанъ-Поля Рихтера. Гуцковъ, въ своей книгѣ: „Жизнь Бёрне“, какъ нельзя лучше опредѣляетъ вліяніе этого послѣдняго на автора „Парижскихъ писемъ“, когда говоритъ, съ какимъ глубокимъ сочувствіемъ относился Бёрне не только къ образу мыслей и благородному міросозерцанію Рихтера, но также къ его образному стилю и пышнымъ оборотамъ рѣчи. Его притягивала иронія Жанъ-Поля, съ которою онъ изображалъ властителей и сильныхъ міра; его обольщала его сатира на политическое состояніе Германіи, его горячее сердце, его любящая, всеобъемлющая, сочувствующая всему человѣчеству душа. Какъ ни любилъ Бёрне стиль Рихтера, сколько бы ни проглядывало въ стилѣ самого Бёрне вліяніе Жанъ-Поля, но онъ никогда ему не подчинялся, для него всегда ясны были его недостатки, заключавшіеся главнымъ образомъ въ излишней манерности, а потому онъ всегда оставался свободнымъ отъ нихъ. Самъ Бёрне отлично опредѣляетъ вліяніе на него Жанъ-Поля

Рихтера, когда онъ остроумно замѣчаетъ: „Я долженъ читать Жанъ-Поля не для того, чтобы ему подражать, совсѣмъ напротивъ. Но онъ для меня тоже, что для войска хорошій генералъ; ободряемый имъ, я выражаюсь такъ смѣло, какъ никогда бы не рѣшился выразиться безъ него“. Свою признательность Жанъ-Полю Рихтеру Бёрне выразилъ, послѣ его смерти, въ надгробномъ словѣ, которое вызвало въ Германіи всеобщій восторгъ. Если Бёрне удержался отъ излишняго пристрастія къ цвѣтистому стилю Поля Рихтера, то, быть можетъ, онъ долженъ быть за это благодаренъ Вольтеру, который рано сдѣлался его любимымъ писателемъ и поселилъ въ немъ склонность къ „афоризмамъ, сентенціямъ, антитезамъ“. Необыкновенная ясность и необыкновенная острота формы — вотъ собственно существенныя черты стиля Бёрне, который онъ точно выработалъ для того, чтобы быть понятнымъ всѣмъ, чтобы слово его глубоко проникало въ общественные слои и всюду производило броженіе и возбужденіе. Такимъ именно стилемъ долженъ былъ обладать человѣкъ, который желалъ пробудить нѣмецкую націю. Въ необыкновенномъ успѣхѣ „Вѣсовъ“ Бёрне былъ, безъ сомнѣнія, много обязанъ именно своему стилю. Безъ него, безъ этой мѣткости, силы, рѣзкости выраженій, онъ, быть можетъ, не заставилъ бы такъ скоро говорить о своихъ драматическихъ рецензіяхъ, въ которыхъ всѣ должны были рано или поздно узнать достойнаго преемника Лессинга, безсмертнаго автора „Гамбургской драматургіи“.

V.

На драматическихъ рецензіяхъ Бёрне отразилось, конечно, вліяніе на него Лессинга, но и тутъ, какъ и вездѣ, онъ является не подобострастнымъ ученикомъ, а самостоятельнымъ писателемъ, сильнымъ продолжателемъ Лессинга. Но можно спросить: что побудило Бёрне обратить въ это время свою главную дѣятельность на театр, что принудило его сдѣлаться самымъ горячимъ драматическимъ рецензентомъ? Было ли у него особенное призваніе къ драматической критикѣ, чувствовалъ ли онъ непреодолимую, страстную любовь къ театру? На эти вопросы, кажется, съ полною увѣренностью можно отвѣчать отрицательно. Причины, побудившія его обратиться именно въ эту

сторону, были чисто внѣшняго свойства. Какъ для Лессинга театръ, драматическая критика были чисто средствомъ для достиженія его цѣли—проводить въ массу нѣмецкаго общества свои свободныя политическія идеи и свое широкое философское міросозерцаніе, точно такъ же и для Бёрне театръ, критика, служили главнымъ образомъ орудіемъ, съ помощью котораго въ данную минуту онъ могъ удобнѣе всего бороться съ общественною деморализаціею, съ апатіею, летаргіею нѣмецкой націи, съ рабобѣдными наклонностями да съ произволомъ нѣмецкихъ деспотическихъ правительствъ. Театръ былъ для него только средствомъ, чтобы шевелить, пробуждать сонный народъ. Говорить прямо о томъ, что больше всего лежало у него на сердцѣ, къ чему онъ чувствовалъ больше всего склонности и пристрастія, говорить, однимъ словомъ, о нравственно-политическихъ вопросахъ, о безправномъ положеніи народа, о бессмысленныхъ привилегіяхъ одной касты, о нелѣпости и позорѣ абсолютизма—сплошь и рядомъ бывало невозможно, болѣею же частію представляло такія необыкновенныя трудности, что по неволѣ приходилось отказываться отъ прямого нападенія, отъ прямой атаки и довольствоваться только небольшими, но зато постоянными вылазками, которыя Бёрне съ такою необыкновенною ловкостью производилъ въ своихъ драматическихъ рецензіяхъ.

Бёрне самъ простодушно рассказываетъ, какимъ образомъ началъ онъ писать свои драматическія рецензіи, какъ простой случай натолкнулъ его на эту дѣятельность. Горько жаловался бѣдный нѣмецкій публицистъ, что объ изданіи „Вѣсовъ“ было давно объявлено, деньги собраны, типографія въ ходу, а вѣсить, какъ выразился онъ, было нечего. Что дѣлать въ такомъ критическомъ положеніи? О чемъ писать, когда надъ всѣмъ лежитъ запрещеніе? „Пишите о театрѣ!“ произнесъ ему кто-то на ухо этотъ совѣтъ, и лицо Бёрне угрюмо-радостно озарилось. „Совѣтъ былъ хорошъ,—говоритъ Бёрне,—и я послѣдовалъ ему. Я одѣлъ почтенный парикъ и сталъ рѣшать въ самыхъ важныхъ и самыхъ горячихъ спорныхъ дѣлахъ нѣмецкихъ гражданъ—въ дѣлахъ комедіантскихъ. Какъ присяжный, судилъ я по моему чувству, по моей совѣсти; о правилахъ, законахъ я беспокоился мало, да я вовсе и не зналъ ихъ. Что Аристотель, Лессингъ, Шлегель, Тикъ, Мюльнеръ и другіе приказывали или запрещали драматическому искусству—мнѣ было совершенно чуждо. Я былъ,—прибавляетъ Бёрне

шута, — натуральный критикъ (Natur-Kritiker), въ томъ же самомъ смыслѣ, въ какомъ прозвали натуральнымъ стихотворцемъ, двадцать лѣтъ назадъ, крестьянина, сочинявшаго стихи — его имя, кажется, было Маус...”

Бёрне въ своей драматургіи исходитъ изъ того же самаго пункта, какъ и Лессингъ. Лессингъ восклицалъ: „Сильная мысль желать, чтобы у нѣмцевъ былъ національный театръ, когда они сами не составляютъ еще націи!“ — такъ точно и Бёрне говоритъ, „что коренной порокъ нѣмецкаго театра заключается въ отсутствіи національности, въ ничтожествѣ нѣмцевъ, въ отсутствіи свободн. Въ драмѣ я увидѣлъ зеркальное отраженіе жизни, и когда образъ мнѣ не понравился, я ударилъ по немъ; по когда онъ мнѣ снова представился, я разбилъ самое зеркало. Дѣтскій гнѣвъ! — прибавляетъ Бёрне: — въ оскорбкахъ я увидѣлъ этотъ образъ, повторенный сотню разъ“. Если Бёрне со злобою разбилъ зеркало на сотни кусковъ, то, должно быть, образъ, отраженіе жизни въ драмѣ было въ самомъ дѣлѣ отвратительно, такъ же отвратительно, ни болѣе, ни менѣе, какъ и самая нѣмецкая жизнь въ то время. Онъ возмущался тѣмъ, что онъ видѣлъ на театрѣ постоянное раболѣпство, страшное низкопоклонничество, вѣчное униженіе слабыхъ передъ сильными; онъ не находилъ никакого утѣшенія въ томъ, что эти ненавистныя оскорбленія человѣческаго достоинства, какъ выражаются Гудковъ, составляли дѣйствительную черту нравовъ нѣмецкаго общества. Но собраніе такихъ чертъ, какъ раболѣпство, униженіе, безусловное уваженіе къ сильнымъ и презрѣніе къ слабымъ, не можетъ быть достаточнымъ для національной драмы. Для того, чтобы она существовала, нужна національность; „все же недостатки, — говоритъ Бёрне, — нѣмецкой драмы указываютъ прямо на отсутствіе національности“. Бёрне, подобно Лессингу, съ ожесточеніемъ нападаетъ на безхарактерность нѣмецкаго народа, на отсутствіе въ немъ самостоятельности, и въ своемъ предисловіи къ собранію драматическихъ рецензій, составляющихъ — какъ бы въ параллель „Гамбургской драматургіи“ — франкфуртскую драматургію, указываетъ, какъ и отчего нѣмецкая нація лишена драматической поэзій: „Народъ, который потому только народъ, что онъ, какъ стадо, пасется на одномъ полѣ; народъ, который боится волка и почитаетъ собаку, а когда грянетъ гроза, скорѣй спрячетъ голову и терпѣливо ожидаетъ, пока минуетъ громъ; народъ, который ни во что не ставится въ ежегодныхъ итогахъ исто-

и, и который самъ себя не ставитъ ни во что даже тогда, когда гъ выполнялъ какую-нибудь задачу — такой народъ можетъ быть иенъ добръ, хорошо прастъ лень, быть полезнымъ въ домашнемъ изайствѣ, но никогда такой народъ не будетъ имѣть драматической юзѣи; онъ всегда будетъ только хорошъ въ каждой чужой драмѣ, юдставляющимъ мудрыя разсужденія, но никогда такой народъ мѣ не будетъ героемъ. Всѣ наши драматическіе поѣты, дурные, хо- юшіе и самые лучшіе, общаго между собою, національнаго имѣютъ лько одно — отсутствіе національности, и характернаго — безхарак- рность“. Источникъ такого печальнаго состоянія лежитъ не во тутреннемъ характерѣ народа, а во внѣшнихъ причинахъ; онъ вый- ть изъ такого состоянія, когда рѣшится сбросить съ себя желѣзную ду, когда онъ рѣшится высвободиться изъ позорной опеки нѣ- юлькихъ деспотовъ, когда онъ рѣшится сказать себѣ: не хочу больше юбства, не хочу выносить произвола! когда онъ твердо и опредѣ- инно заявитъ свое требованіе — быть не стадомъ барановъ, а свобод- имъ народомъ. Бѣрне еще прежде говорилъ: „въ томъ, что обще- венное мнѣніе требуетъ серьезно, никто не можетъ отказать ему“; ли народу смѣютъ отказывать въ его законныхъ требованіяхъ, зна- ть, требованія эти выражались ненастойчиво, „вяло и равнодушно“.

Если для драматической поѣзіи, какъ и для всѣхъ остальныхъ раслей человѣческой дѣятельности, пагубно отсутствіе національ- сти, то еще болѣе пагубно отсутствіе политической свободы. О чемъ югъ писать поѣтъ, литераторъ въ странѣ, находившейся подъ про- зволомъ, въ странѣ абсолютнаго правленія? Надъ всѣмъ лежало за- ющеніе, повсюду стоялъ бдительный стражъ, стражъ грубый, ди- й — цензура. И какая цензура? Та, которая видима для всѣхъ, инзура — учрежденіе еще не такъ опасное; есть другая цензура, во о разъ болѣе опасная. „Не та цензура, — говоритъ Бѣрне, — которая юпятствуетъ напечатанію того или другого, а та, которая мѣшаетъ исать, несравненно вреднѣе, и эта цензура дѣйствуетъ на всю страну. ы родились цензурованными; молоко, которое мы всасываемъ изъ юди матери, цензуровано. Нѣмецъ въ продолженіе пятидесяти лѣтъ южетъ быть великимъ инквизиторомъ, и онъ не разучится свободно юслить; но бросьте его на безлюдный островъ, гдѣ онъ будетъ самъ бѣ королемъ, и онъ все-таки не будетъ писать свободно... Мы такъ юивыкли быть предусмотрительны, что предусмотрительность пре-

вратилась у насъ въ животный инстинктъ, и мы въ ней вовсе не нуждаемся болѣе. Нѣмцу совершенно неизвѣстно, сколько человѣкъ, не подвергаясь смерти, можетъ перенести правды, суровости, сатиры. Еще менѣе знаетъ онъ, что человѣкъ отъ всего этого вовсе не умираетъ, а становится сильнѣе и здоровѣе. Самъ испорченный и усиленный, онъ портитъ и усыпляетъ произведенія своего духа"... Поэтому-то, справедливо думаетъ Бёрне, нѣтъ и жизни въ драматической поэзіи, потому-то все въ ней уродливо и неестественно. Уродливость и неестественность въ драмѣ, какъ и вообще въ литературѣ, происходитъ тогда, когда нѣтъ того воздуха, которымъ она можетъ дышать—а воздухъ этотъ есть не что иное, какъ политическая свобода. Отсутствіе этой свободы леденитъ писателя, его творческая способность притупляется, писатель становится робкимъ, боится коснуться одного, дотронуться до другого. Да и какъ, спрашивается, можетъ быть иначе, какимъ образомъ въ странѣ, не пользующейся политической свободой, можетъ быть сильная драматическая поэзія, живая литература, когда писатели, изъ десяти представляющихся имъ сюжетовъ, по крайней мѣрѣ девяти не смѣютъ касаться, подъ опасеніемъ быть заподозрѣнными въ „демагогическихъ проискахъ“? Кроме того, еслибы даже въ писателѣ хватило настолько смѣлости, чтобы подвергнуться подозрѣнію во всевозможныхъ козняхъ противъ правительства, то какъ и о чемъ писать, когда въ странѣ нѣтъ общественной жизни, когда всякое проявленіе ея преслѣдуется и подавляется? Пока общество лишено самостоятельности, пока оно водится на помочахъ, пока оно бесполезно лежитъ въ пеленкахъ, до тѣхъ поръ нельзя и претендовать имѣть серьезную литературу, и она невольно будетъ носить на себѣ дѣтскій характеръ. Дайте этому обществу вдохнуть въ себя свѣжую струю свободнаго воздуха, не останавливайте развитія мощной политической жизни, и тогда тотчасъ литература, какъ драматическая, такъ и всякая другая, пріобрѣтетъ серьезный характеръ. До тѣхъ же поръ, несмотря ни на какія отдѣльныя, исключительныя явленія, удѣлъ литературы будетъ самый жалкій, недостойный. До тѣхъ поръ безцвѣтны и безжизненны будутъ писатели, поэты, точно такъ же безцвѣтны и безжизненны, какъ и выводимыя ими лица, характеры, образы, проводимыя ими мысли, идеи. Вотъ на это-то отсутствіе развитой общественной жизни, политической свободы въ Германіи, какъ на источникъ безцвѣтности пи-

сателей, всего нѣмецкаго театра—и билъ Бёрне въ своихъ драматическихъ рецензіяхъ. До пьесъ, до авторовъ ему собственно было очень мало дѣла; если онъ бранилъ однѣхъ, нападалъ на другихъ, то вовсе не потому, чтобы онъ ими особенно интересовался; ему важно было не столько то, что пьесы и писатели дурны, сколько то, отчего они дурны. Не имѣя часто возможности нападать на причину, на корень ихъ негодности, на данный политическій строй, онъ нападалъ и безжалостно глумился надъ послѣдствіями этой причины, и если сначала его понимали только люди дальновзоркіе, то въ послѣдствіи стала понимать и вся читающая публика. Однимъ словомъ, въ сужденіяхъ своихъ о томъ или другомъ художественномъ произведеніи онъ руководился главнымъ образомъ политическими идеями; ко всему болѣе или менѣе онъ прилагалъ свое политическое мѣрило, и это, разумеется, было бы безуміемъ ставить въ упрекъ Бёрне.

Но политическій элементъ не исключительно поглощалъ вниманіе Бёрне. Онъ съ такою же силою нападалъ на все неестественное, на все ходульное, на всякіе предразсудки, всякую узкость понятій, на всѣ національные недостатки, а тѣмъ болѣе пороки. Бёрне былъ грозю всѣхъ драматурговъ, даже актеровъ, которыхъ онъ преслѣдовалъ за фальшь, искусственность, неестественность; его драматическіе рецензіи создали ему цѣлую бездну враговъ, которые доходили до того, что угрожали опасностью самой жизни Бёрне. Вѣднѣй критикъ долженъ былъ пріобрѣсти себѣ пару пистолетовъ, чтобы выходить съ ними на улицу, такъ какъ могъ подвергнуться всякимъ непріятнымъ случайностямъ. Разумѣется, еслибы обвиненные авторы только знали, какъ мало жалалъ Бёрне нападать именно на нихъ, то едвали они питали бы къ нему такую ненависть. Именно эта-то публицистическая, такъ сказать, сторона его драматическихъ рецензій и дѣлаетъ то, что онѣ до сихъ поръ сохраняютъ значительный интересъ. Будь эти рецензіи исключительно эстетическаго свойства, нѣтъ сомнѣнія, что ихъ давно бы никто не читалъ. Нѣтъ, кажется, такого сюжета, не было такой пьесы, говоря о которой Бёрне не счумѣлъ бы коснуться какого-нибудь общественнаго зла, не счумѣлъ бы ввести политическую мысль. Онъ пользовался самыми ничтожными пьесами, о которыхъ не стоило бы сказать двухъ словъ, для того, чтобы потолковать или высказать такую вещь, которая никогда бы не прошла въ статьѣ болѣе „серьезной“, чѣмъ драматическая рецензія. Эти-то разбросан-

ныя идеи, составляющія вѣсть одно стройное, гармоническое цѣлое, эта политическая пропаганда, выражавшаяся въ легкихъ, полныхъ остроумія и блеска, драматическихъ рецензіяхъ, и дѣлаетъ его драматургію столь драгоценною; безъ этого никогда, конечно, его театральная критика не имѣла бы такого успѣха и вѣсти такого значенія для нѣмецкаго общества. Значеніе это было чисто воспитательнаго свойства. Бёрне училъ просто, какъ нужно относиться къ извѣстнымъ явленіямъ; онъ разъяснялъ тутъ, какъ бы вскользь, мимоходомъ, самыя основныя понятія, касавшіяся общественнаго организма, политическаго устройства; онъ прививалъ, такъ сказать, общія, элементарныя идеи, необходимыя для здоровой политической жизни народа.

Въ дѣлѣ пробужденія нѣмецкаго общества къ новой политической и нравственной жизни драматургія Бёрне составляетъ такимъ образомъ непосредственное продолженіе Лессинга. Чтобы понять, какъ умѣлъ Бёрне, по поводу какой-нибудь пьесы, задѣть извѣстное политическое положеніе вещей, для этого вовсе не нужно долго рыться въ двухъ томахъ его драматической критики. Стоить открыть любую страницу, и методъ Бёрне тотчасъ же обрисуется. Напримѣръ, возьмемъ первую по порядку рецензію, написанную на одну изъ плохихъ трагедій Раупаха, подъ названіемъ „Крѣпостные“. Всѣ герои въ этой драмѣ пали жертвами крѣпостничества, такъ что борьба тутъ представляется съ одной стороны между людьми, съ другой—съ возмутительнымъ, безчеловѣчнымъ закономъ. Но подобная завязка, т.-е. людская борьба съ извѣстнымъ началомъ, закономъ, неудобна для трагедіи. Когда главнымъ героемъ трагедіи является не человѣкъ съ плотью и кровью, а только призракъ, принципъ, хотя бы даже политическій принципъ, тогда, по мнѣнію Бёрне, трагедія лишена свойственнаго ей основанія, и она грѣшитъ въ самомъ корнѣ. Тѣмъ не менѣе—драматурги сплошь и рядомъ прибѣгаютъ къ подобной завязкѣ. Показавъ, какъ невыгодна она для трагедіи, Бёрне обращается къ разбираемой имъ пьесѣ и прибавляетъ: „Мы не станемъ впрочемъ ставить этого въ упрекъ поэту, такъ какъ такого рода недостатокъ долженъ быть отнесенъ скорѣе къ недостаткамъ его времени. Драма есть отраженіе жизни, а когда жизнь мала, — мельчаетъ и искусство. Совершались и совершаются великія дѣла въ наше время, но ради борьбы элементовъ, а не живыхъ свободныхъ существъ. Человѣчество

велико, люди ничтожны. Наша жизнь — шахматная игра. Самое мѣсто дѣйствія сдѣлано изъ дерева и раздѣлено на отиѣренныя поля, которыя выкрашены въ бѣлую или черную краску. Фигуры, также изъ дерева, стоятъ, по обычаю, направо и надѣво, впереди или сзади, на темномъ или свѣтломъ полѣ. Онѣ не ходятъ, ихъ переставляютъ, какъ предписано; одна дѣлаетъ маленькіе, другая большіе шаги, одна двигается прямо, другая вкось, они сталкиваются, потому дерутся. И за кого они борются? За короля. И всѣ, оставшіяся стоять, не считаются; побѣда тамъ, гдѣ остался стоять король. А что такое король? деревяшка, какъ и всѣ... Разумнаго изъ этого ничего не можетъ выйти, самое большое — комедія". Такъ пользуется Бёрне всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы показать читателю свой сатирическій бичъ и по поводу даже вздорной пьесы навести его на серьезное размышленіе объ ограниченности и тупоуміи общества, позволяющаго, чтобы имъ управляли, какъ управляютъ деревянными пѣшками. „Не будьте пѣшками, — говоритъ онъ, — попробуйте двигаться сами, и, быть можетъ, вы превратитесь изъ бездушнѣйшей массы въ крѣпкихъ и здоровыхъ людей, и, быть можетъ, вы ужаснетесь, изъ-за чего вы спорили и дрались! Быть можетъ, вы вздрогнете отъ одной мысли, какъ безумно-преступно вы проливали и проливаете вашу кровь, потому что лилась и льется она не ради справедливости, не для защиты слабыхъ отъ насилія сильныхъ, не для вашего блага, а только ради грубаго произвола одного или, во всякомъ случаѣ, немногихъ!"

Бёрне никогда не останавливался на поверхности произведенія; онъ всегда углублялся въ самую суть комедіи или драмы, и старался представить мысль произведенія во всей ея наготѣ, безъ всякихъ прикрасъ, срывая съ нея мнимую, кажущуюся только справедливость, если ему казалось, что мысль въ основаніи своемъ невѣрна, хотя на первый взглядъ и представлялось иначе. Никого менѣе чѣмъ Бёрне нельзя было обмануть внѣшнимъ либеральнымъ построеніемъ комедіи, внѣшнимъ либерализмомъ мысли: онъ тотчасъ подмѣчаетъ всякую фальшивую ноту, всякій фальшивый аккордъ; и если даже авторъ совершенно искренно кладетъ въ основаніе своей пьесы, какъ ему кажется, вполне либеральную, какъ нельзя болѣе, по его убѣжденію, чистую мысль, то Бёрне, вникая въ это основаніе, пронизывая эту мысль своимъ пытливымъ взоромъ, и находя ее вовсе не такою либеральною, вовсе не такою чистою, тотчасъ бросаетъ яркій и истинный

свѣтъ на всю драму, и говорить: нѣтъ, авторъ заблуждается, мысль, которая ему кажется либеральною, вовсе не либеральна, и понимать известное положеніе, известный характеръ нужно такъ, а не иначе. Для Вёрне было рѣшительно все равно въ этомъ случаѣ — написали ли эту пьесу какой-нибудь Раупахъ, Иффландъ, или написана она Лессингомъ или Шиллеромъ. Если что-нибудь кажется ему невѣрно, онъ съ одинаковымъ жаромъ набрасывается на это невѣрное, кому бы оно ни принадлежало — истина для него дороже всякихъ авторитетовъ, и умъ его не принадлежалъ къ тѣмъ узкимъ и робкимъ умамъ, которые боятся прикоснуться ко лжи и неправдѣ только потому, что эта ложь и эта неправда высказана великимъ человекомъ. Чѣмъ выше человекъ, чѣмъ крупнѣе его талантъ, тѣмъ болѣе строго нужно относиться ко всякой его ложной концепціи, ко всякой вкрапшейся въ его произведеніе фальши, такъ какъ читатели и безъ того слишкомъ склонны въ подобномъ писателѣ принимать все на вѣру и смотрѣть какъ на божественное откровеніе на всякое слово, брошенное имъ на бумагу. Вёрне отлично понималъ, что если известная ложь высказана мелкимъ писателемъ, то на нее не стоитъ обращать особеннаго вниманія, такъ какъ и безъ нападенія на нее она скоро загложится; но если подобная же ложь, подобное невѣрное отношеніе къ той или другой идеѣ встрѣчается у крупнаго писателя, то на него слѣдуетъ обрушиться со всюю силою правды, такъ какъ ложь крупныхъ талантовъ проникаетъ очень глубоко и можетъ заразить собою значительную массу читателей.

Какъ примѣръ такого строгаго отношенія Вёрне къ идеѣ драматическаго произведенія, можно привести его рецензію на „Эмилию Галотти“ Лессинга, и на „Вильгельма Телля“ Шиллера. „Эмилиа Галотти“ принадлежитъ, безъ сомнѣнія, къ самымъ смѣлымъ произведеніямъ своего времени, такъ какъ Лессингъ позволилъ себѣ изобразить въ этой пьесѣ представителя верховной власти вовсе не въ особенно привлекательномъ свѣтѣ. Тѣмъ не менѣе Вёрне показала въ этомъ произведеніи какая-то фальшь. Фальшь эта заключается въ основаніи, въ фундаментальной идеѣ произведенія, которую можно резюмировать такъ: какъ пагубны бываютъ послѣдствія того, что князь окружаетъ себя дурными совѣтниками. Послѣдствіемъ этого въ „Эмилиа Галотти“ является убіеніе отцомъ своей собственной дочери. „Когда такое страшное, неестественное дѣло, — говоритъ Вёрне,

—случается такъ себѣ, напрасно, какъ здѣсь, когда отецъ убиваетъ свою дочь, не ради боговъ, не ради отчизны, не для того, чтобы сохранить чистоту ея сердца, которое онъ не считаетъ даже способнымъ къ порчѣ, но только для того, чтобы спасти ея анатомическую невинность, тогда съ отвращеніемъ отворачиваешься отъ подобнаго изображенія. Нравственное поученіе, исходящее изъ устъ принца, не удовлетворяетъ справедливаго требованія зрителя. Даже истина была бы слишкомъ дорого куплена подобною жертвою, а тѣмъ болѣе ложь. „Развѣ не достаточно для несчастія столькихъ людей и того, что князья простые люди: неужели нужно, чтобы они находили еще чорта въ своемъ другѣ!“ „Нѣтъ, мой принцъ,—прибавляетъ Бёрне,—отвѣтственность министровъ хороша въ государственныхъ дѣлахъ; тамъ же, гдѣ князья являются простыми людьми, и гдѣ они перестаютъ поступать по-человѣчески, тамъ подпадаютъ они подъ общій законъ. Хорошіе правители всегда имѣютъ и хорошихъ совѣтниковъ“. Такимъ образомъ Бёрне нападаетъ на Лессинга, хотя Лессингъ въ сущности вовсе не виновенъ въ томъ, что мысль его выразилась въ такой мягкой формѣ для принца. Лессингъ взвалилъ всю вину на совѣтника князя только потому, что взвалить ее на самого правителя, быть можетъ, оказалось бы несовсѣмъ удобнымъ и пьеса едва ли была бы пропущена. Но Бёрне опасается, что зрители въ самомъ дѣлѣ поймутъ мысль такъ, какъ она является недальноворкому человѣку, и что они пожалуй въ самомъ дѣлѣ скажутъ: ахъ, бѣдный принцъ, какое несчастіе, что у этого хорошаго молодого человѣка такіе дурные совѣтники! Извините, говоритъ этимъ зрителямъ Бёрне: этотъ хорошій молодой человѣкъ ни болѣе, ни менѣе, какъ негодяй, и крайне прискорбно, что изъ-за такого негодяя случилось такое страшное дѣло, какъ убіеніе дочери собственнымъ ея отцомъ. Принца этого нечего жалѣть, потому что онъ не что иное, какъ развратникъ, не знающій границъ своему произволу, іезуитски сваливающій свою вину на своего совѣтника. Пословица, говорящая: *tel maître, tel valet*, какъ нельзя болѣе справедлива, и въ настоящемъ случаѣ вполне приложима. Никогда у гуманнаго правителя, у истинно либеральнаго человѣка не будетъ совѣтникомъ низкій слуга съ самыми звѣрскими инстинктами. Очевидно, что Бёрне, какъ нельзя болѣе правъ, когда онъ отбрасываетъ все, что есть наноснаго и фальшиваго въ драмѣ Лессинга, когда онъ выправляетъ, такъ сказать, мысль, лежащую въ основаніи произ-

веденія, и толкуеть своимъ читателямъ, какъ нужно понимать эту драму и относиться къ данному положенію.

Если Бёрне всюду въ своей драматургіи ищетъ повода для пропаганды трезвыхъ политическихъ идей, и съ энергіею нападаетъ на всякое уклоненіе отъ политической правды, какъ онъ ее понимаетъ, и всякое извращеніе ея старается замѣнить свѣтлымъ, разумнымъ воззрѣніемъ, то почти съ одинаковою силою нападаетъ онъ на произведенія, которыя, по его мнѣнію, грѣшатъ противъ нравственности. Нравственность Бёрне понимаетъ по-своему, и въ своемъ оригинальномъ пониманіи ея онъ даже не всегда бываетъ правъ. Его понятіе о нравственности чрезвычайно возвышенно, и въ своихъ строгихъ требованіяхъ отъ писателя, чтобы произведеніе его не оскорбляло нравственного чувства общества, онъ доходитъ подчасъ до такого пуританскаго ригоризма, который можетъ показаться даже неискреннимъ, хотя не можетъ быть никакого сомнѣнія, что Бёрне во всей своей жизни не написалъ ни одного слова, которое не выходило бы изъ самой глубины его души; ему нельзя не вѣрить, когда онъ пишетъ: „что я говорилъ, тому я всегда *трымъ*. Что я писалъ, то диктовалось мнѣ моимъ сердцемъ“. Чтобы представить примѣръ, до чего доходилъ Бёрне въ своей нравственной строгости, можно указать на разборъ его „Вильгельма Телля“, на котораго онъ нападетъ со всѣмъ своимъ остроуміемъ, нападетъ за безнравственный поступокъ Телля, заключающійся, по его мнѣнію, въ томъ, что Телль рѣшился выстрѣлить въ яблоко, положенное на головѣ его сына. Этотъ выстрѣлъ исполняетъ Бёрне негодованіемъ. Что бы тамъ ни было, разсуждаетъ онъ, отецъ не могъ, не долженъ былъ стрѣлять въ своего сына—это безнравственно. Подобное мнѣніе, высказанное другимъ писателемъ, было бы еще болѣе или менѣе понятно, но когда оно высказывается такимъ горячимъ борцомъ за свободу, какимъ былъ Бёрне, когда мы слышимъ его отъ человека, котораго вся жизнь была посвящена одному политическому освобожденію своей родины, можно спросить себя съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ: какимъ образомъ Бёрне впадаетъ въ такое противорѣчіе, какимъ образомъ онъ, который взялъ девизомъ слова: „j'aime mieux ma patrie que ma famille“, отступаетъ вдругъ отъ словъ, начертанныхъ на его политическомъ знамени. Еслибы нужно было непремѣнно отыскать причину кажущагося противорѣчія, еслибы мы стали добиваться его отъ самого Бёрне, то, быть можетъ, мы бы

услышали въ отвѣтъ: да, я говорю, что отечество должно быть поставлено выше семьи, выше моего я, для освобожденія его человѣкъ долженъ дѣлать все, что въ его силахъ, но для этой благородной цѣли должны быть употреблены благородныя средства; убіеніе же собственнаго сына я считаю безнравственнымъ, слѣдовательно оно и не можетъ быть обращено въ средство для достиженія цѣли — блага родины! Едва ли это не единственное объясненіе, которое можно дать его ярнымъ нападкамъ на поступокъ Вильгельма Телля. „Онъ долженъ былъ въ ту же минуту убить тирана, но не стрѣлять въ своего сына“. Но если Бёрне и неправъ, когда онъ смотритъ на поступокъ Вильгельма Телля какъ на безнравственный, то вся критика его на это замѣчательное произведеніе Шиллера представляетъ собою одинъ изъ лучшихъ образчиковъ его драматическихъ рецензій. Взглядъ его на Телля совершенно оригинальный. Бёрне относится къ нему больше чѣмъ равнодушно, съ нелюбовью, потому что Телль выдается за героя, въ то время, когда онъ, по его понятію, вовсе не удовлетворяетъ понятію политическаго дѣятеля, политическаго героя. Вильгельмъ Телль герой! Бёрне смѣется надъ этимъ, говоря: „мнѣ очень жаль бѣднаго Телля, но онъ большой филистеръ“. И это положеніе доказываетъ онъ во всей своей критикѣ. Это — политическій герой, какъ бы спрашиваетъ Бёрне, это человѣкъ, освобождающій родину, это — сильный характеръ? Нѣтъ, Телль далеко не удовлетворяетъ Бёрневскому идеалу политическаго дѣятеля. „Характеръ Телля — подчиненность“, говоритъ Бёрне, и этимъ опредѣляется вся его дѣятельность. Это человѣкъ, по его мнѣнію, съ очень узкимъ и ограниченнымъ кругозоромъ; онъ сознаетъ свои обязанности, но обязанности эти не смѣлаго и мужественнаго гражданина, а простого, скромнаго человѣка. Телль обладаетъ мужествомъ, которое проистекаетъ изъ сознанія физической, тѣлесной силы, но не силы сердца, которой ему не хватаетъ. Телль видитъ только то, что его окружаетъ, то, что передъ его глазами, но чтобы сразу объять своимъ взоромъ дальній горизонтъ, отъ этого онъ очень далекъ. Онъ не любитъ преслѣдователей, онъ спасаетъ преслѣдуемыхъ; но для того, чтобы быть политическимъ дѣятелемъ — этого мало; нужно еще ненавидѣть самый принципъ преслѣдованія, нужно ненавидѣть не только деспотовъ и тирановъ, но самый принципъ произвола и насилія. Телль не даетъ своей клятвы въ Рютли въ то время, когда тамъ собрались лучшіе граждане страны. „Отчего, —

спрашиваетъ Бёрне, — у него не хватаетъ мужества пристать къ заговору? Когда онъ произноситъ:

Der Starke ist am mächtigsten allein —

то это только философія безсилія. Тотъ, кто имѣетъ силы лишь настолько, чтобы управлять собою, тотъ, разумеется, сильнѣе всего, когда онъ одинъ; но когда послѣ самообладанія у него остается еще излишекъ силы, тогда онъ будетъ управлять другими и въ союзѣ съ другими будетъ несравненно сильнѣе. Телль не отдаетъ поклона шляпѣ, вздернутой на колъ, но онъ волнуется этииъ, опасается, у него не хватаетъ духа исполнить это спокойно; онъ не противопоставляетъ благороднаго упорства свободы наглому упорству произвола; все, что у него есть — это „филистерская гордость“; чувство собственного достоинства соединяется въ Теллѣ съ чувствомъ боязни и страха. „Чтобы соединить это чувство чести со страхомъ, онъ проходитъ мимо столба со шляпою съ опущенными глазами, для того, чтобы имѣть возможность сказать, что онъ не видѣлъ шляпы, и потому не преступилъ приказанія“. Развѣ можно признавать Телля за героя, спрашиваетъ Бёрне, когда онъ всюду является малодушнымъ, до того малодушнымъ, что становится стыдно за него. Развѣ онъ не извиняется, „что онъ не отдалъ поклона шляпѣ вслѣдствіе невниманія и что это болѣе не повторится“? Бёрне упрекаетъ Телля, онъ предастъ его посмѣянію за то, что онъ, когда его принуждаютъ стрѣлять по яблоку на головѣ сына, не нападаетъ на тирана, а предпочитаетъ обращаться къ нему съ просьбами, съ мольбою, называть его „*lieber Herr*“ и, проходя черезъ рядъ униженій, доходить до безнравственнаго поступка — выстрѣла. Все это недостойно политическаго героя. Но что болѣе всего приводитъ Бёрне въ негодованіе, это смерть Гесслера. „Я не понимаю, — говоритъ онъ, — какъ можно находить этотъ поступокъ нравственнымъ и, еще болѣе, какъ можно находить его прекраснымъ“. Телль прячется и безъ опасности для себя убиваетъ врага, который думалъ, что жизни его ничто не угрожаетъ. Зачѣмъ, спрашиваетъ какъ бы Бёрне, не убилъ Телль врага его родины тогда, когда онъ долженъ былъ его убить, когда необходимость понуждала его, когда онъ долженъ былъ убить его, хотя бы ради того, чтобы не стрѣлять въ своего сына, и зачѣмъ убиваетъ онъ его теперь, какъ трусъ, предпочитая безопасную для себя месть?

Таковъ въ главныххъ чертахъ разборъ Бёрне „Вильгельма Телля“. Онъ не хочетъ, чтобы нѣмцы могли такого человѣка считать политическимъ героемъ, идеаломъ политическаго дѣятеля. Телль, по его мнѣнію, не представляетъ собою свободнаго человѣка, въ своихъ поступкахъ онъ выказываетъ себя трусомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ жестокимъ, лицемѣріе служить для него девизомъ, такъ точно, какъ оно служить девизомъ деспотическихъ правительствъ. Въ образѣ дѣйствій свободнаго человѣка ничего не должно быть общаго съ образомъ дѣйствій этихъ послѣднихъ. Если имъ дозволено ехидно нападать на своихъ враговъ, то это естественно, потому что по самому принципу деспотическія правительства могутъ держаться только ехидствомъ и страхомъ, какъ давно уже сказалъ Монтескьё, но люди свободныне для торжества своихъ политическихъ идей должны употреблять только честныя орудія. Правда, быть можетъ именно оттого, что для торжества политическихъ идей свободныхъ людей употребляются только честныя средства, торжество это такъ долго не наступаетъ и такъ медленно осуществляется идеалъ тѣхъ людей, которыхъ привыкли называть мечтателями, безумцами, утопистами и даже глупцами. *Rira bien qui rira le dernier*, говоритъ пословица, и весьма можетъ быть, что глупцами окажутся въ концѣ концовъ вовсе не тѣ, которые противъ всевозможныхъ козней и изощреній сѣдовласаго деспотизма употребляютъ всегда честныя орудія, ведутъ, такъ сказать, открытую игру съ произволомъ, а именно тѣ, которые питаютъ надежду при помощи ехидства, лицемѣрія и ряда насилій держать вѣчно народы въ оковахъ и трепетномъ страхѣ. Таковы были, быть можетъ, мысли, которыя роились въ головѣ Бёрне, когда онъ нападалъ на недостаточную искренность, на недостаточную прямоту въ образѣ дѣйствій Вильгельма Телля; и нельзя не сказать, что если въ теоріи Бёрне и правъ, если подобный взглядъ на образъ дѣйствій политическаго дѣятеля въ высшей степени честенъ и благороденъ, и какъ нельзя болѣе вѣрно обрисовываетъ характеръ автора „Парижскихъ Писемъ“, то на практикѣ онъ не всегда приложимъ. Вильгельмъ Телль вовсе не такъ виноватъ, когда онъ держится правила: съ волками жить, по-волчьи вить, и когда во время страстной борьбы, горячей схватки онъ на минуту вырываетъ орудіе у своего вѣковаго врага и доказываетъ ему на практикѣ, что палка страха и гоненій о двухъ концахъ, и если

въ продолженіе столѣтій однимъ концомъ она бьетъ народъ, то настаетъ минута, когда другимъ своимъ концомъ она наноситъ смертельный ударъ всемогуществу деспотовъ. Нѣтъ, нельзя обвинять людей, когда они, возбужденные ненавистью и негодованіемъ, доведеннымъ до послѣднихъ границъ цѣлымъ рядомъ преступныхъ дѣяній ихъ правителей, рѣшаются поступать съ ними такъ, какъ тѣ привыкли обращаться съ ними самими; нельзя обвинять людей за то, что чаша страданій ихъ переполнилась, и они принуждаютъ хлебнуть изъ нея тѣхъ, которые именно постарались ее переполнить. Правда, Теллей, убившихъ одного человѣка, называютъ убійцами, въ то время когда Гесслеровъ, убивавшихъ сотнями, тысячами, по какой-то странной логикѣ, называютъ мучениками. Правда, впрочемъ, и то, что народы не привыкли, чтобы къ дѣяніямъ ихъ относились когда-нибудь справедливо. Вильгельмъ Телль, какъ представитель массы, представитель народа, во всякомъ случаѣ заслуживаетъ не порицанія, а глубокаго состраданія и сочувствія. Тайный, внутренній голосъ подсказывалъ это, разумѣется, Бёрне, потому что иначе онъ не написалъ бы въ концѣ своей критики, что „Вильгельмъ Телль остается тѣмъ не менѣе одною изъ лучшихъ трагедій, какою только обладаютъ нѣмцы. Съ произведеніями искусства, — добавлялъ онъ, — бываетъ то же, что и съ людьми: при самыхъ большихъ недостаткахъ они могутъ быть милы намъ“. Вильгельмъ Телль не могъ не быть все-таки милъ Бёрне, несмотря на всѣ свои недостатки, несмотря на то, что его образъ дѣйствій не удовлетворялъ требованіямъ строго-нравственнаго политическаго дѣятеля XIX столѣтія, не могъ не быть милъ ему, потому что въ концѣ концовъ онъ все-таки представляется олицетвореніемъ протеста противъ того порядка, съ которымъ съ такимъ благороднымъ мужествомъ, съ такою неутомимою энергіею боролся всю жизнь самъ Бёрне.

Критика на „Вильгельма Телля“ принадлежитъ безспорно къ лучшимъ драматическимъ рецензіямъ Бёрне, и если въ его драматургіи встрѣчаются критики, поражающія еще болѣе тонкимъ анализомъ, какъ, напр., знаменитый разборъ его „Гамлета“, то ни одна не даетъ такого полнаго понятія о манерѣ Бёрне, какъ эта. Въ ней соединяются оба элемента, составляющіе отличительныя свойства критики Бёрне: элементъ политическій и элементъ

нравственный. Не слѣдуетъ однако думать, что, всюду преслѣдуя одну политическую цѣль, изъ всего дѣлая предметъ политической пропаганды, онъ въ своихъ литературныхъ критикахъ вовсе забывалъ пользу самой литературы. Нѣтъ, онъ слишкомъ хорошо зналъ, что значитъ здоровая литература для общественнаго развитія, чтобы пренебрегать ею. „Новаторъ въ политикѣ и въ поэзіи, — справедливо говоритъ одинъ изъ самыхъ еще посредственныхъ его біографовъ, — онъ ведетъ рука объ руку свою двойную задачу. Далекій отъ того, чтобы не признавать независимость искусства, онъ желалъ бы, чтобы могущественная и свободная литература свидѣтельствовала собою жизнь, силу, безостановочное развитіе національнаго духа. Такимъ образомъ, политика и искусство занимаютъ его въ одно и то же время и соединяются для него, но не перемѣшиваясь“. Правда, политикѣ онъ всегда отдавалъ преимущество; онъ больше заботился о пропагандѣ новыхъ политическихъ идей, но оттого, что онъ видѣлъ, что главная причина застоя нѣмецкой націи, главная причина ея грустнаго политическаго и нравственнаго состоянія заключается именно въ томъ, что до сихъ поръ политическое воспитаніе народа еще не было вовсе начато. Народъ не понималъ просто всей возмутительной несправедливости своего безправнаго существованія, такъ точно, какъ не понималъ, что безграничная власть, которою такъ злоупотребляли нѣмецкія правительства, не имѣетъ никакого законнаго основанія, кромѣ развѣ одного — людской „глупости“, какъ выражался обыкновенно Бёрне. Что дѣлало до сихъ поръ драматическое искусство въ Германіи? За немногими, но яркими исключеніями, нѣмецкіе драматурги не только не содѣйствовали распространенію здоровыхъ понятій въ обществѣ, но, изображая существующіе нравы безъ всякой руководящей идеи, изображая нѣмецкое пресмыкательство, чиновничество, рабство и тому подобныя добродѣтели, не осмѣивая ихъ даже, не предавая позору, они укрѣпляли въ обществѣ мысль, что если оно такъ, то такъ и должно быть. Въ этомъ ли заключается цѣль искусства? Искусство, какъ и всякая другая отрасль человѣческой дѣятельности, должно быть направлено къ одному — къ общественному благоденствію, къ общественной пользѣ. Очевидно, что главнымъ условіемъ общественнаго благополучія служитъ то, чтобы во взаимныхъ отношеніяхъ людей между собою господствовала справедливость, чтобы люди понимали свои права и

обязанности. Этой-то справедливости, этого пониманія правъ и обязанностей и не было въ современномъ ему обществѣ: оттого и прое- ходило торжество грубой силы, торжество произвола. На долю однихъ тогда выпадаетъ право господствовать, право повелѣвать, право пользоваться всѣми удобствами, всѣми преимуществами жизни; на долю же другихъ достаются однѣ обязанности, обязанность подчиняться, обязанность тянуть жизнь полную лишеній и униженій. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что если дѣятельность драматическаго поэта, или вообще литературнаго таланта, будетъ направлена не на то, чтобы поселать въ обществѣ болѣе справедливыя понятія о человѣческихъ отношеніяхъ, не на то, чтобы приводить людей къ разумному пониманію ихъ правъ и обязанностей, а напротивъ, если они своими произведеніями будутъ освящать, такъ сказать, и укрѣплять съ одной стороны законность произвола, привилегій, права однихъ на господство, а съ другой—будутъ поддерживать естественность жалкаго положенія массы, законность ея безправности, ея рабства, тогда, какии бы талантомъ ни обладалъ человѣкъ, онъ дурно служитъ дѣлу искусства, потому что дурно служитъ дѣлу человечества. Однимъ словомъ, драматическая поэзія, литература должна быть всегда проводникомъ новыхъ идей, вырабатываемыхъ исторіею, для того, чтобы произвести улучшение въ жизни всего человѣческаго общества. Бёрне, какъ и Лессингъ въ свое время, видѣлъ, что нѣмецкая драматическая поэзія, нѣмецкая литература не только не служатъ такимъ проводникомъ новыхъ идей, но напротивъ, являются хранилищемъ всего ветхаго, износившагося, рутиннаго и прогнившаго. Онъ направилъ всѣ свои старанія, чтобы заставить ее сбросить съ себя эту гнилость и сдѣлать ее способнымъ къ новой жизни. Виѣсть съ тѣмъ онъ понималъ, что главною преградою для того, чтобы литература вступила на тотъ путь, на которомъ она только и можетъ сдѣлаться сильнымъ двигателемъ въ дѣлѣ развитія общества, заключается въ политическомъ гнетѣ, подавлявшемъ собою всю Германію. На этотъ политическій гнетъ онъ направилъ всѣ свои стрѣлы. Одною изъ нихъ была и его драматургія. Развивая въ ней свои свѣтлые взгляды на всѣ стороны жизни, онъ старался пробуждать въ драматической поэзіи подавленную въ ней національную силу. Оттого-то его драматургія и пользовалась такимъ успѣхомъ.

VI.

Политическій темпераментъ Бёрне не удовлетворяется, однако, одними намеками: ему мало было того, что онъ высказывалъ по поводу дрянныхъ пьесъ; несмотря на все искусство, говоря о пѣніи Зонтага или танцахъ Тальони, толковать въ одно и то же время о глупости и бессмысленности нѣмецкихъ правительствъ, ему нужно было подчасъ выливать еще свою остроумную злобу прямо, не прикрываясь какою-нибудь комедіею Коцебу или драмою Гувальда. Одними драматическими рецензіями нельзя было наполнять ему его „Вѣсы“, и потому онъ писалъ цѣлую пропасть публицистическихъ, критическихъ и политическихъ статей. Впрочемъ, какъ ни жалуется Бёрне на политическое положеніе своей родины, тѣмъ не менѣе положеніе это не было уже такъ отчаянно, какъ то можетъ представляться намъ. О самыхъ деликатныхъ политическихъ вопросахъ онъ говорилъ съ большою свободою, если приравнять къ тогдашней Германіи другое мѣрло. При этомъ нужно прибавить, что подобныя политическія статьи Бёрне появлялись, и не только не влекли за собою какого-нибудь позорящаго наказанія для автора, но не имѣли даже послѣдствіемъ ни запрещенія, ни остановки журнала. Хотя, разумѣется, этого не нужно и прибавлять, нѣмецкія правительства смотрѣли крайне недружелюбно на сиблага политическаго писателя и не разъ, конечно, готовы были бы его проглотить, но... предпочитали оставлять автора въ покоѣ. Къ этому первому періоду его журнальной дѣятельности должны быть отнесены, наприимѣръ, такія статьи, какъ „Большой заговоръ“, „Свобода печати въ Баваріи“, „Робкія замѣчанія объ Австріи и Пруссіи“ и многія другія.

Чтобы видѣть, какъ мѣтко и остроумно нападалъ Бёрне на политическое тупоуміе и всевозможныя дикія выходки нѣмецкихъ правительствъ, можно указать на любую изъ этихъ статей, ну хоть на „Большой заговоръ“, помѣщенный 1819 годомъ. Всѣмъ извѣстно, каково было время послѣ покоренія Франціи, послѣ торжества союзниковъ, послѣ основанія пагубнаго „Священнаго Союза“. Время это было временемъ самой злой реакціи. Каждый день открывались новые заговоры, разумѣется, совершенно мнимые.

Одинъ изъ подобныхъ заговоровъ былъ открытъ въ 1819 году, и прусская правительственная газета оповѣстила міръ, что государ-

ство „волею Божією“ избавилось отъ страшной грозившей ему опасности, что козни враговъ правительства и порядка обнаружены, что, однимъ словомъ, открытъ „большой заговоръ“. Если въ обществѣ и находились люди, которые хорошо понимали, что заговоръ этотъ не стоитъ, чтобы о немъ и говорили, что все это не что иное какъ ловкій маневръ бездѣльниковъ, чтобы придать себѣ важность, зато масса общества, удаленная отъ близости главнаго театра дѣйствій, „провинція“, была настолько легковѣрна и недалезорка, что еще относилась серьезно къ подобнымъ штукамъ и въ самомъ дѣлѣ полагала, что отечество избавилось отъ страшной опасности. Вотъ эту-то общественную массу, которую правительство считало удобнымъ держать въ страхѣ, обманывая ее мнимыми заговорами, и обманывая самымъ безсовѣстнымъ образомъ, и просвѣщаетъ Берне, приближая къ ней грозное привидѣніе и говорить: смотрите! заговоръ дѣйствительно есть, но не заговоръ молодежи, а заговоръ полиціи, заговоръ правительства противъ общества. „Правительственная газета увѣряетъ, что во многихъ нѣмецкихъ земляхъ существуетъ развѣтвленный союзъ, имѣющій цѣлю превратить Германію въ республику. Газета говоритъ далѣе, что для того, чтобы выработать этотъ планъ, во многихъ мѣстностяхъ образовались союзы, частью правильно организованные, частью заключающіеся въ *смѣнаніи принциповъ и образа мыслей*. Газета говоритъ еще, что апостолы свободы кочуютъ по Германіи, чтобы среди народа посеять сѣмена недовольства. Предполагая даже, что все это правда, какъ они утверждаютъ, и что чисто материнская нѣжность, съ которою полиція заботится о своихъ дѣтяхъ, не простерла слишкомъ далеко своей попечительности, то все-таки еще нѣтъ преступленія, которое могло бы оправдывать воспослѣдовавшія строгія мѣры. *Планъ* республики, который долженъ еще быть *выработанъ*, *сѣмена* недовольства, которыя должны быть еще *разброшены*, — все это, по справедливости говоря, не составляетъ еще и тѣни отъ тѣни заговора“. Берне со смѣхомъ, въ которомъ слышатся стоны наболѣвшей груди, какъ нельзя болѣе справедливо спрашиваетъ правительство: долго ли оно будетъ еще играть эту жалкую и недостойную комедію, долго ли оно будетъ еще, въ своей бессильной злобѣ противъ прогрессивныхъ, свободныхъ идей, наполнять, по наущенію своихъ алчныхъ клеветовъ, тюрьмы и крѣпости сотнями юношей, чуть не дѣтей?

Правительственная газета, говорить далѣе Бѣрне, объявляя о заговорѣ мнѣннѣй, сама того не желая, „открыла великую и истинную тайну. Дѣйствительно существуетъ заговоръ, разбросавшій свои вѣтви не только по Германіи, но по цѣлой Европѣ. Заговорщики не знаютъ другъ друга, они не видятся между собою, они не имѣютъ никакихъ связующихъ ихъ между собою знаковъ, цѣли, пути, и все-таки между всѣми ими существуетъ братство—братство именно въ образѣ мыслей. Но этотъ союзъ направленъ противъ всяческихъ злоупотребленій власти, находящейся въ рукахъ прислужниковъ, противъ всякаго беззаконія, противъ всякаго произвола, и онъ достигнетъ своей цѣли, несмотря ни на какія полиціи“. Это единственный заговоръ, съ которымъ не можетъ совладать никакое правительство, и что бы оно ни дѣлало, что бы ни придумывало, какимъ бы инквизиторскимъ пыткамъ ни подвергало оно людей, связанныхъ общими свободными образомъ мыслей, заговоръ этотъ, въ силу прогресса, въ силу вѣчнаго безостановочнаго движенія человечества впередъ, будетъ съ каждымъ днемъ крѣпнѣть и разбрасывать свои вѣтви все шире и шире. Правда, подобный заговоръ не доставляетъ заговорщикамъ быстрого торжества, но тѣмъ не менѣе онъ опаснѣе для деспотическихъ правительствъ всякаго другого заговора, потому что его нельзя вырвать съ корнемъ, и всякая новая жертва въ средѣ заговорщиковъ только укрѣпляетъ ихъ силу.

Бѣрне, хорошо знакомый со всѣми іезуитскими продѣлками и макіавеллистическими замашками абсолютныхъ порядковъ, настойчиво преслѣдуетъ прусское правительство своею злою насмѣшкою и ставитъ ему такіе вопросы, которые не могутъ не коробить и не приводить въ бѣшенство. Вы говорите, обращается онъ къ официальной газетѣ, что арестованы только немногія лица, но какъ же это согласить съ тѣмъ, что вы и ваши клеветы кричите каждый день о томъ, что страну одолѣваетъ внутренній врагъ, что самыя злыя козни направлены противъ цѣльности и благополучія государства, что тайная интрига, баснословный заговоръ, привлекшій къ себѣ даже нѣкоторыхъ изъ высокопоставленныхъ лицъ, опутали возмутительною сѣтью всѣ слои общества? Какъ согласить все это съ вашими науськиваніями на всѣхъ порядочныхъ людей, на весь честный людъ, виновный только въ томъ, что онъ чувствуетъ крайнее омерзѣніе къ вамъ, жалкимъ и грязнымъ писакамъ, къ вамъ, недостойнымъ слугамъ недостойнаго

произвола? Какъ согласить это съ вашими ежедневными доносами на всѣхъ, кто не съ вами, на всѣхъ, кто мало-мальски честно служитъ своему обществу? „Если заговоръ дѣйствительно такъ распространенъ, какъ это утверждаютъ, если слѣдствіе дало уже такіе важные результаты, отчего же тогда найдено такъ мало подозрительныхъ лицъ, которыхъ слѣдовало арестовать.... Еще болѣе удивительно,—прибавляетъ Бёрне,—сознаніе правительственной газеты, что, безъ особенно важныхъ основаній для подозрѣнія, у многихъ лицъ были захвачены бумаги, чтобы добыть улики противъ дѣйствительно виновныхъ“. Кричать о страшномъ пожарѣ, охватившемъ необъятное пространство, въ то время, когда подъ носомъ зажглась спичка, для того чтобы немедленно потушить,—все это давно хорошо знакомый маневръ внутренней политики абсолютныхъ правительствъ, которыя руководятся въ этомъ случаѣ правилами, честность которыхъ „извѣстна каждому“.

Ничто не доставляло Бёрне такого большого удовольствія, какъ разоблачать тѣ лицемерныя правительственныя мѣры, которыя выдавались за особенно либеральныя. Тамъ, гдѣ произволъ сказывается грубо, тамъ, гдѣ онъ дѣйствуетъ открыто, тамъ онъ менѣе опасенъ, потому что никто не можетъ обманывать—всѣ очень хорошо знаютъ тогда, какъ слѣдуетъ относиться къ тому или другому правительственному дѣйствию. Другое дѣло, когда этотъ произволъ прикрывается личиною благонамѣренности, когда онъ натягиваетъ на себя маску либерализма, такъ какъ въ такомъ случаѣ масса недалководныхъ людей принимаетъ фальшивую монету за настоящую, люди впадаютъ въ блаженное состояніе самодовольства, озлобляются даже противъ тѣхъ, болѣе дальновидныхъ людей, которые понимаютъ, что пока сущность дѣла не измѣнилась, ничто не измѣнилось, и что слѣдовательно нельзя жить иначе, какъ подъ постояннымъ страхомъ новыхъ и неожиданныхъ ударовъ. Бёрне хорошо понималъ, что тамъ, гдѣ самодовольство, тамъ нѣтъ и быть не можетъ истинныхъ и быстрыхъ успѣховъ въ общественной жизни, и потому всѣми силами предохранялъ онъ отъ него нѣмецкую націю. „Не поддавайтесь обману!“ кричалъ онъ каждый разъ, какъ какое-нибудь изъ нѣмецкихъ правительствъ, въ припадкѣ необыкновеннаго великодушія, торжественно оповѣщало страну о томъ, что оно рѣшилось облагодѣтельствовать націю тѣмъ или другимъ мнимо-либеральнымъ закономъ, тою или другою мнимо-либеральною мѣрою. Такъ крикнулъ онъ: „не поддавай-

тось обману“, когда баварское правительство издало новый законъ о свободѣ печати. Что нужно, спрашиваетъ Вёрне, чтобы предохранить и правителей, и народы отъ пагубныхъ и часто непоправимыхъ ошибокъ? Отвѣтъ, который онъ самъ себѣ даетъ, какъ нельзя болѣе простъ: нужна свобода, нужно, чтобы люди всѣхъ сословій могли свободой пользоваться на благо государства всѣми своими умственными способностями, всю свою опытность. Для этого слѣдуетъ, чтобы люди, пользуясь свободой рѣчи, могли обсуждать открыто всѣ вопросы въ народныхъ собраніяхъ, и свободой печати, во всѣхъ книгахъ, журналахъ, газетахъ. „Такимъ только путемъ, — говоритъ Вёрне, — образуется *нравственная* демократія, которая воспрепятствуетъ порожденію столь опасной и столь бѣдственной *численной* демократіи“. Общественное мнѣніе то же, что бушующее море, которое разрываетъ плотины, шлюзы, все, что препятствуетъ его свободному теченію, и заливаєтъ собою огромныя пространства, все уничтожая на своемъ пути. Оставьте же этому морю свободное теченіе, не заграждайте его пути, и вліяніе его на страну будетъ только благотвѣтельно. „Правительства, которыя подавляютъ свободу рѣчи, потому что истинны, распространяемыя ею, для него несносны, поступаютъ какъ дѣти, которыя закрываютъ глаза, чтобы ихъ не видѣли. Безполезны старанія. Тамъ, гдѣ опасаются свободнаго слова, тамъ смерть его не принесетъ мира безпокойнымъ душамъ. Призраки умерщвленныхъ мыслей нисколько не менѣе пугаютъ боязливаго притѣснителя, подавившаго ихъ, чѣмъ эти самыя мысли, но только живныя“. Вёрне писалъ это наканунѣ того, что для цѣлой Германіи долженъ былъ быть обнародованъ новый законъ о печати; онъ опасался, чтобы этотъ законъ не былъ похожъ на тотъ законъ о свободѣ печати, который былъ объявленъ въ Баваріи. Какъ ни тяжело было положеніе печати, но Вёрне боялся, что оно сдѣлается еще хуже, и потому сѣвшилъ излить свои жалобы, опасаясь, чтобы черезъ нѣсколько недѣль каждая жалоба не сдѣлалась „безполезною и наказуемою“. Баварскій эдиктъ о свободѣ печати, говорилъ онъ, постоянно противорѣчитъ своему собственному названію, такъ какъ „о свободѣ въ немъ нигдѣ ничего нѣтъ, а напротивъ вездѣ только говорится объ *ограниченіи*“. Вёрне не удовлетворялся тѣмъ, что книги могли выходить безъ цензуръ, потому что онъ понималъ смыслъ іезуитскихъ словъ, говорившихъ, что издатели, сочинители и типографщики могутъ не пред-

ставлять сочиненій въ цензуру, если только, при изданіи дорогихъ книгъ и для обезпеченія изданія, они сами не пожелаютъ представить ихъ въ цензуру. „Напугать трусливыхъ людей, — прибавляетъ Бёрне, — вѣдь очень легко“.

Политическія статьи Бёрне, появившіяся въ „Вѣсахъ“, были, такъ сказать, первыми бомбами, послѣ глухого затишья пущенными въ крѣпкую стѣну абсолютизма. Бомбы эти были пущены съ такою силою и такъ мѣтко, что въ непріятельскомъ лагерѣ тотчасъ же произошло смущеніе, вызванное, конечно, опасеніемъ, чтобы онѣ не пробили бреши въ уродливомъ, но вѣковомъ зданіи произвола. Надменные, но виѣстъ трусливые его защитники тотчасъ направили свои трубки, чтобы разглядѣть, кто этотъ смѣлый и дерзкій застрѣльщикъ, чтѣ это за человѣкъ, который осмѣливался возвышать свой голосъ въ вакханальный періодъ реакціи, когда она праздновала торжество дикими пиршествами, которыми служили для нея конгрессы Карлсбадскій, Ахенскій, Веронскій. Всѣ съ удивленіемъ разглядывали человека, который рѣшается говорить о правахъ народа въ то время, когда Священный Союзъ былъ въ апогеѣ своей силы, и когда инквизиторская комиссія для преслѣдованія „демагогическихъ происковъ“, какъ Сатурнъ, пожирала самыхъ лучшихъ дѣтей Германіи. Имя Лудвига Бёрне занесено было въ толстую книгу жертвъ и отиѣчено краснымъ крестомъ. Къ счастью, Бёрне не принадлежалъ къ тону робкому разряду людей, которые въ смущеніи отступаютъ при первомъ косомъ взглядѣ, брошенномъ на нихъ кѣмъ-нибудь изъ сильныхъ міра.

Чѣмъ большимъ успѣхомъ пользовались статьи Бёрне, тѣмъ сильнѣе становилось въ немъ желаніе, неутомимо работать на пользу Германіи, такъ какъ онъ видѣлъ, что разбрасываемыя имъ сѣмена не упадаютъ на бесплодную, песчаную почву. Онъ не могъ не сознавать, какое благотворное вліяніе онъ долженъ былъ имѣть и дѣйствительно имѣлъ на современное ему общество, и потому въ немъ сильно было желаніе расширить свою сферу дѣятельности. „Вѣсн“ выходили только отъ времени до времени, отдѣльными книжками; между тѣмъ каждодневныя событія давали слишкомъ большую пищу, для публициста, чтобы не возбудить въ немъ охоты, потребности высказывать чаще свои воззрѣнія на общественныя дѣла, чаще развивать свои идеи, болѣе постоянно, болѣе непрерывно вести свою политическую

пропаганду. Острое перо Бёрне томилось бездѣйствіемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ извѣстность, которую успѣлъ онъ уже приобрести себѣ, привлекала къ нему вниманіе различныхъ издателей, которые старались воспользоваться талантомъ Бёрне, чтобы начать, подъ его флагомъ, какое-нибудь выгодное дѣло. Бёрне дѣлались различныя предложенія. Между прочимъ ему предлагали написать исторію войны 1813 и 1814 годовъ, съ цѣлью выставить, какъ много сдѣлала для Германіи Россія. Ему предлагали доставить всевозможные матеріалы вмѣстѣ съ самыми выгодными условіями. Бёрне категорически отклонилъ отъ себя подобное предложеніе, говоря, что онъ никогда не поддастся на такую удочку и никогда не станетъ содѣйствовать тому, чтобы доставить въ Германіи преобладаніе русскимъ интересамъ. Такой отвѣтъ какъ нельзя болѣе понятенъ со стороны человѣка, горячо сочувствовавшаго идеямъ французской революціи. Если Бёрне отклонилъ подобное предложеніе, то онъ съ радостью ухватился за другое, сдѣланное ему однимъ изъ извѣстныхъ издателей—принять на себя редакцію ежедневной газеты. Съ 1-го января 1819 года стала выходить „Газета вольнаго города Франкфурта“ подъ редакцію Бёрне. Въ продолженіе шести мѣсяцевъ Бёрне самымъ дѣятельнымъ образомъ работалъ надъ этой газетою; въ продолженіе шести мѣсяцевъ онъ бился съ цензурою, вооруженною большими ножницами, какъ бьется рыба объ ледъ,—и все напрасно. Онъ велъ самую ожесточенную партизанскую войну съ франкфуртскими цензорами, прибѣгая къ самымъ утонченнымъ военнымъ хитростямъ; онъ изощрялся въ умѣніи писать двусмысленно, чтобы читатель могъ дополнять его мысль тѣмъ, что онъ вставлялъ между строчекъ, но все тщетно. Цензура одолевала его, не давала ему свободно вздохнуть. Въ этой борьбѣ Бёрне чувствовалъ, что онъ изнемогаетъ напрасно, и что лучшее, что онъ можетъ сдѣлать, это отказаться отъ редактированія „Газеты вольнаго города Франкфурта“. Истощивъ весь запасъ своего терпѣнія, онъ рѣшился на эту тяжелую мѣру, и послѣ шести мѣсяцевъ его редакціи газета перешла въ другія руки. „Эти шесть мѣсяцевъ,—замѣчаетъ его біографъ,—стоили ему много ночныхъ бдѣній, денежныхъ штрафовъ, самыхъ остроумныхъ мыслей, яркихъ истинъ, пропавшихъ безслѣдно, и они ему ничего не принесли кромѣ убѣжденія, что подъ Дамокловымъ мечомъ цензуры можно научиться только одному—усовершенствовать свой стиль нѣкоторыми тонкими оттѣнками, нѣкоторыми

дипломатическими намеками и граціозными двусмысленностями. Бёрне часто говорил шутя, что „введеніе свободы печати повредитъ выработкѣ нѣмецкаго стиля; писать тонко, остроумно, осторожно, граціозно можно только тогда, когда съ нами заигрываетъ кошечка-цензура“. Бёрне смѣялся сквозь слезы досады, и какъ могло быть иначе, когда онъ чувствовалъ, что ему преграждаютъ такимъ образомъ путь къ непосредственному и непрерывному дѣйствію на общество.

За эти шесть мѣсяцевъ пытки, за эту неравную борьбу съ цензурою, онъ жестоко отомстилъ ей, осмѣявъ ее въ одной изъ самыхъ мѣткихъ своихъ статей, которой онъ далъ названіе: „Достопринятельности франкфуртской цензуры“. Болѣе благородной и вѣстѣ болѣе дѣйствительной мести трудно было придумать. „Цензура!—восклицаетъ Бёрне.—Слово, которое самого легкомысленнаго, веселаго, беззаботнѣйшаго вѣтрогона превращаетъ въ меланхолика, серьезное размышленіе доводитъ до изумленія и ужаса, угрюмѣйшаго ворчуна заставляетъ раздражаться неудержимымъ хохотомъ! Слово въ одно и то же время страшное и смѣлое, возвышенное и мизерное, удивительное и дюжинно-недѣльное, смотря по тому, знаменательные ли и важные результаты преслѣдуетъ и достигаетъ онъ, или у него въ виду цѣль чисто ребяческая, да и то ею недостижимая“. Какъ ни расположенъ Бёрне смѣяться, сколько ни настраиваетъ онъ себя на этотъ ладъ, но лишь только онъ произноситъ слово: цензура, какъ тотчасъ злоба подступаетъ къ его груди, и онъ не успокоивается, пока не выльется на бумагу. „Всякій честный, всякій мыслящій нѣмецкій гражданинъ негодуетъ и плачетъ, когда видитъ, какія бѣдствія наносятся неискусными руками на дорогое отечество. Будь этимъ противникомъ свободы народа злоба, мы могли бы сказать: „станемъ сражаться съ нею“; будь этимъ противникомъ глупость, мы могли бы сказать: „отнесемъ къ ней съ состраданіемъ и станемъ просвѣщать ее“. Но этотъ противникъ—филистерство, эта отвратительная, нѣмецкая смѣсь узкости сердца и плоскости ума, сражаться съ которою можно только ея же собственнымъ оружіемъ, а для употребленія въ дѣло этого послѣдняго не хватитъ достаточно самоуниженія ни у кого, кто только чувствуетъ и понимаетъ себя“.

Сравненіе своего дурного положенія съ положеніемъ кого-нибудь другого, еще болѣе дурнымъ, значительно облегчаетъ и утѣшаетъ, но подобное сравненіе приноситъ мало пользы; оно заставляетъ человѣка

примиряться съ своимъ плохимъ положеніемъ и не искать выхода и перехода къ лучшему. Къ подобному сравненію Бёрне никогда не прибѣгалъ; онъ сравнивалъ положеніе своей націи съ положеніемъ другихъ націй, но не менѣе, а болѣе свободныхъ, чѣмъ нѣмецкая, и потому никогда и ни въ чемъ не бывалъ доволенъ собственнымъ отечествомъ. Онъ приходилъ въ ужасъ отъ нѣмецкой цензуры, потому что въ другихъ странахъ онъ видѣлъ, что положеніе печати несравненно свободнѣе. Къ тѣмъ же сосѣднимъ странамъ, гдѣ слово томилось въ тяжелыхъ оковахъ, гдѣ цензура свирѣпствовала въ сто разъ сильнѣе, чѣмъ въ Германіи, онъ никогда не обращался серьезно; развѣ иногда заглядывалъ онъ къ нимъ, чтобы посмѣяться и передать какой-нибудь курьезный фактъ. Такъ, напр., рассказываетъ Бёрне объ одномъ любопытномъ фактѣ изъ прежней исторіи русской цензуры: „Посыпьте голову пепломъ, нѣмецкіе цензоры, — говоритъ онъ, — такой исторіи вамъ не изобрѣсти никогда. Въ 1813 году одинъ русскій хотѣлъ издать описаніе своего путешествія по Франціи въ 1812 году. Цензура не нашла въ книгѣ ничего предосудительнаго кромѣ заглавія; это послѣднее показалось ей неприличнымъ, какъ указаніе на то, что русскій путешествовалъ по Франціи въ 1812 году, т.-е. въ то время, когда это государство вело войну съ Россією. Для устранения этого неудобства, цензоръ уничтожилъ заглавіе „Путешествіе по Франціи“, замѣнивъ его словами: „Путешествіе по Англіи“, и вездѣ, гдѣ въ книгѣ встрѣчалось слово Франція, очутилось названіе Англіи“. У себя дома, въ Германіи, Бёрне возмущался не столько строгостью, сколько снисходительностью цензуры, потому что снисходительность, по его мнѣнію, только доказывала бесполезность и ненужность строгости. „Гдѣ цензура казнить, тамъ она дѣлаетъ то, что ей слѣдуетъ дѣлать по должности, и поэтому никого не сбиваетъ съ толку; но право миловать ни въ какомъ случаѣ не должно быть предоставлено ей; это право только придаетъ еще болѣе тираническій характеръ ея власти, потому что позволяетъ ей поступать совершенно произвольно, убивать или оставлять въ живыхъ, смотря по желанію“. Въ своей полной остроумія статьѣ Бёрне рассказываетъ нѣсколько случаевъ изъ цензурной практики, случаевъ, по его мнѣнію, особенно замѣчательныхъ по своему крайнему уродству. Излишне было бы передавать эти случаи, такъ какъ для насъ они не представляютъ ровно ничего удивительнаго; примѣры поразительнаго произ-

вола цензоровъ, примѣры ихъ необычайной глупости, запрещеніе невинныхъ мѣстъ, подъ опасеніемъ, что въ нихъ скрывается что-нибудь коварное, вымарываніе всего, что подозрѣвается только какими-нибудь особенно дальновиднымъ цензоромъ въ самомъ неправдоподобномъ намекѣ на высокопоставленныхъ лица — все это было слишкомъ хорошо и еще недавно знакомо нашимъ читателямъ, чтобы стоило на этомъ останавливаться. Бёрне боролся самымъ настойчивымъ образомъ съ франкфуртскою цензурою, и можно смѣло сказать, что ни одного шага онъ не уступалъ безъ отчаяннаго боя. Цензура вычеркиваетъ ему изъ статьи цѣлую страницу — Бёрне, не церемонясь, замѣщаетъ ее цѣликомъ точками. Точки эти привлекали къ статьѣ еще большее вниманіе; дѣлались догадки, быть можетъ еще болѣе выгодныя, чѣмъ вымаранныя мѣста. „Полиція, — рассказываетъ Бёрне, — прислала мнѣ письменное приглашеніе воздерживаться, подъ опасеніемъ штрафа, отъ всякихъ точекъ“. Приглашеніе это, по поводу котораго Бёрне разсуждаетъ о томъ, что на него не имѣли ни малѣйшаго права налагать подобной обязанности, — какъ будто произволъ заботится о томъ, нарушаетъ онъ чье-нибудь право или нѣтъ, — было сформулировано какъ нельзя болѣе категорически. „Такъ какъ такой образъ дѣйствій противенъ всякому порядку, то и было отдано распоряженіе, чтобы исключаемыя цензурою мѣста не были замѣщаемы точками или черточками; но чтобы редакция соединяла разрозненные этихъ пробѣловъ части періода такимъ образомъ, чтобы не было замѣтно никакого перерыва въ текстѣ“. Кроме того было приказано, чтобы пустыя мѣста въ концѣ газеты были наполняемы объявленіями или пропущенными уже цензурою статьями. „Съ этою цѣлью, — говорилось въ приказѣ, — редакция обязана постоянно имѣть у себя достаточный запасъ такихъ объявленій или статей“. Все это милыя наставленія, къ которымъ нельзя оставаться равнодушнымъ. Что дѣлаетъ Бёрне послѣ прочтенія такихъ внушительныхъ унѣщаній? Онъ пишетъ статью, въ которой приводитъ выписку изъ какой-то другой газеты, рассказывавшей о нелѣпости прусской цензуры. Бёрне понималъ хорошо, что говорить о пошлости прусской цензуры — все равно, что говорить о пошлости франкфуртской или всякой другой. Цензура вычеркнула ему весь этотъ разсказъ. „Исключеніе моимъ франкфуртскимъ цензоромъ, — передаетъ Бёрне, — всего вышеприведеннаго мѣста не особенно удивило меня; я уже совершенно привыкъ къ турецкому гнету, и

еслибы цензоръ пожелалъ вычеркнуть самого меня изъ списка живыхъ, я, съ терпѣливостью барашка, протянулъ бы ему мою шею. Поэтому я безъ спора выпустилъ непропущенное мѣсто, воздержался, согласно распоряженію цензуры, отъ всякихъ точекъ, но образовавшійся отъ этой вымарки пробѣлъ наполнилъ разными невинными и занимательными объявленіями; такимъ образомъ, только особенно проницательный читатель могъ замѣтить, что цензорскій мечъ снова казнилъ въ этомъ мѣстѣ нѣсколько опасныхъ для общественнаго порядка и спокойствія фразъ. Я сдѣлалъ это *pour égarer la matière*, но полиція моя шутка показалаь нисколько не забавною, и она, чтобы дать удовлетвореніе своей оскорбленной дочери — цензурѣ, привлекла меня къ суду и подвергнула наказанію“.... Дѣйствительно, за свою остроумную шутку: наполненіе середины статьи объявленіями, докторъ Бёрне, какъ значилось въ опредѣленіи суда, приговаривался къ уплатѣ десяти талеровъ штрафа, съ возложеніемъ на него судебныхъ издержекъ. Въмѣсто того, чтобы быть совершенно довольнымъ, что такъ дешево отдѣлался за шутку, Бёрне оскорбился этимъ рѣшеніемъ и подалъ апелляціонную жалобу. Не даромъ же онъ изучалъ юридическія науки. Въ этой апелляціонной жалобѣ Бёрне приводитъ всѣ свои бѣдствія, какъ редактора, всѣ муки, которыя доставляла ему цензура. „Она не слѣдуетъ, говоритъ онъ, никакимъ принципамъ,—ни справедливости, ни мягкосердечія, ни благоразумія. У нея нѣтъ никакихъ правилъ, никакихъ постороннихъ указаній, никакихъ собственныхъ мнѣній. Въ ней неизмѣнчива только ея измѣнчивость, постоянно только ея непостоянство“. Онъ горько жалуется на то, что редакторъ можетъ выбиваться изъ всѣхъ силъ, чтобы не преступить священныхъ границъ, допускаемыхъ цензурою, а все-таки каждый день можетъ подвергаться опасности быть притянутымъ къ отвѣтственности. Съ чѣмъ сообразоваться, когда сегодня цензура допускаетъ говорить о самыхъ непріятныхъ для правительства вещахъ, а завтра преслѣдуетъ за проповѣдь самыхъ невинныхъ принциповъ, непонятыхъ ею и потому показавшихся ей опасными. „Однимъ словомъ,—жалуется Бёрне,—цензура поступала одинаково непостижимо какъ въ тѣхъ случаяхъ, когда она не препятствовала печатанію, такъ и въ тѣхъ, когда она являлась преградой; ея „дозволено“ и „не дозволено“ были равно изумительны“.

Еще болѣе рѣзко, чѣмъ на цензуру, нападаетъ онъ въ своей жа-

любѣ на произволъ высшаго полицейскаго управленія, которое присвоило себѣ всяческія власти: издавать законы, которымъ оно требуетъ строгаго повиновенія, строгаго слѣдить, чтобы законы, изданные полиціею, не нарушались, производить слѣдствіе надъ нарушителями, судить ихъ, налагать наказанія, и все это собственною властью. „Такимъ образомъ,—остроумно замѣчаетъ Бёрне въ своей аппелляціи,—здѣшняя полиція является настоящею энциклопедіею всевозможныхъ государственныхъ правъ, и для практическаго ознакомленія нашей учащейся молодежи со всѣми цивилистическими и экономическими ученіями можно посылать ее въ одно изъ нашихъ полицейскихъ бюро, вмѣсто того, чтобы заставлять посѣщать университеты, гдѣ ей приходится слушать лекціи по десяти различнымъ отраслямъ юриспруденціи и политики“. Совѣта этого можно было и не давать нѣмецкимъ правительствамъ, потому что они и безъ того уже заставляли молодежь проходить практическій курсъ судопроизводства и политики, засаживая ихъ въ тюрьмы и крѣпости, находя эти послѣднія для молодежи болѣе полезными, а для себя болѣе спокойными, чѣмъ всяческіе университеты. Но что болѣе всего приводило Бёрне въ негодованіе—это административный произволъ полиціи, ея угрозы „непремѣнной кары“ за всякое нарушеніе предписанныхъ ею правилъ, въ томъ числѣ и цензурныхъ. Человѣкъ совершаетъ убійство, и онъ впередъ можетъ знать, какому наказанію подлежитъ онъ за такое злодѣяніе, такъ какъ существуетъ для этого положительно опредѣляющій наказаніе законъ; человѣкъ же произноситъ какое-нибудь неосторожное слово, бросаетъ непріятную для властей мысль и ему только угрожаютъ „непремѣнной карой“, не говоря, что это именно за кара? Человѣка за выраженіе его мысли наказываютъ; казалось бы, что болѣе возмутительнаго ничего нельзя придумать; нѣтъ, оказывается этого мало, и человѣку еще говорятъ: берегитесь, если вы согрѣшите еще разъ, то будете подвергнуты „болѣе строгому взысканію“. Эта угроза невыносима для Бёрне. „Если я хорошо понимаю, что значитъ *болѣе строгое взысканіе*, то полиція хотѣла этимъ сказать, что повтореніе подобнаго нарушенія закона повлечетъ за собою усиленіе наказанія. Полиція составила себѣ свое особенное убѣжденіе, что при каждомъ повтореніи проступка наказаніе должно возрастать въ геометрической прогрессіи. Каждый, кому извѣстно изъ математики страшно быстрое возрастаніе геометрической прогрессіи, пойметъ поэтому, что франк-

фуртскій журналистъ, подвергнутый сегодня въ первый разъ нѣсколькимъ талерамъ штрафа, черезъ нѣсколько недѣль весьма легко можетъ быть уже колесованъ за повтореніе цензурныхъ проступковъ. Это очень прискорбно!“ Такъ заканчиваетъ Бёрне свою апелляціонную жалобу, тонъ которой, разумѣется, не могъ особенно понравиться высшей инстанціи. Авторъ апелляціи прибавляетъ, что она не имѣла благопріятнаго исхода, и что штрафъ его еще увеличили на пять талеровъ за его „дурной стиль“.

Таковъ былъ послѣдній актъ его дѣятельности, касавшійся редактированія ежедневной газеты. „Газета вольнаго города Франкфурта“ перешла въ совершенно инныя руки и стала проповѣдовать идеи, прямо противоположныя идеямъ Бёрне. Онъ не могъ остаться совершенно равнодушнымъ къ участи газеты, на которую потратилъ столько силъ и въ такое короткое время, и въ статьѣ необыкновенно правдивой и рѣзкой показалъ всю глубокую ложь, которою проникнуты понятія враждебнаго ему лагеря. Въ этой статьѣ, которая носитъ названіе „Газета вольнаго города Франкфурта“, онъ опрокидываетъ обвиненія, направленные противъ либераловъ, и обнаруживаетъ во всѣхъ ея грандіозныхъ разиѣрахъ фальшь ихъ противниковъ. „Либераловъ,—говоритъ Бёрне,—упрекаютъ ихъ противники въ томъ, что они стараются поселить раздоръ, чтобы во время давки, подобно ворахъ, лучше воспользоваться самимъ; раболѣпныхъ же писателей обвиняютъ, что они подкуплены деньгами или тщеславіемъ, и что они не что иное какъ презрѣнные шпіоны. Эти не понимаютъ, какъ возможно безъ платы или надежды на добычу бороться ради одной любви къ свободѣ и къ праву; тѣ же не могутъ постичь, чтобы были природные рабы, которые, не подкупленные никѣмъ, могли по склонности своего сердца обожать холопскій образъ мыслей“. Газета, надъ которой онъ работалъ шесть мѣсяцевъ, перешла въ руки людей послѣдней категоріи и онъ считалъ своею обязанностью предупредить читателей, чтобы они не довѣряли той іезуитской пропагандѣ, которая велась съ такимъ упорствомъ. Не та ложь опасная, которая высказывается въ грубой, рѣзкой формѣ; гораздо опаснѣе та полухистина, которая старается проникнуть въ сердца честныхъ людей; съ этою послѣднею нужно бороться изо всѣхъ силъ. „Темный цвѣтъ,—говоритъ Бёрне,—не требуетъ яркаго освѣщенія, чтобы всѣ видѣли, что онъ темный, но свѣтъ необходимъ для обманчивыхъ,

грязныхъ цвѣтовъ“. Этотъ обманчивый грязный цвѣтъ и сдѣлался цвѣтомъ „Газеты вольнаго города Франкфурта“. Она принялась рассказывать устарѣлую басню о томъ, какъ опасно ступать на непрочный ледъ, какъ вредно хватать идеи, прежде ихъ полной зрѣлости, объ идеяхъ, которыя не могутъ годиться для дѣйствительной жизни, и тому подобномъ вздорѣ, — басню, которая годится для народа, пока онъ находится въ младенческомъ состояніи, но которая можетъ только вызвать смѣхъ и возбудить негодованіе взрослого народа. Бёрне съ суровымъ упрекомъ обращается къ газетѣ за то, что она осмѣливается прибѣгать къ пошлomu маневру: всегда всю вину во всякомъ вопросѣ сваливать на либеральную партію. Бёрне останавливается надъ соболѣзнованіемъ, выражаемымъ франкфуртской газетой, что черезъ явленія, подобныя убіенію Коцебу, „сосѣднія Германіи страны получаютъ обильный матеріалъ для разсужденій столько же горькихъ, сколько и компрометирующихъ честь нѣмецкаго народа“. Очевидно, что подобною фразою „Газета вольнаго города Франкфурта“ желала уязвить людей либеральнаго образа мыслей, дѣлая ихъ какъ бы солидарными съ одиночнымъ фактомъ убійства. Бёрне, какъ нельзя болѣе хорошо знакомый съ извѣстнымъ приемомъ, который заключается въ обобщеніи отдѣльнаго преступленія, совершеннаго какимъ-нибудь безумнымъ фанатикомъ, въ приписываніи одиночнаго факта проискамъ цѣлой партіи, заранѣе обдуманному плану цѣлой сѣти заговорщиковъ, съ цѣлью, разумѣется, привлечь къ отвѣту какъ можно большее число лицъ, Бёрне легко разоблачаетъ этотъ старый приемъ и говоритъ обществу: не вѣрьте, это чистая ложь! Бёрне понималъ, что дѣло въ этомъ случаѣ камарильи, обманывающей и общество и само правительство, заключается въ одномъ: напугать правительство и увѣрить его, что всюду противъ него замышляются козни, и что если бы не она, камарилья, то давно бы уже самая жизнь правителя была въ опасности, однимъ словомъ, заставить правителя смотрѣть на эту камарилью какъ на самый твердый оплотъ престола. Результатъ извѣстный: на камарилью падаетъ проливной дождь всевозможныхъ наградъ и милостей. „Еслибы вы въ самомъ дѣлѣ, — говоритъ Бёрне, обращаясь къ партіи интригановъ и продажныхъ писателей, — такъ дорожили уваженіемъ вашихъ сосѣдей, то, безъ сомнѣнія, намъ было бы лучше жить. Преступленіе Занда дало французамъ поводъ къ горь-

кимъ размышленіямъ, но порицаніе ихъ было обращено не на нѣмецкій народъ. Они указали, какъ подавленное стремленіе къ свободѣ должно прорываться въ подобныхъ безумныхъ потѣхахъ; они указали, какъ мистическая ночь среднихъ вѣковъ, которою вы окружаете себя, чтобы подъ ея прикрытіемъ могла развиваться аристократическая заносчивость, склонила нѣкоторыхъ лицъ изъ народа къ тому, чтобы сойти съ прямого демократическаго пути; они указали, съ какими лукавствомъ хотите воспользоваться вы наглѣмъ поступкомъ одного человѣка, чтобы ограничить свободу миллионовъ людей. Нѣтъ, нѣтъ!—кричитъ Бёрне:—не указывайте на сосѣдей, не говорите о французахъ, потому что они рѣшили доставить себѣ побѣду путемъ крови, путемъ тысячи преступленій. Горе вамъ, если нѣмцы послѣдуютъ поданному примѣру!“ Если кровь кипитъ въ Бёрне, когда онъ говоритъ о подобныхъ уловкахъ враговъ народной свободы, если желчь выливается у него въ цѣломъ потокѣ грозныхъ упрековъ, то на устахъ его появляется саркастическая улыбка, когда онъ начинаетъ говорить, объ увѣщаніяхъ, разсѣлаемыхъ „защитниками порядка“, и о томъ, съ какою нѣжностью толкуютъ они о противникахъ рабства, о защитникахъ свободы, которые, какъ неосторожныя дѣти, бросаются на непрочный ледъ, которые хотятъ сорвать плоды съ дерева, прежде чѣмъ наступила пора зрѣлости, и потому только портятъ работу серьезныхъ людей и мѣшаютъ сами дѣлу полного освобожденія народа. „Старая пѣсня“, отвѣчаетъ на все это Бёрне, давно уже слышали мы о непрочномъ лѣдѣ, о незрѣлыхъ плодахъ, объ осуществленіи прекрасныхъ идей въ будущемъ и т. д., и т. д. „Пора зрѣлости!“ восклицаетъ Бёрне, да кто же долженъ ее опредѣлить? „неужели среди тридцати миллионовъ нѣмцевъ нѣсколько царедворцевъ осмѣливаются мечтать“ принять на себя это рѣшеніе? „Плоды еще не созрѣли“, утверждаютъ точно также угодливые писатели. „Дурное пугало“, замѣчаетъ ех-редакторъ „Газеты вольнаго города Франкфурта“, и еслибы мы стали ожидать, пока большіе арендаторы государства намъ крикнуть: теперь клюйте! мы бы уже опоздали, такъ какъ всѣ деревья были бы уже общипаны“. Точно также стара пѣсня и о томъ, что вредно выдвигать впередъ слишкомъ либеральныя идеи, которыя не отвѣчаютъ потребностямъ времени. Вздоръ, отвѣчаетъ на это Бёрне: нація никогда еще не страдала оттого, что передо-

выми людьми выставлялись слишком либеральны идеи, и слишком часто горько платилась за то, что не хотѣла слѣдовать новымъ идеямъ. „Требуйте больше, чтобы меньше получить“, таковъ долженъ быть девизъ народа, которому всегда стараются урѣзать его права и расширить его обязанности. Нѣмцы должны слѣдовать примѣру французовъ, которые получили отказъ, когда требовали конституціонной монархіи, доставшейся имъ только тогда, когда они стали требовать республики. Лишнія требованія никогда не вредятъ, только требованія эти должны быть выражены въ рѣшительной формѣ. Требуйте, говоритъ Бёрне, того же, что требовали французы, требуйте: „независимости отъ всякихъ внѣшнихъ вліяній, народнаго представительства посредствомъ ежегоднаго парламента, защиту и святость личности, свободу ремеселъ и торговли, уничтоженія цеховъ; уничтоженія привилегій, равенства передъ закономъ; полную вѣротерпимость, гласное судопроизводство; судъ присяжныхъ; свободу печати, отвѣтственность министровъ и низшихъ чиновниковъ“.

Лишенный возможности издавать ежедневную газету, Бёрне долженъ былъ опять ограничиться отъ времени до времени выходившими „Вѣсами“. Отвѣдавъ сладкаго, онъ не могъ примириться съ горькимъ, не могъ примириться съ тѣмъ, что вмѣсто непрерывнаго вліянія на свое общество, онъ снова будетъ въ состояніи только изрѣдка наносить удары сгнившему, но не развалившемуся еще порядку, изрѣдка только освѣщать обществу своимъ ярко горящимъ факеломъ его истинный путь къ достиженію свободы. Бёрне не могъ съ этимъ примириться, и потому рѣшился еще разъ попытать счастья и... задумалъ сдѣлаться редакторомъ опредѣленнаго періодическаго журнала. Въ іюнѣ пересталъ онъ быть редакторомъ „Газеты вольнаго города Франкфурта“, а въ іюлѣ того же года онъ разослалъ объявленіе объ изданіи еженедѣльнаго журнала подъ названіемъ „Полетъ времени“ (Zeitschwingen).

Чѣмъ долженъ былъ наполняться главнымъ образомъ новый журналъ, это хорошо можно видѣть изъ послѣднихъ страницъ его объявленія, на которыхъ Бёрне говоритъ: „Большіе господа очень любятъ, чтобы мы, мелкая прислуга, пускались только въ возвышенныя и отвлеченныя соображенія, а низкую ручную работу предоставляли имъ—чтобы мы взлетали за облака и тамъ наблюдали теченіе пла-

нѣтъ, а о движеніи земныхъ вещей оставили всякое попеченіе; чтобы ни разрѣшали алгебраическія задачи въ то время, какъ они будутъ подводить итоги своимъ барышамъ, полученнымъ чистою, наличною монетою. Результатъ изъ всего этого выходитъ плохой. Много благосмыслящихъ и благонамѣренныхъ людей попадаютъ тутъ въ просакъ. Вотъ уже тридцать лѣтъ большіе господа грозно кричатъ имъ: „не увлекайтесь теоріями, которыя не могутъ быть примѣнены на практикѣ“; а наши-то милые ученые еще пуще разгорячаются отъ этого, начинаютъ еще усерднѣе защищать свои принципы и тѣмъ сильнѣе запутываются въ сѣти, которыя протянуты подъ ихъ ногами. Большіе господа только того и желали, чтобы на этотъ разъ мы имъ не оказали повиновенія. Между тѣмъ, все на свѣтѣ идетъ своимъ чередомъ. Сократъ пользовался огромнымъ авторитетомъ потому, что свелъ философію съ неба на землю, и такимъ образомъ онъ сдѣлался учителемъ человѣчества. Если мы хотимъ способствовать счастію людей, то должны свести политику съ облаковъ на землю. Ни одного голоднаго вы не накормите трактатомъ о беспошлинномъ ввозѣ хлѣба, ни одного больного не излечите руководствомъ къ терапіи, никакую гражданскую свободу не создадите посредствомъ сочиненія Монтескьё. Хлѣбныя сѣмена бросаются въ землю для потомства, а современникамъ нуженъ готовый хлѣбъ“. Бёрне не разъ возвращался къ этой темѣ, не разъ говорилъ онъ нѣщамъ: не улетайте въ облака, оставайтесь больше на землѣ! Онъ обращался съ этимъ совѣтомъ къ нѣмецкимъ ученымъ, которые все больше и больше погружались въ философію, и часто въ филистерскую философію, въ прямой ущербъ дѣйствительной жизни.

Философія поощряется правительствами, потому что въ Германіи, говоритъ Бёрне, „стѣснить философію значитъ расширить свободу, а расширить философію значитъ не что иное, какъ стѣснить свободу“. Гдѣ причина этого явленія? — въ разъединеніи науки съ жизнью. „Соедините виѣсть науку, искусство, жизнь. Разъединенныя, онѣ пребываютъ въ рабскомъ состояніи, а господа ихъ — не вы, въ разъединеніи наука блѣдна, искусство худоцаво, жизнь болѣзненна. Неужели вы можете вѣчно только стряпать и никогда не подавать на столъ? Неужели вы не хотите имѣть свое восемнадцатое столѣтіе, какъ имѣли его французскіе ученые?“ Однимъ словомъ, Бёрне неотступно требуетъ одного: чтобы люди больше занимались практикой,

нежели теорією, или по крайней мѣрѣ теорію постоянно старались прикладывать къ жизни. Какой прокъ отъ того, что въ ученѣхъ трактатѣ будетъ подробно развито, какъ люди могутъ быть свободны, когда въ дѣйствительности они будутъ оставаться рабами. Отъ этого никому не легче. Трактатами нельзя кормить людей, точно также какъ соловья не кормить баснями. „Если мы можемъ,—говоритъ Бёрне,—содѣйствовать распространенію человѣческаго счастья, то должны больше говорить о явленіяхъ жизни, чѣмъ о ея правилахъ... поэтому должно (и я буду поступать именно такъ) чаще говорить о лишеніяхъ народа, чѣмъ о его правахъ, жарче о государственномъ управленіи, чѣмъ о формѣ государственнаго устройства, больше о повседневныхъ явленіяхъ гражданской жизни, обнаруживающихся въ домашнемъ кругу и на улицѣ, чѣмъ о законодательныхъ принципахъ и крупныхъ политическихъ вопросахъ“.

Какъ ни прекрасна была начерченная программа, какъ ни отвѣчала она тому, что должно быть программой такого замѣчательнаго публициста, какимъ представляется Бёрне, но программѣ этой не суждено было осуществиться настолько, насколько онъ этого желалъ. Тщетны оказались надежды Бёрне, что еженедѣльному журналу легче будетъ жить на свѣтѣ, чѣмъ его „Франкфуртской газетѣ“, напрасно мечталъ онъ, что изданіе ея въ другомъ мѣстѣ, а не въ самомъ Франкфуртѣ, избавитъ ее отъ гнета франкфуртскихъ цензоровъ, что цензура Оффенбаха будетъ милостивѣе цензуры „вольнаго города“—ничуть не бывало. То же, что было съ „Газетой вольнаго города Франкфурта“, то же повторилось и съ „Полетомъ времени“: тѣ же притѣсненія, то же бессмысленное кастрированіе статей, та же глупость въ преслѣдованіи. Бёрне скоро долженъ былъ еще разъ убѣдиться, что издавать журналъ такъ, какъ онъ того желалъ, проповѣдовать въ немъ его идеи, его мысли и взгляды на вещи—немыслимо; что нужно или нѣсколько умѣрить свой пылъ, свое негодованіе, свое остроуміе даже, или прекратить изданіе журнала.

Бёрне предпочелъ послѣднее. Еще до того, что появленіе „Полета времени“ окончательно прекратилось, онъ въ одномъ изъ нумеровъ, предчувствуя уже близкую и неизбежную кончину журнала, напечаталъ статью подъ названіемъ „Завѣщаніе Полета времени“. Что дѣлать независимому и честному публицисту,—какъ бы спрашиваетъ Бёрне,—когда для него становится невозможнымъ говорить обо

всемъ, что имѣтъ какое-нибудь отношеніе къ политикѣ и къ правительству? А что не имѣтъ отношенія къ деспотическому правительству? Такъ-называемыя „сильныя“ правительства, но въ сущности слабыя и трусливыя, потому что хуже огня боятся они прикосновенія къ себѣ всякаго живого слова; во всемъ, даже въ томъ, что вовсе къ нимъ не относится, готовы видѣть наекъ на себя (согласно извѣстной русской поговоркѣ: на ворѣ и шапка горитъ). Говорите о всемъ, о чемъ вамъ угодно, говорятъ публицисту, но только не касайтесь прямо насъ, высоко стоящихъ; порицайте все, но только не порицайте нашихъ дѣйствій! Хотите говорить о правительствѣ—отлично, но говорите такъ, чтобы всѣ видѣли, понимали, что вы относитесь къ нему съ уваженіемъ; хотите говорить о вѣншихъ дѣлахъ—еще лучше, но не говорите только того, что не отвѣчаетъ нашимъ намѣреніямъ; хотите бесѣдовать о внутреннихъ дѣлахъ—не останавливайтесь, но только подѣ условіемъ, чтобы вы говорили: „какъ все прекрасно въ нашемъ счастливомъ отечествѣ!“ — потому что говорить другое, значило бы возбуждать недовѣріе къ правительству и бросать въ него подозрѣніе, что оно не управляетъ съ достаточною мудростію; говорите о высшихъ классахъ, но говорите съ почтеніемъ, потому что высшіе классы служатъ опорой трона; хотите толковать о простомъ, бѣдномъ народѣ—толкуйте, но только убѣждайте его при этомъ, что онъ вовсе не бѣдный и не несчастный, что такимъ онъ и долженъ быть и что ему непозволительно даже знать что-нибудь лучшее, такъ какъ иначе вы возбуждаете въ народѣ недовольство его судьбою, а мудрое отеческое правительство не можетъ терпѣть никакого недовольства, такъ какъ всякое недовольство доказываетъ вольнодумство и потому самому пагубно и оскорбительно для нѣжной заботливости владыкъ народа. Всякое же уклоненіе отъ подобнаго увѣщанія влечетъ за собою неизбѣжную кару закона. Однимъ словомъ, въ деспотическихъ правительствахъ существуетъ officialный образъ мыслей, и всякій человѣкъ, осмѣливающійся не раздѣлять его, тотчасъ объявляется подозрительнымъ и врагомъ порядка. Какъ долженъ говорить о различныхъ предметахъ осторожный журналистъ, Бёрне отлично опредѣляетъ въ своемъ „Завѣщаніи“. Осторожный журналистъ, по его мнѣнію, долженъ заниматься „астрономіею, за исключеніемъ кометъ, потому что онѣ служатъ предвѣстниками войны и народныхъ бѣдствій,—географіей, пропу-

ская мѣста, гдѣ находятся минеральныя воды, такъ какъ въ этихъ мѣстахъ собираются конгрессы,—алгеброй, но безъ включенія въ нее плюсовъ и минусовъ, ибо они подлежатъ вѣдѣнію финансоваго управленія,—психологіей, не пускаясь только въ ученіе о душѣ вѣстныхъ людей,—богословіемъ, за исключеніемъ вопроса о Священномъ Союзѣ,—политическою экономіею, но только домашнею, частною,—юриспруденціею, исключая уголовное судопроизводство, относящееся къ обязанностямъ чиновниковъ,—философіею безъ всякаго ограниченія,—полезнымъ ученіемъ о клинообразномъ письмѣ, коническомъ сѣченіи и коренныхъ словахъ нѣмецкаго языка,—затѣмъ, механикой, оптикой, этикой, риторикой, математикой, макробиотикой, динамикой, статикой, всевозможными *идами*, за исключеніемъ только *политики*, такъ какъ она принадлежитъ исключительно правительству“. При такихъ условіяхъ трудно было издавать политическій журналъ, дыханіе „Полета времени“ съ каждымъ днемъ становилось тяжелѣе. Бёрне, чувствуя, что наступила смертельная агонія, потропился написать „завѣщаніе“, которое должно было только ускорить смерть издыхавшаго журнала. Онъ проволочъ свое существованіе еще нѣкоторое время, и затѣмъ скатился въ ту тьму, въ ту пропасть, въ которую лютая реакція сталкивала все честное, все живое. Бёрне долженъ былъ быть еще благодаренъ, что „Полетъ времени“ въ своемъ паденіи не увлекъ за собою и его редактора. Впрочемъ нужно сказать, что редакторъ этотъ принялъ нѣкоторыя мѣры предосторожности.

Еще до окончательнаго прекращенія „Полета времени“ Бёрне, усталый, измученный, раздраженный всѣми ненавистными выходками деспотическаго порядка, бросилъ на время Франкфуртъ и отправился въ небольшое странствованіе по Рейну. Онъ побывалъ въ Майнцѣ, Кобленцѣ, Кельнѣ, Боннѣ, и вездѣ онъ встрѣчался съ людьми, которые такъ недавно еще играли роль и считались вѣздами чуть не первой величины. Онъ видѣлся съ Герресомъ, съ Шлейермахеромъ, съ Шлегелемъ, Арндтомъ, и хотя Бёрне относился съ уваженіемъ и съ добродушіемъ къ этимъ людямъ отжившей романтической школы, но вѣстѣ съ тѣмъ онъ рѣшительно отказывался имѣть съ ними что-нибудь общее въ политическомъ отношеніи. Ему не нравятся ихъ старческіе политическіе взгляды, онъ боится ихъ любви къ историческому праву и антипатіи къ новому,

живому. „Еслибы они получили господство, плохо бы пришлось нѣмецкому народу“, писалъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ госпожѣ Воль, съ которою въ продолженіе всей своей остальной жизни, т.-е. чуть не двадцать лѣтъ, онъ сохранялъ самыя лучшія, самыя дружескія отношенія.

Возвратившись во Франкфуртъ послѣ нѣсколькихъ недѣль, Бёрне долженъ былъ снова покинуть родной городъ, и на этотъ разъ уже не совѣсть добровольно. „Полесть времени“ продолжалъ еще выходить, блѣдный, болѣзненный, съ печатью смерти на челѣ. По пріѣздѣ во Франкфуртъ, Бёрне тотчасъ же узналъ, что начальствующія лица съ особеннымъ вниманіемъ читаютъ его журналъ и при этомъ сверхъ мѣры интересуются его личностью. Подобное вниманіе правительства не предвѣщало ничего хорошаго. Бёрне, и еще больше его друзья понимали это какъ нельзя лучше; они знали, что всѣ крѣпости были переполнены; они знали, что центральная слѣдственная коммиссія, учрежденная въ Майнцѣ для преслѣдованія „революціонныхъ прокламаций и демагогическихъ союзовъ“, свирѣпствуетъ со всею силою, что по всей Германіи распространилась страшная зараза—отвратительный политическій гнетъ, явившійся какъ результатъ временной побѣды принципа абсолютной власти надъ принципомъ народного самоуправленія. Каждый свободный шагъ, каждое свободное слово преслѣдовалось какъ политическое преступленіе и каралось со строгостью военнаго положенія. Подобныхъ преступленій Бёрне совершилъ слишкомъ много, чтобы у правительства не было желанія упрятать его куда-нибудь подальше. Какъ ни переполнены были казематы, но для такого человѣка, какъ Бёрне, для оппозиціоннаго и притомъ радикальнаго политическаго писателя, у заботливаго правительства всегда найдется лишній тюремный подвалъ. Друзья совѣтовали Бёрне поскорѣй убраться изъ родного города, и Бёрне соглашался, понимая всю опасность своего положенія. Медлить было нечего. Бёрне попросилъ выдать ему паспортъ, просьба его не была уважена. Худшаго предзнаменованія не могло быть. Рѣшимость и энергія не покинули Бёрне: онъ бросилъ Франкфуртъ, пѣшкомъ пришелъ въ Дармштадтъ и оттуда бѣжалъ въ Парижъ. Съ этого времени оканчивается осыдлая жизнь Бёрне, и онъ начинаетъ скитаться по свѣту.

Статья третья.

I.

Покидая Франкфуртъ, Бёрне долженъ былъ испытать вовсе не веселое чувство. Не легко вообще разставаться съ мѣстомъ, гдѣ жизнь сложилась, гдѣ она вошла въ опредѣленные формы, особенно когда покидаешь его безъ всякаго опредѣленнаго плана, не зная, куда направить свой путь, и не имѣя увѣренности, скоро ли можно будетъ возвратиться туда, откуда гонить злая судьба, въ образѣ полицейскаго произвола. Хотя, собственно говоря, Бёрне давно уже могъ ожидать, что наступитъ и для него часъ преслѣдованій, но какая-то беззаботность отличала его въ этомъ отношеніи, несмотря на то, что самъ онъ рассказываетъ, что имъ обуялъ въ это время жестокий страхъ, и онъ даже примѣняетъ къ себѣ слова одного француза наканунѣ революціи: „еслибы обо мнѣ сказали, что я укралъ большой колоколъ изъ церкви Notre-Dame и привѣсилъ его къ цѣпочкѣ монашескихъ часовъ, я бы сейчасъ же бѣжалъ изъ Франціи“. Если о Бёрне не сказали, что онъ укралъ большой колоколъ и привѣсилъ къ цѣпочкѣ, то про него сказали нѣчто гораздо худшее. Извѣстно, что для многихъ правительствъ того времени воръ—былъ титулъ несравненно болѣе невинный и безопасный, чѣмъ титулъ „краснаго“, „республиканца“, „опаснаго человѣка“. Бёрне давно зналъ, что его считали въ высшихъ сферахъ человѣкомъ „опаснымъ“, и несмотря на это оставался спокоенъ, какъ будто бы дѣло до него не касалось. Очевидная беззаботность! Онъ спохватился уже только тогда, когда его часъ пробилъ, громко прозвучавъ въ его ушахъ. Много лѣтъ спустя, Бёрне довольно подробно разсказалъ въ своемъ „Дневникѣ“ эту первую катастрофу, какъ тайкомъ вышелъ онъ изъ франкфуртскихъ воротъ, какъ оглядывался онъ постоянно назадъ, думая увидѣть за собою погоню полицейскихъ чиновниковъ, и какъ легко вздохнулось ему, когда онъ достигъ французской границы.

Какъ ни легко вздохнулъ Бёрне, почувствовавъ себя внѣ опасности, гарантированнымъ отъ всякихъ дикихъ преслѣдованій, тѣмъ не менѣе покинуть Франкфуртъ для него было крайне тяжело. Не говоря уже о томъ, что онъ видѣлъ, особенно въ первую минуту, всѣ свои планы разрушенными, всю свою общественную дѣятельность

порванной, у него была еще и другая, болѣе интимная причина, по которой ему не хотѣлось разставаться съ своимъ злополучнымъ отечествомъ. Разставаясь съ Франкфуртомъ, онъ разставался вмѣстѣ съ тѣмъ и съ госпожею Воль—этимъ лучшимъ, единственнымъ другомъ Бёрне, съ которымъ онъ дѣлилъ всѣ свои радости и горе, всѣ свои думы, словомъ, все свое существованіе.

Невозможно говорить о дальнѣйшей судьбѣ Бёрне, какъ писателя и какъ человѣка, не остановившись хотя немного на отношеніяхъ, существовавшихъ между г-жею Воль и Бёрне. До такой степени велика была роль этой женщины въ жизни автора „Парижскихъ Писемъ“! Обладая необыкновенною добротою, мягкостью, тонкимъ литературнымъ вкусомъ, большимъ тактомъ и умомъ, госпожа Воль должна была вліять не только на частную жизнь, но и на литературную, общественную дѣятельность Лудвига Бёрне. Она познакомилась съ нимъ еще совершенно молодою женщиною, вскорѣ послѣ выхода замужъ. Супружество г-жи Воль было одно изъ самыхъ несчастныхъ; судьба натолкнула ее на человѣка, который совершенно не былъ способенъ оцѣнить высокихъ нравственныхъ качествъ молодой женщины. Она не нашла себѣ въ мужѣ никакого отвѣта, никакого сочувствія всѣмъ тѣмъ горячимъ порывамъ, молодымъ идеямъ, которыми сама она была такъ полна. Расколъ между мужемъ и женою не долженъ былъ замедлить обнаружиться, и онъ обнаружился на самомъ дѣлѣ едва не черезъ нѣсколько недѣль послѣ брака. Госпожа Воль навсегда отдалилась отъ мужа, предпочитая зарыть въ себѣ самой всѣ свои чувства, всю свою богатую натуру, чѣмъ дѣлиться ими съ человѣкомъ недостойнымъ и неспособнымъ ихъ даже понять.

При такихъ условіяхъ г-жа Воль встрѣтилась съ Бёрне. Нужно ли говорить, что условія эти были самыя благопріятныя для того, чтобы между ними скоро установились болѣе или менѣе близкія отношенія. Когда нравственная сторона въ развитой женщинѣ неудовлетворена, то она неизбѣжно ищетъ человѣка, который сѣмѣлъ бы понять и оцѣнить ея возвышающіяся надъ обыкновеннымъ уровнемъ стремленія. Кто же ихъ могъ лучше понять и оцѣнить, какъ не Бёрне? Онъ встрѣчалъ госпожу Воль довольно часто у однихъ близкихъ знакомыхъ, и если сначала онъ заинтересовался ею только вслѣдствіе того, что онъ видѣлъ въ ней женщину, разошедшуюся съ мужемъ въ силу нравственного разлада, несходства воззрѣній и

понятій, то скоро онъ въ состояніи уже былъ оцѣнить ее лично и убѣдиться въ глубинѣ ея натуры, въ ея исключительномъ нравственномъ развитіи, скоро онъ могъ понять, какой неисчерпаемый источникъ преданности и великодушія кроется въ этой богато одаренной женщинѣ. Если госпожа Воль со стороны нравственного развитія не могла не произвести обаятельнаго впечатлѣнія на Бёрне, то и сторона физическая могла только усиливать, укрѣплять это впечатлѣніе. Госпожа Воль была хороша собою.

Если госпожа Воль обладала всѣмъ, чтобы привлечь къ себѣ Бёрне, то и этотъ послѣдній въ свою очередь не могъ не произвести сильнаго впечатлѣнія на молодую женщину. Конечно, не физическая сторона Бёрне привлекла къ нему госпожу Воль. Бёрне никогда не былъ хорошъ собою, но умные, выразительные глаза его заставляли угадывать въ немъ выдающагося изъ общаго людскаго уровня чело-вѣка. Госпожа Воль не могла не увидѣть въ Бёрне чело-вѣка съ необыкновенно честнымъ и открытымъ характеромъ, ее не могло не притягивать къ нему рѣдкое остроуміе, живость, страстное увлеченіе лучшими интересами общества, горячая любовь его къ свободѣ и еще болѣе горячая ненависть къ деспотизму, однимъ словомъ, ее притягивало къ Бёрне богатство всѣми тѣми качествами свойствъ и стремленій, недостатокъ которыхъ или, вѣрнѣе, полное отсутствіе заставило госпожу Воль разорвать тягостный для нея брачный союзъ. Нельзя сомнѣваться, что и литературная молодая еще слава Бёрне могла привлекать госпожу Воль. Понимая значеніе, которое получалъ Бёрне въ нѣмецкомъ обществѣ и раздѣляя всѣ его взгляды и убѣжденія, она тѣмъ болѣе дорожила дружбою чело-вѣка, отдавашагося всецѣло борьбѣ за права народа и за его чело-вѣческое достоинство. Слава Бёрне не могла не льстить ея самолюбію, и тѣмъ болѣе она гордилась ею, что понимала очень хорошо, что это не та эфемерная слава, которая выпадаетъ иногда на долю какого-нибудь моднаго писателя, который забудется прежде даже, чѣмъ успѣютъ пожелтѣть страницы его сочиненій; нѣтъ, это слава прочная, историческая, которую не забудетъ народъ, какъ не забываетъ онъ имена всѣхъ тѣхъ, которые боролись и борются за его свободу. Госпожа Воль сознавала въ себѣ силы не только не допустить угаснуть тому священному огню, крившемуся въ умѣ и сердцѣ Бёрне, который разбрасывалъ свое пламя по всѣмъ концамъ Германіи, но всегда стоять насторожѣ и

придавать ему силы на случай, если бы Бёрне нуждался въ ней. Вѣзость, установившаяся между Бёрне и г-жей Воль, скоро превратилась въ прочныя дружескія отношенія, крѣпкимъ цементомъ которыхъ была глубокая взаимная симпатія и взаимное уваженіе.

Какого рода были эти отношенія между Бёрне и госпожею Воль, до этого, собственно говоря, никому нѣтъ никакого дѣла. Людямъ мало того, что они считаютъ своимъ неотъемлемымъ правомъ проникать въ частную, интимную жизнь писателя, нѣтъ, имъ нужно еще докапываться до самаго дна, до самыхъ сокровенныхъ тайнъ, тайнъ ни для кого не интересныхъ и принадлежащихъ исключительно одному человѣку. По какому праву люди такъ безцеремонно обращаются съ сердечною, внутреннею стороною жизни человѣка, этого никогда никому не понять. Жилъ ли Бёрне съ госпожею Воль, или не жилъ онъ съ ней, это—по крайней мѣрѣ мнѣ такъ кажется—должно быть совершенно безразлично для всѣхъ и не имѣть никакого значенія ни для знакомства съ литературною дѣятельностью Бёрне, ни для знакомства даже съ его частною жизнью. Въ частной жизни общественнаго человѣка интересны отношенія его къ другимъ людямъ, кругъ его знакомства, образъ его мыслей, насколько онъ сказывался въ разговорахъ съ друзьями, въ перепискѣ съ близкими людьми, но никакъ не больше. Идти далѣе неприлично. Мы знаемъ, что Бёрне былъ неразлученъ почти съ госпожею Воль, и намъ этого слишкомъ довольно; мы знаемъ, что они и уважали, и любили другъ друга, и больше нечего знать. Затѣмъ, существовала ли между ними другая связь, это рѣшительно все равно, и казалось бы, что умные и честные люди не должны бы были дѣлать изъ этого вопроса предмета самаго тщательнаго изслѣдованія. На дѣлѣ оно было не такъ. Гейне былъ первый, который подалъ въ этомъ отношеніи самый отвратительный примѣръ. Онъ бросилъ въ госпожу Воль самыми грязными обвиненіями, которыя рикошетомъ ударили по Бёрне. Отсюда произошелъ цѣлый споръ: была связь между Бёрне и госпожею Воль, или не была? Упомянуть объ этомъ спорѣ слѣдуетъ только для того, чтобы сказать, какъ глупы иногда бываютъ самые умные люди. Впрочемъ, нужно отдать Гейне справедливость, что онъ скоро самъ понялъ, какъ недостойнъ былъ его поступокъ относительно памяти Бёрне и живой г-жи Воль, и самъ просилъ своего издателя, чтобы въ новомъ изданіи его сочиненій выпущено было изъ его книги о Бёрне все, что говорить

онъ съ такимъ цинизмомъ о женщинѣ, связавшей въ значительной степени свою судьбу съ судьбою Бёрне.

Госпожа Воль была совершенно свободна. Она разошлась съ своимъ мужемъ, который никогда не въ состояніи былъ бы понять и оцѣнить ее, и потому никто не могъ бы въ нее бросить упрекомъ, еслибы она фактически сдѣлалась женою Бёрне. Но этого, судя по всѣмъ даннымъ, не было. Отношенія ихъ были совершенно особенныя, исключительныя и до нѣкоторой степени странныя. Они были какъ нельзя болѣе привязаны другъ къ другу; жизнь ихъ проходила вся вмѣстѣ; часто жили они въ одномъ домѣ, на одной квартирѣ; сплосъ и рядомъ, особенно впослѣдствіи, когда Бёрне бывалъ боленъ, госпожа Воль по цѣлымъ ночамъ просиживала у его изголовья, не оставляя его ни на минуту, никому не довѣряя обязанности ухаживать за нимъ, и несмотря на все это, несмотря на всю близость, отношенія ихъ не переступали границы самой тѣсной дружбы. Дружба эта нисколько не пострадала и тогда, когда госпожа Воль вышла замужъ; и тогда точно также она продолжала сохранять съ своимъ другомъ самыя близкія отношенія, точно такъ же принимала участіе во всемъ, что имѣло къ нему отношеніе, въ частной ли его, или общественной жизни. До самой послѣдней его минуты она не отходила отъ своего друга.

Отношенія Бёрне къ госпожѣ Воль составляли предметъ самыхъ разнообразныхъ толковъ и самыхъ глупыхъ обвиненій, которыя обрушивались на Бёрне. Если одни прямо и рѣзко нападали на двухъ друзей за скандалѣзный характеръ ихъ отношеній, то другіе порицали ихъ косвенно, советуя поскорѣе закрѣпить законнымъ бракомъ ихъ нравственный союзъ. Между тѣмъ и Бёрне, и госпожа Воль были очень далеки отъ подобной мысли. Опасались ли они, что обязанности, налагаемыя бракомъ, вмѣсто того, чтобы закрѣпить ихъ отношенія, только ослабятъ ихъ, или не рѣшалась она опечалить своимъ переходомъ изъ еврейской вѣры въ христіанскую, безъ чего бракъ еврейки госпожи Воль не могъ состояться съ христіаниномъ Бёрне, или наконецъ какая-нибудь другая причина, — но фактъ былъ тотъ, что въ то время, когда они оба были совершенно свободны, когда оба они нравственно принадлежали другъ другу, они никогда не желали вступить въ бракъ.

Если чувства госпожи Воль къ Бёрне мы знаемъ только по тому, что говорить о нихъ съ одной стороны самъ Бёрне, съ другой, что

разсказываютъ различные современники, то о глубокой и сильной привязанности самого Бёрне къ госпожѣ Воль свидѣлствуютъ намъ множество писемъ, писанныхъ имъ въ различныя времена. Не упоминая теперь о „Парижскихъ письмахъ“, которыя всѣ адресованы къ госпожѣ Воль и относятся уже къ послѣднему періоду его жизни, къ его послѣднимъ годамъ, есть множество другихъ писемъ, писанныхъ въ первые годы ихъ дружбы. Изъ нихъ видно, какъ нѣжно относится онъ къ своей „милой подругѣ“, какъ ей одной хочетъ онъ довѣрять всѣ свои думы, всѣ свои мысли, и потому просить ее никому не показывать его писемъ, писанныхъ для нея одной. Оставляя ее на короткое время, Бёрне тоскуетъ по ней, и какъ велика была его привязанность, можно видѣть изъ нѣкоторыхъ фразъ, словъ, которыя порой попадаютъ въ его перепискѣ. „Я никогда еще достаточно не сознавалъ, — говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ, — какъ необходимы вы, дорогой другъ, для моего счастья. Не отнимайте у меня единственнаго облегченія, которое мнѣ доставляютъ ваши письма“. Онъ настаиваетъ на этомъ сознаніи, когда повторяетъ: „Еще разъ, дорогой другъ, не позабывайте, что вы все для меня, и что вся моя жизнь была бы во мракѣ, еслибы вы не освѣщали ее. Дайте мнѣ чаще слышать вашъ голосъ въ вашихъ письмахъ и не пишите такъ разгониисто, а подобно мнѣ, мелкимъ почеркомъ, чтобы много укладывалось на одномъ листѣ, такъ какъ я знаю, что, исписавъ одинъ листъ, вы не начнете другого“... Единственное чувство, которое оспаривало у него привязанность къ госпожѣ Воль, была его любовь къ свободѣ, и, быть можетъ, именно то обстоятельство, что онъ весь былъ поглощенъ политическими интересами и политическою дѣятельностью, вліяло на ихъ взаимное рѣшеніе не связывать общей судьбы ихъ бракомъ. „Свобода и вы! — говоритъ онъ разъ. — Человѣческое сердце такъ узко. Зачѣмъ нужно дѣлать выборъ?“ Каждый разъ, что Бёрне не получалъ письма въ условленный день, каждый разъ, что онъ оставался безъ извѣстій отъ „своей милой подруги“, онъ испытывалъ страшное безпокойство, не могъ ничего дѣлать и раздражался громомъ упрековъ противъ почты, если ей случалось быть неаккуратною. Онъ не дѣлалъ ни одного шага безъ того, чтобы не посоветоваться съ своимъ другомъ, не принималъ ни одного рѣшенія безъ того, чтобы она не произнесла своего мнѣнія, и достаточно было одного ея слова, чтобы онъ поступилъ такъ или иначе. Онъ такъ

привыкъ во всемъ сообразоваться съ ея мнѣніемъ, съ ея волею, что ему было невыносимо, когда онъ тотчасъ же не могъ его узнать. „Ахъ, мое вѣрное сердце, — писалъ онъ ей, — еслибы я могъ поговорить съ тобой хоть одинъ часъ! Чтѣ можно сказать въ одномъ письмѣ? Это только нѣсколько капель, а моя душа такъ полна“... Въ письмахъ его звучить иногда необыкновенная нѣжность; видно, какъ боится онъ встревожить ее, обезпокоить какимъ-нибудь непріятнымъ извѣстіемъ. Если онъ дѣлается боленъ, онъ сообщаетъ ей объ этомъ со всевозможными предосторожностями и закликаетъ ее не волноваться, увѣряя, что болѣзнь неважна, что онъ уже почти здоровъ. Не говорить ей вовсе о томъ, чтѣ съ нимъ бывало непріятнаго, онъ не могъ, такъ какъ она взяла съ него обѣщаніе, что онъ никогда ничего не станетъ скрывать отъ нея. Если участіе госпожи Воль, вліяніе ея на Бѣрне было благотворно въ частной жизни, то не менѣе выгодно оно отзвѣвалось и на литературно-политической его дѣятельности. Она была для него литературнымъ судьей; ни одна строчка не выходила въ свѣтъ безъ того, чтобы онъ сначала не прочелъ ее своему другу, а она была взыскательна и строга и всегда требовала, — вѣроятно предполагая, что его переписка современемъ должна сдѣлаться извѣстною, — чтобы его письма даже были „хорошо написаны и интересны“. Она постоянно принуждала его работать, писать, бранила, когда онъ лѣнился, не давала ему покоя, пока онъ не кончитъ какой-нибудь начатой статьи.

При лѣности Бѣрне, на которую онъ самъ часто жаловался, подобное понукательство госпожи Воль было какъ нельзя болѣе полезно, и весьма можетъ быть, что не побуждай она его къ постоянной работѣ, дѣятельность Бѣрне на литературномъ поприщѣ не оставила бы по себѣ столько памятниковъ. Не существуя этихъ близкихъ отношеній между госпожею Воль и Бѣрне, по всей вѣроятности, мы были бы лишены той богатой переписки Бѣрне, которая важна не только потому, что она даетъ блистательные образцы остроумія и юмора автора „Парижскихъ Писемъ“, но еще и по тому значенію, какое она имѣетъ въ историческомъ отношеніи. Письма Бѣрне такъ живо рисуютъ собою его время, они такъ полны общественнаго интереса, что даже тогда, когда они теряютъ значеніе чисто литературное, они всегда будутъ имѣть глубокій смыслъ для людей, желающихъ познакомиться съ однимъ изъ самыхъ интересныхъ періодовъ

нашего вѣка, съ періодомъ штиля, наступившаго послѣ страшной бури французской революціи, съ періодомъ реакціи и наконецъ съ тѣмъ временемъ новой зари, которая зардѣлась только для того, чтобы опять исчезнуть, словомъ—со временемъ іюльскаго переворота. Всѣ столкновенія, вся борьба, всѣ надежды и затѣмъ разбитія иллюзій, весь протестъ свѣта противъ тьмы — все это какъ въ зеркалѣ отражается въ письмахъ Бёрне къ госпожѣ Воль. Она требовала отъ него, чтобы онъ передавалъ ей всѣ свои впечатлѣнія, всѣ свои думы, и Бёрне, послушный ея голосу, изливалъ передъ нею всю свою душу, изъ которой неудержимымъ ключомъ струилась самая чистая любовь къ человѣчеству и самая ядовитая ненависть ко всему, что стоитъ у него на дорогѣ и мѣшаетъ его свободному развитію. Еслибы госпожа Воль не имѣла для Бёрне другого значенія, какъ то, что она была причиной, побуждавшей его писать свои письма, то и въ такомъ случаѣ нельзя было бы не сказать, что она имѣла благотворное вліяніе на литературную дѣятельность Бёрне. Но значеніе госпожи Воль было шире; она глубоко проникла въ нравственную природу Бёрне, и если не управляла его литературною дѣятельностью, то была для нея неподобнымъ стимуломъ, постоянно возбуждая его творческую силу и энергію. Отношенія ихъ такъ скоро сдѣлались самыми прочными и близкими, жизнь Бёрне такъ быстро слилась, по крайней мѣрѣ нравственно, съ жизнью госпожи Воль, что Бёрне чувствовалъ вдвое болѣе одиночество, когда принужденъ былъ покинуть Франкфуртъ.

Какъ ни тяжело ему было расставаться съ своимъ лучшимъ другомъ, но, тѣмъ не менѣе, чувство, что онъ избавился отъ грозившихъ ему преслѣдованій, что онъ ускользнулъ изъ когтей разсвирѣпѣлаго звѣря, было слишкомъ сладостно, чтобы не заставить его даже позабыть на минуту, что вмѣстѣ съ Франкфуртомъ онъ покинулъ и госпожу Воль. „Какъ хорошо стало у меня на душѣ,—говоритъ Бёрне въ своемъ „Дневникѣ“,—когда я достигнулъ французской границы! Я чувствовалъ себя свободнымъ. Въ этой странѣ,—думалъ я,—честнаго человѣка тоже не оставляютъ въ покоѣ, но если онъ только не глупъ и не трусъ, то и самъ не останется въ долгу у своихъ мучителей. Тутъ тоже бьютъ, но зато тутъ защищаются. Тутъ тоже оскорбляютъ, но это не оскорбительно, потому что оскорбляемый оплачиваетъ тѣмъ же. У насъ же тебя ругаютъ, а ты молчи, какъ лакей;

тебя бьютъ какъ собаку, а ты не смѣй выть какъ собака! Въ битвѣ дѣло не въ томъ, кто получаетъ больше побоевъ — мы или наши противники, дѣло не въ болѣе или менѣе боли, не въ болѣе или менѣе синихъ пятнахъ, а въ томъ, чтобы защитить свою честь и дать отпоръ противникамъ“... Этимъ размышленіемъ Бёрне тотчасъ устанавливаетъ рѣзкую границу между такою страню, гдѣ рабство вошло въ плоть и кровь народную, однимъ словомъ — страню по самому существу своему деспотическою, и такою страню, которая возстала противъ „лакейства и битья“ и завязала отчаянный бой съ деспотизмомъ. Борьба идетъ съ перемѣнными счастьемъ; сегодня торжествуетъ произволъ, завтра свобода поднимаетъ высоко свое свѣтлое знамя. Два начала борются между собою, борьба ожесточенная, но весь ходъ человѣческаго развитія отвѣчаетъ за исходъ этой борьбы. Съ каждымъ днемъ лагерь защитниковъ свободы увеличивается, настолько же, насколько противный лагерь слабѣетъ и рѣдѣетъ. Такими странами представлялись Бёрне Германія и Франція. Въ одной онъ ничего не видѣлъ, потому что кругомъ его былъ мракъ, и онъ слышалъ только рѣзкіе удары бича большихъ и маленькихъ нѣмецкихъ капраловъ; въ другой, при помощи яркой полосы свѣта, ворвавшейся въ глубокую еще тьму, онъ различалъ уже ясно горячую борьбу двухъ враждебныхъ лагерей. Какъ ни привыкъ Бёрне ко мраку Германіи, свѣтъ, разлившійся по Франціи, тѣмъ не менѣе, не ослѣпилъ его. Глаза его были слишкомъ здоровы и потому могли выдержать еще болѣе яркій свѣтъ. Потому, конечно, Бёрне трезво смотритъ на французскія дѣла и въ впечатлѣніяхъ его никто не замѣтитъ безграничнаго энтузіазма или какого-нибудь опьяненія. Какъ ни старался Бёрне быть безпристрастнымъ по отношенію къ Франціи, тѣмъ не менѣе на него со всѣхъ сторонъ сыпались упрёки, что только врагъ своего отечества можетъ дружелюбно смотрѣть на эту страну „коварства, невѣрія и неправды“. Бёрне нисколько не смущался подобными обвиненіями и продолжалъ хвалить то, что заслуживаетъ похвалы. Если и были во Франціи такія темныя пятна, которыя ускользали отъ вниманія Бёрне, то это совершенно понятно: въ Германіи, гдѣ свирѣпствовала реакція, было такъ душно, такъ скверно, что во Франціи, гдѣ водворилась реставрація съ Людовикомъ XVIII, должно было ему показаться особенно хорошо. Бёрне составлялъ прямую противоположность той фалангѣ шарлатановъ, глупцовъ или псевдо-

патріотівъ, которые съ катовскою суровостію судять чужіе недостатки и съ умильтельнымъ добродушіємъ относятся къ собственнымъ „грѣшканъ“. Бѣрне свободно вздохнулъ, переѣхавъ французскую границу, точно тяжелый камень отпалъ у него отъ сердца. Онъ чувствовалъ себя въ полной безопасности, и это чувство пролило розовый свѣтъ на весь міръ. Первые впечатлѣнія его были какъ нельзя болѣе хороши. Онъ пріѣхалъ въ Парижъ налегкѣ, въ чемъ былъ, и потому въ то время, когда другіе его спутники возились съ сундуками да съ чемоданами, Бѣрне бѣгалъ уже по улицамъ Парижа. „Мы, глупые ослы,—разсуждаетъ Бѣрне въ своемъ „Дневникѣ“,—вмѣсто того, чтобы свободно пастись на полѣ, навьючиваемъ себя мѣшками, наполненными пшеницей, и притомъ чужою, и тащимъ ихъ къ богатому мельнику, котораго зовутъ Смерть, а тотъ мелетъ и просѣиваетъ это для достоуважаемаго господина Червя. Тотъ имѣетъ все, кто не имѣетъ ничего; у кого есть много, у того всегда мало. Да здравствуетъ нищенство! и во второй разъ да здравствуетъ! и въ третій разъ да здравствуетъ!“ Богъ знаетъ, прокричалъ ли бы Бѣрне и въ четвертый разъ: „да здравствуетъ нищенство!“ еслибы, во-первыхъ, карманъ его не былъ набитъ золотомъ, и, во-вторыхъ, еслибы черезъ двѣ недѣли не пришли къ нему изъ Германіи его сундуки. Не будь этого, весьма вѣроятно, что Бѣрне не сталъ бы распространяться о томъ, какъ счастливъ долженъ быть нищій мальчикъ, у котораго нѣтъ ни пищи, ни крова!

II.

Пріѣздъ Бѣрне въ Парижъ скоро сталъ извѣстенъ. Французскія газеты не замедлили сообщить, что знаменитый авторъ „Вѣсовъ“ и „Полета времени“ бѣжалъ изъ Германіи и прибылъ во Францію, спасаясь отъ преслѣдованій. „Въ продолженіе четырнадцати дней,—разсказываетъ самъ Бѣрне,—парижскія газеты всѣхъ партій говорили о моемъ пріѣздѣ. Конечно, онѣ употребляли меня только какъ красивый матеріалъ; онѣ или рабски толкли меня въ ступѣ, или либерально разваривали меня, но результатъ былъ все-таки тотъ, что обо мнѣ говорили“. Дѣйствительно, слава Бѣрне, какъ замѣчательнаго политическаго писателя, переплыла уже черезъ Рейнъ, и пріѣздъ

нѣмецкаго публициста въ Парижъ былъ чуть не „событіемъ“. Вѣрне былъ чрезвычайно удивленъ тѣмъ шумомъ, который распространился вокругъ его имени, и добродушно, не вѣря собственной славѣ, спрашиваетъ себя: „да что же я такое въ самомъ дѣлѣ? Высокая особа? Курьеръ? Пѣвица? Сановникъ, празднующій свой юбилей? Ни то, ни другое, ни третье; а между тѣмъ обо мнѣ говорятъ газеты! Что это—прибавляетъ удивленный Вѣрне—за странный народъ!“ Вѣрне былъ пораженъ и пораженъ пріятно нѣкоторыми чертами французскаго характера. Онъ съ удовольствіемъ рассказываетъ, какъ хозяинъ гостинницы, въ которой онъ остановился безъ всякаго багажа, узнавъ о томъ, что онъ политическій бѣглецъ, пришелъ къ нему, на третій день его пріѣзда, предлагая свой столъ, свой домъ и даже свой кошелекъ. И только тогда, передаетъ Вѣрне, когда хозяинъ увидѣлъ, что „я человекъ не безъ средствъ, онъ согласился получить съ меня долгъ“. Редакціи французскихъ газетъ тотчасъ обратились къ нему съ предложеніемъ сотрудничать, знакомили съ манерой Вѣрне, давая выдержки изъ „Полета времени“, и Вѣрне, какъ это видно изъ писемъ его къ госпожѣ Воль, посылалъ статьи во французскіе журналы. Пріѣздъ Вѣрне въ Парижъ приписывали какой-то агитаціи, которая Парижъ избрала только главнымъ центральнымъ пунктомъ дѣйствій, чтобы превратить деспотическую Германію въ свободную республику. По поводу того, что въ Парижѣ были арестованы четыре іенскихъ студента за то, что они тайно покинули Германію и явились въ Парижъ безъ паспортовъ, одна ультра-консервативная газета, какъ рассказываетъ самъ Вѣрне въ письмахъ къ г-жѣ Воль, разсуждала слѣдующимъ образомъ: „Позидимому Франція должна сдѣлаться главною квартирою, мѣстомъ сборища радикаловъ Лондона, теитонцевъ Германіи и грегоріанцевъ всѣхъ странъ; нѣсколько дней тому назадъ здѣсь уже были арестованы три студента іенскаго университета, а „Constitutionnel“ уже объявляетъ о скоромъ прибытіи сюда Гёрреса, Вѣрне и совѣтника юстиціи Мартина изъ Іены; почтенный Гунтъ вѣроятно тоже не замедлитъ пуститься въ дорогу“. Вѣрне въ это время, когда ему приписывали самыя злыя козни, былъ какъ нельзя болѣе далекъ отъ нихъ; онъ просто наслаждался Парижемъ, онъ отдыхалъ отъ черныхъ мыслей, которыя не давали ему покоя въ Германіи, онъ чувствовалъ потребность нравственно успокоиться, и Парижъ удовлетворялъ эту потребность. „Мнѣ было хо-

рошо въ Парижѣ, — пишетъ Бёрне въ своемъ „Дневникѣ“. — На душѣ у меня было такъ, какъ будто съ морского дна, гдѣ водолазный колоколъ спираль мое дыханіе, я снова выбрался на свѣжій воздухъ. Свѣтъ солнца, людскіе голоса, шумъ жизни восхищали меня. Мнѣ уже не было холодно въ сообществѣ жабъ; я не былъ больше въ Германіи“. Единственное, что раздражало Бёрне въ Парижѣ, это нѣмцы, которые поспѣшили навѣстить его, чтобы поглазѣть на замѣчательнаго политическаго дѣятеля. Посѣщенія эти были ненавистны Бёрне, потому что онъ не терпѣлъ никакого притворства, не терпѣлъ фразъ, не терпѣлъ фальшивыхъ соболѣзнованій „любезному отечеству“. Нѣмцы же, являвшіеся къ Бёрне, совершенно равнодушны къ участи Германіи, къ ея свободѣ, считали своимъ долгомъ, въ присутствіи Бёрне, проливать слезы надъ бѣдною Германіею, покорно лежавшею въ цѣпяхъ деспотизма. „Бѣдное отечество!“ восклицали они и смотрѣли другъ на друга и искали взаимнаго утѣшенія въ глазахъ вѣрнаго друга. Я охотно — энергически прибавляетъ Бёрне — задушилъ бы этихъ мошенниковъ! Если Бёрне съ негодованіемъ относился къ политическому индифферентизму, то еще съ большимъ негодованіемъ, съ большею ненавистью — къ фальшивому либерализму и притворнымъ фразамъ.

Шумъ парижской жизни дѣйствовалъ на Бёрне, особенно въ первые дни, первыя недѣли, какъ нельзя болѣе успокоительно, но спокойствіе, которое испытывалъ онъ тутъ, было совершенно особаго свойства; оно не напоминало ему нѣмецкаго спокойствія. „Спокойствіе, — говоритъ самъ Бёрне, — есть счастье, когда оно *отдохновеніе*, когда мы сами выбрали его, сами нашли послѣ долгихъ поисковъ; но спокойствіе не есть счастье, когда, какъ въ нашемъ отечествѣ, оно составляетъ наше единственное занятіе“. Едва-ли, впрочемъ, Бёрне былъ правъ, называя то состояніе, которое томило его въ Германіи, спокойствіемъ; страна, общество, деморализованныя произволомъ, не знаютъ спокойствія; имъ знакома бываетъ одна глубокая апатія, переходящая въ летаргическое состояніе. Отсутствие спокойной разумной жизни и есть именно главное зло общества, не пользующагося политическою свободою. Жить спокойно нельзя, когда въ людяхъ нѣтъ увѣренности, что къ нимъ не ворвутся ночью „охранители общественнаго порядка“ и въ силу какого-нибудь фантастическаго заговора, по одному подозрѣнію, по одному слову наемнаго

шпіона, не бросать человека въ какой-нибудь крѣпостной подвалъ. Оттого-то Бёрне и жилось хорошо въ Парижѣ, что онъ чувствовалъ себя спокойно, въ безопасности, внѣ всякихъ преслѣдованій. Къ несчастію онъ успокоился слишкомъ скоро, и не прошло нѣсколькихъ мѣсяцевъ, какъ онъ писалъ уже госпожѣ Воль: „не легко мнѣ, дорогая подруга, далеко не легко. Я боюсь, чтобы со мной не включилась болѣзнь — тоска по родинѣ, и чтобы я не поддался ей...“. Разъ онъ рѣшился высказать подобное опасеніе, значитъ болѣзнь уже открылась въ немъ и ожидала только минуты, чтобы прорваться наружу. Бёрне испытывалъ на себѣ справедливость словъ: запрещенный плодъ сладокъ. Онъ сознается, что еслибы онъ оставилъ Германію добровольно, то онъ долгое время могъ бы провести вдаль отъ нея, но ему невыносима была невозможность вернуться тогда, когда онъ захотѣлъ бы. „Я самъ не думалъ, — говоритъ онъ, — что я пустилъ въ родной землѣ такіе глубокіе корни. Я счастливъ каждый разъ, какъ, идя по улицѣ, я слышу нѣмецкій языкъ“. Смѣшно подумать, читая эти строки интимнаго письма, что Бёрне могли обвинять въ ненависти къ Германіи.

Получивъ извѣстіе изъ Франкфурта, что опасенія преслѣдованій, побудившія его покинуть Германію, были нѣсколько преувеличены, что возвращеніе его въ родной городъ представляется возможнымъ, Бёрне поспѣшилъ, несмотря на всю свою любовь къ Парижу, обратно во Франкфуртъ, чтобы снова продолжать тамъ вести свою литературно-политическую пропаганду. Изданіе „Полета времени“ было прекращено, „Вѣсы“ же продолжали выходить отъ времени до времени, и онъ помѣщалъ тутъ свои статьи, которыя пользовались все большимъ и большимъ успѣхомъ.

Недобрая звѣзда указывала Бёрне путь въ то время, когда онъ рѣшился покинуть Парижъ и возвратиться въ свой родной, но него-степримный городъ. Скоро послѣ пріѣзда во Франкфуртъ съ нимъ случилась исторія, доставившая ему возможность близко ознакомиться съ системою ночныхъ арестовъ, съ безцеремоннымъ обращеніемъ полицейскихъ судей и тому подобными необходимыми принадлежностями всякаго безправнаго порядка. Но, однимъ словомъ, что зналъ онъ только въ теоріи, теперь долженъ онъ былъ узнать на практикѣ. Дѣло было какъ нельзя болѣе просто. Одинъ изъ молодыхъ студентовъ, съ которымъ Бёрне познакомился проѣздомъ черезъ Боннъ, по-

пался за распространіе какого-то революціоннаго катехизиса для солдатъ. На вопросъ: отъ кого получалъ онъ подобныя возмутительныя прокламаціи, студентъ этотъ, полагая, что Вёрне навсегда покинулъ Германію и эмигрировалъ въ Парижъ, нашелъ удобнымъ свалить всю исторію на плечи автора „Вольшого заговора“. Полиція была въ восторгѣ. Въ воображеніи своемъ она держала уже въ рукахъ всѣ нити страшнаго, охватившаго всю Германію, заговора, съ которымъ она возилась какъ съ возлюбленнымъ своимъ чадомъ; продажныя и официальныя газеты могли ликовать уже торжество надъ гидрою революціи, надъ тайною интригою враговъ отечества, надъ плотною сѣтью европейскаго карбонарства, этимъ „обществомъ все-свѣтной революціи“ того времени, которымъ въ тѣ времена пользовались нѣмецкія правительства съ неменьшею наглостью, чѣмъ и теперь иногда пользуются имъ безчестныя слуги реакціи, литературнаго и высше-полицейскаго свойства, эти послѣдніе, быть можетъ, могли кане отходящаго въ вѣчность производа. Въ ту же ночь Вёрне, разумѣется, былъ схваченъ, бумага всѣ перерыты, все опечатано и самъ онъ отправленъ въ тюрьму. Коварный демагогъ былъ наконецъ въ рукахъ „правосудія“! Но увы! въ этихъ бумагахъ ничего подозрительнаго не оказалось, и Вёрне, послѣ двухнедѣльнаго ареста, былъ выпущенъ на свободу. Вёрне остроумно рассказываетъ о своемъ арестованіи. „То обстоятельство, что я былъ арестованъ ночью и уже сажу четыре дня, не зная причины моего ареста и не бывъ выслушанъ до сихъ поръ, выставляетъ личную свободу, которою пользуется франкфуртскій гражданинъ, въ самомъ лучшемъ свѣтѣ. Во многихъ монархическихъ государствахъ, какъ Франція и Англія, законъ позволяетъ арестовать только днемъ. Какъ жестоко подобное учрежденіе! Каждый такимъ образомъ тотчасъ узнаетъ о преступленіи, и человѣкъ теряетъ честь прежде, нежели онъ теряетъ свободу. Когда же человѣка отводятъ въ тюрьму ночью, тогда никто этого не замѣчаетъ, и можно цѣлые годы быть заключеннымъ безъ того, чтобы городъ узналъ объ этомъ и всѣ будутъ думать, что отсутствующій находится въ путешествіи. И какъ благодѣтельны также другія послѣдствія ночного арестованія! Заключенный не тотчасъ теряетъ свою свободу, такъ какъ и безъ того ночью каждый человѣкъ запертъ въ своей комнатѣ. Сонъ заставляеть его позабывать свои печали. Созерцаніе звѣзднаго неба даетъ ему утѣшеніе, какъ всякому

несчастному; онъ думаетъ: на небѣ есть кассационный судъ. Онъ не видитъ изъ своего окна гуляющихъ людей, что доставляетъ ему днемъ такую горечь. Наконецъ, изъ животнаго магнетизма и отъ своей кормилицы онъ позналъ, что и безъ того ночью человѣкъ принадлежитъ дьяволу и спрашиваетъ себя: что же я теряю? Положеніе, что человѣкъ много дней остается въ неизвѣстности относительно того, въ чемъ его обвиняютъ, и безъ допроса, не менѣе благородно, гуманно и великодушно. Черезъ это заключенный выигрываетъ время, чтобы приготовиться ко всевозможнымъ случайностямъ и запасти отвѣты на обвиненіе во всѣхъ преступленіяхъ, какія только можно представить себѣ, начиная отъ оскорбленія словомъ до зажигательства, такъ что самый ловкій уголовный судья не въ состояніи будетъ поймать его“.

Если тутъ Бёрне прибѣгаетъ къ шуткѣ, чтобы поговорить о возмутительности тогдашней нѣмецкой процедуры въ политическихъ дѣлахъ, если тутъ онъ съ ироніею только толкуетъ о выгодахъ ночныхъ арестовъ и оставленія безъ допроса въ продолженіе многихъ дней, то тонъ его рѣчи становится нѣсколько инымъ, когда онъ обращается отъ своего, лично его касающагося дѣла, вообще къ политическимъ преступленіямъ и политическимъ процессамъ. Бёрне никогда не упускалъ случая клеймить позоромъ тотъ порядокъ, при которомъ людей, заподозрѣнныхъ въ какомъ-нибудь политическомъ преступленіи, держатъ десятки мѣсяцевъ, прежде чѣмъ надъ ними произносится судъ: „Развѣ это не возмутительно, развѣ это не позорно, — говоритъ Бёрне, разсуждая объ одномъ политическомъ процессѣ, — что между виною и наказаніемъ или между невинностью и оправданіемъ проходитъ цѣлая вѣчность мученій, которая или жестоко усиливаетъ заслуженное наказаніе, или оправдательный приговоръ дѣлаетъ какимъ-то обманомъ?! Въ деспотическихъ государствахъ, какъ только дѣло касается политическаго проступка, тотчасъ исчезаютъ всѣ гарантіи закона, защита невиннаго превращается въ какое-то посягательство, и тотъ, который судить, разсуждаетъ: „человѣкъ ничто, государство все“. Государство же для такого судьи заключается въ правительствѣ, правительство же въ одномъ правителѣ. „Безопасность собственности, свобода, жизнь гражданъ“, ради которыхъ, какъ въ этомъ обыкновенно увѣряютъ, принимаются „заботливыми“ правительствами суровыя мѣры противъ „подозрительныхъ“ лицъ, — все это одни только

слова въ странѣ, управляемой произволомъ. Каждая деспотическая монархія, — говоритъ Бёрне, — безъ участія народа въ управленіи — въ законодательствѣ посредствомъ депутатовъ, въ судахъ посредствомъ присяжныхъ, въ вооруженной силѣ посредствомъ національной гвардіи — есть не что иное какъ организованное разбойничество; я предпочитаю то, которое попадаетъ въ лѣсу...“

Бёрне горько жалуется, что въ его лишенномъ свободы отечествѣ, вмѣсто правильнаго и справедливаго суда, встрѣчается только правильно организованный обманъ, что надъ обществомъ такъ презрительно насмѣхаются, выдавая ему, вмѣсто безпристрастнаго слѣдствія, какую-то жалкую комедію. И надо вспомнить, что называлось государственнымъ преступленіемъ въ Германіи и Австріи 20-хъ годовъ, кто обвинялся въ этихъ преступленіяхъ. Преступленіями назывались сплошь и рядомъ самые чистые поступки, направленные къ дѣйствительному благу государства, а преступниками — тѣ люди, которые во сто разъ чище и честнѣе тѣхъ, которые присвоивали себѣ власть судить ихъ. Преступниками являлись тѣ, которые рѣшались пожертвовать всѣмъ для нихъ дорогимъ, всю свою жизнь, для одной цѣли — пользы цѣлаго общества. „Въ деспотическихъ государствахъ правитель и государство рассматриваются какъ одно, — говоритъ Бёрне, — и такимъ образомъ каждое государственное преступленіе является оскорбленіемъ правителя, и каждое оскорбленіе правителя — государственнымъ преступленіемъ. И тотъ правитель, который оскорбленъ, самъ же и назначаетъ наказаніе за оскорбленіе, наказываетъ оскорбителя; такъ какъ судья, законодатели суть не что иное какъ правительственные чиновники, имъ назначаются, имъ же и смѣщаются и судьба ихъ самихъ и ихъ семействъ находится въ прямой зависимости отъ того, насколько слѣпо подчиняются они желаніямъ и капризамъ правителя. Такимъ образомъ каждая мѣсть правителя принимаетъ внѣшній видъ законности, и что еще опаснѣе, это то, что даже заслуженное наказаніе принимаетъ видъ мести. Въ каждомъ судебномъ дѣлѣ вопросъ идетъ не только о томъ, чтобы было соблюдено право, но также о томъ, чтобы каждый гражданинъ въ государствѣ имѣлъ увѣренность, что право не будетъ нарушено. Къ чему и безопасность, когда нельзя имѣть увѣренности въ этой безопасности. Сновидѣніе опасности можетъ напугать въ теплой и мягкой кровати такъ же сильно, какъ самая опасность. Но этого чувства безопасности, этой увѣрен-

ности въ строгой законности не можетъ имѣть нѣмецкій гражданинъ, во всѣхъ случаяхъ, гдѣ дѣло касается политическихъ преступленій. Глубокая ночь окружаетъ тюрьмы, слѣдствіе производится тайно, тайно произносится судебный приговоръ, защита остается скрытою, первый лучъ свѣта падаетъ на эшафотъ, блѣдная, возбуждавшая страхъ голова скатывается—виновная или невиновная, объ этомъ будетъ судить только Богъ...“ Такии мрачными красками рисуется Бёрне Германію 20-хъ годовъ. Бёрне горько вздыхаетъ, глядя на истерзанную произволомъ свою родину, и съ завистью, пережѣванной съ болью, смотритъ онъ на тѣ страны, гдѣ нѣтъ этихъ придуманныхъ заговоровъ, запугивающихъ монарховъ, гдѣ не создаются умышленно всевозможныя „комиссіи“ для преслѣдованія „демагогическихъ происковъ“, гдѣ нѣтъ, однимъ словомъ, всей этой лжи, безъ которой не дышетъ ни одно деспотическое государство. „Въ свободныхъ государствахъ, напримѣръ во Франціи и Англіи, судебное слѣдствіе и разбирательство происходятъ гласно, и приговоръ произносится тоже гласно. Обвиняемаго судятъ не королевскіе чиновники, но самъ народъ въ лицѣ своихъ присяжныхъ. Произволъ не можетъ имѣть тутъ мѣста, потому что свободная печать доводитъ каждую жалобу обвиняемаго до общаго свѣдѣнія. Жить въ пустынѣ, наполненной дикими звѣрями,—прибавляетъ Бёрне,—не такъ опасно, какъ въ странѣ, не имѣющей гласнаго судопроизводства, присяжныхъ и свободы печати...“

Ничего подобнаго не находилъ Бёрне въ своемъ родномъ городѣ—въ „вольномъ Франкфуртѣ“, и потому онъ не могъ оставаться здѣсь спокойно. Скоро снова покидаетъ онъ Франкфуртъ, но на этотъ разъ Бёрне не отправился въ Парижъ, онъ странствуетъ по Германіи. Онъ пробылъ довольно много времени въ Штутгартѣ, гдѣ завязалъ сношенія съ знаменитымъ въ то время издателемъ и книгопродавцемъ, по имени Котта. И эти завязанныя сношенія были едва ли не единственною выгодною его пребыванія въ Штутгартѣ. Онъ не чувствовалъ себя здѣсь многимъ лучше, чѣмъ въ родномъ городѣ, и это весьма понятно, такъ какъ состояніе политической атмосферы немногимъ разнилось тутъ отъ Франкфурта. Та же спертость воздуха, то же удушье! Проживъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Парижѣ, Бёрне отвѣдалъ уже сладкаго, и потому тѣмъ тяжелѣе для него было довольствоваться тою горькою пищею, которую доставляла ему Германія.

Онъ не могъ сидѣть въ Германіи, его тянуло туда, гдѣ свободнѣе было дышать, гдѣ можно было сознавать, что дѣйствительно живешь. Однимъ словомъ, Бёрне рвался въ Парижъ.

Къ этому времени относится одно изъ его писемъ къ г-жѣ Воль, гдѣ Бёрне мѣтко характеризуетъ значеніе Парижа и опредѣляетъ свойство своего таланта. Какъ бы извиняясь передъ своимъ другомъ, что ему не сидится въ Германіи, что талантъ и способности его подавляются политическимъ положеніемъ страны, онъ пишетъ ей изъ Штутгарта, давая ей предчувствовать свою новую побѣдку во Франціи: „Вы можете быть увѣрены, что я не побѣду въ Парижъ, не обдумавъ зрѣло всѣхъ выгодъ и невыгодъ, и что всѣ мои соображенія и доводы я представлю на ваше обсужденіе. Парижъ кажется мнѣ мѣстомъ, наиболѣе подходящимъ къ моему роду литературной дѣятельности и къ свойству моего ума. Той творческой силы, которая сама создаетъ для себя матеріалъ, во мнѣ нѣтъ; я долженъ сперва имѣть матеріалъ, а потомъ могу обрабатывать его довольно удачно. Или же—чтобы не быть несправедливымъ къ самому себѣ—я могъ бы даже создавать и новыя вещи, но во мнѣ нѣтъ ни малѣйшей склонности къ произведеніямъ фантазіи; меня шевелитъ, волнуетъ только то, что уже живетъ, что существуетъ внѣ меня. Я слишкомъ нѣмецъ, слишкомъ философиченъ, слишкомъ воспримчивъ, и потому Парижъ, сверхъ матеріала, далъ бы мнѣ необходимую легкость мышленія и письменнаго изложенія“... Бёрне, желая быть справедливымъ, тутъ все-таки несправедливъ къ самому себѣ; ему не нужно было ѣхать въ Парижъ, чтобы запастись легкостью „мышленія“ и легкостью „изложенія“; тѣмъ и другимъ, какъ въ этомъ уже могъ убѣдиться читатель, Бёрне обладалъ въ самой высокой степени. Его тянуло въ Парижъ въ силу того, что онъ былъ по существу публицистомъ, котораго „волновало“, „шевело“, только то, что существовало въ дѣйствительности; всѣ его нравственныя силы были направлены только къ одному—къ улучшенію дѣйствительности. Отсюда происходила его нелюбовь ко всему фантастическому, ко всему, что способно убаюкивать людей въ сладкихъ грезахъ, или питать ихъ отвлеченными идеалами, въ то время, когда, по его мнѣнію, всѣ силы людей, выдающихся по своему таланту, должны были бы сосредоточиваться, въ формѣ ли изящной литературы или всякой другой, на заботѣ—клеить въ обществѣ все фальшивое, выяснять людямъ ихъ узурпиро-

важныя права, беспощадно нападать на ту систему общественной жизни, которая губить свободное развитіе народа и дѣйствительную жизнь превращаетъ въ безобразный рядъ всяческихъ униженій и уродствъ. Для Бёрне свобода была тѣмъ краеугольнымъ камнемъ, безъ котораго всякое зданіе непрочно; потому всѣ другіе вопросы должны были быть оставлены въ сторонѣ, прежде чѣмъ не будетъ доставлено торжество именно этому началу. Политическій писатель и не могъ разсуждать иначе. Его тянуло въ Парижъ, потому что тамъ представлялась большая возможность быть пламеннымъ проповѣдникомъ этой свободы; тамъ не боялся онъ поддаться всеокрушающей силѣ апатіи, заражающей собою сплошь и рядомъ лучшихъ, передовыхъ людей въ деспотической странѣ, и дѣлающей ихъ въ короткій періодъ времени бесполезными для борьбы съ пожирающимъ обществомъ зломъ, людьми надломленными, разбитыми. Да и притомъ, въ Германіи того времени, было все до такой степени однообразно скучно, монотонно, до того жизнь влачилась однообразно, что писатель, даже такой энергическій, могъ встрѣтить опасность — притупиться, сжиться съ зараженнымъ воздухомъ и не чувствовать болѣе всей оскорбительной боли наносимыхъ ударовъ. „Будь я одушевленъ — говоритъ Бёрне — даже самую усердную устойчивостью, я все-таки не могъ бы долго продолжать изданіе „Вѣсовъ“ въ Германіи. О чемъ прикажете говорить? О театрѣ? литературѣ? нравахъ и обычаяхъ? Все каррикатурно, ни малѣйшаго величія, никакого разнообразія — даже въ скверномъ и смѣшномъ. И неужели же вѣчно бранить, вѣчно издѣваться? Это утомляетъ наконецъ и пишущаго, и читающаго“.... Такимъ образомъ дотрогивается Бёрне до одной изъ самыхъ чувствительныхъ ранъ поработеннаго общества — отсутствія въ немъ живой литературы. Не говоря уже о томъ запрещеніи, которое тяготѣетъ надъ человѣческимъ словомъ и подавляетъ всякій благородный порывъ мысли, въ такомъ обществѣ жизнь и интересы, которые доставляютъ литературѣ матеріалъ, до того мельчаютъ, становятся до того ничтожны, что по неволѣ и литература дѣлается блѣдною, разслабленною, постоянно умирающею. Какъ только въ странѣ пробуждается жизнь, завязывается борьба дѣйствительныхъ интересовъ различныхъ общественныхъ слоевъ, такъ тотчасъ оживаетъ и литература, дѣлающаяся эхомъ этой борьбы, этого возбужденнаго состоянія. Несмотря на цензурныя стѣсненія, литература вырабатываетъ себѣ такую форму, при кото-

юй она высказываетъ извѣстныя идеи наперекоръ цензурѣ, высказываетъ между строчекъ; тогда между пишущими и читающими устанавливается извѣстная таинственная связь, при помощи которой они понимаютъ другъ друга безъ того, чтобы самое слово, которое вымарываетъ цензура, было произнесено. Но когда вмѣсто этого возбужденія, вмѣсто этой борьбы, вмѣсто жизни наступаетъ, подъ тяжелымъ давленіемъ желѣзной руки произвола, затишье, искусственное спокойствіе, тогда и въ литературѣ все глохнетъ, и она начинаетъ питаться или плодами пустой, не имѣющей отношенія къ дѣйствительной жизни, къ дѣйствительнымъ общественнымъ интересамъ фантазіи, или, что еще во сто разъ хуже, плодами продажной совѣсти, продажныхъ умовъ, работающихъ противъ общественнаго благополучія. Мракъ и скука наступаютъ въ обществѣ, и въ то же время начинаются раздаваться въ самомъ обществѣ противъ литературы обвинительныя слова: „что за скука въ литературѣ!“ Литература можетъ на этотъ укоръ, весьма правдивый, отвѣчать обществу только одно: „господа, я только отражаю вашъ образъ; во мнѣ, какъ въ зеркалѣ, вы только видите самихъ себя, свою собственную жизнь“. Эта скука въ обществѣ, а потому и въ литературѣ, господствовала и въ Германіи двадцатыхъ годовъ, и потому Бёрне стремился во Францію, гдѣ ему не угрожала опасность поддаться этой скукѣ и измѣлчать въ ничтожныхъ интересахъ или, наконецъ, почувствовать утомленіе вслѣдствіе вѣчной брани или вѣчнаго издѣванія, какъ выражается онъ самъ. „Жизнь въ Парижѣ представляется мнѣ благодѣтельною не только для моего ума, но и для сердца. Вслѣдствіе того, что я такъ впечатлителенъ и раздражителенъ, мнѣ необходимо жить въ средѣ, которая еще впечатлительнѣе и раздражительнѣе меня. Этотъ шумъ со всѣхъ сторонъ удерживаетъ меня въ равновѣсіи. Я спокойнѣе всего въ то время, когда вокругъ меня происходитъ сильнѣйшій гулъ и гамъ. Когда я въ Германіи, то живу только въ Германіи, да и то не въ ней—я живу въ Штутгартѣ, Мюнхенѣ, Берлинѣ. Когда же я въ Парижѣ, то вмѣстѣ съ тѣмъ во всей Европѣ“.... Но прежде, чѣмъ ему удалось урваться въ Парижъ, онъ долженъ былъ еще прожить нѣкоторое время въ Германіи, въ Мюнхенѣ, и выдержать борьбу съ своимъ отцомъ, старикомъ Барухомъ, который, вмѣстѣ съ своимъ „другомъ“ Меттернихомъ, употреблялъ всѣ свои усилія, чтобы свободнаго политическаго писателя, которымъ

теперь гордится Германія, перетащить въ австрійскую службу и сдѣлать его если не слугой деспотизма, то по крайней мѣрѣ негоднымъ болѣе для борьбы за свободу Германіи.

III.

Всѣ переговоры, весь планъ, всѣ приготовления для того, чтобы залучить Бёрне въ Вѣну, — все это подробно описано самимъ Бёрне въ его письмахъ къ г-жѣ Воль. Кромѣ этихъ свѣдѣній, и Гуцковъ также сообщаетъ нѣкоторые любопытные факты, относящіеся къ предполагаемому обращенію Бёрне. Мысль этого обращенія, надо полагать, принадлежала Меттерниху, а старикъ Барухъ только ухватился за нее и всѣми силами старался ее осуществить. Отецъ Бёрне былъ человѣкъ весьма умѣренный, большой консерваторъ, и потому, естественно, онъ не былъ доволенъ дѣятельностью своего сына. Конечно, онъ не могъ не понимать, что сынъ его обладаетъ замѣчательнымъ талантомъ; онъ, безъ сомнѣнія, внутренно гордился имъ, но ему не нравилось то употребленіе, которое дѣлалъ Бёрне изъ своего таланта. Я истратилъ на него 20.000 гульденовъ, и что же изъ него вышло! съ горестью спрашивалъ себя Барухъ. „Сочинитель статей“, которая вовсе не нравилась его благородному другу Меттерниху! Онъ жаловался, что сынъ его ничего не добьется въ свѣтѣ своимъ „либеральничаньемъ“; его консерватизмъ оскорблялся тѣмъ, что сынъ его позволяетъ нападать на знатныхъ, что вовсе не соответствовало, по мнѣнію Баруха, общественному положенію сына. Онъ, конечно, примирился бы съ литературною дѣятельностью сына, онъ пересталъ бы жаловаться, что сынъ его не сдѣлался ни докторомъ, ни юристомъ, еслибы только Бёрне умѣлъ *иначе* направить свои литературныя способности. *Иначе* направить свои способности значило, на языкѣ Баруха, отказаться отъ убѣжденій, отъ всякихъ химеръ, какъ говорилъ онъ, и вести себя такъ, чтобы онъ, старикъ, сохранившій свои старыя связи съ австрійскимъ дворомъ, не долженъ былъ краснѣть, пріѣзжая въ Вѣну, что онъ „имѣетъ такого сына“.

Старикъ Барухъ долженъ былъ совершенно растеряться, когда его „другъ“ Меттернихъ предложилъ ему для сына самыя блестящія условія. Пускай только Бёрне пріѣдетъ въ Вѣну, и онъ по-

лучить мѣсто и содержаніе императорскаго совѣтника безъ всякой обязательной службы. Ко всему этому Меттернихъ, который отлично понималъ выгоду склонить на свою сторону такого писателя, какъ Бёрне, но вмѣстѣ съ тѣмъ не былъ способенъ понять, при своей политической развращенности, что такіе люди не продаются, обѣщать, что австрійская цензура нисколько не станетъ его стѣснять, что онъ можетъ писать все, что ему угодно, и что надъ нимъ не будетъ другого цензора, какъ онъ самъ. Барухъ употреблялъ всѣ свои усилія, чтобы склонить сына принять эти выгодныя условія, или только хотъ пріѣхать въ Вѣну, посмотрѣть, что изъ этого можетъ выйти, тѣмъ болѣе, какъ писалъ ему отецъ, что онъ во всякое время будетъ свободенъ бросить Вѣну и уѣхать. Отецъ былъ съ нимъ милъ, любезенъ, и только силою убѣжденій и просьбъ старался склонить его бросить тернистый путь свободнаго писателя и вступить на ту дорогу уступокъ и соглашеній, на которой матеріальныя выгоды льются обильнымъ дождемъ.

Письма старика отца были такъ убѣдительны и вмѣстѣ такъ ловко скрывали настоящую цѣль его просьбы побывать въ Вѣнѣ, что Бёрне чуть-чуть не поддался. Онъ тѣмъ легче могъ послѣдовать совету своего отца, что ему давно уже хотѣлось посмотрѣть вблизи на Австрію. „То, что меня привлекаетъ туда, — говоритъ Бёрне въ письмѣ къ госпожѣ Воль, — это цѣль изслѣдованія. Австрія — это замѣчательная страна, европейскій Китай. Я никогда еще не видѣлъ моря съ самаго берега, — я говорю о политическомъ морѣ, а его можно видѣть только въ Вѣнѣ“, прибавляетъ Бёрне, намекая на то, что тамъ были собраны всѣ нити европейской реакціи. Госпожа Воль была противъ этой поѣздки, она опасалась за его свободу, и потому Бёрне колебался — ѣхать или не ѣхать въ Вѣну. Впрочемъ, чѣмъ болѣе думалъ онъ объ этой поѣздкѣ, тѣмъ болѣе являлось у него рѣшимости отказаться ѣхать въ Вѣну.

Рѣшеніе это, надо полагать, было какъ нельзя болѣе разумно, если принять во вниманіе, какія мысли возбуждало въ Бёрне одно слово „Австрія“. Госпожа Воль должна была совершенно успокоиться насчетъ этой поѣздки, когда получила письмо, въ которомъ Бёрне между прочимъ говорилъ: „вы знаете, что я не фанатикъ, и что мои склонности, и особенно антипатіи, всегда спокойны и обусловливаются соображеніями разсудка. Только къ австрійскому правительству чув-

ствую я истинную фанатическую ненависть. Стоить кому-нибудь только произнести слово Австрія — и въ моемъ сердцѣ точно открывается кранъ, и цѣлый потокъ упрековъ и проклятій быстро вырывается оттуда. Я прихожу въ отчаяніе, какіе глубокіе корни пустила въ этой странѣ аристократическая тиранія — прихожу въ отчаяніе потому, что не вижу никакой возможности помочь этому злу.... Если, — продолжаетъ Бёрне, — какое-нибудь сильное землетрясеніе не опрокинетъ всю Австрію вверхъ дномъ, то ни добродѣтель, ни умъ, ни мужество либеральныхъ людей тутъ ровно ничего не сдѣлаютъ“.

„Въ этой странѣ чувствуешь свое полное безсиліе, но безсиліе, — замѣчаетъ при этомъ Бёрне, — ругается, а потому я тоже стану ругаться. Я буду молчать одну недѣлю, буду молчать другую, но на третью послѣдуетъ взрывъ — и самое меньшее, чтѣ изъ этого выйдетъ, будетъ высылка меня за границу посредствомъ полиціи“. Разумѣется, при такихъ данныхъ самое разумное было вовсе не ѣхать въ эту императорскую Вѣну, въ эту меттерниховскую Австрію, въ которой Бёрне съ большимъ основаніемъ видѣлъ прототипъ деспотической и реакціонной страны. Если въ то время, когда писалъ Бёрне, и въ другихъ государствахъ было не болѣе весело, если другія правительства не только не уступали австрійскому, но шли даже гораздо смѣлѣе по пути гоненій и политическихъ преслѣдованій, то зато въ Австріи, какъ въ странѣ болѣе опытной, преслѣдованія были болѣе утонченнаго и вслѣдствіе этого болѣе ехиднаго свойства, реакція была здѣсь менѣе груба, но зато болѣе злокачественна, такъ какъ тутъ ей были знакомы всѣ пружины самаго хитраго, іезуитскаго гоненія на всякое проявленіе самой затаенной свободной мысли.

Здѣсь крылось зерно реакціи, и Бёрне былъ совершенно правъ, говоря, что только землетрясеніе, которое бы опрокинуло все вверхъ дномъ, способно было бы избавить Австрію отъ глубоко вкоренившейся тираніи. Нѣсколько разъ съ тѣхъ поръ, какъ писалъ Бёрне, чувствовались въ Австріи удары землетрясенія. Возстаніе подвластныхъ Габсбургамъ народовъ въ 1849 году опрокинуло бы, быть можетъ, тогда же всю систему старой Австріи, еслибы на помощь Австріи не двинулось чужеземное войско. Затѣмъ, Сольферино и Маджента были новыми ударами землетрясенія, о которомъ пророчествовалъ Бёрне, и наконецъ Садова имѣла значеніе настоящаго и грознаго землетрясенія. Кто знаетъ, чтобы окончательно воскресить страну

къ свободной и разумной жизни, не потребовалъ ли бы теперь Вёрне еще новаго землетрясенія.

Положеніе литературы, журналистики всегда говорятъ о положеніи вообще общественной жизни, и потому Вёрне прежде всего спрашиваетъ себя: есть ли возможность въ такой странѣ писать болѣе или менѣе свободно. Каковъ былъ отвѣтъ Вёрне на этотъ вопросъ относительно Австріи, можно видѣть по одному изъ его писемъ. „Не думайте, — пишетъ онъ къ г-жѣ Воль, — что въ Вѣнѣ легко вести себя сообразно съ мѣстными требованіями и условіями. Не говоритъ о политикѣ я, пожалуй, могъ бы, но вѣдь тамъ все политика, такъ какъ все тамъ исходитъ изъ правительства. Я не смѣю разсуждать тамъ ни о театрѣ, ни о мостовыхъ, ни объ освѣщеніи, ни о хлѣбѣ, ни о пивѣ. Все, что ни дѣлаетъ самый мелкій чиновникъ, дѣлается именемъ императора, и если я позабавлюсь надъ танцевальнымъ пѣ какого-нибудь унтеръ-офицера, то я совершилъ уже оскорбленіе величества“. Въ этомъ же письмѣ Вёрне высказываетъ свое опасеніе, что отецъ хочетъ залучить его въ разставленные сѣти и опредѣлить въ австрійскую службу, и пугаетъ своего друга, говоря: „Вообразите мое несчастье, если выгодныя предложенія, лстивое ухаживанье ловкихъ людей, убѣжденія моего отца, успѣютъ заманить меня въ золотую клѣтку! Какой позоръ для меня, для васъ, для всей либеральной партіи!“ Впрочемъ, онъ тутъ же успокоиваетъ г-жу Воль, увѣряя ее, что у него больше силы, чѣмъ даже онъ самъ думаетъ, и что онъ всегда съумѣетъ устоять противъ соблазна, и никогда не продастъ „свободу и честь“. Вѣроятно г-жа Воль не нуждалась въ подобномъ увѣреніи Вёрне.

Переговоры относительно поѣздки Вёрне въ Вѣну продолжались довольно долго, такъ что онъ много разъ возвращается къ этому плану въ письмахъ своихъ къ г-жѣ Воль. Очевидно, что отецъ, подъ вліяніемъ Меттерниха, не оставлялъ сына въ покоѣ и дѣлалъ всевозможныя усилія, чтобы привлечь только его въ Вѣну. Вёрне же боролся, съ одной стороны, съ желаніемъ посмотреть на Вѣну, познакомиться на мѣстѣ съ „своеобразнымъ государственнымъ управленіемъ“ Австріи, съ другой — съ опасеніемъ положить руку въ львиную пасть, хотя левъ и махалъ передъ нимъ своимъ хвостомъ. Если Вёрне могъ безъ смѣха говорить о вступленіи своемъ въ австрійскую службу, то очевидно, что ему дѣлались такого рода предложенія, ко-

торны заставляли его недоумѣвать. Ему говорили: вы будете пользоваться полнѣйшею свободою въ вашей литературной дѣятельности! Но Бёрне слишкомъ хорошо понималъ, однако, положеніе вещей, чтобы довѣрять льстивымъ обѣщаніямъ, и потому писалъ: „мнѣ рѣшиться на добровольное заточеніе моего духа въ тюрьму, гдѣ онъ будетъ лишенъ свѣта, пищи и движенія. Вѣдь тамъ будутъ слѣдить за моими словами, за моимъ молчаніемъ, за моимъ выраженіемъ лица и за тѣмъ, что я говорю во снѣ. Высвободиться отъ шпионства невозможно“... Онъ опасался въ то время больше, чѣмъ когда-нибудь, австрійскаго правительства, потому что оно напугано было въ то время движеніями въ Италіи и въ Испаніи, а Бёрне зналъ очень хорошо, что „нѣтъ ничего опаснѣе того могущественнаго правительства, которое объято страхомъ“. Такое правительство не останавливается ни передъ чѣмъ.

Если Бёрне сначала только могъ догадываться по письмамъ своего отца, что въ Вѣнѣ будутъ очень рады его пріѣзду, то вскорѣ онъ окончательно убѣдился, что поступленіе его въ австрійскую службу было дѣло рѣшенное между старикомъ Барухомъ и Меттернихомъ, и что ему неумышленно, конечно, наносили обиду, предполагая, что онъ также будетъ способенъ продаться, какъ продался Генцъ и многіе другіе. Впрочемъ, нужно сказать, что вовсе не Меттернихъ всякаго рода виноваты въ томъ, что они считаютъ возможнымъ завербовать за извѣстную плату, какаго бы она свойства ни была, всякаго либеральнаго писателя. Нельзя не сознаться, что опытъ часто становился на ихъ сторону, и что много *когда-то* либеральныхъ людей превращались, даже не за очень большія выгоды, въ негодаевъ и дѣлались изъ горячихъ защитниковъ свободныхъ идей еще болѣе горячими слугами обскурантизма. Подобные примѣры знакомы, безъ сомнѣнія, и нашимъ читателямъ.

Бёрне, сознавая, что случаи подобнаго обращенія на „путь истинный“ не разъ уже бывали въ Германіи, не пришелъ въ негодованіе отъ желанія Меттерниха переманить его въ лагерь реакціи, и напротивъ разсуждаетъ съ г-жею Воль очень спокойно о всѣхъ послѣдствіяхъ подобнаго обращенія: „Еслибъ я перешелъ,—говоритъ Бёрне,—на сторону моихъ враговъ, то даже мои друзья подумали бы, что я всегда былъ тайнымъ шпиономъ австрійскаго правительства и говорилъ противъ него для того только, чтобы вызывать другихъ на

откровенность. Вы, мой другъ, вы знаете меня, вамъ извѣстно, что я не тщеславенъ. Можетъ быть, я опасаясь совершенно напрасно; можетъ быть, австрійское правительство и не думаетъ взять меня на службу, все это можетъ быть; но, по крайней мѣрѣ, я убѣжденъ, что не тщеславіе ослѣпляетъ меня и нашептываетъ мнѣ, что въ Вѣнѣ меня цѣнятъ очень высоко. Насколько ясно я понимаю вещи, приобрѣсти меня было бы для австрійцевъ равносильно выигранной побѣдѣ"... Далѣе Вёрне, безъ всякаго ложнаго стыда, безъ всякой ложной скромности разсуждаетъ съ своимъ другомъ о томъ, отчего австрійское правительство можетъ имѣть такое сильное желаніе залучить его въ Вѣну. Глава продажной журналистики, Генцъ, въ это время умиралъ, и Меттернихъ заботился прискаты ему достойнаго преемника. Кто же лучше, чѣмъ Вёрне? Вёрне, обладавшій такимъ замѣчательнымъ остроуміемъ, знавшій до мельчайшихъ подробностей всѣ слабыя стороны либеральной партіи, могъ оказать чрезвычайныя услуги австрійскому правительству. Но что было еще важнѣе, чѣмъ даже талантъ и умъ Вёрне, это то имя, которымъ онъ пользовался въ Германіи—безпорочное имя одного изъ самыхъ замѣчательныхъ передовыхъ людей. Склонить его на свою сторону, это значило бы разбить всю либеральную партію однимъ ударомъ, потому что реакція могла бы тогда смѣло сказать: „если Вёрне склонился на нашу сторону, значить являть такой нравственной силы, которая могла бы устоять противъ правительственнаго обольщенія“. Вёрне это отлично понималъ, и потому онъ съ полнымъ правомъ говорилъ: „...въ моемъ лицѣ была бы разбита вся либеральная партія. Мои гласныя политическія мнѣнія всегда были проникнуты такою честностью, такою искренностью, что, какъ я слышу съ разныхъ сторонъ, даже вѣнская ультра-консервативная партія смотритъ на меня съ уваженіемъ, несмотря на то, что никто не выступалъ противъ нихъ такъ враждебно, какъ я. Она должна была сознаться, что если я и заблуждаюсь, то мое заблужденіе все-таки совершенно искренно. Кому же можно было бы вѣрить,—прибавляетъ Вёрне съ гордою самоувѣренностью,—еслибы даже я измѣнилъ нашему дѣлу"... Результатомъ всѣхъ этихъ соображеній, переговоровъ, обдумываній было то, что Вёрне рѣшился не ѣхать въ Вѣну и сталъ собираться снова въ Парижъ. Такимъ образомъ старанія австрійскаго правительства—завербовать Вёрне въ свой лагерь не удались; но оно не успокоилось.

Не прошло и года послѣ этихъ переговоровъ, какъ отецъ Бёрне, горный былъ въ этомъ случаѣ только орудіемъ Меттерниха, снова писалъ своему сыну, упрасывая его пріѣхать хоть на нѣсколько дней въ Вѣну: „я надѣюсь доставить тебѣ въ Вѣнѣ почетное положеніе, которое будетъ совершенно независимо. И не думай, пожалуйста, что утѣ тебя будутъ требовать такіа вещи, которыя пойдутъ въ разрѣзъ съ твоими убѣжденіями... и что можешь ты потерять оттого, если ты только выслушаешь, чего отъ тебя желаютъ, и если тебѣ что не понравится, то вѣдь ты всегда можешь уѣхать назадъ“. Заклиная сына не отказываться отъ представлявшагося ему счастья, старикъ Барухъ вовсе не понималъ, что онъ готовитъ для сына не счастье, а позоръ, — тотъ позоръ, которымъ клеймятся люди, продавшіе свои убѣжденія и рѣшившіеся служить безчестному дѣлу.

Переписка эта только тѣмъ и интересна, что она показываетъ, какъ такое абсолютное правительство, какимъ было австрійское въ 20-хъ годахъ, употребляетъ всѣ свои усилія, чтобы развращать людей, которые громко высказываются противъ вопіющаго произвола. Впрочемъ, это и совершенно понятно. Этотъ абсолютизмъ только и могъ держаться или общественнымъ невѣжествомъ, или общественною развращенностью, деморализаціею. Отсюда и выходило, что съ одной стороны австрійское и другія правительства являлись противниками широкаго народнаго образованія, и въ бюджетахъ ихъ, рядомъ съ огромными цифрами въ отдѣлѣ военнаго министерства, да пожалуй еще въ отдѣлѣ министерства полиціи, стояли ничтожныя цифры въ отдѣлѣ министерства народнаго просвѣщенія. Съ другой стороны, изъ пристрастія къ общественной деморализаціи проистекало и гоненіе на всякую честную мысль и на тѣхъ писателей, которые старались дѣйствовать въ смыслѣ широкой нравственности на общество, или стараніе привлечь на свою сторону людей, честныхъ и даровитыхъ изъ лагеря разума и свободы. Что такое поведеніе не было лишено извѣстной смѣтливости, объ этомъ нечего и говорить; но вѣстѣ съ тѣмъ было бы жестокою ошибкою думать, что люди убѣжденій, переходя въ лагерь людей интриги, могутъ долго служить тому началу, противъ котораго они сами вели отчаянную борьбу. Никто такъ скоро не изнашивается, — не разъ высказывалъ Бёрне, — какъ ренегаты своихъ убѣжденій, и тотъ порядокъ, который старался переманить ихъ на свою сторону, самъ же очень скоро бросаетъ ихъ, какъ изно-

шенную подошву и начинаетъ относиться къ нимъ съ чувствомъ недовѣрія, переищаннаго съ презрѣніемъ. Горе поэтому тѣмъ людямъ, которые, съ одной стороны, ради матеріальныхъ выгодъ, съ другой — ради той мнимой пользы, которую они думаютъ принести цѣлому обществу, становятся въ ряды интригановъ, которые наживаются на всякое грязное дѣло, на всякое преслѣдованіе, ища въ немъ себѣ поживы. Честные въ сущности люди по слабости идутъ на брошенную имъ удочку, но эту слабость они искупаютъ въ послѣдствіи тяжелыми нравственными страданіями, преслѣдующими ихъ всю жизнь. Вѣрне отлично это понималъ, и потому, чтобы не поддаться слабости или минутному увлеченію — а кто можетъ быть такъ крѣпокъ, чтобы не чувствовалъ въ себѣ этой боязни — онъ поспѣшилъ бросить Германію и уѣхалъ въ Парижъ.

IV.

Во второе свое пребываніе въ Парижѣ, которое продолжалось довольно долго, чуть не два года, Вѣрне чувствовалъ себя точно такъ же хорошо, какъ и въ первый свой пріѣздъ въ Парижъ. Онъ менѣе раздражался, менѣе волновался, съ одной стороны оттого, что и на самомъ дѣлѣ Франція представляла менѣе поводовъ для раздраженія, нежели Германія, а съ другой — потому, что, несмотря на весь космополитизмъ Вѣрне, за который его такъ обвиняли люди менцелевской породы, онъ былъ несравненно чувствительнѣе къ страданіямъ нѣмецкаго народа, нежели къ болямъ французскаго государства. Это достаточно ясно выразилось въ словахъ, которыя мы встрѣчаемъ въ одномъ изъ его писемъ къ г-жѣ Воль. „Если г-жа Сталь, — писалъ Вѣрне, — говорила, что Парижъ — единственный городъ, гдѣ можно обойтись безъ счастья, то я могу сказать еще съ большимъ правомъ, что Парижъ — это единственное мѣсто, гдѣ можно чувствовать отсутствіе свободы, не чувствуя въ то же время себя несчастнымъ. Здѣсь я это выношу, въ Германіи — нѣтъ“. Но, быть можетъ, конечно, что Вѣрне спокойнѣе выносилъ недостатокъ свободы въ Парижѣ, чѣмъ въ Германіи, именно потому, что во Франціи никогда съ такою низостью, — какъ выражается самъ Вѣрне, — не топтали ногами всякое право, и никогда такъ нагло не тѣшились надъ народомъ. „Мое

сердце, — говоритъ онъ, — разрывается, когда я думаю объ этихъ волкахъ — нѣмецкихъ министрахъ, которые немилосердно свирѣпствуютъ, и объ этихъ баранахъ — нѣмецкихъ гражданахъ, которые терпѣливо сносятъ свирѣпствованія. Никто не знаетъ и даже вы не можете себя составить понятія, — прибавляетъ Бёрне, — какъ все это меня волнуетъ“.

Тяжело должно быть положеніе страны, возмутителенъ долженъ быть произволъ, когда у писателя вырываются такіа слова, какими заключаетъ Бёрне свое письмо: „нужно бѣжать этой страны, какъ чумы, такъ какъ тутъ нѣтъ выбора — нужно быть или преслѣдователемъ, или преслѣдуемымъ, волкомъ или барашкомъ“. Слова эти относились къ Германіи, которая испытывала въ то время всю тяжесть произвола, гдѣ, слѣдовательно, не существовало твердыхъ законовъ, которые обезпечивали бы личную безопасность, гдѣ почти безсмысленно дѣйствовали различныя политическія коммисіи, въ видѣ тѣхъ, которыя описывалъ Бёрне, — коммисіи „для преслѣдованія демагогическихъ происковъ“, но по правдѣ больше для того, чтобы было гдѣ поживиться всякаго рода интриганамъ. Бёрне правъ: такъ, гдѣ люди могутъ мѣсяцами, годами томиться въ заключеніи только по одному подозрѣнію въ томъ, что имъ было извѣстно о какихъ-нибудь „демагогическихъ проискахъ“ и что они не донесли на своихъ отцовъ, матерей, сестеръ, братьевъ или друзей, однимъ словомъ, по одному подозрѣнію въ томъ, что у этихъ людей нѣтъ доброй охоты быть вольными шпіонами, тамъ, конечно, не было другого выбора, какъ быть „преслѣдователемъ“ или „преслѣдуемымъ“, „волкомъ“ или „барашкомъ“.

Бёрне отдыхалъ въ Парижѣ; ипохондрія, эта болѣзнь всѣхъ честныхъ людей въ странѣ, лишенной политической свободы, почти вовсе покидала его здѣсь, и если возвращалась, то только весьма рѣдко. Въ это время, т.-е. въ 1822 и 1823 годахъ, онъ работалъ весьма дѣятельно въ „Политическихъ Анналахъ“, которые издавалъ Ботта, съ которымъ Бёрне сошелся въ Штутгартѣ. Его „Описанія Парижа“, т.-е. цѣлый рядъ статей, посвященныхъ разсказамъ о парижской жизни, имѣли огромный успѣхъ въ Германіи и еще болѣе упрочили его литературную славу. Онъ описывалъ нравы, жизнь, общество, событія этого „телеграфа прошедшаго, микроскопа настоящаго и телескопа будущаго“, какъ называлъ Бёрне Парижъ. Опи-

саніи его, эти „*Schilderungen aus Paris*“, отличались обыкновенным его остроуміемъ, жѣткостью и глубиною. Во многихъ изъ нихъ есть замѣчательная глубина не только ума, но — что еще рѣже и часто производитъ болѣе сильное впечатлѣніе — глубина чувства. Несправедливо было бы сказать, что описанія эти уже устарѣли и для нашего времени представляютъ слабый интересъ. Въ томъ и заключается качество сильныхъ талантовъ, къ которымъ принадлежалъ Бѣрне, что ихъ описанія, хотя бы они и относились къ тому, что было потомъ описано двадцать разъ, сохраняютъ такую силу, такую оригинальность, которая не старѣется, а потому и не теряетъ интереса.

Одною изъ самыхъ удачныхъ картинъ среди ряда „описаній“ можно безошибочно, кажется, назвать его статью подъ названіемъ „*Der-Greve-Platz*“, въ которой Бѣрне, съ свойственною ему теплою и вѣстѣ злою ироніею, описываетъ впечатлѣніе казни четырехъ юношей, осужденныхъ на смерть за участіе въ заговорѣ, вспыхнувшемъ въ 1822 г. и извѣстномъ подъ именемъ *conspiration de la Rochelle*.

Парижъ—это большая справочная книга, и гулять по парижскимъ улицамъ—значить „читать“, выражается Бѣрне. Въ одну изъ такихъ прогулокъ-чтеній, когда передъ его глазами проходила „позолоченная бѣдность“, когда онъ слышалъ „шутки голода“ и видѣлъ „смѣхъ порока“, онъ узнаетъ, что къ вечеру назначена казнь молодыхъ заговорщиковъ. „Въ продолженіе двухъ часовъ уже я страствовалъ по Парижу и на всѣхъ улицахъ находилъ самую возбужденную жизнь. Правда, эта жизнь не всегда прыгаетъ, поетъ и смѣется, подчасъ она также ползаетъ, стонетъ и плачетъ—но все-таки *живетъ*. И въ этотъ самый часъ, и въ этомъ самомъ городѣ четверо юношей если и дышали, то уже не жили, потому что на нихъ нашло если не отчаяніе, то преображеніе, они не принадлежали болѣе къ живымъ людямъ. Солдаты, которые за ихъ участіе въ заговорѣ Ла-Рошели осуждены были на смерть, должны были быть казнены въ четыре часа на Гревской площади. Я узналъ объ этомъ только на улицѣ. Вѣтъ можетъ, полмилліона людей точно также узнали объ этомъ только изъ вечернихъ газетъ. Таковъ Парижъ“. Бѣрне описываетъ свое впечатлѣніе, какъ подѣхалъ онъ къ фатальной площади, какъ остановился передъ богатымъ трактиромъ, наполненнымъ элегантными да-

мами и свѣтскими господами, которые явились сюда, чтобы съ большого балкона трактира развлечься торжественною процессіею. Чтѣ, въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть болѣе трагично, торжественно, нежели смерть? да еще какая смерть! казнь. „Я видѣлъ, — зло говоритъ Бёрне, — сострадательныхъ женщинъ съ блѣдными щеками и тяжело вздымавшеюся грудью, которыя все-таки и ѣли и пили. Поэтъ, который сказалъ: „Стоя въ безопасной гавани, сладко смотрѣть на крушеніе корабля“, хорошо зналъ человѣческое сердце!“ Если никто не осмѣливается при такомъ случаѣ высказывать громко того, чтѣ каждый долженъ чувствовать, то зато одинъ или нѣсколько человѣкъ всегда громко высказываютъ то, чего они вовсе не чувствуютъ. Кто же эти люди? шпионы. „Одинъ изъ нихъ, — передаетъ Бёрне, — подошелъ ко мнѣ, чтобы пощупать мой пульсъ. Бросая взглядъ черезъ окно на народныя массы и на вооруженную силу, онъ произнесъ съ насмѣшливой интонаціею: „il leur faut quatre mille hommes pour quatre!“ Я молчалъ. „Ces jeunes hommes ont bien mérité un petit châtiment, ils ont voulu renverser le gouvernement, mais“... Я молчалъ. „Paris dort!“ сказалъ сентиментальный шпионъ. Я молчалъ, — прибавляетъ Бёрне къ этому характеристическому разсказу, — я молчалъ, но думалъ: Парижъ не спитъ, онъ насторожѣнъ, испытываетъ боязнь, обдумываетъ, медлитъ и не останавливаетъ“. Разсказывая, какъ показалась наконецъ траурная процессія, какъ сочувственно взоры толпы были обращены къ шедшимъ на смерть юношамъ, какъ спокойны были ихъ лица и какъ возмутительна должна была казаться народу ихъ казнь, Бёрне останавливается невольно на одной мысли, которая наводитъ его на грустное раздумье о роковой „глупости“ народовъ. На площади стояла густая масса народа; военная сила была относительно въ ничтожномъ составѣ. Народъ, который на фактъ былъ во сто разъ сильнѣе небольшой кучки солдатъ, злобно смотрѣлъ на нихъ, но злобу затаивалъ въ своей груди, не смѣя обнаруживать ее ни однимъ движеніемъ. Тронься этотъ народъ, и военная сила была бы раздавлена. Чтѣ же принуждало эту народную массу бездѣйствовать? Страхъ? Но страхъ чего? сила на ея сторонѣ. Очевидно, причина его покорности одна — глупость. „Я съ удивленіемъ смотрѣлъ, — говоритъ Бёрне, — на ловкость, съ которою военная сила обуздывала народъ! Содрогаюсь, преклонялся я передъ силою человѣческаго духа, передъ его гидротехническою заботою, передъ тѣмъ, какъ онъ укрощаетъ

море и ничтожной силѣ обезпечиваетъ господство надъ значительною силою. Тутъ въ первый разъ въ моей жизни пришло мнѣ на умъ, — прибавляетъ иронически Вёрне, — что правительства установлены Богомъ: какъ могли бы держаться они иначе“?!

Въ чемъ бы ни проявлялась эта глупость, Вёрне всегда ее преслѣдовалъ, подчасъ своею колкою ироніею, подчасъ насмѣшкою, въ которой чувствовалась самая теплая любовь къ человѣчеству. Говоря о французахъ, несмотря на всю его любовь къ нимъ, онъ вовсе не выпадаетъ въ тонъ хвалебнаго гимна народу; напротивъ, онъ относится къ нему такъ же строго, какъ и къ своимъ соотечественникамъ — нѣмцамъ. Правительство Людовика XVIII воздвигаетъ памятникъ Людовику XIV. Вёрне насмѣхается не надъ правительствомъ, а надъ народомъ. „Уже прежде, — говоритъ онъ, — на этомъ мѣстѣ болѣе чѣмъ сто лѣтъ стояла статуя Людовика XIV, но она была сброшена во время революціи, а теперь эти глупцы снова должны воздвигать ее на свой собственный счетъ“. Обвиняя народъ въ глупости, онъ пользуется тѣмъ же случаемъ, чтобы обвинить правительство въ обманѣ. „На другое утро, — рассказываетъ Вёрне, — множество официальныхъ газетъ рассказывали чудеса про всеобщее воодушевленіе парижскаго народа. Одно небо знаетъ, откуда они берутъ всю эту милую ложь!“ Правда, и эта глупость, и этотъ обманъ мелки, но вѣдь изъ мелочей складывается цѣлая жизнь, и нѣтъ никакой причины думать, что въ крупныхъ дѣлахъ народъ будетъ умнѣе, а правительство честнѣе; напротивъ, исторія доказываетъ прямо противоположное. Но Вёрне не отчаивается въ будущности народовъ; онъ твердо убѣжденъ, что обманъ уступитъ мѣсто справедливости и глупость будетъ разбита разумомъ; онъ видитъ уже задатки этой побѣды, — да и какъ было ихъ не видѣть въ странѣ 89-го года. Нужно было быть слѣпымъ, чтобы ясно не понимать, что старый порядокъ рушился, и что новый проходитъ только черезъ тяжелые, болѣзненные роды, но тѣмъ не менѣе можно быть уже увѣреннымъ, что ребенокъ не будетъ задушенъ прежде, чѣмъ явится на свѣтъ.

Какъ глупость и обманъ Вёрне любилъ подмѣчать въ мелкихъ, обыденныхъ явленіяхъ, такъ точно и прогрессъ, побѣды народа онъ показывалъ въ такихъ явленіяхъ, которыя на первый взглядъ не представляли собою ничего важнаго. Въ Парижѣ устроивается промышленная, мануфактурная выставка. Гдѣ она устроивается? въ Луврѣ.

Зъ какомъ Луврѣ? Въ томъ самомъ Луврѣ, гдѣ въ продолженіе столѣтій жили самые сильные короли міра, куда никогда не вступала ни одна мѣщанская нога, куда не иначе входили, какъ ползая на колѣняхъ, прося, умоляя о чемъ-нибудь или рабски принося свою благодарность. А теперь? По этому Лувру, по этимъ королевскимъ заламъ прогуливаются въ запыленныхъ сапогахъ тысячи работниковъ, тысячи ремесленниковъ. „Почести Лувра, — говоритъ Бёрне, — французскій народъ присвоивалъ себѣ — это не что-нибудь, это много“. Двумя словами Бёрне мѣтко очерчиваетъ весь совершившійся переворотъ въ народной жизни. Эта мѣткость, это остроуміе, это умѣнье схватывать самыя характеристичныя стороны политической и общественной жизни общества и выражать въ блестящей, остроумной формѣ — вотъ что составляло успѣхъ его статей, собранныхъ подъ общимъ именемъ „*Schilderungen aus Paris*“, среди которыхъ описаніе промышленной выставки въ Луврѣ занимаетъ одно изъ главныхъ мѣстъ. Мы уже сказали, что въ Германіи статьи эти имѣли огромный успѣхъ и заставили смотрѣть на него не только какъ на самаго смѣлаго политическаго писателя, но и вѣстѣ какъ и на самаго глубокаго, тонкаго и талантливаго наблюдателя надъ народною жизнью.

Эти статьи, вмѣстѣ съ другими мелкими политическими статьями, которыя появлялись въ нѣмецкихъ газетахъ, составляютъ результатъ его второго пребыванія въ Парижѣ. Быстро прошло время, около двухъ лѣтъ, которое провелъ онъ на чужой сторонѣ, и обстоятельства принудили его теперь снова возвратиться въ Германію. Прежде, чѣмъ добрался онъ до своего родного города, который всегда былъ для него суровымъ вѣчнымъ, онъ остановился въ Гейдельбергѣ, но не совсѣмъ добровольно. Никогда не отличаясь особеннымъ здоровьемъ, большею частью слабый и болѣзненный тѣломъ, и только здоровый и крѣпкій духомъ, наперекоръ латинской пословицѣ, гласящей, что только въ здоровомъ тѣлѣ можетъ быть здоровый духъ, Бёрне сильно заболѣлъ и прохворалъ довольно много времени. Г-жа Воль не отходила отъ него. Нѣсколько поправившись здоровьемъ, Бёрне проѣхалъ во Франкфуртъ, гдѣ въ этотъ разъ былъ принятъ какъ нельзя лучше. Въ честь его устраивались празднества, банкеты. Франкфуртъ начиналъ гордиться „своимъ сыномъ“. Впрочемъ, не долго оставался мѣстѣ. Онъ никогда не любилъ Франкфурта, ему казалось

тутъ какъ-то особенно душно. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ снова отправился въ Штутгартъ. Несмотря на свое болѣзненное, нервное состояніе, сопряженное съ плохимъ состояніемъ груди, съ харканьемъ кровью, начинавшаея глухотою, Бёрне въ это время работалъ очень много. Со всѣхъ сторонъ ему сыпались предложенія, со всѣхъ сторонъ просили его принимать участіе въ газетахъ, журналахъ, редакторы постигли всю выгоду заручиться именемъ Бёрне — его читали нарасхватъ.

Немногія изъ произведеній Бёрне этой эпохи вызывали такой энтузіазмъ, такой всеобщій гулъ похвалъ, какъ то надгробное, слово, которое онъ написалъ по случаю смерти Жанъ-Поля Рихтера. Всѣ знали, какъ любилъ Бёрне Жанъ-Поль, всѣ знали, что онъ смотрѣлъ на него какъ на своего учителя, и потому комитетъ франкфуртскаго музея, устроивавшаго траурное торжество въ честь Рихтера, обратился къ Бёрне съ просьбою написать рѣчь въ память этого писателя. Въ этой рѣчи выразилось все уваженіе, вся любовь Бёрне къ самому страстному изъ нѣмецкихъ писателей и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлалось яснымъ, отчего онъ его такъ любилъ. „Онъ не пѣлъ въ дворцахъ вельможъ, онъ не забавлялъ свою лирою богачей, сидѣвшихъ за сытною трапезой. Онъ былъ поэтомъ низкородившихся, онъ былъ пѣвцомъ бѣдныхъ, и вездѣ, гдѣ плакали огорченіе, раздавались сладостные звуки его арфы“. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ говорить въ другомъ мѣстѣ Бёрне, „Жанъ-Поль не былъ льстецомъ толпы, слугою повседневности“. Жанъ-Поль является какъ бы утѣшителемъ въ суровыя минуты жизни, а поэтъ, по мнѣнію Бёрне, долженъ быть утѣшителемъ человѣчества. „Жизнь,—выражается онъ,—была бы вѣчнымъ кровопролитіемъ, еслибы на свѣтѣ не было поэзіи“. Жанъ-Поль утѣшалъ человѣчество, проникалъ въ самыя сокровенныя людскіе помыслы и движенія сердца. Онъ требовалъ рядомъ съ свободою мысли и свободу чувствъ. „Странные мы, непостижимые люди!—восклицаетъ Бёрне.—Нашу любовь мы стараемся скрывать еще старательнѣе, чѣмъ ненависть, и выказывать себя добрыми боимся точно такъ же, какъ опасаемся обнаруживать свое богатство въ присутствіи воровъ. Какъ часто на рынкѣ житейской суеты, или въ залахъ повседневной болтовни, мы относимся съ притворнымъ вниманіемъ къ разнымъ важнымъ, полновѣснымъ вещамъ, которыя тутъ дѣлаются, тамъ обсуждаются! Мы притворяемся равнодушными, когда на самомъ

дѣлѣ взволнованы, принимаемъ серьезный видъ, когда на душѣ у насъ весело“... Вотъ противъ этого-то притворства и борется Жанъ-Поль, когда въ своихъ произведеніяхъ проповѣдуетъ свободу чувства. Смиѣйтесь, какъ бы говорить онъ, когда вамъ смѣется, плачьте, когда вамъ плачется! дайте волю своимъ чувствамъ! Вѣрне, который во всѣхъ проявленіяхъ нѣмецкой жизни видѣлъ крайнюю вычурность и принужденность, не могъ не относиться сочувственно къ поэту, который со страстью боролся противъ подавленія природныхъ качествъ человѣка.

Но, кромѣ этой стороны, была въ Жанъ-Полѣ Рихтерѣ еще другая сторона, которая притягивала къ себѣ Вѣрне, безъ сомнѣнія еще болѣе, нежели его значеніе какъ поэта-утѣшителя. Нужно было бы слишкомъ узко понимать смыслъ и значеніе поэзіи, чтобы думать, что вся цѣль ея заключается въ доставленіи радости и утѣшенія человѣчеству. Поэзія, какъ и всякое другое выраженіе человѣческаго духа, чтобы быть благодатной для человѣчества, должна быть направлена къ тому, чтобы способствовать здоровому развитію общества, чтобы въ этомъ обществѣ прочно утверждалось сознаніе его правъ и обязанностей и чтобы при этомъ она оказывала людямъ нравственную помощь въ борьбѣ ихъ съ дикостью и грубостью неразвитой общественной жизни. Если поэзія лишена этой воспитательной стороны, если въ поэтѣ нѣтъ стремленія и нѣтъ силы возбуждать въ обществѣ новыя идеи, добытыя путемъ тяжкаго опыта человѣчества, тогда пусть поэтъ сколько угодно воспѣваетъ радость и счастье, пусть онъ сколько угодно утѣшаетъ страждущихъ, все-таки дѣятельность его будетъ не только не полезна, но вредна обществу, и самое его „утѣшеніе“ будетъ поддерживать только несправедливость и раболопство, лежащія въ основаніи стараго общественного строя. Вѣрне понималъ это какъ нельзя лучше, и потому онъ не удовлетворяется одною ролью „утѣшителя“ въ поэтѣ. Не удовлетворился бы онъ ею и въ своемъ любимомъ Жанъ-Полѣ, еслибы въ то же время Жанъ-Поль не боролся за правду, свободу и справедливость. „Миссія поэта—краснорѣчиво говорить Вѣрне, рисуя фигуру Рихтера,—состоитъ не только въ томъ, чтобы утѣшать нуждающихся въ утѣшеніи и быть оплодотворяющимъ дождемъ для томящихся жаждою душъ. Онъ долженъ, сверхъ того, быть судьей человѣчества, быть молніею и громомъ, очищающими и освѣжающими землю отъ срада и духоты. Жанъ-Поль былъ богомъ

грома, когда нѣ овладѣвало негодованіе, кровавымъ бичомъ, когда онъ начиналъ наказывать, острымъ копьемъ, когда на губахъ его появлялась насмѣшка. На кого обрушивалась она, тотъ снѣшилъ бѣжать; отвѣчать на нее тоже насмѣшкою ни у кого не хватало смѣлости. Какое бы исполинское высокомеріе ни выступало противъ него, онъ всегда побивалъ его своею пращею. Въ какую бы мрачную, скрытую пещеру ни залѣзали низость и коварство, онъ поджигалъ ее, и удушаемый дымомъ, палимый огнемъ обманщикъ долженъ былъ самъ выдавать себя. Оружіе его было исправное, глазъ вѣренъ, рука тверда. Онъ любилъ упражнять ихъ, натравливая свое остроуміе на дворъ и Германію“. Этими послѣдними словами Бёрне какъ бы обнаруживается, за что именно главнымъ образомъ онъ любилъ Жанъ-Поля, который, по его же выраженію, былъ „Іеремію“ скованнаго деспотизмомъ народа. „Плачь умолкъ, страданіе осталось“. Еслибы въ Жанъ-Полѣ не было именно этой струи политическаго огня, еслибы онъ не вооружался иногда „кровавымъ бичомъ“, которымъ съ необыкновенною силою билъ онъ злоупотребленія сильныхъ міра, тогда, конечно, онъ никогда бы не вызвалъ у Бёрне теплыхъ, прочувствованныхъ словъ, произнесенныхъ надъ закатившеюся „яркою звѣздою“, какъ называлъ Бёрне Жанъ-Поля Рихтера.

Едва только распространилось это хвалебное слово по Германіи, какъ со всѣхъ сторонъ Бёрне сталъ получать поздравленія, выраженія сочувствія, просьбы напечатать рѣчь отдѣльно, чтобы распространить ее въ возможно большемъ количествѣ экземпляровъ. Одному изъ студентовъ, которые просили именно позволенія напечатать его рѣчь, Бёрне отвѣчалъ между прочимъ: „у меня была мысль пригласить всю Германію къ подпискѣ на памятникъ Жанъ-Полю. Впрочемъ, нѣтъ, мысли этой у меня не было, у меня было только влеченіе сердца; но когда я поразмыслилъ, я отказался отъ такого намѣренія. Въ чему бы это повело? въ нашей холодной странѣ замерзаетъ все, даже слезы“. Бёрне былъ какъ нельзя болѣе доволенъ успѣхомъ „надгробнаго слова“; его несказанно радовало, что такъ много нѣмцевъ сошлись „въ одномъ чувствѣ“ безъ позволенія полиціи.

не существующихъ заговоровъ, или существующихъ только въ грязномъ воображеніи официальныхъ и неофициальныхъ доносчиковъ, тогда газетъ ничего не оставалось дѣлать, какъ пробавляться и пробавлять своихъ читателей длинными и скучными статьями о такихъ предметахъ, которые бы имѣли какъ можно меньше отношенія къ политической жизни народа, т.-е. къ тому, что должно именно составлять содержаніе газетъ, да скучными и никому ненужными рецензіями о процвѣтаніи или о паденіи театра, объ игрѣ актеровъ, о бездарности или необыкновенной даровитости отечественныхъ драматурговъ, и т. д. и т. д. Другого выхода не было, если редакторъ не имѣлъ настолько гражданского мужества, чтобы порою рѣшиться идти противъ теченія и навлекать на себя суровую отвѣтственность. На это пристрастіе газетъ къ вѣчнымъ толкамъ о театрѣ жалуется Вёрне въ письмѣ къ редактору одной изъ нѣмецкихъ газетъ. „Нѣмецкія газеты, — писалъ онъ, — какъ политическія, такъ и не-политическія, за исключеніемъ немногихъ, пошли до невозможнаго. Вѣдность вообще имѣетъ нѣчто романтическое, нищенство — что-то трогательное, но нѣмецкія газеты взяли у вѣдности только то, что въ ней есть противнаго, а у нищенства только то, что въ немъ есть невыносимаго. Я не хочу касаться подробно здѣсь этого предмета, я не могъ бы сказать всего, что я думаю. Я коснусь только одного. Всѣ газеты каждый день и повсюду наполнены только извѣстіями объ актерахъ и пѣвцахъ, и иностранцы, читающіе наши газеты — къ счастью, что они не понимаютъ нѣмецкаго языка — должны думать, что тридцать милліоновъ достойныхъ уваженія нѣмцевъ ничего не дѣлаютъ, какъ только играютъ и поютъ, и ничего другого не имѣютъ на умѣ, какъ только игру и пѣніе...“ Эту самую тему, т.-е. пустоты и пошлости нѣмецкихъ газетъ, развилъ онъ гораздо подробнѣе въ одной изъ своихъ самыхъ остроумныхъ и самыхъ злыхъ статей, именно въ статьѣ подъ названіемъ: „Сумасшедшій въ гостинницѣ Вѣлаго Лебедя“, или нѣмецкія газеты“. Въ статьѣ этой столько блеска, мѣткости и глубины, она сохранила до такой степени всю свою первобытную свѣжестъ и такъ вѣрно характеризуетъ положеніе прессы въ обществѣ неразвитомъ, лишенномъ нравственной силы и необходимаго простора для своего развитія, что нельзя не остановиться на ней нѣсколько подробнѣе.

Неоспоримое свойство такого гнетущаго порядка вещей, какой

описываетъ Бёрне въ Германіи двадцатыхъ годовъ, это—до крайней степени запугивать людей. Отдѣльные люди теряютъ свое собственное мнѣніе, общественнаго мнѣнія не существуетъ, всякій человѣкъ, какъ улитка, уходитъ въ самого себя и, оставаясь одинъ въ четырехъ стѣнахъ, боится свою мысль облечь въ слова, подозревая, что стѣны могутъ подслушать его. Явись въ этой гнилой средѣ человѣкъ, который сталъ бы называть вещи по имени, громко высказывать свои мысли объ общественныхъ дѣлахъ, его просто назовутъ сумасшедшимъ, безумнымъ, вреднымъ, наконецъ опаснымъ человекомъ, и само общество въ своей трусости, въ своемъ малодушіи и испорченности будетъ чувствовать нѣкоторое довольство, когда правительство распорядится тѣмъ или другимъ образомъ съ этимъ человекомъ и заставитъ его молчать. По крайней мѣрѣ не нарушается гармонія рабства, и человѣкъ этотъ не стоитъ у общества какъ бѣльмо на глазу и не наноситъ ему оскорбленія, напоминая своимъ честнымъ и смѣлымъ словомъ о его собственномъ позорѣ. Бёрне понималъ, что честные люди въ такой странѣ всегда представляются нѣсколько сумасшедшими, и потому онъ окрестилъ этимъ прозвищемъ человѣка, который позволялъ себѣ непочтительно отзываться о различныхъ авторитетахъ, къ которымъ относятся и официальные журнальные органы. Да и какъ можно назвать иначе человѣка, говорящаго собственнымъ языкомъ и мыслящаго собственнымъ умомъ, среди лакейскаго общества, натянувшего на себя нравственную ливрею. Людей не „сумасшедшихъ“ въ подобномъ обществѣ Бёрне характеризуетъ слѣдующимъ образомъ: „Всѣ его кишки одѣты въ ливрею, какъ онъ самъ; его голова и сердце выкрашены и выкроены чужою рукою; все, что онъ долженъ думать, чувствовать, говорить, скрывать—все это ему предписано. Когда онъ хочетъ чихнуть, то долженъ прежде справиться въ своей инструкціи, какъ она ему велитъ поступать въ этомъ случаѣ“.

Вотъ такого-то „сумасшедшаго“ заставляетъ Бёрне разсуждать о прелестяхъ газетъ въ Германіи, лишенной тогда политической свободы, а слѣдовательно и общественной жизни, такъ какъ одна безъ другой немыслима, и о нѣкоторыхъ другихъ свойствахъ и наклонностяхъ деморализованнаго рабствомъ народа. Никогда, быть можетъ, не было написано болѣе злой сатиры на пошлость и глупость продажной журналистики, чѣмъ тѣ страницы, которыя посвящаетъ Бёрне

нѣмецкимъ газетамъ 20-хъ годовъ. О чемъ же толкуютъ онѣ, чѣмъ волнуются? Картина, нарисованная Вёрне, какъ нельзя болѣе поучительна. Газеты эти, рассказываетъ онъ, передаютъ своимъ читателямъ важное извѣстiе о томъ, что „такой-то купецъ сдѣланъ коммерціи совѣтникомъ“, что другой купецъ, тоже въ видахъ поощренія торговли, сдѣланъ одинаково коммерціи совѣтникомъ, что такой-то пожалованъ въ „гофраты“, и наконецъ газета замыкается извѣстiемъ, нѣбующимъ способность взволновать всѣ умы, что такой-то утонулъ, или повѣсился, или сломалъ ногу и т. п., и т. п. Такимъ образомъ составлялись газеты въ Германіи 20-хъ годовъ. „Здѣсь, милостивые государи,—заставляетъ Вёрне говорить своего сумасшедшаго, обращаясь къ нѣсколькимъ гофратамъ,—вы видите „Почтовую газету“—вотъ настоящая Германія. Лучше и вѣрнѣе Тацитъ сообщаетъ она намъ о нравахъ, обычаяхъ, религіи, государственныхъ устройствахъ и правительствахъ нѣмцевъ. Всѣ восхваляютъ лаконизмъ Тацита, но настоящимъ лаконизмомъ обладаетъ „Почтовая газета“. Тацитъ для описанія Германіи употреблялъ цѣлыя главы, газета дѣлаетъ это въ одномъ словѣ. Вчера она рассказала намъ, что одна дѣвушка въ Вѣнѣ получила наслѣдство отъ одного умершаго писателя. „Почтовую газету“ привело въ удивленіе не то, что бѣдная дѣвушка не имѣла ни отца, ни матери, не то, что благородный человѣкъ оставилъ ей свое состояніе—нѣтъ, газета заплакала оттого, что эта дѣвушка была „сирота тайнаго совѣтника“. „Сирота тайнаго совѣтника“! Не заключается ли вся Германія,—зло прибавляетъ Вёрне,—прошедшая и настоящая, въ этихъ трехъ словахъ“? Слова эти послужили для Вёрне источникомъ для самой ѣдкой сатиры, которою осмѣиваетъ онъ пристрастіе нѣмцевъ къ чинамъ, орденамъ, ко всевозможнымъ „гофратствамъ“ и „гекейиратствамъ“. „Ахъ!—восклицаетъ Вёрне: еслибы я былъ государемъ, я сдѣлалъ бы всѣхъ моихъ подданныхъ счастливыми: я произвелъ бы ихъ всѣхъ въ гофратовъ—по крайней мѣрѣ въ гофратовъ“.

Эту любовь нѣмцевъ къ чинамъ, орденамъ, эту нѣжную слабость къ титуламъ газеты не только не осмѣиваютъ, напротивъ, онѣ поддерживаютъ, питаютъ эту любовь и въ этомъ случаѣ выражаютъ собою по истинѣ общественное мнѣніе. „Нѣмецкій народъ,—грозноноситъ Вёрневскій „сумасшедшій“,—называютъ *широкимъ*; слѣдовало бы называть его высокимъ, потому что онъ все возвы-

и высокородные, и высокоблагородные, и высокообразованные люди, высокие, высокие и высокоталантливые особы. У него есть высочайшее суд и высшее министерство, есть высочайшее государственное управление, есть даже высокие труппы. При дворе совершаются высокопознанные события и даются высокосторжественные представления: высокие люди всё высокообразованны, и не дально, не дально от себя не дально Гёте, была названа высокосовременной? И знаете почему, величественные государи! Потому—что Гёте высокая душа. Но знаете ли, почему Гёте называется высокой особой? Не потому что он великий поэт, но потому, что он министр".

Далее было, что при этом газета, журналистика занимается исключительно тем, что "высоко", и только изредка, по ошибке проследывает также к самым низшим статьям, касающимся не "высокого" и низкого. Напросто требовать от газет, издающихся в политическом кругу страны, чтобы они беседовали с читателями о действительно важных для развития общества вопросах; требовать от них, чтобы они могли истинно бесценны, потому что в нашей стране, конечно, только доброй воли, у них нет для нас и возможности, так как подобные вопросы тщательно избегаются от наших учреждений так же заботливыми властями. Но зато, если вы знаете этого, то вы получаете невеличкое общество, а так же пожеланий в чины, награждений, орденов, возмещение так же в связи движениями в титулах и почвах. Затем, все эти газеты в виде "Почтовой газеты", о которой замечать "сухосудный", извещают с подробностями о таких же важных событиях, случившихся в иностранных государствах: тут список восьмидесяти-семи русских, служащих в армии и получивших повышение; далее доведение до этого списка, состоящее из шестидесяти-семи имен. Как жаль, восклицает Берне,—что эти имена так трудны для произношения и не могут запечатлеться в памяти нашей национальной молодежи, на вечное поучение ей! Когда тюрингенский гражданин читает: "князь Чавчавадзе, служащий на персидской границе, получил золотую саблю", когда шварцвальдский поселенник читает, что "подольский помещик Пршераковский пожалован медалью за особенную деятельность при истреблении саранчи, тогда эти люди, конечно, радуются, даже приходят в

восторгъ; но каково должно болѣть ихъ сердце оттого, что они не знаютъ, какъ зовутъ по имени этого юнкера и этого бича саранчи, и что даже школьный учитель ихъ не можетъ сообщить имъ этихъ именъ!" Затѣмъ, перечисляя вообще чѣмъ, занимаются газеты, въ видѣ „Почтовой газеты“, о которой идетъ рѣчь, Бёрне рассказываетъ, съ какими почтеніемъ повѣствуютъ онѣ о смерти, погребеніи какой-нибудь „высокой особы“, на сколькихъ страницахъ распишутъ онѣ всѣ его ордена, чины и титулы. Затѣмъ „Почтовая газета“ или ей подобная пользуется, какъ необыкновеннымъ счастіемъ, приращеніемъ какого-нибудь королевскаго дома и „подробно извѣщаетъ насъ, что новорожденный принцъ при святомъ крещеніи получилъ имена Райнера, Фердинанда, Маріи, Іоанна, Эвангелиста, Франца, Игнатія, а новорожденная принцесса — имена Маріи, Аугусты, Фредерики, Каролины, Лудовики, Амаліи, Максимилианы, Франциски, Непоmuежны, Ксаверіи...“ Приводя все это безконечное количество именъ, даваемыхъ принцамъ при крещеніи, Бёрне приходитъ къ удивительному открытію—какъ безъ цензуры не допускать газеты до распространенія революціонныхъ идей. „Почтовую газету,—говоритъ онъ,—несправедливо упрекаютъ въ томъ, что она иногда распространяетъ такъ-называемыя либеральныя, т.-е. революціонныя извѣстія и принципы; но еслибы это и было такъ въ самомъ дѣлѣ, то кто же виноватъ! Какъ легко предотвратить такую бѣду! Будь я владѣтельный князь, я, при крещеніи каждаго изъ моихъ дѣтей, бралъ бы въ крестные отцы весь мой народъ, такъ что у каждаго моего ребенка, смотря по числу моихъ подданныхъ, было бы шесть, двѣнадцать, двадцать, тридцать, пять, десять милліоновъ именъ; а будь я китайскій императоръ, такъ даже цѣлые двѣсти милліоновъ. Другіе владѣтели слѣдовали бы моему примѣру, и тогда я бы посмотрѣлъ, гдѣ бы „Почтовая газета“ нашла у себя мѣсто для распространенія революціонныхъ идей! Такимъ способомъ мудрое правительство могло бы управлять прессой, не прибѣгая къ ненавистой цензурѣ“. Напрасно, впрочемъ, заботился Бёрне придумывать средство, какъ можно обходиться безъ цензуры и все-таки не допускать распространенія либеральныхъ идей. Еслибы онъ воскресъ, то онъ увидѣлъ бы, что въ своей изобрѣтательности онъ остался далеко позади новѣйшей изобрѣтательности.

Впрочемъ, не нужно думать, что „Почтовые газеты“ совершенно избѣгали говорить о предметахъ не-высокихъ, онѣ знаютъ, что на землѣ есть и не-„высокія“ особы, и потому, въ своей безконечной милости и человѣчности, опускаются иногда и до ихъ интересовъ. „Познакомивъ насъ съ именами всѣхъ новорожденныхъ принцевъ и принцессъ,—продолжаетъ свою рѣчь „сумасшедшій“,—со всѣми новыми кавалерами орденовъ, со всѣми свѣжавычеканенными гофратами, тайными гофратами, финанцратами и юстицратами, съ путешествіями всѣхъ курьеровъ и числомъ лошадей, употребляющихся на проѣздъ всѣхъ высшихъ путешественниковъ и ихъ высокой свиты, сдѣлавъ передъ нашими глазами снотры всѣхъ корпусовъ, рота за ротой, рассказавъ намъ о всѣхъ официальныхъ празднествахъ и рассказавъ это, для болышей ясности, два раза: одинъ до праздника, сообщеніемъ будущей программы его, другой послѣ, подробнымъ описаніемъ праздника, и сравнивъ такимъ образомъ надежду съ осуществленіемъ, возможность съ дѣйствительностью, ожиданіе съ воспоминаніемъ, — сдѣлавъ все это, газета начинаетъ рассказывать и о микроскопическихъ событіяхъ маленькаго мѣщанскаго міра“. На послѣднее рѣшаются подобныя газеты для того, чтобы показать, что за великими интересами человѣчества онѣ не забываютъ также и маленькихъ людей, что онѣ служатъ не только „алтарю и престолу“, какъ выражается Вѣрне, но также и „кухоннымъ“ интересамъ. Что же можетъ занимать этотъ „маленькій, ничтожный міръ?“ какіе у него могутъ быть интересы? Очевидно, что всѣ его интересы должны заключаться въ томъ, что какой-нибудь „купецъ въ Саксоніи долженъ былъ заплатить 21 грошъ 8 пфен. штрафа за то, что курица выбѣжала на улицу; что въ драматической труппѣ Рингельгарда въ Кельнѣ началась дезертировка: именно, теноръ Ульрихъ, надежнѣйшая поддержка оперы, удалился, и даже милая дѣвица Пехъ — что почти невѣроятно — измѣнила дирекціи...“ И вотъ, газеты наполняются извѣстіями о такой-то труппѣ, о такомъ-то представленіи, о томъ или другомъ актерѣ, о прелести или негодности той или другой актрисы!

И при этомъ подобныя извѣстія занимаютъ исправно чуть не каждый день нѣсколько столбцовъ газетъ, о такихъ важныхъ предметахъ оповѣщаютъ съ шумомъ и трескомъ, какъ бы говоря: по-

смотрите, какое оживленіе господствуетъ въ нашей общественной жизни, посмотрите, сколько вопросовъ возбуждено, посмотрите, какая свобода предоставлена прессѣ въ ея всестороннихъ обсужденіяхъ! При этомъ газеты—охотно или даже неохотно, это другой вопросъ—забываютъ, что у этого маленькаго, ничтожнаго міра, который называется народомъ, помимо этихъ „важныхъ“ интересовъ, есть и другіе „ничтожные интересы“, въ видѣ вопросовъ о народномъ образованіи, о распредѣленіи расходовъ и доходовъ, объ ограниченіи произвола и. т. п.; этимъ вопросамъ нѣтъ мѣста въ газетѣ.

Не трогая обыкновенно всѣхъ этихъ „ничтожныхъ“ вопросовъ, чѣмъ же еще, можно спросить, занимаютъ „свободныя“ газеты въ „великой“ и „свободной“ странѣ своихъ „нетребовательныхъ читателей“. Съ особенною любовью и теплотою останавливается „Почтовая газета“, которую Вёрне беретъ какъ прототипъ всѣхъ газетъ, на юбилейныхъ празднествахъ. Когда брачная чета празднуетъ свою золотую свадьбу, когда какой-нибудь канцеляристъ, просидѣвшій надъ перепиской бумагъ пятьдесятъ лѣтъ, торжествуетъ свой юбилей и получаетъ похвальный листъ,—„Почтовая газета“ со слезами рассказываетъ объ этихъ событіяхъ и отъ волненія едва можетъ держать перо...

Такъ характеризуетъ „сумасшедшій“ направленіе нѣмецкихъ газетъ, и направленіе это приводитъ его въ невообразимую ярость. Вѣда такого печальнаго положенія журналистики заключалась, конечно, въ томъ, что благодушный и глупый тонъ и содержаніе газетъ дѣйствовали на общество самымъ печальнымъ образомъ. Общество, политически неразвитое, какъ нельзя болѣе склонно принимать за серьезное весь вздоръ, который ему предлагается публицистами такого рода; оно скоро успокаивается на лаврахъ и начинаетъ думать: какъ все прекрасно въ нашемъ прекрасномъ отечествѣ! Мысль тупѣетъ, и нужны бывають невообразимыя усилія, чтобы вырвать общество изъ его оцѣпенѣнія, чтобы оно поняло, что вовсе не все такъ прекрасно, что, напротивъ, многое очень плохо, и что то спокойствіе, которымъ оно пользуется, есть только спокойствіе невѣжества и крайняго загроубѣнія. Никогда это спокойствіе и это довольство или, вѣрнѣе, самодовольство общества не достигаетъ такихъ размѣровъ, какъ во времена реакціи, и едва-ли

нельзя съ увѣренностью сказать, что какъ недовольство, ропотъ, стремленіе къ лучшему есть самый вѣрный признакъ, что общество идетъ впередъ, развивается, такъ точно самодовольство, какое-то преклоненіе передъ собственнымъ величіемъ и презрѣніе ко всѣмъ другимъ служить лучшимъ ручательствомъ того, что общество находится въ состояніи застоя, при которомъ самыя печальныя явленія общественной жизни могутъ властвовать всецѣльно, не встрѣчая никакого сопротивленія, хотя бы въ глухомъ, чуть слышимомъ общественномъ ропотѣ. Въ подобномъ состояніи застоя находилось нѣмецкое общество въ 20-хъ годахъ нашего столѣтія, и упроченію такого состоянія не мало содѣйствовали продажныя журналисты, которые каждый день и на всѣ лады твердили: нѣмецкій народъ есть величайшій народъ въ мірѣ, его украшаютъ всѣ добродѣтели, онъ можетъ гордо смотрѣть вокругъ себя, потому что всѣ другіе народы ничтожны въ сравненіи съ нимъ; нѣмецкія правительства суть самыя мудрыя изъ всѣхъ правительствъ; нѣмецкій народъ можетъ спать спокойно и не тревожиться, потому что все, что нужно для его благоденствія, все будетъ сдѣлано его заботливымъ правительствомъ! Старая, но вѣчно новая исторія.

Противъ этой стаи продажныхъ газетчиковъ, кричавшихъ, ради собственныхъ выгодъ, о величіи отечества и нагло льстившихъ самымъ дурнымъ общественнымъ инстинктамъ, противъ этой цинической клики, свойства которой знакомы и русскому читателю, со всею энергіею и всею силою своего таланта возставалъ Бѣрне. Не вѣрь, говорилъ онъ народу, тѣмъ, которые увѣряютъ тебя въ твоёмъ благополучіи—они обманываютъ тебя; не вѣрь твоему величію—твое величіе мишура; не вѣрь, что союзныя правительства заботятся о тебѣ—они думаютъ только о своихъ интересахъ! Тебя обманываютъ со всѣхъ сторонъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ. Мы—великій народъ? что за вздоръ, что за жалкая насмѣшка! „Мы,—восклицаетъ Бѣрне,—цѣпныя собаки, лающія на бѣдняка, проходящаго въ короткой курткѣ; а попробуй мы только заворчать при видѣ знатной особы, хозяинъ тотчасъ же махнетъ рукой, слуга свиснетъ плетью, и удары посыплются на нашу голову. Тутъ мы сейчасъ приляжемъ и завиляемъ хвостомъ. Нѣтъ, никогда,—продолжаетъ озлобленный общественною низостью Бѣрне,—не будетъ мнѣ по сердцу этотъ народъ; никогда не почувствую я себя хорошо въ этой странѣ, съ ея причудливымъ воз-

духомъ, сварливымъ небомъ, плаксивою весною и сердитою осенью“. Чѣмъ больше самодовольства замѣчалъ Бёрне въ обществѣ, чѣмъ больше обманывали народъ продажные журналисты, усыпляя его похвалами и превознося его за рабскія добродѣтели, тѣмъ больше ожесточенія чувствовалъ въ своей груди Бёрне и съ тѣмъ больше рѣзкостью бичевалъ онъ свою страну. Но въ этой злобѣ, въ этомъ бичеваніи какой честный человѣкъ могъ не замѣтить самой сильной и глубокой любви къ отечеству! Когда Бёрне восклицаетъ: „мнѣ противна эта гернгутерская тишина народа, это магистерское смиреніе ученыхъ, павлинья гордость богачей, мрачное высокомѣріе нашихъ вельможъ, вялость всѣхъ справедливыхъ людей и змѣиная энергія всѣхъ несправедливыхъ“, тогда лагерь обскурантовъ, испытывая безсильную злобу, указывалъ на Бёрне, говоря: смотрите, это врагъ отечества, это врагъ Германіи. Когда Бёрне, отчаяваясь въ свѣтломъ будущемъ своей любимой Германіи, — до того настоящее было для него мрачно, — когда онъ, возмущенный продѣлками реакціи и возмутительною „терпѣливостью“ народа, говорилъ: „прошедшее стонетъ, настоящее визжитъ, будущее скрипитъ. Мы были ничто, мы есть ничто и будемъ ничто. Мы слабый народъ, не имѣющій корня, мы имѣемъ бѣдную жизнь безъ сердца и отечество безъ фундамента“. Тогда истинные враги своей родины ликовали, говоря: вы видите, онъ самъ сознается, что въ немъ нѣтъ любви къ Германіи; любимъ великую нашу страну, нашъ великій, добродѣтельный народъ, только мы, и мы одни. Тотъ народъ, то общество жалки, въ которыхъ всѣ свойства, всѣ добродѣтели сводятся къ одному — къ повиновенію, къ безусловному подчиненію чужой волѣ, чужому приказанію, — именно свойство, которое замѣчалъ Бёрне въ нѣмецкомъ обществѣ 20-хъ годовъ. „Мы не способны, — говорилъ онъ, — ни на какое воодушевленіе... если полиція прикажетъ намъ воодушевиться и объявить печатно, что въ четыре часа мы должны ликовать, то мы исполнимъ это и въ назначенный часъ будемъ ликовать“. Все дѣлать по приказанію и ничего по собственной волѣ, въ силу собственнаго разсудка — вотъ крайняя граница, вотъ крайній результатъ порядка, въ основѣ котораго лежитъ произволь. Борьба, которую велъ Бёрне съ малодушіемъ, трусливостью, безжизненностью, самодовольствомъ и пустотою нѣмецкой общественной жизни, была вся направлена къ одному — доставить тор-

жество политической свободѣ, въ которой Бёрне видѣлъ альфу и омегу народнаго благополучія.

VI.

Если, съ одной стороны, произведенія, въ видѣ „Надгробнаго слова“ и „Сумасшедшаго въ гостинницѣ Вѣлаго Лебеда“ возбуждали въ средѣ обскурантовъ все большую и большую злобу противъ Бёрне, то съ другой—эти же самыя произведенія притягивали къ нему все увеличивавшуюся толпу поклонниковъ, друзей и горячихъ сторонниковъ. Добрыя сѣмена находили и добрую почву.

Бёрне рѣшительно сдѣлался главою молодой либеральной партіи, и если не всѣ либералы его одинаково любили, то всѣ должны были оказывать одинаковое уваженіе. Какая же была причина, что нѣкоторые изъ нѣмецкихъ либераловъ относились къ нему довольно холодно и какъ бы тяготились имъ? Причина была одна: во всей своей жизни Бёрне былъ слишкомъ чистъ, безукоризненно честенъ; на всей его литературной и общественной дѣятельности не лежало никакого пятна. Далеко не про всѣхъ людей либеральной партіи можно было сказать то же самое, и за это, конечно, невозможно строго осуждать ихъ. Когда какое-нибудь общество находится подъ тяжелымъ господствомъ реакціи, тогда нужна большая твердость, великая сила убѣжденій, чтобы не сдѣлать ни одного фальшиваго шага, чтобы ни разу не оступиться. Давленіе деморализующей силы слишкомъ велико, чтобы человѣкъ всегда оставался стоять бодро и смѣло, чтобы минутами онъ не гнулся и не слабѣлъ. Требовать отъ всѣхъ въ сущности честныхъ людей этой желѣзной твердости и необыкновенной силы убѣжденій—нельзя не сознаться—можно только въ очень молодые годы, въ годы крайней нетерпимости и юношеской погони за идеалами. Но годы проходятъ, жизнь даетъ свои уроки, міръ дѣйствительности смѣняетъ собою міръ идеаловъ, и тогда невольно является сознаніе, что въ странѣ несвободной, гдѣ честные люди находятся въ постоянной борьбѣ съ окружающею средою, нельзя слишкомъ строго и требовательно относиться къ тѣмъ минутамъ слабости или усталости, которыя подчасъ испытываетъ въ этой борьбѣ и совершенно честный человѣкъ.

Не чувствуютъ усталости и не слабѣютъ только такія исключительныя натуры, какова была натура Бёрне. Не всѣ люди либеральной партіи прощали ему его необыкновенную смѣлость и твердость; въ души нѣкоторыхъ изъ нихъ, быть можетъ, и невольна закрадывалась довольно понятная зависть и чувство досады, перемѣшанное съ чувствомъ уязвленнаго самолюбія, что въ нихъ самихъ нѣтъ той же силы и той же энергіи для борьбы со зломъ. Изъ этого источника и происходила именно та вражда и то робкое чувство, которое испытывали по отношенію къ Бёрне даже такіе несомнѣнно честные люди, какъ Генрихъ Гейне. Бёрне не могъ не почувствовать этого злобнаго къ себѣ отношенія среди нѣкоторыхъ людей либеральной партіи, въ то время, когда онъ отправился въ самый центръ умственной и политической жизни Германіи—въ Берлинъ.

Давно уже хотѣлось Бёрне посѣтить этотъ городъ, гдѣ онъ не былъ болѣе двадцати лѣтъ и гдѣ прошли самыя заветныя дни его юности, гдѣ въ первый разъ испыталъ онъ ощущенія сильнаго, порывистаго счастья и почти такого же отчаянія и горя, гдѣ его „сердце такъ сильно билось“, при одномъ взглядѣ на госпожу Герцъ, и гдѣ рядомъ съ этою жизнью чувства онъ впервые познакомился съ блестящею стороною умственной жизни, которая представлялась тогда избраннымъ кружкомъ философовъ и литераторовъ, къ которому принадлежали Гумбольдты, Шлегели, Шлейермахеръ, Фихте, Фарнгагенъ и многіе другіе. Нѣкоторыхъ изъ этихъ личностей, тѣснившихся подъ привѣтливимъ крыломъ Рахели Фарнгагенъ и Генріетты Герцъ, снова увидѣлъ Бёрне въ Берлинѣ, и въ этотъ пріѣздъ онъ вошелъ уже въ ихъ кружокъ не скромнымъ и никому неизвѣстнымъ студентомъ, а вошелъ въ него на равныхъ правахъ, съ громкимъ именемъ знаменитаго политическаго писателя.

Бёрне поѣхалъ въ Берлинъ въ 1828 году, скоро послѣ смерти своего отца, который оставилъ ему небольшое состояніе, доставившее ему тѣмъ не менѣе почти полную независимость по отношенію ко всевозможнымъ издателямъ и редакторамъ. Берлинъ принималъ Бёрне какъ нельзя болѣе радушно, и это обстоятельство, быть можетъ, заставило Бёрне перемѣнить его строгое и не совсѣмъ лестное мнѣніе о Берлинѣ и берлинцахъ. „Мнѣ чрезвычайно нравится Берлинъ, и вамъ заочно понравится онъ точно такъ же“, писалъ Бёрне къ госпожѣ Воль, которой описывалъ онъ съ большою подробностью свое пребы-

ваніе въ столицѣ Пруссіи. Первый визитъ, который сдѣлалъ Бёрне по пріѣздѣ въ Берлинъ, былъ визитъ къ г-жѣ Герцъ—теперь уже милой старушкѣ шестидесяти-четырёхъ лѣтъ, но не потерявшей еще, по крайней мѣрѣ въ глазахъ Бёрне, „слѣдовъ ея красоты“. Каждый день посѣщалъ онъ свою „первую страсть“, по настоянію самой г-жи Герцъ, и это желаніе видимо не было въ тягость Бёрне. Онъ сохранилъ къ ней то необъяснимое или, вѣрнѣе, неуловимое чувство, навсегда сохраняемое человѣкомъ къ женщинѣ, которую онъ любилъ въ первый разъ. Г-жѣ Герцъ пріятно было видѣть въ юношѣ, къ которому она такъ тепло относилась почти 25 лѣтъ назадъ, нѣвѣстнаго писателя Германіи. „Когда зашелъ разговоръ о моей литературной дѣятельности,—пишетъ Бёрне,—и я замѣтилъ что у меня много счастья, она отвѣтила мнѣ, что и не менѣе заслугъ. Она менѣе довольна,—передаетъ онъ сужденіе о себѣ Генріетты Герцъ,—иногда юморомъ (я замѣтилъ, что онъ рѣдко доступенъ женщинамъ), но каждая сентиментальная строчка доставляетъ ей громадную радость. Моя рѣчь о Жанъ-Полѣ привела ее въ восторгъ...“

Бёрне описываетъ г-жѣ Воль всѣ свои встрѣчи, всѣ посѣщенія, высказываетъ свои мнѣнія о людяхъ, такъ что его берлинскія интимныя письма живо характеризуютъ тотъ кружокъ, который держалъ въ это время въ своихъ рукахъ умственное знамя Германіи. Фарнгагенъ, который игралъ въ это время значительную роль, не заслужилъ слишкомъ лестнаго отзыва отъ Бёрне; не заслужила его и знаменитая Рахель, эта душа берлинскаго общества. „Въ воскресенье,—пишетъ онъ,—я обѣдалъ у Фарнгагеновъ. Чтò за странное и глупое переселеніе душъ произошло съ нимъ и его женою! Я, впрочемъ, уже замѣтилъ это, когда они были въ послѣдній разъ во Франкфуртѣ. Смущеніе въ разговорѣ, боязливая сдержанность, и—я могъ бы сказать—извѣстная боязнь смотрѣть мнѣ прямо въ лицо,—все это сдѣлалось теперь гораздо хуже. Мы втроемъ сидѣли за столомъ; разговоръ шелъ какой-то рубленый, скучный и глупый, паузы были такъ глупы, и въ цѣлой комнатѣ былъ какой-то сѣрный запахъ, точно тутъ разразилась гроза. У него и у нея были въ высшей степени тоскливыя дипломатическія фигуры. Послѣ обѣда я остался цѣлый часъ съ нимъ вдвоемъ. Если глупость,—типично говоритъ Бёрне,—выражалась прежде въ молчаніи, то теперь она выражалась въ разговорѣ. Я спросилъ его, много ли онъ бываетъ въ обществѣ, и тогда

сталъ онъ разсказывать мнѣ про дворъ, про того и про другого принца, которыхъ онъ посѣщаетъ, и не говорилъ ни о комъ кромѣ принцевъ, какъ будто бы въ Берлинѣ не было другихъ людей“. Нѣсколькими словами Фарнгагенъ и его жена очерченны какъ нельзя болѣе мѣтко, — двѣ личности, которыя считались принадлежащими къ либеральной партіи, несмотря на то, что Фарнгагенъ „говорилъ только о принцахъ“, а Рахель оставалась въ дружбѣ съ продажнымъ Генцомъ, котораго Штейнъ очертилъ словами: „исушенный мозгъ и гнилое сердце“. Правда, съ другой стороны той же самой женщины посвятилъ Гейне свои „Reisebilder“. Фарнгагенъ былъ ожесточенъ противъ Вёрне, находя, что его сочиненія уже слишкомъ либеральны, и, говоря о нихъ, разсказываетъ Вёрне, „онъ, дипломатъ, кипятился и былъ горекъ, какъ чай безъ сахару, а я, демагогъ, былъ холоденъ и сладокъ, какъ мороженое“. Кромѣ Фарнгагеновъ, Вёрне часто встрѣчался въ Берлинѣ съ Мендельсономъ-Бартольди, съ Гансомъ, видѣлся съ Гегелемъ, познакомился съ Гумбольдтомъ, котораго онъ также не оставилъ въ покоѣ: „Вчера, — пишетъ онъ, — я познакомился наконецъ съ Гумбольдтомъ. Онъ пришелъ вечеромъ къ Мендельсону. Онъ говорить не переставая и очень пріятно. Все общество, состоявшее болѣе чѣмъ изъ тридцати человекъ, мужчинъ и дамъ, образовали вокругъ него кругъ, чтобы его слушать. Повидимому, онъ къ этому привыкъ. Онъ высказываетъ очень строгія и рѣзкія сужденія“... Вёрне не очень понравилось, что Гумбольдтъ говорить одинъ, не переставая и не давая никому вставить слово, быть можетъ оттого, что самъ Вёрне былъ какъ нельзя болѣе разговорчивъ.

Вёрне остался очень доволенъ всѣмъ, что онъ видѣлъ и слышалъ въ Берлинѣ, и, уѣзжая оттуда черезъ два мѣсяца, онъ сказалъ себѣ: „Я не потерялъ даромъ времени“. Для политическаго писателя, какъ Вёрне, важно было взглянуть, какъ выражается въ самомъ центрѣ нѣмецкой жизни эта политическая система, противъ которой онъ боролся всю жизнь, и какъ болѣе или менѣе ярко бросаются здѣсь въ глаза послѣдствія этой системы: какое-то тупоуміе, чрезвычайное равнодушіе къ общественнымъ дѣламъ и повальная низость или рабство. Въ этомъ отношеніи Франкфуртъ, Берлинъ, Штутгартъ, Мюнхенъ не уступали другъ другу, и если у нѣмцевъ въ то время не было общаго отечества, на что такъ горько жаловался Вёрне, то зато у нихъ было нѣчто другое—общіе пороки.

Бёрне тѣмъ болѣе долженъ былъ присматриваться теперь ко всему, что творилось въ его „высокомъ“ отечествѣ, тѣмъ болѣе долженъ былъ запастись духомъ своего „глупаго“ народа, что скоро должна была наступить минута, когда Бёрне навсегда пришлось покинуть Германію. Вдали уже слышались раскаты грома; въ воздухѣ носилось какое-то предчувствіе близкой грозы... Бёрне прислушивался внимательно—гроза эта была іюльская революція. Въ 1829 году Бёрне уже писалъ: „Что вы думаете о назначеніи въ Парижъ новаго ультра-іезуитскаго министерства, хуже котораго никогда не было? Чѣмъ болѣе безумствуютъ, тѣмъ лучше. Я жалѣю маленькаго герцога Бордоскаго, я не дамъ миндальной скорлупы за его будущую корону“. Но пока первый ударъ грома еще не ударилъ, Бёрне дѣятельно продолжалъ вести свою литературную работу. Кампе, извѣстный гамбургскій издатель, предложилъ ему издать „полное собраніе его сочиненій“. Бёрне согласился и тотчасъ же принялся приводить въ порядокъ свои разбросанныя статьи. Онъ отправился въ Гамбургъ, изъ Гамбурга въ Ганноверъ, гдѣ Бёрне за работой пробылъ довольно много времени, несмотря на скуку, которая его преслѣдовала. „Ганноверъ,—писалъ онъ однажды,—это такое мѣсто, гдѣ можно только или работать, или умирать съ тоски... Ганноверъ кажется мнѣ еще скучнѣе, нежели мои сочиненія“. Нельзя не удивляться энергіи, съ которою въ это время работалъ Бёрне, когда узнаешь, что онъ постоянно хворалъ, страдая грудью, и для поддержки себя долженъ былъ ѣздить сначала въ Эмсъ, потомъ въ Соленъ.

Никакое леченіе не могло сдѣлать для Бёрне того, что сдѣлало первое извѣстіе объ іюльской революціи. Онъ точно увидѣлъ обѣтованную землю: слова: „въ Парижѣ революція“, не только придали ему новый запасъ нравственной силы, но точно воскресили его физически. Бёрне почувствовалъ себя здоровымъ и крѣпкимъ. Тысячи надеждъ закопошились въ груди Бёрне; онъ видѣлъ уже всѣ свои стремленія осуществленными; онъ рвался на мѣсто самыхъ событій; онъ, какъ Тома Невѣрный, хотѣлъ самъ лично ошупать раны на тѣлѣ воскресшаго народа. Парижъ, какъ дивный магнитъ, притягивалъ его къ себѣ; онъ не могъ болѣе спокойно оставаться въ Германіи: ему тяжело тутъ дышалось; онъ не вытерпѣлъ и умчался туда, гдѣ закипала, казалось ему, новая жизнь. Не долго продолжалось ликованіе Бёрне, не надолго злая сатира, огненный бичъ, уступили мѣсто идил-

лическому восторгу, быстро одна иллюзія рушилась за другою, радостныя надежды уступили мѣсто прежнимъ и еще болѣе мучительнымъ опасеніямъ; сладкая увѣренность въ торжество его политическихъ идеаловъ сѣнилась горькимъ сомнѣніемъ. Еще мрачнѣе сдѣлалась фигура Бѣрне, еще угрюмѣе сталъ онъ глядѣть на людей, еще болѣе закалилось его перо, еще съ большею ненавистью, скрывавшею страстную любовь къ свободѣ, сталъ онъ клеймить теперь пороки правительствъ и народовъ.

Статья четвертая.

I.

Осенью 1830 года Бѣрне мчался въ Парижъ. Спустя шесть недѣль послѣ взрыва іюльской революціи, онъ переѣзжалъ французскую границу, и сердце его замирало отъ радости. Какія сладкія мечты убаюкивали раздраженный умъ Бѣрне, какія упоительныя надежды возлагалъ онъ на быстро совершившійся переворотъ. Развивавшееся трехцвѣтное знамя приводило его въ такой восторгъ, какъ будто бы цвѣта бѣлый, красный и синий были самымъ прочнымъ ручательствомъ осуществленія на землѣ трехъ началъ: свободы, равенства и братства. Странное чувство овладѣло имъ, когда онъ вдохнулъ въ себя первую струю свободнаго воздуха: „любовь и ненависть, радость и скорбь, надежда и боязнь“ стѣснили его грудь, когда взглядъ его остановился на этомъ трехцвѣтномъ знамени, лохмотья котораго и теперь прикрываютъ еще Францію. Любовь, радость, надежда принадлежали французскому народу, ненависть питалъ онъ къ нѣмецкимъ правительствамъ, скорбь вызывалась въ немъ угнетеннымъ положеніемъ нѣмецкаго люда; боязнь, что Германія долго еще не освѣтится свѣтлымъ лучомъ политической свободы, вносила грустные аккорды въ его радостное настроеніе. Парижъ разогналъ его печальныя думы: въ первые дни Бѣрне не испытывалъ ничего, кромѣ восторга и какого-то опьяненія торжествовавшей революціи. Съ любовью смотрѣлъ онъ на знакомыя ему улицы, площади, бульвары, „гдѣ такъ любила играть его фантазія“; съ любовью останавливался онъ на „новыя поля сраженія“, и удивленію его не было предѣловъ, когда онъ увидѣлъ, что Парижъ вовсе непохожъ на „морской берегъ послѣ бури“, что

онъ не представляетъ собою тяжелаго зрѣлища груды развалинъ, и что только изрѣдка кое-гдѣ видны вырванныя деревья и разбросанныя мостовныя. Преклоненіе его передъ Парижемъ въ эти первые дни, послѣ сверженія Карла X, доходило до того, что, говоря объ улицахъ этого всесвѣтнаго города, онъ произносилъ: „только босныя слѣдуетъ ходить по этимъ святымъ мостовнымъ“.

Бёрне смотрѣлъ въ первые дни на парижскій народъ и не хотѣлъ вѣрить, чтобы эти самые люди, которые какихъ-нибудь шесть недѣль назадъ „низложили тысячелѣтнаго короля и въ его лицѣ побѣдили милліоны своихъ враговъ“, чтобы эти самые люди теперь такъ спокойно, такъ скромно и мирно пользовались своею побѣдою. Въ головѣ Бёрне невольно возникало сравненіе между торжествомъ народа и торжествомъ его правителей, и его поражала параллель, которую онъ проводилъ между мягкостью одного и жестокостью другихъ. Народъ побѣдилъ своего врага силою своего энтузіазма, силою своей энергіи и воли, но онъ не захотѣлъ ему мстить, не захотѣлъ вымещать на немъ своей злобы; онъ сбросилъ его на землю и отпустилъ ему всё его прегрѣшенія, простилъ ему всё претерпѣнныя народомъ бѣдствія. Такъ ли бы поступило правительство? нѣтъ, еслибы оно одолѣло народъ въ іюльскіе дни, тогда горе народу, тогда не было бы конца мщенію и жестокостямъ; тысячи семействъ покрылись бы трауромъ, жены оплакивали бы мужей, матери своихъ сыновей. Сотни и тысячи томились бы въ казематахъ. И это не одни слова. Въ исторіи Бёрне находилъ много примѣровъ великодушія народа надъ сверженными правительствами, и ни одного, который доказывалъ бы великодушіе правителей послѣ побѣды надъ народомъ. Бёрне смотрѣлъ на спокойное торжество народа и возмущался только низостью тѣхъ льстецовъ сильныхъ міра, которые „изображаютъ народъ въ видѣ тигра, а правителей—въ видѣ агнать“. Истиннымъ ягненкомъ оказался французскій народъ, и у Бёрне шевелится мысль, что, благодаря этому излишнему великодушію, онъ снова попалъ въ разставленныя сѣти роялизма.

Послѣ первыхъ дней необузданнаго восторга передъ совершепною революціею, для Бёрне наступила пора анализа всего, что совершалось на его глазахъ, и этотъ анализъ послѣдовавшихъ за революціею событій возвратилъ ему скоро всю его прежнюю страсть „недовольства“, всю его ѣдкую иронию, весь неисчерпаемый запасъ

его благородной злобы и честнаго негодованія. Даже, можно смѣло сказать, эта иронія, эта злоба получили еще болѣе сумрачный характеръ, и оно довольно понятно: чѣмъ больше возлагалъ онъ надеждъ, чѣмъ больше питалъ онъ иллюзіи относительно іюльской революціи, чѣмъ болѣе мечталъ онъ о томъ, что если не для всей Европы, то по крайней мѣрѣ для Франціи наступить теперь золотой вѣкъ свободы, и лучи ея, падая на его родину, отчасти согрѣютъ и холодную Германію, тѣмъ тяжелѣе было разочарованіе, тѣмъ труднѣе было привыкать къ мысли, что іюльская революція была вовсе не развязкою, а только однимъ изъ актовъ той поразительной драмы, блестящимъ прологомъ которой былъ 89-й годъ. Какъ ни тяжело было это разочарованіе, тѣмъ не менѣе Бёрне рѣшился остаться во Франціи и поселиться въ Парижѣ; дѣйствительно, по сравненіи съ Германіею, Франція въ то время представлялась ему все-таки земнымъ раемъ, хотя цвѣты этого рая были и не безъ шиповъ. Здѣсь ему и прежде, до іюльской революціи, вольнѣ дышалось, чѣмъ въ находившейся подъ палкою Германіи, теперь же и подавно; и если онъ подчасъ испытывалъ болѣшую, чѣмъ прежде, горечь при видѣ обманутаго народа, то только потому, что онъ видѣлъ собственными глазами, какой большой задатокъ далъ этотъ народъ свободѣ во время іюльскихъ дней. Возвратиться ему теперь въ Германію послѣ того, что всѣ нѣмецкія правительства, напуганныя французскими дѣлами, усиливали свою полицейскую бдительность и свою солдатскую строгость, казалось просто невыносимымъ. Быть полезнымъ для Германіи, живя въ Германіи, Бёрне сознавалъ, было чрезвычайно мудрено; для него было ясно, что, живя въ Парижѣ и безпрепятственно и вѣстѣ безопасно продолжая здѣсь свою публицистическую дѣятельность, онъ принесетъ своей родинѣ несравненно болѣе пользы, чѣмъ оставаясь въ Германіи и издавая тамъ какую-нибудь газету или журнальчикъ подъ вѣчнымъ страхомъ, что правительство не только безъ всякаго суда запретитъ мало-мальски независимый органъ, но схватитъ самого редактора и будетъ держать его въ своихъ безцеремонныхъ рукахъ. Оставаясь въ Парижѣ, Бёрне, могъ отсюда, какъ изъ прекрасной обсерваторіи, слѣдить не только за тѣмъ, что дѣлается въ Германіи, но и за всѣмъ, что творится въ Европѣ; отсюда могъ онъ ударять въ набатъ, какъ только гдѣ-нибудь совершалась какая-нибудь выходящая изъ ряда

несправедливость; отсюда, рядомъ съ замѣчательнымъ изображеніемъ французскихъ событій, громилъ онъ свою родину, и громъ этотъ приводилъ въ судороги нѣмецкія правительства.

Бёрне не писалъ теперь отдѣльныхъ статей, ему показалась болѣе удобною для его литературной дѣятельности другая форма, форма дневника, въ которомъ онъ набрасывалъ всѣ свои мысли по поводу того или другого событія, и этому дневнику онъ придалъ видъ писемъ, которыя онъ адресовалъ къ г-жѣ Воль. Письма эти Бёрне сталъ писать съ перваго дня своего пріѣзда во Францію и писалъ ихъ почти безъ перерывовъ въ продолженіе трехъ лѣтъ, съ сентября 1830 г. по мартъ 1833 года. Составляя по количеству значительную часть его сочиненій, письма эти наполняютъ собою пять томовъ изъ двѣнадцати; они и по качеству своему должны быть отнесены къ тому, что есть лучшаго въ произведеніяхъ Бёрне, къ тому, что главнымъ образомъ упрочило за нимъ славу перваго политическаго писателя Германіи. Кто не знакомъ съ знаменитыми „Парижскими Письмами“ Бёрне, тотъ не знаетъ еще всей силы, которая кроется въ этомъ лучшемъ изъ нѣмецкихъ публицистовъ. Вотъ почему мы неизбѣжно должны остановиться теперь на „Парижскихъ Письмахъ“ и познакомить съ ними нашихъ читателей, сколько бы затрудненій ни представило изложженіе главнаго содержанія этихъ писемъ.

Писанныя въ продолженіе трехъ почти лѣтъ, посвященные всему, что приходило на умъ Бёрне, всему, чѣмъ онъ сколько-нибудь былъ пораженъ и что хотя нѣсколько выдавалось среди будничной жизни, и главное, не одного Парижа, не одной Франціи, а вмѣстѣ и Германіи, да и всей остальной Европы, — письма эти неизбѣжнымъ образомъ лишены всякой системы и представляютъ собою великолѣпнѣйшій калейдоскопъ, въ которомъ переплетены, смѣшаны всевозможныя разсужденія о безчисленныхъ явленіяхъ общественной и политической жизни Европы. Люди, событія, нравы, литература, театръ, — обо всемъ говоритъ Бёрне въ своихъ „Парижскихъ Письмахъ“, говоритъ какъ бы мимоходомъ, бросаясь отъ одного предмета къ другому, отъ французовъ къ нѣмцамъ, отъ нѣмцевъ къ итальянцамъ, полякамъ, одному предмету удѣляя нѣсколько строкъ, другому нѣсколько страницъ, затѣмъ, поговоривши о какомъ-нибудь явленіи, по прошествіи нѣсколькихъ дней или

нѣсколькихъ мѣсяцевъ, снова къ нему возвращается, и такъ безъ конца. Нѣтъ никакой возможности, при подобной разбросанности, слѣдовать за Бѣрне шагъ за шагомъ по тому извилистому пути, который такъ правился Бѣрне и такъ отвѣчалъ свойству его таланта. По неволѣ, чтобы имѣть возможность говорить о „Парижскихъ Письмахъ“, нужно самому уже избрать какую-нибудь систему и стараться установить связь между разнородными письмами Бѣрне. Конечно, при установленіи этой связи значительную помощь оказываетъ самъ Бѣрне или, вѣрнѣе, сами „Парижскія Письма“, которыя всѣ, отъ перваго и до послѣдняго, пропитаны однимъ общимъ духомъ. Нитью, связующею эти письма, является та политическая закваска, которая слышится вездѣ, о чемъ бы ни говорилъ Бѣрне, говорилъ ли онъ о какой-нибудь книгѣ, пьесѣ, или о какомъ-нибудь писателѣ, поэтѣ.

Приводя сколько-нибудь въ систему „Парижскія Письма“, мы должны прежде всего спросить себя, что же, несмотря на все ихъ разнообразіе, составляетъ главное содержаніе этихъ писемъ? Благодаря политической закваскѣ, окрашивающей всѣ письма, отвѣтъ на этотъ вопросъ становится не такъ труденъ. Главное содержаніе „Парижскихъ Писемъ“ составляетъ изображеніе политическаго состоянія того общества, среди котораго жилъ Бѣрне. Судя по тому, что письма Бѣрне называются „Парижскими Письмами“, можно было бы заключить, что Бѣрне исключительно останавливается на изображеніи политическаго состоянія французскаго общества, но такое заключеніе было бы невѣрно, хотя оно и дало современникамъ Бѣрне поводъ упрекать его, что онъ гораздо болѣе занимается Франціею, нежели Германіею, а слѣдовательно и болѣе любитъ первую, нежели вторую, что онъ бросилъ Германію и всѣ интересы свои сосредоточилъ на одной Франціи. Не нужно быть особенно близко знакомымъ съ „Парижскими Письмами“, чтобы сказать, что подобный упрекъ какъ нельзя болѣе неоснователенъ. Бѣрне, который смолodu такъ сильно страдалъ своею родиною, не могъ ее забыть и переселившись въ другую страну, въ другое общество; передъ его глазами всегда носился образъ Германіи и нѣмецкаго общества, и о чемъ бы онъ ни говорилъ — этотъ образъ всегда стоялъ передъ нимъ. Бѣрне живетъ во Франціи, но въ то же время онъ не отводитъ глазъ отъ Германіи, онъ говоритъ о французскомъ обществѣ, думая о нѣмецкомъ; нахо-

нецъ, говоря о французскихъ событіяхъ, онъ никогда не забываетъ извлечь изъ нихъ поучительный примѣръ для Германіи. Такимъ образомъ, изображеніе политическаго состоянія Франціи и Германіи, картина французскаго и нѣмецкаго общества, характеръ двухъ націй — вотъ чтò составляетъ главное содержаніе „Парижскихъ Писемъ“, которыя черпаютъ, впрочемъ, для себя матеріалъ, хотя и не часто, въ жизни другихъ европейскихъ націй.

Соединить въ одно цѣлое всѣ тѣ разбросанные штрихи, которые попадаютъ въ пяти томахъ „Парижскихъ Писемъ“, штрихи, исключительно относящіеся къ Франціи или Германіи, значило бы составить ясную картину политическаго состоянія этихъ двухъ странъ во второй четверти нашего столѣтія. Но интересъ писемъ Бёрне не исключительно историческій; нѣтъ, отрывочно говоря о французской и нѣмецкой націи въ данную минуту, Бёрне, вѣстѣ съ тѣмъ, проникаетъ глубоко въ самый корень двухъ народовъ и дѣлаетъ вообще блистательную характеристику французскаго и нѣмецкаго общества. Вотъ почему, сколько бы ни прошло еще времени, нисколько не ослабнетъ культурный интересъ этихъ писемъ; они будутъ все-таки сохранять значеніе не только по тому блеску и остроумію, съ которыми они написаны, но главнымъ образомъ потому, что тутъ такъ мѣтко уловлены такія черты національнаго характера французовъ и нѣмцевъ, которыя не могутъ устарѣть, не могутъ потерять интереса до тѣхъ поръ, пока Германія и Франція не сойдутъ съ исторической сцены. Начнемъ съ Германіи и посмотримъ, что за картина политическаго состоянія нѣмецкаго общества выходитъ изъ-подъ пера Бёрне, помня при этомъ, что Бёрне страстно любилъ Германію, и любилъ тою здоровою и сильною любовью, которая на общественные пороки не позволяетъ смотрѣть сквозь пальцы. Чѣмъ больше любитъ человѣкъ свою родину, чѣмъ больше желаетъ онъ ей добра, тѣмъ сильнѣе бичуетъ онъ зло, коренящееся въ обществѣ, хотя бичеваніе это и больно рѣжетъ ему сердце. Только ограниченность ума или крайняя недобросовѣстность можетъ видѣть въ этомъ бичеваніи общественныхъ пороковъ ненависть къ собственной родинѣ, какъ видѣли ее многіе изъ современниковъ Бёрне въ его суровомъ отношеніи къ Германіи. Эти современники, указывая на отношеніе Бёрне къ Франціи и Германіи, кричали: смотрите, онъ продалъ свою родину, промѣнялъ Германію на Францію, — не понимая при этомъ, или умышленно забывая, что Франція дѣйстви-

тельно представляла собою, въ политическомъ отношеніи, болѣе развитой организмъ, и помимо того, что Вёрне былъ не французъ, а нѣмецъ, что онъ менѣе любилъ Францію, чѣмъ Германію, а въ силу этого и болѣе снисходительно относился къ недостаткамъ французскаго народа. Къ чести Германіи, впрочемъ, слѣдуетъ сказать, что далеко не всѣ ея сыны такимъ образомъ относились къ рѣзкимъ нападкамъ Вёрне; общество инстинктивно понимало, что эта наружная ненависть къ Германіи вытекаетъ изъ чистаго источника: изъ глубокой любви къ своей родинѣ, а потому образованное большинство, несмотря на крики литературныхъ доносчиковъ въ видѣ Менцеля, Ярке и другихъ, отнеслось какъ нельзя болѣе сочувственно къ „Парижскимъ Письмамъ“, сознавая правдивость той картины политическаго состоянія Германіи, которую, хотя и отрывочно, представилъ Вёрне въ своихъ „Письмахъ“.

II.

Больше всего убивало Вёрне и чаще всего онъ возвращался въ своихъ „Парижскихъ Письмахъ“ къ характеру нѣмцевъ, взятыхъ въ совокупности. Онъ не видѣлъ въ нѣмецкомъ народѣ даже задатковъ политическаго развитія, а потому всѣ свои силы напрягалъ, чтобы показать нѣмцамъ въ своихъ „Письмахъ“, какъ въ зеркалѣ, ихъ собственный портретъ. Необыкновенная флегма, какое-то недостойное равнодушіе къ политической свободѣ и способность „философски“ переносить давленіе самаго безпардоннаго произвола—вотъ что выводило изъ себя автора „Парижскихъ Писемъ“. Когда онъ съ горечью спрашивалъ себя: „отчего происходитъ этотъ лакейскій характеръ нѣмцевъ?“—его приводила въ смущеніе одна мысль, которая невольно являлась въ его головѣ. Нѣмцы образованны, это признается всѣми, они грамотны, умѣютъ бойко читать и писать, и несмотря на это они не могутъ разстаться съ своимъ лакейскимъ характеромъ. Когда нація неразвита, необразованна, когда нація невѣжественна, когда на тысячи чело-вѣкъ едва есть нѣсколько, которые умѣютъ читать, тогда какой угодно деспотизмъ находитъ себѣ самое полное объясненіе. Невѣжество есть тѣ же цѣпи, и какъ эти держатъ въ подчиненіи пре-

ступниковъ, такъ невѣжество держитъ въ повиновеніи цѣлый народъ. Пока народъ невѣжественъ, нельзя еще отчаяваться, когда видишь его въ рабствѣ; какъ только полоса свѣта просвѣщенія проникнетъ въ народную массу, можно надѣяться, если народъ только способенъ къ свободѣ, что онъ сорветъ съ себя цѣпи и освободитъ свои руки, которыми и расправится со всѣми удерживавшими его въ мракѣ. Но нѣмцы, нѣмцы! не разъ восклицаетъ Бёрне: развѣ они не опровергаютъ всѣ теоріи: вѣдь они образованны, вѣдь они философы—что же удерживаетъ ихъ въ рабствѣ? неужели это рабство лежитъ въ національномъ характерѣ нѣмцевъ?

Впрочемъ, Бёрне даже охотно готовъ перенести рабство, рабство ему еще не кажется такъ ужаснымъ; рабство, говоритъ онъ, не унижаетъ, а дѣлаетъ несчастнымъ; унижаетъ же людей лакейство, а лакейство онъ и подмѣчаетъ главнымъ образомъ въ образованныхъ сынахъ Германіи. „Я лаю,—съ озлобленіемъ говоритъ Бёрне;—но я серьезно желалъ бы быть собакой. Когда собаку бьетъ ея господинъ, то все-таки это высшее существо, которое господствуетъ надъ нею; человѣкъ—это богъ для собаки; ея религія—оставаться ему вѣрнымъ и покорнымъ. Но развѣ одна собака позволяетъ кусать себя другой собакѣ, безъ того, чтобы не оказывать сопротивленіе? Или видано ли было когда-нибудь, чтобы цѣлая тысяча собакъ подчинилась одной собакѣ? Человѣкъ же позволяетъ себя бичевать другому человѣку; тысячи человѣкъ терпѣливо переносятъ побои отъ одного человѣка, и при этомъ даже угодливо махаютъ хвостомъ“. Напрасно только Бёрне, дѣлая это сравненіе между людьми и собаками, относить его исключительно къ нѣмцамъ; къ несчастью, не одни нѣмцы заражены собачьею привычкою вилять хвостомъ передъ тѣмъ, кто бьетъ ихъ, и всмотрись онъ безпристрастнѣе къ правамъ другихъ народовъ, онъ имѣлъ бы утѣшеніе видѣть, что нѣмцы въ этомъ отношеніи не хуже, да и не лучше многихъ другихъ. Правда, онъ говоритъ, отчего ему такъ ненавистна именно нѣмецкая покорность—ему кажется, что нигдѣ эта покорность не переносится такъ охотно, нигдѣ она не всосалась такъ въ народную кровь, какъ въ Германіи, нигдѣ она не сдѣлалась такимъ необходимымъ атрибутомъ существованія, какъ среди нѣмцевъ. Однажды, рассказываетъ въ своихъ „Письмахъ“ Бёрне, пришелъ къ нему нѣмецъ съ предложеніемъ переселиться въ

Америку, чтобы жить тамъ свободною жизнью; онъ сдѣлалъ бы это, говорить онъ, весьма охотно, еслибы не боялся, что тотчасъ стечется туда тысячъ сорокъ нѣмцевъ, и когда вопросъ пойдетъ о томъ, чтобы организовать государство, тотчасъ же найдется „тридцать девять тысячъ девятьсотъ девяносто девять добрыхъ нѣмецкихъ душъ, которыя постановятъ выписать изъ Германіи какое-нибудь возлюбленное княжеское чадо, чтобы сдѣлать изъ него главу государства“. Конечно, прибавляетъ Бёрне, все это одна шутка, но, поразмысливъ немножко, нельзя не прийти къ заключенію, что въ шуткѣ этой есть большая доля серьезнаго, большая доля правды.

Когда Бёрне сравнивалъ тираннію, которую выносили и могутъ еще выносить французы, съ тою, съ которою мирятся нѣмцы, то онъ видѣлъ громадную разницу не въ самомъ деспотизмѣ, который вездѣ болѣе или менѣе одинаковъ, но разницу въ томъ, какъ она переносится тутъ и какъ она переносится тамъ. „Французы долго терпѣливо переносятъ убійства, совершаемыя ихъ тиранами, но ихъ насмѣшку, ихъ презрѣніе, ихъ безсовѣстныхъ придворныхъ, ихъ пощечины и розги,—т.-е. то, что нѣмецъ переноситъ круглый годъ,—они не выносятъ ни одного часа. Французы въ продолженіе столѣтій были рабами своихъ королей, но все-таки имъ не смѣли запрещать пѣть въ ихъ цѣпяхъ, они все-таки позволяли себѣ насмѣхаться надъ своими тюремщиками. Во время террора благородные и невинные люди гибли на кровавомъ эшафотѣ, но никогда Робеспьеръ не нашелъ бы такого подлаго и нечеловѣческаго суда, который приговорилъ бы аристократа на колѣняхъ передъ образомъ свободы просить пощады. При деспотизмѣ королей, какъ и при деспотизмѣ республиканцевъ, въ людяхъ признавалось нѣчто такое, что свято, ненарушимо, что не подлежитъ отвѣтственности. Но это божественное, святое, не подлежащее оскорбленію въ чловѣкѣ: его честь, его вѣрованія, его добродѣтель, именно это-то и наказывается самымъ обиднымъ и злостнымъ образомъ въ Германіи... Тутъ свободу бросаютъ въ грязь, чтобы она походила на рабство, чтобы честнаго чловѣка нельзя было отличить отъ царедворца, и чтобы общая грязь покрывала страну, народъ и правительство“.

Проводя подобную параллель между двумя націями, Бёрне какъ

нельзя болѣе вѣрно указываетъ на характерныя черты двухъ народовъ. Въ одномъ извѣстное легкомысліе, которое заставляетъ его беззаботно распѣвать въ то время, когда онъ скованъ по рукамъ и по ногамъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ извѣстное чувство собственнаго достоинства и презрѣніе къ своимъ властителямъ, презрѣніе, которое выражается въ насмѣшкѣ до тѣхъ поръ, пока окончательно эти власти не теряютъ всякой силы и не падаютъ въ ту пропасть, гдѣ покоится уже столько королей и князей. Другой народъ точно также скованъ по рукамъ и по ногамъ, но только цѣпи такъ сильно сдавили его, что онъ не имѣетъ духу улыбаться и распѣвать въ своей неволѣ, и его властители внушаютъ ему такой религіозный страхъ и такую почтительность, что онъ ни разу не посмѣлъ не только сбросить иго этихъ властителей, но даже сдѣлать къ тому слабую попытку. А эти властители дѣлаютъ все возможное, чтобы поддержать въ народѣ суевѣрный страхъ къ нимъ и мысль, что они дѣйствительно управляютъ по волѣ Провидѣнія. „Каждая глупость, каждый предразсудокъ народный, когда онъ служитъ къ тому, чтобы укрѣпить произволъ правителей и власть правительствъ, говорилъ Бёрне, думая о Германіи, почитается и покровительствуется. Въ такомъ случаѣ громко провозглашаютъ, что гласъ народа—это гласъ Божій. Когда же общественное мнѣніе желаетъ добра, справедливости, надъ нимъ смѣются; а когда оно начинаетъ требовать съ нѣкоторою настойчивостью, ему отвѣчаютъ ружейными выстрѣлами“. Но если Бёрне возмущался обращеніемъ нѣмецкихъ правительствъ съ народомъ, то не менѣе возмущался онъ и обращеніемъ народа съ правительствами. Одни его топчутъ въ грязь, но за то другіе позволяютъ топтать себя; одни обманываютъ, другіе даютъ себя обманывать, и это послѣднее приводило бурнаго нѣмецкаго публициста въ совершенное негодованіе. Онъ невольно, заговаривая объ обманахъ, на которые такъ легко поддавался народъ, произносилъ свое неизмѣнное слово: „О! народъ глупъ!“ но къ несчастью, хотя слово это вовсе не обличаетъ презрѣнія къ народу, какъ думали да и до сихъ поръ иногда думаютъ, а гораздо скорѣе весьма законное раздраженіе и желаніе его видѣть умнымъ, оно тѣмъ не менѣе приносило мало пользы для того дѣла, которому служилъ Бёрне, а напротивъ, давало только поводъ указывать на него, какъ на недоброжелателя народа.

Ничто такъ не казнилъ Бёрне въ своихъ „Письмахъ“, какъ ту

легкомысленную довѣрчивость, которую онъ поддѣлалъ въ нѣмецкомъ обществѣ, въ нѣмецкомъ народѣ, и которая, по его мнѣнію, принесла уже столько вреда Германіи. Нѣмцы, привычныя къ усидчивому размышленію, привыкшіе витать въ области всевозможныхъ абстракцій, въ практической политической жизни оказываются совершенными дѣтьми, хуже, игрушками, которыми правительства распоряжаются по своему усмотрѣнію, и конечно въ видахъ собственныхъ выгодъ. Бѣрне не могъ забыть того урока, который данъ былъ нѣмцамъ послѣ наполеоновскихъ войнъ, когда роскошныя обѣщанія свободы превратились въ роскошные плоды деспотизма. „Васъ обманули,—говорилъ Бѣрне,—самымъ безсовѣстнымъ образомъ, когда въ минуту опасности, за ваше пожертвованіе имуществомъ, кровью, жизнью, вамъ судили свободу и независимость, а потомъ, когда цѣною страшныхъ жертвъ вы побѣдили врага, у васъ отнято было почти-что право называться людьми“. Не давайте себя обманывать! — таковъ былъ смыслъ всѣхъ обращеній Бѣрне къ нѣмецкому народу; но нужно сказать, что совѣтъ этотъ оставался почти безъ результатовъ, и самъ Бѣрне приводитъ не одинъ примѣръ жалкой, легкомысленной довѣрчивости народа.

Въ тридцатыхъ годахъ, какъ только раздавался какой-нибудь сильный голосъ, требовавшій, чтобы положенъ былъ конецъ порядку, основанному на производѣ, и чтобы управленіе судьбою народа было ввѣрено самому народу, тотчасъ раздавались крики: подождите немножко, еще рано; нужно, чтобы прошло еще десять, двадцать лѣтъ, и тогда общество уже созрѣетъ для самоуправленія; требовать же теперь новаго порядка—это значитъ подвергать опасности будущность страны и бросать ее во всѣ ужасы анархіи! „Помилуйте! — восклицаетъ Бѣрне—да тутъ потеряешь всякое терпѣніе. Намъ то-и-дѣло просить, чтобы мы были такъ добры, подождали, пока время возьметъ свое. Какъ будто время и природа творять что-нибудь изъ ничего. Какъ будто и имъ для того, чтобы создать новое, не нужно прежде разрушить старое! Эти господа считаютъ насъ такими дураками, что безпрерывно уговариваютъ насъ—прежде чѣмъ разрушить ненавистное старое, возвести зданіе милаго новаго. А гдѣ намъ взять мѣсто для постройки, когда прежній хламъ еще не вывезенъ и не выброшенъ, гдѣ взять строительнаго матеріала, когда нельзя начать рубку лѣса—этой тайны они намъ не открываютъ. А когда они начинаютъ вопить,

что либерализмъ способенъ только разрушать, въ Германіи находится достаточное число добродушныхъ, но простоватыхъ людей, которые пугаются этого упрека и, изъ боязни прослыть разбойниками и грабителями, бѣгутъ домой, натягиваютъ на голову ночной колпакъ и принимаются читать душеспасительныя книги". Бёрне совершенно правъ, нападая на теорію, превратившуюся въ наши дни въ банальную фразу всѣхъ людей реакціи, что либерализмъ способенъ только разрушать. Во время Бёрне эта теорія была еще новинкою, и потому естественно, что онъ ополчался противъ нея и изъ всѣхъ силъ кричалъ нѣмцамъ: не вѣрьте, васъ обманываютъ въ этомъ, какъ обманываютъ и во всемъ другомъ!

Бёрне, живя во Франціи, стоялъ на сторонѣ Германіи, и какъ только замѣчалъ, что его соотечественниковъ желаютъ вовлечь въ обманъ, тотчасъ кричалъ: берегитесь! Такъ, когда въ 1831-мъ году всю Европу волновалъ бельгійскій вопросъ, при обсужденіи котораго на лондонской конференціи имѣлось въ виду не столько устроить Бельгію независимо отъ Голландіи, сколько не дать возможности усилиться Франціи, а если можно, то еще ослабить ее, такъ какъ послѣ изгнанія Бурбоновъ въ третій разъ, послѣ іюльской революціи, державы, составлявшія „Священный Союзъ“, еще съ большимъ недовѣріемъ стали относиться къ этой странѣ „демократическихъ козней“, то нѣмецкія правительства, помня уже о возможной войнѣ съ Франціею, снова старались разжечь ненависть Германіи къ Франціи. Бёрне видѣлъ это, и потому въ своихъ „Парижскихъ Письмахъ“ дѣлалъ предостереженіе, до сихъ поръ не лишенное интереса: „Въ Германіи, какъ я замѣчаю, — говорилъ онъ, — снова начинаютъ растапливать народъ, чтобы правителямъ его было тепло, когда на нихъ налетитъ французская снѣжная метель. Старая комедія 1814 и 1815 годовъ снова разучивается для постановки на сцену. Режиссеры сталкиваютъ въ одну кучу огромныя полѣнья и высоко громоздятъ другъ на друга національное чувство, союзную вѣрность, плотную связь, честь, высшее назначеніе, добродѣтель, любовь къ отечеству, воспоминанія о Монмартрѣ. Широкая нѣмецкая печь выдержать все это и позволить терпѣливо набивать себя до-полна, какъ въ прошедшій разъ, и раскалиться до-красна негодованіемъ противъ французовъ... Я не сомнѣваюсь, — продолжаетъ онъ, — что дураки, т.-е. нѣмцы, снова, т.-е. во второй разъ, позволятъ провести себя.

Но если это дѣйствительно случится, то ни одинъ ангелъ небесный не будетъ настолько мягкосердечнымъ, снисходительнымъ или сострадательнымъ, чтобы оплакивать страданія обманутыхъ болвановъ. Цѣлое небо расхохочется, и самъ Богъ будетъ смѣяться и, придя въ хорошее расположеніе духа, заговоритъ по-французски и скажетъ: *quelle grosse bête que ce peuple allemand!* и затѣмъ отправится въ оперу и вовсе не станетъ беспокоиться, если неблагодарные нѣмецкіе правители во второй разъ прогонятъ ихъ въ Америку или запрячутъ въ Кененикъ и Магдебургъ". Бёрне держался того справедливаго мнѣнія, которое и до сихъ поръ нисколько не устарѣло и можетъ быть высказываемо съ пользою, что войною, и притомъ войною противъ народа, который такъ много сдѣлалъ для освобожденія всего человѣчества отъ средневѣкового строя жизни, какъ французы, не устанавливается свобода, а напротивъ, въ случаѣ успѣха, только закрѣпляется тотъ порядокъ, при которомъ народъ играетъ самую жалкую роль. Нѣмецкія правительства пользуются подобными войнами, сотни тысячъ людей отдають на закланіе, для того только, чтобы имѣть возможность чужими руками загребать себѣ жаръ. „Мы всегда платимъ—воскликаетъ Бёрне съ злою ироніею—за разбитые горшки. Что каждый человѣкъ имѣетъ право быть дуракомъ, съ этимъ невозможно спорить; но вѣдь и правомъ надо пользоваться скромно и умѣренно. Нѣмцы злоупотребляютъ этимъ правомъ“!

Говоря подобнымъ образомъ еще въ 30-хъ годахъ, Бёрне понималъ несравненно лучше, нежели большинство современныхъ намъ публицистовъ, что свобода не достигается путемъ внѣшнихъ побѣдъ, путемъ внѣшнихъ завоеваній, что эти побѣды, эти завоеванія, вмѣсто того, чтобы расчищать путь къ лучшему устройству народной жизни, только замедляютъ здоровое развитіе и отвлекаютъ народъ отъ его истинныхъ интересовъ и настоящей задачи. Ближайшею же задачею нѣмецкаго народа, по мнѣнію Бёрне, было достиженіе такой политической формы, такого политическаго устройства, которое устранило бы навсегда господство гофратства, юнкерства, солдатчины—всѣхъ этихъ атрибутовъ „сильныхъ“ нѣмецкихъ правительствъ. Бёрне понималъ, что свобода и единство Германіи, къ которому народъ чувствовалъ влеченіе, могутъ гораздо прочнѣе и солиднѣе утвердиться среди нѣмцевъ при помощи внутреннихъ побѣдъ, при торжествѣ надъ внутренними врагами. Внутренними врагами Бёрне

считалъ нѣмецкія правительства, эту гущу средневѣкового строя, и потому каждый разъ, что онъ слышитъ гдѣ-нибудь народное движеніе, или даже слабыя признаки его, сердце его начинаетъ судорожно сжиматься, хотя въ немъ сильно было убѣжденіе, что при тѣхъ свойствахъ нѣмецкаго народа, на которыя онъ указывалъ въ „Парижскихъ Письмахъ“, едва ли можетъ окончиться успѣшно сколько-нибудь серьезный переворотъ.

Какъ ни сильно было въ немъ такое убѣжденіе, но онъ охотно готовъ былъ вѣрить каждый разъ, какъ ему говорили, что въ Германіи начинается движеніе. Не успѣлъ Бёрне пріѣхать въ Парижъ, какъ онъ узнаетъ изъ нѣмецкихъ газетъ, что въ различныхъ городахъ Германіи происходятъ волненія, что іюльская революція начинаетъ отливаться и въ его отечествѣ. „Въ головѣ моей—пишетъ онъ—страшный хаосъ отъ всего, чтó я прочелъ о Германіи. Въ Гамбургѣ безпорядки, въ Брауншвейгѣ подожгли замокъ и выгнали правителя, въ Дрезденѣ возмущеніе. Будьте милосерды, пишите мнѣ обо всемъ до мельчайшихъ подробностей“. Бёрне волнуется; воображеніе его рисуетъ ему уже освобожденіе Германіи отъ деспотизма нѣмецкихъ правительствъ; онъ готовъ уже упрекать себя въ томъ, что онъ былъ несправедливъ къ нѣмецкому народу, когда упрекалъ его въ трусости, филистерствѣ и раболѣпствѣ. „Неужели же, въ самомъ дѣлѣ,—спрашиваетъ онъ—я ошибся, какъ меня уже многіе не разъ упрекали? Неужели, въ самомъ дѣлѣ, Германія зрѣлѣе, чѣмъ я думалъ? Неужели я былъ несправедливъ къ народу и не замѣтилъ, что подъ ночнымъ колпакомъ и халатомъ онъ тайно носилъ панцырь и шлемъ“? Но напрасно Бёрне начинаетъ уже себя бичевать, напрасно онъ хочетъ себя наказать, поставить себя, какъ мальчишку, въ уголъ, онъ слишкомъ торопится признать себя виноватымъ—ему такъ хочется быть виноватымъ. Напрасно представляетъ онъ себѣ нѣмцевъ, которые, пробудившись, съ удивленіемъ озираются кругомъ, спрашивая себя, гдѣ они, чтó съ ними, во снѣ или наяву выносили они эту безконечную цѣпь униженій? Слишкомъ рано еще восклицаетъ онъ: „Но какъ могли они такъ долго выносить все это?... одному подчиняться такимъ притѣсненіямъ можно, двоимъ, тремъ тоже можно; но какъ могутъ подчиняться имъ милліоны“? Слишкомъ рано еще Бёрне произноситъ слова угрозы: „горе тѣмъ, кто заставилъ насъ покраснѣть! Краска стыда на щекахъ народа—не розовый румянецъ стыдливой дѣвушки;

она—сѣверное сіяніе, полное негодованія и опасности“. Опасность еще слишкомъ далека была отъ взоровъ нѣмецкихъ правителей, далѣе, быть можетъ, чѣмъ думалъ Бёрне въ самыя пессимистическія минуты, чтобы имъ было чего опасаться. Народъ не покраснѣлъ еще отъ стыда, а Бёрне вовсе не нужно было раскаяваться въ своихъ ѣдкихъ филиппикахъ противъ раболѣпства нѣмецкаго народа. Факты не дали опроверженія его словамъ, и не болѣе, какъ черезъ нѣсколько дней, Бёрне писалъ уже съ грустью о томъ, что слабыя попытки, жалкія вспышки въ нѣсколькихъ городахъ Германіи кончились ничѣмъ, если не считать во что-нибудь тѣхъ мѣръ строгости и мести, которыя приняты были нѣмецкими правительствами противъ всѣхъ тѣхъ, кто только посмѣлъ заявить свое неудовольствіе. Бёрне мало ждалъ уже впослѣдствіи отъ тѣхъ вспышекъ, которыя происходили тутъ и тамъ,—мало ждалъ потому что сознавалъ, что въ нѣмецкомъ народѣ еще слишкомъ недостаточно настолько развитыхъ политическихъ элементовъ, чтобы они могли восторжествовать надъ правительствами. Когда онъ узналъ, что революція, или, вѣрнѣе, революціонная вспышка произошла во Франкфуртѣ, онъ писалъ тогда: „Тебѣ нечего стыдиться, Франкфуртъ; Варшава также пала, а была посильнѣе тебя“! Отъ Франкфурта, по мнѣнію Бёрне, собственно трудно было бы ожидать чего-нибудь другого.

Но какъ ни кротко переносилъ Бёрне неудачи революціонныхъ вспышекъ въ Германіи, его тѣмъ не менѣе возмущало поведеніе нѣмецкихъ правительствъ. „Правительство сильно,—разсуждалъ онъ:—къ чему же тогда всѣ эти мѣры жестокости, свирѣности, это хвастовство произволомъ, весь этотъ цинизмъ насилія, проявляемый на каждомъ шагѣ“? Признавая подавляющую силу нѣмецкихъ правительствъ,—да и трудно было не признавать того, а во всякомъ случаѣ бесполезно,—Бёрне все-таки желалъ, чтобы граждане оказывали постоянное сопротивление незаконнымъ поступкамъ власти. „Всѣ аресты во Франкфуртѣ, во время безпорядковъ, были произведены ночью. Такое нарушение безмятежнаго сна я объясняю тѣмъ, что франкфуртское правительство—антиподъ народа, и поэтому, когда у этого послѣдняго день, тогда у него ночь. Но какимъ образомъ,—спрашиваетъ Бёрне, успѣвшій уже позабыть свой собственный арестъ,—наши граждане, наши адвокаты, не особенно сильно занимающіеся математической географіей и нравственной философіей, переносятъ такое мрачное

средневѣковое наслѣдіе, — этого я не понимаю. Вѣдь во Франціи чловѣкъ въ тюрьмѣ свободнѣе, чѣмъ у насъ на свободѣ "... Всякую тираннію, какъ ни безстыдна она, по мнѣнію Вёрне, переносить не особенно позорно, позорно одно — переносить ее молчаливо. „Кто молчаливо переноситъ безстыдную тираннію, тотъ болѣе виноватъ, нежели тѣ, кто ею пользуются“.

Какъ ни слабы были такіа проявленія неудовольствія въ тридцатыхъ годахъ въ Германіи, какъ ни легко подавляемы были всевозможныя вспышки, нѣмецкія правительства приходили отъ нихъ въ сильное волненіе, безпокойство овладѣвало ими въ высшей степени и имъ уже чудилась „всесвѣтная революція“ со всѣми ея ужасами. У страха глаза велики, и если съ одной стороны страхъ влечетъ за собою жестокости, то съ другой этотъ же страхъ заставляетъ спрашивать себя власть: ужъ и въ самомъ дѣлѣ не нужно ли сдѣлать какихъ-нибудь уступокъ, чтобы предупредить будущіе безпорядки. Такимъ образомъ, дѣлаются уступки, производятся реформы, исходящія гораздо болѣе изъ неосновательнаго страха правительствъ, чѣмъ дѣйствительно изъ доброй воли произвести нѣкоторыя улучшенія въ жизни народа. Какъ ни ничтожны вспышки и волненія въ обществѣ, Вёрне признавалъ ихъ все-таки какъ нельзя болѣе полезными, такъ какъ подобныя волненія правительству всегда кажутся болѣе серьезными, обладающими болѣею силою, нежели это бываетъ на самомъ дѣлѣ.

Такимъ образомъ, вспышки въ Германіи, несмотря на всю ихъ ничтожность, все-таки понудили нѣкоторыя изъ нѣмецкихъ правительствъ подумать о томъ, не слѣдуетъ ли дать недовольнымъ народамъ что-нибудь похожее на конституцію. Въ то время, когда всѣ другіе въ Германіи приходили въ умиленіе отъ великодушія монарховъ, Вёрне, который стремился къ лучшему, осмѣивалъ эти конституціи въ своихъ „Парижскихъ Письмахъ“. „Говорятъ, — писалъ онъ, — что въ Пруссіи будетъ обнародована конституція, этому я охотно вѣрю; отъ страха они тамъ совсѣмъ потеряли голову. Курьезно будетъ взглянуть на ихъ лица, когда они отвѣдаютъ зеленого яблочка. Но, за то, какая это будетъ милѣйшая конституція "... Какъ ни смѣшна казалась Вёрне приготовлявшаяся прусская конституція, но надо полагать, что внутренно онъ былъ доволенъ даже „милѣйшею“ конституціею, держась того правила, что лучше мало, чѣмъ ничего. Во всякомъ случаѣ, если внутренно онъ былъ и доволенъ тѣмъ, что хотъ

что-нибудь дѣлалось для ограниченія произвола правителей, но онъ тщательнѣе скрывалъ свое довольство, опасаясь, конечно, что и безъ него уже правительство будетъ засыпано выраженіями самой чувствительной благодарности отъ своихъ вѣрноподданныхъ, которые рѣдко умѣютъ умѣрять свои восторги и тѣмъ только портятъ всякое дѣло. Нѣтъ ничего вреднѣе этихъ благодарственныхъ изліяній, которыми всегда отличается народъ, привыкшій къ раболѣпству, такъ какъ правительство, сдѣлавшее, можетъ быть, только сотую долю того, что оно должно бы сдѣлать, воображаетъ уже, что оно облагодѣтельствовало народъ, и на каждое проявленіе неудовольствія съ гордостью отвѣчаетъ: неблагодарные! Вотъ почему Бёрне смѣялся надъ всѣми подобными дарами, говоря: „конституція, которая представляется въ потьмахъ, только и можетъ быть произведеніемъ мрака. Свобода, которую дарятъ господа, никогда еще не была чѣмъ-нибудь драгоценнымъ; ее нужно похитить или отнять силою“.

Еще болѣе злобно говорилъ Бёрне въ своихъ „Письмахъ“ о гессенской конституціи, которая, по его мнѣнію, можетъ удовлетворить только народъ, даже не сознающій, что у него могутъ быть какія-нибудь права. „Эта конституція—нахальнѣйшая ложъ хвастунишки, какую мнѣ когда-нибудь удавалось слышать. Еслибъ архи-жиды, торгующіе здѣсь на бульварахъ, прочли ее, они воскликнули бы съ завистью: „нѣтъ, такая штука намъ не по силамъ“! Дай она народу только то, или даже ничего изъ того, чего ожидаютъ въ настоящее время народы отъ конституцій,—я бы ничего не говорилъ. Но гессенская конституція—обманъ: олово выкрасили желтой краской для того, чтобы оно казалось золотомъ, и нашъ народъ такъ глупъ, что изъ ста покупателей только одинъ замѣчаетъ надувательство“. Анекдотъ, который приводитъ Бёрне по поводу гессенской конституціи, не утратилъ и до сихъ поръ всего своего букета, какъ не утратилось до сихъ поръ обыкновеніе, съ одной стороны, нѣмецкаго правительства обманывать народъ, а съ другой—привычка позволять себя обманывать. „Сдѣланное этою конституціею распредѣленіе правъ между правительствомъ и народомъ очень напоминаетъ мнѣ,—говоритъ Бёрне,—разсказъ о евреѣ, нанявшемъ вмѣстѣ съ однимъ плутомъ-крестьяниномъ одну лошадь и устроившимъ совмѣстное пользованіе ею на тѣхъ основаніяхъ: „одинъ часть ѣхать буду я, а идти пѣшкомъ ты, а другой—идти пѣшкомъ будешь ты, а ѣхать—я“. Большая часть

нѣмецкихъ конституцій были построены на одинъ ладъ, и Бёрне остроумно замѣчалъ, что онѣ гораздо больше созданы для правительствъ, нежели для народовъ. Благодаря этимъ конституціямъ, всѣ дѣйствія, самыя возмутительныя, прикрывались конституціею, такъ что на внѣшній видъ все, чтó ни дѣлалось — дѣлалось какъ нельзя болѣе законно.

„Не думайте, — говорилъ онъ, — что правительства здѣсь дѣйствуютъ произвольно; мы вовсе не такъ счастливы; мы не настолько счастливы, чтобы наши правители для того, чтобы быть деспотами, должны были дѣйствовать противозаконно. Деспотизмъ лежитъ въ самыхъ законахъ. По этимъ законамъ самыя невинныя дѣйствія могутъ быть объявлены преступленіями и, какъ таковыя, могутъ быть наказаны“. Вотъ почему въ Германіи, гдѣ самыя законы были уродливы, оппозиція, главнымъ образомъ, должна была направляться противъ самыхъ законовъ, которые только освящали собою произволъ. „Наши добрые нѣмецкіе гофраты и профессора, да благословить ихъ Богъ здравнымъ смысломъ, не знаютъ другого либерализма, какъ поступать на законномъ основаніи. Когда, такимъ образомъ, кто-нибудь изъ нихъ попадаетъ законно въ тюрьму за то, что онъ напечаталъ что-нибудь такое, чтó законъ объявляетъ оскорбленіемъ величества, они совершенно довольны“... Законъ соблюденъ! Но Бёрне не хочетъ вовсе подобной оппозиціи, онъ считаетъ ее вредною; дѣло не въ томъ только, чтобы человѣкъ рискнулъ что-нибудь сказать или сдѣлать такое, чтó не совсѣмъ пріятно нѣмецкому правительству, а въ томъ, чтобы оно не могло за это мстить на „законномъ основаніи“, сажая въ тюрьму, отправляя въ ссылку или что-нибудь подобное. Для того же, чтобы этого достигнуть, мало ограничиваться тѣмъ, чтобы когда-нибудь сказать смѣлое слово и потомъ покорно перенести за то наказаніе — для этого нужна постоянная борьба, постоянное возбужденіе общества противъ нѣмецкихъ нелѣпныхъ законовъ. Но кто можетъ дѣйствовать подобнымъ образомъ? Такъ можетъ дѣйствовать только самъ народъ, въ которомъ нѣтъ и слѣда того „лакейства“, на которое такъ жалуется Бёрне, говоря о нѣмецкомъ народѣ. Слѣдовательно, прежде всего нужно вывести народъ изъ такого жалкаго состоянія, обличающаго крайнее политическое неразвитіе; для того же, чтобы вывести его изъ этого положенія, чтобы поднять его политическій уровень, мало научить его читать и писать — нужно чтобы онъ зналъ, чтó читать, нужно полити-

ческое просвѣщеніе, которое помогало бы политическому развитію. Вотъ это-то политическое просвѣщеніе и занимаетъ Бёрне, но онъ сознаетъ, что одинъ человѣкъ безсиленъ, что тутъ нужно цѣлую фалангу умныхъ писателей, которые безстрашно указывали бы народу на ту тѣну, въ которую онъ залѣзъ. Для того же, чтобы явилась эта фаланга писателей, рѣшившихся на распространеніе политическаго просвѣщенія, котораго такъ не доставало до сихъ поръ въ Германіи, нужно прежде всего начать это просвѣщеніе, и, во-вторыхъ, сколько-нибудь измѣнить условія, въ которыя была поставлена печать, такъ какъ безъ такого измѣненія въ условіяхъ существованія прессы чрезвычайно трудно руководить политическимъ просвѣщеніемъ. Вотъ почему Бёрне, приступивъ къ своей задачѣ, прежде всего обратился съ требованіемъ освобожденія печати, и онъ не уставалъ заявлять постоянно это требованіе, какъ въ то время, когда онъ жилъ и писалъ въ Германіи, такъ и тогда, когда онъ жилъ и писалъ въ Парижѣ.

Свобода печати нужна была не для него, потому что онъ лично умѣлъ обходиться и безъ нея и говорить при цензурѣ такія вещи, которыя бросали въ жаръ правительства, но гораздо болѣе для другихъ, которые не имѣли ни таланта Бёрне, ни его умѣнья вести свое дѣло въ то самое время, когда печать сдерживалась желѣзною уздою. Для обыкновенныхъ бойцовъ, для не выходящихъ изъ средняго уровня людей, свобода печати несравненно необходимѣе, потому что безъ нея у нихъ не является, съ одной стороны, смѣлости высказывать свою мысль, съ другой, искусства полуфразой, полунамекомъ освѣтить передъ читателемъ цѣлыя страницы.

Естественно, что въ своихъ „Парижскихъ Письмахъ“, говоря о Германіи, Бёрне часто возвращается къ требованію свободы печати, потому что ничто такъ не лежитъ у него на душѣ, ни въ чемъ онъ не видитъ такой необходимости, какъ въ освобожденіи человѣческаго слова: „Когда я думаю о цензурѣ,—говоритъ онъ,—я готовъ разбить себѣ голову объ стѣну. Отчаяніе можетъ взять. Свобода печати еще не побѣда, это даже еще не борьба, а только вооруженіе; но какимъ образомъ можно побѣдить безъ борьбы, какъ бороться безъ оружія? Это кругъ, отъ котораго можно помѣшаться. Мы должны бороться голыми руками, какъ борются дикіе звѣри своими зубами. Добровольно намъ никогда не дадутъ свободы печати“. Человѣческая, мысль, безпрепятственно высказываемая, представлялась нѣмецкимъ

правительствамъ такимъ пугаломъ, такимъ грознымъ привидѣніемъ, что, кажется, одного свободнаго слова достаточно, чтобы подкопать все государственное зданіе. Лишь только мало-мальски развяжутъ людямъ языкъ, какъ съ различныхъ сторонъ раздаются вопли изъ груди „преданныхъ“, прежде всего себѣ и своимъ интересамъ, и эти вопли всѣ направлены къ одному стремленію, чтобы печать снова была „подтянута“ и мысль человѣческая поставлена въ узкія рамки. Такимъ образомъ, положеніе печати въ нѣмецкихъ государствахъ всегда колебалось между худымъ и худшимъ. Это колебаніе печати отъ менѣе худого къ болѣе худому и отъ болѣе худого къ менѣе худому представлялось какимъ-то *regretium mobile* нѣмецкихъ правительствъ. Эти правительства пытали къ свободѣ печати какое-то инстинктивное отвращеніе, отвращеніе, которое впрочемъ, нужно сознаться, имѣло для нихъ самое существенное основаніе. Ничто не служить такимъ могущественнымъ орудіемъ для подавленія всякой лжи и для раскрытія истины, какъ человѣческое слово, не чувствующее надъ собою остраго Дамоклова меча. Сегодня „*notre bon plaisir*“ заключался у нѣмцевъ въ томъ, что покровительствуется нѣкоторый либерализмъ, допускается большее или меньшее обсужденіе существенныхъ народныхъ интересовъ, либерализмъ подчасъ доходитъ до того, что позволяется даже сравнивать выгоды конституціоннаго, чуть не республиканскаго правительства съ невыгодами власти деспотической; завтра моментальный *volte-face*, налетаетъ какое-нибудь гнилое повѣтріе, и „*notre bon plaisir*“ получаетъ другое направленіе: чтò допускалось, теперь преслѣдуется, чтò не каралось, теперь карается, и на бѣдное, поруганное, израненное человѣческое слово обрушивается цѣлый рядъ гоненій. Спросите причину такого переворота—вамъ никто не съумѣетъ отвѣтить; спросите, случилось ли что-нибудь особенное, совершило ли слово какое-нибудь преступленіе, выказало ли оно чѣмъ-нибудь свою дерзость, свою „неблагодарность“ за предоставленіе ему извѣстнаго простора? Ничуть не бывало; слово, подавленное десятками лѣтъ, столѣтіями, ни въ чемъ не провинилось; оно слишкомъ привыкло къ уздѣ, чтобы пользоваться всѣми выгодами нѣкотораго разнузданія; оно слишкомъ привыкло сдерживать свои порывы, слишкомъ привыкло угождать, раболѣпствовать, чтобы пользоваться даже тою урѣзанною свободою, которая ему предоставлялась, благодаря какому-то счастливому капризу. Что же, спрашивается,

случилось, что слово, положенное на Прокустову кровать, опять начинают урѣзывать? объясненія нѣтъ, кромѣ пожалуй одного: нашла такая полоса, нашелъ такой „стихъ“. Вся причина быстрого измѣненія заключается въ капризѣ да въ томъ, что Вёрне никакъ не могъ какъ слѣдуетъ охарактеризовать по-нѣмецки, но что отлично выражается русскими словами: „здорово живешь“. Свободная печать какъ бы олицетворяетъ собою образъ истины, а истина была бичомъ для правительствъ „каприза“, котораго они боялись хуже всякой чумы; они отворачивались отъ свѣта, сознавая, что свѣтъ для нихъ—это страшная бездна, въ которой валется уже столько обломковъ деспотизма. „Еслибы,—говоритъ Вёрне,—они управляли какъ ангелы небесныя и еслибы самыя требовательныя граждане не находили на что жаловаться,—они и тогда не допустили бы свободу печати. Я не знаю, они обладаютъ какою-то свиною натурою—они не могутъ выносить дневного свѣта, они какъ привидѣнія, которыя исчезаютъ, какъ только пропоетъ пѣтухъ“.

Конечно, всѣ подобныя разсужденія Вёрне могутъ относиться только къ той Германіи, гдѣ правительство, такъ сказать, пережило общество, гдѣ оно держалось отчасти въ силу инерціи, отчасти потому, что на его сторонѣ правильно организованная военная и административная сила; для подобнаго правительства свобода печати представляется и, въ дѣйствительности, есть такое зло, котораго оно не можетъ допустить добровольно, такъ какъ свобода печати, обнаруживая всѣ язвы подгнившаго правленія, неминуемо влечетъ его къ гибели. Иное дѣло, когда рѣчь идетъ о правительствѣ такой страны, гдѣ оно не только не ниже общества, но значительно выше его, гдѣ отъ правительства исходятъ, и главнымъ образомъ по его собственной инициативѣ, всевозможныя реформы и преобразованія, для такого правительства свобода печати не можетъ быть не только опасна, но, напротивъ, она оказываетъ ему, если только допускается, какъ нельзя большую пользу, указывая, на что должны быть направлены его усилія, и какъ отзываются на различныхъ сторонахъ народной жизни совершаемыя имъ преобразованія. Если такое правительство опасается свободы печати и не допускаетъ ее, то это не что иное, какъ злая ошибка, непониманіе своихъ собственныхъ интересовъ или только результатъ вліянія злонравленныхъ, но сильныхъ людей, которые гораздо болѣе заботятся о собственныхъ выгодахъ, о возможности въ

мутной водѣ ловить рыбу и о возможности совершать, безъ всякаго опасенія свѣта печати, всяческія неправды, чѣмъ о благѣ государства и того правительства, которому они служатъ. Для правительства, идущаго впереди или даже въ уровень съ общественнымъ развитіемъ и съ общественными требованіями, свобода печати представляется ничѣмъ невозможнымъ благомъ, а вовсе не бѣдствіемъ и не зломъ, которое слѣдовало бы вырвать съ корнемъ. Свобода печати есть самый вѣрный оплотъ здороваго и дѣйствительно народнаго правительства.

Понимая все громадное значеніе свободы печати, Бёрне былъ совершенно счастливъ, когда въ Германіи образовалось „Общество для защиты свободы печати“. Нѣсколько разъ возвращался онъ къ этому обществу, поддерживая его своимъ вѣскимъ словомъ, и старался, чтобы все живое въ Германіи приставало къ нему. Для этого общества онъ, между прочимъ, написалъ адресъ, который долженъ былъ быть представленъ отъ имени всей еврейской общины во Франкфуртѣ, и, посылая изъ Парижа этотъ адресъ, Бёрне, между прочимъ, говорилъ: „Подписывайтесь подъ этимъ адресомъ. Іерихонскія стѣны повалились передъ звуками трубъ—въ этомъ нѣтъ ни единого слова правды. Подъ трубами священное писаніе понимало свободу печати. Стѣны деспотизма также повалятся передъ нею“. Для того однако, чтобы слово разрушало, какъ онъ выражается, стѣны деспотизма, нужно, чтобы это слово было сильно, чтобы оно было мечомъ, чтобы оно гналось за насиліемъ съ насильскою, ненавистью, презрѣніемъ, а не „ковыляло за нимъ съ тяжеловѣсными логическими доводами“. Бёрне съ ожесточеніемъ нападалъ на тѣхъ официальныхъ писателей, которые проповѣдовали, или, вѣрнѣе, поддерживали правительство въ томъ, что не слѣдуетъ печати предоставлять полной свободы, мотивируя это тѣмъ, что народъ, не приготовленный къ принятію извѣстныхъ идей, не въ состояніи будетъ переварить ихъ. Все это буквально вздоръ, возражалъ Бёрне, и „нѣтъ ничего безжалостнѣе и смѣшнѣе той строгой діеты, которую правительства, страдающія совершенно испорченнымъ пищевареніемъ, предписываютъ своимъ народамъ, которые могутъ рѣшительно все переваривать. Эти правительства думаютъ, что если заставить поститься сердце, то отъ этого ослабѣетъ тоже голова и руки и, слѣдовательно, съ народомъ будетъ легче справиться“. Народъ все можетъ переваривать, только давайте ему здоровую и достойную его пищу, при одномъ видѣ которой онъ не долженъ былъ бы

краснѣть. Правительства могутъ заставлять печать играть жалкую, унижительную роль, это понятно; но когда сама печать охотно подчиняется даже безъ того, чтобы это было нужно, начинаетъ раболѣпствовать, это возмутительно; и Бёрне съ яростью накидывается на тѣхъ писателей, которые, угощая народъ гнилою, протухшею пищею, ползаютъ униженно передъ властью, заискивая ея расположеніе. Ведите себя съ мужествомъ, ведите себя съ достоинствомъ! — таково было обращеніе Бёрне къ нѣмецкимъ писателямъ, которые, впрочемъ, рѣдко слѣдовали его призыву. „Народъ не долженъ вымаливать свободу, — говорилъ онъ этимъ писателямъ, — и если вы отъ имени народа вымаливаете ее, то вы только позорите народъ; если вы за каждое сорвавшееся съ языка свободное слово начинаете рабски просить прощенія, то лучше не пишите, потому что иначе вы оскорбляете человѣческую мысль, человеческое слово. Унижаясь, прося прощенія, вы какъ бы признаете за правительствомъ право обращаться съ вами такъ, какъ оно обращается, признаете право наказывать васъ, въ то время, когда оно не должно его имѣть. Правительство наказываетъ, если кто-нибудь побуждаетъ къ ненависти къ нему, возбуждаетъ противъ него неудовольствіе; но кто — спрашиваетъ, между прочимъ, Бёрне — виноватъ въ этой ненависти, въ этомъ неудовольствіи? наказывать прежде всего слѣдуетъ само правительство, такъ какъ въ большинствѣ случаевъ оно само виновато, что своими поступками возбуждаетъ противъ себя злобу и ненависть“.

До какой степени вкоренилось въ нѣмецкихъ писателяхъ это недостойное чувство страха, робости, униженія передъ правительствомъ, видно изъ того, что даже самые честные писатели попадаютъ въ этомъ отношеніи въ общую колею. Бёрне, не бросая въ нихъ камень, тѣмъ не менѣе обращается къ нимъ съ такимъ упрекомъ: „Велькеръ, — говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ „Парижскихъ Писемъ“, — въ объявленіи своемъ о новой газетѣ, которая будетъ называться „Свободомыслящій“, говоритъ: „новая газета покажетъ, что Баденъ достоинъ пользоваться безцѣннымъ благомъ свободы печати“. Покажетъ — достоинъ: — кому покажетъ? правительству? союзному собранію? Показывать правительству, что нѣмецкій народъ достоинъ свободы? Добиваться одобренія правительства? Говорить отъ имени народа и такъ мало чувствовать достоинство гражданъ, достоинство народа, чтобы рѣшиться сказать, что хотятъ показать, что народъ

достойнъ одобренія своего правительства? Правительства должны добиваться одобренія своихъ народовъ, а не наоборотъ; они выходятъ изъ народа, они отъ него зависятъ, они имъ дорого оплачиваются — они же и должны доказывать, что они достойны того довѣрія, которое возложили на нихъ, они должны доказывать, что они заслуживаютъ той власти, которая дана имъ народомъ для блага всѣхъ. Народу не о чемъ просить, народъ не долженъ лстять, ему принадлежитъ вся власть, все господство, и правительство есть только его подданный". Выходя изъ подобнаго начала, естественно, что Бёрне никакъ не могъ помириться съ тѣмъ, что нѣмецкіе писатели постоянно унижались, добиваясь, выпрашивая свободу печати. „Давайте свободу печати, или чортъ побери васъ всѣхъ вообще и cadaго порознь!" такъ, говоритъ Бёрне, началъ бы онъ, еслибы захотѣлъ писать о свободѣ печати, и при этомъ выражаетъ увѣренность, что это произвело бы совершенно иное дѣйствіе, чѣмъ всевозможныя просьбы и молебны.

Вообще, Бёрне, въ своей борьбѣ за свободу печати, какъ и за всѣ другія блага общественной жизни, придерживается радикальных средствъ и, конечно, совершенно справедливо полагаетъ, что будь только въ людяхъ порядочныхъ, которыхъ всегда найдется довольно, побольше рѣшимости бороться со зломъ, побольше энергии и неустрашимости — побѣда была бы обезпечена за свободой. Добиваясь прежде всего вооруженія, т.-е. свободы печати, онъ спрашиваетъ себя, что стоитъ для нея еще помѣхой, помимо страха правительства, пустить ее въ обращеніе? Помѣхой, думаетъ Бёрне, является то, что на зовъ правительства стекается всегда масса людей, иногда даже болѣе или менѣе порядочныхъ, готовыхъ во всякое время принять на себя гнусное ремесло — парализовать человѣческую мысль, человѣческое слово. „Я не понимаю, — говоритъ Бёрне въ одномъ изъ своихъ „Писемъ", — и никогда не пойму, какъ человѣкъ, который сколько-нибудь себя уважаетъ, и который безстыднымъ образомъ не отбросилъ отъ себя все человѣческое достоинство, чтобы подобно какому-нибудь животному валаться въ теплому стоилу и ублажать свое чрево, — какъ такой человѣкъ можетъ согласиться быть цензоромъ, быть палачомъ — нѣтъ, хуже чѣмъ палачомъ, потому что этотъ убиваетъ только за вину осужденныхъ — быть убійцей идей, который подкарауливаетъ и нападаетъ въ темнотѣ, который разрушаетъ единственное, что есть въ человѣкѣ божественнаго — свободу духа..... Моё сердце, — продолжаетъ Бёрне, —

не может не возмущаться при видѣ повсюду глупости народа, который не понимает своей власти, своего превосходства силы, который даже не предчувствуетъ, что ему стоитъ только захотѣть, чтобы уничтожить всякую ненавистную тираннію“.

Врѣсивъ анафему въ нѣмецкихъ цензоровъ, Бёрне предлагаетъ планъ, при помощи котораго можно добиться, что въ обществѣ не найдется людей, которые рѣшились бы принять на себя это „позорное“ ремесло. Планъ этотъ заключается въ томъ, чтобы среди многихъ тысячъ человѣкъ въ каждомъ городѣ, которые чувствуютъ отвращеніе къ цензурѣ, какъ къ „грязному дѣлу“, которые презираютъ ее какъ „крайнюю низость“, выискалось всего человѣкъ двадцать почтенныхъ людей, которые заключили бы между собою союзъ „смотреть на каждого цензора и обращаться съ нимъ какъ съ безчестнымъ человѣкомъ, не жить съ нимъ подъ одною кровлею, не ѣсть съ нимъ за однимъ столомъ, не приближаться ко всему, что только касается его, избѣгать его какъ зачумленного, наказывать постоянно презрѣніемъ, преслѣдовать его постоянно насмѣшкою—тогда не нашлось бы болѣе сколько-нибудь честнаго человѣка, который согласился бы быть цензоромъ“; тогда, полагаетъ Бёрне, даже тѣ, которые не хорошо понимаютъ честь, и тѣ не рѣшились бы бравировать общественное мнѣніе, и правительства, волей-неволей, чтобы добыть себѣ цензоровъ, должны были бы обращаться къ какимъ-нибудь „негоднымъ живодерамъ“. Весь вопросъ только, въ этомъ случаѣ, какъ впрочемъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ, когда дѣло идетъ только объ оппозиціи: какъ найти возможность соединить между собою порядочныхъ людей? Кто въ самомъ дѣлѣ не знаетъ, что одно изъ главныхъ золъ общества, живущаго въ неволѣ, заключается именно въ апатіи, которая является результатомъ разрозненности между людьми; кто не знаетъ, что въ обществѣ несвободномъ недоувѣріе, подозрительность между людьми достигаетъ послѣднихъ предѣловъ, что каждый порядочный человѣкъ опасается другого человѣка, если не видитъ въ немъ врага, пожалуй шпіона? Эта-то подозрительность, это отчужденіе и составляетъ истинное препятствіе для торжества честныхъ людей надъ людьми негодными, и Бёрне выясняетъ это какъ нельзя лучше. „Въ каждой странѣ, — говоритъ онъ, — въ каждомъ городѣ, въ каждой общинѣ, въ каждомъ правительствѣ, въ каждомъ присутственномъ мѣстѣ найдется довольно благородныхъ людей; но каждый ду-

масть, что онъ одинъ только имѣетъ честныя убѣжденія, и, опасаясь такимъ образомъ имѣть всѣхъ противъ себя, никто не смѣетъ выступить впередъ съ своимъ голосомъ, и побѣда остается за негодными людьми, которые лучше умѣютъ отгадывать другъ друга, легче соединяться“. Бёрне сознается, что только одна увѣренность, что есть тысячи людей въ нѣмецкомъ обществѣ, которые такъ же хороши или даже лучше, чѣмъ онъ самъ, тысячи людей, которые отвѣчаютъ на его зовъ и присоединяются къ нему, только эта увѣренность и даетъ ему смѣлость бороться своимъ словомъ за свободу и право. Не будь въ немъ этой увѣренности, что его голосъ находитъ себѣ эхо въ тысячи сердцахъ, не имѣй онъ убѣжденія, что онъ дѣйствуетъ для соединенія честныхъ людей, онъ молчалъ бы, какъ молчатъ всѣ другіе, онъ терпѣлъ бы произволъ, какъ терпятъ его другіе, и не жертвовалъ бы безплодно своимъ спокойствіемъ „глупой, низкой и неблагодарной толпѣ“. Бёрне надѣялся, что его голосъ вызоветъ другіе голоса, которые станутъ подтягивать ему, и что такимъ образомъ закончится работа пробужденія свободнаго духа Германіи. Но Германія находилась на слишкомъ низкой ступени политическаго развитія, и потому, вмѣсто цѣлаго хора сочувственныхъ голосовъ, онъ слышалъ только хоръ грубыхъ рѣчей, циническихъ криковъ, раздавшихся противъ него.

Но Бёрне не такъ легко было столкнуть съ того пути, на который онъ разъ рѣшился вступить. Вмѣсто того, чтобы испугаться цѣлой стаи спущенныхъ противъ него собакъ, онъ пользовался даже погоней за нимъ, чтобы учить нѣмецкое общество, нѣмецкихъ писателей, какъ они должны дѣйствовать, какъ они должны бороться. Когда на него, за „Парижскія Письма“, обрушивался цѣлый потокъ брани, когда официальные писатели, чтобы ослабить его вліяніе, выступали противъ него, запасшись предварительно цѣлымъ лексикономъ бранныхъ словъ, когда самыя разнообразныя клеветы сыпались на его голову, Бёрне нисколько не конфузился всей этой грязью, не сторонился отъ нея, какъ дѣлаютъ это другіе отчасти изъ брезгливости, отчасти просто изъ боязни, а вступалъ въ рукопашный бой, во время котораго вырывалъ орудіе изъ рукъ своихъ противниковъ и старался бить ихъ собственнымъ ихъ орудіемъ. Друзья Бёрне упрекали его, что удары, которые онъ наноситъ своимъ противникамъ, недостойны его. „Да, вы правы, — отвѣчалъ Бёрне; — но въ такое время,

какъ наше, не думать о моемъ достоинствѣ—совершенно достойно меня. Въ то время, когда я рискую за отечество спокойствіемъ, кровью и жизнью—пристало ли мнѣ заботиться о томъ, чтобы какъ-нибудь не запачкать моего платья? Когда враги свободно лежатъ въ грязи, вы хотите, чтобы я не подходилъ къ нимъ близко, не нападалъ на нихъ, изъ боязни выпачкать сапоги“. Нѣтъ, Бёрне не хочетъ знать вѣжливости, приличія съ людьми, которые умышленно употребляютъ брань, онъ хочетъ слѣдовать ихъ примѣру, и онъ знаетъ причину, которая заставляетъ его бросать грязью во всѣхъ официальныхъ писателей. „Знаете ли,—спрашиваетъ Бёрне,—отчего наши придворныя и министерскія газеты выражаются такъ грубо, ругаютъ такую площадною бранью защитниковъ свободы? Вы думаете, что онѣ не умѣютъ выражаться тонко? О, нѣтъ! Онѣ отлично справляются съ этимъ. Когда имъ приходится вести борьбу между собою, дворъ противъ двора, одинъ владѣтельный князь противъ другого, власть противъ власти, тогда даже въ самомъ сильнѣйшемъ гнѣвѣ онѣ ни мало не измѣняютъ себѣ. Въ душѣ у нихъ ненависть, но на губахъ сладчайшія слова, и съ самою утонченною вѣжливостью вонзаютъ онѣ другъ другу въ грудь красивый и изящный мечъ. Но когда этимъ господамъ приходится драться съ свободой, когда, слѣдовательно, судьей спора является общественное мнѣніе, масса, тогда онѣ становятся грубыми, чтобы имѣть возможность дѣйствовать на грубую и бессмысленную массу, которая составляетъ большинство во всѣхъ сословіяхъ, отъ самаго высшаго до самаго низшаго. Какъ поступаютъ онѣ съ нами, такъ должны мы поступать съ ними“. Для Бёрне мало того, чтобы свободные писатели въ борьбѣ своей съ обскурантами выражались рѣзко и грубо, т.-е. такъ, какъ можетъ понимать масса, въ глазахъ которой нужно опозорить прислужниковъ произвола,—онъ хочетъ, чтобы народъ былъ выученъ рѣзко выражать свои требованія и желанія. „Такъ не должно продолжаться!—восклицаетъ Бёрне.—Мы должны отречься отъ всякой умѣренности и въ словахъ, и въ дѣйствіяхъ. Пусть свобода будетъ отдѣлена отъ насъ цѣлымъ моремъ крови—мы все-таки добудемъ ее; пусть она лежитъ въ непроходимой грязи—мы и оттуда ее вытащимъ. Оттого-то злоба и побуждаетъ всюду, оттого-то глупость всегда остается въ выигрышѣ, что она идетъ къ цѣли кратчайшей дорогой, не заботясь о томъ, чиста она или грязна... Нѣтъ,—продолжаетъ авторъ „Парижскихъ Писемъ“,—

выискивая только чистыя тропинки, мы теряемъ время и все; вѣдь гдѣ бы мы ни нагнали нашего врага, гдѣ бы ни напали на него, вездѣ будетъ грязь, и рано или поздно намъ придется вступить въ нее, если мы хотимъ, чтобы наше дѣло одержало побѣду. То, что другіе дѣлаютъ для тиранніи, неужели мы не можемъ дѣлать того же для свободы? Мечъ противъ меча, коварство противъ коварства, грязь противъ грязи, собачій лай противъ собачьяго лая... Мы должны наконецъ понять, что деспоты боятся только тѣхъ орудій, которыя они сами употребляютъ, потому что другихъ они вовсе не знаютъ. Поэтому, нечего намъ противопоставлять коварству—искренность, пороку—добродѣтель, наглости—кротость, грубости—приличіе“.

Бёрне доходитъ до ужасающаго радикализма, и съ полною откровенностью высказываетъ свое мнѣніе о томъ, какъ слѣдуетъ бороться съ врагами свободы; но онъ въ этихъ строкахъ рисуется несравненно болѣе страшнымъ писателемъ, чѣмъ то было на самомъ дѣлѣ, и нельзя не улыбнуться, читая его проповѣдь коварства и наглости. Самъ онъ никогда не пользовался такими ужасными орудіями, и нужно думать, что еслибы и хотѣлъ ими пользоваться, то оказалось бы, что въ этомъ отношеніи онъ совершенно невинный ребенокъ. У Бёрне было другое орудіе, которое замѣняло ему и грубость, и коварство, и наглость—орудіе это было насмѣшка, сатира, которою онъ пользовался съ такимъ неподражаемымъ искусствомъ.

Впрочемъ, для подкрѣпленія своей теоріи, что съ врагами слѣдуетъ обращаться такъ, какъ обращаются они сами, что ихъ нужно бить ихъ же орудіемъ, Бёрне однажды только рѣшился воспользоваться всевозможными бранными словами, которыя въ продолженіе долгаго времени сыпались исключительно на его голову. Бёрне самъ приводитъ цѣлую страницу бранныхъ эпитетовъ, которыми сопровождалось его имя, когда у официальныхъ писателей заходила рѣчь о немъ, а это случалось чуть не каждый день, особенно послѣ выхода первой части „Парижскихъ Писемъ“. И прежде дѣятельность Бёрне возбуждала противъ него въ правительственной прессѣ страшную ненависть; когда же вышли его „Парижскія Письма“, то ненависть эта дошла до своей апогеи и перешла въ какую-то бѣшеную злобу. Аргументы, которыми вообще бываетъ такъ бѣдна официальная журналистика, были рѣшительно отброшены въ сторону и мѣсто ихъ заступила брань въ родѣ слѣдующей: „пустой жидъ, безсердечный

насмѣшникъ, жалкій болтунъ, глупый болтунъ, жалкая жидовская душа, безчестная, безстыдная, жалкая болтовня, бѣдный лакей революціи, безсовѣстное нахальство, громадное высокомеріе, жидовская кичливость, грязная книга, отвратительная книга, гнусная книга, жалкое, грязное насѣкомое и т. д.“. Долго Бёрне молчаливо сносилъ всю подобную брань, но наконецъ онъ рѣшился наказать всю эту шайку продажныхъ публицистовъ, и чтобы показать имъ, какъ они глупы и пошлы, какъ они мало умѣютъ даже преслѣдовать честныхъ писателей, и вмѣстѣ какъ глупо платить деньги людямъ за то только, что они умѣютъ браниться, что вовсе не трудно, а требуетъ только наглости, онъ собралъ всѣхъ своихъ противниковъ въ одну кучку и написалъ противъ нихъ памфлетъ, въ которомъ, казня одного за другимъ, онъ опрокидываетъ на нихъ, съ большимъ остроуміемъ, всевозможныя бранныя слова. „Горе вамъ,—говоритъ онъ въ концѣ своего памфлета,—если терпѣніе мое лопнетъ! Горе сволочи, когда я дамъ ей щелчокъ, чтобы нагнать на нее страхъ. Даю вамъ слово, что этотъ страхъ болѣе не покинетъ васъ. Да, я нѣмецъ! Да, мое терпѣніе лопается! Да, я ударю васъ, олухи, болваны, быки, ослы, свиньи, бараны, мошенники, бездѣльники, мерзавцы, ше...—впрочемъ, безъ горячности! все по порядку“... И тутъ Бёрне въ алфавитномъ порядкѣ приводитъ нѣсколько страницъ бранныхъ словъ, обращенныхъ къ его противникамъ, а когда дошелъ до бранныхъ словъ, начинающихся съ буквы Z, онъ дѣлаетъ обращеніе къ „первому знатоку искусства нашего времени, г. кабинетъ-секретарю Сохриру въ Вѣнѣ“, и проситъ его рѣшить, кто оказался грубѣе, кто кого превзошелъ: онъ—или его противники. Мораль его памфлета была, кажется, понятна: „вы воображаете,—говорилъ онъ,—что ругаться значитъ бороться; это не мудрено; вотъ вамъ тысячи ругательныхъ словъ, но что же изъ этого“? Противники его были впрочемъ такого свойства, что не поняли или не хотѣли понять этой морали памфлета и продолжали противъ Бёрне свою грязную и вмѣстѣ бездарную полемику, которая главнымъ образомъ сводилась къ брани.

Помимо всей брани, пущенной тогда въ Бёрне, противъ него употреблялся также тотъ обыкновенный и вмѣстѣ безчестный пріемъ, который употребляется сплошь и рядомъ продажными писателями противъ честныхъ людей, когда они, не находя возможнымъ писать на родинѣ, удаляются въ чужія страны и оттуда клеймятъ и выстав-

ляютъ къ позорному столбу всѣ дѣйствія деспотическихъ правительствъ. Пріемъ этотъ заключается въ слѣдующихъ словахъ: „нечего сказать, большая храбрость убѣжать въ безопасное мѣсто и оттуда извергать громы“! Противъ Бёрне выставилось это обвиненіе буквально тѣми же словами: „большая храбрость убѣжать въ Парижъ и оттуда писать противъ нѣмецкихъ правительствъ“! „А вы бы хотѣли,—спрашиваетъ ихъ Бёрне,—чтобы я бросился добровольно въ львиную пасть; вы бы хотѣли, чтобы я, зная отлично всѣ ваши орудія, зная, какъ ночью вы вторгаетесь въ спальню, какъ стаскиваете вы съ постели и бросаете въ холодный казематъ; зная, что судьями являются наемные прислужники безъ чести, безъ совѣсти; зная, что вы умѣете такъ стирать съ лица земли, съ такой тайною, что потомъ никто не найдетъ и слѣда; зная, что вы употребляете въ дѣло если даже не матеріальную, то нравственную пытку; зная, однимъ словомъ, всю бездну произвола, въ которую вы погружены, вы хотите, чтобы я, какъ мальчишка, сказалъ вамъ: вы обвиняете меня въ недостаткѣ храбрости, такъ вотъ вамъ, берите меня“!... „Дайте мнѣ,—говоритъ Бёрне,—гласное судопроизводство, дайте мнѣ ту защиту, которою во Франціи пользуется даже убійца, дайте мнѣ свободу печати, чтобы мои друзья могли узнать изъ газетъ о моей участи, и тогда я приду къ вамъ на судъ. Но вы, конечно, не сдѣлаете этого, потому что въ такомъ случаѣ не мнѣ придется отвѣчать вамъ, а вы должны будете дать отчетъ мнѣ и народу“.

Бёрне очень хорошо зналъ, какую важную роль играетъ продажная журналистика въ странѣ, лишенной здороваго политическаго устройства, какое вліяніе пріобрѣтаетъ она порою, пользуясь самыми низкими инстинктами общества, какою серьезною преградой является она для протрезвленія общества, и потому очень часто въ своихъ „Письмахъ“ возвращается къ подобной журналистикѣ и къ подобнымъ журналистамъ, стараясь внушить къ нимъ непреодолимое отвращеніе и презрѣніе въ обществѣ. Чтобы дать образчикъ той манеры, того искусства, съ которымъ онъ обращался съ этими плеведами общества и литературы, можно остановиться на портретѣ одного изъ самыхъ безсовѣстныхъ и вмѣстѣ извѣстныхъ продажныхъ писакъ Германіи, именно на портретѣ знаменитаго по своей позорной дѣятельности Ярке. Тѣмъ болѣе позволительно намъ остановиться на этомъ

портретъ, что въ сущности это вовсе не портретъ одного нѣмецкаго Ярке, это портретъ всевозможныхъ Ярке.

Въ этомъ портретѣ онъ изображаетъ всѣ стороны такого писателя, онъ указываетъ на всѣ оттѣнки, которые принимаетъ выраженіе его лица въ различныя минуты, смотря по тому, о чемъ онъ говоритъ. Онъ говоритъ о „сильныхъ міра“ — улыбка на его губахъ, медъ на языкѣ; онъ говоритъ о демократахъ — на губахъ у него пѣна, происходящая отъ бранныхъ словъ; онъ говоритъ о революціи — на языкѣ у него: „преступленіе, разбой, варварство“; однихъ запугиваетъ ужасами революціи, другихъ благословляетъ на преслѣдованіе, свои доносы на честныхъ людей выдаетъ за свое самоотверженіе и любовь къ родинѣ; въ то время, когда онъ не что иное, какъ продажный, а слѣдовательно и вредный писака, онъ увѣряетъ, что онъ спаситель отечества отъ внѣшнихъ враговъ и внутреннихъ крамоль, и что при этомъ самое любопытное—это то, что всегда находятся настолько простодушные люди, которые вѣрятъ и въ его навѣты, и въ то, что онъ дѣйствительно спасъ свое отечество. Такой писака, какъ водится, всегда имѣетъ свой журналъ, свою газету, иногда даже и журналъ и газету, и по цѣлой странѣ распространяетъ такимъ образомъ свое благоуханіе. Говоря про газету Ярке, Бёрне пишетъ: „Это очень забавная камера-обскура; въ ней проходятъ передъ вами, со всѣми своими тѣнями, всѣ склонности и антипатіи, желанія и осужденія, надежды и опасенія, радости и муки, трусливость и безумная смѣлость, цѣли и средства монархистовъ и аристократовъ. Услужливый Ярке! онъ открываетъ все, онъ предохраняетъ всѣхъ!“ Какъ вѣрно подмѣчена эта послѣдняя черта; дѣйствительно всякій Ярке непременно все открываетъ и все предохраняетъ! Тутъ онъ казнитъ революцію, тамъ — билль о реформѣ, сегодня побѣждаетъ республику, завтра — конституціонное правленіе. Отъ одной страны онъ переходитъ къ другой, отъ одного народа къ другому и вездѣ борется съ развращеннымъ духомъ времени. Онъ не ограничивается только тѣмъ, что казнитъ этотъ духъ въ настоящемъ, нѣтъ, онъ заглядывается въ будущее и углубляется въ прошедшее. Ярке, казнивъ всѣ пагубныя революціонныя стремленія, обращается къ исторіи и ей дѣлаетъ строгій выговоръ. „Все назадъ, все назадъ! За двѣ недѣли до этого онъ началъ рубить англійскую революцію 1688, т.-е. имѣющую сто пятьдесятъ лѣтъ отъ роду. Скоро очередь дойдетъ до стар-

шаго Брута, изгнавшаго Тарквиніевъ, и такимъ образомъ господинъ Ярке доберется, наконецъ, до Господа Бога, который былъ такъ предусмотрителенъ, что создалъ Адама и Еву прежде, нежели онъ позаботился создать королей, черезъ что человѣчество забрало себѣ въ голову, что оно можетъ обойтись и безъ нихъ“. Относительно честныхъ публицистовъ употребляются также извѣстные приемы. Поименовани брани, на которую всевозможные Ярке такъ щедры, они стараются увѣрить добродушную публику, что если и находятся писатели, которые борются съ правительствомъ и толкуютъ о томъ, что народъ не пользуется своими правами, что онъ лишенъ свободы, что его деньги растрачиваются непроизводительно и т. д., и т. д., то это только потому, что эти писатели—враги народа и желаютъ ему зла, а что истинные патриоты—это они, журнальные лгуны. „Еслибы мы ненавидѣли нѣмецкій народъ, — пишетъ Бёрне, обрисовавши Ярке, — развѣ употребляли бы мы все усилія для того, чтобы помочь ему освободиться отъ позорнѣйшаго униженія, въ которомъ онъ томится, отъ высокомерія и презрѣнія его враговъ, отъ клеветы всѣхъ продажныхъ писателей—и это для того, чтобы предоставить его на произволъ мелкимъ, скорпроходящимъ и высокопочтеннымъ опасностямъ свободы? Ненавидь мы нѣмцевъ, мы писали бы такъ, какъ вы, господинъ Ярке, но все же мы не брали бы за это денегъ“...

Бёрне очень хорошо зналъ, что, несмотря на нравственную ничтожность всевозможныхъ Ярке, противъ нихъ, тѣмъ не менѣе, нужно бороться, такъ какъ, при отсутствіи политическаго развитія въ странѣ, подобные писатели могутъ имѣть вліяніе на общество. Онъ взывалъ къ этой борьбѣ и долго не находилъ себѣ эха въ нѣмецкой литературѣ, на которую онъ много разъ горько жаловался, и при этихъ жалобахъ онъ не столько нападалъ на пошлость нѣмецкихъ писателей, сколько на ихъ безтактность. Одинъ изъ его біографовъ, именно Бейерманъ, передаетъ, что Бёрне часто повторялъ, говоря о нѣмецкихъ писателяхъ: еслибы они умѣли хоть въ-время молчать! На помощь Бёрне долго никто не являлся и онъ одинъ боролся съ апатією, въ которую было погружено современное ему общество. Бёрне, конечно, понималъ очень хорошо, что его литературная дѣятельность не можетъ вырвать общество, народъ изъ власти произвола, что для этого нужно, чтобы само общество, самъ народъ захотѣлъ принять дѣятельное участіе въ своемъ освобожденіи. Но весь вопросъ заключается

именно въ томъ, чтобы народъ захотѣлъ „захотѣть“. Какъ только это случится, народъ будетъ свободенъ. „Люди такъ глупы! — восклицаетъ Бёрне. — Еслибы они только одинъ день хотѣли, или одинъ день не хотѣли, тогда былъ бы, по крайней мѣрѣ, конецъ всѣмъ страданіямъ, происходящимъ отъ людей, и остались бы только наводненія, землетрясенія, болѣзни, а эти бѣдствія ужъ не Богъ знаетъ что. Но *хотѣть*! Въ этомъ-то и дѣло. *Не хотѣть* — это еще больше. Императоръ Максимилианъ имѣлъ придворнаго шута, который сказалъ ему однажды: *Еслибы мы всѣ съ одинъ прекрасный день не захотѣли больше, что ты сталъ бы тогда дѣлать?* Я не знаю, — прибавляетъ Бёрне, — что отвѣчалъ на это императоръ, но дуракъ, который болѣе чѣмъ триста лѣтъ тому назадъ выразилъ такую великую мысль, долженъ былъ обладать возвышеннымъ умомъ“. Все, что Бёрне могъ сдѣлать для нѣмецкаго народа, онъ сдѣлалъ. Конечно, онъ не освободилъ его отъ предрасудковъ; онъ не освободилъ его отъ того порядка, который былъ такъ ненавистенъ автору „Парижскихъ Писемъ“; онъ не далъ ему свободы печати; онъ не далъ истиннаго народнаго представительства; онъ не превратилъ пороковъ въ добродѣтели, но онъ будилъ его, словомъ, онъ училъ, какъ прежнюю литературною дѣятельностью, такъ и своими „Парижскими Письмами“, какъ народъ долженъ „хотѣть“; обращаясь къ нѣмецкому народу, онъ говорилъ ему: *встань и пойдѣ!* Имѣвшіе уши услышали, встали и пошли. Если нѣмецкій народъ не дошелъ еще, то онъ все-таки идетъ, и это уже не бездѣлица, и въ томъ, что онъ идетъ, Бёрне оказалъ ему громадную услугу. Безъ ложной скромности, Бёрне самъ опредѣлилъ то значеніе, которое онъ имѣлъ для нѣмецкаго народа, когда онъ говорилъ: „развѣ я не нагналъ пурпуръ гнѣва на тысячи безкровныхъ щекъ и не заставилъ ихъ въ то же время зардѣться румянцемъ стыда? Развѣ я не воспламенилъ множество холодныхъ сердецъ? Какое вамъ дѣло до того, что зажигаетъ это пламя — костеръ ли мой, или олимпіамъ, принесенный на мой алтарь? Это только меня касается. Довольно того, что оно горитъ. Не будьте неблагодарны къ одному изъ вашихъ вѣрнѣйшихъ слугъ, который вмѣстѣ съ другими помогать будить васъ“. Въ этомъ постоянномъ стремленіи будить, въ этой постоянной проповѣди на тему „хотѣть“, заключается то значеніе, которое имѣли для нѣмецкаго общества „Па-

рижскія Письма“ Бёрне, и главнымъ образомъ та доля ихъ, которая касается Германіи.

Подводя мысленно итогъ всему тому, что Бёрне говорилъ въ „Парижскихъ Письмахъ“ о Германіи, о безправномъ положеніи нѣмецкаго народа и произволѣ нѣмецкихъ правительствъ, въ головѣ невольно рождается вопросъ, который, быть можетъ, приходилъ на умъ и нашимъ читателямъ: не клеветалъ ли, въ самомъ дѣлѣ, Бёрне на политическое состояніе Германіи, когда онъ рисовалъ его такими мрачными и чуть не безнадежными красками? Развѣ самыя „Парижскія Письма“ не должны, скажутъ намъ, служить доказательствомъ, что Бёрне дѣйствительно клеветалъ на Германію; развѣ, продолжаютъ насъ спрашивать, возможно въ странѣ, гдѣ властвуетъ произволъ, говорить о произволѣ то, что говорить о немъ Бёрне; развѣ въ странѣ, гдѣ граждане безправны, возможно такъ пользоваться своими правами, какъ пользуется ими Бёрне; развѣ тамъ, гдѣ нѣтъ свободы печати, можно до такой степени свободно говорить о рабствѣ литературы и журналистики, какъ мы это видѣли въ „Парижскихъ Письмахъ“; развѣ при деспотическомъ правительствѣ возможно такъ поражать деспотизмъ, какъ поражаетъ его Бёрне; развѣ мыслима такая борьба, развѣ мыслима такая публичная и позорная казнь, которою предастъ Бёрне нѣмецкія правительства и раболовство народа, при господствѣ произвола, при безправности общества? Нѣтъ, политическое положеніе страны не такъ еще дурно, шевелится въ головѣ мысль, если такой писатель, какъ Бёрне, можетъ говорить то, что онъ высказывалъ въ своихъ „Парижскихъ Письмахъ“. Слѣдуетъ ли, однако, изъ этого, что Бёрне клеветалъ на свою родину и клеветалъ на свой народъ? Ни въ какомъ случаѣ. Изъ этого слѣдуетъ только одно, что когда какой-нибудь иностранный писатель говоритъ о дурномъ политическомъ положеніи своей страны, когда онъ жалуется на произволъ власти, когда онъ плачется на безправное положеніе народа, когда онъ толкуетъ объ отсутствіи свободы печати, то мы, ни въ какомъ случаѣ, не должны прилагать ко всему одного аршина. Требованія и идеалы политическаго писателя обусловливаются состояніемъ цивилизаціи той страны, къ которой принадлежитъ самъ писатель, и Бёрне былъ потому правъ, не довольствуясь для Германіи тѣмъ, что существовало въ Герма-

ни. То, что въ одной странѣ можетъ казаться вѣрхомъ благополучія, то въ странѣ болѣе развитой далеко еще не соотвѣтствуетъ требованіямъ ея передовыхъ людей.

Статья пятая.

I.

Германія, однако, не поглощала всего вниманія Бёрне. Онъ съ напряженнымъ интересомъ слѣдилъ за событіями, развертывавшимися во Франціи, и его „Парижскія Письма“ показываютъ лучше любого термометра, какъ быстро спадалъ тотъ тропическій жаръ, который онъ чувствовалъ во всемъ своемъ существѣ въ первыя минуты своего пребыванія въ Парижѣ послѣ іюльской революціи. Тысячи надеждъ, тысячи самыхъ привлекательныхъ иллюзій тѣснились въ его груди; когда онъ слышалъ громъ этой революціи, онъ летѣлъ въ Парижъ и, какъ мы видѣли, въ восторгѣ хотѣлъ цѣловать ту мостовую, которая орошена была кровью героевъ; издалека все его приводило въ какой-то дѣтскій восторгъ, но какъ только приблизился онъ къ театру событій, какъ только прожилъ онъ нѣсколько дней, нѣсколько недѣль, черная тучка заволокла его мысли и онъ съ боязнью спрашивалъ себя: того ли онъ ждалъ? сбылись ли его мечты? Мѣсто энтузіазма заступило разочарованіе, и чѣмъ сильнѣе былъ въ первыя минуты этотъ энтузіазмъ, тѣмъ сильнѣе было въ первыя минуты разочарованіе, когда онъ увидѣлъ, какъ далека была дѣйствительность отъ того идеала, который онъ создалъ себѣ. Оно и понятно. Вдали онъ жилъ чувствомъ; вблизи, когда онъ сталъ лицомъ къ лицу съ дѣйствительностью, разсудокъ потребовалъ отчета и подчинилъ себѣ чувство. И въ своихъ чрезмѣрныхъ ожиданіяхъ и затѣмъ въ своемъ разочарованіи Бёрне былъ неправъ.

Нельзя было ожидать отъ іюльской революціи, еслибы даже парламентское управленіе установилось послѣ нея болѣе прочно, нежели то случилось на самомъ дѣлѣ, чтобы эта революція передѣлала цѣлый міръ, на что въ первыя минуты, въ порывѣ увлеченія, рассчитывалъ Бёрне. Іюльская революція не только не могла однимъ уда-

скія характеристики людей и нравовъ, воззрѣнія автора на многіе изъ вопросовъ политики, на социальныя вопросы, и воззрѣнія эти такого рода, что читатель далеко не безъ пользы можетъ остановиться и задуматься надъ ними.

Бёрне былъ отлично поставленъ въ Парижѣ, чтобы получить самое полное понятіе о людяхъ и чтобы вѣрно судить о событіяхъ. Пріѣзду его въ Парижъ предшествовала слава его, какъ писателя, которая тотчасъ открыла ему всѣ двери. Во Франціи въ то время еще процвѣтало то, что называется салонами, т.-е. было нѣсколько центровъ, нѣсколько домовъ, куда стекалось все, что было только замѣчательнаго въ политикѣ, литературѣ, искусствѣ; дипломаты, художники, литераторы, высшія лица въ государствѣ сталкивались въ этихъ салонахъ, гдѣ первенствовали умъ и талантъ, а не бездарности и лакеи, облитые золотомъ. Само собою разумѣется, что Бёрне тотчасъ получилъ доступъ во всѣ такіе салоны, гдѣ онъ и увидѣлъ чуть не всѣхъ замѣчательныхъ людей Франціи. Черезъ нѣсколько дней послѣ пріѣзда въ Парижъ, Бёрне уже писалъ: „Вчера вечеромъ я былъ у Лафайета, у котораго по четвергамъ собирается общество. Въ трехъ гостинныхъ набралось человѣкъ триста, толпа была такая, что буквально нельзя было пошевелинуться. Лафайетъ, которому теперь семьдесятъ-три года, съ виду еще довольно бодръ и свѣжъ. У него очень доброе лицо, онъ постоянно привѣтливъ и каждому пожимаетъ руку“... Въ другой разъ онъ отправляется въ салонъ знаменитаго живописца Жерара, гдѣ онъ встрѣчаетъ между французскими знаменитостями и своихъ соотечественниковъ, какъ Гумбольдта, Мейербергера и другихъ. Журнальный міръ принимаетъ Бёрне, какъ представителя нѣмецкой литературы, съ большимъ почетомъ, и это разностороннее знакомство, которое хотя и не любилъ Бёрне, говоря, что онъ не любитъ знакомиться съ отдѣльными личностями, а предпочитаетъ человѣческія массы и книги, съ которыми не такъ устаешь, — тѣмъ не менѣе было полезно для Бёрне въ томъ отношеніи, что безъ этихъ связей онъ никогда, разумѣется, такъ быстро не составилъ бы себѣ вѣрнаго понятія объ общемъ положеніи Франціи.

Пророчества, когда они основаны на предчувствіяхъ, безпочвенныхъ предположеніяхъ, разумѣется, не имѣютъ никакого смысла, хотя бы они какъ-нибудь случайно и оправдывались, но пророчества, которыя выходятъ изъ глубокаго, самаго проникательнаго соображе-

ція, когда они вытекають изъ сопоставленія уже совершившихся фактовъ, во всякомъ случаѣ, любопытны. Ровно черезъ два мѣсяца послѣ своего прїѣзда во Францію, только черезъ два мѣсяца послѣ своего перваго письма, помѣченнаго 17-мъ сентября 1830 года, Вёрне 17-го ноября дѣлалъ Франціи, іюльской монархіи такія предсказанія, которыя прїнесли бы ей несомнѣнную пользу, еслибы тогда же на этихъ предсказаніяхъ серьезнѣе остановились. „Удивительное дѣло!—говорилъ Вёрне.— Это іюльское правительство едва успѣло вылупиться изъ яйца, еще не совсѣмъ очистилось отъ желтка, а уже покрикиваетъ какъ старый пѣтухъ и расхаживаетъ такъ гордо и самоувѣренно, что и не подходитъ къ нему. Большинство въ палатѣ не только оказываетъ ему поддержку въ его необдуманныхъ поступкахъ, но еще подстрекаетъ къ нимъ. Это большинство — землевладѣльцы, богатые банкиры, торгаши, которые гордо называютъ себя промышленнымъ сословіемъ. Эти люди цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ сражались со всякою аристократіею, а чуть только побѣдили ее, они, не успѣвъ еще стереть свой потъ, хотятъ уже создать изъ себя новую аристократію — аристократію денежную. Горе этимъ ослѣпленнымъ глупцамъ,—пророчествуетъ Вёрне,—если ихъ желанія увѣнчаются успѣхомъ; горе имъ, если небо не сжадется и не остановитъ ихъ прежде, чѣмъ они дойдутъ до цѣли. Аристократія дворянства и духовенства была во Франціи не что иное, какъ принципъ, убѣжденіе; съ нею можно было сражаться, ее можно было побѣждать, не нанося этимъ вреда личнымъ житейскимъ интересамъ дворянъ и духовныхъ. Если французская революція и причинила такой вредъ, то это было только средствомъ, а не цѣлью, только неудобоустраннимъ, но отнюдь не необходимымъ послѣдствіемъ борьбы. Если же привилегіи явятся въ соединеніи съ обладаніемъ собственностью, то французскій народъ, главнѣйшая страсть котораго есть стремленіе къ равенству, захочетъ рано или поздно потрясти то, на чемъ будетъ основана новая аристократія — т.-е. *собственность*, а это повлечетъ за собою такое распредѣленіе имуществъ, такой грабежъ и такіе ужасы, въ сравненіи съ которыми явленія первой революціи покажутся только шуткой и игрушкой“. Эти нѣсколько строкъ разсужденія Вёрне показываютъ не только то, какъ вѣрно онъ смотрѣлъ на послѣдствія присвоенія себѣ власти буржуазіей, не только то, что черезъ два мѣсяца послѣ іюльской революціи онъ точно опредѣлялъ причины будущей — февральской революціи, но онъ дѣлаетъ нагляднымъ то разочарованіе

Бёрне, ту потерю иллюзіи относительно переворота 30-го года, о которой было уже упомянуто.

Въ какую сторону ни обращалъ свой взоръ Бёрне, вездѣ видѣлъ онъ антагонизмъ, антагонизмъ политическій, антагонизмъ соціальный. Правительство, вышедшее изъ революціи, могло бы сдѣлать многое, чтобы помочь мирному разрѣшенію поднятыхъ вопросовъ, но у него не было для того ни желанія, ни таланта. Много разъ возвращается онъ въ своихъ „Парижскихъ Письмахъ“ къ правительству іюльской монархіи, и каждый разъ, если только онъ не сравнивалъ его съ правительствами другихъ странъ, онъ относился къ нему съ большою ѣдкостью и ожесточеніемъ. Но лишь только онъ начиналъ заговаривать о другихъ правительствахъ, въ особенности нѣмецкихъ, тонъ его тотчасъ мѣнялся и онъ восклицалъ: „Сохрани мнѣ, Господи, моего короля Луи-Филиппа! Я, право, упрекаю себя, что писалъ прежде противъ него; но больше я уже не буду этого дѣлать“! Писалъ же онъ противъ Луи-Филиппа часто и, главное, зло; нѣсколько разъ Бёрне рисовалъ его портретъ, которыми, конечно, если Луи-Филиппъ только зналъ о немъ, онъ не могъ быть доволенъ. Когда Бёрне сознавался, что улетѣла его мечта о свободѣ Франціи, когда онъ жаловался, что послѣ того, что „луга и поля покрылись зеленью“, снова „выпалъ снѣгъ“, онъ не могъ простить Луи-Филиппу, заставившему солгать Лафайета, увѣрявшаго народъ, что „можетъ быть такой король, который любить свободу“. Власть портитъ! говорилъ Бёрне, и Франція еще больше укрѣпила его въ этомъ мнѣніи. „Я вижу какъ нельзя лучше, — рассуждалъ онъ, — что какъ только достигаешь власти, тотчасъ теряешь сначала сердце, потомъ голову, и отъ разсудка удержишь ровно настолько, насколько нужно, чтобы не допустить сердце снова занять должное мѣсто. Тутъ нѣтъ ни двусмысленности, ни недоразумѣнія — тутъ буквально не сдержали слова, народу не дали того, что было ему обѣщано“. Кто въ этомъ виноватъ — виновать Луи-Филиппъ: зачѣмъ же, спрашивается, произведена была іюльская революція, если вся разница въ томъ, что прежде на престолѣ сидѣлъ человѣкъ, котораго звали Карлъ, а теперь сидитъ человѣкъ, котораго зовутъ Луи-Филиппъ. Бёрне никакъ не можетъ понять пристрастія народа къ однимъ именамъ и ненависти къ другимъ; онъ жалуется на тѣхъ, которые упрекали его, когда онъ говорилъ, что народы должны прогнать правителей, какъ только имъ не попра-

вится ихъ носъ. „Быть можетъ,—говорить онъ,—утверждать это было уже слишкомъ. Но нельзя однако не сознаться, что носъ—чрезвычайно важная вещь. Носъ—это чрезвычайно важная часть тѣла; носъ можетъ дѣлать человѣка красивымъ или безобразнымъ; изъ-за носа можно любить человѣка или его ненавидѣть, однимъ словомъ, носъ остается носомъ, но въ имени-то что? съ ироніею спрашиваетъ Бёрне. Богъ, мой Богъ! Что такое имя? Брауншвейгъ не хотѣлъ имѣть Карла и взялъ себѣ Вильгельма; бельгійцы не хотѣли Вильгельма и взяли себѣ Леопольда; французы тоже не хотѣли имѣть Карла и взяли себѣ Филиппа... Мой носъ мнѣ въ тысячу разъ милѣе“!

Говоря такимъ образомъ, Бёрне хотѣлъ высказать, что между Карломъ X и Луи-Филиппомъ нѣтъ никакой разницы; въ припадкѣ своего политическаго раздраженія и увлеченія онъ шелъ даже дальше и говорилъ, что Карла X предпочитаетъ Луи-Филиппу. Одинъ нарушилъ хартію, нарушилъ ее и другой; а только потому, что одинъ зовется Филиппомъ, другой же Карломъ, нельзя еще вывести, что одному позволительно ее нарушать, а другому нѣтъ. Одинъ нарушилъ ее въ припадкѣ страсти, другой же самую страсть хочетъ превратить въ право, выговаривая себѣ право быть несправедливымъ. Одинъ уничтожилъ конституцію въ силу своего произвола; другой дѣлаетъ то же самое, но только сохраняетъ форму законности; но развѣ это измѣняетъ самую сущность дѣла, развѣ преступленіе становится меньшимъ преступленіемъ, когда его совершаетъ не одинъ человѣкъ, а двѣсти человѣкъ? „Развѣ,—спрашиваетъ Бёрне,—тираннія закона представляется меньшею тиранніею, нежели тираннія произвола? И еслибы всѣ тридцать милліоновъ французовъ сидѣли въ палатѣ, и еслибы они всѣ подали голосъ за законъ, который предоставлялъ бы правительству право уничтожить личную свободу, свободу печати, нарушать священный домашній очагъ—то и они не имѣли бы на это права“.

Мы нарочно привели это мѣсто, чтобы показать, къ какимъ несправедливымъ иногда выводамъ приходитъ Бёрне, когда онъ находится исключительно подъ вліяніемъ озлобленія и раздраженнаго чувства. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что законъ тоже можетъ быть и очень часто бываетъ возмутителемъ, особенно когда этотъ законъ какъ бы устанавливаетъ тираннію, освящаетъ произволъ, предоставляя власти полнѣйшую свободу дѣйствій; тогда въ сущности

нѣтъ законовъ, потому что воля одного можетъ создать, можетъ и уничтожить всѣ законы; но ничего подобнаго не было конечно во Франціи при Луи-Филиппѣ. Законы французскіе могли быть нехороши, но они не устанавливали произвола; напротивъ, они строго опредѣляли предѣлы, за которые не могла выходить королевская власть; а какъ только положены предѣлы, какъ бы широки они ни были, произволъ уже не имѣетъ мѣста. Произволъ потому и зовется произволомъ, что онъ не знаетъ никакихъ предѣловъ, что онъ собственно есть начало и конецъ всей книги законовъ, что ему подчинены всѣ законы, всѣ права.

Но Бёрне былъ недоволенъ, потому что ему хотѣлось лучшаго, потому что онъ надѣялся на лучшее; скажи ему однако кто-нибудь, что порядокъ іюльской монархіи будетъ перенесенъ въ Германію, — нѣтъ сомнѣнія, что сердце его запрыгало бы отъ радости. Бёрне надѣялся, что сбудутся слова, приписанныя Лафайету, который однако никогда ихъ не произносилъ, будто „Луи-Филиппъ — это лучшая республика“. Онъ думалъ, что Луи-Филиппъ будетъ носить только одно имя короля, а въ сущности будетъ такимъ же гражданиномъ, какъ и всѣ другіе. Поэтому, когда онъ увидѣлъ, что дѣло идетъ вовсе не объ одной кличкѣ, и онъ принимаетъ всѣ атрибуты королевской власти, то брови его нахмурились. Бюджетъ Луи-Филиппа его особенно раздосадовалъ, и онъ написалъ, по поводу четырнадцати милліоновъ франковъ, опредѣленныхъ „королю-буржуа“, какъ называли его всѣ и какъ называетъ его Бёрне, одно изъ самыхъ злыхъ своихъ „Писемъ“. Бёрне не любитъ большихъ королевскихъ бюджетовъ; со стороны республиканца, какинъ былъ авторъ „Парижскихъ Писемъ“, въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. „Дѣло вовсе не въ томъ, — разсуждалъ Бёрне, — даютъ ли какому-нибудь королю нѣсколько милліоновъ болѣе или нѣсколько милліоновъ менѣе за то, что онъ съ необыкновенною добротою соглашается править — пусть ему дадутъ сколько ему нужно, сколько онъ хочетъ, лишь бы онъ былъ доволенъ и оставлялъ насъ въ покоѣ; дурное расположеніе духа правителя всегда вредно для страны, и во всѣ времена народъ долженъ былъ выкупать себѣ свободу и счастье. Гораздо важнѣе, по мнѣнію Бёрне, другое обстоятельство, именно то, что каждая лишняя копѣйка, которую народъ даетъ своему государю, который не употребляетъ ее ни на свои нужды, ни на нужды своего семейства,

служить къ тому, чтобы образовать и кормить дворъ, который какъ ядовитый туманъ становится между народомъ и правителемъ и производитъ печальный мракъ вокругъ трона“. Вотъ на этомъ-то основаніи, чтобы не было „ядовитаго тумана“, чтобы не было „пагубнаго мрака“ вокругъ трона, Бёрне и желаетъ, чтобы королевскій бюджетъ былъ какъ нельзя болѣе ничтоженъ. Ничтожность его Бёрне доводитъ до нуля,—по крайней мѣрѣ Луи-Филиппу, который требовалъ себѣ восемнадцать милліоновъ франковъ въ годъ, въ то время, когда его частные доходы доходили до двѣнадцати милліоновъ, онъ не желалъ никакого бюджета. Бёрне рассказываетъ, что жители Буржа отправили въ палату прошеніе, въ которомъ настаивали, чтобы королю было дано не больше полу-милліона франковъ. „По моему мнѣнію,—говоритъ Бёрне,—тутъ пол-милліона лишнихъ,—я бы ему ничего не далъ. Кто желаетъ имѣть честь управлять большимъ народомъ, тому должно это нѣсколько стоить. Франція могла изъ шести милліоновъ гражданъ выбрать себѣ короля, а король Филиппъ не могъ бы себѣ выбрать никакого народа; народы рѣдки“. Еще съ большимъ ожесточеніемъ возстаетъ Бёрне противъ тѣхъ суммъ, которыя назначались сыну Луи-Филиппа: „французскому наслѣдному принцу,—говоритъ онъ,—чтобы время ему не показалось слишкомъ скучнымъ, пока онъ вступитъ на престолъ, опредѣленъ милліонъ франковъ... Боже мой, кто же дастъ бѣдному народу вознагражденіе за то, что онъ долженъ съ трепетомъ выжидать смерти дурного правителя? Но придворные заботятся о томъ, чтобы наслѣдный принцъ смолоду привыкалъ къ мотовству; они боятся: а что, если, вступивъ на престолъ въ зрѣлыя годы, у него не будетъ достаточно воспримчивости къ пороку“?

Затѣмъ Бёрне переходитъ къ самому разбору королевскаго бюджета, который, сравнивая съ бюджетами другихъ странъ, гдѣ нѣтъ конституціоннаго порядка, онъ находитъ довольно мизернымъ. Четырнадцать милліоновъ франковъ! Но какъ, спрашиваетъ Бёрне, распределяются эти четырнадцать милліоновъ, на что они идутъ? и тутъ онъ обращается къ подробному расчету, который если и заключаетъ въ себѣ нѣкоторую каррикатурность, то тѣмъ не менѣе въ каррикатурѣ отражается въ значительной степени истина. Онъ смотритъ на бюджетъ и видитъ, что на аптеку и доктора опредѣлено 80 тыс. фр. Онъ сравниваетъ эту сумму съ тою, которую онъ тра-

титъ на себя, бывая боленъ разъ въ году и зная, сколько стоитъ „возможность — не вылечиться“. Дѣлая подробный расчетъ, онъ находитъ совершенно достаточною сумму въ 8.630 фр. на лечение короля, его семейства и придворныхъ. Затѣмъ „содержаніе ливрейныхъ лакеевъ — 200 т. фр. Слишкомъ много! Кухня — 780 т. фр. Объ этомъ я поговорю въ моемъ будущемъ сочиненіи „о желудкѣ Людовика-Филиппа“. Погребъ — 180 т. фр. Считая бутылку вина по пяти франковъ, выйдетъ, что въ годъ потребляется тридцать шесть тысячъ бутылокъ, а въ день сто. — Но скажите, — спрашиваетъ Вёрне, — могутъ ли мужъ, жена, сестра и семеро дѣтей, большею частью женскаго пола, выпить въ день сто бутылокъ? И не думайте, что тутъ въ счетъ вино и для угощенія постороннихъ посѣтителей; для этихъ послѣднихъ опредѣлено еще 400 т. подъ рубрикою: „празднества“. Далѣе. На содержаніе трехсотъ лошадей ежегодно — 900 тыс. фр.; стало бытъ, каждая лошадь обходится въ 3 тыс. фр. Одна парижская газета замѣчаетъ по этому поводу, что тысячи человѣкъ въ Парижѣ сочли бы себя счастливыми, еслибы могли сдѣлать свою постель изъ соломы этихъ лошадей“... Перечисляя далѣе статьи бюджета, онъ приходитъ къ отопленію, и подъ впечатлѣніемъ извѣстій, что тысячи поляковъ за участіе въ революціи сосланы въ Сибирь, онъ говоритъ: „на отопленіе 250.000 фр. Съ этимъ можно было бы согрѣть всю Сибирь, и дрова болѣе полезно были бы употреблены тамъ, чтобы по крайней мѣрѣ наши несчастные поляки не замерзли“. Затѣмъ, приводя сумму въ 370 тыс. фр. на освѣщеніе, Вёрне удивляется, что при такой большой затратѣ на свѣтъ Луи-Филиппъ все-таки остается въ „потемкахъ“. Приводя кромѣ того изъ бюджета цѣлый рядъ другихъ расходовъ на театръ, подарки, путешествія, однимъ словомъ, на все, что зовется *les menus plaisirs* высокихъ особъ, Вёрне спрашиваетъ: а что еще стоятъ такъ-называемыя „большія удовольствія“, какъ-то: „война, завоеванія, любовницы, лейбъ-гвардія, любимцы, подкупы, тайная полиція“? И еслибы еще ко всему, прибавляетъ авторъ „Парижскихъ Писемъ“, всѣ эти суммы шли дѣйствительно на то, на что онѣ назначены, — но въ дѣйствительности нѣтъ ничего подобнаго. Можетъ быть, только четвертая часть идетъ по назначенію, „три же четверти разворовываются, попадаютъ въ руки нѣсколькихъ покровительствуемыхъ поставщиковъ, которые дѣлать выгоду съ придворными министрами. Но при этомъ, — замѣ-

часть Бёрне, — обмануть не король, а народъ, который доставляетъ деньги на *liste civile*“.

Какъ только Бёрне поссорился съ монархіею, вышедшею изъ іюльской революціи, онъ не упускалъ уже болѣе случая, чтобы показывать ее въ самомъ непривлекательномъ свѣтѣ. Одно изъ двухъ, говорилъ онъ, ярко опредѣляя свое направленіе: или абсолютная монархія, или республика. Побѣда должна принадлежать или абсолютистамъ, или республиканцамъ; что же касается до іюльской монархін, до *juste-milieu*, то Бёрне съ рѣшительностью говоритъ: „Послѣ того, что изъ нея будетъ выжатъ весь сокъ, она будетъ выброшена на улицу, какъ лимонная корка“. Бёрне злобно смѣялся, рассказывая, какъ правительство Луи-Филиппа устраиваетъ фальшивыя тревоги въ видѣ выстрѣла въ короля, причѣмъ, несмотря на всѣ старанія покушившагося на убійство быть открытымъ, его все-таки полиція тщательно не открываетъ, опасаясь, конечно, разсѣяться, узнавъ въ человѣкѣ, пустившемъ выстрѣлъ, одного изъ вѣрныхъ слугъ, одного изъ преданныхъ тайной полиціи. Не рѣшаясь иногда на такое радикальное средство какъ выстрѣлъ, правительственные агенты прибѣгаютъ къ другому орудію деспотическихъ государствъ: къ муссированію заговора. Что абсолютныя государства прибѣгаютъ къ такимъ средствамъ, это понятно и можетъ быть объяснено; цѣль ихъ очевидна: нужно отдѣлаться отъ нѣсколькихъ десятковъ горячихъ головъ, нужно упрятать двадцать, тридцать, сто или наконецъ больше подозрительныхъ личностей и притомъ еще напугать цѣлое общество, примѣра ради, чтобы оно было болѣе почтительно; и вотъ изобрѣтается такое средство; но зачѣмъ же это дѣлать въ конституціонной монархіи, гдѣ существуетъ гласность, гдѣ на слѣдующій день нѣсколько журналовъ прокричатъ, что правительство обманывается, что никакого серьезнаго выстрѣла, никакого серьезнаго заговора не было, и гдѣ они доказываютъ это тѣмъ, что дѣйствительно никто не арестованъ. Бёрне находитъ это до-нельзя глупымъ, безцѣльнымъ, и потому всѣми силами возстаетъ противъ конституціонной монархін, предпочитая даже абсолютную монархію. О вкусахъ, конечно, не спорять, но нельзя не сказать, что на этотъ разъ у Бёрне довольно оригинальный вкусъ, доказывающій только одно: необыкновенную впечатлительность автора „Парижскихъ Писемъ“. Іюльская монархія не удовлетворяла его, что довольно понятно, и вотъ онъ призн-

ваетъ на нее гнѣвъ боговъ; но переселись только Бёрне въ свое отечество—и нѣтъ никакого сомнѣнія, что онъ закричалъ бы: я сдаюсь! іюльская монархія побѣдила меня! Изъ такого опыта Бёрне, конечно, могъ бы вывести для себя только одну мораль: какова бы ни была конституціонная монархія, сколько бы ни было на ней печальныхъ прорѣхъ, все-таки она лучше абсолютной монархіи.

Нѣсколько разъ возвращался Бёрне къ положенію іюльской монархіи и каждый разъ говорилъ: я не вижу другого выхода, какъ новую революцію! Причину этого печальнаго положенія онъ видѣлъ въ одномъ: въ выборномъ законѣ, который всю власть передалъ въ руки однимъ богатымъ. „Здѣсь,—писалъ онъ разъ,—дѣла идутъ дурно, сушь простыль, и при этомъ отцы народа, какъ дѣтямъ, кричатъ ему протяжно: не обожгитесь! Честный народъ кровью и потомъ завоевалъ себя свободу, а мошенническая палата, сидя въ туфляхъ въ своей конторѣ, говоритъ ему: вы не умѣете распоряжаться съ деньгами, мы будемъ за васъ управлять. Новая революція,—вотъ единственное, что можетъ поправить дѣло“. Нуженъ новый избирательный законъ, на который палата, состоящая только изъ представителей богатаго класса, никогда не согласится, не желая лишать себя власти. Для того, чтобы добыть этотъ законъ, нужно употребить силу, которую народъ оставилъ за собою. Вотъ отчего революція казалась Бёрне неизбѣжною, вотъ почему она и совершилась на самомъ дѣлѣ, но только восемнадцать лѣтъ спустя.

Какъ Бёрне нападалъ на нѣмецкія правительства, любя всею душою нѣмецкій народъ, такъ точно, нападая на правительство Франціи, онъ съ нѣжностью относился къ французскому народу. Любя нѣмецкій народъ, онъ выставялъ все-таки на видъ его недостатки; онъ горько жаловался, какъ видѣлъ читатель, на недостойную сносливость его, на раболѣпство, на отсутствіе энергіи и достоинства; любя французскій народъ, онъ не выставялъ точно также на видъ однихъ его доблестей,—онъ упрекалъ его въ легкомысліи, въ недостаткѣ выдержанности, стойкости, въ излишней, наивной довѣрчивости. Бёрне охарактеризовалъ этотъ народъ двумя словами, которыми нельзя отказать въ большой мѣткости. Французъ, сказалъ Бёрне, это „герои и вмѣстѣ съ тѣмъ актеры“. Всѣ несчастныя свойства этого народа выражены въ одномъ словѣ: „актеры“, точно также, какъ всѣ хорошія—въ словѣ: „герои“. Если во Франціи много можно найти представи-

тели одного из этих свойств, то не мало и представителей другого—героев, и июльская монархия обязана была им своим существованием. Но как отплатила она тем героям, которые за нее дали жертвою свою жизнь! Как отплатила июльская монархия Лафайету, как отплатила она молодежи! Никто из людей Франции той эпохи не низнал у Бёрне такого уваженія, как фигура этого безупречно честнаго старца. Бёрне говорил о немъ какъ объ „единственномъ прекрасномъ характерѣ новаго времени“. Его жизнь о Лафайетѣ темъ болѣе интересно, что оно было результатомъ личнаго знакомства съ этимъ „героемъ“ Франции. „Ему скоро будетъ восемьдесятъ лѣтъ,—говоритъ авторъ „Парижскихъ Писемъ“,—онъ испыталъ всевозможныя разочарованія, изгнѣны, лицеѣрныя дѣйствія, насилія, и все-таки вѣрнѣ въ добродѣтель, истину, свободу и справедливость. Еще теперь, любимый, правда, многоли, уважаемый всѣми, но въ то же время и не признанный никѣмъ по достоинству,—онъ не видитъ себя обманутымъ только со стороны своихъ враговъ, которые выказываютъ свою ненависть открыто; друзья же пользуются его довѣріемъ, злоупотребляють имъ, обманываютъ его и часто издѣваются надъ нимъ. Онъ точно божество во храмѣ,—выражается Бёрне,—во имя котораго лицеѣры-жрецы требуютъ того, чего имъ самимъ хочется, тайно подписываясь въ то же самое время надъ довѣрчивымъ народомъ и его святынею. Но онъ неуклонно, какъ солнце, идетъ своею дорогою, не заботясь, кто и для чего пользуется его совѣтомъ: добрые ли люди для добрыхъ дѣлъ, или злые для злыхъ. Сколько времени пройдетъ еще прежде, чѣмъ Франція сдѣлается достойною Лафайета! Но когда-нибудь это случится.“

Бёрне твердо вѣрилъ въ то, что Франція, несмотря ни на какія превратности, должна въ концѣ концовъ, все-таки, подняться и установить, наконецъ, ту свободу, которой она приносила въ жертву такъ много крови, такъ много отчаянныхъ, геройскихъ усилій. Какъ на залогъ блестящей будущности Франціи, онъ указывалъ не только на то, что сдѣлано было ею въ прошедшемъ, но также и на ту молодежь, которая всегда съ такимъ достоинствомъ ведетъ себя въ минуты испытанія. Бёрне горячо относился къ французской молодежи, не только къ молодежи июльской монархіи, но вообще къ молодежи, которая всегда при всякомъ случаѣ заявляла себя съ „геройской“ стороны. Въ этой молодежи нѣтъ трусливости, въ ней нѣтъ того некрасиваго свойства.

которое заставляет людей рѣшаться на самыя отчаянныя вещи, на ужасныя заговоры, и затѣмъ, какъ только заговоръ отереть, тотчасъ каждый старается всю вину взвалить на другого, каждый становится предателемъ и своимъ недостойнымъ поведеніемъ возбуждаетъ только презрѣніе въ судьяхъ, безъ всякой выгоды для себя. Лучше въ такомъ случаѣ сидѣть спокойно и не подниматься на заговоры. Кто не помнитъ, кто не знаетъ поведенія французской молодежи во всѣхъ тѣхъ безчисленныхъ процессахъ, гдѣ она судилась за заговоры противъ іюльской монархіи; кто не знаетъ этихъ рѣчей, которыя всегда кончались однимъ припѣвомъ: „да, мы желали паденія этого недостойнаго правительства, мы желали и желаемъ установить республику“!

Французская молодежь горда, и эту гордость восхвалялъ Бѣрне. Молодежь не приходила въ восторгъ, когда правительство, или, какъ это было во время іюльской монархіи, палата, за то, что молодежь приняла участіе въ восстановленіи порядка, находя вспышку несвоевременною, благодарила ее именемъ страны. Напротивъ, она гордо отвѣчала: „вашей благодарности намъ не надо; дайте намъ свободу, которую вы намъ обѣщали, la liberté, qu'on nous marchande maintenant et que nous avons payé comptant au mois de Juillet“. Но той свободы, которой они желали, имъ не дали, подъ предлогомъ, что французы еще не созрѣли, чтобы имѣть большую свободу, нежели ту, которую они имѣютъ. Тѣ, которые такъ говорятъ, дождутся до того, пока „будущее“, которому они предоставляютъ расширить свободу, „прискачетъ къ нимъ въ галопъ и сброситъ ихъ“. Чтобы все устроилось мирно и тихо, нужно идти на встрѣчу будущему, не дожидаться, пока народъ вырветъ силою извѣстное право. Іюльское правительство этого не понимало; потому Бѣрне и писалъ въ 1830-мъ году: „нѣтъ никакого сомнѣнія, что рано или поздно Франція выстрадаетъ еще одну революцію“. И къ этому онъ прибавляетъ: „ужъ такое лежитъ на людяхъ проклятіе, что добровольно они не хотятъ быть разумными, нужно погонять ихъ бичомъ“.

Хотя Бѣрне и былъ того мнѣнія, что Германія не должна ужъ черезъ-чуръ хвастаться своими „дураками“, что дураки есть также во Франціи, но тѣмъ не менѣе въ ней находилъ онъ столько умнаго, хорошаго, честнаго, что приходилъ въ негодованіе, когда до него доходили слухи о томъ, что государства, составлявшія Священный

Союзъ, желали обрѣзать Францію, чтобы сдѣлать ее для себя безопасною. Нравственное, политическое вліяніе Франціи, несмотря ни на какія затѣвныя, ни на какія монархическія правительства, представлялось до такой степени опаснымъ, въ силу революціонныхъ стремленій французскаго народа, что правительства другихъ странъ во всѣ времена злобно смотрѣли на это вліяніе и всегда старались, до сихъ поръ безуспѣшно, поставить ее въ такое положеніе, чтобы она не могла имѣть вліянія. Если Франція, рассуждалъ Бёрне, этотъ „кратеръ Европы“, котораго всѣ такъ опасаются, „перестанетъ извергать пламя, если онъ перестанетъ дымиться, тогда горе всѣмъ правительствамъ, тогда ни одинъ тронъ въ мірѣ не можетъ быть спокоенъ ни на одну ночь. Они дрожатъ, когда нѣсколько французовъ проходятъ по Германіи съ либеральными рѣчами, и въ ужасѣ кричатъ: пропаганда! пропаганда! И они же хотятъ весь народъ Франціи присоединить къ своимъ старымъ владѣніямъ. Они думаютъ, что своими старыми, опошавшимися правительственными ухищреніями, своими фокусами, которыми теперь нельзя болѣе обмануть даже ребенка, имъ удастся обуздать своихъ новыхъ дикихъ подданныхъ—имъ, которые ничего не смыслятъ даже въ полицейскомъ дѣлѣ, единственномъ искусствѣ, которымъ они занимались съ любовью и прилежаніемъ. Когда, въ 1814-мъ году, они были въ Парижѣ, куда Вѣна, Берлинъ, Петербургъ послали свои самыя хитрыя головы, тогда надъ всѣми этими хитрыми головами Священнаго Союза издѣвался каждый ничтожный французскій шпіонъ, и еслибы не было превосходства силы, то ужъ хитростью, конечно, они не подчинили бы себѣ Парижа“. Не намъ, нѣмцамъ, говорилъ Бёрне, присоединять къ себѣ французскую народность, не намъ справиться съ нею, потому что она неизмѣримо выше насъ, ея политическое развитіе далеко опередило развитіе другихъ конституціонныхъ странъ Европы. Послѣ всѣхъ нападковъ, которыя дѣлалъ Бёрне на политическое состояніе Франціи, такое высокое мнѣніе о французахъ, быть можетъ, покажется кому-нибудь противорѣчіемъ. Но противорѣчія тутъ никакого нѣтъ. Бёрне вѣрилъ, что Франція съумѣетъ отдѣлаться отъ всякаго правительства, которое будетъ мѣшать ея свободному развитію и что торжество свободы въ этой странѣ есть только вопросъ времени, дѣлъ лѣтъ. Онъ надѣялся, что наступила эта минута торжества свободы, когда вспыхнула іюльская революція. Онъ обманулся, какъ

обманулась вся Франція. Свобода дѣйствительно получила большое наслѣдство, выражался онъ, какъ рассказываетъ Гукковъ, но банкиръ, который долженъ былъ выплатить его, Луи-Филиппъ, сдѣлался здолстнымъ банкротомъ. Свою надежду на торжество свободы во Франціи, какъ впрочемъ и въ Германіи, онъ основывалъ на одномъ: „на мудрости Бога и на глупости его представителя“.

Политическое состояніе Франціи составляло не единственное содержаніе „Парижскихъ Писемъ“, касавшихся этой страны. Бёрне не упускалъ изъ виду и другихъ сторонъ общественной жизни. Литература часто останавливала на себѣ его вниманіе. Какъ нападалъ онъ на нѣмецкую литературу, говоря, что нѣмецкіе писатели пишутъ для того, чтобы засвидѣтельствовать передъ цѣлымъ свѣтомъ, что литература ихъ не утратила своего лакейскаго характера и сохранила за собою, вслѣдствіе этого, презрѣніе даже нѣмецкихъ правительствъ, точно также нападалъ онъ и на французскую литературу, жалуясь на ея буржуазный характеръ. Вейерманъ, его біографъ, передаетъ слова Бёрне, что французскимъ писателямъ, толкующимъ о своихъ страданіяхъ, бурныхъ порывахъ, не слѣдуетъ довѣрять. Не вѣрьте, говорилъ Бёрне, тѣмъ, которые утверждаютъ, что они терзаются: у нихъ нѣтъ тенденцій, они не страдаютъ, не болѣютъ временемъ, у нихъ преобладаетъ одно желаніе—пріобрѣтать больше денегъ. Онъ не дѣлалъ въ этомъ отношеніи исключенія ни для Гюго, ни для Бальзака, и только объ одной Жоржъ-Зандъ говоритъ, что у нея есть искреннее чувство и теплое отношеніе ко всему страдающему. Причину такого незавиднаго направленія французской литературы Бёрне видитъ въ одномъ: Chaussée d'Antin со времени июльской революціи захѣнилъ собою faubourg St. Germain. Выигрываетъ небольшая: аристократія или плутократія.

Это отношеніе къ французской литературѣ, отношеніе сердитое, недовольное, ясно сказывается въ „Парижскихъ Письмахъ“, конечно, за немногими исключеніями. Бёрне опредѣленно высказывается по этому поводу, когда онъ разсуждаетъ объ одномъ журналѣ, „Eugore littéraire“, объ изданіи котораго было только-что объявлено. Бёрне приходилъ въ негодованіе, когда онъ читалъ, что политика будетъ совершенно исключена изъ журнала, и что какъ на главную выгоду отъ этого указывали на то, что журналъ, благодаря такому исключенію политики, будетъ свободно обращаться во всѣхъ государствахъ

и пользоваться поддержкой и покровительством всѣхъ правительствъ. „Нравственныя убѣжденія писателя—говоритъ онъ при этомъ—сдѣлали во Франціи большіе успѣхи. Будь этотъ писатель самая отъявленная каналья, онъ, если хорошо понимаетъ свое ремесло, смѣло можетъ, съ code moral въ рукѣ, предстать предъ какой угодно судъ и требовать, чтобы ему указали, какіе параграфы этого кодекса онъ преступилъ. Нѣмецкій журналистъ продаетъ свою совѣсть, французскій—только свои акціи въ журналѣ. Такимъ образомъ, журналъ переходитъ въ другія руки и нѣтъ никакой надобности пачкать свои собственныя. Нѣмецкій журналистъ выставляетъ себя къ позорному столбу, французскій довольствуется тѣмъ, что заслуживаетъ это наказаніе“. Бѣрне клеймитъ писателей за то, что они отказываются, ради матеріальныхъ выгодъ, говорить о политикѣ, хотя, строго говоря, было бы совершенно достаточно клеймить позоромъ только тѣхъ, которые, напротивъ, говорятъ о политикѣ, но говорятъ противъ совѣсти, говорятъ потому только, что имъ платятъ за это, которые, однимъ словомъ, продаютъ свою совѣсть и торгуютъ своими убѣжденіями.

Напрасно, впрочемъ, правительства покупаютъ молчаніе, а съ нимъ совѣсть журналистовъ; напрасно думаютъ они дать духу времени другое направленіе и, „платя хорошо за эстетику, погубить нерискованную политику“. Они жестоко ошибаются, и ошибка ихъ, по мнѣнію Бѣрне, происходитъ оттого, что они или не знаютъ, или не понимаютъ исторіи. „Въ мірѣ—говоритъ онъ—всегда господствуетъ какая-нибудь идея, и какъ народы, такъ и правительства должны подчиняться ей. Между одною идеею и другою всегда проходило столѣтіе застоя; въ это время человѣчество спало. Этимъ временемъ сна пользовались властители, чтобы поработать себѣ народы. Эти, наконецъ, просыпаются, и начинались перевороты...“ Послѣдній переворотъ въ Европѣ начался изъ-за идеи свободы, и этотъ переворотъ еще не кончился, онъ продолжается, и никакія усилія неспособны вырвать этой идеи изъ міра до ея полного торжества. Никакая другая идея такъ не возбуждала противъ себя правителей, какъ эта идея свободы, потому что никакая другая не была такъ опасна для нихъ. Опасна же она для нихъ потому, что свобода, собственно говоря, не есть идея, а только „возможность понимать, преслѣдовать и прочно устанавливать какую угодно идею“. Идею свободы народы не

должны, да и не могут промѣнять ни на какія блага, потому что свобода предполагаетъ всѣ блага. „Если правители скажутъ своимъ народамъ: мы даемъ вамъ миръ, порядокъ, религію, искусство, науку, промышленность, торговлю, богатство за одну свободу — народы должны отвѣчать: свобода заключаетъ все это; зачѣмъ ее мѣнять, зачѣмъ намъ возиться съ мелкой монетою нашего счастья“? Напрасно, слѣдовательно, заключаетъ Бёрне, платить за то, чтобы люди исключали изъ своихъ журналовъ политику, но дурно поступаютъ и тѣ, которые идутъ на подобныя сдѣлки. Подобныя явленія обличаютъ въ литературномъ мірѣ буржуазное направленіе, котораго Бёрне не могъ переносить въ литературѣ, точно также какъ и въ политикѣ. Но и въ литературѣ, точно также какъ и въ политикѣ, Бёрне встрѣчалъ во Франціи много отрадныхъ явленій, и онъ указывалъ на эти явленія Германіи и какъ бы корилъ ее честными произведеніями, честными личностями, которыя притягивали его здѣсь. Какъ относился Бёрне къ французской литературѣ, читатель узнаетъ объ этомъ подробнѣе, когда очередь дойдетъ до личной дѣятельности Бёрне во французской журналистикѣ.

II.

Нельзя оставить „Парижскія Письма“, насколько они относятся къ Франціи, не сказавъ, какъ относился Бёрне къ соціальному вопросу, съ которымъ онъ въ первый разъ встрѣтился близко, такъ сказать лицомъ къ лицу, во Франціи. Оно и понятно. Соціальный вопросъ только тогда, т.-е. послѣ іюльской революціи, и сталъ обозначаться болѣе рѣзко, поставленный на очередь и теорію, и практикою. Съ одной стороны, только теперь фурьеризмъ и сентъ-симонизмъ обращаютъ на себя серьезное вниманіе общества; съ другой, возстанія рабочихъ въ Ліонѣ указываютъ, что на сцену энергично выступаетъ четвертое сословіе, въ пользу котораго и долженъ быть, главнымъ образомъ, разрѣшенъ соціальный вопросъ. Естественно, что политическій писатель Германіи былъ чуждъ его и только здѣсь впервые этотъ вопросъ могъ занять его умъ.

Бёрне, какъ впрочемъ и большинство людей, которые были исключительно заняты политическими вопросами, былъ ошеломленъ

извѣстіемъ: революція въ Ліонѣ! На первыхъ порахъ мало кто даже отдавалъ себѣ отчетъ, что это за революція, и заблужденіе было такъ велико, что многіе раздѣляли взглядъ министра Луи-Филиппа, Казимира Перье, что хотя ліонскія событія и печальны, но что важности они не представляютъ, такъ какъ политическіе вопросы не играютъ въ нихъ никакой роли. Бёрне былъ слишкомъ проникателенъ; любя народъ, онъ слишкомъ живо чувствовалъ страданія народа, чтобы тотчасъ не понять всей важности возстанія рабочихъ, написавшихъ на своемъ знамени: *vivre en travaillant et mourir en combattant*! Онъ понималъ, что когда изъ груди народа вырывается крикъ: работы или смерти! то положеніе его должно быть безвыходно, что онъ доведенъ нищетою, униженіями до послѣдней крайности и что когда онъ требуетъ для себя смерти или работы, то это не фраза, не слова, брошенныя на вѣтеръ, а отчаянная рѣшимость умереть или добиться себѣ работы, которая не заставляла бы голодать его семью. Положеніе ліонскаго рабочаго населенія въ 1831 году было болѣе чѣмъ тяжело. Эксплуатація рабочихъ фабрикантами была доведена до безумныхъ размѣровъ. Пятнадцать, шестнадцать часовъ тяжелаго труда не обезпечивали отъ голода работника и его семью. Рабочее населеніе стало требовать измѣненія условій труда, но стало требовать мирно, безъ угрозъ, почти прося о томъ, что составляло ихъ право. — Намъ нечего ѣсть, говорили рабочіе, наши дѣти умираютъ отъ голода, если они не успѣютъ умереть отъ изнуренія и тяжести работы. Въ семь лѣтъ дѣти уже на фабрикахъ и дышатъ зараженнымъ воздухомъ; дѣвочки четырнадцати, пятнадцати лѣтъ, чтобы поддержать себя и семейство, должны приносить себя въ жертву проституціи; наши отцы и матери, послѣ цѣлой жизни безотраднаго и тяжелаго труда, не могутъ умереть дома, а должны, чтобы не отягощать своихъ дѣтей, идти умирать въ госпиталь! Наше положеніе ужасно, говорили рабочіе, помогите намъ! — Въ отвѣтъ на эти жалобы была устроена коммиссія изъ представителей фабрикантовъ и рабочихъ, которые, послѣ долгихъ споровъ и уступокъ со стороны рабочихъ, пришли наконецъ къ соглашенію и назначили minimum трудовой платы. Какъ ни ничтожна была уступка, рабочіе считали себя удовлетворенными и были счастливы! Не надолго. Масса фабрикантовъ, не знавшая никакихъ границъ въ своей эксплуатаціи, объявила, что они не соглашались признать этотъ minimum, мотивируя свой отказъ тѣмъ, что

требованія рабочихъ неосновательны, и что они хотятъ увеличенія жалованья только потому, что „они выдумали себѣ какія-то чисто искусственныя потребности“. Искусственною потребностью на языкѣ фабрикантовъ называлась потребность „не умирать съ голода“. Нѣкоторые фабриканты, какъ передаетъ Луи-Бланъ въ своемъ сочиненіи „Histoire de dix-ans“, доходили до такого цинизма, что говорили: „если въ желудкѣ у нихъ нѣтъ хлѣба, то мы замѣнимъ его штучками“. Чаша была переполнена, гроза разразилась. Кровь была пролита. Рабочее населеніе было въ остервенѣніи, да и было изъ-за чего: оно отстаивало ни больше ни меньше какъ свое право на жизнь. Возстаніе восторжествовало. Ліонъ былъ во власти рабочихъ; но довѣрчивость ихъ была обманута; они повѣрили обѣщаніямъ, допустили себя обезоружить — кровь, слѣдовательно, была пролита понапрасну. Но если ліонское рабочее населеніе ничего не выиграло отъ своего геройскаго возмущенія, то тѣмъ не менѣе это возстаніе имѣло большой смыслъ: оно показало всю глубину той раны, которая сочилась на тѣлѣ Франціи.

Трагедія, разыгравшаяся въ Ліонѣ, поразила Бёрне и заставила его, впервые, быть можетъ, глубоко задуматься надъ близнецомъ вопроса о политической свободѣ, надъ вопросомъ социальнымъ. Онъ тотчасъ понялъ весь идиотизмъ правительства, спѣшившаго, въ лицѣ одного изъ своихъ представителей, высказать свою радость, что въ кровавыхъ событіяхъ Ліона не было и рѣчи о политикѣ, „а все дѣло ограничивалось убійствами, грабежами и пожарами“! Бёрне приходилъ въ недоумѣніе, какъ правительство могло шутить со словами, что ліонское возстаніе было не что иное, какъ война бѣдныхъ съ богатыми, т.-е. людей, которымъ нечего терять съ людьми, которые имѣютъ собственность. Онъ предвидѣлъ послѣдствія завязавшейся борьбы, и потому, по поводу отношенія правительства къ ліонскому возмущенію, говорилъ: „да, война бѣдныхъ противъ богатыхъ началась, и горе тѣмъ государственнымъ людямъ, которые слишкомъ неразумны или слишкомъ испорчены для того, чтобы не понимать, что слѣдуетъ вступить въ борьбу не съ бѣдными людьми, а съ бѣдностью. Не противъ собственности, а только противъ привилегій богатаго класса возстаетъ народъ; но когда эти привилегіи укрываются за собственность, то можетъ ли народъ завоевать себѣ равенство иначе, какъ взявъ штурмомъ эту собственность“?

Въ сужденіяхъ Бёрне о социальномъ движеніи рабочаго класса тотчасъ сказывается политическій писатель, готовый во всѣхъ бѣдахъ и людскихъ невзгодахъ видѣть только одно—отсутствіе политической свободы. Нѣтъ сомнѣнія, что эта послѣдняя играетъ весьма важную роль въ вопросѣ о лучшей организаціи труда, но она не разрѣшаетъ еще собою вопроса. Для сколько-нибудь успѣшнаго разрѣшенія его существенно необходимо измѣненіе какъ въ условіяхъ производства, такъ и въ условіяхъ распредѣленія народнаго богатства. Трудъ, какъ источнику капитала, должно быть дано преобладающее значеніе надъ этимъ послѣднимъ, который изъ господина долженъ превратиться въ слугу. Прежде чѣмъ не измѣнится это отношеніе труда къ капиталу, не прекратится борьба капиталистовъ, т.-е. аристократіи, духовенства, средняго сословія съ тружениками, т.-е. съ рабочимъ населеніемъ. Не поспѣшатъ капиталъ заключить миръ съ трудомъ—этотъ послѣдній произведетъ страшную революцію, исходъ которой безошибочно можно предсказать впередъ. Когда два противника, даже одинаковой силы, борются—численность побѣждаетъ. Подавляющая численность на сторонѣ тружениковъ—они и побѣдятъ.

Бёрне пользуется возбужденіемъ во Франціи социальнаго вопроса, чтобы тѣмъ съ большею силою указывать на необходимость политической свободы для общества. Радикальное средство для разрѣшенія социальнаго вопроса онъ видитъ въ допущеніи народныхъ представителей къ управленію государствомъ на тѣхъ же основаніяхъ, на которыхъ допускаютъ теперь въ нѣкоторыхъ государствахъ представители аристократіи и буржуазіи. До революціи 89-го года аристократія относилась къ буржуазіи какъ къ „сволочи“, которая создана только для того, чтобы служить ей, холопствовать передъ нею. Чтобы измѣнить это отношеніе, чтобы буржуазія получила необходимыя права, чтобы заставить аристократію по крайней мѣрѣ наружно относиться съ большимъ уваженіемъ къ буржуазіи и подѣлиться съ нею своими привилегіями, нужны были геройскія усилія великой революціи.

Въ лицѣ Наполеона, къ которому съ такою ненавистью относится Бёрне,—называя его въ своихъ „Письмахъ“ виѣстѣ и „злodeмъ“, и „дуракомъ“, политическая революція потерпѣла фіаско, но въ социальномъ отношеніи то, что было разъ завоевано, то уже такъ и осталось. Буржуазія гордо стала рядомъ съ аристократіей.казалось бы, что буржуазія, которая вела такую отчаянную борьбу, чтобы

завоевать себѣ права, и зная по собственному опыту, до чего доходить дѣло, когда въ нихъ отказываютъ, не только не станетъ сопротивляться тому, чтобы права эти были предоставлены тѣмъ, кого называютъ „простымъ народомъ“, но сама будетъ заботиться, чтобы права эти были распространены и на него. Оказалось не такъ. Быстро зажирѣвшая буржуазія забыла, какъ недавно еще ее называли „сволочью“, и теперь, соединившись съ аристократіей, стала обзывать этимъ лестнымъ именемъ все, что стояло по матеріальному положенію ниже ея. Она забыла, вмѣстѣ съ аристократіей, что если революція 89-го года сдѣлала доставить ей права и наказать аристократію за ея надменность, то новая революція какого-нибудь неизвѣстнаго еще года точно также сдѣлаетъ доставить эти права народу и наказать, въ свою очередь, ее за всѣ ея наглые продѣлки. „Сердце возмущается,—говоритъ Бёрне,—когда видишь, съ какою несправедливостью распредѣлены всѣ государственныя повинности... Кто несетъ всю тяжесть налоговъ, на которые всѣ европейскіе народы, наполовину раздавленные, горько жалуются? Бѣдный поденщикъ, деревенская земля“. Въ этомъ неравномъ и неравномѣрномъ, а слѣдовательно и несправедливомъ распредѣленіи налоговъ лежитъ одна изъ причинъ тяжкаго положенія „простого народа“. Отчего же происходитъ это неравномѣрное распредѣленіе налоговъ? Причина понятна: потому что законы составляютъ богатые люди, потому что налоги и подати, главнымъ образомъ, распредѣляютъ они же, а имъ, конечно, выгодно самую большую и тяжелую часть налагать на бѣдныхъ. Эти же, до поры до времени, молчатъ, и молчаніемъ ихъ пользуются для того, чтобы такъ задавить ихъ, чтобы отъ усталости у нихъ отнялся языкъ, которымъ они могли бы высказать свои жалобы. Простой народъ, бѣдныхъ, не допускаютъ до управленія, лишаютъ ихъ голоса подъ тѣмъ предлогомъ, что „люди, которымъ нечего терять, не могутъ искренно интересоваться общимъ благосостояніемъ государства, каждый интриганъ можетъ выманить или купить у нихъ голосъ“. Отжившая теорія, въ которой никогда не было слова правды. „Именно потому,—заступается Бёрне за простой народъ,—что между бѣдными людьми больше честныхъ, чѣмъ между богатыми, что они рѣже этихъ послѣднихъ поддаются подкупу, — именно потому министры не хотятъ допустить ихъ въ среду представителей народа. Пусть они откроютъ намъ свои тайные списки, пусть прочтутъ намъ

ишена своихъ приверженцевъ, доносчиковъ, политическихъ сводниковъ, шпионовъ, и тогда окажется, кто чаще продавалъ свою совѣсть: богатые ли, для удовлетворенія своего честолюбія и гнусныхъ наклонностей, или бѣдные, для уничтоженія своего голода“.

Притѣснители народа, — говоритъ Бёрне, — полагаютъ, что народъ обыкновенно не сознаетъ того, что дѣлаютъ съ нимъ; они оболъщаютъ себя надеждою, что народъ не думаетъ и не умѣетъ думать. Горе правительствамъ, когда народъ вдумается въ свое положеніе; „когда народъ начнетъ думать, — восклицаетъ Бёрне, — тогда прошло для васъ время спасенія“. Возстаніе рабочихъ въ Ліонѣ указывало на то, что народъ умѣетъ думать, если онъ хочетъ думать, и Бёрне кричалъ изо всей силы: „дайте ему голосъ, дайте ему политическую свободу“! — думая разрѣшить этимъ социальный вопросъ.

Направляя свой взглядъ исключительно на политическую сферу и въ каждомъ предметѣ отыскивая по преимуществу политическую сторону, Бёрне пришелъ къ тому, что всѣ свои надежды относительно народнаго благополучія возлагалъ на политическую свободу. Отсюда неминуемо вытекала нѣкоторая односторонность въ его воззрѣніяхъ, и благодаря именно этой односторонности, онъ не обращалъ достаточнаго вниманія на такія явленія, которыя заслуживали того, чтобы надъ ними задумался такой писатель, какъ Бёрне. Вслѣдствіе этой односторонности Бёрне не постарался проникнуть въ тѣ социальные теоріи, которыя имѣли своею задачею преобразовать общественное устройство, дать обществу новыя основанія — теорія, которая именно въ это время, т.-е. послѣ ліонскаго возстанія рабочаго населенія, стала больше и больше занимать собою общество. Сколько бы ни было въ этихъ теоріяхъ фантастическаго, сколько бы ни было въ нихъ неосуществимаго, тѣмъ не менѣе онѣ заключали въ себѣ и такія начала, которыя должны были пустить въ общество глубокіе корни и повліять существеннымъ образомъ на измѣненіе отношенія между трудомъ и капиталомъ. То ассоціаціонное движеніе рабочаго населенія, выражающееся въ организаціи производства, потребленія и кредита, которое охватило въ настоящее время всю Европу, безспорно, обязано своимъ существованіемъ тѣмъ сѣменамъ, которыя брошены были въ почву съ одной стороны Фурье, съ другой — Сенъ-Симономъ. Къ этому социалистическому движенію 30-хъ годовъ Бёрне отнесся чрезвычайно поверхностно, и въ этомъ сознается онъ самъ, когда въ одномъ изъ „Парижскихъ

Писемъ“ говоритъ: „на вашъ вопросъ о симонистахъ я хотѣлъ бы отвѣчать отчетливо и подробно; но мои свѣдѣнія о нихъ весьма незначительны. Такъ какъ я не стыжусь моего невѣжества въ этомъ отношеніи, то не буду стыдиться и признанія въ немъ. Оно тѣмъ менѣе извинительно, что симонизмъ извѣстенъ мнѣ какъ одно изъ важнѣйшихъ современныхъ явленій, мало того, какъ содержаніе многихъ важныхъ явленій нашего времени. Но дальнѣйшимъ изслѣдованіемъ этого предмета я не занимался“. Хотя Бёрне и признавалъ это движеніе однимъ „изъ важнѣйшихъ современныхъ явленій“, но онъ до такой степени мало интересовался имъ, что не хотѣлъ сначала даже отправиться на собраніе сенъ-симонистовъ, говоря, что тамъ собирается такая масса народа, что нужно придти за два часа до начала, чтобы отыскать себѣ мѣсто, а „тратить на это столько времени—прибавлялъ Бёрне—я не желаю“.

Бёрне не старался проникнуть въ сущность новыхъ теорій, а оставался на одной внѣшности, которая отталкивала его. Для него достаточно было знать, что школа сенъ-симонистовъ избираетъ изъ своей среды высшее лицо, пользующееся всѣми почестями, рѣшающее всѣ вопросы, устанавливаетъ у себя родъ папства, чтобы окончательно отвернуться отъ нея. Такъ впрочемъ всегда бываетъ съ людьми, ограничивающимися поверхностнымъ знакомствомъ съ какимъ-нибудь новымъ ученіемъ, новою теоріею или извѣстною попыткою къ преобразованію общества. Изъ-за дѣйствительно смѣшныхъ сторонъ, бросающихся въ глаза, люди не видятъ, что есть въ нихъ глубокаго и по истинѣ серьезнаго. Если что прощается массѣ людей, то не прощается „избраннымъ“, къ которымъ принадлежитъ Бёрне, и тѣмъ болѣе ему можно поставить это въ укоръ, что стремленія его и стремленія социалистовъ были, въ сущности, одинаковы, хотя они и добивались осуществленія ихъ различными средствами. Впрочемъ, Бёрне нужно отдать ту справедливость, что если въ первую минуту онъ и отнесся скептически и даже съ легкою насмѣшкою къ собраніямъ сенъ-симонистовъ, то онъ поспѣшилъ произнести mea culpa, какъ только побывалъ на одномъ изъ такихъ собраній. „Не могу выразить вамъ,—писалъ онъ,—какое благодарное впечатлѣніе произвелъ на меня этотъ вечеръ... а между тѣмъ я шелъ туда не только безъ удовольствія, но даже съ враждебными мыслями и чувствами. Я говорилъ себѣ: безъ всякаго сомнѣнія, ты встрѣтишь тамъ людей, или ушед-

нихъ впередъ на цѣлое столѣтіе, или отодвинувшихся назадъ на тысячелѣтія, съ цѣлью отыскать дѣтскій рай человѣчества; они лѣзутъ тебѣ съ новѣйшими лицами 9-го февраля 1832 г., съ мнѣніями, словами, понятіями, остротами, вопросами и отвѣтами и всѣмъ вѣчнымъ календаремъ всѣхъ французовъ и парижанъ. Но я обманулся въ моемъ предположеніи“.

Какъ родственны были стремленія Бёрне съ стремленіями тѣхъ, кого обыкновенно называютъ утопистами, можно видѣть по одному письму, которое написалъ Бёрне, когда узналъ о смутахъ, происшедшихъ въ одномъ изъ нѣмецкихъ государствъ по поводу сбора пошлинъ. Онъ жалуется, что правительства только и знаютъ, что „насилія да кровопролитія“, и совершенно неспособны дѣйствовать иными путемъ. Народъ не любитъ пошлинъ; объясните ему ихъ значеніе, ихъ необходимость, и если вы сѣумѣете доказать, что пошлинны собираютъ для его истинныхъ выгодъ, то онъ не будетъ сопротивляться, будетъ охотно платить. Бёрне говоритъ, что онъ, еслибы только былъ пасторомъ, непремѣнно бы обратился къ своимъ прихожанамъ съ рѣчью, въ которой подробно развилъ бы этотъ предметъ. Онъ приводитъ примѣрную рѣчь, съ которой онъ обратился бы къ прихожанамъ, и еслибы только она не была такъ длинна, то мы привели бы ее цѣликомъ—столько въ ней ироніи, злобы, остроумія и виѣстъ глубокаго смысла. Рассказывая исторію возникновенія пошлинъ, Бёрне со всею яркостью изображаетъ испорченность общественнаго строя и не съ меньшею, чѣмъ социалисты, силою требуетъ измѣненія существующаго порядка. Сущность его рѣчи такова: глупые, недогадливые люди! если въ васъ стрѣляютъ, когда вы не хотите платить пошлинъ, то въ этомъ виноваты вы одни; вдумайтесь въ то, за что вы платите и кому вы платите; вникните въ то, какъ вами управляютъ и кто вами управляетъ; взвѣсьте ваши интересы и интересы вашихъ управителей; спросите себя: можете ли вы жить иначе, устроить ваше существованіе на другихъ началахъ, и тогда, если только вы не совсѣмъ „ослы“ и не „бычачьи головы“, то вы поймете, какъ вамъ нужно жить и сѣумѣете получше устроить вашу жизнь! Бёрне выставляетъ цѣлый рядъ вопросовъ, которые должны быть ему сдѣланы народомъ и на которые онъ торопится отвѣчать. Такъ на вопросъ, зачѣмъ правители собираютъ такъ много денегъ, Бёрне говоритъ, что если они этого не понимаютъ, то они

доказываютъ только еще разъ, что они „бычачьи головы“. Не для себя, конечно, объяснилъ бы онъ простымъ людямъ, правители собираютъ такъ много съ васъ денегъ, а для цѣлой арміи чиновниковъ, придворныхъ и всѣхъ тѣхъ, которые ему помогаютъ управлять вами. Правителямъ нужно содержать также много солдатъ и для этого также нужны деньги, которые вы и должны платить. „Ну,—продолжаетъ онъ свою рѣчь,—не будьте же ослами и спросите: зачѣмъ нужно такъ много солдатъ? Вы это сами видѣли въ пятницу, зачѣмъ нужны солдаты! Еслибы не было солдатъ, какъ бы васъ усмирили, когда вы не хотѣли платить пошлинъ? Но вы, можетъ быть, скажете: но еслибы не было пошлинъ, мы бы не волновались; если же бы мы не волновались, не нужно было бы и солдатъ; еслибы не было солдатъ, не нужно было бы и нашихъ денегъ; а еслибы не нужно было нашихъ денегъ, не нужно было бы и пошлинъ“. Въ томъ, что вы говорите,—можно было бы отвѣтить,—уже нѣсколько болѣе смысла, и я вижу,—долженъ былъ бы сказать простымъ людямъ пасторъ,—что вы не такъ глупы, какъ казалось. Если вамъ скажутъ, что солдаты нужны для вѣнскихъ враговъ, вы спросите, кто же враги, и вамъ отвѣтятъ, что какой-нибудь народъ, то знайте тогда, что во всемъ, что вамъ скажутъ, нѣтъ ни одного слова правды, что врагами вамъ представляютъ тотъ или другой народъ съ умысломъ ваши правители, которые обманываютъ васъ, потому что всѣ народы братья, между ними нѣтъ враговъ, и еслибы не наши правители, то вы всегда бы жили въ мирѣ и согласіи. „Еслибы въ народахъ было поменьше „бычачьихъ головъ“, то они давно бы уже поняли это, перестали бы рѣзаться между собою и зажили дружно и счастливо“.

Отдаваясь подобнымъ грезамъ, Бёрне весьма близко подходилъ къ такъ-называемымъ утопистамъ, и потому тѣмъ болѣе удивительно, что онъ отнесся такъ холодно къ тѣмъ, которые стали проповѣдовать социальныя теоріи. Кто долго занимается политическими вопросами, кто долго наблюдаетъ политическую жизнь народовъ, тотъ противъ воли становится часто недовѣрчивъ ко всякаго рода попыткамъ. Скептицизмъ самаго горькаго свойства можетъ закрѣпиться въ человѣка, когда онъ видитъ, какъ много тяжелыхъ историческихъ уроковъ пропадаетъ и пропадало даромъ для народовъ и какъ, не умѣя пользоваться опытомъ прошедшаго, они не могутъ вырваться изъ заколдованнаго круга личнаго произвола. Но подобнымъ скептицизмомъ

не страдалъ Бёрне. Напротивъ, онъ никогда не соглашался съ тѣмъ, чтобы люди всегда могли остаться тѣмъ, что они есть. Еще ничего, говорилъ онъ, не было сдѣлано въ крупныхъ размѣрахъ для того, чтобы сдѣлать людей лучшими, чѣмъ они есть. Ничего не было сдѣлано, потому что ничего не дѣлалось для народа, который только съ конца прошлаго столѣтія объявленъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ на исторической сценѣ. Безъ всякаго скептицизма онъ твердо вѣрилъ, что для человѣчества должна наступить лучшая пора, что люди сдѣлаются умнѣе, и когда ему возражали, что масса груба, онъ отвѣчалъ: такъ цивилизуйте ее; человѣчество не создано для того, чтобы оставаться грубымъ. Иначе, впрочемъ, и не могъ разсуждать человѣкъ, взявшій своимъ девизомъ любовь къ человѣчеству и крѣпко державшій въ своихъ рукахъ знамя свободы народовъ.

Если мы указали на отношеніе Бёрне къ соціальному движенію, то только потому, что движеніе это получило большую силу во Франціи 30-хъ годовъ, и потому читатель, знакомый съ этимъ движеніемъ, естественно могъ спросить: какъ же относился къ нему человѣкъ, слѣдившій за событіями этого времени? На упрекъ, что онъ не захотѣлъ достаточно вникнуть и оцѣнить все значеніе, всю важность поднятаго соціальнаго вопроса, Бёрне могъ бы, конечно, отвѣтить: двумъ богамъ не служить; я весь принадлежу политикѣ; пусть другіе дѣйствуютъ въ области соціальнаго движенія такъ, какъ дѣйствую я въ области политической, и тогда человѣчество шибко пойдетъ впередъ.

III.

Любовь Бёрне къ Франціи была далеко не сантиментальнаго свойства. Читатель видѣлъ уже, что Бёрне былъ вовсе не слѣпъ въ своихъ сужденіяхъ объ этой странѣ; онъ отлично понималъ всѣ ея недостатки, всѣ ея пороки. Преслѣдуя насмѣшкой, ненавистью французское правительство, все пятавшееся назадъ и съ какою-то необъяснимою глупостью тѣснившее ту свободу, которой оно обязано было своимъ существованіемъ, онъ не снималъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, ответственности съ народа, допускавшаго, чтобы, послѣ столькихъ принесенныхъ имъ жертвъ, имъ снова распоряжались какъ куклою. Но,

понимая его недостатки, его легкомысліе, отсутствіе нравственной выдержки, имѣвшее своимъ результатомъ печальное для націи наде- ніе, повторявшееся уже не одинъ разъ, съ самыхъ крайнихъ высотъ политической свободы стремглавъ внизъ въ мрачную бездну, выка- рабкаться откуда стояло опять новыхъ гигантскихъ усилій, Бёрне точно также отчетливо сознавалъ всѣ прекрасныя свойства этой націи, ея роль, ея значеніе въ судьбахъ остальной Европы. Услуги, которыя Франція оказывала человѣчеству, начинаются вовсе не съ конца XVIII-го столѣтія, когда она бросила въ міръ новыя начала на- роднаго строя. Гораздо прежде она сослужила службу человѣчеству, когда своими коммунами, своими *états généraux*, научила Европу, какъ нужно дѣлать, чтобы поразить феодализмъ въ самое сердце. Люди, дѣйствовавшіе въ XVIII-мъ вѣкѣ, продолжали только дѣло, съ которымъ связано имя одного изъ самыхъ замѣчательныхъ людей Франціи, имя Этьена Марселя—этого героя XIV-го вѣка. Съ этого времени Франція была страной, на которую были обращены всѣ взоры, ей подражали какъ въ хорошемъ, такъ и въ дурномъ. Когда, какая литература имѣла большее вліяніе, большее значеніе для цѣлаго ма- терика Европы, какъ не литература французская? Кто разносилъ по Европѣ новыя идеи, кто разбрасывалъ новыя сѣмена жизни, какъ не Франція? Съ чѣмъ можно сравнить значеніе цѣлой плеяды энцикло- педистовъ, чьи имена, по ихъ обширному вліянію, можно поставить рядомъ съ именемъ Вольтера или Дидро? Въ другихъ странахъ были люди, конечно, одинаково гениальные, одинаково много сдѣ- лавшіе, но развѣ ихъ вліяніе, ихъ кругъ могутъ быть сравнены съ вліяніемъ, съ кругомъ французскихъ мыслителей, ученыхъ, литера- торовъ? Начиная съ Раблѣ и Монтаня, Декарта и Паскаля, Мольера и Лафонтена и доходя до Кондорсѣ и Кондильяка, Бюффона и Кювье, Руссо и Даламбера, и т. д., до нашихъ дней, всѣ эти люди тотчасъ получали вліяніе и значеніе внѣ Франціи, ихъ читали, по нимъ учи- лись, такъ что можно смѣло сказать, что французскій духъ проникалъ во всѣ поры Европы. Если могущественно было всегда вліяніе Франціи въ нравственномъ отношеніи, то вліяніе ея на политическое развитіе Европы было еще больше и едва ли кѣмъ-нибудь можетъ быть оспари- ваемо. Вліяніе самое благодѣтельное для народовъ, которое оказалъ переворотъ конца XVIII-го столѣтія на весь цивилизующійся міръ, можетъ быть оспариваемо одними слѣпыми или умышленно непонимаю-

щими значенія этого переворота. Съ этого времени Франція для однихъ сдѣлалась предметомъ ненависти, озлобленія, для другихъ страню, на которую возлагались самыя пламенные надежды, къ которой обращались съ вѣрой и упованіемъ въ ея помощь. Правительства, державшіяся абсолютнаго порядка, ненавидѣли ее и всегда стремились унижить ее общими силами; народы угнетенные, загнанные любили ее и обращали на нее молящія взоры. Каждый переворотъ во Франціи тотчасъ отзывался въ другихъ странахъ, народы, точно воодушевляемые воодушевленіемъ французовъ, старались и у себя произвести переворотъ. Одного того, что каждый народъ, стремящійся къ тому, чтобы освободить себя, ищетъ симпатіи во Франціи, и всегда находить ее, одного этого, думаетъ Бѣрне, было бы совершенно достаточно, чтобы оцѣнить, какъ велико то значеніе, которое принадлежитъ Франціи среди всѣхъ остальныхъ народовъ. Когда освобождалась Америка, къ кому она обратилась прежде всего? Она обратилась къ Франціи, которая тотчасъ послала туда на помощь своихъ сыновъ. Освобождалась Испанія—она смотрѣла на Францію. Стремилась къ независимости Италія, Польша, Голландія—всѣ простирали свои руки къ французскому народу. Въ болѣйшей части случаевъ, онъ былъ, правда, безсиленъ помочь, но всегда съ трепетомъ слѣдилъ за дѣломъ свободы, гдѣ бы она ни начинала борьбу.

Іюльская революція отозвалась немедленно почти среди другихъ народовъ. За волненіями въ Германіи, Италіи слѣдовали волненія въ Польшѣ, Голландіи. Нигдѣ съ такимъ напряженнымъ вниманіемъ не слѣдили за ходомъ народныхъ движеній и не слѣдили съ такимъ сочувствіемъ, съ такою симпатіею, какъ во Франціи и преимущественно въ Парижѣ. Бѣрне, живя здѣсь и отмѣчая въ „Парижскихъ Письмахъ“ все, что занимало общественное мнѣніе главнымъ образомъ въ области политики, не могъ, конечно, оставить безъ вниманія событія другихъ странъ, находившія здѣсь такое сочувственное эхо. Вотъ отчего мы и находимъ въ „Парижскихъ Письмахъ“ мнѣнія Бѣрне по поводу бельгійскихъ, итальянскихъ, польскихъ и испанскихъ дѣлъ, — мнѣнія, съ которыми мы должны познакомить нашихъ читателей, хотя бы въ нѣсколькихъ словахъ.

Бѣрне отъ всей души ненавидѣлъ Вѣнскій конгрессъ съ его трактатами 1815 года, на которомъ народами торговали, по его выраженію, какъ скотами, и потому онъ съ радостью привѣтствовалъ смуты,

революціи, вспыхнувшія въ различныхъ государствахъ въ 30-мъ году. Трактатами 1815 года народы дѣйствительно были порабощены; они были растасованы, распределены между сильными міра безъ ихъ согласія, съ насиліемъ ихъ воли совершенно произвольно. О правахъ народа никто въ то злополучное время не хотѣлъ и думать; всѣ управлявшіе судьбами націи считали какъ нельзя болѣе естественнымъ, съ ножницами въ рукахъ, округлять дружелюбно, по взаимному соглашенію, свои владѣнія. „Ты возьмешь вотъ это, а я возьму вотъ это“, — таково было правило высшей политической мудрости, которымъ съ такимъ неподражаемымъ цинизмомъ руководились на знаменитомъ конгрессѣ. Всѣ почти народы были до такой степени изнурены, истощены, забиты чуть не двадцатилѣтними войнами, во время которыхъ, по обыкновенію, они такъ много потеряли и ровно ничего не выиграли, что у нихъ не осталось даже энергіи возвысить свой слабый и немощный голосъ противъ такого недостойнаго торга цѣлыми народами. Съ проклятіемъ, глубоко коренившимся въ ихъ груди, они склонили свои вѣи и подчинились насилію, не смѣя даже громко роптать.

Они хранили только одну надежду, свято таили одно упованіе, что придетъ часъ ихъ избавленія, что голосъ освобожденія ударитъ въ набатъ, и тогда, собравшись съ силами, они съумѣютъ свергнуть ненавистное иго, наложенное трактатами 1815 года, и съумѣютъ отстоять свою независимость и свободу. Жалкая иллюзія, несбывшаяся мечта! Прошло пятнадцать тяжелыхъ годовъ. На поверхности Европы, за исключеніемъ нѣсколькихъ вспышекъ, кончившихся только усиленіемъ реакціи, вездѣ „царствовалъ порядокъ“, дорогой плодъ „отеческаго управленія“ народами. На поверхности Европы стояла зима, все было покрыто льдомъ; остыли, казалось, всѣ страсти, остыла народная кровь. Наружность обманываетъ иногда. Подъ ногами правителей ледъ таялъ, изъ внутренностей Западной Европы подымался паръ; давно прекратившій свои изверженія вулканъ снова начиналъ дымиться. Наступила, наконецъ, давно желанная минута. Голосъ освобожденія ударилъ въ набатъ, всѣ угнетенныя національности затаили свое дыханіе и съ напряженіемъ, со страстью стали вливаться въ звуки того голоса, который, казалось, призывалъ ихъ къ освобожденію. Этимъ голосомъ была іюльская революція, такъ много обѣщавшая и такъ мало выполнившая.

На Францію обратились взоры всѣхъ заполоненныхъ національ-

ностей, и смотря на то, какъ легко досталась французскому народу побѣда надъ порядкомъ, установленнымъ чужеземцами, онѣ думали, что также легко отдѣлаются отъ яра, въ которое онѣ силою были впряжены волею нѣсколькихъ личностей. Примѣръ Франціи, ея помощь, на которую такъ естественно было разсчитывать, служили, казалось, гарантіею побѣды. Угнетенныя національности, собравшись со всѣми силами, приподнялись на ноги и начали упорную, но безплодную борьбу. Еслибы во главѣ Франціи стало правительство, которое не столько заботилось бы о томъ, какъ попрочнѣе установить орлеанскую династію, сколько о дѣйствительныхъ интересахъ народа, еслибы оно не столько угодило передъ европейскими дворами, стараясь заслужить ихъ барскую милость, сколько старалось бы доставить торжество тому началу, которому оно обязано было своимъ происхожденіемъ, тогда, разумѣется, надежда забытыхъ національностей на помощь Франціи не оказалась бы тщетною. Но правительство Людовика-Филиппа слишкомъ скоро забыло свое „плебейское“ происхожденіе, слишкомъ скоро забыло, что оно существуетъ вовсе не во имя божественнаго права, а во имя воли народа, бурно выраженной въ іюльскіе дни, и стало заигрывать, жертвуя своимъ достоинствомъ, самымъ неприличнымъ образомъ съ тѣми абсолютными правительствами, которыя вовсе не скрывали своего презрѣнія къ буржуазной коронѣ Луи-Филиппа. Никакіе уроки неспособны были пробудить чувство собственного достоинства въ правительствѣ Луи-Филиппа. Оно унижалось передъ Англіею, посылая туда Талейрана, который былъ послушнымъ орудіемъ въ рукахъ Абердина и Веллингтона; оно унижалось передъ Пруссіею, унижалось передъ Австріею, унижалось передъ Россіею, посылая къ императору Николаю угодливыя письма, на которыя онѣ отвѣчалъ въ презрительномъ тонѣ, не употребляя по отношенію къ Луи-Филиппу даже обычныхъ словъ „monsieur mon frère“, несмотря на то, что Луи-Филиппъ называлъ его этимъ дружескимъ именемъ съ лестью и покорностью. Правительство Луи-Филиппа унижало Францію, унижало тѣ демократическія начала, во имя которыхъ была совершена іюльская революція, несмотря на то, что оно имѣло всю возможность поднять ея значеніе выше, чѣмъ когда-нибудь прежде.

Рѣдко когда внѣшняя политика Франціи была болѣе недостойна и такъ мало способна пользоваться благопріятными обстоятельствами,

какъ именно въ 30-хъ годахъ. Англія волновалась въ это время вопросами соціального свойства, хлѣбная лига привлекала собою все общественное вниманіе, парламентская реформа волновала умы,—однимъ словомъ, сильное внутреннее броженіе въ это время было слишкомъ достаточною причиною, чтобы удерживать Англію отъ вмѣшательства въ дѣла континентальной Европы. Съ этой стороны Франціи нечего было опасаться, руки ея были развязаны. Пруссія еще не успѣла достаточно оправиться отъ ударовъ, нанесенныхъ ей Наполеономъ, да и одна она была слишкомъ слаба, чтобы выступить крестовымъ походомъ противъ революціи. Россію удерживала въ это время возставшая Польша. Италія поглощала всѣ силы Австріи. Испанія находилась въ лихорадочномъ состояніи и искала поддержки Франціи, чтобы сбросить существовавшее правительство Фердинанда VII. Франція имѣла полную возможность, всѣ средства возратить себѣ то вліяніе, которое она утратила послѣ 1815 года. Для того, чтобы возратить себѣ это вліяніе, ей стоило только болѣе рѣшительно стать на сторону угнетенныхъ національностей, которыя, воодушевленные ея примѣромъ, поднялись на защиту своей независимости.

Бельгія находилась ближе всѣхъ къ Франціи—потому, быть можетъ, и іюльская революція отразилась здѣсь прежде, нежели среди другихъ народовъ. Четыре милліона бельгійцевъ были привязаны къ двумъ милліонамъ голландцевъ и играли роль покореннаго народа. Естественнo, что Бельгія не могла не задать себѣ вопроса: по какому праву Голландія съ двухмилліоннымъ населеніемъ сдѣлалась повелительницею бельгійскаго народа? До тѣхъ поръ, что у Бельгіи не было надежды сбросить съ себя власть Голландіи, она покорялась; но какъ только надежда эта—во образѣ іюльской революціи—осуществилась, бельгійцы поднялись. Голландское правительство думало мѣрами строгости установить порядокъ—разсчетъ оказался невѣренъ: большая строгость вызывала только большее ожесточеніе. Пруссія желала явиться на помощь усмирителямъ, но правительство Луи-Филиппа имѣло въ это время еще настолько мужества, чтобы рѣшительно воспрепятствовать вмѣшательству Пруссіи. Голландское правительство двинуло свою армію на Брюссель, который скоро представилъ собою самое грустное зрѣлище. „Это отвратительно, слишкомъ отвратительно то, что дѣлается въ Брюсселѣ! — восклицаетъ Берне. — То, что Парижъ видѣлъ въ іюль, это шутка по сравненію съ Брюсселемъ.“

Кажется, можно быть совершенно пресыщенным низостями правителей. А король голландскій еще одинъ изъ лучшихъ. Душить людей за то, что они не хотятъ больше, чтобы съ ними обращались какъ со школьниками, зажигать ядовитыми огнями, конгревовскими ракетами крыши надъ головами ихъ беззащитныхъ женщинъ и дѣтей — въ этомъ проявляется отеческая любовь отцовъ народа. Одинъ изъ брюссельскихъ журналистовъ спрашиваетъ: „сколько же, наконецъ, труповъ нужно королю, чтобы онъ съ удобствомъ могъ совершить свой въѣздъ въ столицу“? „Несчастный насмѣшникъ! — прибавляетъ Бёрне. — Спросите-ка прежде самихъ себя, сколько *вамъ* нужно труповъ, чтобы вамъ сдѣлалось не по себѣ и чтобы вы, наконецъ, потеряли терпѣніе съ вашими притѣснителями. Они все еще дѣйствуютъ не съ достаточною злобою“. Опасеніе, что бельгійцы смирятся передъ первымъ серьезнымъ натискомъ голландскихъ штыковъ и пушекъ, до такой степени овладѣваетъ Бёрне, что онъ становится почти несправедливъ къ возставшему народу и съ раздраженіемъ, съ озлобленіемъ говорить: „Я не чувствую состраданія къ Бельгій, я не чувствую состраданія ни къ какому народу. *Tu l'as voulu, tu l'as voulu, George Dandin!*“

Совершенно понятно, что политическій писатель, который пишетъ подъ давленіемъ быстро проходящихъ событій, очень часто, въ жару увлеченія, высказываетъ предположенія, дѣлаетъ такіа пророчества, отъ которыхъ онъ первый же отступается, какъ только событія эти болѣе обрисовываются и выясняются. Бёрне, подобно другимъ, было тоже склоненъ иногда дѣлать самые смѣлые выводы изъ событій, и потому, еслибы кто-нибудь захотѣлъ упрекать его въ отсутствіи „политической дальновидности“, тотъ нашелъ бы, конечно, обильный матеріалъ для всевозможныхъ нападокъ на его недалекновидность. То, что нѣкоторые могутъ назвать „политическою недалекновидностью“, то гораздо справедливѣе можетъ быть названо „политическимъ увлеченіемъ“. Когда бельгійскія событія развертывались передъ глазами Европы, когда на сѣверѣ и на югѣ поднимались угнетенныя національности, Бёрне видѣлъ уже на политическомъ горизонтѣ близкую и рѣшительную борьбу двухъ началъ: деспотіи и свободы. Борьба эта казалась ему неизбѣжною и онъ содрогался уже впередъ тѣмъ ужасамъ, которые она повлечетъ за собою. „Я жду, — писалъ онъ въ 1830 году, — что міръ погибнетъ, и что всѣ мы потеряемъ разсудокъ. Я не сомнѣваюсь, что къ слѣдующей веснѣ вся

Европа будетъ въ пламени, и что не только государства превратятся въ развалины, но въ корни также будетъ разрушено благосостояніе безчисленныхъ семействъ. Къ ихъ празднествамъ, — со злобою прибавляетъ Бёрне, приписывая однимъ правителямъ неизбѣжность войнъ между государствами, — правители приглашаютъ только избранныхъ; но когда ихъ постигаютъ несчастія, они зовутъ къ себѣ въ гости и гражданъ. *Объ этомъ* они впередъ озабочиваются, для этой благородной цѣли они дѣлаютъ государственные долги. Мы можемъ гордиться, это большая честь страдать въ такомъ избранномъ обществѣ. Бёрне, впрочемъ, очень скоро увидѣлъ, что изъ-за Бельгіи Европа не будетъ объята пламенемъ, и черезъ нѣсколько дней послѣ своихъ грозныхъ предсказаній уже самъ говорилъ, что все дѣло кончится какъ нельзя болѣе мирно.

Европа рѣшилась уважить требованіе бельгійцевъ, предоставить ей независимость отъ Голландіи, и даже согласилась не навязывать ей въ короли голландскаго принца. Бельгія, или по крайней мѣрѣ самая развитая часть населенія, желала одного изъ двухъ — или сдѣлать изъ нея республику, или чтобы она присоединилась къ Франціи, съ которою была у нея самая родственная связь. Что касалось присоединенія Бельгіи къ Франціи, чего такъ желало большинство бельгійцевъ, то, разумѣется, держись Франція только болѣе твердой, болѣе достойной политики, вырази она рѣшительно свою волю — Бельгія слилась бы съ Франціею. Республика же возбуждала противъ себя всю Европу, и бельгійцы — Бёрне впередъ это предсказывалъ — должны были уступить. Будучи самъ рѣшительнымъ республиканцемъ, Бёрне до такой степени высоко ставилъ такую форму правленія, что ему казалось даже иногда, что примѣнять ее къ Бельгіи или какой-нибудь другой странѣ „нашей разслабленной части свѣта“, это значитъ только профанировать ее. Онъ понималъ всю трудность существованія республики, когда ее со всѣхъ сторонъ окружаютъ монархіи, которыя относятся къ ней съ негодованіемъ, со страхомъ, со злобою, вызываемою боязнью, чтобы республиканскія учрежденія не заражали собою подданныхъ монархій. Дѣйствительно, прочность республиканской формы въ Америкѣ, быть можетъ, объясняется въ значительной степени тѣмъ, что у американской республики нѣтъ подъ бокомъ ограниченныхъ и неограниченныхъ монархій, строящихъ всевозможныя козни, чтобы ее уничтожить; точно также, какъ

шаткость французскихъ республикъ непременно обусловливается, помимо внутреннихъ причинъ, лежащихъ въ народѣ, внѣшними причинами—политическимъ состояніемъ сосѣднихъ странъ, существованіемъ въ нихъ ревнивыхъ до своихъ прерогативъ монархій, тѣмъ заговоромъ, который составленъ нѣсколькими противъ свободы всѣхъ. Государства континентальной Европы слишкомъ тѣсно переплетены между собою, чтобы одно изъ нихъ не имѣло и въ свою очередь не испытывало на себѣ вліянія другихъ. Этою связью, этимъ вліяніемъ одного государства на всѣ другія и всѣхъ другихъ на одно и объясняется, съ одной стороны, тотъ страхъ, тотъ ужасъ, который порождаютъ установленныя гдѣ-нибудь республики, и съ другой—забота, рвеніе, всевозможныя усилія, чтобы подобную форму правленія подкосить и замѣнить ее иною формою.

Бѣрне, приходя къ заключенію, что республика по сосѣдству расшатываетъ монархію, выражаетъ желаніе, чтобы, несмотря на всю трудность упрочить республику въ такой разслабленной части свѣта, какъ Европа, въ Бельгіи все-таки она была установлена. „Все-таки, — говоритъ онъ, — на нѣмецкой границѣ она была бы чрезвычайно выгодна; она сдѣлала бы нашъ абсолютизмъ нѣсколько помягче. Боязнь, это лучшая надзирательница для правителей, единственная, которой они слушаются. Боязнь должна служить границею Германіи, или иначе нужно покинуть всякую надежду“. Если съ одной стороны онъ желалъ установленія въ Бельгіи республики ради Германіи, чтобы она имѣла предъ собою постоянное пугало, то съ другой онъ желалъ ея установленіемъ ради того принципа, что народъ можетъ распоряжаться своею судьбою по своему усмотрѣнію. Бельгія, — говорилъ онъ, — хочетъ быть республикой, пусть она ею и будетъ. „Нужно всегда спрашивать: кому принадлежитъ Бельгія или всякая другая страна? Принадлежитъ она народу или принадлежитъ она правителю“? На этотъ вопросъ, который ставилъ Бѣрне, отвѣтъ можно было впередъ предсказать. Пусть народъ, по его мнѣнію, будетъ даже неправъ по отношенію къ своему королю, но такъ какъ онъ господинъ въ своемъ домѣ, то онъ имѣетъ полное право „выпроводить его за двери“, хотя бы то было только потому, что народу не нравится „форма его носа“. Надежда Бѣрне не осуществилась: остальные монархическія государства не допустили, чтобы въ Бельгіи установилась республика, и ей пришлось избирать себѣ ко-

роля. И тутъ даже она была бы несвободна, и тутъ „мудрая“ европейская дипломатія заставляла выдѣлывать ее всевозможныя дипломатическія упражненія, пока въ конецъ не уморила ее и не посадила на вновь воздвигнутый престолъ кого ей было угодно. Бёрне былъ въ негодованіи и на дипломатію, и на бельгійцевъ. „На этихъ дняхъ, — писалъ онъ, — рѣшится судьба Бельгій. Такой смѣшной аукціонной продажи трона мнѣ никогда еще не приходилось видѣть. И нашлись же принцы, которые выпрашиваютъ эту корону! Я скорѣе бы протянулъ руку за грошевою милостынею. Выпрашивать корону! Громъ Юпитера принимать какъ милостыню! Корону нужно похитить или принять изъ милосердія“. Бёрне впередъ протестовалъ противъ одной кандидатуры „маленькаго Богарнѣ“, находя, что ничего не можетъ быть ненавистнѣе, какъ смѣшеніе „бонапартовской и нѣмецкой крови“. Ничего не можетъ быть ненавистнѣе такого зла, потому что такой государь въ одно и то же время наноситъ раны народу и отравляетъ его, дѣлаетъ его рабомъ и вмѣстѣ лакеемъ. „Соединеніе подобныхъ двухъ золь никогда еще не видало было ни въ одномъ государствѣ. Испанцы, итальянцы, русскіе и другіе — рабы; народы нѣмецкаго нарѣчія — лакеи“. А мы уже знаемъ, что Бёрне предпочиталъ рабство лакейству, говоря, что первое только дѣлаетъ несчастнымъ, а второе унижаетъ. Когда избранъ былъ, наконецъ, король, и когда жребій упалъ на герцога Немурскаго, второго сына Луи-Филиппа, Бёрне только со злобою воскликнулъ; „Народъ снова сдѣлалъ себѣ короля... Нюрнбергскій товаръ! Впрочемъ отчего же и нѣтъ, покажи́сь народы остаются дѣтми и любятъ дѣтскія игры!“ Но и „нюрнбергскій товаръ“ европейскія державы давали въ руки съ осторожностью, и не одну „игрушку“ долженъ былъ выпустить изъ рукъ бельгійскій народъ, или, вѣрнѣе, не одну „игрушку“ вырывали у него, прежде чѣмъ рѣшились, наконецъ, выбрать для него кобургскаго принца Леопольда. Если народу не позволяютъ посадить къ себѣ на престолъ такого короля, какого имъ хочется, то что же, наконецъ, остается за нимъ, какое право, кромѣ права повиноваться? Еслибы народъ былъ болѣе уменъ, — все возвращается къ своей основной мысли Бёрне, — за нимъ осталось бы не только право имѣть любого короля, но даже право вовсе не имѣть никакого.

Какъ сочувственно Бёрне относился къ возстанію Бельгій, такъ точно привѣтствовалъ онъ и движеніе въ Италіи, Испаніи, Польшѣ.

Еслибы какимъ-нибудь чудомъ могла быть приподнята завѣса, скрывающая будущее и Бёрне хотя бы на одинъ мигъ могъ увидѣть, что становится съ тѣмъ бурнымъ движеніемъ, которое охватило Европу въ 30-хъ годахъ, то нѣтъ сомнѣнія, что онъ не предавался бы такъ цѣльно безпечной радости, сладостному увлеченію и восторгу при каждомъ новомъ извѣстіи о возстаніи въ той или другой странѣ. Остановитесь!—быть можетъ, крикнулъ бы онъ народамъ: зачѣмъ столько жертвъ, зачѣмъ столько пролитой крови, если у васъ нѣтъ достаточно силъ для побѣды! Но Бёрне, который въ спокойномъ состояніи обладалъ такимъ громаднымъ запасомъ скептицизма, въ минуты увлеченія дѣлался довѣрчивъ какъ ребенокъ, и ему не приходило даже въ голову вопросъ: къ чему приведетъ возстаніе? Онъ вѣрилъ въ успѣхъ всякой революціи, несмотря на то, что событія, которыхъ онъ самъ былъ очевидцемъ, не говоря уже объ исторіи, только и дѣлали, что опровергали его надежды. Вѣрить такъ сладко, надѣяться такъ отрадно, такъ заманчиво, когда желаешь, чтобы надежда осуществилась. Онъ отгонялъ отъ себя всѣ мрачныя опасенія, онъ не хотѣлъ задумываться надъ бросающеюся въ глаза несоразмѣрностью силъ, съ одной стороны реакціи, съ другой революціи, и какъ только гдѣ-нибудь видѣлъ искру, онъ уже и вѣрилъ, что эта искра превратится въ грозное пламя. Искра эта была не чѣмъ инымъ, какъ тою относительно ничтожною кучкою людей въ каждой странѣ, рѣшавшихся жертвовать собою для общественнаго благополучія. Напрасныя жертвы! Эта искра могла бы только тогда яркимъ свѣтомъ озарить горизонтъ, еслибы въ ту массу, во имя которой всегда дѣйствуетъ эта горсть передовыхъ людей, проникло прочное политическое развитіе. Безъ такого развитія всѣ усилія всегда останутся тщетны, и лучше бы дѣлала эта горсть людей, еслибы вмѣсто того, чтобы великодушно обрекать себя на смерть, она обрекала себя на болѣе скромную роль проповѣдниковъ тѣхъ здоровыхъ началъ, которыя выработаны всею человѣческою исторіею. Какъ ни грустно все сѣять да сѣять, и самому никогда не жать, но дѣлать нечего, пока поле какъ слѣдуетъ не засѣяно, оно не дастъ сочныхъ колосьевъ. Винить ли Бёрне, что ему хотѣлось поскорѣе жать, что ему надобѣдала роль сѣятеля, которую онъ выполнялъ съ такимъ совершенствомъ. Онъ усталъ отъ „настоящаго“, онъ изстрадался отъ „дѣйствительности“, его умъ, его сердце требовали себѣ отдыха—не

естественно ли, что свои грёзы онъ принималъ иногда за дѣйствительность. Бѣда при этомъ одна: когда наступаетъ протрезвленіе отъ опіума своего собственнаго воображенія, тогда мрачная дѣйствительность кажется еще болѣе мрачною и старое озлобленіе получаетъ только новую силу.

Такъ оно было и съ Бёрне. Вспыхиваетъ іюльская революція — ему грезится, что для Франціи навсегда наступило торжество свободы; возстаніе въ Бельгіи — ему грезится, что отнынѣ нѣтъ больше рабства народа; революція въ Италіи — ему снова грезится и грёзы убаюкиваютъ его, какъ дитя въ колыбели. „Италія! Италія! — восклицаетъ онъ въ волненіи: — слышите ли вы тамъ мое ликованіе? О, еслибы у меня была труба, звуки которой достигли бы до вашихъ ушей! Да, одна весна вознаграждаетъ за сто зимъ. Свобода, этотъ соловей съ голосомъ исполина, заставляетъ очнуться отъ самаго глубокаго сна. Въ моемъ тѣсномъ сердцѣ, какъ ни горячо оно, набралась такая высокая гора желаній, что вѣчный снѣгъ лежалъ на нихъ, и я думалъ, что онъ никогда не растаетъ. Но теперь эти желанія таютъ и стекаютъ съ своихъ высотъ въ видѣ надеждъ. Возможно ли въ настоящее время думать о чемъ-нибудь, кромѣ борьбы за свободу или противъ нея? Надежда быстро снѣняется у Бёрне увѣренностью, и онъ, говоря о свободѣ Италіи, Польши, Испаніи и Португаліи, уже какъ о совершившемся фактѣ, вздыхаетъ только о томъ, что его родина, его Германія по прежнему остается въ оковахъ. Смотри, какъ революція вспыхнула во Франціи, Бельгіи, въ Испаніи, въ Польшѣ, въ Италіи, онъ видитъ уже весь міръ свободнымъ и только одна Германія, ему кажется, „будетъ продолжать томиться въ темницѣ“. Мысль эта для него невыносима и у него вырываются горькія фразы: „каково будетъ намъ, — спрашиваетъ онъ съ отчаяніемъ, — когда свобода печати, этотъ корень и цвѣтъ всякой свободы, зазеленеетъ въ странахъ Лойолы и папы, а рукою народа Лютера по прежнему будутъ водить, какъ рукою мальчишки, обучающагося чистописанію? Гдѣ скроемъ мы нашъ позоръ? Птицы будутъ насмѣшливо пѣть вокругъ насъ, — рисуетъ ему его воображеніе, — собаки будутъ лаять на насъ, рыбы въ водѣ получатъ человѣческій голосъ и станутъ издѣваться надъ нами. Ахъ, Лютеръ! — восклицаетъ Бёрне, несправедливо, конечно, обрушивая на него свою злобу: — какими несчастными сдѣлалъ онъ насъ! Онъ отнялъ у насъ сердце и далъ намъ логику;

онъ лишилъ насъ вѣрованія и снабдилъ знаніемъ; онъ снабдилъ насъ арифметическимъ соображеніемъ и взялъ у насъ отважную энергію, не умѣющую рассчитывать и вычислять. Онъ выплатилъ намъ свободу за три столѣтія до истеченія срока платежа, и мошенническій учетъ поглотилъ весь капиталъ. И то небольшое, что получили мы отъ него, заплатилъ онъ, какъ истинный нѣмецкій книгопродавецъ, не деньгами, а книгами, — и когда теперь, видя, какъ уплачиваютъ другимъ народамъ, мы спрашиваемъ: гдѣ наша свобода? намъ отвѣчаютъ: вы уже давно ее имѣете—это библія“. Всю эту тираду противъ Лютера, знанія, области размышленій, свободы изслѣдованія, добытой въ ущербъ свободѣ дѣйствительной жизни, Бёрне замыкаетъ зловещими словами: „все это слишкомъ грустно! нѣтъ надежды, чтобы Германія сдѣлалась свободною, прежде чѣмъ не перевѣшаютъ ея лучшихъ философовъ, богослововъ, историковъ, и не сожгутъ сочиненій тѣхъ, которые уже умерли...“

Напрасно впрочемъ авторъ „Парижскихъ Писемъ“ торопился завидовать „свободной“ Италіи; еслибы онъ подождалъ нѣсколько мѣсяцевъ, даже не мѣсяцевъ, а недѣль, то онъ увидѣлъ бы ту же грустную картину, которая не разъ уже вырывала у него перо изъ рукъ и на глаза его вызывала слезы. Онъ увидѣлъ бы, какъ цѣлая вереница однихъ итальянскихъ патріотовъ, скованныхъ по рукамъ и по ногамъ, отправлялась въ австрійскую неволю испивать горькую чашу бѣдствій, и другихъ, правда, болѣе счастливыхъ, съ мужествомъ вступавшихъ на плаху, чтобы никогда болѣе не увидѣть позора Италіи и виѣсть свою мученическую смертью запечатлѣть святое дѣло свободы своего народа. Правые гибнутъ, неправые торжествуютъ — таковъ долженъ быть девизъ исторіи всѣхъ народовъ. Европейское движеніе 30-хъ годовъ должно только служить подтвержденіемъ этого печальнаго девиза. Франція, имѣвшая настолько силы, чтобы вызвать это движеніе и у себя, и у другихъ, была недостаточно сильна, чтобы доставить ему торжество не только у другихъ народовъ, но даже у себя. Она сама слишкомъ тяжело поплатилась за этотъ недостатокъ силы, чтобы его можно было ставить еще ей въ укоръ. Зачѣмъ, — обращались къ ней съ упрекомъ послѣ неудавшагося движенія 30-го года, — зачѣмъ ты вызвала возстаніе почти въ цѣлой Европѣ, зачѣмъ ты облила кровью Бельгію, Испанію, Италію, Польшу, если ты была неспособна доставить побѣду всѣмъ тѣмъ, ко-

торные воодушевились твоимъ примѣромъ и твоими идеями? Я сдѣлала больше, — смѣло могла отвѣчать Франція на эти попреки, — для другихъ, нежели для себя, — и этимъ правдивымъ отвѣтомъ опредѣлилось бы дѣйствительно великое значеніе исторической роли Франціи. Она желала, она стремилась дѣлать добро человѣчеству, она его дѣлала, и если добро это неполно, то тѣмъ не менѣе неполное добро остается все-таки добромъ.

IV.

Едва ли не больше всего попрековъ вынесла Франція изъ-за Польши. Послѣ cadaго подавленнаго возстанія, къ ней обращались со словами: смотри! это дѣло твоихъ рукъ! Это же обвиненіе упало на Францію и послѣ польской революціи 30-го года. Слѣдя вообще за движеніемъ, вызваннымъ іюльскимъ переворотомъ, Бёрне не могъ уже не слѣдить и за драмой, разыгравшейся на берегахъ Вислы. Онъ слишкомъ часто возвращался въ своихъ „Парижскихъ Письмахъ“ къ Польшѣ, къ ея возстанію, чтобы мы могли пройти молчаніемъ всѣ разсужденія Бёрне по поводу польскихъ дѣлъ, хотя, конечно, всякій понимаетъ, что было бы слишкомъ поздно въ 1870-мъ году аргументировать доводами 30-хъ годовъ, и слишкомъ наивно было бы думать, что можно выдавать за безусловную истину то, что говорилось по поводу польскаго вопроса политическимъ писателемъ Западной Европы и говорилось еще сорокъ лѣтъ тому назадъ. И польская революція 30-го года, и мнѣніе о ней Бёрне — все это дѣла давно минувшихъ дней и въ настоящую минуту имѣютъ интересъ только историческій. Мнѣніе Бёрне о Польшѣ въ 30-мъ году тѣмъ болѣе интересно, что оно можетъ служить образчикомъ того, какъ вообще смотрѣли въ 1830-мъ году на это дѣло люди радикальной партіи Западной Европы; не вдаваясь въ оцѣнку внутреннихъ отношеній между Россією и Польшею, они видѣли только одну внѣшнюю сторону, т.-е. возстаніе, борьбу, проявленіе геройства. Нужно ли прибавлять, что когда люди оцѣниваютъ событія съ одной внѣшней стороны и не проникаютъ во внутреннія его причины, то они не могутъ претендовать на безошибочныя мнѣнія.

Бёрне, живя въ Парижѣ во время польской революціи 1830-го

года, выражает своими мнѣніями не только мнѣнія либеральной партіи Западной Европы, но на немъ отражается также, на его языкѣ, такъ-сказать, лежитъ печать того страстнаго увлеченія и горячаго сочувствія, съ которымъ Франція относилась къ Польшѣ. Связь, существовавшая между этими двумя странами, симпатія, установившаяся издавна между двумя народами, закрѣпилась во время наполеоновскихъ войнъ, когда поляки съ такимъ восторгомъ проливали свою кровь, надѣясь увидѣть во Франціи свою спасительницу. Великое герцогство Варшавское, имѣвшее эфемерную жизнь, было жалкимъ вознагражденіемъ за всѣ понесенныя жертвы. Казалось, симпатіи должны были сдѣлаться менѣе горячими послѣ того, что Франція оказалась такою плохою спасительницею поляковъ, но эти послѣдніе, какъ будто въ опроверженіе тѣмъ, которые думаютъ, что только однимъ интересомъ поддерживаются близкія отношенія двухъ націй, не только не охладѣли въ своей привязанности къ Франціи, но, можетъ быть, болѣе прежняго сосредоточили на ней всѣ свои надежды, всю свою любовь. Что касается до сочувствія къ Польшѣ, то во Франціи въ немъ не было недостатка; французское правительство было только скупо на матеріальную поддержку, на которую такъ рассчитывали поляки во время революціи 1830-го года. Революція эта ближайшею своею причиною имѣла тотъ же іюльскій переворотъ во Франціи, который вызвалъ волненіе почти во всей Западной Европѣ. О коренныхъ же причинахъ нечего говорить: съ одной стороны онѣ слишкомъ хорошо извѣстны читателю; съ другой онѣ потребовали бы слишкомъ длинныхъ объясненій, которыя не шли бы къ содержанію нашихъ статей. Поэтому послѣдуемъ за Бёрне, который во всемъ польскомъ движеніи, не вдаваясь въ частности, видитъ одну основательную причину: желаніе польскаго народа возвратить себѣ независимость. Ему нѣтъ дѣла до стариннаго спора между Россією и Польшою, ему нѣтъ дѣла, кто правъ, кто виноватъ, онъ знаетъ только одно, что Польша побѣждена, что она лишена независимаго политическаго существованія, онъ думаетъ, что въ этомъ народѣ есть достаточно силъ для борьбы, и онъ не вѣритъ Костиушкѣ, воскликнувшему съ отчаяніемъ: „*finis Poloniae*“!

Сочувствіе Бёрне къ Польшѣ понятно, именно въ силу того принципа, который лежалъ въ основѣ всѣхъ его политическихъ убѣжденій, что каждый народъ имѣетъ право располагать своею судьбою,

и считалъ независимъ отъ всякихъ постороннихъ вліяній. Кто имѣлъ зароду пользоваться независимостью, свободою, противъ того онъ и вставалъ, будь то Австрія, Пруссія или Россія; онъ вставалъ постоянно не противъ той или другой страны, у него нѣтъ узкой, личностной ненависти къ извѣстному народу, онъ вставалъ противъ угнетающаго начала, кѣмъ бы оно ни представлялось. Это не практично, конечно, но вѣдь Бёрне и не выдаетъ себя за практическаго государственнаго человѣка, ему нѣтъ вовсе дѣла до политическихъ равновѣсія, до того, что нужно или не нужно для первостепенной державы, онъ не хочетъ вовсе знать всевозможныхъ политическихъ условій, всяческихъ дипломатическихъ потребностей. Онъ, какъ и многіе другіе писатели, нѣсколько теоретикъ, онъ нѣсколько паритъ надъ землею, да, собственно говоря, иначе и быть не можетъ; если человѣкъ хочетъ сохранить во всей чистотѣ, во всей силѣ свои передовыя убѣжденія, если онъ хочетъ дѣйствовать на свое общество, то ему необходимо стоять нѣсколько выше интересовъ, потребностей этого общества; онъ долженъ до извѣстной степени пренебрегать требованиями такъ-называемой „необходимости“, хотя бы благодаря такому пренебреженію его и назвали утопистомъ. Принципы передового политическаго писателя до сихъ поръ всегда и вездѣ находились въ разладѣ съ дѣйствительностью. Бёрне не принадлежалъ къ той категоріи писателей, которые, видя вражду своихъ принциповъ съ дѣйствительностью и утомленные подъ конецъ борьбою, начинаютъ дѣлать уступки въ своихъ принципахъ до тѣхъ поръ, пока окончательно не примирятся съ этою дѣйствительностью и пока, такимъ образомъ, не исчезнетъ вовсе противорѣчіе между теоріею и практикою. Выставляя на своемъ знамени свободу и независимость народовъ, Бёрне не могъ не относиться сочувственно къ возставшей Польшѣ, и вся разница въ его отношеніи къ польской революціи и къ революціямъ другихъ народовъ заключается въ томъ, что онъ съ самаго начала не особенно вѣрилъ въ ея успѣхъ; это обстоятельство тѣмъ болѣе заслуживаетъ вниманія, что во всѣхъ другихъ случаяхъ Бёрне всегда былъ гораздо болѣе склоненъ вѣрить въ успѣхъ, нежели предвидѣть неудачу.

Когда дошло до Парижа первое извѣстіе о возмущеніи въ Варшавѣ, о вечерѣ или скорѣе ночи 29-го ноября 1830 года, Бёрне не могъ сидѣть, по обыкновенію, въ восторгъ при видѣ возставшаго на-

рода; нѣтъ, мрачныя мысли скользятъ въ головѣ автора „Парижскихъ Писемъ“, и онъ тотчасъ же пишетъ: „Поляки!.. Театръ Французской Комедіи можетъ принести жалобу на Бога, что онъ на своей міровой сценѣ даетъ такія зрѣлища, привилегія на которыя принадлежать ему одному—высокія трагедіи. Я не понимаю, зачѣмъ люди ходятъ въ театръ. Газета для меня теперь все равно что Шекспиръ, что Корнель. Судьба говоритъ стихами, и такъ же патетически, какъ трагикъ. Ночь мести въ Варшавѣ должна быть ужасна! А между тѣмъ, когда совершались событія въ Брюсселѣ и Антверпенѣ, мы думали, что всѣ ужасы были истощены. Да, наступилъ день Господень и онъ творитъ свой страшный судъ... Что будетъ съ бѣдными поляками? Выйдутъ ли они побѣдителями? Я сомнѣваюсь,—говоритъ Бёрне,—но все равно. Ихъ кровь не будетъ потеряна“. И тутъ же онъ не можетъ удержаться, чтобы не послать укора нѣмцамъ, точно мысль о томъ, что нѣмцы „лакеи“ и неспособны энергически заявить свою волю быть свободными, постоянно точить его какъ червь. „А наши бѣдняки-нѣмцы! восклицаетъ онъ. Они только ламповщики на міровомъ театрѣ; они не зрители и не актеры, они снимаютъ только со свѣчей и отъ нихъ несетъ масло“. Конечно, еслибы кто-нибудь спросилъ Бёрне, должна ли разразиться въ Польшѣ революція или нѣтъ, то, конечно, предчувствуя неудачу, онъ не посоветовалъ бы начинать ее. Онъ слишкомъ любилъ человѣчество, чтобы желать безплоднаго пролитія крови, чтобы спокойно смотрѣть, какъ падаютъ тысячи жертвъ, не принося другого результата своею смертью, какъ только подтвержденіе того, что въ странѣ есть люди, способные жертвовать своею жизнью за свободу своей родины. Но революція началась, сожалѣнія о томъ казались ему безцѣльны, и онъ старался отыскивать уже тѣ плоды, которые она принесетъ. Среди самыхъ печальныхъ событій онъ подмѣчалъ такія, которыя веселили его умъ и позволяли смѣяться надъ тѣмъ, что онъ всегда любилъ преслѣдовать своимъ смѣхомъ—шпіоновъ. „Что мнѣ больше всего нравится въ польской революціи,—разсуждаетъ Бёрне, ниѣя въ головѣ нѣмецкихъ шпіоновъ,—это то, что въ Варшавѣ повѣсили шефа тайной полиціи и напечатали списокъ всѣхъ полицейскихъ шпіоновъ. Я надѣюсь, что это послужитъ предостереженіемъ для шпіоновъ всѣхъ другихъ странъ. Эта тайная полиція, которую такъ не любитъ авторъ, помня свои личныя къ ней отношенія, доставляетъ деспотическому правительству большую

безопасность, чѣмъ его солдаты, и не будь ея — вздыхаетъ Бёрне — свобода прочно установилась бы уже въ нѣкоторыхъ другихъ странахъ“.

Что больше всего привлекало Бёрне въ польскомъ возстаніи, это готовность жертвъ, на которыя обрекла себя страна, и ему кажется невозможнымъ, чтобы справедливо было мнѣніе тѣхъ, которые утверждали, что польская революція была не чѣмъ инымъ, какъ дѣломъ польскаго дворянства. „Если и основательно, — говорилъ онъ, — что польская революція вышла изъ дворянства, то я тѣмъ не менѣе не думаю, чтобы народъ оставался къ ней равнодушнымъ. Армія, выказывающая такой высокій энтузіазмъ, все-таки состоитъ изъ крестьянъ, и помимо этого граждане въ городахъ вовсе не крѣпостные, а между тѣмъ на нихъ падаетъ главная тягость“. Разсужденіе это показываетъ только одно, что Бёрне не былъ глухъ къ тѣмъ доводамъ, которые приводились противниками польской революціи, и что, не зная близко положенія страны и народа, онъ все-таки довольно вѣрно судилъ о немъ. Еще болѣе вѣрно судилъ онъ, когда предсказывалъ, что польская революція будетъ подавлена, несмотря на всѣ принесенныя жертвы. Правда, на карту было поставлено все; Польша играла, казалось ему, *va banque*, а онъ былъ того мнѣнія, что дѣло на половину выиграно, „когда нѣтъ другого выбора, какъ между побѣдой и смертью“; но сила русскаго правительства была слишкомъ велика, чтобы не справиться съ какимъ угодно возстаніемъ, если только оно оставляется безпомощнымъ со стороны другихъ европейскихъ державъ. Бёрне съ глубокимъ уваженіемъ смотрѣлъ на рѣшимость народа добыть себѣ независимость, но картина бѣдствій, лишеній, страшныхъ пожертвованій не ослѣпляла его и онъ сохранялъ всю свою зоркость. „Развѣ, — писалъ онъ въ одномъ изъ своихъ „Писемъ“, — воодушевленіе поляковъ не въ высшей степени благородно, не въ высшей степени трогательно? Было ли когда-нибудь великое вмѣстѣ съ тѣмъ и такъ прекрасно? Среди грубыхъ листовъ исторіи это листъ, написанный на веленовой бумагѣ... Поляки теперь всѣ, кажется, одного пола, одного возраста. Женщины, дѣти, старики — все вооружается; многіе отдали все свое состояніе, и даже не назвали себя, и не оставили никакого слѣда, по которому можно было бы узнать ихъ имена. Имѣтъ въ домѣ серебряную ложку — это позоръ, достаточно деревянной. Женщины отдаютъ свои обручальныя кольца и взамѣнъ ихъ получаютъ маленькія серебряныя медали съ надписью: *la patrie*

en échange. Не прекрасно ли все это"! Вотъ картина, которая соблазняла Бёрне, которая заставляла трепетно биться его свободное сердце, но преклоненіе передъ величіемъ жертвъ не изглаживало печали въ его сердцѣ, и онъ съ грустью и вмѣстѣ съ твердостью говорилъ: „Но увн! суровая судьба не любить искусства. Поляки могутъ погибнуть, несмотря на прекрасное воодушевленіе. Но если это случится, — прибавляетъ Бёрне какъ бы въ свое утѣшеніе, — если будетъ пролита вся эта благородная кровь, тогда почва свободы на цѣлое столѣтіе станетъ болѣе влажною и припесетъ тысячекратные плоды“.

Время шло; извѣстія, приходившія изъ Польши, говорили о суровой борьбѣ, и если другіе обманывали себя относительно ея исхода, то Бёрне не предавался обольщенію. Онъ самъ говоритъ, что онъ дрожить, думая о Польшѣ, несмотря на то, что онъ приготовленъ былъ ко всему дурному для нея. „Но будетъ ли выгодно — спрашивалъ Бёрне — гибель поляковъ для Россіи“? На этотъ вопросъ онъ отвѣчалъ отрицательно: „побѣда русскихъ будетъ для нихъ болѣе вредна, чѣмъ было бы пораженіе“. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не радовался отдѣльнымъ побѣдамъ поляковъ, говоря, что „каждая побѣда приближаетъ ихъ къ гибели“. Онъ удивлялся, онъ восхищался храбростью, съ которою они дрались; „поляки, — говорилъ онъ, — сражаются не какъ люди, а какъ боги войны“; онъ пораженъ былъ всею выказанною отвагою, которая употреблена была въ дѣло противъ русскихъ женщинами, старцами и дѣтьми. Но къ чему — вертѣлось у него въ головѣ — вся эта отвага, всѣ эти жертвы, когда Польша слишкомъ слаба, слишкомъ малочисленна, чтобы бороться съ успѣхомъ? Съ одной стороны, разсуждалъ Бёрне, люди не жалѣютъ себя для родины; съ другой — не жалѣютъ людей, чтобы побѣдить возстаніе. Божественная мудрость, восклицалъ Бёрне, ничего не сдѣлаетъ! Польшу можетъ спасти только глупость дьявола! Разсуждая о судьбѣ двухъ народовъ, Бёрне доходитъ до отчаянія; онъ колеблется въ разрѣшеніи вопроса: будетъ, наконецъ, или нѣтъ удовлетворена когда-нибудь справедливость? Думая о совершающихся событіяхъ, онъ въ ожесточеніи спрашиваетъ себя: „Да есть ли, наконецъ, Богъ? Мое сердце еще не сомнѣвается, но голова, развѣ не можетъ она ослабѣть? Но если есть — что пользы скоропроходящимъ людямъ отъ вѣчнаго Бога? Еслибы Богъ былъ смертенъ, какъ человѣкъ, тогда день былъ бы для него днемъ, годъ — годомъ, и смерть — концомъ всѣхъ вещей. Тогда считался бы онъ

и съ временемъ, и съ жизнью, и не удовлетворялъ бы справедливости такъ поздно, и не уваживалъ бы самниъ отдаленниъ потомкамъ того, что требовали еще ихъ предки. Свобода можетъ, должна побѣдить, рано или поздно, — зачѣмъ же не побѣждаетъ она теперь“?

Бёрне твердо вѣритъ, что въ концѣ концовъ свобода восторжествуетъ вслѣду, и онъ оживляется только судьбу тѣхъ народовъ, которые принесли ей столько жертвъ, которые столько боролись, чтобы доставить ей побѣду, и тѣхъ не менѣе надутъ прежде, чѣмъ наступитъ давно желанная минута. Поляковъ Бёрне относитъ именно къ тѣмъ народамъ, которые умѣютъ бороться за свою независимость; но онъ знаетъ свой вымыселъ: доживутъ ли они до тѣхъ поръ, когда наступитъ замыселъ царствъ законнаго властителя міра—свободы, и въ этомъ отношеніи сердце его не чувствуетъ ничего добраго. Что это царствъ придетъ, въ этомъ нельзя сомнѣваться; но какое оно доставитъ утѣшеніе, какая радость отъ него будетъ тѣмъ, которые давно уже пожелали въ покаяніяхъ! Надежда на хорошее будущее, полагаетъ Бёрне, не вознаграждаетъ тѣхъ, которые испытываютъ дурное настоящее. Можетъ быть, онъ отчасти и правъ, высказывая подобное положеніе, можетъ быть, въ настоящемъ не живется легче только оттого, что есть надежда на лучшее будущее; но несомнѣнно то, что эта надежда этого максимума, даетъ силу бороться съ настоящимъ, заставляя, такъ сказать, предвкушать радость за будущее и месть за прошлое. Бёрне не примирится съ хорошимъ будущимъ, ему нужно хорошее настоящее, онъ не удовлетворится тѣмъ, что наступитъ часъ когда изъ него со зло, которое дѣлаютъ людямъ; онъ хочетъ ищенія неминуемаго, онъ хочетъ быть свидѣтелемъ этой мести. „Тираниіа неминуема, — говоритъ онъ, — дѣти этой тираниіа будутъ наказаны за преступленія ихъ отцовъ, но развѣ кости погребенныхъ королей почувствуютъ отъ этого боль? Да гдѣ же Богъ, гдѣ же его справедливости“? восклицаетъ съ отчаяніемъ Бёрне. Онъ открываетъ въ людяхъ, въ обществахъ, въ народахъ страшную непослѣдовательность, которую онъ ставитъ имъ въ преступленіе; люди, разсуждаетъ онъ, чуждуются отщепенію „къ людоедамъ, къ бессмысленнымъ дикарямъ, которые пожираютъ мясо ихъ враговъ; но когда цѣлая страна, въ шумѣ и тѣломъ, съ счастьемъ и радостью, со всѣми ея желаніями и надеждами, подвергается пыткамъ, истязанію, мученіямъ, чтобы откупить отъ него будущее, то это людоедство мы переносимъ спокойно!

Что значитъ при этомъ надежда, что значитъ вѣра? Глазами не увидишь голода, нарисованные фрукты никогда еще никого не дѣлали сытымъ...

Бѣрне съ трепетомъ ожидалъ постоянно новыхъ извѣстій изъ Польши, и когда дѣло уже клонилось къ концу, онъ прибавлялъ въ одномъ письмѣ къ г-жѣ Воль: „Ваше письмо доставитъ мнѣ позднѣйшія извѣстія, тѣмъ тѣ, которыя мы имѣемъ здѣсь; если они опять дурны, то печать на письмѣ должна сдѣлаться черною. О!—восклицаетъ онъ съ горечью:—я не въ силахъ больше, я не могу удержать моихъ слезъ“. Мало писателей умѣли такъ глубоко чувствовать боль чуждаго народа, мало писателей такъ искренно страдали страданіемъ другихъ, какъ Бѣрне, и эта любовь къ человѣчеству, это горячее отношеніе къ людямъ составляетъ, безъ сомнѣнія, то достоинство, которое не пріобрѣтается ни умомъ, ни талантомъ. Чтобы сильно дѣйствовать на людей, чтобы вліять на общество, мало еще ума, мало таланта, генія,—нужно еще такое теплое, сочувствующее сердце, каково оно было у Бѣрне. Но если горячо было сердце автора „Парижскихъ Писемъ“, то вмѣстѣ съ тѣмъ оно не допускало его падать духомъ. Онъ болѣе страдалъ до нанесенія тяжелаго удара всему тому, во что онъ вѣрилъ и что онъ любилъ, нежели послѣ удара. Онъ оплакивалъ участь Польши, пока участь эта не была еще рѣшена; но когда въ Парижъ пришло извѣстіе о томъ, что революція подавлена, что возмущеніе усмирено, когда французскій министръ произнесъ въ палатѣ знаменитыя слова: „l'ordre règne à Varsovie“—Бѣрне выпрямился во весь ростъ и говорилъ: „мы не должны отчаяваться, свобода ничего не потеряла. Если стало менѣе наслѣдниковъ, зато самое наслѣдство сдѣлалось больше... Пролитая кровь кричитъ такъ громко, что ее услышитъ даже глухое небо, и Богъ явится на помощь, если слишкомъ поздно, чтобы побѣдить, то не слишкомъ поздно, чтобы отомстить“. Когда пришли извѣстія объ окончательномъ подавленіи революціи, то Бѣрне не утѣшалъ себя напрасно, какъ утѣшались еще французы тщетными надеждами на возможность успѣха. „Я не могу,—говорилъ онъ,—радоваться тому, что поляки еще не окончательно сложили оружіе; еслибы они могли еще нѣсколько дней метаться между жизнью и смертью, то все-таки они должны умереть“. Онъ описываетъ яркими красками, какое тяжелое впечатлѣніе произвело на французовъ извѣстіе о подавленіи польской революціи; правда, буржуазія не очень

печалилась, напротивъ, она радовалась, что свобода побѣждена; но когда они начинали обсуждать вопросъ и приходили къ заключенію, „что побѣда русскихъ дѣлаетъ вѣроятною войну съ Франціею и съ русскими, тогда они начали бросаться во всѣ стороны, и одна щека ихъ становилась красною въ то время, когда другая блѣднѣла“. Правительству было тоже не по себѣ; Луи-Филиппъ чувствовалъ смущеніе. Но масса населенія, главнымъ образомъ, конечно, въ Парижѣ, была глубоко потрясена извѣстіями о развязкѣ драмы. „Невозможно описать — говорилъ онъ — печаль Парижа; я никогда не думалъ, чтобы народъ могъ испытывать такіа глубокія ощущенія. Вчера пятнадцать тысячъ молодежи прошли по городу съ траурными знаменами“. Въ окна русскаго посольства бросали камни, но Бѣрне не одобрялъ этого: къ чему это, спрашивалъ онъ, какъ можетъ это помочь, какая польза, какой прокъ?! тутъ нѣтъ ничего, кромѣ одного вреда.

Бѣрне всегда и всего болѣе раздражался отношеніями литературы къ политическимъ событіямъ. Такъ и въ настоящемъ случаѣ онъ обрушился всею силою своего слова на официальные органы прессы, гдѣ появились статьи, съ цѣлью объяснить самыя причины возстанія. „Одна изъ такихъ статей, — рассказываетъ Бѣрне, — толковала на этихъ дняхъ о причинахъ польской революціи и доискивалась, какія основательныя жалобы могли имѣть поляки противъ русскаго правительства. Правительство — говорится тамъ — забросало ихъ благодареніями, и еслибы даже у нихъ были нѣкоторые затрудненія, то гдѣ же на землѣ можетъ быть идеальное счастье? Стоитъ только обсудить мнимыя жалобы поляковъ на нарушенія конституціи, чтобы ясно показать, какъ онѣ были неосновательны... Подавленіе свободы печати? Но съ которыхъ это поръ мы не можемъ обойтись безъ такой свободы?.. Недостатокъ конституціоннаго бюджета? Но министры только потому не предлагали его собранію, что они впередъ знали, что онъ будетъ отброшенъ... Тайная полиція? Но какъ снисходительна должна она была быть, если она не могла даже помѣшать взрыву революціи!.. Уничтоженіе гласности въ преніяхъ собранія? Ну, что же дальше? Отъ этого публика только лишилась дарового спектакля. И изъ-за этого дѣлать революцію!“ „Даже Англія, — приводитъ Бѣрне отрывокъ изъ статьи — охотно бы согласилась (слушайте, слушайте!), чтобы двери ея парламента были закрыты для публики, и чтобы сво-

бода ея печати была ограничена, еслибы она за такую ничтожную жертву могла избавиться отъ извѣстной части своего національнаго долга и могла открыть своимъ фабрикантамъ рынокъ своего Сѣвера"! „О!—воскликаетъ Бёрне—это слишкомъ небесно! Если австрійскій наблюдатель прочтетъ это, онъ воскликнетъ: „Pends-toi, Figaro, tu n'as pas deviné celui-la“!

Когда драма была сыграна, когда занавѣсъ упалъ и замерла Польша послѣ возстанія 30-го года, Бёрне произноситъ надъ нею свое послѣднее слово, въ которомъ слышится столько же истинной скорби, сколько и неподдѣльной злобы. „Видѣть умирающій народъ—произносить Бёрне какъ бы въ заключеніе всего, что онъ говорилъ объ этой странѣ,—слишкомъ ужасно; Богъ не далъ человѣку такихъ нервовъ, чтобы переносить подобное состраданіе. Года, столѣтія лежатъ въ предсмертныхъ конвульсіяхъ и все-таки не умереть! Терять членъ за членомъ и наслѣдовать всю кровь, всѣ нервы умершвенныхъ нервовъ, бѣдное, несчастное туловище заставлять переносить боль цѣлаго существа—о, Боже! это слишкомъ много! Когда страдаетъ народъ, у него не слабѣютъ, какъ у больного человека, духъ и чувство; онъ не теряетъ сознанія; будь онъ обремененъ годами, въ несчастіи онъ становится юношей, ребенкомъ, и юность, со всею ея силою, дѣтство съ его радостью и всѣми играми возвращаются къ нему назадъ. Когда Богъ создалъ тираннію, по крайней мѣрѣ онъ долженъ былъ бы народы сдѣлать смертными“.

Этими послѣдними строками, которыя относилъ Бёрне къ цѣлой Европѣ, потому что всю Европу видѣлъ въ сѣтяхъ деспотизма, онъ какъ бы завершаетъ всѣ тѣ разсужденія, всѣ тѣ „Парижскія Письма“, которыя посвящены были изображенію политическаго состоянія народовъ. Въ этихъ строкахъ какъ бы чувствуется вся квинтъ-эссенція его злобы, его протеста противъ насилія и угнетенія націй. Онъ не винитъ больше „глупость“ народовъ, онъ не коритъ ихъ больше ихъ собственнымъ несчастіемъ, у него осталось только одно—глубокая скорбь, глубокое соболѣзнованіе къ страданіямъ всѣхъ народовъ и самое страстное желаніе пробудить стремленіе къ свободѣ у всѣхъ тѣхъ, у кого до сихъ поръ оно еще дремало.

Таково главное содержаніе „Парижскихъ Писемъ“, получившихъ въ цѣлой Европѣ громкую извѣстность. Если враги Вёрне, если нѣмецкіе патріоты менцелевскаго закала громили ихъ автора, за то всѣ честные люди Германіи, все образованное общество Франціи, Англіи, слѣдили за ними съ величайшимъ вниманіемъ и интересомъ и оцѣнивали ихъ по достоинству. Тотчасъ почти послѣ ихъ появленія на нѣмецкомъ языкѣ, письма эти были переведены на англійскій, а французскіе журналы постоянно знакомили съ ними французское общество. Говоря о „Парижскихъ Письмахъ“, мы съ умысломъ не упоминали о томъ, что писалъ въ нихъ Вёрне по поводу различныхъ литературныхъ явленій, по поводу того или другого писателя, того или другого поэта. Отношеніе Вёрне къ литературѣ составляетъ совершенно особый отдѣлъ и можетъ быть разсматриваемо независимо отъ той роли политическаго писателя, съ которою мы, главнымъ образомъ, хотѣли познакомить нашихъ читателей.

Конечно, и въ отношеніи къ чисто-литературнымъ явленіямъ Вёрне остается все-таки Вёрне, и тутъ просачиваются вездѣ его политическія убѣжденія и политическія стремленія, и тутъ, въ своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ, онъ вездѣ руководится политическимъ масштабомъ. Къ каждому писателю, къ каждому поэту онъ неизмѣнно обращается съ однимъ вопросомъ: служилъ ли онъ политической свободѣ своей родины? Отрицательнымъ или положительнымъ отвѣтомъ опредѣлялась и его любовь или ненависть, или, вѣрнѣе будетъ сказать, не ненависть, а озлобленіе. Политическая свобода — это была богиня, которой онъ постоянно былъ вѣренъ, постоянно молился, которою онъ жилъ и дышалъ, говоря: „что согрѣвало бы мое старое сердце въ холодные зимніе дни, еслибы на свѣтѣ не было свободы“!

1870 г.



„ХОДЪ НАЗАДЪ!“

ВЪ НАУКѢ УГОЛОВНАГО ПРАВА.

Наказаніе въ русскомъ правѣ XVII вѣка. Изслѣдованіе Н. Д. Сергѣевского.

Въ 1764 году появилась въ Миланѣ небольшая книжка подѣ названіемъ: „*Dei Delitti e delle Pene*“. Авторомъ ея былъ совершенно неизвѣстное тогда современникамъ лицо, маркизъ Цезарь Беккарія Бонесана. Не прошло и двухъ-трехъ мѣсяцевъ, какъ и книга, и имя ея автора были уже извѣстны всей Европѣ. По словамъ одного изъ самыхъ наблюдательныхъ и умныхъ лѣтописцевъ XVIII вѣка — Гримма, котораго Байронъ не въ шутку называлъ „великимъ человекомъ въ своемъ родѣ“, — книга „О преступленіяхъ и наказаніяхъ“ произвела потрясающее впечатлѣніе на тѣхъ, кто былъ только способенъ живо чувствовать, мыслить, — въ комъ жила отзывчивость ко всѣмъ общественнымъ вопросамъ. А кто же не былъ отзывчивъ, кто не чувствовалъ живо, кто не мыслилъ, или, по крайней мѣрѣ, не притворялся мыслящимъ въ тотъ удивительный вѣкъ, когда умъ и талантъ заставляли склоняться передъ собою даже коронованныхъ особъ? Лишь только появилась книга Беккарія, какъ Вольтеръ, Дидро, д'Аламберъ, Гельвеціусъ, Бюффонъ, Гольбахъ, спѣшили чествовать новую славу въ лицѣ миланскаго философа; изъ Петербурга летѣло къ нему привѣтствіе Екатерины II съ приглашеніемъ переселиться въ Петербургъ и своимъ геніемъ содѣйство-

вать осуществленію громко провозглашаемой тогда великой задачи — вывести Россію изъ мрака невѣжества и широкимъ потокомъ разлить въ ней просвѣщеніе.

Гдѣ же хранилась причина необыкновеннаго успѣха книги, слава которой облетѣла въ нѣсколько недѣль всю Европу, отъ Средиземнаго моря до береговъ Невы? Независимо отъ глубины мысли и генія автора, она крылась въ ясно сознаваемой, но недостаточно обнаженной еще въ то время ненормальности уголовного правосудія. Уголовные законы, отправленіе уголовного правосудія, были еще въ XVIII вѣкѣ однимъ изъ самыхъ больныхъ мѣстъ общественнаго организма во всей Европѣ, за исключеніемъ одной лишь Англіи, гдѣ безпощадная строгость законовъ смягчалась лишь тѣми гарантіями, которыя представляеть судъ присяжныхъ.

Беккарія обнажилъ это больное мѣсто. Съ спокойствіемъ мыслителя, согрѣтаго любовью къ человѣчеству, онъ нарисовалъ правдивую картину отправленія уголовного правосудія того времени и, чуждый юридической казуистики, смѣло указалъ тѣ основные принципы, которыми должно руководиться уголовное правосудіе, не только въ интересахъ отвлеченной справедливости и гуманности, но одинаково и въ интересахъ частныхъ лицъ и государства. Онъ доказалъ необходимость уничтожить безчеловѣчныя наказанія, это наслѣдіе эпохи варварства, онъ требовалъ реформы уголовного процесса и искорененія вопіющихъ злоупотребленій, выражавшихся въ безчисленныхъ примѣрахъ „холодной жестокости“, на которую смотрѣли тогда какъ на законное право.

Оцѣнивъ по достоинству то вліяніе, которое завоевали себѣ въ XVIII вѣкѣ философы, Беккарія указываетъ на „жалобныя стоны слабыхъ, принесенныхъ въ жертву грубому невѣжеству, на невѣроятныя муки, которыя варварство расточаетъ за недоказанныя или даже мнимыя преступленія, на гнусное зрѣлище тюремъ и заточеній, ужасъ которыхъ усиливается самою тяжелою для несчастныхъ заключенныхъ пыткой — неизвѣстностью“, и задается вопросомъ: неужели всѣ эти злоупотребленія не пробудятъ вниманія философовъ, служеніе которыхъ и состоитъ именно въ томъ, что они должны направлять общественное мнѣніе?

Дѣйствительно, уголовные законы еще въ XVIII вѣкѣ отличались неслыханною жестокостью; большая часть преступленій влекла

за собою смертную казнь, и не простую, а утонченную всегда изобрѣтательною жестокостію, въ видѣ колесованія, сожженія, четвертованія, и притомъ еще предшествующую всѣмъ разнообразіемъ всевозможныхъ пытокъ. Не было такихъ мукъ, не было такихъ истязаній, которымъ не подвергались бы еще не обвиненные, а лишь только обвиняемые, заподозрѣнные, среди которыхъ слишкомъ часто оказывались вполнѣ невинные люди.

Формы уголовного процесса не представляли никакихъ, даже самыхъ слабыхъ гарантій для привлеченнаго къ уголовному дѣлу. Достаточно вспомнить такіе процессы, какъ Каласа и Сирвена, одной безстрашной защиты которыхъ было бы довольно, чтобы имя Вольтера снискало себѣ благодарную память человѣчества, и для того, чтобы убѣдиться, какое мрачное изуверство господствовало въ отправленіи уголовного правосудія.

Уголовное правосудіе въ XVIII вѣкѣ было чуждо человѣчности, глухо къ голосу состраданія, между тѣмъ больше чѣмъ за два столѣтія уже провозглашалось начало, образно выраженное на языкѣ того времени словами: „justice sans miséricorde est trop dure chose, et miséricorde sans justice est trop large chose“.

Единственными принципами уголовного правосудія являлись устрашеніе и месть, слишкомъ часто прикрывавшіяся какимъ-нибудь громкимъ именемъ.

Великая заслуга Беккариа въ томъ и состояла, что онъ противопоставилъ прежней сатурналии уголовного правосудія, этому поклоненію силъ, или, вѣрнѣе, насилію — гуманное начало уваженія правъ человѣка не только въ личности обвиняемаго, который можетъ оказаться еще и невиновнымъ, но даже и въ личности признаннаго преступникомъ. Беккариа училъ, и его ученіе, казалось, вошло въ плоть и кровь каждаго просвѣщеннаго человѣка, а именно, что уголовная кара можетъ постигать только того человѣка, который своимъ дѣяніемъ преступилъ законъ общественный или нравственный. Онъ требовалъ, чтобы законъ точно опредѣлялъ, по какимъ основаніямъ, въ силу какихъ доказательствъ, уликъ, человѣкъ можетъ быть привлеченъ въ качествѣ обвиняемаго. Для XVIII вѣка или, по крайней мѣрѣ, для уголовного правосудія того времени были еще новы слова: „человѣкъ не долженъ быть разсматриваемъ какъ преступникъ прежде чѣмъ не состоялось рѣшеніе судьи; и общество не можетъ отказать

ему въ своей защитѣ, прежде, чѣмъ не будетъ доказано, что онъ нарушилъ тѣ условія, въ силу которыхъ ему обезпечивалась эта защита. Только право насилія можетъ предоставить суду обречь человека на наказаніе, когда еще не разъяснилось сомнѣніе, виновенъ онъ или невиновенъ. Передъ закономъ тотъ невиновенъ, чье преступленіе не доказано“.

Справедливыя идеи Беккаріи посѣяны были на добрую почву: онѣ не только сдѣлались точкою отправленія всѣхъ ученыхъ, работавшихъ по уголовному праву, и прочимъ достояніемъ всѣхъ сколько-нибудь просвѣщенныхъ людей, но онѣ легли какъ основныя положенія всѣхъ дѣйствующихъ уголовныхъ законодательствъ XIX вѣка, не исключая и нашего.

Нужно было, со времени Беккаріи, миновать цѣлому вѣку, для того, чтобы могъ наконецъ появиться ученый, который среди бѣлаго дня, безъ особой робости и смущенія,—напротивъ, съ большимъ апломбомъ и самоувѣренностью, сталъ поучать иному, а именно, что основной принципъ уголовного правосудія, стоящій краеугольнымъ камнемъ всѣхъ современныхъ законодательствъ,—въ томъ числѣ и нашего,—принципъ, въ силу котораго каждый человекъ несетъ кару только за совершенное имъ преступное дѣяніе (ст. 15 Уст. Угол. Суд.), вовсе уже не представляется такою святою святынью уголовного правосудія, до котораго никакимъ образомъ нельзя прикасаться, что направленіе уголовного правосудія можетъ опредѣляться просто началомъ государственной пользы, и т. д.

Таковы основныя идеи экстраординарнаго профессора Сергѣевского, недавно выпустившаго въ свѣтъ „ислѣдованіе“ подъ названіемъ: „Наказаніе въ русскомъ правѣ XVII вѣка“.

Книга почтеннаго профессора, довольно объемистая, распадается на два отдѣла. Отдѣлъ первый: карательная дѣятельность и ея задачи, и отдѣлъ второй: карательныя мѣры. Наибольшаго вниманія заслуживаетъ первый отдѣлъ исслѣдованія, какъ отдѣлъ теоретическій, гдѣ авторъ и высказываетъ свои „научныя“ взгляды на задачи карательной дѣятельности государства. На этихъ-то взглядахъ мы прежде всего и остановимся.

Указавъ на то, что въ XVII вѣкѣ организація наказаній преслѣдовала исключительно государственныя полезности, г. Сергѣевскій переходитъ къ опредѣленію этихъ полезностей. На первомъ

планъ въ ряду государственныхъ полезностей, стояла, говоритъ онъ, цѣль обезпеченія общества отъ преступника. Такое обезпеченіе (?) представляла собою смертная казнь, пожизненная ссылка и, наконецъ, изувѣчивающія наказанія: отсѣченіе рукъ, пальцевъ, отрѣзаніе языка. Вторая государственная полезность состояла въ „устрашеніи преступника и всѣхъ гражданъ отъ совершенія преступныхъ дѣяній тяжестью и жестокостью наказаній“. Третья полезность состояла въ извлеченіи выгодъ матеріальныхъ изъ наказанія и изъ личности преступника; и, наконецъ, послѣдняя цѣль, вліявшая на образованіе карательныхъ мѣръ, заключалась въ стремленіи дать удовлетвореніе пострадавшему.

Каждый ученный въ изложеніи своего историческаго труда имѣетъ полное право держаться строго объективнаго метода изслѣдованія, не внося вовсе въ оцѣнку историческихъ явленій своего личнаго, субъективнаго взгляда, и такое уклоненіе ученаго отъ критическаго отношенія къ прошлому никто, конечно, не могъ бы поставить въ вину автору. Но г. Сергѣевскій не держится такого метода, и по крайней мѣрѣ въ первомъ отдѣлѣ своего изслѣдованія онъ вноситъ свою собственную оцѣнку, онъ дѣлаетъ выводы, сопоставленія прошлаго съ настоящимъ, и въ этой собственной оцѣнкѣ и выводахъ и заключается главный интересъ изслѣдованія. Отмѣтимъ главнѣйшія собственныя заключенія автора.

Говоря о первой государственной полезности, т.-е. обезпеченіи общества отъ преступника путемъ отрѣзанія, напр., языка, г. Сергѣевскій дѣлаетъ такое замѣчаніе: „что отсѣченіе рукъ, ногъ и пальцевъ и отрѣзаніе языка (за „неистовыя рѣчи“) служитъ отличнымъ (!) средствомъ обезпеченія отъ преступника на будущее время, — это, по мнѣнію автора, — явствуется само собою“. Читатель, быть можетъ, подумаетъ, что въ замѣчаніи этомъ звучитъ иронія — но онъ глубоко ошибется. Г. Сергѣевскій весьма далекъ отъ мысли иронизировать; онъ безъ всякихъ колебаній признаетъ, что отрѣзаніе языка представляетъ (т.-е. и теперь?) *отличное* средство обезпеченія общества отъ преступника, виновнаго въ „неистовыхъ рѣчахъ“. Еслибы это было высказано шутки ради, то и въ такомъ случаѣ шутку пришлось бы назвать плохой. Но что сказать, когда подобныя истины „явствуютъ сами собою“ — въ ученомъ изслѣдованіи?!

Впрочемъ, читая дальше изслѣдованіе г. Сергѣевскаго мы ви-

димъ, что такой взглядъ на отрѣзаніе языка, какъ на „отличное средство“, долженъ перестать удивлять читателя. Этотъ взглядъ, видимо, вытекаетъ изъ представленія самого автора вообще о карательной дѣятельной государства.

Разсуждая о томъ, что личность и ея интересы не имѣютъ никакого значенія въ русскомъ государствѣ XVII вѣка, онъ указываетъ на одну, какъ онъ выражается, „въ высшей степени оригинальную“ черту въ институтѣ наказанія, а именно—примѣненіе уголовныхъ каръ къ лицамъ невиновнымъ вмѣстѣ съ виновными.

Черта по истинѣ „оригинальная“ и вполне достойная нравовъ XVII-го вѣка; но мы находимъ въ самомъ трудѣ проф. Сергѣевского, появившемся на исходѣ XIX столѣтія, нѣчто еще болѣе „оригинальное“—это горячую защиту упримѣненія уголовныхъ каръ къ лицамъ невиновнымъ; въ XVII-мъ вѣкѣ, по крайней мѣрѣ, только практиковали подобную кару, но не писали въ честь ея ни диссертаций, ни научныхъ изслѣдованій. Порядокъ этотъ, т.-е. наказаніе невиновныхъ вмѣстѣ съ виновными, „къ сожалѣнію“, какъ выражается—къ нашему сожалѣнію—почтенный авторъ, „получилъ въ литературѣ весьма поверхностное и, скажемъ не обинуясь, легкомысленное (!!) объясненіе: все дѣло сводится обыкновенно къ грубости нравовъ и жестокости правителей, или представляется, безъ дальнихъ разсужденій, какъ простая ошибка, юридическая нелѣпость. Между тѣмъ,—прибавляетъ г. Сергѣевскій,—въ дѣйствительности этотъ порядокъ имѣетъ весьма глубокія (!!) основанія“.

Итакъ, только вслѣдствіе нашего „легкомыслія“, мы до сихъ поръ полагали, что наказаніе невиновныхъ есть результатъ грубости нравовъ, жестокости правителей; между тѣмъ, при нѣкоторомъ глубокомысліи, мы должны были бы понять, что наказаніе невиновныхъ вовсе не есть юридическій абсурдъ, а явленіе законное, имѣющее „глубокія основанія“. Еслибъ такое положеніе было высказано не съ высоты кафедръ, а въ какомъ-нибудь летучемъ листкѣ,—мы не обратили бы на него никакого вниманія, мы слишкомъ давно знаемъ, что область „оригинальных“ мыслей безпредѣльна, но почтенное званіе автора невольно заставляетъ остановиться передъ „глубокими основаніями“ г. Сергѣевского.

Необходимость (sic) подвергать наказаніямъ лицъ невиновныхъ происходила, по мнѣнію г. Сергѣевского, прежде всего изъ существа

нѣкоторыхъ карательныхъ мѣръ. Онъ указываетъ именно на ссылку, которая требовала для плодотворнаго дѣйствія этого наказанія „сѣмѣйной обстановки ссыльнаго“. Ссылка невиновныхъ женъ и дѣтей являлась, слѣдовательно, необходимою въ XVII вѣкѣ.

Но ссылка, какъ мы знаемъ, и въ настоящее время представляется далеко не въ удовлетворительномъ состояннн, а слѣдовательно, придерживаясь взгляда почтеннаго автора, съ такимъ же „глубокимъ основанiемъ“ можно и въ настоящее время подвергать ссылкѣ невиновныхъ женъ и дѣтей. Проницательный авторъ предвидѣлъ такое возраженiе и впередъ блистательно его опровергнулъ: „современное государство—говоритъ г. Сергѣевскiй—всегда идетъ путемъ компромиссовъ съ интересами отдѣльныхъ личностей. Не такъ поступали наши предки. Интересъ государственный требовалъ ссылки женъ и дѣтей преступниковъ—ихъ и ссылали безъ малѣйшихъ колебанiй“. Въ послѣднихъ словахъ слышится очевидная жалоба на эти проклятые „компромиссы“ нашего времени: то ли было дѣло въ доброе старое время—напримѣръ, въ XVII-мъ вѣкѣ, когда не было никакихъ каедръ уголовного права, и все дѣлали по простотѣ и удобства ради!

Другое, столь же „глубокое основанiе“, порождавшее „дѣйствительную, практическую необходимость возлагать кару на лицъ подозрительныхъ и опасныхъ, хотя бы виновность ихъ и не была доказана“, вызывалось, по мнѣнiю автора изслѣдованiя о наказанiи въ XVII в., „слабостью судебно-слѣдственной власти, съ одной стороны, и слабостью средствъ полицейскаго надзора, съ другой“.

Если слабость судебно-слѣдственной власти и недостаточность средствъ полицейскаго надзора служатъ „глубокимъ основанiемъ“ для наказанiя людей невиновныхъ, но близкихъ преступнику, „которые должны (?) были знать, не могли не знать его замысловъ, но не донесли слѣдователю, содѣйствовали и, можетъ быть (!), участвовали“, то и современные государства, особенно тѣ, въ которыхъ судебно-слѣдственная власть и полицейскiй надзоръ не стоятъ на идеальной высотѣ, съ такимъ же правомъ и съ одинаково „глубокимъ основанiемъ“, по мысли г. Сергѣевского, могутъ наказывать невиновныхъ, не вызывая даже порицанiя нашего ученаго криминалиста,—но за что?—По мысли г. Сергѣевского, выходитъ такъ, что ихъ слѣдуетъ наказывать за то, что въ государствѣ слаба судебно-слѣдственная власть,

а средства полицейскаго надзора недостаточны!! Но, разсуждая такимъ образомъ, не проектируетъ ли почтенный профессоръ реставрацію столь памятнаго народу Шемякина суда?

Какъ бы въ подтвержденіе своей мысли, г. Сергѣевскій прибавляетъ: „нельзя не замѣтить, что вѣдь даже и нынѣ, въ современныхъ государствахъ, близкіе политическимъ преступникамъ люди хотя и не наказываются по суду, но нерѣдко терпятъ такое отношеніе къ себѣ органовъ власти и подвергаются такимъ стѣсненіямъ, которыя мало чѣмъ уступаютъ, а иногда и не уступаютъ тягчайшимъ наказаніямъ, по суду налагаемымъ“. Мы не станемъ распространяться о томъ, возможны или невозможны въ современномъ государствѣ такія явленія, какъ тѣ, на которыя указываетъ г. Сергѣевскій. Мы готовы съ нимъ согласиться, что такія явленія не только возможны, но что съ ними слѣдуетъ считаться, какъ съ существующими фактами. Мы позволимъ себѣ лишь обратить вниманіе на одно обстоятельство: какъ ни прискорбно, что въ современномъ государствѣ могутъ происходить порой такія насилія, какъ наказаніе невиновныхъ, но еще во сто разъ прискорбнѣе, когда подобнымъ явленіямъ подыскиваются людьми науки „глубокія основанія“, оправдывающія въ дѣйствительности такой порядокъ вещей.

Что мы не взводимъ напраслины на г. Сергѣевского, приписывая ему роль поборника такихъ, ничѣмъ и никогда не оправдываемыхъ порядковъ, какъ наказаніе невиновныхъ, — въ этомъ убѣждаютъ насъ тѣ страницы его изслѣдованія, гдѣ онъ говоритъ о групповой отвѣтственности въ двухъ ея формахъ: „въ формѣ групповой, поголовной отвѣтственности и въ формѣ групповой отвѣтственности по процентамъ, т.-е. изъ всей опредѣленной группы лицъ подвергается наказанію пятый, десятый и т. д., или всѣ такъ-называемые „лучшіе люди“ безъ опредѣленія числа ихъ“. Намъ кажется прежде всего, что г. Сергѣевскому подобало бы сначала указать, о какой групповой отвѣтственности онъ говоритъ. Слово: „групповая“ отвѣтственность, представляется слишкомъ общимъ. Оно можетъ относиться и къ осужденной теоріей отвѣтственности юридическихъ лицъ, и къ той коллективной отвѣтственности, въ силу которой, въ доброе старое время, наказывались всѣ родственники и близкіе человѣка, обвиненнаго, напр., въ государственномъ преступленіи.

Вопросы эти прекрасно разобраны въ наукѣ уголовнаго права,

и, не вдаваясь въ подробности, мы можемъ отослать г. Сергѣевского къ обязательно знакомому ему курсу русскаго уголовного права проф. Таганцева, освѣтившаго эти вопросы, какъ подобаетъ истинно ученому и просвѣщенному юристу.

Указывая на существованіе групповой отвѣтственности и въ нынѣ дѣйствующемъ Уложеніи о наказаніяхъ, авторъ разбираемаго изслѣдованія ссылается на ст. 530 Ул. Статья эта, налагающая взысканіе до трехъ сотъ рублей на еврейское общество за укрывательство бѣглаго еврея изъ военно-служащихъ, и устанавливающая, такимъ образомъ, отвѣтственность юридическаго лица — еврейскаго общества, — равно какъ и нѣкоторыя другія статьи, напр. ст. 985 Улож. о нак., налагающая также денежное взысканіе на общества, составляютъ сохранившіеся въ Уложеніи слѣдъ того времени, когда принципъ личной отвѣтственности еще окончательно не восторжествовалъ. Не говоря о томъ, что статьи эти, устанавливающія отвѣтственность юридическихъ лицъ, представляютъ собою ненормальное отклоненіе отъ господствующаго принципа, не только въ теоріи уголовного права, но и въ самомъ дѣйствующемъ законодательствѣ, — статьи эти, при дѣйствіи устава уголовного судопроизводства, оказываются вовсе непримѣнными.

Но дѣло вовсе не въ томъ, сохранилась или не сохранилась въ Уложеніи о наказаніи та или другая статья, — а во взглядѣ, высказываемомъ ученымъ юристомъ на наказаніе невиновныхъ; и вотъ въ этомъ-то отношеніи изслѣдованіе г. Сергѣевского представляется въ высшей степени любопытнымъ.

„На первый взглядъ, — говорятъ нашъ авторъ, — трудно найти основанія такому образу дѣйствій государственной власти: за нерозысканіемъ виновныхъ наказываются невиновные, въ томъ предположеніи, что среди ихъ находятся виновные. Однако, указанныя выше особенности эпохи даютъ, думается (!) намъ, при болѣе внимательномъ разсмотрѣніи, не только полное объясненіе, но и достаточное оправданіе (!!) этому институту групповой отвѣтственности; скажемъ даже болѣе, онъ получаетъ достаточное оправданіе и для нашихъ дней, и для права грядущихъ эпохъ, насколько сохраняются и сохраняются условія, его вызвавшія первоначально“.

Когда кто-либо, не говоря уже о лицѣ, носящемъ званіе ученаго, признаетъ цѣлесообразнымъ такой недостойный и науки, и

нравственности принципъ, какъ наказаніе невиновныхъ, тогда меньшее, что можно требовать, это—чтобы были указаны по крайней мѣрѣ основанія такой цѣлесообразности.

Чѣмъ же подкрѣпляетъ г. Сергѣевскій свое мнѣніе о цѣлесообразности наказанія невиновныхъ, и не только „для нашихъ дней, но и для права грядущихъ эпохъ“? Разсужденія автора въ этомъ отношеніи по истинѣ изумительны!


Государство, по мнѣнію автора, не можетъ терпѣть безнаказанности преступныхъ дѣяній, такъ какъ такая безнаказанность роняла бы авторитетъ государственныхъ законовъ и грозила бы разложеніемъ всему государственному строю. Оттого, что судебно-слѣдственная власть сильна или слаба, потребность государства въ томъ, чтобы преступныя дѣянія не оставались безнаказанными, нисколько не мѣняется, такъ какъ, по словамъ г. Сергѣевского, „государство требуетъ своего количества жертвъ; того количества, которое для него необходимо, въ предѣлахъ возможнаго терпѣнія“.

Установивъ такое „научное“ положеніе, г. Сергѣевскій безбоязненно и безъ всякихъ колебаній устремляется дальше. Государство требуетъ своего количества жертвъ, жертвы же могутъ быть набраны среди тѣхъ, виновность которыхъ не вполне доказана; но если оказывается, что числа этихъ жертвъ недостаточно, то государство не должно останавливаться: оно можетъ наказывать „и лицъ прямо невиновныхъ“. Опасаясь, что читатель заподозритъ насъ въ неправильномъ толкованіи мысли почтеннаго профессора, предоставимъ ему самому защиту принципа наказуемости невиновныхъ. „Представимъ себѣ,—говоритъ онъ,—что, благодаря особымъ условіямъ быта (хорошъ бытъ!), въ извѣстныхъ случаяхъ, для государства весьма важныхъ, виновныя лица вовсе не могутъ быть опредѣлены индивидуально наличными силами уголовной юстиціи, между тѣмъ государство не можетъ терпѣть безнаказанности ихъ преступныхъ дѣяній. Тогда—продолжаетъ ученый криминалистъ—для государственной власти остается единственная дилемма: или допустить безнаказанность свыше мѣры возможнаго терпѣнія и тѣмъ подвергнуть опасности разложенія извѣстную сторону государственнаго порядка, или *наложить наказаніе, не опредѣляя виновнаго индивида, на всѣхъ тѣхъ лицъ, въ числѣ которыхъ долженъ находиться дѣйствительный виновникъ*“.

Г. Сергѣевскій такъ проникся, повидимому, духомъ XVII-го и предыдущихъ вѣковъ, до XII-го включительно, что онъ не колеблется въ выборѣ, на чьей сторонѣ стать: на сторонѣ ли Ивана Грознаго, или на сторонѣ Екатерины Великой. Онъ душою отдается первому и объявляетъ „сомнительнымъ“ безсмертное изреченіе Екатерины: лучше оправдать десять виновныхъ, чѣмъ осудить одного невиновнаго!

Насъ, впрочемъ, не столько интересуетъ самая теорія почтеннаго профессора о законности наказанія невиновныхъ, сколько тѣ соображенія, которыми онъ ее подкрѣпляетъ. До сихъ поръ мы полагали, что авторитетъ государственной власти крѣпнеть по мѣрѣ того, какъ крѣпнутъ тѣ нравственныя начала, которыми она руководится во всѣхъ своихъ начинаніяхъ, и которыя она старается укоренить въ самомъ обществѣ; мы думали, что такой авторитетъ усиливается по мѣрѣ того, какъ обезоруживается беззаконіе и государственная жизнь обставляется болѣе и болѣе гарантіями, обеспечивающими права какъ частныхъ лицъ, такъ и всего общества. До г-на Сергѣевского мы не представляли себѣ государственной власти въ образѣ ненасытнаго языческаго Молоха, требующаго, для поддержанія своего величія, обильныхъ человѣческихъ жертвъ. Мы думали, раздѣляя въ этомъ случаѣ мнѣніе другого профессора уголовного права, г. Таганцева, что въ концѣ XIX-го вѣка невиновные могутъ жить спокойно, и только злоумышленники должны трепетать. Но старые профессора, вѣроятно, ошибались и питали насъ иллюзіями; а вотъ явился на сцену профессоръ новаго, юнаго поколѣнія, — и онъ разсѣялъ всѣ подобныя иллюзіи! Притомъ, г. Сергѣевскій рѣшительно неумолимъ, жестоко послѣдователенъ, у него на все есть отвѣтъ, его не собьешь никакимъ аргументомъ, онъ все предусмотрѣлъ. Читая его разсужденія о правѣ государственной власти подвергать наказанію невиновныхъ, при слабости судебно-слѣдственныхъ органовъ, мы чуть не сдались, но вдругъ невольно остановились на мысли: какъ же, однако, быть, если въ городѣ съ двухмилліоннымъ или трехмилліоннымъ населеніемъ, какъ Парижъ или Лондонъ, совершится хотя бы даже государственное преступленіе, и виновный не будетъ разысканъ? У г. Сергѣевского и на этотъ вопросъ есть готовый отвѣтъ: „когда количество лицъ слишкомъ велико, а отъ умноженія числа наказанныхъ государство никакихъ выгодъ (!) не получаетъ, какъ, напр., при тѣлесныхъ наказа-





Е. И. УТИНЪ


ИЗЪ
ЛИТЕРАТУРЫ И ЖИЗНИ

ЖУРНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ, ЭТЮДЫ, ЗАМѢТКИ.

ТОМЪ II.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лив., 28.





2371

СОДЕРЖАНІЕ

ВТОРОГО ТОМА.

	СТРАН.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФІЯ XIX вѣка.	1
Гамбетта. Первое десятилѣтіе французской республики . . .	247
ИНТИМНАЯ ЛИТЕРАТУРА	327—421

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФІЯ XIX-го ВѢКА.

Les discours de M. le Prince de Bismarck. Berlin. 1872.

On ne juge pas les hommes sur leur parole, ce serait le moyen de se tromper toujours, mais on compare leurs actions ensemble, et puis leurs actions et leurs discours: c'est contre cet examen réitéré que la fausseté et la dissimulation ne pourront rien jamais.

Oeuvres de Frédéric II: Examen du Prince de Machiavel.

I.

Съ тѣхъ поръ, какъ сильная монархія Фридриха II-го, испытавъ тяжкій недугъ, причиненный ей завоевательною политикою Наполеона I-го, снова поднялась на нашихъ уже глазахъ и въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ видимо превратилась въ самую могущественную военную державу западной Европы, — стало распространяться мнѣніе о возможности, пожалуй даже вѣроятности враждебнаго столкновенія между двумя расами: германскою и славянскою, иными словами, между Германіею и Россіею, такъ какъ эти двѣ державы являются представительницами съ одной стороны славянъ, съ другой — нѣмцевъ. Если мнѣніе это существовало уже со времени поразительныхъ успѣховъ и быстрого возростанія Пруссіи послѣ прусско-австрійской войны 1866 года, то послѣ французской войны и образованія могущественной германской имперіи оно пошло далѣе, и ~~для~~

значительной части нашего общества вопросъ о войнѣ между Россією и Германією превратился только въ вопросъ времени. Конечно, все это одни гаданія, одни предположенія, на которыя не стоило бы обращать никакого вниманія, еслибы они не обнаруживали такого упорства, такого замѣчательнаго постоянства. Распространенное мнѣніе о будущемъ столкновеніи двухъ первостепенныхъ державъ кажется тѣмъ болѣе удивительнымъ среди русскаго общества, что наши официальные отношенія къ Германіи находятся болѣе чѣмъ въ удовлетворительномъ состояніи. Самымъ вѣскимъ доказательствомъ дружественныхъ отношеній нашего правительства къ могущественному сосѣду можетъ служить берлинское свиданіе трехъ императоровъ, въ которомъ пессимистическіе умы думали, однако, видѣть возобновленіе чуть не Священнаго Союза. Едва ли нужно говорить, какъ глубоко заблуждались такіе политики. Новый „священный союзъ“ между тремя державами вовсе немислимъ въ настоящее время. Онъ предполагалъ бы собою единство не только въ принципахъ внѣшней политики, но такое же единство и въ вопросахъ и направленіи внутренней политики. Въ 1816 году, ни въ Австріи, ни въ Пруссіи не было представительнаго правленія, и монархи этихъ державъ могли всецѣло распоряжаться судьбою своихъ государствъ. Съ тѣхъ поръ времена перемѣнились. Какъ ни юно представительное правленіе Австріи, какъ ни шатокъ представительный порядокъ Пруссіи, тѣмъ не менѣе и тутъ, и тамъ правительство должно считаться съ желаніями своихъ палатъ. Такимъ образомъ, если ни императоръ австрійскій, ни императоръ Германіи не могутъ по своему усмотрѣнію предрѣшать направленіе внутренней политики, то возобновленіе „священнаго союза“ должно быть сочтено за химеру. Оставляя, слѣдовательно, въ сторонѣ предположеніе о возможности тѣсной связи въ дѣлахъ внутренней политики Германіи и Россіи, мы должны разсматривать дружеское берлинское свиданіе какъ залогъ прочности отношеній между двумя кабинетами, залогъ мира и согласія между двумя сосѣдними народами.

Все это, казалось, должно было бы успокоить насъ относительно воинственнаго пыла нашего сильнаго сосѣда, все это, казалось бы, должно было разогнать мрачныя опасенія, тревожащія мирное настроеніе русскаго общества. И однако, несмотря на очевидную близость двухъ кабинетовъ, на безчисленныя завѣренія въ любви и искрен-

ней дружбѣ, значительная часть нашего общества относится съ недоувѣріемъ къ мирной политикѣ Германіи и не перестаетъ опасаться грознаго столкновенія двухъ самыхъ мощныхъ въ настоящее время народовъ. При этомъ нужно замѣтить, что само русское общество вовсе не находится въ воинственномъ настроеніи, что оно вовсе не падко до военной славы, и что лавры, пожатыя Германіей въ двухъ поразительныхъ по успѣху войнахъ, сами по себѣ вовсе не причиняютъ ему безсонныхъ ночей. Деритесь-молъ себѣ сколько угодно, дѣлайте что можете, создавайте цѣлыя горы труповъ и цѣлыя моря крови, можете сказать русское общество, намъ до васъ нѣтъ никакого дѣла, и безъ васъ у насъ довольно заботы, на нашъ вѣкъ хватить! Если же, несмотря на такое миролюбивое настроеніе русскаго общества, какъ грозное видѣніе Макбета возстаетъ передъ нимъ мысль о войнѣ съ Германіей, то источникъ ея, очевидно, лежитъ въ убѣжденіи, что Германія не остановится въ своихъ завоевательныхъ стремленіяхъ, и что, поваливъ въ двухъ схваткахъ, изъ которыхъ одна страшнѣе и внушительнѣе другой, два еще недавно сильныхъ народа и, чтобы употребить любимое выраженіе Фридриха II-го, округливъ свои границы, она захочетъ помѣряться и съ своимъ третьимъ и послѣднимъ сосѣдомъ. Конечно, и это разумѣется само собою, съ цѣлью при счастіи округлить свои восточныя границы.

Насколько подобныя опасенія серьезны, насколько вообще мысль о будущемъ кровавомъ столкновеніи двухъ самыхъ многочисленныхъ народовъ въ Европѣ сумасбродна или основательна, — это другой вопросъ. Но нельзя отвергать факта, что такая мысль живетъ среди русскаго общества, что никакія заявленія дружбы не въ силахъ разсѣять ее, и что мысль эта кроется не въ воинственномъ азартѣ Россіи, а въ предположеніи, что въ побѣдоносной Германіи втайнѣ и на досугъ куются злыя козни противъ спокойствія и цѣлости русской земли. Мы охотно готовы были бы допустить, что всѣ подобныя опасенія суть только бредни пылкаго воображенія, результатъ того, что называется „у страха глаза велики“, что всѣ такого рода предчувствія общества или значительной части его въ концѣ концовъ окажутся такъ же неосновательны, какъ большая часть предчувствій отдѣльныхъ людей. Но опять случается, что и предчувствіе человѣка оправдывается въ дѣйствительности; а вѣдь съ предчувствіемъ общества нужно относиться куда осторожнѣе. Цѣлое общество далеко не

такъ легко поддается суевѣрнымъ опасеніямъ, суевѣрному страху, какъ отдѣльный человѣкъ. Предчувствіе общества подкладкою своею, большею частью, имѣетъ извѣстныя совершившіяся событія, факты, а кто не знаетъ, что лучшимъ руководителемъ будущаго служить все-таки прошедшее. Изъ фактовъ этого прошедшаго выводятся факты будущаго, и если такая система доказательства не всегда отличается вѣрностью, то иногда, и довольно часто, она все-таки приводитъ къ основательнымъ результатамъ.

Но развѣ есть, можно спросить, въ прошедшемъ Германіи такіе факты, развѣ въ исторіи ея встрѣчаются такіе событія, которыя указывали бы на враждебное отношеніе этого государства къ Россіи? Можно съ увѣренностью сказать только то, что Германія никогда еще не была искреннею союзницею Россіи и ничѣмъ не заявила на дѣлѣ особенно дружественныхъ къ ней отношеній. Чувства, выходившія наружу въ этой странѣ, не доказывали никогда особеннаго расположенія къ русскому народу; напротивъ, эти чувства отличались необыкновеннымъ высокомѣріемъ, къ русскому обществу нѣмецкое всегда относилось — и я не думаю, что было бы большою ошибкою сказать — и относится съ большою надменностью. На русскихъ смотрѣли — да и продолжаютъ смотрѣть — какъ на народъ, стоящій весьма близко къ народу-варвару, народъ, котораго слѣдуетъ опасаться, который нужно держать въ „рѣшпектѣ“, который долженъ быть благодаренъ, если ему бросаютъ крохи образованности съ барскаго стола народа, воплощающаго въ себѣ высшую цивилизацію, высшее развитіе.

Что это не басня, что нѣмцы давно смотрѣли на насъ какъ на варваровъ, въ этомъ можетъ убѣдить насъ одинъ изъ лучшихъ представителей нѣмецкаго народа, великій государь и философъ, который около ста лѣтъ тому назадъ такъ говорилъ о Россіи въ „Histoire de mon temps“: „Изъ всѣхъ сосѣдей Пруссіи, русская имперія заслуживаетъ самаго большаго вниманія, такъ какъ этотъ сосѣдъ самый опасный: онъ могущественъ и онъ сосѣдъ. На тѣхъ, которые въ будущемъ будутъ управлять Пруссіею, лежитъ необходимость поддерживать дружбу съ этими варварами. Король (Фридрихъ II-й имѣлъ обыкновеніе писать про себя всегда въ третьемъ лицѣ) не столько опасается численности ихъ войскъ, сколько этого роя казаковъ и татаръ, которые сожигаютъ страны, убиваютъ жителей или уводятъ ихъ въ рабство; они наполняютъ развалинами тѣ страны, которыя они

наводняютъ“. Единственное исключеніе въ этой варварской странѣ, по мнѣнію великаго Фридриха, составлялъ только Петръ III-й, у котораго было и „превосходное сердце“, и „самыя благородныя и возвышенныя чувства“, человекъ, „добродѣтели котораго составляли исключеніе въ политическомъ мірѣ“. Итакъ, только одинъ человекъ, и то только благодаря его преклоненію передъ могущественнымъ прусскимъ королемъ, получилъ похвальный отзывъ. Вся остальная Россія, это—варвары, варвары и еще разъ варвары! Но положимъ, что Фридрихъ II-й былъ и правъ въ своемъ сужденіи о Россіи; положимъ, что сто лѣтъ тому назадъ Россія дѣйствительно была варварскою страной; но неужели же съ тѣхъ поръ ничего не измѣнилось? Неужели ничуть не подвинула впередъ Россію эпоха Александра I-го; неужели не въ счетъ пошла богатая плеяда литературныхъ дѣятелей послѣднихъ тридцати лѣтъ; неужели, наконецъ, дѣло осталось въ томъ же положеніи, какъ оно было и прежде, несмотря на нѣкоторыя коренныя реформы послѣднихъ пятнадцати лѣтъ? Если вѣрить тому, что теперь говорится и пишется въ Германіи, то должно быть такъ, потому что настоящіе отзывы нѣмцевъ о русскомъ современномъ обществѣ мало чѣмъ разнятся отъ отзывовъ Фридриха II-го.

Не станемъ впрочемъ доискиваться, гдѣ лежатъ причины, гдѣ кроются основанія тѣхъ опасеній значительной части нашего общества, которыя выдвигаются впередъ въ виду необыкновеннаго усиленія нашего нѣмецкаго сосѣда. Не станемъ придавать значеніе мнѣніямъ, высказываемымъ насчетъ Россіи различными нѣмецкими газетчиками и журналистами, забудемъ ихъ, сдѣлаемъ видъ, какъ будто ихъ и не существовало. Предположимъ, что страхъ будущей грозы ни на чемъ рѣшительно не основанъ, что въ настоящую минуту нѣтъ никакихъ задатковъ для столкновенія между двумя народами, и что страхъ этотъ есть только страхъ призрачный, эфемерный. Но даже и въ такомъ случаѣ, какъ бы ни былъ неоснователенъ этотъ, скажемъ пожалуй, инстинктивный страхъ, или, вѣрнѣе, инстинктивное опасеніе будущаго столкновенія между Россіей и Германіей, все-таки на нашей обязанности лежитъ неусыпно слѣдить за каждымъ движеніемъ нѣмецкаго общества, за каждымъ шагомъ возставшей изъ болѣе нежели шестидесятилѣтняго слоя пыли—нѣмецкой имперіи. Изученіе нѣмецкой политики, близкое ознакомленіе съ людьми, дающими ей тонъ, направленіе, внимательное отношеніе къ правиламъ политической

мудрости, ихъ практической философіи—вотъ что существенно важно для того, чтобы не быть застигнутыми врасплохъ. Еслибы французское общество болѣе внимательно слѣдило за тѣмъ, что говорилось и что писалось въ Германіи, хотя бы съ минуты вступленія въ управленіе дѣлами Бисмарка, то, кто знаетъ, быть можетъ оно не поплатилось бы такъ страшно въ рѣшительную минуту, можетъ быть оно сумѣло бы предотвратить грозу. Франція наказана тѣмъ, чѣмъ она всегда такъ грѣшила: высокомѣрнымъ отношеніемъ къ сосѣднимъ народамъ, такимъ отношеніемъ, которое исключало строгое наблюденіе за всѣмъ тѣмъ, что дѣлалось въ другихъ государствахъ. Не станемъ же слѣдовать примѣру Франціи и не станемъ полагаться на наше всевѣденіе въ то время, когда мы знаемъ такъ мало, такъ мало. Не подлежитъ сомнѣнію,—и это давно высказывалъ еще Фридрихъ II-й въ своихъ „*Considérations sur l'état présent du corps politique de l'Europe*“, — что „каждое событіе должно имѣть основаніе для своего существованія, и что причина событій лежитъ въ другихъ событіяхъ, которыя имъ предшествовали; а отсюда необходимо вытекаетъ, что каждый фактъ въ политикѣ есть послѣдствіе другого политическаго факта, который ему предшествовалъ, и который, такъ сказать, подготовилъ его появленіе“. Вотъ почему слѣдуетъ почаще останавливаться на томъ, что совершилось, какъ и при какихъ обстоятельствахъ,—чтобы на основаніи предшедшаго опыта съ большею или меньшею достовѣрностію можно было судить о будущихъ событіяхъ. Одного этого соображенія было бы уже совершенно достаточно, чтобы объяснить причину, по которой мы не можемъ считать бесполезнымъ обращеніе вниманія на такой фактъ, какъ полное собраніе рѣчей князя Бисмарка, и разобрать ихъ со всею подробностію, со всею тщательностію и тѣмъ вниманіемъ, котораго требуетъ громадное значеніе этого замѣчательнаго государственнаго человѣка нашего времени.

Но, помимо высказаннаго соображенія, есть еще и другое, дѣлающее изученіе политическихъ рѣчей князя Бисмарка весьма интереснымъ. Идеи и взгляды этого самаго крупнаго государственнаго дѣятеля современной эпохи важны не только въ практическомъ отношеніи, не только потому, что они могутъ доставить намъ полезныя указанія на то, чего можно надѣяться и чего слѣдуетъ опасаться со стороны нашего могущественнаго сосѣда; нѣтъ, изученіе политической мудрости, такъ-сказать, практической философіи устроителя Герма-

ніи представляеть интересъ и съ теоретической точки зрѣнія, какъ замѣчательный образчикъ вообще практической философіи нашего вѣка. Этотъ теоретическій интересъ заключается въ наблюденіи надъ рѣзкимъ движеніемъ общества западной Европы, совершившимся на нашихъ глазахъ, въ наблюденіи общества, ступенывающагося передъ волей и энергіей одного человѣка, и тѣхъ изгибовъ или извилинъ, къ которымъ прибѣгаетъ общество, чтобы выйти на прямую дорогу или, по крайней мѣрѣ, которую оно считаетъ прямою. Казалось бы, что общество, преслѣдующее извѣстныя цѣли, желающее устроиться такъ или иначе, должно идти для осуществленія своихъ стремленій по такому-то пути, который одинъ кажется цѣлесообразенъ, одинъ представляется самымъ достойнымъ и вмѣстѣ самымъ легкимъ, — смотришь, общество выбираетъ такой путь, который ему, казалось бы, долженъ быть ненавистенъ, выбираетъ его отчасти противъ общей воли, подъ давленіемъ единичной воли, и не только примиряется съ этимъ путемъ, но приходитъ къ мысли, что это былъ и единственно возможный. Стройте послѣ этого теоріи общественнаго движенія, доказывайте, что общество неотступно идетъ по пути, опредѣленному отысканными законами, когда движеніе человѣческаго общества, постройки, созидаемыя имъ, дають такъ часто опроверженія тому. Но, конечно, какъ бы чувствительны ни были эти опроверженія заранѣе созданныхъ теорій, они все-таки не опровергають существованія извѣстныхъ законовъ движенія человѣческаго общества. Они доказываютъ только, что далеко не всѣ законы построенія и движенія человѣческаго общества уже открыты, и что будущему предстоить еще открыть законы этого движенія, которые, можетъ быть, блистательно докажутъ, какъ велико самоиѣніе тѣхъ оригинальныхъ философовъ, которые съ напускною важною и какою-то авторитетною рѣшимостью берутъ на себя рѣшеніе вопроса: какая нація находится въ періодѣ застою, какая въ періодѣ прогресса и какая въ періодѣ регресса. Опроверженія, которыя дѣлаются тѣмъ или другимъ движеніемъ, не опровергая всѣхъ законовъ или возможности законовъ, должны убѣдить только всѣхъ и каждого, что самая трудная изъ всѣхъ наукъ—это наука человѣческаго общества, которая именно и трудна тѣмъ, что она допускаетъ много пустыхъ разглагольствованій, вовсе не основанныхъ на опытѣ. Надъ человѣческимъ же обществомъ, какъ цѣлымъ, нельзя производить экспериментовъ, оно ~~неподдается~~

отъ опыта, его нельзя по произволу ставить въ такое положеніе, которое необходимо изслѣдователю для произведенія опыта, производимаго при одинаковыхъ условіяхъ, при данномъ положеніи. Надъ движеніемъ человѣческаго общества, надъ его развитіемъ сдѣланы только нѣкоторыя наблюденія, но наблюденія эти еще крайне бѣдны, крайне малочисленны, настолько скудны, что изъ нихъ нельзя еще сдѣлать твердыхъ, несомнѣнныхъ выводовъ, на которые претендуютъ философы, рубящіе съ плеча.

Впрочемъ, въ извиненіе философовъ, рубящихъ съ плеча, должно сказать, что самыя наблюденія надъ движеніемъ человѣческаго общества стали еще слишкомъ недавно укладываться въ научныя рамки, и что слишкомъ недавно было впервые со смысломъ произнесено слово: „наука человѣческаго общества“; лучшіе умы до законовъ общественнаго движенія добираются ощупью, медленно, съ большимъ трудомъ, завоевывая каждый шагъ впередъ на этомъ трудномъ, не расчищенномъ пути. Но можетъ или не можетъ быть признано, что твердые законы развитія, движенія, жизни человѣческаго общества уже открыты, что совокупность этихъ законовъ составляетъ науку человѣческаго общества, — во всякомъ случаѣ люди не должны отказываться собирать матеріалы для такой науки, не должны отказываться накапливать наблюденія надъ общественнымъ движеніемъ, потому что чѣмъ больше будетъ такихъ наблюденій, тѣмъ скорѣе облегчается дѣло науки, тѣмъ съ большимъ правомъ въ дѣлѣ движенія человѣческаго общества можно говорить: таковъ законъ жизни человѣческаго общества.

Среди матеріала, необходимаго для науки человѣческаго общества, довольно важное мѣсто должны занимать наблюденія надъ такими періодами, надъ такими моментами развитія извѣстнаго народа, когда жизнь точно выходитъ изъ береговъ, когда она съ особенною энергіею бьетъ ключомъ, когда въ общественномъ организмѣ сказывается выходящее изъ ряду напряженіе всѣхъ жизненныхъ силъ общества. Эти періоды преимущественно сбиваютъ изслѣдователей человѣческаго общества, такъ какъ во время ихъ господства выходятъ наружу — и, кажется, только для того, чтобы черезъ нѣсколько времени снова скрыться подъ землею — явленія, начала, идеи, для осуществленія которыхъ, или, вѣрнѣе, для того, чтобы они вошли въ жизнь, требуется большая, напряженная работа не одного поколѣнія.

Жизнь нѣмецкаго народа за послѣднія десять лѣтъ представляет собою именно такой бурный періодъ, когда въ движеніи общества нельзя не чувствовать крайняго напряженія всѣхъ жизненныхъ силъ. Наблюденія, касающіяся этого движенія, представляютъ значительный интересъ и могутъ быть не бесполезны для науки человѣческаго общества. Сколько бы эти наблюденія ни противорѣчили другимъ наблюденіямъ, сдѣланнымъ въ иное время, это не бѣда, лишь бы наблюденія были сдѣланы вѣрно, безъ натяжекъ и предвзятыхъ идей. Сравните Германію, какъ она была десять лѣтъ назадъ, съ тѣмъ, что она представляетъ теперь, и вамъ бросится въ глаза, по-видимому, такой скачокъ, который невольно поражаетъ. На первый взглядъ все, кажется, перевернуто вверхъ дномъ. Десять лѣтъ назадъ въ Германіи насчитывалось до сорока штукъ отдѣльныхъ, независимыхъ государствъ, весьма слабо связанныхъ между собою Германскимъ союзомъ, до сорока штукъ мелкихъ государствъ, имѣвшихъ весьма ничтожное вліяніе на ходъ событій или, вѣрнѣе, вовсе не имѣвшихъ никакого вліянія. Это былъ оркестръ, въ которомъ одинъ музыкантъ нисколько не стѣснялся тѣмъ, что играетъ другой, и преспокойно тянулъ свою пѣсню. Франкфуртскій сеймъ былъ пропихимъ капельмейстеромъ, и какъ онъ, бѣдный, ни трудился, а проку все не было: Германія не устанавливалась; кто въ лѣсъ, кто по дрова. Капельмейстеръ выбивался изъ силъ,—то вручалъ первую скрипку Австріи, то отнималъ у нея, и ее хватала Пруссія,—а ладу все не было, и Европа, ухмыляясь, съ нѣкоторымъ довольствомъ могла говорить: „какъ ни садитесь, а въ музыканты не годитесь“! Среди этихъ государствъ были двѣ державы, которыя то-и-дѣло грызлись между собою.—Я первая! говорила Австрія: я — имперія, я — послѣдняя представительница Германской имперіи! давно ли я сняла императорскую нѣмецкую корону, кто можетъ равняться со мною!—И, гордая своимъ прежнимъ величіемъ, она поддерживала свою старую систему угнетенія народностей, входящихъ въ ея составъ, и никакъ не желала разстаться съ тою патріархальною системою управленія государствомъ, которая такъ любезна была доброй памяти старичку Меттерниху. Она знать не хотѣла ни о какихъ желаніяхъ, ни о какихъ претензіяхъ подвластныхъ ей племенъ и народовъ, закусилась себѣ удила и мчалась во всю прыть по протоптанной дорожкѣ, на которой въ 1849-мъ году помогли ей удержаться русскія войска. Хватилась

она объ стѣну Ломбардіи въ 1859-мъ году; тяжело былъ ударъ Сольферино, а все не хотѣла выпустить она удиль, все не хотѣлось ей сворачивать съ дороги.

Пруссія въ свою очередь не разъ восклицала: я хочу быть первой! Но традиціонное уваженіе къ представительницѣ старой германской имперіи и какой-то страхъ вступить на революціонный путь долго сдерживали ее, и она, недовольная, постоянно ворча и внутренне раздраженная, плелась по стопамъ Австріи. Если Пруссія продолжала считаться первостепенною державою, то только изъ уваженія къ памяти Фридриха Великаго и во имя воспоминанія о ея минутномъ могуществѣ, созданномъ гевіемъ этого государя. Въ сущности же она должна была считаться державою второстепенною, голосъ ея не имѣлъ никакого значенія, вліяніе ея на крупныя европейскія событія равнялось почти нулю. Она держала себя скромно, въ сторонкѣ, не вмѣшиваясь ни во что изъ опасенія, чтобы не мѣшались въ ея внутреннія дѣла. Она не могла еще оправиться отъ страха, нагнаннаго на нее Наполеономъ I-мъ; она все еще не могла подняться изъ униженія, нанесеннаго ей битвой при Іенѣ. Жажда мщенія, стремленіе охраниваться, окрѣпнуть и выйти изъ своего изолированнаго положенія она хранила про себя, въ тиши обучая свою армію, вооружая ее усовершенствованнымъ оружіемъ и накопляя золота въ свою, войнѣ предназначенной, резервную казну. Если Пруссія не блестяла въ дѣлахъ внѣшней политики, то не блестяла и своими внутренними дѣлами. Монархія, запуганная на минуту движеніемъ 1848 года, готовая было прикрыть свою королевскую корону красною фригійскою шапкою, она скоро пришла въ себя, и, держась того начала, что правительство не рабъ, а господинъ своего слова, она еще разъ не сдержала его, и какъ послѣ войны за освобожденіе, такъ и теперь, поспѣшила взять назадъ свои обѣщанія и не сдѣлала тѣхъ конституціонныхъ уступокъ, которыя настойчиво требовались общественнымъ мнѣніемъ. Не даромъ же Пруссія отказалась отъ императорской короны, предложенной ей „революционнымъ“ франкфуртскимъ собраніемъ,—съ красными она очевидно не желала имѣть никакого дѣла. Чтобы не уклоняться отъ правды, слѣдуетъ рѣшительно сказать, что Фридрихъ-Вильгельмъ IV октроировалъ конституцію, парламентъ собирался въ Берлинѣ; но на эту октроированную конституцію и на этотъ парламентъ прусская монархія не переставала смотрѣть враж-

дѣло, точно это были ея нелюбимыя, незаконныя дѣти, плоды не любви, а порока, и держала ихъ въ строгомъ повиновеніи, никогда не разставаясь съ хлыстомъ, съ ежовыми рукавицами.

Таково было положеніе дѣлъ. Но прошло десять лѣтъ, — и какая переи́тна! Германскій Союзъ, при самомъ рожденіи разбитый уже параличемъ, отошелъ въ вѣчность; одни изъ мелкихъ государей потеряли свои владѣнія, отойдя къ Пруссіи; другіе, не утрачивая владѣній, утратили право распоряжаться въ нихъ какъ господа и сдѣлались покорными вассалами могущественнаго сюзерена, владѣвшаго Пруссіей. Австрія была выброшена изъ Германіи и предоставлена своей собственной судьбѣ — раздѣлывайся-моль какъ знаешь съ твоими разношерстными племенами, но помни, что Германія никогда не откажется благосклонно принять въ свое лоно твое нѣмецкое населеніе, хотя бы и съ примѣсью славянскаго элемента! Таковы были напутственные слова, сказанныя Австріи при прощаньи. Пруссія же изъ второстепеннаго скромнаго государства, не имѣвшаго „свое сужденіе имѣть“, превратилась въ первостепенную европейскую державу, голосъ которой имѣетъ первенствующее значеніе. Воля ея сдѣлалась чуть не закономъ, и всю Европу заставила она преклониться передъ своимъ могуществомъ. Отмстивъ за Ольгию Садовую, за Іену Седаномъ и Парижемъ, она раздавила свою старую соперницу и придушила своего когда-то мощнаго повелителя. Увѣнчанная лаврами, Пруссія можетъ гордо и высокомерно взирать на весь міръ. Она чувствуетъ, что народы трепещутъ при ея имени, и вкушаетъ сладость господства и власти. Императорская корона сдѣлалась наследственнымъ добромъ дома Гогенцоллерновъ. вмѣстѣ съ возстановленіемъ Германской Имперіи рушилось болѣе чѣмъ когда-либо политическое равновѣсіе Европы: Германія сильно перетянула вѣсы. Такова была внѣшняя переи́тна, происшедшая въ центральной Европѣ. Не менѣе радикальна была переи́тна, послѣдовавшая внутри нѣмецкихъ государствъ и преимущественно Пруссіи. Вся Германія вмѣстѣ и каждый нѣмецъ по одиночкѣ подняли голову. Прежде нѣмцы гордились только своею литературою и наукою, но и то гордились въ тиши, не чванясь своими заслугами передъ человѣчествомъ. Нѣмцы прежде могли считать себя выше своего правительства; они могли говорить про него, что оно обмануло ихъ, не сдержавъ тѣхъ обѣщаній, которыя такъ щедро были даны въ ту минуту, когда по всей Германіи раздался

крикъ: „отечество въ опасности“! Нѣмцы и попрекали правительство, что оно обмануло ихъ, но попреки дѣлались впрочемъ съ такой мягкостью, покорностью, которыя, казалось, были природными свойствами нѣмцевъ. У нѣмцевъ, среди которыхъ было такъ много разрозненности, и политической и философской, была одна общая идея—это идея единой, свободной Германіи, о которой они всѣ мечтали, которую они видѣли въ пѣсняхъ Арндта и Кёрнера, но осуществить которую у нихъ не хватало энергіи и рѣшимости. Они видѣли, что дѣла ихъ съ каждымъ днемъ принимали все худшій и худшій оборотъ; ихъ тѣснили со всѣхъ сторонъ, они съ грустью смотрѣли, какъ по военному распоряжаются ихъ берлинскимъ парламентомъ. Они перестали надѣяться на правительство и относились къ нему съ покорностью, но съ дурно скрываемою антипатіею. Они съ отчаяніемъ сопротивлялись военнымъ преобразованіямъ, потому что привыкли къ мысли, что сильная армія направлена будетъ противъ нихъ самихъ. Тяжелыя минуты переживалъ нѣмецкій народъ. И вдругъ перемѣна! Они, казалось, шли къ военной славѣ, и лишь только почувствовали ея первое обаяніе, воспріяли духомъ, гордо подняли головы, разбили своихъ старыхъ боговъ и поклонились до земли восходящему солнцу: сильной военной державѣ. Болѣе рѣзкаго преобразованія, болѣе быстрого превращенія, чѣмъ то, какое случилось съ нѣмцами, едва ли знаетъ исторія. Мы были глупы,—стали говорить нѣмцы,—мы были идеалистами, мы воображали, что въ мірѣ достигается что-нибудь орудіемъ идей! Нѣтъ, въ мірѣ торжество принадлежитъ силѣ, будемъ же сильны! Событія оправдывали ихъ. Желанное ими единство осуществилось, осуществилось въ иной формѣ и при другихъ условіяхъ, чѣмъ они воображали, будучи идеалистами, но тѣмъ лучше, это единство сдѣлало ихъ самымъ могущественнымъ народомъ въ Европѣ, и они, такъ недавно плохенькіе, покорные, забытые, теперь во всеуслышаніе объявляли: мы первый народъ въ Европѣ, въ мірѣ; наша воля должна быть закономъ; горе, кто сопротивляется намъ! Гордость и высокомеріе, которыя стали обнаруживать нѣмцы, не должны быть поставлены имъ въ вину. Какой народъ можетъ поручиться, что онъ не угорѣлъ бы въ такомъ чадѣ побѣдъ, успѣховъ, военного торжества, выпавшихъ на долю нѣмцевъ. Нѣмецкій народъ по справедливости можетъ обратить слова Христа въ свою пользу и сказать

всѣмъ народамъ: кто изъ васъ безъ грѣха, тотъ пусть первый бросить въ меня камень! Камень выпалъ бы изъ рукъ народовъ.

Но не въ этомъ дѣло. Какъ бы то ни было, но перемѣна, и самая рѣзкая перемѣна, произошла и снаружѣ, и внутри Германіи: наступило не только единство нѣмцевъ, но единство ихъ съ правительствомъ, къ которому такъ долго они питали ненависть. Пророчество Бёрне исполнилось. Пруссія стала велика и могущественна.

Какъ ни рѣзко кажется измѣненіе, происшедшее въ томъ или другомъ народѣ, можетъ ли, спросимъ, оно быть названо скачкомъ? Можно ли допустить, чтобы въ исторіи, въ жизни, въ движеніи того или другого народа возможны были скачки? Возможно ли допустить, что не все совершается послѣдовательно, постепенно? И да, и нѣтъ. Нѣтъ, потому что какъ ни быстро повидимому совершилась извѣстная перемѣна въ жизни цѣлаго народа, зародышъ ея, основаніе, всегда скрывается въ предшествующемъ періодѣ. Возьмемъ для примѣра Францію и Германію. Еслибы первая не была приготовлена къ пораженію, нанесенному ей послѣднею, приготовлена внутреннею деморализаціею, вызванною второю имперіею, которая въ свою очередь могла утвердиться лишь потому, что ей предшествовалъ цѣлый длинный періодъ внутренней борьбы, въ которой всѣ партіи измучились, потеряли необходимую силу сопротивленія, то, разумѣется, Германія встрѣтила бы въ этой странѣ болѣе серьезный отпоръ. Но вторая имперія не могла его оказать, потому что въ постоянныхъ заботахъ о собственномъ охраненіи она разстроила финансы, ослабила узы, связывающія каждого человѣка съ его родиною, и не поддерживала въ арміи того духа, того начала, которое составляетъ истинную силу ея, начала, заключающагося въ сознаніи обязанности защищать свою родину до послѣдней капли крови, охотно жертвуя ей своею жизнью. Этого начала, этого духа, которымъ такъ преисполнены были арміи большой революціи, недоставало Франціи 1870 года, и всѣ усилія, какъ бы достойны они ни были отдѣльныхъ личностей, подобныхъ Гамбеттѣ, не могли привести ни къ какому результату. Франція обречена на продолжительный миръ, потому что потребуются много времени, чтобы пробудить этотъ духъ, чтобы вдохнуть въ населеніе ту любовь къ своей родинѣ, которую сильна была Франція конца XVIII-го столѣтія.

Германія, напротивъ, и со стороны ~~правительства~~ со стороны



The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the County of Los Angeles, California, for the year 1900, as provided for by the Act of the Legislature of the State of California, passed at the Regular Session of 1899, Chapter 100, and as amended.

[illegible]

народа представляла вовсе иное зрѣлище. Правительство, при своемъ презрительномъ отношеніи къ народному представительству, при крайнемъ стѣсненіи политической свободы народа, во всемъ, что касается экономической сферы его дѣятельности, во всемъ, что касается военной организаціи, употребляло всѣ свои усилія, чтобы сдѣлать страну сильною и необъязимою. Оно прежде другихъ поняло, что грамота, просвѣщеніе удешевляетъ силу, и потому прилагало всѣ свои заботы о распространеніи образованія. Оно помнило политическое завѣщаніе Фридриха II-го и старалось выполнять его волю. Фридрихъ II-й завѣщалъ своимъ наслѣдникамъ всѣ свои заботы обращать на состояніе финансовъ и на содержаніе хорошей арміи, потому что, какъ говорилъ онъ, слабый всегда становится жертвою сильнаго. Онъ говорилъ имъ: не надѣйтесь никогда на союзниковъ, рассчитывайте только на себя, держась того начала, что сильные всегда держатъ сторону сильныхъ. И Германія выполнила завѣщаніе своего великаго Фридриха: она привела свои финансы и свою армію въ цвѣтущее состояніе. Германія, или, вѣрнѣе, Пруссія, составившая оплотъ Германіи, не упустила даже совѣта Фридриха, имѣть постоянно особую резервную казну для войны, казну, которую бы, какъ говоритъ онъ въ своемъ „*Essai sur les formes du gouvernement et sur les devoirs des souverains*“, никогда нельзя было расходовать на другіе предметы и которая должна имѣть назначеніемъ облегчать первыя военныя дѣйствія. Мы знаемъ въ самомъ дѣлѣ, что Бисмаркъ хвалился этою резервною казною, говоря, что безъ нея Германія не въ состояніи была бы такъ быстро сдвинуть свои войска на границѣ Франціи, и что безъ нея, быть можетъ, первыя военныя дѣйствія должны были бы разыграться на священной почвѣ нѣмецкой родины. А еще Фридрихъ говорилъ, что „завоевательная политика установила принципъ, что первый шагъ къ завоеванію страны—это занести въ нее ногу, и это самое трудное; остальное уже рѣшается судьбою оружія и правомъ болѣе сильнаго“. Нѣмецкое правительство помнило эти правила практической философіи XVIII-го вѣка и не отступало отъ своихъ дорогихъ традицій. Такимъ образомъ, нѣмецкое правительство было готово; оно выжидало момента, чтобы произвести перемѣну въ исторіи своего народа.

Съ своей стороны, нѣмецкій народъ точно также давно уже подготавлился къ происшедшей перемѣнѣ въ его судьбахъ. Онъ давно

уже вздыхалъ по единству, въ которомъ видѣлъ единственный оплотъ противъ возможности повторенія чужеземнаго нашествія, оплотъ противъ новаго 1806 года. Правда, это единство представлялось ему какимъ-то абстрактомъ, оно представлялось ему только въ идеѣ, и при томъ идеѣ довольно туманной, практическое осуществленіе которой онъ не представлялъ себѣ совсѣмъ ясно, но тѣмъ не менѣе идея эта вошла въ его плоть и кровь, она сохранялась въ немъ непрерывно со времени войны за освобожденіе, даже наперекоръ правительству, которое первоначально такъ много содѣйствовало, чтобы вызвать ее наружу. Наступившая за 1815-мъ годомъ реакція, продолжавшаяся съ небольшими перерывами вплоть до пятидесятихъ годовъ, не только не ослабила ее, но содѣйствовала ея укрѣпленію. Нѣмцы стали смотрѣть на нее какъ на всеобщую панацею. Единство должно было защитить его какъ отъ внѣшняго врага, такъ и отъ внутренняго, отъ правительственнаго абсолютизма. Всѣ лучшіе умы Германіи, всѣ радикальные писатели, которые дѣйствуютъ такъ обаятельно на молодыя силы ума, какъ Бёрне, какъ Лассаль, поддерживали эту идею своею неутомимою пропагандою. Идея единства заключала въ себѣ для нихъ такую чарующую силу, что когда антипатичное и ненавистное имъ реакціонное прусское правительство написало на своемъ знамени магическое слово: „единство“, — общество, не останавливаясь надъ вопросомъ, насколько это слово произнесено было искренно, преклонилось передъ прусскимъ правительствомъ и слѣпо послѣдовало за нимъ. Вотъ, конечно, самое достойное объясненіе той послѣдственности, съ которой всѣ оппозиціонные элементы склонились передъ военнымъ торжествомъ Пруссіи. Другое оправданіе едва ли возможно найти, не посягая на достоинство нѣмецкой націи. Эта идея дѣлала народъ сильнымъ, она внушала ему ту энергію въ борьбѣ, ту пламенную любовь къ родинѣ, которой такъ недоставало большинству французскаго народа. Такимъ-то образомъ и правительство, и народъ давно готовились къ перемѣнѣ, совершившейся въ теченіе послѣднихъ нѣсколькихъ лѣтъ, а потому нельзя, повидимому, сказать, чтобы въ движеніи нѣмецкаго общества послѣдовалъ скачокъ.

Несмотря однако на то, что основаніе для совершившейся перемѣны скрывалось въ предшествующемъ періодѣ, нельзя не признать, что перемѣна эта въ данное время могла и не произойти, что она

могла быть отсрочена на неопределенное время. Для того, чтобы эта перемена последовала, необходимо было стечение благоприятных обстоятельств, которыми сумели бы воспользоваться, необходимо было появление той или другой сильной личности, того или другого замечательного государственного человека. Безъ этого как бы народъ ни былъ приготовленъ къ известной переменѣ, онъ все-таки могъ бы только тщетно ожидать ея наступленія. Умѣть уловить благоприятныя обстоятельства, умѣть подчасъ создать ихъ, сумѣть направить ихъ для достиженія цѣли, для доставленія торжества своему дѣлу,—это великая задача, на которую способенъ только человекъ, далеко выдающійся изъ общаго уровня. Вотъ отчего, какую бы правильность, какую бы последовательность ни признавать въ движеніи человѣческаго общества, известнаго народа, едва ли возможно отрицать вліяніе отдѣльной личности на ходъ событій, на ускореніе или замедленіе известнаго переворота. Быть можетъ, и наступитъ когда-нибудь эпоха, когда общественный строй получить такую правильность, такое рациональное основаніе, что значеніе отдѣльной личности, ея вліяніе на историческій ходъ событій станетъ вовсе незамѣтно; но тѣ, которые отрицаютъ такое значеніе и такое вліяніе отдѣльной личности для нашей старой Европы, тѣ, надо полагать, глубоко заблуждаются. Богъ знаетъ, какъ повернулась бы исторія Россіи, исторія Германіи, исторія Франціи, еслибы въ одной не было Петра Великаго, въ другой Фридриха II, въ третьей Наполеона I-го.

Вблизи ознакомленіе съ идеями, принципами, мнѣніями, воззрѣніями, наконецъ дѣйствіями такой выдающейся личности, которая кладетъ печать на свое время и на свой народъ, появленіе которой составляетъ эпоху въ исторіи, представляетъ интересъ не только потому, что мы удовлетворяемъ нашему естественному любопытству: какъ думалъ и какія идеи проводилъ въ жизнь такой человекъ,—но также и потому, что по его идеямъ, воззрѣніямъ, принципамъ, по его системѣ дѣйствій можно судить объ уровнѣ нравственнаго развитія того общества, среди котораго является подобная личность. Связь, и самая тѣсная связь между обществомъ и человекомъ, дѣйствующимъ среди его, не можетъ не существовать. Какъ бы онъ ни выдавался изъ общаго уровня, какъ бы онъ ни возвышался надъ современнымъ ему обществомъ, онъ тѣмъ не менѣе остается его продуктомъ, онъ испытываетъ на себѣ силу его нравственнаго давленія. Къ такимъ

выдающимися личностями, къ такимъ государственнымъ людямъ, которые оставляютъ по себѣ глубокой слѣдъ въ исторіи своего народа и существенно вліяютъ на общественное движеніе, давая ему то или другое направленіе, долженъ быть причисленъ и послѣдній графъ, сдѣлавшійся первымъ княземъ Бисмаркомъ.

II.

Какого бы кто ни былъ мнѣнія о князѣ Бисмаркѣ, какъ бы ни смотрѣли на его дѣятельность, считать ли ее полезною или вредною, ускоряющею или замедляющею движеніе нѣмецкаго народа, во всякомъ случаѣ, не будучи слѣпыми, нельзя отрицать, что Бисмаркъ представляется человѣкомъ, выдвинувшимся на историческую сцену не только для того, чтобы дать сильный толчокъ нѣмецкому обществу, но также и встряхнуть всю остальную Европу. Никто, конечно, не сомнѣвается, что подобный человѣкъ не можетъ дѣйствовать на-обумъ, какъ попало, какъ Богъ пошлетъ, не держась въ своемъ воззрѣніи какой-нибудь опредѣленной системы, — такой способъ дѣйствій составляетъ удѣлъ мелкихъ, ничтожныхъ государственныхъ людей. Не таковъ суровый князь Бисмаркъ. У него есть свои правила, свои убѣжденія, свои принципы, у него есть свой кодексъ политической мудрости, кодексъ, которымъ онъ руководится во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ и поступкахъ, и этотъ-то кодексъ, оказавшійся, если судить по результатамъ, какъ нельзя болѣе подходящимъ къ духу нашего времени, мнѣ кажется, можно безъ особенной ошибки назвать кодексомъ практической философіи XIX-го вѣка. Въ Германіи, въ этой обѣтованной землѣ теоретической философіи, государственная практическая философія, блестящимъ представителемъ которой является князь Бисмаркъ, пришла какъ нельзя болѣе по сердцу обществу, къ которому онъ принадлежитъ.

Кодексъ правилъ практической государственной мудрости, такъ удачно примѣненный къ дѣлу княземъ Бисмаркомъ, не можетъ тѣмъ не менѣе считаться его собственностью, его достоинствомъ, не можетъ быть признанъ оригинальнымъ произведеніемъ этого замѣчательнѣйшаго изъ всѣхъ современныхъ государственныхъ людей. Практическая философія XIX-го вѣка вытекаетъ изъ практической фило-

софіи XVIII-го вѣка, и вся заслуга князя Бисмарка состоитъ въ томъ, что онъ мастерски усвоилъ ее себѣ, содѣйствовалъ ея обработкѣ и затѣмъ имѣлъ смѣлость громко провозгласить ея основныя начала. Различіе практической философіи XVIII-го вѣка и практической философіи XIX-го вѣка лучше всего обнаружится изъ сравненія правилъ политической мудрости, насколько они раскроются передъ читателемъ послѣ того, что передъ нимъ пройдетъ собраніе рѣчей канцлера германской имперіи, съ правилами политической мудрости такого блестящаго представителя политическихъ дѣятелей XVIII-го вѣка, какимъ представляется намъ Фридрихъ Великій. Бисмаркъ долженъ быть признанъ продолжателемъ дѣла Фридриха, его прямымъ послѣдователемъ, и мы думаемъ, что тѣнь великаго короля не оскорбится сравненіемъ его съ Бисмаркомъ. Такое сравненіе, какъ бы высоко оно ни показалось для послѣдняго, не можетъ быть названо несправедливымъ. Спросите себя, въ самомъ дѣлѣ, чьи имена ярче всѣхъ блещутъ въ исторіи Пруссіи, чья дѣятельность оставила по себѣ такіе поразительные результаты, и вы волей-неволей должны будете произнести имена Фридриха и Бисмарка. Такое сопоставленіе, рѣжущее ухо на первый разъ, вдумавшись въ роль того или другого человѣка, перестаетъ поражать васъ. Сравненіе Бисмарка съ Фридрихомъ, оставляя, разумѣется, въ сторонѣ значеніе послѣдняго какъ гениальнаго (по крайней мѣрѣ такъ говорятъ специалисты въ военномъ дѣлѣ) полководца, — самое естественное, какое только можно сдѣлать. Бисмарка сравнивали со Штейномъ, но это сравненіе, мнѣ кажется, вовсе не идетъ къ дѣлу. Значеніе Штейна, этого безспорно замѣчательнаго государственнаго человѣка, вовсе иное, чѣмъ значеніе Бисмарка. Штейнъ, если можно такъ выразиться, теоретическій государственный дѣятель, Бисмаркъ же по преимуществу дѣятель практической. Задача Штейна была вдохнуть новыя начала въ политическое государственное тѣло, задача же Бисмарка была „сдѣлать“ новое государство. Штейнъ былъ поставленъ, такъ сказать, въ оборонительное положеніе, Бисмаркъ же съ перваго раза занялъ позицію наступательную.

Самый наглядный способъ оцѣнивать значеніе государственнаго человѣка, это — методъ сравнительный. Поэтому-то и въ разговорномъ языкѣ такъ часто прибѣгаютъ къ этому методу, говоря: такой походитъ на такого-то, а такой на такого. Вотъ почему и для

Бисмарка искали сравненій. Между прочихъ сравнивали его также съ однимъ изъ современныхъ или почти современныхъ государственныхъ людей, такъ какъ онъ умеръ всего десять-одиннадцать лѣтъ тому назадъ, — съ графомъ Кавуромъ. На первый взглядъ сравненіе это чрезвычайно удачно. Одинъ — объединитель (или по крайней мѣрѣ такимъ прославляется онъ) Италіи; другой — объединитель (такимъ признають его) Германіи; у одного средствомъ объединенія служила война; война же была средствомъ и другого. Тотъ и другой были признаны великими дипломатами; наконецъ, какъ у Бисмарка, такъ и у Кавура есть нѣкоторые общіе имъ обоимъ принципы. Слѣдуетъ точно также сказать, что въ исторіи ихъ дѣятельности есть нѣкоторыя общія черты, на которыя интересно обратить вниманіе. Изъ многочисленныхъ біографій Бисмарка извѣстно, съ какою яростью относился онъ къ революціонному движенію 1848 года; точно также и графъ Кавуръ былъ крайне недоволенъ народнымъ движеніемъ 1848 года. Надъ Бисмаркомъ, когда онъ говорилъ въ ту эпоху въ парламентѣ, большинство громко смѣялось и свистало ему; такой же точно участи подвергался и Кавуръ, и его рѣчи въ 1848 и 1849 годахъ подвергались свисткамъ. Кромѣ того, — и эта общая черта двухъ объединителей Германіи и Италіи весьма характерна, — какъ Бисмаркъ, что хорошо извѣстно и что мы увидимъ дальше, былъ прикованъ къ династическимъ интересамъ дома Гогенцоллерновъ, точно такъ же и Кавуръ, по выраженію Мадзини, „приковалъ себя къ одному интересу — къ династическому интересу Савойскаго дома“. Наконецъ, какъ для Бисмарка, особенно въ первый періодъ его министерской дѣятельности, до войны 1866 года, Германія была средствомъ, Пруссія цѣлью, — точно такъ же и для Кавура, по выраженію того же писателя, Италія была средствомъ, а не цѣлью, и „настоящіе планы Кавура никогда не переступали за предѣлы программы, не удавшейся въ 1848 году — о королевствѣ Сѣверной Италіи“. Я не покину этой параллели между Кавуромъ и Бисмаркомъ, не упомянувъ еще объ одной общей чертѣ ихъ характеровъ. Одинъ изъ біографовъ итальянскаго министра говоритъ о немъ слѣдующее: „Кавуръ понимает себя и понимаетъ людей, его окружающихъ; онъ цѣнитъ ихъ очень мало, и дурно дѣлаетъ, что даетъ имъ это чувствовать. Онъ не терпитъ равныхъ себѣ, не привыкши встрѣчать ихъ много. Все, чего онъ касается, должно сгибаться передъ нимъ, должно согласиться

быть окаменѣлымъ въ этой могучей рукѣ. Самъ король уступаетъ его магнетическому вліянію. А кто не хочетъ уничтожиться передъ Кавуромъ, тотъ рѣшительно становится его врагомъ, или, лучше сказать, противникомъ“. Только самые пристрастные біографы не соглашались, что это опредѣленіе характера можетъ цѣликомъ быть перенесено съ Кавура на Бисмарка—такъ вѣрно оно по отношенію къ обоимъ. По поводу манеры держать себя въ парламентѣ, тотъ же біографъ говоритъ: „Въ парламентѣ Кавуръ держитъ себя совершенно какъ будто бы лѣвой стороны не существовало, какъ будто бы онъ находится въ своемъ салонѣ, среди своихъ,—особенно когда ему скучно. Онъ разговариваетъ, смѣется, оборачивается спиной къ своимъ сочленамъ, звѣкаетъ, скоблитъ по столу своимъ купъ-панье, отпускаетъ эпиграммы; еслибы онъ имѣлъ американскія привычки, онъ бы клалъ ноги на министерскій столъ... Онъ видитъ въ парламентѣ только большинство, то-есть, своихъ преданныхъ друзей“. И эта черта точно также будто бы выградена изъ біографіи кн. Бисмарка. Какъ онъ обращается съ палатой, съ какимъ высокоуміемъ онъ относится къ ней, мы это знаемъ отъ его біографовъ; наконецъ, мы убѣдились въ этомъ поразительномъ сходствѣ, останавливаясь на нѣкоторыхъ изъ его рѣчей. Несмотря однако на такіа обильныя черты сходства между графомъ Кавуромъ и княземъ Бисмаркомъ, мы все-таки должны устранить сравненіе между этими двумя государственными людьми нашего времени. Мы устраняемъ это сравненіе, потому что считаемъ его несправедливымъ по отношенію къ Бисмарку, признавая его человекомъ большаго калибра, чѣмъ Кавуръ. Положеніе этихъ двухъ людей было крайне различно, и вся выгода была на сторонѣ государственнаго человека Италіи. Кавуръ, чтобы имѣть успѣхъ, долженъ былъ плыть по теченію, въ то время, когда Бисмаркъ долженъ былъ идти противъ теченія. Задача послѣдняго въ силу этого представляется несравненно болѣе трудною. Путь, по которому двигался Кавуръ, былъ хорошо утопанъ, глаза всей Италіи были съ любовью обращены исключительно къ Пьемонту. Викторъ-Эммануилъ былъ лозунгомъ всей Италіи, это былъ всѣми желанный, всѣми призываемый король. Даже тѣ, которые были врагами монархическаго принципа, даже тѣ склонялись передъ сардинскимъ королемъ и его именемъ, покоряли царства и подводили ихъ подъ его скипетръ. Склоненіе Наполеона къ войнѣ съ Австріей, что бы тамъ ни говорили, должно быть при-

звано заслугою Кавура и приобрѣло ему право быть причисленнымъ къ замѣчательнымъ дипломатамъ; но, помимо этой услуги Италіи, услуги, безъ сомнѣнія весьма крупной, роль графа Кавура заключалась, главнымъ образомъ, въ сдерживаніи народнаго движенія, направленного къ достиженію единства Италіи. У Кавура не было той энергіи, той рѣшительности, безъ которой не можетъ быть дѣйствительно высокозамѣчательнаго государственнаго человѣка; онъ вездѣ и во всемъ искалъ золотой середины, и всѣ его принципы, всѣ его идеи носили этотъ характеръ, характеръ половинчатый, посредственный. Вотъ отчего нельзя и признавать графа Кавура за политическое свѣтило первой величины.

Напротивъ, путь, по которому шелъ Бисмаркъ, былъ весь покрытъ терніемъ, который ему приходилось безостановочно рубить. На Пруссію нѣмцы не только не смотрѣли съ любовью, но уже гораздо скорѣе съ ненавистью; на Пруссію не возлагали горячихъ надеждъ, но ее боялись и страшились. Бисмаркъ долженъ былъ заставить нѣмцевъ принять Пруссію, долженъ былъ заставить подчиняться ей и признать ея гегемонію, что представляетъ задачу несравненно болѣе тяжелую. Онъ не только достигъ своей цѣли, но перешелъ за нее. Онъ не только заглушилъ ненависть и заставилъ принять Пруссію, — онъ принудилъ если не любить, то уважать ее. Мудрено, разумѣется, сочувствовать тѣмъ средствамъ, которыми онъ достигалъ своей цѣли и шелъ впередъ, но въ его поступки было столько смѣлости, энергіи, рѣшимости, что онъ по неволѣ внушалъ къ себѣ страхъ, перемѣшанный съ уваженіемъ, тотъ страхъ, который, по словамъ Макиавеля, можетъ внушать къ себѣ образцовый правитель, не имѣя возможности достигнуть своей цѣли кротостью и любовью, тотъ страхъ, который, по мнѣнію знаменитаго автора „Il Principe“, такъ разнится отъ ненависти, возбуждаемой къ себѣ безразсудными деспотами.

Обращаясь же къ сравненію Бисмарка съ Фридрихомъ II, мы думаемъ, что сраженіе это можетъ выдержать критику какъ въ отношеніи той роли, которую Пруссія играла въ то время среди Германіи и какую она заняла на нашихъ глазахъ; какъ въ отношеніи того личнаго, могущественнаго вліянія на ходъ событій, какое оказывалъ Фридрихъ II, и одинаково могущественнаго вліянія Бисмарка, такъ наконецъ и потому, что какъ въ Фридрихѣ II воплощалась практическая философія XVIII-го вѣка, примѣненная къ государственному

механизму, такъ и въ Бисмаркѣ, по нашему мнѣнію, воплощается та же практическая философія, но только въ теченіе вѣка сдѣлавшая значительный успѣхъ. Что касается до кодекса правилъ политической мудрости князя Бисмарка, то, какъ уже было сказано, мы найдемъ его въ томъ собраніи рѣчей, изданномъ въ Берлинѣ на французскомъ языкѣ, — рѣчей, обнимающихъ десятилѣтнюю дѣятельность князя Бисмарка, начиная отъ 1862 г. до 1872 г., т.-е. весь бурный періодъ, прошедшій передъ глазами смущенной и растерявшейся Европы, десятилѣтній періодъ, въ который осуществилась, хотя и въ иной формѣ и иными средствами, завѣтная мечта нѣмецкаго народа — идея нѣмецкаго единства. Въ этомъ собраніи рѣчей, заключающемся въ четырехъ томахъ и изданныхъ по всей вѣроятности не безъ вѣдома князя Бисмарка, заключается все, что намъ нужно для опредѣленія практическихъ правилъ политической мудрости, которому такъ прославился ихъ авторъ.

Что же касается до практической философіи коронованнаго друга Вольтера, то онъ самъ позаботился тщательно сохранить ее для потомства, изложивъ ее въ нѣсколькихъ своихъ сочиненіяхъ. Мы находимъ ее въ мемуарахъ Фридриха II-го, писанныхъ по-французски, какъ и все, что писалъ этотъ страстный поклонникъ французскаго генія, и въ другихъ его произведеніяхъ. Въ этихъ мемуарахъ особенно драгоцѣнна для нашей цѣли „Histoire de mon temps“ и нѣкоторыя отрывки, касающіеся политическихъ соображеній его „Семилѣтней войны“. Затѣмъ взгляды этого замѣчательнаго монарха на систему государственнаго управленія весьма ярко освѣщаются уже названными нами статьями, какъ „Essai sur les formes de gouvernement et les devoirs des princes“, „Considérations“ etc., такъ, и это главнымъ образомъ, его критикой Макиавеля, носящей названіе „Examen du „Prince“ de Machiavel“. Всѣ эти сочиненія весьма рельефно обрисовываютъ государственно-философскіе принципы и воззрѣнія Фридриха II, но только тогда они могутъ принести пользу, если умѣешь ихъ читать. Умѣнье же читать заключается только въ томъ, чтобы ни на минуту не упускать изъ виду, какъ поступалъ и дѣйствовалъ гениальный основатель могущества Германіи, — чтобы, однимъ словомъ, въ умѣ читателя рядомъ со „словомъ“ Фридриха было и его „дѣло“. Отличительнымъ свойствомъ практической философіи XIX-го вѣка служить, безъ сомнѣ-

нія, ея бѣлая искренность, которая иногда доводитъ до ея послѣдняго предѣла, до цинизма. Изучая рѣчи князя Бисмарка, черпая въ его кодексѣ правилъ политической мудрости, мы увидимъ, что онъ весьма мало стѣсняется громко провозглашать принципы, очевидно, служащіе прямымъ отрицаніемъ того современнаго духа, о которомъ обыкновенно такъ много говорится. Онъ не поцеремонится посмѣяться надъ представительнымъ правленіемъ, онъ не остановится передъ тѣмъ, чтобы бросить насмѣшкой въ приверженцевъ демократіи, онъ не стѣсняется оправдать завоеваніе чужихъ областей, насильственное присоединеніе нѣсколькихъ милліоновъ людей простыми словами; мы считаемъ это для себя выгоднымъ, а такъ какъ мы болѣе сильные, то мы и поступаемъ такъ, какъ указываетъ намъ наша личная выгода! Какой бы упрекъ нельзя было сдѣлать практической философіи, олицетворяемой въ такомъ человѣкѣ какъ Бисмаркъ, но никогда его нельзя упрекнуть въ іезуитизмъ, въ томъ, что онъ дѣлаетъ прямо противоположное тому, что онъ говоритъ. Нѣтъ, то, что онъ говоритъ, то онъ и дѣлаетъ. Только въ весьма рѣдкихъ случаяхъ, когда онъ скрываетъ свою игру, и это относится главнымъ образомъ къ новѣйшей политикѣ, онъ прибѣгаетъ къ старымъ приемамъ и увѣряетъ прямо въ противоположномъ тому, что онъ думаетъ и на что надѣется. Онъ пользуется подобнымъ приемомъ, когда ему нужно кому-нибудь отвести глаза, увѣрить въ дружбѣ, успокоить насчетъ своихъ намѣреній. Большею же частью, когда планъ его созрѣлъ, когда онъ приступаетъ къ его осуществленію, онъ выкладываетъ карты на столъ, произнося съ гордостью: таковъ я, и я не намѣренъ для васъ въ чемъ-нибудь измѣнять своимъ привычкамъ! Мнѣніе общества, потомства, исторіи для него какъ будто бы не существуетъ; онъ не хочетъ казаться лучше и мягче, чѣмъ онъ является на самомъ дѣлѣ; какъ бы дико ни звучало его воззрѣніе, онъ смѣло проводитъ его, нисколько не беспокоясь о томъ, что о немъ подумаютъ какъ о деспотѣ, какъ о человѣкѣ, держащемся рутинныхъ и реакціонныхъ взглядовъ. Ему все равно. Онъ какъ будто и не сомнѣвается, что исторія должна будетъ его оправдать. Человѣческое общество — машина, которую слѣдуетъ вертѣть по произволу, нисколько не справляясь о томъ, что ему нравится, что оно хочетъ или не хочетъ, что оно считаетъ своимъ достоинствомъ, своимъ правомъ. Большое презрѣніе къ ~~какимъ-либо~~ дѣлѣ, большое пре-

зрѣніе на словахъ, если только это нужно—таково одно изъ основныхъ положеній современной политической теоріи, увѣнчавшейся полнымъ успѣхомъ. Смѣшно же въ самомъ дѣлѣ обвинять за нее тѣхъ, которые смотрятъ на нее какъ на самую раціональную теорію, когда практика совершенно ее оправдываетъ.

Совершенно другихъ началъ держится XVIII-й вѣкъ, и потому его практическая философія носитъ иной характеръ. Говорить не то, чтò думаешь, и дѣлать не то, чтò говоришь—вотъ ея положеніе, которое на каждомъ шагу встрѣчается у того, кого мы приняли для сравненія съ Бисмаркомъ за образецъ политическаго дѣятеля прошлаго столѣтія. Объ искренности нѣтъ и помину; всюду красивыя фразы, блестящія побрякушки, прикрывающія вовсе не красивыя дѣйствія, либерализмъ на словахъ и отсутствіе его въ дѣйствительной жизни. Нужно только не забывать, что здѣсь говорится о той практической философіи, которая была въ ходу у политическихъ дѣятелей. XVIII-й вѣкъ былъ вѣкомъ самыхъ возвышенныхъ идей; это былъ вѣкъ, положившій начало либерализму; возвышенныя идеи и весьма пышныя слова сдѣлались модою, и то, чтò у весьма немногихъ было убѣжденіемъ и являлось какъ плодъ глубокихъ думъ и неутомимыхъ поисковъ за правдою, какъ было то у Ж. Ж. Руссо, то у другихъ, и даже у такихъ людей, какъ Фридрихъ II-ой, было если не модною игрушкою, то пріятнымъ препровожденіемъ часовъ досуга.

Политическая философія Фридриха Великаго, начала которой развиваются въ его произведеніяхъ, весьма либеральна и какъ нельзя болѣе гуманна до тѣхъ поръ, пока она наполняетъ собою бѣлую бумагу; но какъ только ей нужно перейти къ дѣлу, то тутъ мы встрѣчаемъ разительное превращеніе. Фридрихъ II-ой энергически защищаетъ народъ, его права, его вольности; онъ проповѣдуетъ, что правители должны быть первыми слугами земли, онъ восторгается всемірною конституціей и громить деспотовъ и завоевателей, которые удовлетворяютъ своему славолюбію, своимъ прихотямъ и порокамъ. Читая его, невольно иногда скажешь: счастлива страна, имѣвшая своимъ правителемъ такого человѣка! Чтобы дать примѣръ философскихъ разсужденій Фридриха, мы приведемъ нѣсколько образцовъ, которые важны для насъ въ томъ отношеніи, что допускаютъ прекрасное сравненіе между тѣмъ, чтò говорилъ великій король въ

Германіи XVIII-го вѣка, и тѣмъ, что по тому же поводу, какъ мы увидимъ далѣе, высказывается замѣчательнымъ представителемъ Германіи XIX-го вѣка. Излагая свои воззрѣнія на обязанности государей, Фридрихъ II-ой между прочимъ говоритъ: „Пусть они знаютъ, что ихъ ложные принципы составляютъ отравленный источникъ всѣхъ бѣдствій Европы. Вотъ заблужденіе большей части монарховъ. Они думаютъ, что Богъ, изъ особеннаго вниманія къ ихъ величію, ихъ блаженству и ихъ гордости, нарочно создалъ эту массу людей, спасеніе которыхъ ввѣрено имъ, и что ихъ подданные предназначены судьбою быть только орудіемъ и средствами ихъ необузданныхъ страстей. Какъ только принципъ, изъ котораго они исходятъ, ложень, — послѣдствія не могутъ быть иными какъ порочными до безконечности: и отсюда эта необузданная любовь къ ложной славѣ, отсюда — это страстное желаніе все захватить, отсюда тяжесть налоговъ, которыми народъ обремененъ, отсюда лѣнь монарховъ, ихъ гордость, ихъ несправедливость, ихъ безчеловѣчность, ихъ тираннія и всѣ тѣ пороки, которые унижаютъ человѣческую натуру. Еслибы монархи могли отдѣлаться отъ этихъ ложныхъ идей, и еслибы они пожелали дойти до источника ихъ учрежденія, они бы увидѣли, что то званіе, къ которому они такъ ревнивы, что ихъ возвышеніе есть только произведеніе народовъ; что эти милліоны народовъ, которые имъ ввѣрены, не сдѣлались вовсе рабами одного человѣка только для того, чтобы сдѣлать его болѣе грознымъ и болѣе могущественнымъ; что они не подчинились одному гражданину, чтобы быть мучениками его капризовъ и забавою его фантазій, но что они выбрали одного изъ своей среды, котораго считали болѣе справедливымъ, чтобы управлять ими, лучшаго, чтобы онъ служилъ имъ отцомъ, самаго человѣчнаго, чтобы онъ умѣлъ относиться сочувственно къ ихъ несчастіямъ и могъ облегчать ихъ; самаго мужественнаго, чтобы онъ защищалъ ихъ отъ враговъ; самаго мудраго, для того чтобы онъ опростчиво не втягивалъ ихъ въ разорительныя и разрушительныя войны; наконецъ, человѣка, который былъ бы болѣе другихъ способенъ быть представителемъ государства и верховная власть котораго служила бы опорой законамъ и справедливости, а не средствомъ безнаказанно совершать преступленія и предаваться деспотизму“. Либерализмъ, я скажу даже, радикализмъ этой тирады изъ „*Considérations sur le corps politique de l'Europe*“ говорить

самъ за себя. Трудно, кажется, проповѣдовать болѣе смѣло отрицаніе начала божественнаго права, трудно придумать болѣе грозную филиппику противъ злоупотребленій власти; такой человекъ, который написалъ эти слова, долженъ, разумѣется, быть самымъ либеральнымъ народнымъ правителемъ. Бисмарку, безъ сомнѣнія, извѣстенъ такой философскій взглядъ Фридриха Великаго на королевскую власть, но ему нечего было смущаться имъ, потому что онъ зналъ, прекрасно понимая систему своего учителя, что основаніемъ практической философіи XVIII-го вѣка было говорить такъ, а думать и дѣлать иначе. И Бисмарку не трудно было въ этомъ убѣдиться, ему стоило только спросить себя: каковъ же былъ въ дѣйствительности этотъ лучший изъ королей, являющійся на бумагѣ такимъ демократомъ и рѣшительнымъ сторонникомъ народныхъ правъ? На этотъ вопросъ одинъ изъ самыхъ уважаемыхъ и безпристрастныхъ нѣмецкихъ историковъ отвѣчалъ бы ему: „Въ Семилѣтнюю войну онъ уничтожилъ благосостояніе Саксоніи страшными контрибуціями, опустошалъ Франконію, поступалъ съ Мекленбургомъ будто съ непріятельскою завоеванною страной и не постыдился отнять пушки у имперскаго города Нюрнберга“... „И у себя дома,—продолжалъ бы онъ читать,—Фридрихъ распоряжался часто по примѣру своего отца, потому что ни самъ онъ, ни его истые пруссаки не имѣли никакого понятія о конституціи,—да и теперь,—не безъ злости прибавляетъ Шлоссеръ,—судя по рѣчамъ въ прусскихъ палатахъ и по прусскому Junkerthum'у, у истинныхъ пруссаковъ нѣтъ понятія о ней“. Затѣмъ Бисмаркъ точно также могъ прочесть у того же историка, да и у весьма многихъ другихъ, что авторъ чисто демократической тирады, приведенной нами, поступалъ на практикѣ, далеко не слѣдуя собственнымъ своимъ поученіямъ. Въ поученіяхъ народъ—все, въ поступкахъ народъ—ничто, грубая масса, *chair à saupon*. „По окончаніи Семилѣтней войны, Фридрихъ давалъ льготы дворянству, владѣвшему помѣстьями, стѣснялъ промышленность и отнималъ послѣднее удовольствіе у бѣдняка“. Образованіе для народа онъ считалъ излишнимъ, въ арміи ввелъ такой порядокъ, что „даже тѣ офицеры изъ простолюдиновъ, которые въ семилѣтнюю войну вѣрно служили королю изъ энтузіазма, по окончаніи войны нашли удобнѣйшимъ покинуть армію“. Такъ поступалъ Фридрихъ II во всѣхъ вопросахъ какъ внутренней политики, такъ

и внѣшней: говорить одно и дѣлать другое—это было главнымъ положеніемъ практической философіи того времени. Въ томъ же самомъ трудѣ, изъ котораго извлечена вышеприведенная тирада, встрѣчается у Фридриха и такая мысль: „однимъ словомъ, позоръ и безчестіе— терять свои владѣнія: завоевывать же тѣ, на которыя не имѣешь законнаго права, составляетъ несправедливость и преступную хищность!“ Какъ ни рѣшительна подобная сентенція, она однако нисколько не помѣшала ея автору захватить Силезію и сдѣлаться душою раздѣла Польши, на которую онъ и самъ признавалъ, что не имѣлъ никакого права. Впрочемъ, стоить ли останавливаться на подобныхъ противорѣчіяхъ; ихъ у Фридриха слишкомъ много и съ нѣкоторыми изъ нихъ мы еще встрѣтимся, обращаясь иногда къ сравненію князя Бисмарка съ этимъ замѣчательнымъ государемъ, который, несмотря на его коварную политическую систему, все-таки былъ однимъ изъ немногихъ государей, не думавшихъ, „что люди сотворены Богомъ только для его удовольствія. То, что онъ дѣлалъ, онъ дѣлалъ по крайней мѣрѣ не для себя лично, а для пользы государства“... Часто эта польза, конечно, понималась невѣрно, но важно то, что была забота о пользѣ. Многое должно быть прощено, если намѣренія историческаго человѣка честны и хороши. Это такъ рѣдко бываетъ!

Но ни одно изъ сочиненій Фридриха II, изъ которыхъ мы желаемъ извлечь правила его политической мудрости, такъ не любопытно, какъ его критика на Макиавеля. Въ этомъ трактатѣ Фридрихъ II весьма подробно разсуждаетъ объ обязанностяхъ монарха; онъ посвящаетъ цѣлыя главы тому, какъ долженъ вести себя монархъ, въ вопросахъ ли касающихся внутренней политики, въ вопросахъ ли касающихся внѣшней политики; нѣтъ никакого сомнѣнія, что Фридрихъ никогда и не думалъ, чтобы его разсужденія были пригодны для дѣйствительности, и что такой идеальный монархъ, какимъ онъ рисуетъ его въ своемъ трактатѣ, былъ бы невозможенъ. Если онъ тѣмъ не менѣе сознательно писалъ подобную книгу, то, разумѣется, исходя изъ одной точки зрѣнія: люди глупы, и повѣрять! Заставить же людей думать такимъ образомъ о правителяхъ, какъ жалалъ того Фридрихъ, входило въ его систему: говорить и увѣрять въ одномъ, а дѣлать другое. У Фридриха было весьма сильное желаніе провести человечество и прослыть въ его мѣнѣи ~~за~~ Марка-Аврелія, и

его разборъ Макиавеля былъ направленъ къ этой цѣли. На повѣрку же оказалось только одно, а именно, что государи въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ должны быть болѣе осторожны, чѣмъ всѣ остальные смертныя, которымъ, конечно, гораздо удобнѣе высказывать самыя возвышенныя идеи, такъ какъ въ практической жизни имъ не приходится на каждомъ шагѣ опровергать ихъ своими дѣйствіями и поступками. Сочиненіе Фридриха появилось подъ прикрытіемъ авторитета Вольтера, который рекомендовалъ его обществу такими словами: „Знаменитый авторъ этого опроверженія (Макиавеля) принадлежитъ къ тѣмъ людямъ, обладающимъ великою душою, которыхъ небо ниспосылаетъ иногда, чтобы возвратить родъ человѣческій на путь добродѣтели ихъ поученіями и ихъ примѣромъ“. Вольтеръ, желая быть пріятнымъ своему коронованному другу, провозглашаетъ книгу Макиавеля опаснымъ ядомъ и радуется, что отнынѣ рядомъ съ этимъ ядомъ всякій можетъ легко пріобрѣсти себѣ противоядіе въ сочиненіи Фридриха. Самъ авторъ, въ предисловіи къ своему разбору Макиавеля, разыгрываетъ варіацію на ту же тему, — варіацію, одѣтую въ необыкновенную помпу: „Я рѣшаюсь принять на себя защиту челоѣчества — говоритъ Фридрихъ — противъ этого чудовища, которое желаетъ его погибели; я рѣшаюсь противопоставить разумъ и справедливость софизму и преступленію, и я рѣшился разобрать „Монарха“ Макиавеля, главу за главою, чтобы противоядіе неразрывно слѣдовало за ядомъ“. Онъ смотритъ на книгу Макиавеля какъ на одно изъ самыхъ вредныхъ произведеній, брошенныхъ въ міръ, особенно по тому вліянію, которое эта книга можетъ оказать на правителей. „Наводненія, — восклицаетъ этотъ учитель Бисмарка, — опустошающія страны, огонь молній, превращающій города въ пепелъ, ядъ заразы, поселяющій ужасъ въ странѣ, не настолько пагубны для міра, какъ опасная мораль и безумныя страсти королей; небесныя бичи появляются временно, они опустошаютъ только нѣкоторыя страны, и эти потери, какъ онѣ ни печальны, все-таки исправимы; но преступления правителей заставляютъ долго страдать цѣлыя народы“. Возставать болѣе энергично противъ опасной морали Макиавеля довольно мудро.

Здѣсь не мѣсто входить въ оцѣнку знаменитаго произведенія итальянскаго писателя XVI вѣка, но нельзя не сдѣлать одного замѣчанія. На сочиненіе Макиавеля можно смотрѣть весьма различно.

Одни, какъ Фридрихъ вмѣстѣ съ Вольтеромъ, смотрятъ на него какъ на какое-то произведеніе ада, и полагаютъ, что Макиавель продалъ свою душу чорту и старается только лучше заслужить его благоволеніе. Другіе полагаютъ, что Макиавель могъ весьма искренно написать это произведеніе, думая, что лучше пусть-будетъ монархъ суровый и сильный, чѣмъ слабый, легко попадающійся въ руки интригановъ, причиняющихъ больше зла, чѣмъ самый жестокій государь. Третьи думаютъ, что произведеніе Макиавеля есть не что иное какъ плодъ глубокой ироніи, и что своею книгою онъ произноситъ анафему. Наконецъ, можно допустить, что книга эта явилась какъ результатъ гигантскаго ожесточенія противъ чужеземнаго владычества, подъ давленіемъ котораго чахла Италія, ожесточенія, вселившаго въ Макиавеля мысль, что для монарха нужна прежде всего сила, потому что только силою можно было спасти Италію и освободить ее. Пускай, думалъ Макиавель, монархъ будетъ жестокъ, пускай будетъ онъ вѣроломъ, пускай онъ заставляетъ дрожать передъ собою, лишь бы только, сильный внутри, онъ могъ быть настолько могущественъ, чтобы побѣдить врага. Въ пользу послѣдняго мнѣнія говорить, нужно сказать, послѣдняя глава его „Il Principe“, въ которой онъ высказываетъ мысль, что наступила пора освобожденія Италіи и что Медичисы должны совершить его. Но какъ бы ни смотрѣть на произведеніе Макиавеля, слѣдуетъ все-таки признать, что онъ нарисовалъ въ немъ такой типъ сильнаго монарха, который до сихъ поръ служитъ образцомъ для всѣхъ сильныхъ и энергичныхъ правителей. Философскія размышленія Макиавеля вошли въ значительной степени въ составъ практической философіи самого Фридриха и его послѣдователя и ученика князя Бисмарка. Какъ ни горячо нападаетъ на него Фридрихъ, но тѣмъ не менѣе, при внимательномъ чтеніи его разбора произведенія итальянскаго писателя, нельзя не видѣть, что самъ онъ, предавая проклятіямъ поученія Макиавеля, въ душѣ соглашается съ нимъ, и много разъ, и въ самыхъ крупныхъ вопросахъ, это единомысліе выходитъ наружу. Фридрихъ, повидимому, со всею энергіею возстаетъ противъ той главы Макиавеля, въ которой онъ разрѣшаетъ своему монарху не держать слова и разрывать трактаты. „Тѣ, которые пренебрегаютъ ролью лисицы—пишетъ Макиавель,—ничего не понимаютъ въ своемъ дѣлѣ: другими словами, осторожный монархъ не можетъ и не долженъ держать своего слова, развѣ только въ томъ

случаѣ, если это не можетъ ему принести вреда, и если обстоятельства, при которыхъ онъ заключилъ трактатъ, продолжаютъ существовать. Я, конечно, остерегся бы дать такое наставленіе, еслибы всѣ люди были добры; но такъ какъ всѣ они злы и всегда готовы измѣнить своему слову—продолжаетъ этотъ глубокій знатокъ человѣческаго общества,—то онъ не долженъ заботиться о томъ, чтобы быть вѣрнымъ своему; и это нарушеніе честнаго слова всегда легко оправдать. Я могъ бы дать десять доказательствъ противъ одного и показать, сколько соглашеній и трактатовъ было нарушено вѣроломствомъ монарховъ, изъ которыхъ самый счастливый оказывается тотъ, который лучше другихъ умѣлъ прикрыться лисьей шкурою. Главное заключается въ томъ, чтобы хорошо сыграть свою роль и умѣть въ-время представляться и скрытничать; люди же такъ просты и такъ недалеки, что тотъ, который желаетъ обмануть, всегда легче найдетъ простаковъ“. Фридрихъ мечетъ громы и молніи противъ Макиавеля за эти слова, справедливость которыхъ подтверждается не только всею исторіею, но подтверждается просто обыденною жизнью людей. Что на простомъ, обыденномъ языкѣ называется жить счастливо? Жить счастливо называется имѣть хорошее состояніе, хорошее положеніе въ свѣтѣ, ворочать капиталомъ, властью, и т. д., и т. д. Большой ли, спрашивается, процентъ людей, обладающихъ счастьемъ, достигъ его, никогда не измѣняя своему слову, никогда не одѣваясь въ лисью шкуру, никогда не притворяясь, а дѣйствуя всегда прямо и открыто? Нужно много лицемерія, чтобы на этотъ вопросъ отвѣчать утвердительно.

У Фридриха не было недостатка въ лицемеріи, и потому онъ съ болѣею смѣлостью произноситъ: „Не стыдно ли этому учителю преступленій такимъ образомъ внушать уроки нечестія“? Макиавелю мало того, рассуждаетъ Фридрихъ II, что онъ доказываетъ легкость преступленія, онъ еще увѣряетъ въ счастіи обмана, вѣроломства. Фридрихъ за подобные совѣты готовъ казнить Макиавеля, онъ не находитъ достаточно бранныхъ словъ, чтобы залеймить ими итальянскаго писателя, который первый такъ ярко изобразилъ политическую практическую философію; но если мы внимемъ въ послѣднія слова главы, посвященной разбору такого рода совѣтовъ, то увидимъ, что въ сущности, въ тайнѣ души своей, онъ соглашался съ Макиавелемъ: „Я сознаюсь, впрочемъ,—говоритъ онъ,—что встрѣчаются

такія печальныя обстоятельства, когда монархъ поставленъ въ необходимость нарушить трактаты и союзы"... Правда, онъ быстро спохватился, и къ этимъ словамъ прибавляетъ: „но никогда не слѣдуетъ прибѣгать къ этимъ крайностямъ безъ того, чтобы къ этому не вынуждали спасеніе народовъ и большая необходимость“, — что и требовалось доказать. „Спасеніе же народовъ“ и „большая необходимость“ — это такія эластичныя выраженія, что всегда ихъ можно приводить въ свое оправданіе. Изъ-за пустяковъ вѣдь и Макиавель не рекомендуетъ нарушать свое слово или трактаты. „Спасеніе народовъ“ и „большая необходимость“ хорошо были знакомы Фридриху, а отъ него по наслѣдству перешли и къ Бисмарку.

Эта „печальная необходимость“, о которой говоритъ тутъ Фридрихъ, является въ продолженіе почти всего его разбора. Макиавель говоритъ о завоеваніяхъ, о присоединеніи чужихъ областей; Фридрихъ прекрасно возражаетъ, убѣждаетъ читателя, что завоеванія, насильственные присоединенія гнусны, но въ концѣ концовъ является въ заключеніе „печальная необходимость“ прибѣгать къ завоеваніямъ. Макиавель рекомендуетъ войну, говоритъ, что безъ нея нельзя обойтись; Фридрихъ и тутъ возстаетъ противъ него, говоритъ, что это бичъ, злодѣяніе, чуть не преступленіе, что пролитая кровь падетъ на голову того, кто начинаетъ войну, но въ результатѣ опять является „печальная необходимость“, которая заставляетъ его говорить такимъ образомъ: „Печальная необходимость принуждаетъ монарховъ прибѣгать къ другому пути, несравненно болѣе жестокому (чѣмъ разумъ); бывають случаи, когда нужно оружіемъ защищать свободу народовъ, которыхъ угнетаютъ несправедливостью, когда насиліемъ нужно добиться того, въ чемъ подлость отказываетъ мягкости, когда монархи должны вѣрить участь ихъ націи судьбѣ сраженій. Въ одномъ изъ подобныхъ случаевъ парадоксъ, что хорошая война даетъ и утверждаетъ добрый миръ, становится истиною“. Нельзя не замѣтить, что въ подобныхъ оговоркахъ Фридрихъ II всегда выбираетъ самыя растяжимыя слова: чего нельзя разумѣть подъ „свободою народовъ“! Злоупотреблять этими словами научились, какъ видно, прежде насъ. XIX-й вѣкъ не можетъ требовать себѣ привилегіи на это изобрѣтеніе. Чтò особенно любопытно въ приведенныхъ нами словахъ, это — поразительное ихъ сходство съ другими словами, сказанными сто лѣтъ спустя: „великіе вопросы рѣшаются не рѣчами

и подачею голосовъ, а желѣзомъ и кровью!“ Бисмаркъ только выразилъ мысль Фридриха въ болѣе рѣзкой и энергической формѣ.

Не останавливаясь долѣе на разборѣ Фридрихомъ произведенія Макиавеля и ограничиваясь въ настоящую минуту только тѣми образчиками, отрывками изъ кодекса его политической мудрости, которые уже приведены, слѣдуетъ сказать, что чтеніе какъ этого разбора, такъ и другихъ произведеній Фридриха вселяетъ невольное убѣжденіе, что самъ Фридрихъ, какъ ни грызетъ онъ Макиавеля, былъ самъ глубоко проникнутъ его воззрѣніями. Когда видишь передъ собою то идеальное представленіе монарха, которое изображаетъ Фридрихъ, какъ противоядіе реальному представленію Макиавеля, тогда невольно останавливаешься на словахъ послѣдняго, относя ихъ къ первому: „Онъ долженъ особенно заботиться о томъ, чтобы ничего не говорить такого, что не дышало бы добротой, справедливостью, правдивостью и благочестіемъ; но особенно важно, чтобы всѣмъ казалось, что онъ обладаетъ послѣднимъ качествомъ, потому что люди вообще судятъ гораздо болѣе глазами, чѣмъ какими-нибудь другимъ изъ своихъ чувствъ. Каждый человѣкъ можетъ видѣть, но весьма немногіе люди умѣютъ исправлять ошибки, которыя они дѣлаютъ глазами. Легко видѣть, какъ человѣкъ кажется, но трудно — какъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, и небольшое число не смѣетъ противорѣчить толпѣ, которая на своей сторонѣ имѣетъ блескъ и силу правительства“. Слѣдовательно, главное условіе успѣха—это „казаться“, потому что „чернь“, какъ выражается Макиавель, судитъ все только потому, какъ оно „кажется“; чернь же, по мнѣнію итальянскаго писателя, это всѣ, за весьма немногими исключеніями, которые видятъ не только то, что кажется, но также то, что есть въ дѣйствительности.

Если даже въ томъ, что говорилъ и писалъ Фридрихъ II, сквозитъ, хотя и тщательно скрываемое, единомысліе съ Макиавелемъ, за то въ его дѣйствіяхъ уже не сквозитъ, а блеститъ яркимъ свѣтомъ та политическая теорія, которую проповѣдовалъ знаменитый итальянскій писатель. Способъ управленія государствомъ внутри, его внѣшняя политика, полная лукавства, хитрости, порванныхъ трактатовъ, нарушенныхъ словъ, обращеніе съ присоединенными провинціями, наконецъ, его личное поведеніе, все доказываетъ истиннаго ученика того учителя, котораго онъ побиваетъ камнями. Но какъ бы ни достойны были дѣйствія Фридриха съ точки зрѣнія принципа,

какъ бы ни привлекательна казалась его практическая, а не та идеальная государственная философія, которую онъ силился проповѣдовать,—все или по крайней мѣрѣ многое должно быть отпущено за то истинное стремленіе служить благу своего народа, которое было у Фридриха.

И нужно сказать, какъ ни грустно это можетъ показаться, — еслибы Фридрихъ осуществлялъ на дѣлѣ ту идеальную политическую философію, за представителя которой ему такъ хотѣлось прослыть, тогда, конечно, онъ не достигъ бы той цѣли, къ которой упорно стремился и которая вполне достигнута была только на нашихъ глазахъ въ самые послѣдніе годы, но достиженію которой онъ такъ много содѣйствовалъ. Цѣль эта заключалась въ томъ, чтобы сдѣлать Пруссію первостепеннымъ могущественнымъ государствомъ и представить ей навсегда гегемонію въ Германіи. То, къ чему стремился Фридрихъ II, то исполнено его послѣдователемъ и продолжателемъ княземъ Бисмаркомъ.

Стремленія Фридриха Великаго были какъ нельзя болѣе ясны. Ему ненавистно было старое устройство нѣмецкой имперіи, онъ не могъ помириться съ тою второстепенною ролью, которую играла въ ней Пруссія, съ трехъ-миліоннымъ населеніемъ при его вступленіи на престолъ, и онъ желалъ поэтому измѣнить какъ это устройство, такъ и роль своего государства. Для этого ему нужна была прежде всего хорошая армія, которою онъ могъ бы импонировать нѣмецкой имперіи; затѣмъ, заручившись силою, округлить свои владѣнія; потому что онъ понималъ, что до тѣхъ поръ, пока Пруссія останется маленькимъ государствомъ, ему нельзя и думать объ измѣненіи существовавшаго порядка нѣмецкой имперіи. Вотъ почему его первая забота была увеличить свою армію, и это увеличеніе онъ доводитъ до того, что весьма скоро у него образуется армія въ 150.000 человекъ, что не только въ то время, но даже и въ наше представляетъ весьма почтенную цифру. Съ такою арміею онъ могъ весьма быстро совершить переворотъ въ Германіи. Фридрихъ былъ не изъ той породы людей, которые откладываютъ на завтра то, что они могутъ сдѣлать сегодня. Почти съ первыхъ дней его вступленія на престолъ начинаются заботы объ округленіи Пруссіи, которыя прекращаются для него только со смертію. Для Фридриха нуженъ былъ только поводъ, чтобы объявить войну, захватить въ свою власть какую-нибудь про-

винцію и уже потомъ не выпускать ее болѣе изъ рукъ. Первый такой поводъ представился въ самый годъ его вступленія на престолъ, когда скончался императоръ Карлъ VI и на престолъ вступила, въ силу прагматической санкціи, дочь его Марія-Терезія. Фридрихъ тотчасъ же объявилъ свои притязанія на Силезію, и прежде чѣмъ война была объявлена формальнымъ образомъ, войска Фридриха заняли уже эту богатую австрійскую провинцію. Не даромъ же Фридрихъ выставилъ какъ правило политической мудрости, что важнѣе всего „поставить ногу“ въ странѣ. Нужно, впрочемъ, сказать, что едва ли Фридрихъ имѣлъ бы возможность такъ быстро начать свою завоевательную политику, еслибы отецъ его, суровый Фридрихъ-Вильгельмъ, не оставилъ ему богатой казны и отлично дисциплинированной 80-ти тысячной арміи. Другой король могъ бы и не воспользоваться такимъ выгоднымъ положеніемъ, но Фридрихъ не могъ упустить удобнаго случая. Въ „Исторіи моего времени“ Фридрихъ самъ говоритъ: „главное — это воспользоваться удобнымъ случаемъ и рѣшиться на предпріятіе, когда оно представляется благопріятнымъ, но не насиловать этого случая, дѣйствуя на удачу. Есть минуты, которыя требуютъ, чтобы все было пущено въ ходъ, чтобы успѣть и пріобрѣсти выгоду; но есть другія минуты, когда осторожность требуетъ, чтобы оставаться въ бездѣйствіи“. Каждое дѣйствіе Фридриха было строго обдуманно и рассчитано; онъ во всемъ требовалъ только спокойнаго разсудка, преслѣдуя страсть. „Если не одинъ только разумъ заставляеть на что-нибудь рѣшаться, а примѣшивается также и страсть, тогда невозможно ожидать, чтобы счастливый успѣхъ былъ результатомъ подобнаго предпріятія. Политика, — выражаетъ Фридрихъ политическое правило, — требуетъ терпѣнія, и высшее искусство ловкаго человѣка заключается въ томъ, чтобы каждую вещь дѣлать въ свое время и кстати“. И Фридрихъ дѣйствительно каждую вещь дѣлалъ въ свое время и кстати, пользуясь всякимъ удобнымъ случаемъ, не обращая вниманія на какое-нибудь нарушеніе трактатовъ и договоровъ. „Потомство — пишетъ онъ въ предисловіи къ „Исторіи моего времени“ — увидитъ, быть можетъ, съ удивленіемъ въ этихъ мемуарахъ разсказъ о заключенныхъ и нарушенныхъ трактатахъ. Хотя такіе примѣры бывають сплошь и рядомъ, но это все-таки не оправдало бы автора этого произведенія, еслибы у него не было болѣе сильныхъ доводовъ, чтобы оправдать его поведеніе. Интересъ государства —

прибавляетъ онъ, уже въ полномъ согласіи съ Макиавелемъ, — долженъ служить правиломъ монарховъ“. Исходя изъ того начала, которое практиковалось и практикуется его принятымъ продолжателемъ, что цѣль оправдываетъ средства, Фридрихъ II весьма убѣдительно доказываетъ такое положеніе практической философіи въ политикѣ: „Слово частнаго лица влечетъ за собою только несчастье одного человѣка; слово же монарховъ (тутъ идетъ рѣчь о томъ, слѣдуетъ ли держать слово или нѣтъ) влечетъ за собою всеобщія бѣдствія цѣлыхъ народовъ. Такимъ образомъ все сводится къ такому вопросу: что лучше: чтобы погибъ народъ, или чтобы государь нарушилъ договоръ? Какой глупецъ станетъ колебаться въ разрѣшеніи этого вопроса?“ Ничего другого не говорилъ и Макиавель, а между тѣмъ тотъ же Фридрихъ призывалъ на него за эти слова всяческія проклятія. Вооружившись такими политическими правилами, Фридрихъ очень быстро сталъ „округлять“ свою Пруссію, которую онъ принялъ отъ своего отца, какъ жалуется онъ самъ, въ самомъ невыгодномъ положеніи. „Бѣдныя и отсталыя провинціи, — говоритъ онъ про Пруссію, — еще со времени бѣдствій, испытанныхъ во время Тридцатилѣтней войны, онѣ были не въ состояніи доставлять хорошіе доходы королю; однимъ источникомъ для него оставались его сбереженія: покойный король (отецъ Фридриха) ихъ дѣлалъ, и хотя средства не были очень велики, ихъ хватало на случай надобности, чтобы не упустить представлявшійся удобный случай... Что же было самое печальное, — говоритъ Фридрихъ, и его слова не разъ повторялъ кн. Бисмаркъ, — это то, что государство не имѣло правильной формы. Провинціи недостаточно широкія и, такъ сказать разбросанныя, тянулись отъ Курляндіи до Брабанта. Это перерѣзанное положеніе увеличивало число сосѣдей государства, не давая ему плотности, и дѣлало то, что оно имѣло гораздо болѣе враговъ, которыхъ оно должно было опасаться, чѣмъ имѣло бы ихъ, еслибы было округлено“.

Фридрихъ II, какъ ни нападалъ онъ на завоевательную политику, слѣдовалъ ей безостановочно, и эта завоевательная политика, благодаря генію Фридриха, благодаря его постояннымъ заботамъ о величіи своего народа, а не своего собственнаго, не привела къ тѣмъ необходимымъ результатамъ, которые онъ самъ предсказывалъ завоевателямъ. „Постоянный принципъ монарховъ, — говоритъ онъ, — это увеличивать свое государство, насколько только позволяетъ имъ

ихъ сила... государи никогда отъ него не отступаютъ: дѣло идетъ объ ихъ такъ-называемой славѣ, однимъ словомъ, нужно, чтобы они возвышались“. Какъ далекъ теперь Фридрихъ, во время самаго разгара своихъ войнъ, имѣвшихъ цѣлю округленіе Пруссіи, отъ тѣхъ словъ, отъ той идеальной философіи, которую онъ проповѣдовалъ, говоря: „Я спрашиваю, что можетъ заставить человека стремиться увеличить свои владѣнія? и въ силу чего онъ можетъ составить планъ воздвигнуть свое могущество на несчастіи и разореніи другихъ людей? и какъ можетъ онъ воображать, что онъ прославился, дѣлая только несчастныхъ? Новыя завоеванія государя не дѣлаютъ его государства болѣе могущественнымъ и болѣе богатымъ, его народы ничего не выигрываютъ и онъ заблуждается, думая, что онъ станетъ болѣе счастливымъ“. Такая теорія хороша для другихъ, но не для Фридриха. Фридрихъ II гораздо искреннѣе, когда, уже при самомъ концѣ своей обильной событіями жизни, высказываетъ мысль, что „истинное достоинство хорошаго государя заключается въ искренней привязанности къ общественному благу, въ любви къ своей родинѣ и къ славѣ: я говорю славѣ,—прибавляетъ увѣнчанный ею Фридрихъ,—потому что счастливый инстинктъ, вселяющій въ людей желаніе хорошей репутаціи, это—истинное основаніе героическихъ дѣйствій; это—нервъ души, который пробуждаетъ ее изъ летаргіи, чтобы побудить ее къ предпріятіямъ полезнымъ, необходимымъ и достойнымъ похвалы“.

Такимъ-то образомъ, Фридрихъ съ принципами политической философіи, весьма шаткими съ точки зрѣнія нравственности, но съ большою любовью къ своей странѣ и страстнымъ желаніемъ возвысить Пруссію, округливъ ея границы, совершилъ то, что маленькая Пруссія сдѣлалась однимъ изъ самыхъ могущественныхъ государствъ того времени и разрушила рукою Фридриха, какъ и въ наше время рукою Бисмарка, существовавшее политическое равновѣсіе. Начало того единства, которое представляетъ теперь Германія, слѣдуетъ искать не въ движеніи, предшествовавшемъ и сопровождавшемъ войну за освобожденіе, а въ томъ величіи Пруссіи, которое создалъ Фридрихъ, не останавливаясь ни передъ какими средствами. Всѣ для него были хороши, чтобы достигнуть цѣли, и мы должны повторить еще разъ, что если эти средства не помираютъ славы Фридриха, то только потому, что цѣль его заключалась не въ личномъ, не въ династическомъ интересѣ, а въ дѣйствительной любви къ своей родинѣ и

желаніи ей добра. Если исторія, признавая многія дѣйствія Фридриха достойными самаго рѣшительнаго порицанія, тѣмъ не менѣе не только оправдала его, но высоко поставила его имя, то только потому, что она признала, что въ основѣ всѣхъ этихъ дѣйствій лежала все-таки одна мысль—мысль о благѣ своей страны. Нужно было грозой про- нестись Наполеону, чтобы ввергнуть могущество Пруссіи, созданное стараніями и гениемъ Фридриха, въ пропасть, изъ которой послѣ длиннаго періода времени снова вытащилъ ее князь Бисмаркъ.

Рѣшаясь провести параллель между Фридрихомъ II и княземъ Бисмаркомъ, между практическою философіею одного и практическою философіею другого, между способомъ дѣйствія перваго и способомъ дѣйствія послѣдняго, мы должны обратить вниманіе и на то, что время, положеніе Европы, при которомъ дѣйствовалъ Фридрихъ, имѣетъ не одну общую черту съ временемъ и положеніемъ, среди котораго дѣйствуетъ Бисмаркъ.

„Никогда—говорилъ Фридрихъ—общественныя дѣла не заслуживали до такой степени вниманія Европы, какъ въ настоящее время. По окончаніи большихъ войнъ, положеніе государствъ мѣняется, и ихъ политическія стремленія мѣняются въ то же время: новые проекты вырабатываются, новые союзы заключаются и каждый въ частности принимаетъ тѣ мѣры, которыя считаетъ наиболѣе цѣлесообразными для выполненія своихъ честолюбивыхъ замысловъ“. Въ другомъ мѣстѣ одного изъ своихъ сочиненій Фридрихъ повторяетъ свою жалобу на политическое состояніе Европы, и выражаетъ свою жалобу въ такихъ словахъ, которыя почти цѣликомъ можно отнести къ нашему времени. „Политическій организмъ Европы носитъ какой-то насильственный характеръ; онъ точно вышелъ изъ своего эквilibра и находится въ такомъ состояніи, которое, безъ большого риска, не можетъ продолжаться долго... Насиліе съ одной стороны, слабость—съ другой; у одного—желаніе все захватить, у другого—невозможность тому воспрепятствовать; болѣе сильный диктуетъ законы, болѣе слабый обязанъ имъ подчиняться; наконецъ, все содѣйствуетъ тому, чтобы увеличить безпорядокъ и смятеніе; самый сильный, точно стремительный ручей, все заливаешь и уноситъ, подвергая несчастный политическій организмъ самымъ пагубнымъ переворотамъ“. Какъ въ этихъ словахъ, обрисовывающихъ положеніе Европы въ XVIII столѣтіи, не узнать положенія Европы въ XIX! Тотъ же нарушенный

эквилибръ, то же сосредоточеніе силы съ одной стороны, та же слабость съ другой; та же наконецъ опасность еще новаго переворота въ Европѣ,—переворота, вызваннаго новымъ порядкомъ вещей. Для того, чтобы предугадывать будущее, или, вѣрнѣе, для того, чтобы принять извѣстныя предосторожности противъ ударовъ этого будущаго, необходимо глубоко проникнуть въ тѣ начала, которыя составляютъ краеугольный камень самаго сильнаго государства.

Разрушеніе эквилибра въ политическомъ организмѣ современной Европы произошло въ послѣднія десять лѣтъ, и оно какъ разъ совпадаетъ съ началомъ дѣятельности князя Бисмарка, какъ перваго министра Пруссіи. Весь этотъ смутный періодъ европейской исторіи какъ нельзя лучше отражается въ рѣчахъ князя Бисмарка. Не было ни одного сколько-нибудь политическаго событія, не было ни одного сколько-нибудь серьезнаго вопроса, чтобы князь Бисмаркъ не высказался по его поводу, чтобы онъ не произнесъ одной или двухъ рѣчей. Послѣднія десять лѣтъ точно въ зеркалѣ отражаются въ его своеобразныхъ рѣчахъ.

Но для того, чтобы войти въ положеніе князя Бисмарка, для того, чтобы понять его поведеніе при самомъ вступленіи его въ управленіе политикою Пруссіи, для этого необходимо припомнить хоть въ самыхъ общихъ чертахъ, хотя въ нѣсколькихъ словахъ, положеніе Европы, положеніе европейскихъ государствъ въ минуту его настоящаго серьезнаго появленія на историческую сцену.

Положеніе Европы при появленіи Бисмарка менѣе всего могло бы быть названо спокойнымъ и прочнымъ. Двѣ войны, разразившіяся въ пятидесятыхъ годахъ, крымская и итальянская, произвели большой переполохъ въ политическомъ организмѣ Европы. Три самые могущественные сосѣда Пруссіи испытывали какой-то *malaise*, который былъ, конечно, какъ нельзя болѣе на руку монархіи Фридриха II. Россія, потрясенная весьма глубоко восточною войною, почувствовала, что для того, чтобы она могла крѣпко стать на ноги, ей необходимо измѣнить всю свою внутреннюю систему и на мѣсто стараго порядка воздвигнуть новый, который болѣе обезпечивалъ бы возможность широкаго развитія народныхъ силъ. Старыя балки оказались совсѣмъ плохими, всюду въ глаза бросалась неурядица, накопившаяся долгими годами; крымская кампанія, несмотря на мужество, съ которымъ русская армія боролась противъ непріятеля, была только зловѣщимъ

предзнаменованіемъ громоваго крушенія, если только энергическія мѣры не будутъ приняты для предупрежденія его. Съ этой стороны, пожалуй, крымскую войну можно считать выгоднымъ урокомъ, потому что безъ нея, кто знаетъ, спохватились ли бы во-время и удалось ли бы предотвратить болѣе тяжкія бѣдствія, чѣмъ не совсѣмъ удачный парижскій миръ. Россія послѣ него замкнулась, „ушла въ себя“, и новое царствованіе спѣшило набрасывать одинъ проектъ реформы за другимъ, желая съ самаго основанія, т.-е. съ освобожденія крестьянъ, перестроить старое, потрясенное и мрачное зданіе. Къ несчастію, въ благородномъ порывѣ русскаго правительства и прежде чѣмъ зданіе было выведено, прежде чѣмъ всѣ его слабыя части были снесены, должна была послѣдовать остановка, вызванная въ значительной степени печальнымъ событіемъ польскаго возстанія. Хотя новая война противъ Россіи и была предотвращена, съ одной стороны, благодаря достойной всякой похвалы энергіи, выказанной нашимъ канцлеромъ княземъ Горчаковымъ, съ другой—благодаря тому, что среди западныхъ государствъ существовала уже подозрительность и раздоръ, мѣшавшій имъ дѣйствовать сообща, тотъ раздоръ, который посѣяны былъ самою крымскою войною и затѣмъ усилившійся только вслѣдствіе итальянской, тѣмъ не менѣе польское возстаніе послужило точно помѣхой въ той перестройкѣ, которой подвергалось русское царство. Недовольные реформами новаго царствованія воспользовались польскимъ возстаніемъ, чтобы поселить предубѣжденіе и недовѣріе къ той части русскаго общества, которая наиболѣе пламенно и безкорыстно сочувствовала и желала по мѣрѣ силъ своихъ содѣйствовать благимъ предначертаніямъ правительства, съ такою силою обнаружившимся во второй половинѣ пятидесятихъ годовъ. Расколъ среди русскаго общества, столь незамѣтный при началѣ, точно всякое противодѣйствіе старалось скрыться подъ землю, теперь поднялъ голову и разрушилъ то единство, съ которымъ Россія ринулась впередъ послѣ окончанія восточной войны. Такимъ образомъ, во внутренней жизни Россіи вмѣсто дружнаго натиска впередъ явилось теперь колебаніе. Съ одной стороны она двигалась впередъ по пути реформъ, съ другой вселившееся недовѣріе подрывало ихъ силу и заставляло иногда въ новую стѣну вставлять старье, оказавшіеся негодными, кирпичи. Этотъ расколъ среди русскаго общества не могъ подчасъ не имѣть ослабляющаго вліянія на правительство, парализуя

до нѣкоторой степени его силы, заставляя его чаще озираться на избранномъ имъ первоначально пути. Пруссія, которая зорко приглядывается ко всему, что происходитъ въ жизни сосѣдей, и съ одной стороны полагая, что правительство, занятое внутренними хлопотами, не легко можетъ рѣшиться на вѣншее вмѣшательство въ политическія дѣла Европы, съ другой твердо и не безъ основанія рассчитывая на тѣсныя родственныя узы и въ точности знакомая съ состояніемъ военныхъ силъ Россіи, хорошо чувствовала, что съ этой стороны ей опасаться нечего, и съ восточной границы считала свои руки вполне развязанными.

Другой ея сосѣдъ находился гораздо въ худшемъ положеніи. Австрія, —разбитая въ итальянской войнѣ, потерявъ Ломбардію и почувавъ опасность съ одной стороны потерять свои послѣднія владѣнія въ Италіи, свою закованную въ цѣпи невольницу Венецію, съ другой быть исключенною изъ состава Германіи, —дѣлаетъ теперь отчаянныя попытки, чтобы сохранить за собою значеніе нѣмецкой державы, части старой нѣмецкой имперіи. Эти попытки только вредятъ ей, такъ какъ возбуждаютъ Венгрію, этотъ оплотъ Австріи, къ болѣе рѣшительной съ нею враждѣ. Австрія бросается во всѣ стороны, постоянно колеблется, не зная, на что ей, бѣдной, рѣшиться. Потерпѣвъ пораженіе со стороны вѣншей политики, постоянно видя передъ собою двухъ враговъ: Италію, добивающуюся Венеціи, Пруссію, стремящуюся къ первенству, къ гегемоніи, —Австрія была не болѣе спокойна и въ своихъ внутреннихъ дѣлахъ. Либерализмъ смѣнялъ собою реакцію и наоборотъ, въ то время, когда Венгрія и другія національности такъ и рвались воспользоваться стѣсненнымъ положеніемъ монархіи Габсбурговъ, чтобы выгадать себѣ автономію и поставить себя въ болѣе независимое положеніе по отношенію къ австрійскимъ нѣмцамъ. Австрія находилась теперь почти въ такомъ же критическомъ положеніи, какъ по смерти Карла VI-го, когда Фридрихъ успѣшилъ нанести ей первый серьезный ударъ. Третій сосѣдъ Пруссіи, Франція, несмотря на весьма блестящее, повидимому, вѣншее положеніе, несмотря на счастливое окончаніе восточной и итальянской войнъ, несмотря на тѣ лавры, которыми покрыло себя императорское правительство, страдалъ все-таки одною болѣзью, которая должна была парализовать его силу. Болѣзнь эта заключалась во внутренней неурядицѣ, которая выражалась въ томъ,

что правительство, опасаясь за свое существованіе, не снимало съ страны осаднаго положенія. Нужно сказать, что и внѣшнее положеніе не было уже такъ красиво, какъ оно казалось на другой день послѣ Сольферино. Правительство, рассчитывая военною славою усыпить страстные порывы французовъ къ политической свободѣ, думая навсегда унять эти опасные для власти схватки и пароксизмы, неутомимо искало для Франціи новаго и новаго поля битвы, а слѣдовательно, думало оно, и славы. При Наполеонѣ I-мъ въ Египтѣ на французскую армію съ высоты пирамидъ смотрѣли сорокъ столѣтій — пускай же, думало правительство Наполеона III, старая слава Франціи залетѣть своимъ блескомъ Новый Свѣтъ, пускай будетъ сказано, что во всѣхъ частяхъ свѣта прогремѣло французское оружіе. Впопыхахъ, не долго думая и соображая, рѣшенъ былъ походъ въ Мексику, скомпрометтировавшій прежнюю славу Франціи и покрывшій вторую имперію позоромъ. Вмѣсто того, чтобы усыпить французовъ, Мексика помогла пробудить ихъ, такъ какъ большинство понимало, насколько сумасбродно, обременительно и дорого стоило это глупо-фантастическое и вовсе не либеральное предпріятіе. Этотъ походъ въ Мексику былъ первымъ серьезнымъ неуспѣхомъ во внѣшней политикѣ второй имперіи, если не считать до нѣкоторой степени неуспѣхомъ быстрое заключеніе виллафранкскаго мира, остановившаго на полпути дѣло Италіи. Доверши тогда французское правительство это дѣло отобраніемъ Венеціи, Пруссія, семь лѣтъ спустя, не нашла бы себѣ союзника въ Италіи, и, быть можетъ, европейскія событія получили бы вовсе иное направленіе. Вслѣдъ за Мексикой, внѣшняя политика Франціи скоро получила новый и довольно чувствительный щелчокъ по поводу польскаго вопроса. Свѣтлая звѣзда второй имперіи видимо закатилась; точно какая-то Немезида преслѣдовала ее со времени мексиканской экспедиціи, — что ни шагъ, то новый ударъ. Франція не знала болѣе военныхъ успѣховъ. Во внутреннемъ управленіи дѣла шли не лучше того. Если при Фридрихѣ II-мъ Франція была въ рукахъ куртизанокъ, то теперь она находилась въ рукахъ всевозможныхъ интригановъ, которые нисколько не совѣстились воровать, грабить, набивать себѣ впопыхахъ карманы, но вовсе не думали о благѣ страны. Правительственная система не могла остаться безъ вліянія на самое общество, на народъ; деморализація наверху стала спускаться ниже, охватывая все больше и больше

пространство политическаго организма страны. Франція перестала быть страшною. Пруссія не могла этого не видѣть,—она, которая такъ неуспѣшно слѣдила за всѣмъ, что дѣлалось у ея сосѣдей.

Кто же оставался? Англія и Италія; но первая все болѣе и болѣе слѣдовала теоріи Кобдена и Брайта, проповѣдовавшихъ теорію невмѣшательства въ политическія дѣла континентальной Европы, и дошла въ своемъ систематическомъ невмѣшательствѣ такъ далеко, что вовсе потеряла значеніе первостепенной державы, — конечно, въ политическомъ отношеніи. Пруссія могла быть увѣрена, что на какія бы предпріятія она ни рѣшилась—Англія останется хладнокровною зрительницею. Кто сомнѣвался еще въ этомъ, тотъ могъ убѣдиться послѣ датской войны, въ которой эта маленькая, но достойная всякаго уваженія страна была безжалостно принесена въ жертву ненасытному аппетиту союзниковъ. Отвѣтственность за эту несправедливую и неравную борьбу, въ которой Данія—какимъ бы геройскимъ сопротивленіемъ она ни обладала—могла быть только раздавлена, въ самой значительной степени падаетъ на англійскій кабинетъ.

Что же касается до Италіи, то не она, конечно, могла служить помѣхой для осуществленія плановъ Пруссіи, для выполненія политическаго завѣщанія Фридриха II. Преслѣдуя тѣ же цѣли, добываясь единства, съ тяжелымъ чувствомъ негодованія смотрѣла Италія на господство Австріи надъ ея Венеціею, и, конечно, она могла быть, въ случаѣ какого-нибудь переворота, только союзницею Пруссіи. Къ тому же она занята была теперь внутреннимъ устройствомъ своего новаго королевства; она переваривала Ломбардію и другія итальянскія земли, которыя Гарибальди бросилъ въ объятія Сардинскаго королевства.

Итакъ, всѣ были заняты, всѣ безпокоились, всѣ возились и устроивались, заваленные по-горло домашними хлопотами; всѣ, наконецъ, устали и требовали отдыха послѣ восточной и итальянской войнъ, въ которыхъ участвовала почти вся Европа. Одна только Пруссія, неподвижная пол-вѣка, одна она не нуждалась въ томъ, чтобы залечивать свои раны. Старыя раны, полученныя въ борьбѣ съ Наполеономъ, уже давно зажили, и она не безъ лукавства смотрѣла на своихъ измученныхъ сосѣдей. Она чувствовала себя бодрою и здоровою и отъ удовольствія потирала руки, повторяя себѣ слова

Фридриха: „политика требует терпѣнія“. Пруссія была терпѣлива, высматривала, организовала свою армію и выжидала того человѣка, который долженъ былъ доказать справедливость словъ Фридриха, что „тотъ, который лучше разсчиталъ свое поведеніе, тотъ одинъ только можетъ взять верхъ надъ тѣми, которые дѣйствуютъ менѣе послѣдовательно, нежели онъ“. Одно было неладно въ Пруссіи—это та борьба, которая происходила во внутренней жизни между парламентомъ и правительствомъ, борьба энергическая, которая должна была скоро окончиться торжествомъ власти надъ представителями народа.

Во время-то этой борьбы выступаетъ князь Бисмаркъ, стягиваетъ бразды правленія въ свои мощныя руки, и скоро... затрещала земля, побагровѣло небо и послышались въ Европѣ грозные громовые раскаты.

III.

Такъ какъ цѣль наша заключается въ томъ, чтобы показать политическую систему князя Бисмарка и опредѣлить главные положенія практической философіи одного изъ типическихъ государственныхъ людей XIX-го вѣка, то намъ нѣтъ надобности останавливаться на біографическихъ подробностяхъ жизни князя Бисмарка, нѣтъ надобности тѣмъ болѣе, что о жизни его было писано уже много. Не вдаваясь, слѣдовательно, въ біографическія подробности, въ анекдотическую сторону жизни канцлера Германской Имперіи, мы должны все-таки передать читателю,—по возможности приводя всюду собственные изреченія князя Бисмарка,—то политическое міросозерцаніе, тотъ небольшой запасъ политическихъ правилъ и воззрѣній, съ которыми онъ явился на арену политической жизни Европы уже какъ главное дѣйствующее лицо Германіи.

Извѣстно, что первый шагъ Бисмарка въ политической жизни относится къ 1847 году, когда онъ былъ избранъ дворянами своей мѣстности, какъ представитель, въ созванные королемъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ IV-мъ *Etats-généraux*. Въ этомъ собраніи Бисмаркъ

заявилъ себя какъ смѣлый сторонникъ реакціи и начала божественнаго права королевской власти, утверждая, что война за освобожденіе вовсе не дала права народу требовать себѣ конституціи, и что нація исполнила только свой долгъ, возставъ противъ чужеземнаго господства и затопивъ въ своей крови позоръ, который наносила ей Франція. Безъ всякаго смущенія Бисмаркъ высказывалъ мысль, что если король созвалъ собраніе представителей, то на это была только его добрая воля, такъ какъ король не имѣлъ никакихъ обязательствъ по отношенію къ своему народу, и что короли прусскіе получили свою власть отъ Бога, и потому отвѣтственны только передъ Богомъ. Въ это время Бисмаркъ былъ весьма далекъ отъ тѣхъ идей, которыя, какъ мы видѣли, проповѣдовалъ Фридрихъ. Король раздѣлялъ, повидимому, воззрѣнія Бисмарка, такъ какъ, лишь только ему не понравились разсужденія, которыя позволяли себѣ представители, онъ распустилъ *Etats-généraux*, не находя въ нихъ никакой нужды. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, впрочемъ, 18-го марта 1848 года, появился указъ короля, которымъ снова созывались *Etats-généraux*, но на этотъ разъ созваніе основывалось не на доброй волѣ короля, а на требованіи народа, откликнувшася на парижскую февральскую революцію. Бисмаркъ не былъ въ средѣ представителей—иначе, разумѣется, отъ этой эпохи сохранились бы точно также нѣкоторыя его изреченія. Но трибуна не надолго была лишена одного изъ самыхъ суровыхъ представителей феодальной партіи. Собраніе было распущено въ декабрѣ 1848 года, и король, не довѣряя представительному началу, самъ начерталъ конституцію и на основаніи ея созвалъ въ февралѣ 1849 года прусскій парламентъ. Бисмаркъ избранъ былъ депутатомъ. Революція еще болѣе озлобила его, и онъ съ желчью говорилъ, что „единственное средство покончить съ революціей—это сжечь всѣ города, составляющіе революціонное ядро“. Въ прусской палатѣ онъ возставалъ противъ длинныхъ рѣчей, безконечныхъ разсужденій; онъ желалъ уже тогда, чтобы все дѣлалось по военному, безъ умствованій, безъ лишнихъ словъ. Подъ послѣдними же онъ разумѣлъ все то, что говорилось по поводу народныхъ правъ, нуждъ и т. под. „Ни однимъ выраженіемъ—говорилъ онъ не безъ большой доли правды—такъ не злоупотребляли въ послѣднее время, какъ словомъ: народъ; каждый даетъ ему тотъ смыслъ, который болѣе подходитъ для него; его употребляютъ, обыкновенно, разумѣя неболь-

шое число лицъ, которыхъ ораторъ надѣется заставить раздѣлить его собственныя мнѣнія“. Бисмаркъ требовалъ строгаго преслѣдованія демократической партіи и съ негодованіемъ говорилъ объ амнистіи участникамъ мартовской революціи. „18-го марта 1848 года прусскій король помиловалъ мятежниковъ: такой поступокъ не слѣдуетъ повторять, такъ какъ иначе распространится среди народа ложная идея, что источникомъ всякаго политическаго права служить воля націи... Борьба принциповъ,—съ полною откровенностью высказываетъ Бисмаркъ,—которая потрясаетъ Европу въ самыхъ ея основаніяхъ, не допускаетъ примиренія: эти принципы покоятся на противоположныхъ и несовмѣстимыхъ основаніяхъ. Для одного, по видимому, право вытекаетъ изъ воли народа, но въ дѣйствительности основывается на побѣдахъ силы и торжествѣ баррикадъ; другой признаетъ, что власть установлена Богомъ и существуетъ волею Бога, и связываетъ ея развитіе съ органическими измѣненіями конституціоннаго права. Съ точки зрѣнія одного изъ этихъ принциповъ, мятежники всякаго рода представляются поборниками правды, свободы, справедливости; съ точки зрѣнія другого — это только мятежники. Парламентскія разсужденія не приведутъ ни къ чему въ этой борьбѣ принциповъ: рано или поздно, но нужно, чтобы богъ бить желѣзомъ разрѣшилъ этотъ вопросъ“. Такимъ образомъ, уже въ 1849 году высказывается впервые политическое правило, которое впоследствии сдѣлалось однимъ изъ основныхъ положеній практической философіи Бисмарка и приобрѣло такую громадную извѣстность. Это правило выражается двумя словами: огонь и желѣзо!

Тѣ федеративныя планы, которые сочинялись во франкфуртскомъ парламентѣ, выводили Бисмарка изъ себя, потому что еслибы они осуществились, то Пруссія, хотя и увѣнчанная императорскою короною, должна была бы утонуть въ единой Германіи. Большой безсмыслицы въ то время не существовало для Бисмарка, желавшаго видѣть Пруссію сильною, могущественною военною державою подъ властью абсолютнаго монарха. Бисмаркъ, всегда отличавшійся въ вопросахъ внутренней политики большою откровенностью, весьма наглядно выражалъ свою мысль, говоря: „Въ этой палатѣ очень часто толкуютъ о политикѣ Фридриха Великаго, и ее сравниваютъ съ попыткой федеративнаго соглашенія. Я думаю, что Фридрихъ II-й, главнымъ образомъ, принялъ бы во вниманіе господствующія качества прусской

націи, военный духъ, ее отличающій, и онъ не имѣлъ бы причины раскаяваться въ томъ“. Бисмаркъ полагаетъ, или, вѣрнѣе, полагалъ, что Фридрихъ II-й послѣ того, что онъ разорвалъ бы связь съ франкфуртскимъ парламентомъ, или соединился бы съ Австріей, чтобы отсѣчь главу общему врагу—революціи, или еслибы остался одинъ, то „принудилъ бы Германію принять такое устройство, которое было бы въ гармоніи съ его воззрѣніями, подъ угрозой бросить на вѣсы всю тяжесть своей шпаги. Это была бы истинно національная и прусская политика. Она дала бы Пруссіи, отдѣльно или въ соглашеніи съ Австріей, необходимое положеніе, чтобы доставить Германіи могущество, которое она должна имѣть, и вліяніе, которое должно быть обезпечено ей въ Европѣ. Проектъ федеральнаго союза уничтожаетъ, напротивъ, то, что зовется собственно пруссіанизмомъ“.

И тутъ Бисмаркъ не забываетъ своего любимаго аргумента — желѣза, и тутъ говоритъ онъ о шпагѣ, которую Фридрихъ бросилъ бы на вѣсы Пруссіи; въ это время, какъ и долго потомъ, было одно только на умѣ у Бисмарка, и ни о чемъ другомъ кромѣ Пруссіи онъ не хотѣлъ ни думать, ни говорить. То, что онъ желалъ, чтобы было, то онъ считалъ существующимъ. и никакая сила въ мірѣ не могла бы его разубѣдить въ томъ, что онъ забралъ себѣ разъ какъ-нибудь въ голову. Онъ былъ убѣжденъ, что если что-нибудь спасло его страну и избавило отъ торжества революціи, то это истинный, какъ онъ выражается, пруссіанизмъ. Истинный же пруссіанизмъ—это „прусская армія, прусская казна, плоды администраціи, издавна разумно направляемой, взаимная симпатія правительства и націи; привязанность народа къ царствующей династіи; старыя прусскія добродѣтели, честь, вѣрность, повиновеніе, храбрость, которыя воодушевляють цѣлую армію, начиная отъ офицеровъ и кончая самыми молодыми рекрутами. Армія не знаетъ трехцвѣтныхъ вдохновеній; она не испытываетъ болѣе, чѣмъ и весь народъ, потребности возрожденія. Она довольствуется именемъ прусской арміи. Эти войска слѣдуютъ за знаменемъ чернымъ и бѣлымъ, а вовсе не за трехцвѣтнымъ; подъ знаменемъ чернымъ и бѣлымъ они умираютъ съ радостью за отечество; они научились видѣть въ трехцвѣтномъ знамени знамя ихъ враговъ... Народъ, изъ котораго вышла эта армія, вѣрное изображеніе котораго она собой представляетъ, нисколько не желаетъ, чтобы старая прусская монархія исчезла въ нечистомъ нѣмецкомъ броженіи южной необуздан-

ности. Мы — пруссаки и желаемъ оставаться пруссаками; я знаю, что этими словами я выражаю мнѣніе прусской арміи и наибольшаго числа моихъ соотечественниковъ, и съ Божіею помощію я надѣюсь, что мы еще останемся пруссаками долго послѣ того, что этотъ клочокъ бумаги (федеральная конституція Германіи) канетъ въ вѣчность и исчезнетъ, какъ исчезаетъ мертвый листъ“.

Слова эти нужно помнить не потому, чтобы они заключали въ себѣ что-нибудь необычайное, чтобы они отличались особенно глубокою мыслью, — вовсе нѣтъ; подобныя разсужденія вписаны въ катехизисъ феодальной партіи, которая можетъ развѣ похвалиться ограниченностью своихъ политическихъ воззрѣній, но слова эти важны потому, что они хорошо обрисовываютъ настроеніе кн. Бисмарка того времени, а также и потому, что тѣ же самыя ноты мы слышимъ и гораздо позже, когда кн. Бисмаркъ сдѣлался министромъ-президентомъ. Какъ ни измѣнился кн. Бисмаркъ подъ вліяніемъ событій, появленію которыхъ онъ такъ много способствовалъ, но тѣмъ не менѣе эти первыя идеи его вовсе не изгладились, и не разъ мы видимъ, какъ онѣ вырываются наружу въ его рѣчахъ. Тѣ же самыя чувства, тотъ же тонъ, почти тѣ же слова, которыя онъ произносилъ въ палатѣ представителей, Бисмаркъ громко заявилъ и въ томъ жалкомъ, мертворожденномъ эрфуртскомъ парламентѣ, созванномъ королемъ прусскимъ для составленія новой союзной конституціи. Бисмаркъ былъ противъ такого союза, который имѣлъ своею цѣлью служить противовѣсомъ Австріи. „Я не могу понять, какимъ образомъ можно оспаривать у Австріи право именоваться германской державой. Не прямая ли она наслѣдница Германской Имперіи, и развѣ много разъ не прославила она меча Германіи“? Онъ не понималъ еще въ это время Пруссіи безъ Австріи, и прусскій духъ, старый прусскій духъ, столь близкій сердцу Бисмарка, возмущался при мысли о той единой Германіи, о которой мечтали тогда нѣмецкіе демократы. „Горечь моего чувства — говорилъ онъ въ эрфуртскомъ парламентѣ — усилилась при открытіи настоящей сессіи, когда глаза мои остановились на украшеніяхъ этой залы, гдѣ посмѣли вывѣсить трехцвѣтное знамя, которое никогда не было знаменемъ Нѣмецкой Имперіи, но которое давно уже считается знаменемъ революціи и баррикадъ, цвѣтами, которые носятъ только демократы и солдаты: одни — потому, что они служатъ эмблемой ихъ мнѣній, другіе — изъ покорности, которая ихъ печалитъ.

Если вы не желаете сдѣлать уступокъ прусскому духу, старому прусскому духу. — называйте его прусскимъ шовинизмомъ, если вамъ это сколько-нибудь нравится, — если вы не окажете ему болѣе почтенія, чѣмъ оказано въ этой конституціи, я не думаю, чтобы она когда-нибудь получила практическое осуществленіе; и если вы только попробуете заставить принять ее этотъ старый прусскій духъ, вы тогда встрѣтите въ немъ благороднаго коня, съ радостью носящаго на себѣ своего господина, своего постоянного сѣдока, но который сброситъ на землю нежданнаго наѣздника съ его красною и черною и золотою броней“. Судьба эрфуртскаго парламента извѣстна. За попытку эманципироваться изъ-подъ крѣпостной зависимости Австріи Пруссія заплатила стыдомъ Ольмюца. Монархія Фридриха II-го преклонила колѣно передъ монархіей Маріи-Терезіи. Какое горькое чувство долженъ испытывать теперь Бисмаркъ при одномъ воспоминаніи, что въ то время онъ торжествовалъ этотъ стыдъ! Правда, это горькое чувство могло помереть въ вендеттѣ, устроенной имъ самимъ. Не въ первенствѣ въ нѣмецкихъ дѣлахъ полагалъ въ то время Бисмаркъ честь Пруссіи, — нѣтъ, онъ полагалъ ее въ то время въ борьбѣ съ „постыдною демократическою партіею“.

Тотъ же самый „старый прусскій духъ“, который заставилъ Бисмарка держаться за устарѣвшее устройство Германіи, при которомъ, по выраженію Штрауса, Пруссія шла на буксирѣ за Австріей, опредѣлялъ его воззрѣнія на королевскую власть и на роль дворянства въ странѣ. Про первую онъ говорилъ: „Прусская королевская власть не должна допускать, чтобы ее превратили въ такую же безсильную форму, какъ англійская королевская власть, которая коронуется зданіе какъ изящный куполъ; наша же — это тотъ центральный столбъ, который поддерживаетъ тяжесть всего зданія“. Это воззрѣніе на королевскую власть сохранилъ Бисмаркъ и въ то время, когда онъ явился въ прусскія палаты какъ министръ-президентъ, и въ одной изъ первыхъ своихъ рѣчей, обращенной къ палатѣ депутатовъ, произнесъ: „Королевская власть въ Пруссіи еще не выполнила всей своей миссіи; она еще не дошла до того, чтобы служить только простымъ украшеніемъ вашего конституціоннаго зданія, или еще не сдѣлалась бесполезнымъ колесомъ въ механизмѣ парламентскаго устройства“.

Что касается до его воззрѣній на прусскую дворянскую касту, то они достаточно ярко обрисовываются въ его гордомъ сознаніи, что

онъ принадлежить „къ этой партіи среднихъ вѣковъ и мрака, какъ ее называютъ“, и что онъ „всосалъ ея предразсудки съ молокомъ матери“. Бисмаркъ ставилъ ей въ великую заслугу, что она „подавила — какъ онъ выражался — анархію и спасла Пруссію отъ самой постыдной изъ тиранній — тиранній народныхъ классовъ. Во время недавнихъ волненій, — прибавляетъ онъ, — она не отдыхала на розахъ“. Ничего такъ не боялся Бисмаркъ, какъ идеи французскаго равенства, про которую онъ говорилъ, что это „химерическая дочь зависти и алчности, фантомъ, который народъ, богато одаренный природою, преслѣдуетъ въ продолженіе шестидесяти лѣтъ среди крови и безумія и котораго все-таки никакъ не можетъ настичь“. Онъ предостерегаетъ Пруссію, что она не должна виѣшиваться „въ эту охоту, подъ тѣмъ предлогомъ, что она популярна“.

Вотъ и всѣ тѣ идеи, которыми заявилъ себя кн. Бисмаркъ въ періодъ своей депутатской дѣятельности; вотъ и всѣ тѣ правила политической мудрости, которыя онъ успѣлъ высказать въ это время съ трибуны. Хотя и не великъ этотъ запасъ, но онъ вполне достаточенъ, чтобы составить себѣ ясное представленіе о политическомъ міросозерцаніи Бисмарка въ до-министерскій періодъ его дѣятельности. Міросозерцаніе это было весьма просто: сильная абсолютная королевская власть, опирающаяся на вѣрное дворянство; презрѣніе ко всему, что зовется народными правами; ненависть къ демократіи; борьба до послѣдней капли крови со всѣми политическими идеями, занесенными французскою революціею въ Германію и нашедшими здѣсь, благодаря высокой умственной культурѣ страны, достаточно удобренную почву. Вотъ — для внутренней политики! Что касается до внѣшней — безконечное уваженіе къ традиціямъ Нѣмецкой Имперіи, поклоненіе Австріи и желаніе, чтобы Пруссія виѣстѣ съ этою старою соперницею монархіи Фридриха II управляла дѣлами Германіи! Другихъ задачъ въ это время не зналъ еще Бисмаркъ. Зная это прошедшее, кто могъ бы предсказать, чтобы этотъ человѣкъ, съ подобными идеями и подобными правилами политической мудрости, могъ когда-нибудь играть ту роль, которая должна была дать ему такое высокое мѣсто въ исторіи Германіи; кто могъ бы подумать, что ему предстоитъ слава, идя по стопамъ Фридриха II, „расправить крылья прусскаго орла“ и дать ему возможность еще разъ „своимъ полетомъ поразить удивленіемъ весь свѣтъ“?! На этотъ разъ, продолжая эффектное сравненіе Штрауса,

орелъ французской имперіи не заключилъ прускаго орла въ клітку, и надо думать, что со смертью знаменитаго канцлера орелъ этотъ не упадетъ съ опущенными крыльями на землю, какъ упалъ онъ послѣ смерти Фридриха II. Работая „своими когтями и клювомъ“, орелъ этотъ навсегда вырвался изъ чужеземной неволи.

Идеи и правила Бисмарка, высказанныя имъ въ собраніяхъ представителей, нашли отголосокъ въ сердцѣ короля Фридриха-Вильгельма IV-го, который въ 1851 г. назначилъ его сначала старшимъ секретаремъ посольства, а потомъ и посланникомъ при франкфуртскомъ сеймѣ. Мы не имѣемъ за это время его рѣчей, мы не имѣемъ официальныхъ документовъ, по которымъ можно было бы судить о тѣхъ новыхъ идеяхъ, которыя явились у него вслѣдствіе болѣе близкаго знакомства съ положеніемъ Германскаго Союза и той роли, которую среди него играла его дорогая Пруссія; но мы знаемъ изъ біографій и изъ тѣхъ писемъ Бисмарка, которыя приводятся въ нихъ, что перемѣна, и перемѣна весьма рѣзкая, произошла въ его умѣ, — перемѣна, касавшаяся не его идей въ области внутренней политики, но только идей объ отношеніи Пруссіи къ Австріи и обѣихъ названныхъ державъ къ Германскому Союзу. „Франкфуртскій Сеймъ — говоритъ знаменитый философъ Штраусъ — былъ тѣмъ истокомъ, съ котораго Бисмаркъ лучше всего могъ проникнуть въ глубину бѣдствій Германіи“.

Болѣе одиннадцати лѣтъ проходитъ съ тѣхъ поръ, что Бисмаркъ высказывалъ свои реакціонныя идеи съ парламентской трибуны. Это время посвящено, какъ извѣстно, его дипломатической дѣятельности въ Франкфуртѣ, Петербургѣ, Парижѣ. Послѣ такого длиннаго перерыва онъ снова появляется въ прусскихъ палатахъ, но уже не въ качествѣ депутата, а какъ министръ-президентъ прускаго кабинета. Съ этой минуты и въ продолженіе десяти лѣтъ — и какихъ десяти лѣтъ! — онъ уже не сходитъ съ парламентской сцены. Эти десять лѣтъ, съ 1862 по 1872 г., составляющія великую эпоху въ исторіи Германіи и до основанія потрясшія Европу, рельефно выходятъ наружу въ ораторской дѣятельности князя Бисмарка, въ его многочисленныхъ рѣчахъ, четырехтомное собраніе которыхъ лежитъ передъ нами. Въ этихъ четырехъ томахъ сжато и рѣзко выражена вся практическая политическая философія XIX-го вѣка. Выраженная однимъ изъ самыхъ типическихъ ея представителей, она имѣетъ право требовать,

чтобы къ ней относились со вниманіемъ и съ подобающимъ такой силѣ уваженіемъ. Въ политической дѣятельности князя Бисмарка, въ послѣднее десятилѣтіе весьма нетрудно различить два періода, рѣзко отдѣленныхъ другъ отъ друга. Первый періодъ—это тотъ, когда Бисмаркъ идетъ „противъ теченія“, когда онъ встрѣчаетъ себѣ сильный отпоръ какъ въ палатѣ представителей, такъ и среди огромнаго большинства нѣмецкаго общества. Это періодъ борьбы по преимуществу, и тутъ его практическая философія сказывается въ необыкновенно рѣзкихъ формахъ, жесткихъ изреченіяхъ, и чѣмъ упорнѣе борьба, тѣмъ онъ становится круче и надменнѣе. Къ этому періоду относятся по преимуществу всѣ его столь извѣстныя опредѣленія политической мудрости; среди борьбы онъ бросаетъ въ своихъ противниковъ „огнемъ и желѣзомъ“, „желѣзомъ и кровью“; среди возбужденнаго имъ самимъ негодованія его противниковъ онъ обливаетъ ихъ, точно ушатомъ ледяной воды, словами: я не признаю вашихъ правъ; сила—вотъ право! Часто онъ не владѣетъ собою, и мысль его выливается болѣе рѣзко, чѣмъ онъ самъ того желаетъ; часто она получаетъ такую циническую откровенность, отъ которой онъ самъ потомъ отрешивается. Такъ было съ одною изъ первыхъ его рѣчей, въ которой онъ вызывалъ на бой палату депутатовъ. „Вы хотите со мной бороться,—поборемся; но помните, что тотъ, который въ своихъ рукахъ имѣетъ власть, силу, тому не для чего отступать“. Когда вся рѣчь его была резюмирована однимъ изъ либеральныхъ членовъ палаты и бывшимъ министромъ, графомъ Шверинномъ, въ двухъ словахъ: „сила подавляетъ право“!—князь Бисмаркъ съ энергіею возсталъ противъ такого политическаго правила, выраженнаго такъ категорично; и хотя это изреченіе какъ нельзя болѣе вѣрно передавало его мысль, онъ все-таки долго не могъ забыть его, и въ собраніи его рѣчей мы находимъ, что въ различное время, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, онъ пять разъ протестовалъ противъ подобнаго опредѣленія его политической системы. Князь Бисмаркъ въ разгарѣ борьбы бываетъ часто болѣе откровененъ, чѣмъ онъ желалъ бы, и ему не всегда удается удерживать въ границахъ свою мысль. Такіе прорывы чаще всего случались съ нимъ именно въ первый періодъ, когда онъ долженъ былъ вести такую же ожесточенную борьбу внутри страны, какую во второмъ періодѣ онъ велъ противъ стѣснявшихъ его замыслы сосѣдей. Бисмаркъ принадлежитъ къ тѣмъ лю-

дямъ, которыхъ борьба, энергическое сопротивленіе, быть можетъ и утомляя, раздражаютъ все болѣе и болѣе. Онъ ничего не боится, ничего не пугается; чѣмъ сильнѣе противникъ, тѣмъ смѣлѣе онъ на него наступаетъ. Онъ не пойдетъ на компромиссы; онъ не станетъ сгибаться передъ тѣми, которые хотятъ нанести ему ударъ; онъ не походитъ на тѣхъ мелкихъ государственныхъ людей, въ родѣ Тьера, которые, чѣмъ противникъ сильнѣе, тѣмъ становятся мягче. Во время борьбы отъ Бисмарка нечего ждать уступокъ; чѣмъ дальше длится борьба, тѣмъ онъ становится все рѣзче, все болѣе вызывающимъ. Уступки онъ готовъ сдѣлать только тогда, когда онъ достигнетъ предполагаемой цѣли, когда онъ заставитъ согнуться передъ собою враговъ.

Вотъ отчего въ первомъ періодѣ своей политической дѣятельности, когда онъ плыветъ противъ теченія, Бисмаркъ представляется необыкновенно рѣзкимъ, высокомернымъ и на всей его политической философіи замѣтна пѣна разбѣшеннаго человѣка. Когда же онъ сломилъ внутреннюю оппозицію, когда Пруссія увидѣла въ немъ своего пророка, своего Магомета, когда она преклонилась передъ его силою, Бисмаркъ становится несравненно мягче, уступчивѣе, его рѣчи теряютъ тотъ рѣзкій и необыкновенно жесткій характеръ, которымъ отличаются рѣчи его перваго періода. Сущность его политическихъ воззрѣній, его философіи мѣняется мало; но такъ какъ она отливается, при отсутствіи борьбы, въ несравненно болѣе спокойныя формы, то и кажется на первый взглядъ, что измѣнилась и самая сущность. Это особенно замѣтно по отношенію Бисмарка къ представительному правленію. Читая его рѣчи перваго періода, вы на каждомъ шагѣ чувствуете, что онъ ни въ грошъ не ставитъ конституцію, что онъ не обращаетъ никакого вниманія на палату депутатовъ, къ которой онъ не относится никогда иначе, какъ съ глубокимъ презрѣніемъ, что онъ охотно готовъ уничтожить ее, если она выведетъ его изъ терпѣнія, что онъ знаетъ не хочетъ свободы трибуны и смѣется надъ всѣми либеральными притязаніями. Во второмъ—можно подумать, что взглядъ его на представительное правленіе мѣняется, онъ уже не относится къ палатѣ депутатовъ съ презрѣніемъ, напротивъ, онъ постоянно выказываетъ передъ ней свое почтеніе; въ отношеніи его къ ней, въ выраженіяхъ, которыя онъ употребляетъ, преобладаетъ по крайней мѣрѣ тонъ вѣшняго уваженія. Такъ какъ періодъ борьбы уже окон-

чился, — я говорю о внутренней борьбѣ, — то ноты раздраженія слышатся уже гораздо рѣже, и Бисмаркъ охотно соглашается на уступки, на которыя прежде онъ никогда бы не пошелъ. Свобода трибуны его уже болѣе не пугаетъ, она не страшна для него; сохраненіе всего конституціоннаго ритма ему уже не въ тягость, потому что онъ не опасается, что этотъ ритмъ въ чемъ-нибудь можетъ стѣснить его. Чѣмъ должна быть объяснена перемѣна въ тонѣ, смягченіе, уступчивость Бисмарка во второмъ періодѣ? Тѣмъ ли, что его воззрѣніе на конституціонную жизнь, его практическая философія нѣсколько измѣнилась подъ давленіемъ событій, и онъ въ дѣйствительности отступился отъ нѣкоторыхъ узко-феодальныхъ началъ политической системы, или только тѣмъ, что послѣ побѣды надъ внутреннею оппозиціею онъ уже понималъ, что весь конституціонный порядокъ будетъ довольно послушнымъ орудіемъ въ его рукахъ, и что онъ будетъ гнуться въ ту или другую сторону, смотря по его собственному желанію? Мнѣ кажется, что при опредѣленіи этой перемѣны должно быть допущено какъ одно, такъ и другое объясненіе. Сущность его практической философіи, его понятій о королевской власти, о представительномъ правленіи, различныхъ внутреннихъ вопросахъ, касающихся правъ отдѣльной личности и цѣлаго народа, осталась та же, но только его воззрѣнія потеряли свою рѣзкость, свою угловатость, свой абсолютизмъ. Онъ не бросилъ своихъ политическихъ правилъ, но подъ вліяніемъ времени, быстрого хода событій, они видоизмѣнились. Бисмаркъ вовсе не гордится тѣмъ, что онъ упорно держится однихъ и тѣхъ же убѣжденій, онъ охотно сознается, что онъ мѣняетъ свои убѣжденія и не разъ громко заявлялъ объ этомъ въ палатѣ. Онъ не принадлежитъ къ тѣмъ людямъ, которые изъ упрямства не хотятъ сойти съ мѣста, хотя бы они и убѣдились, что мѣсто это не заключаетъ въ себѣ ничего привлекательнаго. „Мало-ли чтѣ я могъ говорить нѣсколько лѣтъ назадъ“! — нѣсколько разъ восклицалъ Бисмаркъ въ палатѣ депутатовъ. Замѣтимъ вообще мимоходомъ, что въ практической философіи XIX-го вѣка, какъ она представляется Бисмаркомъ, слова, высказанныя убѣжденія имѣютъ весьма мало значенія и дѣйствительно нисколько не стѣсняютъ и не связываютъ рукъ на будущее время. Макиавель еще три вѣка назадъ, излагая свою практическую философію, говорилъ, что въ политикѣ только дураки стѣсняются своимъ словомъ.

Рядомъ, однако, съ этимъ дѣйствительнымъ видоизмѣненіемъ понятій Бисмарка во второмъ періодѣ его дѣятельности, многія отклоненія отъ первоначально выраженныхъ имъ правилъ должны быть объяснены просто его уступчивостью, снисходительностью и великодушіемъ побѣдителя. Пока дѣло касается пустяковъ, онъ мягокъ, охотно отступаетъ отъ своего повелительнаго тона, но лишь только поднимается вопросъ серьезный и въ какой-нибудь части палаты онъ замѣчаетъ упорство, непослушаніе, тотчасъ же изъ-за мягкаго Бисмарка выходитъ опять Бисмаркъ рѣзкій, надменный, однимъ словомъ, Бисмаркъ перваго періода. Грань между двумя періодами обозначается очень легко. Грань эта—1866-й годъ, Садова.

Если между двумя періодами дѣятельности князя Бисмарка существуетъ рѣзкое различіе въ отношеніи обращенія его съ представителями страны, если есть нѣкоторое различіе и въ самыхъ правилахъ его политической мудрости, то какъ въ томъ, такъ и въ другомъ періодѣ остается одно неизмѣннымъ, это—ораторская манера нѣмецкаго канцлера. Эта манера какъ нельзя болѣе отвѣчаетъ содержанію той практической философій, которая открывается въ рѣчахъ князя Бисмарка; эта манера какъ нельзя болѣе дорисовываетъ образъ самаго замѣчательнаго государственнаго человѣка современной Европы. Вотъ почему мы и должны остановиться на князѣ Бисмаркѣ, какъ ораторѣ.

Бисмаркъ произнесъ безсчетное количество рѣчей; онъ говоритъ легко, выразить свою мысль ясно, опредѣленно, слово его не лишено силы, скорѣе напротивъ, и вѣстѣ съ тѣмъ Бисмаркъ ораторъ весьма плохой, въ томъ смыслѣ, въ какомъ слѣдуетъ понимать это слово—ораторъ. Ораторъ предполагаетъ собою человѣка, обладающаго даромъ краснорѣчія, что не слѣдуетъ смѣшивать съ краснобайствомъ, это съ одной стороны, и съ другой—запасомъ общечеловѣческихъ идей. Ни того, ни другого нѣтъ у Бисмарка. Читая четыре тома его рѣчей, вы никогда не почувствуете себя увлеченнымъ ни формой ихъ, ни содержаніемъ. Существенныя черты внѣшней формы его рѣчей заключаются въ большой сжатости, лаконичности, опредѣленности; онъ употребляетъ всегда то именно слово, то выраженіе, которое нужно, чтобы вѣрно выразить свою мысль. При этомъ, разумѣется, у него ни тѣни напыщенности, фразерства; напротивъ, его рѣчь проста, такъ проста, какъ только возможно себѣ представить. Онъ любитъ сильныя опредѣленія, въ видѣ „огня и желѣза“, „сила подавляетъ право“, „право

держится штыкомъ“ и т. п., и довольно часто прибѣгаетъ къ нимъ. Вслѣдствіе этихъ сильныхъ выраженій, которыя окрашиваютъ всю рѣчь, придавая ей энергичность, въ рѣчахъ его слышатся шпоры, которыя онъ старается точно вонзить въ своихъ противниковъ. Та же сила преобладаетъ у него во всѣхъ возраженіяхъ; онъ не ищетъ словъ, и отвѣтъ его большею частью живъ и находчивъ. Большая находчивость — это одно изъ отличительныхъ свойствъ ораторскаго искусства Бисмарка. Намъ придется, конечно, еще много разъ встрѣтиться въ рѣчахъ нѣмецкаго канцлера съ примѣрами его энергическихъ выраженій, находчивыхъ возраженій, остроумныхъ отвѣтовъ, но и теперь уже мы можемъ привести здѣсь нѣсколько образцовъ внѣшней манеры рѣчей князя Бисмарка, которая является такою подходящею оболочкою для ихъ внутренняго содержанія. Какъ на одинъ изъ примѣровъ парламентской энергіи и находчивости, можно указать на то объясненіе, которое произошло между Бисмаркомъ и Вирховымъ по поводу доклада послѣдняго по вопросу о герцогствахъ. Это было еще въ то, теперь, кажется, далекое время, когда борьба между министромъ и прогрессивною партіею находилась въ остромъ періодѣ, когда прогрессивная партія, несмотря на нѣкоторый уже залогъ, все-таки не увѣровала еще въ крутого вождя нѣмецкаго народа. Однимъ словомъ, это было до Садовой, это было въ 1865 году. Бисмарку не понравились нѣкоторыя энергическія выраженія въ докладѣ, и онъ возражалъ: „Г. докладчикъ посвятилъ большую часть своей длинной рѣчи критикѣ моего личнаго поведенія. На этой почвѣ я не послѣдую за нимъ во всѣхъ его разсужденіяхъ. Я весьма мало нуждаюсь въ похвалахъ и отношусь съ достаточнымъ равнодушіемъ къ критикѣ. Допустите даже, что послѣднія событія были чисто результатомъ случая, что прусское правительство въ нихъ неповинно, что мы были игрушкою иностранныхъ интригъ и внѣшняго вліянія, волны котораго бросили насъ, къ нашему собственному удивленію, на берегъ Киля,—допустите это, если вамъ только оно нравится,—для меня совершенно достаточно того, что мы находимся въ Килѣ; что же касается до того, ставите ли вы это намъ въ заслугу, или нѣтъ, то для меня это рѣшительно безразлично. Что касается до критики нашего поведенія, — продолжалъ Бисмаркъ все въ томъ же тонѣ пренебреженія и насмѣшки, — то я въ свою очередь позволю себѣ критику на нее одною фразою, употребленною докладчикомъ. Онъ

упрекаетъ насъ въ томъ, что мы повернули руль, когда вѣтеръ пере-
мѣнился. Но я спрашиваю: можно ли поступать иначе, когда нахо-
дишься въ плаваніи, какъ не поворачивать руль смотря по вѣтру, если
только самъ не хочешь болтать на вѣтеръ (Wind machen)? Мы это
предоставляемъ другимъ. Впрочемъ, я не для того просилъ слова,
но чтобы отвѣтить на нападеніе чисто личнаго свойства, направлен-
ное противъ меня. Докладчикъ сдѣлалъ замѣчаніе, что если я дѣй-
ствительно читалъ докладъ, то онъ не знаетъ, что думать о моей
правдивости. Докладчикъ достаточно жилъ на свѣтѣ, чтобы знать,
что онъ употребилъ по отношенію ко мнѣ такой оборотъ фразы,
технической, специальной, которая служить обыкновенно средствомъ
для того, чтобы перенести споръ на почву чисто личную и заста-
вить того, правдивость котораго подверглась сомнѣнію, требовать
извѣстнаго удовлетворенія. Господа! — восклицаетъ Бисмаркъ: — по-
ставивъ вопросъ ребромъ, куда мы придемъ, продолжая наши дебаты
въ такомъ тонѣ? Желаете ли вы, чтобы мы рѣшали наши политиче-
скіе споры на манеръ Гораціевъ и Куріаціевъ? Если вы этого желаете,
мы можемъ объ этомъ потолковать. Если же нѣтъ, то что же мнѣ
остается, какъ только отвѣчать на грубое слово, употребляя еще болѣе
грубое? Это единственное средство, такъ какъ мы не имѣемъ права
привлекать васъ въ судъ, доставивъ себѣ извѣстное удовлетвореніе;
но я бы не желалъ, чтобы вы поставили меня въ необходимость при-
бѣгать къ такому средству. И какъ же — прибавляетъ Бисмаркъ —
г. докладчикъ доказываетъ недостатокъ моей правдивости? Если я
хорошо припоминаю его длинную рѣчь, онъ ставитъ мнѣ въ укоръ,
какъ противорѣчіе докладу, тѣ слова, которыми я обвинялъ либе-
ральную партію въ томъ, что ея симпатіи къ флоту ослабѣли, и
чтобы доказать мнѣ, что это неправда, онъ приводитъ всѣ тѣ кра-
сивыя фразы, которыя употребилъ въ своемъ докладѣ въ пользу
флота, заключеніе котораго однако то, что вы не даете намъ денегъ.
Да, безъ сомнѣнія, господа, — съ ироніей произноситъ Бисмаркъ, —
если бы слова ваши были изъ серебра, намъ оставалось бы только выра-
зить вамъ наше благодарное удивленіе за ту щедрость, которою вы
награждаете правительство“.

Въ этомъ отвѣтѣ Бисмарка мы находимъ всѣ его обычныя до-
стоинства; какъ читатель видитъ, этотъ отвѣтъ рѣзокъ, сжатъ, си-
ленъ, фактиченъ и далеко не лишенъ остроумія, перемѣшаннаго съ

пренебреженіемъ. Онъ не только не отступаетъ передъ натискомъ противника, но дѣлаетъ еще шагъ впередъ, говоря, что его нисколько не интересуетъ, какого мнѣнія будутъ о немъ люди. Вѣстѣ съ тѣмъ слѣдуетъ сказать, что въ своихъ рѣчахъ Бисмаркъ нетерпимъ; себѣ онъ позволяетъ весьма много, на языкѣ у него всегда въ запасѣ презрительная фраза, но самъ онъ не допускаетъ, чтобы ему выражали презрѣніе. Думайте про меня что хотите, мнѣ до того нѣтъ никакого дѣла, но не смѣйте выказывать мнѣ явнаго неуваженія!—вотъ что звучитъ въ его рѣчахъ. Реплика Вирхову тѣмъ еще любопытна, что она повела за собою послѣдствія, также довольно хорошо обрисовывающія личность Бисмарка. На слова министра-президента Вирховъ отвѣчалъ, что онъ не беретъ назадъ словъ, сказанныхъ имъ въ рѣчи. Тогда Бисмаркъ всталъ и, повторивъ еще разъ, что Вирховъ обвиняетъ его въ недостаткѣ правдивости, прибавилъ: „Мнѣ было бы желательно не встрѣтить этого оскорбленія въ стенографическомъ отчетѣ“. Вирховъ не согласился измѣнить своихъ словъ, а Бисмаркъ въ тотъ же день послалъ Вирхову своихъ секундантовъ, но послѣдній отказался принять вызовъ, и такимъ образомъ дуэль не состоялась. Очевидно, что Бисмаркъ, спрашивая, не желаютъ ли покончить распри на подобіе Горациевъ и Куріаціевъ, вовсе не шутилъ, когда говорилъ: „если вы желаете, мы не прочь“! Изъ этого читатель можетъ видѣть, что смѣлость Бисмарка такова, что свое слово онъ всегда готовъ поддержать дѣломъ, даже рискуя своею жизнью, какъ ни странно кажется политическіе дебаты въ парламентѣ переносить на загородное поле поединка.

Когда въ другой разъ вопросъ былъ перенесенъ на личную почву и Бисмарка упрекнули въ томъ, что онъ говоритъ „прусскимъ“ языкомъ, непонятнымъ для палаты, тогда онъ вызывающимъ тономъ произнесъ: „Господа, я горжусь тѣмъ, что говорю прусскимъ языкомъ, и вы еще часто услышите его изъ моихъ устъ“. Такимъ образомъ, Бисмаркъ никогда не остается въ долгу и возвращаетъ сдѣланный ему упрекъ всегда съ процентами. Одинъ изъ депутатовъ въ своей рѣчи бросилъ въ него, какъ укоръ, его „юнkersкія“ тенденціи. „Вы меня упрекаете въ „юнкерствѣ“; но что вы понимаете подъ этимъ словомъ? Я не хочу—говорилъ Бисмаркъ—вдаваться въ подробныя опредѣленія, но я думаю, что невозможно отдѣлять идеи „юнкерства“ отъ надменныхъ притязаній на вліяніе и господство, отъ

злоупотребленія привилегіями, которыми владѣешь въ силу закона; въ этомъ смыслѣ мы имѣемъ своихъ парламентскихъ „юнкеровъ“. Касты не вѣчны, онѣ исчезаютъ и создаются новыя—и я утверждаю, что образовался такой „юнкерскій“ парламентскій элементъ, бороться противъ котораго составляетъ одну изъ самыхъ существенныхъ обязанностей прусской королевской власти“. Вся оппозиція противъ антиконституціоннаго министра была, слѣдовательно, по его словамъ, не чѣмъ инымъ, какъ „юнкерскимъ“ элементомъ. Еще лучше выражается его манера защищаться противъ нападеній; система заключается въ томъ, что онъ не защищаетъ себя, а самъ дѣлаетъ нападеніе, въ отвѣтъ, сдѣланномъ имъ графу Шверину, упрекнувшему его однажды, по поводу шлезвигъ-голштинскаго вопроса, въ боязни демократіи. „Я думаю,—говоритъ Бисмаркъ съ большою самоувѣренностью,—что ораторъ меня знаетъ слишкомъ давно, чтобы быть увѣреннымъ, что боязнь демократіи мнѣ неизвѣстна. Еслибы у меня была подобная боязнь, я не былъ бы на этомъ мѣстѣ и считалъ бы партію проигранною; словъ я не цѣню; не спорьте о словахъ, спорьте о фактахъ;—нѣтъ, я не боюсь такого противника; я убѣжденъ, что я одержу надъ нимъ побѣду, и это убѣжденіе, что я одержу надъ нимъ верхъ, я думаю, господа, что вы не далеки отъ того, чтобы раздѣлить его со мною“. Если подобныя слова не показываютъ въ Бисмаркѣ особенно глубокаго мыслителя, зато они показываютъ въ немъ такую самоувѣренность, и притомъ выраженную такъ рельефно, что онъ невольно озадачиваетъ, и пока не привыкнешь къ его тону, къ его манерѣ, то онъ импонируетъ ею. Никогда, конечно, ни одинъ министръ такъ часто и съ такою самоувѣренностью не произносилъ: я одинъ все знаю, я одинъ понимаю, что дѣлаю; всѣ ваши разсужденія нигде не годятся, потому что вы дилеттанты въ политикѣ, и больше ничего. „Думать, что въ политикѣ можетъ быть раскрыто политическимъ дилеттантамъ при посредствѣ простаго соображенія то, чего не видятъ опытные въ этомъ дѣлѣ люди, это — нѣсколько разъ повторять Бисмаркъ—весьма опасная ошибка, но очень распространенная въ настоящее время“.

Если манера Бисмарка заключается, главнымъ образомъ, въ лаконичности и рѣзкости, то вмѣстѣ съ тѣмъ въ его рѣчахъ нельзя не видѣть подчасъ неподдѣльнаго остроумія. Такъ, возражая однажды графу Шверину, назвавшему себя хорошимъ пруссакомъ, Бисмаркъ

отвѣчалъ: „Когда онъ говоритъ, что онъ хорошій пруссакъ, и никто, конечно, не откажется отдать ему въ этомъ справедливость, то я совершенно согласенъ съ нимъ; я иду даже далѣе: я считаю, что внутри своего сердца онъ пруссакъ монархическій, но объ его отношеніи къ своему королю можно сказать то же, что Гёте заставляетъ сказать доктора Фауста, обращаясь къ королю королей: „По истинѣ, онъ служить вамъ страннымъ образомъ“; точно также я думаю, что партія, которую представляетъ г. депутатъ, кончитъ и даже въ нѣкоторыхъ частяхъ кончила какъ драма доктора Фауста, т.-е., что она останется при первой части; что касается до того, будетъ ли она имѣть также вторую часть, которая составитъ продолженіе первой, также по аналогіи съ Фаустомъ, это покажетъ намъ только будущее“. Въ другой разъ одинъ изъ депутатовъ назвалъ другого депутата „жемчужиной“; Бисмаркъ подхватилъ это выраженіе и отвѣчалъ: „Я вполне раздѣляю эту оцѣнку, но для меня цѣнность жемчужины много зависитъ отъ ея цвѣта, а въ этомъ отношеніи меня довольно трудно удовлетворить“. Подобныхъ остроумныхъ отвѣтовъ множество разбросано въ собраніи рѣчей Бисмарка, и намъ нужно было бы цитировать ихъ на нѣсколькихъ страницахъ, еслибы мы желали ихъ перечислить. Но это не важно; намъ нужно было только указать на эту черту, чтобы быть справедливыми къ Бисмарку, какъ оратору. Признавая за Бисмаркомъ остроуміе, силу, удачное и точное выраженіе мысли, слѣдуетъ однако сказать, что аргументація его всегда чрезвычайно поверхностна; держась извѣстнаго факта, онъ не проникаетъ въ его глубину, а потому онъ гораздо болѣе ошеломляетъ, нежели убѣждаетъ. Онъ утверждаетъ извѣстный фактъ, утверждаетъ съ необыкновенною энергіею, но онъ не анализируетъ его, не углубляется въ него. Вотъ отчего, о чемъ бы ни говорилъ Бисмаркъ, онъ всегда одинаковъ: будетъ ли онъ держать свою рѣчь объ единствѣ Германіи, объ основаніяхъ конституціи, о присоединеніи въ силу права войны цѣлыхъ населеній, или будетъ разсуждать о томъ, гдѣ лучше выстроить дворецъ для помѣщенія палаты представителей,—его манера всегда неизмѣнна. Самый важный вопросъ и самый ничтожный онъ отстаивалъ съ одинаковою силою, потому что онъ видитъ передъ собою извѣстный фактъ, въ справедливости котораго онъ убѣжденъ; а разъ, что онъ въ чемъ-нибудь убѣжденъ, ему нужно настоять на своемъ. Не нужно и говорить, что объ увлеченіи, теплотѣ

въ рѣчахъ Бисмарка не можетъ быть и помину. Нѣтъ въ его рѣчахъ также и обстоятельнаго развитія какой-нибудь мысли, нѣтъ обобщеній, и потому бѣлая часть его рѣчей коротки, сухи. Онъ бросаетъ свою мысль такъ, какъ она отлилась въ его головѣ, но развитъ ее онъ и не умѣетъ, да, кажется, и не считаетъ нужнымъ. Онъ остается вѣренъ тому, что онъ высказывалъ еще въ молодыхъ годахъ, говоря: „Я гдѣ-то читалъ, въ какой-то старой книгѣ, что сеймъ, собранный въ Эрфуртѣ въ 1290 году императоромъ Рудольфомъ Габсбургскимъ, былъ зачумленъ болтунами, тараторившими безъ зазрѣнія совѣсти; я припоминаю это обстоятельство въ надеждѣ, что настоящее собраніе не будетъ подвергнуто тому же бичу“. Онъ вовсе не считаетъ справедливою французскую пословицу: *du choc des opinions jaillit la vérité*; его крутая, деспотическая натура внушаетъ ему постоянно одну мысль: я рѣшилъ такъ, значить должно быть такъ, о чемъ же тутъ и болтать! Подтвержденіе истины нашего мнѣнія мы находимъ во многихъ рѣчахъ князя Бисмарка, и между прочимъ въ одной изъ послѣднихъ уже его рѣчей, когда онъ обратился къ прусской палатѣ депутатовъ и наставническимъ тономъ произнесъ: „если, наконецъ, этотъ человѣкъ одного мнѣнія съ вашимъ, если этотъ человѣкъ, стоящій во главѣ правительства и видящій всѣ вещи въ ихъ цѣломъ, не можетъ все-таки возвыситься до той же высоты здороваго разсудка, на которой стоитъ тотъ, который въ продолженіе большей части года вовсе не занимается государственными дѣлами, тогда давно была бы уже пора, какъ я говорю, отдѣлится отъ столь близорукаго человѣка, который съ высоты правительственной башни не видитъ такъ же далеко, какъ тотъ, который смотритъ съ равнины, и самые способные члены той же партіи должны быть на столь же добры, чтобы какъ можно скорѣе смѣстить его, такъ какъ внутри партіи, въ концѣ концовъ, слѣдуетъ быть твердо увѣреннымъ въ вопросѣ, кто изъ насъ самый способный, самый опытный, самый полезный, кто долженъ стоять въ нашей главѣ. И, я повторяю, обязанность состоитъ въ томъ, чтобы не откладывать этого. Сидѣть спокойно у себя, *fruges conspuere*, читать журналы и потомъ, когда является какая-нибудь мѣра, принятая правительствомъ, возбуждать рѣзкую и страстную критику противъ правительства, общее положеніе котораго не въ силахъ даже судить, бросать камень въ его колеса,—я говорю, что это не есть патріотическое дѣло“. Безъ всякаго сомнѣнія, громадный успѣхъ

политики князя Бисмарка, громадныя услуги, которыя онъ оказалъ дѣлу нѣмецкаго народа, даютъ ему право быть весьма высокаго мнѣнія о самомъ себѣ, но самая заслуга получаетъ въ глазахъ людей большую, несравненную цѣну, когда тотъ, который оказалъ ее, менѣе гордится ею и во всякомъ случаѣ менѣе говоритъ о ней. Впрочемъ, приведенныя нами слова проистекаютъ, быть можетъ, не столько изъ гордаго самовосхваленія, сколько изъ существа его деспотической сильной натуры, въ силу котораго даже тогда, когда онъ не оказалъ еще ровно никакихъ услугъ нѣмецкому обществу, когда онъ былъ пугаломъ, которыя чуть не страшали дѣтей, онъ все-таки постоянно твердилъ: я одинъ все знаю, вы не знаете ничего; слѣдовательно, вашъ голосъ не имѣетъ никакого значенія и вамъ лучше всего молчать! Этимъ мы отчасти, и только отчасти, объясняемъ характеръ рѣчей князя Бисмарка, который можно опредѣлить такъ: упомянуть о фактѣ, высказать въ весьма энергическихъ и весьма сжатыхъ выраженіяхъ свое мнѣніе и затѣмъ уже не входить въ подробное развитіе своей мысли, своего воззрѣнія.

Главная же причина такого характера рѣчей князя Бисмарка, главная причина отсутствія въ нихъ истиннаго ораторскаго достоинства лежитъ въ свойствахъ его таланта, его способностей, всей его природы. Князь Бисмаркъ—и это уже не разъ было высказано—практическій дѣятель по преимуществу; онъ ставитъ передъ собою известную цѣль, стремится къ ней изъ всѣхъ своихъ силъ, но за этою цѣлью онъ, судя по его рѣчамъ, уже ничего не видитъ. Читая его рѣчи, нигдѣ не видишь, чтобы князь Бисмаркъ когда-нибудь въ своей жизни останавливался на общечеловѣческихъ идеяхъ, чтобы онъ ими интересовался, чтобы онъ думалъ о нихъ. Существующее общество, существующій общественный порядокъ онъ признаетъ единственно разумнымъ не потому, чтобы сравнивалъ его съ тѣми, которые отжили свое время, или съ тѣми, который встрѣчается только набросаннымъ въ идеяхъ немногихъ великихъ мыслителей, и онъ потому отдавалъ бы существующему порядку пальму первенства передъ другими; нѣтъ, онъ считаетъ его единственно разумнымъ, потому что о другихъ онъ вовсе и не думаетъ, считая ихъ химерою, о которой не стоитъ и говорить. Въ его практической философіи нѣтъ мѣста общечеловѣческимъ идеямъ и тѣмъ вопросамъ о наиболѣе разумномъ устройствѣ общества, которые занимаютъ незначительное мѣсто че-

ловѣческаго общества. Онъ смотритъ не далеко, кругозоръ его не широкъ, онъ никогда не выходитъ изъ существующаго; ему и въ голову не приходитъ, по крайней мѣрѣ судя по четыремъ томамъ его рѣчей, что тотъ общественный порядокъ, при которомъ живетъ онъ, князь Бисмаркъ, вовсе не есть вѣчный порядокъ; онъ не задается мыслью, что можетъ наступить когда-нибудь другой порядокъ, когда современное устройство его страны, вся нынѣшняя конституція, все распредѣленіе власти покажется черезъ извѣстный періодъ времени какимъ-то далекимъ преданіемъ, о которомъ потомство будетъ вспоминать такъ, какъ мы теперь вспоминаемъ о безправномъ времени среднихъ вѣковъ. Скажите князю Бисмарку, что наступитъ когда-нибудь эпоха, которая не будетъ знать тѣхъ отвратительныхъ зрѣлищъ, въ которыхъ онъ самъ игралъ главную роль, что наступитъ эпоха, когда сожженіе городовъ, деревень, умерщвленіе женщинъ, дѣтей, истребленіе тысячами самыхъ свѣжихъ, здоровыхъ, работающихъ силъ страны покажется такимъ же вопіющимъ варварствомъ, какимъ кажется намъ бой гладіаторовъ для забавы празднои и звѣрской толпы, скажите это князю Бисмарку, — онъ засмѣется, отвернется отъ насъ и не захочетъ говорить съ вами, называя васъ сумасброднымъ фантазеромъ. Вопросы будущаго его не интересуютъ, онъ игнорируетъ ихъ, онъ живетъ только настоящимъ, но зато въ этомъ настоящемъ онъ — сила.

Вслѣдствіе этого отсутствія въ ораторѣ общечеловѣческихъ интересовъ, общечеловѣческихъ идей, рѣчи князя Бисмарка поражаютъ узкостью своею содержанія; вслѣдствіе отсутствія этихъ интересовъ и этихъ идей, Бисмаркъ, хотя бы онъ обладалъ несравненно большимъ талантомъ краснорѣчія, не могъ бы все-таки быть замѣчательнымъ ораторомъ. Истинный ораторъ непременно обладаетъ этими общечеловѣческими идеями и интересами — иначе вся его дѣятельность будетъ мертворожденною. Бисмаркъ, впрочемъ, никогда и самъ себя не считалъ ораторомъ, да въ этомъ, правда, ему и трудно было ошибиться. Читая его рѣчи, вы двадцать разъ поражаетесь бѣдностью ихъ содержанія, узкимъ размѣромъ мысли, отсутствіемъ всякихъ признаковъ того, что взоръ этого человѣка устремленъ далеко, что, работая для настоящаго, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ работаетъ для будущаго. Будущее для него не существуетъ, и не потому, почему оно не существуетъ иногда для другихъ, подобныхъ какому-нибудь

Наполеону, которые говорят: *après nous le déluge!* нѣтъ, примѣнить это къ Бисмарку было бы глубоко несправедливо, натура его вышѣется надъ этимъ низменнымъ эгоизмомъ; если онъ не смотритъ въ будущее, то только потому, что онъ весь поглощенъ настоящимъ, и потому, что для того, чтобы заглядывать въ будущее, нужна теоретическая мысль, развитіе ея, а этого-то развитія нѣтъ у Бисмарка. Безъ сомнѣнія, онъ могъ бы его приобрести, но онъ чуждается его, не хочетъ знать о немъ, какъ бы говоря: зачѣмъ, къ чему? Читая его рѣчи, невольно задаешься вопросомъ: да возможно ли, чтобы замѣчательный государственный дѣятель, человѣкъ, который сдѣлался идоломъ, кумиромъ цѣлой страны за то, что осуществилъ самую завѣтную мечту цѣлаго народа, за то, что онъ создалъ то, къ чему стремился этотъ народъ, который обезпечилъ за собой такое крупное историческое значеніе, возможно ли, чтобы горизонтъ этого человѣка былъ такъ узокъ, чтобы мысли, идеи его были такъ бѣдны и такъ ограничены? Теорія, казалось бы, должна сказать: нѣтъ! практика еще разъ, въ лицѣ Бисмарка, говорить: да! — преклонимся же передъ практикою.

Но если неширокъ горизонтъ устроителя Германіи, если взглядъ его не проникаетъ далеко, зато ужъ то, что онъ видитъ, онъ видитъ съ поразительною ясностью, и ничто, кажется, не можетъ укрыться отъ его взора. Слѣдя за его рѣчами, вы ясно видите, какъ онъ намѣчаетъ передъ собою цѣль, всегда довольно близкую, и какъ онъ стремится къ ея достиженію. Онъ ломитъ, гнетъ все, что попадаетъ ему на пути; онъ придавливаетъ все, что возстаетъ противъ него; на все, что стремится помѣшать ему въ достиженіи намѣченной цѣли, онъ налагаетъ свою желѣзную руку. Не ждите отъ него пощады; если расчетъ не подскажетъ ему, что пощада можетъ быть выгодна для него самого, онъ не пощадитъ изъ великодушія. Великодушія въ его характерѣ нѣтъ и тѣни; сердце молчитъ въ немъ, говоритъ только разумъ, и притомъ разумъ какъ разъ ограниченный цѣлью, къ которой онъ стремится. Но если при достиженіи цѣли онъ не щадитъ никого, то не пощадитъ онъ и себя; какъ ни высокъ онъ въ своемъ собственномъ мнѣніи, но онъ не принадлежитъ къ тѣмъ мелкимъ натурамъ, у которыхъ на первомъ планѣ спокойствіе и безопасность ихъ собственной личности. Нѣтъ, еслибы ему для достиженія цѣли потребовалось размозжить себѣ голову,

пустить себя пулю въ лобъ, то я мало сомнѣваюсь, чтобы онъ остановился передъ этимъ средствомъ для достиженія цѣли. Не дорожа особенно своею собственною жизнью, онъ такъ же мало и еще меньше дорожить жизнью другихъ; отсюда смѣлость во всѣхъ его замислахъ, отсюда необыкновенная рѣшительность. Если онъ не дорожить жизнью, то еще менѣе, конечно, станетъ онъ дорожить своимъ словомъ, своимъ убѣжденіемъ, въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, сходясь съ своимъ учителемъ и предшественникомъ Фридрихомъ II-мъ. Понятіе о правѣ, законѣ, конституціи, все обуславливается у него тѣмъ, подходитъ ли это право, этотъ законъ, эта конституція къ намѣченной имъ цѣли. Подходитъ—прекрасно, онъ будетъ уважать ваше право, вашъ законъ, вашу конституцію; не подходитъ—не прогнѣвайтесь: ваше право, вашъ законъ, ваша конституція полетятъ за тридевять земель. Я думаю, что если бы какими-нибудь чудомъ случилось, что его цѣли стала бы мѣшать сама королевская власть, которой онъ служить и которой онъ преданъ прежде всего, то, несмотря на всю его привязанность къ ней, несмотря на то, что онъ не можетъ себя представить Германіи безъ этой власти, онъ все-таки не смутился бы и пожертвовалъ ею. Повторяю, я дѣлаю невозможное предположеніе, такъ какъ Бисмаркъ—самый преданный слуга королевской власти; но, предполагая невозможное, я хочу только этимъ показать степень его рѣшимости и упорства въ достиженіи цѣли. Вотъ исходная точка его практической философіи, исходная точка общая и Макиавелю, и Фридриху, и Бисмарку. Когда читатель увидитъ развитіе этой философіи въ его рѣчахъ, онъ не долженъ забывать этой исходной точки, онъ припомнить эту краткую характеристику политической личности Бисмарка.

Если природныя свойства Бисмарка дѣлали изъ него, главнымъ образомъ, практическаго государственнаго человѣка, сильнаго, рѣшительнаго, но съ ограниченными кругозоромъ, то его длинная политическая карьера, его политическая опытность только укрѣпляли его въ природныхъ свойствахъ его ума. Какъ умъ практическій, онъ довольно легко поддавался давленію событій, и сообразно ходу этихъ событій мѣнялись его взгляды, его политическія понятія о томъ или другомъ вопросѣ. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи чрезвычайно любопытны его собственныя слова, сказанныя по поводу упрека, обращеннаго къ Бисмарку по поводу переимѣны его мнѣній: „Я явился

въ Эрфуртъ — говорилъ онъ въ 1867-мъ году, слѣдовательно уже послѣ того, что звѣзда его взшла высоко — съ политическими идеями, которыя я вынесъ, могъ бы сказать, изъ родительскаго дома, — и возбужденный въ эту эпоху борьбою противъ движенія 1848 года, которое напало на дорогой для меня строй. Въ слѣдующемъ году, въ 1851-мъ, я вошелъ въ практическую политику, и съ тѣхъ поръ я имѣлъ возможность, въ продолженіе шестнадцати лѣтъ, проведенныхъ въ различныхъ положеніяхъ, въ которыхъ я непрерывно занимался большою политикою и именно нѣмецкою политикою — возможность, говорю я, пріобрѣсти политическую опытность. Тогда я убѣдился, что на мѣстахъ зрителя — и я не говорю только о театральной сценѣ, гдѣ разыгрывается комедія человѣческой жизни — политическій свѣтъ представляется совершенно инымъ, чѣмъ для того, который находится за кулисами, и что различіе впечатлѣній происходитъ не исключительно отъ освѣщенія. Я узналъ на себѣ, что политику судишь иначе до тѣхъ поръ, пока виѣшиваешься въ нее въ качествѣ простаго дилеттанта, не будучи обремененъ тяжестью отвѣтственности, и только въ минуты отдыха, оставляемыя своими профессиональными работами, судишь ее совершенно иначе, нежели тогда, когда въ ней принимаешь участіе съ полною отвѣтственностью за послѣдствія каждаго изъ ея актовъ. Въ то время, когда я отправлялъ свои обязанности во Франкфуртѣ, я долженъ былъ признать, что многіе изъ элементовъ, съ которыми моя эрфуртская политика считалась, не существовали въ дѣйствительности, и что тѣсный союзъ съ Австріей — какою воспоминанія священнаго союза, переданныя мнѣ традиціями предшествовавшихъ поколѣній, представляли ее мнѣ — былъ невозможенъ, потому что Австрія, та, на которую мы рассчитывали, — это была эпоха князя Шварценберга — вовсе не существовала. Я ограничиваюсь этимъ простымъ ретроспективнымъ взглядомъ, прибавляя только, что я считаю себя счастливымъ не принадлежать къ тѣмъ людямъ, которыхъ ни время, ни опытность ничему не научаютъ. Время же и опытность утвердили князя Бисмарка въ убѣжденіи, что для успѣха въ политикѣ не нужно задаваться отдаленными цѣлями, но къ намѣченной нужно стремиться со всею энергіею, со всею силою, шагая черезъ людей, нарушая законы, трактаты, употребляя всѣ средства, которыя только ведутъ къ цѣли, съ заднею мыслью бросить ихъ, какъ только онѣ станутъ лиш-

ними, рубить тамъ, гдѣ нельзя распутать, ампутировать тамъ, гдѣ нельзя исцѣлить. Большая проникательность ума и большая смѣлость—вотъ были его лучшіе спутники.

Мы закончимъ общую характеристику Бисмарка словами, которыми въ одной изъ своихъ рѣчей онъ опредѣляетъ самого себя. „Я не такой человѣкъ,—говоритъ онъ,—который по своей натурѣ испытываетъ надобность быть управляемымъ, т.-е. пассивный въ высшей степени, но вмѣстѣ съ тѣмъ я не чувствую надобности управлять, и я охотно оставляю другимъ ихъ свободу движеній“. При этомъ Бисмаркъ позабылъ только сказать, что зато, если онъ управляетъ, то управляетъ круто и требуетъ себѣ безусловнаго подчиненія. Надъ всѣми качествами князя Бисмарка, безспорно, возвышается одно, которое не разъ уже сопровождалось успѣхомъ, но, зато, которое и попадаетъ не такъ часто. Качество это—*смѣть*! Въ спряженіи этого глагола Бисмаркъ великій мастеръ, и никто съ такимъ правомъ, какъ онъ, не можетъ взять себѣ девизомъ слова *Макіавеля*:... „Фортуна принадлежитъ къ тому полу, который уступаетъ только силѣ, и отталкиваетъ отъ себя всякаго, кто не уиѣтъ смѣть“.

IV.

Отъ общей характеристики Бисмарка перейдемъ къ его политической теоріи. Своеобразная политическая теорія Бисмарка можетъ быть подраздѣлена весьма правильно на три отдѣла. Къ первому отдѣлу слѣдуетъ отнести его положенія, касающіяся внутренней политики, и такой отдѣлъ, пожалуй, можно озаглавить: какъ слѣдуетъ управлять внутри государства? Второй отдѣлъ обнимаетъ правила, касающіяся внѣшней политики: какъ слѣдуетъ обращаться съ иностранными государствами? Между этими двумя отдѣлами помѣщается третій, не утратившій смысла въ современной исторіи: какъ слѣдуетъ управлять побѣжденными народами, завоеванными землями?

Положенія, взгляды, приговоры по внутренней политикѣ, раскрываются во всемъ своемъ блескѣ въ рѣчахъ князя Бисмарка, относящихся къ первому періоду его собственной дѣятельности какъ перваго министра Пруссіи, когда онъ идетъ противъ теченія, подъ гра-

домъ политическихъ бомбъ со стороны его противниковъ, которыми въ то время была полна чуть не вся Пруссія, и когда еще не было и помина о лавровыхъ вѣнкахъ. Въ этотъ первый періодъ Бисмаркъ ведетъ ожесточенную борьбу съ конституціоннымъ началомъ, съ ея внутреннимъ врагомъ — палатою депутатовъ, энергически поддерживаемой огромнымъ большинствомъ населенія, и его политическая мудрость является въ самой рѣзкой, грубой и подчасъ цинической формѣ.

Князь Бисмаркъ сдѣлался первымъ министромъ Пруссіи въ то время, когда прусское правительство находилось, повидимому, въ непримиримой враждѣ съ палатою депутатовъ, отстаивавшею конституціонныя права народа. Оба противника не допускала никакихъ уступокъ, никакихъ компромиссовъ. Правительство требовало подчиненія себѣ палаты представителей; палата стремилась къ самостоятельности. Со стороны правительства были перепробованы всѣ легальныя средства борьбы, но распушеніе палаты не помогало. Палата также оставалась на почвѣ легальности и пользовалась одними законными средствами сопротивленія. Рѣшительно и послѣдовательно она не утверждала бюджета. За палатою стоялъ народъ, поддерживавшій ее весьма энергично въ теченіе всей борьбы, и едва ли это время не было тѣмъ періодомъ, когда нѣмецкій народъ выказалъ наибольшую политическую зрѣлость. Избиратели отлично понимали смыслъ борьбы между правительствомъ и палатою депутатовъ, и грудью стояли за послѣднюю. Оппозиція, какъ морская волна, все прилиwała и прилиwała. Правительство скоро догадалось, что излишняя щепетильность никуда не годится, и рѣшилось попробовать средствъ незаконныхъ, которыя въ исторіи очень часто увѣнчиваются успѣхомъ. Для этого нужна была только бѣлая рѣшимость и энергія, — и воплощеніемъ той и другой явился князь Бисмаркъ. Онъ, не задумываясь, рѣшилъ, что борьба между правительствомъ и палатою не можетъ быть прекращена никакими компромиссами, и съ перваго шага задался исполненіемъ ясной и простой программы — ему нужно было раздавить палату, конституцію.

Еще Фридрихъ II-й говорилъ, что „умѣренность вовсе не принадлежитъ къ тѣмъ добродѣтелямъ, которыхъ государственные люди должны строго держаться, въ силу испорченности вѣка, и при началѣ царствованія всего болѣе прилично дать доказательства суровости, нежели мягкости“. А вступленіе Бисмарка въ управленіе госу-

дарственными дѣлами Пруссіи было тоже какъ бы началомъ царствованія — царствованія Висмарка; кстати же, и внутренний врагъ оказался на лицо.

Понятіе о парламентскомъ правленіи принадлежитъ къ тому роду понятій, которыя представляютъ наибольшую путаницу. Путаница эта порождается неточностью языка, который присвоиваетъ одно и то же названіе самымъ разнороднымъ положеніямъ. Когда видятъ въ какой-нибудь странѣ палату депутатовъ, собраніе представителей народа, утверждаютъ, что въ этой странѣ существуетъ парламентское правленіе.

Между тѣмъ понятіе парламентскаго правленія въ примѣненіи, напр., къ Англіи означаетъ совсѣмъ не то, что въ примѣненіи къ Пруссіи, Франціи, Испаніи или Австріи.

При правильномъ парламентскомъ правленіи корона гарантирована отъ невзгодъ, удары сыплются помимо ея, она стоитъ внѣ борьбы партій, и потому немислимы никакія столкновенія между палатою депутатовъ и министерствомъ, вышедшимъ изъ ея большинства. Вотъ почему, гдѣ возможно серьезное столкновеніе между правительствомъ и палатою, тамъ, значитъ, еще не утвердилось настоящее парламентское правленіе, и тотъ порядокъ, который существуетъ, хотя и имѣетъ съ нимъ нѣкоторыя общія черты сходства, но, строго говоря, долженъ былъ бы носить другое названіе. Еслибы мы не знали ничего иного о прусскомъ парламентаризмѣ, кромѣ тѣхъ конституціонныхъ столкновений, которыя предшествовали цѣлому ряду войнъ, измѣнившихъ карту Европы, то мы имѣли бы уже достаточное право сказать, что въ этой странѣ не утвердилось извѣстное парламентское начало: *le roi règne, mais ne gouverne pas*, а слѣдовательно не утвердилось и истинное парламентское правленіе.

Другой и не менѣе существенный признакъ правильной организаціи парламентскаго правленія составляетъ вопросъ объ утвержденіи бюджета палатою, которая, такимъ образомъ, вліяетъ на ходъ дѣлъ вообще и, главнымъ образомъ, на вопросъ о войнѣ, вполнѣ зависящій отъ финансовыхъ средствъ страны и отъ ихъ распредѣленія. Висмаркъ отлично понялъ, что въ борьбѣ съ парламентаризмомъ надобно начать именно съ разрѣшенія вопроса объ утвержденіи бюджета.

Рѣчь, произнесенная имъ 27-го января 1863 года, весьма категорически разсѣкаетъ этотъ вопросъ: „Если бы вы имѣли право, го-

спода, — говорилъ онъ палатѣ, — исключительное право утверждать окончательно бюджетъ; если бы вы имѣли право требовать у е. в. короля отставки министровъ, которые не пользуются вашимъ довѣріемъ; если бы вы имѣли право вашими рѣшеніями, касающимися бюджета, опредѣлять контингентъ и организацію арміи, а также право, которое конституція вамъ не предоставляетъ, но на которое вы претендуете въ адресѣ — право контролировать отношенія исполнительной власти государства къ ея органамъ, тогда вамъ принадлежала бы вся правительственная власть этой страны“. Въ этихъ немногихъ словахъ выразился основной взглядъ Бисмарка на то парламентское управленіе, которое онъ желалъ ввести въ Пруссіи; видно также, что онъ рѣшился съ перваго шага вести не оборонительную, а наступательную войну, и превратить палату въ скромную и послушную совѣтницу королевской власти, или, вѣрнѣе, власти своей собственной. Бисмаркъ повелъ тогда такую тактику: не хорошо нарушать конституцію, нарушаетъ же ее палата, и поэтому на обязанности правительства лежитъ защитить нарушенную конституцію. Въ то же время Бисмаркъ не очетъ, чтобы палата дѣлала различіе между короной и министерствомъ; этотъ чисто парламентскій принципъ онъ вовсе не одобряетъ, и когда палата депутатовъ, желая вполнѣ отстранить отъ своихъ ударовъ представителя верховной власти, направила ихъ на министерство, Бисмаркъ прямо заявляетъ, что это различіе, можетъ быть, существуетъ въ Англіи, но для него нѣтъ мѣста въ Пруссіи. „Вы знаете отлично, — говоритъ онъ, устанавливая свое оригинальное воззрѣніе на конституцію и парламентскій порядокъ, — что въ Пруссіи министерство дѣйствуетъ именемъ и по приказанію его величества, и что въ особенности это справедливо въ отношеніи тѣхъ дѣйствій правительства, въ которыхъ вамъ угодно видѣть нарушеніе конституціи. Вы знаете, что прусскій кабинетъ въ этомъ отношеніи не имѣетъ ничего общаго съ англійскимъ кабинетомъ. Англійское министерство, какое бы имя оно ни носило — министерство парламентское, представляющее большинство палаты, въ то время когда мы — только министры е. в. короля“. Чтобы никто не могъ подумать, будто онъ потому только не признаетъ начала разграниченія министерства и короны, чтобы за королевскою властью лучше укрыться отъ нападений палаты, онъ спѣшилъ прибавить, что министерству „нечего защищаться щитомъ королевской власти“, такъ какъ оно опирается на свое твердое

право. Я отвергаю это различіе, потому что при помощи его „вы оспариваете — обращается онъ къ палатѣ — первенство не только у министерства, но у короны“.

Разсужденіе князя Бисмарка по поводу бюджета, повидимому, чрезвычайно просто. Власть въ странѣ — говоритъ онъ — распредѣляется между короной, палатой депутатовъ и палатой господъ. Для того, чтобы законъ сдѣлался закономъ, необходимо согласіе всѣхъ трехъ органовъ власти. Бюджетъ же утверждается закономъ, слѣдовательно для того, чтобы бюджетъ былъ утвержденъ, необходимо согласіе короны, палаты господъ и палаты депутатовъ. На случай несогласія этихъ трехъ органовъ власти конституція не указываетъ, кто изъ трехъ долженъ уступить. „Въ предшествующихъ разсужденіяхъ — говоритъ Бисмаркъ — слишкомъ легко относились къ этому затрудненію; для того, чтобы разрѣшить его, просто было допущено, — по аналогіи съ нѣкоторыми другими странами, конституція и законы которыхъ, не будучи обнародованы въ Пруссіи, не имѣютъ, очевидно, никакой цѣны, — что двѣ власти должны уступить палатѣ депутатовъ, и если между короной и палатой невозможно соглашеніе относительно бюджета, въ такомъ случаѣ королевская власть должна не только подчиниться и прогнать министровъ, не пользующихся довѣріемъ палаты депутатовъ, но даже принудить палату господъ, если она не соглашается съ палатой депутатовъ, принудить ее посредствомъ „испеченіи“ новыхъ членовъ, нарочно назначенныхъ, стать въ одинъ уровень съ депутатами“.

Приводя слова извѣстнаго государственнаго человѣка о томъ, что вся конституціонная жизнь должна состоять изъ ряда компромиссовъ, Бисмаркъ съ большою оригинальностью разъясняетъ, какъ должны совершаться эти компромиссы. Съ его точки зрѣнія компромиссы должны имѣть односторонній характеръ, и горе тѣмъ, которые отказываются отъ нихъ. Палата отказывается сдѣлать уступку! что же изъ этого можетъ выйти? И тутъ Бисмаркъ весьма внушительно и вѣстѣ весьма прозрачно проводитъ одно изъ основныхъ положеній своей практической государственной философіи. Положеніе это можетъ быть выражено слѣдующимъ образомъ: тотъ, въ чьихъ рукахъ сила, сила физическая, можетъ не обращать никакого вниманія на сопротивленіе слабѣйшихъ, и тамъ, гдѣ право толкуется каждымъ по своему, право фактически находится на сторонѣ сильнѣйшаго. Когда

компромиссы прекращаются, „ихъ мѣсто заступаютъ столкновенія, и такъ какъ жизнь государства не можетъ остановиться, эти столкновенія переходятъ въ вопросы власти; тотъ, который въ своихъ рукахъ имѣетъ власть, продолжаетъ двигаться своею дорогою, такъ какъ жизнь государства, я повторяю, не можетъ остановиться ни на одну минуту“.

Слова эти были достаточно ясны, и взглядъ князя Бисмарка обрисовывался ими вполне; но опасеніе, что онъ высказался не достаточно прозрачно, заставило его дополнить свою мысль словами: „Вы ожидаете уступокъ со стороны короны, корона ожидаетъ ихъ съ вашей стороны. Корона убѣждена, что наступила ваша очередь дѣлать уступки, иначе мы едва-ли выйдемъ изъ настоящаго столкновенія“... „Одни—говорить онъ далѣе — утверждаютъ, что предшествующій бюджетъ, eo ipso, остается въ своей силѣ, если не существуетъ новаго бюджета; другіе претендуютъ, что, во избѣжаніе пустоты, которую не терпитъ законъ, пропускъ долженъ быть замѣщенъ старымъ правомъ тамъ, гдѣ новое право не наполняетъ его“... Но какъ ни откровененъ Бисмаркъ, однако онъ не хочетъ допустить мысли, чтобы его кто-нибудь могъ заподозрить въ томъ, что онъ дѣйствуетъ противно конституціи. Онъ съ негодованіемъ отвергаетъ упрекъ въ нарушеніи конституціи и громко заявляетъ, что онъ остается вѣренъ той конституціи, которой онъ присягалъ, такъ же вѣренъ, какъ любой изъ представителей палаты депутатовъ. Онъ не довольствуется тѣмъ, что онъ лишаетъ своихъ противниковъ всякихъ законныхъ средствъ для борьбы, но онъ приглашаетъ ихъ уважать въ своихъ противникахъ искренность убѣжденій и быть болѣе скупыми на упреки въ оскорбленіи конституціи и нарушеніи присяги. Аргументъ, который приводитъ князь Бисмаркъ въ пользу того, что онъ, лишая палату депутатовъ всякой силы, всякаго значенія, не дѣйствуетъ противно духу конституціи, заслуживаетъ вниманія по своей оригинальности, а также и потому, что онъ доказываетъ, какъ мало разборчивъ нѣмецкій министръ въ выборѣ своихъ аргументовъ. „Что настоящее положеніе дѣлъ противно духу конституціи, я оспариваю это самымъ рѣшительнымъ образомъ. Я думаю, что подобное воззрѣніе точно также не принимается тысячами чиновниковъ, которые клялись въ вѣрности конституціи. Никто изъ чиновниковъ не отказался еще отъ службъ и не объявилъ, что, начиная съ 1-го января

(т.-е. того дня, съ котораго страна должна была управляться безъ утвержденнаго бюджета), онъ не желаетъ болѣе получать жалованья“. Подобныя слова доказываютъ развѣ, что князь Бисмаркъ держится весьма высокаго мнѣнія о необыкновенной политической честности прусскихъ чиновниковъ, но, безъ сомнѣнія, не служатъ доказательствомъ въ пользу строгаго соблюденія конституціи. Желая добить своихъ противниковъ, Бисмаркъ не щадитъ ихъ самолюбія, дѣлая излишнее увѣреніе, что „правительство имѣетъ твердую рѣшимость, до тѣхъ поръ, пока оно будетъ пользоваться довѣріемъ его величества, энергически сопротивляться усиліямъ распространить законодательную власть за предѣлы, указанные конституціею“.

Князь Бисмаркъ настолько приучилъ къ полной откровенности во всемъ, что касается внутренняго управленія страню, что ему нельзя не вѣрить, когда онъ утверждаетъ, что онъ дѣйствуетъ согласно конституціи. Можно только сказать, что онъ дѣйствуетъ согласно той оригинальной конституціи, которая сложилась въ его головѣ и которая, въ силу этого, представляется ему наилучшею изъ всѣхъ конституцій.

Набросавъ, такимъ образомъ, уже въ первой своей большой рѣчи, главныя положенія, относящіяся до внутренняго управленія страню, указавъ въ общихъ чертахъ, каковы его воззрѣнія на народное представительство, его права и отношенія его къ правительству, князь Бисмаркъ, въ послѣдующихъ рѣчахъ, только выясняетъ и развиваетъ свои элементарныя правила политической мудрости. Стараясь замѣнить фактически парламентское правленіе королевской властью, Бисмаркъ пользуется каждымъ случаемъ, чтобы, съ одной стороны, возвеличить значеніе королевской власти, съ другой—унизить значеніе народныхъ представителей. Бисмаркъ нѣсколько разъ возвращается къ тому, что онъ признаетъ необходимость перемѣны министерства только тогда, если оно лишается довѣрія короля; недоовѣріе же, какъ бы явно оно ни было выражено палатою, онъ не ставитъ ни въ грошъ. Подводя писанную конституцію подъ свои воззрѣнія, заставляя ее гнуться сообразно своему вкусу, онъ даетъ статьямъ конституціи такое толкованіе, которое никоимъ образомъ несовмѣстимо съ парламентскимъ правленіемъ. Проводя свои воззрѣнія на королевскую власть, онъ останавливается передъ 45-ю статьею прусской конституціи, гласящей, что король назначаетъ и смѣняетъ министровъ, и дѣлаетъ

къ ней такой комментарий: „Я могу, слѣдовательно, сказать, что первое конституціонное условіе, чтобы сдѣлаться прусскимъ министромъ, это обладать довѣріемъ е. в. короля, и трудно предположить, чтобы вы—обращается онъ къ палатѣ депутатовъ—до такой степени хотѣли унижить прусскую королевскую власть, что рѣшились бы потребовать отъ короля, чтобы онъ назначилъ министерство, не пользуясь его довѣріемъ“. Считаю, такимъ образомъ, первымъ условіемъ существованія министерства довѣріе короля. Бисмаркъ уже съ полнымъ правомъ могъ обратиться къ оппозиціонной палатѣ со словами: „Я предоставляю вамъ судить, до какой степени вы способны выполнить это первое условіе“...

Для того, чтобы унижить значеніе палаты депутатовъ и, вѣсть съ тѣмъ, чтобы показать, какъ онъ смотритъ на народное представительство, Бисмаркъ вполне серьезно останавливается передъ вопросомъ: представляютъ ли собою депутаты страну или нѣтъ? Отвѣтъ не трудно угадать. Палата вовсе не представляетъ собою народа, и то, что она избрана народомъ, не даетъ ей ровно никакого преимущества передъ палатою господъ. Точно также онъ устанавливаетъ другое положеніе своей политической философіи: что выборы, несмотря на всю правильность и свободу ихъ, нисколько не доказываютъ, чтобы депутаты представляли собою народъ. Сущность его разсужденій сводится къ слѣдующему: вы утверждаете, что вы избраны народомъ! Положимъ, — но какимъ народомъ? Одной ничтожною его частію! Выборы въ Пруссіи основаны на двухъ степеняхъ. Въ первой степени принимали участіе какіе-нибудь 25 или 30%, слѣдовательно вы избраны какими-нибудь 13 или 15% всего населенія. Можете ли вы, послѣ этого, утверждать, что вы избраны народомъ и что вы пользуетесь довѣріемъ народа? Ничуть не бывало. Да, помимо того, это еще большой вопросъ, понимаютъ ли ваши избиратели,—тѣ 13 или 15%, которые васъ послали сюда,—понимаютъ ли они, куда ведетъ страну ваша парламентская дѣятельность, и потому весьма сомнительно, чтобы существовало согласіе между вами и вашими избирателями, да если и существуетъ, то слѣдуетъ спросить, основывается ли оно на пониманіи вами другъ друга?

Покончивъ съ подобными аргументами, Бисмаркъ, чтобы сдѣлать свою мысль еще болѣе ясною, чтобы еще болѣе показать, какъ мало цѣны придаетъ его политическая мудрость представителямъ народа,

прибавляетъ въ такомъ родѣ: что же послѣ этого значить ваше избраніе, что значать тѣ сочувственные адреса, которые получаетъ палата депутатовъ? развѣ мы не можемъ представить противоположныхъ адресовъ, хотя это для насъ и не важно, такъ какъ „мы живемъ не подъ господствомъ всеобщей подачи голосовъ, а подъ властью короля и закона“. Депутаты избраны народомъ! Депутаты выражаютъ волю и желанія народа! Неправда, — отвѣчаетъ Бисмаркъ, и при этомъ читаетъ одинъ изъ вѣрноподданныхъ адресовъ, полученныхъ правительствомъ. Нужно быть чрезвычайно невыгоднаго мнѣнія о своихъ политическихъ противникахъ, чтобы доказывать свое положеніе подобными аргументами, и князь Бисмаркъ могъ бы предоставить такого рода аргументы болѣе мелкимъ и менѣе опытнымъ государственнымъ людямъ.

Развивая свое воззрѣніе на значеніе представителей народа, онъ приходитъ къ заключенію, что такіе представители вовсе не заслуживаютъ особеннаго вниманія со стороны власти и никоимъ образомъ не могутъ претендовать сами на верховную власть, такъ какъ для того, чтобы быть выбраннымъ, вовсе не нужно имѣть особенныхъ достоинствъ. Стоить только пожелать быть избраннымъ, стоитъ только наобѣщать избирателямъ побольше, чтобы выборъ былъ обезпеченъ. Слова, которыя произноситъ Бисмаркъ по поводу извѣстнаго способа быть избраннымъ, такъ хорошо обрисовываютъ взглядъ этого государственнаго человѣка вообще на достоинства избирательной системы, что ихъ нельзя не привести: „Во всѣхъ классахъ нашего населенія есть извѣстная дѣльность въ выполненіи обязанностей, безъ котораго великая держава не можетъ существовать; во всѣхъ классахъ не любить служить такъ долго, какъ должны служить, и если можно ускользнуть, и если встрѣчаются органы власти, которые закрываютъ глаза, тогда стараются вовсе освободиться изъ службы; точно также контрабанда играетъ роль во всѣхъ профессіяхъ, особенно же въ женской части населенія; я заключаю, что и налоги платятся по принужденію, а не изъ патріотизма...“ Русскому читателю должно быть особенно утѣшительно читать эти строки, такъ какъ это признаніе прусскаго министра доказываетъ, что не одному русскому обществу присуща слабость уклоняться отъ общественной службы, но что она раздѣляется и высоко-цивилизованною прусскою націею.

Бисмаркъ дѣлаетъ однако свое признаніе не даромъ; оно слу-

жить ему подкрѣпленіемъ его темы, что народное представительство, основанное въ сущности на обманѣ, не можетъ претендовать на первенство въ государствѣ. „Большая часть избирателей — продолжаетъ онъ — сами не составляютъ себѣ никакого мнѣнія въ вопросѣ, можетъ ли существовать армія съ годомъ службы больше или меньше, можетъ ли государство держаться съ нѣскольکو большими или нѣскольکو меньшими налогами, но, во всякомъ случаѣ, всѣ съ удовольствіемъ приняли бы то, что требуетъ меньшихъ жертвъ. Когда люди слышатъ, что человѣкъ образованный, болѣе развитый, нежели они сами, иногда даже королевскій чиновникъ, предлагающій себя кандидатомъ, обращается къ нимъ со словами: васъ ужасно обманываютъ на этотъ счетъ; съ двумя годами службы возможна превосходная армія, государство можетъ существовать съ несравненно меньшими налогами; вы обременены — это кажется совершенно яснымъ; а эти избиратели говорятъ: этотъ господинъ прекрасно говоритъ; дать ему нашъ голосъ ничего намъ не стоитъ, попробуемъ; если слова избраннаго въ послѣдствіи оправдываются — прекрасно; если же ничто не сбылось — онъ возвращается къ своимъ избирателямъ и говоритъ: „Мы еще не удалось сдѣлать, но будьте увѣрены, вы получите обѣщанное, военная служба будетъ ограничена двумя годами“. И такимъ-то депутатамъ, которые избраны ничтожнымъ процентомъ населенія, которые прошли въ палату при помощи обмана, потому что они обманываютъ своихъ избирателей, которые не умѣютъ ничего сдѣлать, какъ только вотировать противъ правительства во всѣхъ важныхъ вопросахъ, — такимъ представителямъ вручить верховную власть! Нѣтъ, господа, вы ничего не сдѣлаете вашимъ безсильнымъ отрицаніемъ, этимъ оружіемъ вамъ не удастся вырвать скиптра изъ рукъ верховной власти“... „Если вы воображаете, — говорилъ Бисмаркъ палатѣ, — что вы добьетесь чего-нибудь вашимъ упорствомъ, то предупреждаю васъ, что вы горько ошибаетесь! Вы хотите во что бы то ни стало добиться конституціонныхъ измѣненій, отказывая въ вашемъ содѣйствіи такимъ проектамъ и планамъ, полезность которыхъ не можетъ быть оспариваема; ...дѣлая все, что отъ васъ зависитъ, чтобы остановить движеніе государственной машины, причиняя даже ущербъ, я долженъ это сказать, нашей внѣшней политикѣ (слова эти были сказаны въ 1865 году), насколько то въ вашихъ средствахъ, вы причиняете вредъ, отказы-

вая въ вашемъ содѣйствіи. И все это для того, чтобы оказать давленіе на корону, все это съ цѣлью, чтобы она прогнала своихъ министровъ, уступила вашимъ притязаніямъ въ правѣ утвержденія бюджета. Господа, вы себя присвоиваете роль той матери въ судѣ Соломона, которая предпочитала видѣть своего ребенка погибшимъ, нежели отданнымъ въ другія руки“.

Въ самый разгаръ шлезвигъ-гольштинскаго вопроса, въ то время, когда Пруссія и Австрія, въ качествѣ двухъ великихъ европейскихъ державъ, рѣшились занять Шлезвигъ-Гольштейнъ, при всеобщемъ взрывѣ негодованія нѣмецкаго народа, увидѣвшаго въ этомъ занятіи измѣну нѣмецкимъ интересамъ, измѣну тому идеальному единству, которое носилось въ мечтаніяхъ народа, князь Бисмаркъ, явившись въ палату депутатовъ, произнесъ одну изъ своихъ самыхъ рѣзкихъ рѣчей противъ народнаго представительства и его, какъ онъ выражался, притязаній. Палата депутатовъ торжественно протестовала противъ занятія Шлезвигъ-Гольштейна Пруссією и Австрією, какъ европейскими державами, опираясь на единодушное настроеніе цѣлаго народа. Именно эту минуту выбираетъ князь Бисмаркъ, чтобы сказать палатѣ, что у нея подъ ногами нѣтъ почвы, что она идетъ не только противъ традицій, исторіи, но и противъ чувства народа. „Я говорю,—произнесъ тогда Бисмаркъ,—что вашимъ поведеніемъ вы поставили себя въ оппозицію не только относительно конституціи, но также вы очутились въ оппозиціи съ традиціями, съ исторією, съ общественнымъ чувствомъ Пруссіи. Общественное чувство Пруссіи — говоритъ кн. Бисмаркъ — глубоко-монархическое. Благодареніе Господу! и несмотря на ваше просвѣщеніе, которое я называю путаницею идей, это чувство останется таковымъ. Вы находитесь въ оппозиціи съ славными традиціями нашего прошлаго; не признавая роли Пруссіи, ея положенія какъ великой державы, столь дорого пріобрѣтеннаго цѣною жертвъ, принесенныхъ народомъ, цѣною крови и благосостоянія,—отказываясь, такимъ образомъ, отъ славнаго прошедшаго страны, вы находитесь въ оппозиціи съ славными традиціями, когда въ вопросѣ, въ которомъ съ одной стороны стоятъ демократія и мелкія государства, съ другой—тронъ Пруссіи, вы принимаете сторону первыхъ... Вы ставите точку зрѣнія вашей партіи выше интересовъ страны, вы говорите: „пусть будетъ Пруссія

такая, какою мы хотимъ ее видѣть, или пусть ея вовсе не будетъ, пусть она перестанетъ существовать“.

Эти слова имѣютъ большое значеніе: съ одной стороны, они опредѣляютъ тотъ духъ, которымъ пропитанъ былъ Бисмаркъ, они указываютъ на ту первоначальную цѣль, которую имѣлъ передъ собою Бисмаркъ,—цѣль, о которой мы еще будемъ говорить,—образованіе сильнаго, могущественнаго государства Пруссіи, т.-е. ту цѣль, которую смѣло намѣтилъ Фридрихъ II; съ другой стороны, эти слова являются у Бисмарка какъ бы оправданіемъ передъ страной его насильственныхъ дѣйствій какъ внутри, такъ и вѣхъ государства. Мнѣнія оппозиціонной палаты, заключавшіяся въ томъ, что народъ имѣетъ право располагать своею судьбою, что только народъ, посредствомъ своихъ представителей, имѣетъ право рѣшать, должно ли жертвовать для какой бы то ни было цѣли его кровью и благосостояніемъ, мнѣнія, составляющія сущность парламентскаго управленія, Бисмаркъ называетъ путаницей и не упускаетъ случая, чтобы попрекнуть демократію. Въ этомъ первомъ періодѣ своей дѣятельности Бисмаркъ еще не признавалъ значенія демократіи, и только впоследствии, уже во второмъ періодѣ, онъ нѣсколько видоизмѣняетъ свой взглядъ и дѣлаетъ той демократіи, для которой до сихъ поръ у него всегда наготовѣ была насмѣшка, нѣкоторыя и довольно серьезныя уступки.

Бисмаркъ нисколько не смущало сочувствіе, которое вездѣ встрѣчала оппозиціонная палата, и онъ, не обращая на него вниманія, настаивалъ, что прусскіе депутаты „не думаютъ такъ, какъ думаетъ народъ“. Онъ обвинялъ депутатовъ въ томъ, что они чужды народу, что они замыкаются въ тѣсный кружокъ людей, думающихъ такъ же, какъ они, и при этомъ забываютъ объ истинномъ положеніи страны. Депутаты вводятся въ обманъ журналистикою, прессой, которая находится въ ихъ зависимости, и не имѣетъ ничего общаго съ чувствами народа. Какой же, спрашивается, слѣдуетъ сдѣлать выводъ? Князь Бисмаркъ, который напрасно не любитъ тратить своихъ словъ, отвѣчаетъ на это коротко: „вы лишніе, васъ нужно уничтожить, сломить вашу волю, всѣ вы похожи на Архимеда, занятаго своимъ кругомъ и не замѣчающаго, что городъ его взять непріятелемъ“. Бисмаркъ говоритъ это, и говоритъ весьма рѣшительно: „Если бы прусскій народъ имѣлъ тѣ же чувства, какъ и вы, тогда

нужно было бы просто сказать, что прусское государство отжило, и что наступило время, когда оно должно уступить мѣсто другимъ историческимъ созданіямъ“. Онъ припоминаетъ при этомъ одно письмо отца Фридриха Великаго, въ которомъ тотъ говорилъ: „я разрушаю нѣ розwoiam дворянъ феодаловъ, я устанавливаю верховную власть comme un rocher de bronze“. Эта „rocher de bronze“ — представляетъ Бисмаркъ — стоитъ неподвижно; она составляетъ фундаментъ прусской исторіи, прусской славы, Пруссіи, сдѣлавшейся великой державой, и королевской конституціонной власти“. Это напоминованіе словъ Фридриха-Вильгельма I было крайне внушительно, это было своего рода *à bon entendeur salut!* Чего же послѣ этого естественнѣе, какъ увѣреніе Бисмарка, увѣреніе, сдѣланное публично палатѣ депутатовъ, что его какъ внутренняя, такъ и внѣшняя политика никогда не остановится передъ сопротивленіемъ представителей народа: „Я могу васъ увѣрить, — говорилъ онъ, — и могу въ этомъ увѣрить и иностранныя государства, что если когда-нибудь мы признаемъ необходимымъ начать войну, то мы начнемъ ее съ вашимъ или безъ вашего согласія“. Нужно ли говорить, что если князь Бисмаркъ такъ откровенно объявлялъ, что согласіе или несогласіе палаты на начатіе войны не имѣетъ никакого вліянія на рѣшеніе правительства, то уже само собою понималось, что онъ одинаково не нуждается въ разрѣшеніи палаты обратиться къ тому или другому источнику для полученія средствъ вести войну. Палата могла забавляться, отказывая правительству въ утвержденіи бюджета, въ займѣ, но никакого серьезнаго вліянія такой отказъ не могъ на него имѣть. Бисмарка, конечно, нельзя обвинять въ томъ, чтобы онъ умышленно дразнилъ палату, бравировалъ общественное мнѣніе, — нѣтъ, онъ только твердо заявлялъ свою рѣшимость дѣйствовать согласно его собственнымъ намѣреніямъ, и своею рѣшимостью, нужно сказать, онъ импонировалъ обществу. „Мы будемъ очень рады, — не разъ высказывалъ онъ въ палатѣ, — если вы, народные представители, послѣдуете за нами; мы готовы принять тѣ средства, которыя вы дадите сами и добровольно; но если вы откажете намъ, тогда не жалуйтесь, что мы пренебрегаемъ вашимъ согласіемъ. Оставьте всѣ ваши ѣдкія фразы, — убѣждалъ онъ палату депутатовъ, — я не стану вести съ вами войну на словахъ; я хорошо знаю ту тему, которую вы такъ давно развиваете: „долой министерство!“ — все это ни къ чему

не поведетъ; намъ нужны средства, правительство нуждается въ нихъ, и если вы откажете ему, оно должно будетъ взять ихъ тамъ, гдѣ найдетъ“.

Конечно, подобныя приемы, подобныя положенія, высказываемыя княземъ Бисмаркомъ, обличаютъ крайне деспотическую натуру, деспотическую философію государственнаго управленія; но при этомъ слѣдуетъ сказать, что если князь Бисмаркъ и является по существу своему деспотомъ, то его деспотизмъ не носитъ на себѣ вообще грубаго, циническаго характера. Его деспотизмъ—деспотизмъ полированный, выглаженный и по формѣ своей совершенно отличный отъ того, который представляетъ намъ Макиавель. Будь Бисмаркъ деспотъ грубый, неполированный, онъ дѣлалъ бы то, что онъ дѣлаетъ, но онъ считалъ бы для себя унизительнымъ входить въ объясненія, почему онъ дѣйствуетъ. Но онъ не только не считаетъ это для себя унизительнымъ, онъ даже постоянно выражаетъ сожалѣніе, что онъ долженъ такъ дѣйствовать, и что онъ не можетъ идти рука объ руку съ народными представителями. Ему чужда та манера грубаго правленія, которая можетъ быть выражена словами: ты моему ндраву не препятствуй! онъ постоянно старается придать своей жестокости мягкой видъ, и если ему не всегда это удается, то во всякомъ случаѣ не отъ недостатка доброй воли. Онъ высказывалъ эту мысль, или, вѣрнѣе, это желаніе найти постоянно въ разрѣзъ съ палатою, много разъ, и между прочимъ въ то время, когда шелъ вопросъ о приобрѣтеніи королемъ прусскимъ на его собственное иждивеніе герцогства Лауэнбургскаго. Палата негодовала, что между королемъ прусскимъ и Австріею совершается какой-то трактатъ, о которомъ князь Бисмаркъ считалъ даже излишнимъ увѣдомлять палату. „Да, господа,—говорилъ онъ въ то время, — еслибы мы могли надѣяться, что проектъ, который мы вамъ представили бы, будетъ обсужденъ вами съ тѣмъ, что вы серьезно взвѣсите интересы страны, безъ побочныхъ соображеній, другими словами, еслибы нашъ бракъ былъ болѣе счастливъ въ теченіе трехъ лѣтъ, тогда по всей вѣроятности мы бы представили вамъ нашъ проектъ, не будучи къ тому вовсе обязаны,—но мы показали бы тогда вамъ такое вниманіе, какого, къ сожалѣнію, мы не находимъ у васъ. Когда вы пользуетесь каждымъ проектомъ, который вамъ представляется, для того, чтобы отыскать въ немъ новыя элементы для процесса о разводѣ, съ какой стати станемъ мы вамъ представлять

то, къ чему не обязываетъ насъ конституція! Мы не обязаны этого дѣлать, и вотъ почему не дѣлаемъ этого. Не ждите угодливости съ нашей стороны, точно также какъ мы не ждемъ ея съ вашей...“ Другими словами, это значитъ: еслибы вы были добрыми дѣтьми, еслибы вы безпрекословно и съ радостью слушались насъ во всемъ, тогда мы съ вами обращались бы какъ съ большими и позволяли бы смотрѣть на то, что мы дѣлаемъ,—но такъ какъ вы дѣти непослушныя и упрямныя, то мы съ вами и обращаемся какъ съ дѣтьми!

Какъ ни мало, повидимому, Бисмаркъ думалъ о палатѣ депутатовъ, какъ ни увѣренъ онъ былъ въ себѣ, однако тѣмъ не менѣе онъ сознавалъ, что до тѣхъ поръ, пока палата можетъ свободно высказывать все, что она хочетъ, до тѣхъ поръ трудно ее будетъ окончательно обезсилить, и все-таки придется считаться съ нею. Бисмаркъ не понималъ, что свобода слова служить оплотомъ противъ всяческихъ беззаконій, и что внутри государства, во внутреннемъ управленіи, въ администраціи ли, въ судебномъ вѣдомствѣ, законодательномъ, ничто не можетъ быть совершено безъ того, чтобы оно не сдѣлалось гласнымъ, благодаря свободному голосу, раздающемуся въ палатѣ депутатовъ. Свобода трибуны оставалась ея послѣднимъ убѣжищемъ, послѣднею крѣпкою позиціею въ борьбѣ съ крутымъ министромъ, и эту-то крѣпкую позицію желалъ отбить князь Бисмаркъ, это убѣжище хотѣлъ отнять онъ у оппозиціонной палаты. Королевскій прокуроръ просилъ разрѣшенія преслѣдовать двухъ депутатовъ, Твестена и Френцеля, за рѣчи, произнесенныя въ палатѣ депутатовъ. Двѣ низшія инстанціи суда отказали ему въ этомъ правѣ, но третья и послѣдняя инстанція разрѣшила такое преслѣдованіе. Въ палатѣ завязался бой. Бисмаркъ не упустилъ случая, чтобы высказать свой взглядъ на свободу трибуны и по этому поводу произнесъ одну изъ своихъ самыхъ замѣчательныхъ, по обилію парадоксовъ, рѣчей. Какъ ни презрительно онъ имѣлъ обыкновеніе, въ первомъ періодѣ своей дѣятельности, отзываться о демократіи, тѣмъ не менѣе ему иногда приходилось, для защиты своихъ болѣе чѣмъ консервативныхъ положеній, опираться на демократическіе или, вѣрнѣе, псевдо-демократическіе принципы. Всѣ прусскіе граждане равны передъ закономъ, всѣ пользуются одинаковыми правами, всѣ несутъ за свои дѣйствія одинаковую отвѣтственность передъ закономъ. Отсюда Бисмаркъ выводилъ, что если прусскіе граждане подлежатъ преслѣдованію за пре-

ступленія, совершаемыя путемъ слова, то депутаты должны подлежать одинаковому преслѣдованію. Еслибы вы, говорилъ онъ, отстаивали свободу трибуны, тогда „вы пользовались бы такимъ преимуществомъ, о которомъ ни въ какомъ цивилизованномъ государствѣ горделивое воображеніе самаго напыщеннаго своимъ достоинствомъ патриція не можетъ даже и мечтать“. „Еслибы—продолжалъ Бисмаркъ—вы взяли верхъ, тогда второй параграфъ конституціи долженъ былъ бы гласить: всѣ пруссаки равны передъ судомъ, но тѣмъ не менѣе члены обѣихъ палатъ ландтага имѣютъ право оскорблять и клеветать на своихъ гражданъ, также совершать преступленія, которыя могутъ быть совершены при посредствѣ слова...“ Конечно, только желаніе заставить умолкнуть голосъ народныхъ представителей могло настолько ослѣпить твердый разсудокъ Бисмарка, чтобы онъ не понималъ того абсурда, который онъ такъ смѣло высказывалъ. Бисмаркъ настаивалъ на томъ, что право каждаго пруссака высказывать свободно свои мысли не менѣе священно, нежели право депутатовъ, и если тѣмъ не менѣе прусскіе граждане преслѣдуются закономъ, когда мысль ихъ получить такое выраженіе, которое подпадаетъ карѣ закона, то нѣтъ никакого основанія, чтобы депутаты, законодатели, люди съ высшимъ образованіемъ, имѣющіе всю возможность взвѣшивать каждое свое слово, не подпадали одинаковой отвѣтственности. „Вы можете выражать ваши мнѣнія,—говорилъ онъ,—но клевета, оскорбленія, преступныя слова не суть мнѣнія, это дѣйствія, и дѣйствія предусмотрѣнныя и наказываемыя уголовнымъ закономъ, дѣйствія, принадлежащія къ тремъ категоріямъ, на которыхъ распределены дѣйствія, находящіяся подъ угрозою наказанія: преступленія, проступки и нарушенія:—и съ моей точки зрѣнія, противъ послѣдствій этихъ дѣйствій прусскій законъ васъ не гарантируетъ, или не долженъ былъ бы гарантировать васъ“. Трудно, конечно, придумать болѣе забавную теорію, чѣмъ ту, которую развивалъ въ этой рѣчи князь Бисмаркъ. Вы можете-молъ высказывать открыто ваши мнѣнія, лишь бы въ нихъ не заключалось оскорбленій или клеветы! а такъ какъ судить о томъ, заключается ли клевета, оскорбленіе или нѣтъ, предоставлялось бы прокурорамъ, то члены палаты депутатовъ безсмѣнно дежурили бы на скамьяхъ подсудимыхъ прусскихъ трибуналовъ, хотя, безъ сомнѣнія, многіе и выходили бы оправданными. Вѣдь не даромъ же сложилась французская поговорка: *il y a des juges à*

Berlin! Но, вѣстѣ съ тѣмъ, нѣтъ сомнѣнїя, что каждое слово любого депутата противъ правительственной мѣры, правительственнаго дѣйствїя разсматривалось бы какъ преступленіе, такъ какъ всякая мѣра, всякое дѣйствіе творится именемъ короля. Къ чести Пруссїи слѣдуетъ сказать, что въ самую критическую эпоху своей конституціонной жизни, въ первый періодъ дѣятельности Бисмарка, правительство не пало все-таки до того, чтобы преслѣдовать депутатовъ за рѣчи, произнесенныя въ палатѣ.

Итакъ, правила политической мудрости, насколько они обрисовываются въ рѣчахъ, такъ сказать, первой манеры князя Бисмарка, отличаются крайнею простотою. Сильное правительство, ведущее на буксирѣ народъ, подавленіе всякой общественной инициативы, уничтоженіе всякаго сопротивленїя и всякихъ народныхъ стремленїй, несогласныхъ съ видами правительства, могущественная власть, держащая въ ежовыхъ рукавицахъ конституцію и презирающая навязанныя ей палаты—вотъ чтó составляло основныя положенїя политическаго кодекса Бисмарка. Презрѣніе, феодальнаго закала, къ народу, убѣжденіе въ его нравственномъ ничтожествѣ и отсюда гордое, надменное съ нимъ обращеніе, обожаніе силы, въ какой бы формѣ она ни проявлялась, и антипатїя къ политической свободѣ со всѣми ея атрибутами—вотъ чтó окрашиваетъ всѣ рѣчи нѣмецкаго канцлера за первый періодъ его государственной дѣятельности.

Какое же, спрашивается, существуетъ различїе между простымъ реакціонеромъ, абсолютистомъ меттерниховскаго пошиба и такимъ человѣкомъ, какимъ является въ это время князь Бисмаркъ? Отвѣтъ на этотъ вопросъ мы находимъ въ тѣхъ словахъ, которыя были произнесены имъ самимъ въ парламентской комиссіи, словахъ, получившихъ такую громкую извѣстность: „Для Германїи важенъ не либерализмъ Пруссїи, а важна ея сила. Пруссїя должна увеличить эту силу и сосредоточить ее, чтобы воспользоваться удобной минутой, которую мы уже не разъ пропустили. Наши границы не походятъ на границы хорошо устроеннаго государства. Къ тому же помните, что *великіе вопросы* не разрѣшаются рѣчами и подачей голосовъ, какъ ошибочно предполагали въ 1848 и 1849 годахъ,—но *мечомъ и кровью*“.

„Великіе вопросы“ служатъ оправданїемъ у Бисмарка въ его реакціонной внутренней политикѣ. Эти „великіе вопросы“ были для нѣмецкаго канцлера исполненїемъ завѣщанїя Фридриха II-го. Заклю-

чалась ли для него въ этихъ „великихъ вопросахъ“ могущественная и увеличенная насчетъ своихъ сосѣдей Пруссія или „единая Германія“, выросшая передъ нами,—вотъ что остается до сихъ поръ неразрѣшеннымъ, хотя многое, какъ мы увидимъ, говоритъ за то, что въ этотъ первый періодъ дѣятельности Бисмарка единая Германія еще неясно представлялась его приниженному традиціями и воспитаніемъ уму.

V.

Было бы, повидимому, въ порядкѣ вещей, если бы Бисмаркъ во второмъ періодѣ своей дѣятельности, послѣ Садовой, упоенный небывалымъ, поразительно-быстрымъ успѣхомъ своихъ предначертаній, захотѣлъ во внутренней политикѣ, въ дѣлахъ внутренняго управленія, повернуть еще болѣе круто, и еще послѣдовательнѣе, если только возможно, проводить начало усиленія власти на счетъ правъ народныхъ представителей. Съ его antecedентами чего нельзя было ожидать отъ „железнаго“ министра, и прусская феодальная партія потирала себѣ руки, говоря: теперь-то на нашей улицѣ праздникъ! Обыкновенный, мелкій государственный человѣкъ, дѣйствительно, и поступилъ бы именно такъ, какъ можно было ожидать и какъ ожидали сторонники сильной власти и враги того дьявольскаго навожденія, которое зовется парламентскимъ правленіемъ. Возбужденный успѣхомъ, чуть не всеобщимъ колѣнопреклоненіемъ, закусивъ удила, дюжинный государственный человѣкъ помчался бы впередъ по пути реакціи, увѣренный, что въ чаду побѣдъ реакція не будетъ замѣчена, а если бы и была, такъ что за важность, кто посмѣетъ теперь поднять голову! На всякій ропотъ развѣ онъ не могъ бы отвѣчать: вы ничего не понимаете, такъ нужно!—однимъ словомъ, отвѣчалъ бы то, что отвѣчалъ Бисмаркъ послѣ датской войны оппозиціонной палатѣ: „если бы я имѣлъ неосторожность васъ слушаться, то развѣ мы достигли бы того, чего мы теперь достигли? развѣ ваши красныя фразы взяли Дюппель и отдали намъ во власть Шлезвигъ-Гольштейнъ“?

Но Бисмаркъ—не совсѣмъ обыкновенный государственный человѣкъ, и потому онъ не оправдалъ ожиданій своихъ прежнихъ политическихъ друзей. Онъ не только не вступилъ на путь усиленной

реакціи, не только не сдѣлался болѣе заклятымъ врагомъ конституціи, напротивъ, онъ сталъ относиться къ ней съ болѣе большимъ уваженіемъ и съ болѣею уступчивостію. Онъ точно призналъ теперь, по крайней мѣрѣ по формѣ, что кромѣ правъ короны существуютъ и права народа, надъ которыми, правда, долженъ быть учрежденъ самый бдительный, неутомимый надзоръ. Теперь, когда учредился Сѣверо-Германскій Союзъ, спѣшившій уступить свое мѣсто Нѣмецкой Имперіи, Бисмаркъ какъ-то стыдился прежней узкости своихъ воззрѣній, что онъ и высказалъ въ одной изъ своихъ рѣчей: „Какое-то униженное чувство овладѣло мною при мысли, что новые депутаты, находящіеся въ нашей средѣ, потеряютъ иллюзію, которую, быть можетъ, они питали, иллюзію видѣть, что люди возвышаются, когда расширяются ихъ замыслы и горизонтъ ихъ идей расширяется вмѣстѣ съ расширившимися границами государства“. И дѣйствительно, горизонтъ его идей нѣсколько расширился: не становясь поборникомъ политической свободы и народныхъ правъ, онъ тѣмъ не менѣе все болѣе и болѣе отдалялся отъ идеала министра-феодала. Бисмарку пришлось свергнуть столько нѣмецкихъ троновъ, пришлось растопить въ огнѣ столько нѣмецкихъ коронъ, онъ употреблялъ въ дѣло такіе революціонные приемы, по крайней мѣрѣ съ феодальной точки зрѣнія, что могъ бы упрекнуть себя въ непослѣдовательности, еслибы и воззрѣнія его на взаимныя права и обязанности народа и верховной власти не поддались также нѣкоторому измѣненію. Если бы его политическая философія перваго періода осталась неприкосновенною, тогда ему пришлось бы обвинить себя въ святотатствѣ, такъ какъ онъ разрушалъ своими руками то, что въ его глазахъ носило на себѣ печать божественнаго происхожденія.

Четыре года конституціонной борьбы, въ которой Бисмаркъ хотя и остался побѣдителемъ, не прошли безслѣдно; онъ убѣдился, что какъ ни шатка прусская конституція, какъ ни пассивны ея защитники, ее все-таки слѣдуетъ принимать въ расчетъ разумному государственному человѣку. Тотчасъ послѣ войны 1866 года Бисмаркъ измѣняетъ свой тонъ и въ нѣсколькихъ рѣчахъ, произнесенныхъ въ палатѣ господъ и въ палатѣ депутатовъ, онъ выражаетъ радость, что парламентское столкновеніе, длившееся четыре года, наконецъ окончилось. Правительство, говорилъ теперь князь Бисмаркъ, готово на большія уступки, лишь бы не возобновлять того столкно-

венія, которое „въ продолженіе пяти лѣтъ тяготило страну“. Онъ сознается, что въ конституціонной жизни вовсе невыгодно доводить свои желанія до крайнихъ предѣловъ, и что уступчивость со стороны правительства безусловно необходима. Для него сдѣлалось теперь ясно, что нельзя управлять страной съ точки зрѣнія одной какой-нибудь партіи, по понятіямъ одной группы людей, а что слѣдуетъ считаться со всѣми партіями, со всѣми желаніями, и что несравненно выгоднѣе бываетъ согласиться на измѣненіе того или другого закона, за который держится правительство, чѣмъ вызывать новую конституціонную борьбу, и особенно такую безысходную борьбу, какъ та, которая столько времени тревожила общественные умы. „Господа, — говорилъ онъ въ реакціонной палатѣ господъ: — если бы вы испытали такіе четыре года борьбы, съ сознаніемъ отвѣтственности, которую вы несете за общее положеніе страны; если бы вы провели четыре года въ столкновеніи съ силами, надъ которыми вы не были бы властны ни внутри, ни снаружи, вы бы сказали тогда, что правительство было право, что оно поторопилось покончить столкновеніемъ, какъ только оно могло это сдѣлать, не унижая короны, — и минута, которую оно выбрало для того, была такова, что исключала всякую мысль объ униженіи“.

Подобныя же заявленія дѣлалъ Бисмаркъ и въ палатѣ депутатовъ, когда, тотчасъ послѣ заключенія мира съ Австріею, онъ взывалъ къ миру внутри государства, призывалъ къ забвенію прошлаго. Бросимъ напрасныя укоризны, не станемъ доискиваться, кто былъ правъ, кто виноватъ, — ни той, ни другой сторонѣ не легко было бы въ томъ сознаться; мы протягиваемъ вамъ руку, не отталкивайте ее. „Мы желаемъ мира, — говорилъ онъ, — потому что мы убѣждены, что отечество наше нуждается въ немъ болѣе чѣмъ когда-нибудь; мы желаемъ и ищемъ его, потому что мы считаемъ, что настоящая минута благоприятна для него; мы старались бы отыскать этотъ миръ и прежде, еслибы питали надежду найти его; мы надѣемся, что найдемъ его, потому что вы вполне признаете теперь, что правительство короля вовсе не такъ далеко отъ той цѣли, къ которой стремится большинство изъ васъ, что оно ближе къ ней, чѣмъ вы полагали прежде, не такъ далеко, какъ вы заключали изъ молчанія правительства о многихъ вещахъ, о которыхъ оно должно было молчать“. И слова эти не были пустыми звуками, нѣтъ; Бисмаркъ громко объявилъ,

что впредь онъ принялъ твердое намѣреніе не управлять безъ правильно утвержденнаго бюджета и съ своей стороны ничѣмъ не вызывать новаго столкновенія. Въ его словахъ звучала такая рѣшимость измѣнить свое отношеніе къ народному представительству, что въ палатѣ господъ онъ заслужилъ упрекъ въ томъ, что онъ покидаетъ ту партію, которая его энергически поддерживала во время парламентской борьбы, и что онъ склоняется на сторону своихъ политическихъ противниковъ. Конечно, въ этомъ упрекѣ было много преувеличеннаго; Бисмаркъ вовсе не настолько измѣнился, чтобы стать во главѣ своихъ прежнихъ противниковъ, а если соединеніе между ними дѣйствительно произошло, то потому, что значительная часть прежней оппозиціи, партія, извѣстная подъ именемъ національно-либеральной, пошла къ нему на встрѣчу и, разумѣется, сдѣлала гораздо болѣе шаговъ, чтобы сблизиться съ Бисмаркомъ, нежели сдѣлалъ Бисмаркъ, чтобы сблизиться съ нею. Тѣмъ не менѣе и та уступчивость, которую обнаружилъ Бисмаркъ, была уже преступленіемъ въ глазахъ феодаловъ. Бисмаркъ возражалъ на эти упреки, говоря, что большое государство не можетъ быть управляемо сообразно взглядамъ той или другой партіи, и что не слѣдуетъ осуждать человѣка, стоящаго во главѣ управленія, если онъ, много разъ „взвѣсивши общее положеніе, рѣшается выбрать иной путь, нежели путь своихъ старыхъ политическихъ друзей“, а напротивъ, — если только этотъ человѣкъ заслужилъ довѣріе, то слѣдуетъ подчинить свои личныя мнѣнія и послѣдовать за нимъ на новомъ пути. Но этого не дождался князь Бисмаркъ.

Конечно, не въ силу теоретическихъ соображеній нѣмецкій канцлеръ нѣсколько измѣнилъ свой взглядъ на способъ управленія страной, не въ силу сентиментальнаго чувства онъ сдѣлался мягокъ и любезенъ по отношенію къ конституціи. Его поведеніемъ управляла практическая выгода, которую онъ рѣшился извлечь изъ своего союза съ представителями народа. Конституція существовала, шаткая, неполная, урѣзанная, но тѣмъ не менѣе достаточная, чтобы свободный голосъ возвышался и чтобы голосъ этотъ былъ услышанъ въ цѣлой странѣ. Бороться, бороться постоянно, безъ перерыва, было бы не подъ силу даже такому энергичному человѣку, какъ Бисмаркъ. Онъ разсудилъ, что лучше сдѣлать нѣбольшія уступки и увлечь за собою палату вмѣстѣ съ народомъ,

нежели постоянно имѣть ихъ противъ себя. Къ тому же, если внѣшнія дѣла содѣйствовали тому, чтобы палата смирилась передъ политикой Бисмарка и приняла его послѣ Садовой съ громкими рукоплесканіями, вмѣсто громкихъ свистковъ, то тѣ же внѣшнія дѣла заставляли Бисмарка не раздражать болѣе народнаго представительства и искать въ немъ поддержку и силу.

Бисмаркъ выставлялъ все это откровенно на видъ палатѣ, когда просилъ ее нѣсколько отсрочить тѣ *улучшенія*, которыя, какъ онъ самъ выражается, должны быть внесены въ конституцію. „Въ эту минуту—говорилъ онъ—вопросы внѣшней политики ожидаютъ своего рѣшенія! блистательные успѣхи арміи только увеличили, такъ сказать, цѣнность ставки, мы можемъ больше потерять, чѣмъ прежде, и игра еще окончательно не выиграна. Чѣмъ тѣснѣе будетъ наша внутренняя связь, тѣмъ больше увѣренности будетъ у насъ выиграть игру. Если вы бросите взглядъ на сосѣднія страны,—говорилъ онъ тотчасъ послѣ заключенія пражскаго мира,—если вы посмотрите вѣнскіе журналы, тѣ въ особенности, которые слывуть за журналы, отражающіе взгляды императорскаго кабинета, вы найдете тамъ тѣ же слова ненависти, тѣ же возбужденія противъ Пруссіи, какъ это было до войны, и которыя не мало содѣйствовали къ тому, чтобы сдѣлать войну для императорскаго правительства необходимостью, передъ которою оно не имѣло возможности отступить, еслибы даже и желало. Взгляните, какъ держатъ себя населенія Южной Германіи, насколько они представлены въ арміяхъ; у нихъ вовсе не существуетъ, можно сказать, столь необходимаго примиренія и разумнаго пониманія задачи, общей всей Германіи, когда видишь, какъ баварскія войска убиваютъ прусскихъ офицеровъ, стрѣлая по нимъ изъ поѣздовъ желѣзныхъ дорогъ. Посмотрите на поведеніе правительствъ по отношенію къ тому національному дѣлу, которое мы создаемъ: поведеніе удовлетворительное у нѣкоторыхъ, полное сопротивленіе у другихъ; но вѣрно то, что во всей Европѣ вы едва найдете одну страну, которая относилась бы дружелюбно къ устройству нѣмецкой общности и которая не испытывала бы желанія вмѣшаться тѣмъ или другимъ способомъ въ это устройство, хотя бы только для того, чтобы дать возможность одному изъ могущественныхъ членовъ нашей конфедераціи, какъ Саксонія, еще разъ сыграть ту роль, которую она играла въ

послѣдней войнѣ. Такимъ образомъ, господа, наша задача еще не окончена; она требуетъ союза всей страны, союза, доказывающаго себя фактами и свидѣтельствующаго о себѣ такъ, чтобы поразить всѣ глаза. Часто говорили: кто взялъ шпагу — испортилъ перо. Но я имѣю твердую увѣренность, что мы никогда не услышимъ словъ: то, что выиграно было шпагой и перомъ — уничтожено этой трибуной“.

Мы видѣли, какъ оригинально понималъ Бисмаркъ парламентское правленіе, и какъ своеобразно толковалъ онъ конституцію во время перваго періода своей дѣятельности. Но если изъ той перемѣны, которая послѣдовала въ немъ послѣ 1866-го года, мы сдѣлаемъ заключеніе, что онъ разбилъ тѣхъ боговъ, которыми прежде молился, и сталъ обожать новыхъ, то мы впадемъ въ крупную ошибку. Бисмаркъ только нѣсколько иначе понимаетъ теперь парламентаризмъ, нѣсколько иначе смотритъ на конституцію, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы онъ съ этой поры сдѣлался моделью конституціоннаго министра конституціоннаго государства. Уже и то хорошо, что теперь на упрекъ, обращенный къ нему однимъ изъ депутатовъ, что онъ весьма мало сочувствуетъ расширенію политическихъ правъ народа, онъ отвѣчалъ: „къ моимъ симпатіямъ, къ развитію политическихъ вольностей относятся съ крайнимъ недоувѣріемъ, но я думаю, что мнѣ не отдадутъ въ этомъ отношеніи полной справедливости. Я никогда въ моей жизни не объявлялъ себя врагомъ политической свободы, я только говорилъ, — естественно подразумеваемая: *rebus sic stantibus*, — что я болѣе интересуюсь иностранной политикой, которая для меня представляется настолько преобладающею и увлекаетъ меня до такой степени, что я разрушаю, насколько могу, всѣ препятствія, возникающія на моемъ пути, чтобы достигнуть цѣли, которой, по моему убѣжденію, необходимо достигнуть для спасенія отечества. Но это мнѣ нисколько не мѣшаетъ раздѣлять взглядъ предшествующаго оратора и думать вмѣстѣ съ нимъ, что честное правительство обязано употреблять всѣ свои силы, во всякое время, чтобы поднять общественную и индивидуальную свободу на высшую степень, которая совмѣстна съ безопасностью и благоденствіемъ государства“.

Не совсѣмъ легко, конечно, опредѣлить съ буквальною точностью, какими глазами смотритъ теперь Бисмаркъ на парламент-

ское правленіе, какія твердыя положенія сложились у него относительно конституціоннаго порядка, такъ какъ весьма часто на разстояніи не только двухъ-трехъ лѣтъ, но на разстояніи двухъ-трехъ засѣданій, онъ даетъ опять иной видъ своимъ воззрѣніямъ, смотря потому, что выгоднѣе сказать въ данную минуту, — тѣмъ не менѣе нельзя не указать по крайней мѣрѣ на главныя черты, которыми онъ опредѣляетъ свой взглядъ на парламентское правленіе во второй періодъ его блестящей политической дѣятельности. Если прежде центръ тяжести оппозиціи находился на лѣвой сторонѣ палаты, то теперь онъ въ значительной степени перенесенъ былъ на правую, и Бисмарку весьма часто приходилось направлять свои боевыя орудія противъ своихъ старыхъ политическихъ друзей. Въ своихъ отвѣтахъ этой консервативной оппозиціи онъ чаще всего высказывалъ начала, отмѣченныя истиннымъ конституціоннымъ духомъ, точно также какъ въ рѣчахъ, обращенныхъ къ либеральной оппозиціи, онъ высказывалъ такія положенія, которыя напоминали доброе старое время.

Посмотримъ на тѣ и другія. На упреки въ измѣнѣ, обращенныя къ нему консервативной партіей, Бисмаркъ не разъ отвѣчалъ: „Вы хотите заставить меня управлять, руководствуясь воззрѣніями одной партіи; я отвѣчаю, что на это я не пойду. Чтобы управлять, и управлять конституціоннымъ образомъ, необходимо имѣть за собою большинство. Вы говорите, что откажетесь подавать голоса за правительство, тѣмъ хуже для васъ. Тѣмъ хуже, потому что вы заставите меня искать другое большинство, опираться на другіе элементы, чѣмъ консервативные, что не будетъ для васъ выгодно“... „Вы можете подвергнуть государство всевозможнымъ колебаніямъ. Вы не можете ожидать ни отъ меня, ни отъ моихъ товарищей, если вы лишите насъ парламентскаго большинства, чтобы мы продолжали нести всѣ неудобства положенія, не ища противъ этого средствъ; вы не должны ожидать, чтобы мы сдѣлались органомъ одной фракціи, одной партіи, рискуя, въ столь трудныя времена, увидѣть снова опасное возобновленіе столкновенія. Я не боюсь его, я далъ тому доказательство, выдерживая съ твердостью его натискъ въ продолженіе трехъ лѣтъ, но я вовсе не имѣю намѣренія сдѣлать изъ этого столкновенія какое-то постоянное національное учрежденіе“. Въ борьбѣ съ крайними кон-

серваторами Бисмаркъ, какъ истинный конституціонный министръ, отстаивалъ основныя начала парламентаризма, убѣждая съ большою силою эту партію не создавать странѣ новыхъ затрудненій. Онъ весьма разумно говорилъ о равновѣсіи между различными партіями и законодательными частями одного политическаго тѣла; онъ не проповѣдовалъ приниженіе народныхъ представителей и возвышеніе на ихъ счетъ королевской власти. Безъ взаимныхъ уступокъ дѣло не пойдетъ на ладъ, говорилъ. Бисмаркъ. Если правительство слишкомъ натягиваетъ струны, оно рискуетъ, что онѣ наконецъ лопнутъ; если народное представительство съ своей стороны лишаетъ его необходимой свободы дѣйствія, то оно точно также вызоветъ противодѣйствіе, и столкновение сдѣлается неизбѣжнымъ. „Когда никто не хочетъ уступать, когда каждый говоритъ: если не будетъ сдѣлано такъ, какъ я хочу, то я удаляюсь, — тогда никакая организація государства, никакая политика невозможны; тогда остается только политическій произволъ“.

Такъ разсуждалъ онъ съ оппозиціонною консервативною партією, доказывая необходимость серьезнаго отношенія къ парламентскому началу. Всѣ подобныя рѣчи, изъ которыхъ мы могли бы сдѣлать не одну еще выдержку, явно бы ввели въ заблужденіе относительно системы министра, еслибы рядомъ съ ними не были произнесены другія, обращенныя главнымъ образомъ къ либеральной оппозиціи. Вопросъ о размѣрахъ власти парламента много разъ, конечно, возникалъ какъ въ прусскихъ палатахъ, такъ и въ рейхстагѣ. Конституція Сѣверо-Германскаго Союза, къ которой пристала затѣмъ, съ весьма немногими необходимыми измѣненіями, и вся Южная Германія, была создана съ необыкновенною быстротою, что входило въ планъ Бисмарка. Лишь только какой-нибудь вопросъ, лишь только опредѣленіе того или другого права возбуждали большія пренія, Бисмаркъ тотчасъ произносилъ свою обычную фразу: господа, не теряйте времени, оно намъ дорого; дѣло Германіи еще не окончено, не будемъ спорить о предѣлахъ власти; если впоследствии окажется, что то или другое сдѣлано второпяхъ, то вы всегда будете имѣть время возвратиться и внести то или другое улучшеніе. Когда Бисмаркъ, такимъ образомъ, зажималъ ротъ парламенту, выставляя на видъ грозный признакъ враговъ, съ ненавистью смотрящихъ на объединеніе Германіи, тогда, какъ случалось большому

частью, пренія оканчивались, и то, чего желалъ Бисмаркъ, вотировалось огромнымъ большинствомъ. Дѣло оканчивалось рукоплесканіемъ первому министру; всѣ спѣшили приносить въ жертву на алтарь „единой Германіи“ свои убѣжденія и воззрѣнія. Когда же затѣмъ та или другая парламентская группа вносила предложеніе объ измѣненіи той или другой статьи конституціи, тогда снова появлялся на трибунѣ Бисмаркъ и произносилъ такого рода рѣчи: Господа! вы налагаете на себя руки! Давно ли конституція была вотирована, и вы уже начинаете терзать ее различными предложеніями. Дайте окрѣпить учрежденіямъ, пусть выскажется сильная и слабая сторона, и тогда, въ послѣдствіи, можетъ быть и возможно будетъ внести тѣ или другія измѣненія; я самъ знаю, что нѣтъ ничего вѣчнаго, что какъ люди, такъ и учрежденія должны идти впередъ. Имѣйте же только терпѣніе!

Въ такомъ родѣ говорилъ Бисмаркъ. Но нетерпѣніе иногда овладѣвало тою или другою группою парламента, и различныя предложенія, касающіяся расширенія правъ, усиленія власти представителей, появлялись на очереди. Тогда-то Бисмаркъ развивалъ свои болѣе обычныя воззрѣнія на предѣлъ власти парламента, и этотъ предѣлъ, по мнѣнію его, не долженъ быть слишкомъ широкъ. „Спрашивали вы когда-нибудь самихъ себя: есть ли въ самомъ дѣлѣ необходимость, было ли бы полезно, чтобы вы имѣли болѣе власти, нежели вы имѣете въ настоящее время, было ли бы это полезно для народа и для страны?“ На вопросъ этотъ Бисмаркъ отвѣчаетъ отрицательно, и приводитъ тому двѣ причины, не отличающіяся впрочемъ особенной глубиною мысли. Первая причина та, что люди, которые только въ продолженіе четырехъ мѣсяцевъ времени засѣданія парламента занимаются государственными дѣлами, вовсе не могутъ судить въ одинаковой степени основательно съ тѣми, которые занимаются ими непрерывно. „Этотъ одинъ аргументъ прерыва парламентаго собранія достаточенъ уже, по-моему, чтобы быть какъ нельзя болѣе осторожнымъ, когда дѣло идетъ о размѣрѣ власти, которая должна принадлежать подобному тѣлу“. Другой аргументъ Бисмарка болѣе оригиналенъ. „Есть еще другая причина, которая убѣждаетъ меня, что не нужно давать слишкомъ большого вѣса народнымъ собраніямъ: это—сила краснорѣчія“. По мнѣнію Бисмарка, въ подобныхъ собраніяхъ дѣла рѣшаются подъ вліяніемъ

той или другой рѣчи, подъ впечатлѣніемъ минуты, такъ что, когда оно исчезаетъ, часто оказывается, что рѣшили совсѣмъ не такъ, какъ желали рѣшить. „Даръ краснорѣчія, — продолжаетъ Бисмаркъ, — заключаетъ въ себѣ нѣчто весьма опасное; этотъ талантъ имѣетъ увлекающую силу, подобную музыкѣ или импровизаціи. Въ каждомъ ораторѣ, который хочетъ дѣйствовать на своихъ слушателей, долженъ заключаться поэтъ; и только тогда, когда онъ награжденъ этимъ даромъ, и когда, подобно импровизатору, онъ властелинъ надъ своимъ языкомъ и надъ своими мыслями, онъ овладѣваетъ силою дѣйствовать на тѣхъ, кто его слушаетъ. Но я васъ спрашиваю: можно ли довѣрять руль государства, требующій холоднаго и зрѣлаго размышленія, поэту или импровизатору?“

Лучшее опроверженіе теоріи Бисмарка представляетъ онъ самъ. Вліяніе его на собраніе всегда было весьма велико, хотя, конечно, онъ не причисляетъ себя къ ораторамъ, лишеннымъ „холоднаго и зрѣлаго размышленія“. Высказывая свое желаніе, чтобы власть и вліяніе парламента не слишкомъ расширялись, онъ считаетъ однако теперь необходимымъ заявить, что онъ нисколько не враждебенъ вообще парламентаризму. „Я призывалъ ваше вниманіе — говоритъ Бисмаркъ въ одной изъ слѣдующихъ рѣчей — на затрудненія, которыя возникли бы отъ усиленія парламентской власти, — мнѣ кажется, я выразился: отъ удѣленія парламенту слишкомъ большой дозы вліянія. Но отсюда до нападенія на самый парламентаризмъ, даже до критики этого порядка, еще очень далеко“.

Бисмаркъ видитъ очень большую опасность, какъ онъ выражается, въ парламентскомъ „дилеттантизмѣ“, и Германія пошла бы, по его словамъ, прямо на встрѣчу этой опасности, еслибы „слишкомъ сильно“ сосредоточить въ парламентѣ центръ тяготѣнія. Бисмаркъ признаетъ, что до сихъ поръ этого не было, и не желаетъ, чтобы оно случилось въ будущемъ. Мысль Бисмарка совершенно ясна. Онъ не желаетъ допустить, чтобы представительное собраніе имѣло всю ту власть, которая принадлежитъ ему въ странахъ, гдѣ укоренилось истинно парламентское правленіе. Бисмаркъ, который, вообще говоря, не знаетъ, что такое боязнь, страхъ, испытываетъ однако нѣкоторую боязнь, дѣлая ту или другую уступку парламентскому правленію, чтобы какъ-нибудь не стѣснена была власть, безъ которой онъ не можетъ представить себѣ существованіе Германіи.

Вотъ отчего даже въ тѣхъ любезностяхъ, которыми онъ надѣляетъ парламентъ, всегда выглядываетъ какое-то остріе, готовое превратиться въ мечъ, которымъ рубилъ онъ упрямую оппозицію прусской палаты депутатовъ. Всякій разъ, когда въ палатѣ заходила рѣчь о ея правахъ, Бисмаркъ отвѣчалъ, что всякія предложенія, конечно, могутъ быть дѣлаемы, но онъ не видитъ тогда причины, отчего бы не сдѣлать предложенія объ уничтоженіи въ Пруссіи монархической власти. „Мною овладѣваетъ сильное безпокойство,—говорилъ онъ въ 1868-мъ году,—когда я вижу, что трудъ, работа, что великія и счастливыя событія, что удивительные подвиги нашихъ армій, что, однимъ словомъ, все, что необходимо было для того, чтобы привести насъ до того пункта, на которомъ мы стоимъ теперь,—что все это, по прошествіи девяти мѣсяцевъ, забыто вами, и вы смотрите на это какъ на древнюю исторію, о которой нѣтъ уже рѣчи, и что вы исключительно заняты вопросомъ о расширеніи власти въ ту минуту, когда вы полагаете, что правительство настолько обременено, что вы легко можете вызвать у него уступку“. Онъ горько жалуется на то, что едва наступилъ компромиссъ, какъ уже снова дѣлаются попытки нарушить его. Бисмаркъ, впрочемъ, со всею энергіею возстаетъ противъ всякой системы, которая направлена къ тому, чтобы, смотря по обстоятельствамъ, дѣлать уступки и потомъ снова брать ихъ назадъ. „Ничто такъ не раздражаетъ, ничто такъ не волнуетъ общество, какъ подобная система, обличающая непослѣдовательность и шаткость. Прежде чѣмъ рѣшиться на извѣстную уступку, на расширеніе того или другого права, обдумайте двадцать разъ; но если вы рѣшились, если уступка сдѣлана, извѣстное право предоставлено, то ужъ оставляйте его, не берите назадъ. Конституціонная жизнь—повторяетъ Бисмаркъ—стоитъ изъ ряда компромиссовъ; дѣлать сегодня уступки, чтобы отнимать ихъ завтра, это не конституціонная политика“.

Бисмаркъ, высказывая такое правило, не всегда отказывался ему слѣдовать, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ на самомъ дѣлѣ не отклонялся отъ столь благотѣльнаго начала. Мы уже знаемъ, какъ смотрѣлъ, наприимѣръ, Бисмаркъ въ первомъ періодѣ на право бюджета; мы знаемъ, какъ онъ мало церемонился съ палатою въ этомъ отношеніи, говоря ей: мы возьмемъ деньги тамъ, гдѣ найдемъ ихъ! Послѣ примиренія съ палатою Бисмаркъ обѣщалъ, что ничто по-

добное не повторится, надѣясь, можетъ быть, что въ продолженіе его жизни онъ не встрѣтитъ повторенія и подобнаго сопротивленія. Въ сессіи прусскихъ палатъ уже 1870 года былъ представленъ палатѣ депутатовъ докладъ о неправильномъ употребленіи займа 1867 года, вотиrowаннаго для постройки желѣзныхъ дорогъ, а между тѣмъ получившаго вовсе иное назначеніе. Бисмаркъ выступилъ во время преній, и, желая доказать, что въ Пруссіи конституція вовсе не шутка, и что королевская власть признаетъ для себя извѣстныя обязательства по отношенію къ народнымъ представителямъ, сдѣлалъ заявленіе, что „королевское правительство принимаетъ на себя обязательство въ будущемъ не уклоняться болѣе никогда отъ законныхъ формъ“. Бисмаркъ не задумался принести и покаяніе, говоря: „Я не думаю, и надѣюсь, что мои коллеги, съ которыми я не имѣлъ времени совѣщаться, раздѣлятъ мое мнѣніе, что министерство не должно отрицать нарушенія формы, которое было допущено. Я считаю болѣе достойнымъ, болѣе полезнымъ для дѣла и для лицъ, теперь, когда вы получили увѣдомленіе и томъ, что было сдѣлано, просить, чтобы вы одобрили сдѣланное, и вмѣстѣ съ тѣмъ увѣрить васъ, что каждый изъ насъ будетъ впредь считать своею обязанностью не допускать возвращенія подобной неправильности“.

Такого рода *amende honorable*, доказывающій, что даже самая шаткая конституція даетъ Пруссіи гарантію въ болѣе или менѣе правильномъ управленіи ея дѣлами, не могъ не обезоружить палаты. Чтобы сдѣлать свое покаяніе еще болѣе рѣшительнымъ, Бисмаркъ, въ отвѣтъ Вирхову, который, не довѣряя, быть можетъ, словамъ крутого министра, напомнилъ ему о фразѣ, сказанной Бисмаркомъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ: „Правительство короля возьметъ деньги, необходимыя для потребностей государства, тамъ, гдѣ оно найдетъ ихъ“,—произнесъ: „Я поздравляю себя съ тѣмъ, что г. докладчикъ даетъ мнѣ возможность исполнѣ съ нимъ согласиться, когда, напоминая, безъ сомнѣнія, съ намѣреніемъ исполнѣ для меня благосклоннымъ, слова, произнесенныя мною въ другое время, онъ смотритъ на нихъ какъ на слова, свойственныя только времени войны, какъ на мертвыя во время мира и неприменимыя ко мнѣ въ настоящее время,—и я надѣюсь, что и въ мысли г. докладчика эти слова получили точно такое же толкованіе“.

Мы не имѣемъ, конечно, никакого права обвинять Бисмарка въ неискренности, въ томъ, что слова эти были пущены въ ходъ какъ парламентскій маневръ для достиженія цѣли—одобрительнаго билля. Вѣсьма вѣроятно, что подобныя слова, которымъ можно было бы привести еще нѣсколько примѣровъ, были сказаны безъ всякой задней мысли, и въ эти немногія, правда, минуты Бисмаркъ является настоящимъ конституціоннымъ министромъ. Но его деспотическая натура, его основныя начала политической мудрости, его убѣжденіе, что народъ со всѣми его представителями далеко не имѣетъ той проницательности, которую имѣетъ онъ, князь Бисмаркъ, все это слишкомъ часто заставляло Бисмарка во внутреннемъ управленіи далеко уклоняться отъ конституціоннаго духа.

Деспотическая натура Бисмарка гораздо рѣже проявляется во второмъ періодѣ, но, быть можетъ, потому именно, что въ этомъ второмъ періодѣ Бисмаркъ почти не зналъ сопротивленія. Оппозиція, которую онъ встрѣчалъ какъ въ прусскихъ палатахъ, такъ и въ рейхстагѣ, была такъ мягка, такъ прилична, подходила къ нему съ такимъ смиреніемъ и уваженіемъ, что вслѣдствіе этого было и меньше поводовъ ему проявлять свой крутой нравъ и проводить свои крутыя начала въ политическую жизнь нѣмецкаго народа. Но лишь только гдѣ-нибудь раздастся слишкомъ рѣзкое слово противъ правительства или конституціи нѣмецкой имперіи, Бисмаркъ тотчасъ же показываетъ зубы, и опять его основныя воззрѣнія на систему внутренняго управленія сказываются съ весьма внушительною силою.

Въ борьбѣ ли съ лѣвою стороною, въ борьбѣ ли съ ретроградною правою, нѣмецкій канцлеръ употребляетъ тѣ же приемы. Какъ въ былое время онъ весьма мало стѣснялся оппозиціоннымъ либеральнымъ большинствомъ, такъ же мало общается онъ стѣсняться и консервативнымъ большинствомъ, еслибы такое составилось въ виду оппозиціи волѣ князя Бисмарка. Уже послѣ французской войны онъ высказывался слѣдующимъ образомъ въ прусской палатѣ депутатовъ: „Я далъ достаточно доказательствъ, во все время моей политической дѣятельности, что я вовсе не покорный слуга большинства; когда я думаю, что большинство угрожаетъ благу государства, всѣ видѣли, что я умѣю ему сопротивляться; еслибы понадобилось, я сумѣлъ бы оказать ему сопротивленіе и теперь“.

Въ этихъ словахъ довольно ясно выражается, что Бисмаркъ допускаетъ волю большинства только тогда, когда эта воля имѣетъ счастье сходиться съ его собственною волею. Нужно ли говорить, что подъ этимъ условіемъ нетрудно быть самымъ конституціоннымъ министромъ. Пусть ваша воля будетъ согласна съ моею волею, и тогда вы найдете во мнѣ строгаго исполнителя вашей воли. Если же нѣтъ, тогда мы разойдемся, и я сдѣлаю такъ, какъ считаю болѣе удобнымъ. Такого рода положеніе входить въ составъ практической философіи XIX-го вѣка, и нужно ли говорить, что до тѣхъ поръ, пока оно сохранить свою силу, до тѣхъ поръ истинно парламентскому правленію нѣтъ мѣста въ Пруссіи. Предыдущія слова нисколько, однако, не мѣшаютъ князю Бисмарку черезъ нѣсколько минутъ выразиться такимъ образомъ: „я желалъ бы знать, какое представленіе составилъ себѣ г. депутатъ о конституціи, которой онъ присягалъ, когда онъ такъ презрительно отзывается о большинствѣ, которое необходимо министру, и когда онъ обвиняетъ меня почти въ томъ, что я измѣнилъ моимъ старымъ принципамъ, служившимъ дѣлу монархической власти, обвиняетъ потому, что я стараюсь въ настоящее время поддерживать гармонію между министерствомъ и народнымъ представительствомъ“. Мы приводимъ подобныя противорѣчія, сплошь и рядомъ попадающіяся въ рѣчахъ нѣмецкаго канцлера, вовсе не для того, чтобы показать его непослѣдовательность. Нѣтъ, эта непослѣдовательность легко объясняется тѣмъ положеніемъ, какое занималъ и продолжаетъ занимать Бисмаркъ среди различныхъ партій. Сегодня его обвиняютъ въ томъ, что онъ врагъ парламентаризма, завтра—что онъ ренегатъ, измѣнникъ, предатель королевской власти, врагъ монархической власти, принесшій ее въ жертву парламентаризму. Не нужно и говорить, что въ подобныхъ обвиненіяхъ, какъ измѣна монархической власти, нѣтъ и тѣни справедливости. Вѣрно только одно—князь Бисмаркъ не терпитъ противорѣчія, оно раздражаетъ его; онъ требуетъ, чтобы все гнулось передъ нимъ, и если мы приводимъ чисто парламентскіе отрывки изъ его рѣчей, то только для того, чтобы показать, что если онъ не давалъ воли либеральной партіи, то такъ же мало расположенъ давать ее и ультра-консервативной, желавшей видѣть неизмѣнно князя Бисмарка въ его обращеніи съ либеральными элементами страны такимъ, какимъ онъ былъ нѣкогда, до 1866 года:

„Я прошу васъ, господа, — говорилъ онъ, обращаясь къ консервативной партіи, — не впадать въ ту ошибку — я не могу употребить другого слова, — въ которой вы упрекали прежде оппозицію, обыкновенную оппозицію, — т.-е. въ предвзятой рѣшимости смотрѣть на правительство какъ на вредное животное, которое должно быть связано какъ можно крѣпче, которое не должно имѣть никакой свободы движенія, потому что тотчасъ оно употребитъ ее во зло, и если настоящіе министры не дѣлаютъ злоупотребленій, то тѣ, которые наследуютъ имъ, должны ихъ совершать. Вы должны смотрѣть на правительство какъ на коллективное существо, одаренное разсудкомъ, обязанное своимъ существованіемъ назначенію прусскаго короля и тѣсно связанное въ своемъ цѣломъ и во всѣхъ частяхъ для блага государства — вмѣсто того, чтобы смотрѣть на него какъ на вредное существо, на которое слѣдуетъ по мѣрѣ возможности налагать цѣпи, чтобы оно не злоупотребляло своею властью, или если оно этого и не дѣлаетъ, то для того, чтобы не могли дѣлать его преемники. Господа, вы стѣсняете свободу настоящаго правительства, его свободу дѣйствій для блага и безопасности государства въ такой степени, что правительство не можетъ этого принять“. Руководствуясь этой „свободой дѣйствій“, которой требовалъ для себя князь Бисмаркъ, онъ настаивалъ на томъ, что все, что предлагаетъ правительство, должно быть принимаемо, такъ какъ „если восемь министровъ, послѣ долгаго обсужденія вопроса и послѣ того, что король согласился съ ихъ мнѣніемъ“, рѣшаютъ, что тотъ или другой законъ полезенъ, то Бисмарку кажется, что всякая оппозиція становится неумѣстна. Слѣдую этой теоріи, нужно было бы допустить, что министерство непогрѣшимо, какъ папа, что все, что имъ предлагается, должно быть принимаемо безусловно и безъ разсужденій. Бисмаркъ не высказываетъ этого прямо, но едва-ли мы уклонимся отъ истины, переводя на обыденный языкъ то, что онъ высказываетъ въ болѣе мягкой парламентской формѣ. Давленіе парламента на дѣйствія и поступки правительства, это — необходимое условіе настоящаго парламентскаго правленія. Бисмаркъ понимаетъ его не такъ. Онъ гордится тѣмъ, что никогда не поддавался никакому давленію и всегда дѣйствовалъ, соображаясь только съ своею собственною волею. „Мы никогда не допустимъ — говоритъ онъ — никакого давленія надъ со-

бою, мы всегда будемъ руководиться только и исключительно нашимъ собственнымъ изученіемъ интересовъ государства“. Согласно съ этимъ общимъ положеніемъ, Бисмаркъ смотритъ на народъ какъ на слѣпую массу, которая готова довѣрять каждому вздору, каждой небылицѣ, распространяемой прессою, и которая поддерживается въ немъ нѣкоторыми изъ его представителей. Бисмаркъ нигдѣ, правда, подробно не излагалъ, какъ онъ смотритъ на народъ, но нѣкоторыя мѣста его рѣчей позволили одному изъ его противниковъ обвинить его въ томъ, что онъ проповѣдуетъ „ограниченный разумъ подданныхъ“ (beschränkten Unterthanenverstand). Бисмаркъ, въ отвѣтъ на это, могъ только сказать, что фраза объ „ограниченномъ разумѣ подданныхъ“ есть преувеличеніе, и даже въ одной изъ слѣдующихъ его рѣчей, мѣсяца два спустя, сдѣлалъ комплиментъ народу, говоря, что „онъ обладаетъ политическимъ чувствомъ настолько же, насколько обладаетъ имъ каждый изъ насъ“.

VI.

Такіе взгляды Бисмарка на общую систему внутренняго управленія государствомъ, естественно, подчинили ей всѣ отдѣльные вопросы внутренней жизни страны. Но парламентское правленіе, какъ бы неполно оно ни было, какъ бы ни былъ стѣсненъ кругъ его дѣйствій, тѣмъ не менѣе оно и его вліяніе на управленіе дѣлами страны, даже и въ предѣлахъ, очерченныхъ ему Бисмаркомъ, благодѣтельно. Такое вліяніе выражается въ томъ наблюденіи, какое принадлежитъ парламенту надъ управленіемъ страной, въ томъ страхѣ, который невольно испытываетъ министерство за каждое свое неправильное дѣйствіе, каждое злоупотребленіе, въ боязни, что во всякое время съ парламентской трибуны будетъ громко заявлено о томъ или другомъ упущеніи. Въ этомъ значеніи, и значеніи весьма важномъ, не отказываетъ ему князь Бисмаркъ, и какъ ни тяготился, какъ ни ропталъ подчасъ нѣмецкій канцлеръ на оппозицію, которую онъ встрѣчалъ среди народнаго представительства, но едва ли можно сомнѣваться, что еслибъ такому государственному человѣку, какъ Бисмаркъ, было предложено уничтожить парламентъ, онъ ни-

когда бы не согласился на то, понимая, какую серьезную помощь, какую гарантию находить въ парламентѣ само правительство, гарантию въ томъ, что существующіе законы не будутъ безнаказанно нарушаемы. Но для того, чтобы парламентъ имѣлъ такое вліяніе, безусловно необходимо, чтобы народные представители были обеспечены въ правѣ говорить безнаказанно съ трибуны все, что они считаютъ нужнымъ сказать. Народное представительство Германіи это отлично сознавало, и потому съ такою энергіею отстаивало противъ князя Бисмарка полную и безусловную свободу трибуны, на которую, какъ мы уже видѣли, нѣмецкій канцлеръ никакъ не могъ согласиться въ первомъ періодѣ своей дѣятельности.

Такому весьма важному вопросу внутренней жизни государства Бисмаркъ посвятилъ нѣсколько рѣчей во второмъ періодѣ своей дѣятельности, отстаивая свои идеи то въ палатѣ депутатовъ, то въ рейхстагѣ, то, наконецъ, въ палатѣ господъ. Въ этихъ рѣчахъ прекрасно отражается вся та внутренняя борьба, которая происходила между Бисмаркомъ-абсолютистомъ и Бисмаркомъ-конституціонистомъ. Когда въ Сѣверо-Германскомъ Союзѣ, во время обсуждения проекта конституціи, однимъ изъ депутатовъ, Ласкеромъ, было предложено внести параграфъ, который гарантировалъ бы отчеты о публичныхъ засѣданіяхъ отъ судебного преслѣдованія, — Бисмаркъ, со всею свойственною ему энергіею, возсталъ противъ внесенія такого параграфа. Онъ считалъ, что онъ сдѣлалъ уже достаточную уступку свободѣ трибуны, соглашаясь, чтобы за каждымъ депутатомъ было обеспечено право свободно выражать свои мнѣнія, безъ опасенія, что надъ нимъ разразится Дамокловъ мечъ, въ видѣ судебного преслѣдованія. Идти дальше и гарантировать свободу парламентскихъ отчетовъ онъ не считалъ возможнымъ, но самая слабость его аргументовъ, скорѣе нежели всѣ рѣчи его противниковъ, должна была бы убѣдить его, что онъ отстаиваетъ такое начало, которое идетъ совершенно въ разрѣзъ съ конституціоннымъ духомъ. Бисмаркъ противился согласиться на введеніе параграфа, обеспечивающаго право, столь необходимое съ точки зрѣнія самыхъ элементарныхъ понятій о конституціонной жизни, но не потому, какъ онъ выражался, чтобы онъ видѣлъ какую-нибудь опасность для союзныхъ правительствъ въ печатаніи отчетовъ публичныхъ засѣданій рейхстага: „Мы видѣли, — говоритъ онъ, — что рѣчи прусской

палаты депутатовъ, которыя, по своей свирѣпости, не могутъ быть сравнены ни съ какими рѣчами никакихъ собраній этого рода, были опубликованы безъ всякой опасности“. Трудно, кажется, было бы придумать болѣе сильный аргументъ въ пользу того, чтобы и рѣчи, произнесенныя въ рейхстагѣ и въ другихъ подобныхъ собраніяхъ, печатались безъ всякихъ стѣсненій и безъ всякой угрозы уголовнаго преслѣдованія. Но Бисмаркъ разсуждаетъ не такъ. Его строгая логика измѣняетъ ему на этотъ разъ. Какія же другія побудительныя причины, кромѣ опасности, заставляютъ его противиться введенію параграфа, казалось бы, столь невиннаго, какъ тотъ, который устанавливаетъ право публиковать рѣчи? Причины эти „нравственнаго“ свойства. Бисмаркъ строго оберегаетъ общественную нравственность! „Причины,—говоритъ онъ,—заставляющія бороться противъ такого параграфа, я могу назвать причинами, касающимися нравственности. Есть много такого, что государство можетъ терпѣть, игнорировать, но чтобы оно осватило закономъ—это другой вопросъ. Въ этомъ числѣ я считаю право оскорблять согражданина, безъ того, чтобы онъ могъ получить какое-нибудь удовлетвореніе за нанесенную ему обиду. Я не хочу говорить о преступленіяхъ, которыя могутъ быть совершены словомъ, я не долженъ даже допускать мысли, чтобы что-либо подобное могло быть совершено въ этой средѣ. То, что я имѣю въ виду, это—охраненіе чести гражданъ, огражденіе, которое законъ долженъ доставлять каждому. Отнять у гражданина эту охрану—это значитъ, въ моихъ глазахъ, я повторяю, нанести ударъ нравственности, посягнуть на права человѣка. Подъ правами человѣка—продолжаетъ Бисмаркъ, удивляя своею цитатою—я разумѣю именно тѣ права, которыя провозглашены были во Франціи въ 1791-мъ году и перешли затѣмъ въ конституцію республики. Объявленіе правъ человѣка положительно говоритъ по поводу свободы „мнѣній“, которыя каждый имѣетъ право высказывать: что свобода заключается въ томъ, чтобы каждый могъ дѣлать то, что *не вредитъ другому*. Такимъ образомъ, это ограниченіе установлено даже въ актѣ, который такъ далеко идетъ въ дѣлѣ свободы“.

Итакъ, князь Бисмаркъ, не соглашаясь, чтобы законъ обезпечивалъ за каждымъ гражданиномъ невозможность судебного преслѣдованія за опубликованную въ газетахъ рѣчь, руководился мо-

тивами общественной нравственности. Съ его точки зрѣнія свобода трибуны этимъ нисколько не стѣснялась, такъ какъ правительство, по его увѣреніямъ, никогда не рѣшилось бы воспользоваться этимъ правомъ, чтобы защититься отъ нападеній, направленныхъ противъ него. Рейхстагъ, припоминая рѣшеніе высшей судебной инстанціи, вызванное правительствомъ и предоставлявшее прокурору право преслѣдовать депутатовъ за произнесенныя ими рѣчи, вполне основательно не довѣрялъ Бисмарку и желалъ, чтобы невозможность судебного преслѣдованія зависѣла не отъ доброй воли правительства, а только отъ закона. Бисмаркъ называлъ подобное желаніе не чѣмъ инымъ, какъ пустою декламациею. Ту же самую мысль развивалъ князь Бисмаркъ и въ прусской палатѣ депутатовъ, поддерживая мысль, что если онъ сопротивляется установленію такого закона, то вовсе не съ точки зрѣнія практики, а только теоріи. Съ этой послѣдней точки зрѣнія для Бисмарка было уже большою жертвою, что онъ согласился на принятіе закона, обезпечивающаго за депутатами право свободно излагать свои мысли въ стѣнахъ парламента. „Я пожертвовалъ—говоритъ онъ, соглашаясь на этотъ законъ,—моимъ убѣжденіемъ желанію видѣть поскорѣе оконченною федеральную конституцію; я принесъ бы еще большія жертвы, быть можетъ, скорѣе, чѣмъ подвергнуть опасности завершеніе этого дѣла“. Когда послѣднія слова его покрылись шумомъ: „слушайте, слушайте!“, князь Бисмаркъ, опасаясь, чтобы его словами не воспользовались, тотчасъ прибавилъ, что изъ его фразы не слѣдуетъ выводить заключенія, что онъ рѣшится и на другія еще жертвы.

Ратуя противъ свободы трибуны, князь Бисмаркъ и самъ сознавался, что въ этомъ вопросѣ онъ не можетъ сохранять всей „объективности“. Онъ припоминаетъ палатѣ тѣ нападенія, которыми онъ подвергался въ продолженіе трехъ лѣтъ, тѣ оскорбленія, которыя выпадали на его долю, и изъ этихъ нападеній и оскорбленій онъ выводилъ необходимость поставить свободу трибуны подъ угрозу уголовнаго преслѣдованія. Но, говоря объ этихъ нападеніяхъ и оскорбленіяхъ, которыми подвергался онъ, Бисмаркъ, нѣмецкій канцлеръ забывалъ о тѣхъ, которыми надѣлялъ онъ такъ щедро народныхъ представителей. Тѣмъ не менѣе, нельзя не сказать, что, защищая ограниченіе свободы трибуны, Бисмаркъ защищаетъ его уже иначе, чѣмъ прежде; онъ защищаетъ его болѣе,

какъ конституціонный министръ. Уступивъ право свободно высказывать все, что угодно, безъ угрозы преслѣдованія, онъ добивается теперь только одного, чтобы между зданіемъ парламента и прессою была проведена рѣзкая граница, чтобы то, что дозволено въ одномъ, не было допущено въ другой. „Я допускаю, — говоритъ онъ, — что въ извѣстныхъ обстоятельствахъ, въ порывѣ увлеченія словомъ, въ движеніи политической страсти — быть чуждымъ этой страсти не всегда составляетъ добродѣтель въ общественномъ дѣятелѣ — я допускаю, что при такомъ расположеніи можетъ вырваться слово, переходящее границу...“ Такое слово, разсуждаетъ князь Бисмаркъ, можетъ быть обидно, оскорбительно, но, произнесенное среди ограниченного числа людей, оно не составляетъ большой бѣды; слово пропадаетъ, забывается, но оно получаетъ вовсе иное значеніе, когда оно распространяется сотнями тысячъ экземпляровъ, когда оно закрѣпляется, повторяется постоянно, когда „каждый темный писака можетъ, если ему угодно, бросить это слово мнѣ въ лицо“, и когда противъ такого „писака“ человекъ остается такъ же безоружнымъ, какъ и противъ слова, произнесеннаго съ трибуны, въ стѣнахъ парламента, гдѣ „я по крайней мѣрѣ знаю, что я приношу себя въ жертву великимъ интересамъ общественной жизни, конституціонному существованію, и спокойно выношу оскорбленіе. Но это оскорбленіе, увѣковѣченное печатью, далеко распространенное прессою, — я не могу его принять безъ дѣйствительнаго ущерба“.

Несмотря, однако, на сопротивленіе Бисмарка, законъ, обезпечивающій свободу трибуны и публикованіе отчетовъ о засѣданіяхъ, прошелъ въ рейхстагѣ. Бисмаркъ подчинился волѣ большинства, и когда тотъ же самый вопросъ возникъ въ прусской палатѣ господъ, онъ объявилъ, что подастъ свой голосъ за свободу трибуны. Слова, произнесенныя по этому поводу княземъ Бисмаркомъ въ палатѣ господъ, выказывающія истинное парламентское смиреніе, составляютъ такое пріятное исключеніе въ общемъ тонѣ его рѣчей, что было бы несправедливо не привести ихъ. „Я повинуюсь — говорилъ онъ при этомъ обстоятельстве — убѣжденію, которое я часто выражалъ, именно, что конституціонная жизнь, взятая въ цѣломъ, состоитъ изъ ряда компромиссовъ, и что самая важная обязанность конституціоннаго правительства заключается, по моему мнѣнію, въ томъ, чтобы способствовать взаимнымъ уступкамъ

между различными государственными властями. Компромиссъ не можетъ быть достигнутъ, если никто не желаетъ, ради общаго согласія, принести въ жертву часть своихъ собственныхъ убѣжденій, убѣжденій самыхъ искреннихъ, каковы мои, господа; о другихъ убѣжденіяхъ мы не можемъ говорить“. Такъ, конечно, долженъ говорить конституціонный министръ, не опасаясь упрека въ непоследовательности, которая въ этомъ случаѣ должна была бы носить имя упрямства. „Теперь, — продолжалъ Бисмаркъ, — когда я заставляю молчать мое чувство, и когда я объявляю вамъ мое намѣреніе подать голосъ въ пользу предложенія Герарда, въ противность тѣмъ мнѣніямъ, которыя я высказывалъ здѣсь съ такою же откровенностью; теперь, когда я самъ прошу васъ вотировать въ томъ же смыслѣ, принести подобную же жертву въ пользу общаго согласія различныхъ элементовъ законодательной власти, я считалъ своею обязанностью объяснить это противорѣчіе и мотивировать его, говоря, что какъ министръ конституціоннаго государства, я не признаю за собою право поддерживать, рискуя всѣмъ, мое собственное мнѣніе, и что, напротивъ, я смотрю, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, на согласіе между государственными властями и на возстановленіе этого согласія — какъ на цѣль, которой я могу, которой я даже долженъ въ моемъ положеніи пожертвовать, ради общаго союза, моими идеями, и уступка эта съ моей стороны не можетъ нанести практическаго и важнаго ущерба благу государства“.

Другой изъ наиболѣе важныхъ и наиболѣе спорныхъ вопросовъ въ конституціонной жизни каждаго государства, это — вопросъ, касающійся избирательной системы: кто имѣетъ избирательный голосъ, какъ производится избраніе представителей, посредствомъ ли прямыхъ выборовъ, или посредствомъ двухстепеннаго или трехстепеннаго избранія? Чуть не во всѣхъ конституціонныхъ государствахъ идетъ работа по этому вопросу. Въ одномъ, какъ въ Англіи, стараются расширить избирательное право; въ другомъ, какъ Франція, стараются его сѣзуть; въ третьемъ, какъ Австрія, вводятъ прямые выборы въ центральное представительное собраніе и т. д. Какъ же князь Бисмаркъ смотритъ на этотъ вопросъ, какія начала высказывалъ онъ въ своихъ рѣчахъ?

Бисмаркъ рѣшительно говоритъ въ пользу самаго либеральнаго принципа, именно, принципа всеобщей подачи голосовъ. „Всеобщая по-

дача голосовъ — говорить онъ — представляется для насъ нѣкоторымъ образомъ наслѣдствомъ, оставленнымъ намъ развитіемъ унитарныхъ стремленій Германіи: мы обладали этимъ принципомъ въ федеральной конституціи, выработанной во Франкфуртѣ (въ 1848-мъ году); мы противопоставили этотъ же принципъ въ 1863-мъ году австрійскимъ тенденціямъ, выразившимся въ Франкфуртѣ, и что касается до меня, то я могу только сказать, что я не знаю *лучшаго избирательнаго закона*. Бисмаркъ признаетъ, что этотъ избирательный законъ не есть еще идеальный законъ, такъ какъ онъ не воспроизводитъ съ полною точностью „въ миниатюрѣ“ строго обдуманное мнѣніе народа, но тѣмъ не менѣе онъ считаетъ, что все-таки принципъ всеобщей подачи голосовъ представляется лучшимъ изъ всѣхъ существующихъ. Бисмаркъ знаетъ очень хорошо, какое возраженіе, основанное на опытѣ, дѣлается истинными друзьями свободы народа этому принципу. Противъ примѣненія на практикѣ этого принципа въ настоящее время, когда народная масса лишена еще необходимаго политическаго свѣта, выставляютъ то, что принципъ этотъ въ свое короткое существованіе имѣлъ уже несчаствіе служить тѣмъ фундаментомъ, на которомъ воздвигался самый грубый цезаризмъ. „Союзныя правительства — говорить онъ — не могутъ имѣть мысли о заговорѣ, глубоко замышленномъ противъ вольностей средняго сословія, чтобы, опираясь на массы, установить цезаризмъ. Мы беремъ только то, что находится у насъ подъ руками, что мы считаемъ удобнымъ принять, и при этомъ безъ всякой задней мысли“. Безъ всякаго сомнѣнія, поддерживая принципъ всеобщей подачи голосовъ, Бисмаркъ рисуетъ въ самомъ либеральномъ свѣтѣ. Но это только одна сторона медали, а есть еще и другая. Для того, чтобы принципъ этотъ не повелъ къ тѣмъ злоупотребленіямъ, благодаря которымъ утвердился во Франціи вторая имперія, необходимо, чтобы этотъ либеральный принципъ былъ обставленъ и другими, не менѣе либеральными принципами. Разумное примѣненіе всеобщей подачи голосовъ немислимо, во-первыхъ, безъ обязательнаго образованія, во-вторыхъ, безъ свободы собраній и, въ-третьихъ, безъ свободы слова, свободы печати. Первымъ условіемъ Германія обладаетъ, но ей недостаетъ двухъ другихъ, столь необходимыхъ при существованіи всеобщей подачи голосовъ.

Какъ же князь Бисмаркъ относится къ этимъ двумъ условіямъ?

Если бы онъ даже и ни слова не сказалъ о нихъ, то мы могли бы догадаться по тѣмъ его рѣчамъ, въ которыхъ онъ отстаивалъ свое мнѣніе о свободѣ трибуны. Онъ считаетъ свободу слова такимъ преимуществомъ, которымъ должны пользоваться только избранные, и съ нѣкоторымъ ужасомъ говорить: „Допуская полную свободу трибуны, куда же мы придемъ? Мы вѣдь вынуждены будемъ скоро дать ее любому народному сборищу?“ Вотъ какъ смотритъ князь Бисмаркъ на свободу собраній, и этотъ взглядъ не только поддерживается имъ въ области теоріи, но со всею силою проводится въ практической жизни государства. Тѣ, которые слѣдятъ хотя по газетамъ за нѣмецкою жизнью, весьма часто, конечно, встрѣчали извѣстія о томъ, что одно собраніе запрещено, другое разогнано и т. д. Не лучше смотритъ князь Бисмаркъ и на свободу печати. Хотя ему самому случалось припоминать слова Фридриха Великаго: „журналы не должны быть стѣсняемы“, но онъ вовсе не слѣдуетъ въ своихъ воззрѣніяхъ на этотъ предметъ мнѣнію, высказанному его великимъ предшественникомъ. Быть можетъ, Бисмаркъ полагаетъ, что они ближе къ его мысли, дѣлая противоположное тому, что говорилъ король-философъ XVIII-го вѣка, который чуть не правиломъ считалъ говорить не то, что онъ думалъ. Въ рѣчахъ князя Бисмарка нѣтъ ни одной, которая цѣликомъ была бы посвящена вопросу о свободѣ печати, но въ нѣсколькихъ рѣчахъ онъ упоминаетъ о ней, и упоминаетъ вовсе не въ лестныхъ выраженіяхъ. У него то-и-дѣло на языкѣ: печать только раздражаетъ! пресса невѣжественна! газеты ничего не дѣлаютъ, какъ только поддерживаютъ волненіе, вводятъ въ обманъ, и т. п. Бисмаркъ нѣсколько разъ отрекается отъ всякой солидарности даже съ официальною прессою, отзываясь о ней тономъ крайняго пренебреженія. Идеи князя Бисмарка о вредѣ свободы печати, какъ то слишкомъ хорошо извѣстно всей нѣмецкой журналистикѣ, не оставались только въ теоріи, но энергически примѣнялись и, къ стыду Германіи, примѣняются и до сихъ поръ. Запрещеніе газетъ, арестъ отдѣльныхъ номеровъ газеты, немислимые при истинно парламентскомъ правленіи, до сихъ поръ еще опечаливаютъ нѣмецкое общество.

Очевидно, что при отрицаніи условій, столь существенно необходимыхъ при принципѣ всеобщей подачи голосовъ, либерализмъ князя Бисмарка теряетъ вдругъ девять-десятихъ своей цѣны, и

опасенія, чтобы правительство не воспользовалось этою избирательною системою для нанесенія существеннаго ущерба правамъ нѣмецкаго народа, не заключаетъ въ себѣ ничего особенно безумнаго.

Опасеніе это могло еще увеличиться, когда Бисмаркъ изложилъ свои воззрѣнія на свободу выборовъ. Всѣ партіи пользуются свободою выставлѣть и поддерживать своего кандидата. Изъ числа этихъ партій Бисмаркъ не исключаетъ и самого правительства, которое, по его мнѣнію, имѣетъ право всѣми возможными средствами, чрезъ посредство всевозможныхъ органовъ, объявлять, что оно желало бы, чтобы такой-то кандидатъ былъ избранъ: „это существенная сторона свободы выборовъ для правительствъ, которыя имѣютъ свои права, точно такъ же, какъ и партіи, и какъ партіи оппозиціонныя правительствамъ“. Повидимому, взглядъ, выражаемый княземъ Бисмаркомъ,—взглядъ весьма либеральный, но это только повидимому. Конечно, при существованіи идеальнаго правительства такое пониманіе свободы выборовъ и такое практикованіе ея не могло бы имѣть вредныхъ послѣдствій; но князь Бисмаркъ вовсе не претендуетъ, чтобы то правительство, во главѣ котораго онъ стоитъ, было идеальнымъ правительствомъ. Въ противномъ случаѣ, то, что поддерживаетъ нѣмецкій канцлеръ, должно быть названо не системою свободныхъ выборовъ, а системою официальныхъ кандидатуръ. Онъ отлично понимаетъ, какая огромная разница существуетъ между средствами какой-нибудь партіи, желающей провести своего кандидата, партіи, лишенной свободы собраній и свободы печати, и средствами правительства, объявляющаго о своемъ желаніи, чтобы былъ избранъ тотъ или другой кандидатъ. Бисмаркъ въ нѣсколько лѣтъ пріобрѣлъ большую конституціонную опытность, и потому съ большимъ искусствомъ въ самой конституціонной формѣ проводитъ самыя неконституціонныя мѣры. Что, въ самомъ дѣлѣ, кажется законнѣе и справедливѣе, какъ слова: „Я думаю, что избиратели имѣютъ право знать, избраніе какаго кандидата желательно правительству, точно такъ же какъ правительство имѣетъ право объявить свое предпочтеніе въ этомъ отношеніи. Избиратели имѣютъ это право, такъ какъ многіе изъ нихъ желаютъ по принципу вотиловать *за* правительство, въ то время какъ другіе *противъ* правительства“. Въ это самое время Бисмаркъ признаетъ за избирателями „политическій смыслъ“, который, конечно, весьма плохо вы-

жестя съ мыслью, что избиратели настолько тупоумны, настолько невѣжественны въ общественныхъ дѣлахъ, чтобы не знать какой депутатъ пріятенъ правительству и какой нѣтъ. Еслибы это и могло случиться, то оппозиціонная партія всегда укажетъ, какой кандидатъ принадлежитъ правительству и какой — оппозиціи. Бисмаркъ все это, разумѣется, отлично понимаетъ, но ему хочется облечь въ конституціонную форму, — и это уже, конечно, составляетъ весьма значительный успѣхъ въ его дѣятельности, — свое вовсе не либеральное требованіе, чтобы народныя представители, палата, рейхстагъ не вздумали опредѣлять отношенія правительства къ выборамъ. „Еслибы правительство наложило на себя молчаніе относительно кандидатуръ, еслибы оно оставалось совершенно нѣмымъ и безучастнымъ, тогда было бы возможно, что выборы превратились бы въ чистую лотерею. Могло бы случиться, напримѣръ, — прибавляетъ Бисмаркъ, — и такой случай былъ бы для насъ крайне прискорбенъ, что избиратель вотировалъ бы по ошибкѣ въ пользу правительства, что не могло бы случиться, еслибы правительство совершенно ясно высказалось въ пользу такого-то кандидата“.

Все это, конечно, чрезвычайно тонко, весьма политично, но вовсе не вѣрно. Бисмаркъ съ наивностью Кандида увѣряетъ рейхстагъ, что правительство, еслибы и желало прибѣгать къ какимъ-нибудь противозаконнымъ мѣрамъ, для того, чтобы провести того или другого кандидата, все-таки оставалось бы безсильнымъ при существованіи тайной подачи голосовъ. Развѣ можетъ ландратъ, при самомъ твердомъ намѣреніи, спрашиваетъ опъ, принудить подать свой голосъ за того или другого? Отвѣтъ — конечно, нѣтъ. Еслибы даже допустить, что нѣмцы политически такъ высоко нравственны, что никогда не въ силахъ были бы придумать средствъ дѣйствовать на избирателей, то они слишкомъ долго были близкими сосѣдями второй имперіи, чтобы не постигнуть механизмъ извращенія принципа всеобщей подачи голосовъ. Правительство имѣетъ вліяніе на выборы, разсуждаетъ Бисмаркъ; а развѣ партіи не имѣютъ, развѣ отдѣльныя лица не прибѣгаютъ къ такимъ средствамъ, которыя не должны считаться дозволительными, развѣ не кроется какое-нибудь злоупотребленіе, „когда видишь, напримѣръ, что среди тысячъ рабочихъ не находится ни одного, который бы имѣлъ другое политическое убѣжденіе, чѣмъ какое имѣетъ его патронъ; и по моему мнѣнію, такое

политическое единодушіе 6.000 рабочихъ одной фабрики представляет собою фактъ гораздо болѣе удивительный и свидѣтельствующій гораздо лучше о злоупотребленіи вліяніемъ, нежели какое-то внушеніе ландрата, о которомъ говорятъ“. Вотъ когда справедливо можно было бы сказать Бисмарку: *compaгаison n'est pas gaison*, и то злоупотребленіе вліяніемъ частнаго лица, которое все-таки представляется единичнымъ явленіемъ, не можетъ идти въ параллель съ хорошо организованнымъ злоупотребленіемъ вліяніемъ правительства, дѣйствующаго при помощи своихъ чиновниковъ на пространство всего государства.

Такимъ образомъ, принципъ всеобщей подачи голосовъ является у Бисмарка по истинѣ ошипаннымъ. Онъ позаботился подрѣзать ему крылья, выщипать всѣ перья. Безъ настоящей свободы собраній, безъ большой свободы печати и только съ одними официальными кандидатурами принципъ всеобщей подачи голосовъ лишенъ всей присущей ему силы и въ рукахъ искуснаго правительства, каково правительство князя Бисмарка, можетъ превратиться въ орудіе злоупотребленій.

Весьма неблагодарный и крайне тяжелый трудъ задалъ бы себѣ тотъ, кто захотѣлъ бы изложить на основаніи собранія рѣчей князя Бисмарка полную, стройную и послѣдовательную систему внутренняго управленія этого государственнаго человѣка. Задавшись такою задачею, пришлось бы по неволѣ прибѣгать ко всевозможнымъ натяжкамъ, такъ какъ такая система едва-ли существуетъ не только въ рѣчахъ,—объ этомъ не можетъ быть и помину,—но даже и въ головѣ нѣмецкаго канцлера. Его система не поддается никакимъ опредѣленіямъ: это не система послѣдовательнаго консерватизма, еще менѣе послѣдовательнаго либерализма; въ его системѣ соединяются всевозможныя системы. Князь Бисмаркъ—эклектикъ по преимуществу. Одного начала онъ держится непоколебимо, это — отстраненіе всего, что можетъ служить препятствіемъ осуществленію его воли. Едва-ли въ теченіе всей своей дѣятельности онъ когда-нибудь задавался вопросомъ: что будетъ послѣ моей смерти, что будетъ, если мое мѣсто займетъ человѣкъ менѣе способный, менѣе талантливый? Бисмаркъ не далъ внутреннему устройству Германіи такой прочности, которая безъ ущерба для своего дальнѣйшаго развитія могла бы сносить перемѣну того или другого лица. Бисмаркъ,

не опредѣлялъ себѣ самъ той системы, которую онъ долженъ положить въ основу внутренней жизни нѣмецкаго народа, не установилъ тѣхъ началъ, на основаніи которыхъ должно совершаться будущее развитіе націи. Вотъ отчего—сойди сегодня съ исторической сцены князь Бисмаркъ—во внутренней жизни Германіи можетъ весьма тяжело отозваться его удаленіе. Тотъ, кто заступитъ его мѣсто, не въ состояніи будетъ сказать: „я буду слѣдовать системѣ князя Бисмарка“, потому что по совѣсти онъ не можетъ сказать, какова эта система. Человѣкъ съ либеральными тенденціями, онъ можетъ указать на весьма либеральныя начала, проводимыя нѣмецкимъ канцлеромъ; явится консерваторъ, ретроградъ, и онъ тоже не солжетъ, если объявитъ себя послѣдователемъ Бисмарка,—въ дѣятельности послѣдняго, въ положеніяхъ, которыя онъ проводилъ, не говоря о первомъ періодѣ дѣятельности, но и во второмъ, есть слишкомъ много такого, что реакціей можетъ быть истолковано въ свою пользу. Одни истинно великіе государственные люди оставляютъ послѣ себя стройную систему, которую могутъ продолжать и простые смертные; они набрасываютъ планъ зданія, по которому даже дюжиннымъ архитекторамъ не представляется особенной трудности вывести его до конца. Гдѣ этотъ планъ у Бисмарка? Его нѣтъ. Это замѣчательный мастеръ, но обладающій слишкомъ субъективнымъ талантомъ, чтобы создать школу, слѣдующую по его стопамъ. Когда у государственнаго человѣка есть цѣльная система внутренняго управленія государствомъ, вамъ не трудно будетъ впередъ рѣшить, какъ поступитъ онъ въ томъ или другомъ вопросѣ. Попробуйте предрѣшать образъ дѣйствій Бисмарка, и вы можете быть увѣрены, что ошибетесь; развѣ благодаря случайности, чисто лотерейной, вы отгадаете. У насъ есть только одно прочное основаніе для рѣшенія вопроса: какъ поступитъ Бисмаркъ въ извѣстномъ вопросѣ? Основаніе это — все подчинять своей власти, всѣ нити государственной жизни держать въ своихъ рукахъ, и при непрѣмномъ условіи, чтобы руки эти были развязаны, и чтобы никто не могъ идти ему наперекоръ. Чтобы никто не могъ подумать, что онъ сколько-нибудь боится тяжести падающей на него ответственности, онъ прибавляетъ: „Тотъ, господа, кто былъ министромъ-президентомъ совѣта и находился въ необходимости одинъ принимать рѣшенія, кончаетъ тѣмъ, что болѣе не пугается ответствен-

ности; но онъ пугается необходимости убѣждать самъ человѣкъ въ томъ, что то, чего онъ хочетъ, справедливо и хорошо. Это совѣстная работа, нежели управлять государствомъ... Я смотрю на устройство коллегіальнаго министерства какъ на политическое заблужденіе и ошибку, которую каждое государство должно исправлять, какъ скоро это возможно". Такимъ образомъ, для Бисмарка, по его словамъ, несравненно легче управлять государствомъ, нежели дѣйствовать заодно съ отвѣственнымъ министерствомъ. Его рѣчи объ отвѣстномъ министерствѣ какъ нельзя болѣе подтверждають наши слова, что на всѣ вопросы Бисмаркъ смотритъ исключительно съ личной точки зрѣнія. Какой бы вопросъ внутренняго устройства ни былъ затронутъ, онъ непремѣнно сведетъ его на свою личность. Онъ былъ бы чрезвычайно удивленъ, еслибы кто-нибудь отвѣчалъ ему на его рѣчи такимъ образомъ:—Мы вамъ, князю Бисмарку, вполне вѣримъ; мы знаемъ, что все, что вы дѣлаете, все что вы говорите прекрасно, чудесно, и мы вполне убѣждены въ вашей непогрѣшимости, но мы не увѣрены только въ томъ, чтобы вы были бессмертны; мы хотимъ устроить государственное управленіе, не думая о тѣхъ, кто будетъ стоять въ его главѣ; если вы намъ поручитесь, что вы бессмертны, тогда мы готовы отказаться отъ всякихъ плановъ, проектовъ, заботъ о будущемъ!—По всей вѣроятности, князь Бисмаркъ пришелъ бы въ нѣкоторое недоумѣніе, какъ ему отвѣчать. Въ его головѣ государственное устройство Германіи и онъ, Бисмаркъ, слились въ одно нераздѣльное цѣлое. Еслибы князь Бисмаркъ имѣлъ передъ собою не только настоящую минуту, но и будущее, то, конечно, на всякое предложеніе объ улучшеніи той или другой части внутренняго устройства Германіи онъ не отвѣчалъ бы съ такою самоувѣренностью: „правительственная машина, которою мы управляемъ, дѣйствовала въ продолженіе двухъ лѣтъ такъ хорошо ко всеобщему благу, что вамъ почти надобно видѣть этотъ механизмъ такъ хорошо дѣйствующимъ. Вы чувствуете потребность вскрыть часы, вынуть одно колесо, чтобы можно было видѣть, не пойдутъ ли часы еще лучше“.

Основываясь на такой личной политикѣ, можно было бы ожидать, что во всѣхъ внутреннихъ вопросахъ Бисмаркъ обнаружитъ стремленіе все стягивать въ однѣ руки, все сводить къ одному лицу, къ одной власти, къ одному мѣсту, однимъ словомъ — стремленіе къ

централизаціи. Всѣ государственные дѣятели, обладавшіе такою же деспотическою натурою, какъ и Бисмаркъ, всѣ почти были сторонниками централизаціи. Но и тутъ, какъ и во всемъ остальномъ, нѣмецкій канцлеръ не поддается заранѣе составленнымъ опредѣленіямъ и неожиданно является горячимъ сторонникомъ децентрализаціи. Къ сожалѣнію, этому важному вопросу внутренняго управленія ему не пришлось посвятить ни одной полной рѣчи, и онъ высказывалъ свои мысли по этому поводу только мимоходомъ, говоря о другихъ вопросахъ. Децентрализація служила и продолжаетъ служить для него однимъ изъ сильныхъ орудій умиротворенія земель и населеній, насильственнымъ образомъ присоединенныхъ къ Германіи, и только въ децентрализаціи онъ видитъ залогъ, основу хорошаго внутренняго управленія. Примѣромъ Соединенныхъ Американскихъ Штатовъ, на которые онъ любитъ ссылаться, доказываетъ онъ необходимость децентрализаціи, обеспечивающей благосостояніе страны. „Вросьте вашъ взоръ, — говорилъ онъ, — на государства, которыя получили, сравнительно съ ихъ матеріальными силами, большее развитіе, отъ котораго не пострадала ихъ внутренняя свобода, — а я думаю, что она вамъ дорога, — вы увидите, что эти государства принадлежатъ въ особенности къ исторіи германскихъ расъ, и что онѣ въ основѣ своей имѣютъ — я не скажу: федерализмъ, но — децентрализацію. Я назову вамъ, какъ поразительный примѣръ, Англію, гдѣ партикуляризмъ прячется въ деревняхъ и графствахъ и не оставляетъ никакого слѣда на географическихъ картахъ, но тамъ господствуетъ децентрализація, на подражаніе которой мы употребляемъ всѣ наши усилія. Посмотрите также на большіе, сильные и могущественные Американскіе Штаты. Смотрятъ ли тамъ на централизацію какъ на палладіумъ свободы, какъ на основаніе рациональнаго развитія. Подумайте о Швейцаріи и объ устройствѣ ея кантоновъ“...

Въ виду развитія децентрализаціи, Бисмаркъ уже три года назадъ, въ февралѣ 1870 года, настаивалъ въ прусской палатѣ господъ на необходимости реформы мѣстнаго самоуправленія; уже три года назадъ онъ говорилъ о той реформѣ, которая только теперь окончательно прошла, вызвавъ всѣмъ извѣстное столкновеніе правительства съ реакціонною палатою господъ. „Въ интересъ правительства — говорилъ Бисмаркъ — не оставитъ ни малѣйшаго сомнѣнія относительно его

самаго серьезнаго напѣренія осуществить реформу въ организаціи округовъ, — реформу безусловно необходимую и требуемую общественнымъ мнѣніемъ. Прежде, чѣмъ мы въ состояніи начать въ Пруссіи вводить децентрализацию въ дѣлахъ, мы должны переустроить организацію округовъ“. Бисмаркъ еще въ ту эпоху говорилъ, что какихъ бы усилій ни стоило правительству провести эту реформу, она тѣмъ не менѣе будетъ проведена.

Если въ вопросѣ централизаціи и децентрализаціи Бисмаркъ шелъ въ разрѣзъ съ единственнымъ его основнымъ принципомъ во внутренней политикѣ — принципомъ, выражающимся въ звукѣ: я, и въ словахъ: моя воля! — то въ другомъ вопросѣ, весьма важномъ для хорошаго внутреннего управленія, онъ ломалъ хорошее существующее начало, такъ какъ оно мѣшало разыгрываться личному произволу. Устройство администраціи въ каждомъ государствѣ составляетъ весьма важный вопросъ въ жизни народа. Дурная администрація, невѣжественная бюрократія — это такое зло, отъ котораго не легко отдѣлаться. Разъ утвердившись, эта бюрократія сосетъ, сосетъ, сосетъ безъ конца. Пруссія всегда хвалилась своею администраціею; она была, такъ сказать, ея гордостью. Строгіе экзамены, пройти черезъ которые было необходимо, чтобы получить мѣсто, новыя экзамены для полученія высшаго мѣста — почитались одною изъ гарантій хорошаго состава администраціи. Произволъ, протекція, пріятельство, играющіе часто важную роль при назначеніи на мѣста и благодаря которымъ сплошь и рядомъ на довольно видныхъ мѣстахъ являются весьма странные люди, — въ Пруссіи, вслѣдствіе установленныхъ экзаменовъ, значительно лишались своей силы. Но Бисмаркъ видѣлъ въ подобномъ устройствѣ администраціи только одно: ограниченіе власти, личной воли, и потому онъ объявилъ подобное устройство нигде негоднымъ. Бисмаркъ высказывалъ по поводу этого вопроса мысль, которая не могла быть пріятна сердцу нѣмецкихъ патріотовъ, гордившихся своею администраціею. Если до сихъ поръ смотрѣли на организацію администраціи какъ на основаніе величія прусской монархіи, то это, по мнѣнію Бисмарка, большая ошибка. „Согласно моему личному убѣжденію, — говорилъ онъ, — я утверждаю, что если Пруссія могла найти свою дорогу и пройти ее такъ, какъ она прошла на нашихъ глазахъ, то это случилось *несмотря* на организацію администраціи...“ Королевская власть, утверждалъ Бис-

маркъ, не должна быть стѣснена какими-то экзаменами въ назначеніи тѣхъ или другихъ лицъ. „Я не могу не возставать противъ стѣсненія, — говорилъ онъ отъ имени правительства, — которое тѣмъ болѣе невозможно допустить, что правительство во всякомъ случаѣ отвѣтственно за всѣхъ своихъ чиновниковъ, а между такою отвѣтственностью и подобнымъ стѣсненіемъ, особенно въ конституціонномъ государствѣ, существуетъ явная несовѣстность“. Конечно, еслибы кто-нибудь спросилъ Бисмарка, передъ кѣмъ отвѣтственна верховная власть, о которой онъ говоритъ, то едва-ли онъ сдумалъ бы отвѣтить на этотъ вопросъ. Онъ повторялъ фразу Наполеона III объ отвѣтственности правительства и его главы. Законъ объ испытаніяхъ для полученія мѣста заключаетъ въ себѣ большую нравственную силу. Предоставить назначить на какія угодно мѣста безъ испытаній, когда захочется то правительству, значитъ не только лишить законъ всякой нравственной силы, но еще обратить его въ орудіе неравенства, протекціи и т. п. Бисмаркъ, безъ сомнѣнія, сознавалъ это, но онъ сознавалъ вѣстѣ, что подобный законъ связываетъ ему руки, служить помѣхой власти, и въ силу этого онъ возстаетъ противъ него.

Такимъ образомъ, во всѣхъ вопросахъ внутренней политики онъ руководится не какою-нибудь системою управленія, не какимъ-нибудь принципомъ, а исключительно однимъ: желаніемъ, чтобы ничто не мѣшало личной власти, чтобы всегда у этой власти были развязаны руки.

До сихъ поръ мы касались воззрѣній князя Бисмарка только и исключительно на такіе вопросы внутреннего управленія, которые по преимуществу могутъ быть названы вопросами политическими. Но кромѣ этихъ вопросовъ есть еще и другіе, не менѣе важныя, — вопросы экономическіе, нравственные, о которыхъ мы не сказали ни слова, и, къ сожалѣнію, не можемъ сказать очень много. Только весьма немногія, сравнительно, рѣчи нѣмецкаго канцлера посвящены этимъ вопросамъ, да и въ этихъ немногихъ рѣчахъ политическія цѣли до такой степени обуславливаютъ воззрѣнія на нихъ Бисмарка, что на вопросъ, какъ смотритъ замѣчательный государственный человѣкъ Германіи на экономическія стороны внутреннего управленія, какъ-то: на систему налоговъ, на рабочій вопросъ, на развитіе въ Германіи соціальной агитаціи, какъ смотритъ онъ на

вопросы нравственные, къ которымъ мы отнесемъ вопросъ о свободѣ религіи, народнаго просвѣщенія, системы наказаній и т. п., — мы едва-ли въ состояніи дать обстоятельный отвѣтъ. Но при всемъ томъ, какъ ни бѣденъ этотъ отдѣлъ рѣчей князя Бисмарка, постараемся все-таки подвести итогъ его воззрѣніямъ.

Финансовыя воззрѣнія князя Бисмарка обрисовываются въ его рѣчахъ, посвященныхъ прусскимъ и федеральнымъ финансамъ, а также въ тѣхъ мѣстахъ его рѣчей, гдѣ онъ высказываетъ свои мысли по поводу различныхъ налоговъ. Въ одной изъ своихъ рѣчей, относящихся еще къ первому періоду, Бисмаркъ припоминалъ, что „прусскій король никогда не былъ по преимуществу королемъ богатымъ“. Онъ приводитъ также слова Фридриха II-го, который, будучи еще наслѣднымъ принцемъ, т.-е. въ этомъ обыкновенномъ періодѣ высшаго развитія либерализма будущихъ королей, говорилъ: „Quand je serai roi, je serai un vrai roi des gueux“! и нѣмецкій канцлеръ, подтверждая какъ бы эти слова, прибавлялъ, что „этому принципу прусскіе короли всегда оставались вѣрны“. Фридрихъ II — ужъ если цитировать его — говорилъ также, что обязанность правителя заключается въ томъ, чтобы какъ можно чаще думать о положеніи бѣднаго народа, и рекомендовалъ тѣмъ, которые стоятъ во главѣ управленія страной, почаще „становиться въ положеніе крестьянина и фабричнаго, и спрашивать себя: еслибы я родился въ средѣ этихъ людей, для которыхъ весь капиталъ это ихъ руки, чтѣ бы я требовалъ отъ правителя? То, чтѣ здравый смыслъ въ такомъ случаѣ указалъ бы ему, его обязанность — привести въ исполненіе“. Но какъ самъ Фридрихъ II не слѣдовалъ вовсе собственнымъ указаніямъ и, напротивъ, всячески содѣйствовалъ обогащенію дворянства въ ущербъ неимущимъ классамъ, изъ которыхъ войны высасывали послѣднюю кровь вмѣстѣ съ послѣдними крохами ихъ добра, точно такъ же и Бисмаркъ въ той системѣ налоговъ, которую онъ рекомендуетъ, развиваетъ мысль, что самые выгодные налоги, это тѣ, которые падаютъ на массу народа, и что налоги, специально направленные на богатыхъ, въ сущности самые вздорные, мало приносящіе дохода, и потому эти налоги должны быть оставлены въ сторонѣ. Исходя отсюда, Бисмаркъ, когда явилась необходимость установить новые налоги, настаивалъ на такихъ, которые всею тяжестью должны были падать на неимущіе классы,

какъ-то налогъ на спиртные напитки, на соль и т. п. Бисмаркъ лучшими налогами считаетъ косвенные, а не прямые налоги. Прямые слишкомъ „грубо“ падаютъ на облагаемыхъ, высказываетъ онъ. О томъ налогѣ, который въ настоящее время признается лучшими умами самымъ справедливымъ налогомъ, о томъ, который долженъ быть введенъ во всѣхъ государствахъ и въ пользу котораго высказались наши земства, именно о подоходномъ налогѣ, Бисмаркъ весьма невысокаго мнѣнія. Это, по его мнѣнію, налогъ самый вздорный, о которомъ не должно быть и рѣчи. Свои финансовыя воззрѣнія, сводящіеся къ наибольшему обложенію немущихъ и къ наименьшему имущихъ, Бисмаркъ впрочемъ не облачаетъ въ грубую, рѣзкую форму. Никто такъ искренно не принимаетъ къ сердцу интереса немущихъ классовъ; онъ вполне раздѣляетъ тѣ воззрѣнія, которыя высказывалъ Фридрихъ II, но онъ только, если вполне довѣрять его словамъ, трезво смотритъ на вещи и терпѣть не можетъ сантиментальничать съ народомъ. Говорить о томъ, что налоги падаютъ всею тяжестью на бѣдныхъ и нисколько не обременяютъ богатыхъ, это значить, какъ говорить князь Бисмаркъ, только возбуждать одинъ классъ противъ другого. „Что дѣлалъ,—спрашиваетъ нѣмецкій канцлеръ,—какъ не возбуждалъ бѣдныхъ противъ богатыхъ, тотъ депутатъ, который, критикуя налоги на спиртные напитки, указывалъ, съ одной стороны, на ничтожную долю обложенія, которая упадетъ на бароновъ финансовъ, какъ онъ называетъ ихъ, въ налогахъ съ желѣзныхъ дорогъ, и съ другой стороны выставилъ, какъ каждый изъ такихъ налоговъ обременяетъ, говоритъ онъ, извѣстныя категоріи рабочихъ, путешествующихъ въ четвертомъ классѣ? Неужели г. депутатъ не чувствовалъ, что, говоря такимъ образомъ онъ дѣлалъ именно то, что осуждалъ самъ такъ строго и такъ справедливо? Таково было мое впечатлѣніе,—продолжаетъ Бисмаркъ,—и я просилъ бы васъ устранить подобнаго рода аргументы. Если есть нѣсколько лицъ дѣйствительно чрезвычайно богатыхъ, то я могу только сожалѣть, что есть не много такихъ, такъ какъ налогъ на доходъ доставилъ бы тогда дѣйствительно большія средства, и мы бы не были поставлены въ необходимость облагать источники матеріальныхъ удовольствованій, которые мы съ такимъ удовольствіемъ предоставили бы бѣднымъ. Большія состоянія, къ несчастью, слишкомъ рѣдки, чтобы подоходный налогъ могъ

доставить важные результаты". Устраняя подоходный налогъ, какъ такой, который не можетъ доставить необходимыхъ средствъ, Бисмаркъ приходитъ къ выводу о необходимости усилить тѣ косвенные налоги, которые всею тяжестью падаютъ на немущіе классы. Свои воззрѣнія онъ облачаетъ въ самую либеральную форму, хотя и весьма рѣзко нападаетъ на тѣхъ, которые слишкомъ много толкуютъ о бѣдности народа.

„Цѣль,—говоритъ онъ,—которую каждый изъ насъ имѣетъ передъ собою,—это организовать налоги такимъ образомъ, чтобы они доставляли одинаковую сумму съ наименьшимъ обремененіемъ плательщиковъ. Весь вопросъ заключается въ томъ, какіе же налоги обладаютъ этою добродѣтелью. Во всякомъ случаѣ, по крайней мѣрѣ для немущихъ классовъ, это не прямые налоги; человѣкъ, который имѣетъ сто тысячъ талеровъ годового дохода, можетъ при случаѣ заплатить 80 процентовъ; но есть другія лица, которые не всегда имѣютъ средства заплатить подушную подать—эту послѣднюю ступень въ классификаціи налога. Я не причисляю прямыхъ налоговъ,—которые тяготеютъ на плательщикъ съ извѣстною грубостью, имѣетъ ли онъ состояніе или нѣтъ,—къ числу легкихъ налоговъ. Я не могу точно также считать таковыми тѣ, которые падаютъ на первыя потребности жизни, на хлѣбъ и на соль; и еслибы я сталъ рисовать передъ вами картину, какъ жестоко лишать бѣдняка его трубки и подкрѣпляющаго силы напитка, и еслибы я говорилъ такимъ образомъ, зная хорошо, что я продолжаю требовать у бѣдняка подушную подать и налогъ на хлѣбъ, я былъ бы достаточно честенъ передъ моею совѣстью, чтобы спросить себя, съ какою цѣлью я прибѣгаю къ этому лицемерному сантиментальничанью“.

Однимъ словомъ, и въ этомъ вопросѣ, вопросѣ о налогахъ, какъ и во всякомъ другомъ, о которомъ высказывался Бисмаркъ, на первомъ планѣ стоитъ у него политическая цѣль—устройство сильнаго государства, достигнуть которой онъ рѣшился какою бы ни было цѣною. Во всемъ, что хотя косвенно касалось этой цѣли,—а у Бисмарка все касалось ея,—онъ уже не видѣлъ ничего другого. Какой бы вопросъ ни возникалъ передъ нимъ, онъ смотрѣлъ на него непремѣнно съ точки зрѣнія этой цѣли, осуществить которую взялся онъ, князь Бисмаркъ, а слѣдовательно онъ и вправдѣ

топтать все, что становится помехой для него, а следовательно и для его цели. Таким образом, эту цель вводил он во все свои речи, и в речах, посвященных финансам государства, новым налогам, он целую половину посвящает чистой политике. Его финансовые речи пересыпаны подобными вставками: „Я говорю, что ваша действительная критика, которая заключается в том, чтобы отнимать у нас необходимые средства для управления, в таком только случае может быть оправдана, если вы готовы заступить мое место и управлять сами страной с теми самыми средствами, которые вы признаете достаточными для меня. Когда вы будете на том месте, на котором нахожусь я, господа,—говорил Бисмарк, вызывая на сцену грозный призрак внешнего врага, нападающего на Германию,—тогда я желал бы посмотреть на того, который будет иметь смелость взять на себя ответственность обезоружения нашей страны в эту минуту и отнять у нации ту гарантию мира, которая заключается в ее собственной силе. В другой стране и с официального места,—припоминал Бисмарк в 1869-м году слова, произнесенные маршалом Нислем,—было сказано: „Мир Европы покоится на шпаге Франции“. Я ссылаюсь буквально на эти слова, чтобы самому ни слова не сказать о предмете, о котором я говорю весьма неохотно; но что эти слова, примененные к каждому государству: что каждое государство, ревнивое к своей чести и к своей независимости, должно также иметь сознание, что его мир и его безопасность покоятся на *собственной шпаге*, справедливы — я думаю, господа, что в этом мы все согласны“. Вот та точка зрения, с которой он смотрел на финансы, на введение тех или других налогов,—точка зрения, имеющая весьма мало общего с какою-нибудь финансовою системою, проводимую государственным человеком.

Тяжелъ или легокъ какой-нибудь налогъ, Бисмаркъ рѣшалъ смотря потому, въ какой мѣрѣ онъ нуждался въ средствахъ. Мы видѣли, напр., что, разсуждая о налогѣ на спиртные напитки, онъ признавалъ весьма тяжелымъ налогомъ—налогъ на соль. Но проходитъ два-три года, и для Бисмарка тотъ же самый налогъ на соль въ 1872 году кажется уже не только не тяжелымъ, но легкимъ налогомъ, весьма мало обременяющимъ неимущіе классы. Въ

ставить себѣ людей, которые, обратившись къ одному человѣку, сказали бы ему: мы васъ ставимъ надъ нами, потому что мы любимъ рабство, и мы предоставляемъ вамъ власть управлять по вашему усмотрѣнію нашими мыслями? Они, напротивъ, сказали бы: мы нуждаемся въ васъ, чтобы поддерживать законы, которыми мы хотимъ повиноваться, чтобы вы управляли нами разумно, чтобы вы защищали насъ: во всякомъ случаѣ мы требуемъ, чтобы вы уважали нашу свободу. Вотъ какое рѣшеніе было постановлено; оно безапелляціонно, и эта терпимость такъ выгодна обществу, гдѣ она установлена, что она составляетъ счастье государства. Когда вѣроисповѣданіе свободно, все спокойно, въ то время, какъ преслѣдованія даютъ поводъ къ самымъ кровавымъ религіознымъ распрямъ, самымъ гибельнымъ и разрушительнымъ“. Въ отношеніи этой свободы вѣроисповѣданій, свободы совѣсти, которую проповѣдуетъ другъ и ученикъ Вольтера, Бисмаркъ строго слѣдуетъ указанію Фридриха II. Онъ высказывается рѣшительно въ пользу этого единственно разумнаго принципа, говоря: „Я вполне соглашаюсь съ принципомъ, что всякое исповѣданіе должно пользоваться полною свободою дѣйствій, полною свободою вѣрованія“. Пусть каждый гражданинъ государства вѣритъ во что онъ хочетъ, пусть онъ молится какому хочетъ Богу, пусть онъ ни во что не вѣритъ и принадлежитъ къ такъ называемымъ свободнымъ мыслителямъ; до тѣхъ поръ, пока онъ своимъ вѣрованіемъ или безвѣріемъ не стѣсняетъ свободу другихъ лицъ, до тѣхъ поръ государство обязано защищать его, потому что государство не можетъ и не должно имѣть власти, какъ выражался Фридрихъ II, надъ совѣстью и мыслями гражданъ. Бисмаркъ вполне соглашается съ этимъ началомъ, которое, объявляетъ онъ, служитъ ему исходною точкою въ религіозныхъ вопросахъ. „Всякій догматъ, хотя бы мы и не вѣрили и не признавали его, но котораго держатся милліоны и милліоны гражданъ страны, долженъ быть священъ для ихъ согражданъ и для правительства. Но мы не можемъ допустить, съ рѣшительностью произносить Бисмаркъ,—чтобы духовная власть присвоивала себѣ право, на которое она претендуетъ,—право владѣть частью государственной власти, и насколько она обладаетъ этимъ правомъ, мы вынуждены, въ интересахъ спокойствія, ограничить ее, чтобы мы могли жить рядомъ другъ съ другомъ, чтобы мы не враждовали другъ

съ другомъ, наконецъ чтобы мы по возможности менѣе вынуждены были беспокоиться здѣсь о теологiи“.

Но какъ бы сильны ни были эти рѣчи, въ нихъ слышится постоянно то же, что и во всѣхъ остальныхъ рѣчахъ князя Бисмарка. Онъ не вызванъ глубокимъ убѣжденiемъ въ справедливости и полезности этого принципа; свобода религiи, отдѣленiе церкви и государства—не то, чего жаждетъ достигнуть Бисмаркъ; эти вопросы являются у него не цѣлью, а средствомъ—средствомъ разбить на-голову своихъ политическихъ враговъ, нанести вѣскій ударъ образовавшейся коалиціи католико-феодално-польской. Однимъ словомъ, и тутъ воззрѣніе его на свободу религiи, на права церковной власти обуславливается не убѣжденiемъ въ правотѣ извѣстнаго принципа, а исключительно пользою, выгодою политическою, которую онъ жаждетъ извлечь изъ проведенiя въ политическую жизнь подобнаго принципа. Онъ встрѣтился тутъ съ Фридрихомъ II не потому, чтобы въ этомъ вопросѣ онъ былъ такимъ же послѣдователемъ и защитникомъ свободы совѣсти, какимъ былъ прусскій король-философъ, а только потому, что эта свобода подошла, такъ сказать, подъ его политическія стремленiя. Въ противномъ случаѣ Бисмаркъ разсуждалъ бы иначе, и вотъ тому доказательство: „Когда я возвратился изъ Франціи,—говорилъ Бисмаркъ въ январѣ 1872 года,—я былъ подъ тѣмъ впечатлѣнiемъ и питалъ вѣру, что въ католической церкви правительство найдетъ себѣ помощь, быть можетъ помощь нѣсколько неудобную и пользоваться которою нужно было бы съ осторожностью. Я тревожился вопросомъ: какъ мы примемся за дѣло, видя передъ собою друзей нѣсколько требовательныхъ, когда вопросъ идетъ объ удовлетворенiи ихъ съ политической точки зрѣнiя, какъ мы поступимъ, чтобы жить съ ними въ тѣсной дружбѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ не отдѣлаться отъ большинства страны? Этотъ вопросъ былъ у меня на первомъ планѣ каждый разъ, что я думалъ о внутреннихъ дѣлахъ. Я былъ въ дѣйствительности удивленъ, когда я увидѣлъ ту позицію, которую заняла мобилизованная армія этой партіи. Но я тщательно воздерживался отъ того, чтобы что-либо сказать по этому поводу въ первомъ рейхстагѣ; вопросъ, говорилъ я себѣ, слишкомъ важенъ; подождемъ, посмотримъ, какъ станетъ эта партія развиваться, другъ она намъ или недругъ, и я молчалъ“. Бисмаркъ надѣялся, что эта строгая

католическая партія оказать ту помощь, которая „воздастъ цесарю цесарево“, и что она будетъ содѣйствовать укрѣпленію въ низшихъ слояхъ чувства преданности и уваженія къ правительству. Бисмаркъ былъ пораженъ, какъ онъ сознается и самъ, что эта католическая партія, вмѣсто того, чтобы поддерживать въ народѣ любовь къ правительству, вдругъ обрушилась на него и всячески начала стараться подрывать въ глазахъ народа правительственный авторитетъ, строго критикуя каждое его дѣйствіе, каждый поступокъ, проливая свѣтъ на то, „въ чемъ можно упрекнуть наше правительство, какъ и каждое правительство, въ виду того, что въ человѣческихъ дѣлахъ нѣтъ совершенства“. Съ этой минуты, когда Бисмаркъ убѣдился во враждебныхъ чувствахъ этой партіи, дѣло католической церкви было рѣшено. „Я всегда считалъ хорошимъ принципъ быть другомъ друга, и если не врагомъ врага, то противникомъ противника“. Этотъ принципъ примѣненъ нѣмецкимъ канцлеромъ и въ католическомъ вопросѣ, и въ умѣ его было — нанести ударъ католицизму.

Лучшимъ ударомъ католицизму могла быть реформа народнаго образованія, а именно законъ о надзорѣ за народными школами, которому Бисмаркъ и посвятилъ нѣсколько рѣчей. Какъ въ вопросѣ свободы религіи, отдѣленія церкви и государства, онъ становится на чисто практическую почву и рассматриваетъ этотъ вопросъ съ точки зрѣнія борьбы партій, съ точки зрѣнія усиленія правительственной власти и пораженія клерикальной оппозиціи, точно также и на вопросъ о народномъ образованіи онъ смотритъ исключительно съ узкой точки зрѣнія побѣды надъ выжившимъ изъ ума клерикализмомъ. Въ обсужденіи этого вопроса онъ не вноситъ широкаго плодотворнаго взгляда, онъ не бьетъ своихъ противниковъ преимуществомъ принципа свѣтскаго образованія передъ принципомъ клерикальнаго; нѣтъ, всѣ свои аргументы онъ черпаетъ въ необходимости вырвать сильное оружіе анти-правительственной пропаганды изъ рукъ своихъ противниковъ. И тутъ мы должны сказать еще разъ то же, что говорили уже нѣсколько разъ: сильный государственный умъ, пролагающій новые пути, богатый идеями, поставилъ бы этотъ вопросъ, въ виду той же борьбы, на совершенно иную почву. Такой же практическій государственный человѣкъ, какъ Бисмаркъ, откровенно говоритъ, какая причина за-

ставляет его желать отнять у духовенства его всемогущество въ дѣлѣ первоначальнаго образованія: „Мы требуемъ практическаго оружія для защиты; принципы въ подобномъ вопросѣ скорѣе разъединяють, нежели соединяють“. Итакъ, принципъ въ сторону, важно только „практическое оружіе“ въ борьбѣ съ новымъ для современной Германіи врагомъ.

Въ заключеніе обзора рѣчей князя Бисмарка, касающихся внутренней политики, остановимся еще на одномъ вопросѣ изъ области нравственныхъ интересовъ государства и посмотримъ, что думаетъ о немъ знаменитый канцлеръ Нѣмецкой Имперіи. Мы подразумеваемъ вопросъ о смертной казни, вызвавшій въ рейхстагѣ такіа оживленныя пренія и рѣшенный имъ не въ смыслѣ прогресса, исключительно благодаря вліянію Бисмарка. На этомъ вопросѣ тѣмъ болѣе слѣдуетъ остановиться, что рѣчь нѣмецкаго канцлера принадлежитъ къ лучшимъ его рѣчамъ въ отношеніи силы и ораторскаго искусства, хотя съ воззрѣніями князя Бисмарка въ этомъ вопросѣ еще менѣе можно согласиться, чѣмъ со всѣми остальными его идеями. Бисмаркъ, мы видѣли, вообще терпѣть не можетъ обобщеній, развитія идей; онъ предпочитаетъ въ каждомъ вопросѣ замыкаться въ тѣсныя рамки, указываемыя политическою пользою или политическимъ вредомъ, проистекающимъ изъ того или другого взгляда, того или другого рѣшенія. Но въ рѣчи, посвященной смертной казни, князь Бисмаркъ нѣсколько отступаетъ отъ своей обычной манеры и вдается въ такіа общія разсужденія, которыя проливаютъ свѣтъ на самыя сокровенныя философскія воззрѣнія князя Бисмарка о жизни, безсмертіи души и т. п. Его философія—скудная, бѣдная, но приноровленная къ его практическимъ политическимъ воззрѣніямъ, далеко, однако, не лишена интереса.

Во время обсужденія въ рейхстагѣ сѣверо-германскаго уголовного кодекса, двое депутатовъ внесли предложеніе объ отмѣнѣ смертной казни. Значительное большинство было расположено принять это предложеніе, противъ котораго рѣшительно возсталъ федеральный совѣтъ, хотя и тутъ были голоса, требовавшіе исключенія смертной казни изъ системы наказаній. Большинство же федеральнаго совѣта, въ которомъ Пруссія имѣетъ такое преобладающее значеніе, ни подъ какимъ условіемъ не желало допустить такой отмѣны, точно опасаясь, что уничтоженіе смертной казни подвергнетъ государство неминуе-

мому разрушенію. Бисмаркъ явился въ рейхстагъ представителемъ этого большинства и пустилъ въ ходъ всю силу своего убѣжденія, всѣ свои привычныя приемы и уловки, чтобы восторжествовать надъ оппозиціоннымъ большинствомъ рейхстага. Стоитъ ли такъ много говорить, стоитъ ли поднимать такой шумъ изъ-за смертной казни?—вотъ первый вопросъ, которымъ задается Бисмаркъ. „Мнѣ кажется,—говоритъ онъ,—что противники смертной казни преувеличиваютъ цѣну, которую они даютъ жизни, и важность, которую они приписываютъ смерти“. Бисмаркъ держится того воззрѣнія, которое такъ давно уже выражено было стихами нашего поэта:

А жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ,
Какая пустая и глупая шутка!

и которое въ болѣе серьезной формѣ отлилось въ той нѣмецкой философіи отчаянія, которую такъ недавно проповѣдовалъ Гартманъ въ своемъ сочиненіи, получившемъ громкую извѣстность. Жизнь въ сущности вздоръ, о которомъ вовсе не стоитъ такъ много заботиться; посмотрите, сколько людей умираетъ на фабрикахъ, заводахъ, желѣзныхъ дорогахъ и т. п., и однако никто не приходитъ въ отчаяніе, никто даже не говоритъ объ этомъ; всѣ считаютъ, что это въ порядкѣ вещей. „У васъ поднимаются какія-то угрызенія въ такое время, которое не обладаетъ вообще сердцемъ, слишкомъ чувствительнымъ къ человѣческой жизни. Сколько существованій ставится на карту ради удобствъ общества, ради потребностей промышленности. Сколько случаевъ смерти вслѣдствіе взрывовъ паровыхъ машинъ, сколько въ рудникахъ, на желѣзныхъ дорогахъ, на фабрикахъ, гдѣ ядовитыя пары разрушаютъ здоровье работника,—и все-таки никому не приходится на умъ, ради сохраненія человѣческой жизни, наложить запрещеніе на тѣ услуги, которыя оказываются этими отраслями промышленности удобству и благосостоянію общества“. Тутъ, очевидно, логика нѣсколько измѣняетъ нѣмецкому министру, потому что иначе для него было бы ясно, что онъ сравниваетъ вещи совершенно неудобосравнимыя.

Изъ вѣры въ будущую жизнь Бисмаркъ дѣлаетъ аргументъ въ пользу смертной казни. Жизнь земная—пустяки, онъ не ставитъ ее ни въ грошъ, но онъ цѣнитъ очень высоко жизнь на небѣ, которую нельзя отнять у человѣка. Еслибы земную жизнь онъ такъ же цтилъ,

какъ небесную, тогда, по всей вѣроятности, Бисмаркъ не былъ бы такимъ горячимъ сторонникомъ смертной казни. „Я понимаю, — говоритъ онъ, — что тотъ, кто не вѣритъ въ продолженіе человѣческаго существованія послѣ тѣлесной смерти, считаетъ смертную казнь болѣе строгою, нежели она является въ глазахъ человѣка, сохраняющаго вѣру въ безсмертіе души, дарованную ему Богомъ; но ближе изслѣдуя этотъ вопросъ — даже съ первой точки зрѣнія, я съ трудомъ могу допустить различіе воззрѣній. Для того, кто лишенъ этой вѣры — что касается до меня, я храню ее въ моемъ сердцѣ — что смерть есть только переходъ изъ одной жизни въ другую, и что мы можемъ даже самому закоренѣлому преступнику, на краю могилы, дать утѣшительное обѣщаніе: *post janua vitae*, — для того, говорю я, который не раздѣляетъ этого вѣрованія, радости жизни должны имѣть такую цѣну, что я почти завидую тѣмъ ощущеніямъ, которыя онъ ему доставляютъ“... Изъ этого разсужденія, повидимому, Бисмаркъ долженъ былъ сдѣлать заключеніе, что для такого человѣка смертная казнь представляется дѣйствительно какимъ-то поруганіемъ надъ всѣмъ, что для него дорого; но такъ разсуждалъ бы простой смертный — князь же Бисмаркъ дѣлаетъ иной выводъ: для сохраненія всѣхъ благъ жизни приходится такъ много тратить заботы, труда, что, имѣя „убѣжденіе, что съ тѣлесною смертію навсегда оканчивается его личное существованіе“, жизнь вовсе не заслуживаетъ того, чтобы ее стоило жалѣть. Однимъ словомъ, разсужденія Бисмарка о земной и небесной жизни, по примѣненію къ смертной казни, сводятся къ слѣдующему: если существуетъ небесная жизнь, въ чемъ нельзя сомнѣваться, тогда нечего страшиться смертной казни, такъ какъ преступнику оставляется лучшая, будущая жизнь; если же существованіе человѣка оканчивается на землѣ, тогда нечего бояться смертной казни, такъ какъ отнять у человѣка всѣ радости жизни и оставить ему одно только жалкое существованіе въ тѣсномъ казематѣ тюрьмы — это еще болѣе жестоко, чѣмъ отнять у человѣка вовсе жизнь! Если бы тутъ шелъ вопросъ объ аргументахъ про и contra смертной казни, а не излагалось только воззрѣніе князя Бисмарка на этотъ важный вопросъ, тогда противъ довода нѣмецкаго канцлера можно было бы привести самый простой и элементарный доводъ, заимствованный изъ опыта жизни. Ему можно было бы предложить спросить у любого приговореннаго къ смертной казни, желаетъ ли онъ, чтобы

[illegible][illegible][illegible]

ствительной силы, спасительнаго впечатлѣнія, производимаго ею ради огражденія мирныхъ гражданъ, — доказательство тому, что вы сами желаете сохранить смертную казнь въ нѣкоторыхъ случаяхъ, гдѣ рѣшительно необходимо гарантировать безопасность, давая ей дѣйствительную и сильную охрану. Вслѣдствіе какого мотива вы хотите сохранить это наказаніе во время осаднаго положенія и также, я не сомнѣваюсь, въ арміи и флотѣ, т.-е. тамъ, гдѣ вы считаете необходимымъ наиболѣе оградить спокойствіе, порядокъ и повиновеніе закону“? Если противники смертной казни, справедливо заключаетъ Бисмаркъ, признають ее въ нѣкоторыхъ случаяхъ, то это значитъ, что они признають за нею болѣе дѣйствительной силы, чѣмъ за какимъ-либо другимъ наказаніемъ; если же это такъ, то они обязаны также оградить эти болѣе дѣйствительнымъ наказаніемъ — мирнаго гражданина противъ нападеній разбойниковъ и убійцъ. „Если вы допускаете смертную казнь въ мѣрахъ предупредительныхъ, то точно также и еще болѣе должны допустить ее въ мѣрахъ карательныхъ“. Вы позволяете, произносить Бисмаркъ, стрѣлять въ работниковъ, которые во время возмущенія осаждаютъ контору или лавку булочника; при этомъ кто знаетъ, будетъ ли убитъ виновный, или невинный... Такимъ образомъ, для охраненія собственности булочника, для охраненія конторы, государство можетъ наложить смерть; а для того, чтобы ограждать мирнаго гражданина противъ опасности, что какой-нибудь воръ-убійца прокрадется въ его домъ, перерѣжетъ подлужины членовъ его семьи, вы отказываете государству въ этомъ самомъ правѣ наказывать смертью. Конечно, и этотъ доводъ князя Бисмарка вовсе не представляется особенно сильнымъ; большая разница между убійствомъ во время возмущенія, гдѣ обѣ стороны находятся болѣе или менѣе въ равномъ положеніи, — гдѣ если и возможно стрѣлять по работникамъ, то вѣдь и работники имѣють возможность стрѣлять въ свою очередь, — и убійствомъ по приговору суда, гдѣ оно совершается на законномъ основаніи.

„Или вы должны — говорилъ далѣе Бисмаркъ — совершенно отнять у власти право убивать, или это право нужно оставить въ мѣрахъ карательныхъ, а не только при принятіи предупредительныхъ мѣръ; вы не должны, но крайней мѣрѣ въ теоріи, ставить огражденіе собственности выше огражденія личности“. Протестъ противъ смертной казни, раздающійся во всѣхъ концахъ цивилизованнаго міра, Бис-

маркъ вовсе не признаетъ указаніемъ прогресса, смягченія нравовъ, развитія болѣе гуманныхъ чувствъ и болѣе гуманныхъ понятій; съ его точкѣ зрѣнія этотъ протестъ есть не что иное какъ несчастная болѣзнь нашего времени,—боязнь отвѣтственности. „Эта боязнь отвѣтственности—говоритъ онъ—есть болѣзнь, — я повторяю это,— которая заразила всю нашу эпоху, болѣзнь, которая коснулась даже людей, стоящихъ на самомъ верху человѣческой іерархіи“. Одинъ только человѣкъ не знаетъ страха этой отвѣтственности, и этотъ человѣкъ—самъ князь Бисмаркъ, но зато онъ и превозноситъ это безстрашіе передъ отвѣтственностью. Онъ призываетъ на помощь Провидѣніе, чтобы оно пособило убѣдить ему людей, стоящихъ на стражѣ закона, чтобы они побѣдили въ себѣ эту „болѣзненную сантиментальность нашего времени“. Но, несмотря на всѣ философскія разсужденія князя Бисмарка, несмотря на всѣ его варіаціи на тему: „жизнь вовсе не самое драгоценное изъ благъ“,—рѣчь Бисмарка не поколебала большинства рейхстага, и уже блеснула надежда, что сѣверогерманскій союзъ сослужитъ великую службу человечеству, вычеркнувъ изъ системы наказаній смертную казнь. Но тамъ, гдѣ не подѣйствовали философскія разсужденія, побѣдили доводы, затрогивавшіе чувствительную струну единства нѣмецкаго народа. И въ этомъ вопросѣ Бисмаркъ остается вѣренъ себѣ; онъ сводитъ вопросъ о смертной казни на вопросъ чисто политическій: вы хотите разрушить единство, которое стоило намъ столько жертвъ, столько крови, вы хотите уничтожить трудъ, составляющій славу нашихъ юристовъ, трудъ, который имѣлъ свою цѣль надѣлать единую Германію единымъ уголовнымъ кодексомъ! Что за бѣда, если въ Саксоніи и великомъ герцогствѣ Ольденбургскомъ смертная казнь была уже отмѣнена; введите ее снова, этимъ вы сдѣлаете шагъ впередъ, а вовсе не назадъ. „Мы всегда имѣли передъ глазами нашу національную цѣль; мы не смотрѣли ни направо, ни налево; мы не спрашивали, не наносимъ ли мы кому-нибудь раны въ его самыхъ дорогихъ убѣжденіяхъ. Изъ этого духа, господа, мы извлекали всю нашу силу, нашу смѣлость, наше могущество, чтобы дѣйствовать такъ, какъ мы дѣйствовали. Если этотъ духъ насъ покинетъ, если мы перестанемъ имъ вдохновляться, если мы отступимся отъ него передъ лицомъ нѣмецкаго народа и его сосѣдей, мы засвидѣтельствуемъ тѣмъ самымъ, что сила энергіи, которою мы обладали три года назадъ на этомъ самомъ

мѣстѣ, когда мы приступали къ дѣлу, что эта сила притупѣла въ дрязгахъ партикуляризма, — партикуляризма государствъ, партикуляризма партій. Господа, этотъ источникъ, изъ котораго мы черпали право быть сильными и давить подъ нашею желѣзною ногою все, что мѣшало бы возстановленію нѣмецкой націи во всемъ ея блескѣ и могуществѣ...“ Громъ рукоплесканій покрылъ слова князя Бисмарка, произнесенныя имъ за два мѣсяца до французской войны 1870 года, и этихъ словъ было довольно, чтобы народные представители поспѣшили принести на алтарь единства нѣмецкой націи еще одну жертву: смертная казнь была сохранена въ сѣверо-германскомъ уложеніи.

Если Бисмаркъ побѣдилъ оппозиціонное большинство и не допустилъ нѣмецкій рейхстагъ оставить по себѣ великую память, если онъ настоялъ, чтобы смертная казнь была сохранена въ принципѣ, то ему не трудно было уже настоять на томъ, чтобы кругъ примѣненія ея не былъ суженъ. Значительное большинство противилось ея примѣненію къ политическимъ преступленіямъ, но новая рѣчь Бисмарка заставила смолкнуть голосъ этого большинства и волю его повернула иначе. Вѣрный своей манерѣ, князь Бисмаркъ сводитъ вопросъ о смертной казни въ политическихъ преступленіяхъ на практическую почву и, напоминая о тѣхъ покушеніяхъ, которыя дѣлались противъ жизни нѣмецкаго императора, когда онъ былъ еще только просто прусскимъ королемъ, говоритъ: „Вы должны будете, поддерживая вашу теорію, утвердительно отвѣтить на вопросъ: имѣетъ ли кто-либо, на будущее время, право стрѣлять въ прусскаго короля безъ того, чтобы за свое покушеніе онъ подвергался смертной казни“? Такимъ образомъ, и въ этомъ вопросѣ Бисмаркъ одержалъ полную побѣду.

Изучивъ по рѣчамъ Бисмарка характеръ воззрѣній его на всѣ главныя вопросы внутренняго управленія, внутренней политики, мы видимъ, какъ просты, какъ несложны основныя положенія той практической государственной философіи нашихъ дней, блестящимъ представителемъ которой является канцлеръ Нѣмецкой Имперіи. Суровый съ врагами, снисходительный къ друзьямъ, но снисходительный подъ условіемъ, чтобы они были покорными исполнителями его воли, деспотъ по существу своей натуры, конституціонный правитель по формѣ, князь Бисмаркъ, чуждый всякихъ строгихъ принциповъ, не при-

знаетъ иного закона, кромѣ закона своей воли. Конституція, парламентаризмъ, свобода слова, свобода совѣсти и всякія другія свободы представляются ему если и не пустыми звуками, то, во всякомъ случаѣ, чѣмъ-то мало заслуживающимъ уваженія. Но всѣмъ нужно пользоваться, все должно служить средствомъ, будетъ ли то средство реакціонное или революціонное—все равно, лишь бы оно вело къ достиженію предначертанной цѣли, которая лично для князя Бисмарка заключается въ исполненіи завѣщаннаго Фридрихомъ II-мъ—устроить сильное, могущественное нѣмецкое государство.—Но для чего? Какой-нибудь Вашингтонъ отвѣтилъ бы на этотъ вопросъ: для счастья народа! Едва-ли, однако, судя по рѣчамъ и дѣйствіямъ Бисмарка, объясняющимъ другъ друга, онъ былъ бы искрененъ, еслибы далъ такой же отвѣтъ. На тотъ вопросъ Бисмаркъ, пожалуй, предложилъ бы въ свою очередь вопросъ: а для чего созданъ міръ, для чего созданы люди?..

VII.

Познакомившись съ главными чертами общей фигуры князя Бисмарка и съ воззрѣніями его на вопросы внутренней политики, мы можемъ перейти теперь къ тому отдѣлу, который раскрываетъ передъ нами личность энергическаго послѣдователя Фридриха II во всемъ ея значеніи, во всей ея силѣ. Отдѣлъ этотъ—внѣшняя политика.

Мы видѣли, что міросозерцаніе князя Бисмарка, во всемъ, что касается внутренней жизни государства, не отличается ни особенною глубиною, ни особенною твердостью какихъ-нибудь принциповъ. Устроитель „единой“ Германіи не бросилъ на бѣдную политическую почву нѣмецкаго государства сѣмена тѣхъ широкихъ идей, тѣхъ благодатныхъ началъ, которыя, проникнувъ во внутреннюю жизнь народа, пускаютъ изъ себя крѣпкіе и несокрушимые корни, служащіе какъ бы порукой мощнаго политическаго и нравственнаго развитія общества. Ему чужды подобныя идеи, въ немъ не находятъ себѣ сочувствія тѣ начала государственной жизни, которыя провозглашены избранными умами европейской цивилизаціи.

Какъ несправедливы были бы обвиненія князя Бисмарка въ томъ,

что его идеаль внутреннего государственнаго организма есть идеаль ретроградный, реакціонный, идеаль à la Меттернихъ, точно такъ же невѣрно было бы утверждать, что его идеаль есть идеаль либеральный, отвѣчающій потребностямъ и требованіямъ вѣка, получившаго въ наслѣдство гуманныя и справедливыя идеи, завѣщанныя концомъ XVIII-го столѣтія.

Бисмаркъ, являющійся воплощеніемъ практическаго государственнаго человѣка, не знаетъ никакого идеала. Его воззрѣнія, его отношенія къ тому или другому вопросу внутренней жизни обуславливаются данной минутой, такъ или иначе сложившимися обстоятельствами. Бисмаркъ не чувствуетъ себя скованнымъ неразрывною цѣпью опредѣленныхъ идей и принциповъ, которые должны быть послѣдовательно проводимы въ жизнь; онъ вырывается изъ этой цѣпи, смотря по надобности, то или другое звено и прицѣпляетъ его къ совершенно иному звену, совершенно иной цѣпи идей и принциповъ. Вотъ отчего, какъ читатель могъ уже убѣдиться, одна государственная мѣра, одно воззрѣніе нѣмецкаго канцлера не обуславливаютъ собою другой мѣры, другого воззрѣнія; вотъ почему начала искренно реакціонныя какъ-то оригинально сочетаются у него и мирятся съ началами чуть не революціонными.

Всякая попытка подвести его политику подъ то или другое опредѣленіе была бы напрасна, она не уживается ни съ какою кличкою, потому что политика его есть личная, не признающая для себя обязательнымъ иного закона, кромѣ закона своей личной воли. Подчиненіе этой волѣ—вотъ одно, чтò съ величайшею послѣдовательностью проводитъ князь Бисмаркъ въ своей политикѣ. Но достаточно ли этого одного, чтобы прицѣпить къ имени нѣмецкаго канцлера некрасивый ярлыкъ: „деспотъ“—и затѣмъ считать, что вся его характеристика исчерпана, что направленіе его политики опредѣлено однимъ этимъ словомъ? Мы думаемъ, что нѣтъ. Деспотъ деспоту рознь. И Петръ Великій, и Фридрихъ II, и Кромвель, и Робеспьеръ съ Сенъ-Жюстомъ могутъ быть названы деспотами; но между ихъ деспотизмомъ и деспотизмомъ какого-нибудь Іоанна Грознаго, Альбы, Ричарда III, Наполеона I лежитъ цѣлая бездна. Исторія оправдываетъ и часто ставитъ на безконечную высоту однихъ, признавая, что они осуществляли свою личную волю съ непреклонною рѣшимостью, но осуществляли ее съ убѣжденіемъ, что они служатъ дѣлу государства, народнаго счастья.

Та же исторія казнить на своемъ судѣ другихъ, потому что эти другіе, осуществляя свою волю, были поглощены только личными, мелкими интересами и оставались чужды стремленію содѣйствовать счастью народа или народовъ. Мы хотимъ этимъ сказать, что, имѣя дѣло съ натурою деспотическою, каковою безспорно обладаетъ князь Бисмаркъ, нужно прежде всего узнать, какіе стимулы заставляютъ дѣйствовать человѣка прежде, чѣмъ безусловно осудить его деспотизмъ, его желаніе согнуть все, что только противится его волѣ. Цѣль, конечно, не оправдываетъ средствъ, но она заставляетъ относиться къ нимъ болѣе снисходительно. Опредѣлить степень хорошаго или дурного напѣренія, степень злой или доброй воли—вотъ чего не слѣдуетъ упускать изъ виду при оцѣнкѣ дѣятельности и роли государственнаго человѣка, независимо отъ успѣха или неудачи его политики.

Князь Бисмаркъ свою волю сдѣлалъ закономъ, на всѣхъ его дѣйствіяхъ лежитъ печать деспотической натуры; но, дѣйствуя деспотически, онъ всегда имѣлъ передъ глазами—и въ этомъ его значительное оправданіе—государственные интересы. Эти интересы могли быть имъ дурно поняты, эти интересы могутъ быть въ дѣйствительности противоположными истиннымъ интересамъ народа, но въ этомъ вопросѣ лучший судья, конечно, самъ народъ, среди котораго живетъ и дѣйствуетъ человѣкъ. Мы уже сказали, какими государственными интересами оправдывалъ свою внутреннюю политику князь Бисмаркъ. Интересы эти, или, употребляя еще разъ его выраженіе, „великіе вопросы“, которые онъ имѣлъ передъ своими глазами, заключались въ созданіи сильнаго, могущественнаго государства.

Намъ нужно было напомнить характеръ внутренней политики князя Бисмарка, такъ какъ тѣмъ же характеромъ отличается и вся его внѣшняя политика. Разумѣется, то, что онъ самъ выставялъ въ оправданіе первой, то считалъ онъ, и уже съ болѣшимъ правомъ, оправданіемъ и второй. Нѣмецкій народъ принялъ это оправданіе и не только простилъ „желѣзному“ князю его надменное съ нимъ обращеніе, но отвелъ ему первое мѣсто на Олимпѣ нѣмецкихъ боговъ. Причина понятна. Развѣ Бисмаркъ не осуществилъ завѣтную мечту нѣмецкаго народа, развѣ своею смѣлою до дерзости политикою онъ не создалъ единства Германіи? Систематическіе противники князя Бисмарка возражаютъ на это: да, быть можетъ, онъ и создалъ пресловутое нѣмецкое единство, но развѣ онъ хотѣлъ создать его, развѣ вся

его политика не направлена была къ одной только цѣли — усилить Пруссію, округлить ее, сдѣлать ее сильнымъ, могущественнымъ государствомъ, потопить въ ней Германію, и развѣ это рѣшенный вопросъ, что та страшная государственная масса, которая занимаетъ такое внушительное положеніе въ центрѣ Европы, должна быть названа единою Германією, а не распухнувшею Пруссією? Это вопросъ, который вполне заслуживаетъ того, чтобы на немъ остановиться и, слѣдя шагъ за шагомъ за рѣчами князя Бисмарка, постараться рѣшить, правы ли эти противники, или правы, напротивъ, горячіе сторонники и панегиристы нѣмецкаго канцлера, которые восклицаютъ: князь Бисмаркъ — это великій, небывалый умъ; онъ все предвидѣлъ, все предугадалъ, и въ то время, когда всѣ считали его узкимъ феодаломъ, защитникомъ исключительно прусскихъ интересовъ, въ тайнѣ души своей онъ уже рѣшилъ осуществить мечту нѣмецкаго народа и вызвать къ жизни какъ тѣмъ блуждавшее по нѣмецкой землѣ единство Германіи! Итакъ, думалъ ли князь Бисмаркъ объ этомъ единствѣ, входило ли оно въ предначертанный имъ планъ, или мысль его была поуже и побѣднѣе и ограничивалась созданіемъ сильной, грозной Пруссіи? Вопросъ этотъ долженъ быть рѣшенъ прежде, чѣмъ идти далѣе, онъ стоитъ, такъ сказать, у преддверія внѣшней политики, составляетъ какъ бы предисловіе къ изложенію воззрѣній князя Бисмарка, относящихся къ двумъ отдѣламъ: какъ слѣдуетъ обращаться съ побѣжденными и какъ слѣдуетъ вести себя съ иностранными государствами?

Мы полагаемъ, что какъ неправы систематическіе его противники, утверждающіе, что отъ начала и до конца у него не было въ головѣ ничего иного, кромѣ Пруссіи, такъ неправы и тѣ, которые, на основаніи совершившихся событій, рѣшаютъ, что единство Германіи было постоянною цѣлью князя Бисмарка, съ той самой минуты, когда онъ вступилъ въ управленіе прусскою политикою. Правда, на помощь послѣднимъ является самъ князь Бисмаркъ, когда въ одной изъ своихъ уже позднѣйшихъ рѣчей, произнесенной послѣ французской войны и присоединенія Эльзаса и Лотарингіи, онъ между прочимъ говоритъ: „Когда задача, которою я задался, принимая на себя управленіе иностранною политикою Пруссіи, или, вѣрнѣе, которую я постоянно имѣлъ передъ глазами, т.-е. возстановленіе въ какой бы то ни было формѣ Нѣмецкаго государства — была выполнена...“ Далѣе нечего приводить его слова. Такимъ образомъ, Бисмаркъ прямо утверждаетъ,

что цѣль всей его политики заключалась въ достиженіи нѣмецкаго единства. Мы могли бы привести, да и приведемъ еще не одно мѣсто, въ которомъ Бисмаркъ проводитъ ту же мысль и увѣряетъ, что это единство было его постояннымъ стремленіемъ. Нисколько не заподозривая искренность и чистосердечіе нѣмецкаго канцлера, тѣмъ не менѣе можно смѣло сказать, что на самомъ дѣлѣ это единство далеко не всегда было передъ глазами, и что въ первый періодъ своей дѣятельности онъ весьма мало думалъ о немъ, а если и думалъ, то думалъ со страхомъ, съ какою-то непріязнью. Утверждая же противное, князь Бисмаркъ впадаетъ въ ошибку, изъ которой его могли бы вывести его прежнія рѣчи. Можно, конечно, сказать, что его прежнія рѣчи имѣли только одну цѣль — это отводить глаза отъ истинныхъ его плановъ, но едва ли это было бы справедливо. Прежнія рѣчи дышутъ не меньшею искренностью, какъ и позднѣйшія. Какой же отвѣтъ долженъ быть данъ на поставленный вопросъ и какъ слѣдуетъ объяснить противорѣчивыя „показанія“ самого князя Бисмарка?

Если въ настоящее время князь Бисмаркъ прежде всего нѣмецъ, а потомъ уже пруссакъ, то того же нельзя сказать про то время, когда только открывалась его политическая дѣятельность. Въ то время, напротивъ, онъ былъ прежде всего пруссакъ, а потомъ уже, и то въ самой незначительной степени, нѣмецъ. Нѣмецкое единство представлялось ему какою-то теоріею, слишкомъ любезною всему либеральному, радикальному и революціонному, что было только въ Германіи, чтобы теорія эта могла быть близка его сердцу. Онъ, который не любитъ вообще никакихъ теорій, относился къ теоріи нѣмецкаго единства съ крайне враждебнымъ чувствомъ. Онъ видитъ смыслъ только въ томъ, что носитъ на себѣ практическій характеръ, что можетъ быть практически осуществлено; про все остальное онъ охотно бы сказалъ: все это для меня „тринь-трава, братцы“. Въ то время, въ то мечтательное время нѣмецкой жизни, единство Германіи представлялось тѣсно связаннымъ съ свободою, съ либеральными учрежденіями, чуть не съ разрушеніемъ монархическаго начала. Могло ли такое единство привязать къ себѣ князя Бисмарка, въ тотъ періодъ до мозга костей пропитаннаго еще феодальными принципами? Конечно, нѣтъ! Вотъ почему, когда ему случалось говорить, еще до датской войны, про идею нѣмецкаго единства, то рѣчь его была полна сарказма и какого-то презрительнаго тона. „Должна быть какая-то особенная прелесть —

язвительно отвѣчалъ онъ своимъ противникамъ въ прусской палатѣ— въ этомъ словѣ: „нѣмецкій“; каждый старается присвоить это слово себѣ; каждый называетъ „нѣмецкимъ“ то, что для него полезно, что выгодно для интересовъ его партіи, и, смотря по надобности, мѣняетъ значеніе слова. Отсюда проистекаетъ то, что въ извѣстныя эпохи называютъ „нѣмецкимъ“ дѣломъ оппозицію сейма (въ это время существовалъ еще франкфуртскій сеймъ); въ другія времена держать сторону сейма, превратившагося въ прогрессивный, считаютъ тоже дѣломъ „нѣмецкимъ“. Такимъ образомъ легко можетъ случиться, что насъ потому только обвиняютъ въ нежеланіи имѣть что-либо общее съ Германіей, что мы соблюдаемъ наши собственные интересы. Я могу обратиться къ вамъ—говоритъ Бисмаркъ—съ такимъ же упрекомъ. Вы не хотите имѣть ничего общаго съ Пруссіей, потому что съ точки зрѣнія вашей партіи и въ интересѣ вашей партіи вамъ не угодно, чтобы существовала Пруссія, и потому что вамъ желательно, чтобы Пруссія или вовсе не существовала, или чтобы она была не чѣмъ инымъ, какъ только частію Nationalverein'a“.

Въ одной изъ послѣдующихъ рѣчей, относящихся къ тому же періоду, т.-е. къ концу 1863-го и началу 1864-го гг., Бисмаркъ по поводу шлезвигъ-гольштинскаго вопроса еще рѣшительнѣе выражаетъ, какъ непріятно ему, что въ палатѣ такъ много говорятъ и такъ много хлопчутъ объ интересахъ Германіи, въ то время, когда интересы Пруссіи умышленно забываются и какъ бы совѣстятся говорить о нихъ. „Вы требуете,—говоритъ онъ,—чтобы правительство дѣйствовало въ интересѣ, *хорошо понятомъ*, Пруссіи, Германіи и герцогствъ—въ скобкахъ я вставляю одно замѣчаніе: мы дошли до того, что никто не смѣетъ честнымъ образомъ сказать, что онъ дѣйствуетъ въ интересахъ Пруссіи, что онъ дѣйствуетъ какъ пруссакъ; на этой сторонѣ (лѣвой) почти не имѣютъ смѣлости произнести слово „прусскій“ безъ того, чтобы тотчасъ не прибавить объясненія,—„само собою разумѣется въ смыслѣ нѣмецкихъ интересовъ, правъ Германіи, правъ герцогствъ“. Къ этимъ правамъ всегда взываютъ; что же касается публичнаго признанія прусскихъ интересовъ, прусской національности,—обращается онъ съ пренебреженіемъ къ лѣвой сторонѣ,—то намъ нечего ждать отъ васъ этого“. Въ эту эпоху, къ которой относятся сдѣланныя нами выписки изъ рѣчей нѣмецкаго канцлера, мы почти съ увѣренностью можемъ сказать, что князь Бисмаркъ думалъ только объ одномъ—

это объ усиленіи и увеличеніи Пруссіи; въ это время онъ желалъ только поставить ее во главѣ Германіи, спихнуть съ ея мѣста Австрію и предоставить его Пруссіи. Дѣло, по крайней мѣрѣ для Бисмарка, шло только о преобладаніи, о гегемоніи, о первенствѣ между Австрією и Пруссією, но вовсе не объ единствѣ Германіи.

Мы охотно допускаемъ, что еслибы въ настоящую минуту былъ предложенъ Бисмарку категорическій вопросъ: Германія ли должна поглотить Пруссію, или Пруссія Германію, то онъ смѣло отвѣтитъ: Германія Пруссію! Но еслибы тотъ же вопросъ былъ ему предложенъ восемь-девять лѣтъ назадъ, то онъ точно также, не задумавшись, отвѣтилъ бы: Пруссія Германію! И это не одна простая догадка. Вовсе нѣтъ. Въ одной изъ своихъ рѣчей онъ прямо ставитъ вопросъ, кто долженъ исчезнуть другъ въ другъ: Пруссія ли, или Германія?—и если на этотъ вопросъ онъ не рѣшился отвѣтить прямо безъ обиняковъ, то тѣмъ не менѣе смыслъ его словъ былъ совершенно прозраченъ. „Нужно съ ясностью прежде всего установить, гдѣ эта „Германія“, кто это такая „Германія“, что разумѣютъ подъ „нѣмецкими интересами“...“. Бисмаркъ въ то время былъ весьма далекъ отъ той претензіи, которая съ такою откровенностью каждый день и на всѣ лады высказывается теперь упоенными побѣдами и съ ногъ до головы облитыми „славою“ нѣмцами,—претензіи, которая не можетъ не рѣзать весьма непріятно наше ухо, что Германія—это все то пространство, гдѣ раздается нѣмецкій языкъ, и все то, гдѣ когда бы то ни было господствовали нѣмцы. Въ то время Бисмаркъ, не безъ ироніи припоминая пѣсню Морица Арндта:

Was ist des Deutschen Vaterland?
So weit die deutsche Zunge klingt...

говорилъ, что вопросъ, что такое и кто такое „Германія“—такой же сложный въ политическомъ, какъ и въ географическомъ отношеніи. Но времена перемѣнились, и еслибы теперь князю Бисмарку понадобилось цитировать „національную“ пѣсню Арндта, то весьма много шансовъ за то, что онъ цитировалъ бы ее какъ аргументъ въ пользу „новаго округленія“ Германіи. Уже послѣ французской войны, послѣ завоеванія Эльзаса, нѣкоторые изъ его рѣчей, какъ мы увидимъ далѣе, были не чѣмъ инымъ, какъ варіацією на пѣсню Арндта.

Едва ли можно сомнѣваться, что еслибы въ то время князь

Бисмаркъ думалъ, что единая Германія можетъ быть создана по прусскому образцу, еслибы онъ думалъ, что единая Германія получить такой военный и воинственный характеръ, какой она получила, на горе сосѣдей, въ дѣйствительности, то онъ тогда же бы объявилъ себя сторонникомъ этого единства. Но о такомъ единствѣ, о такой „единой Германіи“ никто не думалъ; это понятіе сливалось съ какимъ-то идиллическимъ представленіемъ, съ какою-то „утопіею“ мирнаго, тихаго, скромнаго, свободнаго государства, и такъ какъ князь Бисмаркъ рѣшительный врагъ всякихъ аркадій, всякихъ идиллій, то онъ былъ и врагомъ „того“ нѣмецкаго единства, которое выработало формулу: единство чрезъ свободу!

Но когда же произошла въ князѣ Бисмаркѣ перемѣна, когда онъ самъ заговорилъ о нѣмецкомъ единствѣ, и уже не тономъ ироніи, а весьма серьезно, какъ бы дѣлая это единство знаменемъ всей своей политики? Указать на годъ, мѣсяцъ и день этой перемѣны, конечно, мудрено. Перемѣна произошла въ немъ не вдругъ, и мы можемъ только по рѣчамъ его видѣть, какъ слово: „Пруссія“ мало-по-малу стиралось на второй планъ и на первый выступало другое слово: „Германія“. И это весьма понятно. Будучи по преимуществу практическимъ государственнымъ человѣкомъ, онъ выступилъ на политическое поприще съ одною задачею, задачею ближайшею: создать сильное государство, не задаваясь при этомъ и не думая ни о какихъ отдаленныхъ цѣляхъ. Первый приступъ былъ труденъ, онъ встрѣтилъ сопротивленіе, и сопротивленіе это въ значительной степени заключалось въ томъ „мечтательномъ“ единствѣ — въ словѣ, которое такъ часто попадалось въ рѣчахъ его противниковъ. Къ этому слову онъ почувствовалъ на первыхъ порахъ почти-что ненависть, и отсюда его колкости, его остроты по поводу единства. Но затѣмъ, когда онъ увидѣлъ, послѣ первыхъ военныхъ успѣховъ, что защитники „единства“ путемъ свободы вовсе не такіе ожесточенные враги „единства“ путемъ войны и завоеваній, Бисмаркъ тотчасъ повялъ, какую выгоду можно извлечь изъ этого слова, изъ этой идеи.

У Бисмарка не было своихъ идей, своихъ принциповъ, кромѣ одного принципа выгоды, пользы, которые могли бы идти въ разрѣзъ съ мечтою нѣмецкаго народа. Онъ никогда не зналъ, что значить принципъ, да притомъ и признавалъ глупостью стѣснять себя какими бы то ни было отвлеченностями. Принципъ національности, легшій въ

основу нѣмецкаго единства, понимался Бисмаркомъ весьма широко, весьма своеобразно, и притомъ совершенно согласно съ правилами государственной практической философіи нашихъ дней. Приходится этотъ принципъ съ руки, можетъ онъ оказать поддержку—прекрасно; не съ руки, не можетъ—еще лучше. Много разъ въ своихъ рѣчахъ, уже въ тѣхъ, которыя относятся къ эпохѣ сближенія Бисмарка съ идеей единства, у него вырываются весьма характерныя признанія. Такъ, послѣ датской войны, когда на Бисмарка напали, что онъ не блюдетъ „нѣмецкіе“ интересы и желаетъ возвратить Даніи городъ Фленсбургъ, онъ съ негодованіемъ отвѣчаетъ: „это чистая ложь, чтобы я когда-нибудь говорилъ, что Фленсбургъ—датскій городъ. Я считаю его городомъ нѣмецкимъ, да притомъ, если бы онъ и былъ даже датскимъ, то я все-таки не отдалъ бы его“. Такихъ откровенныхъ признаній весьма много у нѣмецкаго канцлера. Основывая на принципѣ національности притязаніе на ту или другую область, Бисмаркъ вмѣстѣ съ тѣмъ говорилъ, что принципъ этотъ, когда дѣло идетъ о пользѣ государства, нисколько не долженъ стѣснять. „Я допускаю,—говорилъ онъ,—что господство нѣмцевъ надъ народами, которые сопротивляются, не хотятъ этого господства—я хочу сказать—поправляется Бисмаркъ—не господство, но политическое сожительство нѣмцевъ съ такими народами, которые стремятся разрушить связь,—можетъ быть невыгодно, но часто оно бываетъ необходимо“. Его прежніе противники, партизаны нѣмецкаго единства „путемъ свободы“, не только не возставали противъ такихъ словъ, но относились къ нимъ съ горячимъ сочувствіемъ. Въ это время онъ пересталъ только фрондировать „единство“; но Пруссія, ея могущество все еще оставалось для него предметомъ всѣхъ его помысловъ, всѣхъ его заботъ.

Для исторіи образованія нѣмецкаго единства и воззрѣній на него князя Бисмарка, весьма интересно то мѣсто одной изъ его рѣчей, уже послѣ датской войны, гдѣ онъ говоритъ, что мелкія нѣмецкія государства добровольно никогда не подчинятся Пруссіи. Отвѣчая на упрекъ одного депутата, что Пруссія упустила случай въ вопросѣ о герцогствахъ стать во главѣ среднихъ и маленькихъ нѣмецкихъ государствъ, онъ говорилъ: „Если бы г. докладчикъ былъ, подобно мнѣ, въ продолженіе восьми лѣтъ полномочнымъ министромъ во Франкфуртѣ при германскомъ сеймѣ, то онъ не считалъ бы этого столь легко осуществимымъ дѣломъ. Онъ убѣдился бы, какъ и я, что большинство

второстепенныхъ и третьестепенныхъ государствъ не подчинилось бы добровольно управленію Пруссіи...“ „Большая часть этихъ государствъ не оказалась бы послушною Пруссіи, слѣдовательно...“ въ 1865 году нѣмецкія второстепенныя государства могли уже предвидѣть, что ихъ ожидаетъ въ будущемъ во имя „единства“ Германіи.

Если въ первое время „единство“ Германіи было все-таки еще средствомъ для Бисмарка, то несправедливо было бы утверждать, что оно оставалось такимъ средствомъ и до конца. Бисмаркъ, лишенный твердо опредѣленныхъ идей, строгихъ принциповъ, быть можетъ даже въ силу этого, былъ болѣе чутокъ къ общественному давленію, и, къ чести его должно быть сказано, онъ не былъ настолько упоренъ, чтобы не поддаваться натиску событій. Подъ давленіемъ этихъ событій, подъ впечатлѣніемъ того взрыва чувства нѣмецкаго единства, которое съ такою силою сказалось послѣ австрійской войны 1866 года, Бисмаркъ расширилъ свой первоначальный планъ. Изъ-за сильной и могущественной Пруссіи передъ нимъ стала выростать теперь „единая Германія“, правда, весьма мало походившая на ту, которая силалась нѣмецкимъ патріотамъ эпохи войны за освобожденіе и нѣмецкимъ радикаламъ эпохи революціи 1848 года. Читатель помнитъ, что князь Бисмаркъ не разъ высказывалъ, что его старыя воззрѣнія, прежнія убѣжденія ничуть не стѣсняють, и что горизонтъ идей долженъ расширяться съ расширеніемъ границъ. По иѣрѣ того, какъ росли событія, выросталъ и князь Бисмаркъ, бросая позади себя привѣщенные къ нему феодальныя путы. Такимъ образомъ, самое отсутствіе принциповъ, непрочно сложившихся идей, служило къ выгодѣ князя Бисмарка и позволило ему разстаться съ своими прежними друзьями, товарищами молодыхъ лѣтъ, изъ которыхъ каждый, цѣпляясь за отжившія феодальныя начала, не хотѣлъ дѣлать никакой уступки ходу совершающихся и совершившихся событій. Каждый изъ нихъ стоялъ на своемъ мѣстѣ и считалъ величайшимъ мужествомъ упорно твердить: *Hier stehe ich, ich kann nicht anders...* Бисмарку были незнакомы подобныя слова, да онъ и не видѣлъ въ нихъ никакого смысла. Онъ стоялъ тамъ, гдѣ ему было выгодно стоять, и не онъ, конечно, замедлил бы переимѣнить положеніе, какъ только бы увидѣлъ, что изъ другого положенія можно извлечь болѣшую пользу. Первоначально онъ заботился только о возвеличеніи Пруссіи; но когда онъ убѣдился, что можетъ быть сдѣлано больше, что онъ можетъ эксплуа-

тировать въ свою пользу полувѣковое стремленіе къ единству, онъ охотно пошелъ къ нему на встрѣчу и охотно измѣнилъ свой первоначальный планъ.

Можно ли изъ той легкости, съ которою Бисмаркъ оставляетъ одни воззрѣнія и переходить къ другимъ, можно ли дѣлать упрекъ, обращать ее въ обвиненіе? Упреки, обвиненія,—все это весьма относительно. Безъ сомнѣнія, феодальная партія должна считать Бисмарка измѣнникомъ, ренегатомъ, чуть не краснымъ. Партія же либеральная—впрочемъ, „либеральная“ не есть настоящее слово, скажемъ лучше: партія нѣмецкаго единства, которая охватываетъ огромное большинство цѣлаго народа,—должна была, напротивъ, рукоплескать Бисмарку. Она и рукоплескала, и отпустила ему всѣ его старыя прегрѣшенія. Князь Бисмаркъ дѣлался „нѣмцемъ“ мало-помалу, событія увлекали его независимо отъ его воли, и когда значительное разстояніе было уже пройдено, онъ увидѣлъ, что исключительно прусскій мундиръ сталъ тѣсенъ и требуется новый, общегерманскій.

Пруссія—это старый, сердитый, ворчливый дядька-педантъ, которому на руки сданъ ребенокъ. Ребенокъ слушается дядьки и долго еще будетъ его слушаться; но когда онъ вырастетъ, окрѣпнетъ, когда почувствуетъ силу, онъ не захочетъ больше выносить ворчанія стараго дядьки и скажетъ ему въ одинъ прекрасный день: пошелъ вонъ! Дядька съ ужасомъ подниметъ глаза, но увидитъ въ своемъ питомцѣ такую рѣшимость, что по неволѣ отступить. Ребенокъ превратился въ мужа. Видитъ ли Бисмаркъ этотъ день, предчувствуетъ ли онъ ту минуту, когда будетъ произнесено слово: пошелъ вонъ!—это другой вопросъ, но вѣрно только то, что Бисмаркъ изъ Пруссіи хотѣлъ сдѣлать честнаго дядьку, который не рѣшился бы погубить своего питомца, чтобы ограбить его и присвоить себѣ все его достоинство. Самое правдоподобное—это то, что Бисмаркъ не останавливается, какъ и подобаетъ практическому государственному человѣку, на мысли, что будетъ впоследствии, когда Пруссія должна будетъ утратить свое первенствующее положеніе или, вѣрнѣе, перестать быть Пруссією, чтобы сдѣлаться Германією; но еслибы этотъ вопросъ представился, еслибы необходимо было ему выбирать между Пруссією и Германією, то, быть можетъ, и съ болью въ груди, но онъ все-таки произнесъ бы: Германія!—не желая своими же руками разрушать дѣло, на которое

потрачено имъ столько силъ. Польза, выгода, однимъ словомъ, единственный принципъ, которому Бисмаркъ всегда оставался и остается вѣренъ какъ во внутренней, такъ и во внѣшней политикѣ, служить достаточнымъ аргументомъ противъ всѣхъ тѣхъ, которые обвиняютъ Бисмарка, что въ дѣлѣ Германіи онъ былъ и остается только пруссакомъ. Аргументъ этотъ настолько силенъ, что мы считаемъ излишнимъ приводить другіе въ пользу того, что Бисмаркъ если и не пересталъ быть пруссакомъ, то сдѣлался вмѣстѣ съ тѣмъ „нѣмцемъ“.

Обвиненія Бисмарка въ исключительно прусскихъ стремленіяхъ раздавались и послѣ 1866 года и основывались на томъ, что онъ самъ какъ бы задерживалъ быстрое развитіе нѣмецкаго единства и умышленно не пользовался всѣми выгодами, которыя можно было извлечь изъ громкихъ побѣдъ, одержанныхъ прусскимъ оружіемъ. Бисмаркъ медлитъ довершить ударъ, Бисмаркъ не пользуется всѣми выгодами своего положенія! Если когда-нибудь могъ быть сдѣланъ явно несправедливый упрекъ, то, конечно, этотъ долженъ быть названъ такимъ. Скорѣй солнце станетъ вертѣться вокругъ земли, нежели Бисмаркъ не извлечетъ изъ побѣды, изъ извѣстнаго успѣха, всего, что можно только извлечь. Онъ выжметъ весь сокъ и выброситъ только корку. Когда нужно выжимать сокъ, Бисмаркъ не остановится ни передъ чѣмъ; насиліе, жестокость, попраніе самыхъ законныхъ, священныхъ правъ, онъ на все пойдетъ; справедливость, гуманность, уваженіе народной воли, всѣ эти громкія „слова“ XIX-го вѣка—Бисмаркъ знаетъ имъ цѣну лучше, чѣмъ кто-либо,—на языкѣ практической философіи все это зовется глупостью и сентиментальничаньемъ.

Если Бисмаркъ, повидимому, не извлекаетъ изъ побѣды, изъ торжества всей выгоды, всей пользы, то будьте увѣрены, что это не даромъ, не спроста, не изъ чувства великодушія, а по глубокообдуманному разсчету, какъ все, что ни дѣлаетъ этотъ замѣчательный, крайне своеобразный государственный человѣкъ. Ничто такъ не назидательно, какъ тѣ упреки въ неумѣренности, которые дѣлаетъ онъ, князь Бисмаркъ, обращаясь къ народнымъ представителямъ. „Не будьте такъ жадны, такъ алчны!“—вотъ смыслъ весьма многихъ рѣчей князя Бисмарка, касающихся вопроса единства Германіи. Бисмаркъ не разъ долженъ былъ справедливо возмущаться, видя передъ собою людей, которые кидали въ него камнями, когда онъ приступалъ къ „войнѣ“, какъ средству осуществленія своего плана, кото-

рые носились со свободой и равенствомъ и потомъ набрасывались съ алчностью на добычу и рукоплескали всевозможнымъ насиліямъ надъ своими „братьями“, къ которымъ „вынужденъ“ былъ прибѣгать „желѣзный“ князь.

Между тѣмъ то, въ чемъ такъ усердно обвиняли князя Бисмарка, именно и доказывало ясно, что это человѣкъ, который нѣсколькими головами возвышается надъ всѣми современными государственными людьми, что Германія встрѣтила въ немъ не дюжиннаго, но рѣдкаго и въ высшей степени замѣчательнаго дипломата. Онъ не задавался далекими мыслями, идеи, планы его не поражаютъ глубиною, но они поражаютъ обдуманностью, мѣткостью каждаго шага и необыкновенною увѣренностью. Если про кого-нибудь можно сказать, что онъ никогда не ошибается въ своей политикѣ, то это про Бисмарка. Нѣтъ ни одного неудачнаго хода, нѣтъ ни одного невѣрнаго шага; когда онъ бьетъ, то онъ бьетъ съ увѣренностью, что не промахнется. Самое легкое, конечно, сказать: какое счастье этому человѣку!—но вѣдь это пустая фраза! Сегодня счастье, завтра счастье—наконецъ, когда-нибудь нужно и искусство, и мудрость. Бисмаркъ все предвидитъ, всѣмъ пользуется, онъ не упуститъ ни одного обстоятельства, которое можетъ быть обращено къ выгодѣ его стремленій, мало того, онъ создастъ обстоятельства, когда они не представляются, или заставитъ ихъ, если они сложились невыгодно, обратиться въ его пользу. Вотъ отчего Бисмаркъ такъ и опасенъ, вотъ отчего всѣ государства, не исключая, конечно, и Россія, должны смотрѣть въ оба за каждымъ шагомъ Бисмарка, должны во всѣ стороны повернуть каждое слово, каждую рѣчь, которую онъ произноситъ.

Эта обдуманность, эта мѣткость руководила Бисмаркомъ и въ вопросѣ нѣмецкаго единства. Когда онъ дѣлалъ шагъ впередъ, то ему уже нечего было опасаться: а чтѣ, какъ придется сдѣлать два назадъ! „Г. депутатъ—говорилъ онъ въ одной изъ своихъ рѣчей—нападаетъ на то, что мы достигли слишкомъ малаго и къ слишкомъ малому стремимся. Да, господа, эта почва во всѣ времена была самая удобная для оппозиціи, чтобы нападать на правительство: всегда представляютъ какъ крайнюю необходимость то, чтѣ не можетъ быть достигнуто въ данную минуту, и всегда правительство дѣлаютъ отвѣтственнымъ за то, чего нельзя было достигнуть; никогда положеніе: „лучшее есть врагъ хорошаго“, не было примѣняемо оппозиціей по отношенію къ

правительству“. Отмѣтимъ на пути эту черту, которая выражена у него въ положеніи „лучшее есть врагъ хорошаго“, и замѣтимъ, что Бисмаркъ съ необыкновенною рѣшительностью и смѣлостью соединяетъ въ себѣ большую осторожность. Онъ обладаетъ замѣчательною способностью: выждать минуту для своихъ плановъ, но когда эта минута наступитъ, то уже онъ ея не упуститъ. Все, что можно извлечь, онъ извлечетъ, но ни на волосъ больше. Единственное исключеніе, и то исключеніе по нашему только мнѣнію, онъ допустилъ во французской войнѣ, когда ему мало показалось выжать весь сокъ изъ страны, но когда ему потребовалось вырвать еще кусокъ мяса, клокъ тѣла. Но и тутъ мы не можемъ судить еще въ настоящее время, насколько вина падаетъ на князя Бисмарка и насколько на другихъ. Впрочемъ, не станемъ забѣгать впередъ.

„Римъ не былъ построенъ въ одинъ день“, выражался Бисмаркъ по поводу нѣмецкаго единства; имѣйте же терпѣніе и умѣйте жертвовать личными взглядами и убѣжденіями. „Въ нашемъ національномъ характерѣ—говорилъ нѣмецкій канцлеръ въ 1867 году—есть нѣчто, что служитъ препятствіемъ къ единству Германіи. Иначе мы бы не потеряли его или сѣумѣли бы снова быстро его приобрѣсти. Перенесемся мысленно ко времени нѣмецкаго величія, къ эпохѣ первыхъ императоровъ. Мы найдемъ, что никакая другая страна въ Европѣ, казалось, не соединяла въ себѣ столько шансовъ, какъ Германія, для достиженія могущественнаго національнаго единства. Обратите ваши взоры къ среднимъ вѣкамъ, отъ московитской имперіи Рюриковъ къ владѣніямъ готтовъ на западѣ и арабовъ въ Испаніи; Германія представится вамъ страной, которая изъ всѣхъ европейскихъ странъ, казалось, предназначена остаться сплоченнымъ государствомъ. Какъ потеряли мы единство?—спрашиваетъ Бисмаркъ.—Какимъ образомъ до сихъ поръ мы не могли его снова завоевать? Чтобы высказать это однимъ словомъ, я скажу, что причина, по моему мнѣнію, лежитъ въ томъ, что въ Германіи существуетъ чувство излишней мужественной независимости, которая заставляетъ отдѣльнаго человѣка, общину и всю расу полагать свое довѣріе гораздо больше въ собственныя силы, нежели въ силы цѣлаго. Намъ недоставало той гибкости, той уступчивости индивидуума и расы въ пользу цѣлой націи,—гибкости, которая позволила другимъ народамъ, нашимъ сосѣдямъ, обезпечить за собою прежде насъ то благо, къ которому мы стремились“.

Конечно, трудно было бы подыскать болѣе гордаго объясненія причины, по которой Германія столь долгое время не была едина, но вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе остроумнаго, чтобы пригласить всю палату, весь рейхстагъ, народъ, слѣпо слѣдовать и повиноваться волѣ того, который принялъ въ свои руки дѣло нѣмецкаго единства. Бисмаркъ не подшучиваетъ болѣе надъ этимъ единствомъ, онъ не спрашиваетъ болѣе иронически, что такое Германія, онъ знаетъ теперь это слишкомъ хорошо и, взывая къ общему согласію, восклицаетъ: „Покажемъ въ нашу очередь, господа, что исторія шести вѣковъ страданій не была бесплодна для Германіи; покажемъ, что мы близко приняли къ сердцу урокъ, который слѣдовало извлечь изъ неудавшихся попытокъ Франкфурта и Эрфурта, — попытокъ, которыя мы всѣ видѣли нашими глазами, какъ онѣ провалились“.

Единство Германіи, которое не входило въ его первоначальный планъ сильнаго и могущественнаго Прусскаго государства, и надъ которымъ поэтому онъ трунилъ съ такою ироніею, сдѣлалось теперь необходимою приправою всѣхъ его рѣчей, къ какому бы вопросу онъ ни относился. Шло ли дѣло о чисто внутреннихъ дѣлахъ, Бисмаркъ, — когда онъ не опирался на категорическое: такъ нужно! и когда онъ желалъ одержать верхъ чувствомъ, — призывалъ тотчасъ на помощь единство и говорилъ: — вы вздыхали по немъ, а теперь вы сами вашими распрями разрушаете его! „Думаете ли вы, въ самомъ дѣлѣ, — спрашивалъ онъ послѣ австрійской войны, — что это величественное движеніе, которое, въ прошломъ году, двинуло цѣлые народы, отъ Вельта до морей Сициліи, отъ Рейна до Прута и Днѣстра, къ этой фатальной игрѣ въ кости, которая своею ставкою имѣла королевскія и императорскія короны; что милліонъ нѣмецкихъ солдатъ, которые сражались другъ противъ друга и обогрили своею кровью поля битвъ отъ Рейна до Карпатъ, что тысячи людей, которыхъ подкосили желѣзо или болѣзнь и которые своею смертію запечатлѣли дѣло нашего національнаго возрожденія, неужели думаете вы...“, съ большею силою говорилъ онъ, что все это можетъ быть уничтожено „капризомъ какой-нибудь палаты“. Шло ли дѣло о жалобахъ присоединенныхъ и завоеванныхъ областей, Бисмаркъ опять выдвигалъ впередъ единство и говорилъ: — Да, вы, можетъ быть, и правы, можетъ быть ваше положеніе въ самомъ дѣлѣ тяжело, но что же дѣлать, это жертва, которой требуетъ нѣмецкое единство! Шло ли дѣло о какой-нибудь войнѣ,

которая давно была рѣшена имъ, обдуманъ, взвѣшены всѣ шансы за и противъ, у него всегда былъ отличный предлогъ выставить Германію какъ несчастную жертву и сказать: смотрите, враги наши покушаются на нѣмецкое единство! мы только защищаемъ его!

Всю пользу, которую можно было только извлечь изъ идеи нѣмецкаго единства, Бисмаркъ извлекъ для осуществленія своего плана, и онъ съ гордостью могъ уже отвѣчать въ 1867-мъ году на всѣ жалобы нѣкоторыхъ изъ объединенныхъ: „Что значать всѣ тягости, когда, благодаря имъ, въ нашемъ союзѣ заискиваютъ, и мы въ состояніи оберегать, нашими собственными силами, нашу свободу, нашу честь, безъ того, чтобы заискивать благоволенія другихъ государствъ“? Что значать всѣ жертвы! Онѣ должны быть легки для васъ потому, что этими жертвами создано великое дѣло. „Развѣ это ничто для васъ,—спрашивалъ Бисмаркъ,—когда ваши соотечественники, изъ самыхъ отдаленныхъ странъ, обращаютъ съ гордостью свои взоры къ родинѣ и говорятъ себѣ съ чувствомъ собственного достоинства: „мы—нѣмцы“, между тѣмъ какъ въ былое время они опускали глаза съ чувствомъ какого-то стыда“? Единство требовало жертвъ, большихъ жертвъ, но Бисмаркъ, не стѣсняясь, могъ требовать ихъ; онъ могъ бы сказать, обращаясь къ своимъ соотечественникамъ, словами русскаго поэта:

Даромъ ничто не дается, —
Судьба жертвъ искупительныхъ просить...

Важно только то, чтобы жертвы были пропорціональны дѣлу. Пропорціональны ли были жертвы, принесенныя нѣмцами, съ достигнутыми ли результатами, или нѣтъ, это рѣшить только будущее, когда единая Германія выйдетъ изъ того переходнаго времени, въ которомъ она живетъ по настоящую минуту.

Такимъ образомъ, вотъ, въ немногихъ словахъ, ходъ идей Бисмарка по отношенію къ главному вопросу, волновавшему нѣмецкій народъ, вопросу объ единствѣ Германіи. Первоначально, при вступленіи Бисмарка въ министерство, онъ относится къ единству не только скептически, но крайне враждебно. Единство въ эту эпоху тѣсно соединяется въ его головѣ съ революціонными силами, или, —выражаясь съ болѣе гармоніею съ его мыслями,—съ революціоннымъ безсиліемъ, съ громкими, но безплодными фразами о свободѣ. Всѣ его

заботы исключительно направлены на возвеличеніе Пруссіи, и интересы Германіи интересуютъ его ровно настолько, насколько нужно, чтобы во главѣ ея поставить Пруссію, чтобы сковать ее по рукамъ и ногамъ тяжелою цѣпью зависимости отъ монархіи Фридриха II. На слѣдующей ступени, Бисмаркъ, убѣдившись конечно съ одной стороны въ безсиліи оппозиціи, съ другой въ собственной своей силѣ, дѣлаетъ изъ „единства“ одно изъ своихъ орудій, одно изъ средствъ своей политики. Онъ понялъ, что этимъ словомъ во внутреннихъ дѣлахъ онъ можетъ обуздывать своихъ противниковъ; во внѣшнихъ онъ уважалъ имъ свои замыслы — возвеличить Пруссію. Единство было ширмами, прикрывавшими его первоначальную цѣль. Затѣмъ, на дальнѣйшей уже ступени, послѣ австрійской войны, горизонтъ Бисмарка расширяется, его планы видоизмѣняются; онъ думаетъ теперь о сильномъ и могущественномъ государствѣ, но такимъ государствомъ для него уже становится не Пруссія, а Германія, хотя и подчиненная прусскимъ порядкамъ. Бисмаркъ въ эту эпоху невольно испытываетъ на себѣ силу общественнаго увлеченія.

Если нѣмецкая нація, относившаяся къ нему вначалѣ такъ враждебно, теперь преклонилась передъ нимъ и круто повернула въ сторону отъ начала единства путемъ свободы, то и Бисмаркъ въ свою очередь сдѣлалъ не одинъ шагъ на встрѣчу обществу, сознавая, какъ весьма умный человѣкъ, что безнаказанно нельзя перечить общественному мнѣнію, и что чрезвычайно выгодно дѣлать видъ, что уступаешь, и дѣйствительно уступать, особенно, когда эти уступки могутъ принести только пользу собственнымъ планамъ. Идея нѣмецкаго единства, туманная и отвлеченная, слилась теперь съ идеей сильного и могущественнаго государства, идеей весьма реальной и ясной, и обѣ эти идеи повліяли другъ на друга. Ширина первой, какъ она понималась въ доброе старое время, сѣзилась подъ вліяніемъ второй; узкость этой второй, какъ она понималась первоначально Бисмаркомъ, т.-е. сильной, воинственной Пруссіи, олицетворяемой исключительно крупновскою пушкою и игольчатымъ ружьемъ, расширилась подъ вліяніемъ первой. Военное могущество, конечно, въ мнѣніи Бисмарка оставалось самымъ существеннымъ дѣломъ, но и другіе интересы, въ дѣйствительности болѣе важные, заняли извѣстное мѣсто въ общемъ планѣ, осуществленію котораго посвятилъ себя нѣмецкій канцлеръ. Когда передъ сильнымъ человѣкомъ становятся двѣ идеи, два плана, изъ которыхъ

одинъ болѣе грандіозный, другой болѣе мелкій, и когда, оставаясь на практической почвѣ, онъ сознаетъ, что тотъ и другой осуществимы, и первый только требуетъ большей силы воли, большей энергіи, большей рѣшимости, то нѣтъ сомнѣнія, что сильный человѣкъ не станетъ колебаться и предпочтетъ болѣе грандіозный болѣе мелкому плану. Такъ было и съ Бисмаркомъ. Пока идея нѣмецкаго единства казалась ему фантастическою, лишенною реальной почвы, до тѣхъ поръ онъ относился къ ней враждебно, съ ироніей; но съ той минуты, когда онъ увидѣлъ возможность осуществить ее въ дѣйствительности, хотя и въ иной формѣ, чѣмъ мечтали о томъ нѣмецкіе радикалы, онъ съ энергіей и мужествомъ принялся за дѣло. Онъ проникся теперь этою идеею и не клалъ оружія, пока не достигъ осуществленія завѣтной мечты нѣмецкаго народа. Онъ достигъ ее такимъ образомъ, что и волки оказались сыты, и овцы цѣлы. Подъ овцами мы разумѣемъ нѣмецкихъ радикаловъ и весь нѣмецкій людъ, такъ много шумѣвшій о свободѣ народовъ, пока Германія была слабою державою, и такъ мало заботившійся теперь, когда Германія превратилась въ могущественное государство, чтобы эта прославленная свобода не была оскорбляема среди побѣжденныхъ племенъ.

Да, какъ ни разсуждать, Бисмаркъ все-таки окажется неизмѣримо выше своихъ современниковъ всевозможныхъ лагерей; Бисмаркъ зналъ, къ чему онъ стремится, и по крайней мѣрѣ искренно относится съ откровеннымъ презрѣніемъ къ тѣмъ идеямъ, которыя въ нашъ вѣкъ болѣе эксплуатируются какъ громкія фразы, нежели дѣйствительно и серьезно уважаются. Въ отношеніи единства Германіи, Бисмаркъ оставался вѣренъ себѣ. Онъ не угождалъ ему, когда считалъ химерой; но когда онъ увидѣлъ, что можетъ осуществить „по своему“, то онъ смѣло пошелъ впередъ и осуществилъ „по своему“ то, что вѣроятно долго бы еще оставалось заоблачною мечтою народа. Выиграла или потеряла отъ этого Германія съ точки зрѣнія исторіи, будущаго, мы не станемъ гадать. Никто не можетъ сказать съ увѣренностью, что созданное Бисмаркомъ зданіе нѣмецкаго единства окрѣпнетъ и выдержитъ тяжелый напоръ времени, точно также какъ никто не можетъ утверждать, что зданіе его походить на картонную постройку, которая повалится отъ перваго вѣтра, сгніетъ отъ первой сырой погоды. Прошедшее позволяетъ сказать одно: внѣшняя сила государства, внѣшнее его значеніе прочно только подъ однимъ условіемъ, это — внутрен-

наго развитія внутренней силы народа. Остановите искусственным заборами это развитіе, придайте внутреннюю силу, и тогда незблемое съ виду зданіе падаетъ съ страшнымъ грохотомъ. Вотъ одно, что можно сказать, созерцая необыкновенно-быстрое и по истинѣ изумляющее возвеличеніе Нѣмецкой Имперіи. До сихъ поръ князь Бисмаркъ не относился къ внутреннимъ вопросамъ такъ, какъ долженъ относиться къ нимъ глубокій умъ, всегда отличающій настоящаго общественнаго реформатора. Но въ этомъ человѣкѣ прошедшее не связано тѣсно съ будущимъ. Бисмаркъ не останавливается въ своемъ развитіи, онъ охотно идетъ впередъ, когда убѣждается, что идти впередъ выгодно: это подтверждается и его отношеніемъ къ вопросу нѣмецкаго единства. Можетъ быть, онъ, покончивши съ своею, такъ сказать, внѣшнею задачею, и убѣдится, что польза на сторонѣ возможно болѣе полного и свободнаго внутренняго развитія народа, и тогда дѣло политической и нравственной свободы нѣмецкой націи было бы выиграно, а виѣсть съ тѣмъ было бы закрѣплено и дѣло единства Германіи.

VIII.

Когда задаешься задачею опредѣлить характеръ и образъ дѣйствій какого-нибудь замѣчательнаго человѣка, оказывающаго рѣшительное вліяніе на ходъ европейскихъ событій, то неумѣстно прибѣгать въ такомъ случаѣ къ догадкамъ. Только поэтому мы и не поставимъ здѣсь вопроса: окончилъ ли князь Бисмаркъ дѣло единства, выполнилъ ли онъ свой планъ и не потребуется ли для „безопасности“ Германіи, для того, чтобы она „мирно“ могла существовать, не потребуется ли еще округлить границу съ какой-нибудь другой стороны и, во имя все того же злополучно „великаго“ принципа національности и всегда услужливой исторіи, принять въ лоно Германіи блудныхъ сыновъ какого-нибудь другого края?

Was ist des Deutschen Vaterland?
So weit die deutsche Zunge klingt...

вотъ тотъ кличъ, который такъ пріятно ласкаетъ слухъ нѣмцевъ, вотъ тотъ звонъ, который такъ усердно, точно бьетъ въ набатъ, про-

должаетъ гудѣть и заставляетъ по неволѣ спрашивать: чего еще недостаетъ единой Германіи? въ какую сторону обращаетъ она теперь свои побѣдоносные и виѣсть грозные взоры? Отвѣчать на такой вопросъ догадками совершенно бесполезно. Важно только одно—чтобы, сообразуясь съ политикой того человѣка, который въ настоящее время даетъ тонъ цѣлой Европѣ, быть постоянно на-сторожѣ, не засыпать подъ увѣреніями дружбы, которая, съ точки зрѣнія практической философіи Бисмарка, представляется глупою, но полезною иногда игрушкою чтобы отводить на время глаза неразумному, хотя подчасъ и взрослому ребенку; дѣло въ томъ, чтобы энергически приготовляться къ отраженію возможныхъ надменныхъ поползновеній и готовиться не такъ, какъ готовилась Франція. Франція тоже, на нашихъ еще глазахъ, только и говорила про войну; она тоже готовилась къ ней, переливала свои пушки, изобрѣтала митральезы, усовершенствовала оружіе, дѣлавшее, по безсмертному выраженію, „чудеса“ въ сраженіи съ старыми героями, но какой былъ результатъ всѣхъ этихъ приготовленій, всѣхъ этихъ усовершенствованій? Результатъ, отъ котораго упаси Богъ не только нашихъ друзей, но даже нашихъ враговъ. И отчего? Да оттого, что приготовленіе къ войнѣ было понято не такъ, какъ слѣдуетъ, было понято глупо, рутинно; оттого, что приготовленіе заключается не только въ преобразованіи арміи, не только въ усовершенствованіи орудій и какой-нибудь новой системы ружей, но главнымъ образомъ въ усовершенствованіи духа народнаго, въ возвышеніи его нравственнаго уровня; а онъ не возвышается, когда вмѣсто того, чтобы предоставить обществу больше внутренней ширины, больше возвышающей духъ свободы, на это общество со всѣхъ сторонъ начинаютъ нажимать, урѣзывать, что можно и что нельзя, когда является цѣлая усовершенствованная „система подавленія“ всякаго свободнаго проявленія этого общества. Вотъ чего не поняла Франція, вотъ за что она и была наказана. Она не усвоила себѣ достаточно, что истинная сила націи въ духѣ націи, и что сколько бы ни передѣлывала она свои арміи, сколько бы ни усовершенствовала свое оружіе, всѣ ея усилія будутъ безплодны, если въ груди ея не будетъ трепетать живая сила, если внутренняя система управленія деморализовала общество и развратила его, прививъ къ нему рабскія чувства. Въ исторіи, конечно, не разъ бывали примѣры, что торжествовала одна только грубая, дикая сила, что безчисленныя фаланги ра-

бо въ одерживали побѣды надъ народамъ, въ которомъ билось истинно человеческое сердце; но торжество это никогда не было прочно, оно рушилось съ грохотомъ, и неприступный, грозный, полный жизни, казалось, колоссъ, покрытый желѣзною броней, падалъ, какъ падаетъ мертвое тѣло.

Бисмаркъ своимъ недалекимъ, но зато вѣрнымъ и безошибочнымъ взглядомъ увидѣлъ, что наступило время для нѣмецкаго народа гордо возвыситься надъ всѣми остальными. Не потому конечно, чтобы Германія и въ особенности Пруссія могла похвастаться передъ Австріей, Франціей и другими западными государствами большею внутреннею свободою, — нѣтъ, но у нѣмецкаго народа въ груди колыхалась идея, которой не было у другихъ народовъ. И въ этомъ заключалось огромное его преимущество. Австріецъ шелъ на войну, не сознавая ясно зачѣмъ, и еслибы его спросить: изъ-за чего ты хочешь проливать свою кровь? — онъ отвѣтилъ бы вѣроятно: такъ приказано! На тотъ же вопросъ одинъ французъ далъ бы подобный же отвѣтъ, другой съ какою-то восторженностью ствѣчалъ бы: — изъ-за славы! Но слава — звукъ пустой, дымъ, который улетучивается съ первымъ проиграннымъ сраженіемъ, и тогда ничто уже не замѣняетъ ее, кромѣ словъ: нужно драться, потому что приказано драться! Тогда, когда во Франціи стали догадываться, что борьба уже идетъ не изъ-за славы, не потому, чтобы было такъ приказано, а изъ спасенія цѣльности родины, ея освобожденія отъ чужеземнаго ига, тогда было уже поздно, соки были въ значительной степени выжаты, силы были подорваны. Но и тогда даже, еслибы духъ націи не упалъ такъ низко, еслибы усовершенствованная система подавленія не деморализовала такъ французскаго общества, сознаніе опасности явилось бы гораздо прежде, точно огнемъ охватило бы всю націю, и въ борьбѣ за свое освобожденіе, за цѣльность своей родины она сѣужѣла бы показать больше энергій, больше достойнаго мужества.

Духъ націи — вотъ чтò особенно важно, но къ несчастію объ этомъ догадываются только тогда, когда уже слишкомъ поздно, когда принесены огромныя и невозвратныя жертвы; объ этомъ догадываются послѣ того, что борьба окончена и подписанъ дорогой стоящій для страны миръ! Тогда-то начинается забота, хватаются за одно, за другое, все хотятъ исправить, все передѣлать, начинаются преобразованія,

заботы о возвышеніи духа націи, составляющаго ея главную силу и мощь. Такъ было съ Германіей послѣ Іены; такъ было съ Австріей послѣ Садовой; такъ, наконецъ, случилось и съ Франціей послѣ Іены, Садовой въ квадратѣ и въ кубѣ, т.-е. послѣ Седана, Меца, Парижа. Какъ не сказать въ самомъ дѣлѣ, что люди заднимъ умомъ крѣпки! Да часто и то не помогаетъ. Часто, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ работы, все опять приходитъ въ упадокъ, урокъ забывается, старая система выходитъ опять наружу, подкрашенная и подрумяненная, но по прежнему гнилая, по прежнему безмозглая. Старая система приготовляетъ новыя Іены, новыя Садовыя и Седаны, и духъ націи, поднятый на время, снова опускается и покрывается плесенью, какъ болото. И снова на вопросъ: изъ-за чего ты идешь проливать свою кровь? солдатъ не имѣетъ другого отвѣта какъ: такъ приказано! Давно уже Европа не выходитъ изъ этого проклятаго бѣличьяго колеса.

Сила нынѣшней Германіи въ эти послѣднія баснословныя войны, въ эти послѣднія кровавыя десяти лѣтъ заключалась именно въ томъ, что любой нѣмецкій солдатъ, любой нѣмецкій воинъ на вопросъ: изъ-за чего ты дерешься? отвѣчалъ гордо и съ увѣренностью: я дерусь изъ-за единства моей родины! И эта идея давала ему энергію и рѣшимость въ борьбѣ. Армія другихъ націй не имѣли идеи, которую онѣ могли бы противопоставить идеѣ нѣмецкаго полчища, и потому, при равной степени развитія, при равной степени цивилизаціи, при равной дозѣ внутренней свободы, нѣмецкая нація должна была оказаться сильнѣе другихъ, сильнѣе тою идеею, которая возвышала и воспламеняла народный духъ. Само собою разумѣется, что въ борьбѣ съ націею слабѣйшею по развитію, по цивилизаціи, еще болѣе бѣдною въ отношеніи внутренней свободы, обладающей только казенными идеями, далеко не возвышающими народнаго духа, Германія, повидимому, можетъ оказаться еще болѣе сильною, еще болѣе грозною.

Что князь Висмаркъ понималъ силу идеи и превосходство націи, обладающей ею, передъ другими, у которыхъ нѣтъ ничего, кромѣ „такъ приказано“, это видно изъ весьма многихъ рѣчей, произнесенныхъ имъ въ различныхъ случаяхъ, когда на горизонтѣ виднѣлась война. Висмаркъ тотчасъ высоко вздергивалъ знамя единства Германіи, говоря: если война станетъ неизбѣжна, мы не попятимся назадъ! намъ есть изъ-за чего драться! если мы прольемъ нашу кровь, то мы прольемъ ее за нашу независимость, за наше право распоряжаться

своею судьбою, за то единство Германіи, которое должно сдѣлать насъ сильными и могущественными и обезпечить отъ выѣшательства чужеземцевъ въ наши собственные дѣла. И слова эти тотчасъ подхватывались и повторялись каждымъ нѣмцемъ: да, мы пойдемъ драться за нашу независимость, за дорогое для насъ единство Германіи! Сознавая это, Бисмаркъ смѣло двигалъ впередъ нѣмецкія полчища и безбоязненно бросалъ войну, „огонь и желѣзо“, „кровь“ и „штукъ“ въ основаніе всей своей политики, въ основаніе своего плана первоначально сильной Пруссіи, потомъ могущественной объединенной Германіи. Война съ тѣми, которые противились составить одно цѣлое, воспользоваться благами „единой“ Германіи, война съ тѣми, которые не хотѣли допустить образованія по сосѣдству могущественнаго воинственнаго государства и думали положить преграду желѣзной волѣ нѣмецкаго канцлера! Война и только война, какъ средство для достиженія цѣли; все остальное—химера, химера и еще разъ химера!

Война занимаетъ такую выдающуюся роль въ политикѣ князя Бисмарка, въ его кодексѣ практической мудрости, что нельзя не поставить вопроса: какъ же смотритъ онъ на войну, какой теоріи держится онъ относительно этой опасной матеріи? Князь Бисмаркъ высказываетъ убѣжденіе, что при настоящемъ положеніи Европы, при данномъ состояніи цивилизаціи, немислимы болѣе войны изъ-за какихъ-нибудь мелкихъ интересовъ, изъ-за интересовъ династическихъ, раздраженнаго самолюбія, мнимаго оскорбленія чувства достоинства того или другого лица, и что отнынѣ не можетъ быть иной войны, какъ война изъ-за крупныхъ вопросовъ, изъ-за интересовъ національных. „Теперь—говоритъ онъ—войну можно начинать не иначе, какъ вслѣдствіе національныхъ мотивовъ,—мотивовъ, которые достаточно очевидно носили бы этотъ характеръ, чтобы огромное большинство населенія само признавало, насколько мотивы эти важны; таково по крайней мѣрѣ мое личное убѣжденіе“. Устами бы князя Бисмарка да медъ пить! Онъ высказываетъ, безъ сомнѣнія, безусловную истину; такъ должно было бы быть, но говорить о томъ, что должно было бы быть, это по его же собственной теоріи совершенно пустое и ни къ чему не ведущее занятіе. Этимъ либеральнымъ взглядомъ не ограничивается князь Бисмаркъ; онъ идетъ далѣе, и въ одной изъ своихъ рѣчей, болѣе чѣмъ два года спустя, онъ признаетъ, что война, помимо того, что она не должна быть допускаема

иначе, какъ изъ-за крупныхъ національныхъ интересовъ, только тогда законна, когда она является войною оборонительною. Большого, какъжется, нельзя и желать; требовать отъ него большаго было бы и несправедливо, и неразумно. Война національная и притомъ исключительно оборонительная! на этомъ не помирятся развѣ, при современномъ положеніи Европы, только рѣшительные утописты, витающіе гдѣ-то далеко за тридевять земель и до такой степени погруженные въ теорію, что неспособны даже отличить, что въ данное время при данныхъ обстоятельствахъ практически возможно, и что практически невозможно.

Нужно ли говорить, что если Бисмаркъ утверждаетъ, что законна и справедлива только одна оборонительная война, то этому слову „оборонительная“ онъ даетъ вовсе не то значеніе, которое ему обыкновенно приписывается. Въ своихъ воззрѣніяхъ на войну, на право войны, на ея условія и законность князь Бисмаркъ является самымъ строгимъ послѣдователемъ и ученикомъ своего великаго предтечи Фридриха II. Какъ же смотрѣлъ на войну этотъ послѣдній?

Разсужденія Фридриха объ этомъ предметѣ такъ любопытны, что ихъ нельзя не привести, тѣмъ болѣе, что воззрѣнія Фридриха вполне раздѣляетъ князь Бисмаркъ, который и ссылается въ своей рѣчи на авторитетъ „великаго короля“. Недаромъ онъ учился у него политической мудрости.

„Свѣтъ-былъ бы очень счастливъ,—такъ разсуждаетъ Фридрихъ въ своей извѣстной критикѣ на Макиавеля,—еслибы не существовало другого средства, какъ переговоры для поддержанія справедливости и восстановленія мира и добраго согласія между націями. Убѣжденіе употреблялось бы въ дѣло вмѣсто оружія, и вмѣсто того, чтобы рѣзаться между собою, ограничивались бы только споромъ между собою. Печальная необходимость заставляетъ правителей прибѣгать къ средствамъ несравненно болѣе жестокимъ. Есть случаи, когда нужно съ оружіемъ въ рукахъ—проповѣдуетъ либеральный Фридрихъ II—защищать свободу народовъ, которую хотятъ угнетать несправедливостью, когда нужно насиліемъ достичь того, въ чемъ низость отказывается мягкости, когда монархи должны довѣрить дѣло ихъ націи судьбѣ оружія. Вотъ въ одномъ-то изъ подобныхъ случаевъ становится справедливымъ тотъ парадоксъ, что хорошая война рождаетъ и утверждаетъ добрый миръ“. Такимъ образомъ, что война

необходима только тогда, когда угнетается свобода народа, когда надъ нимъ совершаются вопіющія несправедливости, Фридрихъ переходитъ къ опредѣленію, какія войны справедливы, и это опредѣленіе вполне заимствовалъ у него Бисмаркъ. „Войны—разсуждаетъ Фридрихъ—могутъ быть оборонительныя, и эти войны, безспорно, самыя справедливыя. Бываютъ войны, которыя монархи обязаны предпринять, чтобы поддержать права, которыя у нихъ оспариваютъ; они защищаютъ ихъ съ оружіемъ въ рукахъ, и битвы рѣшаютъ вопросъ о силѣ ихъ доводовъ. Бываютъ войны изъ предосторожности, которыя правители мудро предпринимаютъ. Въ сущности это войны наступательныя, но онѣ тѣмъ не менѣе справедливы. Когда чрезмѣрное величіе державы, точно съ провидѣніемъ будущаго,—говорилъ Фридрихъ,—готово, повидимому, выйти изъ береговъ и угрожаетъ поглотить вселенную, тогда благоразуміе заставляетъ противопоставить плотины и остановить бурное теченіе потока тогда, когда еще можно справиться съ нимъ“. Словомъ, всѣ войны, какія бы онѣ ни были и изъ-за чего бы ни были начаты, могутъ подойти подъ ту или другую категорію, и всѣ онѣ, строго говоря, могутъ быть названы войнами оборонительными. Такъ ихъ и называетъ Бисмаркъ, который повторяетъ слова Фридриха, что „гораздо лучше предупредить другихъ, нежели самому быть предупрежденнымъ: великіе люди никогда не имѣли случая сожалѣть, употребляя въ дѣло свои силы прежде, нежели ихъ враги успѣли принять мѣры, способныя связать имъ руки и разрушить ихъ могущество“.

Съ словами Фридриха, только-что приведенными, интересно сравнить слова Бисмарка, произнесенныя имъ послѣ цѣлаго ряда войнъ въ одной изъ рѣчей, относящихся къ 1871 году. Бисмаркъ выражается почти языкомъ своего предшественника: „Г. депутатъ—говоритъ нѣмецкій государственный человѣкъ—подвергаетъ сомнѣнію теорію наступательной войны, предпринятой съ цѣлью обороны. Я тѣмъ не менѣе думаю, что подобная оборона при посредствѣ наступательныхъ дѣйствій весьма обыкновенна и представляется самою дѣйствительною въ большинствѣ случаевъ, и что для страны, находящейся въ такомъ центральномъ положеніи Европы, что у нея есть три и даже четыре границы, на которыхъ она постоянно можетъ подвергнуться нападенію, чрезвычайно полезно слѣдовать примѣру, поданному Фридрихомъ Великимъ передъ Семилѣтнею войною, когда вмѣсто того, чтобы ожи-

дать, пока сѣть, въ которую онъ долженъ былъ попасть, распространится до его головы, онъ разорвалъ ее, быстро нанося самъ первый ударъ. По моему убѣжденію, — продолжалъ Висмаркъ, — и слова его имѣютъ весьма внушительный смыслъ, — тѣ основываютъ свои расчеты на весьма неразумной политикѣ и влекущей за собою тяжкую отвѣтственность, которые допускаютъ, что Нѣмецкая Имперія, при извѣстныхъ обстоятельствахъ и въ виду нападенія, приготовляемаго противъ нея, быть можетъ коалиціей съ высшими силами, быть можетъ отдѣльно извѣстной державой, могла бы спокойно выжидать, пока ея противнику покажется, что самая лучшая и удобная минута наступила. Въ такомъ случаѣ обязанность правительства, — и народъ имѣетъ право отъ него требовать, — чтобы, если война дѣйствительно стала неизбежною, оно само выбрало для ея начала ту минуту, когда для страны и для націи она можетъ быть ведена съ меньшими жертвами и съ меньшей опасностью. Я могъ бы — продолжаетъ князь Висмаркъ — привести, какъ примѣры, другіе случаи, когда было сочтено невыгоднымъ для Прусскаго государства выжидать въ положеніи чисто-оборонительномъ полного вооруженія своихъ враговъ, полного осуществленія ихъ плановъ, но когда быстрое нападеніе избавило страну отъ огромныхъ жертвъ, быть можетъ отъ пораженія“.

Слова князя Висмарка, и по времени, когда они были произнесены, и по смыслу, вполне достойны вниманія. По времени — потому что слова эти были сказаны послѣ французской войны, послѣ того, слѣдовательно, что Германія положила къ своимъ ногамъ двухъ своихъ могущественныхъ сосѣдей, Австрію и Францію, когда двѣ границы ея находились такимъ образомъ внѣ опасности нападенія на весьма продолжительное время, и когда князю Висмарку, казалось, нечего было болѣе вызывать грозный призракъ нападенія на Нѣмецкую Имперію.

Князь Висмаркъ, какъ умный политикъ и преслѣдующій строго опредѣленную цѣль, знаетъ, что дружбою во взаимныхъ отношеніяхъ двухъ государствъ можно пользоваться, можно ее эксплуатировать, какъ эксплуатировалъ Фридрихъ II дружбу Петра III, но самому, по отношенію къ дружественному государству, слѣдуетъ дѣйствовать такъ, какъ будто бы не существовало и тѣни нѣжной и трогательной дружбы. Вотъ отчего въ своихъ политическихъ разсужденіяхъ князь Висмаркъ не забываетъ и русской границы и охотно дѣлаетъ предположеніе

что съ этой стороны, съ этой „границы“ можетъ быть произведено нападеніе на цѣлость Нѣмецкой Имперіи.

Мы сказали, что вышеприведенныя слова князя Бисмарка важны не только по времени, когда они были сказаны, но и по смыслу. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи они любопытны, такъ какъ объясняютъ, какъ слѣдуетъ понимать оборонительную войну съ точки зрѣнія нѣмецкаго канцлера. Въ его устахъ это слово „оборонительная война“ получаетъ крайне растяжимый смыслъ, и нѣтъ такой войны, которую онъ не могъ бы подвести подъ понятіе „обороны“. Безопасность государства и оборонительная война, — это любимые термины князя Бисмарка.

Всякій захватъ, всякое нападеніе, лишь бы оно было сдѣлано подъ условіемъ пользы государства, его выгоды, находятъ себѣ не только оправданіе въ практической философій современнаго государственнаго человѣка типа князя Бисмарка, но какъ бы предписываются ему. Допустимъ существованіе маленькаго, безобиднаго государства, которое никому неспособно причинить вреда, но которое въ свою очередь можетъ быть легко проглочено или по крайней мѣрѣ отъ него отнята часть. Теорія оборонительной войны приложима и тутъ. Маленькое государство всевозможными интригами и происками могло образовать коализацію изъ сильныхъ государствъ, и этого одного слова „могло“ достаточно, чтобы предпринять „оборонительную войну“, мало того, это маленькое государство современемъ могло вырасти и сдѣлаться серьезною опасностью; слѣдовательно, эту опасность нужно предупредить. Когда же вопросъ идетъ о дѣйствительно великой державѣ, тогда о приложеніи теоріи „оборонительной войны“ нечего и говорить. Въ тишинѣ кабинета обдумать политическій планъ, исподволь подготовить средства къ его осуществленію, какою-нибудь ловко придуманною комбинаціею вызвать разрывъ сношеній, постараться, если возможно, разставить сѣти такъ, чтобы самъ противникъ запутался въ нихъ и первый объявилъ войну, затѣмъ быстро нанести заранѣе подготовленный ударъ — вотъ система, вотъ правило политической мудрости, которое во всей его цѣльности заимствовалъ князь Бисмаркъ у Фридриха II.

Эта система рисуется нѣсколькими словами, въ которыхъ Фридрихъ рассказываетъ о началѣ силезской войны. Фридрихъ лежалъ больнымъ лихорадкой въ Рейнсбергѣ, когда къ нему пришло извѣ-

стіе о смерти Карла VI, отца Маріи-Терезіи, случившейся 26 октября 1740 г. „Доктора,—разсказываетъ Фридрихъ,—пропитанные насъвозъ старыми предрасудками, не хотѣли дать ему хинины; онъ принялъ ее несмотря на нихъ, такъ какъ—прибавляетъ онъ съ гордостью—онъ задумалъ вещи болѣе серьезныя, чѣмъ лечить свою лихорадку. Онъ рѣшился тотчасъ же потребовать себѣ княжества Силезскія, на которыя его домъ имѣлъ неоспоримыя права, и въ то же время онъ сталъ приготовляться поддержать свои притязанія, еслибы потребовалось, силою оружія. Этотъ проектъ наполнялъ всѣ его политическіе виды; это было средство пріобрѣсти себѣ славу, увеличить могущество государства и покончить вопросъ объ этомъ тяжёломъ наслѣдствѣ герцогства Берга...” Этотъ простой, наивный разсказъ весьма характеристиченъ, если всмотрѣться въ него попристальнѣе. Тутъ основаніе приктической государственной философіи и его, современнаго намъ, послѣдователя. Слова о „неоспоримомъ правѣ“ прибавлены больше для красы, вопросъ бы мало измѣнился, если бы не было и признака какого-нибудь права. Достаточно было, что представится случай „округлить“ свои владѣнія, случай удобный, представлявшій 90 на 100 шансовъ успѣха, въ виду затрудненія, въ которомъ находилась Марія-Терезія при своемъ спорномъ вступленіи на тронъ. Правитель Пруссіи увидѣлъ возможность „пріобрѣсти славу и увеличить могущество государства“ — этого было слишкомъ довольно, чтобы начать войну. Какой же бы иначе это былъ правитель Пруссіи, тѣмъ болѣе какой-бы это былъ Фридрихъ II! Вотъ этимъ-то началомъ безусловно проникся князь Бисмаркъ, и потому только онъ и могъ создать свою теорію „оборонительной“ войны.

Если въ существѣ возрѣній на войну нѣтъ никакого различія между представителемъ практической государственной философіи XVIII-го столѣтія и представителемъ той же философіи XIX-го вѣка, то изъ этого не слѣдуетъ все-таки выводить, чтобы не было различія и во внѣшнемъ выраженіи, формѣ той и другой. Та основная черта, на которую мы имѣли случай указать — лицемеріе, и здѣсь точно также сохраняетъ свою силу. Бисмаркъ, доказывая необходимость своихъ „оборонительныхъ“ войнъ, не считаетъ нужнымъ вдаваться въ сентиментально-іезуитскія разсужденія объ ужасахъ и бѣдствіяхъ войны. Война такъ война, и дѣло съ концомъ! Само собою разумѣется, что война влечетъ за собою бѣдствія! что цвѣтъ моло-

дежи подкашивается, что тысячи, десятки тысячъ людей остаются на всю жизнь хромыми, кривыми, калѣками, что матери, жены, сестры оплакиваютъ своихъ сыновей, братьевъ, мужей, что труды многихъ лѣтъ, что крохи, собранныя въ потѣ лица, что все это гибнетъ, летитъ въ ту бездонную пропасть, которая съ неистовствомъ все пожираетъ! Все это понятно, все это въ порядкѣ вещей, о чемъ же тутъ толковать! И князь Бисмаркъ не разсуждаетъ объ этомъ; онъ знаетъ, что когда онъ сказалъ: война! то онъ сказалъ уже все, и всякія прибавленія будутъ только пустою тратою словъ.

Вовсе не такъ смотрѣлъ на это Фридрихъ Великій. Не даромъ же онъ былъ такимъ нѣжнымъ другомъ и почитателемъ Вольтера, не даромъ онъ опровергалъ „возмутительное“ произведеніе Макиавеля. Почитая войну хорошимъ средствомъ для установленія своей „репутации“, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ также убивался и скорбѣлъ о ея бѣдствіяхъ, какъ позволительно только самымъ горячимъ сторонникамъ лиги мира. „Я убѣждаюсь,—говорилъ онъ,—что если бы монархи видѣли вѣрную и истинную картину бѣдствій, навлекаемыхъ на народъ однимъ объявленіемъ войны, они не остались бы безчувственны. Ихъ воображеніе недостаточно живо, чтобы представить себѣ въ настоящемъ свѣтѣ всѣ страданія, которыхъ они никогда не знали и отъ которыхъ они защищены, благодаря ихъ положенію: какъ могутъ они почувствовать тяжесть налоговъ, которые давятъ народъ? исчезновеніе въ странѣ молодежи, идущей въ рекруты? заразительныя болѣзни, опустошающія арміи? ужасъ сраженій и еще болѣе смертоносныя осады? отчаяніе раненыхъ, лишившихся, благодаря непріятельскому оружію, какихъ-либо членовъ своего тѣла, единственныхъ орудій ихъ труда и ихъ существованія? горе сиротъ, у которыхъ смерть отняла ихъ отца, единственную поддержку ихъ слабыхъ силъ? потерю столькихъ людей, полезныхъ государству, которыхъ смерть свосила прежде времени? Монархи, которые только для того бы и должны были существовать на свѣтѣ, чтобы стараться дѣлать людей болѣе счастливыми, должны были бы хорошенько подумать прежде, чѣмъ подвергать ихъ изъ-за вздорныхъ и тщеславныхъ причинъ всему тому, чего человечество должно по преимуществу страшиться. Монархи, которые смотрятъ на своихъ подданныхъ какъ на своихъ рабовъ, немилосердно рискуютъ ими и безъ сожалѣнія смотрятъ, какъ они погибаютъ; но монархи, которые видятъ въ людяхъ — равныхъ себѣ, и которые смот-

рятъ на народъ какъ на тѣло, душу котораго они видятъ въ себѣ, скупы на кровь своихъ подданныхъ“.

Вотъ элементъ той притворной и приторной гуманности, которая вносила въ практическую философію XVIII-го столѣтія и отъ котораго, къ счастью, избавлена теорія политической мудрости нашего времени. Въ этомъ отношеніи, какъ XIX-й вѣкъ опередилъ XVIII-й, такъ точно Бисмаркъ опередилъ Фридриха. Дѣлая войну единственнымъ средствомъ для осуществленія своихъ политическихъ плановъ, довольно понятно, что князь Бисмаркъ не долженъ былъ уже стѣсняться, не долженъ былъ чувствовать себя связаннымъ заключенными трактатами, принятыми на себя обязательствами. Война господствовала надъ всѣми соображеніями. Польза, выгода государства обуславливаетъ начало войны; польза, выгоды обуславливаютъ ея конецъ. Сознавая необходимость заключить миръ, Бисмаркъ подписывалъ трактаты; но нужно быть младенцемъ, чтобы думать, что какой-нибудь трактатъ когда-либо могъ связать дѣйствія нѣмецкаго канцлера. Что такое трактатъ? Листъ бумаги, слова, — а развѣ слова имѣютъ какое-нибудь значеніе въ практической философіи XIX-го вѣка?! Важны только факты, дѣйствія; все остальное — игрушки, годныя для дѣтей, но не болѣе. Но тутъ „приличія“ дипломатіи не позволяютъ князю Бисмарку сохранить его обычное качество — откровенность, и онъ волей-неволей подчиняется правилу: съ волками жить — по волчьи вить. Вотъ чѣмъ только и объясняются увѣренія князя Бисмарка, что Германія „имѣетъ обыкновеніе уважать трактаты“. Менѣе чѣмъ кто-нибудь онъ самъ могъ относиться серьезно къ своимъ словамъ. Данія и Австрія знаютъ кое-что про „обыкновеніе“ Германіи уважать свои трактаты. Впрочемъ, читатель не долженъ заключать изъ нашихъ словъ, что мы это неуваженіе къ трактатамъ ставимъ въ упоръ князю Бисмарку. Мы весьма далеки отъ этого. Уваженіе къ трактатамъ было бы какимъ-то диссонансомъ въ цѣльной фигурѣ князя Бисмарка, въ цѣльности его политическихъ воззрѣній и его образа дѣйствія, и, наконецъ, подобное обвиненіе могло бы только развѣ обличить въ полномъ незнакомствѣ съ исторіею. Когда же, спрашивается, и уважались трактаты? Нѣтъ, мы упомянули о нарушеніи трактатовъ только для того, чтобы сказать, что въ вопросахъ внѣшней политики у самого Бисмарка не хватало подчасъ му-

жества открыто сказать то, что онъ говорилъ такъ часто: „я уважаю силу и презираю слова“!

Бисмаркъ уважалъ силу, потому что онъ видѣлъ, что только ею можно достигнуть того, чего не въ состояніи были достигнуть идеи, вѣдохи, платоническіе возгласы и нравственное томленіе нѣмцевъ. То, чего не создали идеи, то создано было штыкомъ, войною. Война была какъ бы источникомъ единства Германіи; война довершила его, если только считать его довершеннымъ. Нѣмцы не думаютъ такъ, они не забываютъ пѣсни Морица Аридта.

Единство Германіи—какъ цѣль, война—какъ средство, слились въ понятіи Бисмарка, и только тогда, когда мы ни на минуту не упустимъ изъ виду этой цѣли и этого средства, передъ нами со всею ясностью раскроются воззрѣнія нѣмецкаго канцлера какъ на систему обращенія съ побѣжденными народами, такъ и на отношенія Германіи къ иностраннымъ государствамъ и по преимуществу къ ея ближайшимъ сосѣдямъ: Австріи, Франціи и Россіи. Къ опредѣленію этихъ-то именно воззрѣній мы и должны теперь перейти.

IX.

Воззрѣнія князя Бисмарка на вѣдную политику, на отношенія сначала Пруссіи, потомъ Германіи, какъ къ иностраннымъ государствамъ, такъ и къ присоединеннымъ и завоеваннымъ областямъ, находятся въ самой тѣсной, неразрывной связи съ исторіею Германіи за послѣднія десять лѣтъ. Еслибы мы задались задачею прослѣдить систему и образъ дѣйствій Бисмарка во всемъ ея объемѣ, во всѣхъ подробностяхъ, то задача эта равнялась бы задачѣ написать исторію Германіи съ 1862 по 1872 г. Написать же исторію Германіи за эту обильную событіями эпоху—значило бы написать не только исторію Германіи, но исторію Европы, такъ какъ страна Бисмарка, благодаря его энергичной и мощной политикѣ, сдѣлалась центромъ, вокругъ котораго, точно вокругъ солнца, вращались всѣ остальные европейскія государства. Само собою разумѣется, что мы весьма далеки отъ такой задачи. Мы ограничимся только са-

ными крупными, выдающимися событіями, и этихъ событій будетъ слишкомъ достаточно, чтобы познакомиться по нимъ съ системою виѣшней политики князя Бисмарка и съ немногими основными положеніями его практической мудрости. Бисмаркъ сыгралъ до сихъ поръ три замѣчательныя шахматныя партіи, замѣчательныя по необыкновенно искусному сочетанію ходовъ, по той смѣтливости и сообразительности, съ которой онъ предвидѣлъ ходы своихъ противниковъ, и по той необыкновенной ловкости, съ которою онъ извлекалъ выгоду для своего положенія изъ каждаго передвиженія самой ничтожной пѣшки своихъ партнеровъ. Эти три партіи были: датская, австрійская и французская войны. Завязка, развитіе и развязка или прологъ, дѣйствія и эпилогъ этихъ событій слишкомъ извѣстны нашимъ читателямъ, такъ что мы смѣло можемъ опустить всю фактическую ихъ сторону и пользоваться ими лишь настолько, насколько понадобится для уразумѣнія началъ той практической философіи, которая нашла себѣ въ князѣ Бисмаркѣ такого типическаго представителя.

Цѣль Бисмарка была собрать всѣ нѣмецкія земли въ одно почтенное цѣлое, но цѣль эта встрѣчала себѣ препятствія съ двухъ сторонъ. Съ одной стороны, препятствіе это заключалось въ нежеланіи самихъ нѣмецкихъ государствъ утратить дѣйствительную независимость и самостоятельность и сохранить только одну фиктивную, съ другой — онъ встрѣчалъ преграду для осуществленія своего плана въ другихъ европейскихъ государствахъ, границы которыхъ были смежны съ границей Германіи. Эти государства находили стѣснительнымъ и не совсѣмъ безопаснымъ образованіе рядомъ съ собою могущественной военной державы. Австрія, какъ извѣстно, сама желала играть роль Германіи и злобно ворчала, когда князь Бисмаркъ предлагалъ ей обратить свои взоры болѣе на востокъ и предоставить одной Пруссіи заботу о судьбѣ Германіи. Прежняя носительница императорской короны, очевидно, не могла на это согласиться добровольно.

Для Франціи, этого другого сосѣда Германіи, привыкшей не только къ нравственному, или, если можно такъ выразиться, идейному, но и къ политическому первенству въ Европѣ, возникновеніе единой Германіи, и притомъ не такой, какую пророчествовали Лессинги, Фихте и Бёрне, и не такой, которую почти за сорокъ лѣтъ предсказывали передовые французскіе писатели, приготавлиая къ этому событію свою

родину, во Германіи, до мозга костей пропитанной выправкою Фридриха II и обладающей сильною военною организаціею, — сильною потому, что она находится въ связи съ системою нѣмецкаго образованія, — возникновеніе такого государства для Франціи было тяжелымъ кошмаромъ, который она съ трудомъ могла переносить. Создайся та идеальная единая Германія, о которой мечтали люди непрактическіе, фантазеры, будь французское общество на болѣе высокомъ нравственномъ уровнѣ, не поддайся оно деморализаціи, внесенной имперіей, тогда, безъ сомнѣнія, возникновеніе Германіи не было бы кошмаромъ для Франціи. Но исторія не обращаетъ никакого вниманія на всѣ эти условныя „создайся“, „будь“, и судьба, точно злая мачиха, вовсе не беспокоится о мирномъ и радостномъ устройствѣ судьбы человѣчества и, какъ на зло людямъ, самыя свѣтлыя улыбки расточаетъ не мечтателямъ и идеалистамъ, а такимъ суровымъ реалистамъ и практическимъ людямъ, какъ князь Бисмаркъ.

Вотъ, сопротивленіе этихъ-то сосѣдей, для которыхъ единая Германія являлась точно бѣльмомъ на глазу, и сопротивленіе нѣмецкихъ государствъ, которыя упорно отказывались понять до послѣдней минуты, въ чемъ заключается для нихъ благо утратить свою самостоятельность, долженъ былъ сломить Бисмаркъ. Задача, благодаря общему опустившемуся уровню Европы, оказалась какъ разъ по его силамъ. Каждая страна думала только о себѣ и нисколько объ общемъ положеніи Европы, каждое государство видѣло только данную минуту и было, повидимому, слѣпо настолько, что вовсе теряло способность смотрѣть въ даль и разглядѣть не то, что случится черезъ болѣе или менѣе крупный періодъ времени, а то, что должно быть завтра. Поразительное отсутствіе проницательности, какая-то куриная слѣпота — вотъ характеристическая черта, отличавшая государства Европы за весь періодъ политической дѣятельности Бисмарка. Онъ одинъ умѣлъ соображать, онъ одинъ понималъ истинную связь и свѣпленіе событій. Что же касается до того, чтобы воспользоваться своею проницательностью и чужою, точно повальной слѣпотою, то этою способностью его одарила природа, какъ никого.

Кромѣ Австріи и Франціи, у Германіи оставался еще только одинъ могущественный сосѣдь, но этотъ сосѣдь добровольно отстранился отъ игры, и Бисмарку не только нечего было беспокоиться о немъ, но онъ извлекъ изъ него всю выгоду, какую только было возможно, и ему ничего

не стоило воспользоваться имъ такъ, какъ будто бы интересы Германіи и этого третьяго сосѣда были вполне солидарны. Этотъ сосѣдъ — не кто иной какъ Россія. Разумѣется, только одно будущее можетъ показать, такъ ли солидарны интересы Россіи и Германіи, какъ то, по-видимому, думали, и въ интересахъ ли Россіи было допускать непо-
мѣрное усиленіе Германіи.

Ошибочно было бы выводить изъ нашихъ словъ, будто мы думаемъ, что какая-нибудь страна на свѣтѣ можетъ и имѣть нравственное право остановить естественное развитіе, естественный ростъ другой страны. Германія, безъ всякаго сомнѣнія, имѣла право на свое единство, какъ и всякая другая страна, и никакая сила неспособна была бы задавить этого стремленія и не допустить до единства, лишь только нѣмецкій народъ возымѣлъ твердое намѣреніе слиться въ одно цѣлое. Но еще большая разница между тѣмъ, чтобы быть равнодушнымъ и даже симпатичнымъ зрителемъ образованія единой Германіи, и дѣятельнымъ бездѣйствіемъ къ возвышенію сосѣдней страны на счетъ другихъ государствъ. Большая разница между естественными народными стремленіями и стремленіями чисто завоевательнаго свойства. Насколько одни законны, настолько же незаконны другія.

Въ послѣдніе годы, по поводу быстрого возвышенія Нѣмецкой Имперіи, во всевозможныхъ политическихъ разсужденіяхъ было наговорено столько дикаго, внесено было столько путаницы въ вопросъ о выгодѣ и невыгодѣ возвеличенія того или другого государства, опасности или, напротивъ, пользы сосѣдства сильнаго народа, что и тутъ необходимо оговориться, чтобы не быть отнесеннымъ къ числу людей, которые на всѣ политическіе вопросы смотрятъ съ какой-то узкой, улиточной точки зрѣнія. Толики объ опасности для одного народа сосѣдства другого могущественнаго народа принадлежатъ къ самымъ нелѣпымъ толкамъ. Слабость, политическая ничтожность сосѣдняго народа можетъ казаться выгодною только самымъ недальнозоркимъ политикамъ. Весь существующій политическій строй не стоилъ бы жѣднаго гроша, еслибы для благосостоянія, процвѣтанія и спокойнаго существованія одного государства необходимо было, чтобы другіе окружающіе или сосѣдніе народы были лишены всякой политической силы. Вопросъ не въ большемъ или меньшемъ могуществѣ сосѣдняго народа, а въ тѣхъ началахъ, которыя составляютъ

его мощь, его силу. Пусть будутъ Сѣверо-Американскіе Штаты двадцать разъ могущественнѣе всей Европы, взятой вмѣстѣ, они все-таки не опасны и не могутъ быть опасны, хотя бы они находились не за океаномъ, а тутъ же, рядомъ, подъ бокомъ. Не опасно было бы ихъ сосѣдство, потому что среди началъ, составляющихъ ихъ могущество, лежитъ столько же ревнивое охраненіе ихъ независимости и свободы, сколько строгое уваженіе къ свободѣ и независимости другихъ народовъ. Съ этимъ уваженіемъ къ свободѣ другихъ народовъ несовмѣстима, разумѣется, завоевательная политика. Мы предпочли бы взять для примѣра какой-нибудь европейскій народъ, но это уже не наша вина, если, за отсутствіемъ такого въ Европѣ, мы вынуждены указывать для поясненія нашей мысли на другую страну свѣта. Мы весьма далеки отъ мысли, чтобы, говоря вообще, сосѣдство могущественной Германіи было для насъ опасно.

Мы полагаемъ, напротивъ, что сосѣдство Германіи, какъ бы сильна она ни была, благодаря своему высшему развитію, благодаря высшей цивилизаціи, будетъ какъ нельзя болѣе выгодно для Россіи, но только тогда, когда Германія отрѣшится отъ началъ практической философіи, какъ выражаются они въ князѣ Бисмаркѣ, и смѣло пойдетъ на встрѣчу тѣмъ идеямъ и тѣмъ началамъ жизни, которыя составляютъ пока удѣлъ такихъ странъ, какъ Англія. Во всякомъ случаѣ Германія гораздо прежде Россіи усвоитъ себѣ эти начала государственной жизни, такъ какъ и теперь уже нѣмцы гораздо къ нимъ ближе, чѣмъ мы, — и тогда сосѣдство ея будетъ для насъ столь же благодатно, какъ было для Германіи дорого и важно сосѣдство либеральной и богатой политическими и социальными идеями Франціи. Что сосѣдство Франціи имѣло самое благодѣтельное вліяніе на политическое развитіе Германіи, это могутъ отрицать развѣ только нѣмцы, незнакомые съ исторіей, а если и знакомые, то опьяненные до безпамятства событіями послѣднихъ десяти лѣтъ. Пусть эти нѣмцы спросятъ мнѣнія своихъ самыхъ замѣчательныхъ по развитію и уму людей, пусть заглянутъ они въ Шлоссера, Гервинуса и Штрауса, хотя и нѣсколько зачумленного уже военною славою, и они увидятъ, какъ говорятъ эти люди о благотворномъ вліяніи Франціи. Такое же значеніе, есть много основаній предполагать, будетъ имѣть для Россіи Германія, ея ближайшій сосѣдъ. Когда Германія твердо установится на разумныхъ началахъ и, понявъ всю важность свободы и

независимости для себя, не станеть находить ихъ излишними и для другихъ, тогда пускай она будетъ еще сильнѣе, чѣмъ теперь, намъ нечего будетъ ея опасаться.

До тѣхъ же поръ вопросъ стоитъ нѣсколько иначе. Германія можетъ быть опасна, и весьма серьезно опасна для Россіи, если только она усвоить себѣ завоевательную политику, начало которой, безспорно, положено завоеваніемъ Эльзаса и Лотарингіи. Труденъ только первый шагъ, говорятъ французы, а если онъ сдѣланъ, то нѣтъ причины останавливаться, когда сознаешь себя сильнѣе другихъ. Едва-ли кто можетъ поручиться, что Германія не пойдетъ далѣе на этомъ пути, и какъ „округлила“ свои западныя границы, такъ точно пожелаетъ „округлить“ и восточныя. Предсказывать будущее—самое неблагоприятное дѣло, и не мы, конечно, рискнемъ занимать читателя нашими пророчествами; но высказать желаніе, чтобы тѣмъ европейскимъ державамъ, которыя своими дѣйствіями или, что одно и то же, своими дѣятельнымъ бездѣйствіемъ помогли усиленію Германіи на счетъ одного изъ своихъ сосѣдей, не пришлось горько раскаяваться за свою политику,—это позволительно каждому смертному.

Европейскія державы имѣли полное основаніе, когда увидѣли, что Германія князя Бисмарка вступаетъ на опасный для ихъ спокойствія путь завоевательной политики, напомнить ей приведенныя уже нами слова Фридриха II: „когда чрезвычайное величіе державы готово, по-видимому, выйти изъ береговъ и угрожаетъ поглотить вселенную, тогда благоразуміе заставляетъ противопоставить ей плотину и остановить бурное теченіе потока“. Европейскія державы не только не старались остановить этого потока, но, напротивъ, постарались расчистить ему русло для болѣе беспрепятственнаго теченія, и еслибы кто-нибудь могъ проникнуть въ сокровенныя мысли князя Бисмарка, быть можетъ онъ поймалъ бы нѣмецкаго канцлера на думѣ: а славно я провелъ моихъ добрыхъ сосѣдей! Но, не будучи въ состояніи проникнуть въ тайныя думы человека, стоящаго во главѣ политической Европы, стараемся по крайней мѣрѣ не ошибаться и постигнуть истинный смыслъ его словъ и рѣчей, касающихся внѣшней политики, направленной къ созданію не только единой, но и могущественно-грозной Германіи.

Фигура Бисмарка во всемъ, что касается внѣшней политики, является несравненно болѣе замѣчательною и выдающеюся, нежели въ

вопросахъ внутренней политики. Его отличительными чертами въ послѣдней служатъ, какъ видѣлъ уже читатель, большая энергія, настойчивость, сила недюжинной деспотической натуры. Но рядомъ съ этими чертами нельзя было не отмѣтить въ немъ отсутствіе всякой послѣдовательности, проистекающей отъ недостатка общаго политическаго міросозерцанія на внутреннюю жизнь народа, бѣдности идей, и отсюда непониманіе связи между однимъ и другимъ началомъ политической жизни націи. Совсѣмъ другое во внѣшней политикѣ. Тутъ онъ знаетъ, чего хочетъ, тутъ у него есть строго обдуманнѣйшій планъ, какъ относительно цѣли, такъ и относительно средствъ, и потому въ каждомъ его дѣйствіи, въ каждомъ шагѣ видна строгая послѣдовательность. То, что онъ дѣлаетъ, онъ дѣлаетъ не случайно; онъ не бросается то въ одну, то въ другую сторону, тутъ все у него вяжется, одно событіе примыкаетъ къ другому, и образуется цѣлая крѣпкая, непрерывная цѣпь, которою онъ окручиваетъ всѣ государства, интересы которыхъ соприкасаются съ интересами Германіи. Энергія и сила, отличающія внутреннюю политику, отличаютъ и внѣшнюю, но тутъ рядомъ съ ними является большое искусство, умѣнье во-время приложить эту энергію и эту силу и во-время сдержать „бурный потокъ“. Только тогда, когда Бисмаркъ высказывается въ вопросахъ внѣшней политики, видишь, что человѣкъ этотъ—въ своей сферѣ, что онъ говоритъ и дѣйствуетъ не для того только, чтобы подчинить своей волѣ, но чтобы дать возможность осуществиться извѣстному плану. Нужно быть пристрастнымъ до несправедливости, чтобы не видѣть, что нѣмецкій канцлеръ во внѣшней политикѣ дорожитъ своими идеями не столько потому, что это его идеи, сколько потому, что онъ думаетъ, что эти идеи доставятъ торжество Германіи. Еслибы интересы его родины заставили его отказаться отъ этихъ идей, онъ съ удовольствіемъ бы покинулъ ихъ и подчинилъ благу государства. Мы хотимъ этимъ сказать, что князь Бисмаркъ во внѣшней политикѣ далеко не принадлежитъ къ тѣмъ узкимъ, самолюбивымъ политикамъ, которые скорѣе готовы пожертвовать счастьемъ своей страны, нежели отказаться отъ извѣстныхъ, давно усвоенныхъ идей. Сильный и энергичный, онъ чуждается мелкаго самолюбія мелкихъ государственныхъ людей. Это такое достоинство, которое въ современномъ политическомъ мірѣ встрѣчается вовсе не такъ часто, чтобы не поставить его въ заслугу всегда гордому и непреклонному нѣмецкому министру.

Внѣшняя политика — его сила; на внѣшнюю политику были направлены, главнымъ образомъ, всѣ его помыслы, всѣ его заботы; вопросы внутренней жизни стояли всегда у него на заднемъ планѣ. Бисмаркъ былъ вполне откровененъ въ ту минуту, когда, возражая на упрекъ, что онъ изъ внѣшней политики дѣлаетъ только орудіе внутренней политики, орудіе въ борьбѣ правительства съ парламентскими притязаніями, отвѣчалъ: „Я отвергаю этотъ упрекъ, какъ совершенно незаслуженный и ничѣмъ неоправдываемый. Для меня внѣшнія дѣла сами по себѣ составляютъ цѣль, и я ставлю ихъ выше всѣхъ другихъ. И вы, господа, — говорилъ Бисмаркъ, — вы должны были бы думать точно такъ же, какъ и я, такъ какъ то, что вы могли потерять во внутренней жизни, вы получите возможность, безъ сомнѣнія, быстро наверстать при какомъ-нибудь либеральномъ министерствѣ, которое, быть можетъ, не долго заставитъ себя ждать. Это вовсе не вѣчная потеря. Но во внѣшней политикѣ есть минуты, которыя никогда болѣе не возвращаются“. Такою минутою онъ считалъ истекшій десятилѣтній періодъ, и онъ ковалъ желѣзо, пока оно было горячо.

Бисмаркъ былъ бы уже слишкомъ скромнѣе, еслибы онъ весь успѣхъ своей политики приписывалъ исключительно благопріятнымъ для Германіи условіямъ, въ которыхъ находилась Европа. Если справедливо, что никто не умѣетъ въ такой степени пользоваться выгодными обстоятельствами, какъ нѣмецкій канцлеръ, то также справедливо будетъ сказать, что вмѣстѣ съ умѣньемъ извлекать всю возможную пользу изъ сложившихся помимо его воли обстоятельствъ, Бисмаркъ обладаетъ другимъ, болѣе драгоценнымъ искусствомъ — создавать обстоятельства. Онъ умѣетъ давать событіямъ такое направление, какое необходимо для его плановъ, для достиженія цѣли, и тѣ, которые становятся жертвами его дипломатическаго искусства, уже слишкомъ поздно замѣчаютъ, что событія, которыми они содѣйствовали всѣми своими силами, должны были неминуемо вести къ ихъ ущербу, къ ихъ гибели. Когда они одумаются и захотятъ поправить то, чему виною была непроницательность, то они убѣждаются, что тутъ-то именно и ожидалъ ихъ „устроитель“ Германіи. Смѣлымъ ходомъ Бисмаркъ предупреждаетъ отпоръ, направленный противъ его политики, и пользуется самымъ сопротивленіемъ, которое, наконецъ, онъ встрѣчаетъ въ томъ или другомъ государствѣ, чтобы еще болѣе смять своего противника. Но не слѣдуетъ думать,

что смѣлость, доходящая до дерзости, нѣмецкаго канцлера, исключаетъ у него всякую осторожность. Вовсе нѣтъ. Осторожность онъ искусно соединяетъ съ какой-то бравурой, и, какъ онъ самъ выражается, смѣлость въ политикѣ никогда не должна превращаться въ легкомысленный рискъ.

Бисмаркъ во внѣшней политикѣ естественно не можетъ быть настолько же откровененъ, насколько онъ является во внутреннихъ дѣлахъ; современная дипломатія требуетъ скрытности, и нѣмецкій канцлеръ старается не уклоняться отъ этого требованія. Но и тутъ, еслибы сосѣди Германіи внимательно слѣдили за всѣмъ тѣмъ, что высказывалъ въ палатѣ князь Бисмаркъ, то, благодаря его природной склонности къ откровенности, которая то тутъ, то тамъ да прорвется, они бы могли убѣдиться, что миролюбивыя увѣренія нѣмецкаго министра такъ и дышутъ воинственными помыслами. Бисмаркъ таилъ ихъ въ себѣ до поры до времени; онъ лучше, чѣмъ кто-нибудь знаетъ, что умѣть выждать минуты, это—большое достоинство, и онъ выжидалъ. Придавая силѣ, факту первенствующее значеніе, онъ не упускаетъ изъ виду и того нравственнаго впечатлѣнія, которое должна произвести его политика. Вотъ отчего онъ взялъ себѣ за правило во внѣшней политикѣ, когда онъ рѣшался сломить силу того или другого сосѣда, такъ подстроить обстоятельства, установить для глазъ постороннихъ зрителей такую декорачію, чтобы всегда имѣть возможность сказать: Европа можетъ быть свидѣтельницею, что не Германія первая обнажила свое оружіе, не она вызывала на бой, напротивъ, Германія—самая мирная изъ всѣхъ державъ, и если сна рѣшилась на пролитіе крови, то только потому, что врагъ угрожалъ ея „безопасности“, что нужно было заботиться о спасеніи ея „независимости“. Наивные люди принимали на вѣру, что независимости Германіи дѣйствительно угрожала опасность; мастерски написанная декорачія обманывала глазъ и скрывала истинные смѣлые замыслы нѣмецкаго канцлера.

Другое правило внѣшней политики Бисмарка, не менѣе поучительное, можетъ быть выражено такъ: никогда не слѣдуетъ срывать недозрѣвшаго плода! Правда, онъ весьма часто пособляетъ ему созрѣть скорѣе, сосредоточивая на немъ съ большимъ искусствомъ лучи политическаго солнца, но пока плодъ не созрѣлъ, пока онъ не можетъ быть снятъ съ увѣренностью, что будетъ съ аппетитомъ проглоченъ

и безъ опасности засорить желудокъ, онъ оставляетъ его на деревѣ. Онъ съ удовольствіемъ однимъ зарядомъ убьетъ при случаѣ двухъ зайцевъ, но стрѣлять на рискъ, на удачу—никогда! Когда Бисмаркъ увѣренъ, что нѣсколько раньше или нѣсколько позже онъ достигнетъ того, что желаетъ, то онъ не торопится, не горитъ нетерпѣніемъ поскорѣ схватить кладъ въ свои руки. Для того, чтобы получить большее, но не совсѣмъ вѣрное, онъ никогда не станетъ рисковать вѣрнымъ, тѣмъ меньшимъ, которое онъ уже держитъ въ рукахъ. Много разъ онъ обращался къ палатѣ со словами: терпѣніе, господа, терпѣніе, не все вдругъ! умѣйте довольствоваться тѣмъ, что имѣете; все придетъ въ свое время!

Въ систему внѣшней политики князя Бисмарка входитъ еще одно положеніе, заимствованное имъ прямо, какъ и многое другое, изъ кодекса практической мудрости Фридриха. Положеніе это—подписывать трактаты съ принятымъ намѣреніемъ не стѣснять себя соблюденіемъ ихъ. Мы имѣли случай уже привести тѣ слова нѣмецкаго канцлера, въ которыхъ онъ такъ торжественно заявляетъ, что Германія имѣетъ обыкновеніе свято хранить трактаты. Но нужно думать, что слова эти были не чѣмъ инымъ, какъ такъ-называемымъ ораторскимъ движеніемъ. Истинное же правило Бисмарка заключается въ соблюденіи только того, что выгодно, и въ забвеніи того, что связываетъ руки. Бисмарку случалось даже быть настолько откровеннымъ, чтобы публично заявлять, что если въ трактатъ занесена та или другая невыгодная статья, то это нисколько не должно смущать общественнаго мнѣнія, такъ какъ статья трактата можетъ быть толкуема и такъ, и иначе. Такъ разсуждалъ Бисмаркъ въ палатѣ немедленно послѣ заключенія пражскаго мира по поводу статьи трактата о возвращеніи Даніи сѣвернаго Шлезвига. И это правило практической философіи нашего времени высказывалось совершенно свободно, какъ самая обыкновенная вещь. Еслибы Бисмарку кто-нибудь замѣтилъ, что вѣдь въ сущности это доказываетъ только отсутствіе политической честности, что въ переводѣ на обыкновенный языкъ это называется вѣроломствомъ, онъ, весьма вѣроятно, только усмѣхнулся бы и сказалъ: полноте, пожалуйста, оставьте эти разсужденія фантазерамъ и идеалистамъ! Правила обыденной честности, будничное пониманіе долга вовсе непримѣнимы къ такому государственному человѣку, да непримѣнимы вообще къ современной политикѣ.

Бисмарку вовсе нѣтъ дѣла до условной политической честности; для него она заключается въ служеніи интересамъ государства, въ извлеченіи пользы для имперіи, и еслибы, дѣйствуя „честно“, съ точки зрѣнія различныхъ идеалистовъ, онъ упустилъ интересы, выгоду государства—вотъ когда бы онъ сказалъ, что онъ не исполнилъ своего долга. Когда девизомъ человѣка служить: *salus imperii suprema lex esto!* тогда обыденнымъ аршиномъ нельзя болѣе мѣрить человѣка.

Этотъ *salus imperii* служить основаніемъ воззрѣній Бисмарка и на отношенія его къ присоединеннымъ и завоеваннымъ областямъ и провинціямъ. Воля населенія не имѣетъ для него ровно никакого значенія. Народъ не желаетъ, всячески протестуетъ противъ присоединенія къ Германіи; Бисмарку весьма жаль, но, дѣлать нечего, онъ, тѣмъ не менѣе, долженъ быть присоединенъ, такъ какъ иначе „независимость“ и „безопасность“ Германіи лишаются необходимыхъ гарантій; какъ только выгода его страны требуетъ чего-нибудь, тогда всякія другія разсужденія уходятъ на самый отдаленный планъ, и они никогда даже не долетятъ до слуха князя Бисмарка. Не долетятъ потому, что онъ не захочетъ ихъ услышать. Малѣйшее сопротивленіе должно быть энергически подавлено; князь Бисмаркъ обойдется жестоко, онъ будетъ неумолимъ, но вовсе не потому, чтобы онъ былъ жестокъ, напротивъ, онъ будетъ радъ, если большая мягкость, обходительность, уступчивость въ вопросахъ второстепенныхъ въ состояніи будутъ замѣнить жестокость и безсердечіе. Если же нѣтъ, дѣлать нечего, того требуетъ тогда *salus imperii*. Безцѣльно жестокъ Бисмаркъ никогда не будетъ. И не потому, чтобы природныя его свойства играли тутъ какую-нибудь роль; мы даже не знаемъ, жестокимъ или мягкимъ сердцемъ обладаетъ князь Бисмаркъ, и вопросъ этотъ, какъ неидущій къ дѣлу, предоставляемъ рѣшать его многочисленнымъ біографамъ. Нѣтъ, какъ человѣкъ, одаренный глубокимъ политическимъ смысломъ, воспитанный, какъ бы то ни было, на европейской, цивилизованной почвѣ, онъ просто понимаетъ, что притѣсненія, мести никогда не въ силахъ установить прочнаго порядка; онъ понимаетъ выгоду быть мягкимъ и уступчивымъ. Еслибы онъ былъ убѣжденъ въ противномъ, его обычною системою была бы жестокость, а мягкость являлась бы какъ исключеніе.

Таковы общія воззрѣнія и правила Бисмарка, относящіяся ко внѣшней политикѣ. Посмотримъ теперь, какъ онъ примѣняетъ ихъ къ дѣлу, и начнемъ съ его системы обращенія съ побѣжденными, или, чтобы употребить болѣе современный и политическій терминъ, — съ присоединенными областями.

Пробнымъ камнемъ для Бисмарка въ его завоевательной политикѣ послужилъ тотъ несчастный Шлезвигъ-Гольштейнъ, который въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ успѣлъ до такой степени набить оскомину обществу, интересующемуся вопросами внѣшней политики, что въ настоящее время нужно имѣть извѣстную храбрость, чтобы написать эти два слова: Шлезвигъ-Гольштейнъ! Не имѣя вообще надобности касаться фактической стороны этого вопроса, мы должны все-таки посмотрѣть на образъ дѣйствій князя Бисмарка въ то отдаленное по событіямъ время, когда онъ смѣло приступалъ къ закладкѣ своего зданія. На первыхъ же порахъ система его обрисовалась вполне; при видѣ, съ какою ловкостью онъ воспользовался такъ кстати подвернувшимся случаемъ, чтобы начать дѣло „округленія“ Пруссіи, нельзя было не признать въ немъ весьма искуснаго, изъ ряда вонъ выходящаго дипломата. Кому неизвѣстно, какая басня была сочинена относительно нарушенія Данією лондонскаго трактата 1852 года, обезпечивавшаго за герцогствами Шлезвигъ-Гольштейнъ ихъ провинціальную автономію. Данія не исполнила обязательствъ, Данію слѣдовало заставить смириться, „нѣмецкіе“ интересы были нарушены. Дѣло могло кончиться—это само собою разумѣется—весьма мирно. Данія охотно уважила бы справедливыя представленія державъ, подписавшихъ лондонскій трактатъ, но это вовсе не входило въ расчеты князя Бисмарка, и первое, съ чего онъ начинаетъ, — это съ громкихъ возгласовъ о „датскомъ угнетеніи“ герцогствъ. Бисмарку нужно было увѣрить, что „угнетеніе“ это весьма серьезно, и онъ продолжалъ толковать о немъ даже тогда, когда населеніе герцогствъ всяческими протестами стало заявлять, что оно вовсе не нуждается въ покровительствѣ нѣмецкихъ государствъ и просить лишь о томъ, чтобы его оставили въ покоѣ.

Изъ многочисленныхъ рѣчей князя Бисмарка, посвященныхъ шлезвигъ-гольштейнскому вопросу, ясно видно, насколько война съ Данією была орудіемъ въ его рукахъ. „Намъ стоитъ только натянуть струну, — говоритъ онъ, — и необходимость войны представится сама

собой". Бисмаркъ „натянулъ струну" — и война началась. Пруссія вышла изъ періода „сосредоточенія", и послѣ пятидесятилѣтняго мира она обнажила свой мечъ на защиту чисто платоническихъ интересовъ. Пруссія не могла оставаться равнодушною свидѣтельницею „угнетенія" нѣмецкаго населенія и обрушилась на Данію безъ всякихъ корыстныхъ цѣлей. Вотъ что говорилось въ то время.

До окончанія войны Бисмаркъ тщательно скрывалъ свои наміренія, но зато, какъ только миръ былъ подписанъ, какъ только Шлезвигъ-Гольштейнъ былъ уступленъ Даніею Пруссіи и Австріи, такъ тотчасъ Бисмаркъ раскрылъ свои планы. „Я полагаю, — говорилъ онъ, — что для герцогствъ будетъ гораздо выгоднѣе сдѣлаться членами большой прусской общины, нежели образовать отдѣльное маленькое государство, обремененное тяжестями, превышающими его силы". Это „я полагаю" на языкѣ Бисмарка означало: „я рѣшилъ", — и затѣмъ никакія силы неспособны уже были заставить его измѣнить это рѣшеніе.

Не входя въ обсужденіе, какииъ образомъ совершилось присоединеніе Шлезвигъ-Гольштейна къ Пруссіи, мы должны спросить только, какими правилами, какими началами руководствовался Бисмаркъ, „присоединяя" къ Пруссіи оторванное отъ Даніи населеніе? Играетъ ли тутъ какую-нибудь роль принципъ національностей? Никакой, и Бисмаркъ съ большою откровенностью высказываетъ это въ своихъ рѣчахъ. Притомъ же принципъ національности мудрено было въ этомъ случаѣ проводить нѣмецкому министру въ виду рѣшительно заявленнаго населеніемъ желанія остаться въ неразрывной связи съ Даніею. Какой же другой принципъ можно было выставить для оправданія насильственнаго присоединенія? Одинъ только, и именно тотъ, который съ такимъ прямотушіемъ выставилъ Бисмаркъ, — это принципъ всякой завоевательной политики, принципъ не новый, но только усовершенствованный, принципъ государственной пользы.

Въ доброе старое время, да пожалуй и до настоящаго времени, многіе государственные люди, или, по крайней мѣрѣ, которые считаютъ себя таковыми, полагали и полагаютъ, что расположеніе, хорошее или дурное, присоединеннаго населенія не имѣетъ ровно никакого значенія, что для государства вполне безразлично, — особенно когда есть значительныя „усмиряющія" или, чтобы выразиться приличнѣе, „умиротворяющія" силы, — какъ настроено это населеніе, какія чувства

питаетъ оно къ государству-присоединителю. Бисмаркъ вовсе не держится подобнаго отсталаго взгляда. „Мое мнѣніе—говоритъ онъ— всегда было таково, что населеніе, которое заявляетъ свое твердое и дѣйствительно неоспоримое желаніе не быть прусскимъ или нѣмецкимъ, которое заявляетъ неоспоримую волю присоединиться къ сосѣднему государству, къ которому оно непосредственно примыкаетъ и которое принадлежитъ къ той же самой національности, не прибавляетъ никакой силы тому государству, съ которымъ оно не хочетъ жить вмѣстѣ“. Лучше, кажется, нельзя. Истинно либеральный государственный человѣкъ могъ бы смѣло подписаться подъ этими словами. Но княземъ Бисмаркомъ руководить въ этомъ случаѣ вовсе не либерализмъ. Слова его только доказываютъ, что иногда его принципъ государственной выгоды можетъ встрѣтиться съ принципомъ выгоды государства,—выгоды, понимаемой нѣсколько иначе, нѣсколько шире, нежели понимаетъ его князь Бисмаркъ.

Для нѣмецкаго канцлера нежеланіе населенія само по себѣ не имѣетъ значенія; оно важно для него настолько, насколько вліяетъ на ту степень увеличенія силы, которую находитъ государство въ присоединеніи къ себѣ того или другого населенія. Вотъ почему, какъ скоро для государства оказывается выгодно присоединить къ себѣ извѣстную провинцію, то нежеланіе ея теряетъ уже всякое значеніе, и она присоединяется несмотря на то, что не можетъ придать силы присоединяющему государству. Бисмаркъ прекрасно это объясняетъ. „Можно имѣть, однако, такія важныя причины, которыя не позволяютъ уступать желаніямъ населенія; могутъ существовать преграды географическаго свойства, которыя дѣлаютъ невозможнымъ выполненіе этихъ желаній. Нужно только опредѣлить, въ какой степени примѣняется это къ настоящему случаю. Вопросъ открыть; во всякомъ случаѣ, обсуждая его, мы высказали съ твердостью, что мы никогда не можемъ пойти на то, чтобы посредствомъ какого бы то ни было соглашенія наша военная оборонительная линія была ослаблена...“ Такимъ образомъ, еслибы военная оборонительная линія, какъ называетъ Бисмаркъ границы государства, потребовала присоединенія совершенно чуждой Германіи области, и еслибы притомъ была возможность завоевать ее, то, по воззрѣнію князя Бисмарка, никакія постороннія соображенія не могутъ быть приняты во вниманіе. А кому не извѣстно, что „военная оборонительная линія“ быстро подвигается впередъ и впередъ по

мѣръ возростанія могущества государства. Въ 1864 г. эта оборонительная линія потребовала, чтобы на сѣверѣ Германіи была отторгнута цѣлая область отъ Даніи; въ 1871 году она же потребовала для своего самосохраненія Эльзаса и Лотарингіи на западѣ; кто знаетъ, не потребуеъ ли она присоединенія кое-чего и на восточной границѣ въ какомъ-нибудь 1879 году.

Однимъ словомъ, по поводу Шлезвигъ-Гольштейнскихъ герцогствъ совершенно ясно обнаружилась уже завоевательная политика Бисмарка. Едва ли въ XIX вѣкѣ кто-нибудь, кромѣ Бисмарка, такъ смѣло бросалъ вызовъ тѣмъ понятіямъ, которыя призваны были къ жизни французскою революціею прошлаго столѣтія. Право народа свободно располагать своею судьбою, уваженіе къ его независимости, признаніе святости его воли — все это, какъ ненужный балластъ, было выброшено за бортъ политической жизни, и вмѣсто теоретическаго принципа „правъ народа“, былъ поставленъ принципъ практической: „право сильного“. Когда Наполеонъ I завоевалъ себѣ народы и цѣлыя царства раздавалъ какъ вотчины своимъ приближеннымъ, трусость передъ принципами, несмотря на все презрѣніе къ людямъ, которыхъ онъ повально считалъ глупцами, заставляла его прикрывать свою завоевательную политику громкими фразами о свободѣ народовъ и объ освобожденіи ихъ отъ угнетенія ихъ деспотическихъ правительствъ; когда Наполеону III понадобилось, болѣе для удовлетворенія чувства славы, нежели изъ серьезныхъ политическихъ видовъ, присоединить къ Франціи Савойю и Ниццу, онъ точно также, наружно склоняясь передъ принципомъ воли народа, устроилъ по всѣмъ правиламъ искусства комедію народнаго голосованія. Даже Пьемонтъ, принимая въ свои объятія бросившуюся къ нему съ радостью Италію, считалъ все-таки необходимымъ выполнить внѣшнюю форму, посредствомъ которой заявляется воля цѣлой націи. У Бисмарка же не было никакой трусости передъ какими-то принципами; ему не нужно было даже разыгрывать комедію, разыграть которую онъ счумѣлъ бы, быть можетъ, не хуже другого, потому что никакіе принципы, за исключеніемъ силы и выгоды, для него не имѣютъ значенія. Нужно имѣть запасъ большого мужества и прямоты, чтобы въ вѣкъ политическаго лицемерія, по преимуществу, сказать открыто и во всеуслышаніе: я не признаю никакихъ общепринятыхъ либераль-

нихъ возрѣній, я буду держаться въ политикѣ моихъ понятій, моихъ правилъ, какъ бы они ни были непріятны тѣмъ истуканамъ-идеямъ, которыхъ вы лицемерно поклоняетесь!

Въ рѣчахъ Бисмарка, посвященныхъ герцогствамъ, есть такіе рельефныя черты, на которыя нельзя не обратить вниманія. Онъ обрисовываютъ правила, которыхъ онъ держится во внѣшней политикѣ. Бисмарка, послѣ войны 1866-го года, обвиняли за тотъ пятый параграфъ Пражскаго мира, въ силу котораго Пруссія обязалась возвратить Даніи часть Шлезвига, какъ явно датскій округъ. Бисмаркъ, защищаясь, и не подумалъ вовсе привести какъ аргументъ, что удерживать силою датское населеніе было бы несправедливо. Подобные аргументы онъ предоставляет политикамъ-фантазерамъ, онъ же самъ говоритъ: „еслибы на свѣтѣ существовали только герцогства да Данія, то этого параграфа, конечно, не существовало бы“. Но онъ спѣшитъ успокоить палату, такъ недавно еще отказавшуюся вотировать необходимый для войны заемъ, и которая теперь не могла насытиться завоеваніями, знаменательными словами: „туманная редакція, въ которой выраженъ этотъ параграфъ, предоставляетъ намъ извѣстную ширину въ его исполненіи“. Къ этой „ширинѣ въ исполненіи“ нѣмецкій канцлеръ возвращался до тѣхъ поръ, пока нарушеніе Пражскаго мира не было, наконецъ, освящено давностью. Сначала нѣмецкій канцлеръ утверждалъ, что только австрійскій императоръ имѣетъ право требовать выполненія 5-го параграфа Пражскаго мира, но и это право онъ понималъ весьма условно. „...Его величество императоръ австрійскій одинъ имѣетъ право требовать отъ насъ выполненія Пражскаго мира. Но въ какой мѣрѣ? Это вопросъ, который самый трактатъ оставляетъ неопредѣленнымъ, давая такимъ образомъ прусскому правительству просторъ дѣйствовать такъ, какъ само оно признаетъ болѣе справедливымъ и болѣе отвѣчающимъ выгодамъ государства“. Австрійское правительство могло сколько угодно удивляться и даже возмущаться такимъ толкованіемъ трактата, но Бисмаркъ чувствовалъ себя правымъ, потому что онъ основывалъ свое толкованіе на единственно признаваемомъ имъ правѣ — правѣ сильного. Впрочемъ, кромѣ этого могущественнаго аргумента, у него былъ другой: среди датскаго населенія живутъ также и нѣмцы! Вотъ, слѣдовательно, и принципъ національ-

ности, который могъ быть выставленъ Бисмаркомъ для противозаконнаго удержанія герцогствъ.

Утверждая, что Бисмаркъ относился съ презрѣніемъ къ принципу національности, слѣдуетъ оговориться. Онъ относился къ нему съ презрѣніемъ, когда другіе народы основывали свои притязанія къ Германіи на этомъ принципѣ; но когда Германія могла выставить его въ свою пользу, Бисмаркъ не гнушался пользоваться и имъ. „Трудность—говорилъ онъ—заключается не въ томъ, чтобы мы не желали уступить Даніи датчанъ, которые желаютъ быть датчанами; она не проистекаетъ изъ того, чтобы мы отказывались уступить Даніи то, что принадлежитъ ей; но то, что составляетъ для насъ трудность, это—снѣженіе населенія въ этомъ краѣ, и невозможность возвратить датчанъ Даніи, безъ того, чтобы не уступить вмѣстѣ съ ними и нѣмцевъ... Если бы всѣ датчане—продолжаетъ нѣмецкій канцлеръ—жили всѣ вмѣстѣ въ одной части края, смежной съ датскою границею, и если бы всѣ нѣмцы занимали другую часть провинціи, я считалъ бы тогда совершенно ложною политикою не покончить этого дѣла однимъ почеркомъ пера и колебаться возвратить Даніи исключительно датскій округъ. Эта уступка естественно была бы потребована, съ моей точки зрѣнія, тою національною политикою, которой мы слѣдуемъ въ Германіи, по которую по отношенію къ Польшѣ мы не имѣемъ возможности соблюдать, въ силу историческаго развитія Прусскаго государства, которое мы не можемъ измѣнять по простествіи цѣлаго вѣка. Мы должны принять и поддерживать всѣ его послѣдствія“. Такимъ образомъ, въ силу національной политики слѣдовало бы Даніи возвратить все датское, и въ силу той же политики Бисмаркъ удерживалъ подлежащую уступкѣ часть Шлезвига, такъ какъ тутъ попадались нѣмцы, которыми нельзя было жертвовать.

Бисмаркъ жалуется на стремленія къ партикуляризму населенія, на ненависть къ Пруссіи, на отсутствіе симпатіи въ населеніи къ нѣмецкимъ интересамъ, но его жалобы нисколько не парализуютъ его рѣшимости сдѣлать ручными жителей присоединенной области. Онъ желаетъ съ ними обходиться мягко, готовъ даровать различныя льготы, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ рѣшительно предупреждаетъ, что не потерпитъ никакихъ уклоненій отъ законныхъ требованій, въ особенности уклоненій отъ воинской повинности, и что

каждое уклоненіе повлечетъ за собою, „хотя и съ сожалѣніемъ“, наказаніе безъ всякаго снисхожденія. „По международному праву,— говорилъ онъ,— въ настоящее время герцогство Шлезвигъ, во всемъ его объемѣ, въ границахъ, указанныхъ Вѣнскимъ трактатомъ (1864), составляетъ безспорно нераздѣльную часть Прусской монархіи; отсюда слѣдуетъ, что всѣ жители края должны подчиняться существующимъ въ Пруссіи законамъ. Сколько изъ этихъ жителей и которые изъ нихъ перестанутъ считаться, быть можетъ, въ будущемъ, согласно условіямъ Пражскаго трактата, прусскими подданными, это еще вопросъ, который предстоитъ разрѣшить; но до тѣхъ поръ, что они пруссаки, и до послѣдней минуты, они должны подчиняться прусскимъ законамъ и властямъ, или испытать послѣдствія, связанныя съ отказомъ повиноваться“. Если такъ смотрѣлъ Бисмаркъ на край, который по трактату долженъ былъ отойти къ сосѣднему государству, то какъ же, можно спросить, смотрѣлъ онъ на такія области, которыя были завоеваны безъ всякихъ условій? Обращеніе Бисмарка съ провинціями, присоединенными послѣ войны 1866-го года и съ завоеванными Эльзасомъ и Лотарингіей, отвѣчаетъ на этотъ вопросъ, и съ успѣхомъ можетъ служить для полнаго уясненія себѣ правилъ практической философіи нашего времени, примѣняемыхъ къ побѣжденнымъ государствамъ. Ганноверъ и Эльзасъ дали Бисмарку возможность упрочить тѣ понятія и положенія, которыя онъ набросалъ по поводу завоеваній, бывшихъ результатомъ датской войны.

Читая рѣчи князя Бисмарка, въ которыхъ раскрывается его система обращенія съ присоединенными провинціями, невольно останавливаешься на мысли — какими странными путями совершилось единство Германіи! Пути эти совершенно опровергають, повидимому, установившееся понятіе, что образованіе и развитіе новаго, современнаго государства не должно, не можетъ проходить тѣ же фазисы, черезъ которые проходило средневѣковое государство. Теорія учить, что цементомъ современнаго государства, его силою, его могуществомъ представляется свободная воля всѣхъ членовъ государства, желаніе, потребность жить одною общею жизнью; между тѣмъ практика на дѣлѣ показываетъ, что согласіе, добрая воля, разумное пониманіе необходимости тѣснаго союза, все это — не что иное какъ выдумка, вздоръ, бредъ какихъ-то мечтателей.

глазахъ вырастаетъ сильное государство, оно возвышается мечомъ, путемъ завоеванія, какъ одноплеменныхъ, такъ чужеплеменныхъ народовъ, и что при этомъ удивительно, это не то, что мечъ съ-четъ по старому, что сила побѣждаетъ безсиліе,—все это совершенно въ порядкѣ вещей,—но удивительно то, что по всеобщему признанію мечъ въ итогѣ сдѣлалъ то же дѣло, которое сдѣлало бы всеобщее согласіе и добрая воля.

На нашихъ глазахъ образовалась единая Италія и вслѣдъ за нею, почти въ одно время, единая Германія. Первая въ основѣ своей имѣла страстное желаніе всѣхъ частей, слившихся въ одно цѣлое; вторая, напротивъ, въ основаніе свое положила право силы, завоеванія; одна часть такъ ненавидѣла другую, что только оружіе могло заставить ихъ слиться вмѣстѣ. И несмотря на это коренное различіе, какъ та, такъ и другая страна, повидимому, прочно установила свое единство; наконецъ, что еще болѣе удивительно, это то, что страна менѣе цивилизованная, низшей культуры, достигла единства путемъ мира и любви, между тѣмъ какъ страна, которая гордится своимъ высшимъ развитіемъ, которая ставитъ себя во главѣ цивилизованныхъ народовъ, достигла его путемъ меча и завоеванія. По теоріи, между тѣмъ, должно было бы быть совершенно наоборотъ. Еслибы Германія обнажила свой мечъ противъ иностранныхъ государствъ, которыя, въ видахъ дурно понятыхъ собственныхъ интересовъ, захотѣли помѣшать единству нѣмецкаго народа, это было бы совершенно естественно и не поставило бы въ слишкомъ враждебное отношеніе теорію и практику; но когда нужно завоевывать нѣмецкій Гольштейнъ, нѣмецкій Ганноверъ, нѣмецкій Франкфуртъ и заставить ихъ силою сдѣлаться членами единой нѣмецкой семьи, тогда вопросъ становится гораздо сложнѣе и труднѣе для разрѣшенія.

Есть, конечно, много политиковъ, для которыхъ не существуетъ никакихъ трудныхъ вопросовъ, которые чувствуютъ себя способными разрѣшать всякій вопросъ однимъ взмахомъ пера, и такіе политики, безъ сомнѣнія, повторяютъ стереотипную фразу: нѣмецкое единство въ продолженіе пятидесяти лѣтъ уже таилось въ груди Германіи! и со-чтутъ вопросъ весьма удовлетворительно разрѣшеннымъ. А между тѣмъ, эта фраза ничего не объясняетъ, и попрежнему загадка остается неразгаданною; отчего то, что таилось въ продолженіе пятидесяти лѣтъ въ груди Германіи, нужно было создавать завоеваніемъ нѣмцами

нѣмцевъ? Если современныя, самыя замѣчательныя историки и публицисты Германіи, если всѣ Зибели, Мошзены, Трейчке и Штраусы громко превозносятъ способъ образованія единой Германіи, и видятъ въ немъ доказательство высшаго развитія, высшей культуры, первенствующей надъ всѣми остальными, то это довольно естественно объясняется чувствомъ необыкновенной опьяняющей радости при видѣ ихъ осуществившейся мечты. Въ виду этого едва ли слѣдуетъ относиться слишкомъ строго къ ихъ хвастливому патріотическому фразерству. Будущіе же историки, свободные отъ опьяненія, едва ли не останутся съ тяжкимъ чувствомъ, съ ѣдкой болью предъ рѣчами князя Бисмарка, этимъ историческимъ памятникомъ Германіи, и не погрузятся въ самую горькую думу, слѣдя за этими рѣчами за дѣломъ сплоченія нѣмецкаго народа. Рѣчи, посвященныя присоединенному Ганноверу, особенно должны будутъ обратить на себя вниманіе нѣмецкихъ историковъ.

Ганноверъ, какъ хорошо извѣстно, былъ присоединенъ къ Пруссіи послѣ войны 1866 года; сопротивленіе населенія было самое рѣшительное, отвращеніе къ Пруссіи—безграничное. „Мы не станемъ терпѣть сопротивленія, — говорилъ Бисмаркъ, — мы сломаемъ его“. Въ энергическихъ мѣрахъ не было недостатка, но для насъ не столько важны самыя мѣры, сколько взглядъ нѣмецкаго канцлера на ихъ необходимость. Бисмаркъ не дѣлаетъ никакого различія между страной чисто нѣмецкою и иностраннымъ государствомъ. Для него все равно, между кѣмъ происходила война; права войны онъ понимаетъ одинаково, какъ по отношенію къ нѣмцамъ, такъ и по отношенію ко всякому другому врагу. Еслибы Ганноверъ не принялъ участія въ войнѣ противъ Пруссіи, права Ганноверскаго королевства были бы уважены, никогда бы Пруссіи не пришлось въ голову коснуться до правъ и независимости Ганновера; но такъ какъ онъ былъ въ числѣ враговъ Пруссіи, то право завоеванія примѣняется къ нему вполне и безусловно. Мы васъ предупреждали — таковъ смыслъ рѣчи нѣмецкаго канцлера — не идти противъ насъ; вы не послушались насъ, вы доврѣяли 800-тысячному австрійскому войску, вы ошиблись, слѣдовательно вамъ нечего жаловаться, пеняйте на себя. Нужны были суровыя мѣры, чтобы притянуть Ганноверъ къ нѣмецкому единству. „Никто не сожалѣетъ о нихъ болѣе меня, — говорилъ князь Бисмаркъ, — но дѣлать нечего, нужно обезпечить по~~бѣду~~ была понята —

говорилъ онъ—важность событій. Было ли это фатальное ослѣпленіе, которымъ Богъ часто наказываетъ монарховъ? Было ли это невѣдѣніе дѣйствительной жизни, порокъ, общій многимъ дипломатамъ и министрамъ? Я предоставляю это изслѣдовать другимъ. Войны желали, ее желали съ открытыми глазами. Существовала рѣшимость въ случаѣ побѣды захватить прусскія провинціи. Послѣ этого никто не имѣетъ права удивляться, что война имѣла серьезныя послѣдствія, ни выставлять противъ насъ какихъ-то обвиненій съ тономъ жалобы. Господа,—продолжалъ онъ,—когда Пруссія рисковала своею кровью и своею свободою, когда все королевство и его славная корона составляли ставку, когда бродаты угрожали намъ грабежомъ и насъ хотѣли подчинить иностранному владычеству, когда выбрали минуту опасности, чтобы вонзить оружіе намъ въ бокъ, тогда не время затрогивать струну чувства и жаловаться на недостатокъ вниманія...”

Мы приводимъ эти слова вовсе не для того, чтобы показать безсердечіе, безчувственность князя Бисмарка—подобныя упреки ниже его и слишкомъ мелки для такого государственнаго человѣка, какъ нѣмецкій канцлеръ; слова эти любопытны, потому что показываютъ, что князь Бисмаркъ не дѣлалъ никакого различія между завоеванною нѣмецкою страню и завоеванною же, но не-нѣмецкою. Дальнѣйшее развитіе его мысли еще болѣе наглядно подтверждаетъ наши слова. Какъ онъ отвѣчаетъ на жалобы, на произвольные аресты, на безпричинныя заточенія въ тюрьмы и крѣпости?—Очень жаль, но что же дѣлать, мы управляемъ краемъ на правѣ войны, на правѣ побѣды, завоеванія. „Побѣдитель жаждетъ быть вашимъ другомъ, вашимъ соотечественникомъ, онъ и ведетъ себя такъ, но въ концѣ концовъ онъ все-таки побѣдитель. Тотъ, кто жалуется, что въ такой странѣ и въ такую минуту человѣка, нарушающаго спокойствіе, подвергаютъ заключенію и лишаютъ возможности вредить, тотъ доказываетъ, что у него нѣтъ яснаго представленія о различіи, существующемъ между абсолютнымъ порядкомъ и порядкомъ конституционнымъ, который обезпечиваетъ гражданъ противъ злоупотребленія силою. „Считаете ли вы насиліемъ надъ закономъ и правомъ,—спрашиваетъ Бисмаркъ,—когда въ Россіи человѣка безъ суда сажаютъ въ тюрьму въ настоящую эпоху?“ —Нѣтъ,—отвѣчаетъ онъ;—слѣдовательно, нечего также называть насиліемъ, если въ Ганноверѣ, управляемомъ на правѣ войны, арестуютъ человѣка!

Хотя Бисмаркъ и смотритъ на присоединенныя провинціи съ точки зрѣнія завоевателя, побѣдителя, но это все-таки не мѣшаетъ ему желать, чтобы такой безправный порядокъ прекратился какъ можно скорѣе, и чтобы въ завоеванныхъ областяхъ была введена общая конституція. Бисмарку слѣдуетъ отдать справедливость, что нарушеніе права, военное положеніе онъ никогда не вводитъ въ систему. Онъ слишкомъ хорошо понимаетъ для этого ея невыгоды. Напротивъ, онъ старается пріобрѣсти симпатію населенія, что онъ прямо выражаетъ въ одной изъ своихъ рѣчей, говоря о тѣхъ милліонахъ, которые предоставлены были Пруссіи въ распоряженіе ганноверскаго короля за его отреченіе отъ престола. Бисмаркъ не довольствовался тѣмъ, что завоевалъ Ганноверъ; ему нуженъ былъ актъ „добровольнаго“ отреченія короля Георга ганноверскаго. Бисмаркъ не хочетъ пользоваться правомъ завоеванія шире, чѣмъ это требуется необходимостью и „безопасностью“ государства. Вотъ что онъ говорилъ въ одномъ изъ своихъ циркуляровъ: „Наша обязанность была извлечь возможную пользу изъ выигранныхъ сраженій и изъ тѣхъ жертвъ, цѣною которыхъ онѣ были куплены, чтобы доставить странѣ положеніе, необходимое для ея безопасности и для достиженія предначертанной судьбы. Въ этой обязанности правительство черпало силу, чтобы широко воспользоваться правомъ войны относительно династіи, верховная власть которой подвергала постоянной опасности, какъ можно было видѣть, миръ территоріи, заселенной народомъ одной и той же расы, но правительство нисколько не помышляло расширять право побѣды или увеличивать свои выгоды болѣе, чѣмъ необходимо было для достиженія опредѣленнаго результата“.

Бисмаркъ, если и не своимъ личнымъ опытомъ, то опытомъ другихъ, убѣдился, что только хорошее обращеніе примиряетъ населеніе и вполнѣ пріобщаетъ его къ общему отечеству. Онъ припоминаетъ при-рейнскія провинціи, которыя, какъ утверждаетъ Бисмаркъ, еще въ 1830 году, были расположены къ Пруссіи не болѣе ганноверскихъ партикуляристовъ и которыя вслѣдствіе упорно хорошаго обращенія сдѣлались въ концѣ концовъ такими же хорошими пруссаками, какъ и жители старыхъ провинцій, Силезіи и Помераніи. „Мы желаемъ—говоритъ онъ—настолько содѣйствовать успѣшному развитію Ганновера, чтобы каждый ~~жизн~~

края—пусть будетъ это самый неразвитый и самый неспособный—могъ бы сказать себѣ, что дѣла идутъ не хуже прежняго, что съ нимъ обращаются такъ же справедливо и такъ же милостиво, какъ и въ прошедшемъ, и что не послѣдовало никакой остановки въ осуществленіи проектированныхъ улучшеній“. Недовольство, выражаемое только въ словахъ, не вліяетъ на способъ дѣйствій Бисмарка, и онъ самъ говорить не безъ остроумія, что если бы всѣ ганноверскіе депутаты вотировали какъ одинъ человѣкъ, какъ будто бы всѣ они были посланы въ рейхстагъ столицей Пруссіи, то и тогда онъ не отступить отъ миролюбивой политики. Для читателя понятна острота Бисмарка; извѣстно, что до послѣдняго времени Берлинъ представлялъ всегда самыхъ оппозиціонныхъ представителей.

Но лишь только сопротивленіе выходитъ изъ области слова и переходитъ въ область подобія дѣла, тогда князь Бисмаркъ не остановится ни передъ чѣмъ, чтобы подавить этотъ призракъ сопротивленія, тогда онъ тотчасъ призоветъ на помощь право завоевателя, право войны и на всякій упрекъ спокойно отвѣтитъ: да, это можетъ быть и непріятно, но вы напрасно жалуетесь, такъ какъ побѣда предоставила мнѣ право дѣйствовать по моему усмотрѣнію. Когда дѣло идетъ о поддержаніи порядка въ присоединенныхъ провинціяхъ, когда тутъ или тамъ проявляется извѣстное сопротивленіе, но сопротивленіе, повторяемъ, фактическое, выражающееся не на бумагѣ, но въ какихъ-нибудь событіяхъ, тогда судъ, законное слѣдствіе, по мнѣнію Бисмарка, никуда не годятся. „Этотъ родъ защиты, говоритъ онъ, такъ медленъ, что я могу быть убитъ, прежде нежели въ состояніи буду защищаться. Мы не можемъ на политической почвѣ, гдѣ мы должны зорко наблюдать не только за нашимъ собственнымъ существованіемъ, но за спасеніемъ цѣлой націи, мы не можемъ доводить до того, чтобы мы прибѣгали къ необходимой оборонѣ только тогда, когда уже ничего нельзя сдѣлать. По моему мнѣнію, законная самозащита не ограничивается только однимъ случаемъ, когда намъ нужно отвратить нападеніе, угрожающее нашей жизни. Она заключается также въ поддержаніи довѣрія къ миру, въ которомъ мы нуждаемся для нашего процвѣтанія“. Какъ читатель видитъ, Бисмаркъ весьма широко понимаетъ такъ-называемую самозащиту и оставляетъ за собою право во всякую минуту сказать побѣжденному: я нахожу необходимымъ дѣйствовать какъ

побѣдитель! Бисмаркъ не разбиралъ, противъ кого онъ долженъ былъ выставить свое широкое право, онъ не дѣлалъ различія въ обхожденіи, — демократъ и аристократъ, либераль и консерваторъ одинаково получали отъ него суровые удары. Онъ не щадилъ и коронованныя головы; вѣнчаніе, помазаніе, право божественнаго происхожденія не имѣли для него никакого значенія, когда нужно было водворить „миръ“ въ побѣжденной области. „Мы должны охранять — говорилъ Бисмаркъ — безопасность Германіи, мы должны покончить съ этими преступными подвохами, при помощи которыхъ играютъ спокойствіемъ великой націи и миромъ Европы, съ этими заговорщиками, которые считаютъ дозволеннымъ, ради какихъ-то презрѣнныхъ династическихъ интересовъ, компрометтировать, при помощи стачекъ съ за-границей, миръ, величіе и честь собственнаго отечества“. „Расширенныя границы“, выражаясь языкомъ нѣмецкаго канцлера, видимо расширили и его политическія воззрѣнія.

Но какъ бы то ни было и противъ кого ни былъ бы направленъ гнѣвъ князя Бисмарка, нельзя не сказать, что Ганноверъ лучше всякой другой присоединенной области можетъ служить для оцѣнки тѣхъ странныхъ путей, которыми совершилось нѣмецкое единство. Ганноверъ — чисто нѣмецкая провинція, и однако, несмотря на то, остается Ганноверомъ и никакъ не хочетъ промѣнять свое имя на общее имя нѣмецкой родины — Германія. Дѣйствуетъ ли Бисмаркъ суровостью, дѣйствуетъ ли Бисмаркъ мягкостью, Ганноверъ остается враждебенъ Германіи, и не далеко еще то время, когда Бисмаркъ не безъ оттѣнка грусти говорилъ: „Да, къ нашему несчастію, врагъ нашъ имѣетъ право сказать, что его нашествіе, еслибы при началѣ оно было счастливо, не вездѣ встрѣтило бы у насъ то сопротивленіе, которое ему противопоставила бы всякая другая единая нація Европы. Коріоланы — не рѣдкость въ Германіи; до сихъ поръ только недоставало Велесковъ, иначе трагедія скоро бы началась“... Слова эти были сказаны не далѣе какъ въ 1869 году, т.-е. за годъ до французской войны. Но и съ войною 1870 года не оканчиваются жалобы на стремленіе къ партикуляризму, и послѣ поразительныхъ успѣховъ нѣмецкаго оружія, сплотившихъ окончательно Германію, Бисмаркъ съ горечью говоритъ, что „нѣмецкія“ присоединенныя провинціи поставляютъ контингентъ партій, которая не перестаетъ мечтать о разрушеніи того зданія, построенна

котораго стоила столько жертвъ, столько крови. Чего добраго, найдутся пессимистическіе умы, которые, задумавшись надъ этимъ явленіемъ, скажутъ: положимъ, основное правило практической философіи, выраженное въ краткой, но сильной формѣ: „огонь и желѣзо“, хотя и мудрое правило, но и оно не безъ изъяна; положимъ, то, что создается путемъ этого огня и этого желѣза создается и быстро, но врядъ ли оно также прочно какъ то, что создается путемъ свободы и гуманности, т.-е. при посредствѣ правила общественной жизни, выработаннаго лучшими теоретическими умами, которыхъ князь Бисмаркъ называетъ идеалистами и фантазерами! Правъ ли окажется современный представитель практической философіи, правы ли окажутся теоретики-идеалисты, это рѣшить только будущее, но нельзя не сказать при этомъ, что въ настоящее время акціи „огня и желѣза“ стоятъ куда выше акцій свободы и гуманности. Последнія стоятъ даже далеко ниже пары.

Мы уже сказали, что князь Бисмаркъ не разбираетъ между своими и чужими, и потому ту же самую систему, которую онъ примѣнялъ къ присоединеннымъ нѣмецкимъ провинціямъ, ту же систему приложилъ онъ и къ завоеваннымъ французскимъ областямъ. Въ свое время, говоря объ отношеніи Германіи къ Франціи, и о тѣхъ гарантіяхъ „безопасности“ и „независимости“, къ которымъ „вынуждена“ была прибѣгнуть первая, мы скажемъ о тѣхъ соображеніяхъ, которыя руководили княземъ Бисмаркомъ, когда онъ присоединялъ къ Германіи Эльзасъ и Лотарингію; теперь же мы ограничимся только его воззрѣніями на то, какъ слѣдуетъ управлять оторваннымъ отъ Франціи съ мясомъ и кровью населеніемъ, чтобы воспламенить его горячею любовью къ завоевателямъ. Бисмаркъ прежде всего, съ свойственнымъ ему прямотушіемъ, устанавливаетъ тотъ фактъ, что жители отвоєванныхъ областей не только не желали быть отдѣленными отъ Франціи, но были крайне опечалены и огорчены такимъ насильственнымъ разлученіемъ. „Я вовсе не хочу разыскивать причины,—говоритъ между прочимъ князь Бисмаркъ,—которыя сдѣлали возможнымъ, чтобы населеніе нѣмецкаго происхожденія до такой степени привязалось къ странѣ, чуждой ему по языку и притомъ правительство которой не всегда относилось къ нему съ полною благосклонностью и вниманіемъ. Быть можетъ, причину этого нужно видѣть въ томъ фактѣ, что всѣ тѣ качества, которыя отли-

чаютъ нѣмцевъ отъ французовъ, находятся въ высшей степени у эльзасцевъ, что населеніе Эльзаса, въ отношеніи способности и любви къ порядку, составляло—я могу сказать это безъ преувеличенія—родъ аристократіи во Франціи; это населеніе доставляло самыхъ способныхъ дѣловыхъ людей, самыхъ вѣрныхъ служителей, подставныхъ охотниковъ, жандармовъ, чиновниковъ; число эльзасцевъ и лотарингцевъ, находившихся въ уложеніи государства, значительно превышало пропорціональную цифру населенія; такимъ образомъ было полтора милліона нѣмцевъ, которые были въ состояніи извлекать выгоду, и весьма положительную, изъ всѣхъ отличительныхъ качествъ нѣмца, среди народа, обладающаго другими качествами (слава Богу! скажемъ мы въ скобкахъ), но не этими именно—и привилегированное положеніе, которое они получали, благодаря этимъ особеннымъ качествамъ, заставляло ихъ позабывать многія несправедливости закона“. Если это разсужденіе не чисто нѣмецкое, если это разсужденіе читатель не назоветъ разсужденіемъ челоуѣка, ставящаго выше всего на свѣтѣ принципъ выгоды и относящагося ко всему тому, что должно быть названо любовью къ отечеству, привязанностью къ идеямъ, нравамъ, чувствамъ, заставляющимъ дорожить своею родиною помимо всѣхъ матеріальныхъ разсчетовъ, какъ къ пустымъ мечтаніямъ, то читатель прямо можетъ быть обвиненъ въ несправедливости къ князю Бисмарку. Только въ умѣ типическаго представителя практической философіи могло сложиться подобное объясненіе привязанности населенія къ его отечеству.

Установивъ, такимъ образомъ, нежеланіе Эльзаса и Лотарингіи быть отдѣленными отъ Франціи, и объяснивъ весьма оригинально причину такого нежеланія, Бисмаркъ спрашиваетъ, какими же средствами можно побѣдить отвращеніе населенія завоеванныхъ областей къ присоединенію его къ Германіи? „Мы—говоритъ съ обыкновенною скромностью князь Бисмаркъ—вообще имѣемъ привычку, мы, нѣмцы, управлять болѣе мягко, хотя иногда и нѣсколько неуклюже,—но въ итогѣ счетъ оказывается вѣренъ—болѣе мягко, говорю я, и болѣе челоуѣчно, нежели способны на то французскіе государственные люди; это выгода нѣмецкой натуры, которая скоро сдѣлается чувствительна и получить цѣну для нѣмецкаго сердца эльзасцевъ. Сверхъ того, мы имѣемъ возможность предоставить жителямъ Эльзаса и Лотарингіи несравненно большую долю общинной

и личной свободы, нежели допускали то французскія учрежденія“. Разсуждая о примиреніи Эльзаса съ Германіей, Бисмаркъ нѣсколько разъ возвращается къ тому, что мы-де, нѣмцы, народъ добродушный, мы управляемъ милостиво, намъ чужда суровость и т. п. Еслибы мы не знали природной откровенности Бисмарка, то мы могли бы предположить, что подобныя вещи говорятся съ прямымъ разсчетомъ на глупость народа, съ твердою увѣренностью, что если народу что-нибудь начать долбить и долбить въ голову, то онъ кончитъ тѣмъ, что повѣритъ и наконецъ скажетъ: да, нѣмцы имѣютъ привычку управлять несравненно болѣе мягко и человѣчно, чѣмъ французы! Зная же откровенность нѣмецкаго канцлера, мы можемъ сказать только то, что все у него своеобразно и оригинально, и даже взглядъ на мягкое управленіе и человѣчность.

Не останавливаясь вовсе на томъ, справедливы ли слова князя Бисмарка или нѣтъ, соглашаясь даже съ нимъ, что нѣмцы управляютъ болѣе человѣколюбиво, нежели французы (потому-то вѣроятно Франція съумѣла такъ привязать къ себѣ Эльзасъ, а Германія такъ оттолкнуть отъ себя Познань), посмотримъ, что предлагаетъ князь Бисмаркъ, чтобы побѣдить отвращеніе къ нѣмцамъ „нѣмцевъ“ Эльзаса и Лотарингіи?

Нужно было бы не имѣть чувства справедливости, чтобы не признать, что планъ, система князя Бисмарка—система настоящаго государственнаго человѣка. Оставляя въ сторонѣ принципъ завоеванія, насилія надъ волею народа и исходя уже изъ совершившагося факта, нельзя не сказать, что система князя Бисмарка — разумная система. Онъ не заботится прежде всего о томъ, чтобы наводнить страну нѣмецкими чиновниками, чтобы стѣснить внутреннюю свободу завоеванныхъ областей и немедленно перенести на новое населеніе всѣ чуждые имъ порядки, нѣтъ, онъ выходитъ изъ другого начала. Онъ спрашиваетъ прежде всего, чего недоставало главнымъ образомъ французскому управленію? и отвѣчаетъ на поставленный вопросъ: недоставало прежде всего общинной свободы, недоставало самоуправления; централизація вытягивала все подъ одну ниточку и равняла всѣ части имперіи, подстригала всѣ департаменты такъ точно, какъ подстрижены кусты и деревья въ версальскомъ паркѣ. Вотъ отчего Бисмаркъ полагалъ прежде всего необходимымъ надѣлать Эльзасъ и Лотарингію общинною свободою,

самоуправленіемъ. „Я убѣжденъ, — говорилъ онъ, — что мы можемъ, безъ вреда для имперіи въ ея цѣломъ, предоставить населенію Эльзаса, въ дѣлѣ самоуправленія, несравненно большій просторъ уже и въ настоящее время, и онъ будетъ все расширяться, пока не достигнетъ того идеала, къ которому стремятся, т.-е., чтобы каждый индивидуумъ, каждая маленькая сфера, даже самая узкая, обладала тою мѣрою свободы, которая совмѣстна съ порядкомъ цѣлаго государства. Достигнуть этой цѣли, подойти къ ней по возможности ближе — я считаю, что такова должна быть задача всякой разумной политики, а эту задачу гораздо легче выполнить съ нѣмецкими учрежденіями, лежащими въ основѣ нашего управленія, нежели выполнить ее во Франціи, съ французскимъ характеромъ и съ однообразными учрежденіями этой страны. Я надѣюсь поэтому, что съ помощью нѣмецкаго терпѣнія и нѣмецкаго добродушія — продолжаетъ настаивать на немъ Бисмаркъ — мы достигнемъ дружбы нашего новаго соотечественника, — быть можетъ, скорѣе даже, нежели мы надѣемся на то въ настоящее время“. Бисмаркъ не обманываетъ себя, онъ знаетъ, что розы не безъ шиповъ, и что Эльзасъ и Лотарингія представляютъ много затрудненій, много безпокойства. „Всегда останутся — говоритъ онъ — извѣстные элементы (въ Эльзасѣ и Лотарингіи), которыхъ личное прошлое пустило глубокіе корни во Франціи, которые слишкомъ стары, чтобы оторваться оттуда, или слишкомъ тѣсно связаны съ Франціею своими матеріальными интересами, и которые за разрывъ свой съ французскими интересами не въ состояніи найти у насъ вознагражденія, а если и найдутъ, то только позже. Мы не должны поэтому обольщать себя надеждою, что въ Эльзасѣ быстро настанетъ такое же положеніе въ отношеніи нѣмецкихъ чувствъ, какъ въ Тюрингіи; но тѣмъ не менѣе мы можемъ не отчаиваться достигнуть еще сами той цѣли, къ которой стремимся, если суждемъ только хорошо воспользоваться тѣмъ временемъ, которое, среднимъ счетомъ, дано человѣку“.

Продолжая обсуждать тѣ мѣры, которыя должны быть приняты во вновь завоеванныхъ провинціяхъ, для пріобрѣтенія ихъ расположенія, Бисмаркъ энергически высказывается противъ наводненія страны нѣмецкими чиновниками. Всѣ должности въ общинѣ должны быть занимаемы по выбору. „Конечно, — высказываетъ нѣмецкій канцлеръ, — я отлично понимаю тѣ опасности, которыя мо-

гуть отсюда возникнуть; но я гораздо болѣе страшусь опасности, которая могла бы родиться. Еслибы число чиновниковъ, отправляемыхъ нами въ этотъ край, увеличилось сверхъ строго необходимаго^а. Благо у насъ можно въ ходу во всемъ стараться подражать Германіи, — правда, только во всемъ, что похуже. — благо мы склонны смотрѣть на все нѣмецкими глазами, я позволю себѣ рекомендовать нашимъ обрусителямъ намотать себѣ на усъ вышеприведеннаго слова князя Бисмарка. Право, они стоятъ вниманія! Князь Бисмаркъ, съ истиннымъ государственнымъ смысломъ рассуждая о вредѣ нѣкой ватаги чиновниковъ, которые часто какъ голодные коршуны налетаютъ на „присоединенный“ край, между прочимъ говоритъ: „Невозможно избѣжать, чтобы чиновникъ, являющійся въ чуждую ему страну и обладающій даже всѣмъ требующимъ его обязанностями развитіемъ, но не обладающій тѣмъ общинъ, болѣе широкимъ чутіемъ, котораго требуетъ его новая миссія въ новомъ краѣ, не породилъ вражду, несогласіе различными промахами, вовсе не отвѣчающими нагѣреніямъ правительства, которыя онъ долженъ выполнять. Ошибется онъ разъ, онъ будетъ нѣтъ еще слабости, слишкомъ свойственную человѣческой натурѣ, не сознать своей ошибки, и онъ захочетъ свалить эту ошибку на жителей, вмѣсто того, чтобы обвинить самого себя“... Благодаря такому положенію, съ одной стороны возникаютъ доносы и подозрѣнія чиновниковъ, съ другой — жалобы населенія.

Бисмаркъ не скрываетъ отъ себя, что вслѣдствіе нерасположенія въ краѣ общественнаго мнѣнія къ Германіи избраніе общинами на различныя должности могутъ быть до известной степени опасны, но „я менѣе опасюсь — прибавляетъ онъ — этого риска, нежели опасюсь нашего собственнаго безсилія въ доставленіи странѣ способныхъ чиновниковъ“. Высказывая это либеральное воззрѣніе на управленіе присоединенною областью, Бисмаркъ, конечно, менѣе всего заботится о либерализмѣ. Воззрѣніе это несколько не противорѣчитъ его общинъ воззрѣніямъ, оно не звучитъ диссонансомъ въ его кодексъ практической мудрости, оно вполне обусловливается началомъ пользы, выгоды, а потому-то тѣмъ болѣе достойно вниманія.

Бисмаркъ своимъ яснымъ умомъ отлично понимаетъ то, что другимъ никакъ не дается: что преимущество сильнаго прави-

тельства въ томъ и заключается, что ему нечего изъ-за каждаго пустяка бить тревогу и ополчать цѣлую рать противъ какихъ-то призраковъ; что правительство должно настолько уважать себя, чтобы не пугаться каждой вспышки, каждаго смѣлаго слова, и не воображать себя живущимъ на вулканѣ, въ то время, когда оно опирается на неподвижную, гранитную массу. Сознавая съ одной стороны свою силу и съ другой выгоду предоставленія завоеваннымъ провинціямъ возможно большей внутренней свободы, Бисмаркъ и настаивалъ въ рейхстагѣ, чтобы Эльзасъ и Лотарингія не были стѣснены въ ней какимъ-нибудь обуздывающимъ закономъ... „Преимущество, которымъ обладаетъ энергическое и рѣшительное правительство, въ томъ и заключается, что ему нечего бояться тѣхъ маленькихъ пожаровъ, которые вспыхиваютъ то тутъ, то тамъ. До какой степени, впрочемъ, можетъ быть доведено самоуправленіе въ этомъ краѣ, я не хочу еще произносить рѣшительнаго сужденія; во всякомъ случаѣ я думаю, что было бы разумно, какъ въ этомъ случаѣ, такъ и во всѣхъ остальныхъ, идти такъ далеко, какъ только позволяетъ это общее спокойствіе имперіи и новаго края“. Не опасаясь „маленькихъ пожаровъ“, Бисмаркъ рѣшился предоставить вновь присоединеннымъ провинціямъ возможно большую независимость; онъ заботился, чтобы поскорѣе передать всѣ дѣла по управленію въ руки чиновниковъ туземцевъ; наконецъ, онъ объявляетъ, что его самое искреннее желаніе — видѣть какъ можно скорѣе представителей Эльзаса и Лотарингіи въ нѣмецкомъ рейхстагѣ, чтобы они приняли участіе въ управленіи общими дѣлами имперіи: „мы безусловно нуждаемся въ нихъ, — говорилъ онъ, — если мы серьезно, съ необходимою глубиною, хотимъ заняться эльзасскими дѣлами“.

Когда вопросъ касается внутренняго управленія французскими областями, Бисмаркъ высказываетъ необыкновенную мягкость, и — кто бы могъ подумать! — Бисмаркъ громко заявляетъ, что въ этомъ дѣлѣ онъ считаетъ себя либеральнѣе рейхстага, болѣе заботливымъ, болѣе внимательнымъ къ нуждамъ новаго края, чѣмъ представители Германіи, и въ силу этой большей мягкости онъ требуетъ, чтобы до извѣстнаго времени ему была предоставлена диктатура въ этой странѣ, чтобы Германія положила на его умѣнье, на его искусство управлять. „Боязнь помѣшать, если я могу только такъ вы-

разитися, едва почавшеюся кристаллизація німецьких синнатій въ Эльзасъ—вотъ причина,—говоритъ німецькій кандидатъ,—которая заставляетъ меня удерживать въ своихъ рукахъ, сколько возможно долго, эльзасскія дѣла“. Что князь Бисмаркъ заблуждается относительно „начавшеюся кристаллизація німецькихъ синнатій“, это едва ли можетъ подлежать сомнѣнію, но вѣрно то, что Бисмаркъ дѣлалъ много, чтобы помочь образованію такой кристаллизаціи. Онъ не жалѣлъ заботъ и внимательности, чтобы пригнать съ Германією этого, какъ онъ нѣжно выражается, „младшаго ребенка німецкой семьи“, и, сильней своею практическою мудростію, онъ съ презрѣніемъ отъ послыха къ теоретическому положенію, что ложное въ началѣ останется ложнымъ до конца. Вотъ почему онъ не обращаетъ никакого вниманія на тѣхъ, которые говорятъ: Эльзасъ и Лотарингія, оторванныя отъ Франціи вопреки воли народа, присоединены къ Германіи силою оружія, во имя принципа завоеванія, никогда не сдѣлаются по чувству німецкини обштинами и навсегда останутся для Германіи путаница, которая будетъ только нѣмать прогрессивному развитію німецкаго народа. Кто вернется, что князь Бисмаркъ скажется неправъ и что правила современнаго практической философіи еще разъ не побѣдятъ положеній теоретической мудрости? Сторонники послѣдней могутъ, впрочемъ, утѣшать себя надеждой, что настанетъ время, когда и на нихъ упадетъ бремя. Придется, можетъ быть, подождать, но что значить въѣздъ въ жизнь народовъ?

Такова система обращенія князя Бисмарка съ побѣжденными народами. Еслибы однако было поворотиться съ санинъ принциповъ завоеванія, еслибы на послѣдъ валъ волею и желаніемъ населенія возможно было смотрѣть какъ на нѣчто нормальное, еслибы, однимъ словомъ, въ санинъ основаніи своей практической философіи, воплощенная въ князѣ Бисмаркѣ, не представляла съ „фантастическаго“ точки зрѣнія, чего-то гротескаго по своему существованію,—тогда вѣдь было бы не признать, что система князя Бисмарка можетъ служить образцомъ для всякаго монархата, который досталось держать воли своихъ подданныхъ въ виду ея нацѣленности. Но крайней мѣрѣ эта система вслѣдуетъ считать нѣмъ жестокостію, безчеловѣчною грубостію и на нѣчто ея ставить вѣнчикъ, которая скорѣе всякой другою способомъ пригнать по-

бѣдителя съ побѣжденнымъ, если только вообще такое примиреніе возможно, внѣ добровольнаго союза народовъ, смѣняющаго ихъ насильственный, или, какъ выражаются иногда, „неровный бракъ“.

X.

Прежде чѣмъ перейти къ рѣчамъ князя Бисмарка, посвященнымъ отношеніямъ Германіи къ сосѣднимъ государствамъ, т.-е. къ Австріи, Франціи и Россіи, мы не можемъ не остановиться на весьма искусной политикѣ нѣмецкаго канцлера по отношенію къ южной Германіи. Отношенія къ южной Германіи стоятъ какъ бы на рубежѣ между отношеніями къ побѣжденнымъ народамъ и отношеніями къ иностраннымъ государствамъ.

Бисмарку предстояло тутъ разрѣшить весьма замысловатую задачу: съ одной стороны, онъ понималъ, что пока сѣверная Германія не слилась съ южной, дѣло нѣмецкаго единства стоитъ весьма шатко, слишкомъ непрочное; вотъ почему всѣ его стремленія были направлены къ тому, чтобы, по возможности, скорѣй исчезла линія Майна, и чтобы, вмѣсто словъ „Сѣверо-Германскій Союзъ“, можно было произнести одно слово: „Германія“; съ другой стороны, его стремленія волей-неволей должны были умиряться какъ не совсѣмъ благоприятнымъ расположеніемъ самихъ южныхъ государствъ, которыя не могли такъ скоро забыть, что они были побѣжденными въ отчаянной схваткѣ семидневной войны 1866 года, такъ и нерасположеніемъ, еще болѣе серьезнымъ, двухъ сосѣднихъ государствъ къ слиянію сѣверной Германіи съ южной. Еслибы трудность заключалась исключительно въ нерасположеніи южныхъ нѣмецкихъ государствъ, тогда князь Бисмаркъ едва-ли сталъ бы долго задумываться. Сильный правилами своей практической мудрости, онъ не обратилъ бы никакого вниманія на такое нерасположеніе, и, увѣренный въ своемъ превосходствѣ, въ своемъ могуществѣ, онъ поступилъ бы съ южными государствами такъ точно, какъ онъ поступилъ съ Ганноверомъ, Гессеномъ и другими, не чувствовавшими расположенія въ его политикѣ. Но за южною Германією стояли „другіе“, и эти-то другіе мѣшали ему. Начинать же немедленно

одну войну послѣ другой, бросить вызовъ Франціи немедленно послѣ весьма ненадежнаго замиренія съ Австрією, было не совсѣмъ без-опасно: онъ могъ рисковать тѣмъ, что уже пріобрѣтено, что онъ крѣпко держалъ въ своихъ желѣзныхъ рукахъ; а мы уже знаемъ, что, несмотря на всю свою смѣлость, князь Бисмаркъ соединяетъ съ нею удивительную осторожность и предпочитаетъ довольствоваться меньшимъ, нежели подвергать риску разъ уже добытое. „Вла-горазумію — высказывался онъ — можно дать названіе боязни, точно такъ же, какъ называть мужествомъ смѣлое легкомысліе“. Такое мужество было чуждо князю Бисмарку. Ему нужно было придумать для достиженія своей цѣли такой планъ, который въ одно и то же время обезоруживалъ бы сосѣднія государства и осуществилъ бы сліяніе южной Германіи съ сѣвѣрною. Онъ желалъ, чтобы не сѣ-верная Германія бросилась въ объятія южной, а южная склонилась бы передъ сѣвѣрною свою гордую и независимую голову. Очевидно, еслибы сама южная Германія объявила свою твердую волю слиться съ сѣвѣрною, то сосѣднимъ государствамъ оставалось бы только при-мириться съ такимъ положеніемъ. Заманивая къ себѣ южную Гер-манію, Бисмаркъ вмѣстѣ съ тѣмъ понималъ, что сила внушаетъ уваженіе, что къ могущественной сѣвѣрной Германіи южныя госу-дарства волей-неволей должны будутъ скорѣе применить, и потому, по отношенію къ иностраннымъ государствамъ, Бисмаркъ выказывалъ себя настолько же твердымъ и сознающимъ свое могущество, насколько, по отношенію къ южнымъ, онъ выказывалъ себя мяг-кимъ и податливымъ. Словомъ, для успѣха своего плана ему нужно было съ хитростью лисицы обладать вмѣстѣ и грозною гривой льва.

Вмѣсто того, чтобы нетерпѣливо домогаться присоединенія южныхъ государствъ къ сѣвѣрной Германіи, Бисмаркъ счелъ за лучшее объ-явить, что онъ признаетъ вполне удовлетворительнымъ то положеніе, которое создано было войною 1866 года, и что дальнѣйшее сбли-женіе онъ предоставляетъ времени и „естественному“ ходу событій. Пражскимъ трактатомъ 1866 года Австрія исключалась изъ Гер-маніи, и если та единая Германія, которую мы видимъ въ настоящее время, не была еще окончательно отлита въ придуманную нѣмец-кимъ канцлеромъ форму, то всѣ условія были такъ умно приспособлены, что князь Бисмаркъ впередъ могъ ручаться за успѣхъ от-ливки. Что бы ни дѣлала южная Германія, но оторванная отъ

Австріи, она должна была кончить тѣмъ, что соединилась бы съ сѣверною, и вовсе не нужно было обладать особою проницательностью, чтобы предсказать въ весьма скоромъ времени неизбежное сліяніе. Чтобы не понимать этого, требовалось сверхъестественное тупоуміе, которымъ такъ отличались государственные люди второй имперіи. Въ какое положеніе поставилъ князь Бисмаркъ 4-мъ параграфомъ Пражскаго трактата южныя государства? Имъ предоставлялось образовывать южно-германскій союзъ или оставаться разьединенными и жить каждому, такъ сказать, „своимъ домомъ“. Еслибы этотъ союзъ образовался, то, состоя изъ королевства Баваріи, Виртемберга да великаго герцогства Баденскаго, онъ былъ бы такъ слабъ, такъ немоощенъ, что ему не оставалось бы ничего другого, какъ простереть свои руки къ Сѣверо-Германскому Союзу, сильному Прусскимъ королевствомъ. Бисмаркъ это понималъ лучше кого-нибудь другого, и потому, спустя нѣсколько мѣсяцевъ послѣ войны, онъ могъ весьма основательно замѣтить, что, по его убѣжденію, „парламентъ на сѣверѣ, имѣющій національное основаніе, и подобный же парламентъ на югѣ, не могутъ быть разрознены дольше, нежели воды Краснаго моря послѣ перехода евреевъ“.

Еслибы южныя государства рѣшились не основывать южнаго союза, или не въ состояніи были бы придти къ соглашенію относительно его устройства, тогда положеніе ихъ было бы еще болѣе безвыходно, и имъ тѣмъ менѣе было бы возможности устоять противъ магнитной силы притяженія Сѣверо-Германскаго Союза. Какъ ни слабъ былъ тотъ оплотъ, который находили южныя государства въ разрушенномъ германскомъ союзѣ, но, тѣмъ не менѣе, они, благодаря ему, не чувствовали себя одинокими въ самомъ центрѣ Европы. Теперь же, когда онъ былъ разрушенъ, и когда они не могли болѣе опираться на Австрію, положеніе ихъ сдѣлалось безвыходнымъ и должно было, нѣсколько позже, нѣсколько раньше, привести ихъ въ распростертыя объятія Сѣверо-Германскаго Союза. Они могли не желать, имъ могло быть жутко вступать въ этотъ союзъ, такъ какъ они сознавали, что они должны будутъ утратить значительную долю того „духа независимости“, который, по словамъ Бисмарка, такъ силенъ даже въ каждой нѣмецкой общинѣ. Но дѣлать было нечего, нужно было мириться съ тѣмъ, чего нельзя было измѣнить, чего нельзя было миновать. Для князя Бисмарка, убѣж-

деннаго, „что національное единство будетъ безспорно освящено исторіею“, все это было такъ же ясно, какъ дважды два четыре, и потому, не желая излишне раздражать сосѣднія государства, онъ рѣшился спокойно, но не дремля, выжидать той минуты, когда безъ малѣйшаго риска можно будетъ присоединить южныя государства къ Сѣверо-Германскому Союзу. Съ одной стороны, Обще-Германскій Таможенный Союзъ, съ другой—заключенные наступательные и оборонительные союзы съ южными государствами давали Бисмарку все, что ему было нужно, и сообщали ему то спокойствіе, котораго не хватало народнымъ представителямъ Сѣверо-Германскаго Союза, жаждавшимъ поскорѣе произнести заветное слово: единая Германія! Эта мысль была какъ нельзя болѣе ясно выражена въ циркулярѣ Бисмарка отъ 7-го сентября 1867 года, разосланнаго по поводу зальцбургскаго свиданія, возбуждавшаго въ свое время такъ много толковъ между императоромъ австрійскимъ и Наполеономъ III. „Сѣверный Союзъ — говорить въ этомъ циркулярѣ Бисмаркъ—пойдетъ и въ будущемъ охотно на встрѣчу всѣмъ желаніямъ, которыя выразятъ нѣмецкія правительства Юга, во всемъ, что касается расширенія и упроченія національныхъ сношеній между двумя частями страны, но мы всегда предоставимъ заботу опредѣлить границы, въ которыхъ взаимное сближеніе должно будетъ поддерживаться, свободному рѣшенію нашихъ союзниковъ южной Германіи. Мы тѣмъ болѣе считаемъ необходимымъ спокойно сохранять это положеніе, что мы находимъ въ установившихся въ настоящее время отношеніяхъ между Сѣверомъ и Югомъ, насколько они вытекаютъ изъ заключенныхъ союзовъ и возстановленія таможеннаго союза, законное, опирающееся на фактахъ, основаніе для независимаго развитія національныхъ интересовъ нѣмецкаго народа“.

Этими строками опредѣляется то положеніе, которое съ необычайною ловкостью занялъ князь Бисмаркъ по отношенію къ южной Германіи. Онъ доволенъ, ему больше ничего не нужно; но если южной Германіи самой понадобится болѣе тѣсное сближеніе, то сѣверная Германія охотно пойдетъ на встрѣчу. Бисмаркъ не только не добивается сліянія, не только не намѣренъ приносить никакихъ жертвъ для его достиженія, но онъ принимаетъ покровительственный тонъ, говоря о южныхъ государствахъ. Сѣверной Германіи не нужно союзниковъ, она сама сильна, но слабыя южныя государства не

могутъ существовать, не опираясь на сильнаго союзника, и онъ милостиво предлагаетъ свою помощь. Бисмаркъ со всею энергіею вооружается противъ того, что заключенные тотчасъ послѣ войны 1866 года наступательные и оборонительные союзы болѣе выгодны для сѣверной, нежели для южной Германіи. „Часто — говоритъ онъ — выходить изъ той мысли, что союзные трактаты составляютъ тягость для Юга Германіи, какое-то военное вассальное положеніе, и что они выгодны только Сѣверу. Но обязанность военной помощи существуетъ для Сѣвера точно такъ же, какъ и для Юга. Изъ двухъ союзниковъ болѣе слабый болѣе легко и вовлекается въ опасныя затрудненія, и армія Сѣверо-Германскаго Союза обезпечиваетъ нашему южному союзнику совсѣмъ иного рода помощь, нежели та, которую можетъ намъ подать часть нѣмецкихъ силъ Юга, при тѣхъ военныхъ условіяхъ, въ которыхъ находятся, безъ сомнѣнія, прекрасные элементы этой арміи. Во времена, — продолжаетъ Бисмаркъ, подобныя тѣмъ, которыя переживаетъ въ настоящее время Европа, тогда, когда шпата, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, можетъ такъ много вѣсить на вѣсахъ, это вовсе не шуточное дѣло для маленькаго государства, неспособнаго „европейски“ защищаться, имѣть возможность призвать къ себѣ на помощь — я не хочу называть цифры — почти неограниченное число штыковъ Сѣверо-Германскаго Союза“. Мы привели это разсужденіе Бисмарка, чтобы показать, какъ онъ былъ находчивъ и искусенъ, когда нужно было объяснить отношенія сѣверной Германіи къ южной. Ясно какъ день, что выгода отъ союзовъ съ южными государствами была вся на сторонѣ сѣверной Германіи, такъ какъ первымъ никто не угрожалъ въ то время, когда на послѣднюю косились съ нѣсколькихъ сторонъ. Наконецъ, событія французской войны 1870 г. доказали лучше всякихъ разсужденій, кому были выгодны союзы, и какъ тяжело было бы положеніе Пруссіи, окруженной только входившими въ составъ Сѣверо-Германскаго Союза государствами, изъ которыхъ притомъ нѣкоторые, какъ Ганноверъ, относились къ ней враждебно, еслибы она не нашла столь драгоцѣнной помощи въ южныхъ государствахъ Германіи.

Какъ ни убѣдительно доказывалъ Бисмаркъ, что выгода южной Германіи гораздо болѣе, нежели польза сѣверной, требуетъ самаго тѣснаго союза между двумя частями государства, югъ тѣмъ не

ментѣ, за исключеніемъ Бадена, слабо поддавался увѣреніямъ нѣмецкаго канцлера. Прогрессисты Германіи причину этого удаленія Юга видѣли въ томъ, что политика сѣверной Германіи была недостаточно либеральна; князь же Бисмаркъ, напротивъ, указывалъ на излишній либерализмъ Сѣверо-Германскаго Союза какъ на причину, отталкивавшую южныя государства. „Отчего нѣмцы—спрашивалъ онъ—не хотятъ соединиться съ нами? Не потому, чтобы мы были недостаточно для нихъ либеральны; а потому, что мы для нихъ слишкомъ либеральны. Вотъ единственная причина“. Когда на лѣвой сторонѣ рейхстага раздался смѣхъ, Бисмаркъ замѣтилъ: „Вы смѣетесь, господа, потому что вы не хотите взглянуть прямо въ лицо простой дѣйствительности. Среди нѣмецкихъ государствъ Юга самое либеральное, безъ всякаго сомнѣнія, это великое герцогство Баденское. И тутъ-то именно вы встрѣчаете самое горячее желаніе вступить въ Сѣверо-Германскій Союзъ. Либеральные нѣмцы Юга хотятъ присоединиться къ намъ. Тѣ, которые противятся вступленію, это—реакціонныя партіи“.

Бисмаркъ не разъ высказывалъ это любопытное мнѣніе, справедливость котораго не можетъ не быть подвергнута сильному сомнѣнію. Зато другая причина, на которую указывалъ онъ, представляется несравненно болѣе основательною. Съ той минуты, когда князь Бисмаркъ расширилъ свой первоначальный планъ сильнаго и могущественнаго Прусскаго государства, онъ не жалѣлъ трудовъ, не жалѣлъ силъ, чтобы практически осуществить идею единой Германіи. Онъ стремился къ этому единству не менѣе, конечно, любого нѣмецкаго патріота, но это не мѣшало ему смотрѣть несравненно болѣе трезво и болѣе глубоко на противодѣйствующія причины. Князь Бисмаркъ сознавалъ, что идея единой Германіи въ томъ видѣ, въ какомъ она имъ осуществляется, вовсе не вызываетъ поголовнаго сочувствія всѣхъ нѣмцевъ; онъ сознавалъ, какъ много преувеличеннаго въ громкихъ возгласахъ, что весь народъ отъ мала до велика пропитанъ одною идеею, однимъ страстнымъ желаніемъ, и онъ откровенно высказывалъ свою мысль. „Ни отъ кого—говорилъ онъ—не можетъ ускользнуть, что теченія Сѣвера и Юга идутъ въ противоположномъ направленіи; Югъ, по особенному характеру своей расы, по положенію, которое занималъ онъ въ старомъ устройствѣ имперіи, по существу своему консервативенъ и склоненъ къ партикуляризму; мы для него не только слишкомъ ли-

беральны, но также слишком національны, въ итогѣ слишкомъ національно-либеральны. Присмотритесь поближе—продолжаетъ князь Бисмаркъ съ изумительною искренностью—къ характеристическимъ тенденціямъ южнаго нѣмца: вы увидите, что то, что лежитъ въ основаніи всѣхъ манифестацій, въ которыхъ онъ принимаетъ участіе, это желаніе остаться баварцемъ, виртембергцемъ, швабомъ, франконцемъ. Онъ находитъ сѣверную Германію слишкомъ тѣсно связанною, и, быть можетъ, онъ рѣшился бы войти въ составъ союза менѣе сплоченнаго, гдѣ его частныя желанія, основательныя или нѣтъ, были бы уважены въ несравненно болѣе широкой мѣрѣ“. Онъ признавалъ, что населеніе вовсе не таково, какимъ его воображали себѣ либералы 1848 года, и что страстные порывы къ единству вовсе уже не такъ страстны. Только за годъ до французской войны, въ 1869 году, Бисмаркъ открыто высказывалъ, что желаніе единства въ южной Германіи чрезвычайно слабо, и поэтому каждый шагъ сѣверной Германіи долженъ быть строго разсчитанъ, чтобы не прорыть еще большей пропасти между Сѣверомъ и Югомъ. „На югѣ этой рѣки (Майна)—съ мужествомъ признавался князь Бисмаркъ—желаніе единства такъ слабо, что извѣстные люди, которые открыто взываютъ къ помощи иностранцевъ, чтобы разрушить все то, что мы выиграли въ дѣлѣ единства, что люди, которые открыто высказываютъ сожалѣніе, что наступила пора мирнаго повѣтрія на свѣтѣ, замедляющая минуту, когда они могли бы увидѣть побѣдоносные иностранныя штыки, окрашенные кровью ихъ братьевъ Сѣвера, что эти люди не презираются ихъ соотечественниками и на нихъ не кладется клеймо, гласящее, что это измѣнники своей родины! Напротивъ, во время выборовъ у этихъ людей ищутъ поддержки, съ ними заключаютъ условія, они съ честью фигурируютъ рядомъ съ своими согражданами“.

Признавая, что таково положеніе южной Германіи, — и оно не особенно удивляетъ, когда помнишь, что въ 1866 году суровые нѣмцы Сѣвера дрались съ своими братьями Юга такъ же горячо, какъ дрались они вмѣстѣ четыре года спустя противъ французовъ, и убивали ихъ съ неизмѣннымъ безсердечіемъ,—князь Бисмаркъ долженъ былъ особенно заботиться о томъ, чтобы ничѣмъ не шокировать южныя государства и дѣлать, по крайней мѣрѣ, видъ, что онъ предоставляетъ имъ полную свободу дѣйствій и нисколько не желаетъ насиловать ихъ воли. Такъ и дѣйствовалъ нѣмецкій канцлеръ, сдерживая постоянно

истертії національної партіи Сѣвера. Эта промова територіа заключается въ одной изъ самыхъ замѣчательныхъ рѣчей Бисмарка, произнесенной немѣе нежели за два мѣсяца до французской войны и посвященной національному вопросу. Сѣверная Германія — развивалъ весьма подробно князь Бисмаркъ — должна выжидать спокойно той минуты, когда Баварія и Виртенбергъ сдѣлають рѣшительный шагъ къ сліянію, должна выжидать, несмотря на все желаніе видѣть наконецъ осуществившимся единство Германіи. „Намъ ни къ чему не послужило бы, еслибы Баварія и Виртенбергъ должны были быть болѣе тѣсно соединены съ нами противъ ихъ воли, съ принужденіемъ и насиліемъ, и скорѣе, чѣмъ употребить насиліе для этой цѣли, я предпочелъ бы ждать все то время, которое проходитъ между однимъ поколѣніемъ и другимъ“.

Строго придерживаясь въ отношеніи къ южной Германіи разумной выжидательной политики, Бисмаркъ оставался нормой великаго гордоства Баденскаго, желавшаго войти въ Сѣверо-Германскій Союзъ. останавливалъ въ виду того, чтобы оно служило звеномъ между сѣвровою и южною Германіею, и на упрекъ, обращенные къ нему, что онъ недостаточно энергично дѣйствуетъ въ дѣлѣ единства, Бисмаркъ съ большимъ умомъ сдерживалъ слишкомъ рьяныхъ сторонниковъ единства, говоря: „Обратите ваши взоры, господа, къ тому времени, которое предшествовало 1848 г., къ тому времени, которое предшествовало 1864 году. Вы довольствовались бы несравненно меншимъ!“ Путь, пройденный въ дѣлѣ единства и соединенія сѣвровою Германіею съ южною, достаточно великъ: „не будете же цѣнить нашихъ побѣдъ ниже ихъ стоимости: не слишкомъ торопитесь, господа, дѣлать новые этапы, уйдѣте довольствоваться на время тѣмъ, чѣмъ вы обладаете, и не будьте такъ жадны къ тому, чего недостасть еще замъ“. Такъ разсуждалъ Бисмаркъ, и этии словами опредѣлялась вся его политика по отношенію къ государствамъ южной Германіи. Политика рациональная и безъ сомнѣнія гораздо болѣе содѣйствовавшая сплоченію двухъ частей обширнаго государства, нежели политика принужденія и насилія, къ которой склоняли его слишкомъ горячіе патриоты, не разбирающіе въ своей горячности средствъ, и къ которой, въ другихъ случаяхъ, онъ самъ прибѣгалъ такъ охотно.

Хотя князь Бисмаркъ вовсе не обольщалъ себя относительно расположенія южной Германіи къ сліянію съ Сѣверо-Германскимъ Сою-

зомъ и къ единству нѣмецкой націи, тѣмъ не менѣе онъ былъ твердо увѣренъ послѣ 1866 года, что въ случаѣ иностраннаго нашествія или даже просто войны, южная Германія станетъ подъ одно знамя съ сѣверною. Еще въ 1867 году, тотчасъ послѣ заключенія пражскаго мира, Бисмаркъ говорилъ: „Югъ, въ случаѣ, если его цѣлости будетъ сдѣлана угроза, не можетъ сомнѣваться въ томъ, что онъ найдетъ братскую, абсолютную помощь у Сѣвера, точно такъ же, какъ Сѣверъ вполне убѣжденъ въ помощи Юга въ случаѣ внѣшняго нападенія“. Это же самое убѣжденіе Бисмаркъ прямо высказывалъ за два мѣсяца до французской войны, предоставляя слушать кому угодно, когда онъ говорилъ: „я не выражалъ никакого сомнѣнія насчетъ нашего права рассчитывать на военныя силы южныхъ государствъ, и я вполне убѣжденъ, что во всякой войнѣ мы можемъ положиться на полную помощь всѣхъ существующихъ силъ въ нѣмецкихъ государствахъ Юга“. Событія не обманули ожиданій князя Бисмарка, и еще разъ подтвердили проницательность его политическихъ соображеній. Французская война была тѣмъ горячимъ солнцемъ, которое помогло созрѣть идеѣ единства въ южной Германіи, и этотъ созрѣвшій плодъ Бисмаркъ не упустилъ минуты схватить на лету. И тутъ, какъ въ отношеніяхъ къ побѣжденнымъ государствамъ, не принципы указывали ему разумную систему, не идеи руководили его поразительно успѣшною политикою, а исключительно вѣрный расчетъ, вѣрное пониманіе, изъ чего можно извлечь большую пользу. Къ этому вѣрному пониманію своей пользы въ его отношеніяхъ къ иностраннымъ государствамъ, къ которымъ теперь мы и перейдемъ, прибавлялось еще нѣчто — это увѣренность, столь оправдавшаяся, что другіе, съ которыми ему суждено было имѣть дѣло, не съумѣютъ понять своихъ выгодъ, не съумѣютъ оцѣнить своихъ интересовъ.

XI.

Мы сказали уже, что въ системѣ государствъ континентальной Европы, въ то время, когда судьба Германіи попала въ руки князя Бисмарка, было четыре державы: Франція, Россія, Австрія и Пруссія. Последняя считалась самою мелкою, самою слабою изъ всѣхъ четы-

рехъ, а между тѣмъ для того, чтобы завѣщаніе Фридриха II было выполнено, необходимо было, чтобы она сдѣлалась самою крупною, самою могущественною державою. Послѣдователь и политическій преемникъ Фридриха составлялъ замѣчательный планъ для осуществленія идеи „великаго короля“, — планъ, по которому Пруссія должна была по очереди пользоваться каждымъ изъ своихъ сильныхъ сосѣдей, чтобы, съ одной стороны, нанести полновѣсный ударъ другому сосѣду, и при этомъ самой настолько же возвыситься и окрѣпнуть, насколько сосѣди падали и ослабѣвали. Планъ этотъ весьма наглядно обозначается въ рѣчахъ князя Бисмарка, и нашъ трудъ заключается только въ томъ, чтобы многочисленныя разбросанныя и разъединенныя части слить въ одно цѣлое. Политическая система князя Бисмарка будетъ достаточно ясна, если мы прослѣдимъ, хотя можетъ быть и слишкомъ бѣгло, отношенія Германіи къ тремъ ея могущественнымъ сосѣдямъ: Австріи, Франціи и Россіи за послѣдній десятилѣтній періодъ.

Сообразно плану князя Бисмарка, начнемъ съ Австріи. Это была первая страна, которую ему нужно было обезсилить, унизить во что бы то ни стало, если только онъ желалъ, чтобы вся его дальнѣйшая политика увѣнчалась успѣхомъ. Обезсиленіе Австріи должно было развязать ему руки въ Германіи, должно было обезпечить за Пруссіею гегемонію. Такъ точно думалъ и дѣйствовалъ его предшественникъ Фридрихъ, который никогда не упускалъ случая, чтобы нанести соперницѣ Пруссіи въ Германіи крѣпкій ударъ. Одно изъ правилъ практической мудрости заключается въ томъ, чтобы умѣть загребать жаръ чужими руками, и не Бисмаркъ, конечно, можетъ быть обвиненъ въ нарушеніи этого правила. Въ этомъ отношеніи онъ никогда не былъ повиненъ. Планъ сильнаго Прусскаго государства, возвышеніе Пруссіи надъ Австріею сложился у Бисмарка — мы не скажемъ въ которомъ именно году, но, во всякомъ случаѣ, во время пребыванія его во Франкфуртѣ въ качествѣ прусскаго полномочнаго министра при сеймѣ, такъ что война 1859 года между Франціею и Австріею была ему какъ нельзя болѣе съ руки, и всѣмъ извѣстно изъ знаменитаго письма Бисмарка къ министру иностранныхъ дѣлъ, барону Шлейницу, какъ горячо возставалъ будущій нѣмецкій канцлеръ противъ самой мысли о возможности вмѣшательства въ войну Пруссіи, съ цѣлью помочь Австріи. Результатомъ войны 1859 года была потеря для Австріи Ломбардіи, но эта потеря была не настолько зна-

чительна, чтобы Бисмаркъ могъ ею довольствоваться. Это былъ только первый шагъ, первый этапъ на длинномъ пути, въ концѣ котораго было полное и безусловное исключеніе Австріи изъ участія въ дѣлахъ Германіи.

Австрія такъ мало была ослаблена итальянскою войною, что когда Бисмаркъ принялъ на себя управленіе Пруссіею и когда онъ приступилъ къ выполненію своего хорошо обдуманнаго плана, онъ не рѣшился еще бразировать Австрію, какъ бразировалъ остальную Германію по поводу шлезвигъ-гольштейнскаго столкновенія. Нѣтъ, онъ чувствовалъ необходимость потрясти предварительно положеніе Австріи среди второстепенныхъ нѣмецкихъ государствъ, и датская война служила къ тому только предлогомъ. Втянуть Австрію въ эту несправедливую войну, нарушить такимъ образомъ ея доброе согласіе съ франкфуртскимъ сеймомъ, заставить ее ковать орудіе для собственнаго ея побѣжденія—все это было дѣломъ весьма замѣчательнаго дипломата, умѣющаго отлично понимать политическую близорукость и ничтожность своихъ противниковъ. „Трудно встрѣтить—замѣчаетъ по этому поводу одинъ изъ самыхъ талантливыхъ и образованныхъ публицистовъ западной Европы—большее политическое ослѣпленіе съ одной стороны, и большую дерзость и смѣлую эксплуатацію сосѣдей съ другой. Прусскій министръ, и въ этомъ его главная сила, основываетъ свои политическія комбинаціи не на измѣнчивой волѣ или капризахъ людей, а на сдѣленіи интересовъ и обстоятельствъ“. Въ своихъ отношеніяхъ къ Австріи, въ той свободной манерѣ, съ которою онъ разставилъ сѣти, въ которой запуталась старая монархія Габсбурговъ, Бисмаркъ основывается также если не на капризахъ людей, то на ихъ слѣпотѣ, такъ какъ нѣтъ сомнѣнія, что находишься во главѣ австрійской политики человѣкъ такого же калибра, какъ и нѣмецкій канцлеръ, она никогда бы не поддавалась на такую „дерзкую“ игру. Но какъ бы то ни было, Австрія была втянута въ датскую войну и тѣмъ самымъ наложила на себя руку.

Поколебать положеніе Австріи въ Германіи, показать, что она вовсе не остается такою вѣрною опорой Германскаго Союза, какъ то полагали во Франкфуртѣ, для Бисмарка было еще недостаточно. Бисмарку нужно было обезпечить себя союзниками и гарантировать нейтралитетъ Франціи—грозной послѣ крымской кампаніи и итальянской войны. Съ этой стороны Бисмаркъ дѣйствовалъ не менѣе искусно.

Къ сожалѣнію, судить о томъ, что происходило на морскомъ берегу въ Біаррицѣ, какіе разговоры велись въ Тюльери, можно только по догадкамъ, къ которымъ мы не имѣемъ никакого вкуса. Но еслибы князь Бисмаркъ оставилъ по себѣ правдивые мемуары, тогда, трудно сомнѣваться, они показали бы дипломатическія способности канцлера Нѣмецкой Имперіи во всемъ ихъ блескѣ. Теперь же только по слабымъ намекамъ въ его рѣчахъ мы можемъ судить, что онъ не оставался ни передъ какими увѣреніями, ни передъ обѣщаніями, сдержать которыя князь Бисмаркъ никогда не рассчитывалъ. Сколько бы различные идеалисты ни ратовали искренно противъ правила Лойоля: цѣль оправдываетъ средства, — сколько бы дипломаты ни увѣрили, что начало это презрѣнно, въ современной политикѣ начало это играетъ большую роль и будетъ играть до тѣхъ поръ, пока война останется главнымъ факторомъ, регулирующимъ отношенія между европейскими государствами. Вотъ отчего обвиненія, сыплющіяся на князя Бисмарка со стороны большею частію французскихъ публицистовъ, что онъ не сдержалъ слова, что онъ обманулъ Наполеона и т. п., — все это пустыя слова, вздорные возгласы, лишены всякаго смысла. Кто же когда въ политикѣ держалъ слово, кто не обманывалъ!

Весь вопросъ только въ томъ, чтобы тотъ, кто нарушаетъ свое слово, кто не держитъ обѣщанія, счумѣлъ извлечь изъ этого выгоду, чтобы, при помощи такого рода средствъ, онъ счумѣлъ достигъ своей цѣли, счумѣлъ восторжествовать. Удалось ему — политическая нравственность оправдываетъ его; не удалось, — ну, тогда измѣна слову, несдержанное обѣщаніе будутъ долго тяготѣть надъ нимъ и долго общество будетъ возмущаться обманомъ. Успѣхъ же заставляетъ это самое общество рукоплескать обману, который получаетъ имя политической мудрости. И Фридрихъ II, и князь Бисмаркъ отлично это сознавали, и потому оба они такъ мало стѣснялись даннымъ словомъ и сдѣланнымъ обѣщаніемъ. Князь Бисмаркъ отправился во Францію и выговорилъ себѣ выгодный нейтралитетъ, — какою цѣною или, вѣрнѣе, обѣщаніемъ какой цѣны, — это остается неизвѣстнымъ, и если нельзя довѣрять французскому источнику, по которому значительное округленіе было обѣщано Франціи со стороны ея сѣверной и сѣверо-восточной границы, то точно также нельзя довѣрять и нѣмецкому источнику, по которому никакихъ „положи-

тельныхъ“ и „опредѣленныхъ“ обѣщаній не было сдѣлано. Сверхъ выговореннаго нейтралитета Бисмаркъ связалъ еще Францію по рукамъ и ногамъ союзомъ Пруссіи съ Италіей. Франція гордилась, что Италія была ея созданиємъ; какъ же могла она выступить теперь противъ союзницы своего дѣтища?

Планъ Бисмарка былъ крѣпокъ со всѣхъ сторонъ; выполнение же его поражаетъ энергією и проницательностью. Бисмаркъ такъ изолировалъ Австрію, что ей некуда было обратить своихъ уповающихъ взоровъ. Безучастное отношеніе Англіи къ Даніи ручалось за ея неподвижность; что же касается Россіи, то Бисмарку нечего было ея опасаться. Россія могла бы еще явиться на помощь Австріи, какъ явилась она въ 1849 году для защиты ея отъ наплыва радикализма, отъ стремительнаго потока революціонныхъ силъ, хотя и тутъ время не прошло совсѣмъ безслѣдно, и въ направленіи русской политики чувствуется до извѣстной степени значительная перемѣна; но думать, чтобы она двинула свои полчища для защиты ея отъ Пруссіи, было невозможно, не только въ силу дружественныхъ отношеній двухъ царствующихъ домовъ, а просто потому, что защищать страну, „удивившую Европу своею неблагодарностью“, не было никакого основанія. Къ тому же Пруссія, хотя и руководимая исключительно своими собственными интересами и нимало не помышляя о выгодѣ Россіи, оказала ей въ польскомъ вопросѣ своею политикою, солидарною съ русскою, нѣкотораго рода помощь, за которую мы, съ своей стороны, успѣли уже ее поблагодарить. Такимъ образомъ, все было подготовлено, все устроено, все строго обдуманно, оставалось только подать сигналъ: Сигналъ былъ поданъ, и по сигналу раздался первый выстрѣлъ. Что касается до повода къ войнѣ, то князь Бисмаркъ о немъ никогда не заботится, увѣренный, что поводъ всегда найдется, и что онъ сумѣетъ дать дѣлу такой оборотъ, что Пруссія, или потомъ Германія, окажется вызванною и принужденною къ бою страной, и что Германіи ничего болѣе не оставалось, какъ принять вызовъ дерзкаго врага. Такъ было и тутъ, и тотъ самый Шлезвигъ-Гольштейнъ, который, на горе Австріи, соединилъ ее на время съ Пруссією, сдѣлался теперь поводомъ войны, рѣшительной для той и другой страны. Впрочемъ, война эта была рѣшительная не только для Австріи и Пруссіи, но для всего нѣмецкаго народа, для всей Германіи. „Германія,—

писалъ Штраусъ (въ своихъ извѣстныхъ узко-патріотическихъ и вовсе не говорящихъ въ пользу его гуманныхъ и свободолюбивыхъ чувствъ письмахъ къ французскому философу, не болѣе германскаго отличающагося шириною политическихъ воззрѣній),—Германія была поставлена въ положеніе кареты, въ которую впрягли спереди и сзади лошадей равной силы, и которая, поэтому, естественно должна оставаться неподвижною;... по поводу шлезвигъ-гольштейнскаго столкновенія удалось не надолго въпречь обѣихъ лошадей рядомъ; но едва только цѣль была достигнута, онѣ снова пошли врозь, въ противоположныя стороны. Оставалось одно: рѣшительно обрубить построики задней лошади, и тогда передняя могла свободно идти впередъ. Эта идея была такъ же проста, какъ яйцо Колумба; казалось, она должна была придти въ голову каждому; и однако, если не *одинъ* только человекъ напалъ на нее, то *одинъ* только сумѣлъ найти вѣрное средство къ ея осуществленію^а. Штраусъ оказывается весьма плохимъ политикомъ, и даже послѣ того, какъ событія совершились, онъ ничего не видитъ, кромѣ того, на что ему указываютъ. Ему даже то неясно, что Бисмарку нужно было въпречь обѣихъ лошадей вѣстѣ, для того только, чтобы одна усѣшнѣе могла сгрязить другую. Бисмаркъ, конечно, не скажетъ этого прямо, дипломатическія приличія были бы слишкомъ оскорблены; онъ, напротивъ, стремится увѣрить, что Пруссія была вынуждена къ войнѣ. „Насъ обвиняють,—говоритъ онъ по поводу войны 1866 года,—что мы съ спокойнымъ сердцемъ рисковали честию, независимостью и свободою Пруссіи въ такомъ предпріятіи, которое называютъ игрою, и котораго, слѣдовательно, мы имѣли возможность избѣжать. Я не признаю этого обвиненія, которое я слышу не въ первый разъ, и я пользуюсь случаемъ, чтобы здѣсь отразить его публично; я отвергаю его всѣми моими силами, какъ живое измышленіе партіи. Мы были поставлены въ необходимость—въ виду несправедливыхъ нападений, подготовленныхъ исподволь, въ виду злоупотребленія большинства относительно Пруссіи въ германскомъ сеймѣ, въ виду опасности, которую мы, ради нашей законной защиты, не могли иначе отвратить, какъ штыками—мы вынуждены были взяться за оружіе, и это называть опасною и рискованною игрою—это называется... я не могу употребить выраженія, которое готово сорваться съ моего языка. въ этой средѣ оно было бы неприлично“.

Да не подумаетъ читатель, что князь Бисмаркъ прибѣгаетъ къ напускному пафосу. Нѣтъ, это было бы совершенно не въ его характерѣ. Онъ возмущенъ тѣмъ, что его политику, его вѣрную, строго обдуманную политику называютъ азартною игрою; онъ возмущается, когда ему не довѣряютъ, что Пруссія „вынуждена“ была взяться за оружіе. Съ своей точки зрѣнія онъ правъ; онъ называетъ „вынужденіемъ“ то, что сама Австрія добровольно не успѣшила очистить для Пруссіи мѣсто въ Германіи, что Пруссія силою должна была добиваться того, что ей могли бы уступить безъ бою. Впрочемъ, слѣдуетъ все-таки повторить, что во вѣшной политикѣ дипломатическія приличія, а иногда и дипломатическія требованія и необходимость не позволяли ему сохранять свое качество—откровенность.

Разсказывать ходъ этой войны не входитъ въ нашу программу. Тутъ Бисмаркъ стирается за военными дѣятелями, которыми онъ далъ только извѣстный опредѣленный толчокъ, которыми онъ объяснилъ, что ему отъ нихъ нужно, и военные дѣятели въ точности исполнили предписанія князя Бисмарка. Австрія была разбита. На другой день послѣ отчаянной рѣшительной битвы открываютъ мирные переговоры, которые привели къ пражскому миру. Но тутъ представляется одинъ вопросъ, одно сомнѣніе, которое слѣдуетъ разъяснить. Одно изъ главныхъ правилъ князя Бисмарка заключается въ томъ, чтобы изъ извѣстныхъ событій извлечь всю возможную пользу, высосать весь сокъ; повидимому же въ 1866 году Пруссія остановилась тогда, когда она могла идти дальше, когда ворота Вѣны были открыты передъ ней, и она могла свободно диктовать мирныя условія.

Безъ сомнѣнія, въ 1866 году Бисмаркъ поразилъ своею умеренностью, вовсе не согласующеюся съ его характеромъ; мирныя условія могли быть гораздо выгоднѣе и въ сущности тогда же могло быть сдѣлано смѣло то, что случилось послѣ французской войны, т.-е. соединеніе въ одно цѣлое всей Германіи. Съ Баварією, Виртембергомъ и другими могло быть поступлено такъ же, какъ было поступлено съ Ганноверомъ, Гессеномъ, Франкфуртомъ, etc. Но кромѣ правила, выражающагося въ словахъ: выжимать весь сокъ, у Бисмарка есть другое правило, перетянувшее въ 1866 году,— правило, извѣстное уже читателю: вѣрнымъ не слѣдуетъ рисковать

изъ-за невѣрнаго, меньшимъ изъ-за большаго“, особенно когда это большее можетъ быть достигнуто въ другой разъ. Бисмаркъ остановился, конечно, не добровольно, не изъ чувства умѣренности, а потому, что онъ увидѣлъ легкія тучи со стороны Франціи, и этого было для него достаточно. Что Франція помѣшала ему тогда же далѣе подвинуть осуществленіе его плана, это не догадка; въ одной изъ своихъ рѣчей, произнесенной какой-нибудь мѣсяць спустя послѣ окончанія войны, князь Бисмаркъ довольно открыто высказывалъ эту мысль. „Никто—говорилъ нѣмецкій канцлеръ—не рѣшился бы требовать отъ Пруссіи, чтобы она рѣшилась на двѣ большія европейскія войны за разъ; никто точно также не могъ бы требовать, чтобы въ то время, когда она вела одну войну, и прежде, чѣмъ обезпечить плоды этой войны, она бы стала компрометтировать свои отношенія съ другими великими державами“. Франція въ это время сказала довольно рѣшительно: *нейдите дальше!* и Бисмаркъ счелъ за лучшее, до поры до времени, покориться этому требованію французскаго правительства, приглашенному въ посредники между воюющими сторонами... „Въ общемъ положеніи—говорилъ Бисмаркъ по поводу мира съ Австріею—мы почерпнули убѣжденіе, что намъ не слѣдуетъ черезчуръ натягивать лукъ, что мы не должны, отбрасывая нѣкоторыя мелочи, подвергать сомнѣнію уже добытыя выгоды и ставить ихъ въ зависимость отъ какихъ-нибудь новыхъ европейскихъ complicatіon... Я первый совѣтовалъ безъ колебаній его величеству согласиться и принять тѣ условія, которыя были предложены рѣшительно, *à prendre ou à laisser*, и не поступать подобно слишкомъ смѣлому игроку, который подвергаетъ еще разъ риску все уже выигранное“.

Бисмаркъ остановился, понимая опасность ринуться далѣе въ данную минуту, и потому онъ имѣлъ полное право съ гордостью отвѣчать на всѣ упреки, обращенныя къ нему, что онъ недостаточно смѣло воспользовался военными побѣдами. „Господа,—обращался онъ къ представителямъ народа:—оцѣнить значеніе военного успѣха въ ту самую минуту, когда онъ одержанъ—это одна изъ самыхъ трудныхъ задачъ политики. Можно легко ошибиться; если мы сами ошиблись, будущее намъ покажетъ это; оно покажетъ, хорошо ли мы выбрали минуту для заключенія мира и прекращенія военныхъ дѣйствій, хорошо ли мы сдѣлали, что рѣшились довольствоваться тѣми

условіями, которыя въ то время можно было выговорить. Исторіи принадлежитъ пролить свѣтъ на всѣ причины, которыя содѣйствовали совершенію извѣстнаго факта, и когда вы узнаете ихъ, я думаю, вы не откажетесь засвидѣтельствовать, что правительство достаточно смѣло воспользовалось побѣдою“. Бисмаркъ не пошелъ далѣе, опасаясь враждебныхъ дѣйствій со стороны Франціи, которая, послѣ уступки Австріи Венеціи, могла постараться отвлечь Италію отъ союза съ Пруссіею, и такимъ образомъ развязать себѣ руки. Бисмаркъ не могъ вѣрить въ особую прочность итальянскаго союза, имѣя относительно соблюденія трактатовъ свое особое воззрѣніе. Тѣмъ болѣе онъ восхваляетъ Италію и признаетъ, какую важную роль играла она въ войнѣ 1866 года. „Мы имѣли серьезную помощь въ непоколебимой вѣрности нашего союзника Италиі, — вѣрности, которую — я не нахожу словъ, чтобы почтить достаточно высоко и оцѣнить по достоинству“.

Но, уступая чувству осторожности, Бисмаркъ не скоро прощаетъ тѣмъ, которые становятся поперекъ его пути и мѣшаютъ ему осуществлять свои планы. Франція послужила ему помѣхой, на Францію должны были быть направлены теперь его постоянныя мысли. И Бисмаркъ нисколько не скрывалъ этого, и нужна была особая слѣпоты и глухота, чтобы не видѣть и не слышать, что говорилось въ Берлинѣ на другой день послѣ войны. „Ораторъ — говорилъ Бисмаркъ въ 1867 году — упустилъ изъ виду то, на чемъ я особенно настаиваю, т.-е., что мы не только не достигли предѣла въ нашей политикѣ, но находимся только въ самомъ началѣ, и вы совершаете большую несправедливость относительно насъ, когда вы смотрите на то, что уже сдѣлано, какъ на нѣчто законченное, заключенное“. Едва-ли возможно было государственному человѣку говорить болѣе ясно, болѣе откровенно. Такимъ образомъ, покончивъ съ Австріей, окончательно сокрушивъ ея могущество, дѣлая при этомъ своимъ орудіемъ Францію, безъ согласія которой Италія никогда не могла рѣшиться на соединеніе съ Пруссіею, Бисмаркъ тотчасъ послѣ окончанія войны или, вѣрнѣе, прежде даже нежели она окончилась, думаетъ уже о сокрушеніи могущества другого сосѣда, который стѣснялъ его свободу дѣйствій. Очевидно, что Бисмаркъ не могъ позабыть тѣхъ требованій, которыя были предъявлены во время войны 1866 г. Франціею и по поводу которыхъ, годъ спустя, Бисмаркъ выражался

такимъ образомъ: „Что Франція заботилась объ интересахъ своей политики—никто не можетъ находить тутъ ничего дурного; что же касается до того, чтобы сказать, съ достаточною ли умѣренностью она настаивала на своихъ выгодахъ, я полагаю, что судить о томъ, для публики, еще преждевременно, и я долженъ просить васъ предоставить оцѣнить ея поведеніе правительству“.

Подобныя слова, конечно, носили на себѣ зловѣщій характеръ, но на нихъ во Франціи или, вѣрнѣе, среди французскаго правительства, не обращали достаточнаго вниманія. Тамъ вѣрили тѣмъ увѣреніямъ, которыя Бисмаркъ лично расточалъ въ Біаррицѣ и въ Тюльери, и которыми, высказывая ихъ иногда и съ трибуны, онъ прикрывалъ и какъ бы ступшевывалъ свои откровенные порывы, въ видѣ приведенныхъ уже нами. Политика князя Бисмарка по отношенію къ Франціи, начиная отъ 1866 г., т.-е. отъ того времени, когда онъ съ такимъ неподражаемымъ искусствомъ воспользовался ею для своихъ цѣлей и до заключенія мира въ 1871 году, можетъ по справедливости быть названа образцовою и служить поученіемъ для всѣхъ странъ и всѣхъ государственныхъ людей Европы. Остановимся только на самыхъ главныхъ этапахъ этой политики, за которую Фридрихъ, еслибы онъ могъ возстать изъ гроба, увѣнчалъ бы лаврами своего достойнаго послѣдователя.

Фридрихъ имѣлъ бы тѣмъ болѣе основаній остаться довольнымъ политикою Бисмарка по отношенію къ Франціи, что взгляды его на эту страну, несмотря на его пристрастіе къ французскому языку и его платоническую любовь къ французской философій, какъ нельзя болѣе соотвѣтствовали взглядамъ современнаго государственнаго челоука Германіи. Фридрихъ II далъ многія указанія, которыми Бисмаркъ могъ смѣло воспользоваться въ своихъ отношеніяхъ къ Франціи. Фридрихъ съ грустью говорилъ о томъ, что „Эльзасъ и Лотарингія оторвались отъ имперіи, отодвинули границы господства Франціи до самаго Рейна“; онъ опасался, что Франція захочетъ еще далѣе расширить свои владѣнія; ея могущество, обладаніе Эльзасомъ и Страсбургомъ не давало покоя Фридриху, точно также какъ недавно, по крайней мѣрѣ, казавшееся ея могущество и обладаніе тѣмъ же Страсбургомъ вдохновило политику князя Бисмарка. „Исторія Франціи—писалъ Фридрихъ II—представляетъ намъ примѣръ, который невозможно читать безъ того, чтобы не вспомнить черту изъ древней исто-

рін, праведенную мною. Всѣ понимаютъ, что я хочу говорить о присоединеніи Эльзаса и Страсбурга. Эти государства, отнятыя у Германіи, были въ прежнее время то же, что Термопилы или защитительные окопы, и Лотарингія, которая такъ недавно захвачена, соответствуетъ Фокидѣ относительно положенія. Способъ захвата, столь схожій со способомъ короля Филиппа, открываетъ, мнѣ кажется, довольно ясно удивительную общность плановъ. Филиппъ не остановился на Термопилахъ, онъ пошелъ дальше. Я припоминаю по этому случаю — продолжаетъ Фридрихъ — слова, сказанныя мудрецомъ одному изъ эпирскихъ царей при видѣ огромныхъ приготовленій, дѣлавшихся для войны. — Зачѣмъ, спрашивалъ онъ этого государя, собираете вы все это оружіе и весь этотъ багажъ? — Для завоеванія Италіи, — отвѣчалъ Пирръ. — Но когда Италія будетъ завоевана, куда тогда пойдѣмъ мы? — Тогда мы завладѣемъ Сициліей, а случись попутный вѣтеръ, Карфагенъ падетъ передъ нами; затѣмъ мы пройдемъ черезъ Ливійскія степи; Аравія и Египетъ не въ состояніи будутъ намъ сопротивляться; Персія и Греція одинаково подпадутъ нашему владычеству. Этотъ государь, прибавляетъ отъ себя Фридрихъ, не имѣлъ другого плана, какъ установить свое господство надъ всею вселенною; его слова были словами властолюбія; властолюбіе же дѣйствуетъ и думаетъ всегда одинаково: я болѣе ничего не прибавлю“. Такъ предостерегалъ Фридрихъ противъ могущества Франціи, которую онъ обвинялъ въ стремленіи къ всемірному господству. Мы не удивимся, если иной читатель подумаетъ, что слова эти какъ нельзя болѣе подходятъ теперь къ Германіи, и что могущественному государству, созданному политикой Бисмарка, не грѣшно было бы вспомнить правоученіе Фридриха II. Если вышеприведенныя нами слова весьма близко подходятъ къ современнымъ стремленіямъ развоевавшихся нѣмцевъ, зато и объясненіе, которое давалъ Фридрихъ успѣху Франціи, съ одинаковою справедливостію можетъ быть приложено къ Германіи. Фридрихъ II хорошо понималъ, что негодованіемъ, громкими бранными фразами никакъ не сломишь могущества государства, и что гораздо полезнѣе постараться уяснить себѣ причины успѣшной политики государства.

То же самое должно быть сказано въ настоящее время и относительно Германіи. Только тѣмъ, что мы станемъ возмущаться, кричать о насиліяхъ нѣмцевъ, о гнусности ихъ завоевательной по-

литики и т. п., мы не достигнемъ никакихъ результатовъ, и потому подобную забаву слѣдуетъ оставить въ сторонѣ. Еще болѣе неразумно было бы обрушивать свое негодованіе на князя Бисмарка, который въ глазахъ потомства, исторіи всегда найдетъ оправданіе своей практической философій въ томъ, что онъ принималъ ее къ дѣлу для блага своего государства, допуская даже, что это благо понимается ииѣ не такъ, какъ слѣдуетъ. „Франція—говорилъ Фридрихъ—ни въ чемъ не спѣшитъ. Постоянно привязанная къ своему плану, она всего ждетъ отъ обстоятельствъ; нужно, такъ сказать, чтобы завоеванія ииѣли видъ, какъ будто бы они сами собою, естественно, приходятъ къ ней; она скрываетъ все, что есть строго обдуманнаго въ ея планахъ, и, кажется, если судить только по наружности, то фортуна покровительствуетъ ей съ особою заботливостью. Не будемъ, однако, ошибаться: фортуна, судьба—это слова, которыя не заключаютъ въ себѣ ничего дѣйствительнаго. Истинная фортуна Франціи—это проницательность, предусмотрительность ея министровъ и хорошія мѣры, которыя они принимаютъ“. Поставьте вмѣсто слова: Франція—Германія, вмѣсто французскій—нѣмецкій, и слова Фридриха будутъ не только какъ нельзя болѣе современны, но притомъ и чрезвычайно справедливы. Предусмотрительность и проницательность ея замѣчательнаго министра играла въ послѣднихъ событіяхъ Германіи далеко не послѣднюю роль; эта проницательность была именно тѣмъ, что люди зовутъ счастьемъ, фортуною. Рѣдко когда съ такою силою проявлялась предусмотрительность и проницательность, о которой говоритъ Фридрихъ, какъ въ отношеніяхъ князя Бисмарка къ Франціи.

Для того, чтобы уяснить себѣ эти отношенія, нужно познакомиться съ тою программю, которую начерталъ Бисмаркъ послѣ войны 1866 года,—съ программю, которая должна была имѣть своимъ дѣйствіемъ усиленіе французскаго правительства и далекое подготовленіе словъ: не мы вызывали Францію, она насъ вынудила къ войнѣ! Бисмаркъ старается увѣрить Францію, что между этою послѣднею и Германіею не можетъ никогда существовать враждебныхъ отношеній, что для Франціи усиленіе Пруссіи—событіе чрезвычайно выгодное, и что Пруссія, какъ бы счастливо она ни вела войну противъ Франціи, ничего не можетъ выиграть отъ нея. Рѣчь эта или, вѣрнѣе, часть длинной рѣчи, посвященной этому вопросу, такъ

интересна въ настоящее время, когда замѣчательная игра князя Бисмарка раскрылась вполне, слова его проливаютъ такой яркій свѣтъ на его искусство отводить глаза противнику отъ своихъ тайныхъ цѣлей и плановъ, что читатель не постыжется на насъ, если мы приведемъ въ подлинныхъ выраженіяхъ князя Бисмарка этотъ любопытный отрывокъ:

„Политическая организація, которую получила Европа въ 1815 г., отношенія кабинетовъ между собою со времени этой эпохи и до 1840 г. представляютъ собою образъ огромной оборонительной европейской системы, направленной противъ Франціи. Это была естественная реакція завоевательныхъ войнъ первой французской имперіи. Эта система давала заинтересованнымъ въ ней безопасность, но безопасность, связанную съ зависимостью, по крайней мѣрѣ для Пруссіи. До тѣхъ поръ, пока Пруссія къ ней принадлежала, она должна была переносить то несчастное очертаніе, которое она получила въ 1815 году, и быть довольною, во что бы то ни стало, своимъ чернымъ хлѣбомъ.

„Взамѣнъ этого она пользовалась безопасностью и покровительствомъ. Предшествовавшія правительства — продолжаетъ развивать князь Бисмаркъ свой общій взглядъ на взаимныя отношенія Пруссіи и Франціи — не считали умѣстнымъ воспользоваться представлявшимися иногда случаями разорвать связь съ системой 1815 года. Если же съ паденіемъ этой системы общая безопасность много проиграла, то это не была вина Пруссіи; система 1815 года была опрокинута 1848 годомъ, — политикою, которой съ этого года или, скорѣе, съ 1850-го, слѣдовала Австрія относительно Пруссіи, — политикою, которая сдѣлала весьма труднымъ возвращеніе довѣрія и уступчивости, которыя прежде Австрія встрѣчала въ насъ. Когда Восточная война и положеніе, которое заняла Австрія въ отношеніи къ Россіи, нанесли послѣдній ударъ Священному Союзу, то этотъ, по своему разрушенію, оставилъ за собою такой порядокъ вещей, при которомъ Пруссія представлялась и за границей, и большей части своихъ собственныхъ гражданъ, страной, имѣющею постоянную нужду въ защитѣ противъ Франціи, и, основываясь на этой кажущейся нуждѣ въ помощи, спекулировали нашею скромностью и уступчивостью. Въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ эта спекуляція зашла очень далеко, именно со стороны Австріи и нѣкоторыхъ другихъ нѣмецкихъ государствъ. Была ли она законна — это другой вопросъ. Интересы Пруссіи не заключаютъ въ

самихъ себѣ ничего, что бы нѣшало намъ желать мира и дружественныхъ сосѣдственныхъ отношеній съ Франціею; мы ничего не можемъ выиграть отъ войны съ этою державою, — утверждалъ князь Бисмаркъ въ 1867 году, — еслибы даже война эта и была счастлива. Императоръ Наполеонъ, въ противоположность другимъ французскимъ династіямъ, призналъ въ своей мудрости, что миръ и взаимное довѣріе неразрывны съ интересами обоихъ народовъ, естественно призванныхъ не воевать другъ противъ друга, но вѣстѣ идти впередъ, какъ подобаетъ добрымъ сосѣдямъ, по прогрессивному пути благосостоянія и цивилизаціи. Только независимая Пруссія можетъ поддерживать подобныя отношенія съ Франціею, — истина, которую подданные императора Наполеона не признаютъ всѣ въ одинаковой мѣрѣ. Но официально мы вѣдемъ дѣло только съ французскимъ правительствомъ. Такое параллельное движеніе впередъ требуетъ взаимности въ благосклонномъ вниманіи къ интересамъ обоихъ народовъ. Каковы въ итогъ интересы Франціи по отношенію къ Германіи, независимо, конечно, отъ случайнаго столкновенія, которое могутъ произвести совершающіяся событія? Посмотримъ на нихъ безъ нѣмецкаго предубѣжденія, постараемся стать на французскую точку зрѣнія; это единственный способъ справедливо судить чужіе интересы. Для Франціи не можетъ быть желательно, чтобы въ Германіи возвысилась могущественная держава, какою была бы цѣлая Германія подъ гегемоніей Австріи, — имперія въ семьдесятъ пять милліоновъ душъ, Австрія, простирающаяся до Рейна, — даже Франція, простирающаяся до этой рѣки, не образовала бы достаточнаго противовѣса. Для Франціи, которая желаетъ жить въ мирѣ съ Германіей, прямая выгода, чтобы Австрія не составляла части этой Германіи, такъ какъ австрійскіе интересы во многихъ пунктахъ сталкиваются съ интересами Франціи, — идетъ ли рѣчь объ Италіи, или о Востокѣ. Между Франціею и Германіею, отдѣленною отъ Австріи, точки соприкосновенія, могущія породить враждебныя отношенія, гораздо менѣе многочисленны; и что Франція желаетъ имѣть своимъ ближайшимъ сосѣдомъ народъ, съ которымъ она могла бы жить въ мирѣ, и противъ котораго 35 или 38 милліоновъ французовъ были бы какъ нельзя болѣе достаточно сильны, чтобы выдержать борьбу въ оборонительной войнѣ, — это такое естественное желаніе, что невозможно порицать ее за то, что она хранитъ его въ своемъ сердцѣ. Я полагаю, что Франція, вѣрно оцѣнивая свои

интересы, никогда не допустить, чтобы исчезла какая-нибудь изъ двухъ державъ,—прусская или австрійская“.

На этотъ отрывокъ должно быть обращено особенное вниманіе, не только потому, что здѣсь выражены нѣкоторыя общія воззрѣнія на политическое положеніе Европы, на которыя князь Бисмаркъ обыкновенно такъ скупъ, но также и потому, что этотъ отрывокъ показываетъ, какъ слѣдуетъ относиться не столько къ увѣреніямъ дружбы,—объ этомъ не можетъ быть и рѣчи,—сколько къ тѣмъ, повидимому, солиднымъ доводамъ, приводимымъ нѣмецкимъ канцлеромъ, что выгода, польза двухъ государствъ требуетъ тѣснаго союза. Такія же увѣренія много разъ высказывалъ онъ и относительно насъ, и потому, если кто-нибудь, возражая противъ возможности столкновенія, въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ, Германіи и Россіи, сказалъ бы: помилуйте, о чемъ вы толкуете; почитайте рѣчи князя Бисмарка, и вы увидите, какъ онъ убѣдительно доказываетъ невозможность подобнаго столкновенія! Читатель имѣлъ бы полное право отвѣтить: точно такія увѣренія расточалъ князь Бисмаркъ и передъ Франціей, точно такъ же убѣдительно доказывалъ невозможность войны, и однако...

Въ то самое время, когда князь Бисмаркъ говорилъ о томъ, что самая счастливая война съ Франціей ничего не могла бы дать Германіи; въ то время, когда онъ убѣждалъ, что единая Германія съ гегемоніей Австріи была бы крайне опасна для французовъ, между тѣмъ какъ единая Германія съ гегемоніей Пруссіи должна быть, напротивъ, весьма пріятною и выгодною для Франціи, всѣ мысли князя Бисмарка — его рѣчи убѣждаютъ насъ въ томъ — были направлены на войну и на сокрушеніе могущества второго соѣда. Нужно было бы родиться и жить въ какой-нибудь Аркадіи, чтобы обвинять нѣмецкаго канцлера въ коварствѣ, хитрости, недостойныхъ маневрахъ. Не одинъ вѣкъ пройдетъ еще прежде, чѣмъ честность политическая будетъ пониматься точно такъ же, какъ честность въ частной жизни, и то, что зовется ложью въ послѣдней, не будетъ почитаться въ мірѣ политики за дипломатическую мудрость. Притомъ же и въ частной жизни современнаго общества существуетъ весьма серьезное разногласіе относительно понятія о честности, которую каждый понимаетъ по своему, сообразно тому, какъ ему болѣе выгодно понимать ее. Много ли, читатель, людей, которые добровольно признаютъ себя безчестными?

Мы ведеть нашу рѣчь къ тому, чтобы сказать, что современнаго государственнаго человѣка нельзя судить съ идеальной точки зрѣнія; что какъ бы ни выдавался онъ своимъ способностямъ, талантомъ, онъ остается тѣмъ не менѣе сыномъ своего вѣка. и что судить его нужно съ точки зрѣнія остоянія всего общества и политикъ, господствующихъ какъ въ частной жизни, такъ и въ политической. Въ понятіяхъ современнаго общества сдѣлалъ уже большой успѣхъ, выражавшійся въ сознаніи, что государственный человѣкъ, дѣйствующій въ своихъ личныхъ видахъ, или въ интересахъ только своихъ дѣтей, семьи и жертвующій этимъ интересамъ интересами всего общества, кѣлаго народа, — достоинъ презрѣнія. Поэтому, если бы кто-нибудь могъ доказать, что князь Бисмаркъ, дѣйствуя такъ, какъ онъ дѣйствуетъ, руководится личными интересами, а не государственными, тогда бы мы впередъ были увѣрены, что исторія, — этотъ судъ присяжныхъ человѣчества, — скажетъ: да, виноватъ! Но этого никто, конечно, не докажетъ, и потому всѣ обвиненія въ коварствѣ, вѣроломствѣ и т. п. должны быть сочтены за пустые слова.

Что Бисмаркъ думалъ о войнѣ съ Франціей немедленно послѣ окончанія австрійской войны, это легко было бы доказать многими рѣчами его, въ которыхъ онъ то требовалъ сохраненія военнаго бюджета на нѣсколько лѣтъ, мотивируя требованіе свое „тою за-вистью“, „тѣмъ злобнымъ чувствомъ“, съ которыми смотритъ на Германію, то просилъ, чтобы „Германія поскорѣ была осѣдлана“, то, наконецъ, повторяя на всѣ лады, что онъ въ началѣ своей политики и т. п. Неотступная мысль Бисмарка о войнѣ съ Франціей, которая должна была быть унижена для осуществленія его плановъ, для возвеличенія Германіи, такъ очевидна, что мы считаемъ излишнимъ убѣждать читателя различными отрывками и цитатами изъ его рѣчей. Подготавливая эту войну, онъ, съ одной стороны, усюконивалъ французское правительство, отводилъ ему глаза разсужденіями, подобными тѣмъ, что Германія ничего не можетъ выиграть отъ войны съ Франціей; съ другой стороны, естественные или искусственные — мы не беремся рѣшать — порывы откровенности возбуждали и раздражали національное чувство нѣмцевъ, когда они слышали о „неуиѣренныхъ притязаніяхъ“ Франціи, о ея желаніи, подобно Германіи, „округлить“ свои границы на счетъ нѣмцевъ. Это стремленіе Франціи онъ бросалъ, какъ кость, на которую общественное

миѣніе Германіи жадно накидывалось. Воспоминаніе войнъ первой имперіи было слишкомъ живо, чтобы можно было слишкомъ сильно обвинять за то нѣмцевъ.

Отличительною чертою вѣшной политики князя Бисмарка служить такая же смѣсь искусно рассчитанной скрытности съ большою, повидимому, откровенностью, какъ и смѣсь необыкновенной отваги съ чрезвычайною осторожностью и сдержанностью. Онъ сбиваетъ своего противника съ толку, такъ что тотъ, наконецъ, не знаетъ, чему вѣрить, чему не вѣрить, забывая, что въ дипломатіи слѣдуетъ рассчитывать всегда на самое невыгодное. Бисмаркъ никогда не перехитритъ въ политикѣ, помня хорошо наставленіе Фридриха II, что „никогда не слѣдуетъ допускать въ дипломатіи слишкомъ большую хитрость и тонкость“. Онъ сравниваетъ хитрость и излишнюю тонкость съ приностями, къ которымъ вкусъ до того пріучается, что подъ-конецъ совершенно пропадаетъ ихъ пикантность. Князь Бисмаркъ такъ и поступалъ въ своихъ отношеніяхъ къ Франціи. Послѣ увѣреній въ дружбѣ и солидарности интересовъ между двумя государствами, онъ вдругъ давалъ Франціи такіа предостереженія, къ которымъ, казалось бы, ни одно правительство не должно было оставаться глухо. Къ такимъ предостереженіямъ долженъ быть отнесенъ циркуляръ графа Бисмарка, о которомъ мы уже упоминали, — циркуляръ 1867 года по поводу зальцбургскаго свиданія между австрійскимъ императоромъ и Наполеономъ, въ которомъ онъ такъ прямо говорилъ: я приглашаю иностранныя государства, иными словами — Францію, удержаться отъ всего, что могло бы показаться Германіи вмѣшательствомъ въ ея дѣла. Чувства достоинства и національной независимости очень раздражительны, поэтому... будьте осторожны! Въ такомъ смыслѣ говорилъ князь Бисмаркъ. Другимъ предостереженіемъ могъ служить люксембургскій вопросъ, который чуть-было не довелъ до кроваваго столкновенія враждебно стоявшія другъ противъ друга Пруссію, опиравшуюся на государства, вошедшія въ составъ Сѣверо-Германскаго Союза, и Францію. Читатель помнитъ причину возникновенія этого вопроса. Франція желала пріобрѣсти себѣ Люксембургъ, на уступку котораго выговорено было уже согласіе нидерландскаго правительства; Германія же, державшая въ Люксембургѣ гарнизонъ, основываясь на томъ, что Люксембургъ входилъ

въ составъ стараго Германскаго Союза, воспротивилась такому присоединенію. Вопросъ былъ улаженъ, какъ извѣстно, на лондонской конференціи. Франція должна была отказаться отъ присоединенія небольшого клочка земли, Германія же обязалась очистить Люксембургъ. Бисмаркъ, при этомъ случаѣ, рѣшительно воспротивился присоединенію Люксембурга къ Франціи, что было бы самымъ ничтожнымъ вознагражденіемъ за помощь, оказанную ею во время австрійской войны; но такъ какъ французское правительство было такъ непроницательно, что впередъ не обезпечило себѣ платы за помощь, то съ точки зрѣнія современной практической философіи было совершенно естественно, чтобы она была за то наказана. Какая, въ самомъ дѣлѣ, могла быть надобность Бисмарку производить уплату Франціи, когда, съ одной стороны, она сама позволила эксплуатировать себя, а съ другой, когда онъ сознавалъ уже, что Германія настолько сильна, что можетъ рѣшиться на борьбу. Хотя борьба была уже въ 1867 году и возможна, но князь Бисмаркъ не былъ настолько увѣренъ въ исходѣ ея, чтобы немедленно приступить къ дальнѣйшему осуществленію своего плана. Вотъ почему съ большою твердостью онъ выказалъ тутъ же и большую осторожность, которую въ рейхстагѣ онъ ставилъ себѣ въ серьезную заслугу. „Мы избѣгали — говорилъ онъ — доводить вопросъ до его крайностей; и я думаю, что его величество король заслужилъ благодарность нѣмецкой націи за то, что онъ съумѣлъ устоять противъ искушенія, — весьма сильнаго для государя, привыкшаго къ войнѣ, для воинственнаго народа, — возбудить общественное мнѣніе и подать своей арміи, постоянно побѣдоносной, новый сигналъ къ борьбѣ...“

Нужно обладать большимъ запасомъ откровенности, чтобы публично сказать, что война — такая пріятная для короля забава, что нужно благодарить его, если онъ съумѣлъ устоять противъ такого сильнаго искушенія. Искушеніе, должно быть, было велико; кому же было объ этомъ знать лучше, чѣмъ князю Бисмарку; будь онъ чуждъ подобныхъ порывовъ откровенности, онъ, разумѣется, никогда бы не сказалъ ничего подобнаго, такъ какъ кто же захочетъ послѣ этого вѣрить тѣмъ манифестамъ, въ которыхъ говорится весьма краснорѣчиво, что война — величайшее бѣдствіе, и что правительство рѣшилось на нее съ чувствомъ невыразимой боли и содроганія за неразрывныя съ нею страданія народа.

Давно рѣшивъ въ своей головѣ вопросъ о войнѣ съ Франціей, нераздѣльно связанной съ осуществленіемъ его плана, Бисмаркъ дѣйствовалъ не торопясь, осторожно, строго обдумывая каждый ходъ въ этой трудной игрѣ. Ему нужно было, для увѣренности въ успѣхѣ, съ одной стороны имѣть возможность исполнѣ полагаться на нѣмецкія государства, не слившіяся еще въ то время въ одно цѣлое, съ другой — устроить дѣло такъ, чтобы соединенная Германія имѣла дѣло только съ Франціей и больше ни съ кѣмъ. Что касается нѣмецкихъ государствъ, то мы уже видѣли, съ какииъ искусствомъ князь Бисмаркъ дѣйствовалъ по отношенію къ нимъ и какъ мастерски онъ поставилъ передъ ними дилемму: или присоединяйтесь добровольно, или вы будете присоединены тою же „силою духа національнаго единства“, которою были присоединены государства сѣверной Германіи. Тотчасъ послѣ австрійской войны Бисмаркъ уже выражалъ увѣренность, что въ случаѣ внѣшняго столкновенія южная Германія станетъ за-одно съ сѣвѣрною; но вѣстѣ съ тѣмъ, читатель припомнитъ, онъ нѣсколько разъ высказывалъ, что южныя государства весьма мало расположены слиться въ одно цѣлое и что стремленія къ національному единству еще слишкомъ слабы. Вотъ отчего Бисмарку нужно было ожидать, вотъ отчего онъ укрощалъ воинственный пылъ правительства, которому, по собственному признанію нѣмецкаго канцлера, такъ хотѣлось увѣнчать себя новыми лаврами. Четыре года, прошедшіе между австрійскою и французскою войнами, были употреблены Бисмаркомъ, чтобы затупить то злобное чувство, которое южныя государства должны были питать къ Пруссіи послѣ 1866 года. Его искусная политика въ значительной степени достигла желаннаго результата. Хотя въ Европѣ и было распространено мнѣніе, что южныя государства приняли сторону сѣверной Германіи во время послѣдней войны исключительно благодаря вліянію на нихъ русскаго кабинета, но мнѣніе это, не говоря уже о подозрительныхъ источникахъ его происхожденія, какъ-то дурно вяжется со всѣмъ тѣмъ, что извѣстно объ отношеніяхъ сѣверной и южной Германіи. Мы гораздо болѣе склонны думать, что южная Германія въ минуту опасности стала за-одно съ сѣвѣрною помимо всякаго посторонняго вліянія, единственно благодаря напору воодушевившей народъ идеи.

Со стороны иностранныхъ государствъ политика князя Бисмарка

встрѣчала болѣе серьезныя затрудненія. Хотя конституціонная жизнь въ Австріи и сдѣлала весьма большіе успѣхи, что бы ни говорилъ князь Бисмаркъ, сдѣлавшій замѣчаніе, что австрійскій либерализмъ правится по той же причинѣ, по которой правится самая молодая дама, т.-е. потому только, что онъ моложе другихъ, но все-таки не настолько, чтобы лишить возможности правительство начать или вѣ- шаться въ войну противъ воли народа. Правительство же австрійское не могло забыть удара, нанесеннаго Садовой, и потому естественно было расположено всегда стать на сторону враговъ Пруссіи, чтобы постараться отомстить за 1866 годъ. Война между Германіей и Франціей должна была представляться сильнымъ соблазномъ для австрійскаго правительства. Франція казалась чрезвычайно могущественною, и мало кто подозрѣвалъ, до какой степени внутренняго разложенія доведена была второю имперіею военная организація страны, со времени послѣдней ея европейской войны 1859 года. Не подозрѣвая этого разложенія, Австрія естественно могла быть расположена вступить въ союзъ съ французскимъ правительствомъ. Вслѣдъ за Австрію увлечена была бы и Италія, связанная съ Франціей столь многими узами. Бисмарку нужно было предупредить самую возможность наткнуться на тройной союзъ, и потому прежде всего онъ сознавалъ необходимость парализовать Австрію. Вотъ тутъ-то нѣмецкій канцлеръ воспользовался своимъ третьимъ сосѣдомъ, чтобы при его помощи ослабить и унижить Францію и вмѣстѣ съ тѣмъ еще болѣе, чѣмъ прежде, усилить Германію. Мы не можемъ подробно останавливаться на той дипломатической дѣятельности князя Бисмарка, которая предшествовала началу французской войны, не можемъ и не желаемъ этого дѣлать потому, что наши разсужденія должны были бы основываться на брошенныхъ вскользь намекахъ, на догадкахъ, на газетныхъ и журнальныхъ слухахъ, наконецъ, на увѣреніяхъ одной только стороны. Тѣмъ самымъ мы нарушили бы одно изъ самыхъ мудрыхъ правилъ, столь часто забываемыхъ и въ политическихъ, да и въ другихъ разсужденіяхъ: *audiat et altera pars*. Много лѣтъ еще пройдетъ, прежде чѣмъ маска будетъ сорвана съ тѣхъ дипломатическихъ отношеній, которыя привели къ катастрофѣ 1871 года и къ окончательному разрушенію системы политическаго равновѣсія Европы.

Разрушеніе этой системы совершено было исключительно въ интересахъ Германіи. Что Россіи могло быть невыгодно столь непомѣрное

возвеличеніе своего нѣмецкаго сосѣда, что въ ея интересахъ могло бы быть недопущеніе Франціи до слишкомъ большого ослабленія и даже раздробленія, объ этомъ если князь Бисмаркъ и думалъ, то онъ держалъ это про себя. Другимъ же, очевидно, это не приходило и въ голову. Изъ всѣхъ слуховъ, толковъ, увѣреній, сопровождавшихъ французскую войну, за болѣе или менѣе основательное можно принять одно: князь Бисмаркъ въ своей мудрой политикѣ, направленной, само собою разумѣется, исключительно къ нѣмецкимъ интересамъ и вовсе не заботящейся о томъ, какъ онъ самъ выразился, „чтобы дѣйствовать въ интересахъ русской политики“, — успѣлъ достигнуть гарантіи невмѣшательства Австріи во французскую войну. Двинется Австрія на помощь Франціи, двинется и Россія на помощь Германіи. Была ли Россія готова къ войнѣ, было ли у нея хорошо обученное войско, было ли оно хорошо вооружено и т. д., — все это мы оставляемъ въ сторонѣ. Какъ бы то ни было, Россія въ глазахъ Европы не потеряла еще значенія сильнаго государства, такъ что угроза ея двинуть свои полки къ австрійской границѣ, на случай, еслибы австрійскіе двинулись къ предѣламъ Франціи или Германіи, была совершенно достаточна, чтобы заставить Австрію хранить строгій нейтралитетъ, какъ бы ни было сильно у ея правительства желаніе взять свой revanche за Садову.

Такимъ образомъ, Бисмаркъ могъ имѣть увѣренность, что ему предоставлено будетъ одному раздѣляться съ Франціей. Но, все предусматривая, обдумывая впередъ каждую мельчайшую подробность своего плана, Бисмаркъ выѣхавъ съ тѣмъ до самой послѣдней минуты въ своихъ парламентскихъ рѣчахъ продолжалъ возставать энергически противъ самой идеи о возможности войны между Германіею и Франціею: „Подстрекать къ войнѣ двѣ великія націи, которыя, находясь въ центрѣ европейской цивилизаціи, объ искренно желаютъ жить въ мирѣ, не имѣя никакихъ существенныхъ интересовъ, могущихъ ихъ разъединять, и прибѣгать съ этою цѣлью къ распространенію всякой лжи и раздачѣ крупныхъ суммъ, — это называется преступнымъ предпріятіемъ. Мнѣ нѣтъ надобности замыкаться въ общія обвиненія. Ни для кого изъ васъ не составляютъ тайны тѣ маневры, которые имѣютъ своею цѣлью распространить во Франціи, — націи чрезвычайно щекотливой во всемъ, что касается ея чести и храбрости, — распространить путемъ печати слухъ, что Германія хочетъ воспользоваться своею небывалою силою, которою она обязана

своему единству, для того, чтобы объявить Франціи войну, становясь во враждебное къ ней положеніе. Во французскихъ журналахъ каждый день вы встрѣчаете подобную ложь...“ Бисмаркъ кончаетъ тѣмъ, что выражаетъ свое удивленіе тому факту, что находятся столько лицъ, которые могутъ „принимать за серьезное подобныя бессмыслицы“. Последнее доказываетъ, по мнѣнію князя Бисмарка, только то, „какъ мало знаютъ истинное положеніе вещей“. Нѣмецкій канцлеръ не упомянулъ тутъ о тѣхъ враждебныхъ выходкахъ, которымъ подвергалась Франція послѣ войны 1866 года, со стороны нѣмецкихъ газетъ и журналовъ,—выходахъ, подобныхъ тѣмъ, которымъ подвергается Россія со времени окончанія французской войны. Быть можетъ, въ Германіи назовутъ рано или поздно „преступными“ также и тѣ предостереженія и тѣ опасенія, внушаемыя могущественнымъ сосѣдомъ, вступившимъ на путь завоевательной политики, которая высказываются порою по глубокому убѣжденію и въ русской литературѣ.

Затѣмъ, вплоть до самой войны, мы не встрѣчаемъ больше въ рѣчахъ князя Бисмарка такихъ, которые бы прямо относились къ отношеніямъ между Франціею и Германіею. Нѣсколько словъ, брошенныхъ вскользь медовыхъ словъ, увѣряли, что все обстоитъ благополучно, и что у Франціи нѣтъ лучшаго друга, какъ Германія. Война объявлена. Бисмаркъ появляется въ рейхстагѣ на нѣсколько минутъ, чтобы только закрыть его сессію и всю нравственную отвѣтственность за войну взвалить исключительно на одну Францію. Германія ничего такъ не желала, какъ мира, ее вынуждаютъ обнажить свой мечъ, она уступаетъ горькой необходимости—вотъ смыслъ послѣднихъ словъ князя Бисмарка передъ началомъ военныхъ дѣйствій. Все, что слѣдовало далѣе, слишкомъ извѣстно, чтобы говорить о томъ, но мы были бы неправы, еслибы ничего не сказали о тѣхъ его рѣчахъ, которые относятся къ періоду, слѣдовавшему за заключеніемъ мира. Рѣчи эти важны, такъ какъ онѣ служатъ сильнѣйшимъ поддержаніемъ тѣмъ основнымъ правиламъ практической философіи нашего времени, о которыхъ мы говорили, переходя къ разбору внѣшней политики.

Результатомъ войны 1870-го года было, во-первыхъ, образованіе Нѣмецкой Имперіи и затѣмъ присоединеніе къ ней Эльзаса и Лотарингіи. Само собою разумѣется, что мы говоримъ тутъ только

о результатѣ виѣшнемъ, осязаемомъ, бросающемся въ глаза, помимо котораго были и другіе результаты, если и не столь очевидные, то не менѣе важныя. Въ силу какого же начала, съ точки зрѣнія князя Бисмарка, Франція была раздроблена и отъ нея оторваны двѣ области, противъ рѣзко выраженной воли населенія? Когда завоеванъ былъ Шлезвигъ-Гольштейнъ, когда „присоединены“ были Ганноверъ, Нассау и другія нѣмецкія земли, то тутъ завоеваніе и присоединеніе были совершаемы во имя единства нѣмецкой націи, во имя общихъ нѣмецкихъ интересовъ. Если ученые, а по ихъ слѣдамъ и неученые, нѣмцы смѣло утверждали, что присоединеніе Эльзаса и Лотарингіи совершается точно также во имя единства нѣмецкой націи; если они пустили въ ходъ всѣ свои историческія и археологическія познанія, чтобы заставить замолчать всѣхъ тѣхъ, которые осмѣливались заикнуться только, что присоединеніе Эльзаса и Лотарингіи дѣло не совсѣмъ справедливое, то князь Бисмаркъ не подражалъ ихъ примѣру. Онъ слишкомъ умный человекъ, чтобы, въ наше смутное время, основывать свое право на пожелтѣвшихъ пергаментахъ и на казихъ-то археологическихъ измышленіяхъ. Онъ оставляетъ въ покоѣ всевозможныя историческія натяжки, онъ не ищетъ основаній своего права въ томъ, что покрыто густымъ слоемъ вѣковой пыли и плесени. Его право живое, право политической необходимости, государственной пользы, — другого оправданія ему не нужно и онъ не ищетъ его. Завоеваніе Эльзаса и Лотарингіи необходимо было для „спокойствія“ и „безопасности“ Германіи, — другихъ объясненій, другихъ оправданій нечего искать.

Германія — разсуждалъ князь Бисмаркъ — была погружена въ глубокій миръ; никто не думалъ, никто не желалъ войны; насъ вызвали на нее, мы должны на будущее время предостеречь себя отъ подобныхъ же сюрпризовъ. Впрочемъ, приведемъ лучше подлинныя слова нѣмецкаго канцлера, который обладаетъ необыкновеннымъ искусствомъ связывать самыя противорѣчащія мысли и давать имъ такую форму, какъ будто бы никакого противорѣчія и не существовало. „Обращаясь годъ назадъ, или вѣрнѣе десять лѣтъцевъ, — говорилъ онъ въ 1871 году, — мы можемъ сказать, что Германія была единомышленна въ желаніи мира; едва ли былъ хоть одинъ нѣмецъ, который не желалъ этого мира съ Франціею, до тѣхъ поръ, пока существовала возможность поддерживать этотъ миръ съ честью. Что касается до

тѣхъ вредныхъ исключеній, которыя жалали войны, въ надеждѣ, что ихъ собственная родина падетъ въ ней, то эти люди недостойны имени нѣмцевъ и я не считаю ихъ за нѣмцевъ. Я утверждаю, что нѣмцы единодушно жалали мира. Но не менѣе единодушны были они тогда, когда насъ вынудили къ войнѣ, когда мы волей-неволей должны были взяться за оружіе для собственной защиты—не менѣе единодушно приняли рѣшеніе—если Богъ даруетъ намъ только побѣду въ борьбѣ, которую мы рѣшились вести энергически, требовать гарантій, которыя сдѣлали бы невозможнымъ возвращеніе подобной войны, или, по крайней мѣрѣ, еслибы она должна была возобновиться, облегчили бы нашу защиту. Каждый помнилъ, что среди нашихъ отцовъ, въ теченіе трехъ столѣтій, едва ли было хоть одно поколѣніе, которое не было бы вынуждено обнажить мечъ противъ Франціи, и каждый говорилъ себѣ, что если прежде, когда Германія находилась въ числѣ побѣдителей Франціи, упустили случай обезпечить Германію лучшимъ оплотомъ со стороны запада, то только потому, что мы одерживали побѣду вмѣстѣ съ союзниками, интересы которыхъ не были солидарны съ нашими. Каждый принималъ твердую рѣшимость—теперь, когда мы одержимъ побѣду одни, опираясь исключительно на нашъ собственный мечъ и наше собственное право—употребить самыя серьезныя усилія, чтобы оставить нашимъ дѣтямъ лучше обезпеченную будущность“.

Тутъ, какъ видитъ читатель, нѣтъ и намека на всѣ тѣ разглашествованія нѣмецкихъ ученыхъ и журналистовъ, доказывавшихъ, что Эльзасъ долженъ быть присоединенъ къ Германіи, потому что это нѣмецкая земля; Бисмаркъ смотритъ на вопросъ иными глазами, и нужно питать непримиримую антипатію и ненависть къ нѣмецкому канцлеру, чтобы не согласиться, что его воззрѣнія, его основанія: „мечъ“ и „безопасность“ все-таки болѣе къ себѣ располагаютъ, нежели іезуитское право, основывающееся на громкомъ принципѣ національности. Онъ настолько откровененъ и настолько глубоко проникнутъ сознаніемъ справедливости своихъ началъ практической философіи, что смѣло заявляетъ, что завоевательная политика вовсе не вышла еще изъ употребленія, и что принципъ завоеванія нисколько не хуже другихъ принциповъ, господствующихъ въ современномъ политическомъ устройствѣ европейскаго общества. Эльзасъ, Страсбургъ, Мецъ—необходимы для безопасности Германіи, и Бисмаркъ заботится только объ одномъ—это убѣдить въ ихъ дѣйствительной необходи-

мости. Оборонительная линия Германіи никуда не годилась, ей постоянно могли угрожать нападеніемъ; не годилась она точно также и для Франціи, потому что постоянно представляла соблазнъ, искушеніе отодвинуть свои границы. Князь Бисмаркъ въ подкрѣпленіе своего завоевательнаго права могъ бы напомнить слова Фридриха II, которыя мы ниѣли случай привести, но онъ приводитъ болѣе современные слова, сказанныя во время Восточной войны королемъ виртембергскимъ: „Узелъ вопроса — говорилъ этотъ король — заключается въ Страсбургѣ, такъ какъ городъ этотъ, до тѣхъ поръ, пока онъ не будетъ нѣмецкимъ, всегда будетъ составлять преграду, мѣшающую южной Германіи применить безусловно къ нѣмецкому единству, слѣдовать безъ всякихъ ограниченій нѣмецкой національной политикѣ. До тѣхъ поръ, пока Страсбургъ будетъ служить воротами, изъ которыхъ можетъ выйти армія, всегда готовая для борьбы, армія въ сто или полтораста тысячъ человѣкъ, въ то время, когда Германія не въ состояніи придвинуть къ верхнему Рейну равныхъ военныхъ силъ, французы всегда будутъ брать верхъ“. Бисмаркъ прибавляетъ къ этому, что примѣръ этотъ, взятый изъ нѣмецкой политической жизни, говорить собою все, и къ нему ничего нельзя прибавить.

Изъ словъ Бисмарка слѣдуетъ только одно, что мысль завладѣть Страсбургомъ давно уже занимала его, что Эльзасъ—вотъ та цѣль, къ которой онъ стремился съ первыхъ шаговъ своей внѣшней политики. Рѣчи, произнесенныя послѣ войны, объясняютъ, какъ слѣдуетъ понимать его рѣчи, произнесенныя до войны, и мы должны были бы обладать легкомысліемъ французскаго правительства, чтобы не обратить никакого вниманія на политику князя Бисмарка въ отношеніи Франціи до и послѣ войны. Читатель не забылъ, какъ горячо увѣрялъ князь Бисмаркъ, наканунѣ самой войны, что Германія не питаетъ къ Франціи никакихъ иныхъ чувствъ, кромѣ дружбы и расположенія жить въ мирѣ. Насколько тутъ было справедливаго, можно судить по тѣмъ словамъ, которыми князь Бисмаркъ защищаетъ завоеваніе Эльзаса: „Франція, при своемъ выгодномъ положеніи, съ выдвинутымъ впередъ бастиономъ, которымъ служилъ ей Страсбургъ противъ Германіи, всегда была склонна уступить искушенію, какъ только ея внутреннее положеніе заставляло ее искать выхода во внѣшней политикѣ; мы это видѣли въ теченіе послѣднихъ десяти и двадцати лѣтъ. Извѣстно, что 6-го августа 1866 года ко мнѣ пріѣхалъ

французскій посланникъ и въ нѣсколькихъ словахъ объявилъ такого рода ультиматумъ: мы должны уступить Франціи Майнцъ; въ противномъ случаѣ намъ немедленно будетъ объявлена война. Само собою разумѣется, что я не сомнѣвался ни одной минуты относительно отвѣта, который я долженъ былъ дать. Я отвѣчалъ: „если такъ, пусть будетъ война!“ Съ этимъ отвѣтомъ посланникъ уѣхалъ въ Парижъ; нѣсколько дней спустя, въ Парижѣ одумались, и мнѣ дали понять, что инструкція тѣ были вырваны у императора Наполеона во время болѣзни. Послѣдующія попытки, по поводу Люксембурга и другихъ вопросовъ, — извѣстны. Мнѣ нѣтъ нужды, кажется, доказывать, что Франція не всегда обладала достаточною силою воли, чтобы воспротивиться искушеніямъ, которыя возникали для нея вслѣдствіе обладанія Эльзасомъ“.

Нѣмецкую политику нужно было бы представлять себѣ какою-то ангельскою политикою, если допустить возможность, чтобы князь Бисмаркъ, несмотря на тѣ отношенія между Франціею и Германіею, которыя онъ такъ удачно охарактеризовалъ нѣсколькими словами, не помышлялъ о войнѣ и объ отнятіи французскихъ провинцій, въ то время, когда на устахъ его былъ медъ и, повидимому, искреннія увѣренія въ мирѣ и дружбѣ. Впрочемъ, князь Бисмаркъ такъ рельефно выставилъ на видъ необходимость присоединенія Эльзаса, что всякія сомнѣнія насчетъ его истинныхъ, давно обдуманыхъ замысловъ должны быть устранены. Какъ только была имъ признана необходимость защитить „безопасность“ Германіи со стороны ея западной границы, для него не могло быть уже никакихъ колебаній относительно способа этой защиты. Бисмаркъ не придаетъ никакого значенія гарантіи всѣхъ европейскихъ государствъ; подобныя гарантіи кажутся ему пустыми словами. Иначе онъ не могъ смотрѣть: гарантіи европейскихъ государствъ основываются на трактатахъ, относительно прочности которыхъ онъ былъ въ сущности такого же мнѣнія, какъ и Фридрихъ. Завоеваніе французскихъ провинцій кажется ему до такой степени естественнымъ, что онъ даже удивляется тому, какъ всѣ европейскія государства не поспѣшили выразить радости, что Германія присоединила къ себѣ Эльзасъ и Лотарингію. Первая мысль, самое простое средство, которое должно было представиться каждому уму для предотвращения на будущее время страшной борьбы, должно было, по его мнѣнію, заключаться въ томъ, „чтобы усилить защиту той изъ двухъ

сторонъ, которая безспорно болѣе мирная“. Нужно ли говорить, что „безспорно“ самая мирная страна—это Германія! Разрушеніе такихъ крѣпостей, какъ Страсбургъ, Мецъ и т. д. также не казалось достаточнымъ князю Бисмарку. Крѣпости такъ легко снова воздвигнуть! Образованіе изъ Эльзаса и Лотарингіи нейтральнаго государства одинаково не соотвѣтствовало планамъ нѣмецкаго канцлера. Нейтральныя государства, разсуждалъ онъ, которыми была бы со стороны Германіи окружена Франція, были бы выгодны для послѣдней, охраняя ее отъ Германіи, и были бы ничтожны по значенію для Германіи, такъ какъ нейтральныя государства всегда тянули бы къ Франціи. Это—признаніе, на которое нельзя не обратить вниманія. Что же, спрашивается, оставалось? „Не оставалось другого средства,—говоритъ князь Бисмаркъ,—какъ присоединить къ намъ эти земли со всѣми ихъ крѣпостями, чтобы защищать ихъ самихъ противъ Франціи, какъ могущественный оплотъ Германіи, и чтобы отдалить на нѣсколько дней пути исходный пунктъ французскаго нападенія, еслибы когда-нибудь Франція, своими ли собственными поправившимися силами, или съ помощью пріобрѣтенныхъ ею союзниковъ, еще разъ бросила намъ перчатку“. Такимъ образомъ, и тутъ завоеваніе французскихъ областей дѣлалось исключительно съ цѣлью „безопасности“ и охраненія „независимости“ Германіи. Бисмаркъ настолько искрененъ въ своихъ дѣйствіяхъ, что и не думаетъ какими-либо софизмами прикрывать совершаемое имъ насиліе надъ волею населенія, народа. Выгода государства, польза прикрываетъ собою всѣ принципы; что же касается до какихъ-то требованій, до какихъ-то высшихъ идей небольшого меньшинства современнаго общества, то такіе идеи и принципы совершенно чужды нѣмецкому канцлеру, и онъ отъ души бы посмѣялся надъ такимъ государственнымъ человѣкомъ, который сталъ бы руководствоваться ими въ своей политикѣ.

Но какъ бы безцеремонно ни смотрѣлъ князь Бисмаркъ на волю народа, когда вопросъ идетъ о созданіи сильнаго и могущественнаго государства, какъ бы презрительно онъ ни относился ко всѣмъ современнымъ нападкамъ на завоевательную политику, но въ одному ему слѣдуетъ отдать справедливость. Если онъ топчетъ самостоятельность и независимость тѣхъ частей государства, народа, которыя должны быть присоединены къ Германіи, за то онъ не считаетъ, чтобы торжество Германіи надъ другою страной давало ей право нѣмать

внутреннія дѣла этой страны. Во всемъ, что касается самостоятельности и независимости внутренняго управленія страны, не „присоединяемой“ къ Германіи, онъ относится съ уваженіемъ. Это особенно обнаружилось въ его отношеніяхъ къ Франціи. Нельзя не сказать, что положеніе Франціи послѣ заключенія мира было таково, что могло соблазнить нѣмецкаго канцлера вмѣшаться въ ея внутреннія дѣла и сдѣлаться, такъ сказать, рѣшителемъ ея судебъ. Это казалось настолько возможно, что мелкіе государственные люди Франціи, стоявшіе во главѣ ея управленія, не гнушались прибѣгать къ унижительному средству запугивать страну, дѣлая намеки на вторженіе Германіи во внутреннія дѣла государства. Князь Бисмаркъ, между тѣмъ, каждый разъ, какъ ему представлялся случай, высказывалъ въ рейхстагѣ, что онъ никогда не рѣшится вмѣшаться во внутреннія дѣла Франціи. Какая бы форма правленія ни установилась во Франціи, какое бы правительство ни избрала она, пусть только условія заключеннаго мира будутъ строго соблюдены, и мы уважимъ всякое правительство, всякую форму правленія. Исполняйте договоръ, исполняйте, говорилъ онъ, ваши обязательства по отношенію къ Германіи, а до остального намъ нѣтъ никакого дѣла. Наше намѣреніе—высказывалъ князь Бисмаркъ— „воздержаться отъ всякаго вмѣшательства во внутреннія дѣла Франціи, отъ всякаго дѣйствія, касающагося будущаго великаго народа, нашего сосѣда“. Само собою разумѣется, что онъ прибавилъ къ своимъ словамъ и другія, смыслъ которыхъ таковъ: мы не отступимся отъ нашей рѣшимости воздержаться отъ всякаго вмѣшательства до тѣхъ поръ, пока интересы Германіи не будутъ нарушены. До всего остального ему нѣтъ дѣла. Конституціонная монархія, или легитимистская имперія, или республика всѣхъ цвѣтовъ, даже до коммуны, Бисмарку все равно, лишь бы обязательства были выполнены. Онъ не прочь былъ войти въ соглашеніе съ коммуной, еслибы она восторжествовала, и онъ высказывалъ, что въ случаѣ неисполненія мирныхъ условій онъ вынужденъ будетъ снова занять Парижъ— „по соглашенію съ коммуной или силой“. Мы упоминаемъ это только къ тому, чтобы показать, что у него есть своего рода уваженіе къ самостоятельности и независимости націй. Словомъ, Франціи нечего было опасаться въ 1871 году, чтобы нѣмецкія войска воздвигли во Франціи императорскій или королевскій тронъ и посадили на него того или другого претендента, какъ то было въ началѣ нашего столѣтія. Это правило невмѣшатель-

ства вызвано точно также расчетомъ, выгодой, такъ какъ историческій опытъ научилъ его, что подобныя распоряженія судьбою той или другой націи никогда не приводятъ ни къ какому прочному результату. Въ кодексѣ практической мудрости князя Бисмарка такъ мало правилъ и положеній, не идущихъ въ разрѣзъ съ достоинствомъ и волею народа, что было бы несправедливо не указать на тѣ, которыя фигурируютъ въ немъ.

Планъ Бисмарка, повидимому, осуществленъ до конца. Пораженіе Франціи было послѣднимъ актомъ десятилѣтняго періода его управленія дѣлами нѣмецкаго народа. Германія слита въ одно цѣлое, на мѣстѣ стараго Германскаго Союза возникла Нѣмецкая Имперія. Два врага, два сосѣда Германіи — лежатъ у ея ногъ. Передъ Бисмаркомъ небо чисто. Опасность, кажется, болѣе ни откуда не угрожаетъ. „Безопасность“ и „независимость“ Германіи защищены непроницаемою броней. Ему нечего больше бояться Австріи, ему нечего опасаться Франціи. Послѣ десятилѣтняго періода войнъ Германія должна была бы успокоиться, выпустить оружіе изъ своихъ рукъ, но она этого не дѣлаетъ. Бисмаркъ, по окончаніи французской войны, по прежнему говорить: не трогайте военнаго бюджета, не трогайте „военной“ казны, думайте о „безопасности“ и „независимости“ Германіи! Кого же можетъ опасаться князь Бисмаркъ? неужели третьяго сосѣда? Скорѣе ужъ третьему сосѣду слѣдуетъ опасаться теперь „самой могущественной державы въ Европѣ“, какъ называетъ нѣмецкій канцлеръ Германію. Мы видѣли, какъ князь Бисмаркъ въ датской войнѣ воспользовался Австріею, чтобы затѣмъ лучше нанести ей самой рѣшительный ударъ; мы видѣли, какъ воспользовался онъ во время австрійской войны Франціею, чтобы впоследствии сломить ея силу; вопросъ, можетъ быть, не былъ бы слишкомъ нелѣпъ, еслибы кто-нибудь спросилъ: не пользуется ли онъ и Россіей, чтобы затѣмъ, при удобномъ случаѣ, нанести крѣпкій ударъ и этому третьему и послѣднему сосѣду? Впрочемъ, вопросъ этотъ довольно понятенъ, и надъ нимъ стоитъ призадуматься, особенно когда мы знаемъ, что довольно значительная сумма изъ французской контрибуціи предназначена для усиленія нѣмецкихъ крѣпостей, и притомъ больше трети этой суммы опредѣлено употребить на укрѣпленіе восточной границы Германіи.

Не желая занимать читателя нашими гаданіями и предска-

ніями весьма возможныхъ будущихъ событій, мы познакоимъ его лучше съ тѣми немногими, но за то сладкими рѣчами князя Бисмарка, относящимися прямо или косвенно до Россіи. Пусть каждый дѣлаетъ изъ нихъ какіе угодно выводы: можно, конечно, познакомиться съ тѣмъ, что высказывалъ нѣмецкій канцлеръ по поводу отношеній Германіи къ Россіи, придти къ самымъ розовымъ результатамъ, можно получить, если желательно, увѣренность, что эти дружескія отношенія также неизблѣны, какъ скала гранитная, и всякія опасенія, всякія сомнѣнія на этотъ счетъ обозвать химерою, бредомъ испуганнаго воображенія. Можетъ быть и такъ; говорить вѣдь, что у страха глаза велики. Тѣмъ не менѣе, мы не удивимся, если найдутся и такіе скептики, которые скажутъ: мы знаемъ цѣну этимъ недоточивымъ рѣчамъ, мы убѣдились опытомъ Франціи, что дружескія увѣренія имѣютъ весьма ничтожный вѣсъ въ устахъ князя Бисмарка, а потому лучше взяться за умъ и поразмыслить надъ вопросомъ: а чтѣ какъ Германія, вступившая уже на путь завоеваній, подумаетъ, что не всѣ земли, „гдѣ раздается нѣмецкая рѣчь“, слились еще съ общею родиною, и что недурно было бы въ виду этого нѣсколько округлить „восточныя“ границы. Франція не знала поговорки, которую сложила наша народная опытность: на Бога надѣйся, а самъ не плошай!—и за то потерпѣла суровое наказаніе. Аналогією, конечно, не слѣдуетъ злоупотреблять, но нельзя также и совсѣмъ пренебрегать ею.

ХІІ.

У князя Бисмарка въ отношеніи къ своимъ сосѣдямъ бываетъ обыкновенно два періода. Одинъ періодъ именно тотъ, когда онъ пользуется и эксплуатируетъ сосѣда; это — періодъ, повидимому, искренней дружбы, горячихъ и настойчивыхъ увѣреній въ общности интересовъ и щедро расточаемыхъ сладкихъ и лестныхъ словъ. Другой—когда игра раскрывается, и онъ наноситъ сосѣду мѣткій и рѣшительный ударъ. Тутъ уже не можетъ быть рѣчи о пощадахъ; напоминаніе оказанныхъ услугъ, воззваніе къ чувству благодарно-

сти—все это тщетно, политика князя Бисмарка чужда всякой сентиментальности, всякой чувствительности. Австріи и Франціи хорошо знакомы эти два періода, и только тогда, когда второй періодъ уже наступилъ безповоротно, политики хватаются за голову и говорятъ себѣ: какъ это случилось, какъ мы не видѣли прежде, какъ мы въ томъ, что говорилось и писалось, не умѣли читать между строкъ?! Но сожалѣніе и раскаяніе лишены всякаго смысла въ вопросахъ политики, требующей по преимуществу предусмотрительности и проницательности. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи лучше пересолить, нежели недосолить, лучше быть излишне подозрительнымъ къ намѣреніямъ сосѣда, нежели слишкомъ довѣрчивымъ; лучше быть всегда готовымъ вступить съ нимъ въ борьбу, нежели въ какую-нибудь минуту быть пойманнымъ врасплохъ. Довѣріе въ политикѣ точно такое же неумѣстное слово, какъ и благодарность и вѣрность трактатамъ. Недовѣрять другимъ и полагаться только на собственныя силы, не рассчитывая на союзниковъ—вотъ правило, котораго держался Фридрихъ, держится Бисмаркъ, и которому, при настоящихъ условіяхъ политическаго міра, должны слѣдовать волей-неволей всѣ государства, не желающія видѣть себя растерзанными львиными когтями.

Германія въ отношеніи насъ находится, очевидно, въ періодѣ дружбы, сладкихъ увѣреній въ солидарности интересовъ, взаимной любезности, однимъ словомъ, въ такихъ отношеніяхъ, которыя, казалось бы, должны были исключать всякую мысль о возможности какого-либо столкновенія даже въ самомъ далекомъ будущемъ. Какіе же, въ самомъ дѣлѣ, можетъ спросить читатель, существуютъ пункты соприкосновенія и возможности столкновенія между Россією и Германією? Общественное мнѣніе Германіи и общественный „говоръ“ Россіи называютъ два такихъ пункта: Польшу и Остзейскій край. Какъ по поводу одного, такъ и по поводу другого высказывается князь Бисмаркъ, и все, что онъ говоритъ, клонится, само собою разумѣется, къ тому, чтобы совершенно успокоить сосѣда и завѣрить Россію въ самыхъ дружескихъ чувствахъ, питаемыхъ къ ней Германією. Мы не станемъ здѣсь говорить о томъ, какъ въ самомъ дѣлѣ относится къ Россіи нѣмецкое общество, воззрѣнія котораго выражаются въ литературѣ, во всевозможныхъ брошюрахъ, толстыхъ книгахъ, ежедневныхъ органахъ печати и т. п. Отно-

шеніе это пропитано злобою, ненавистью, презрѣніемъ. Нѣтъ такой выдумки, нѣтъ такой клеветы, которая на-лету не подхватывалась бы нѣмецкими газетами, не разносилась бы ими съ чувствомъ зло-радства, какъ бы направляя, „подъуськивая“ правительство про-тивъ „сѣверныхъ варваровъ“, противъ „полуазіатскаго государ-ства“. Все это не входитъ въ нашу программу, и мы тѣмъ болѣе можемъ оставить въ сторонѣ отношенія нѣмецкаго общества, нѣ-мецкой печати къ Россіи, что объ этихъ отношеніяхъ было уже достаточно говорено на страницахъ нашего журнала. Князь Бис-маркъ не разъ съ достаточнымъ презрѣніемъ отзывался о нѣмец-кой прессѣ, чтобы ему можно было ставить въ вину весь тотъ наг-лый вздоръ, распространяемый юродствующею нѣмецкою печатью, которая для русскаго народа не знаетъ достаточно бранныхъ словъ. Непріязненное отношеніе нѣмецкой печати къ Россіи тѣмъ болѣе любопытно, чѣмъ менѣе оно можетъ быть объяснено. Чѣмъ и въ чемъ, въ самомъ дѣлѣ, провинились мы передъ нѣмцами? Уже не мы ли были ихъ вѣрными союзниками, ужъ не нами ли помыкали они въ волю, ужъ не мы ли относимся къ нимъ съ уваженіемъ и даже подобострастіемъ? Вина Россіи очевидно заключается въ томъ, что мы не спѣшимъ приподнести нашему могущественному сосѣду польскія провинціи да Остзейскій край, которыя такъ хорошо бы „округлили“ Германію. Тогда, безъ сомнѣнія, они смѣнили бы гнѣвъ на милость и, пожалуй, согласились бы за русскимъ народомъ при-знать право на существованіе и даже среди европейскихъ наро-довъ. Чѣмъ злобнѣе относится къ Россіи нѣмецкая печать и нѣ-мецкое общество, тѣмъ мягче и дружелюбнѣе представляется отно-шеніе нѣмецкаго канцлера, что впрочемъ не мѣшаетъ ему подчасъ высказывать о насъ не совсѣмъ лестныя мнѣнія, горечь которыхъ чувствуется тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше сознаешь иногда всю ихъ справедливость.

Большая часть рѣчей князя Бисмарка, касающихся Россіи, от-носятся къ польскому вопросу, на которомъ мы прежде всего и остановимся. Въ этомъ вопросѣ нѣмецкій канцлеръ стоитъ безусловно на сторонѣ Россіи, что, впрочемъ, совершенно понятно, особенно если принять во вниманіе его общее воззрѣніе на Польшу. Князь Бисмаркъ терпѣть не можетъ Польши, онъ не хочетъ признавать существованія польскаго вопроса и ему кажутся наглыми всѣ при-

тизанія поляковъ на независимое существованіе. Польши нѣтъ и быть не можетъ, повторяетъ на всѣ лады нѣмецкій канцлеръ, и мечтанія о Польшѣ, какъ о живомъ тѣлѣ, представляются ему самыми дикими утопіями. Что вы кричите, обращаясь онъ много разъ къ польскимъ депутатамъ, о насиліи, о правѣ завоеванія, въ силу котораго три государства владѣютъ вами? Развѣ ваша собственная исторія не есть исторія насилія и завоеванія! Развѣ не въ силу завоеванія, спрашиваетъ онъ, Польша стала владычицею западной Пруссіи? „Она быстро воспользовалась своимъ господствомъ, чтобы колонизировать край, и вовсе не внося туда цивилизацію, какъ то дѣлаемъ мы въ этой Польшѣ, въ онѣмеченіи которой насъ обвиняютъ, но колонизируя его огнемъ, желѣзомъ и тиранніею. Презирая заключенные трактаты, она наполняла западную Польшу польскими чиновниками, которые обогащались, грабя дворянство и силою ополчая ихъ. Такимъ образомъ, изъ имени старой нѣмецкой фамиліи Hutten, при помощи простого перевода дѣлали: Czapski; Rautenberg становилось по-польски: Plinski; Stein — Kaminski. Я могъ бы—продолжаетъ князь Бисмаркъ—умножить эти примѣры и показать вамъ, что нѣмецкая кровь течетъ въ жилахъ тѣхъ людей, которые являются въ настоящее время самыми непримиримыми врагами Германіи. Вольности городовъ были нарушены; впоследствии была обѣщана свобода религіи; ее даровали, хотя въ теоріи, но и то только для того, чтобы насмѣяться надъ нею на практикѣ, закрывая церкви и конфискуя ихъ въ пользу католическихъ общинъ, которыя вовсе не существовали, которыя нужно было создать и узломъ которыхъ сдѣлались благородные пріобрѣтатели имѣній или чиновники, посланные въ провинцію. Сколько гражданъ—я напому только примѣръ города Торна—своею головою должны были заплатить за свой протестъ. Изъ 19.000 деревень только 3.000 избѣгли польскаго разоренія въ западной Пруссіи послѣ битвы при Танненбергѣ. И это казалось имъ еще слишкомъ много“.

Напомнивъ, такимъ образомъ, насилія поляковъ, происходившія въ XV ст., Бисмаркъ прибавляетъ: „Какъ послѣ такихъ фактовъ, послѣ того насилія, которое ваши предки всюду вносили, вы, господа, можете взывать еще къ справедливости исторіи,—этого я не понимаю“. Во всѣхъ своихъ историческихъ разсужденіяхъ князь Бисмаркъ смѣло приравниваетъ факты и событія, относящіеся къ

XIV и XV ст.; къ фактамъ и событіямъ XVIII и XIX вѣковъ. Онъ не дѣлаетъ никакого различія между различными эпохами, и что могло быть оправдываемо грубостью нравовъ и жалкимъ состояніемъ общественной культуры нѣсколько вѣковъ тому назадъ, то, по его мнѣнію, должно быть оправдываемо и при настоящемъ состояніи цивилизаціи. Если прежде государства образовывались и расширялись силою завоеванія, то нѣтъ причины, чтобы то же самое не совершалось и теперь; оно, впрочемъ, не особенно удивительно, потому что воззрѣнія завоевателей на народъ и право распоряжаться его судьбою мало разнились отъ воззрѣній нѣмецкаго канцлера второй половины XIX вѣка. Раздѣлъ Польши Бисмаркъ признаетъ дѣломъ справедливымъ, только потому, что онъ вызванъ былъ выгодно трехъ государствъ. „Во время Семилѣтней войны—говоритъ онъ—Польша вѣсто того, чтобы служить намъ оплотомъ, всегда была пунктомъ соединенія и пріюта для русскихъ войскъ. Мы завоевали этотъ край во второй разъ въ 1815 году, вслѣдствіе страшной борьбы, завязанной съ непріателемъ, превосходившимъ насъ силами. Трактаты освятили это завоеваніе. Всѣ государства образуются подобнымъ же образомъ. Мы владѣемъ Польшею и Силезіею въ силу одного и того же права. Если вы оспариваете право завоеванія, то этимъ вы доказываете только, что вы не читали вашей собственной исторіи. Но вы читали ее: вы только осторожно умалчиваете о томъ“.

Бисмаркъ рисуетъ образованіе и развитіе Польскаго королевства, говоритъ о нападеніи Польши на владѣнія Тевтонскаго ордена, затѣмъ на Россію, и всюду онъ видитъ только одно: куда проникаютъ поляки, — тамъ разореніе и варварство! Онъ не можетъ простить войны съ Тевтонскимъ орденомъ, и одно воспоминаніе о ней только разжигаетъ ненависть его къ Польшѣ. „Вы напали—говоритъ онъ—на Тевтонскій орденъ и отняли у него западную Пруссію — эту провинцію, которую орденъ законно отвоевалъ у варварства и сдѣлалъ ее цвѣтущею,—вы отняли для того, чтобы разорить ее и подчинить крестьянъ, свободныхъ до той поры, тѣмъ притѣсненіямъ, которыми всегда отличалось польское господство“.

То же различіе, которое существуетъ между политикою Фридриха и политикою Бисмарка, вообще существуетъ и въ отношеніи къ Польшѣ. Какъ Бисмаркъ ненавидитъ поляковъ, такъ точно не-

навидѣлъ ихъ и Фридрихъ, который въ своихъ „мемуарахъ“ много разъ представляетъ далеко не лестный портретъ поляковъ. Но Фридрихъ, который былъ душою польскаго раздѣла, что даже явно слѣдуетъ изъ его мемуаровъ, который пускалъ въ ходъ всѣ свои дипломатическія способности, чтобы присоединить къ своему королевству добрый кусокъ Польши, въ то же самое время старается придать себѣ такой видъ, какъ будто бы онъ былъ вынужденъ Австрією и Россією приступить къ этому раздѣлу, и будто Пруссія ничего не оставалось другого, какъ взять себѣ свою часть добычи. Словомъ, политика его, образъ дѣйствій по отношенію къ Польшѣ, отличаются тою же скрытностью, неискренностью, какою отличаются всѣ его дѣйствія. Онъ остается всегда строго вѣренъ началу: говорить одно, дѣлать другое. Отношенія же къ Польшѣ князя Бисмарка отличаются свойственною всей его политикѣ откровенностью, отъ которой онъ отступаетъ, и то не безъ труда, въ своихъ отношеніяхъ къ иностраннымъ государствамъ, въ тотъ періодъ только, когда онъ располагаетъ свою игру. Вы называете, обращается онъ къ польскимъ депутатамъ, „преступленіемъ“ раздѣлъ Польши. „Господа, это было не большее преступленіе, чѣмъ раздѣлъ Россіи, который вы пытались совершить, вы, поляки, въ четырнадцатомъ вѣкѣ, когда вы были достаточно для того сильны. Спуститесь въ самихъ себя и скажите себѣ, что преступленіе завоеванія вы сами совершали сто разъ, когда вы обладали достаточнымъ могуществомъ“. Польша погибла, погибла навсегда, погибла безвозвратно, и думать о возможности ея возстановленія, это самая бессмысленная фантазія, утопія — вотъ что проводить во всѣхъ своихъ рѣчахъ князь Бисмаркъ, приглашая поляковъ сдѣлаться добрыми пруссаками.

По мнѣнію нѣмецкаго канцлера, возстановленіе Польши невозможно уже и потому, что нѣтъ болѣе для того достаточно поляковъ. „Поляки несравненно менѣе многочисленны, нежели обыкновенно полагаютъ. Считать, что ихъ 16 милліоновъ, это ошибка“. Бисмаркъ дѣлаетъ счетъ всѣмъ полякамъ и приходитъ къ выводу, что всѣхъ поляковъ всего на все 6.500.000. „И во имя-то этихъ шести милліоновъ вы хотите господствовать надъ двадцатью четырьмя милліонами населенія, а тонъ, который вы придаете вашему требованію, могъ бы заставить подумать, что для васъ нѣтъ болѣе глубокаго униженія, болѣе позорнаго рабства, какъ то сознаніе, что вы

не можете болѣе держать подъ своимъ игомъ и угнетать народы, какъ вы, къ несчастью, дѣлали это въ продолженіе вѣковъ, да, въ теченіе пяти столѣтій“. Возстановленіе Польши—это утопія, такая утопія, которая для того, чтобы она могла быть осуществлена, потребовала бы прежде всего разрушенія трехъ большихъ державъ: Австріи, Пруссіи и Россіи; „нужно было бы изъ пяти или шести большихъ европейскихъ государствъ разрушить три, для того, чтобы изъ ихъ обломковъ возстановить фантастическое господство шести милліоновъ поляковъ надъ восемнадцатью не-поляковъ. Да и эти шесть милліоновъ, захотѣли ли бы они быть управляемы по-польски? Я не думаю; прошедшее завѣщало имъ слишкомъ печальныя испытанія“. Бисмаркъ подтверждаетъ свою послѣднюю мысль, говоря: „я не могу, конечно, восхвалять русскаго господства, какъ слишкомъ милостиваго, но польскій крестьянинъ предпочитаетъ даже его—господству своихъ собственниковъ-дворянъ“. Не думайте о возстановленіи Польши, забудьте даже о ея прежнемъ существованіи, Польша не возстанетъ изъ пепла! Бисмаркъ вмѣстѣ съ поэтомъ повторяетъ: „минута, которую ты упустилъ, вѣчность не возвратитъ тебѣ ея“.

Указывая на судьбу Польши, какъ на краснорѣчивое поученіе, Бисмаркъ обращается къ собранію нѣмецкихъ представителей и дѣлаетъ такого рода наставительное обобщеніе: „Вотъ куда можетъ быть приведено большое и могущественное государство, управляемое дворянствомъ храбрымъ и воинственнымъ, но эгоистическимъ, когда въ этомъ государствѣ ставятъ личную свободу выше—я не скажу единства государства, но его виѣшней безопасности, когда, другими словами, личныя вольности подавляютъ, подобно чужаждному растенію, общіе интересы“. Насколько подобное обобщеніе серьезно, намъ не нужно указывать читателю,—онъ видитъ передъ собою, хотя и на довольно значительномъ разстояніи, весьма сильное, весьма могущественное государство, цѣльность и безопасность котораго никто не подвергаетъ сомнѣнію, и которое, вмѣстѣ съ тѣмъ, предоставляетъ своимъ гражданамъ самую широкую политическую свободу, какую можно только желать.

Если князь Бисмаркъ говорилъ, что населеніе Польши, подвластной Россіи, предпочитаетъ русское господство, которое, какъ онъ выражается, онъ не можетъ восхвалять „какъ слишкомъ милостивое“, то нужно ли говорить, что онъ думаетъ о населеніи

Польши, подвластной Пруссіи, и о ея расположеніи къ нѣмецкому правительству. Польское населеніе процвѣтаетъ, благоденствуетъ подъ покровомъ Пруссіи и никогда не рѣшится промѣнять его на управленіе пановъ, аристократовъ, будь они самые чистокровные поляки. „Кому—говоритъ нѣмецкій канцлеръ—я могу сообщить какъ новость, что жители прусской части старой польской республики первые почувствовали и признали блага цивилизаціи несравненно выше той, которою они пользовались прежде? Я могу сказать съ гордостью, что эта часть Польши, находящаяся подъ господствомъ Пруссіи, болѣе процвѣтаетъ, болѣе обезпечена въ своихъ правахъ, болѣе привязана къ своему правительству, нежели когда-нибудь была, не только на памяти людей, но въ теченіе всей исторіи, какая-нибудь провинція этого государства. Огромное большинство жителей провинціи каждый разъ, какъ представлялся только случай, заявляло свою признательность и привязанность къ прусскому правительству и королевскому дому. Всевозможныя средства соблазна, пущенныя въ ходъ, чтобы „воскресить національное чувство“,—во время возстаній, повторяющихся каждыя пятнадцать лѣтъ,—не могли увлечь прусскихъ подданныхъ польскаго языка принять участіе, въ сколько-нибудь значительномъ количествѣ, въ этихъ движеніяхъ меньшинства, въ которыхъ участвуютъ особенно дворянство, служащіе въ господскихъ помѣстьяхъ и рабочій классъ. Что касается до крестьянъ, то ихъ всегда видѣли протестующими, съ большою энергіею и даже съ оружіемъ въ рукахъ, противъ всякой попытки, имѣющей цѣлью возвратить тотъ порядокъ вещей, который они знали по наслышкѣ отъ ихъ стцовъ—они протестовали, говорю я, съ такою энергіею, что правительство было вынуждено, въ 1848 году, изъ чувства гуманности, выставить противъ возставшихъ другія войска, а не польскія. На всѣхъ поляхъ битвъ—я ссылаюсь на свидѣтельство почтеннаго генерала, бывшаго во главѣ пятаго корпуса арміи—польскіе солдаты дали доказательства тѣхъ же чувствъ преданности. Въ Даніи и въ Богеміи они, съ храбростью, свойственною ихъ національности, запечатлѣли своею кровью ихъ привязанность къ королю“.

Мы нарочно привели эту длинную выписку одной изъ рѣчей князя Бисмарка, такъ какъ она можетъ служить образцомъ большей части его рѣчей, посвященныхъ польскому вопросу. Съ одной

стороны, онъ относится съ необычайною твердостью даже къ мысли о независимомъ существованіи Польши, съ другой—онъ не упускаетъ случая, чтобы лишній разъ заявить, что польская нація благодаренствуетъ подъ властью Пруссіи, и что польское населеніе Пруссіи, не въ примѣръ прочимъ частямъ старой Польши, глубоко благодарно правительству за всѣ благодѣянія цивилизаціи, которыми оно пользуется, и что никогда, еслибы даже была у него возможность, оно не захотѣло бы возвратиться къ прежнему порядку вещей. Польскій народъ—это прусскій народъ; все различіе заключается въ томъ, что одни говорятъ на нѣмецкомъ языкѣ, другіе на польскомъ, чувства же одни и тѣ же. Такую мысль проводилъ онъ неизмѣнно отъ начала своей политической дѣятельности и до настоящаго времени; какъ въ 1862 году, такъ въ 1872, онъ говорилъ одно и то же. Послѣ французской войны онъ только прибавилъ, что поляки еще разъ, въ борьбѣ въ Франціи, показали всю свою преданность своему нѣмецкому отечеству. Сила подобныхъ разсужденій по необходимости нѣсколько ослабляется только тогда, когда читаешь другія его рѣчи, въ которыхъ онъ горько жалуется, что нѣмецкій языкъ въ запущеніи, что есть цѣлыя общины, которыя, прежде будучи нѣмецкими, теперь ополячились.

Благодаря тому,—продолжаетъ князь Бисмаркъ,—что польскимъ учителямъ оказывалось всяческое покровительство, вслѣдствіе расчетовъ партій, мы видимъ „въ восточной Пруссіи общины, прежде бывшія нѣмецкими, но гдѣ теперь молодое поколѣніе не понимаетъ нѣмецкаго языка и въ теченіе вѣка, въ который мы обладаемъ этою страню, оно было совершенно ополячено. Безъ сомнѣнія, это можетъ служить блистательнымъ доказательствомъ жизненности и ловкости польской агитаціи, но она существуетъ только въ силу добродушной терпимости государства“. Князь Бисмаркъ общается, что наступилъ послѣдній часъ этой „терпимости“, и что въ будущемъ Германія въ отношеніи Польши будетъ брать примѣръ съ поведенія Франціи по отношенію къ Эльзасу. Въ добрый часъ! скажетъ читатель, но дѣло въ томъ, что князь Бисмаркъ поведеніе Франціи въ отношеніи къ Эльзасу понимаетъ совершенно по-своему. Князь Бисмаркъ общается, что нѣмецкій языкъ „получить большее развитіе“ въ восточной Пруссіи и, такимъ образомъ, надѣется до конца онѣмечить край, и это насильственное вве-

деніе языка называетъ подражаніемъ Франціи. Въ дѣйствительности же, еслибы Германія захотѣла слѣдовать примѣру Франціи въ Эльзасѣ, то она вовсе не вводила бы насильственно нѣмецкаго языка; князь Бисмаркъ отлично знаетъ, и онъ нѣсколько разъ выражалъ это въ своихъ рѣчахъ, основывая даже на этомъ свои политическія соображенія, что въ Эльзасѣ огромное большинство населенія говоритъ по-нѣмецки, и что Франція вовсе не заботилась вводить свой языкъ; край сдѣлался французскимъ, сохраняя нѣмецкій языкъ. Князь Бисмаркъ не хочетъ понять, не хочетъ согласиться, что если Эльзасъ офранцузился, а въ восточной Пруссіи, напротивъ, даже нѣмецкія общины ополячиваются, то причина такого различія лежитъ въ различіи правовъ двухъ странъ, въ различіи политическаго строя одного и другого государства. На чьей сторонѣ преимущество, на сторонѣ ли Франціи или Германіи,—едва ли нужно говорить. Насильственное введеніе языка—какъ всякая насильственная мѣра, никогда не можетъ привести ни къ офранцузенію, ни къ онѣмеченію того или другого края.

Послѣ подобныхъ признаній князя Бисмарка невольно приходится относиться съ меньшимъ довѣріемъ къ увѣреніямъ князя Бисмарка относительно привязанности польскаго населенія къ нѣмецкой землѣ и его благодарности за всѣ „благодѣянія“ нѣмецкой цивилизаціи. Еще болѣе ослабляется значеніе этихъ увѣреній, когда читаешь другія рѣчи князя Бисмарка, въ которыхъ онъ говоритъ о необходимости зорко слѣдить за тѣмъ, чтобы возстаніе въ Россіи не заразило прусской Польши и, какъ чума, не распространилось бы въ ней. Мы указываемъ на эти противорѣчія для того собственно, чтобы сказать, что увѣренія князя Бисмарка относительно „процвѣтанія“ и „благоденствія“ прусской Польши и ея „благодарности“ за дарованіе всѣхъ плодовъ нѣмецкой цивилизаціи, суть, собственно говоря, не что иное, какъ извѣстная система, средство для достиженія цѣли, которая заключается въ томъ, чтобы имѣть право сказать: изъ трехъ государствъ, раздѣлившихъ Польшу, одна только Пруссія сумѣла поступить такъ, что польское населеніе по своимъ чувствамъ, если не по языку, сдѣлалось нѣмецкимъ. Насколько это справедливо, это другой вопросъ, о которомъ здѣсь говорить не мѣсто.

Познакомившись съ воззрѣніями князя Бисмарка на Польшу

вообще, мы видимъ, что отношеніе его къ польскому вопросу въ Россіи становится какъ нельзя болѣе понятнымъ, и мы не можемъ уже чувствовать особенной благодарности за то, что въ этомъ вопросѣ онъ дѣйствовалъ такъ, а не иначе. Князь Бисмаркъ всегда въ этомъ вопросѣ дѣйствовалъ исключительно въ нѣмецкихъ интересахъ, нисколько не заботясь о выгодахъ или невыгодахъ Россіи, что, конечно, никѣмъ не можетъ быть поставлено ему въ вину. Въ свою очередь и Россія должна точно также заботиться исключительно о своихъ интересахъ, и князь Бисмаркъ не только признаетъ за нами такое право, но считаетъ „русскую“ политику Россіи ея прямою обязанностью. „Россія—я знаю и каждый знаетъ это точно такъ же, какъ и я—говоритъ князь Бисмаркъ—не руководствуется прусской политикой и не имѣетъ никакого основанія ею руководствоваться; ея прямая обязанность, напротивъ, имѣть свою, русскую политику“.

Князь Бисмаркъ, во время польскаго возстанія, несмотря на его увѣренія въ преданности и любви польскаго населенія къ прусскому правительству, болѣе всего опасался распространенія этого возстанія въ Познани, и потому безусловно сочувствовалъ всѣмъ мѣрамъ, какія только предпринимались русскимъ правительствомъ для усмиренія мятежа. „Это возстаніе,—говорилъ онъ,—въ извѣстныхъ частяхъ Польскаго королевства, и особенно вблизи прусской границы, получило развитіе, значеніе котораго выходитъ за предѣлы края. Несомнѣнная цѣль возстанія—это возстановленіе Польскаго королевства и его возможное расширеніе на счетъ своихъ сосѣдей до старыхъ польскихъ границъ“. Въ виду этого, Бисмаркъ, руководствуясь исключительно прусскими интересами, могъ содѣйствовать мѣрамъ для усмиренія возстанія и, не думая нисколько быть пріятнымъ русскому правительству, вступить съ нимъ въ тайное или явное соглашеніе относительно польскаго вопроса. Поэтому сочувствіе и содѣйствіе, которое русскій кабинетъ находилъ въ князѣ Бисмаркѣ во время польскаго возстанія, никѣмъ не должно быть толкуемо въ томъ смыслѣ, что Пруссія оказала услугу Россіи, и въ этой мнимой услугѣ видѣтъ залогъ дружественныхъ отношеній. „Мы имѣемъ положительныя свѣдѣнія—говорилъ нѣмецкій канцлеръ—относительно тѣхъ попытокъ, которыя дѣлаются, чтобы приготовить на прусской территоріи возстаніе такъ, чтобы оно могло вспыхнуть въ благопріятную минуту“.

Эти „положительныя свидѣнія“, которыми обладалъ князь Бисмаркъ, лучше всего объясняютъ ту всеобщую помощь, которая была оказана Россіи Пруссіей. Отношенія Пруссіи къ Россіи были опредѣлены въ то время княземъ Виенаркомъ наперекоръ палатѣ. Времена, конечно, съ тѣхъ поръ перемѣнились, и въ настоящее время князю Бисмарку не нужно было бы обращаться къ палатѣ представителей со словами: „Наклонность выражать энтузіазмъ къ чуждымъ національнымъ стремленіямъ, даже въ ущербъ нашей собственной родинѣ, это — родъ политической болѣзни, на которую Германія, увы! кажется, получила привилегію“. Нѣмецкіе представители едва-ли не превзошли князя Бисмарка въ твердости и рѣшимости не обращать вниманія на „національныя стремленія“. Но тогда было не такъ, и нѣмецкому канцлеру приходилось выдерживать борьбу. „Вы говорите, — обращаясь онъ къ палатѣ, — что интересъ Пруссіи требуетъ абсолютнаго нейтралитета; такое мнѣніе, по моему убѣжденію, ложно въ томъ смыслѣ, что сосѣдство императора Александра безспорно выгодно для Пруссіи сосѣдства Мѣрославскаго и пропагандирующей Польши, ложно въ томъ смыслѣ, что наше коммерческое положеніе, точно также какъ общее благо государства, безспорно заинтересованы въ томъ, чтобы польское возстаніе длилось какъ можно менѣе и чтобы оно поскорѣе уступило мѣсто правильному и законному порядку вещей“. Такими аргументами князь Бисмаркъ защищалъ конвенцію, заключенную между Россіей и Пруссіей, — конвенцію, въ силу которой войска того и другого государства могли безпрепятственно переходить черезъ границы на довольно значительномъ протяженіи. Бисмаркъ весьма настойчиво убѣждалъ въ то время палату отложить въ сторону всякія гуманныя чувства, называя ихъ излишнею сентиментальностью, и просилъ даже рѣчами не вмѣшиваться въ распоряженія русскаго правительства. „Ораторъ — говорилъ онъ послѣ одной изъ рѣчей Вирхова — сожалѣетъ, что вмѣсто военнаго вмѣшательства, намѣреніе котораго онъ приписываетъ намъ, мы не вмѣшались скорѣе дипломатически, предлагая русскому кабинету измѣнить систему управленія, принятую по отношенію къ Польшѣ. Я долженъ замѣтить, что подобныя совѣты, даваемые иностраннымъ правительствамъ о способѣ, которымъ они должны управлять внутри страны, заключаютъ въ себѣ всегда нѣчто опасное, такъ какъ они легко могутъ привести ко взаимности“.

Во всѣхъ отношеніяхъ князя Бисмарка къ Россіи или, вѣрнѣе, во всѣхъ его рѣчахъ, гдѣ онъ только долженъ былъ касаться ея, мы видимъ такую же осторожность, какъ и въ польскомъ вопросѣ. Какъ только рѣчь заходила въ палатахъ о какомъ-либо дѣйствіи русскаго правительства, Бисмаркъ тотчасъ же спѣшилъ прервать замѣчаніемъ, что „политическіе обычаи“ должны были бы удерживать отъ рѣзкихъ выраженій относительно дружественной державы. Если Бисмарку и случалось подчасъ высказывать несовсѣмъ лестныя мнѣнія относительно внутреннихъ порядковъ страны, то это происходило скорѣе оттого, что онъ самъ не сознавалъ, насколько его сужденія могутъ быть обидны. Въ большинствѣ же случаевъ, почти всегда, преобладала въ его рѣчахъ необыкновенная сдержанность и осторожность. Какъ на примѣръ, можно указать на то мѣсто его рѣчи, въ которой онъ отвѣчалъ одному изъ депутатовъ, обращавшему вниманіе Пруссіи на „дѣйствія“ русскаго правительства въ Остзейскомъ краѣ и желавшему, чтобы нѣмецкое правительство вступилось за будто бы обижаемыхъ нами нѣмцевъ. „Между великими дружественными державами, — отвѣчалъ нѣмецкій канцлеръ, — чуждыми всякой борьбы изъ-за интересовъ, встрѣчается весьма много случаевъ, когда эти государства, естественно, дѣйствуютъ въ полномъ согласіи, такъ какъ ихъ интересы одни и тѣ же, и нѣтъ никакой надобности стараться нарушить доброе согласіе и внести раздражительность въ отношенія между ними, приписывая одному роль подчиненія, другому — управленія. Вслѣдствіе этого, такъ какъ русская національная чувствительность такъ же щекотлива, какъ и наша, то я желалъ бы, чтобы ораторъ воздержался принимать сторону русскихъ подданныхъ, которыхъ онъ изображаетъ угнетенными русскимъ правительствомъ. Если онъ имѣлъ серьезное намѣреніе быть полезнымъ тѣмъ, которыхъ онъ беретъ подъ свое покровительство, то я могу его увѣрить, что онъ какъ разъ достигнетъ прямо противоположной цѣли, и что его кліенты вовсе не будутъ ему благодарны, что онъ поднялъ такой колючій вопросъ. Ораторъ сидитъ здѣсь въ полной безопасности и говоритъ нисколько не стѣняясь. Но мы должны еще спросить, — прибавляетъ князь Бисмаркъ, выражая тѣмъ самымъ весьма обидную для насъ мысль, — каковы будутъ послѣдствія его словъ для тѣхъ, кому онъ желалъ оказать покровительство“.

Бисмаркъ съ негодованіемъ возстаетъ даже противъ самой мысли внимательства во внутреннія дѣла дружественной державы и совѣ-

туетъ не компрометтировать остзейскихъ нѣмцевъ платоническимъ покровительствомъ, отъ котораго они могутъ только пострадать. Слова князя Бисмарка могли бы насъ безусловно успокоить какъ относительно округленія Германіи на польской границѣ, такъ и округленія со стороны Остзейскаго края, еслибы только: во-первыхъ, мы не знали, что, несмотря на достойную откровенность Бисмарка въ своей внѣшней политикѣ, въ отношеніяхъ къ своимъ сосѣдямъ, онъ не вынужденъ былъ все-таки соглашаться иногда съ Талейраномъ, что слова существуютъ только для того, чтобы лучше скрывать мысли и дѣйствія; и еслибы, во-вторыхъ, общественное мнѣніе Германіи, выражающееся въ прессѣ и литературѣ, не подсказывало намъ слишкомъ часто: будьте осторожны, не полагайтесь слишкомъ на дружбу!

Еслибы кто-нибудь пожелалъ, во что бы то ни стало, отыскать въ рѣчахъ князя Бисмарка хотя слабый намекъ на желаніе „округлить“ границы со стороны нашихъ польскихъ провинцій, тотъ долженъ былъ бы остановиться на длинной рѣчи нѣмецкаго канцлера, посвященной пограничнымъ отношеніямъ между Россією и Пруссією. Трактатомъ 1815 года опредѣлены эти отношенія, выговорены права для той и другой стороны, имѣвшія въ виду исключительно границы стараго польскаго королевства, какъ онѣ представлялись въ 1772 году. Нѣмцы жаловались, что права эти нарушаются русскими властями, и что нарушенія пограничныхъ отношеній, установленныхъ въ 1815 году, отзываются крайне вредно какъ на торговыхъ отношеніяхъ края, такъ и на личной свободѣ нѣмцевъ, переходящихъ границу. Они утверждаютъ, что эта личная свобода недостаточно гарантирована въ Россіи и постоянно подвергается опасности. По поводу этихъ-то пограничныхъ отношеній былъ сдѣланъ запросъ въ палатѣ прусскому правительству, на который князь Бисмаркъ и отвѣчалъ пространною рѣчью. Сдѣланный запросъ крайне не понравился князю Бисмарку, такъ какъ онъ вынуждалъ его выйти изъ той сдержанной роли, которую онъ принялъ въ отношеніи Россіи, и сознаться, что между двумя государствами, несмотря на тѣсную дружбу, есть нѣкоторые спорные пункты. „Если,—говорилъ князь Бисмаркъ,—авторъ запроса имѣлъ цѣлью создать министерству иностранныхъ дѣлъ такого рода не-пріятности, которыя затрудняютъ управленіе дѣлами, то ему это вполне удалось. Министръ иностранныхъ дѣлъ не можетъ прини-

мать на себя роли публичнаго обвинителя сосѣдняго дружественнаго правительства, не нарушая тѣмъ самниъ всѣхъ международныхъ традицій. Путь, принятый правительствами для того, чтобы приходить къ соглашенію по спорнымъ вопросамъ, это—путь дипломатической переписки, а не публичныхъ разглагольствованій. Съ другой стороны, я не желалъ бы, чтобы изъ молчанія правительства кто-нибудь могъ вывести заключеніе, что съ нашей точки зрѣнія пограничныя отношенія таковы, какихъ мы только можемъ желать“.

Нѣтъ, существующими пограничными отношеніями князь Бисмаркъ не имѣетъ основанія быть довольнымъ, и онъ чистосердечно признаетъ ихъ неправильными. „Что пограничныя отношенія — высказываетъ онъ — не находятся въ положеніи, которое правительство могло бы признать нормальнымъ, и что подобное положеніе вещей продолжается уже пятьдесятъ лѣтъ, то это доказывается постоянно возобновляемыми переговорами въ виду улучшенія пограничныхъ отношеній“, — переговорами, на которые въ 1867 году онъ возлагалъ свои надежды. Если князь Бисмаркъ желаетъ улучшенія пограничныхъ отношеній, то онъ желаетъ этого улучшенія не столько еще для Пруссіи, сколько для блага Россіи, интересъ которой не понимаются, по его мнѣнію, такъ, какъ они должны были бы пониматься; „много разъ—говоритъ онъ—мы дѣлали представленія въ этомъ смыслѣ императорскому правительству, но оно полагаетъ, что лучший судья въ томъ, что отвѣчаетъ его интересамъ, что нѣтъ, это само правительство, и мы ничего не можемъ возражать съ точки зрѣнія международнаго права; мы должны довольствоваться печальнымъ утѣшеніемъ, что русскіе интересы страдаютъ еще болѣе нашихъ отъ такого закрытія границъ“. Со стороны нѣмецкихъ подданныхъ постоянно возникаютъ жалобы на притѣсненія, которымъ они подвергаются со стороны русскихъ властей, какъ только переходятъ границы, и жалобы эти самаго различнаго свойства. Между прочими жалобами весьма часто возникаютъ жалобы на неправильное арестованіе и изгнаніе изъ Россіи лицъ, которыя обладаютъ паспортами, находящимися въ порядкѣ, и потому подвергаются притѣсненіямъ безъ всякаго законнаго основанія.

Князь Бисмаркъ останавливается даже и на причинахъ подобныхъ столкновеній: „Откуда рождаются, господа, подобныя столкновения, не говоря о тѣхъ случаяхъ, которые представляютъ собою

не что иное, какъ простое вымогательство? Наши соотечественники часто отправляются въ Россію на-легкѣ, безъ денегъ, безъ знанія языка, не справляясь о тѣхъ формальностяхъ, которыя они должны выполнить на границахъ. Они являются съ оружіемъ, хотя и не имѣютъ намѣренія употреблять его въ дѣло; но ношеніе оружія запрещено въ Россіи, они должны были бы это знать; *ignorantia legis*—вредная вещь. Другое: наши соотечественники думаютъ, что они могутъ обращаться съ русскими чиновниками точно такъ же, какъ они обращаются съ прусскимъ ландратомъ, и когда они чувствуютъ за собою право, когда въ карманѣ у нихъ прусскія бумаги въ порядкѣ, они считаютъ себя въ правѣ возвысить голосъ на языкѣ, непонятномъ для русскаго чиновника. У насъ въ подобныхъ случаяхъ слишкомъ шумное обращеніе навлекло бы тому, который себѣ позволилъ его, только нѣкоторыя внушенія, и чиновникъ, съ которымъ имѣешь дѣло, вовсе не подумаетъ о мѣрахъ укрощенія; да къ тому же онъ и не имѣлъ бы на то законнаго права. Прусскіе путешественники избалованы терпѣніемъ нашихъ чиновниковъ; путешествующій пруссакъ думаетъ, что онъ можетъ обращаться съ чиновникомъ на русской таможнѣ точно такъ же, какъ онъ говоритъ съ прусскимъ министромъ. Онъ ошибается; чиновникъ сердится, и путешественникъ, воображающій себя сильнымъ, потому что у него бумаги въ порядкѣ, громко объявляетъ, что онъ честный человѣкъ, и что о немъ можно справиться въ Калишѣ, Столупянахъ или въ другомъ мѣстѣ. Его засаживаютъ въ тюрьму, безъ того, чтобы онъ понималъ, за что. Въ своей жалобѣ, естественно, онъ не говоритъ: я велъ себя съ нѣкоторою заносчивостью, какъ я имѣю привычку вести себя дома. Съ своей стороны, русскій чиновникъ, спрошенный о своихъ поступкахъ, не говоритъ: я нашелъ, что путешественникъ слишкомъ возвысилъ свой голосъ для моего достоинства; но онъ отыскиваетъ въ неисчерпаемомъ арсеналѣ свода законовъ, т.-е. русскаго кодекса, по истинѣ страдающаго излишествомъ полноты, статью, по смыслу которой путешественникъ не выполнилъ всѣхъ правилъ, что и сдѣлало необходимымъ принятіе мѣры предосторожности до болѣе полныхъ свѣдѣній. Вотъ что отвѣчаютъ! путешественника освобождаютъ, и таковы разстоянія и медленность въ исполненіи дѣлъ, что затѣмъ проходятъ цѣлыя недѣли—и тогда уже нужно сознаться въ винѣ; измѣнить ничего нельзя. Притомъ такого рода дѣла должны идти путемъ частныхъ жалобъ,

но не могут — спѣшить прибавить князь Бисмаркъ — служить предлогомъ для принятія угрожающаго положенія относительно союзнаго могущественнаго государства; дѣла эти происходятъ не изъ дурныхъ намѣреній сосѣда, но изъ особенныхъ свойствъ его учреждений. Единственное возможное средство помочь всему этому заключается въ томъ, чтобы Россійская Имперія, придя сама собою къ убѣжденію, что свобода отношеній необходима и выгодна, открыла свои границы больше, нежели прежде, и передѣлала свое законодательство. Измѣненіе порядка вещей не можетъ быть достигнуто силою, намъ остается только ждать“.

Какъ ни добродушно все то, что высказываетъ тутъ князь Бисмаркъ, но нельзя не сказать, что даже эти поверхностныя замѣчанія показываютъ въ немъ довольно близкое знакомство съ нашими административными нравами. Притомъ слѣдуетъ еще помнить, что князь Бисмаркъ, при своей изумительной осторожности, вовсе не высказываетъ всего, что онъ думаетъ о русскихъ дѣлахъ, и мы находимъ подтвержденіе тому въ словахъ, сказанныхъ имъ въ различное время и относящихся до сохраненія въ Петербургѣ особаго военного агента. Бисмаркъ убѣдительно просилъ, чтобы его не заставляли развивать передъ палатой тѣхъ мотивовъ, въ силу которыхъ онъ настаивалъ на необходимости военного агента. „Вѣрите мнѣ, — говорилъ онъ, — что вовсе не желаніе избѣжать усталости заставляетъ меня не распространяться объ этомъ“. Бисмаркъ нѣсколько разъ напоминалъ палатѣ, что она должна ему вѣрить, когда дѣло идетъ о Россіи, такъ какъ онъ прожилъ въ Петербургѣ три года и знаетъ многое, чего не знаетъ палата. Правительство не настаивало бы такъ на сохраненіи этого поста, „еслибы оно не сознавало обязанности защищать его въ силу исключительной дипломатической пользы, и еслибы въ этомъ отношеніи у него не было глубокаго убѣжденія, которое заставляетъ его такъ настойчиво поддерживать необходимость военного агента въ Россіи“.

У страха, говоритъ русская пословица, глаза велики, и потому неразумно было бы, поддаваясь этому недостойному чувству, въ каждомъ словѣ князя Бисмарка, даже самомъ незначащемъ, видѣть тайныя ковы противъ Россіи; но еще менѣе разумно было бы слѣпо полагаться на тѣ дружественныя завѣренія, которыя такъ щедро расточаетъ намъ знаменитый нѣмецкій канцлеръ. Мы видѣли на примѣрѣ двухъ сосѣдей Германіи, Австріи и Франціи, какъ мало зна-

ченія слѣдуетъ придавать такого рода дружескимъ увѣреніямъ. Входя въ составъ правилъ практической философіи, представляемой въ наше время княземъ Бисмаркомъ, они такъ же гибки, какъ гибка и самая философія. Дружба, услуги, оказанныя въ прошедшемъ, благодарность — все это въ современной политикѣ одни пустыя слова, лишенные всякаго содержанія. Князь Бисмаркъ не разъ высказывалъ, что прошло то время, когда возможны были кровавыя войны изъ-за „жадныхъ“ династическихъ интересовъ, изъ-за ссоры двухъ монарховъ. Положеніе его имѣетъ и обратную силу. Если ужъ война не можетъ быть начата теперь изъ-за столкновенія между двумя какими-нибудь царствующими домами, то точно такъ же она не можетъ быть остановлена дружбою двухъ домовъ; эта дружба волею-неволею должна будетъ подчиниться давленію, силѣ „національныхъ интересовъ“ — этой единственной возможной причинѣ, по словамъ нѣмецкаго канцлера, современной войны. Слѣдовательно, на всѣ увѣренія дружбы и общности интересовъ слѣдуетъ смотрѣть съ точки зрѣнія выгоды, пользы чуждаго намъ государства; съ точки зрѣнія его „національныхъ интересовъ“, и притомъ понимаемыхъ такъ, какъ они понимаются въ данную минуту; однимъ словомъ, съ точки зрѣнія тѣхъ „національныхъ интересовъ“, которые для своего удовлетворенія потребовали себѣ завоеванія двухъ французскихъ областей, „округленія“ Германіи Эльзасомъ и Лотарингіей.

Мы исчерпали до конца собраніе рѣчей князя Бисмарка, этого замѣчательнаго государственнаго человѣка современной намъ эпохи. Сдѣлаемъ ли мы общій выводъ, подведемъ ли итогъ всему нами высказанному или предоставимъ самому читателю сдѣлать такой выводъ изъ нашего труда и рѣшить — имѣли ли мы право назвать весь тотъ рядъ правилъ, которыми руководствуется какъ въ своей внутренней, такъ и во внѣшней политикѣ канцлеръ обновленной Нѣмецкой Имперіи, практическою философіею XIX-го вѣка? Изъ смысла всѣхъ рѣчей князя Бисмарка, его внутренней и внѣшней политики, мы надѣемся, читатель могъ убѣдиться въ справедливости общей характеристики нѣмецкаго канцлера, предпосланной обзору его дѣятельности. Нельзя не быть удивленнымъ, когда видишь въ этихъ рѣчахъ необыкновенную бѣдность широкихъ и глубокихъ общечеловѣческихъ идей, безъ которыхъ не можетъ быть великаго государственнаго человѣка. И не-

смотря на это, значеніе князя Бисмарка въ судьбѣ его родины необыкновенно велико. Онъ не только выполнилъ завѣщаніе Фридриха II, но онъ расширилъ его планъ и на мѣсто сильной и могущественной Пруссіи воздвигнулъ сильную и могущественную Германію. Конечно, огромнымъ значеніемъ въ исторіи не только Германіи, но и Европы, князь Бисмаркъ много обязанъ самому себѣ, своимъ отличительнымъ качествамъ: энергіи, рѣшительности, силѣ, ясному пониманію той цѣли, въ которой онъ стремился, что весьма важно и не такъ обыкновенно у государственныхъ людей; но тѣмъ не менѣе едва-ли бы политическая система князя Бисмарка увѣнчалась такимъ полнымъ успѣхомъ, еслибы народы западной Европы не находились въ такомъ печальномъ періодѣ своей политической жизни. Вездѣ старая начала рушились, новыя не утвердились, и, кажется, долго еще не утвердятся. Въ этомъ печальномъ состояніи Европы нужно видѣть одну изъ главныхъ причинъ торжества князя Бисмарка, котораго, живя онъ въ началѣ нынѣшняго вѣка, писатели романтической школы прозвали бы духомъ тьмы. Нужно было бы въ самомъ дѣлѣ имѣть много смѣлости, чтобы появленіе этого замѣчательнаго по энергіи и рѣшимости человѣка на исторической сценѣ назвать благодѣтельнымъ для человѣчества. Странная судьба постигаетъ историческихъ дѣятелей! Одни, которыхъ при жизни величаютъ богами, становятся въ глазахъ потомства воплощеніемъ зла, они представляются бичами, ниспосланными будто бы Провидѣніемъ; другіе же, которые при жизни не вызываютъ восторговъ и колѣнопреклоненія, поднимаются въ исторіи на недосыгаемую высоту. Сколько ни старались бы мы оцѣнить безпристрастно значеніе князя Бисмарка и его политической системы, наши старанія напрасны. Мы, современники, не можемъ еще отрѣшиться отъ извѣстнаго пристрастія въ ту или другую сторону. Предоставляя этотъ трудъ исторіи, мы тѣмъ болѣе не въ состояніи сдѣлать еще вѣрной оцѣнки его исторической роли, что не знаемъ еще, какъ прочно окажется возведенное имъ зданіе, какъ крѣпка его политическая система. Намъ кажется, что для того, чтобы зданіе князя Бисмарка было прочно, нужно, чтобы онъ и его преемники разбили старыхъ боговъ и поклонились новымъ, какъ поклонился бы имъ весь нѣмецкій народъ. Новые боги—это новыя идеи, новыя для большинства, но старыя для тѣхъ пророковъ нѣмецкаго народа, которые носятъ имена Лессинга, Шиллера, Фихте, Бёрне.

ГАМБЕТТА.

ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛѢТІЕ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

— Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta. I — XI vol. Paris.

I.

2-го апрѣля 1838 года, въ небольшомъ городкѣ Кагорѣ, приютившемся на югѣ Франціи, этой родинѣ Мирабо, родился Леонъ-Мишель Гамбетта, имя котораго золотыми буквами вписала на свои страницы новѣйшая исторія Франціи. Оно блещетъ одинаково яркимъ свѣтомъ какъ въ трагическую эпоху кровавой франко-нѣмецкой распри 1870—1871 г., когда онъ явился высшимъ выразителемъ пламеннаго патріотическаго духа, такъ и въ тяжелый, послѣдовавшій за пагубною войною періодъ, когда онъ сдѣлался неутомимымъ, смѣлымъ и вмѣстѣ осторожнымъ и спокойнымъ вождемъ республиканской партіи, видѣвшей въ окончательномъ установленіи республики единственный вѣрный залогъ обновленія и возрожденія Франціи.

Гамбетта былъ въ полномъ смыслѣ слова „le fils de ses oeuvres“. Отецъ его былъ мелкій торговецъ, родомъ изъ Генуи; мать его происходила изъ стариннаго рода средняго сословія и принадлежала къ тому либеральному поколѣнію тридцатыхъ годовъ, которое питалось политическими идеями блестящаго публициста Армана Карреля. Первоначальное образованіе онъ получилъ въ лицей

своего родного города, куда онъ поступилъ, пройдя уже, впрочемъ, двухгодичный курсъ въ небольшой семинаріи сосѣднаго города Монтобана. На школьной скамьѣ Гамбетта заставилъ уже обратить на себя вниманіе своихъ воспитателей выдающимися способностями, отличавшими мальчика, имѣвшаго несчастье въ самыхъ раннихъ годахъ лишиться зрѣнія на одинъ глазъ. Согласно легендѣ, сложившейся гораздо позже, когда на Гамбетту были устремлены уже всѣ взоры не только его родины, но и цѣлой Европы, онъ выкололъ нарочно себѣ глазъ, чтобы не оставаться въ семинаріи, такъ какъ онъ питалъ отвращеніе къ духовному призванію. Въ дѣйствительности, однако, потеря глаза была дѣломъ несчастнаго случая. Будучи восьмилѣтнимъ мальчикомъ, онъ заглядѣлся на работу одного мастерового, сверлившего что-то кускомъ старой рапиры. Сталь лопнула, и обломокъ ея попалъ прямо въ глазъ, навсегда потерянный для Гамбетты. Этотъ несчастный случай не оказалъ, однако, никакого вліянія на его занятія и дальнѣйшій ходъ его образованія.

Блистательно окончивъ курсъ кагорскаго лицея, гдѣ онъ со страстнымъ увлеченіемъ предавался изученію гуманитарныхъ наукъ, зачитываясь сочиненіями по исторіи и литературѣ, Гамбетта 18-ти лѣтъ покинулъ свой родной городъ и отправился въ Парижъ, эту Мекку всѣхъ французовъ, чувствующихъ въ себѣ какую-либо нравственную силу и рвущихся выдвинуться изъ толпы. Гамбетта былъ уже окрыленъ тѣмъ успѣхомъ, который выдѣлялъ его въ лицѣ изъ толпы его сверстниковъ, и тѣмъ вліяніемъ на своихъ школьныхъ товарищей, котораго никто у него не оспаривалъ. Поступивъ въ *Ecole de droit*, Гамбетта съ энергіей принялся за изученіе юридическихъ наукъ, не покидая, однако, обширнаго историческаго и литературнаго чтенія. Научныя занятія этого студенческаго періода его жизни не только не сдѣлали для него чуждыми политическіе интересы, но скорѣе, напротивъ, они подстрекали его глубже вглядываться въ политическую жизнь своей родины. Политическіе споры, въ эти молодые годы, имѣли для Гамбетты особую притягательную силу; они манили его къ себѣ, воспламеняя его умъ и чувство. За студенческими обѣдами, вечеромъ, въ сафѣ, за кружкой пива или стаканомъ холоднаго кофе, Гамбетта постоянно возбуждалъ политическіе дебаты, и товарищи его, студенты, часто дивились его смѣлымъ обобщеніямъ, глубинѣ его взглядовъ и страстности въ защитѣ

свободолюбивыхъ идей. Онъ поражалъ своихъ товарищей стройностью своихъ сужденій, силою своей логики, несокрушимостью своихъ выводовъ, умѣньемъ однимъ удачнымъ словомъ, эпитетомъ, какимъ-либо красивымъ образомъ охарактеризовать то или другое событіе, то-есть, именно тѣми свойствами, которыя впоследствии довели онъ до такой необычайной силы.

Какъ въ кагорскомъ лицѣ товарищи его невольно подчинялись его вліянію, такъ точно и въ *Ecole de droit* его сверстники признали его авторитетъ, и онъ, самъ о томъ не думая, сдѣлался центромъ, вокругъ котораго группировалась университетская молодежь. Гамбетту любили слушать, его уважали, товарищи пророчили ему блестящую политическую будущность. Безконечныя бесѣды, споры, пренія не были для Гамбетты безплодны. Они обостряли его діалектическое дарованіе, закаляли его мнѣнія и убѣжденія, заставляли задумываться надъ спорными вопросами и искать разрѣшенія ихъ въ прошломъ, въ историческихъ событіяхъ не только Франціи, но и другихъ народовъ. Онъ сознавалъ необходимость обогащать все больше и больше свой умъ всестороннимъ изученіемъ прошлаго. Политическіе споры заставляли его еще больше работать, вооружаться знаніемъ и чужимъ опытомъ.

Миновали студенческіе годы, наступила для него пора поступать въ двери дѣйствительной, самостоятельной жизни. Только свободная профессія, тѣсно соприкасающаяся съ общественною жизнью и доставлявшая возможность бороться противъ того государственнаго строя, который долженъ былъ встрѣтить въ Гамбеттѣ непримиримаго и безстрашнаго врага, могла привлекать къ себѣ будущаго организатора народной обороны. Въ 1860 г. Гамбетта приписывается къ сословію парижскихъ адвокатовъ и работаетъ первые годы подъ руководствомъ извѣстнаго адвоката Кремье, бывшаго министра юстиціи второй французской республики. Первые его шаги на новомъ поприщѣ быстро привлекли къ нему вниманіе его молодыхъ и болѣе зрѣлыхъ товарищей по профессіи, и очень скоро ему оказана была честь избранія его въ президенты конференціи Моле и въ секретари конференціи „стажіеровъ“, т.-е. молодыхъ людей, внесенныхъ уже въ списки адвокатуры, но не сдѣлавшихся еще ея полноправными членами. Годы помощничества были для Гамбетты годами энергическаго труда, усиленной работы надъ своимъ обра-

зованіємъ. Онъ не замыкался въ тѣсный кругъ юридической спеціальности. Онъ старался расширить свой умственный горизонтъ изученіемъ классическихъ французскихъ писателей. Произведенія Вольтера, Дидро, Рабле были настольными книгами Гамбетты. Руссо не принадлежалъ къ числу его излюбленныхъ авторовъ. Рядомъ съ постояннымъ и усиленнымъ чтеніемъ, Гамбетта въ этотъ періодъ былъ однимъ изъ самыхъ прилежныхъ посѣтителей Collège de France и Сорбонны и слушалъ лекціи по самымъ разностороннимъ отраслямъ знанія. На память онъ цитировалъ по-гречески цѣлыя отрывки изъ рѣчей Демосфена.

Научныя занятія въ этотъ періодъ его жизни не поглощали, однако, цѣликомъ Гамбетту; онъ не упускалъ изъ виду своей профессиональной дѣятельности, выступая преимущественно въ качествѣ защитника въ процессахъ литературныхъ и политическихъ, недостатка въ которыхъ не было въ то время. Въ часы досуга, послѣ обѣда, Гамбетта появляется обыкновенно въ знаменитомъ Cafe Procope, этомъ сборномъ пунктѣ энциклопедистовъ XVIII-го столѣтія, гдѣ все напоминало о той другой—далекой уже эпохѣ умственной борьбы съ старымъ порядкомъ, и здѣсь Гамбетта, окруженный своими молодыми сверстниками, вступалъ въ страстные политическіе споры, пропагандируя свои республиканскія идеи и не скрывая своей пламенной ненависти къ имперіи, обезличившей и поработившей его родину.

Какъ ни сложны и ни разнообразны были занятія Гамбетты, они все же не могли отвлечь его отъ того, что заставляло усиленно трепетать и биться его молодое и горячее сердце—политической жизни Франціи. Выпадали дни, когда онъ цѣлыя часы просиживалъ въ законодательномъ корпусѣ, слѣдя за дебатами, присматриваясь къ политическимъ дѣятелямъ имперіи, наблюдая и изучая выдающихся ораторовъ того времени—Веррье, Жюль Фавра, Тьера. Послѣ окончанія засѣданія, онъ торопился домой и часть ночи просиживалъ за письменнымъ столомъ, описывая яркими красками выдающееся политическое засѣданіе. Отчеты его, всегда обращавшіе на себя вниманіе, появлялись въ газетѣ „Еигоре“, издававшейся во Франкфуртѣ и ускользавшей такимъ образомъ изъ-подъ власти французскихъ законовъ о печати того времени. Его литературная дѣятельность въ ту эпоху не ограничивалась одними корреспонденціями и отчетами о засѣданіяхъ законодательнаго корпуса. Изъ-подъ его молодого пера

вышло нѣсколько замѣчательныхъ статей, посвященныхъ военному бюджету. Въ то время онъ уже завязывалъ связи съ военнымъ міромъ.

Вліяніе, пріобрѣтенное имъ на своихъ товарищей, на молодежь Латинскаго квартала, успѣхи его въ качествѣ адвоката, если и не особенно громкіе, то все же выдѣлявшіе его изъ толпы и начинавшіе разносить его имя по лѣвой сторонѣ Сены, т.-е. въ наиболѣе горячей и легко возбуждающейся части Парижа, доставили ему возможность въ 1863 г. выступить въ качествѣ энергичнаго борца противъ имперіи. Онъ сдѣлался душою избирательнаго періода въ студенческомъ кварталѣ Парижа, со свойственною ему страстностью поддерживая кандидатуры лицъ, выставлявшихъ знамя оппозиціи Наполеоновскому режиму. Кандидатура одного изъ выдающихся и наиболѣе талантливыхъ оппозиціонныхъ политическихъ писателей, Прево Парадоля, такъ печально окончившаго свою жизнь и искупившаго только самоубійствомъ свое отступническое примиреніе со второю имперіей, была дѣломъ рукъ молодого Гамбетты. Энергія, искусство, тактъ, ораторскій талантъ, выказанный имъ въ этотъ избирательный періодъ, заставили старыхъ политическихъ бойцовъ съ надеждою и любовью устремить свои взоры на выдвигавшагося съ отвагою впередъ политическаго дѣятеля. Съ этой поры Гамбетта получилъ уже значеніе въ оппозиціонномъ лагерѣ, голосъ его имѣлъ уже извѣстный вѣсъ. Но часъ рѣшительнаго боя съ имперіей, который долженъ былъ разнести по всей Франціи имя Гамбетты и заставить признать въ немъ одного изъ вождей республиканской партіи, еще не пробилъ,—онъ былъ еще впереди. Часъ этотъ пробилъ пять лѣтъ спустя лишь послѣ избирательнаго періода 1863 г., когда во время процесса, оставшагося въ исторіи Франціи извѣстнымъ подъ именемъ процесса Бодена, Гамбетта уже во всей мощи и блескѣ выказалъ свой необычайный ораторскій талантъ, и когда онъ такъ безстрашно бросилъ вызовъ имперіи, пригвоздивъ ее своимъ воодушевленнымъ и огненнымъ словомъ къ позорному столбу исторіи.

Имя Бодена перешло въ исторію его страны только потому, что, будучи народнымъ представителемъ въ національномъ собраніи 1848 г., онъ желалъ скорѣе умереть съ оружіемъ въ рукахъ на воздвигнутыхъ баррикадахъ, отстаивая своею грудью свободу и право, чѣмъ примириться съ кровавымъ государственнымъ переворотомъ 2-го декабря 1851 года. Въ началѣ 1868 г., когда зданіе имперіи начинало да-

вать уже трещины, нѣсколько человѣкъ горячихъ патріотовъ и убѣжденныхъ республиканцевъ, во главѣ которыхъ стояли Шальмель-Лакуръ, Пейрѣ и Делаклюзъ, открыли подписку для сооруженія памятника Бодену. Императорское правительство возбудило противъ инициаторовъ этой подписки уголовное преслѣдованіе, обвиняя ихъ въ нарушеніи общественнаго спокойствія и въ возбужденіи ненависти и презрѣнія къ правительству Наполеона III. Наканунѣ самаго процесса одинъ изъ обвиняемыхъ, Делаклюзъ, успѣвшій уже оцѣнить замѣчательный ораторскій талантъ Гамбетты, сказавшійся съ такою силой въ нѣсколькихъ предшествовавшихъ политическихъ процессахъ, обратился къ нему съ предложеніемъ принять на себя его защиту. Быстро ознакомившись съ дѣломъ, Гамбетта на другой день скромно занялъ свое мѣсто на скамьѣ защиты рядомъ съ Жюлемъ Фавромъ, Кремье, Араго, имена которыхъ пользовались уже такою громкою и заслуженною славой.

Не защитникомъ Делаклюза, а суровымъ, беспощаднымъ, страстнымъ и безстрашнымъ обвинителемъ второй имперіи явился Гамбетта въ этомъ процессѣ. Рѣчь его произвела потрясающее впечатлѣніе; она была громовымъ ударомъ для имперіи, въ которомъ слышался для нея погребальный звонъ. Никогда до той поры, до 14-го ноября 1868 г., имперія не становилась еще лицомъ къ лицу съ такимъ отважнымъ и мощнымъ борцомъ, бичевавшимъ со львиною силою ея преступное положеніе. „Послѣднее мѣсто,— говорилъ онъ,— гдѣ осмѣливались бы прославлять подобныя преступленія, это святая святыхъ судьи, такъ какъ тутъ имѣетъ право вѣщать во всеуслышаніе одинъ лишь законъ... Да, 2-го декабря во-кругъ претендента сгруппировались люди, которыхъ Франція не знала до той поры, которые не обладали ни талантомъ, ни положеніемъ, ни честью, люди, во всѣ эпохи являющіеся сообщниками насилія... „*un tas d'hommes perdus de dettes et de crimes...*“ привелъ онъ стихъ Корнеля. Гдѣ же были—спрашивалъ онъ—люди, защищавшіе законъ? Въ Мазасѣ, въ Венсеннѣ, по пути въ Кайенну, по дорогѣ въ Ламбессу. „Думаете ли вы,—восклицалъ Гамбетта,— что кто-либо смѣетъ говорить, что онъ спасъ общество, только потому, что онъ занесъ на него преступную руку?“.. Нарисовавъ яркими, правдивыми, но ужасающими по трагизму красками картину обманутой и задушенной провинціи, разстрѣляннаго Парижа, онъ потребовалъ отвѣта отъ

имперіи, что она сдѣлала съ сокровищами Франціи, съ ея кровью, честью и славою. Вся его рѣчь, прерываемая предѣдателемъ и прокуроромъ, дышавшая столько же мощнымъ духомъ, сколько нескрываемымъ презрѣніемъ къ имперіи и ея слугамъ, оборвалась на словахъ: „Слушайте, это мое послѣднее слово: вы можете нанести намъ удары, но вы никогда не будете въ силахъ ни обезчестить насъ, ни уничтожить“.

На другой день вся Франція жадно читала громовую рѣчь Гамбетты въ защиту Делаклюза. 2-е декабря 1851 г. воскресло съ необычайною яркостью, точно преступное дѣло совершилось только наканунѣ, а не было затушено длиннымъ періодомъ 17 лѣтъ. Пламенное слово Гамбетты заставило трепетать всѣ сердца, къ нему обратились взоры всѣхъ патріотовъ, любящихъ свою родину, въ немъ увидѣли одну изъ надеждъ Франціи. Одного дня было достаточно, чтобы имя Гамбетты прогремѣло по всей странѣ, и чтобы за нимъ окончательно укрѣпилось положеніе выдающагося политическаго дѣятеля. Двери законодательнаго корпуса открылись передъ нимъ настежь. Какъ разъ въ то время, когда процессъ Бодена какъ бы крестилъ новую ораторскую славу Франціи, умиралъ старый знаменитый ораторъ Беррье, точно освобождая для своего достойнаго преемника мѣсто депутата въ законодательномъ корпусѣ. Избиратели марсельскаго округа порѣшили предложить Гамбеттѣ открывшееся со смертью Беррье его политическое наслѣдство. Правительство, встревоженное и напуганное карающимъ словомъ Гамбетты, приняло свои мѣры, чтобы отдалить по крайней мѣрѣ моментъ появленія въ законодательномъ корпусѣ грознаго молодого оратора. Оно отсрочило всѣ дополнительные выборы въ виду приближенія эпохи новыхъ общихъ выборовъ. Не долго пришлось ожидать Гамбеттѣ своего вступленія на новое, привлекавшее его поприще. Въ 1869 году состоялись общіе выборы, и Гамбетта, избранный въ двухъ округахъ, Марселемъ и Парижемъ, появился въ законодательномъ корпусѣ. Марсель предпочелъ его — Тьеру; Парижъ далъ ему пальму первенства — передъ Карно.

II.

Если въ рѣчи по дѣлу Бодена Гамбетта заявилъ себя перво-класснымъ, страстнымъ ораторомъ, убѣжденнымъ республиканцемъ и заклятымъ врагомъ порядка, основаннаго на насиліи и попраніи народныхъ правъ, то съ самаго перваго момента появленія своего въ законодательномъ корпусѣ, съ перваго раза, когда онъ взошелъ на трибуну, онъ выказалъ себя вполне готовымъ политическимъ дѣятелемъ, вооруженнымъ всестороннимъ знаніемъ, человѣкомъ обладающимъ глубокимъ литературнымъ, историческимъ, политическимъ, экономическимъ образованіемъ. Громадное большинство палаты ожидало встрѣтить въ Гамбеттѣ болѣе чѣмъ горячаго республиканца, какого-то демагога, который своею страстностью и необузданностью самъ первый скомпрометируетъ свое положеніе и поколеблетъ тотъ престижъ, который доставила ему его знаменитая рѣчь въ Palais de Justice. Ожиданія эти не оправдались. Палата увидѣла передъ собою человѣка, превосходно владѣющаго собою и умѣющаго не только говорить съ людьми противоположныхъ ему убѣжденій, но и заставлять слушать себя даже самыхъ непримиримыхъ враговъ. Спокойный, сдержанный, увѣренный въ своихъ собственныхъ силахъ и убѣжденный, что вторая имперія стоитъ на краю гибели, Гамбетта успѣшилъ развернуть свою политическую программу, по которой не трудно было признать въ немъ истинно государственнаго человѣка, ясно сознающаго, что онъ хочетъ и по какому пути слѣдуетъ идти, чтобы вывести Францію изъ того состоянія маразма, въ которое ее ввергла вторая имперія. Его первыя обращенія къ избирателямъ, равно какъ и первыя рѣчи въ законодательномъ корпусѣ даютъ ключъ къ полному уразумѣнію его политическаго и соціальнаго міросозерцанія. Порядокъ и законъ — вотъ основныя условія правильной государственной жизни, но эти условія несовмѣстимы ни съ произволомъ второй имперіи, ни съ произволомъ демагогическимъ. Тотъ и другой онъ признаетъ одинаково ненавистнымъ, такъ какъ тотъ и другой — это вѣтви одного и того же дерева. „Истинная, честная демократія, — говорилъ онъ, обращаясь къ своимъ избирателямъ, — вотъ единственный врагъ демагогіи, единственная узда, единственный оплотъ противъ покушеній демагоговъ всякаго рода. Демагоги бываютъ двухъ родовъ: они назы-

ваются Цезаремъ или Маратомъ... Вотъ двѣ демагогіи; я нахожу ихъ одинаково ненавистными, одинаково пагубными“.

Глубокое и основательное изученіе исторіи Франціи привело его къ убѣжденію, что демократическій государственный строй завѣщанный Франціи революціей 1789 г., можетъ быть осуществленъ только республикой, и это-то положеніе онъ не устранился развивать съ поразительною силою и неподражаемымъ ораторскимъ искусствомъ въ первыхъ же своихъ рѣчахъ передъ ошеломленнымъ большинствомъ законодательнаго корпуса, состоявшимъ изъ покорныхъ слугъ второй имперіи. Вторая имперія переживала критическую эпоху. Кровавая катастрофа въ Мексикѣ, разгромъ Австріи, жалкая роль Франціи, грозное усиленіе Пруссіи, насмѣявшейся надъ близорукою французскою политикою,—все это поколебало престижъ императорскаго режима и вызвало сдвоенное первое неудовольствіе, смутившее Тюльери. Нужно было дать какое-нибудь удовлетвореніе взволнованному общественному чувству. Рѣшено было обновить имперію, предоставить народному представительству большія права, большій просторъ въ сферѣ государственнаго управленія. Образовалось знаменитое министерство Эмиля Оливье, бывшаго республиканца, ужасеннаго честолюбіемъ, заставившимъ его примириться съ имперіей и забыть 2-е декабря. Громко возвѣщалась новая эра для Франціи, — новые славные дни для обновленной либеральной имперіи. Гамбетта зналъ, какъ велика сила обмана, какъ легко большинство увлекается миражемъ, принимая его за нѣчто дѣйствительное, осязаемое, и онъ взялъ на себя раскрыть глаза Франціи и доказать всю обманчивую призрачность такъ шумно возвѣщенныхъ реформъ. Рѣчь его 5-го апрѣля 1870 г. была ударомъ молота для лицемѣрно „либеральной“ имперіи.

Непреоборимая логика, мощь и страстность темперамента, красота, соединенная съ необычайною простотою слова, ясность и пронизательность взгляда, удивительное искусство однимъ выраженіемъ, часто однимъ словомъ характеризовать самое сложное положеніе, тонкая иронія и, что превыше всего, искренность, лежащая въ основѣ характера Гамбетты, — словомъ, всѣ тѣ свойства, которыя отвели ему мѣсто среди немногихъ мировыхъ ораторовъ, — всѣ они сказались въ этой мастерской рѣчи. Съ не меньшею силою отразились въ ней и качества первокласснаго государственнаго чело-

вѣка, руководящагося въ своемъ поведеніи, въ своей политикѣ, не тѣмъ или другимъ повѣтріемъ, а твердыми принципами, яснымъ сознаніемъ цѣли, къ достиженію которой слѣдуетъ стремиться. Онъ не поддаѣливается подъ господствующее настроеніе, не потакаетъ страстямъ, онъ чуждъ лести, какъ по отношенію къ отдѣльнымъ лицамъ, такъ и по отношенію къ толпѣ, и знаетъ, что общественный строй не передѣливается въ одинъ день, а потому онъ желаетъ постепеннаго, но твердаго и постояннаго движенія впередъ, онъ готовъ мириться съ мѣньшимъ, но возможнымъ, и не стремится домогаться большаго, но въ данное время невозможнаго.

Гамбетта слишкомъ глубоко вдумался въ судьбы своей родины, пережившей въ теченіе послѣднихъ ста лѣтъ столько трагическихъ потрясеній, чтобы обманывать себя иллюзіями, поддаваться несбыточнымъ надеждамъ. Тѣмъ менѣе могъ ослѣпить его мишурный блескъ, которымъ обновленная, мнимо-либеральная имперія хотѣла скрыть свое и физическое, и нравственное разложеніе. Съ тѣмъ спокойствіемъ, которое свойственно только большой силѣ, онъ точно ножомъ анатома вскрылъ вторую имперію и показалъ, что всѣ тѣ реформы, которыя она возвѣстила, являются однимъ обманомъ, румянами, которыми она хочетъ себя подкрасить. Всеобщая подача голосовъ, — говорилъ онъ, — верховная власть народа, несовмѣстима съ имперіей, основанной на насиліи и поддерживаемой произволомъ. Имперія не можетъ превратиться въ парламентскую монархію, которая была уже неудачно испробована во Франціи. Одинъ только парламентскій режимъ возможенъ во Франціи, — доказывалъ онъ, — и именно такой, какой существуетъ въ Соединенныхъ Американскихъ Штатахъ, какой существуетъ въ Швейцаріи, — и, не смущаясь перерывами, криками, Гамбетта бросилъ въ лицо имперіи гордыя слова: „Да, внѣ осуществленія свободы путемъ республики, все будетъ только катаклизмъ, анархія или диктатура“. Наступила пора, — говорилъ онъ, — чтобы имперія уступила свое мѣсто республикѣ, и если она не сдѣлаетъ этого добровольно, то явится кто-нибудь, кто заставитъ ее это сдѣлать. Этотъ кто-нибудь — революція. „Вы — обращается онъ къ представителямъ „либеральной“ имперіи — служите только мостомъ между республикою 1848 г. и будущею республикою, и этотъ мостъ — мы его переходимъ“.

Въ эту эпоху Гамбетта преслѣдовалъ одну только цѣль — сломить

имперію, заставить ее капитулировать, не прибѣгая къ новой кровавой реставраціи. Громко провозглашая свои стремленія въ самыхъ нѣдрахъ второй имперіи, въ самомъ сердцѣ ея, въ законодательномъ корпусѣ, состоявшемъ изъ громаднаго большинства корыстныхъ прислужниковъ бонапартизма, Гамбетта, въ то же время, появляется всюду, гдѣ онъ имѣлъ только возможность говорить, пропагандируя свои идеи и предостерегая отъ какой-либо безумной вспышки, необдуманнаго революціоннаго движенія, отъ насилія и крови. Гамбетта вѣрилъ въ возможность мирной, безкровной побѣды надъ второю имперіей, говоря, что героическія времена республиканской партіи окончились навсегда... Необходимо громко провозгласить, что мы одинаково презираемъ насиліе въ нашихъ рукахъ, какъ презираемъ его въ рукахъ узурпатора "... Что устойчивость и порядокъ являются необходимыми условіями, но эти условія могутъ быть достигнуты только республиканской формой правленія. „Я больше всего дорожу устойчивостью и порядкомъ, и вѣрю, если я всѣми силами моей души призываю республиканскую форму правленія, то только потому, что это будетъ настоящее правительство, которое будетъ сознавать свои обязанности и съумѣетъ заставить себя уважать“.

Такого рода республиканская пропаганда, чуждая призыва къ оружію, къ насилію, была новизною для Франціи. Никогда до Гамбетты республиканская партія не говорила, что побѣда надъ произволомъ можетъ быть достигнута только пропагандой республиканской идеи и распространеніемъ просвѣщенія. Никто не нанесъ такого удара Наполеоновской легендѣ, какъ Гамбетта своими смѣлыми и убѣжденными рѣчами. Онъ показалъ, какимъ образомъ предшествовавшія поколѣнія привили „въ вены Франціи тотъ ядъ разврата и смерти, который зовется культомъ Наполеона I“. Противъ этого яда онъ видѣлъ одно только средство—просвѣщеніе и неустанная, повседневная пропаганда. Протестуя противъ революціонныхъ потрясеній, противъ насилія, по крайней мѣрѣ до той поры, пока грубая сила не вынудитъ противопоставить себѣ такую же силу, Гамбетта отрѣшался отъ старыхъ пріемовъ республиканской партіи и среди своей партіи явился истинно государственнымъ человѣкомъ. Трудно, безъ сомнѣнія, рѣшить, какъ скоро осуществилась бы программа Гамбетты, какъ скоро бюллетени избирателей принудили бы капитулировать вторую имперію, еслибы послѣдняя сама не поспѣ-

шила наложить на себя руку, попавъ въ разставленныя Пруссіей сѣти и не объявивъ „съ легкимъ сердцемъ“, по выраженію представителя „либеральной“ имперіи, пагубную для нея и — увы! — для Франціи войну 1870 года.

Въ послѣдніе дни, предшествовавшіе объявленію войны, когда гроза готова уже была разразиться надъ Франціей, Гамбетта не сходилъ почти съ трибуны законодательнаго корпуса. Онъ ясно сознавалъ, что вторая имперія катится къ своей неминуемой гибели, но страдалъ за судьбы его дорогой родины; чувство глубокаго патріотизма взяло верхъ надъ его республиканскимъ чувствомъ, и онъ употребилъ всѣ свои усилія, чтобы предотвратить фатальную борьбу. Съ краснорѣчіемъ, въ которомъ чувствовалось горячее сердце патріота, онъ останавливалъ правительство на пути его безумія; вмѣстѣ съ Тьеромъ онъ требовалъ доказательствъ, что Франція была дѣйствительно оскорблена, что война эта стала неизбежною, не во имя династическихъ, а національных интересовъ. Голосъ патріота не былъ услышанъ, и война была объявлена. Многіе республиканцы отказались потомъ вотировать необходимыя для войны кредиты, но Гамбетта не принадлежалъ и къ ихъ числу. Онъ рѣзко разошелся съ своими товарищами, оставаясь вѣрнымъ произнесеннымъ имъ до объявленія войны словамъ: „Когда война будетъ объявлена, мы не будемъ видѣть передъ собою ничего другого, какъ только знамя нашей родины“. Воспаленный патріотическимъ пыломъ, Гамбетта забылъ все, кромѣ спасенія Франціи.

Послѣ первыхъ же громовыхъ ударовъ, послѣ первыхъ поражений французской арміи, Гамбетта требуетъ образованія правительственнаго комитета, избраннаго законодательнымъ корпусомъ, для принятія необходимыхъ мѣръ противъ нашествія чужеземцевъ. Забывъ политическую вражду, онъ энергично поддерживаетъ военнаго министра второй имперіи во всемъ, что касалось только организаціи защиты страны. Онъ требуетъ немедленнаго вооруженія національной гвардіи, немедленнаго вооруженія Парижа, но всѣ эти требованія остаются неудовлетворенными; правительство, дрожа за династическіе интересы, опасалось французовъ не менѣе, если не болѣе, чѣмъ пораженій, нанесенныхъ нѣмецкими арміями.

Правительство разстроено, утрачиваетъ всякую инициативу, и только старается скрыть отъ населенія грозныя вѣсти съ театра войны.

Гамбетта терзаетъ терпѣніе, вызываетъ къ патріотическому чувству правительства; все напрасно. Въ то время, когда съ трибуны законодательнаго корпуса раздается его голосъ: „Вы слѣпы... страна катится къ неминуемой гибели, не сознавая того...“, армія, притиснутая къ Седану, была разбита и окружена, а Наполеонъ III, не умѣя умереть, предпочелъ со всею арміею отдаться въ плѣнъ побѣдоноснаго нѣмецкаго вождя.

III.

Въ ночь со 2-го на 3-е сентября пришло извѣстіе о гибели и позорѣ арміи и быстро разнеслось по Парижу. Имперія рушилась, но Гамбетта, опасаясь, что новое правительство, вышедшее изъ революціоннаго движенія, не будетъ достаточно авторитетно для всей Франціи, и желая въ корнѣ задушить, въ виду наступающаго врага, всякую рознь между французами,—дѣлаетъ предложеніе, чтобы самъ законодательный корпусъ, забывъ духъ партій, избралъ правительство народной обороны. Великодушный призывъ Гамбетты разбился о династическія чувства большинства законодательнаго корпуса. Тогда Гамбетта, въ виду нахлынувшей толпы, быстро взошелъ на трибуну и громко произнесъ: „Такъ какъ отечество находится въ опасности, такъ какъ все необходимое время было дано народному представительству, чтобы постановить о низложеніи династіи, такъ какъ мы представляемъ собою законную власть, избранную всеобщей подачей голосовъ, то мы объявляемъ, что Луи-Наполеонъ Вонапартъ и его династія навсегда перестали царствовать во Франціи“. Часъ спустя, передъ народомъ, собравшимся на площади городской ратуши, была провозглашена республика и объявлено объ образованіи правительства народной обороны, съ генераломъ Трошю во главѣ. Гамбетта принялъ на себя трудный постъ министра внутреннихъ дѣлъ.

Съ этой минуты и до 2-го марта 1871 г., въ этотъ короткій по времени, но мучительно длинный по выпавшимъ на долю несчастной страны страданіямъ, трагическій періодъ продолженія франко-нѣмецкой борьбы, душа Франціи, можно сказать безъ преувеличенія, воплотилась въ Гамбеттѣ. Несмѣтныя полчища нѣмецкихъ солдатъ и офицеровъ

тучею надвигались все дальше и дальше, опустошая страну и наводя панический ужасъ на все населеніе. Всякое сопротивленіе казалось безуміемъ. Франція была разбита и уничтожена; на французскихъ крѣпостяхъ развѣвался нѣмецкій флагъ; французскихъ армій, когда-то привычныхъ къ побѣдѣ, болѣе не существовало; десятки, сотни тысячъ войска, отдавшіеся въ плѣнъ, голодные и оборванные, поспѣшно угонялись, подъ присмотромъ нѣмецкаго конвоя, въ глубь побѣдоносной Германіи;—но Франція все-таки не сдавалась; она продолжала бороться, истекая кровью, воодушевляемая патріотическою энергіею и геройскимъ духомъ Гамбетты. Цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ выдерживала еще Франція отчаянную борьбу съ своимъ несокрушимымъ врагомъ, отстаивая свое послѣднее и самое дорогое достояніе—національную честь. Для того, чтобы обрисовать кипучую дѣятельность Гамбетты за этотъ мрачный періодъ времени, нужно было бы изложить всю исторію франко-нѣмецкой войны 1870—1871 годовъ,—до такой степени имя его наполняетъ всѣ ея страницы. Не вдаваясь въ подробности, тѣмъ не менѣе слѣдуетъ остановиться на главныхъ моментахъ этой дѣятельности, составляющей его лучшую славу и стяжавшей ему безсмертіе въ исторіи его родины.

Тучи, нависшія надъ Франціей, все сгущались. Германскія арміи продолжали свое быстрое наступленіе. Мецъ, этотъ неприступный оплотъ, былъ обложенъ; армія Базена, эта послѣдняя надежда Франціи, была обречена на устрашающее бездѣйствіе и со всѣхъ сторонъ окружена непріателемъ. Врагъ приближался къ самому сердцу Франціи; нѣмецкія орудія обвили грознымъ кольцомъ вокругъ Парижа. Правительство народной обороны, замкнутое въ столицѣ, оторвано было отъ всей остальной страны, какъ бы предоставленной на произволъ судьбы. Всякое дальнѣйшее сопротивленіе, всякая дальнѣйшая борьба, если не для спасенія Франціи, то для доказательства ея живучести, была бы невозможна, еслибы не нашелся человекъ, который силою своего мощнаго духа, пламеннаго патріотизма и гигантской энергіи не воскресилъ бы упавшій духъ націи и не заставилъ бы изъ земли вырасти новыя арміи, готовыя отдать свою жизнь на защиту родины. Такимъ человекомъ и былъ Гамбетта.

Всѣ выходы изъ Парижа были закрыты, но отвага и патріотизмъ превозмогли самую невозможность. На воздушномъ шарѣ „Арманъ-Барбесъ“ Гамбетта изъ Парижа ускользнулъ 1-го октября, переле-

тѣлъ непріятельскій кордонъ и на третій день явился въ Туръ, принявъ на себя тяжелую въ эту минуту отвѣтственность диктатуры. Вся свободная еще отъ непріятельскаго нашествія страна безпрекословно подчинилась волѣ молодого диктатора. Закипѣла организація народной обороны. Призывая ко всѣмъ живымъ силамъ Франціи, онъ заставилъ забыть духъ партій, и вся страна отозвалась на его патріотическій призывъ. „Нѣтъ, невозможно, — восклицалъ онъ въ страстной прокламаціи къ народу, — чтобы геній Франціи навсегда омрачился, чтобы великая нація утратила свое мѣсто въ мірѣ, благодаря лишь нашествію 500-тысячной непріятельской арміи. Встанемъ поголовно, и лучше умремъ, чѣмъ перенести стыдъ расчлененія родины“. Къ чести Франціи слѣдуетъ сказать, что въ эту трагическую минуту исчезли всѣ партіи — и остались только французы. Въ теченіе одного какого-либо мѣсяца дѣло народной обороны сдѣлало невѣроятные успѣхи. Когда Гамбетта явился въ Туръ, у Франціи не было ни ружей, ни пушекъ, ни матеріальныхъ средствъ, ни генераловъ, ни офицеровъ, ни солдатъ. Черезъ мѣсяць нѣсколько армій, подъ начальствомъ Федебра, Шанзи, Орель-де-Паладина, Вильо, Бурбаки и наконецъ единственнаго союзника Франціи въ эту эпоху — Гарибальди, выступили на защиту страны. „Если мы не можемъ — говорилъ Гамбетта — заключить договоръ съ побѣдой, то заключимъ договоръ со смертію“. Но надежда еще не исчезла. Базенъ еще не былъ измѣнникомъ, Мецъ еще не капитулировалъ. Протянуть руку Базену, облегчить ему выходъ изъ Меца, — и Франція, казалось, будетъ спасена.

Въ то самое время, когда жизненные силы Франціи поддерживались духомъ великаго патріота, престарѣлый Тьеръ обѣзжалъ всѣ столицы Европы, взывая къ помощи Россіи, Австріи, Испаніи, Англіи. Голосъ его не былъ слышанъ; всѣ европейскія державы остались глухи къ бѣдствіямъ французскаго народа, предоставляя Германіи добить его до конца. Неудача Тьера не повліяла на энергію Гамбетты, не разрушила его надежды на спасеніе Франціи. Онъ былъ силенъ вѣрою въ свою родину. Эта надежда не была вырвана изъ его сердца другимъ, болѣе тяжелымъ ударомъ, обрушившимся на истекавшую кровью страну. Измѣна Базена лишила Францію Меца и предала въ руки врага болѣе нежели стотысячную армію. „Французы! — говорилъ Гамбетта въ своей прокламаціи къ народу: — возвысьте ваши души и вашу рѣшимость до высоты тѣхъ страшныхъ опасностей, которыя вы-

падаютъ на долю нашей родины... Мецъ капитулировалъ... Маршалъ Базенъ измѣнился... Какъ ни велико бѣдствіе, пусть не встрѣтитъ оно насъ ни колеблющимися, ни убитыми. Мы готовы на послѣднія жертвы, и въ виду врага, которому все покровительствуетъ, дадимъ клятву никогда не сдаться“...

Какъ молнія среди мрака ночи блеснула въ одну секунду надежда, что судьба улыбнется наконецъ Франціи, что не напрасно будетъ потрачено столько самоотверженія, энергіи, и радостная вѣсть давно желанной побѣды вызоветъ мощный подъѣмъ духа, народъ воспрянетъ съ новою силою. Битва при Куломбѣ, побѣда, одержанная надъ генераломъ Таномъ, была именно такою сверкнувшею молніей. Но она сверкнула лишь для того, чтобы наступавшая затѣмъ тѣма показалась еще страшнѣе, еще ужаснѣе. Парижъ, мужественно перенесшій пятимѣсячную осаду, бодро встрѣчавшій нѣмецкія бомбы и ядра, содрогнулся передъ образомъ голодной смерти, грозно наступавшей на него. Парижъ капитулировалъ. Угасъ послѣдній лучъ свѣта, надежда бодрѣннно вырвана была изъ сердца французскаго народа, но Гамбетта, дышавшій лишь одною любовью къ своей родинѣ, не хотѣлъ примириться съ безпощадными ударами судьбы и гордо продолжалъ держать знамя борьбы до послѣдней капли крови. Его вѣра во Францію была непоколебима. За эту вѣру его прозвали „*fon furieux*“, но за нее же онъ по праву вступилъ въ храмъ безсмертія.

Въ условіяхъ капитуляціи Парижа было выговорено обязательство созыва народнаго собранія для разрѣшенія вопроса войны или мира. Правительство народной обороны назначило выборы на 8-ое февраля 1871 г. Гамбетта, продолжавшій мужественно отстаивать *la guerre à outrance*, и опасаясь избранія бонапартистскаго большинства, именемъ делегаціи правительства народной обороны издаетъ декретъ о неизбираемости всѣхъ тѣхъ, кто во время имперіи исполнялъ обязанности министровъ, сенаторовъ, всѣхъ тѣхъ, кто ранѣе являлся официальнымъ кандидатомъ, независимо отъ того, былъ онъ избранъ депутатомъ, или нѣтъ. Бисмаркъ, хорошо понимавшій, что избранное при такихъ условіяхъ народное собраніе можетъ не принять продиктованныхъ имъ суровыхъ мирныхъ условій, воспротивился декрету Гамбетты и потребовалъ его отмѣны. Правительство народной обороны подчинилось волѣ побѣдителя и отмѣнило декретъ Гамбетты. Не желая вызывать внутреннихъ раздоровъ и опасаясь междоусобной войны,

Гамбетта покорился и въ тотъ же день сложилъ съ себя власть, принятую имъ на себя съ такимъ самоотверженіемъ въ тѣ минуты, когда всѣ ея сторонились.

Избранный въ десяти департаментахъ, онъ принялъ на себя депутатскія полномочія Эльзаса и явился въ національное собраніе, созданное въ Бордо, лишь для того, чтобы еще разъ громко протестовать противъ насильственнаго отторженія двухъ французскихъ провинцій. Лишь только, въ памятный и трагическій для Франціи день 1-го марта 1871 г., національное собраніе большинствомъ 516 голосовъ противъ 107 приняло условія мира, предписанныя врагомъ, депутаты Эльзаса и Лотарингіи, съ Гамбеттою во главѣ, покинули залу засѣданія, сложивъ съ себя свои полномочія и въ послѣдній разъ торжественно заявляя, что они признаютъ лишеннымъ всякой нравственной силы договоръ, располагающій судьбою населенія двухъ провинцій, помимо его на то согласія.

Въ тотъ же самый вечеръ скончался, сраженный патріотическою скорбью, одинъ изъ депутатовъ Эльзаса, послѣдній французскій мэръ героически выдержавшаго осаду и бомбардировку Страсбурга, Кюсъ. На другой день, среди огромной площади, усаженной несметною толпою, Гамбетта, стоя передъ гробомъ, среди мертвой тишины и среди какъ бы притаившаго дыханіе народа, произнесъ одну изъ своихъ самыхъ потрясающихъ рѣчей, въ которой вырвалась наружу вся горечь пережитыхъ несчастій, весь ужасъ и негодованіе передъ настоящимъ и вмѣстѣ несокрушимая вѣра въ свѣтлое будущее Франціи. „Онъ счастливъ,—восклисалъ Гамбетта, заставляя трепетать всѣ сердца и исторгая слезы стыда и печали,—онъ счастливъ, онъ входитъ мертвымъ въ свою умирающую родину... Но пусть наши братья этихъ несчастныхъ провинцій утѣшатся мыслью, что Франція отнынѣ не можетъ преслѣдовать другой политики, какъ ихъ освобожденія; чтобы достигнуть этого результата, нужно, чтобы всѣ республиканцы, снова давъ клятву непримиримой ненависти къ династіямъ и цезарямъ, навлекшимъ всѣ наши бѣдствія, тѣсно сплотились въ патріотической мысли возмездія, которое будетъ протестомъ права и справедливости противъ насилія и безчестія“.

IV.

Сказавъ послѣднее прости отторгнутымъ провинціямъ, Гамбетта, измученный шестимѣсячною судорожною дѣятельностью и удрученный гибелью своей мечты сохранить цѣльность и неприкосновенность своей родины, покинулъ Францію и на нѣсколько мѣсяцевъ уединился въ Сантъ-Себастьянѣ, первомъ пограничномъ городѣ Испаніи. Судьба, на этотъ разъ благопріятная Гамбеттѣ, устранила его отъ всякаго активнаго участія въ политическихъ дѣлахъ его родины въ тотъ печальный трехмѣсячный періодъ, который непосредственно наступилъ по заключеніи мира. Сложивъ съ себя званіе депутата, онъ не могъ до новыхъ выборовъ возвышать свой голосъ въ національномъ собраніи, и вслѣдствіе этого онъ имѣлъ возможность оставаться только зрителемъ того новаго и тяжелаго бѣдствія, которое разразилось надъ Франціей.

Коммуна, кровавая междоусобная война съ ея ужасами и звѣрствами—преисполнили его глубокою печалью. Гамбетта былъ прежде всего патріотъ, и какъ патріотъ онъ не могъ не отнестись строго къ безумному движенію на глазахъ не успѣвшего еще отступить отъ Парижа торжествующаго врага, которое содѣйствовало лишь еще бѣдшему приниженію и дискредитированію Франціи. Остановить это движеніе Гамбетта былъ безсиленъ. Страсти были слишкомъ возбуждены, чтобы голосъ его могъ быть услышанъ. Онъ предпочелъ переждать вдали этотъ убійственный шквалъ, слишкомъ хорошо сознавая ту важную роль, какая предстояла ему въ дѣлѣ упроченія республиканской формы правленія. За эту-то работу онъ и принялся тотчасъ, какъ только дополнительные выборы 3-го іюля 1871 г. снова предоставили ему мѣсто въ палатѣ. Онъ выставилъ свою кандидатуру въ трехъ департаментахъ, и рѣчь-программа, которую онъ произнесъ въ Бордо, тотчасъ по возвращеніи на родину, послѣ трехмѣсячнаго отсутствія, раскрыла передъ цѣлою Франціей ту политику, которую республиканская партія должна была отнынѣ преслѣдовать. Энергія Гамбетты не была убита, вѣра его во Францію не была поколеблена, но событія, совершившіяся со времени созыва народнаго собранія, составъ послѣдняго, его монархическое большинство, твердая и непреклонная рѣшимость вернуть Францію къ монархической формѣ правленія—

показали Гамбеттѣ, какими подводными камнями окружена молодая, еле стоявшая еще на ногахъ, республика, и съ какою необычною осторожностью слѣдуетъ пробираться между этихъ камней, чтобы доставить окончательное торжество республиканской формѣ правленія.

Чуждый всякаго мелкаго личнаго самолюбія и обладая лишь однимъ высокимъ самолюбіемъ главы республиканской партіи, въ побѣдѣ которой онъ видѣлъ единственное спасеніе своей родины, Гамбетта забылъ оскорбленія, нанесенныя ему Тьеромъ, обозвавшимъ его „опаснымъ сумасшедшимъ“, и громко заявилъ, что онъ присоединяется къ программѣ умудреннаго опытомъ и годами государственнаго человѣка. Гамбетта прекрасно сознавалъ, что Тьеръ, по своему прошлому, по своей дѣятельности въ качествѣ перваго министра Луи-Филиппа, по своему воспитанію, идеямъ, вкусамъ, всецѣло примыкавшій къ конституціонной монархіи, не былъ въ своей душѣ горячимъ республиканцемъ, онъ зналъ, что между Тьеромъ и республикой совершился лишь *marriage de raison*, но онъ вѣрилъ въ искренность Тьера, признавашаго, что при раздорѣ борющихся между собою монархическихъ партій, легитимистовъ, орлеанистовъ и бонапартистовъ, одна республика можетъ обезпечить за Франціей и прочный порядокъ, и восстановленіе ея надломленныхъ силъ. „Власть будетъ принадлежать наиболѣе разумному и наиболѣе достойному“, — говорилъ Тьеръ. Гамбетта ухватился за этотъ лозунгъ и потребовалъ отъ республиканской партіи, чтобы она явила собою „партію дисциплинированную, твердую въ своихъ принципахъ, трудящуюся, бдительную и твердо рѣшившуюся на все, чтобы убѣдить Францію въ своихъ правительственныхъ способностяхъ. Однимъ словомъ, — высказывалъ онъ, — партію, принимающую формулу: власть наиболѣе разумному и наиболѣе достойному. Нужно, слѣдовательно, быть наиболѣе разумнымъ“.

Если прежде, когда вопросъ шелъ о сверженіи имперіи, основанной на преступленіи и порочности, республиканская партія могла быть преисполнена страсти и энтузіазма, то теперь, — доказывалъ Гамбетта, — когда республика существуетъ фактически, республиканцы должны проявить въ примѣненіи своихъ принциповъ холодность, сдержанность, чувство мѣры, терпѣніе, словомъ, явиться правительственной оппозиціей. Онъ убѣждалъ республиканскую партію не добиваться преждевременно и во что бы ни стало власти, говоря, что сущест-

вуетъ страсть болѣе сильная, болѣе чистая, чѣмъ держать власть въ своихъ рукахъ, это — наблюдать съ твердостью, со справедливостью и здравымъ смысломъ за властью, находящеюся въ честныхъ рукахъ, и видѣть, какъ другими руками совершаются желанныя реформы. Но недостаточно еще сдѣлаться партіей, способной къ управленію государствомъ; необходимо, чтобы эта партія имѣла опредѣленную программу, ясную, чуждую всякихъ химеръ и утопій.

Какова же должна была быть эта программа? „Нужно прежде всего заставить исчезнуть то зло, — высказывалъ Гамбетта, — которое является причиною всѣхъ бѣдствій: невѣжество, изъ котораго поочередно протекають деспотизмъ и демагогія... Изслѣдуемъ наши несчастія, обратимся къ причинамъ, и къ первой изъ нихъ: мы дали себя обогнать другими народамъ, менѣе способнымъ, чѣмъ мы, но которые прогрессировали въ то время, когда мы стояли неподвижно. Да, можно установить съ доказательствами въ рукахъ, что низкій уровень нашего національнаго образованія былъ причиною нашихъ бѣдствій...“ Гамбетта вдумался въ причины бѣдствій, обрушившихся на Францію, онъ не утѣшалъ себя самообманомъ, онъ понималъ, что не простая случайность доставила Германіи торжество, что не одно лишь отсутствіе предусмотрительности, не одна лишь жалкая, мечтательная политика Наполеона III, ни распущенность и деморализація, внесенныя имперіей, заставили скатиться Францію въ страшную пропасть; онъ смотрѣлъ глубже, онъ задавался вопросомъ: да почему же самая имперія сдѣлалась возможною? — и, обобщая причины возникновенія порядка, утвержденного кровавымъ государственнымъ переворотомъ и конечнаго разгрома, постигшаго его родину, онъ обнажалъ ту язву, которая разѣдала и постепенно разрушала мощный организмъ французскаго народа. Язва эта — невѣжество, влекущее за собою всегда и вездѣ одни и тѣ же гибельныя для каждой націи послѣдствія.

Задача честнаго, пекущагося о народныхъ интересахъ правительства, — доказывалъ Гамбетта, — это распространять образованіе, просвѣщеніе, щедрою рукою, такъ какъ только одно просвѣщеніе способно обезпечить за народомъ его достоинство и права и уничтожить возможность такого порядка, который, наоборотъ, черпаетъ главную свою силу въ повальномъ народномъ невѣществѣ. Правительство, — говорилъ онъ, — преслѣдующее лишь своекорыстные инте-

ресы и покоящееся на произволѣ, всегда будетъ стремиться поддерживать состояніе невѣжества и не допускать образованія, такъ какъ оно знаетъ, что его единственный крѣпкій оплотъ — это народная тѣна. Отсюда, — выводилъ Гамбетта, — становится ясна первая и главная задача республиканской формы правленія, — задача, надъ которой энергически должны работать всѣ любящіе свою родину и дорожащіе ея свободой: — вывести французскій народъ изъ того состоянія мрака, при которомъ его такъ легко увѣрить, что его собственный интересъ заключается въ томъ, чтобы онъ былъ связанъ по рукамъ и погамъ, превращенъ въ безправную массу, отданную на произволъ слугъ, избранныхъ изъ отребья общества.

Патріотическое сердце Гамбетты слишкомъ болѣзненно еще сочилось кровью, чтобы рядомъ съ задачей поднятія нравственнаго уровня народа онъ не ставилъ другой задачи — народнаго вооруженія. „Пусть — говорилъ онъ — всѣмъ будетъ извѣстно, что когда во Франціи родился гражданинъ, тогда, значитъ, родился и солдатъ“. Не гоняясь за неуловимою тѣнью, не залетая въ міръ утопій, Гамбетта не преслѣдовалъ неосуществимыя въ данный моментъ реформы; онъ понималъ, что дорога прогресса безконечна, но на его пути существуютъ этапы, и что силы націи должны быть размѣрены такъ, чтобы безъ преждевременной усталости бодро идти отъ одного этапа къ другому. Первымъ этапомъ явилось для него распространеніе народнаго образованія и могущественная организація народнаго вооруженія, а потому всѣ свои силы онъ рѣшилъ сосредоточить на осуществленіи этихъ необходимыхъ для возрожденія Франціи реформъ. Убѣжденный, что только одна республиканская форма правленія можетъ во Франціи осуществить эти реформы и вполнѣ отдавая себѣ отчетъ въ той опасности, которая угрожала Франціи со стороны большинства народнаго собранія, страшившагося возстановить монархію, Гамбетта, появившись въ національномъ собраніи, весь отдался на первыхъ порахъ борьбѣ съ замышлявшими ниспровергнуть республику монархическими партіями, и въ этой борьбѣ онъ обнаружилъ, рядомъ съ прежнею неутомимостью, энергіей, пыломъ, новыя свойства своего политическаго генія. Онъ выказалъ себя рѣдкимъ парламентскимъ тактикомъ, умѣвшимъ соединять смѣлость съ осторожностью, удивительное искусство пользоваться каждымъ нерѣшительнымъ шагомъ своихъ враговъ, эксплуатировать ихъ ошибки, разстривать составленные планы и

извлекать выгоду для своей партіи, для преслѣдуемой имъ цѣли, даже изъ тѣхъ ударовъ, наносимыхъ республикѣ, на которые не скупилась монархическая коалиція. Вся республиканская партія быстро подчинилась его вліянію и признала въ немъ своего законнаго leader'а. Даже тѣ, которые такъ недавно еще сторонились Гамбетты и опасались его вліянія, должны были теперь убѣдиться, что они встрѣтили въ немъ могущественнаго и въ высшей степени цѣннаго союзника. Тьеръ отказался отъ своего предубѣжденія противъ бывшаго диктатора и, сблизившись съ нимъ, понялъ, что республиканская Франція по справедливости усматривала въ немъ свою лучшую надежду, свой наиболѣе крѣпкій оплотъ.

Какъ ни велика была энергія, съ которою Гамбетта работалъ въ національномъ собраніи, всходя на трибуну по каждому сколько-нибудь важному вопросу, но онъ хорошо сознавалъ, что не отъ національнаго собранія, избраннаго въ страшныя минуты паники, какого-то ужаса и страха, охватившаго населеніе, и состоявшаго въ огромномъ числѣ изъ сторонниковъ монархіи, можно ожидать упроченія республиканской формы правленія и связаннаго съ нею возрожденія Франціи. Онъ желалъ, чтобы среди народа твердо укоренилось убѣжденіе, что не имперія, такъ жалко оканчивавшая свое существованіе каждый разъ, что она принимала на себя руководство судьбами государства, а одна лишь республика можетъ обезпечить прогрессивное, безъ судорожныхъ потрясеній и революціонныхъ катаклизмовъ, движеніе впередъ французскаго народа и обезпечить за нимъ спокойное пользованіе его трудомъ и всѣми благами мирнаго развитія. Онъ былъ твердо увѣренъ, что только такое убѣжденіе, вошедшее въ плоть и кровь французскаго народа, способно сломить въ концѣ концовъ безумное сопротивленіе монархическихъ партій и вынудить ихъ отказаться отъ вѣчныхъ заговоровъ противъ великаго наслѣдія великой революціи.

Проникнутый такимъ убѣжденіемъ, Гамбетта, не щадя своихъ силъ, принялъ на себя тяжелую роль политическаго миссіонера, разносящаго по всѣмъ концамъ Франціи свою пламенную пропаганду республиканской формы правленія. Съ этою цѣлью, въ концѣ 1871 г., онъ основываетъ новый политическій органъ, „La République Française“, органъ борьбы противъ затѣй враждебнаго лагеря и выясненія программы республиканской партіи. Онъ стучалъ при-

влекъ сюда всѣхъ выдающихся дѣятелей одинаковыхъ съ нимъ убѣжденій, оставляя за собою роль лишь главнаго руководителя новой газеты. Роль эта потребовала отъ него, въ ту переходную эпоху, громаднаго труда. Цѣлое утро занятый подготовительною парламентскою работою, неизбѣжною въ его положеніи главы партіи, весь день проводя въ засѣданіяхъ національнаго собранія, каждую минуту готовый ринуться въ бой, вечеромъ являлся онъ въ редакцію, и часто глубокая ночь заставляла его за литературно-политическою работою. Но газета далеко не поглощала всей его дѣятельности пропагандиста. Рабочій людъ, населеніе глухой провинціи туго воспринимаетъ впечатлѣнія печатной статьи; Гамбетта зналъ, что живое слово, то спокойное, то страстное, дѣйствуетъ болѣе могущественно на умы, не укрѣпившіеся еще твердо въ извѣстномъ направленіи, и онъ перерѣзываетъ Францію во всѣхъ направленіяхъ, всюду разнося свою проповѣдь политическаго обновленія Франціи, всюду содѣйствуя подъему общественнаго духа и укрѣпляя вѣру и привязанность къ республиканской формѣ правленія. Онъ появлялся среди рабочаго люда, проповѣдовалъ въ деревняхъ, возбуждалъ къ энергической дѣятельности среднее сословіе, но гдѣ бы, въ какой бы средѣ ни говорилъ Гамбетта, онъ всегда оставался вѣренъ себѣ; убѣжденность и искренность были его неразлучными спутниками; онъ никогда не унижался до лести, онъ никогда не подкупалъ своихъ слушателей, своей аудиторіи — а аудиторіей его была цѣлая Франція — какимъ-либо подлаживаніемъ къ настроенію, слабостямъ или даже страстямъ толпы. Во всѣхъ его рѣчахъ всегда звучала одна нота — работа, работа и работа. „Мы не должны — говорилъ онъ — имѣть другого самолюбія, какъ самолюбіе народа, который во что бы то ни стало желаетъ возродиться. Вы заставите себя уважать Европу только тогда, и вы должны это знать, когда вы будете могущественны внутренней силой; и когда я спрашиваю себя, какая реформа представляется наиболѣе необходимою, я отвѣчаю, что до тѣхъ поръ ничего не будетъ сдѣлано, пока не будетъ дароваго, обязательнаго и безусловно свѣтскаго обученія“...

Возбуждая патріотическія усилія, говоря о возрожденіи Франціи, Гамбетта вмѣстѣ съ тѣмъ сдерживалъ страсти и внушалъ политическую осторожность. „Вамъ нужно правительство, которое приспособлено было бы къ потребностямъ настоящаго и съумѣло бы вернуть

Франціи ея настоящую роль въ мірѣ. Но мы должны быть крайне сдержанны; никогда не будемъ произносить вызывающаго слова,—это не отвѣчало бы нашему достоинству побѣжденных... Не будемъ никогда говорить о побѣдителяхъ, но пусть всѣ понимаютъ, что мы о нихъ постоянно думаемъ“... Если Гамбетта опасался политической опрометчивости, которая могла бы помѣшать работѣ надъ возрожденіемъ Франціи, то онъ одинаково опасался того броженія революціоннаго, соціалистическаго, которое вызвало коммуны и чуть не погубило надежды республиканской партіи. „Будемъ осторожнѣе—говорилъ онъ—противъ утопій тѣхъ, которые, обманутые воображеніемъ или невѣжествомъ, вѣрують въ какую-то панацею, въ какую-то формулу, которую нужно только найти, чтобы доставить счастье цѣлому міру. Будьте увѣрены, что вовсе не существуетъ одного соціальнаго цѣлебнаго средства, такъ какъ нѣтъ одного соціальнаго вопроса. Существуетъ цѣлый рядъ задачъ... и эти задачи должны быть разрѣшаемы одна за другою, а не какою-то единою формулою“...

Если пропаганда Гамбетты имѣла своею цѣлью политическое воспитаніе народной массы, то рядомъ съ этимъ онъ преслѣдовалъ и другую задачу. Національное собраніе, избранное лишь для разрѣшенія вопроса о войнѣ или мирѣ, узурпировало власть, замышляя распорядиться судьбою страны. Гамбетта желалъ, чтобы Франція, каждый разъ, по поводу частныхъ выборовъ въ палату, громко заявляла, что національное собраніе болѣе не представляетъ собою страны, что оно не отвѣчаетъ настроенію, желаніямъ и волѣ цѣлой націи. Онъ надѣялся на нравственное воздѣйствіе, полагая, что голосъ страны заставитъ наконецъ національное собраніе уступить свое мѣсто новой палатѣ народныхъ представителей, избранныхъ на этотъ разъ свободно, а не подъ давленіемъ непріятельскаго нашествія. Пропаганда Гамбетты возбуждала злобу и негодованіе монархическихъ партій, требовавшихъ даже отъ правительства Тьера, чтобы оно положило конецъ этой ненавистной для нихъ дѣятельности краснорѣчиваго трибуна. Безсильные въ своей злобѣ, они обзывали Гамбетту *sommi-voyageur*’омъ республики, балконнымъ ораторомъ, уличнымъ декламаторомъ, но ни злоба, ни насмѣшка не могли заставить Гамбетту своротить съ избраннаго имъ пути. „Я принимаю это названіе,—говорилъ онъ,—я не краснѣю, я дѣйствительно слуга демократіи. Я исполняю порученіе, данное мнѣ

народомъ... Я никогда ничего не искалъ кромѣ блага Франціи... и если я думаю, что внѣ республики для страны нѣтъ спасенія, я долженъ говорить это прямо. Это моя миссія! я ее исполняю; пусть будетъ, что будетъ“!

Гамбетта хорошо сознавалъ, что то переходное положеніе, на которое обрекало Францію національное собраніе, не желавшее допустить окончательнаго установленія республики, и вмѣстѣ безсильное провозгласить монархію и обезпечить за нею хотя кратковременное существованіе, можетъ гибельно отозваться на судьбахъ народа и великой задачѣ его возрожденія. Вотъ почему, въ палатѣ и внѣ палаты, онъ настойчиво требовалъ распушенія національнаго собранія, говоря: „если мы испытываемъ нетерпѣніе, то только потому, что вопросъ идетъ о національномъ существованіи... если мы будемъ медлить, если мы увязнемъ въ переходномъ состояніи, которое насъ расслабляетъ и обезсиливаетъ, мы идемъ въ такомъ случаѣ на встрѣчу самымъ угрожающимъ опасностямъ“... Онъ ясно видѣлъ, что положеніе Европы послѣ войны 1870 года, господствующая роль новой могущественной Германіи рядомъ съ какии-то обезличеніемъ всѣхъ остальныхъ государствъ, можетъ породить новыя и еще болѣе ужасныя бѣдствія, если Франція не поспѣшитъ вернуть себѣ, силою труда и энергіи, подобающее ей значеніе среди европейскихъ народовъ. Онъ понималъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что какъ старыя, обветшалыя формы непригодны для возрожденія Франціи, такъ точно непригодны для ея обновленія люди, принадлежащіе по своимъ убѣжденіямъ, взглядамъ, привычкамъ, симпатіямъ и традиціямъ къ безвозвратно минувшему прошлому, какъ бы славно оно ни было. Вотъ почему онъ выразилъ громко свое убѣжденіе въ словахъ, вызвавшихъ бурю негодованія: „я предчувствую, я сознаю, я возвѣщаю появленіе въ политикѣ новаго соціальнаго слоя“...

Если среди политическихъ партій, цѣплявшихся за старыя формы, встрѣчались такіе люди, какъ Тьеръ, болѣе дорожившіе судьбами Франціи, чѣмъ своими симпатіями и интересами, и смѣло ставшіе на старости лѣтъ подъ знамя республики, то значительное большинство прежнихъ политическихъ дѣятелей, наполнившихъ собою національное собраніе, не мирилось съ гибелью своихъ надеждъ и мечтало возстановить отжившій во Франціи порядокъ. Сознавая за собою силу не идеи, но простого численнаго большинства, на-

ціональное собраніе, какъ бы въ отвѣтъ на домогательства республиканской партіи, не устыдилось свергнуть престарѣлаго государственнаго чловѣка съ поста президента и посадить на его мѣсто открытаго врага республиканскихъ учреждений — маршала Макъ-Магона.

Тьеръ покинулъ свой постъ съ сознаніемъ благородно исполненнаго долга, освободивъ Францію отъ непріятельскихъ войскъ уплатой далеко до срока пятимилліардной контрибуціи. Гамбетта явился выразителемъ чувствъ цѣлой Франціи, когда среди разъяренныхъ криковъ монархическихъ партій онъ, указывая на Тьера, воскликнулъ: „вотъ освободитель территоріи“! Смѣщеніе Тьера указывало на рѣшимость монархическаго большинства повести рѣшительную атаку противъ установленія республики и какими бы то ни было средствами достигнуть водворенія монархической формы правленія. Гамбетта стоялъ на стражѣ угрожаемой республики и зорко слѣдилъ за всѣми происками монархическихъ партій. Правительство, водворившееся 24-го мая 1873 г., объявило себя „правительствомъ борьбы“, стремящимся установить „нравственный порядокъ“. Гамбетта, чувшій опасность, съ удвоенною энергіей разоблачалъ теперь дѣйствія реакціоннаго правительства и бичевалъ передъ цѣлою страной тѣ безнравственныя мѣры, къ которымъ прибѣгалъ „l'ordre moral“. „Васъ обвиняли въ томъ,—говорилъ онъ, обращаясь къ министрамъ Макъ-Магона,—что вы пользовались протекціей имперіи, но вы становитесь ея плагиаторами“. Франція, весьма недвусмысленно, каждымъ новыми выборами въ томъ или другомъ департаментѣ, говорила, что она все больше и больше примыкаетъ къ политическимъ идеямъ молодого вождя республиканской партіи, но монархическое большинство не желало считаться съ голосомъ страны. Заговоръ реакціи приближался къ поставленной цѣли. Монархисты готовились уже къ торжественной встрѣчѣ короля Генриха V; всѣ препятствія, казалось имъ, были устранены, какъ вдругъ изъ Фросдорфа, этого уединеннаго замка, въ которомъ успѣлъ состариться непреклонный внукъ Карла X, пришла роковая для монархическихъ партій вѣсть, что призванный на царство король не желаетъ вступать ни въ какіе компромиссы съ духомъ новаго времени, и что онъ не хочетъ отказаться отъ бѣлаго съ лиліями знамени, этой эмблемы чистой легитимистской монархіи.

Какъ ни слабо было монархическое большинство, но оно все-таки понимало, что одна попытка вернуть Францію къ старому, до-революціонному порядку вызвала бы взрывъ народнаго негодованія, противъ котораго легитимистская монархія не устояла бы и сутокъ. Если твердость монархическихъ принциповъ послѣдняго представителя французскаго легитимизма разрушила затѣи монархическихъ заговорщиковъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ она освободила Францію отъ тяжелаго кошмара болѣе чѣмъ вѣроятной кровавой междоусобной распри. Гамбетта вздохнулъ свободнѣе, но онъ созналъ также необходимость измѣнить свою парламентскую политику. До сихъ поръ онъ настойчиво требовалъ распушенія народнаго собранія и избранія новой палаты-которая должна была окончательно установить республиканскую форму правленія и выработать соотвѣтствующую такой формѣ конституцію. Вѣрный своей политикѣ „результатовъ“, онъ рѣшается измѣнить фронтъ и примириться съ мыслью присвоенія себѣ національнымъ собраніемъ конституціонной власти. Оставаясь въ принципѣ сторонникомъ распушенія національнаго собранія, онъ рѣшается на компромиссъ, лишь бы добиться окончательнаго признанія республиканской формы правленія. Онъ вступаетъ въ переговоры съ колеблющимся между монархіей и республикой лѣвымъ центромъ, не мирившимся съ мыслью о распушеніи, и обѣщаетъ содѣйствіе своей партіи этой умѣренной части національнаго собранія, если только она рѣшится на установленіе республики, какими бы учрежденіями ее ни желали окружить. „Если вы можете — говорилъ онъ, обращаясь къ большинству, — установить монархію, вы ее установите: если вы убѣдитесь, наконецъ, что одна республика возможна, вы установите республику и вы создадите твердое правительство, способное вернуть славу и честь Франціи“.

Болѣе всего опасался Гамбетта продолженія неопредѣленнаго переходнаго состоянія, останавливающаго ту работу, за которую должна была энергически взяться страна, если только она желала выбраться изъ той пропасти, въ которую бросила ее имперія. Усилія Гамбетты, дружно въ этомъ отношеніи работавшаго съ Тьеромъ, были направлены къ тому, чтобы оторвать отъ монархическаго большинства его болѣе патріотическую группу и такимъ образомъ въ самомъ монархическомъ народномъ собраніи образовать хотя бы самое ничтожное большинство въ пользу окончательнаго признанія республики. Эти уси-

лія увѣнчались успѣхомъ. 30-го января 1875 г. національное собрание вотировало установленіе республиканской формы правленія, хотя, правда, большинствомъ лишь одного голоса. Республика, существовавшая фактически, получила наконецъ конституціонную санкцію. Реакціонная партія, сраженная „однимъ“ голосомъ, не терпала, однако, еще надежды вернуть себѣ побѣду, такъ неожиданно вырванную изъ ея рукъ. Она надѣялась, что республиканская партія откажется вотировать конституціонный законъ въ его цѣломъ, что она не согласится на учрежденіе сената въ томъ видѣ, какъ выработано было его устройство, и такимъ образомъ республиканское большинство всего одного голоса распадется какъ карточный домикъ.

Сенатъ, по мнѣнію монархическихъ партій, долженъ былъ служить неприступною крѣпостью ультра-консервативныхъ началъ; онъ долженъ былъ явиться могущественною плотиною противъ натиска республиканской воли; его назначеніе заключалось въ томъ, чтобы противодействовать палатѣ депутатовъ и не допускать прочнаго установленія республики. Гамбетта, а вмѣстѣ съ нимъ и вся республиканская партія, былъ рѣшительнымъ противникомъ учрежденія сената; онъ понималъ макиавелистическій расчетъ монархическаго большинства, и потому боролся со всею энергіей противъ коварныхъ замысловъ реакціи. Но онъ понялъ теперь, что сила была на сторонѣ враговъ, и если республиканская партія не пожертвуетъ началомъ единства власти палаты депутатовъ, то снова самое существованіе республики будетъ поставлено на карту. Рѣшеніе его было принято, уступка по этому вопросу была неизбежна, и Гамбетта еще разъ показалъ себя истинно государственнымъ человекомъ, искуснымъ, осторожнымъ, проникательнымъ, умѣющимъ жертвовать частью, чтобы спасти только цѣлое. Въ горячей рѣчи онъ передалъ свое убѣжденіе почти всей республиканской партіи, высказывая надежду, которая скоро должна была оправдаться, а именно, что орудіе, выкованное противъ республики, обратится противъ ея враговъ.

Въ рѣчи, произнесенной имъ въ національномъ собраніи и подѣйствовавшей даже на болѣе умѣренную часть правой стороны, Гамбетта краснорѣчиво указалъ на всѣ тѣ жертвы, которыя принесены республиканскою партіей ради окончательнаго установленія такого правительства, которое могло бы спокойно, наконецъ,

предаться трудному дѣлу обновленія Франціи, не вынужденное думать лишь о своемъ существованіи. „Мы заставили умолинуть наши опасенія, мы принесли всѣ жертвы государственной необходимости... мы рѣшились капитулировать и отдаться въ ваши руки, лишь бы добиться умѣренного правительства... мы рѣшились на раздѣленіе власти и учрежденіе двухъ палатъ, мы рѣшились предоставить вамъ самую сильную и рѣшительную власть, которая когда-либо существовала въ странѣ демократической... но всего этого вамъ было мало, вы шли еще дальше, требовали еще большаго, вы хотѣли образовать сенатъ, который принадлежалъ бы исключительно вамъ...“ Онъ убѣждалъ монархическія партіи не натягивать черевъ-чуръ струны, не испытывать больше долготерпѣнія и уступчивости республиканской партіи, онъ взывалъ къ ихъ патриотическому чувству, къ ихъ ответственности передъ родиной, высящейся надъ духомъ партій, къ справедливому суду исторіи. Его пламенное слово поколебало дружные ряды монархическихъ партій, и изъ среды послѣднихъ выдѣлилась группа, представившая новый проектъ образованія сената, который могъ быть принятъ республиканскою партіей. Стремился прежде всего къ успокоенію и умиротворенію страны и не желая, чтобы учрежденіе сената сдѣлало ненавистною самую конституцію для всей республиканской партіи, Гамбетта беретъ на себя роль защитника сената, который, какъ онъ выражался, долженъ былъ явиться не чѣмъ инымъ, какъ „великимъ совѣтомъ французскихъ общинъ“. Онъ надѣялся,—и событія доказали, что онъ не заблуждался,—что республиканскій духъ, все болѣе и болѣе проникая въ населеніе, доставитъ побѣду республикѣ и образуетъ въ самомъ сенатѣ, этой „цитадели реакціи“, республиканское большинство.

V.

Вотировавъ конституціонные законы, національное собраніе вынуждено было признать свою миссію,—правда, узурпированную,—выполненною до конца. 31-го декабря 1875 года окончилось его существованіе. Для Франціи должна была, повидимому, начаться новая

эра спокойной и настойчивой работы надъ великою задачею національнаго возрожденія. Отъ выборовъ въ сенатъ и отъ перваго созыва новой палаты депутатовъ зависѣло все будущее Франціи. Гамбетта сознавалъ это, и потому, не зная отдыха, снова принялся за дѣло политической пропаганды, являясь душою того избирательнаго движенія, которое охватило все населеніе. Онъ желалъ обезпечить за новою палатою республиканское большинство и чтобы это большинство состояло изъ людей, горячо преданныхъ демократіи, но вмѣстѣ спокойныхъ, разсудительныхъ, умѣющихъ сдерживать свои благородные порывы и подчасъ даже жертвовать своими идеалами ради достиженія болѣе скромныхъ, но за то осуществимыхъ реформъ. „Нужны люди, — говорилъ онъ, — которые, не жертвуя ничего случаю, шли бы только отъ извѣстнаго къ неизвѣстному, съ терпѣніемъ, съ методомъ, не предпринимая ничего невозможнаго и признавая, что всегда что-либо еще остается дѣлать, даже въ самомъ лучшемъ изъ міровъ“. Онъ настаивалъ, чтобы въ палату были посланы люди, которые, отказываясь отъ неосуществимыхъ въ данное время реформъ и несбыточныхъ надеждъ, настаивали бы прежде всего на водвореніи во Франціи истинной „политической свободы“, которые прежде всего постарались бы сдѣлать населеніе собственнымъ своимъ властелиномъ, установили бы свободу слова, печати, право собираться, которые удовлетворили бы первой потребности свободнаго народа — обладать такими исполнителями власти, которые вмѣсто того, чтобы быть придирчивыми врагами, находящимися въ постоянной борьбѣ съ населеніемъ, являлись бы истинными охранителями порядка и спокойствія, умѣющими ставить законъ выше капризовъ и фантазій своего честолюбія и произвола. Онъ настойчиво предостерегалъ страну отъ увлеченій, отъ несбыточныхъ мечтаній, рекомендуя „политику результатовъ“, какъ единственную, которая отвѣчаетъ истиннымъ интересамъ демократіи, такъ какъ — высказывалъ онъ — онъ желаетъ постепеннаго, но прочнаго успѣха, а вовсе „не коллекціи декретовъ, появляющихся въ „Мониторъ“ только для того, чтобы на слѣдующій день реакція превратила ихъ въ клочки бумаги“.

Въ теченіе шестинедѣльнаго избирательнаго періода Гамбетта не выходилъ изъ вагона, уносившаго его съ одного конца Франціи на другой, какъ только для того, чтобы произносить рѣчи, воодушевляя населеніе, рекомендуя кандидатовъ, укрѣпляя вѣру въ республикан-

скій порядокъ. Патриотическія усилія Гамбетты увѣнчались успѣхомъ: въ палатѣ депутатовъ республиканская партія обладала значительнымъ большинствомъ, сильное республиканское меньшинство въ сенатѣ должно было сдерживать реакціонный пылъ большинства. Гамбетта, избранный въ Парижѣ, Лиллѣ, Марселѣ и Бордо, сдѣлался признаннымъ вождемъ республиканскаго большинства новой палаты, съ вліяніемъ котораго должно было теперь считаться правительство Макъ-Магона, не обладавшее достаточною смѣлостью, чтобы заставить смириться монархическія партіи. Волей-неволей, послѣ крушенія монархическаго заговора 1873 г., реакціонные элементы мирились съ ярлыкомъ республики, но они не желали допустить проникновенія въ государственный строй истинно республиканскихъ началъ. Гамбеттѣ предстояло начать новую борьбу и въ концѣ концовъ одержать новую побѣду.

Послѣ исхода выборовъ 1876 г., доставившихъ торжество молодой, неокрѣпшей еще республикѣ, Гамбетта мечталъ, что „воинствующій періодъ“ республиканской партіи миновалъ навсегда, что наступила пора, забывъ о раздорѣ политическихъ партій, сосредоточить всѣ усилія надъ развитіемъ нравственныхъ и матеріальныхъ интересовъ страны, пережившей такія тяжелыя испытанія. Онъ не страшился предстоящей работы; онъ зналъ и много разъ высказывалъ, что „республика всегда является какъ синдикатъ при страшномъ банкротствѣ, вынужденная къ трудной политической ликвидаціи“. Онъ желалъ лишь, чтобы республика, не ревнивая, не замкнутая, а напротивъ, широко раскрывшая свои двери для всѣхъ дѣтей Франціи, искренно любящихъ свою родину, къ какой бы партіи они ни принадлежали, лишь бы благу этой родины они принесли въ жертву свои династическія симпатіи и привязанности, могла отнынѣ спокойно и энергично работать надъ нетерпѣвшею промедленія двойною задачею — образованія и вооруженія. Наученный горькимъ опытомъ столѣтней исторіи Франціи, онъ желалъ, чтобы республиканская политика являла собою примѣръ умѣренности, законности, постепенности въ проведеніи реформъ и обновленіи общественнаго строя, такъ какъ иначе — выразился онъ — старая язва снова прикинется къ изнуренному организму Франціи. А эта старая язва — боязнь, страхъ, овладѣвающій трудолюбивымъ и консервативнымъ населеніемъ страны; страхъ, которымъ всегда такъ хорошо умѣли пользоваться ~~все~~ ~~полн-~~

тическія реакціи для того, чтобы скрутить народъ и лишить его свободы. Этотъ страхъ далъ силу реакціямъ 1800, 1815, 1831, 1849 гг., онъ сослужилъ службу разбойничьему нападенію 1851 г.; онъ былъ источникомъ реакціи 1871 г. Республиканская партія—говорилъ онъ—должна „взять на себя миссію излечить Францію отъ этой болѣзни страха. Но каково же средство противъ нея? Оно всегда одно и то же, оно всегда оказывается побѣдителемъ, это — благо-разуміе“. Но Гамбетта слишкомъ скоро долженъ былъ убѣдиться, что мечта его пока еще неосуществима, что не назрѣло еще время для дружной, спокойной и единодушной работы всѣхъ сыновъ Франціи надъ великимъ дѣломъ возрожденія націи, что монархическія партіи, легитимисты, орлеанисты, бонапартисты, не скоронили еще своихъ иллюзій и упованій на возвращеніе себѣ прежняго владычества. Гамбеттѣ пришлось еще выдержать не одно сраженіе, не одну бурю, прежде чѣмъ за республикою было, наконецъ, обезпечено твердое, неизблемое существованіе.

Избранный въ президенты бюджетной комиссіи, Гамбетта сразу сталъ лицомъ къ лицу ко всѣмъ наиболѣе важнымъ государственнымъ вопросамъ, и на этомъ тяжеломъ посту онъ снова выказалъ во всемъ блескъ свои рѣдкія способности замѣчательнаго государственнаго человека, соединяющаго глубокія познанія по всѣмъ отраслямъ государственнаго хозяйства съ яснымъ и проникающимъ взглядомъ на задачи республиканскаго правительства въ сложномъ механизмѣ внутреннихъ и внѣшней политики. Постоянно преслѣдуемый, точно неотвязнымъ кошмаромъ, мыслью объ испытанномъ Франціей позорѣ и терзаемый мучительною болью незакрывающейся раны, причиненной отсѣченіемъ Эльзаса и Лотарингіи, Гамбетта съ патріотическою страстью работалъ надъ военнымъ бюджетомъ, отстаивая интересы арміи и дѣлаясь какъ бы инициаторомъ крупныхъ военныхъ реформъ. Его рѣчи по вопросамъ военной реорганизаціи Франціи занимаютъ цѣлые томы, и если эти рѣчи увлекали вложенною въ нихъ ораторскою силою и блескомъ чарующаго краснорѣчія, то еще болѣе удивляли онѣ, даже специалистовъ, глубокимъ изученіемъ всѣхъ техническихъ тонкостей военнаго дѣла. Та страсть, тотъ огонь, который онъ вносилъ въ защиту всего, что касалось только могущества и блага французской арміи, создали ему въ ея средѣ безчисленныхъ приверженцевъ; эти симпатіи арміи къ энергичному вождю молодой рес-

публики содѣйствовали, безспорно, укрѣпленію новаго порядка; онѣ убѣждали монархическія партіи, что въ случаѣ какой-либо новой преступной затѣи армія не станетъ на ихъ сторону. Отстаивая интересы арміи, Гамбеттъ приходилось касаться недавняго, живого еще прошлаго, которое онъ выводилъ на справку съ правдивою и безпощадною суровостію. Бонапартистская партія, не только не скрывшаяся подъ землю, но питавшая еще иллюзію относительно возможности восстановленія имперіи, каждый разъ, что это прошлое призывалось къ отвѣту, со смѣлостью безстыдства поднимала голову, пытаясь оттолкнуть отъ себя страшную отвѣтственность за расчлененіе Франціи и доказывая, что всѣ декреты о низложеніи имперіи бессильны противъ воли націи. Буря негодованія поднималась въ груди Гамбетты и онъ возвышалъ свой карающій голосъ: „вы можете смѣяться надъ декретами о низложеніи, но есть нѣчто, что вѣчно останется неизгладимымъ пятномъ... и это нѣчто, это пятно—преступленіе... Это преступленіе, вы не изгладите его изъ памяти Франціи. Она скажетъ... — и, прерываемый неистовыми криками бонапартистовъ, онъ говорилъ, обращаясь къ палатѣ:—вы скажете то же, что сказала вся нація, что скажетъ исторія:—существуетъ поворъ, существуетъ преступленіе, которые никогда не могутъ быть изгнаны; преступленіе зовется 2-е декабря! стыдъ, это — утрата Эльзаса и Лотарингіи“!..

Если бонапартистская партія, въ этотъ періодъ борьбы молодой республики за свое существованіе, дерзала поднимать свою преступную голову, то только потому, что она сознавала, что злоба и ненависть къ торжеству республиканской формы правленія превратили въ ея союзниковъ и сообщниковъ всѣ остальные монархическія партіи. Эта печальная для Франціи коалиція повела дружно свою атаку противъ республики, но она на каждомъ шагѣ встрѣчала въ Гамбеттѣ мужественнаго противника, тѣмъ болѣе мощнаго, что онъ стоялъ теперь на почвѣ закона, на почвѣ конституціи. Завязавшаяся борьба была тѣмъ болѣе опасна, что на сторонѣ вражескаго лагеря стоялъ сенатъ, въ которомъ большинство, хотя и слабое, было къ услугамъ монархическихъ партій. Война между сенатомъ и палатою депутатовъ разгорѣлась изъ-за вопроса о правѣ сената касаться бюджета, утвержденнаго палатою. Правительство маршала Макъ-Магона, лавируя между робкимъ еще большинствомъ палаты депутатовъ и заносчивымъ

большинствомъ сената, подчинилось вліянію монархическихъ партій и предложило палатѣ признать за сенатомъ право, выѣшиваться въ вопросъ, касавшійся бюджета.

Гамбетта, всегда умѣренный, всегда осторожный, всегда готовый на уступки, когда онѣ не заключаютъ въ себѣ угрозы для будущаго, но непреклонный и неустрашимый, когда дѣло касалось прочности республиканскаго режима, возсталъ со всею свойственною ему энергіей противъ незаконныхъ и неконституціонныхъ притязаній сената. Въ рѣчи, носящей на себѣ печать глубокаго ума и умѣющаго смотрѣть въ даль государственнаго человѣка, онъ рѣзкими чертами, опираясь на историческій опытъ народовъ, развилъ передъ палатой конституціонную доктрину и, поднимая вопросъ на вышину политики принциповъ, убѣждалъ большинство не поступаться той прерогативой, которая составляетъ главную силу палаты депутатовъ, вышедшей изъ всеобщей подачи голосовъ. „Не дайте—говорилъ онъ—похитить у себя это право. Вы о немъ пожалѣете, но тогда, когда уже будетъ поздно“. Республиканское большинство палаты послушалось голоса своего вождя, который понималъ, что есть случаи, когда самая политика результатовъ требуетъ скорѣе принять брошенный вызовъ на войну, чѣмъ рѣшиться на уступку, ведущую къ самоубійству. Борьба между республиканскою палатой и монархическимъ сенатомъ обострилась.

И въ то самое время, когда Гамбетта грудью отстаивалъ противъ натиска монархическихъ партій неприкосновенныя конституціонныя права молодой и неокрылившейся еще республики, на него начали сыпаться удары съ противоположной стороны, изъ лагеря нетерпимыхъ, старозавѣтныхъ республиканцевъ, не желавшихъ понять, что практическая государственная жизнь далеко не всегда идетъ рука объ руку съ отвлеченными теоріями, какъ бы онѣ ни были заманчивы и привлекательны. Его стали обвинять, что онъ отступается отъ строгихъ республиканскихъ принциповъ, что онъ преслѣдуетъ политику сдѣловъ, политику „оппортунизма“. Эти упреки, эти обвиненія не смущали Гамбетту, не заставляли его своротить съ избраннаго имъ политическаго пути, но онъ выѣстъ съ тѣмъ не хотѣлъ оставлять ихъ безъ отвѣта. Онъ появлялся на сходкахъ, встрѣчаясь лицомъ къ лицу съ своими обвинителями изъ крайняго республиканскаго лагеря и презирая ту популярность, которая при-

обрѣтается громкими, трескучими фразами, лживыми увѣреніями и неисполнимыми обѣщаніями, убѣждать не поддаваться безплодной суматохѣ, надѣлавшей въ прошломъ уже столько зла, и не сѣять розни и вражды среди республиканской партіи, которую караулятъ враги новаго порядка“. „Я не признаю—говорилъ онъ—другой политики, кромѣ той, которой мы слѣдовали, политики умѣренности, политики согласія, политики разума, политики результатовъ и, такъ какъ уже произнесено это слово, я скажу—политики оппортунизма“. Онъ вѣрилъ въ здравый смыслъ наученной суровымъ опытомъ французской демократіи, и опасность съ этой стороны его не пугала.

Опасность надвигалась съ противоположной стороны. Съ каждымъ днемъ онъ все болѣе убѣждался, что монархическія партіи, враждебныя въ дѣйствительности между собою, объединяются какимъ-то невидимымъ, точно таинственнымъ вліяніемъ. Онъ рѣшился сорвать маску съ этой притаившейся и дѣйствовавшей точно изъ подземелья силы и громко назвать его по имени. Таинственное вліяніе принадлежало опасному, осторожному и неразборчивому въ средствахъ, но искусному борцу — клерикализму! Гамбетта призналъ необходимымъ вступить съ нимъ въ отчаянный поединокъ и во что бы то ни стало раздавить его силу. Но въ этой войнѣ Гамбетта былъ тѣмъ же осторожнымъ и пронырливымъ политическимъ борцомъ, который понимаетъ, что бываютъ побѣды, стоящія пораженій. Вступая въ борьбу съ политическимъ вліяніемъ клерикализма, онъ старался прежде всего успокоить религіозное чувство католическаго населенія Франціи. На религію никто не долженъ нападать, никто не смѣетъ ей угрожать. Свобода совѣсти является однимъ изъ великихъ догматовъ современнаго общества. „Когда мы говоримъ о клерикальной партіи, мы не обращаемся ни къ религіи, ни къ искреннимъ католикамъ, ни къ національному духовенству. Мы желаемъ только, чтобы духовенство принадлежало церкви; мы желаемъ, чтобы церковная каеэдра не превращалась въ политическую трибуну; мы желаемъ, чтобы свобода выборовъ была обезпечена, чтобы обезпечена была свободная борьба политическихъ мнѣній, ничего не имѣющихъ общаго съ клерикальными вопросами“.

Гамбетта раскрылъ передъ глазами цѣлой Франціи, — забрасываемый бѣшенными криками и пѣною изступленія враждебнаго лагеря, — какъ клерикальная паутина опутываетъ съ каждымъ днемъ

все больше и больше страну, какъ невидимая рука клерикализма стягиваетъ всѣ нити реакціи, какъ его пагубное таинственное вліяніе распространяется и захватываетъ правительственные органы власти. „Клерикализмъ, вотъ врагъ!“ — воскликнулъ Гамбетта, заканчивая свою грозную обвинительную рѣчь противъ происковъ клерикальной партіи. Маска была сорвана, клерикализму нечего было болѣе скрываться; ошеломленный, онъ принялъ вызовъ и бросился въ открытую борьбу. Парламентскій переворотъ 16-го мая 1877 г. былъ отвѣтомъ клерикализма на рѣчь Гамбетты.

VI.

Президентъ республики маршалъ Макъ-Магонъ, подчинившись вліянію клерикальной партіи и увлеченный совѣтами злѣйшихъ враговъ новаго порядка, безъ всякой осязательной причины, безъ того, чтобы правительство потерпѣло пораженіе въ палатѣ, смѣнилъ умѣренное республиканское министерство Жюля Симона и поручилъ составленіе новаго кабинета герцогу Бролю, старинному антагонисту республиканскаго режима и никогда не скрывавшему своихъ монархическихъ вождѣлѣній. Образованіе кабинета герцога Брolia, составившаго свое министерство изъ людей, дышавшихъ ненавистью къ республикѣ и унаслѣдовавшихъ приемы второй имперіи, имѣло одинъ лишь смыслъ, одно назначеніе — борьбу на жизнь и на смерть съ новымъ порядкомъ и насильственное водвореніе, наперекоръ большинству палаты, наперекоръ волѣ націи, отжившаго свое время во Франціи монархическаго государственнаго строя. Республиканская партія, пораженная, но не сраженная этою дерзновенною попыткой раздавить молодую республику, тѣсно сомкнула свои ряды и, сознавая, что все будущее Франціи поставлено на карту, не теряя времени, начала отчаянный бой съ клерикально-монархическою коалиціей.

Гамбетта, сильный единодушнымъ довѣріемъ всей республиканской партіи, къ какимъ бы оттѣнкамъ она ни принадлежала, отъ умѣреннаго лѣваго центра до крайней радикальной лѣвой стороны, мужественно взялъ въ свои руки знамя сопротивленія и явился безстрашнымъ выразителемъ негодующаго и оскорбленнаго патріотизма.

Лишь только сделались известны решения президента республики заставить министерство Жюли Симона вынудить герцога Брайа, Гамбетта настоять на созвании во общее собрание всех групп республиканской партии и тутъ, выражая уверенность, что твердость, энергия и решительность большинства палаты помогут разбить все преступные замыслы враговъ существующихъ учреждений, онъ предложилъ обсудить формулу перехода къ очереднымъ заботамъ, въ которой палата выразила бы свое непоколебимое решение не поступиться ни однимъ изъ тѣхъ республиканскихъ принциповъ, которые во внешней политикѣ обезпечиваютъ миръ, а во внутренней — порядокъ и благоденствіе страны. Эту формулу перехода къ очереднымъ заботамъ на другой день Гамбетта развилъ въ засѣданіи палаты, въ рѣчи, которая является образцомъ не только ораторскаго краснорѣчія, но и государственной мудрости. Въ выраженіяхъ, преисполненныхъ сдержанной силой и гордаго спокойствія, онъ обрисовалъ политическое положеніе Франціи, надѣявшейся вступить, наконецъ, къ защищенію отъ свирѣпыхъ бурь гавань для того, чтобы посвятить себя трудному дѣлу нравственнаго и матеріальнаго обновленія, и вдругъ, „какъ ударъ молніи среди яснаго неба“, страна узнаетъ, что она снова повергнута въ одинъ изъ самыхъ опасныхъ политическихъ кризисовъ, разразившихся благодаря лишь компрометирующему, губительному монархически-клерикальному вліянію, которому подчиняется президентъ республики. Палата должна — говорилъ онъ — со всею искренностью и честностью обратиться къ президенту и сказать ему: „васъ обманываютъ, васъ совѣтуютъ дурную политику... мы умоляемъ васъ вернуться къ конституціонной правдѣ, такъ какъ эта правда составляетъ и вашу защиту, и нашу... Ваши совѣтники — это ваши враги, которые толкаютъ васъ къ неминуемой гибели... Передъ волею Франціи все должно преклониться... страна достаточно ясно высказала, что она желаетъ республику, республику мудрую, мирную, прогрессивную... Страна громко заявила, что она желаетъ быть избавленной отъ этого періодическаго кошмара, отъ этихъ людей реакціи, которые какъ коршуны налетаютъ въ дни фатальныхъ кризисовъ...“

Патріотическія предостереженія Гамбетты оказались тщетны. Реакція закусилъ удила, и душа новаго кабинета, бонаясь Фурту, появился въ засѣданіи палаты 18-го мая лишь для того, чтобы прочесть декретъ о мѣсячной отсрочкѣ засѣданій, въ

шей только задуманному распущенію палаты, собранной всего годъ тому назадъ, и новымъ выборамъ, которые должны были быть произведены подъ такимъ правительственнымъ давленіемъ, какому могла бы позавидовать даже вторая имперія. Если реакціонная партія, сильная врученною ей дискреціонною правительственною властью, не теряла времени, и если ей достаточно было какихъ-нибудь нѣсколькихъ дней, чтобы взволновать море политической жизни Франціи, смѣнить весь административный персоналъ, устранить съ своихъ мѣстъ всѣхъ, кто только заподозривается въ республиканскихъ убѣжденіяхъ, и замѣнить ихъ преданными агентами клерикально-монархической коалиціи, если она смѣшила разсылать во всѣ концы Франціи циркуляры и распоряженія, обнаруживающіе, съ какою неистовою смѣлостью она набрасывала арканъ на всѣ живыя силы страны, надѣясь задушить всякій протестъ, каждый порывъ къ свободному проявленію убѣжденій и чувствъ, — то не дремала и республиканская партія, предоставившая Гамбеттѣ руководящую роль въ борьбѣ противъ отчаяннаго натиска всѣхъ обломковъ монархическихъ партій, дружно бросившихся на приступъ новаго строя, подъ мрачнымъ крыломъ клерикализма.

Въ этотъ тяжелый моментъ политической жизни, предшествовавшій распущенію палаты и такъ напоминавшій собою другой періодъ исторіи Франціи, когда безумная попытка герцога Броа, того времени князя Полиньяка, повлекла за собою революціонный взрывъ, стоившій престола Карлу X, Гамбетта ни на одну секунду не утратилъ хладнокровія и увѣренности въ торжествѣ права надъ силою. Онъ тотчасъ же обратился къ республиканскому большинству палаты съ предложеніемъ отвѣтить на дерзкій вызовъ реакціи манифестомъ, обращеннымъ къ цѣлой націи, въ которомъ заявлялся бы громкій протестъ противъ задуманнаго насилія. Предложеніе было принято единогласно, и на другой же день появилось воззваніе къ народу, подписанное 363 депутатами, дружно сплотившимися на защиту республики. Къ протесту большинства палаты присоединилось и республиканское меньшинство сената. Гамбетта не довольствовался организаціей сопротивленія среди лишь республиканской партіи въ палатѣ и сенатѣ; онъ желалъ, чтобы вся республиканская Франція возвысилась въ этотъ критическій часъ свой голосъ, чтобы вся она возстала грудью противъ открытаго бунта враговъ новаго порядка. Онъ обратился съ

призываетъ къ общественному мнѣнію, созвалъ представителей всѣхъ крупныхъ органовъ печати, безъ различія оттѣнковъ ихъ республиканскаго направленія, и образовалъ „главный комитетъ сопротивленія“, оказавшій громадную услугу республикѣ въ эти тревожные дни, когда вся Франція объята была ужасомъ передъ страшнымъ призракомъ новой международной войны. Всѣ авторитетные голоса, Эмиль де-Жирарденъ, Эдмондъ Абу, Лемоанъ и множество другихъ тотчасъ откликнулись на патріотическій призывъ Гамбетты. Воодушевляя къ борьбѣ всѣ республиканскія силы Франціи, Гамбетта въ то же самое время напрягалъ всю свою энергію, чтобы не допустить это сопротивленіе сойти съ почвы закона и порядка. Увѣренный въ нравственной силѣ и превосходствѣ республиканской партіи, онъ желалъ, чтобы въ борьбѣ съ произволомъ она одержала побѣду, не прибѣгая къ революціонному насилию, всегда такъ дорого обходившемуся націи.

Онъ сдерживалъ страстные порывы университетской учащейся молодежи, готовый броситься въ борьбу и принести себя въ жертву дорогимъ идеаламъ, и говорилъ ей: „я не желаю приобщать васъ къ воинствующей политикѣ. Ваше мѣсто не на страстномъ форумѣ, гдѣ происходитъ борьба“..., и онъ убѣждалъ молодежь сохранять спокойствіе и терпѣніе, всецѣло отдаться наукѣ, памятуя, что наступитъ часъ, когда она станетъ лицомъ къ лицу съ великою задачею вернуть родинѣ, своимъ трудомъ и патріотизмомъ, ея славное назначеніе. Остерегая молодежь, эту надежду Франціи, отъ преждевременнаго участія въ политической борьбѣ, Гамбетта съ тѣмъ большею энергіей проповѣдовалъ законную борьбу среди окрѣпшихъ элементовъ страны. Пользуясь временемъ между отсрочкой засѣданій палаты и приближавшимся распущеніемъ, онъ предпринималъ новый походъ, объѣзжая Францію и разнося по всей странѣ свою неотразимо дѣйствовавшую на умъ и чувство населенія пропаганду.

Его рѣчи въ Амьенѣ, Аббевилѣ разносились по всѣмъ концамъ государства, разъясняя смыслъ завязавшейся борьбы и поднимая духъ городского и легко запугиваемаго сельскаго населенія. Къ тому моменту, когда созвана была палата лишь для того, чтобы выслушать декретъ о распущеніи, всѣ шансы борьбы были уже сосчитаны, и Гамбетта, заранее увѣренный въ побѣдѣ, явился грознымъ обвинителемъ реакціоннаго правительства. „Да,—говорилъ онъ,—я являюсь передъ вами тѣмъ, чѣмъ я желаю быть, человекомъ,

который громко обвиняет васъ въ томъ, что вы преступно стремитесь къ насильственному перевороту... я знаю, что ваши постыдныя попытки никого не могутъ устрашать и тревожить. Я знаю и говорю это съ сознаніемъ моей отвѣтственности, что наказаніе и искупленіе быстро постигло бы тѣхъ преступныхъ авантюристовъ, которые осмѣлились бы рѣшиться на такое предпріятіе"... Онъ не устранился бросить въ лицо заранѣе торжествовавшему свою побѣду правительству контръ-революціи, правительству ультрамонтановъ и іезуитовъ, презрительную кличку *gouvernement des prêtres, ministère des curés*.

Болѣе двухъ часовъ стоялъ Гамбетта на трибунѣ палаты, отстаивая съ негодованіемъ заподозрѣнную честь арміи, на преступное сообщничество которой держала рассчитывать реакція, отстаивая достоинство распускаемой палаты, только-что принявшей за великое дѣло исцѣленія Франціи, и клеймя своимъ словомъ, точно раскаленнымъ желѣзомъ, анти-патріотическую политику реакціоннаго министерства, живущаго только обманомъ и насиліемъ. Въшешныя крики, оскорбительныя выходки, самая грубая брань на каждомъ почти словѣ прерывали его бичующую рѣчь, но ничто не могло смутить оратора, и онъ закончилъ ее, призывая населеніе не сходить въ завязавшейся борьбѣ съ почвы законности и не утрачивать спокойствія передъ голосомъ народа; „всѣ, — произнесъ онъ, — и безъ всякаго исключенія, должны будутъ преклонить свою голову“.

Четыре мѣсяца, протекшіе между распущеніемъ палаты и новыми выборами, которые должны были положить конецъ вакханаліи реакціи, лучше всего показали, какіе глубокіе корни успѣла пустить въ странѣ на видъ еще хилая республика. Министерство герцога Броля, — мѣтко охарактеризованное одною фразою Эмиля де-Жирандена: „Князь Полиньякъ! на тебя клеветаютъ, тебя сравниваютъ съ герцогомъ Бролемъ“, — не останавливалось ни передъ чѣмъ. Позанявъ напрокатъ изъ арсенала имперіи всѣ оружія произвола, оно должно было убѣдиться, что старое оружіе заржавѣло. Оно старалось окончательно задуть движеніе, охватившее всю Францію, и заставить умолкнуть тотъ голосъ, который наполнялъ собою цѣлую страну. По мѣрѣ приближенія выборовъ, этотъ голосъ становился все увѣреннѣе и отважнѣе, и въ знаменитой рѣчи, произнесенной въ Лиллѣ 15-го августа, въ которой Гамбетта возвѣщалъ граду-

щее торжество республики и окончательное поражение бонапартизма и клерикализма, онъ двумя словами формулировалъ будущее положеніе правительства Макъ-Магона послѣ выборовъ 14-го октября. „Когда единственная власть, передъ которой все должно преклоняться, произнесетъ свое рѣшеніе, не думайте, чтобы кто-либо въ состояніи былъ ей противиться... Когда Франція возвыситъ свой державный голосъ, вѣрьте мнѣ, придется или подчиниться, или покинуть свой цость“.

Эта краткая формула: „se soumettre ou se démettre“, точно освѣтившая все политическое положеніе и въ одинъ мигъ облетѣвшая не только Францію, но всю Европу, произвела на правительство, вышедшее изъ заговора монархическо-клерикальной коалиціи, удручающее впечатлѣніе перваго удара погребальнаго колокола. Безсильное въ своемъ произволѣ, оно возбудило противъ Гамбетты и противъ всѣхъ газетъ, напечатавшихъ произнесенную имъ въ Лиллѣ рѣчь, судебное преслѣдованіе.

Грохко выраженное Гамбеттѣ сочувствіе всей либеральной Франціи, самыхъ консервативныхъ ея элементовъ, было отвѣтомъ правительству на возбужденный имъ процессъ. Защитникомъ Гамбетты выступилъ консервативный адвокатъ, бывшій *bâtonnier* Аллу; онъ писалъ своему кліенту, принимая на себя защиту: „вопросъ поставленъ ясно: монархія или республика, личное или парламентарное правительство; нужно, чтобы страна еще разъ твердо выразила свою волю... нужно рѣшеніе ясное, опредѣленное, отъ котораго никто не могъ бы уклониться. Это то, что вы высказали съ твердостью и увѣренностью въ Лиллѣ“... Судьи, развращенные имперіей и не утратившіе старой привычки „оказывать услуги“ правительству, вмѣсто того, чтобы постановить безпристрастное и независимое рѣшеніе, усмотрѣли въ формулѣ: „se soumettre ou se démettre“ — оскорбленіе президента и приговорили Гамбетту къ трехмѣсячному заключенію въ тюрьмѣ и къ 2.000 штрафу. Этотъ приговоръ еще болѣе возвысилъ авторитетъ Гамбетты и послужилъ лишь поводомъ къ безчисленнымъ оваціямъ, которыя всюду встрѣчалъ теперь неустрашимый ораторъ.

Не приговоръ, вынесенный ему привычными угождать судьями, — другое событіе, неизмѣримо болѣе важное, удручало его теперь, вызывая минутное смущеніе и опасеніе, какъ бы новый ударъ, неожиданнымъ обрушившійся на республиканскую партію, не поколебалъ друж-

ные ряды воодушевленного къ борьбѣ большинства. Такимъ событіемъ была внезапная смерть перваго президента третьей французской республики, человѣка, на котораго вся республиканская партія взирала какъ на заранѣе опредѣленнаго и естественнаго преемника Макъ-Магона. Кончина Тьера, лишь подъ конецъ своей долгой жизни обратившагося къ республикѣ, но обратившагося къ ней съ глубокою вѣрою и непреклоннымъ убѣжденіемъ, что въ ея нѣтъ спасенія для Франціи, — вызвала такую же печаль и скорбь среди республиканской партіи, какъ ликование и радость среди реакціоннаго лагеря. Въ этомъ послѣднемъ лагерѣ питали надежду, что какъ только вопросъ поставленъ будетъ прямо: Макъ-Магонъ или Гамбетта, — то всѣ новообращенные республиканцы, отрѣпившіеся отъ монархическаго принципа и послѣдовавшіе за Тьеромъ, толпою отшатнутся отъ призрака „радикальной“ республики Гамбетты и примкнутъ снова къ рядамъ монархистовъ. Одно возникновеніе такой надежды заставило тотчасъ вождя республиканской партіи рѣшиться на шагъ, еще разъ доказавшій глубокую искренность его патріотизма и полное отрѣшеніе отъ всякихъ эгоистическихъ и самолюбивыхъ интересовъ. Какъ ни обильны были доказательства, доставленные всею политическою карьерою Гамбетты, что никто болѣе его не олицетворяетъ въ себѣ „человѣка порядка“, всецѣло преданнаго задачѣ спокойнаго, строго-законнаго движенія впередъ, но тѣмъ не менѣе опасеніе, что вопли монархистовъ, крики о красной республикѣ съ „диктаторомъ“ въ качествѣ президента, способны поколебать наиболѣе умѣренную и робкую часть республиканской партіи и посѣять среди нея пагубный раздоръ, побудило Гамбетту тотчасъ положить конецъ всякой неизвѣстности и сомнѣніямъ относительно будущаго кандидата на постъ президента. Гамбетта, устраняя свою кандидатуру, столь естественную въ виду пріобрѣтенной имъ громадной популярности и еще болѣе въ виду оказанныхъ имъ республикѣ услугъ, порѣшилъ выставить кандидатуру президента распущенной палаты депутатовъ, Жюля Греви.

Реакціонное правительство, пользуясь безпокойствомъ и тревогою, вызванными среди республиканскаго большинства смертью осторожнаго и опытнаго государственнаго человѣка, старалось эксплуатировать исчезновеніе Тьера и запугать населеніе Франціи страшною тѣнью новаго конвента. Оно заставило маршала Макъ-Магона подписать воззваніе къ народу, въ которомъ республиканское большинство ста-

рой палаты громко обвинялось въ стремленіи замѣнить конституціонный порядокъ демагогическимъ деспотизмомъ. Мало того, правительство смѣло заявляло офіціальную кандидатуру и твердую рѣшимость не подчиниться волѣ народа, если эта воля не совпадетъ съ волею правительства его, Макъ-Магона. „Я не подчинюсь—говорилось въ воззваніи—требованіямъ демагогів. Я не могу превратиться въ орудіе радикализма, ни покинуть тотъ постъ, на который я поставленъ конституціей“... Эта прокламація, служившая отвѣтомъ на формулу Гамбетты: „se soumettre ou se démettre“, вызвала всеобщее изумленіе. Вся Франція усмотрѣла въ ней безумно смѣло заявленную рѣшимость на государственный переворотъ, — рѣшимость не остановиться даже передъ междоусобною войною. Страхъ, испытанный Гамбеттою при мысли, что смерть Тьера можетъ заставить поколебаться дружный натискъ республиканской партіи всѣхъ оттѣнковъ, исчезъ, какъ только онъ увидѣлъ то впечатлѣніе, которое произвело воззваніе Макъ-Магона на самыхъ умѣренныхъ республиканцевъ. „Не является ли французская революція лишь вымысломъ историковъ и романистовъ? Не живемъ ли мы подъ властью Людовика XIV, говорившаго: „государство, это я!“, или подъ господствомъ Людовика XV, произнесшаго: „послѣ меня потопъ!“?.. Безсмертныя эпохи 1789, 1830, 1848, 1870, неразрушимые протесты свободы всѣхъ противъ власти одного, не является ли вы только баснями? Да, мы думаемъ, что вамъ снится сонъ, когда мы читаемъ эту прокламацію, или, вѣрнѣе, этотъ приказъ, обращенный къ французскому народу. Съ нимъ ли такъ говорятъ, и понимаютъ ли тѣ, которые такъ говорятъ, что они говорятъ... Послѣ столькихъ поколѣній, легшихъ костями за нашу свободу, насъ хотятъ снова привести къ казармѣ. Нѣтъ, никогда, ни Вурбоны, ни Наполеонъ, не говорили съ нами такимъ языкомъ“...

Такъ писали и говорили представители самой умѣренной фракціи республиканской партіи. Никто, однако, съ такою отвагою не опрокинулся на поднявшаго свое забрало врага, какъ Гамбетта въ своей замѣчательной рѣчи, произнесенной имъ за нѣсколько дней до выборовъ. Онъ показалъ жадно прислушивавшемуся къ его слову народу, въ какую бездну влечетъ его реакція, какое значеніе имѣетъ тотъ новый плебисцитъ, который потребовало правительство, и, сравнивая его съ плебисцитомъ 1870 года, когда отъ народнаго вердикта зависѣло наказаніе или спасеніе націи, онъ припоминалъ:

„Вамъ говорили въ 1870 году, что вѣрнѣе будетъ миръ; мы отвѣчали: будетъ война! вамъ говорили:—будетъ свободой; мы отвѣчали: рабствомъ! вамъ говорили, что онъ обезпечитъ устойчивость; мы отвѣчали: вызоветъ революцію! вамъ говорили, что онъ доставитъ величіе Франціи; мы отвѣчали: нашествіе! И народъ, захваченный врасплохъ, запуганный или невѣжественный, отдался въ руки властелина, и вы знаете послѣдствія того, и вы знаете, съ какою быстротою Немезида, блуждающая въ исторіи, наказала нашу несчастную, предавшую себя страну. Тогда все рушилось, и наши арміи, и наше правительство, и администрація, и что еще болѣе мучительно—наша слава и наша честь“... Гамбетта начерталъ яркую картину того конечнаго униженія и позора, въ которомъ его родина нашла бы свою смерть, еслибы только она поддавалась минутной слабости и на угрозу насилія не отвѣтила гордымъ презрѣніемъ.

Гамбетта отдернулъ такимъ образомъ завѣсу, скрывавшую ту руку, которая объединяла легитимистовъ, орлеанистовъ и бонапартистовъ: „на другой день послѣ выборовъ,—говорилъ онъ,—побѣжденною должна быть не та или другая враждебная республикѣ партія, но партія, которая ведетъ всѣ остальные, которая ихъ покрываетъ, дисциплинируетъ и толкаетъ въ борьбу... Мы говорили: клерикализмъ—вотъ врагъ; народное голосованіе должно провозгласить: клерикализмъ—вотъ побѣжденный“. Патріотическія усилія Гамбетты не пропали даромъ. Республика вышла торжествующею изъ выборовъ 14-го октября 1877 г. Несмотря на всѣ козни и злоупотребленія власти, республиканское большинство 363 вернулось въ новую палату почти нетронутымъ. Жестокая пятидесятичная борьба между старымъ и новымъ порядкомъ должна была, повидимому, прекратиться, но агонизирующая реакція продолжала руками цѣпляться за власть. Какъ самъ президентъ республики не желалъ преклониться передъ рѣшеніемъ народа и покинуть съ достоинствомъ свой высшій постъ, такъ не желалъ онъ проститься и съ министерствомъ герцога Броля, столь рѣшительно проигравшаго сраженіе.

7-го ноября открылись засѣданія палаты депутатовъ, и республиканское большинство, встрѣтившись съ упрямою, бравирующею властью, тотчасъ же приняло мужественныя рѣшенія. Оно образовало комитетъ изъ 18 депутатовъ и снабдило его широкими полномочіями. Гамбетта явился душою этого комитета, составленнаго

изъ наиболѣ вліятельныхъ представителей республиканскаго большинства. Первымъ актомъ этого комитета было внесеніе въ палату предложенія о назначеніи комиссіи изъ 33 лицъ, на которую возложено было бы парламентское разслѣдованіе всѣхъ дѣйствій министерства герцога Броля, направленныхъ къ противозаконному давленію на свободу выборовъ 14-го октября. Рѣчь, произнесенная Гамбеттою во время бурныхъ и страстныхъ засѣданій, посвященныхъ обсужденію этого предложенія, противъ котораго съ какою-то нужестою отчаянія возстала вся реакціонная партія, была настоящимъ обвинительнымъ актомъ противъ правительства 16-го мая, преслѣдовавшаго одну единъ цѣль—задумать республику.

Съ документами въ рукахъ Гамбетта гонимъ преступную борьбу реакціоннаго министерства противъ существующихъ учрежденій и законовъ страны, тѣ недостойныя маневры, къ которымъ прибѣгало оно, чтобы обмануть населеніе и увлечь его волю, ту сознательную ложь, клевету, застраиваніе, къ которымъ прилагалась государственная печать. Онъ признавалъ министерство къ стыду, совѣсти, онъ требовалъ, чтобы правительство преклонилось передъ ясно выраженной народною волею, не упорствовало въ безплодной и безумной борьбѣ и не увлекалось иллюзіей, что сенатъ еще разъ сдѣлается сообщникомъ заговорщиковъ и дастъ свое согласіе на новое распушеніе палаты. „Еслибы это было возможно,—предупреждалъ онъ мимоходомъ сенатъ, — то сенатъ пересталъ бы быть верхнею палатою, онъ превратился бы въ конвентъ, въ тотъ конвентъ о которомъ вы говорите такъ много; но потому только, что это былъ бы цѣлый конвентъ, онъ не былъ бы ни менѣе опасенъ, ни менѣе преступенъ“. Огромное большинство вотировало назначеніе парламентскаго разслѣдованія; сенатъ, куда министерство бросилось за помощью, сдѣлалъ попытку, несмотря на авторитетные голоса Дюфора и Лабулэ, говорившаго: „намъ предлагаютъ подложить огонь въ угли, которые гаснутъ, и приложить старанія къ тому, чтобы снова возобновился конфликтъ“, — оказать противодѣйствіе палатѣ депутатовъ, — но онъ долженъ былъ уступить передъ твердою рѣшимостью республиканскаго большинства. Разбитому министерству герцога Броля не оставалось ничего другого какъ сойти со сцены. Но президентъ республики, подстрекаемый людьми, которымъ нечего было больше терять, продолжалъ упорствовать, не желая примириться съ горькою необходимостью пр

знать торжество формулы Гамбетты: „se soumettre ou se démettre“. Онъ послушался совѣта своихъ друзей, болѣе опасныхъ, чѣмъ самые злые враги, и образовалъ внѣ-парламентское министерство подѣ предсѣдательствомъ генерала Рошбуэ, составленное изъ реакціонеровъ, по преимуществу бывшихъ официальныхъ кандидатовъ, побитыхъ на выборахъ 14-го октября.

Положеніе сдѣлалось натянутымъ до крайности. Кризисъ обострился. Въ политической атмосферѣ сталъ распространяться запахъ пороха. Реакція готовилась дать послѣднее кровавое сраженіе республикѣ. Зловѣщіе слухи быстро облетѣли Парижъ. Военный заговоръ, осадное положеніе, арестованіе Гамбетты и остальныхъ членовъ комитета 18-ти, разогнаніе палаты военною силою—вотъ каковы были намѣренія, которыхъ не скрывала больше реакціонная печать. Новый государственный переворотъ, ужасъ междоусобной войны ясно обрисовывались на политическомъ горизонтѣ. Гамбетта взглянулъ въ лицо надвигавшейся опасности и бодро пошелъ ей на встрѣчу по твердому пути закона и права, энергически поддерживаемый всею республиканскою партіей. Палата депутатовъ, вдохновляемая Гамбеттой, встрѣтила министерство предполагаемаго государственнаго переворота мужественною резолюціей, въ которой она заявляла, что „такъ какъ министерство 23-го ноября является отрицаніемъ народныхъ правъ и парламентскихъ прерогативъ, и такъ какъ оно способно только обострить кризисъ, который, начиная съ 16-го мая, такъ жестоко тяготѣетъ надъ дѣлами“, — то она отказывается вступать съ нимъ въ какія-либо сношенія. На требованіе кредитовъ со стороны новаго министерства, Гамбетта, при шумныхъ рукоплесканіяхъ палаты, бросилъ ему въ отвѣтъ гордые слова: „наше золото, наши налоги, всѣ наши пожертвованія мы предоставимъ имъ только тогда, когда они преклонятся передъ волею націи, выраженной 14-го октября, когда рѣшенъ будетъ вопросъ, управляетъ ли во Франціи сама нація, или ей приказываетъ одинъ человѣкъ“.

Дѣятельность Гамбетты, какъ и всегда, но особенно въ этотъ критическій моментъ, когда онъ сознавалъ, что готовый окончательно восторжествовать республикѣ приходится теперь отразить послѣдній, столько же безумный, сколько и преступный натискъ ея внутреннихъ враговъ,—не ограничивалась одною палатою. Онъ появился среди ~~парижскаго~~ парижскаго населенія, всегда легко воспламеняющагося и уже доста-

точно наэлектризованного, стараясь сдерживать его порывистыя увлеченія и убѣждая его сохранять до послѣдней минуты спокойствіе и не давать своимъ врагамъ повода легко эксплуатировать какую-нибудь необдуманную вспышку. Но въ то же время онъ предостерегалъ правительство отъ употребленія силы, съ увѣренностью предвѣщая, что она разобьется о силу цѣлаго народа, готоваго уже броситься на защиту своихъ правъ. Съ тѣмъ политическимъ тактомъ, который всегда отличалъ Гамбетту, онъ предложилъ на открывшуюся въ одномъ изъ парижскихъ округовъ вакансію депутата кандидатуру Эмили де-Жирандена, новообращеннаго республиканца, со страстью и талантомъ боровшагося въ своей газетѣ противъ монархическихъ заговорщиковъ.

Явившись въ избирательное собраніе IX округа вмѣстѣ съ ветераномъ республиканской идеи и въ то же время славнымъ поэтомъ Франціи, Викторомъ Гюго, желавшимъ своимъ авторитетнымъ словомъ поддержать кандидатуру талантливаго журналиста, Гамбетта въ послѣдній разъ возвысилъ свой голосъ противъ замышлявшагося государственнаго переворота, на путь котораго стремительно увлекала нерѣшительнаго и стоявшаго въ раздумьѣ Макъ-Магона отчаянная клика бонапартистовъ. Этотъ голосъ, какъ бы воплощавшій въ себѣ совѣсть и протестъ цѣлой націи, не могъ не внести еще большихъ колебаній въ душу „честнаго солдата“, президента республики. „Вопросъ поставленъ категорически,—говорилъ Гамбетта,—Франція высказалась, но ей не повинуются. Однако у нея есть представители, обладающіе хладнокровіемъ, твердостью, рѣшившіеся разъ навсегда покончить съ вопросомъ: самодержавна Франція, или она только рабыня. Если Франція рабыня... Но она дала уже отвѣтъ, она создала большинство, которому указала не выходить изъ предѣловъ законности, подъ однимъ лишь условіемъ, чтобы никто не осмѣливался преступать закона. Мы стоимъ передъ новымъ вопросомъ: сила окажетъ ли сопротивленіе праву? Большинство выполнить свою обязанность до конца, и я отвѣчаю вамъ, что сила и право окажутся на одной сторонѣ“... Внимательное положеніе, занятое республиканскою партіей, предводимой сдержаннымъ, но рѣшительнымъ вождемъ, смутило ряды реакціи и дало имъ увѣренности въ побѣдѣ. Право восторжествовало надъ реакціей, и президентъ республики долженъ былъ „подчиниться“.

ной волѣ народа. 13-го декабря 1877 г. возвыщено было наконецъ образованіе республиканскаго министерства. Такъ окончилась упорная семилѣтняя борьба между республикою и монархіею, и если первая благополучно миновала самый опасный кризисъ, который ей когда-либо приходилось переживать, и вышла побѣдительницею, еще болѣе окрѣпшею и сильною, изъ этой лютой борьбы, то своимъ торжествомъ она обязана была Гамбеттѣ болѣе, чѣмъ кому-либо другому. Этотъ періодъ семилѣтней тяжелой борьбы республики противъ дружнаго натиска монархическо-клерикальной реакціи составляетъ по отношенію къ внутренней политикѣ столь же выдающійся моментъ въ жизни и дѣятельности Гамбетты, какъ и тотъ другой, также семилѣтний періодъ внѣшней борьбы 1870—1871 г., когда, движимый любовью и вѣрою въ свою родину, онъ не хотѣлъ мириться съ мыслью о раздробленіи Франціи и сдѣлалъ все, что было только въ человѣческихъ силахъ, чтобы спасти по крайней мѣрѣ ея національное достоинство.

VII.

Съ окончаніемъ борьбы за прочность республиканскихъ учрежденій, оканчивается и лучшій, самый свѣтлый періодъ въ политической жизни Гамбетты. Онъ ясно сознавалъ, что окрѣпшая республика, вышедшая побѣдительницею изъ борьбы съ своими врагами, не должна успокаиваться на лаврахъ, что отнынѣ она должна энергически приняться за осуществленіе тѣхъ демократическихъ реформъ, которыя однѣ въ состояніи были возродить Францію и раскрыть передъ нею широкіе горизонты славнаго будущаго. Онъ желалъ, чтобы республика взялась за нихъ твердою рукою, но чтобы вѣстѣ съ тѣмъ она шла въ ихъ осуществленіи спокойно и осторожно, постепенно двигаясь отъ извѣстнаго къ неизвѣстному, не хватаясь за невозможное, не бросаясь въ опасные эксперименты, не обманывая никого несбыточными надеждами на внезапное, волшебное преобразованіе всего общественнаго строя. Гамбетта чувствовалъ въ *себѣ* достаточно силы, чтобы взять на себя работу проведенія демократическихъ реформъ въ самую жизнь, но для этого ему нужна

была правительственная власть и дружное содѣйствіе большинства народнаго представительства. Но если, съ одной стороны, истинный парламентаризмъ, его строгая правда не настолько укоренились еще во Франціи, чтобы вынудить президента республики поручить Гамбеттѣ, какъ наиболѣе вліятельному вождю республиканской партіи, составленіе кабинета, то съ другой судьба, какъ бы завистливая къ слишкомъ быстрому его возвышенію, къ великимъ заслугамъ, оказаннымъ его родиной, къ той популярности, которую онъ снискалъ себѣ не подлаживаніемъ къ общественнымъ страстямъ, не заискиваніемъ, не лестью нездоровымъ инстинктамъ толпы, а прямымъ, неуклоннымъ исполненіемъ своего долга и безкорыстною, честною службою Франціи,—начинала сѣять вокругъ него недоброжелательство, недовѣріе и подозрѣніе. Къ понятной враждѣ монархическихъ партій сталъ присоединяться ядъ недовѣрія среди крайнихъ элементовъ радикальной партіи, не желавшей мириться съ политическимъ тактомъ Гамбетты, съ его умѣренностью, осторожностью, словомъ, съ тою политикою, которую прозвали ироническимъ именемъ оппортунизма. Если Гамбетта не отступалъ отъ власти, то онъ не желалъ и добиваться ея, не желалъ навязывать себя; несмотря, однако, на враждебное къ нему отношеніе, исходившее изъ двухъ диаметрально противоположныхъ лагерей, вліяніе его въ палатѣ было слишкомъ велико, авторитетъ его слишкомъ силенъ, чтобы люди, облеченные властью, не прислушивались къ его голосу и не совѣщались съ нимъ по всѣмъ возникавшимъ важнымъ политическимъ вопросамъ. Такое законное вліяніе Гамбетты послужило, однако, поводомъ къ новому противъ него обвиненію въ пользованіи „подпольною“ властью, къ обвиненію, громко выражаемому, какъ тѣми, которые справедливо видѣли въ немъ враждебнаго имъ и наиболѣе сильнаго поборника республиканскихъ идей, такъ и тѣми, которые бросали ему въ глаза укоръ въ измѣнѣ старому знамени, только потому, что онъ желалъ идти впередъ, ощущывая подъ собою почву, а не кидался съ зажмуренными глазами и сломя голову въ какую-то тьму неизвѣстности. Гамбетта зналъ, что всякое *salto mortale*, одинаково, какъ въ реакціонной, такъ и въ радикальной политикѣ, ведетъ къ неминуемой гибели. Обвиненія не утрушали его, и онъ продолжалъ идти по прямому и твердому пути, развивая, палатѣ, такъ и внѣ палаты, свои идеи и указывая на тѣ

которые должны были обеспечить и прочность республики, и величіе Франціи.

Республика—повторялъ онъ—не должна быть пустымъ словомъ, ярлыкомъ, одною теоріей; она должна явиться живою дѣйствительностью, обеспечивающею развитіе всѣхъ національныхъ силъ, во всѣхъ направленіяхъ, и гарантирующею „юношѣ—школу, зрѣлому человѣку—трудъ, Франціи—миръ, и гражданину—свободу“. Республиканское правительство во внутренней политикѣ должно служить „выраженіемъ закона“, во внѣшней—„выраженіемъ справедливости“, такъ какъ въ концѣ концовъ „и для международныхъ отношеній существуетъ такая же справедливость, какъ и для отдѣльной націи“. Но Франція до поры до времени не должна задаваться неосуществимыми задачами. „Для Франціи—говорилъ онъ—не пробилъ еще часъ устремлять свой взоръ слишкомъ высоко или слишкомъ вдаль. Обреченная на тяжелую работу своего обновленія, она не должна знать другихъ средствъ для достиженія своей цѣли, какъ умственное развитіе, образованіе и развитіе матеріальнаго благосостоянія. Только въ тотъ день, когда она осуществитъ этотъ двойной прогрессъ и сдѣлается самою образованною націей, оставаясь самою свободною,—только тогда на Францію всѣ посмотрятъ съ подобающимъ уваженіемъ“... Республиканская партія не должна задаваться иными цѣлями,—„другая работа будетъ удѣломъ уже послѣдующихъ поколѣній“, современная же демократія не должна знать другого девиза, какъ „порядокъ, благоразуміе, твердость и патріотизмъ“.

Гамбетта не ограничивался общими указаніями на тѣ задачи, которые должна преслѣдовать республика; онъ указывалъ и на тотъ путь, которымъ должна идти Франція для ихъ осуществленія. Въ нѣсколькихъ рѣчахъ, и по преимуществу въ рѣчахъ, произнесенныхъ имъ въ Романѣ и Греноблѣ и произведшихъ глубокое впечатлѣніе во всей странѣ, онъ развилъ правительственную программу республиканской партіи, точно опредѣливъ тѣ демократическія реформы, къ которымъ она обязана приступить. Гамбетта, въ своей романской рѣчи, окидывая взоромъ недавнее прошлое, припомнилъ, какъ семь лѣтъ тому назадъ, тотчасъ послѣ постигшихъ Францію бѣдствій, онъ доказывалъ необходимость для демократіи сдѣлаться правительственною партіей, партіей порядка и устойчивости, такъ какъ это един-

ственная въ странѣ партія, способная возродить Францію, вернуть ей ея утраченное положеніе и обратить къ ней снова симпатіи цѣлаго міра. Съ тѣхъ поръ демократической партіи пришлось выдержать жестокую борьбу съ врагами республики, и борьба эта велась на почвѣ конституціи, выработанной противниками республиканскихъ учреждений. Тѣмъ не менѣе эта конституція оказалась достаточно сильна, чтобы не допустить торжества насилія; она доказала свою живучесть, — и этого достаточно для убѣжденія всѣхъ благоразумныхъ людей въ томъ, что не настало время для ея колебанія, для ломки созданныхъ ею учреждений. Эта конституція должна выдержать послѣднюю пробу—спокойный переходъ власти президента отъ одного лица къ другому. „Помните, господа, — говорилъ онъ, — что мы только тогда утвердимъ республику на скалѣ, когда мы въ состояніи будемъ побѣдоносно отвѣтить всѣмъ поборникамъ монархическихъ реставрацій, толкующихъ о прочности порядка. Въ теченіе цѣлаго столѣтія, за исключеніемъ случая перехода власти отъ Людовика XVIII къ Карлу X, никогда власть въ нашей странѣ не переходила прямо, во имя закона, къ преемнику. Вотъ почему я призываю всѣми силами моей души и умоляю всѣхъ республиканцевъ подавить всѣ порывы нетерпѣнія и предоставить республиканскому механизму свободный просторъ; онъ докажетъ, что мы обрѣли истинную прочность, обусловливаемую дѣйствіемъ закона“ ... Онъ желалъ поэтому, чтобы президентъ республики Макъ-Магонъ, возведенный на этотъ постъ ея врагами и вовсе не сочувствующій новымъ учрежденіямъ, достигъ до предѣльнаго срока своихъ полномочій и при ненарушимомъ спокойствіи покинулъ власть и передалъ ее другому избраннику.

Таковъ первый этапъ республики. Второй ея этапъ, это необходимыя реформы. „Не будемъ, однако, — говорилъ Гамбетта, — чрезмерно расширять поле нашихъ замысловъ: съумѣемъ ихъ ограничить; это лучшее средство доставить имъ удовлетвореніе“ ... Приступая къ указанію того, что возможно и осуществимо, онъ говорилъ: „я врагъ того, что зовется *tabula rasa*, я такой же врагъ злоупотребленій; но я желаю, чтобы при совершеніи реформъ принимались во вниманіе время, традиціи, даже предрасудки, такъ какъ они существуютъ, составляютъ силу, и для того, чтобы ихъ разрушить, необходимо дѣйствовать безъ увлеченія и безъ страсти“ ... Перечисляя необходимыя реформы, онъ указывалъ прежде всего на необходимость очищенія

магистратуры, дабы Франція не представляла страннаго зрѣлища правительства, желаннаго и признаннаго цѣлою страной и встрѣчающаго противодѣйствіе только среди чиновниковъ, агентовъ власти. Касаясь щекотливой реформы несмѣняемости магистратуры, онъ говорилъ: „нѣтъ сомнѣнія, что я не хочу, чтобы судья былъ смѣняемъ по произволу, чтобы онъ сдѣлался орудіемъ въ рукахъ правительства, чтобы рѣшенія его были только исполненіемъ данныхъ ему приказовъ. Такой судья вызываетъ во мнѣ ужасъ, отвращеніе и протестъ“. Но видѣвъ, что тѣмъ вся магистратура, завѣщанная Франціи правительствомъ, утонувшимъ „въ стыдѣ и грязи“, и усвоившая себѣ привычку быть лишь исполнительницею приказаній, должна быть преобразована, и новый порядокъ долженъ создать дѣйствительно честную, независимую магистратуру; тогда принципъ несмѣняемости явится защитой для государства, защитой для гражданъ и защитой для самого судьи.

Слѣдующая необходимая реформа должна коснуться вопроса клерикальнаго, отношеній между государствомъ и церковью. Гамбетта не признавалъ своевременнымъ полное отдѣленіе церкви отъ государства; онъ не считалъ полезнымъ отнѣну конкордата; онъ желалъ лишь, чтобы государство высвободилось изъ плѣна клерикализма, чтобы прекратилась та правильная осада, которую давно уже начала клерикальная партія. Онъ показывалъ, какъ церковь каждый день пробиваетъ новую брешь въ государственномъ зданіи, какъ въ 1849 г. она атаковала первоначальное образованіе; какъ въ 1850 г. она набросилась на среднее образованіе и какъ, наконецъ, въ 1876 г. она стала подкапываться подъ высшее образованіе. Всюду, куда только могъ проникнуть духъ іезуитизма, столь враждебный современной мысли, клерикалы старались проникнуть и утвердить свое господство. „Въ ихъ исторіи — прибавлялъ онъ — есть та особенность, что іезуитизмъ возвышается всегда, когда родина падаетъ“. Такому захвату церковью области чисто государственной долженъ быть положенъ конецъ, и Гамбетта указывалъ на цѣлый рядъ мѣръ, которыя могутъ оградить государство отъ пагубнаго вліянія клерикализма, безъ того однако, чтобы религіозныя интересы страны были въ чемъ-либо нарушены. „Мы не враги религіи, — говорилъ онъ, — мы являемся, напротивъ, слугами свободы совѣсти, полными уваженія ко всѣмъ религіознымъ и философскимъ убѣжденіямъ“. Будучи врагомъ всякаго насилія, онъ оди-

наково не желалъ насилія государственной власти относительно церкви, религіи, какъ не желалъ насилія церкви надъ государствомъ. Проникнутый убѣжденіемъ въ святости принципа свободы совѣсти и уваженія ко всѣмъ религіознымъ убѣжденіямъ, Гамбетта понималъ, что всякое насиліе въ этомъ отношеніи отзовется вредно на интересахъ республики. Уже раньше, обращаясь ко всѣмъ французскимъ женщинамъ и убѣждая ихъ содѣйствовать, у домашняго очага, возрожденію Франціи путемъ укрѣпленія республики, онъ говорилъ: „я чувствую себя настолько свободнымъ, что могу въ одно и то же время быть благоговѣйнымъ поклонникомъ Іоанна д'Арка и почитателемъ и ученикомъ Вольтера“, который являлся „истиннымъ королемъ ума и философъ XVIII вѣка“.

Строгое подчиненіе закону, равно обязательному для всѣхъ, отмена всякихъ изыятій и привилегій для лицъ, посвящающихъ себя духовному званію, недопущеніе никакого вмѣшательства церкви въ свѣтскую область государственной жизни — Гамбетта признавалъ все это вполне достаточнымъ для водворенія мира между церковью и государствомъ.

Наконецъ, главная реформа, которой требовалъ настойчиво Гамбетта, это реформа образованія. Реформа эта должна сдѣлаться поглощающею страстью всей республиканской партіи. Для этой реформы — говорилъ онъ — не нужно щадить никакихъ средствъ, такъ какъ этотъ расходъ „возмѣстится пониженіемъ суммъ, требуемыхъ содержаніемъ тюремъ, достоинствомъ арміи, достоинствомъ промышленности, увеличеніемъ всѣхъ производительныхъ силъ страны“. Развивая свои идеи относительно реформы первоначальнаго, средняго и высшаго образованія, онъ выражалъ, что только широкое распространеніе образованія послужитъ началомъ для разрѣшенія тяготящихъ надъ міромъ социальныхъ проблемъ, которое можетъ совершиться лишь по частямъ, путемъ ежедневнаго прогресса и взаимной доброй воли. Опредѣливъ затѣмъ немногія финансовыя реформы и высказавшись за принципъ свободы торговли, сближающей народы и открывающей эру мира и труда на прочномъ основаніи гармоніи интересовъ всего человѣчества, Гамбетта убѣждалъ республиканскую партію не выходить въ ближайшемъ будущемъ за предѣлы намѣченной имъ программы и не заноситься въ область несбыточныхъ реформъ.

Развивая такимъ образомъ передъ цѣлой Франціей политиче-

скую программу республиканской партіи, Гамбетта старался внести успокоеніе въ умы, взволнованные страстной борьбой, затѣянной монархическою коалиціей, и содѣйствовать благопріятному для республики исходу муниципальных выборовъ, отъ которыхъ въ свою очередь зависѣло, при приближавшемся обновленіи сената, перемѣщеніе большинства изъ лагерь монархическаго въ лагерь республиканскій. Монархическое большинство въ сенатѣ оставалось послѣднимъ орудіемъ противъ республики въ рукахъ реакціи, и послѣдняя напрягала теперь всѣ свои уцѣлѣвшія силы, чтобы не быть выбитой изъ этого редута. Она старалась дискредитировать лучшихъ представителей республиканской партіи, не стѣсняясь распространять самую беззастѣнчивую клевету, полагая, что дерзость нападенія можетъ ввести въ заблужденіе общественное мнѣніе. Гамбетта служилъ всегда главною мишенью для клеветническихъ выстрѣловъ реакціи, но, привычный къ маневрамъ своихъ враговъ, онъ оставался всегда хладнокровнымъ, не обращая вниманія на ту грязь, которою его старались забрасывать. Лишь изрѣдка отвѣчалъ онъ презрительнымъ словомъ на вымышленныя обвиненія все болѣе и болѣе разгоравшейся ненависти, но это слово обладало такою силою, что вызывало приступы бѣшенства у его многочисленныхъ противниковъ. Такъ, на длинную рѣчь, произнесенную въ палатѣ бывшимъ министромъ внутреннихъ дѣлъ правительства 16-го мая, Фурту, доказывавшаго, что избраніе его въ депутаты не сопровождалось никакими злоупотребленіями, и что къ послѣднимъ прибѣгала только республиканская партія, Гамбетта ограничился лишь однимъ словомъ, брошеннымъ ему въ лицо: „это ложь“! Избраніе Фурту было кассировано огромнымъ большинствомъ, и онъ воспользовался не-парламентскимъ выраженіемъ Гамбетты, чтобы вызвать его на дуэль. Гамбетта, несмотря на убѣжденія его друзей, принялъ вызовъ, и дуэль состоялась.

Если Гамбетта относился равнодушно къ сыпавшимся на него нападеніямъ и отвѣчалъ лишь презрѣніемъ на направленную лично противъ него клевету, то не такъ относился онъ къ клеветѣ, возводимой на цѣлую республиканскую партію и на близкихъ ему друзей. Клевета, направленная противъ одного изъ ближайшихъ его сотрудниковъ, Шальмель-Лакура, послужила поводомъ къ тому, что Гамбетта вспомнилъ, что онъ по прежнему принадлежитъ къ

адвокатскому сословию. Онъ снова облекся въ адвокатскую тогу и явился въ Palais de Justice въ качествѣ защитника своего друга Шальмель-Лакура, въ процессѣ о клеветѣ. Защита эта, въ высокой степени замѣчательная по силѣ и сжатости аргументаціи, по своему чарующему краснорѣчію, по мастерству обобщеній, доставила поводъ Гамбеттѣ всецѣло развить свой взглядъ на свободу печати, которою никогда не должны прикрываться самыя низменныя страсти, превращающія сплошь и рядомъ перо журналиста въ ядовитое оружіе злобы, личной ненависти и клеветы. „Я являюсь передъ судомъ, — говорилъ онъ, — движимый глубокимъ убѣжденіемъ, что общественныя права не могутъ, въ извѣстный моментъ, обходиться безъ покровительства правосудія, и что извѣстная доля въ защитѣ самыхъ необходимыхъ вольностей, а именно свободы печати, принадлежитъ магистратурѣ. Я говорю о покровительствѣ и гарантіяхъ, которыя должны быть даны частной жизни, личной чести, законному уваженію гражданъ и общественныхъ дѣятелей. Если судъ не будетъ оказывать дѣйствительнаго покровительства чести и репутаціи лицъ, тогда, при общемъ сознаніи беззащитности отъ перваго встрѣчнаго, наступитъ одно изъ двухъ: или народятся жестокіе нравы, гдѣ каждый вынужденъ будетъ защищаться лично противъ грубости и наглости, или мы представимъ собою зрѣлище общества, гдѣ законъ сдѣлается немошнымъ, магистратура безсильною въ виду ожесточенныхъ гражданъ, гдѣ оружіе замѣнитъ разумъ, гдѣ свобода обсужденія, самая свобода печати, находящаяся необходимыя границы въ уваженіи личности, въ неприкосновенности индивидуальной совѣсти, останется безъ всякой защиты. Это — необходимыя границы; вамъ, господа, болѣе чѣмъ кому-либо другому, принадлежитъ право ихъ установить и заставить ихъ уважать; если вы ихъ не установите, если вы не сдѣлаетесь истинными защитниками печати, — тогда, послѣ утраты нравовъ, утрачена будетъ и свобода“.

Адвокатская тога не прикрыла политическаго дѣятеля, и Гамбетта, въ этой послѣдней своей судебной рѣчи, не безъ гордости могъ окинуть взоромъ тяжелый, но славный путь, пройденный съ того времени, когда онъ смѣлою рукою поднималъ знамя республики. Гордость его въ эту минуту была болѣе, чѣмъ когда-либо, законна: послѣднее укрѣпленіе, за которымъ укрывалась реакція, было взято съ боя —

обновленный выборами 5-го января 1879 года сенатъ обладалъ теперь республиканскимъ большинствомъ. Двѣ недѣли спустя, Макъ-Магонъ, убѣдившись въ безповоротномъ торжествѣ республиканскихъ учреждений и утративъ не только надежду на всякую иллюзію относительно возможности попытки какой-либо монархической реставраціи, сложилъ съ себя званіе президента республики. Друзья и сторонники Гамбетты—а число ихъ подавляло число его враговъ—хотѣли во что бы то ни стало выставить его кандидатуру на постъ президента, но Гамбетта положилъ свое рѣшительное veto и въ полномъ смыслѣ этого слова сдѣлался „великимъ избирателемъ“ Гриви. Парламентская правда и логика требовали, чтобы новый президентъ республики обратился къ вождю республиканской партіи для составленія новаго министерства. Гриви предпочелъ обратиться къ Ваддингтону, не обладавшему такимъ подавляющимъ авторитетомъ, какъ Гамбетта. Не призванный къ власти, Гамбетта громаднымъ большинствомъ былъ избранъ въ президенты палаты депутатовъ.

VIII.

Въ продолженіе почти трехъ лѣтъ, до самаго распушенія палаты, избранной 14-го октября 1877 г., Гамбетта сохранялъ за собою постъ президента палаты депутатовъ. Но какъ ни почетно было занимаемое имъ положеніе, оно совершенно не отвѣчало тѣмъ надеждамъ и ожиданіямъ, которыя связаны были съ именемъ Гамбетты. Вся республиканская Франція видѣла въ немъ своего законнаго, признаннаго вождя; она прислушивалась къ его голосу; она жаждала по каждому серьезному возникавшему вопросу—было ли то въ сферѣ внутренней политики или внѣшней—знать его мнѣніе; она дожидалась, пока раздастся его краснорѣчивое слово. Франція довѣряла его сильному, пронзательному уму, его глубокому политическому такту, его патріотическому чувству. Вліяніе, пріобрѣтенное имъ въ странѣ, было велико; ни президентъ республики, не желавшій, подъ предлогомъ, что не наступило будто бы еще его время, призвать Гамбетту на отвѣтственный постъ президента совѣта министровъ, ни министерство, къ какой бы республиканской фракціи оно ни

принадлежало, — не могли не интересоваться его мнѣніемъ и не обращаться къ нему за совѣтомъ по всѣмъ важнымъ вопросамъ государственной жизни. Въ силу своего положенія, Гамбетта волей-неволей не могъ ограничиваться почетною, но невліятельною ролью обыкновеннаго президента палаты депутатовъ, онъ не могъ замкнуться въ свои узкія функции, и друзья и враги его сплошь и рядомъ вынуждали его покидать президентское кресло, всходить на трибуну и принимать участіе во всѣхъ самыхъ бурныхъ дебатахъ. Да и самъ онъ, дѣятельный, энергичный, связавшій всю свою жизнь съ судьбою своей родины, не могъ отказаться отъ осуществленія своей готовой политической программы и добровольно сойти, къ радости и ликованію враждебной республикѣ партіи, съ политической сцены. Нужно было, чтобы Гамбетта пересталъ быть самимъ собою, чтобы не чувствовалось его вліяніе, чтобы онъ не оказывалъ извѣстнаго давленія на тѣхъ, кто стоялъ у кормила правленія. Между тѣмъ эта исключительная роль вождя республиканской партіи ловко эксплуатировалась его врагами, обвинявшими его въ пользованіи подпольною властью, при чемъ онъ не несъ бы отвѣтственности за правительственную политику. Эти враги хорошо знали, что Гамбетта не отказывался отъ власти, что онъ охотно принялъ бы на себя отвѣтственный постъ министра-президента, еслибы только онъ былъ ему предложенъ, и что если дѣйствительно создавалось не совсѣмъ нормальное парламентское положеніе, то менѣе всѣхъ былъ виновенъ въ томъ тотъ, кто не устранился принять на себя диктаторскую власть въ то время, когда Франція обречена была на погибель.

Гамбетта былъ слишкомъ гордъ, чтобы добиваться власти и заставить президента республики, рискуя даже ослабить его авторитетъ, поручить ему образованіе министерства; но вѣсть съ тѣмъ онъ слишкомъ любилъ свою родину, чтобы отказаться отъ своего законнаго вліянія, пріобрѣтеннаго имъ цѣною великихъ услугъ, оказанныхъ имъ Франціи. Онъ пользовался этимъ вліяніемъ, поддерживая каждое республиканское министерство; онъ не отказывался отъ „диктатуры убѣжденія“, чтобы побуждать правительство двигать Францію впередъ по пути ея обновленія. Не разъ ему приходилось горячо отстаивать передъ палатой свое право, какъ право cadaго депутата подавать правительству тотъ или другой совѣтъ. По его инициативѣ, по его совѣту, приняты были тѣ двѣ правительственныя мѣры, которыми

ознаменовался первый періодъ президента Гриви. Эти двѣ мѣры состояли въ перенесеніи палатъ изъ Версаля въ Парижъ и въ амнистію, которая должна была покрыть забвеніемъ всѣ преступленія междоусобной войны 1871 г.

Вопросъ о всеобщей амнистіи сдѣлался жгучимъ вопросомъ во Франціи. Гамбетта сознавалъ, что пока кровавый призракъ прошлаго будетъ стоять на пути будущаго, до тѣхъ поръ не настанетъ желанная эра успокоенія и умиротворенія взволнованныхъ умовъ. Онъ былъ убѣжденъ, что высшее соображеніе, *raison d'état*, государственная необходимость, требуетъ, чтобы внутренняя политика была освобождена отъ того кошмара, который мѣшаетъ странѣ дышать полною грудью. Между тѣмъ амнистія встрѣчала упорное сопротивленіе не только среди враговъ республики, въ расчеты которыхъ естественно не могло входить окончательное умиротвореніе Франціи, но и среди самого правительства, опасавшагося, что такая мѣра, какъ всеобщая амнистія, снова пробудитъ страсти крайнихъ или даже революціонныхъ элементовъ. Самъ президентъ республики, Гриви, громко высказывался противъ своевременности и цѣлесообразности такого правительственнаго акта. Гамбетта употребилъ все свое вліяніе, чтобы склонить если не самого президента республики, то президента совѣта Фрейсінэ и все министерство къ своему взгляду. Вліяніе это оказалось настолько могущественно, что министерство внесло въ палату предложеніе о всеобщей амнистіи. Тогда съ трибуны палаты депутатовъ раздалось громкое обвиненіе министерства, что оно лишено собственной воли, что оно является лишь послушнымъ исполнителемъ скрывающейся, подпольной власти одного лишь человека, что оно исполняетъ лишь приказанія Гамбетты, дѣйствующаго за кулисами. Гамбетта воспользовался бурными преніями, возникшими въ палатѣ по вопросу объ амнистіи, чтобы не только опредѣлить съ полною откровенностью свое политическое положеніе, но чтобы увлечь еще разъ за собою колеблющееся республиканское большинство. „Я остаюсь на своемъ мѣстѣ, на томъ посту,—говорилъ онъ,—на который я призванъ былъ вашижъ довѣріемъ. Но это значило бы не понимать всей отвѣтственности, еслибы, когда пробилъ часъ серьезнаго, глубокаго обсужденія пользы, своевременности, важности государственной мѣры, я держался того мнѣнія, что я могу, какъ эгоистъ и равнодушный зритель, смотрѣть на то, что дѣлаютъ другіе, не требуя моей доли

участія... Вы желаете, чтобы я молчалъ, чтобы я не убѣждалъ моихъ друзей, стоящихъ у власти, не покушаясь на ихъ независимость, чтобы я не говорилъ имъ: да, существуетъ высшій интересъ, который налагаетъ свои требованія, существуетъ государственная необходимость, раскрывающая глаза даже нежелающимъ видѣть. Въ странѣ всеобщей подачи голосовъ наступаетъ минута, когда во что бы то ни стало нужно набросить покрывало на преступленія, слабости, низости и всяческія излишества"... И очертивъ двѣ постоянно борющіяся политики, политику безостановочнаго движенія впередъ, непрерывныхъ нововведеній и реформъ и — политику неподвижности, долгаго сопротивленія назрѣвшимъ общественнымъ требованіямъ, онъ противопоставилъ еще разъ отвлеченной политикѣ практическую политику оппортунизма, руководящую въ своихъ рѣшеніяхъ необходимостью давать своевременное удовлетвореніе свободно высказываемымъ желаніямъ и требованіямъ націи. Прислушиваться къ голосу народа, пристально вглядываться въ созерцающіяся среди этого народа эволюціи, расчищать ему путь спокойнаго движенія впередъ — вотъ задача республиканскаго правительства, сильнаго тѣмъ, что оно управляетъ не именемъ и не въ интересахъ той или другой династіи, а во имя закона и цѣлой Франціи. Постоянно преслѣдуемый мыслью о будущемъ Франціи и о неотложной гигантской работѣ, требующей совокупныхъ и энергическихъ усилій всѣхъ дѣтей Франціи, онъ говорилъ ей представителямъ: „необходимо, чтобы вы закрыли наконецъ книгу этихъ послѣднихъ десяти лѣтъ, чтобы вы поставили надгробный памятникъ забвенія надъ всѣми преступленіями и слѣдами коммуны, чтобы вы сказали всѣмъ, что есть одна только Франція и одна республика“. Краснорѣчивое слово Гамбетты еще разъ одержало побѣду, и амнистія была вотирована громаднымъ большинствомъ.

Точно тяжелый камень свалился съ груди цѣлой націи, утомленной борьбою и раздорами партій и ежечаснымъ напоминаніемъ о тяжелыхъ дняхъ междоусобной войны. Могучая волна благодарности еще разъ прилила къ тому, въ комъ она видѣла лучшаго выразителя своихъ надеждъ и желаній. Шумныя оваціи встрѣчали Гамбетту всюду, гдѣ бы онъ ни появлялся. Популярность его достигла своего зенита; его вліяніе, основанное исключительно на нравственной силѣ, помимо его воли, бросало тѣнь на правительство, отъ котораго онъ былъ устраненъ. Вліяніе это уязвляло его вра-

говъ, число которыхъ возросло съ каждою новою его побѣдою. Одни изъ нихъ руководились въ своемъ злобномъ чувствѣ къ великому трибуну ненавистью къ республиканскимъ идеямъ, другіе — мелкимъ самолюбіемъ, завистью, прикрываемыми наружными опасеніемъ передъ призракѣмъ личной, диктаторской власти Гамбетты; наконецъ, третьи, теоретики революціи, не могли простить ему его неустанной проповѣди порядка и уваженія къ закону, обвиняя его въ томъ, что онъ является тормазомъ, мѣшающимъ осуществленію ихъ утопическихъ замысловъ. Презирая клевету, какъ бы шедшую по его пятамъ, Гамбетта не останавливался на пути своего служенія, политически воспитывая массы своими рѣчами и указывая правительству ту цѣль, къ которой оно должно стремиться. Если онъ считалъ своимъ правомъ, покидая президентское кресло, возвышать свой голосъ въ палатѣ, когда ей приходилось разрѣшать крупныя политическія вопросы, то тѣмъ болѣе онъ признавалъ себя свободнымъ, появляясь среди населенія въ томъ или другомъ городѣ, высказывать свой взглядъ на политику, которой должна слѣдовать Франція, и устанавливая вѣхи на скользкомъ пути ея будущаго.

Голосъ Гамбетты былъ настолько могущественъ, что къ нему прислушивались не только внутри Франціи, но и внѣ ея предѣловъ, и если каждая новая рѣчь Гамбетты вызывала шумъ и злобное шипѣніе его враговъ, то нѣкоторые его рѣчи имѣли свойство раздражать щепетильность не только враговъ республики, но и недавняго внѣшняго врага Франціи. Такъ именно случилось съ рѣчью, произнесенною имъ во время морскихъ празднествъ въ Шербурѣ. Отвѣчая на патріотическій тостъ, въ которомъ прозвучала болѣзненная нота, вызвавшая напомниманіе о страшномъ погромѣ 1870 г., онъ произнесъ: „бываютъ часы въ исторіи народовъ, когда право подвергается затмѣнію; но въ эти злополучныя часы народы болѣе, чѣмъ когда-либо, должны сдѣлаться собственными своими властелинами, не обращая своего взора къ одной какой-либо личности. Великія возмездія исходятъ изъ права: мы или наши дѣти можемъ на нихъ надѣяться, такъ какъ будущее для всѣхъ открыто“... Возражая на часто слышавшееся обвиненіе, что республика слишкомъ исключительно поглощена мыслью объ арміи, онъ говорилъ: „не воинственный духъ диктуетъ и воодушевляетъ культъ арміи; этотъ культъ вы-

зывается необходимостью, послѣ того, какъ мы видѣли Францію упавшею столь низко, поднять ее, дабы она могла снова занять свое мѣсто въ мірѣ. Если наши сердца бьются, то лишь ради такой цѣли, а вовсе не ради кроваваго идеала; мы питаемъ этотъ культъ для того, чтобы мы могли рассчитывать на будущее и убѣдиться, существуетъ ли на землѣ непоколебимая справедливость, наступающая въ свое время и въ свой часъ "... Слова эти, въ сущности не заключавшія никакой угрозы по адресу сосѣдняго народа и только ревниво отстаивавшія незапретныя надежды на конечное торжество справедливости, вызвали взрывъ негодованія среди высокоумной нѣмецкой печати, въ то время вдохновляемой суровымъ канцлеромъ Нѣмецкой Имперіи, и этимъ искусственно раздраженнымъ недовольствомъ Бисмарка послѣдствовали воспользоваться внутренніе враги Гамбетты, чтобы начать новый походъ противъ него, походъ, рассчитанный на страхъ населенія передъ всѣми ужасами войны.

Какъ въ былое время сторонники Наполеона III старались укоренить среди населенія преданность къ „порядку“ 2-го декабря 1851 г. обманчивымъ лозунгомъ „l'empire — c'est la paix, такъ теперь враги республики ухватились за тотъ же пріемъ, только въ противоположномъ смыслѣ, и стали громко трубить одинаково лживый лозунгъ: „Gambetta — c'est la guerre“. Десятки тысячъ брошюръ были брошены въ провинцію съ цѣлью посѣять опасеніе и страхъ и подорвать то довѣріе, которое окружало вождя республиканской Франціи. Вѣроломный маневръ монархическихъ партій производилъ тѣмъ болѣе впечатлѣніе, что жъ ему присоединилось систематическое нападеніе на Гамбетту крайней радикальной партіи, пользовавшейся всѣми средствами, чтобы подорвать его вліяніе. Клеветническій лозунгъ: „Гамбетта — это война“, находилъ себѣ поддержку въ другой упорно распространяемой клеветѣ, будто бы онъ стремится къ достиженію диктаторской власти. Упорно распространяемая клевета всегда, какъ говорилъ еще Вольтеръ, оставляетъ по себѣ извѣстный слѣдъ; она достигла и тутъ своей цѣли. Люди слабые, легковѣрные, нерѣшительные начинали колебаться. Смущеніе закрадывалось въ ихъ душу. Старая поговорка: „нѣтъ дыма безъ огня“ — наводила ихъ на тревожныя размышленія. Произведенное ловко распространенной клеветой впечатлѣніе еще болѣе усилилось, когда обнаруженная англійскимъ кабинетомъ дипломатическая пе-

реписка по вопросу о распрѣ между Турціей и Греціей изъ-за границъ, опредѣленныхъ Берлинскимъ трактатомъ 1878 г., раскрыла нѣсколько двусмысленную политику парижскаго кабинета. „Франція подстрекаетъ Грецію къ войнѣ! Республика стремится нарушить европейскій миръ!“ — вотъ крикъ, раздавшійся во французской, враждебной республикѣ, печати и тотчасъ же подхваченный вышнимъ врагомъ Франціи. Гамбетта, стоявшій въ сторонѣ отъ власти, явился отвѣтственнымъ лицомъ въ этомъ инцидентѣ иностранной политики Франціи, вызвавшемъ въ палатѣ депутатовъ самыя бурныя пренія. Одинъ изъ авторитетныхъ депутатовъ, Паскаль Дюпра, счелъ необходимымъ потребовать объясненія отъ правительства. „Всѣмъ очень хорошо извѣстно, — говорилъ онъ, — что Греція рассчитывала на нашу помощь; греческія газеты утверждаютъ, что Франція общала ей свое содѣйствіе. Не вы ее общали, — обращается онъ къ правительству, — но можетъ быть кто-либо другой, и въ этомъ заключается великая опасность нашего положенія. Общественное мнѣніе встревожено; оно полагаетъ, что правительство не всегда рѣшаетъ, что рядомъ съ нимъ существуютъ вліянія болѣе или менѣе подавляющія, могущія увлечь его къ фатальнымъ рѣшеніямъ... Да, говорятъ о подпольномъ правительствѣ, произносятъ одно имя; да, существуетъ человекъ, занимающій по праву высокое положеніе въ республикѣ; ему приписываютъ рѣшающій голосъ въ правительственной политикѣ“... Вопросъ былъ поставленъ слишкомъ прямо, клевета получила слишкомъ широкое распространеніе, чтобы Гамбетта могъ ограничиться, по своему обыкновенію, презрѣніемъ молчанія. Онъ покинулъ свое кресло и потребовалъ слова. Отвергнувъ съ негодованіемъ басни и легенды, самыя нелѣпыя и возмутительныя обвиненія, выставленныя противъ него, Гамбетта бросилъ вызовъ своимъ врагамъ и потребовалъ, чтобы былъ указанъ какой-либо актъ, доказывающій его подпольное вліяніе. „Я говорю съ жаромъ, — произнесъ онъ, — потому что слишкомъ уже долго подавляю въ себѣ волненіе, испытываемое мною, когда я вижу, какъ клеветуютъ на всѣ мои намѣренія, на всѣ мои дѣйствія...“ — и онъ показалъ, изъ какихъ мутныхъ источниковъ возникаютъ всѣ эти обвиненія, какія побужденія руководятъ людьми, сознательно обманывающими населеніе и запугивающими его криками: „политика Гамбетты — это политика войны!“ и распространяющими въ соціальныя тѣни экземпляровъ клеветническія брошюры

съ сенсационнымъ названіемъ: „Гамбетта—это война“! Онъ указалъ, что всѣ эти извѣстія являются не чѣмъ инымъ, какъ избирательнымъ маневромъ въ виду приближающихся выборовъ, и закончилъ гордыми словами: „Этотъ расчетъ будетъ опрокинутъ націей. Она съумѣетъ различить между тѣми, которые ее обманываютъ и вводятъ въ заблужденіе, и тѣми, которые ее боготворятъ“.

Сильный своею пламенною любовью къ родинѣ, Гамбетта не принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые склоняются и падаютъ подъ бременемъ клеветы и нападеній. Отразивъ направленный противъ него ударъ съ тою искренностью, которую онъ черпалъ въ сознаніи правоты и чистоты своихъ побужденій, онъ съ непоколебленною энергіей бросился снова въ бой, стараясь обезпечить новую и, если возможно, еще болѣе рѣшительную побѣду республикѣ при наступавшемъ обновленіи палаты. Десять лѣтъ прошло со времени установленія республики, но эти годы прошли въ постоянной внутренней борьбѣ, жѣшавшей осуществленію тѣхъ необходимыхъ реформъ, въ которыхъ Гамбетта полагалъ всю силу новаго порядка. Новая палата—говорилъ онъ—должна быть „реформаторскою палатою“. Только одна реформа, по его мнѣнію, могла обезпечить прочное и спокойное существованіе республики, это—реформа образованія, просвѣщенія. Только тогда, когда вся французская земля покроется школами, когда образованіе сдѣлается религіей, когда укоренится сознаніе, что, устраняя мальчика отъ школы, обкрадываютъ государство, только тогда можетъ явиться спокойствіе и увѣренность, что нація не будетъ обманута тою или другою своекорыстною партіей, тѣмъ или другимъ авантюристомъ. Этой увѣренности не могъ еще питать Гамбетта, и потому каждые новыя выборы вызывали его лихорадочную дѣятельность. Передъ распусценіемъ палаты ему пришлось, однако, еще разъ выдержать въ самой палатѣ борьбу съ своими многочисленными врагами и снова подвергнуться привычнымъ уже для него оскорбленіямъ и обвиненіямъ въ стремленіи достигнуть диктаторской власти. 19-го мая 1881 г. палата приступила къ обсужденію внесеннаго не правительствомъ, а однимъ изъ увѣренныхъ, но стойкихъ республиканцевъ, депутатомъ Барду, проекта закона, который имѣлъ свою цѣлю измѣнить установленную конституціей 1875 г. систему выборовъ.

Двѣ системы стояли другъ противъ друга. Одна—*scrutin de liste*—предоставляла населенію цѣлаго департамента избраніе всѣхъ депутатовъ, приходившихся на число жителей департамента; другая—*scrutin d'arrondissement*—основывалась на томъ принципѣ, что каждый избирательный округъ въ департаментѣ избираетъ своего депутата. При выработкѣ конституціи 1875 г., Гамбетта вѣстѣ съ Тьеромъ, Греви и всѣми фракціями республиканской партіи отстаивалъ первую изъ этихъ двухъ системъ, какъ болѣе гарантирующую достоинство и неподкупность народнаго представительства. Монархическія партіи, надѣявшіяся достигнуть большаго успѣха при второй системѣ, доставили ей торжество, и *scrutin d'arrondissement* сдѣлался закономъ страны. Выборы 1877 г. хотя и доставили побѣду республиканской партіи, тѣмъ не менѣе послужили доказательствомъ, что при системѣ, основанной на избраніи каждымъ отдѣльнымъ округомъ своего депутата, возможны самыя вопіющія злоупотребленія правительственнаго давленія, официальной кандидатуры, подкупа, обмана, самая недостойная борьба, пускающая въ ходъ самыя безнравственныя средства, двухъ или нѣсколькихъ борющихся кандидатовъ. Вліяніе матеріальной силы, богатства, власти оказывалось слишкомъ перевѣшивающимъ всѣ другія соображенія. Почти столѣтній опытъ этихъ двухъ противоположныхъ системъ заставилъ Гамбетту сдѣлаться убѣжденнымъ сторонникомъ *scrutin de liste* и выступить энергическимъ защитникомъ внесеннаго проекта закона. Но именно то обстоятельство, что Гамбетта стоялъ на сторонѣ *scrutin de liste*, вызвало раздоръ въ рядахъ республиканской партіи. Клевета сдѣлала свое дѣло. Все болѣе и болѣе усиливавшійся крикъ, что Гамбетта домогается диктатуры, заставилъ многихъ республиканцевъ, не чуждыхъ чувству ревности и зависти, отказаться отъ своего убѣжденія и перейти на сторону защитниковъ *scrutin d'arrondissement*. „Гамбетта—говорили его враги—теперь уже пользуется подпольною властью; теперь уже каждое министерство является послушнымъ исполнителемъ его воли и приказаній; что будетъ, если онъ окажется при избраніи по списку цѣлымъ департаментомъ избраннымъ двадцатью, тридцатью департаментами! Тогда его диктатура будетъ обезпечена и снова восторжествуетъ личная власть.“

Какъ ни живы были такія увѣренія и какъ ни мало отвѣ-

чали они характеру Гамбетты и его испытанному патриотизму, эти притворныя опасенія производили впечатлѣніе. Самъ президентъ республики отступилъ отъ убѣжденія всей своей жизни и перешелъ на сторону враговъ *scrutin de liste*, и министерство Ферри, опровергая легенду о подчиненіи правительства волѣ Гамбетты, желало лучше остаться нейтральнымъ по такому важному вопросу конституціонной жизни, чѣмъ явиться солидарнымъ съ вождемъ республиканской партіи и тѣмъ дать новый поводъ къ обвиненію въ отсутствіи независимости. Гамбетта, — никогда не отступавшій передъ борьбою, когда дѣло касалось блага его страны, съ кѣмъ бы ни приходилось ему бороться, — не обратилъ вниманія ни на враждебное положеніе, занятое въ этомъ вопросѣ президентомъ республики, Гревси, ни на робкое отступленіе республиканскаго министерства, — не отступилъ отъ нея и на этотъ разъ. „Если я вступаю въ завязавшіяся пренія, — началъ онъ свою замѣчательную рѣчь, — то вовсе не для того, чтобы отвѣчать на намеки и личныя инсинуаціи. Я полагаю, что я не долженъ защищаться передъ палатой, безъ различія партій, ни передъ странюю, въ намѣреніяхъ, которыя были бы преступны, еслибы прежде того не были смѣшны“... Рѣчь его, пересыпаемая бьющими прямо въ цѣль историческими ссылками, сарказмомъ, юморомъ, высшими государственными соображеніями, согрѣтая вѣстѣмъ страстнымъ убѣжденіемъ, что самыя жизненные интересы французской демократіи требуютъ народнаго представительства, покоящагося на широкихъ основахъ; что только при защищаемой имъ системѣ выборовъ палата депутатовъ явится истинною и могущественною представительницею цѣлой Франціи, а не мелкихъ и узкихъ интересовъ того или другого прихода, — рѣчь эта, которую онъ закончилъ словами: „отъ васъ зависитъ, чтобы республика была плодотворна и прогрессивна, или чтобы она была шаткою и колеблющеюся среди партій, отъ васъ зависитъ, чтобы народилась, наконецъ, истинная правительственная партія, сплоченная и серьезная, для того, чтобы вести Францію по пути ея славнаго назначенія...“ — произвела на палату глубокое впечатлѣніе. Гамбетта зналъ, что ему приходится считаться съ самымъ опаснымъ врагомъ — страхомъ многихъ депутатовъ лишиться, при измѣненной системѣ выборовъ, своихъ полномочій, но онъ взывалъ къ патриотическому чувству своихъ противниковъ. „Вы захотите избѣжать горькаго упрека, ко-

торнымъ я закончу: вы не пожелаете, чтобы и къ вамъ могли быть отнесены слова римскаго поэта: для того, чтобы спасти свою жизнь, они погубили самый источникъ жизни — *propter vitam vivendi perdere causas*“...

Гамбетта еще разъ торжествовалъ. Большинство, правда, весьма слабое, отвѣтило громкими рукоплесканіями на его убѣжденную рѣчь, и во всякомъ случаѣ проектъ закона былъ вотированъ палатою депутатовъ. Одержавъ эту побѣду, которой онъ придавалъ рѣшающее значеніе для крѣпости республики и для прогрессивнаго движенія Франціи, Гамбетта покинулъ Парижъ, призванный своимъ роднымъ городомъ Кагоромъ присутствовать при торжествѣ открытія памятника павшимъ въ „страшный годъ“ воинамъ. Кагорскія празднества служили лучшимъ отвѣтомъ на всѣ обвиненія, оскорбленія и клеветы, выпавшія на долю Гамбетты. Онъ, привыкшій къ народнымъ оваціямъ, встрѣтился съ такимъ яркимъ выраженіемъ любви, довѣрія и благодарности, какового ему не приходилось еще испытать въ его политической жизни. Его чествовалъ не тѣсный кружокъ его друзей, — голосъ Франціи слышался въ тѣхъ восторженныхъ привѣтствіяхъ, съ которыми къ нему обращались и официальные, и неофициальные представители страны, собравшіеся на торжество. Представитель арміи, генераль Анперъ, явился выразителемъ того глубокаго чувства благодарности и тѣхъ симпатій, которыя снискалъ себѣ своею патріотическою дѣятельностью Гамбетта въ рядахъ защитниковъ родины. Онъ напомнилъ о великой заслугѣ человека, который сдумѣлъ, „послѣ невѣроятныхъ бѣдствій, не отчаяться въ своей родинѣ; призвавъ на ея защиту всѣхъ тѣхъ, которые способны были только носить оружіе, держалъ высоко и твердо національное знамя, въ то время, когда всѣ средства къ сопротивленію, казалось, были уничтожены“... Нѣсколько рѣчей долженъ былъ произнести Гамбетта во время кагорскихъ празднествъ, и всѣ его рѣчи преслѣдовали одну цѣль — тѣсное сплоченіе всѣхъ любящихъ свою родину подъ широкимъ знаменемъ республики; республика же — говорилъ онъ — требуетъ, чтобы всѣ прониклись идеей, что люди — ничто, принципы — все. Устраняя изъ своихъ рѣчей всякій личный элементъ, онъ пользовался высказываемыми ему чувствами, чтобы явиться еще разъ проповѣдникомъ основныхъ республиканскихъ принциповъ — порядка и мира, охраняемыхъ свободою и прогрессомъ.

Кагорскія празднества и восторженный пріемъ, оказанный доблестному борцу за политическую свободу, громовымъ эхо разнеслись по всей Франціи и послужили лишь новою пищею для нападеній на оратора не только его враговъ, принадлежавшихъ къ двумъ противоположнымъ лагерямъ, монархическому и демагогическому, но также и всѣхъ тѣхъ, на кого выдающаяся личность Гамбетты бросала неизбѣжную тѣнь. Малая зависть, уязвленное самолюбіе, бессознательное стремленіе пошатнуть пьедесталь, созданный челоуѣку народною любовью—всѣ эти чувства, такъ свойственныя людямъ, оказали свое вліяніе на многихъ изъ тѣхъ, кто даже былъ искренно преданъ республиканскимъ учрежденіямъ, и помогли объединить разношерстные элементы образовавшейся противъ Гамбетты коалиціи.

Увѣжая въ Кагоръ послѣ одержанной имъ побѣды въ палатѣ депутатовъ, Гамбетта былъ совершенно спокоенъ, что сенатъ, въ который долженъ былъ поступить принятый палатою проектъ закона о новой системѣ выборовъ, не рѣшится опрокинуть рѣшеніе палаты. Онъ былъ увѣренъ, что новыя выборы, благодаря *scrutin de liste*, пошлютъ въ палату огромное республиканское большинство, состоящее изъ всѣхъ выдающихся людей страны, и что палата, составленная изъ наиболѣе яркихъ по способностямъ, талантамъ и идеямъ представителей, сдѣлаетъ возвыситься надъ мелкими интересами того или другого прихода и мощно вступить на путь необходимыхъ для возрожденія Франціи реформъ. Онъ надѣялся, что мелкие угодники мелкихъ, хотя, быть можетъ, и законныхъ желаній того или другого избирательнаго округа, останутся за флагомъ и не будутъ болѣе служить тормазомъ для широко реформаторской дѣятельности новаго законодательнаго собранія. Гамбетта не догадывался, что шумныя кагорскія оваціи, освѣщавшія такимъ блескомъ его популярность, помѣшаютъ осуществленію его патріотическихъ надеждъ. Съ болѣею, чѣмъ прежде, силою стали раздаваться крики: „Гамбетта готовится свою диктатуру!“ — и какъ ни бессмысленъ былъ этотъ крикъ, онъ смущалъ слабыя души и бросалъ колеблющихся въ лагерь его противниковъ. Многіе изъ тѣхъ, которые готовы были въ сенатѣ вотировать въ пользу новой системы выборовъ, теперь отшатнулись отъ прежняго своего взгляда, подъ тѣмъ единственнымъ предлогомъ, что Гамбетта явился его страстнымъ защитникомъ. 19-го іюля 1881 г., сенатъ боль-

шинствомъ 141 голоса противъ 114 отвергъ проектъ закона, вотированнаго палатой. Враги Гамбетты торжествовали. Его вліянію былъ нанесенъ жестокій ударъ, но еще большій ударъ былъ нанесенъ внутренней политикѣ будущаго.

Опечаленный, но не смущенный неудачей, постигшей оставаему имъ реформу выборной системы, привычный къ политической борьбѣ, Гамбетта вынужденъ былъ не-политическимъ рѣшеніемъ сената нѣсколько измѣнить свою парламентскую тактику и отступить отъ мысли, которую онъ только-что передъ тѣмъ излагалъ въ одной изъ своихъ кагорскихъ рѣчей. Сторонники устойчивости республиканскихъ учрежденій, Гамбетта возстаетъ противъ той агитаци, которая имѣла своею цѣлью пересмотръ конституціи, долженствовавшей повлечь за собою если не упраздненіе, то значительное преобразованіе сената. Гамбетта болѣе чѣмъ кто-либо, при обсужденіи конституціи 1875 г., боролся противъ учрежденія сената, противъ того устройства, которое ему было придано; но сенатъ былъ учрежденъ, конституція вотирована—и онъ не желалъ колебать установленнаго порядка. Онъ вѣрилъ, что сила республиканской идеи завоюетъ въ концѣ концовъ самый сенатъ, и что рано или поздно онъ превратится даже въ оплотъ республики. Рѣшеніе сената по вопросу о системѣ выборовъ придало только силу поднявшейся противъ него агитаци и послужило помѣхой для консервативной политики Гамбетты. „Ваши надежды—говорили ему—на торжество республиканскаго духа въ сенатѣ тщетны; сенатъ слишкомъ долго будетъ служить тормазомъ, задерживающимъ прогрессивное движеніе Франціи, если онъ не подвергнется коренному преобразованію“; и Гамбетта долженъ былъ сдѣлать уступку; вѣсть съ Леономъ Сэ, Фрейсинэ, Бриссономъ и другими выдающимися представителями республиканской партіи, онъ высказался за пересмотръ конституціи. Но, дѣлая эту уступку, Гамбетта обставилъ пересмотръ условіями, не допускающими кореннаго колебанія существующихъ учрежденій. Въ дѣлѣ, касавшемся высшихъ интересовъ его родины, чувство личной досады, мести, было чуждо Гамбеттѣ. Онъ твердо держался правила: „люди — ничто, принципы — все“! Люди мѣняются, принципы остаются вѣчно. Побѣжденный сегодня, онъ не падаетъ духомъ, не отчаявается, и еще съ большею энергіей воодушевляется самъ и воодушевляетъ другихъ къ новой борьбѣ и

къ конечной побѣдѣ. Онъ не зналъ другого чувства, какъ то, которое онъ выразилъ въ своемъ обращеніи къ палатѣ послѣ прочтенія декрета о ея распущеніи: „я страстно желаю, какъ для тѣхъ, кто здѣсь засѣдаетъ, такъ и для тѣхъ, кто явится на ихъ смѣну, чтобы политика никогда не знала иного вдохновенія, какъ служеніе родинѣ и благо республики“.

IX.

29-го іюля 1881 г., палата, вышедшая изъ урнъ 14-го октября 1877 г., была распущена, и Гамбетта въ послѣдній разъ долженъ былъ сдѣлаться душою избирательнаго періода. Какъ ни сильна была ненависть къ нему враждебныхъ ему политическихъ партій, эта ненависть не могла поматнуть вѣрн въ него огромнаго большинства французскаго народа, привыкшаго руководиться его указаціями, его совѣтами. Гамбетта слишкомъ хорошо зналъ общественное настроеніе, чтобы хотя на одну секунду усомниться въ выборномъ успѣхѣ республиканской партіи; но онъ опасался, какъ бы поднятая въ цѣлой странѣ агитація по поводу пересмотра конституціи не повлекла за собою наплыва въ новую палату нежелательныхъ элементовъ. Онъ успѣвшилъ поэтому, при самомъ началѣ избирательнаго періода, произнести двѣ рѣчи, изъ которыхъ одна точно опредѣляла предѣлы пересмотра конституціи, другая развивала ту программу необходимыхъ реформъ, которыя должны выпасть на долю вновь избранной палаты. Въ рѣчи, произнесенной имъ въ Турѣ и вызвавшей глубокое впечатлѣніе въ рядахъ республиканской партіи, онъ убѣждалъ не вносить въ политику ни раздраженія, ни страсти, и явился попрежнему убѣжденнымъ защитникомъ существованія сената, только-что нанесшаго ему чувствительное пораженіе, въ которомъ личная ненависть къ Гамбеттѣ играла такую значительную роль. „Я утверждаю, — говорилъ онъ, — что мы смѣло должны предстать передъ страной защитниками существованія верхней палаты. Но такъ какъ сенатомъ были совершены ошибки, всегда влекущія за собою послѣдствія, то я прибавлю, что явилась необходимость ввести перемѣну въ сферѣ его дѣятельности и въ способѣ его пополненія. Много говорятъ о

пересмотрѣ, и, по мнѣнію нѣкоторыхъ политическихъ людей, пересмотръ означаетъ „уничтоженіе“... Я думаю, что, не подрывая довѣрія страны къ прочности существующихъ учреждений, слѣдуетъ ввести въ избирательную систему сената и въ его высокія прерогативы такія измѣненія, которыя придали бы ему силу, авторитетъ и то обаяніе, которые поколеблены недавними рѣшеніями“... И съ необычайною ясностью и опредѣленностью Гамбетта указалъ на тѣ измѣненія, которыя должны быть введены въ учрежденіе сената, измѣненія, которыя положить предѣлъ прискорбному антагонизму между двумя палатами и устранять навсегда раздражающій вопросъ о самомъ его существованіи. Гамбетта настаивалъ, какъ и во время выработки конституціи 1875 г., чтобы прежде всего всѣ бюджетные вопросы были исключены изъ компетенціи сената, и чтобы избраніе пожизненныхъ сенаторовъ не было предоставлено самому сенату. Виѣстѣ съ тѣмъ онъ требовалъ, чтобы пересмотръ конституціи не былъ актомъ насилія, а явился результатомъ соглашенія между двумя палатами и правительствомъ. Такой частичный пересмотръ вовсе не имѣлъ того значенія, какое придавали ему сторонники радикальнаго пересмотра, стремившіеся къ коренной ломкѣ конституціи 1875 г. Турская рѣчь спасала сенатъ и накладывала узду на возростающую агитацію.

Въ рѣчи, произнесенной имъ недѣлю спустя, въ избирательномъ собраніи XX-го округа Парижа, среди радикальнаго и страстнаго населенія Вельвилля, и получившей, можно сказать, значеніе политическаго завѣщанія Гамбетты, онъ еще разъ опредѣлилъ тѣ ближайшія и виѣстѣ высокія задачи, разрѣшить которыя призвана республика. Но прежде чѣмъ обратиться къ изложенію политической программы, Гамбетта пожелалъ объяснить, что заставило его поставить свою кандидатуру въ томъ только округѣ Парижа, который былъ колыбелью его политической карьеры, и который долженъ былъ остаться источникомъ его авторитета въ демократіи. Не одна избирательная коллегія обращалась къ нему съ предложеніемъ выставить свою кандидатуру—онъ отвергъ всѣ предложенія и остался вѣренъ Вельвиллю. „Если я отвергъ всѣ предложенія мнѣ кандидатуры съ благодарностью, то потому, что я разъ навсегда желалъ положить конецъ всѣмъ клеветническимъ слухамъ о плебисцитѣ, о многочисленныхъ кандидатурахъ, о стремленіи къ диктатурѣ, которая была бы такъ же нелѣпа по своему замыслу, какъ преступна въ своемъ исполненіи...

Отъ этимъ оскорбленіемъ я уже давно освоился, я выносилъ его какъ во время войны, такъ и послѣ войны. Да, только потому, что я обнаружилъ энергію въ дѣлѣ народной обороны, реакція бросила мнѣ въ лицо: „вотъ диктаторъ Тура и Бордо...“ Но тогда его оскорбила только реакціонная партія—теперь же эту обиду наносили ему люди, заявлявшіе себя горячими республиканцами, и въ его рѣчи прозвучала накопившаяся въ его душѣ горечь, когда онъ воскликнулъ: „Это мнѣ, мнѣ, вышедшему изъ народа, мнѣ, принадлежащему ему всѣми фибрами моего существа, мнѣ наносится эта обида!..“ И какъ бы спѣша подавить поднявшееся въ немъ тяжелое чувство, онъ съ законною гордостью добавилъ: „но какова бы ни была та презрѣнная грязь, которою меня закидываютъ, я служу по-своему своему народу, и я питаю убѣжденіе, что послѣ двадцати лѣтъ труда и усилій, дѣло его, въ моихъ рукахъ, находится въ хорошихъ рукахъ. И я надѣюсь это еще доказать...“ Но судьба судила иначе!

Гамбетта хорошо зналъ, что если онъ подвергается такимъ яростнымъ нападеніямъ, то только потому, что ненавидятъ ту политику, ту систему, тотъ методъ защиты интересовъ демократіи, который съ такимъ успѣхомъ былъ имъ усвоенъ. Нужна была извѣстная смѣлость, чтобы въ эту минуту, когда крайній радикальный лагерь объявилъ ему войну,—явиться въ самый революціонный кварталъ Парижа, предстать передъ большевильскими избирателями и потребовать отъ нихъ санкціи своей политикѣ „оппортунизма“. „Если—говорилъ онъ—этотъ барбаризмъ означаетъ политику предусмотрительную, никогда не упускающую благоприятнаго часа, благоприятныхъ обстоятельствъ, ничего не жертвующую ни случайности, ни духу насилія, въ такомъ случаѣ могутъ сколько угодно примѣнять къ этой политикѣ дурно звучащій и непонятный эпитетъ, но я все-таки скажу, что я не знаю другой политики, такъ какъ это политика разума и—я прибавлю—успѣха“... Какъ ни великъ былъ ораторскій талантъ, никогда не измѣнявшій Гамбеттѣ, но рѣдко краснорѣчіе его достигало такой силы, такой недостигаемой высоты, какъ тогда, когда, раскрывая вполне свою душу онѣмѣвшей передъ его горячимъ словомъ толпѣ, онъ заговаривалъ о томъ длинномъ и мучительномъ пути, которымъ онъ дошелъ до своего политическаго міросозерцанія. Онъ заставлялъ говорить исторію Франціи, онъ обнажалъ ея раны, онъ призывалъ на судъ періодическія потре-

сенія страны, внезапный подъѣмъ и столь же внезапное паденіе французской демократіи, и точно солнечнымъ лучомъ освѣтилъ причины гибели всѣхъ героическихъ попытокъ къ освобожденію народа. „Тогда — произнесъ онъ — я отвернулся отъ прошлаго и сказалъ самому себѣ: ты посвятишь свою жизнь на то, чтобы устранить духъ насилія, такъ часто вводившій въ заблужденіе демократію, не допускать ее до поклоненія абсолютнымъ началамъ, направить ее къ изученію фактовъ, конкретной дѣйствительности, научить ее считаться съ традиціями, правами, предразсудками... ты научишь твою партію возненавидѣть духъ насилія, ты постарайся вырвать то жало страха, которое наталкиваетъ на путь реакціи... и если тебѣ удастся установить союзъ между народомъ и буржуазіей, тогда ты доставишь республикѣ незблемое основаніе“...

Переходя отъ соображеній, опредѣлившихъ его политическія воззрѣнія, Гамбетта не въ первый разъ остановился на всѣхъ главныхъ вопросахъ внутренней политики, на всѣхъ тѣхъ реформахъ, безъ которыхъ республика превратилась бы въ мертвую букву. Когда армія будетъ поставлена на надлежащую высоту, когда обязательное, даровое и свѣтское обученіе окончательно восторжествуетъ надъ невѣжествомъ, когда средняя и высшая школа сдѣлается общинъ достоинствомъ, когда преобразована будетъ финансовая система и введенъ подоходный налогъ, когда утвердятся свобода ассоціацій, когда разрѣшенъ будетъ церковный вопросъ, — тогда наступитъ время для другихъ реформъ, требуемыхъ демократическимъ духомъ. Обращаясь къ внѣшней политикѣ, онъ выражалъ свою программу немногими словами: „я желаю только одного, чтобы она сохраняла достоинство и твердость, обладала всегда свободными и чистыми руками, чтобы она ни съ кѣмъ особенно не сближалась и постаралась быть со всѣми въ одинаково хорошихъ отношеніяхъ“... Въ памяти Гамбетты слишкомъ живы были событія 1870 г., когда всѣ европейскія государства отвернулись отъ Франціи, одни — явно выражая свои симпатіи Германіи, другія — не смѣя возвысить своего голоса въ пользу побѣжденнаго, — и потому онъ рекомендовалъ своей странѣ политику наибольшей сдержанности: „отнынѣ — говорилъ онъ — Франція должна принадлежать только самой себѣ, она не должна содѣйствовать ничьимъ честолюбивымъ замысламъ... она должна сосредоточиться въ самой себѣ, создать себѣ такое могущество, окружить себя такимъ престижемъ, достиг-

нута такого полета, чтобы въ концѣ концовъ получить награду за свое достойное и разумное поведеніе“...

Гамбетта рассчитывалъ произнести еще одну рѣчь въ томъ же XX-мъ округѣ Парижа, и въ назначенный день, почти наканунѣ выборовъ, явился въ избирательное собраніе, но его встрѣтила такая интрига, организованная реакціонно-демагогическимъ союзомъ, что впервые ему пришлось отказаться отъ произнесенія рѣчи. Едва раздалось его первое слово, какъ вся зала превратилась въ какую-то арену бѣшенства. Шумъ, свистъ, дикіе крики покрыли голосъ оратора. Онъ понялъ, что зала была наполнена не народомъ, а лишь „пьяными рабами“, не отвѣчающими за свои поступки. Враги его воспользовались торжествовать. Но несмотря на интригу, клеветы и самыя недостойныя подстрекательства, Гамбетта былъ избранъ значительнымъ большинствомъ, громо протестовавшимъ противъ насилія, которому подвергся самый страстный и вѣрный другъ народа.

Выборы 21-го августа 1881 г. оправдали съ избыткомъ ожиданія Гамбетты. Республиканское большинство вернулось въ палату значительно усиленнымъ, но если въ количественномъ отношеніи оно не оставляло больше желать многого,—за то въ качественномъ отношеніи оно далеко не отвѣчало тому республиканскому большинству, которое всѣми силами своей души призывалъ Гамбетта. Онъ жалалъ, чтобы это большинство стояло на высотѣ своего призванія, чтобы депутаты, оставивъ въ сторонѣ заботы объ удовлетвореніи мелкихъ, такъ сказать, частныхъ интересовъ того или другого избирательнаго округа, воодушевлены были сознаніемъ необходимости широкихъ политическихъ и соціальныхъ реформъ, и чтобы они дружно взялись за великое дѣло возрожденія Франціи. У республиканскаго большинства новой палаты не было крыльевъ, оно не знало высокого полета мысли. Не даромъ добивался Гамбетта реформы избирательной системы. Онъ зналъ, что *scrutin d'arrondissement* не доставитъ новой палатѣ той нравственной силы, безъ которой немислима рѣшительная и мощная республиканская политика. Его убѣжденіе слишкомъ скоро должна была подтвердить новая палата. Въ одномъ изъ первыхъ засѣданій палаты къ министерству Ферри былъ предъявленъ запросъ по поводу предпринятой имъ тунисской экспедиціи и заключеннаго съ тунисскимъ беемъ мирнаго трактата. Ошибки, сдѣланныя министерствомъ, его недостаточная откровенность, послу-

жили поводомъ для враждебной коалиціи реакціонеровъ и „непримиримыхъ“ къ обвиненію республиканскаго министерства чуть не въ государственной измѣнѣ. Четыре дня продолжались столь же ожесточенныя, сколько и безплодныя пренія; но когда дѣло дошло до рѣшенія палаты, то она обнаружила такой недостатокъ твердости, яснаго пониманія государственныхъ обязанностей, опредѣленной воли, что въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ она безплодно билась, отвергая одинъ за другимъ предлагаемые проекты резолюцій, не умѣя принять какого-либо мужественнаго рѣшенія. Гамбетта стоялъ въ сторонѣ и не вѣшивался въ пренія. Онъ зналъ, что если палата приметъ предложенный имъ *ordre du jour*, то въ случаѣ отставки министерства онъ вынужденъ будетъ взять въ свои руки бразды правленія. Власть не пугала его, но онъ зналъ, что вновь избранная палата не рѣшится усвоить себѣ начерченную имъ программу. Окружавшіе его друзья убѣждали его предоставить самой палатѣ выпутаться изъ той разставленной врагами сѣти, въ которой она запуталась, не приходить къ ней на помощь и сохранить свой авторитетъ до другого, болѣе благопріятнаго времени. Но патриотизму Гамбетты были чужды эгоистическія побужденія; онъ не могъ оставаться хладнокровнымъ, присутствуя при этомъ зрѣлищѣ безсилія французской палаты, и, не скрывая отъ себя послѣдствій своего вѣшателства, потребовалъ слова и возвысилъ свой голосъ: „Пренія, продолжающіяся четыре дня, не должны окончиться признаніемъ безсилія палаты... Я не хочу произносить сужденія объ этой экспедиціи... Время миновало... Но Франція дала свою подпись на трактатѣ Вардо, и, не вѣшиваясь въ распри, являющіяся только личными расприями, я требую, чтобы палата своимъ голосованіемъ твердо выразила, что обязательства, фигурирующія въ этомъ договорѣ за подписью Франціи, будутъ честно, осторожно, но всецѣло выполнены“... Палата, обрадованная выходомъ, указаннымъ ей Гамбеттой, покрыла рукоплесканіями предложенную имъ резолюцію, охранявшую достоинство Франціи, и приняла ее огромнымъ большинствомъ 379 голосовъ противъ 71.

X.

Жребій былъ брошенъ. На другой день президентъ республики возложилъ на Гамбетту образованіе новаго министерства. Онъ не уклонился отъ власти, хотя сознавалъ, что принимаетъ ее при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ для успѣха того дѣла, которому онъ беззавѣтно отдалъ всю свою жизнь.

Лишь только Гамбетта принялъ на себя составленіе министерства, такъ тотчасъ же распространилась молва объ образованіи „великаго министерства“, въ которое, подъ предсѣдательствомъ Гамбетты, войдутъ всѣ бывшіе президенты республиканскихъ кабинетовъ. Общественное мнѣніе рукоплескало такой идее, и Гамбетта рѣшился сдѣлать попытку въ этомъ направленіи. Попытка эта не могла увѣнчаться успѣхомъ. Программа Гамбетты, несмотря на весь его „оппортунизмъ“, вызывавшій не только издѣвательства, но безпощадное обвиненіе его въ измѣнѣ знамени, оказалась все-таки слишкомъ смѣлою, чтобы быть единодушно принятою всѣми бывшими президентами совѣта министровъ. Гамбеттѣ пришлось дѣлать выборъ: или идти на компромиссъ, или отказаться отъ мысли составить „великое министерство“. Онъ предпочелъ послѣднее. Онъ образовалъ молодое, сильное, убѣжденное и энергичное министерство, и принялъ рѣшеніе или осуществить свою программу, не идя на уступки, не поступаясь своими идеями, или пасть, не выпуская изъ рукъ знамя прогрессивной республики.

Образованіе министерства Гамбетты, составленное изъ людей, не пользовавшихся громкимъ именемъ, вызвало острое разочарованіе не только до крайности возбужденнаго общественнаго мнѣнія, но и среди огромнаго большинства палаты. Враждебныя Гамбеттѣ партіи ликовали; онѣ предвкушали уже радость его пораженія и съ перваго же дня рѣшились повести дружную атаку противъ кабинета 14-го ноября 1881 г. Крайняя правая и крайняя лѣвая, преслѣдуя различныя цѣли, пошли по одному и тому же пути. Программа новаго министерства, прочитанная на другой день послѣ его образованія и перечислявшая тѣ новыя реформы, съ осуществленіемъ которыхъ связываетъ свое существованіе министерство, выслушана была, какъ въ сенатѣ, такъ и въ палатѣ де-

путатовъ, среди ледяного молчанія. Ни одинъ крикъ одобренія, ни одно рукоплесканіе не прервали его чтенія. Гамбетта не заблуждался относительно смысла оказаннаго его министерству перваго приѣма; друзья его убѣждали тотчасъ же заявить палатѣ, что такъ какъ его программа не находитъ себѣ сочувствія въ республиканскомъ большинствѣ, то онъ слагаетъ съ себя власть, предоставляя ее другимъ, болѣе отвѣчающимъ его настроенію; но Гамбетта не пожелалъ уступить этимъ совѣтамъ и рѣшился остаться на своемъ посту, пока разладъ между нимъ и палатою не выразится въ осязательной, рѣзкой формѣ.

Министерство Гамбетты принялось за энергическую работу. Въ теченіе менѣе чѣмъ трехъ мѣсяцевъ оно изготовило 15 проектовъ законодательныхъ мѣръ, которыя должны были осуществить наиболѣе важныя реформы по вопросамъ о народномъ образованіи, судебной организаціи, обезпеченіи рабочихъ въ случаѣ старости, смерти, неспособности къ труду, военной организаціи, положеніи церкви и духовенства, — словомъ, по всѣмъ тѣмъ вопросамъ, которые намѣчены были въ политической программѣ Гамбетты. Но прежде даже, чѣмъ министерство 14-го ноября 1881 г. успѣло внести всѣ эти проекты въ палату депутатовъ, ему суждено было пасть подъ ударами враждебной ему коалиціи. Въ палату внесено было предложеніе крайней лѣвой стороны о неограниченномъ и заранее необусловленномъ пересмотрѣ конституціи. Конгрессу, по требованію авторовъ предложенія, должно было быть предоставлено безграничное право замѣнить конституцію 1875 г. новою, уничтожить должность президента республики, учрежденіе сената, — словомъ, подвергнуть передѣлкѣ всю существенную государственную организацію. Рядомъ съ этимъ предложеніемъ стояло предложеніе парламентской комиссіи, признававшей точно также за конгрессомъ право безусловнаго пересмотра конституціи, но ограничивавшей его нѣкоторыми вопросами: такъ, конгрессъ не долженъ былъ имѣть права измѣнять существующей избирательной системы и замѣнять выборы по округамъ — системою выборовъ по спискамъ.

Министерство Гамбетты, прекрасно понимавшее, что предложеніе комиссіи прямо направлено противъ него, такъ какъ въ программѣ своей Гамбетта высказался за установленіе избранія по департаментальнымъ спискамъ, успѣшило заявить, что оно отвергаетъ оба

предложенія, какъ крайней лѣвой, такъ и комиссіи, и предлагаетъ ограниченный пересмотръ конституціи лишь по тѣмъ вопросамъ, относительно которыхъ состоится соглашеніе между сенатомъ и палатой депутатовъ, съ предоставленіемъ конгрессу права измѣнить систему выборовъ. 26-го января 1882 г. завязался послѣдній и рѣшительный бой между палатой и министерствомъ Гамбетты. Въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ стоялъ на трибунѣ президентъ заранѣе осужденнаго министерства, и, казалось, его глубокая искренность, убѣжденность, несокрушимая логика, глубина, наконецъ, его патріотическіе призывы забыть личности и памятовать только о родинѣ, должны были бы заставить его враговъ сложить оружіе и признать всю его правоту. Но враги его думали не о Франціи, а лишь о низверженіи одного человѣка. Прерываемый криками своихъ враговъ, онъ говорилъ: „я дѣлилъ, — вы всё это знаете, и честные и великодушные мои противники могутъ это засвидѣтельствовать, — я дѣлилъ съ вами при дневномъ свѣтѣ борьбу противъ враговъ республики; я сражался съ ними, не ради ихъ личностей, не ради ихъ доктрины, но потому, что я былъ убѣжденъ, какъ убѣжденъ и въ настоящую минуту, что ихъ торжество было бы несовѣстно съ свободой, благоденствіемъ и величіемъ современной Франціи. Мы освободились отъ нашихъ противниковъ, намъ остается научиться управлять самими собою, бороться противъ постоянныхъ причинъ раздора, которыя тяготѣютъ надъ нами; мы должны забыть личности, чтобы видѣть только одну страну“...

И во имя этихъ высшихъ интересовъ страны Гамбетта убѣждалъ палату отказаться отъ мысли о неограниченномъ пересмотрѣ конституціи, мысли лицемерной, такъ какъ защитники ея не могутъ не сознавать, что сенатъ никогда не изъявитъ согласія на такой пересмотръ, угрожающій самому его существованію, а безъ согласія сената немислимъ и самый конгрессъ, одинъ лишь имѣющій право подвергать пересмотру конституцію. Онъ убѣждалъ палату склониться на предложеніе министерства объ ограниченномъ и точномъ, опредѣленномъ заранѣе пересмотрѣ конституціи и настаивалъ снова на необходимости добиться отъ конгресса реформы избирательной системы. Гамбетта зналъ, что новая палата еще болѣе упорно держится за ту систему выборовъ, которая дозволила вступить въ нее многимъ изъ тѣхъ,

которые никогда бы не были избраны при другой системѣ, но онъ, готовый всегда жертвовать всѣмъ, что не затрагиваетъ только принциповъ, не могъ отказаться отъ реформы, отъ которой, по его убѣжденію, зависѣло будущее Франціи. Онъ доказывалъ, что только эта реформа избирательной системы доставитъ странѣ твердое и устойчивое правительство! Палата оставалась глуха къ его убѣжденію. Она слушала, но не желала убѣждаться. Прерванный крикомъ: „вы подготавливаете вашу кандидатуру!“ — Гамбетта заканчивая свою рѣчь истинно государственнаго человѣка, произнесъ: „...если вы думаете, что я мечтаю объ уменьшеніи вашего авторитета и о преждевременномъ распусценіи палаты, я не могу васъ тогда убѣдить. Я могу противопоставить вашимъ опасеніямъ только мою честность, искренность моихъ словъ, наконецъ мое прошлое... и я обращаюсь съ призывомъ къ вашей совѣсти. Во всякомъ случаѣ, я безъ всякой горечи, безъ тѣни оскорбленнаго личнаго чувства, преклоняюсь передъ вашимъ рѣшеніемъ. Что бы ни говорили, есть нѣчто, что я ставлю превыше всякаго самолюбиваго чувства, какъ бы оно ни было законно, и это нѣчто—довѣріе республиканской партіи, безъ котораго я не былъ бы способенъ выполнить того, что составляетъ мою задачу—я имѣю нѣкоторое право такъ говорить—возвышенія родины“.

Когда онъ окончилъ свою рѣчь, часть палаты, свободная отъ предубѣжденія и сильно потрясенная глубокимъ чувствомъ и тою страстною любовью къ своему народу, которая сквозила въ каждомъ словѣ оратора, покрыла ее оглушительными рукоплесканіями. Другая, большая часть безмолвствовала, какъ бы придавленная на минуту тѣмъ величавымъ краснорѣчіемъ, которое заставило одного изъ его идейныхъ противниковъ воскликнуть: „Нуженъ былъ Дантонъ, чтобы отвѣчать на такую рѣчь“. Палата перешла къ голосованію и большинствомъ 282 противъ 227 вотировала противъ кабинета. Среди глубокой тишины Гамбетта взошелъ на трибуну и заявилъ, что послѣ голосованія палаты министерство не можетъ болѣе принимать участія въ дальнѣйшемъ обсужденіи. Такъ окончилъ свое кратковременное существованіе, длившееся всего 76 дней, министерство Гамбетты.

Гамбетта былъ искрененъ, когда онъ говорилъ, что каково бы ни было рѣшеніе палаты, чувство личнаго оскорбленія не коснется его.

Безъ всякой горечи покинулъ онъ власть, но съ полнымъ убѣжденіемъ, что наступитъ другое время, другія условія, и тогда онъ снова возьметъ власть въ свои руки, съ болѣею надеждою, съ болѣе сильною вѣрою—до конца довести великое дѣло возрожденія его родины. Могъ ли онъ думать, въ сорокъ-три года отъ рожденія, что другой, болѣе страшный врагъ караулитъ его и навсегда пресѣчетъ для него возможность продолжать великое дѣло служенія своему народу! Покинувъ постъ перваго министра, онъ вернулся къ своимъ обычнымъ занятіямъ. Избранный президентомъ комиссіи о пересмотрѣ закона о наборѣ, Гамбетта съ увлеченіемъ отдался работѣ, касавшейся военной организаціи, дѣля все время между редакціей своей газеты „La République Française“ и засѣданіями въ палатѣ. Смѣнившее его министерство Фрейсинэ дѣйствовало неудачно. Печальныя ошибки во внѣшней политикѣ, неумѣнье охранить достоинство Франціи и разрывъ англо-французскаго соглашенія по вопросу объ оккупациі Египта, неопредѣленность внутренней политики — быстро возбудили неудовольствіе и страны, и палаты, у которой не хватило патріотическаго мужества, чтобы смѣло вступить на путь твердой, рѣшительной и вмѣстѣ осторожной реформаторской политики Гамбетты. Ропотъ общественнаго мнѣнія становился все громче и громче. Вся истинно республиканская печать, и въ особенности провинціальная, не переставала каждый день обвинять палату депутатовъ за паденіе министерства Гамбетты, получавшаго безчисленные адреса съ выраженіемъ ему горячаго сочувствія и надежды, что палата сознаетъ свою ошибку и побудитъ его вернуться къ власти. Искусственная волна озлобленія и недовѣрія, поднятая противъ Гамбетты его врагами, быстро исчезала и все глубже и глубже стало проникать сознаніе правоты человѣка, вся жизнь котораго служила порукой его безкорыстнаго служенія Франціи.

Какъ разъ въ ту минуту, когда снова взоры всѣхъ любящихъ свою родину обращались съ вѣрою и надеждою къ испытанному вождю республиканской партіи, распространилась вѣсть о несчастномъ случаѣ, постигшемъ Гамбетту въ его маленькомъ домикѣ, недалеко отъ Парижа, въ Ville d'Avray. Разсматривая револьверъ, Гамбетта прострѣлилъ себѣ правую руку — такъ утверждали его друзья, но общественное мнѣніе, не довѣряя этимъ словамъ, доискивалось другой причины и слагало одну легенду за другою.

Незначительная, повидимому, рана повлекла за собою тяжелыя осложненія; утомленный организм не выдержалъ, и 31-го декабря, въ минуту наступленія новаго 1883 года, не стало великаго патріота и величайшаго со времени Мирабо оратора. Вѣсть о его кончинѣ вызвала небывалую народную скорбь. Умокла клевета. Вчерашніе враги преклонились передъ его гробомъ. Вся Франція облеклась въ трауръ. Страна почувствовала себя осиротѣлою. Милліонная толпа провожала гробъ чловѣка, не знавшаго другой страсти, какъ величіе Франціи и окончательное утвержденіе республики. Всю свою жизнь онъ отдалъ на служеніе этимъ двумъ идеямъ и тѣмъ стяжалъ себѣ одну изъ самыхъ славныхъ страницъ въ исторіи своей родины.

1892 г.

ИНТИМНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

— Journal des Goncourts. — Paris, 1888.

I.

Каждая книга имѣетъ свою судьбу! — изреченіе безспорно справедливое, если его понимать въ томъ смыслѣ, что успѣхъ книги очень часто зависитъ отъ минуты ея появленія. Иной разъ книга, богатая содержаніемъ, испещренная глубокими мыслями, написанная съ рѣдкимъ талантомъ, проходитъ почти незамѣченною, въ то время, какъ другая — совершенно ничтожна, болѣе чѣмъ тоща идеями, повторяетъ чужія слова, чужія мысли, давно сдѣлавшіяся банальными, носитъ на себѣ явную печать бездарности автора, — но благодаря лишь тому, что книга появилась въ подходящій моментъ и отвѣчаетъ извѣстному общественному настроенію, она пользуется столь же громаднымъ, сколько и незаслуженнымъ успѣхомъ. Примѣровъ тому можно привести множество, не только въ иностранной, но даже и въ нашей, далеко не столь богатой, отечественной литературѣ. Названія подобныхъ книгъ такъ и напрашиваются на бумагу, но... *nomina sunt odiosa*.

„Журналъ Гонкуровъ“, съ которымъ мы хотимъ познакомить нашихъ читателей, принадлежитъ къ сожалѣнію, къ книгамъ перваго рода, т.-е. появившимся, очевидно, не въ добрый часъ. Прошло уже почти около двухъ лѣтъ, какъ вышли три тома журнала Гонкуровъ, но мало, кто его прочелъ, мало, кто говорилъ бы о немъ. Даже

во французской критикѣ, всегда столь отзывчивой почти на всѣ литературныя явленія, не появилось ни одной обстоятельной статьи, посвященной этой, во многихъ отношеніяхъ, — въ чемъ, мы надѣемся, убѣдится и читатель, — замѣчательной книгѣ. Одинъ лишь критикъ „Revue des deux Mondes“ посвятилъ журналу Гонкуровъ пространную статью, но и онъ умудрился однако ничего не сказать о содержаніи журнала, а лишь ограничивался указаніемъ на нѣкоторую рисовку авторовъ журнала и на непригодность вообще такого рода литературы.

„L'homme n'est pas parfait“, — скажемъ мы, употребляя выраженіе самихъ Гонкуровъ, и нужно примириться съ мыслью, что писатель, какой бы величины онъ ни былъ, когда онъ пишетъ свою исповѣдь, мемуары, дневникъ или журналъ, никогда не пишетъ для себя и вовсе не уподобляется пятнадцати, шестнадцатилѣтней дѣвушкѣ, повѣряющей свои думы, свои дѣвическія видѣнія и тайны, завѣтной тетрадкѣ, тщательно хранимой подъ ключомъ — и то лишь до поры, до времени. Онъ пишетъ для потомства; онъ пишетъ въ виду читателя и его судъ надъ нимъ. О другихъ, о своихъ современникахъ, онъ будетъ говорить то, что онъ думаетъ о нихъ, не прикрашивая и не искажая ихъ образа, если только авторъ мемуаровъ не ослѣпленъ дружбою или враждою; себя же онъ естественно будетъ стараться выставить въ свѣтъ, наиболѣе благопріятномъ, хотя въ дѣйствительности свѣтъ этотъ сплошь и рядомъ оказывается вовсе не столь благопріятнымъ, какъ это представлялось автору.

Нѣтъ такихъ мемуаровъ, среди даже наиболѣе замѣчательныхъ, начиная съ исповѣди Жанъ-Жака Руссо, автобіографіи Альфьери, мемуаровъ Шатобріана и кончая журналомъ Гонкуровъ, которые не грѣшили бы противъ строгой истины во всемъ, что касается самихъ авторовъ и ихъ отношеній къ людямъ. Вполнѣ понятная, общечеловѣческая слабость авторовъ мемуаровъ нисколько, однако, не умаляетъ интереса и значенія самихъ мемуаровъ.

Эта интимная, если можно такъ выразиться, литература, дышетъ жизнью въ то время, когда современные мемуарамъ произведенія сохраняютъ лишь историческій интересъ, за исключеніемъ лишь немногихъ твореній, запечатлѣнныхъ гениемъ и смѣло выдерживающихъ натискъ не одного даже вѣка, но цѣлаго ряда столѣтій.

Стоитъ взять любые мемуары богатаго ими XVIII-го вѣка,

чтобы убѣдиться въ томъ, что никакая исторія, какъ бы талантливо она ни была написана, никакой романъ или комедія того времени, не передаютъ намъ такъ живо характерныхъ чертъ эпохи, какъ именно мемуары.

Помимо такихъ характерныхъ чертъ эпохи, во всѣхъ мемуарахъ, исповѣдяхъ, журналахъ выступаютъ—если только авторы ихъ много вращались въ обществѣ—любопытныя фигуры современниковъ, и наконецъ, если при этомъ еще самъ авторъ успѣлъ завоевать себѣ громкое имя, то, отбывая даже неизбѣжную рисовку, мемуары его все же содержатъ много чертъ, раскрывающихъ намъ душу писателя.

Нѣтъ ничего менѣе справедливаго, какъ утверждать, подобно тому, какъ дѣлаютъ нѣкоторые критики, воюющіе противъ „интимной литературы“, что интересно лишь само произведеніе писателя, а до того, что думалъ писатель, что чувствовалъ, какъ понималъ свою задачу, въ какихъ условіяхъ ему приходилось жить и работать, какъ онъ относился къ окружающему его обществу, намъ нѣтъ никакого дѣла, что для потомства все это безразлично и неинтересно.

Еслибы Данте, Шекспиръ, Микель-Анджело, Бетховенъ, эти четыре каріатиды человѣчества, какъ называетъ ихъ Тэнъ, или Мольеръ, Сервантесъ, Корнель, Шиллеръ, Байронъ и Пушкинъ оставили намъ свои мемуары, то такіе мемуары значительно восполнили бы и ихъ великія творенія, и часто уяснили бы намъ вложенную въ произведеніе мысль, всегда почти стѣсненную условіями даннаго времени и тѣми или другими общественными отношеніями.

Мемуары, исповѣди, журналы относятся къ тому же роду интимной литературы, къ которой принадлежитъ и переписка выдающихся по своему таланту людей, всегда проливающая яркій свѣтъ и на самихъ писателей, и на окружавшую ихъ среду, и на современныя имъ нравы и цѣлую эпоху.

Правда, нерѣдко раздаются голоса, и подчасъ авторитетныхъ писателей, которые говорятъ: — не трогайте частной жизни писателя, не прикасайтесь къ его святой-святыхъ! къ чему рыться въ его душѣ, зачѣмъ приподнимать завѣсу съ того, что онъ не предназначалъ для публики, а чѣмъ желалъ лишь дѣлиться съ близкими ему людьми! Развѣ писатель не имѣетъ такого же права на тайну своихъ частныхъ, интимныхъ писемъ, какъ и всѣ остальные смертные!

Не каждая строка писателя должна быть непременно вынесена на свѣтъ Божій, но все, что истребъ обрисовываетъ его личность, современныя ему нравы, характерныя черты эпохи,—все это должно раньше или позже сдѣлаться достояніемъ общества. Для потомства писатель утрачиваетъ характеръ частнаго лица, и въ этомъ, быть можетъ, кроется его невыгода, но въ этомъ же и его слава. Онъ принадлежитъ всѣмъ, онъ близокъ всѣмъ. Для того, чтобы убѣдиться въ огромномъ значеніи такой интимной литературы, не нужно заходить далеко. Возьмите въ нашей литературѣ все еще продолжающія появляться письма Пушкина, Гоголя, Тургенева, Герцена, Достоевскаго, и кто не признаетъ, что переписка этихъ писателей болѣе сдѣлала для правильной оцѣнки ихъ самихъ и того времени, когда они жили, чѣмъ цѣлые вороха страницъ, исписанныхъ по поводу ихъ жизни и произведеній.

Бѣда не велика, если въ такихъ письмахъ и мемуарахъ писателя современники ихъ являются передъ публикой не во фракѣ и бѣломъ галстухѣ, ихъ идеи, воззрѣнія, нравы—неприкрашенными и незащитными какой-либо фавулой повѣсти или романа, а, такъ сказать, нараспашку, не сжуженными, благодаря установившимся общественнымъ понятіямъ, импонирующимъ своимъ традиціоннымъ характеромъ. Открыто возставать противъ такихъ сантиментальныхъ понятій, бравировать ихъ—не дерзаютъ подчасъ и наиболѣе смѣлые, повидимому чуждые всякаго страха, писатели. Свободная форма писемъ, мемуаровъ даетъ большій просторъ мысли и непосредственнымъ впечатлѣніямъ ихъ авторовъ, отчего выигрываетъ только правда, а вмѣстѣ съ нею и болѣе правильная оцѣнка людей и эпохи.

Этою правдою, не всегда даже выгодною для самихъ авторовъ, дышетъ весь журналъ Гонкуровъ, обнимающій собою 18 лѣтъ, съ 1852 г. по 1870 г., т.-е. какъ разъ весь періодъ существованія второй имперіи отъ начала до конца. Искренность авторовъ, необычайная тонкость ихъ артистическаго чутья, умѣнье яркими красками рисовать колеблющіяся психологическія настроенія, мастерство, обнаруживаемое въ рельефномъ изображеніи лицъ и характеровъ, съ которыми имъ приходилось сталкиваться—вотъ чѣмъ обуславливается значительный интересъ журнала Гонкуровъ.

Журналъ ихъ не представляетъ собою, подобно большинству другихъ мемуаровъ, послѣдовательнаго разсказа; это даже не дневникъ

ихъ жизни, а гораздо скорѣе дневникъ ихъ мыслей, вызванныхъ событіями, встрѣчами, прочтенною книгою, пронесшимся слухомъ, случайнымъ визитомъ, — мыслей самыхъ разнообразныхъ и постоянно, часто на одной и той же страницѣ, перебѣгающихъ отъ одного предмета къ другому. Рядомъ съ такими мыслями, въ журналѣ Гонкуровъ разбросаны картинки, характерныя черты нравовъ, выведены люди, переданы живо схваченные разговоры, — словомъ, журналъ ихъ представляетъ собою настоящій калейдоскопъ съ удивительно яркимъ и пестрымъ сочетаніемъ цвѣтовъ. Три объемистые тома журнала Гонкуровъ содержатъ въ себѣ тысячи разнородныхъ набросковъ, какъ будто бы вовсе между собою несвязанныхъ.

Для того, чтобы дать сколько-нибудь полное представленіе о журналѣ Гонкуровъ, мы постараемся сгруппировать эти отдѣльные наброски, и тогда, быть можетъ, ясно обрисуется и нравственный обликъ писателей, и самый характеръ пережитой ими эпохи, и, наконецъ, любопытные мозаичные портреты многихъ изъ ихъ выдающихся современниковъ.

Говоря о журналѣ Гонкуровъ, нельзя не говорить вмѣстѣ и о „Письмахъ Жюль де Гонкура“, во многомъ дополняющихъ и поясняющихъ мемуары обоихъ братьевъ, занявшихъ, благодаря выдающемуся оригинальному таланту автора, одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ богатой талантами французской литературѣ XIX в. Этимъ выдающимся талантомъ въ извѣстной степени объясняется и самое значеніе ихъ журнала.

Мы знаемъ очень хорошо, что мѣсто, которое мы отводимъ Гонкурамъ въ пантеонѣ французской литературы, они занимаютъ далеко не безспорно; что отъ времени до времени раздаются голоса, какъ раздавались они по поводу выхода въ свѣтъ ихъ журнала, отрицающіе крупное значеніе братьевъ Гонкуровъ, и съ большею или меньшею искренностью ставящіе вопросъ: за что, за какія заслуги ихъ возносить на такую высоту?

Братья Гонкуры раздѣляютъ судьбу всѣхъ писателей, одаренныхъ крупнымъ талантомъ, но не желающихъ идти по проторенному литературному пути, а предпочитающихъ проложить хотя бы и неширокую, но зато свою собственную тропинку. На всемъ, за что только они ни брались, на всемъ, что они только писали, лежитъ печать оригинальности, новизны приемовъ, своеобразнаго артистиче-

скаго чуття и особой манеры рисовать нравы, характеры, жизнь, — будутъ ли то нравы, характеры и жизнь далекаго прошлаго, или современнаго, окружающаго ихъ міра. Всѣ ихъ произведенія, къ какому бы роду литературы они ни принадлежали, отзываются глубокимъ, точнымъ, детальнымъ изученіемъ занимающаго ихъ предмета, не сопровождающимся, однако, у нихъ свойственнымъ такому изученію спокойствіемъ, нѣкоторою холодною и безстрастностію; напротивъ, каждое ихъ произведеніе насквозь проникнуто ихъ исключительно нервнымъ, и притомъ нервнымъ до болѣзненности, литературнымъ темпераментомъ. Ни про кого съ такою справедливостію нельзя выразиться, что онъ пишетъ нервами, не чернилами, а кровью, какъ про Гонкуровъ. Потому-то, быть можетъ, подъ ихъ перомъ все живетъ полною, почти лихорадочною жизнью, какъ тогда, когда они изображаютъ людей и нравы XVIII вѣка, такъ равно и тогда, когда они рисуютъ характеры и общество XIX вѣка.

Еслибы братья Гонкуры не обладали такою исключительно нервною организаціей, — невозможно было бы объяснить, какъ могли они, сравнительно въ короткій промежутокъ времени, написать такое значительное число произведеній, и притомъ самыхъ разнородныхъ. Въ теченіе 18 лѣтъ литературной дѣятельности обоихъ братьевъ они выпустили въ свѣтъ двадцать-два тома, то посвящая свой трудъ исторіи или роману, то — театру или исторіи искусства.

Ихъ историческая заслуга стоитъ внѣ всякаго спора. Они являются въ полномъ смыслѣ слова историками нравовъ XVIII в. Кому случилось познакомиться съ ихъ историческими произведеніями, кто прочелъ „La femme au XVIII siècle“, „La Duchesse de Chateauroux et ses soeurs“, „Madame de Pompadour“, „La Du Barry“, или „Histoire de la société française pendant la révolution“, и затѣмъ исторію того же французскаго общества во время директоріи, — тотъ охотно признаетъ, что едва-ли кто-либо до нихъ съ такимъ мастерствомъ, талантомъ и громадною эрудиціей воспроизводитъ нравы французскаго общества прошлаго столѣтія. Они даютъ не сухую исторію, а полную жизни картину XVIII вѣка.

Пріемъ ихъ въ историческихъ произведеніяхъ — это пріемъ художниковъ-реалистовъ, пишущихъ образамъ. Они не рассказываютъ, они воспроизводятъ жизнь прошлаго столѣтія, живутъ въ немъ, какъ

будто бы они были современниками этой удивительной исторической эпохи. Не даромъ такіе компетентные судьи въ исторической сферѣ, какъ Мишлѣ, высоко цѣнили ихъ произведенія и видѣли въ нихъ „удивительныхъ писателей, обладающихъ глубокою ученостью, неразрывно связанною у нихъ съ тонкимъ художественнымъ чутьемъ и проницательностью“.

Встрѣченные сочувственно при самомъ ихъ появленіи на литературной аренѣ избранными умами, людьми, составившими себѣ громкое имя не только во Франціи, но во всемъ образованномъ мірѣ, какъ Викторъ Гюго, Мишлѣ, Ж.-Зандъ, — Гонкурамъ долго приходилось бороться съ неизвѣстностью. Произведенія ихъ не расходились; романы не раскупались; масса читающей публики, всегда падкая до беллетристики, ихъ игнорировала. Только послѣ пятнадцати лѣтъ рѣдкой по плодovitости и разнородной литературной дѣятельности, послѣ цѣлаго ряда выдающихся произведеній, они пробили, наконецъ, ледяную массу и вынудили признаніе ихъ таланта и крупнаго значенія въ исторіи французскаго романа.

Современная французская критика въ лицѣ Поля Буржѣ, Жюль Леметра, словомъ, въ лицѣ ея талантливыхъ представителей, ратификовала мнѣніе, давно уже высказанное Эмилемъ Золя, что Гонкуры являются продолжателями дѣла Бальзака, что они, вводя новыя пріемы, обновили французскій романъ.

Исходя изъ того положенія, что „романъ, это — исторія, которая могла бы быть“, Гонкуры сдерживаютъ свое воображеніе, опасаясь, какъ бы фантазія не прозвучала фальшивой нотой въ изображеніи современной дѣйствительности. Романъ ихъ, это — сама современная жизнь, прочувствованная и воспроизведенная, по выраженію Леметра, „самыми тонкими и нервными писателями“. Быть можетъ, романъ ихъ не захватываетъ всей современной жизни, не исчерпываетъ всего ея пестраго содержанія, но будущіе историки нравовъ XIX-го вѣка найдутъ въ романахъ Гонкуровъ, начиная съ „Charles Demouilly“ проходя черезъ „Renée Mauperin“, „Germinie Lacerteux“ и кончая „Madame Gervaisais“, богатый и неприкрашенный матеріалъ для изображенія одной изъ самыхъ характерныхъ и выдающихся сторонъ современнаго общества — широко распространеннейшей нервности, неустойчивости и слабости воли въ осложнившейся жизненной борьбѣ. Сами болѣзненно-нервные писатели встрѣтили въ

современномъ обществѣ вполне подходящій для ихъ темперамента матеріалъ, который они собрали и изучили съ добросовѣстностью серьезныхъ ученыхъ. Нервный вѣкъ нашелъ въ Гонкурахъ своихъ историковъ.

Какъ въ своихъ историческихъ произведеніяхъ, такъ и въ романахъ, Гонкуры вездѣ являются живописцами. Они не рассказываютъ, они рисуютъ, и отсюда, намъ кажется, происходитъ своеобразность ихъ стиля. Стиль для нихъ, это—образность, яркость красокъ. Они точно хотятъ, чтобы читатель видѣлъ то, что онъ читаетъ; имъ мало поразить воображеніе, имъ нужно поразить и глазъ. Красота, гармонія, мелодичность, музыкальность, мало прельщаетъ Гонкуровъ, и они вовсе не думаютъ объ изяществѣ своего стиля. Когда имъ хочется „нарисовать“ мысль,—если только позволительно употребить это выраженіе въ духъ Гонкуровъ,—они не заботятся о томъ, что мысль ихъ будетъ отзываться парадоксомъ, софизмомъ; имъ прежде всего нужна выпуклость, рельефность, образность. Ихъ нервный по преимуществу темпераментъ повліялъ на ихъ стиль. Слова, фразы, это—инструментъ, на которомъ они, по выраженію Бурже, играютъ какъ цыгане на своей скрипкѣ—болѣзненно и страстно.

Съ самыхъ раннихъ лѣтъ литература была ихъ исключительною привязанностью; это была ихъ единственная любовница, которой они остались вѣрны, — одинъ изъ братьевъ до самой его смерти, другой, оставшійся въ живыхъ, до глубокой старости.

Въ перепискѣ Жюль Гонкура, опубликованной много лѣтъ спустя послѣ его мучительной кончины, послѣдовавшей въ 1870 году, мы находимъ множество любопытныхъ автобіографическихъ данныхъ, касающихся перваго пробужденія той литературной страсти, которая никогда ихъ не покидала.

Начиная съ 18 лѣтъ, даже раньше, они только и бредятъ литературой. Матеріальное и общественное положеніе ихъ семьи было таково, что они не должны были думать о послѣпномъ выборѣ той или другой карьеры; они имѣли полную возможность слѣдовать влеченію ума и сердца, толкавшихъ ихъ въ міръ искусства, живописи, поэзіи и всего того, что зовется *les belles lettres*. Въ этой рѣшимости отдаться всецѣло служенію искусству ихъ укрѣпляло еще болѣе то чувство безглаголивости, которое они таили въ себѣ по от-

ношенію къ политическому состоянію, переживавшемуся въ то время Франціей. Они понимали одну лишь борьбу, и притомъ самую страстную—за искусство, за литературное знамя; ко всякой другой—они были болѣе чѣмъ равнодушны. Борьба политическая ихъ не трогала, и если они не относились къ ней съ явной враждебностью, то во всякомъ случаѣ съ полнѣйшимъ индифферентизмомъ. Паденіе іюльской монархіи застало ихъ юношами, только-что вступавшими въ жизнь, и самый характеръ того переходнаго времени, съ его кровавыми эпизодами, съ которыми они встрѣтились на самомъ порогѣ жизни, могъ только еще болѣе содѣйствовать коренившейся въ ихъ артистическихъ натурахъ антипатіи къ безпокойной, шумной, лихорадочной сторонѣ политической борьбы. Въ 18 лѣтъ они уже мрачно смотрятъ на будущее своей родины. „Что касается политики,—читаемъ мы въ одномъ изъ писемъ, помѣченныхъ 1848 годомъ,—то такъ какъ этотъ дьявольскій вопросъ хватаетъ насъ за горло, то я скажу тебѣ только два слова: болѣе чѣмъ когда-нибудь я все вижу въ черномъ цвѣтѣ...“; а въ другомъ письмѣ къ Пасса говорится тономъ зрѣлаго человѣка: „...согласись, что я уже давно говорю тебѣ о невѣроятныхъ успѣхахъ разрушительной буржуазіи! Ледрю-Ролленъ, избранный пять разъ, 220 социалистовъ въ народномъ собраніи, 12 миллионъ гражданъ, зараженныхъ соціальной холерой... борьба, открыто завязавшаяся между бѣлыми и красными внутри страны и между республикой и „казаками“ извнѣ—вотъ каково положеніе. Очевидно, наше дѣло пропащее. Франція сдѣлается страной соціалистической, вся Европа—республиканской. Это непріятно, но я убѣжденъ въ вѣрности этого взгляда“... Черезъ мѣсяцъ послѣ этого пророчества наступаютъ іюньскіе дни, въ которыхъ Гонкуры видятъ только первую схватку соціальной войны, войны бѣднаго противъ богатаго, того, который ничего не имѣетъ, противъ того, который чѣмъ-либо обладаетъ, „первую страницу соціализма и коммунизма“. Традиціи, жившія въ ихъ семьѣ, притягивали ихъ больше къ тому времени, которое, по ихъ образному выраженію, „гильотинировало 89-ый годъ“. То время, съ его поверхностнымъ блестящимъ слоемъ, съ его изяществомъ салоннаго языка и нравовъ, болѣе плѣняло ихъ артистическія натуры. Но отсюда, однако, не слѣдуетъ дѣлать вывода, что они были безусловными сторонниками стараго порядка и горячими противниками смѣнившей

старый строй общественной организаціи. Ихъ политическое profession de foi выразилось въ одномъ восклицаніи, которое мы находимъ въ перепискѣ: „à bas la politique! Vive la littérature“!

Они желали только одного: чтобы политика не служила помѣхой для литературы, чтобы она не заслоняла той богини, которой они поклонялись съ такою страстною ревностью. Гонкуры сдѣлались ея жрецами и отстраняли отъ себя все, что могло отвлечь ихъ отъ благоговѣйнаго служенія передъ ея алтаремъ.

Въ этомъ служеніи они были поразительно тверды. Они оставались глухи къ голосу друзей дѣтства, близкихъ родныхъ, которые убѣждали ихъ избрать какую-нибудь карьеру, говоря то, что и до сихъ поръ говорится очень часто, что литература не дѣло, а милое бездѣлье, что она можетъ служить какъ пріятный *passetemps*, но что человѣкъ серьезный долженъ же избрать себѣ какое-нибудь занятіе. „Мое рѣшеніе принято, и ничто не заставитъ меня измѣнить его, — писалъ на 19-мъ году жизни Жюль Гонкуръ: — ни наставленія, ни совѣты... Употребляя фальшивое, но принятое выраженіе, я говорю, что я ничего не буду дѣлать... Я нахожу, что общественныя должности, которыхъ такъ домогаются, и которыя такъ переполнены, не стоятъ ни одного изъ раболѣпныхъ поклоновъ, обыкновенно дѣлаемыхъ для ихъ достиженія. Таково мое мнѣніе, и такъ какъ дѣло идетъ обо мнѣ, то я имѣю право его крѣпко держаться“.

Въ то время, когда политическое броженіе охватило всю страну и полонило всѣ умы, увлекаая въ особенности молодежь, два брата Гонкуры убѣгали въ какую-либо пустынную деревушку, забирались въ какой-нибудь уголокъ на берегу океана, и тамъ, одинокіе, не зная развлеченій, воспитывали свой литературный вкусъ на Шекспирѣ, Раблѣ, увлекались Байрономъ, наслаждаясь его разочарованностью и скептицизмомъ, отлившимися въ „Донъ-Жуанъ“, который, по ихъ словамъ, такъ вѣрно отражаетъ нашъ вѣкъ, „покоящійся на развалинахъ прошлаго и безсильный пока создать для себя будущее“. Рядомъ съ Шекспиромъ, Раблѣ и Байрономъ, они поклонялись Виктору Гюго, плѣненные картинностью его языка, блескомъ его звуковыхъ сочетаній. Въ уединеніи, тишинѣ, вдали отъ шума, этого суроваго врага наиболѣе нервнаго изъ двухъ братьевъ, Жюля Гонкура, они проводили цѣлыя дни въ работѣ, дѣлая первыя пробы пера, переходя отъ прозы къ стихамъ, и отъ поэзіи

къ живописи. Цѣлые дни они проводили надъ ваяніемъ своего стиля; они вырабатывали смѣлость фразы, отыскивали рисующія слова, набирались красокъ, старались обогатить, какъ они выражаются, свою палитру. Работая надъ стилемъ, они однако не видѣли въ немъ своей цѣли, а только средство, орудіе, чтобы ярче выразить свои идеи и густыми, блестящими красками рисовать впоследствии нравы и жизнь. Поклонники стиля, красокъ, они въ такой же мѣрѣ были поклонниками идеи, и никогда не признавали, чтобы какое-либо литературное, поэтическое произведеніе было хорошо, если оно не было проникнуто какою-нибудь идеей. Нѣтъ идеи, нѣтъ и поэзіи,—говорили они,—а есть только риторическое, быть можетъ, красивый, но безцѣльный и бессмысленный подборъ словъ. Но къ одному роду идей они относились съ равнодушнымъ пренебреженіемъ—къ идеямъ политическимъ, вовсе какъ бы не трогавшимъ ихъ.

Эта антипатія къ политическимъ идеямъ является характерною чертою Гонкуровъ, общою у нихъ съ нѣкоторыми изъ ихъ выдающихся современниковъ, какъ, напримѣръ, Флоберомъ, и переданною ими какъ бы по наслѣдству такому талантливому ихъ современнику, какъ Гюи-де-Мопассанъ.

Этою чертою отличаются всѣ ихъ романы, которыми они сами придавали значеніе историческихъ документовъ, забывая очевидно, что политическія идеи, политическіе нравы являются очень часто ключомъ, безъ котораго трудно объяснить многія явленія и частной, и общественной жизни народа. Та же черта проходитъ и черезъ весь ихъ журналъ, въ которомъ тщетно мы стали бы искать непосредственныхъ слѣдовъ политической жизни эпохи упадка французскаго общества, совпавшей со временемъ второй имперіи, несмотря на то, что первая страница журнала помѣчена фатальнымъ числомъ 2-го декабря 1851 года, а послѣдняя—22-го іюня 1870 года.

II.

Въ небольшомъ предисловіи, предпосланномъ журналу, Эдмонъ Гонкуръ, пережившій своего младшаго брата Жюля, говоритъ: „журналъ этотъ представляетъ собою нашу исповѣдь каждого вечера, исповѣдь двухъ жизней, не раздѣльныхъ въ радости, горѣ, трудѣ, двухъ мыслей близнецовъ, двухъ умовъ, получавшихъ отъ соприкосновенія съ людьми и съ предметами впечатлѣнія настолько сходныя, однородныя, тождественныя, что исповѣдь эта можетъ быть разсматриваема какъ выраженіе одного я“.

Сотрудничество двухъ авторовъ въ одномъ и томъ же литературномъ произведеніи, въ романѣ, и въ особенности комедіи, драмѣ, дѣло довольно обыкновенное, особенно во французской литературѣ, гдѣ мы видѣли Ж.-Занда и Жюля Сандо, Дюма-сына и Эмиля-де-Жирандена, Эркмана и Шатріана, не говоря о второстепенныхъ писателяхъ, подписывавшихся вѣсть подъ комедіей или романомъ, — но такое сотрудничество не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ феноменальнымъ явленіемъ, которое представляютъ собою братья Гонкуры. Съ самыхъ раннихъ лѣтъ два брата слились въ одного человѣка, въ одного писателя, въ одного художника, и самый тщательный анализъ всѣхъ ихъ произведеній не даетъ возможности подмѣтить какой-либо самой мелкой черты двойственности, по которой можно было бы угадать работу двухъ людей. Исторія литературы не знаетъ другого примѣра такого сродства душъ, такого полного сліянія ощущеній, впечатлѣній, какъ у братьевъ Гонкуровъ. Связанные съ дѣтскаго возраста совершенно исключительной дружбою, возвышавшеюся надъ всѣмъ остальнымъ любовью другъ къ другу, они никогда не разлучались нравственно, какъ никогда не разлучались физически. Одинъ только разъ, какъ они сами рассказываютъ въ своемъ журналѣ, они рѣшились разстаться всего на двадцать-четыре часа, когда нужно было съѣздить въ Руанъ, чтобы списать въ архивъ какой-то документъ, необходимый для одного изъ ихъ историческихъ трудовъ. Но если временная разлука была возможна, то нравственная, повидимому, была совершенно немислива. Благодаря какой-то необъяснимой игрѣ природы, одно и то же явленіе вызывало у нихъ неизбѣжно одну и ту же мысль, нахо-

дившую тождественное выраженіе. Чтѣ думалъ одинъ, то же думалъ и другой; чтѣ испытывалъ старшій братъ, то же самое испытывалъ и младшій. Умъ, сердце, воображеніе двухъ братьевъ были въ дѣйствительности однимъ умомъ, однимъ сердцемъ, однимъ воображеніемъ.

При существованіи подобнаго сродства душъ, естественно было бы предположить, что темпераментъ обоихъ братьевъ совершенно одинаковый. А между тѣмъ изъ переписки, изъ журнала мы волей-неволей убѣждаемся, что темпераменты обоихъ братьевъ Гонкуровъ были совершенно различны. „...Я—писалъ Эдмонъ де-Гонкуръ къ Зола послѣ смерти своего брата—меланхоликъ, мечтатель, въ то время какъ онъ весь былъ сотканъ изъ веселости, живости ума, логики, ироніи“. Жюль Гонкуръ,—рукою котораго написанъ весь журналъ, такъ точно, какъ вся переписка написана его же рукою, хотя и журналъ, и письма всегда отражали мысль и чувство, общія обоимъ братьямъ,—нѣсколько разъ возвращается къ этому удивительному психологическому явленію и такъ опредѣляетъ себя и брата: „онъ—это натура нѣжно-страстная и меланхолическая, въ то время, какъ я—меланхолическій матеріалистъ; въ концѣ концовъ,—странное дѣло,—между нами самое абсолютное различіе темпераментовъ, вкусовъ, характеровъ и абсолютно тождественныя идеи; тѣ же симпатіи и антипатіи къ людямъ, та же умственная оптика“.

Это духовное сродство выражалось иногда въ необъяснимыхъ явленіяхъ, отмѣченныхъ въ ихъ журналѣ. „Вчера я сидѣлъ на одномъ концѣ большого стола, въ то время какъ Эдмонъ на другомъ его концѣ разговаривалъ съ Терезой. Я не могъ слышать ихъ разговора,—говорить отъ своего имени Жюль Гонкуръ,—но когда Эдмонъ улыбался, я также невольно улыбался и съ тѣмъ же наклономъ головы. Никогда еще два тѣла—прибавляетъ онъ—не обладали столь одинаковою душою“.

Нельзя не вѣрить братьямъ Гонкурамъ, когда они говорятъ о различіи своихъ темпераментовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя и не замѣтить, что различіе совершенно ступеновано въ ихъ произведеніяхъ, въ ихъ журналѣ, гдѣ оно могло бы скорѣе обнаружиться, и опредѣлить, чтѣ принадлежитъ одному брату, чтѣ—другому представляется рѣшительно невозможнымъ. Можно было бы, безъ со-

жизни, попытаться провести параллель между произведениями, написанными сообща обоими братьями, и теми, которые появились въ свѣтъ послѣ смерти Жюль Гонкура и принадлежать перу одного Эдмона Гонкура; но и такая параллель не разрѣшила бы задачи. Безспорно, кажется, что ни одинъ романъ Эдмона Гонкура, ни „Les frères Zemganos“, ни „La fille Elisa“, ни „La Faustin“, ни „La Chérie“ не достигаютъ той силы, какою отличаются лучшіе романы, написанные обоими братьями, какъ „Madame Gervaisais“, „Germinie Lacerteux“, или „Renée Maupérin“, но отсюда никакъ нельзя еще сдѣлать вывода, что талантъ младшаго брата былъ крупнѣе таланта старшаго, и что у послѣдняго нѣтъ тѣхъ качествъ, какими отличался сторѣвшій отъ чрезвычайно напряженного нервнаго труда Жюль Гонкуръ. Еслибы смерть похитила прежде старшаго брата, то весьма можетъ быть, что въ произведеніяхъ одного Жюль Гонкура мы встрѣтились бы съ теми же недостатками, какіе находимъ въ романахъ одного Эдмона Гонкура. Въ нихъ нѣтъ той пытливости въ анализѣ, той реальности и рельефности образовъ, нѣтъ того нервнаго стиля, которымъ написаны произведенія, созданныя обоими братьями, но все это можетъ одинаково зависѣть, какъ отъ того, что Жюль Гонкуръ унесъ съ собою въ могилу ему лично принадлежавшія свойства таланта, такъ равно и отъ того, что послѣ его смерти, такъ тяжело отозвавшейся на пережившемъ его Эдмонѣ Гонкурѣ, талантъ послѣдняго поблекъ, какъ бы осиротѣлъ, выбитый изъ своей колеи.

Воспримъ же всякую попытку разграничивать талантъ одного брата отъ таланта другого и будемъ смотрѣть на ихъ журналъ, чего и они сами желали, какъ на ихъ общую душу, какъ на исповѣдь двухъ людей съ единою душою. Такая точка зрѣнія тѣмъ болѣе справедлива, что то различіе темпераментовъ, о которомъ они говорятъ, сглаживается, благодаря одной господствующей у того и у другого чертѣ. Если одинъ обладалъ натурою нѣжно меланхолической, а другой былъ меланхолическимъ матеріалистомъ, то все же въ основѣ обоихъ характеровъ лежало мрачное настроеніе, пессимистическое міросозерцаніе, не модное и не дѣланное, какъ у многихъ, а глубоко искреннее.

Это мрачное настроеніе нигдѣ не сказывается съ такою силой, какъ въ тѣхъ частяхъ ихъ журнала, въ тѣхъ безчисленныхъ стра-

ницахъ, въ которыхъ съ такою поразительною яркостью возстаетъ передъ нами нравственный образъ этихъ добровольныхъ мучениковъ литературы.

Къ этимъ страницамъ журнала мы теперь и обратимся.

Тяжелое, меланхолическое настроеніе никогда не покидаетъ Гонкуровъ; оно проходитъ черезъ всѣ три тома ихъ журнала, начиная съ первой и оканчивая послѣдней его страницей. Ведя свой журналъ почти изо дня въ день въ теченіе восемнадцати лѣтъ, сколько разъ вырывается у нихъ — не жалоба, нѣтъ, — а какое-то негодованіе по поводу всегда и всюду преслѣдующей ихъ тоски жизни. „Всѣ эти дни какая-то неопредѣленная меланхолія, утрата бодрости духа, лѣнь, атонія тѣла и ума“. Эта „неопредѣленная меланхолія“ или „неопредѣленная, безпредметная скука“, какъ выражаются они въ другомъ мѣстѣ журнала, преслѣдовала ихъ съ самаго дѣтства. „Когда припоминаешь — говорятъ они — все свое существованіе, то убѣждаешься, что всегда было такъ, что ничто не нарушало будничныхъ событій, и что Провидѣніе играло для насъ роль мачихи“. Но они не лелѣютъ своего мрачнаго настроенія, они не носятъ съ нимъ, они побуждаютъ его напряженной, безостановочной работой, и только лихорадочный, всепоглощающій трудъ заставляетъ ихъ забывать „плоскость жизни“, на которую они такъ горько жалуются. Ихъ меланхолическое настроеніе, ихъ непримиримость съ монотонною плоскостью всего окружающаго идетъ у нихъ рука объ руку съ гордымъ сознаніемъ своего достоинства, своего вѣчно протестующаго противъ всякой неправды и всякой лжи ума. Счастливы, довольны могутъ быть только плывущіе по теченію, подчиняющіеся господствующему настроенію, принятымъ идеямъ, установившимся понятіямъ, но не люди, мыслящіе самостоятельно и не угодничающіе передъ общимъ властелиномъ — успѣхомъ. „Въ насъ живетъ, — говорятъ они, — слѣпой истинкѣ, толкающей насъ всегда возставать противъ какого бы то ни было деспотизма людей, вещей, мнѣній. Это фатальный даръ, полученный при рожденіи, и отъ него нельзя освободиться. Существуютъ умы, рождающіеся прислужниками, созданные для служенія человѣку, который властвуетъ, идеѣ, которая восторжествовала, словомъ — успѣху, этому страшному властителю совѣсти; но такіе умы — самые многочисленные, самые счастливые. Другіе же рождаются — и мы принадлежимъ къ ихъ числу — съ чувствомъ, бунтующимъ

щимъ противъ всего, что торжествуетъ, съ сердцемъ, отзывавшимся сочувственно и братски ко всему, что побѣждено и раздавлено, благодаря побѣдѣ идей и чувствъ огромнаго большинства, родившіеся для той великодушной, но пагубной для нихъ борьбы, которая заставляетъ ихъ съ шести или десяти лѣтъ вступать въ неравный бой съ школьнымъ тираномъ, и которая навсегда бросаетъ ихъ въ оппозицію въ политикѣ, литературѣ, искусствѣ". Строки эти весьма любопытны для характеристики Гонкуровъ. Въ нихъ можно было бы заподозрить нѣкоторую рисовку, желаніе щегольнуть исключительностью своихъ натуръ, или, вѣрнѣе, своей натуры, но чтеніе ихъ журнала убѣждаетъ какъ нельзя больше въ безусловной искренности писателей. Они ненавидятъ все рутинное, шаблонное, проторенную дорогу; ко всему, что торжествуетъ, властвуетъ, — будь то идея или человѣкъ, — они относятся не только скептически, но почти что враждебно. По натурѣ своей они не могутъ замѣшаться въ толпу; они не любятъ ее, и если любятъ человечество, то, — употребляя выраженіе нашего поэта, — какою-то „странною любовью". Разладъ съ установившимся строемъ общественной жизни, съ господствующими понятіями, идеями, вѣрованіями, обходился Гонкурамъ не дешево. Они сознавали свою отчужденность, — была ли она воображаемая, или дѣйствительная, для чувства ихъ это было безразлично, — и отсюда происходила преслѣдовавшая ихъ скука, неопредѣленная тоска, вызывавшая въ нихъ постоянное и мучительное раздраженіе. Черная тоска, въ которую они погружались все глубже и глубже, не безъ нѣкотораго, какъ выражаются они, „горькаго и негодующаго наслажденія", заставляла ихъ останавливаться на мысли бросить Францію, переселиться за границу, чтобы „возобновить свободно говорящую Голландію XVII-го и XVIII-го вѣковъ, издавать тамъ журналъ противъ всего существующаго, сломать печать на устахъ своихъ и выразить свое отвращеніе въ одномъ крикѣ бѣшенства". Пусть эти слова, написанныя въ моментъ апогея славы второй имперіи, были лишь минутною вспышкой, но они обрисовываютъ настроеніе Гонкуровъ, особенно если принять во вниманіе, что собственно къ политикѣ они относились весьма безразлично. Еслибы они осуществили свою минутную, порывистую мысль или, вѣрнѣе, чувство, и уѣхали въ Голландію, то нѣтъ сомнѣнія, что, не доѣхавъ до мѣста, они вернулись бы въ Парижъ, который они такъ же сильно ненавидѣли, какъ и страстно любили.

Гонкуры вовсе не созданы были для активной борьбы. Их болѣзненно нервная натура была обречена на страдательную роль. Заключившись въ своемъ артистическомъ кабинетѣ, они поднимали знамя бунта, но бунта исключительно литературнаго, такъ какъ до всего остального имъ было мало дѣла. Но и такой бунтъ не обходился для нихъ безъ тяжелыхъ страданій, безъ надламывающихъ организмъ пукъ, живую картину которыхъ и воспроизводятъ Гонкуры въ своемъ журналѣ.

Раскрывая передъ читателемъ свой внутренній міръ, Гонкуры не стыдятся показывать ему свои человѣческія слабости, свое неудовлетворенное авторское самолюбіе, свои раны, полученныя въ литературномъ бою, и искренность авторовъ сообщаетъ особый, и притомъ назидательный, интересъ ихъ психологическимъ наблюденіямъ надъ самими собою. „Въ сущности, — говорятъ они, — наша рана, это — литературное самолюбіе, ненасытное и уязвленное, и горечь литературнаго тщеславія, когда одинъ журналъ оскорбляетъ васъ тѣмъ, что не упоминаетъ о васъ, а тотъ, который говоритъ о другихъ, приводитъ васъ въ отчаяніе“...

Нужно, разумѣется, большое мужество, чтобы сознаться въ томъ, что испытываютъ многіе, принадлежащіе къ литературной семьѣ, но что они тщательно скрываютъ. Въ литературы жизнь Гонкурамъ представлялась безцвѣтною, скучною, монотонною, и они испытывали ощущеніе людей, удерживаемыхъ, какъ они выражаются, отъ самоубійства только желаніемъ создать еще нѣсколько произведеній. Но откуда же это болѣзненное недовольство жизнью, при полномъ сознаніи своего таланта, не безплодно зарытаго въ землю? И сами Гонкуры ставятъ себѣ этотъ вопросъ. „На что же намъ жаловаться?.. почему отчаяваться? А? почему? Да потому, что мы обладаемъ слишкомъ тонкими чувствами, чтобы быть счастливыми, и удивительною способностью отравлять счастье, какъ только что-то похожее на него закрадывается въ насъ“. Все ихъ оскорбляло, все раздражало нервы: и то, что они видѣли, и то, что читали, что слышали. И они убѣгали отъ этого раздраженія, чуждаясь дневного свѣта, людей, и цѣлые мѣсяцы проводили за литературной работою, упиваясь ею точно гашишемъ. „Три мѣсяца прошло и мы за это время никого не видѣли, оставаясь почти безъ писемъ, не встрѣчая почти никого изъ знакомыхъ въ наши прогулки въ 11 часовъ вечера. Частью невольно,

частью умышленно, мы создаемъ вокругъ себя одиночество, въ одно и то же время довольные, что никто изъ окружающихъ насъ не коробить, и грустимъ, что мы остаемся только другъ съ другомъ“.

Недовольство жизнью, *taedium vitae*, которое испытывали братья Гонкуры, разумѣется, въ значительной степени обуславливалось ихъ болѣзненно-нервной организаціей, ихъ меланхолическимъ темпераментомъ, но оно еще болѣе усиливалось ихъ литературною задачею, въ смыслѣ всеобщаго и громкаго признанія ихъ таланта. Положивъ всю жизнь свою на литературу, отдавъ ей всѣ свои силы, свое здоровье и талантъ, они мучились неуспѣхомъ своихъ произведеній, такъ долго остававшихся въ тѣни. Слава не шла имъ на встрѣчу, та слава, которая такъ часто ласкаетъ самолюбіе гораздо менѣе талантливыхъ писателей. Мелкіе люди! — быть можетъ, подумаетъ читатель: — нѣтъ, не мелкіе, но — просто люди. Большинство писателей, конечно, скажутъ, что они находятъ себѣ полное удовлетвореніе въ томъ сознаніи, что они проводятъ въ общество свои идеи; что самая работа, творчество, составляютъ для нихъ источникъ наслажденія; что одна мысль о томъ, что они сѣютъ добрыя сѣмена, вполне ихъ вознаграждаетъ, но многіе ли, говоря такъ, будутъ вполне искренними? Еслибы возможно было раскрыть ихъ душу, то — кто знаетъ? не прочли ли бы мы въ этой душѣ такихъ же выстрадавшихъ страницъ, какія въ изобиліи, по этому поводу, разбросаны въ журналѣ Гонкуровъ. Они сожалѣютъ, что не рѣшились описать, день за днемъ, ту тяжелую и страшную борьбу съ неизвѣстностью, когда не установились отношенія, нѣтъ еще горячихъ друзей, когда всѣ двери заперты передъ писателемъ, когда вокругъ него устраивается какой-то заговоръ молчанія, — ту нѣмую, внутреннюю агонію, свидѣтелемъ которой является лишь окровавленное самолюбіе и ноющее сердце... то былъ бы — читаемъ мы въ журналѣ — превосходный этюдъ, котораго никто никогда не напишетъ, потому что достаточно тѣни успѣха, или найденнаго издателя, нѣсколькихъ сотъ франковъ вознагражденія, нѣсколькихъ статей по пяти, шести су за строчку, достаточно, чтобы ваше имя сдѣлалось извѣстнымъ какой-нибудь тысячѣ человѣкъ — вамъ незнакомыхъ, достаточно нѣкоторой рекламы, чтобы излечить васъ отъ прошлаго и покрыть все забвеніемъ... Проглоченныя слезы, перенесенныя обиды, рисуются вдали, какъ сама ваша молодость, какъ старыя вѣны. ~~Въ заговорѣ~~ вы вспоминаете, когда онѣ снова открываются“.

Каждый новый томъ, который Гонкуры выпускали въ свѣтъ, къ ихъ несчастью, имѣлъ свойство раскрывать эти старыя, мучительныя раны. Страстно любя литературу, они ненавидѣли вмѣстѣ съ тѣмъ литературную карьеру, путь которой усѣянъ незаслуженными оскорбленіями, глумленіемъ невѣждъ, завистью, столь пераборчивой въ своихъ нападеніяхъ. Общество — выражались они — пожалѣло бы писателей, еслибы оно догадывалось только, какою дорогою цѣною обидъ, клеветы, физическаго и умственнаго утомленія достигается самая маленькая извѣстность. Ихъ первая организація, впечатлительная, воспримчивая, дѣлала то, что каждый уколъ ихъ самолюбія причинялъ имъ невыносимую боль и вызывалъ мрачное настроеніе. „Рѣшительно—вносятъ они въ свой дневникъ—люди и обстоятельства, издатели и публика, все точно сговорилось, чтобы сдѣлать для насъ литературную карьеру болѣе усѣянною неудачами, пораженіями, горечью, болѣе тяжелою, чѣмъ для всякаго другого, и послѣ десяти лѣтъ упорнаго труда, борьбы, литературныхъ сраженій, множества нападеній и нѣсколькихъ лишь похвалъ печати, мы вынуждены будемъ—говорятъ они по поводу одного изъ своихъ романовъ—издавать наше произведеніе на собственный счетъ“... Они возмущались тѣмъ, что въ то время, когда ихъ книга не находила себѣ издателя, за одинъ куплетъ балаганной пьесы „Pied de mouton“ платили 2.800 франковъ, но они забывали, очевидно, что они жили въ эпоху общественной деморализаціи, и что такой государственный порядокъ, какимъ наградила Францію вторая имперія, всегда сопровождается крайне низкимъ нравственнымъ и умственнымъ уровнемъ общества.

И несмотря на всю горечь литературной карьеры, вызывающей у Гонкуровъ подчасъ крики ненависти и проклятій жизни, отданной на служеніе литературѣ, которая вѣчно держитъ человѣка между надеждою и отчаяніемъ, бросая его снизу вверхъ, какъ „волны переворачиваютъ утопленника“,—они работали, не зная отдыха, до полнаго физическаго истощенія, и имѣли полное право сказать про себя, что они были всю свою жизнь мучениками книги, всегда поглощенные работой и мыслью. Гонкуры отказывали себѣ въ обществѣ, въ удовольствіяхъ, избѣгали знакомыхъ, дарили прислугѣ свои фраки, чтобы лишить себя возможности выѣзжать въ свѣтъ. Цѣлые дни они безъ отдыха проводили въ трудѣ, и только когда на-

ступала ночь, они отправлялись бродить по отдаленнымъ бульварамъ, съ цѣлью вдохнуть въ себя свѣжій воздухъ, опасаясь нарушить необходимую для творчества сосредоточенность. Гонимыи вовсе не того мнѣнія, что процессъ творчества представляетъ собою процессъ высокаго наслажденія, и тѣ, что они говорятъ о зарожденіи романа, въ высшей степени любопытно. „Мука, страданіе, пытка литературной жизни: это—роды. Задумать, творить: въ этихъ двухъ словахъ для писателя заключается цѣлый міръ мучительныхъ усилій и томленій. Изъ ничего, изъ какого-то эмбриона, являющагося въ видѣ первой идеи книги, заставить выйти наружу *punctum saliens*, извлечь изъ своей головы одну за одной всѣ нити фабулы, черты характеровъ, интригу, развязку, словомъ— всю жизнь маленькаго мірка, въ который вы сами вдохнули жизнь, который вы выносили въ вашихъ внутренностяхъ и превратили сами въ романъ! Какая работа! Это все равно, что листъ бѣлой бумаги, развернутый въ вашей головѣ, и на которомъ мысль, еще не оформившаяся, нацарапала какія-то неопредѣленные и неразборчивыя линіи. Какое мрачное утомленіе, какое безконечное отчаяніе, какой стыдъ за самого себя, когда сознаешь себя бессильнымъ въ этомъ желаніи творить! Вы ворочаете и переворачиваете вашъ мозгъ, а онъ отдаетъ пустотой. Хватаетесь за голову, касаетесь рукою до чего-то мертваго, а это мертвое и есть ваше воображеніе... И говоришь себѣ, что ничего не можешь сдѣлать и ничего больше не сдѣлаешь. Ужасаетесь своей собственной пустотѣ. А между тѣмъ идея— тутъ, неуловимая и притягивающая, какъ прекрасная и вмѣстѣ злая фея, посящаяся въ облакѣ. Точно ударами хлыста вы снова заставляете вашу мысль напасть на утерянный слѣдъ... отыскивать ошупью, въ темномъ, какъ ночь, вашемъ воображеніи, душу книги, и, ничего не найдя, проводить часы въ этихъ поискахъ, опускаться въ самую глубь самого себя и ничего не отыскать... Это ужасные дни для человѣка мысли и воображенія“...

Трудъ оконченъ, книга готова, но муки, причиняемыя любимымъ дѣтищемъ, далеко не кончились. Начинается періодъ мучительныхъ сомнѣній: не родилось ли дитя уродливымъ, долговѣчно ли оно, или суждено ему быть унесеннымъ во мракъ, откуда оно вышло, при первомъ его соприкосновеніи съ свѣжимъ воздухомъ? Сомнѣніе въ самомъ произведеніи сдѣлается сомнѣніемъ въ его успѣхѣ.

Такъ передають свои ощущенія истинные художники, для которыхъ каждое ихъ произведеніе было частью ихъ жизни и, пожалуй, даже не въ переносномъ, а въ прямомъ смыслѣ этого слова. Работая безъ отдыха, напрягая свои страдающіе нервы, они теряли сонъ, аппетитъ, но не покидали своего литературнаго поста. Не обращая вниманія на свои физическія страданія, на потрясенную нервную систему, они просиживали ночные часы, отыскивая часто то „артистическое“ слово, выраженіе, которое рельефно можетъ изобразить ихъ мысль. Они дошли до того, что чувствовали, какъ сами сознаются, всѣ свои нервы обнаженными, такъ что малѣйшее соприкосновеніе къ ихъ нравственному „я“ вызывало неизъяснимую боль.

Эти обнаженные нервы, точно наслаждаясь болью, Гонкуры подвергали постояннымъ страданіямъ. Не было почти дня, который не былъ бы отмѣченъ въ ихъ журналѣ какимъ-нибудь внутреннимъ терзаніемъ. Слишкомъ скромный успѣхъ ихъ романовъ, равнявшійся неуспѣху, вызывалъ въ нихъ болѣзненное раздраженіе, хотя они сами сознавали, что романы ихъ не по времени и не по вкусамъ общества второй имперіи, любящаго все фальшивое—фальшивую чувствительность, фальшивую правду, фальшивое состраданіе. Имъ, конечно, не много стоило бы труда, чтобы поддѣлаться подъ вкусъ современнаго имъ общества; но Гонкуры были слишкомъ цѣльныя натуры, чтобы входить въ сдѣлки съ своею литературною совѣстью, вступать въ какіе-либо компромиссы ради достиженія громкаго успѣха. Напротивъ, тѣ моменты отчаянія, которые они переживали, тѣ сомнѣнія, которыя они испытывали, вмѣсто того, чтобы—„заставить насъ унизиться до уступокъ, дѣлали еще болѣе неподатливою, болѣе щепетильною нашу литературную совѣсть. И минутами мы задумывались надъ вопросомъ, не должны ли мы писать и думать исключительно для себя, предоставляя другимъ шумъ, издателей, публику“. Но они не были бы писателями, еслибы могли осуществить такую мысль. Шумъ, публика, это—жизнь писателя, это—воздухъ, безъ котораго онъ не можетъ дышать. Того электрическаго тока, который долженъ существовать между писателемъ и публикой, не существовало между Гонкурами и французскимъ обществомъ времени второй имперіи. Да и какъ онъ могъ существовать, когда братья Гонкуры, какъ они сами говорятъ, ощущали бездну между

собой и своими современниками? Ихъ не занимало ничто, что занимало людей ихъ эпохи. Они иначе думали, иначе чувствовали, они жили другими интересами. Они сами сознаются, что они были безучастны ко всѣмъ почти событіямъ, волновавшимъ общество, что они походили на людей, заброшенныхъ въ какой-нибудь далекій, чуждый имъ край, съ туземцами котораго у нихъ не было ничего общаго.

Связанные близкими отношеніями, дружбою съ немногими выдающимися людьми, близко подходящими къ нимъ по складу, какъ Флоберъ, Гаварни, Теофиль Готье, Поль де-Сенъ-Викторъ, и поддерживая отношенія съ Тэнемъ, Ренаномъ, Сентъ-Бёвомъ и немногими избранными, они чуждались даже литературнаго общества, которое они обзывали самымъ скучнымъ и несноснымъ изъ всѣхъ слоевъ общества. Попадая въ его среду, они покидали его, всегда вынося какую-то неопредѣленную тоску. Они находили въ немъ фальштонъ, парадоксъ, то, что французы называютъ *blague*, но не встрѣчали людей. Гонкуры являлись какъ бы людьми не отъ міра сего. Они, слѣпые любовники литературы, воображали, что все общество должно только дышать и жить литературой, что не литература создана для общества, а общество для литературы, что всѣ самые важные вопросы—нравственные, экономическіе, общественные, политическіе—все это второстепенно, все преходяще, мимолетно и не заслуживаетъ возбуждаемаго такими жизненными вопросами интереса; выше всѣхъ ихъ стоитъ мысль, воплощеніе ея въ словъ, образъ, только она одна вѣчна, и потому только она одна и можетъ поглощать человѣка, она одна и стоитъ безкорыстнаго служенія.

Отсюда происходилъ ихъ глубокій индифферентизмъ къ общественнымъ и политическимъ вопросамъ,—индифферентизмъ, который одни, какъ Флоберъ, Готье, Поль де-Сенъ-Викторъ, исповѣдовали явно, открыто, а другіе, какъ Тэнъ, Ренанъ и ихъ послѣдователи—прикрывая его философскими разсужденіями высшаго порядка. Индифферентизмъ этотъ, унаслѣдованный новѣйшей французскою литературною школою, съ Золя и Гюи-де-Мопассаномъ во главѣ, составляя ихъ слабую сторону, вмѣстѣ съ тѣмъ не лишаетъ ихъ того вліянія на современниковъ, которое должно принадлежать выдающимся талантамъ.

Не касаясь пока политическихъ убѣжденій и общественныхъ

взглядовъ Гонкуровъ, насколько они обрисовываются ихъ журналомъ, замѣтимъ только, что та задача романа, которую они ставили себѣ, тѣ требованія, которыя они предъявляли къ современной беллетристичѣ, обязывали ихъ зорко присматриваться ко всѣмъ общественнымъ явленіямъ, не исключая, само собою разумѣется, и сферы политической, столь сильно вліяющей на господствующіе нравы; а точное, документальное и вмѣстѣ художественное воспроизведеніе ихъ и составляетъ, по убѣжденію Гонкуровъ, богатый удѣлъ романа. Являясь преемниками Бальзака и вознося искусство на пьедесталъ, высшійся надъ всѣми другими интересами, Гонкуры предъявляли къ роману самыя строгія требованія. Говоря, что романъ, это—исторія, какая „могла бы быть“, они въ сущности говорили, что романъ, это—исторія современныхъ писателю нравовъ, изученныхъ и наблюденныхъ съ такою же точностью, съ такою же тщательностью, съ которой добросовѣстный естествоиспытатель наблюдаетъ явленія природы. Все произвольное, все фантастическое, должно быть исключено изъ романа; воображеніе, сила творчества писателя должна быть направлена на „артистическое“ воспроизведеніе того, что авторъ видѣлъ, изучилъ, пережилъ, перечувствовалъ. „Романъ,—заносятъ они въ свой журналъ,—со времени Бальзака, не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ, что наши отцы понимали подъ этимъ словомъ. Современный романъ долженъ быть основанъ на переданныхъ или схваченныхъ съ натуры документахъ, точно также какъ исторія основывается на писанныхъ документахъ. Историки, это—разсказчики прошлаго, романисты—разсказчики настоящаго“. Гонкуры любятъ краткія, сжатые опредѣленія, отчеканенныя мысли, которыми усыпаютъ весь ихъ журналъ. Въ такой формѣ они и выражаютъ свои взгляды какъ на то, чѣмъ долженъ быть романъ, такъ и на значеніе своихъ собственныхъ произведеній. „Идеаль романъ—художественно передать самое острое впечатлѣніе всего человѣчнаго, каково бы оно ни было“. Гамма романа не должна знать поѣтому никакихъ предѣловъ; она захватываетъ самое красивое и самое уродливое, самое высокое и самое низкое, самое чистое и самое грязное человѣческой природы, лишь бы и то, и другое было передано во всей голой правдѣ. Для насъ, для всего русскаго читающаго общества, прошедшаго чрезъ критическую школу Вѣлинскаго, въ томъ, какъ понимали Гонкуры задачу романа, нѣтъ, конечно, ничего новаго; но во французской литературѣ взгляды Гон-

куровъ казались и новыми, и подчасъ черезчуръ смѣлыми. Романы ихъ оскорбляли иногда самыхъ тонкихъ цѣнителей и своей постановкой, и своей манерой, и своимъ языкомъ, отрѣшавшимся отъ всего условнаго и стремившагося походить на кисть художника. По поводу „*M-me Gervaisais*“, одного изъ лучшихъ романовъ Гонкуровъ, они передаютъ въ своемъ журналѣ весьма любопытную сцену свиданія съ Сентъ-Бёвомъ. Описавъ манеру говорить знаменитаго критика, — манеру, напоминающую ласку кошачьей лапки, внезапно обнаруживающей свои когти и готовой царапнуть, Гонкуры рассказываютъ, какъ Сентъ-Бёвъ убѣждалъ ихъ болѣе приноравливаться къ вкусамъ читающей публики. „Онъ говорилъ намъ, что во всемъ мы желаемъ слишкомъ многого, что мы доходимъ до крайностей, форсируя наши достоинства; онъ не отрицаетъ, что нѣкоторые мѣста нашихъ произведеній, хорошо прочтённые и въ извѣстной обстановкѣ, могутъ доставить удовольствіе. — Но вѣдь книги пишутся для того, чтобы онѣ читались и читались всѣми... — прибавилъ Сентъ-Бёвъ своимъ ворчливымъ голосомъ: — а вы... это ужъ не литература, это музыка, живопись... И оживляясь, прибавилъ: — Вотъ вамъ Руссо... и онъ уже пошелъ слишкомъ далеко въ своемъ приѣмѣ... Послѣ него явился Бернардень де-Сентъ-Пьеръ, которому и этого было мало... Шатобріанъ, Богъ-знаетъ... Гюго... — и тутъ Сентъ-Бёвъ сдѣлалъ обычную гримасу, когда произносилъ это имя. — Наконецъ, Готье и Сентъ-Викторъ... а вы, вы желаете идти еще дальше... Вамъ нужно движеніе въ колоритѣ, вамъ потребовалась душа вещей... Это невозможно... Я не знаю, что будетъ современно, куда, наконецъ, пойдутъ... но въ настоящее время вамъ слѣдуетъ все скорѣй ослаблять, ступенывать... Какъ хотите; нѣтъ, нѣтъ... — И вдругъ начиналъ сердиться: — *Neutraltainte*, что это за *neutraltainte*?.. этого слова нѣтъ въ словарѣ... это выраженіе живописца... развѣ всѣ непременно живописцы!.. То же самое какъ это небо — отѣнка чайной розы... чайной розы... Что это за чайная роза? — И онъ повторяетъ два, три раза: „чайная роза“, прибавляя: — Существуетъ только роза; такія выраженія не имѣютъ смысла“.

И вслѣдъ за этимъ Сентъ-Бёвъ сталъ убѣждать Гонкуровъ писать для публики, низвести ихъ произведенія до средняго умственнаго уровня, ставя имъ въ укоръ всѣ ихъ усилія, непримиримость ихъ литературной совѣсти, самый трудъ, потраченный на ихъ произведенія, „писанныя кровью“. Братья Гонкуры видѣли въ словахъ Сентъ-Бёва

„гнусные совѣты куртизана, помогающагося всякаго успѣха, всякой популярности“.

Подобные совѣты—не для братьевъ Гонкуровъ. Они, правда, страстно любили славу, но они стали бы презирать себя, еслибы ради ея достиженія рѣшились на какія-либо уступки, несогласныя съ ихъ воззрѣніями на высокое и святое дѣло литературы. Ихъ литературная совѣсть была неподкупна, и они гордо возразили Сентъ-Бёву, что для нихъ существуетъ одна лишь публика, не настоящаго времени, а публика будущаго; но Сентъ-Бёвъ, этотъ невозмутимый скептикъ, снова прервалъ ихъ словами: „Такъ вы еще воображаете, что существуетъ будущее, потомство?“...

Если братья Гонкуры не повторяли за Стендалемъ, что сегодня ихъ книги читаютъ сто человѣкъ, а черезъ сто лѣтъ ихъ будутъ читать всѣ, то все же они вѣрили, что трудъ ихъ не умретъ, и что будущіе историки XIX-го вѣка вспомнятъ объ ихъ книгахъ, черпая изъ нихъ матеріалъ для характеристики нравовъ нашего отходящаго столѣтія. Они гордо пишутъ въ своемъ журналѣ: „одна изъ характерныхъ особенностей нашихъ романовъ состоитъ въ томъ, что романы наши будутъ признаны самыми историческими этого времени, что они дадутъ наибольшее число свѣдѣній и неподдѣльныхъ истинъ для нравственной исторіи нашего вѣка“.

Весѣда Гонкуровъ съ Сентъ-Бёвомъ любопытна въ томъ отношеніи, что она показываетъ, что эти болѣе яркіе представители реализма или натурализма по своему существу были большіе идеалисты. Горизонтъ ихъ разстился далеко, далеко, и если настоящее казалось имъ мрачно, то будущее рисовалось въ яркомъ свѣтѣ торжествующей правды. Это будущее придавало имъ силу, энергію, воодушевляло ихъ на борьбу за неприкосновенность ихъ литературныхъ идеаловъ, дѣлало ихъ непреклонными во всемъ, что касалось правды, этой души литературныхъ произведеній. Сами они не шли ни на какія уступки, но ихъ литературная восемнадцатилѣтняя опытность привела ихъ къ горькому для нихъ убѣжденію, что для того, чтобы современная публика отнеслась къ типу, характеру, тому или другому лицу романа съ симпатіей, необходима извѣстная примѣсь фальши. На такую фальшь Гонкуры не были способны; они были твердо убѣждены, что только то произведеніе можетъ быть достойно имени литературнаго произведенія, которое глубоко продумано, изучено и выстрадано писателемъ.

III.

По журналу братьевъ Гонкуровъ легко было бы прослѣдить исторію каждаго изъ ихъ произведеній, каждаго романа, начиная отъ перваго зарожденія мысли, какъ она проходила черезъ всѣ фазисы своего развитія, и оканчивая тѣмъ моментомъ, когда она отлилась въ окончательную форму и выразилась въ живыхъ образахъ. Намъ не трудно было бы убѣдиться, или, вѣрнѣе, убѣдить читателя, что теоретическія положенія Гонкуровъ находили себѣ полное примѣненіе въ ихъ литературной дѣятельности, и журналъ ихъ является лучшимъ свидѣтелемъ, что они не написали строки, которая не отражала бы въ себѣ того, что они видѣли, передумали, прочувствовали или перестрадали, что они никогда не позволяли себѣ, давая волю своей фантазіи, писать о томъ, что не было ими изучено, что не явилось бы плодомъ глубокаго наблюденія. Они, правдивые всегда и во всемъ, болѣе всего дорожили правдой своихъ произведеній, и не только правдой въ главныхъ чертахъ романа, въ образахъ, фигурахъ, нравахъ, воспроизводимыхъ ими, но правдой въ подробностяхъ, мелочахъ, неточность которыхъ могла бы проскользнуть незамѣтно для самаго вдумчиваго читателя.

Мы не станемъ однако слѣдить за исторіей ихъ произведеній, такъ какъ такая задача потребовала бы слишкомъ много мѣста, и приведемъ изъ ихъ журнала лишь нѣкоторые отрывки, касающіеся или возникновенія, или появленія въ свѣтъ того или другаго изъ ихъ романовъ.

Появленіе каждаго новаго романа было мучительно для болѣзненнаго самолюбія писателей, встрѣчавшихъ не только холодный пріемъ со стороны публики, но часто и враждебное отношеніе критики, приписывавшей братьямъ Гонкурамъ никогда не существовавшія ихъ намѣренія. Такъ именно случилось съ однимъ изъ самыхъ дорогихъ для нихъ произведеній, съ „Charles Demouilly“, въ которомъ они дали превосходную картину литературныхъ нравовъ эпохи второй имперіи.

Ни одинъ, быть можетъ, изъ ихъ романовъ до такой степени не былъ писанъ нервами и кровью, какъ этотъ романъ, въ которомъ, какъ то признаетъ Эдмонъ де-Гонкуръ, авторы изобразили самихъ

себя въ борьбѣ съ окружающимъ ихъ литературнымъ міромъ. Романъ ихъ явился настоящимъ и безпощаднымъ ударомъ бича по развращеннымъ литературнымъ нравамъ перваго десятилѣтія второй имперіи. Равнодушные къ политикѣ, они страстно отнеслись къ созданному ею литературному разврату. Историки нравовъ, какъ они сами себя называютъ, они нарисовали правдивую картину повальной заботности мысли, вызываемой политическимъ гнетомъ. Когда государственный порядокъ, — писали они въ своемъ романѣ, вышедшемъ въ свѣтъ въ 1860 г., — воспрещаетъ доступъ общественному мнѣнію, мысли, какъ это случилось во Франціи послѣ 1852 г., во всѣ высокія и чистыя сферы, тогда общественное мнѣніе, мысль, превращаются въ одно праздное любопытство. „Подписчикъ, общество, нисходятъ до сплетенъ, до злословія, до клеветы, до погони за грязными анекдотами, до перемыванья грязнаго бѣлья, до рабской войны зависти, до стремленія очернить всякую истинную силу и поколебать честь каждаго въ совѣсти всѣхъ“ ... Такое время — говорили они — непригодно для глубокой и честной мысли, для серьезнаго журнала, для мощнаго произведенія. Мысль въ опалѣ, общественное мнѣніе, здоровое и свободное, въ загонѣ; предоставляется просторъ для появленія газетъ, журналовъ и книжонокъ, распространяющихъ въ обществѣ гнилостные міазмы. Власть получаетъ уличный журналъ, „новая порода умовъ, не имѣющихъ предковъ, безъ всякаго баласа, безъ родины въ своемъ прошломъ, свободная отъ всякихъ традицій“; и власть эта — грозная, „передъ которой все дрожитъ: писатель за свое произведеніе, композиторъ за свою оперу, живописецъ за свою картину, скульпторъ за свою статую, издатель за свои объявленія, водевилистъ за свое остроуміе, театръ за свои сборы, актриса за свою молодость, богачъ за свой сонъ, даже публичная женщина за свои доходы“. Тираннія такого рода печати, одной только возможной и не страшщейся за свое существованіе при господствѣ безправнаго порядка, сильная своею беззащитчивостью, не останавливающейся ни передъ чѣмъ, не щадящей частной жнзни, не признающей чужихъ убѣжденій, вѣрованій, не чуждающейся клеветы, доноса, шантажа, — быстро понижаетъ общественный нравственный уровень. Унижая общество, читателей, такая печать унижаетъ литературу, превращающуюся въ какой-то рынокъ, гдѣ наемщики печати торгуютъ своимъ перомъ и своею совѣстью. Убѣж-

денія, честность, выброшены за бортъ, и эти „уми новой породы“ гордятся отсутствіемъ убѣжденій, направленія; они громко заявляютъ: „мы—не журналъ, мы—барометръ“.

Мужественно воспроизведенная Гонкурами картина литературныхъ нравовъ, водворившихся во Франціи послѣ утраты политической свободы, подняла противъ нихъ бурю негодованія. Знаменитый въ свое время критикъ, гордившійся тѣмъ, что онъ мѣняетъ, какъ перчатки, свои убѣжденія, Жюль Жаненъ, разразился противъ Гонкуровъ суровой филиппикой, обвиняя ихъ въ униженіи французской литературы. Такого рода нападенія и обвиненія мало трогали Гонкуровъ; ихъ литературная совѣсть была спокойна, и въ сознаніи своей правоты они гордо записывали въ свой журналъ: „въ концѣ концовъ, мы гордимся нашею книгой. которая будетъ жить, что бы ни дѣлала, наперекоръ гнѣву журналистовъ, и тѣмъ, которые спросили бы насъ: „вы, слѣдовательно, ставите себя очень высоко?“ мы отвѣтили бы съ гордостью аббата Мори: „очень низко, когда мы судимъ только себя, и очень высоко, когда мы сравниваемъ себя съ другими“.

Не всѣ однако держались мнѣнія Жюля Жанена. Лучшіе представители Франціи, свято хранившіе великія традиции французскаго генія, не зараженные гангреной второй имперіи, пріѣзжали въ Парижъ и аплодировали ихъ книгѣ. Въ такимъ людямъ принадлежала и Жоржъ-Зандъ. „Милостивые государи!—писала она Гонкурамъ тотчасъ послѣ появленія въ свѣтъ „Charles Demoilly“:—я васъ не знаю. Я дикарка... я не умѣю говорить комплиментовъ. Я даже не очень любезна. Вѣрьте же тому, что я вамъ говорю. Ваша книга удивительно хороша, и у васъ большой, громадный талантъ. Я вамъ это говорю, хотя, конечно, это еще не доказательство,—я не знаю, понимаю ли я что-нибудь въ литературныхъ произведеніяхъ. Многіе мнѣ говорили, что я ничего въ нихъ не смыслю. Я этого не думаю, этому никогда никто не вѣритъ. Но все же я никогда не позволю себѣ признать себя судьей. Я передаю вамъ мое впечатлѣніе, мое убѣжденіе, берите его какъ оно есть. Какой отвратительный міръ вы раскрыли моимъ глазамъ! Неужели онъ въ самомъ дѣлѣ таковъ? Я его не знаю. Въ мое время онъ не былъ такъ гадокъ. Но онъ такъ прекрасно изображенъ, такъ живо схваченъ, что это не можетъ быть неправдой... Какая нервная и суровая сатира! У васъ

сильная рука и краснорѣчивое негодование, безъ всякой напыщенности... Я чрезвычайно довольна, хотя очень огорчена... Вы сдѣлали громадныя успѣхи со времени вашихъ первыхъ произведеній, но они меня нисколько не удивляютъ. Я предчувствовала эти успѣхи, и мое маленькое самолюбіе публики очень удовлетворено тѣмъ, что я отгадала вашу будущность“...

Это прелестное письмо написано съ изумительной простотой, искренностью и граціей, въ которыхъ такъ и видится рука большого таланта. Не признавая себя судьей, какъ выражается Жоржъ-Зандъ, она въ концѣ письма рѣшается дать Гонкурамъ совѣтъ, обнаруживающій большое критическое чутье: „Вы пойдете — пишетъ она — еще впередъ. Вы упростите ваши приемы, и вы внесете нѣкоторый порядокъ въ изобиліе вашихъ богатствъ. Вы — молодая школа, я это знаю. Вамъ хочется все сказать, все нарисовать, не оставить въ тѣни ни одной травки, пересчитать всѣ фестоны, всѣ ободки. Оно поражаетъ, но иногда это излишне. Вы сами увидите, что вы придете къ сознанію необходимости жертвовать кое-чѣмъ, какъ это дѣлается въ хорошихъ картинахъ. Но не торопитесь, будьте молоды, это хорошій недостатокъ“.

Романъ „Charles Demoilly“ въ высокой степени интересенъ и съ другой стороны, именно, съ точки зрѣнія характеристики самихъ Гонкуровъ. Онъ является какъ бы необходимымъ дополненіемъ къ ихъ журналу, нѣкоторыя части котораго мы встрѣчаемъ отъ слова до слова въ журналѣ самого Charles Demoilly, этого, можно сказать, псевдонима Гонкуровъ.

Описывая характеръ своего героя, Гонкуры говорятъ: „эта нервная чувствительность, эта непрерывная смѣна впечатлѣній, большею частью непріятныхъ, и болѣе оскорбляющихъ, нежели ласкающихъ его, самыя задушевные струны, превратили Шарля въ меланхолика. Онъ не былъ меланхоличенъ какъ книга съ громкими фразами; онъ былъ меланхоличенъ какъ умный человѣкъ, понимающій жизнь. Едва можно было замѣтить его мрачное настроеніе. Иронія замѣняла для него смѣхъ и служила ему утѣшеніемъ, — иронія тонкая и настолько маскированная, что часто онъ былъ ирониченъ только для себя самого, и смѣхъ его былъ только слышенъ ему самому. У Шарля была только одна любовь, одному лишь онъ былъ всецѣло преданъ, у него была одна вѣра: литература. Литература была его жизнь, она захватила

все его сердце. Онъ отдался ей всецѣло, ей онъ отдалъ всѣ свои страсти, весь огонь своей пламенной натуры, скрытой подъ внѣшней оболочкой холода... Онъ не былъ свободенъ отъ самолюбія и эгоизма писателей, отъ быстрыхъ разочарованій человѣка воображенія, съ его непостоянствомъ вкусовъ и привязанностей, съ его рѣзкостями и быстрыми переѣнами... Его характеръ, съ его слабостями и страстями, обуславливался его темпераментомъ, его вѣчно страдающимъ организмомъ. Быть можетъ, тутъ именно слѣдуетъ искать тайну его таланта, нервнаго, тонкаго въ наблюденіяхъ, всегда артистичнаго, но неровнаго, преисполненнаго скачковъ и неспособнаго достигнуть спокойствія линій, здоровой силы истинно прекрасныхъ и великихъ произведеній“. Никто не способенъ былъ бы сдѣлать лучшей характеристики самихъ Гонкуровъ. Еслибы мы не имѣли даже признанія Эдмона Гонкура, что натурщики, съ которыхъ они рисовали своего Charles Demoilly, были они сами, поступая какъ художники, пишущіе свои портреты, заглядывая лишь въ зеркало, то, читая журналъ Гонкуровъ, мы тотчасъ бы узнали въ портретѣ Шарля портретъ самихъ писателей. Нельзя при этомъ не отмѣтить одну поразительную черту. Charles Demoilly гибнетъ отъ страшной нервной болѣзни, сразившей въ цвѣтъ лѣтъ сначала его огромный талантъ, а затѣмъ и самую жизнь. Ровно черезъ десять лѣтъ, надорванный непосильной умственной работой, требовавшей непрерывнаго нервнаго напряженія, отъ той же нервной болѣзни и проявившейся въ той же формѣ, погибъ Жюль де-Гонкуръ, не достигнувъ 40-лѣтняго возраста. Можно подумать, что они одарены были какимъ-то даромъ провидѣнія—до такой степени схоже они воспроизвели въ своемъ романѣ несчастную судьбу одного изъ двухъ авторовъ-близнецовъ.

Всѣ черты ихъ характера, всѣ уколы ихъ литературнаго самолюбія, такъ пагубно дѣйствовавшіе на ихъ „обнаженные“ нервы, всѣ муки ихъ творчества, вся ихъ нервно-лихорадочная работа, пересиливающая недугъ, тяжелыя физическія страданія, все, что съ такою искренностью они передаютъ въ своемъ журналѣ, все это мастерски изображено въ „Charles Demoilly“, этомъ романѣ-автобіографіи.

Если для изображенія этого Charles Demoilly братьямъ Гонкурамъ не было надобности предпринимать этюдовъ, изучать нравы той среды, которую они желали воспроизвести, вникать въ обстановку,

улавливать черты, незамѣтныя для глаза, не умѣющаго наблюдать, — если для этого романа они встрѣтили богатый матеріалъ въ собственной жизни, въ своихъ ощущеніяхъ, въ своихъ столкновеніяхъ съ людьми, то не такъ это было съ другими ихъ романами. Въ журналѣ Гонкуровъ мы встрѣчаемъ множество любопытныхъ подробностей, обрисовывающихъ способъ ихъ работы, отношеніе ихъ къ искусству, добросовѣстность, съ которою они трактовали каждую черту, опасаясь даже въ мелочахъ отступить отъ точнаго „научнаго“ метода, характеризующаго, по ихъ мнѣнію, новое направленіе, новую литературную школу. Задумавъ въ романѣ „*Sœur Philomène*“ изобразить страстную, но скрытую любовь сестры милосердія, Гонкуры, изучая среду, театръ дѣйствія, — цѣлые дни, и не только дни, ночи проводятъ въ госпиталѣ, набираясь впечатлѣній, впитывая въ себя самый воздухъ, запахъ, какъ бы проникаясь больничной атмосферой. Они жили этою госпитальною жизнью, изучая человѣческія страданія, какъ они выражаются, „*sur le vrai, sur le vif, sur le saignant*“, до тѣхъ поръ, пока ихъ нервная система глубоко потрясенная, не восприняла всего того, что они видѣли своими глазами. „Мрачная тоска охватываетъ насъ, — записываютъ они, возвращаясь изъ госпиталя. — Нервы наши настолько болѣзненно раздражены, что малѣйшій шумъ, случайно упавшая вилка, вызываютъ дрожь во всемъ тѣлѣ и какое-то нетерпѣніе, чуть не бѣшенство“... Госпиталь преслѣдуетъ ихъ и дома; они не могутъ отдѣлаться больше отъ преслѣдующаго ихъ больничнаго воздуха, какъ не могутъ отрѣшиться отъ испытанныхъ ими впечатлѣній. „Когда вы охвачены вашей идеей, когда вы чувствуете, какъ живая драма шевелится въ вашей головѣ и собранные матеріалы вызываютъ въ васъ дрожь, — какъ мало значитъ тогда маленькій успѣхъ дня, какъ мало вы тогда думаете о немъ, поглощенные одной мыслью: осуществить все то, что проникло въ вашу душу и въ ваши глаза“.

Читая журналъ Гонкуровъ, раскрывающій ихъ душу, обрисовывающій ихъ болѣзненно-нервную организацію, становится совершенно понятно та черта, которая связываетъ всѣ ихъ романы въ одно цѣлое. Нѣтъ ни одного романа Гонкуровъ, начиная отъ „*Charles Demouilly*“ и кончая „*Madame Gervaisais*“, въ которомъ не выступали бы рельефно человѣческія страданія, тяжелые физическіе недуги, тѣсно переплетенные съ недугомъ нравственнымъ. И на драматическомъ изображеніи этихъ недуговъ они останавливаются съ особою привязанностью, какъ бы

показывая роковую связь между физической и нравственной природою людей. Они не могут оторваться отъ физиологическихъ и патологическихъ явленій, на которыя ихъ постоянно наталкиваетъ ихъ собственная борьба съ тяжелымъ нервнымъ недугомъ, которой посвящено такъ много мрачныхъ страницъ въ ихъ журналѣ. Недаромъ они сами опредѣляютъ свой талантъ какъ какую-то „странную и рѣдкую смѣсь, дѣлающую изъ нихъ въ одно и то же время и физиологовъ, и поэтовъ“. Мы прибавили бы только къ этому опредѣленію: — поэтовъ мрачныхъ, поэтовъ людского страданія, смотрящихъ на весь міръ сквозь призму боли и нервного недуга. Они впрочемъ и сами это хорошо сознавали, и мы находимъ такое признаніе въ письмѣ Эдмона Гонкура къ Зола: „Не забывайте, что всѣ наши произведенія — и, быть можетъ, въ этомъ скрывается ихъ оригинальность, такъ дорого оплаченная, — говорилъ онъ послѣ трагической смерти своего брата — основаны на нервной болѣзни; что эти изображенія болѣзни мы добыли изъ самихъ себя“... На этой нервно-болѣзненной почвѣ пышнымъ цвѣткомъ распустилось пессимистическое міросозерцаніе, оправдываемое и закрѣпленное въ нихъ и той эпохой, которую они переживали, и тѣми общественными правами, которые они рисовали въ своихъ произведеніяхъ.

Нервные и мрачные поэты нервного и мрачного вѣка они и могли только создавать произведенія, подавляющія своимъ сумрачнымъ колоритомъ, какъ „*Germinie Lacerteux*“ или „*Madame Gervaisais*“, не знающія проблеска свѣта, радости, свѣтлой улыбки. Гонкуры признавали, чего недостаетъ ихъ таланту, и сами замѣчаютъ, что ихъ произведенія лишены „веселости, здороваго, сильнаго, звучнаго смѣха, смѣха Мольера и Теньера“, а смѣхъ, прибавляли они, „это — сила, великая сила“.

Столь же жестокая, сколько и несправедливая обвиненія посыпались на Гонкуровъ, когда появился въ свѣтъ ихъ замѣчательный романъ: „*Germinie Lacerteux*“. Имъ говорили, что они клеветаютъ на человѣческую природу; что они измышляютъ отвратительныя уродства, оскорбляющія чувство правды, жрецами котораго они себя провозгласили. Въ журналѣ Гонкуровъ мы находимъ всю исторію „*Germinie Lacerteux*“, рассказанную просто, правдиво и запечатлѣнную глубокимъ чувствомъ теплой привязанности къ несчастной женщинѣ, ходившей за ними съ дѣтства, а впоследствии послужившей моделью, типомъ, съ котораго они рисовали *Germinie Lacerteux*.

Эта женщина — пишут они — „была частью нашей жизни, принадлежностью нашей квартиры, чѣмъ-то забытымъ отъ нашей молодости; это было нѣчто нѣжное и ворчливое, охранявшее насъ какъ сторожевая собака, которую мы привыкли видѣть около себя, и которая только съ нами должна была исчезнуть. И мы ее никогда не увидимъ! То, что шевелится въ квартирѣ, это не она; не она войдетъ по утру въ нашу комнату съ утреннимъ привѣтомъ“. И Гонкуры чувствуютъ, какъ что-то оборвалось въ ихъ жизни, что они въ своемъ существованіи примчались къ одному изъ жизненныхъ этаповъ, гдѣ, по выраженію Байрона, „судьба мѣняетъ своихъ лошадей“. Когда женщина эта заболѣла, и доктора потребовали, чтобы ее отправили въ больницу, Гонкуры сами ее провожаютъ, каждый день возвращаются въ госпиталь, пока ихъ не привели однажды къ дверямъ амфитеатра, гдѣ, уже мертвая, лежала ихъ старая слуга. Прислужникъ отворилъ двери амфитеатра, и Гонкурамъ показалось, что въ его лицѣ они увидѣли „раба, принимающаго въ циркѣ тѣла гладіаторовъ: онъ также принималъ тѣла убитыхъ на аренѣ этого громаднаго цирка — современнаго общества“.

Эту женщину они считали чуть не святою, и вдругъ завѣса спала: ихъ старая служанка погибла какъ жертва разврата, страшной нравственной болѣзни. Болѣе чѣмъ когда-либо Гонкуры имѣли право сказать, что книга эта написана ихъ нервами и кровью. Вся ихъ вина состояла лишь въ томъ, что они признавали и громко провозгласили право романа „на всю современную правду, на все, что глубоко захватываетъ людей, какимъ бы ужасомъ оно ни отзывалось, на все, что потрясаетъ нервы и заставляетъ сочиться сердце кровью“. Но этого-то имъ и не прощало „современное литературное лицемѣріе“.

Каждое нападеніе, сопровождавшее появленіе всякаго ихъ новаго произведенія, только усиливало ихъ рѣшимость „менѣе чѣмъ когда-либо дѣлать уступки и еще болѣе твердо держать въ своихъ рукахъ литературное знамя“, завѣщанное имъ Вальзакомъ. Но, увы! усиливая такую рѣшимость, оно не укрѣпляло ихъ болѣзненно-нервной организации. Вѣчная борьба, непрерывное мозговое напряженіе, трудъ свыше мѣры, свыше ихъ физическихъ силъ, оказывали свое разрушительное вліяніе и побѣдили, наконецъ, всю сотканную изъ однихъ нервовъ натуру Жюль Гонкура, оставляя старшему брату лишь горькое утѣшеніе сказать: „онъ умеръ отъ работы“...

Журналъ и переписка Гонкуровъ, эти правдивые документы ихъ жизни, раскрыли передъ нами только ихъ собственную душу, обрисовали одинъ ихъ темпераментъ, ихъ меланхолическое настроеніе, ихъ чуткую, болѣзненно-нервную натуру, ихъ исключительную любовь къ литературѣ, ихъ отчужденность отъ всей остальной жизни. Всѣ эти свойства Гонкуровъ, на которыя указываетъ ихъ журналъ, не слѣдуетъ забывать, при опредѣленіи, на основаніи тѣхъ же документовъ, ихъ общественныхъ и политическихъ понятій, при встрѣчѣ съ ихъ „идеями и чувствованіями“ и, наконецъ, съ ихъ мастерскими, но нѣсколько односторонними портретами наиболѣе выдающихся изъ ихъ современниковъ, — къ чему мы и обратимся теперь.

IV.

Всегда, вездѣ и во всемъ Гонкуры были оригинальны. Ихъ жизнь, характеръ, ихъ идеи и чувства никакъ не укладываются въ шаблонныя рамки. Они рѣзко выдѣляются изъ толпы; они ни на кого не похожи; смѣшать ихъ съ другими нѣтъ никакой возможности. Гонкуры не плывутъ по теченію; они не подчиняются ходячимъ мнѣніямъ; они не признаютъ надъ собою власти установившихся понятій. Рутинѣ, общія мѣста, чужія мысли — вотъ ихъ заклятые враги. До всего они додумываются сами; а разъ додумавшись, они смѣло высказываютъ свои идеи, нисколько не заботясь о томъ, какъ другіе отнесутся къ ихъ мыслямъ. Покажется ли ихъ мысль либеральною или консервативною, передовою или отсталою, революціонною или реакціонною, запечатлѣна она духомъ демократизма или аристократизма, — до всего этого имъ нѣтъ никакого дѣла. Они стремятся лишь къ тому, чтобы правдиво и вѣстѣ живописно выразить то, что они думаютъ и чувствуютъ, и передать свои непосредственныя впечатлѣнія, вызванныя наблюденіемъ и столкновеніями съ людьми и жизнью. Чуждаясь рутинѣ, всего условнаго, общепринятаго, Гонкуры не оригинальничаютъ, — они просто оригинальны. Они нимало не похожи на тѣхъ людей, которые стараются быть оригинальными, высиживая и вымучивая изъ себя мысли, могущія поразить поддѣльною новизною, въ расчетѣ блеснуть предъ

современниками. То, что у других является результатом мучительной умственной гимнастики, у Гонкуровъ выходитъ просто, естественно. Они не могутъ ни думать, ни чувствовать, ни говорить иначе. Таковъ ихъ складъ, такова ужъ натура; но въ этой неподдѣльной, ключомъ бьющей оригинальности заключается ихъ притягательная сила, ихъ прелесть.

Далеко не со всѣми идеями Гонкуровъ можно соглашаться; мысли ихъ кажутся часто невѣрными, поражаютъ иной разъ своею парадоксальностью; разсужденія ихъ обнаруживаютъ сплошь и рядомъ недостаточную глубину, но они подкупаютъ читателя своею искренностью, непосредственностью, кроющаюся въ нихъ самостоятельностью ума, не мирящегося ни съ какою—хотя бы всѣми признанною—истиною, если только эта истина представляется для нихъ фальшивою. А сколько такихъ истинъ бродитъ по міру, и какъ мало людей, рѣшающихся смѣло бросить имъ перчатку! Гонкуры не признають авторитета ни среди людей, ни среди мыслей, и вотъ почему во всей своей жизни они являются непреклонно гордыми и независимыми по отношенію къ первымъ, какъ во всѣхъ своихъ произведеніяхъ—вполнѣ самостоятельными въ отношеніи къ послѣднимъ.

Независимость характера, самостоятельность и свобода мысли, чуждая всего предвзятаго, придають высокій интересъ политическимъ и общественнымъ взглядамъ Гонкуровъ, выступающимъ въ ихъ журналѣ несравненно болѣе ярко, чѣмъ въ романахъ или въ ихъ другихъ произведеніяхъ, посвященныхъ исторіи нравовъ XVIII-го в., или исторіи искусства. Тутъ они чувствуютъ себя вполнѣ свободными; они не стѣснены теченіемъ романа, необходимою цѣльностью и стройностью картины; они высказываютъ прямо и опредѣленно все то, на что въ ихъ другихъ произведеніяхъ существуютъ только намеки. Ихъ политическія, общественныя, религіозныя, нравственныя воззрѣнія разсѣяны въ трехъ томахъ ихъ журнала; такая разбросанность нисколько однако не мѣшаетъ составить себѣ довольно ясное представленіе, какъ они относились къ политическимъ, общественнымъ и нравственнымъ вопросамъ современныхъ имъ эпохи и общества.

Мы ранѣе уже замѣтили, что братья Гонкуры сдѣлали изъ литературы исключительную цѣль своей жизни; что литература была ихъ культомъ, ихъ божествомъ, не допускавшимъ ихъ до служенія

другимъ богамъ, и что отчасти въ силу этой поглотившей ихъ страсти, отчасти въ силу своего прирожденнаго темперамента, своихъ вкусовъ, своихъ стремленій, они относились весьма равнодушно къ политическимъ событіямъ своей родины; политическіе вопросы ихъ не трогали, ничего не говоря ихъ уму и чувству.

Они готовы были бы вовсе не знать политики, не думать объ ней; но политика противъ ихъ воли вторгалась въ ихъ жизнь, какъ бы доказывая имъ, что для людей воинствующей мысли, выступающихъ на общественную арену, хотя бы и чуждую политическимъ интересамъ, политическія условія жизни никогда не могутъ быть безразличны; что литературные интересы всегда находятся въ тѣсной зависимости отъ господствующаго въ странѣ политическаго строя. Эту зависимость Гонкуры должны были чувствовать сильнѣе, чѣмъ другіе, относящіеся къ политическимъ вопросамъ съ одинаковымъ равнодушіемъ. Индифферентизмъ Гонкуровъ былъ совершенно особаго свойства. У нихъ не было того безразличнаго отношенія, которое позволяетъ людямъ прилаживаться ко всякаго рода порядкамъ, лишь бы этотъ порядокъ доставлялъ имъ возможность извлекать личныя выгоды. Равнодушное отношеніе къ политикѣ никогда не дѣлало ихъ рабами существующаго порядка. По темпераменту своему относясь враждебно ко всему, что торжествуетъ, Гонкуры никогда не отказываются высказывать свое собственное мнѣніе о современномъ имъ правительствѣ, казнить его словомъ, если только его дѣйствія вызывали въ нихъ негодованіе. Не будучи слугами никакой партіи, они отрицаютъ всякій политическій катехизмъ, они не хотятъ закабалить себя и не признаютъ никакого политическаго знамени. Они, стоя внѣ всякихъ партій, охраняютъ больше всего свою нравственную свободу, свое человѣческое достоинство, дорожа превыше всего своимъ правомъ открыто высказывать свою мысль. Стѣсненіе этого права въ ихъ глазахъ было величайшимъ преступленіемъ противъ человѣчества. Естественно, что они не могли сдѣлаться друзьями второй имперіи, выработавшей цѣлую систему обузданія совѣсти и ненавидѣвшей, какъ они замѣчаютъ въ своемъ журналѣ, писателей гораздо болѣе даже, чѣмъ республиканцевъ и социалистовъ.

Какъ ни сторонились Гонкуры отъ политики, но она — то-и-дѣло стучалась къ нимъ въ двери, точно нашептывая имъ, что истинный писатель, какъ бы онъ ни былъ преданъ исключительно

литературнымъ интересамъ, никогда не можетъ и не долженъ относиться безразлично къ политическимъ судьбамъ своей родины. На самыхъ первыхъ шагахъ своей литературной дѣятельности, когда они впервые, какъ они выражаются, „испытали блаженство подписать свое имя подъ оконченнымъ произведеніемъ“, они встрѣтили въ политическомъ грохотѣ первую для себя помѣху. День выхода въ свѣтъ ихъ перваго романа былъ злополучнымъ для Франціи днемъ государственнаго переворота 2-го декабря 1851 г. „Но что значитъ государственный переворотъ, какое значеніе имѣетъ переимѣна правительства — пишутъ они въ журналѣ — для людей, выпускающихъ въ этотъ самый день свой первый романъ“! Тонъ, въ которомъ они рассказываютъ, какъ они узнали о совершившемся государственномъ переворотѣ, тотчасъ же обличаетъ ихъ полное равнодушіе къ политическимъ событіямъ, — равнодушіе, которое они вовсе не скрываютъ.

„Рано утромъ, — передаютъ они, — когда, еще предавшись лѣни, мы мечтали объ изданіяхъ, на манеръ изданій Дюма-отца, — хлопая дверьми, шумно вошелъ нашъ родственникъ Бламанъ, служившій прежде въ конвоѣ и сдѣлавшійся консерваторомъ *poivre et sel*, свирѣпый и задыхающійся.

— Ну, все кончено! — прошипѣлъ онъ.

— Чтѣ кончено?

— Какъ что? государственный переворотъ!

— Чортъ возьми! а нашъ романъ, который сегодня долженъ поступить въ продажу!

— Вашъ романъ... романъ... Франціи теперь не до романовъ, мои милые! — в съ свойственнымъ ему жестомъ, обтянувъ свой сюртукъ, онъ простился съ нами и отправился разносить торжественную новость изъ одного квартала въ другой, изъ Notre Dame de Lorette въ Сентъ-Жерменское предмѣстье, поднимая своихъ непробудившихся еще знакомыхъ.

„Тотчасъ вскочивъ съ постели, мы быстро выбѣжали на улицу, нашу старую улицу St.-Georges, гдѣ войска уже успѣли занять домъ, въ которомъ помѣщалась редакція журнала „National“. И на улицѣ наши глаза обратились къ афишамъ, и среди всей этой бумаги, свѣже наклеенной, извѣщающей о появленіи новой труппы, о репертуарѣ, о представленіяхъ, главныхъ дѣйствующихъ лицахъ и о новомъ адресѣ режиссера, переѣхавшаго изъ Елисейскаго дворца въ Тюльери, мы

эгоистически искали, должно сознаться, нашу афишу, которая должна была извѣстить Парижъ о выходѣ въ свѣтъ романа: „Еп 18...“, и объявить Франціи и цѣлому свѣту появленіе на сцену двухъ новыхъ писателей: Эдмона и Жюль Гонкуровъ“... Но поиски ихъ были тщетны; они могли просмотрѣть свои глаза, и все же не нашли бы интересовавшей ихъ афиши. Ихъ типографщикъ, опасаясь, что одну изъ главъ ихъ романа могли истолковать какъ намекъ на только-что совершившійся государственный переворотъ, и устрася названія романа, напоминавшаго 18-ое Брюмера, этотъ первый государственный переворотъ, совершенный первымъ Наполеономъ, сжегъ всю начку объявленій, и такимъ образомъ Парижъ въ этотъ день остался въ невѣдѣніи о народженіи двухъ новыхъ писателей.

Если молодые Гонкуры, изъ которыхъ младшему въ то время еще не исполнилось двадцати-двухъ лѣтъ, отнеслись безучастно къ кровавому водворенію новаго порядка, то они на собственномъ опытѣ должны были весьма скоро убѣдиться въ неудобствѣ этого порядка для тѣхъ литературныхъ интересовъ, которыми они такъ исключительно были преданы. Виѣстъ съ однимъ изъ своихъ родственниковъ, такимъ же молодымъ, какъ они сами, едва покинувшимъ школьную скамью, они рѣшились издавать строго-литературный журналъ, чуждый всѣмъ политическимъ интересамъ. Задумано—сдѣлано. Въ началѣ 1852 года, едва успѣлъ смолкнуть грохотъ орудій, появился первый номеръ ихъ журнала: „l'Esclair“. Вся программа этого еженедѣльнаго журнала заключалась въ двухъ словахъ: смерть классицизму—въ искусствѣ. Моментъ для изданія новаго журнала былъ выбранъ не совсѣмъ удачно; но молодые люди, стараемые жаждой литературной дѣятельности и еще больше жаждой обратить въ свою вѣру современное имъ общество, не задумывались надъ такими пустяками. Они „просиживали въ редакціи два, три часа въ недѣлю, ожидая каждый разъ, что заслышатся на пустынной улицѣ шаги подписчиковъ, публики, сотрудниковъ. Никто не приходилъ. Никто не присылалъ даже статей—фактъ невѣроятный! и нѣчто еще болѣе невѣроятное — не появлялось ни одного поэта“. Но молодость не унываетъ, не отчаивается, и Гонкуры виѣстъ съ своимъ родственникомъ, вмѣсто того, чтобы прекратить журналъ, не имѣвшій другихъ читателей, кромѣ самихъ редакторовъ, рѣшились усилить свой голосъ и къ еженедѣльному журналу присоединить еще

ежедневный, съ громкимъ названіемъ: „*Paris*“. Гонкуры съ гордостью замѣчаютъ въ своемъ дневникѣ, что это былъ первый литературный ежедневный журналъ съ самаго сотворенія міра. Въ участію въ этомъ журналѣ были привлечены люди, составившіе себѣ уже видное имя въ литературѣ, какъ Альфонсъ Карръ, Мэри, Теодоръ де Банвилль, Гозланъ, Ксавье де-Монтенъ и нѣкоторые другіе, подъ главнымъ предводительствомъ Теофиля Готье. Сами Гонкуры были неутомимы. Быть можетъ, этотъ журналъ молодыхъ силъ Франціи со временемъ успѣлъ бы и окрѣпнуть, и возмужать, но на него обрушился ударъ съ той стороны, откуда его менѣе всего ожидали. Въ журналѣ Гонкуровъ мы встрѣчаемъ подробное описаніе того траги-комическаго эпизода, который послужилъ началомъ крушенія журнала. Не существовалъ онъ еще и мѣсяца, какъ однажды входитъ въ редакцію главный редакторъ, родственникъ Гонкуровъ, молодой Вильдейль, и трагическимъ голосомъ объявляетъ, что правительство возбудило преслѣдованіе противъ журнала, что двѣ статьи вызвали противъ себя гнѣвъ министерства полиціи, вѣдавшаго при имперіи литературныя дѣла. Одна—статья Альфонса Карра, другая—въ которой помѣщены были стихи.

„— Кто помѣстилъ стихи?—спросилъ Вильдейль.

— Мы,—отвѣчали Гонкуры.

— Въ такомъ случаѣ преслѣдованіе возбуждено противъ васъ вмѣстѣ съ Карромъ“.

Статья, послужившая поводомъ для преслѣдованія Гонкуровъ, носила названіе: „Путешествіе изъ № 43 улицы *St.-Georges* въ № 1 улицы *Лафиттъ*“. Въ № 43 улицы *St.-Georges* жили Гонкуры, а въ № 1 улицы *Лафиттъ* помѣщалась редакція ихъ журнала. Въ полуфантастическомъ разсказѣ Гонкуровъ не было даже намека на политику; они описывали свои впечатлѣнія улицы, магазины *bric-à-brac*, древностей, картинъ, и передавали исторію одной картинки, поссорившія двѣ знаменитости театра „Французской Комедіи“, Рашель и *m-me* Натали. Въ разсказѣ онѣ помѣстили, описывая картину, пять стиховъ, заимствованныхъ ими изъ „*Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français au XVI siècle*“, Сентъ-Бѣва, сочиненія, удостоеннаго французскою академіей преміи. И за помѣщеніе этихъ-то стиховъ на нихъ обрушилось преслѣдованіе. „Это кажется невѣроятнымъ,—говорятъ Гонкуры,—а между тѣмъ это было

такъ“. Но что могло быть невѣроятнаго, когда при Наполеонѣ III возбуждались уголовныя преслѣдованія за линію точекъ, такъ какъ усматривались и въ точкахъ опасныя намеки. Весь рассказъ Гонкуровъ исторіи ихъ преслѣдованія весьма любопытенъ. Онъ составляетъ истинный историческій документъ. Статьи Альфонса Карра и Гонкуровъ въ дѣйствительности служили только предлогомъ для преслѣдованія. Причина же крылась въ иномъ. Вторая имперія, вооружившись цѣлымъ арсеналомъ орудій для задушенія всякой оппозиціи, питала ненависть даже къ самымъ безобиднымъ органамъ печати, если только эти органы не пресмыкались предъ нею и не расточали дионрамбовъ предпринимаемымъ ею мѣрамъ для „оздоровленія“ общественнаго организма. Покровительствуя преданнымъ ей газетамъ, поощряя изданія, потакавшія дурнымъ страстямъ общества, бонапартизмъ искалъ лишь случая, чтобы сначала пріостановить, а затѣмъ и совсѣмъ уничтожить всѣ сколько-нибудь оппозиціонныя органы печати, не соглашавшіеся угождать ему. Второй имперіи было мало того, что печать не смѣла подвергать критикѣ ея дѣйствія; она усматривала преступленіе даже въ томъ, что къ этимъ дѣйствіямъ не относятся съ выраженіемъ сочувствія. Самое молчаніе дѣлалось подозрительно. Независимость редактора „Paris“ заставляла косо смотрѣть на него. Ему ставилось въ укоръ, что онъ не ходатайствуетъ о приглашеніи въ Тюльери!

Гонкуры рассказываютъ всѣ подробности судебного преслѣдованія, живо обрисовывающія нравы современной имъ эпохи. Гонкуры слыли—говорятъ они сами—за пламенныхъ орлеанистовъ; хотя судьи сознавали, что они не совершили никакого проступка, но обвиненіе ихъ было предрѣшено. Ихъ пугали тюрьмой, и для того, чтобы избавиться отъ нея, предлагали одно надежное средство—обратиться съ просьбою о помилованіи къ Наполеону III. Послѣдовать такому совѣту было не въ характерѣ Гонкуровъ. Они предстали предъ судебнымъ слѣдователемъ, принявшимъ ихъ чрезвычайно вѣжливо; но какъ только они показали ему преступныя пять стиховъ въ книгѣ Сентъ-Бѣва, вѣжливость его сразу исчезла. Судебный слѣдователь былъ смущенъ—точно Гонкуры были виноваты теперь въ томъ, что не они сами сочинили эти стихи. „Намъ—говорятъ они—нуженъ былъ адвокатъ. Родственникъ нашей семьи, Жюль Деллабордъ, самъ адвокатъ, при кассационномъ судѣ, особенно

настаивалъ, чтобы мы не поручали нашей защиты какому-нибудь блестящему адвокату: такимъ образомъ можно было только покоробить и раздражить судей“. Судъ, передъ которымъ они должны были предстать, извѣстенъ былъ своею угодливіостью новому правительству: ему поручались всѣ дѣла печати и политическіе проступки. По существовавшему въ то время обычаю, подсудимые должны были сдѣлать визиты своимъ судьямъ. „Это маленькое „*morituri te salutant*“, до котораго эти господа — замѣчаютъ Гонкуры — чрезвычайно лакомы. Мы прежде всего отправились къ президенту L... Онъ былъ сухъ, какъ самое его имя, холоденъ, какъ старая стѣна, желтый, блѣдный, безкровный, — фигура инквизитора въ квартирѣ, отзвучающей затхлостью монастыря... Последний визитъ мы сдѣлали товарищу прокурора, который долженъ былъ поддерживать обвиненіе. Этотъ обладалъ манерами настоящаго джентльмена. Онъ намъ заявилъ, что наша статья не заключаетъ въ себѣ никакого проступка, но онъ долженъ преслѣдовать насъ по настоянію министерства полиціи; онъ говоритъ это намъ какъ свѣтскій человѣкъ свѣтскимъ людямъ, и онъ рассчитываетъ, что мы не воспользуемся его словами для нашей защиты. И этотъ человѣкъ, — прибавляютъ Гонкуры, — обладавшій состояніемъ, станеть добиваться высшей мѣры наказанія за проступокъ, въ которомъ мы, по его же сознанію, не были виновны. Онъ говорилъ намъ это въ глаза съ наивною, съ цинизмомъ“. Сопровождавшій Гонкуровъ дядя ихъ не могъ удержаться отъ восклицанія: „что за негодяи — весь этотъ народъ!“ Наконецъ, наступила развязка — самый судъ надъ ними. „Товарищъ прокурора, — передаютъ они, — охваченный какимъ-то бѣшенствомъ краснорѣчія, изображалъ насъ людьми безъ совѣсти и чести, какими-то фиглярами безъ семьи, безъ матери, безъ сестры, безъ всякаго уваженія къ женщинамъ и — въ довершеніе всего обвиненія — какъ апостоловъ физической любви“... Тогда поднялся адвокатъ Гонкуровъ, который остерегся послѣдовать примѣру адвоката Альфонса Карра, требовавшаго отчета: какъ осмѣливались возбуждать подобныя преслѣдованія противъ нихъ? — нѣтъ, онъ „вздыхалъ, оплакивая наше преступленіе, рисовалъ насъ скромными молодыми людьми, нѣсколько слабыми умомъ, чуть-чуть придурковатыми, и какъ на главное, смягчающее нашу вину обстоятельство — указывалъ на старую няньку, живущую у насъ болѣе двадцати лѣтъ“. Кстати этотъ адвокатъ

пользовался расположеніемъ суда, и его слова смягчали сердца судей. Въ судебномъ приговорѣ высказывалось: „что касается статьи, подписанной Эдмономъ и Жюлемъ Гонкуромъ въ номерѣ журнала „Paris“, отъ 11-го декабря 1852 г., то, принимая во вниманіе, что вызвавшія преслѣдованіе мѣста статьи представляютъ уму читателей образы явно непристойныя, и потому заслуживающіе порицанія, но что изъ общаго смысла статьи ясно слѣдуетъ, что авторы не имѣли въ виду оскорбить общественную нравственность...“ и т. д., судъ оправдываетъ братьевъ Гонкуровъ, но въ мотивахъ своихъ высказываетъ имъ порицаніе, желая тѣмъ угодить новому правительству, начинавшему посматривать съ опасеніемъ на журнальную дѣятельность Гонкуровъ. Виѣсть съ тѣмъ, если не официальнымъ путемъ, то офиціознымъ, имъ былъ преподанъ совѣтъ покинуть журнальную дѣятельность, вообще не пользовавшуюся расположеніемъ Тюльери. Исполнить этотъ совѣтъ было не особенно трудно для Гонкуровъ, вовсе не созданныхъ для воинствующей политической литературы, которой они и не касались; но подобныя предостереженія говорили имъ, что установившійся тогда во Франціи порядокъ не только относится враждебно къ политическимъ писателямъ, но и вообще ко всѣмъ независимымъ писателямъ и ко всякой независимой литературѣ.

Несмотря на то, что Гонкуры покинули журнальную дѣятельность и распростились съ читателями журнала „Paris“, вскорѣ послѣ ихъ выхода изъ редакціи окончательно запрещеннаго, — они продолжали однако считаться подозрительными людьми, и еще нѣсколько лѣтъ спустя, — какъ замѣчаетъ Эдмонъ Гонкуръ въ изданной имъ перепискѣ брата, — ихъ предупреждали, что за ними наблюдаютъ и на нихъ смотрятъ какъ на „опасныхъ людей“, а потому имъ слѣдуетъ вести себя осторожно. Гонкуры сознавали всю фантастичность подобныхъ подозрѣній, но она ихъ раздражала, и они, имѣвшіе такъ мало точекъ соприкосновенія съ политикой, соблазнились мыслью уѣхать въ Бельгію, основать тамъ журналъ, „Памарить“, въ которомъ — говорятъ они — „мы покажемъ тѣмъ, кто въ эту минуту управляетъ Франціей, что мы обладаемъ нѣкоторыми качествами памаритистовъ“.

Вся вина Гонкуровъ состояла лишь въ томъ, что они не принадлежали ни къ какой партіи, никогда не поддавались подъ

чужія убѣжденія, всегда высказывая лишь то, что они думали и чувствовали, не справляясь съ тѣмъ, подъ какую рубрику того или другого направленія подходятъ высказываемыя ими идеи. Эта непринадлежность ихъ ни къ какой партіи дѣлала ихъ подозрительными какъ въ глазахъ имперіи, такъ и въ глазахъ всѣхъ тѣхъ, кто ее ненавидѣлъ. „Иронія судьбы и хаоса настоящаго времени, гдѣ все бессмысленно!—говорятъ они въ журналѣ.—Мы, которые имѣемъ право, болѣе чѣмъ другіе, жаловаться на порядки имперіи... мы, которые ненавидимъ ее всею ненавистью истинныхъ литераторовъ за ея вражду и злобное отношеніе къ литературѣ, мы, сторонящіеся отъ нечистаго общества разлагающейся имперіи, и питающіе лишь дружбу къ одной принцессѣ Матильдѣ, и притомъ дружбу, неразрывную съ борьбою и споромъ по поводу каждой идеи, каждаго вопроса,—мы именно и страдаемъ отъ клеветы, выражаемой однимъ словомъ: куртизаны!—которымъ хотятъ унижить насъ въ глазахъ общества“.

Такъ говорили Гонкуры послѣ памятнаго въ театральныхъ лѣтописяхъ паденія ихъ комедіи: „Henriette Maréchal“, сдѣлавшагося жертвой подстроенной кабалы, мстившей Гонкурамъ за ниную ихъ приверженность имперіи.

Пьеса Гонкуровъ, поставленная на сценѣ „Comédie Française“ въ 1865 году, превратилась въ политическое событіе, волновавшее Парижъ въ теченіе двухъ недѣль, несмотря на то, что во всей комедіи не было даже ни одного политическаго намека. Она послужила лишь поводомъ, для начинавшей оживать оппозиціи, заявить свой протестъ противъ „людей имперіи“, въ лагерь которыхъ, такъ неожиданно для нихъ, были записаны и Гонкуры. Это quiproquo, имѣвшее для Гонкуровъ весьма печальныя послѣдствія, объясняется однако чрезвычайно просто. Гонкуры, ненавидя имперію и не имѣя ничего общаго съ бонапартистами, были своими людьми въ салонѣ принцессы Матильды, любившей собирать у себя литературное общество и вовсе не требовавшей отъ своихъ друзей, чтобы они непремѣнно раздѣляли ея политическія симпатіи. Въ салонѣ принцессы Матильды появлялись всѣ наиболѣе выдающіеся писатели того времени. Въ этомъ-то салонѣ прочитана была пьеса Гонкуровъ, и потому въ печать проникло извѣстіе, что принцесса Матильда покровительствуетъ Гонкурамъ, и будто благодаря только ея настояніямъ — что было вполне

несправедливо — пьеса ихъ была принята и миновала подводныхъ камней цензуры. Этого было тогда совершенно достаточно, чтобы возбудить негодованіе и поднять на ноги всю молодежь Латинскаго квартала. Въ молодежи присоединились и другіе элементы, одинаково ненавидѣвшіе установившійся во Франціи безправный порядокъ. Съ двухъ часовъ дня толпы народа осаждали театръ. Настроеніе толпы было самое боевое. Одни Гонкуры этого не замѣчали, увѣренные, — какъ они сами передаютъ то въ своемъ журналѣ, описывая этотъ памятный для нихъ день, — въ успѣхѣхъ, въ торжествѣ. Возбужденіе ихъ было такъ велико, что они не замѣтили, какъ поднялся занавѣсъ, не слышали трехъ обычныхъ ударовъ передъ начатіемъ пьесы. „Вдругъ, — записываютъ они, — удивленные, мы слышимъ одинъ свистокъ, два свистка, три свистка, бурю криковъ, которой вторитъ ураганъ аплодисментовъ... и все свиститъ, и все аплодируетъ. Занавѣсъ опускается, мы выскакиваемъ безъ пальто на улицу, но въ ушахъ мы чувствуемъ жаръ. Начинается второй актъ. Свистки возобновляются съ новымъ бѣшенствомъ, перемѣшанные съ какими-то животными криками“. Во второмъ актѣ едва можно было разслышать нѣсколько словъ, въ третьемъ — ни одного; артисты, казалось, представляли пантомиму. Болѣе двадцати минутъ одному изъ любимцевъ публики, актеру Го, не дали произнести имена авторовъ. Со времени „Эрнани“, когда Викторъ Гюго бросилъ свой смѣлый вызовъ классицизму въ искусствѣ, никогда Парижъ не былъ свидѣтелемъ такихъ бурныхъ представленій, какъ представленіе „Henriette Maréchal“. Пьеса однако не была снята съ репертуара, но каждое новое ея представленіе служило поводомъ къ новымъ бурямъ. Только на пятый разъ въ залѣ водворилось спокойствіе, пьеса была дослушана до конца, безъ рѣзкихъ протестовъ, политическія страсти успокоились, и можно было думать, что комедія Гонкуровъ будетъ предоставлена ея собственной судьбѣ. Неожиданно однако послѣдовалъ новый ударъ, но уже изъ противоположнаго лагеря — само правительство запретило пьесу. Официальная печать помѣщала статьи, направленные, съ одной стороны противъ Гонкуровъ и безнравственности ихъ пьесы, съ другой — противъ вообще либерализма всѣхъ тѣхъ, кто посѣщаетъ салонъ принцессы Матильды. „Истинно вѣрное во всей этой исторіи, — писали Гонкуры своему другу Флоберу, — это то, что намъ сломала шею одна очень важная дама изъ вашихъ знакомыхъ, которая, какъ обѣ

этомъ говоритъ весь Парижъ, ревнуетъ салонъ принцессы“. Эта важная дама была не кто иная, какъ императрица Евгенія. Такимъ образомъ, правительство встрѣтилось съ тѣми, кто, шикая „Henriette Maréchal“, въ дѣйствительности желалъ только вызвать демонстрацію противъ порядковъ второй имперіи.

Волненія, вызванныя постановкой пьесы, неожиданно встрѣченной враждою, интригами, литературною борьбою изъ-за поруганнаго дѣтища, наконецъ административнымъ воспрещеніемъ дальнѣйшихъ представленій, болѣзненно отразились на обнаженныхъ нервахъ братьевъ Гонкуровъ. Они испытывали точно галлюцинаціи слуха: въ ушахъ ихъ цѣлыми днями неумолкаемо раздавался свистокъ. Въ теченіе нѣсколькихъ дней они истратили, какъ они сами выражаются, десять лѣтъ своей жизни, своей нервной системы, своего мозга. Они могли утѣшать себя только однимъ, — они достигли того, чего добивались: имя ихъ гремѣло, оно наполняло Парижъ, Францію; неуспѣхъ ихъ пьесы сдѣлалъ больше для ихъ славы, чѣмъ пятнадцать лѣтъ упорнаго литературнаго труда и столько же томовъ, написанныхъ съ рѣдкимъ талантомъ, но не раскупавшихся публикой. Сентъ-Бёвъ отлично понималъ эту сторону шумной исторіи ихъ пьесы, и вотъ почему, описывая эпизодъ съ „Henriette Maréchal“ въ письмѣ къ одному изъ друзей и родственниковъ Гонкуровъ, онъ прибавилъ: „положеніе нашихъ друзей теперь превосходно. Общественное мнѣніе возбуждено, вниманіе сосредоточено на нихъ: тѣмъ лучше для ихъ будущей пьесы или ихъ будущаго романа. Они теперь въ полномъ свѣтѣ и открытомъ полѣ“. Не личные только столкновенія съ порядками второй имперіи заставляли ихъ относиться враждебно къ правительству Наполеона III, — въ этихъ личныхъ столкновеніяхъ они видѣли лишь проявленіе гибельной для общественнаго организма общей системы. Имперія — говорили они — мало того, что убила мысль, мало того, что искоренила всякое умственное движеніе, потворствуя лишь сплетнямъ, скандальной хроникѣ, личнымъ дразгамъ, нападкамъ на все возвышенное, чистое, — она сдѣлала больше: она убила здоровую веселость, все искреннее, прямодушное; она развратила общество, поощряя спекуляцію, нечистоплотныя дѣлишки. Гонкуры не могли простить имперіи превращенія литературнаго моря, такъ недавно еще бурно волновавшагося, въ стоячее болото, которое даже нѣтъ силъ взволновать. Снаружи какъ будто бы ничего не перемѣни-

лось; въ дѣйствительности же сохранилась только маска жизни. Газеты какъ будто выходятъ по прежнему, книги продаются, академія продолжаетъ существовать, земля движется вокругъ солнца, но все это — говорятъ Гонкуры — только обманчивая наружность. Общественная атмосфера такова, что въ ней можно задохнуться, и они задаются вопросомъ: къ чему это внѣшнее, декоративное подобіе жизни, въ сущности бездушное и безцѣльное? „Книги продаются, неизвѣстно кому и для чего; писатели продолжаютъ существовать, неизвѣстно какъ и зачѣмъ... Словомъ, самый подходящий моментъ для того, чтобы имѣть 20 тысячъ франковъ годового дохода и печатать свои произведенія въ количествѣ 30 экземпляровъ“.

Сознаніе невыносимости такой удушливой общественной атмосферы, повидимому, должно было бы навести Гонкуровъ на мысль о важномъ значеніи для общественныхъ интересовъ, сосредоточивавшихся для нихъ въ литературѣ, такого политическаго порядка, который шадилъ бы, по крайней мѣрѣ, мысль, не атрофировалъ бы умственнаго движенія; но Гонкуры неисправимы; они точно умышленно закрываютъ себѣ глаза, не желая видѣть въ политикѣ ничего иного, кромѣ шарлатанства и пустыхъ словъ. Живое воспринимаемая впечатлѣнія окружающей ихъ среды, они, касаясь сферы общественной и политической жизни, не вдумывались достаточно въ причины оскорблявшихъ ихъ общественныхъ явленій и судили вообще о политикѣ по той политикѣ, которой они были свидѣтелями, точно также какъ о людяхъ, преданныхъ политическимъ интересамъ — по тѣмъ людямъ, которыхъ имъ приходилось встрѣчать. „Лживыя фразы, пустыя слова, паясничество — вотъ все, что мы находимъ у политическихъ людей нашего времени. Революція — это переѣздъ съ одной квартиры на другую, съ перенесеніемъ изъ покинутого жилища тѣхъ же самыхъ самолюбіи, той же испорченности, тѣхъ же низостей, и притомъ сопряженный еще съ ломкою и большими расходами. Политической нравственности не существуетъ! Я ищу вокругъ себя хоть одно безкорыстное убѣжденіе — и не нахожу его. Люди рискуютъ, компрометируютъ себя изъ-за надежды на будущее положеніе, всецѣло отдаются партіи, которая представляетъ собою будущее. И это относится ко всѣмъ людямъ, которыхъ я вижу вокругъ себя... Въ концѣ концовъ, — читаетъ мы въ

дневникъ Гонкуровъ,—приходишь къ разочарованію, къ отвращенію отъ всякаго вѣрованія, къ терпимости по отношенію ко всякой власти, какова бы она ни была, къ политическому индифферентизму, который я встрѣчаю у всѣхъ моихъ собратьевъ по литературѣ, какъ у Флобера, такъ и у самого себя. Убѣждаешься, что не слѣдуетъ жертвовать собою ни изъ-за какого политическаго знамени, что слѣдуетъ уживаться съ каждымъ правительствомъ, какъ бы оно ни было вамъ антипатично, что не слѣдуетъ вѣрить ни во что, кромѣ искусства, и исповѣдовать только литературу. Все остальное—ложь и ловушка“. Если печальная дѣйствительность современной имъ эпохи могла привести Гонкуровъ и родственниковъ имъ по духу писателей, какъ Флобера, къ такому безнадежному политическому индифферентизму, то только необычайною впечатлительностью авторовъ дневника можно себя объяснить ту легкость, съ которою они обобщаютъ поразившія ихъ явленія мрачнаго періода упадка французскаго общества. Монархія, республика, имперія—для Гонкуровъ все это были только слова; ко всѣмъ этимъ различнымъ формамъ правленія они относились съ одинаковымъ недоверіемъ, видя въ нихъ только различныя вывѣски, причѣмъ сущность оставалась все та же. Какой-нибудь частный, самъ по себѣ ничего не значащій фактъ, въ глазахъ Гонкуровъ, благодаря ихъ нервной восприимчивости и крайней впечатлительности, получаетъ неожиданно крупное историческое значеніе, и тѣмъ самымъ вліяетъ на ихъ политическія воззрѣнія. „Ровно двадцать лѣтъ тому назадъ—заносятъ они въ свой дневникъ, съ пометкой 24-го февраля 1868 г.,—около часа дня, съ нашего балкона, выходившаго на улицу Капуциновъ, я увидѣлъ на противоположной сторонѣ улицы мѣдника, быстро взбиравшагося по лѣстницѣ и ускоренными ударами молотка сбивавшаго съ вывѣски слова: „du Roi“, слѣдовавшія за словомъ: „мѣдникъ“... Сегодня, проходя по улицѣ Капуциновъ, я случайно взглянулъ на вывѣску и прочелъ вмѣсто словъ: „мѣдникъ короля“ — „мѣдникъ императора“. Гонкуры не идутъ дальше; они не ищутъ самаго простого объясненія подобному явленію,—для нихъ этотъ мѣдникъ, замѣняющій на своей вывѣскѣ слово: „Roi“—словомъ: „l’Empereur“, является живою эмблемою не шаткости, не неудовлетворительности того или другого режима, а безразличія формъ правленія.

Политическіе перевороты, ростъ демократіи, революціи, стремящіяся къ ограниченію, къ уничтоженію прежняго режима—все это для Гонкуровъ пустня слова, шума, тѣшущая недалъновидный, глупый народъ. „Странное дѣло,—говорятъ они:—несмотря на всѣ революціи, несмотря на уменьшеніе авторитета монархической власти въ цѣлой Европѣ, несмотря на большое участіе народа въ государственномъ управленіи, словомъ, на царство массы—никогда не существовало болѣе крупныхъ примѣровъ всемогущественнаго вліянія, деспотизма воли одного человѣка. Достаточно указать на Наполеона III и Висмарка“. Очевидно, что Гонкуры не обладали историческою перспективою. Художники, артисты, великіе мастера тамъ, гдѣ имъ приходилось рисовать нравы, портреты,—Гонкуры слишкомъ сильно воспринимали впечатлѣнія, слишкомъ сильно чувствовали для того, чтобы оставаться всегда безпристрастными и съ спокойствіемъ историковъ, критиковъ, философовъ оцѣнивать общественныя явленія. Работая надъ революціонной эпохой, они изъ-за гильотины, крови, безпощадныхъ и безсмысленныхъ казней не видятъ громаднаго переворота, совершившагося въ эту трагическую эпоху, и смѣло произносятъ свой столь же суровый, сколько и неосновательный приговоръ. „Революція сколько угодно могла сдѣлать себя страшною—она главнымъ образомъ глупа. Безъ крови она была бы смѣшна, безъ гильотины комична... И сколько лицемерія, сколько лжи представляетъ собою революція! Девизы, стѣны, рѣчи, исторія—все лжетъ въ эту эпоху. Какую книгу можно было бы написать подъ заглавіемъ: *les Blagues de la Révolution*“!!

Къ народнымъ увлеченіямъ, поклоненіямъ, Гонкуры относятся съ крайнимъ скептицизмомъ. Они знаютъ, что Марату, этому маніаку, „этому каррикатурному сумасшедшему“, воздвигнуто было сорокъ-четыре-тысячи памятниковъ и алтарей, и этого для нихъ было вполне достаточно, чтобы ко всякому народному увлеченію относиться вполне презрительно. Враги всякой фальши, всякой неправды, они не понимаютъ сантиментально-идиллическаго отношенія къ народу à la Жоржъ-Зандъ; но они переходятъ въ другую крайность, столь же неосновательную, говоря, что „народъ не любитъ ничего правдиваго, простого, что онъ любитъ только романъ и шарлатановъ“. Ихъ политическія идеи, ихъ понятіе о народѣ поражаютъ подчасъ своимъ обскурантизмомъ; они не скрываютъ

своей антипатіи ко всеобщей подачѣ голосовъ, къ народнымъ избраніямъ; они усматриваютъ фразу, ложь—въ политическихъ правахъ страны. Они возмущаются, говоря, какъ послѣ столькихъ вѣковъ, столь медленнаго воспитанія „дикаго человѣчества“ можно было вернуться „къ варварству числа, къ побѣдѣ тупоумія слѣпой толпы“. Они радуются, что начинается, какъ они говорятъ, видимая реакція противъ всеобщей подачи голосовъ, противъ демократическаго принципа, что появляются избранные умы, видящіе „спасеніе будущаго въ поработеніи черни, отданной подъ власть благодѣтельной умственной аристократіи“. Гонкуры не пропускаютъ случая, чтобы не подтрунить надъ всеобщей подачей голосовъ. „Когда — пишутъ они въ письмѣ къ Флоберу — самого Бога будутъ избирать всеобщей подачей голосовъ—что неминуемо должно наступить—мы подадимъ голосъ за вась“...

Такою же эксцентричностью и парадоксальностью отличаются мнѣнія Гонкуровъ о народномъ образованіи, въ широкомъ распространеніи котораго они усматриваютъ опасность для современнаго общества. „Каждая женщина изъ народа — говорятъ они — стремится дать, и напрягаетъ къ тому свои послѣднія силы, своимъ дѣтямъ такое образованіе, котораго она сама не получила, научить правильно писать, чего сама она никогда не знала. Благодаря такому всеобщему безумію, этой маніи, всюду распространенной въ низшихъ классахъ общества, поднимать своихъ дѣтей выше себя, какъ ихъ поднимаютъ, чтобы лучше видѣть фейерверкъ, вырастаетъ Франція канцеляристовъ-писателей,—Франція, гдѣ работникъ не наследуетъ работнику, земледѣлецъ земледѣльцу, гдѣ скоро скажется недостатокъ рукъ для тяжелаго, физическаго труда, необходимаго родинѣ“.

Гонкуры держатся мнѣнія кардинала Ришельё, говорившаго въ своемъ завѣщаніи: „точно также какъ тѣло, которое всюду имѣло бы глаза, было бы уродливо,— было бы уродливо и государство, въ которомъ всѣ подданные были бы учеными“; и вслѣдъ за нимъ повторяютъ: „то общество постигло бы разложеніе, въ которомъ всѣ мужчины умѣли бы читать и всѣ женщины играли бы на фортепьяно“; Гонкуры забываютъ только то, что между умѣніемъ читать и ученостью существуетъ изрядное разстояніе, и не объясняютъ, почему работа каждаго мастерового, земледѣльца будетъ хуже потому, что онъ сдѣлался грамотнымъ.

Многія парадоксальнія мнѣнія Гонкуровъ объясняются ихъ ненавистью къ общепринятымъ положеніямъ, къ общимъ мѣстамъ, которыя, по ихъ собственному сознанію, заставляли ихъ страдать, когда имъ приходилось выслушивать ихъ. Ко всякому общему мѣсту, какъ бы оно само по себѣ ни было справедливо, ко всему, что превратилось въ ходячую монету, Гонкуры относятся подозрительно, точно чуя какую-то фальшь, и только для того, чтобы не пѣть въ унисонъ съ другими, они готовы принять противоположную точку зрѣнія. Они всегда любятъ быть на сторонѣ меньшинства. Они по природѣ своей враги всякихъ готовыхъ опредѣленій, традиціонныхъ формулъ, живыхъ фразъ, къ которымъ они относятъ и девизъ французской революціи: „свобода, равенство и братство!“ Они не только усматриваютъ тутъ ложь, — они признаютъ, что „всеобщее братство людей является одною изъ самыхъ противоестественныхъ теорій“, что оно противно природѣ человѣка.

Можно было бы привести еще много образцовъ такихъ мнѣній Гонкуровъ, по которымъ ихъ легко было бы зачислить въ густые ряды реакціонеровъ, обскурантовъ, враговъ общественнаго развитія; а между тѣмъ Гонкуры не принадлежатъ въ дѣйствительности ни къ тѣмъ, ни къ другимъ, ни къ третьимъ. Поражая подчасъ своими враждебными широкому общественному развитію воззрѣніями, они одновременно не менѣе поражаютъ своими радикальными и даже иной разъ ультра-радикальными, чтобы не сказать, анархическими взглядами. Извѣстіе о пораженіи Гарибальди погружаетъ ихъ въ глубокую грусть, меланхолію. Въ Орсини они видятъ человѣка, рѣшившагося на „геройскій“ поступокъ. „Посмотрите, — говорятъ они въ своемъ журналѣ, — что сдѣлала бомба Орсини! Италія свободна, — и, быть можетъ, папство, т.-е. католицизмъ, умретъ отъ этой бомбы!“ Они всегда берутъ сторону слабыхъ; по природѣ своей, по своему темпераменту они никогда не бѣгутъ за колесницей триумфатора; они не любятъ побѣдителей. „Съ самой школьной скамьи, — говорятъ Гонкуры, — мы всегда стояли на сторонѣ побѣжденных... Мы ужъ такъ созданы, что не можемъ относиться безъ симпатіи къ людямъ, у которыхъ нѣтъ вульгарности, наглости успѣха“.

Насмѣшки Гонкуровъ надъ всеобщей подачей голосовъ, ихъ мнѣніе о вредѣ широкаго распространенія образованія, ихъ ненависть къ имперіи и полное недовѣріе къ республикѣ — могли бы дать основаніе

предполагать, что въ душѣ своей они мечтаютъ о возстановленіи порядка до-революціонной Франціи съ сильною королевскою властью, поддерживаемою замкнутой аристократіей. Между тѣмъ такое предположеніе было бы такъ же ошибочно, какъ и всякое другое. Они не питаютъ пристрастія ни къ какой формѣ правленія, — всѣ такіе вопросы для нихъ безразличны. Не безразлично они относятся только къ лишеніямъ и страданіямъ обездоленныхъ, и на такомъ сочувствіи къ слабымъ они строятъ свои общественные идеалы. „Въ общественномъ устройствѣ, основанномъ на аристократіи, — говорятъ они, — но аристократіи способностей, открытой для народа и широко пополняющейся умственными силами рабочаго класса, я мечталъ бы о правительствѣ, которое уничтожило бы нищету, отиѣвило бы общую могилу, установило даровую юстицію, назначало бы адвокатовъ бѣднымъ, оплачиваемыхъ честью избранія, установило бы въ церкви бесплатность и равенство въ крещеніи, вѣнчаніи, погребеніи, — о правительствѣ, которое дало бы въ госпиталѣ великолѣпный пріютъ больнымъ, — словомъ, я мечталъ бы о правительствѣ, которое создало бы министерство общественнаго страданія“.

Гуманность, пылкая любовь къ страждущему человѣчеству — вотъ основа всѣхъ взглядовъ Гонкуровъ, и этою своей стороною они всецѣло принадлежатъ демократіи. Взгляды свои они старались проводить въ литературѣ, романѣ, который, какъ они говорятъ, слишкомъ много занимается пустяками, казовою стороною высшаго общества, и слишкомъ мало удѣляетъ вниманія низшимъ классамъ общества. „Живя въ XIX вѣкѣ, — пишутъ они въ предисловіи къ своему роману „*Germine Lacerteux*“, — во время всеобщей подачи голосовъ, демократіи, либерализма, мы задались вопросомъ: неужели то, что зовется „низшими классами“, не имѣетъ права на романъ; неужели этотъ міръ, застилаемый другимъ міромъ, народъ, долженъ остаться подъ литературнымъ запретомъ и вызывать къ себѣ пренебрежительное отношеніе авторовъ, хранящихъ молчаніе о душѣ и сердцѣ народа? Мы задались вопросомъ: существуютъ ли еще для писателя и для читателя, въ наше время равенства, недостойные слои, слишкомъ низменные страданія, слишкомъ непривлекательныя драмы, катастрофы, ужасы которыхъ недостаточно благородны?... Мы желали узнать, настолько ли способны страданія слабыхъ и бѣдныхъ въ странѣ, не знающей больше кастъ и аристократіи, къ тому, чтобы затрогивать столь же

глубоко чувство и состраданіе, какъ несчастія богатыхъ и знатныхъ; словомъ, способны ли слезы, которыя проливаются внизъ, заставить плакать, какъ заставляютъ плакать слезы, проливаемые наверху?”

V.

Полное участіа и состраданія отношеніе Гонкуровъ къ низшимъ народнымъ слоямъ нисколько, однако, не мѣшало имъ относиться съ глубокимъ скептицизмомъ ко всѣмъ демократическимъ принципамъ. Скептицизмъ—это вторая натура Гонкуровъ; онъ окрашиваетъ всѣ ихъ политическія, общественныя, религіозныя и нравственныя воззрѣнія, — и притомъ скептицизмъ, какъ они сами говорятъ, противопоставляя его здоровому скептицизму, — XVIII-го вѣка, подбитый горечью и острою болью. Вездѣ и во всемъ они видятъ только слова, слова и слова, наряжающіяся въ громкіе принципы и святыя начала. „Во имя милосердія—говорятъ они—людей сожигали, во имя братства людей гильотинировали“, и съ ироніей прибавляютъ, что на сценѣ челоуѣчества афиша всегда находится въ коренномъ противорѣчій съ пьесой. Съ одной стороны, въ исторіи всего челоуѣчества играетъ господствующую роль ложь, а съ другой—на той же сценѣ торжествуетъ нелѣпность, поглотившая столько жертвъ, породившая столько мучениковъ.

Мрачный взглядъ на жизнь, на челоуѣчество, выразился у Гонкуровъ еще прежде появленія ихъ журнала, въ небольшой книжкѣ, появившейся въ 1866 году и посвященной ихъ другу Флоберу: „Idées et Sensations“. Эта книжка, въ сущности, была не чѣмъ инымъ, какъ извлеченіемъ изъ ихъ журнала, въ который они привыкли заносить всѣ свои отрывочныя думы, всѣ свои ощущенія. Включая ихъ въ изданные три тома журнала, Эдмонъ Гонкуръ только возвратилъ „идеямъ и ощущеніямъ“ ихъ первоначальное мѣсто. Гонкуры любили выражать свои мысли въ сжатой формѣ сентенцій, афоризмовъ, затрогивающихъ вопросы морали, религіи, общественного устройства, искусства, — словомъ, вопросы всей челоуѣческой жизни.

Для того, чтобы дать полное представленіе объ „идеяхъ и ощущеніяхъ“ Гонкуровъ, пришлось бы посвятить десятки страницъ вы-

пискамъ изъ ихъ журнала, въ которомъ разбросано такъ много ума, чувства, остроумія, изящества. Мы ограничимся сравнительно немногими выдержками, обрисовывающими умственный и нравственный складъ Гонкуровъ.

Какъ мало поддаются точному опредѣленію ихъ политическія воззрѣнія, такъ же мало укладываются въ шаблонныя рамки ихъ религіозныя убѣжденія и нравственныя понятія. Множество разъ Гонкуры возвращаются въ своемъ журналѣ къ вопросамъ вѣры, религіи; вопросы эти видимо ихъ занимаютъ, тревожатъ, какъ вопросы неразрѣшимые, настойчиво требующіе отвѣта. Они не принадлежатъ къ тѣмъ вѣрующимъ, для которыхъ не существуетъ даже этихъ вопросовъ, но они и не принадлежатъ къ тѣмъ невѣрующимъ, для которыхъ вопросы эти утратили всякое значеніе. „Когда безвѣріе—говорятъ они—становится вѣрою, оно представляется менѣе разумнымъ, чѣмъ какая-либо религія“. У самихъ Гонкуровъ, какъ они признаются, вѣра смѣняется безвѣріемъ; сегодня они готовы вѣрить, завтра вѣра угасла; матеріализмъ и спиритуализмъ находятся въ постоянной борьбѣ. Но значеніе и силу религіи они никогда не отрицаютъ, и въ христіанской религіи они видятъ религію, наиболѣе отвѣчающую требованіямъ несчастнаго современнаго человѣчества. „Величайшая сила христіанской религіи—записываютъ они въ свой журналъ—заключается въ томъ, что это религія всѣхъ страданій жизни, несчастій, печали, болѣзней, всего, что угнетаетъ сердце, тѣло и умъ. Она обращается ко всѣмъ страждущимъ. Она обѣщаетъ утѣшеніе тѣмъ, кто нуждается въ немъ, надежду отчаявающимся. Религіи древности — прибавляютъ они — были религіями человѣческихъ радостей, праздника жизни. Но съ тѣхъ поръ міръ сталъ болѣзненнымъ и дряхлымъ“. Ихъ не пугаетъ сверхъестественное въ религіи; напротивъ, — говорятъ они, — религія безъ сверхъестественнаго напоминаетъ имъ одно газетное объявленіе: „продается вино не изъ винограда“.

Въ вопросахъ религіозныхъ Гонкуры не выносятъ нетерпимости, откуда бы она ни исходила; но болѣе всего они возмущаются нетерпимостью среди партій терпимости, напомнившей имъ слова одного скептика XVIII столѣтія, Дюкло, говорившаго по поводу нетерпимости людей невѣровавшихъ: „они кончатъ тѣмъ, что заставятъ меня идти къ обѣдѣ“.

Религію, вѣру Гонкуры постоянно приурочиваютъ къ человѣческимъ страданіямъ, и въ журналѣ ихъ мы встрѣчаемъ много опредѣленій въ такомъ родѣ: „Ни въ чемъ величіе Бога не проявляется съ такою силою, какъ въ безконечности человѣческихъ страданій. Количество болѣзней устрашаетъ меня еще болѣе, чѣмъ количество звѣздъ“. Цѣлыя страницы журнала посвящены описанію тѣхъ горячихъ споровъ о вѣрѣ, о безсмертіи души, о загробной жизни, которые происходили въ средѣ писателей и философовъ, въ обществѣ которыхъ проводили свои досуги братья Гонкуры. Мы не имѣемъ возможности передавать самое существо и характерныя подробности мнѣній такихъ людей, какъ Ренанъ, Сентъ-Бѣвъ, Тэнъ, Поль Сень-Викторъ и многихъ другихъ; но та тщательность, съ которою Гонкуры воспроизводятъ въ журналѣ эти споры, доказываетъ, насколько умъ ихъ работалъ надъ этими вопросами. Быть можетъ, результатомъ этихъ споровъ для самихъ Гонкуровъ явился романъ ихъ „*Madame Gervaisais*“, въ которомъ они съ такимъ мастерствомъ изобразили мрачную сторону католицизма и побѣду его надъ надломленною женскою натурою. Недаромъ выражались Гонкуры, что религія—это часть женщины. Интересуясь философскою стороною великихъ неразрѣшенныхъ вопросовъ, Гонкуры относились съ свойственнымъ имъ скептицизмомъ къ религіозной практикѣ и находили, что католическая религія вымираетъ во французскомъ обществѣ. „Вы спрашиваете насъ,—пишутъ они въ письмѣ къ Флоберу,—существуетъ ли какой-либо приличный способъ провести страстную пятницу. Мы отыскали самый безнадежный. Мы посѣтили всѣ модныя церкви, *Saint-Thomas d'Aquin*, *Sainte Clothilde* и другія. Намъ кажется, что все это болѣе мертво, чѣмъ самая академія. То, что называютъ вѣрующими,—ихъ было мало,—мнѣ показалось чѣмъ-то автоматическимъ, оледенѣлымъ: патеры пѣли по привычкѣ... даже церковные сторожа, и тѣ, кажется, ни во что не вѣрятъ...“

Не всегда, однако, Гонкуры иронизируютъ; порой вырываются у нихъ крики боли, слова, преисполненныя квинтъ-эссенціей скептицизма, въ которыхъ сказывается ихъ мрачный взглядъ на все существующее: „что же кроется подъ небеснымъ сводомъ; что означаетъ собою эта комедія—жизнь; что такое божество, которое вовсе не представляется намъ съ атрибутами доброты?.. Что такое Богъ природы, такъ жестоко относящейся къ людямъ?.. А вѣчность?!

это нѣчто, что никогда не будетъ имѣть конца, какъ никогда не имѣла начала вѣчность позади,—вотъ чего не можетъ переварить нашъ бѣдный умъ“...

„Наконецъ, безсмертіе души, что это такое? можно ли говорить о безсмертіи личной души, или о безсмертіи души коллективной? Мысль скорѣе допускаетъ послѣднее. Природа исключаетъ все личное; она сама по себѣ коллективна... Нужно вернуться къ Канту: каждый разъ, когда онъ желалъ построить какую-либо систему, и чувствуя, какъ она проваливается, онъ приходилъ къ заключенію, что нѣтъ ничего кромѣ нравственнаго чувства, чувства долга. Но какъ это страшно холодно, убійственно сухо! Къ чему мы на землѣ? Къ чему смерть? И, наконецъ, что послѣ смерти? Въ концѣ концовъ это неотступная мысль человѣка... *Diis ignotis!* вотъ чудный алтарь аинянъ“. Этотъ мрачный, пессимистическій взглядъ на жизнь, природу, проходитъ красною нитью черезъ всѣ три тома ихъ журнала, равно какъ просвѣчиваетъ онъ во всѣхъ ихъ романахъ. Сами они болѣзненно-нервные, и ихъ глазъ невольно останавливается по преимуществу на человѣческихъ страданіяхъ, на несовершенствѣ природы человѣка, перенесшаго свое несовершенство въ общественную организацію. Жизнь личная полна горечи, отравы; жизнь общественная уродлива, несправедлива, бессмысленна; изъ-за чего же люди бьются, къ чему они дорожатъ жизнью?—вотъ вопросы, которые неотступно преслѣдуютъ Гонкуровъ, и на которые они такъ нелогично отвѣчаютъ, повторяя за Флоберомъ, что работа является лучшимъ средствомъ для того, чтобы одурочить жизнь! Они удивляются, что при томъ обиліи всяческихъ философскихъ системъ, всевозможныхъ религій, всѣхъ соціальныхъ идей, которыя возникали среди людей, не появилась ни въ какую историческую эпоху секта мудрецовъ, спокойно отказывающихся отъ жизни, убѣгающихъ отъ свирѣпости человѣческихъ страданій. „Какимъ образомъ,—спрашиваютъ они, забывая или не зная нѣмецкихъ философовъ,—до сихъ поръ никогда еще не проповѣдовалось прекращеніе человѣчества, и не только путемъ воздержанія и неоплодотворенія жизни, но путемъ открытія и изобрѣтенія самаго безболѣзненнаго способа самоубійства, путемъ учрежденія общественныхъ школъ химіи, гдѣ научали бы такой комбинаціи увеселительнаго газа, благодаря которой переходъ отъ бытія

къ небытію выражался бы лишь однимъ врывомъ хохота“. Шопенгауэръ и Гартманъ признали бы въ Гонкурахъ своихъ горячихъ послѣдователей.

Тѣмъ же угрюмымъ воззрѣніемъ на жизнь запечатлѣны всѣ ихъ „идеи и ощущенія“, которыя, какъ золотыя песчинки, разсыпаны по всѣмъ тремъ томамъ ихъ журнала. Острота взгляда, блескъ формъ, ѣдкость и часто глубина мысли—дѣлають этотъ отдѣлъ журнала Гонкуровъ особенно привлекательнымъ; но сгруппировать ихъ идеи, образы, представляется задачею почти неисполнимою. Въ этихъ разбросанныхъ отрывкахъ мыслей Гонкуры касаются всего, прошлаго и настоящаго, характера эпохи и современнаго имъ общества, нравовъ и вѣрованій, семьи, брака, женщинъ,—они все задѣваютъ своимъ оригинальнымъ и проницающимъ умомъ. Мысль свою, подчасъ очень сложную и, казалось бы, требующую пространнаго объясненія, они выражаютъ двумя, тремя иѣткими словами, освѣщающими ее со всѣхъ сторонъ, рискуя, правда, иногда тѣмъ, что мысль ихъ можетъ показаться парадоксальною.

Мы встрѣчаемъ у нихъ нѣсколько сжатыхъ характеристикъ пережитого ими времени. XIX-ый вѣкъ, говорятъ они, это вѣкъ правды и пустословія. „Никогда столько не лгали, и никогда такъ настойчиво не добивались истины“; нельзя не признать, что всѣ главныя черты нашего времени вѣрно схвачены въ этомъ опредѣленіи. Опъ отмѣчаетъ и другую современную черту. Лабрюеръ говорилъ, что можно пользоваться мошенниками, но пользоваться съ умѣренностію. „Въ наше же время,—говорятъ Гонкуры,—мошенниками злоупотребляютъ“. Наблюдая жизнь, нравы, Гонкуры скептически относятся къ счастью, къ успѣху, но при помощи ихъ сентенцій можно было бы составить цѣлый катехизисъ практической мудрости для людей, желающихъ добиться успѣха. Жизнь, по ихъ мнѣнію, враждебна всѣмъ тѣмъ, кто уклоняется отъ торнаго пути,—всѣмъ тѣмъ, кто не хочетъ вступать въ кадры регулярной арміи, изображающей собой общество,—всѣмъ тѣмъ, кто не желаетъ сдѣлаться чиновникомъ, бюрократомъ, кто не избираетъ себѣ какую-либо признанную профессію. „На каждомъ шагу, который они дѣлають, на нихъ обрушиваются всякаго рода большія и маленькія непріятности, какъ тѣлесныя наказанія великаго закона сохраненія общества“. Они рекомендуютъ одно вѣрное средство быстро сдѣлать

карьеру — это състь на запятки какой-нибудь славы, какого-либо успѣха. „Правда, — прибавляютъ они, — рискуешь при этомъ быть обрызганнымъ грязью, получить нѣсколько ударовъ бича, но все же цѣль будетъ достигнута такъ точно, какъ лакей достигаетъ передней“.

Гонкуры не любятъ общества, главнымъ цементомъ котораго, какъ они говорятъ, служитъ злословіе, и они охотно записываютъ въ свой журналъ слова извѣстнаго юриста Ше-д'эсть-Анжа, что общество не только живетъ лицемѣріемъ, но это лицемѣріе нужно всячески поощрять, такъ какъ еслибы лицемѣріе исчезло, то люди показались бы слишкомъ гадки. Если злословіе и лицемѣріе являются главными устоями современной жизни, то для искренности нѣтъ мѣста въ обществѣ, и Гонкуры преподаютъ еще одинъ совѣтъ людямъ, желающимъ пробиться черезъ толстую стѣну всеобщей зависти и взаимнаго не-расположенія — „никогда не говорить о себѣ другимъ, а говорить только о нихъ самихъ — въ этомъ все искусство нравиться людямъ“.

Деньги, богатство, вотъ элементъ, разлагающій — говорятъ Гонкуры — всякое, даже самое высокое чувство. Взгляните, какъ совершаются браки. „Родители — пишутъ они — охотно отдаютъ мужчинѣ тѣло, здоровье, счастье своей дочери, словомъ, всю женщину, за исключеніемъ лишь состоянія. Потому-то большинство современныхъ браковъ совершается подъ условіемъ раздѣльности состояній. Современный бракъ они называютъ „изнасилованіемъ съ согласія мѣра и одобренія родителей“, такъ какъ въ большинствѣ случаевъ бракъ совершается не во имя любви, а во имя разсчета, выгоды, денегъ. Множество сентенцій Гонкуры посвящаютъ опредѣленію женскаго характера, отличительнымъ чертамъ мужчины и женщины, и нѣкоторыя изъ нихъ чрезвычайно красивы и рельефны. „Женщина — выражаются Гонкуры — была создана, чтобы быть сестрой милосердія. Ея самопожертвованіе не превозмогаетъ чувства отвращенія; оно просто не знаетъ его“. Или другой примѣръ: „мужчина ищетъ въ книгѣ правду, женщина — иллюзію“. Мы могли бы безъ числа черпать изъ журнала Гонкуровъ подобныя опредѣленія, касающіяся всѣхъ сторонъ, всѣхъ вопросовъ современной жизни, еслибы и приведенныхъ примѣровъ не было достаточно, чтобы уловить характеръ „идей и ощущеній“ Гонкуровъ.

Остановимся только для бѣльшей полноты на нѣкоторыхъ раз-

сужденіяхъ и сентенціяхъ, носящихъ на себѣ иной, болѣе отвлеченный характеръ. Гонкуры удивляются близорукости людей, которые никакъ не могутъ отрѣшиться отъ понятій, идей той эпохи, въ которую они живутъ, и судятъ о прошломъ по настоящему. „Мелкіе умы, — пишутъ они, — которые судятъ о вчерашнемъ днѣ по сегодняшнему, поражаются величіемъ и какою-то магическою силою, заключавшеюся до 1789 г. въ словѣ: король. Они думаютъ, что любовь къ королю была не чѣмъ инымъ, какъ выраженіемъ народной приниженности. Между тѣмъ король былъ просто народною религіею того времени, какъ родина является національною религіею настоящего. И быть можетъ, — прибавляютъ Гонкуры, — когда желѣзныя дороги сблизятъ расы, перемѣшаютъ идеи, границы и знамена, наступитъ день, когда религія XIX в. покажется такою же узкою и мелкою, какъ и религія прошлаго“. Гонкуры знаютъ однако, что это снѣженіе расъ еще не такъ близко, что прежде, чѣмъ оно произойдетъ, должно совершиться страшное столкновеніе двухъ расъ — нѣмецкой и латинской, и, какъ бы предчувствуя войну 1870 г., они говорили: „Великій современный вопросъ, нынѣ господствующій и угрожающій, это — непримиримый антагонизмъ двухъ расъ: латинской и германской; эта послѣдняя должна поглотить первую. А между тѣмъ, — прибавляютъ они, — возьмите изъ этихъ двухъ народностей по образчику изъ каждой, и личныя способности всегда окажутся на сторонѣ челоуѣка латинской расы, какъ, напримѣръ, итальянца. Но эта способность — не походить ли она на чисто артистическое солнце Рима, создающее только цвѣты, но не овощи?...“ Очевидно, что въ шовинизмъ нельзя заподозрить Гонкуровъ.

Какъ ни разнообразны „идеи и ощущенія“ Гонкуровъ, но всѣ они проникнуты однимъ духомъ, и тогда, когда они говорятъ о давно минувшемъ, объ историческихъ событіяхъ, и тогда, когда они говорятъ о настоящемъ, о томъ, что совершается на ихъ глазахъ. Какъ въ исторіи они подмѣчаютъ два теченія — зависть и низость, причеиъ первая, какъ они выражаются, порождаетъ революціонеровъ, людей, рвущихся впередъ, а вторая — консерваторовъ, такъ и въ настоящемъ эти два чувства являются господствующими. Гонкуры скептически относятся къ прогрессу, и не видятъ его въ томъ, въ чемъ усматриваютъ его другіе. Ихъ, этихъ страстныхъ любовниковъ литературы, нисколько не трогаетъ, напримѣръ, то, что все растетъ и

ростетъ кругъ читателей, утолщается слой людей, интересующихся умственнымъ движеніемъ. Они не вѣрятъ такому прогрессу. Да, мы знаемъ, говорятъ они, что въ прежнее время провинція не читала и не имѣла никакого мнѣнія о книгахъ и сочинителяхъ; но теперь „провинція точно также не читаетъ, но у нея образовались литературныя мнѣнія, выхваченныя изъ фельетоновъ мелкихъ журналовъ. Печальный прогрессъ!“ — восклицаютъ Гонкуры. Очевидно, ихъ тревожный, вѣчно работающій умъ никогда и ни на чемъ не могъ отдохнуть. Созерцаютъ ли они природу отдѣльнаго человѣка, наблюдаютъ ли они семью, общество, народъ, человѣчество — на все тотчасъ ложится какой-то мрачный оттѣнокъ, оправдываемый меланхолическимъ настроеніемъ самихъ наблюдателей. Какъ бы объясняя самимъ себѣ свое мрачное настроеніе, они говорятъ: „всѣ наблюдатели испытываютъ грусть и не могутъ ее не испытывать. Они только смотрятъ на жизнь. Они — не дѣйствующія лица, они только свидѣтели жизни. Они не воспринимаютъ ничего изъ того, что обманываетъ и опьяняетъ людей. Ихъ нормальное состояніе — меланхолическое спокойствіе“. Спокойствіе не было, однако, нормальнымъ состояніемъ самихъ Гонкуровъ; оно не было даже и случайнымъ явленіемъ въ ихъ жизни, поглощенной работой безъ отдыха, непрерывною мозговою дѣятельностью, которая такъ пагубно отражалась на ихъ „обнаженной“ нервной системѣ. Они говорятъ: „Какъ черны думы бѣлыхъ ночей!“ Но они смѣло могли бы прибавить: — и черныхъ дней!

Зорко и неустанно присматриваясь къ жизни, правамъ, людямъ, Гонкуры изошрили свою природную наблюдательность, и отъ вниманія ихъ, повидимому, не ускользаетъ ни одна самая мелкая, самая незамѣтная для невооруженнаго глаза черта. Эта наблюдательность и свойственное Гонкурамъ чувство правды особенно ярко сказываются въ тѣхъ мастерскихъ портретахъ ихъ современниковъ, съ которыми ихъ сталкивала жизнь, — а жизнь сталкивала ихъ съ людьми наиболѣе выдающимися и оставившими по себѣ слѣдъ въ исторіи своего общества. Къ этимъ-то портретамъ мы теперь и обратимся.

VI.

Въ предисловіи къ своему журналу Гонкуры говорятъ между прочимъ: „въ этой автобіографіи, изо дня въ день, выступаютъ на сцену люди, съ которыми намъ пришлось встрѣтиться на жизненномъ пути. Мы всѣхъ ихъ *портретировали*—мужчинъ, женщинъ, улавливая сходство извѣстнаго дня, часа, возвращаясь снова къ этимъ портретамъ, показывая ихъ при другомъ освѣщеніи, смотря по тому, насколько эти лица мѣнялись, не желая подражать тѣмъ авторамъ мемуаровъ, у которыхъ историческія фигуры являются цѣльными, точно высѣченными изъ одного куска, или нарисованными краской, успѣвшей поблекнуть въ памяти воспроизводившихъ портреты—желая, словомъ, представить волнующееся человѣчество въ его правдѣ данной минуты“. И Гонкуры достигли своей цѣли. Много разъ и въ различное время возвращаясь къ одному и тому же портрету, они прибавляли новыя черты, улавливали скрытое прежде выраженіе, оживляя все болѣе и болѣе изображаемое ими лицо. Большинство портретовъ, написанныхъ братьями Гонкурами, принадлежитъ къ міру литературному, что, впрочемъ, и не удивительно. Гонкуры, поглощенные работой, избѣгали общества, отказывались отъ жизни шумнаго свѣта, позволяя себѣ одно лишь развлеченіе, одинъ отдыхъ—оживленную литературную бесѣду съ людьми, жившими тѣми же интересами, преслѣдовавшими тѣ же цѣли. Будучи избранными умами, они шли на встрѣчу такимъ же выдающимся людямъ, какъ они сами—чуждаясь того литературнаго міра, гдѣ литература являлась ремесломъ, торговлей, гдѣ не было совѣсти, гдѣ на литературу не смотрѣли какъ на священный алтарь, требовавшій безкорыстнаго служенія.

Вотъ почему всѣ ихъ портреты являются портретами исключительно выдающихся людей современной имъ эпохи, и благодаря этому портретная галерея Гонкуровъ представляетъ собою рѣдкій интересъ. Почти передъ каждымъ портретомъ останавливаешься со вниманіемъ, съ любопытствомъ, и сколько характерныхъ чертъ самой эпохи рельефно выступаютъ наружу, когда вглядываешься въ ихъ мастерскія изображенія! Далеко не со всѣми обрисованными ими фигурами они соединены были близкими отношеніями дружбы, интим-

ности, но со всѣми имъ приходилось часто встрѣчаться въ двухъ литературныхъ центрахъ того времени, а именно, въ салонѣ принцессы Матильды и на періодическихъ литературныхъ обѣдахъ, получившихъ историческую извѣстность и происходившихъ въ ресторанѣ Маньи, скромно помѣщавшемся на лѣвомъ берегу Сены, въ кварталѣ молодежи, Сорбонны, Collège de France, Академій, всей интеллигенціи Парижа. Гонкуры вводятъ своихъ читателей и въ салонъ принцессы Матильды, и на литературные обѣды Magnu, гдѣ встрѣчаются, за немногими исключеніями, почти тѣ же лица, всѣ пріобрѣвшія себѣ громкую извѣстность въ литературной исторіи Франціи. Эти два центра ума они изображаютъ такъ живо, въ такихъ яркихъ и правдивыхъ краскахъ, что читатель точно видитъ лица присутствующихъ, точно слышитъ происходящіе разговоры. Остановимся сначала на салонѣ принцессы Матильды.

Салонъ этотъ представлялъ собою во время второй имперіи весьма любопытное явленіе. Сама принцесса Матильда, по своему положенію, по близкой родственной связи, какъ двоюродная сестра Наполеона III, вышедшая замужъ за русскаго, Демидова, всей душой принадлежала имперіи. Образованная, умная, одаренная художественнымъ чутьемъ, она тяготилась придворною сферою, этикетомъ, пустотою исключительной свѣтской жизни, и, живо интересуясь литературой и искусствомъ, она старалась привлечь къ себѣ всѣхъ выдающихся писателей, ученыхъ, художниковъ. Мало-по-малу ея гостиная превратилась въ блестящій литературный салонъ, въ которомъ встрѣчались всѣ знаменитости науки, литературы, искусства. Умъ, талантъ — вотъ тотъ ключъ, который отворялъ двери ея салона, всегда гостепріимнаго, радушнаго, въ которомъ каждый, благодаря ея такту и умѣнью обращаться съ людьми, чувствовалъ себя свободно, не опасаясь, какъ бы брошенное имъ слово не прозвучало диссонансомъ въ роскошной гостиной великосвѣтской хозяйки. Принимая у себя, приглашая къ своему столу два раза въ недѣлю писателей, ученыхъ и художниковъ, она не справлялась объ ихъ политическихъ мнѣніяхъ; сама она была бонапартистка, и ниѣла право ея быть, но вовсе не требовала, чтобы всѣ посѣщавшіе ея салонъ были одинаково бонапартистами. Напротивъ, она очень хорошо знала, что среди habitués ея салона есть много людей, весьма недружелюбно относившихся къ имперіи; но это нисколько ей не мѣшало относиться къ нимъ и съ уваженіемъ, и

съ пріязнью. Только въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ политическая нота раздавалась въ ея салонѣ, и только отъ самыхъ интимныхъ своихъ друзей, какъ напр. Сентъ-Вѣвъ, она требовала, чтобы они не слишкомъ шумно заявляли свое враждебное отношеніе къ имперіи; если же это случалось, то наступало охлажденіе, никогда, однако, долго не продолжавшееся.

Благодаря такой политической терпимости хозяйки, въ салонъ ея безбоязненно вступали люди самыхъ различныхъ убѣжденій, а манера ея держать себя дѣлала то, что очень быстро исчезала всякая принужденность, всякая натянутость, и разговоръ принималъ тотъ свободный, интимный характеръ, безъ котораго тотчасъ исчезаетъ вся прелесть подобнаго литературнаго салона. Слѣдя за литературнымъ движеніемъ, принцесса Матильда знала все, что появлялось новаго въ литературѣ, и ей вовсе не нужно было, чтобы имя писателя громко прозвучало, для того, чтобы онъ появился въ ея салонѣ. Ей достаточно было знать, что писатель уменъ, талантливъ, для того, чтобы поспѣшить послать ему любезное приглашеніе. Такъ было и съ Гонкурами. Имя ихъ не было еще популярно, книги ихъ не расхватывались публикой, они боролись еще съ неизвѣстностью, когда принцесса Матильда завербовала ихъ въ свой салонъ. Очень скоро между принцессой Матильдой и братьями Гонкурами установились самыя дружескія отношенія, которыя, какъ мы уже видѣли, говоря о подстроенной кабалѣ, задушившей ихъ пьесу „Henriette Maréchal“, сослужили имъ дурную службу. Благодаря близкимъ отношеніямъ къ принцессѣ Матильдѣ, Гонкуры прослыли за бонапартистовъ, несмотря на явную къ нимъ враждебность имперіи. Они сами про себя говорятъ, по поводу отношеній къ принцессѣ Матильдѣ, что они не были бонапартистами, имперіалистами, но что нѣжная и искренняя дружба съ женщиной, которая „случайно была принцессой“, сдѣлала ихъ *матильдистами*, и матильдистами горячими и преданными. Нельзя не сказать, что принцесса Матильда не оставалась у нихъ въ долгу; она платила имъ столь же горячею и искреннею дружбою. Съ самаго перваго знакомства принцесса Матильда произвела на Гонкуровъ самое благопріятное впечатлѣніе, которое они заносятъ въ свой журналъ: „Насъ ввели въ первый этажъ, въ круглую залу съ краснымъ поломъ на стѣнахъ, украшенныхъ зеркалами въ изящныхъ рамахъ. Гаварни, Шеневьеръ, Ньиверкеркъ были уже тамъ; скоро явилась и

принцесса въ сопровожденіи своей чтицы, г-жи де-Фли. За столъ насъ сѣло всего только семь человѣкъ. За исключеніемъ посуды съ императорскимъ гербомъ да важности и безмятежности лакеевъ, настоящихъ лакеевъ княжескихъ домовъ, ничто не напоминало, что мы находимся у „высочества“ — до такой степени въ этомъ пріятномъ домѣ господствовала свобода ума и рѣчи. Салонъ этотъ — настоящій салонъ XIX вѣка, съ хозяйкой дома, представляющей собою лучшій типъ современной женщины“. Въ принцессѣ Матильдѣ Гонкуровъ очаровывала естественность, простота, отсутствіе какой-либо претензіи въ разговорѣ, какая-то живость во всемъ, что мелькало въ ея голосѣ. „Она остроумно и мило жалуется на поразительно понизившійся уровень женщины, по сравненію съ тѣмъ временемъ, которое мы воспроизводили, — говорятъ Гонкуры, подразумѣвая свою книгу о женщинахъ XVIII ст., — на досаду, которую она испытываетъ, не встрѣчая женщинъ, интересующихся искусствомъ, литературой, ничѣмъ возвышеннымъ и рѣдкимъ. Изъ большинства женщинъ, которыхъ видишь, принимаешь, — такъ мало, съ которыми можно было бы вести разговоръ. Пусть — говорила она — войдетъ сюда сейчасъ какая-нибудь дама, и вы увидите, что я тотчасъ должна буду пережвѣнить разговоръ. Я готова принимать всѣхъ умныхъ женщинъ... Рашель, да! Рашель я бы съ удовольствіемъ приняла. Жоржъ-Зандъ, я бы ее сейчасъ пригласила...“

Свобода разговора, которая такъ плѣняла Гонкуровъ, господствовала въ салонѣ принцессы Матильды безгранично, и о ней смѣло можно судить по тѣмъ обрывкамъ, которые воспроизведены въ журналѣ.

Сентъ-Бёвъ, Александръ Дюма, Флоберъ, Теофиль Готье, насколько не стѣснялись развивать такіа теоріи и передавать такіа подробности, которыя въ пору были бы только въ мужскомъ обществѣ, и то настроенномъ нѣсколько игриво. Приведемъ хоть одинъ образецъ: „Сентъ-Бёвъ излагаетъ свою теорію, которая состоитъ въ томъ, чтобы никогда не добиваться любви молодой женщины, но лишь одного милосердія любви, и поступать такъ, чтобы женщина васъ только терпѣла и не питала къ вамъ ненависти. — Это все, что можно требовать, — со вздохомъ прибавляетъ Сентъ-Бёвъ.

— Но любили ли вы когда-нибудь серьезно? — спрашиваетъ принцесса.

— Я, принцесса? — послушайте меня, у меня всегда въ головѣ,

здѣсь или тамъ—и онъ ощупываетъ свой черепъ—есть ящичекъ, который я боюсь слишкомъ открывать. Всѣ мои работы, все, что я дѣлаю, избытокъ моихъ статей,—это все служить для того, чтобы его придавить. Я его захопнулъ, раздавилъ книгами... Вы не знаете,—заговорилъ онъ, воодушевляясь, въ тонѣ самой черной меланхолической,—вы не знаете, что значить чувствовать, что васъ больше не будутъ любить, что это невозможно, что въ этомъ нельзя признаться, какъ вы сейчасъ сказали, потому что человѣкъ сдѣлался старъ, сдѣлался смѣшонъ... потому что онъ сдѣлался уродливъ.

— А вы?—обратилась принцесса къ Жиро.

— О, я! у меня никогда не случалось одной любви. Всегда, по крайней мѣрѣ, двѣ или три заразъ; это единственное средство быть спокойнымъ и не бояться потерять одну изъ нихъ.

— Но какія же это женщины?

— Женщины—возможныя, принцесса!

— Принцесса,—перебиваетъ Сентъ-Бѣвъ:—вы этого не знаете, спросите у Гонкуровъ: въ XVIII столѣтіи существовали особня общества, доставлявшія такихъ женщинъ, „общества минуты“.

— Вы мнѣ просто гадки!—произнесла принцесса...

Ренанъ, Тэнъ, Флоберъ, Александръ Дюма развивали въ этомъ салонѣ свои теоріи, вели горячіе споры, въ которыхъ принималъ участіе между прочимъ, „нѣкто Пастёръ“, какъ упоминаютъ о немъ Гонкуры,—споры, заканчивавшіеся иной разъ бурными сценами, особенно когда рѣчь заходила о матеріализмѣ, съ которымъ не мирилась принцесса Матильда. „Принцесса, — рассказываютъ Гонкуры,—издавала крики ужаса передъ подобнымъ провозглашеніемъ матеріализма и скептицизма... Въ такіе минуты она не сознаетъ себя, оно готова вамъ бросить въ лицо первую попавшуюся жебелъ, ея охватываетъ настоящее отчаяніе, почти комическое по своей искренности“.

Свобода разговоровъ касалась не только отвлеченныхъ вопросовъ, она проявлялась и въ разговорахъ политическихъ, во время которыхъ сама принцесса Матильда передавала многія любопытныя подробности, какъ о себѣ, такъ и о Наполеонѣ III... „Я никогда,—говорила она,—не обдѣлывала своихъ дѣлъ съ императоромъ, потому что я всегда иду прямою дорогою. Я никогда не участвовала ни въ какой пачкотнѣ, никогда, никогда“... записываютъ Гонкуры, характеризую ея открытый, честный характеръ.

Наполеонъ III былъ для принцессы Матильды такимъ же сфинксомъ, какимъ онъ казался многимъ въ эпоху его могущества. „Что вы хотите!.. этотъ человѣкъ лишенъ всякой живости, всякой впечатлительности! Ничто его не трогаетъ... Человѣкъ, который никогда не поддастся гнѣву и не знаетъ другого слова негодованія, какъ: „это нелѣпо“. Другого онъ ничего не говоритъ. Еслибы я вышла за него замужъ, мнѣ кажется, я разломала бы ему голову, чтобы узнать только, что въ ней заключается“. Въ другой разъ, уже въ 1869 году, когда имперія начинала распадаться, принцесса Матильда говорила: „Онъ престранный человѣкъ. Онъ никогда не бываетъ такъ веселъ, какъ тогда, когда всѣ политическія карты переиѣшаны. Можно подумать, что неизвѣстность его забавляетъ. Онъ большой оригиналъ. Существуетъ какая-то англичанка, которая купила у Мадзини револьверъ, чтобы убить императора. И она имѣла смѣлость испросить у него аудіенцію. Она бросилась передъ нимъ на колѣни, умолая о прощеніи. Но вотъ что самое удивительное. Она получила приглашеніе ко двору, и я видѣла ее на балѣ въ Тюльери“... Въ другой разъ принцесса Матильда обращалась къ своему прошлому, къ своимъ далекимъ воспоминаніямъ, ко времени ея жизни въ Россіи, обрисовывала фигуру императора Николая, произнесшаго въ первую же минуту свиданія съ нею: „я никогда вамъ этого не прощу!“ — по поводу выхода ея замужъ за Демидова, — и затѣмъ никогда не произносившаго болѣе его имени. Съ сочувствіемъ отзываясь о Россіи, о необыкновенной любезности къ ней императора, она признавала за нимъ суровый характеръ, но объясняла эту суровость въ значительной степени особенностью окружающей его среды. Императоръ ненавидѣлъ воровство, мошенничество, и вѣстѣ съ тѣмъ сознавалъ, что все кругомъ его воруетъ и мошенничаетъ. Онъ не видѣлъ другого средства сдерживать дурные инстинкты, какъ постоянно внушать страхъ и поражать своею безпощадностью.

Сама принцесса Матильда, ея литературно-художественный салонъ, жизнь въ загородномъ дворцѣ St. Gratien, придворные вечера, интимныя бесѣды, горячіе споры, Рождественскіе дни, когда принцесса, какъ бы подражая обычаю одного изъ салоновъ XVIII-го вѣка, наприи. m-me Жофренъ, раздавала подарки всѣмъ habitués своего салона, ея отношенія къ друзьямъ, — все это рисуютъ Гон-

куры въ такихъ живыхъ краскахъ, что и люди, и самое время, все оживаетъ подъ ихъ перомъ.

Гонкуры вовсе не задаются мыслью изображать въ своемъ журналѣ вліяніе второй имперіи на политическіе и литературные нравы, и, несмотря на это, отмѣчая на страницахъ журнала разговоры, разсужденія писателей, собиравшихся въ салонѣ принцессы Матильды, они тѣмъ самымъ даютъ матеріалъ для сужденія о пережитомъ ими времени. Обыкновенно думаютъ, что такой политическій строй, какой представляла собою вторая имперія, пагубно вліяетъ только на одну политическую печать, что всѣ другія отрасли литературы не страдаютъ отъ политическаго гнета. Это невѣрно: критика, изящная литература, театръ—все сохнетъ, все вымираетъ, на все разлагающій образъ дѣйствуетъ спертая политическая атмосфера. Гонкуры разсказываютъ объ одномъ обѣдѣ у принцессы Матильды, на которомъ присутствовали, кромѣ авторовъ журнала, еще нѣсколько писателей, какъ-то: Октавъ Фелье, Ашаръ, Теофиль Готье. За обѣдомъ зашла рѣчь о драматическомъ писателѣ Понсарѣ, на котораго Готье и Гонкуры сдѣлали суровое нападеніе, оспаривая мнѣніе хозяйки, защищавшей этого писателя. Кто-то изъ присутствующихъ обратился къ Теофилю Готье съ вопросомъ, почему онъ въ печати не высказываетъ своего мнѣнія о Понсарѣ, а онъ каждую недѣлю писалъ театральные фельетоны. „Я разскажу вамъ небольшую исторію,—отвѣчалъ на это спокойно Готье.—Однажды Валуевскій говоритъ мнѣ, что я могу болѣе не стѣсняться и разбирать пьесы безъ всякаго снисхожденія, высказывая то, что я думаю.—Но—замѣтилъ я ему—на этой недѣлѣ идетъ пьеса X.—А въ такомъ случаѣ—живо отвѣтилъ Валуевскій—вы можете начать писать свободно съ будущей недѣли!“—И вотъ,—заключилъ Теофиль Готье,—я все жду этой будущей недѣли“. Но эта „будущая недѣля“ такъ и не наступила до самаго конца существованія второй имперіи.

Если—въ салонѣ принцессы Матильды—Готье могъ свободно высказывать свои жалобы на стѣсненіе печати, если Эмиль де-Жирарденъ могъ, не стѣсняясь, доказывать, что время имперіи не знаетъ ни добра, ни зла, что утрачено понятіе о правѣ, о томъ, что честно, что безчестно, что существуетъ одно лишь правило въ общественной и государственной жизни, это—успѣхъ, котораго во что бы то ни стало долженъ добиваться Наполеонъ III, и что

только этимъ лишь правиломъ онъ долженъ руководствоваться при выборѣ министровъ, такъ какъ честность, благія намѣренія не имѣютъ больше никакой цѣны, не безъ остроумія сравнивая каждого министра съ поваромъ, обладающимъ отличными аттестатами, но плохо приготавливающимъ кушанье; если въ большинствѣ случаевъ уважалась свобода мнѣній,—то иной разъ, хотя и рѣдко, между принцессой Матильдой и ея друзьями происходили цѣлыя драмы съ политической окраскою. Одну изъ такихъ драмъ рассказываютъ Гонкуры. Дѣйствующія въ ней лица: принцесса Матильда и Сентъ-Бевъ. Въ одну изъ обычныхъ средъ, день, когда принцесса Матильда собирала за своимъ столомъ литераторовъ, пріѣхали, по обыкновенію, Гонкуры, и въ разговорѣ, между прочимъ, упоминаютъ, что наканунѣ они видѣли Сентъ-Бёва, котораго они нашли грустнымъ, озабоченнымъ, утомленнымъ. Принцесса не отвѣтила ни однимъ словомъ, но сдѣлала имъ знакъ, чтобы они слѣдовали за нею въ одну изъ залъ, гдѣ она обыкновенно вела интимныя, съ глазу на глазъ, бесѣды. „Тутъ—описываютъ Гонкуры—вдругъ она разразилась:—„Сентъ-Бевъ! я никогда больше не хочу его видѣть, никогда... Онъ поступилъ со мной... онъ... Развѣ я не изъ-за него поссорилась съ императрицей?.. А все, что онъ получилъ черезъ меня... Во время моего послѣдняго пребыванія въ Компьенѣ, онъ обратился ко мнѣ съ тремя просьбами, и двѣ изъ нихъ императоръ исполнилъ... И какія же требованія я предъявляла къ нему?.. Я вовсе не хотѣла, чтобы онъ отказывался отъ какого-либо убѣжденія, я просила его только не подписывать контракта съ „Temps“, и отъ имени Руэра я ему предлагала все возможное... Еслибы еще онъ соединился съ Жиранденомъ въ „Liberté“,—это было бы еще возможно, онъ былъ бы въ своемъ обществѣ... Но въ „Temps“, гдѣ все наши личные враги, гдѣ каждый день на насъ сыплются оскорбленія!“ Она на минуту остановилась, затѣмъ снова начала: „О, это дурной человѣкъ... Уже шесть мѣсяцевъ тому назадъ я писала Флоберу: „Я опасюсь, чтобы Сентъ-Бевъ въ очень близкомъ будущемъ не удивилъ насъ какимъ-нибудь поступкомъ...“ Это онъ написалъ Нефтьеру... Во всемъ этомъ участвуетъ его другъ д'Альтонъ Ше"... И съ какою-то горечью раздраженія она продолжала:—„Въ новый годъ онъ писалъ мнѣ еще, что всѣмъ комфортомъ, которымъ окружена его болѣзнь, всѣмъ онъ обязанъ мнѣ... Нѣтъ, такъ непозволительно вести себя...“

Принцесса Матильда волновалась, задыхалась; голосъ ея дрожалъ отъ слезъ, которыя она старалась проглатывать; она чувствовала себя глубоко оскорбленною; она усматривала въ поступкѣ Сентъ-Бѣва нарушение связывавшей ихъ дружбы. „Я не говорю о принцессѣ, — восклицала она: — но женщина, женщина!.. скажите, не правда ли, это возмутительно?“ — обращалась она къ Гонкурѣмъ.

Газета „Темпс“ стояла во главѣ оппозиціонной прессы и, воодушевляемая общественнымъ настроеніемъ, съ каждымъ днемъ болѣе враждебно относившимся къ разслабленной имперіи, не скупилась теперь на удары, направленные противъ водворившагося порядка, деморализовавшаго Францію. Переходъ Сентъ-Бѣва, такъ недавно еще возведеннаго въ санъ сенатора, во враждебный лагерь — признавался открытою измѣною, поразившею принцессу Матильду въ самое сердце. Она хорошо знала, что салонъ ея не представляетъ собою сборнаго пункта друзей имперіи; она гордилась тѣмъ, что въ салонѣ ея господствуетъ свобода мнѣній, но, будучи тѣсно связанною родственными отношеніями съ Наполеономъ, она, очевидно, не допускала, что кто-либо изъ ея близкихъ друзей рѣшится заявить себя открытымъ врагомъ имперіи. Сентъ-Бевъ былъ притомъ однимъ изъ наиболѣе интимныхъ ея друзей, и потому разрывъ съ нимъ отозвался на ней наиболѣе чувствительно. Разрывъ этотъ тѣмъ болѣе ее поразилъ, что принцесса Матильда знала его за человѣка спокойнаго, разсудительнаго, неспособнаго увлечься минутнымъ настроеніемъ, не влюбленнаго въ политическую свободу. „Когда императоръ — говорила она теперь, изливая свою злобу на Сентъ-Бѣва, — рѣшился измѣнить систему и предоставить большую свободу, Сентъ-Бѣвъ энергически возставалъ противъ такого рѣшенія. Теперь же онъ не чувствуетъ себя больше между двумя жандармами, онъ не сознаетъ себя въ полной безопасности, и вотъ изъ страха, ради самосохраненія, онъ перешелъ во враждебный лагерь“. Такая характеристика Сентъ-Бѣва не дѣлаетъ, конечно, ему чести, но не нужно забывать, что она исходила отъ женщины, уязвленной въ своемъ самолюбіи. Тѣ выгоды, которыя извлекала принцесса Матильда изъ своего положенія одной изъ ближайшихъ родственницъ императора, не позволяли ей быть безпристрастной по отношенію къ господствовавшему во Франціи порядку, хотя придворныя сферы ее нисколько не манили къ себѣ, и она часто, какъ рассказываютъ Гонкуры, говорила: „какая

тоска этотъ замокъ Сентъ-Клу! Удивительно, какъ я рада, когда я покидаю такія мѣста. Я чувствую себя не по себѣ во дворцѣ. Тамъ чувства, рѣчи,—все иное. Я не могу себѣ этого объяснить, но тамъ я сознаю себя другимъ человекомъ, и мнѣ хочется поскорѣе вырваться оттуда и вернуться въ свой уголокъ“. Обвиняя Сентъ-Бѣва за то, что онъ перешелъ въ другой лагерь, она въ то же время отлично сознавала, что лагерь имперіи былъ печальнымъ лагеремъ, и въ разговорѣ съ тѣмъ же Сентъ-Бѣвомъ характеризовала этотъ лагерь, говоря: „если когда-нибудь будутъ разбирать всю нашу переписку, тогда Сентъ-Бѣвъ увидитъ, сколькимъ негодами мы должны были протягивать руку“.

Подобныя политическія размолвки случались впрочемъ рѣдко. Обыкновенно въ салонѣ принцессы Матильды не было мѣста для воинствующей политики, всегда нетерпимой къ чужимъ мнѣніямъ, но зато тутъ господствовала полная свобода литературныхъ и философскихъ мнѣній, что и дѣлало этотъ салонъ особенно дорогимъ для Гонкуровъ. Они видѣли въ хозяйкѣ хорошаго товарища, съ которымъ можно было говорить обо всемъ, что ихъ интересовало, нисколько не стѣсняясь,—товарища, щеголявшего своею простотою. Если Гонкуры нѣкоторое время не показывались въ ея салонѣ, погруженные въ работу, заставлявшую ихъ забывать весь міръ, принцесса Матильда вторгалась къ нимъ сама, безъ всякаго предупрежденія. „Стукъ колесъ—двѣ кареты у нашего подъѣзда,—заносятъ въ свой журналъ Гонкуры. Это принцесса Матильда, дѣлающая на насъ набѣгъ съ своей свитой, съ одной изъ своихъ кузинъ, съ своими друзьями. Она влетаетъ какъ бомба въ нашу столовую, видитъ на столѣ, заваленномъ исписанными листами нашего романа, простую глиняную банку съ вареньемъ и кусокъ хлѣба, схватываетъ этотъ кусокъ, опускаетъ ложку въ банку и начинаетъ ѣсть... —Ахъ,—замѣтилъ я ей,—что сказала бы герцогиня Ангудемская, еслибы она это видѣла!“

Такая простота нравовъ, отсутствіе всякой напыщенности и вмѣстѣ искренность въ отношеніяхъ очаровывали Гонкуровъ и закрѣпляли ихъ дружбу съ принцессой Матильдой, не довольствовавшейся суетою придворной жизни. Ея литературный салонъ не служилъ для нея лишь пустой забавой, прихотью скучающей женщины, играющей „съ умъ“ и зазывающей къ себѣ писателей и ученыхъ лишь въ сѣрѣ,

пасмурные дни, свободные от великосвѣтскихъ удовольствій. Ея литературные друзья всегда были ея почетными гостями, и двери ея гостиной одинаково были для нихъ открыты, какъ тогда, когда она принимала лишь простыхъ смертныхъ, такъ и тогда, когда она устраивала великолѣпныя празднества въ честь императора или какихъ-нибудь иностранныхъ принцевъ или принцессъ. Она гордилась своимъ литературнымъ салономъ, въ которомъ Гонкуры встрѣчали многихъ изъ тѣхъ замѣчательныхъ людей, портреты которыхъ мы находимъ въ ихъ журналѣ.

VII.

Не въ одномъ только салонѣ принцессы Матильды Гонкуры находили людей для своихъ эскизовъ и портретовъ. Въ Парижѣ существовалъ въ то время еще другой центръ, къ которому принимали всѣ лучшіе представители литературы. Такимъ центромъ были знаменитые литературные обѣды въ ресторанѣ Маньи. Въ одномъ изъ своихъ первыхъ романовъ, о которомъ намъ приходилось уже упомянуть, именно въ „Charles Demoilly“, Гонкуры нарисовали неприглядную картину литературнаго міра времени второй имперіи. Скандалъ, сплетни, шантажъ, продажность, словомъ—самые низменные интересы—вотъ чѣмъ питалась журналистика, вотъ что всячески покровительствовалось предрѣшающею властью, вотъ чѣмъ, какъ паутиной, заволакивалось общество. Каждое трезвое слово, случайно раздававшееся и напоминавшее собою объ утраченной общественной совѣсти, вызывало противъ себя злобное шипѣніе, и всѣ литературные аферисты наперерывъ другъ передъ другомъ старались его заглушить беззащитною шумихою фразъ о могуществѣ имперіи и величіи французскаго народа. Люди, дорожившіе своимъ достоинствомъ и охранявшіе свою независимость, сторонились отъ литературнаго базара, предпочитая жить замкнутою жизнью, чтобы не мѣшаться въ неструю толпу журнальной черни, для которой литература была только вывѣской, прикрывавшей собою самое недостойное ремесло. Но замкнутая и разрозненная жизнь—вовсе не нормальная сфера для писателя, мысли котораго работаютъ живѣе и плодотворнѣе, когда

она сталкивается съ мыслью, чувствомъ, впечатлѣніями другихъ людей. Сознаніе этой пагубно дѣйствующей на писателей разрозненности побудило одного изъ близкихъ друзей Гонкуровъ затѣять періодическіе обѣды на нейтральной почвѣ, гдѣ могли бы хоть отъ времени до времени встрѣчаться избранные литераторы, ученые и художники. Мысль свою Гаварни сообщилъ Сентъ-Бёву, и они вдвоемъ порѣшили устроить въ ресторанѣ Маньи регулярные, дважды въ мѣсяцъ, обѣды, на которые они должны были привлечь на первый разъ своихъ близкихъ друзей. Первый такой обѣдъ, весьма, правда, немногочисленный, состоялся въ ноябрѣ 1862 года. Въ немъ приняли участіе и братья Гонкуры. Очень скоро кружокъ лицъ, участвующихъ въ этихъ обѣдахъ, значительно увеличился, и литературные обѣды Маньи быстро превратились въ сборный пунктъ всѣхъ почти выдающихся по своему таланту людей того времени. Молва объ этихъ литературныхъ обѣдахъ скоро разнеслась по Парижу, о нихъ заговорила печать, и заговорила не въ хвалебномъ тонѣ. Обѣды эти казались подозрительными, или по крайней мѣрѣ выставлялись таковыми, и въ ходъ была пущена клевета, что обѣды Маньи—обѣды атеистовъ, не признающихъ ничего святаго и пирующихъ умышленно въ страстную пятницу. Обѣды эти—какъ замѣчаютъ Гонкуры—никогда не происходили по пятницамъ, чѣмъ и опровергается злобно вымышленная легенда о празднованіи страстной пятницы. Другіе распускали слухъ, какъ бы призывая на эти обѣды правительственную кару, что у Маньи свили себѣ гнѣздо либералы; но и этотъ слухъ былъ лишь изобрѣтеніемъ черезчуръ услужливыхъ друзей или, вѣрнѣе, литературныхъ лакеевъ правительства. Въ дѣйствительности политика никогда не играла никакой роли на этихъ чисто-литературныхъ обѣдахъ, хотя Сентъ-Бёвъ и говорилъ, что его знаменитая рѣчь въ сенатѣ, требовавшая возвращенія вольностей французскому народу, вышла цѣликомъ изъ обѣдовъ Маньи.

Доступъ на эти обѣды былъ не такъ легокъ; каждый новый кандидатъ подвергался баллотировкѣ, и только если онъ соединялъ большинство голосовъ, то становился членомъ этого избраннаго литературнаго кружка. Быть членомъ обѣдовъ Маньи было честью, которой добивались всѣ выдающіеся французскіе писатели, радушно принявшіе въ свою среду только двухъ иностранцевъ, и оба эти иностранца были русскіе: Тургеневъ и Герценъ. Тургеневу стоило

только выразить желаніе быть членомъ этихъ обѣдовъ, чтобы тотчасъ быть дружески и съ уваженіемъ привѣтствованнымъ французскими писателями. Симпатія къ русскимъ, очевидно, возникла не со вчерашняго дня, и кто могъ лучше завоевать эти симпатіи, и кто имѣлъ большее на нихъ право, какъ не Тургеневъ, выдававшійся своимъ талантомъ, умомъ и рѣдкимъ образованіемъ. Тургеневъ былъ однимъ изъ первыхъ участниковъ этихъ обѣдовъ, какъ видно изъ короткой записки Гонкуровъ, адресованной Теофилю Готье: „Я имѣю честь извѣстить васъ,—писалъ Жюль Гонкуръ,—что вчера вечеромъ вы были единогласно избраны членомъ обѣдовъ Маньи. Вотировавшіе: Гаварни, Сентъ-Бѣвъ, Шарль Эдмонъ, Поль де-Сентъ-Викторъ, Тургеневъ, Тэнъ, Водри, Сулье, Эдмонъ де-Гонкуръ, Жюль де-Гонкуръ... Отсутствующіе въ моментъ голосованія: Ренанъ, докторъ Венъ, Шеневьеръ, графъ Ньюверкеркъ... Обѣды происходятъ черезъ каждые пятнадцать дней, по понедѣльникамъ. Вы будете, слѣдовательно, приняты въ понедѣльникъ, 11-го мая 1863 г. Рѣчь не обязательна“... Къ именамъ Тэна, Сентъ-Бѣва, Тургенева, Ренана, Гонкуровъ, Поля де-Сентъ-Виктора нужно присоединить имена такихъ людей, какъ Жоржъ-Зандъ, Флоберъ, Вертело, Теофиль Готье, чтобы понять, сколько ума, блеска, остроумія сверкало на этихъ оживленныхъ бесѣдахъ, гдѣ каждый высказывался свободно, давая полную волю полету своего ума.

Гонкуры въ своемъ журналѣ воспроизводятъ эти бесѣды, и со свойственнымъ настоящимъ художникамъ мастерствомъ придаютъ имъ такой колоритъ жизни, что, читая ихъ описанія, думаешь присутствовать при этихъ горячихъ спорахъ, слышишь голосъ, улавливаешь тонъ, то серьезный, то шуточный, тѣхъ разсужденій, возраженій, которыми обжѣниваются, иной разъ, страстные противники. Къ этимъ обѣдамъ, къ этимъ литературнымъ спорамъ Гонкуры возвращаются постоянно, улавливая такія подробности, подмѣчая тонъ, характерныя черты, которыя доступны только привыкшему къ наблюденію глазу художника-живописца. Литературные споры, смѣлая проповѣдь своихъ убѣжденій, такъ мало похожихъ на убѣжденія другихъ людей,—это былъ воздухъ, которымъ дышали Гонкуры. Имъ доставляло необычайное удовольствіе, когда высказываемыя ими мысли приводили въ негодованіе Сентъ-Бѣва или задѣ-
вали Тэна. „Обѣды Magny — писали они Флоберу — пользуются

огромнымъ успѣхомъ: введены Тэнъ и Ренанъ *ipse*; мы употребляемъ наши усилія, чтобы ваше отсутствіе не было такъ чувствительно, приводя въ ужасъ Сентъ-Бёва убѣжденностью нашихъ парадоксовъ и соблазномъ нашихъ литературныхъ, политическихъ и всякихъ другихъ мнѣній. Въ послѣднюю субботу происходилъ споръ о Вольтерѣ, отличавшійся свирѣпостью... самою задушевною“...

Личные интересы, новости дня, политическія событія, рѣдко возбуждали горячіе споры среди этого блестящаго кружка, но зато вопросы, касавшіеся философскихъ высетъ, литературы, критики, вызывали подчасъ цѣлыя бури, сопровождавшіяся громами и молніями возбужденныхъ умовъ. Несмотря на серьезность поднимавшихся вопросовъ, въ этихъ бесѣдахъ не было ничего академическаго, тяжеловѣснаго; это были просто живые разговоры умныхъ людей, пересыпанные остроуміемъ, шуткой, солью, среди которыхъ мысль, свободная отъ всякихъ стѣсненій, налагаемыхъ книгою, выражалась иной разъ болѣе ярко, болѣе рельефно, чѣмъ въ отшлифованной статьѣ того или другого писателя.

Еслибы мы пожелали извлечь изъ журнала Гонкуровъ всё произведенныя ими бесѣды, происходившія у Маньи, мы должны были бы наполнить цитатами десятки и десятки страницъ, но для того, чтобы ознакомиться съ характеромъ этого литературнаго центра и виѣсть съ манерою Гонкуровъ рисовать литературные споры, достаточно будетъ привести два, три прииѣра.

Сплошь и рядомъ во время этихъ обѣдовъ возникалъ вопросъ о задачахъ современнаго романа, о его представителяхъ, о корифеяхъ французской литературы, какъ-то: Викторъ Гюго, Бальзакъ, Жоржъ-Зандъ, и эти имена всегда имѣли свойство вызывать самыя рѣзкія разиорѣчія.

„ — Бальзакъ не правдивъ! — восклицалъ Сентъ-Бёвъ, нападая на великаго романиста: — если хотите, это человѣкъ гениальный, но въ то же время это уродъ!

— Но въ такомъ случаѣ мы всё уроды — возражаетъ Готье. — Кто же тогда нарисовалъ нашу эпоху? Гдѣ же искать изображенія общества, въ какой книгѣ, если Бальзакъ его не изобразилъ?

— Это воображеніе, вымыселъ! — рѣзко кричитъ Сентъ-Бёвъ: — я зналъ эту улицу Langlade; это вовсе было не то!

— Но въ какихъ же романахъ вы находите тогда правду? Не въ романахъ ли Жоржъ-Зандъ?

— Боже мой! — замѣчаетъ Ренанъ, сидящій около меня: — я нахожу, что Жоржъ-Зандъ гораздо правдивѣе Бальзака.

— Неужели! Это невозможно!

— Да, да, она изображаетъ общечеловѣческія страсти.

— Да, кромѣ того, у Бальзака стиль... — вставляетъ Сентъ-Бёвъ: — какой-то скрученный, путанный!

— Господа, — снова начинаетъ Ренанъ: — черезъ триста лѣтъ все еще будутъ читать Жоржъ-Зандъ.

— Ее столько же будутъ читать, какъ г-жу Жанлисъ.

— Бальзакъ ужъ очень устарѣлъ, — произноситъ Поль де-Сенъ-Викторъ, — да и романы его слишкомъ сложны.

— Но Гюго, — кричитъ Нефтьцерь, — развѣ его перо не человѣчно, не великолѣпно?

— Прекрасное всегда просто, — возражаетъ Сентъ-Викторъ. — Развѣ можетъ быть что-либо прекраснѣе Гомера, — вотъ чтó вѣчно молодо. Возьмите Андромаху, развѣ она не интереснѣе г-жи Мариёфъ?

— Не для меня во всякомъ случаѣ, — замѣчаетъ Эдмонъ.

— Какъ не для васъ?

— Вашъ Гомеръ умѣетъ изображать только физическія страданія. Рисовать же нравственные страданія, это немножко труднѣе... И если вы хотите знать, чтó я думаю, то я вамъ скажу, что самый незначительный психологическій романъ меня болѣе интересуетъ, чѣмъ весь вашъ Гомеръ... Да, я съ большимъ удовольствіемъ читаю „Адольфа“, чѣмъ Илиаду.

— Когда слышишь такія мнѣнія, то хоть выбрасывайся изъ окна! — кричитъ Сентъ-Викторъ: — это безумно... Возможно ли говорить что-либо подобное!... Греки вѣтъ всякаго спора... У нихъ все божественно...

Всеобщая сумятица, во время которой Сентъ-Бёвъ крестится съ любезностью священника, бормоча: — Но, господа, собака Улисса!.. “

Жюль Гонкуръ, описывая этотъ споръ, замѣчаетъ: „можно отрицать Бога, оспаривать папу, нападать на все, но Гомеръ... Удивительны эти литературныя религіи“.

Споръ, прерванный на одномъ обѣдѣ, часто возобновлялся съ новою силою на другомъ, и противники съ такою горячностью отстаивали

вали свои мнѣнія и симпатіи, какую рѣдко вносили въ издаваемые ими книги. Значеніе во французской литературѣ Жоржъ-Зандъ, Гюго, вліяніе на общество великихъ писателей XVIII в., Вольтера, Дидро, старинная распря между романтизмомъ и классицизмомъ— вотъ обычные темы литературныхъ споровъ, и мнѣнія, высказываемыя въ интимной борьбѣ такими людьми, какъ тѣ, которые собирались у Маньи,—представляютъ значительный интересъ.

Ренанъ всегда отстаивалъ Жоржъ-Зандъ, доказывая, что она „самая крупная артистическая натура нашего времени и самый искренній талантъ“, — мнѣніе, которое вызываетъ въ этомъ рѣдкомъ кружкѣ возгласы: „о! а! о! а!“—не смущающіе Ренана; онъ смѣло бросаетъ вызовъ: „да, какъ хотите, я не понимаю реализма“! Заглушенный шуткою Сентъ-Бёва, онъ желаетъ потушить пожаръ: „выпьемъ, я пью... ну, Шереръ!“... Споръ на минуту прекращается, чтобы возобновиться по поводу другого имени, и его начинаетъ Тэнъ, заявляя, что „Гюго никогда не бываетъ искрененъ“. Такое еретическое въ глазахъ многихъ присутствующихъ мнѣніе не оставляется безъ отпора, и Сентъ-Бёвъ, Теофиль Готье, Поль де-Сентъ-Викторъ вооружаются противъ Тэна.

„Сентъ-Бёвъ:—Какъ, вы—Тэнъ, вы ставите Мюссе выше Гюго! Но вѣдь Гюго пишетъ книги... На зло правительству, которое однако достаточно сильно, онъ имѣлъ такой успѣхъ, какъ никто. Онъ проникъ всюду; женщины, народъ, всё его читаютъ. Его изданія расходятся отъ восьми часовъ утра до двѣнадцати. Когда я прочелъ его „Odes et Ballades“, я отнесъ ему всё мои стихотворенія... Партія журнала „le Globe“ называла его варваромъ. ...Все, что я сдѣлалъ, я всёми обязанъ ему.

Сентъ-Викторъ:—Мы всё происходимъ отъ него.

Тэнъ:—Позвольте, я не оспариваю, что Гюго представляетъ собою громадное событіе, но...

Сентъ-Бёвъ, разгорячившись:—Тэнъ, не говорите о Гюго. Вы его не знаете. Насъ только двое здѣсь, которые его знаютъ: Готье и я... То, что создалъ Гюго, великолѣпно!

Тэнъ:—Изобразить колокольню, нарисовать небо, показать какой-либо предметъ такъ, чтобы вы его видѣли—вотъ что, кажется, въ настоящее время, вы называете поэзіей. Для меня все это не поэзія, это живопись.

Готьё:—Тэнъ, мнѣ кажется, что вы впадаете въ буржуазный идиотизмъ. Требовать отъ поэзіи чувствительности... развѣ въ этомъ поэзія?.. Лучезарныя слова... слова, бросающія свѣтъ... въ соединеніи съ ритмомъ и музыкальностью... вотъ что называется поэзіей“.

Записывая эти литературные споры, Гонкуры стараются всегда сохранять полную объективность, несмотря на негодованіе, которое возбуждали въ нихъ нѣкоторые мнѣнія. Ихъ литературныя симпатіи и антипатіи были такъ же оригинальны, какъ они сами, и они не боялись заявлять, что когда религіозное и монархическое прошлое будетъ окончательно разрушено и когда наступитъ безпристрастный судъ для прошлаго литературнаго, тогда должны будутъ признать, что Бальзакъ не уступаетъ Мольеру, и что Викторъ Гюго — величайшій французскій поэтъ. Въ своихъ симпатіяхъ они мало сходились съ остальными членами обѣдовъ Маньи; для нихъ въ прошломъ столѣтіи величайшими писателями были Дидро, Бомарше, Бернарденъ де-Сенъ-Пьеръ, а въ нынѣшнемъ—Мишлэ и Гюго. Къ Вольтеру они питали какую-то инстинктивную вражду, и не разъ эта вражда служила поводомъ для безконечныхъ споровъ. Они оспаривали его литературное значеніе, присоединяясь къ опредѣленію аббата Трюбле, выраженному въ двухъ словахъ: „совершенство посредственности“. Никогда не зная ни въ чемъ середины, они доходили въ своихъ выводахъ до крайнихъ предѣловъ, не страшась очевидной парадоксальности своихъ мнѣній. Его театръ, — говорили они по поводу Вольтера въ присутствіи Сентъ-Бёва, Тэна, Ренана и другихъ авторитетныхъ писателей:—кто смѣетъ о немъ говорить!.. Его исторія—это ложь; въ ней сохранена вся условность, надутая и глупая, господствовавшая въ старинной и торжественной исторіи... Его наука, его гипотеза составляютъ лишь предметъ насмѣшекъ для современныхъ ученыхъ. Единственное произведеніе, дающее ему право перейти въ потомство, это его знаменитый „Candide“; но что это, какъ не Лафонтэнъ въ прозѣ, какъ не обглоданный Раблэ? Всѣ его восемьдесятъ томовъ ничего не стоятъ по сравненію съ „Neveu de Rameau“, съ „Ceci n'est pas un conte“—этимъ романомъ и этою повѣстью, которые вызвали къ жизни всѣ романы и всѣ повѣсти XIX вѣка“. Всѣ сидѣвшіе за столомъ обрушились на Гонкуровъ, и Сентъ-Бёвъ сталъ опровергать Гонкуровъ, доказывая, что Франція будетъ только тогда свободна, когда Вольтеру будетъ воздвигнута статуя на пло-

щади Согласія. Ренанъ же, нѣсколько смущенный дерзостью мысли и рѣзкостью выраженій, сидѣлъ, какъ выражаются Гонкуры, „точно нѣмой, но внимательный, заинтересованный, упиваясь цинизмомъ словъ, такъ точно, какъ честная женщина, очутившаяся за ужиномъ легкихъ женщинъ“. Въ другой разъ Поль де-Сенъ-Викторъ вспоминаетъ годовщину Варооломеевской ночи и замѣчаетъ, что въ этотъ день у Вольтера была бы лихорадка. „Непремѣнно! — произноситъ Флоберъ театральнымъ голосомъ: — и вотъ Флоберъ и Поль де-Сенъ-Викторъ провозглашаютъ Вольтера самымъ искреннимъ и чистымъ апостоломъ, а мы возражаемъ — пишутъ Гонкуры — со всею силою нашихъ убѣжденій. Раздаются голоса, крики и вопли. — Мученикъ... часть жизни въ ссылкѣ! — Да, но популярность! — Нѣжная душа... дѣло Калѣ... — Для меня это святой! — восклицаетъ съ негодованіемъ Флоберъ... — Что касается меня, — замѣчаетъ Теофиль Готье, — то я его не могу выносить; отъ него отзывается точно патеромъ, это Prud'homme деизма; да, вотъ это кто — это Prud'homme деизма!“

Отъ Вольтера разговоръ снова переходитъ къ Виктору Гюго, къ поэзіи, и Ренанъ начинаетъ диспутъ о восточной поэзіи, доказывая ея безсодержательность. Къ нему присоединяется Бертелло, знаменитый химикъ, „господинъ, разлагающій и составляющій простыя тѣла, своего рода богъ въ комнатѣ“. Начинаются сравненія, и рѣчь переходитъ къ Гейне, что можно было замѣтить, — замѣчаютъ Гонкуры, — по выраженію лица Сентъ-Бѣва. Готье восхваляетъ его физическую красоту, говоря, что „это былъ Аполлонъ въ соединеніи съ Мефистофелемъ“. Сентъ-Бѣвъ негодуетъ и кричитъ: — Я удивляюсь, какъ вы можете такъ говорить объ этомъ человѣкѣ. Это былъ негодяй, который собиралъ все, что онъ зналъ о васъ, для того, чтобы тиснуть все это въ газетахъ... раздирая своихъ друзей на части...

— Простите, — спокойно замѣтилъ Готье: — я былъ его интимнымъ другомъ, и никогда не имѣлъ основанія жаловаться на него. Онъ дурно отзывается только о тѣхъ людяхъ, таланта которыхъ онъ не признавалъ“.

Литературныя темы смѣняются историческими, Вольтеръ или Гюго уступаютъ мѣсто Мирабо, Людовику XVI, Маріи-Антуанетѣ, и снова возобновляются горячіе споры о той или другой исторической фигурѣ. Сентъ-Бѣвъ, всегда язвительный, умѣющій, по выраженію Гонкуровъ, такъ очистить въ продолженіе десяти минутъ любую

репутацію, что отъ нея ничего не остается, — начинаетъ рисовать фигуру Людовика XVI совсѣмъ иными красками, чѣмъ тѣ, которыми ее обыкновенно рисуютъ въ исторіи, выставляя на видъ его непривлекательныя стороны, его нравственную ничтожность. Уравновѣшенный, снисходительный умъ Ренана не мирится съ рѣзкими опредѣленіями, и онъ возвышаетъ „свой тоненькій голосъ“, замѣчая, что къ французскимъ королямъ не слѣдуетъ относиться съ такою строгостью, что людямъ этимъ не былъ предоставленъ выборъ ихъ карьеры, и что въ силу этого имъ слѣдуетъ прощать ихъ посредственность. По пути затрогивались вѣчно спорные вопросы, какъ, напримѣръ, вопросъ о примѣнѣнности къ великимъ людямъ правилъ и требованій строгой нравственности. Сентъ-Бевъ страстно доказываетъ, что Людовикъ XVI совершилъ преступленіе, вступая въ торгъ съ такимъ человѣкомъ, какъ Мирабо. Все общество Маньи присоединяется къ теоріи, на основаніи которой Мирабо, какъ геній, ускользаетъ отъ правилъ узкой, буржуазной честности. Одни Гонкуры возмущаются такой теоріей и громко произносятъ: „Въ такомъ случаѣ, господа, не существуетъ болѣе нравственности, справедливости въ исторіи, если у васъ двѣ мѣры, двое вѣсовъ: одни для гениальныхъ людей, другіе для простыхъ смертныхъ. Мы полагаемъ, что потомство будетъ болѣе демократично, нежели вы!“ Скептикъ всегда и во всемъ, Сентъ-Бевъ только замѣтилъ: „потомство... это пятьдесятъ лѣтъ! собственно же, потомство — тѣ люди, которые знали человѣка, говорятъ, пишутъ о немъ“. Гонкуры не безъ ироніи прибавляютъ, что, говоря такъ, Сентъ-Бевъ провозгласилъ себя самого потомствомъ.

Эти обѣденныя бесѣды, напоминающія собою историческіе обѣды m-me Жофренъ, ужины барона Гольбаха, вечера Леспинасъ, д'Эспине. на которыхъ появлялись великіе писатели XVIII вѣка, съ Дидро, д'Аламберомъ, Гриммомъ во главѣ, и такіе образованные и остроумные люди, какъ аббатъ Галіани, баронъ Глейхенъ и многіе другіе, — любопытны и въ томъ еще отношеніи, что они часто заставляли выплывать наружу самыя затаенныя идеи, шевелившіяся въ умѣ замѣчательныхъ французскихъ писателей XIX-го вѣка. Читая произведенія Ренана, Сентъ-Бева, мало кто будетъ настолько проникновенъ, чтобы увидѣть въ нихъ поборниковъ такихъ социалистическихъ идей, какъ уничтоженіе собственности, а между тѣмъ, читая Гонкуровъ описаніе происходившихъ споровъ, убѣждаешься, что

такія идеи не были имъ чужды. Завязывается споръ о законности литературной собственности; одни защищаютъ, другіе нападаютъ, но энергичнѣе всѣхъ возстаетъ противъ нея Сентъ-Бёвъ, доказывая, что литераторъ достаточно оплачивается шумомъ, славой, что онъ долженъ быть счастливъ, когда его произведеніемъ пользуются люди. Флоберъ, по духу противорѣчія, становится на противоположную точку зрѣнія, говоря, что еслибы онъ изобрѣлъ желѣзныя дороги, то онъ желалъ бы, чтобы никто безъ его позволенія не смѣлъ садиться въ вагонъ. Защита собственности приводитъ въ бѣшенство Сентъ-Бёва, и онъ горячо заявляетъ, что по его убѣжденію „литературная собственность не должна существовать, такъ точно, какъ не должно быть никакой другой собственности... не нужно собственности... пусть все возобновляется, пусть каждый работаетъ въ свою очередь“... Ту же самую мысль, замѣчаютъ Гонкуры, выражалъ и Ренанъ, говоря, что идея собственности слишкомъ абсолютна для нашего времени.

Бесѣды у Маньи часто принимали философское направленіе. Религія, общественное устройство, будущее человѣчества — вотъ вопросы, вызывавшіе безконечныя споры, столкновеніе оптимистическаго настроенія съ пессимистическимъ міросозерцаніемъ. Апостоломъ оптимизма является Тэнъ, съ его вѣрою въ вѣчный прогрессъ, и доказывавшій, что будущее принесетъ съ собою уменьшеніе чувствительности и увеличеніе дѣятельности. Гонкуры, вѣрные своему мрачному представленію жизни, опровергаютъ его, говоря, что человѣчество съ каждымъ днемъ становится все болѣе нервнымъ и истеричнымъ, и что именно излишекъ дѣятельности усиливаетъ чувствительность и порождаетъ современную меланхолію. „Увѣрены ли вы, — спрашивали они Тэна, — что анемичная тоска нашего времени не обусловливается чрезмѣрною дѣятельностью, баснословнымъ напряженіемъ общественныхъ силъ, безумной работой вѣка, крайнимъ мозговымъ возбужденіемъ, что она не является результатомъ чрезмѣрной работы мысли во всѣхъ направленіяхъ?“

Мы не можемъ передать, конечно, всѣхъ тѣхъ любопытныхъ разговоровъ, которые завязывались за столомъ ресторана Маньи, но нельзя не отмѣтить одной любопытной черты. Огромное большинство собиравшихся тутъ писателей и ученыхъ принадлежало къ невѣрующимъ, и однако, несмотря на это, ни одинъ обѣдъ не кон-

чался безъ того, чтобы это избранное литературное общество не возвращалось къ вопросу о причинѣ причинъ, къ философскимъ разсужденіямъ о Богѣ, религіи, безсмертіи души. Правда, разговоры эти велись далеко не въ богословскомъ тонѣ, причѣмъ даже великій идеалистъ Ренанъ грѣшилъ такими парадоксальными сравненіями, которыя были бы подѣ стать развѣ самому убѣжденному матеріалисту; но характерно уже и то, что скептики XIX вѣка думали объ этомъ вопросѣ и волновались имъ гораздо болѣе, чѣмъ ихъ великіе предшественники—скептики XVIII вѣка. Характеръ такихъ бесѣдъ былъ всегда одинаковъ. Шутки, остроты перемеживались съ самыми серьезными мыслями. Люди точно скользили по самымъ захватывающимъ умъ и сердце вопросамъ, облекая въ самую легкую, игривую форму всѣ тѣ идеи, которыя добыты были путемъ долгаго размышленія жизни, посвященной тяжелому умственному труду. Возьмемъ первый попавшійся примѣръ. Среди разговора, посвященнаго литературнымъ воспоминаніямъ далекаго времени, какъ-то нечаянно заходитъ рѣчь о религіяхъ, и присутствующій за обѣдомъ Ренанъ произноситъ: „— Да, да, я сезусловно преклоняюсь передъ Христомъ.— Но развѣ въ евангеліяхъ не встрѣчается много необъяснимаго! Чтѣ значать слова: „блаженны кроткіе, ибо они наслѣдуютъ землю“?—А Сакіа-Муни! — прерываетъ Готье:— выпьемъ за здоровье Сакіа-Муни!—А Конфуцій!—замѣчаетъ кто-то другой.— О! онъ невыносимъ.— Но чтѣ можетъ быть болѣе глупо, какъ Юранъ?— Да, — произноситъ Сентъ-Бѣвъ, — нужно все передумать, все пережить, и въ концѣ концовъ ничему не вѣрить...— Очевидно, — сказалъ я ему, — снисходительный скептицизмъ, вотъ чтѣ въ концѣ концовъ является какъ summumъ челоувѣчества: не вѣрить ни во что, даже въ свои сомнѣнія!.. каждое убѣжденіе—глупо... какъ папа“...

Скептицизмъ—вотъ господствующая нота во всѣхъ подобныхъ бесѣдахъ, но скептицизмъ болѣе тревожный, болѣе нервный, чѣмъ скептицизмъ прошлаго столѣтія, которымъ такъ восхищается Сентъ-Бѣвъ, любясь опредѣленіемъ Ривароля, говорившаго: „l'impiété est une indiscretion“.

Религіозные вопросы никогда не сходили съ очереди, сегодня вызывая безконечныя разсужденія о безсмертіи души, въ другой разъ о преимуществахъ той или другой религіи, причѣмъ Тѣмъ убѣ-

ждалъ своихъ собесѣдниковъ, что протестантизмъ, благодаря эластичности своихъ догматовъ и простору, который онъ предоставляетъ вѣрѣ каждаго человѣка толковать ихъ сообразно присущей ему натурѣ, болѣе подходитъ для мыслящихъ людей.

„ — Въ концѣ концовъ, — заканчивалъ онъ свои разсужденія, — все это дѣло чувства, и я убѣжденъ, что натуры музыкальныя болѣе склонны къ протестантизму; натуры же пластическія — къ католицизму “.

Сами Гонкуры не разъ задавались вопросомъ, почему ни одинъ обѣдъ не обходится безъ разсужденій о религіи, Богѣ, безсмертіи души. „Не удивительно ли, — предлагали они вопросъ Сентъ-Бёву, — что какъ дѣло доходитъ до десерта, такъ тотчасъ начинаютъ говорить о безсмертіи души? “ — Сентъ-Бёвъ отдѣлывался шуткой, отвѣчая: „да, когда люди уже не знаютъ, о чемъ они говорятъ “. Онъ могъ бы такъ же шутливо, но вѣстѣ съ большою правдивостью отвѣтить Гонкурамъ, цитируя подходящій стихъ нелюбимаго имъ Гейне: *das ist eine alte Geschichte...*

Какъ же относились сами Гонкуры ко всѣмъ этимъ спорамъ, не оставлявшимъ незатронутымъ ни одного литературнаго или философскаго вопроса. Они любили эти бесѣды; они рѣдко пропускали эти обѣды, привлекавшіе къ себѣ все, что рѣзко выдавалось въ сферѣ таланта и ума, но каждый разъ, что оканчивалась бесѣда, они возвращались къ себѣ съ тяжелымъ чувствомъ; въ душѣ ихъ еще сильнѣе поднималась вѣчно мучившая ихъ горечь и неудовлетворенность жизнью. Даже въ этой средѣ, въ концѣ концовъ, симпатичныхъ имъ людей они сознавали себя одинокими — такъ мало ихъ убѣжденія, взгляды на жизнь, воззрѣнія на поднимавшіеся вопросы сходились съ убѣжденіями и взглядами всѣхъ остальныхъ. Послѣ одного страстнаго спора, изсушившаго имъ языкъ и горло и заставившаго колыхаться ихъ сердце, они приходятъ къ ироническому выводу, который и заносятъ въ свой журналъ: „Каждый политическій споръ слодится къ одному: я лучше васъ! Каждый литературный споръ — къ заключенію: у меня больше вкуса, чѣмъ у васъ! Каждый артистическій споръ — къ выводу: я лучше вижу, чѣмъ вы! Каждый музыкальный: — у меня тоньше ухо, чѣмъ у васъ! “ и съ горечью прибавляетъ: „а все же становится жутко, когда мы видимъ, что во всемъ мы остаемся одинокими... Быть можетъ, потому-то Богъ и создалъ насъ вдвоемъ “.

Тяжелое сознаніе одиночества, усиливая болѣзненную раздражительность Гонкуровъ, заставляло ихъ подчасъ произносить суровые приговоры надъ всѣми участниками обѣдовъ Маньи. „Мы испытываемъ какое-то отвращеніе, почти презрѣніе ко всѣмъ обѣдающимъ у Маньи,—пишутъ они въ журналѣ.—Подумайте только: это—собраніе самыхъ свободныхъ умовъ цѣлой Франціи, и однако, несмотря на оригинальность ихъ таланта, какая нищета собственно имъ принадлежащихъ идей! какъ мало убѣжденій, созданныхъ ихъ нервами, ихъ собственными ощущеніями! и какое отсутствіе личности, темперамента!.. Все это слуги ходячаго мнѣнія, предразсудка, получившаго силу закона, словомъ, слуги Гомера или принциповъ 1789 года“...

Зная такое мнѣніе Гонкуровъ, легко можно было бы опасаться, что жесткость его невыгодно, со стороны правды, отразится на тѣхъ краскахъ, которыми они рисуютъ своихъ современниковъ, и что ихъ суровое отношеніе къ людямъ помимо ихъ воли исказитъ черты изображаемыхъ ими лицъ. Гонкуры избѣгли, однако, такой опасности. Они были предохранены отъ нея силою своего художественнаго чутья, глубокимъ чувствомъ правды и рѣдкою остротою своей наблюдательности. Благодаря этимъ свойствамъ ихъ дарованія, все оживаетъ подъ ихъ перомъ, и всѣ ихъ эскизы и портреты дышутъ самою неподдѣльною правдою. Всегда прямодушные, искренніе, они сами, впрочемъ, принимаютъ на себя лишь одно ручательство — что преднамѣренно они никогда не искажали истины. „Мы не скрываемъ,—говорится въ предисловіи,—что мы были натурами страстными, нервными, болѣзненно впечатлительными, и вслѣдствію этого порой несправедливо относились къ людямъ. Но мы смѣло утверждаемъ, что если иной разъ предубѣжденіе или ослѣпленіе неразсуждающей антипатіи заставляло насъ быть несправедливыми, — зато мы никогда сознательно не высказывали неправды о тѣхъ, о которыхъ мы говорили“.

VIII.

Въ журналѣ своемъ Гонкуры преслѣдовали ту же самую цѣль, какую они поставили себѣ въ своихъ романахъ. У нихъ не было иной задачи, какъ правдивыми красками изобразить настоящее, дать живой матеріалъ будущимъ историкамъ XIX вѣка. Какъ въ романахъ они стараются улавливать всѣ характерныя черты современныхъ имъ нравовъ, такъ въ журналѣ своемъ они такъ же добросовѣстно и съ тѣмъ же художественнымъ талантомъ „портретируютъ“ своихъ современниковъ, писателей второй половины XIX вѣка. Если романы ихъ помогутъ будущимъ Гервинусамъ, Маколемъ, Мишлѣ и Соловьевымъ нарисовать яркую картину общественныхъ нравовъ нашего смутнаго времени, то ни одинъ будущій историкъ французской литературы не обойдетъ журнала Гонкуровъ, и въ немъ онъ встрѣтитъ богатный матеріалъ для литературныхъ характеристикъ французскихъ писателей современной намъ эпохи.

Почти всѣ выдающіеся писатели, съ которыми имъ приходилось только встрѣчаться, занесены Гонкурами въ ихъ портретную галерею, причемъ одни портреты болѣе закончены, другіе набросаны только эскизно, но и эти послѣдніе имѣютъ свою цѣну, благодаря вѣрному рисунку, яркимъ краскамъ этихъ писателей-живописцевъ. Портретъ, конечно, только тогда вызываетъ передъ нами образъ живого человѣка и дѣлаетъ для насъ вполне понятнымъ его характеръ, когда мы знакомы съ условіями его жизни, со средою, въ которой онъ вращается, съ тою нравственною атмосферою, которая его окружала. Эта нравственная атмосфера является какъ бы фономъ портрета, и мы желали по возможности дать ее почувствовать, извлекая изъ журнала Гонкуровъ образчики живыхъ бесѣдъ, шумныхъ споровъ, игры возбужденныхъ умовъ, словомъ, того настроенія, которое обнаруживалось за веселыми обѣдами у Маньи.

Мы вовсе не намѣрены знакомить читателя со всею портретною галерею Гонкуровъ, для чего потребовался бы чуть ли не цѣлый томъ, а выберемъ изъ этой коллекціи портретовъ Ренана Тена, Жоржъ-Зандъ, Флобера, Мишлѣ, Теофиля Готье, Дюма, отца и сына, Монталамбера, Эдмона Абу, Золя и безконечнаго множе-

ствя другихъ писателей, лишь нѣсколько портретовъ, обрисовывающихъ манеру письма братьевъ Гонкуровъ.

Мы выше уже замѣтили, что портреты свои Гонкуры писали не въ одинъ присѣсть. Сегодня они заносили въ свой журналъ одну черту, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ другую, постоянно возвращаясь къ извѣстному лицу, дополняя, измѣняя набросанные штрихи, пока, наконецъ, фигура не возставала передъ ними во весь ростъ. Въ двадцати, тридцати мѣстахъ ихъ журнала нужно искать разбросанныя черты одного и того же лица, и только соединяя всѣ эти черты вмѣстѣ, мы получаемъ, наконецъ, цѣльный образъ. Остановившись на эскизномъ портретѣ Жоржъ-Зандъ.

При самомъ появленіи Гонкуровъ на литературной сценѣ, никто почти не отнесся къ нимъ съ такою теплотою, какъ Жоржъ-Зандъ, тотчасъ признавая въ нихъ первоклассныхъ писателей и выразившая имъ свое сочувствіе въ красивомъ письмѣ, съ которыми мы уже познакомили нашихъ читателей. Завязавшаяся между ними переписка, естественно, должна была повести ихъ къ личному знакомству. Какъ только Жоржъ-Зандъ пріѣхала въ Парижъ, покинувъ свой любимый Nohant, Гонкуры спѣшатъ навѣстить знаменитую писательницу, и вотъ какъ описываютъ они свое посѣщеніе и впечатлѣніе, произведенное на нихъ женщиною, оставившею по себѣ такой крупный слѣдъ въ исторіи французской литературы.

„Въ чертвертомъ этажѣ, домъ № 2, улица Расинъ. Маленькій человѣчекъ, созданный какъ всѣ люди, открываетъ дверь, съ улыбкой произноситъ: „Господа де-Гонкуры?“ — и мы очутились въ большой комнатѣ, похожей на мастерскую художника. Противъ окна, пропускающаго сумрачный свѣтъ пяти часовъ дня, мы увидѣли женщину, которая не встаетъ и остается неподвижною при нашемъ поклонѣ и первомъ привѣтѣ. Эта сидящая тѣнь, точно полуусыпленная, это и есть госпожа Зандъ, а лицо, отворившее намъ дверь — гравѣръ Маньо. У г-жи Зандъ какой-то автоматическій видъ. Она говоритъ монотоннымъ, механическимъ голосомъ, который не понимается, не опускается — не оживляется. Въ ея манерѣ держать себя есть что-то спокойное, важное, какое-то полусонное состояніе размышляющаго человѣка. Жесты медленные, медленные, — жесты, если можно такъ выразиться, лунатика, — жесты, оканчивающіеся каждую минуту — и всегда съ одинаковымъ методическимъ движе-

нѣмъ; вотъ вспыхиваетъ огонекъ зажженной восковой свѣчки и папироски, которую она начинаетъ курить“. — Между ними завязывается тихій, медленный разговоръ. Жоржъ-Зандъ не блестяще бойкостью идей, силою выраженій, — напротивъ, она поражаетъ Гонкуровъ обыкновенностью языка и заурядностью того, что она говоритъ. Весь разговоръ отзывается какинь-то угрюмый добродушіемъ, вѣсть — замѣчаютъ Гонкуры — холодомъ голой стѣны комнаты. Разговоръ заходитъ о ея театрѣ въ Ноанѣ, гдѣ играютъ для нея одной, и гдѣ представленія происходятъ ночью, оканчиваясь въ четыре часа утра. Жоржъ-Зандъ не поддерживаетъ разговора, онъ обрывается, и рѣчь заходитъ о ея баснословной способности къ труду, причѣмъ сама она дѣлаетъ одно лишь замѣчаніе, что она не можетъ гордиться такой работой, такъ какъ работа дается ей легко. Она передаетъ Гонкурамъ, что она работаетъ всѣ ночи, отъ часа до четырехъ, затѣмъ въ теченіе дня снова работаетъ два часа. Въ разговоръ вмѣшивается другъ Жоржъ-Зандъ, Маньо, дающій объясненіи, по словамъ Гонкуровъ, какъ человѣкъ, который показываетъ какой-либо феноменъ: „Ей все равно, если работу ея прерываютъ... Представьте себѣ, что у васъ въ комнатѣ открытый кранъ; кто-нибудь входитъ, вы его только закрываете“. — „Да, — прибавляетъ Жоржъ-Зандъ: — мнѣ все равно, если меня отрываютъ отъ работы люди симпатичные, крестяне, желающіе со мной поговорить“. Тутъ слышится — замѣчаютъ Гонкуры — гуманитарная нота. „Когда мы прощаемся съ нею, — продолжаютъ авторы журнала, — она поднимается, протягиваетъ намъ руку и провожаетъ насъ. Теперь только мы видимъ ея фигуру, добрую, мягкую, спокойную, съ потухшими красками, но съ чертами нѣжно нарисованными, съ поблекшимъ янтарнымъ колоритомъ. Въ общемъ вы видите тонкія и изящныя черты, которыхъ не передаютъ ея портреты, гдѣ всѣ черты являются болѣе грубыми и утолщенными“.

Первые контуры набросаны, и Гонкуры начинаютъ затѣмъ прибавлять въ различное время новыя черты, дополняя образъ писательницы. Они пользуются иногда и впечатлѣніями постороннихъ лицъ, если эти люди принадлежать къ разряду такихъ художниковъ, какъ Теофиль Готье. Послѣдній только-что вернулся изъ Ноана, и за обѣдомъ Маньи тотчасъ же завязался разговоръ о жизни въ помѣстьѣ Жоржъ-Зандъ, которую Готье сравнивалъ съ жизнью въ

монастырѣ моравскихъ братьевъ. Гонкуры встрѣтили въ его разсказѣ множество подробностей, обрисовывающихъ фигуру замѣчательной романистки, которыми и дополняютъ начатый ими портретъ.

„Ровно въ десять часовъ завтрака. Съ послѣднимъ ударомъ часовъ всѣ садятся за столъ. Жоржъ-Зандъ появляется точно сонная булестка и въ теченіе всего завтрака остается полудремяюще. Послѣ завтрака всѣ отправляются въ садъ. Происходитъ игра въ сюрсд, что ее оживляетъ. Она усаживается и начинаетъ говорить... Въ три часа г-жа Зандъ снова принимается за работу—до шести. Затѣмъ обѣдаютъ, немножко наскоро, чтобы дать возможность вовремя пообѣдать Мари Кальо. Это — „la petite Fadette“, это—простая дѣвушка, которую Жоржъ-Зандъ взяла къ себѣ изъ деревни. Она участвуетъ въ пьесахъ и вечеромъ появляется въ ея салонѣ. Послѣ обѣда г-жа Зандъ раскладываетъ пасьянсы, не пронося ни одного слова, до 12-ти часовъ“. Теофиль Готье былъ не одинъ въ Ноанѣ. У Жоржъ-Зандъ гостили нѣсколько человекъ, въ томъ числѣ Александръ Дюма-сынъ, но онъ скучалъ, такъ какъ разговоръ никогда не касался литературы. „На другой день — продолжаетъ свой разсказъ Теофиль Готье—я объявилъ, что уѣду, если не хотятъ говорить о литературѣ. Слово это ихъ такъ поразило, какъ будто они вернулись съ того свѣта... У нихъ всѣ заняты однимъ: минералогіей“. Готье сталъ доказывать, что никто такъ дурно не писалъ по французски, какъ Руссо, и Жоржъ-Зандъ втянулась въ длинный литературный споръ. Гонкуры записываютъ любопытную черту, касающуюся манеры работать Жоржъ-Зандъ. Имѣя обыкновеніе работать до четырехъ часовъ, она, если ей случится окончить какой-либо романъ въ часъ ночи, тотчасъ же начинаетъ писать другой романъ, до такой степени писаніе романовъ вошло у нея въ привычку.

Проходитъ три года, Жоржъ-Зандъ пріѣзжаетъ въ Парижъ, появляется на обѣдѣ Маньи, и Гонкуры снова возвращаются къ ея портрету: „въ ея красивомъ и миломъ лицѣ, съ годами, обозначается больше и больше типъ мулатки. Она смотритъ на всѣхъ съ какою-то застѣнчивостью, говоря на ухо Флоберу:—только съ вами я здѣсь не стѣсняюсь! Она слушаетъ, сама не принимаетъ участія въ разговорѣ, проронить слезу надъ стихотвореніемъ Виктора Гюго какъ разъ тогда, когда стихотвореніе впадаетъ въ ложный сентиментализмъ... Но что поражаетъ въ этой женщинѣ-писательницѣ, это—удивительное изъ-

щество маленьких ручекъ, скрытыхъ, теряющихся въ кружевахъ рукава".

Гонкуры не даютъ біографическихъ подробностей, не вдаются въ опредѣленіе литературнаго значенія писателя: вся ихъ задача передать впечатлѣніе, уловить манеру держать себя, говорить, опредѣлить настроеніе извѣстнаго лица, вызвать въ умѣ читателя живое представленіе рисуемой ими фигуръ.

Возьмемъ другой портретъ — портретъ человѣка, связаннаго съ ними близкими, дружескими отношеніями, преслѣдовавшаго тѣ же литературныя цѣли, ставившаго себѣ однородныя съ Гонкурами задачи. Мы говоримъ о Флоберѣ.

Рисуя его, Гонкуры придерживаются своего обычнаго въ этомъ литературномъ родѣ правила — прежде всего очерчиваютъ внѣшность человѣка. „Флоберъ чрезвычайно похожъ на портреты Фредерика Лемэтра въ молодости. Онъ очень большого роста, широкъ въ плечахъ, у него большіе, красивые выдающіеся глаза, съ немногимъ опухшими вѣками, полныя щеки, жесткіе опущенные усы, цвѣтъ лица неровный, съ красными пятнами". Нѣсколькими словами обрисовавъ внѣшность человѣка, они начинаютъ отмѣчать его вкусъ, привычки, образъ жизни. „Флоберъ проводитъ четыре, пять мѣсяцевъ въ Парижѣ, никуда не показываясь, видясь лишь съ нѣсколькими друзьями, ведя тотъ медвѣжій образъ жизни, который ведемъ мы всѣ, Сень-Викторъ какъ Флоберъ, и мы какъ Сень-Викторъ". Такое „медвѣдство" писателя XIX вѣка — вскользь замѣчаютъ Гонкуры — любопытно, когда сравниваешь его съ свѣтскою жизнью писателей XVIII в., Дидро, Мармонтеля, да почти всѣхъ, за исключеніемъ Жанъ-Жака Руссо, искавшаго, впрочемъ, обыкновенно довольно видныхъ уединеній. „Флоберъ ненавидитъ деревню, — продолжаютъ въ другой разъ обрисовывать своего друга Гонкуры. — Онъ работаетъ десять часовъ въ день, но въ то же время страшно теряетъ время, забываясь при чтеніи какой-либо книги и каждую минуту отвлекаясь отъ своей работы. Начиная работать въ двѣнадцать часовъ, онъ только къ пяти часамъ чувствуетъ возбужденіе. Онъ не можетъ писать на чистой бумагѣ, и набрасываетъ сначала нѣсколько отдѣльныхъ идей, на подобіе художника, набрасывающаго на полотно первые тона". Гонкуры весьма тщательно описываютъ обстановку Флобера, его рабочій кабинетъ въ Кроасе, близъ Руана, гдѣ Флоберъ проведетъ

свою жизнь—кабинетъ, похожій на библіотеку, съ огромнымъ круглымъ столомъ, покрытымъ зеленымъ сукномъ и заваленнымъ всевозможнымъ bric-à-brac'омъ, вывезеннымъ съ Востока. Въ этомъ кабинетѣ его деревенскаго дома, въ которомъ сказывается чело-вѣкъ, его вкусъ, его талантъ—какой-то, какъ говорятъ Гонкуры, „остатокъ варвара въ артистической натурѣ“. Флоберъ по цѣлымъ недѣлямъ сидитъ запершись, безъ всякаго движенія, безъ свѣжаго воздуха. „Всякое движеніе ему ненавистно, и мать его должна долго приставать къ нему, чтобы онъ рѣшился спуститься въ садъ. Она передавала намъ,—записываютъ Гонкуры,—что, возвращаясь иногда изъ Руана, проведя тамъ полдня, она заставляла сына на томъ же мѣстѣ, въ томъ же положеніи, и бывала не разъ испугана его неподвижностью“.

Отъ изображенія внѣшней стороны чело-вѣка Гонкуры переходятъ къ обрисовкѣ его внутренняго міра, и съ этою цѣлью они приводятъ отрывочные разговоры, отдѣльныя замѣчанія, выраженія, рисующія взгляды и отношеніе его къ жизни. Флоберъ способенъ былъ проводить цѣлые часы, отыскивая мѣткій эпитетъ, красивый оборотъ фразы, съ негодованіемъ спрашивая себя въ то же время—ради кого и ради чего стоять надъ этимъ трудиться. Флоберъ былъ влюбленъ въ форму, и его возмущало, что на нее такъ мало обращаютъ вниманія въ публикѣ. „Подумайте!—жаловался онъ Гонкурамъ:—даже когда ваше произведеніе имѣетъ успѣхъ, успѣхъ этотъ вовсе не тотъ, котораго вы желали. Развѣ не водевильныя стороны въ „M-me Bovary“ стяжали этому роману его успѣхъ? Да, успѣхъ всегда въ сторонѣ... Форма... форма, но кто же среди публики удовлетворяется и наслаждается формой? А между тѣмъ, благодаря этой формѣ, мы становимся подозрительны правосудію, суду, считающему себя защитникомъ классицизма... Классики! да вѣдь это пустой фарсъ, вѣдь никто классиковъ не читаетъ! Вѣдь не существуетъ даже восьми писателей, которые прочли бы Вольтера—вы понимаете, прочли бы какъ слѣдуетъ! А въ обществѣ драматическихъ писателей нѣтъ даже пяти чело-вѣкъ, которые могли бы даже назвать всѣ пьесы Корнеля“... Флоберъ былъ убѣжденъ, что нелѣпое судебное преслѣдованіе, возбужденное противъ него послѣ выхода въ свѣтъ „M-me Bovary“ по обвиненію въ безнравственности, вызвано было не чѣмъ инымъ, какъ формою ро-

мана, которая, для этого поборника искусства для искусства, являлась как святая святыхъ. Флоберъ зналъ три молитвенника: Лабрюеръ, нѣсколько страницъ Монтескьё и нѣсколько главъ Шато-бриана. У него былъ совершенно особый взглядъ на задачу романа, и онъ говорилъ Гонкурамъ: „исторія, интрига въ романѣ — мнѣ все это вполне безразлично. Когда я пишу романъ, меня преслѣдуетъ одна мысль: передать колоритъ, оттѣнокъ. Такъ, напримѣръ, въ моемъ кареагенскомъ романѣ мнѣ хочется написать что-нибудь въ пурпуровомъ цвѣтѣ. Въ „M-me Bovary“ я желалъ передать тонъ заплесневѣлый, колоритъ существованія мокрицы. Меня такъ мало занимала самая фабула романа, что всего за нѣсколько дней до того, что я принялся писать мою книгу, я задумалъ „Madame Bovary“ совершенно иначе. Въ той же средѣ и въ томъ же тонѣ, она должна была быть старою дѣвою, набожною и цѣломудренною. Потомъ я убѣдился, что это будетъ совершенно невозможное лицо“.

Желая показать Флобера со всѣхъ сторонъ, обрисовать его литературную фizioномію, Гонкуры передаютъ не только отношеніе его къ самому себѣ, но и его взгляды на современныхъ ему писателей, всегда рѣзко опредѣленные. Говоря о Викторѣ Гюго, онъ нападаетъ на его претензію прослыть великимъ мыслителемъ и утверждаетъ, что то, что наиболѣе въ немъ поражаетъ, это — отсутствіе мысли. Гюго, — говорилъ онъ, — совсѣмъ не мыслитель, а натуралистъ... у него въ крови сокъ деревьевъ“. Аргументація Флобера всегда крайне своеобразна. Такъ, напримѣръ, по его мнѣнію, романы Октава Фелье, къ которому онъ относится съ негодующимъ презрѣніемъ, доказываютъ, что онъ не любитъ женщину. и доказательство это онъ видитъ въ томъ, что Фелье постоянно куритъ олимпіамъ женщинамъ. „Тѣ, которые ихъ любятъ, — говорилъ онъ, — пишутъ книги, въ которыхъ они рассказываютъ все, что они выстрадали изъ-за женщины, такъ какъ любишь сильно только то, что причиняетъ страданія“.

Натура Флобера была гордая, страстная, умѣвшая такъ же сильно любить, какъ и сильно ненавидѣть. Какъ бы для того, чтобы обрисовать страстность его темперамента, Гонкуры приводятъ рассказъ самого Флобера объ одномъ изъ эпизодовъ его любовной исторіи съ m-me Коллѣ, авторомъ романа „Elle et Lui“, въ которомъ она вывела между другими на сцену и самого Флобера.

Любовный романъ Флобера съ м-ше Коллѣ окончился тѣмъ, чѣмъ оканчивается большинство такихъ романовъ. Любовь Флобера погасла, но м-ше Коллѣ не хотѣла этого признавать и продолжала преслѣдовать его своею любовью. Флоберъ избѣгалъ переписки, встрѣчъ, но м-ше Коллѣ не сдавалась, отстаивая свои права на „старого“ друга. Она требовала отъ него объясненій, врывалась къ нему на квартиру, дѣлая старуху-мать Флобера свидѣтельницей бурныхъ сценъ. Флоберъ выходилъ изъ себя, и однажды, — какъ передавалъ онъ самъ своимъ друзьямъ Гонкурамъ, — обошелся съ своею бывшею любовницею съ такою жестокостью, съ такою суровостью, что даже мать его, присутствовавшая при объясненіи, была возмущена его поведеніемъ. Она всегда вспоминала объ этой сценѣ, какъ „о ранѣ, нанесенной ея полу“. Флоберъ признавалъ, что онъ прежде любилъ эту женщину до бѣшенства, и Гонкуры, обрисовывая страстный темпераментъ Флобера, рассказываютъ съ его словъ объ одной характерной сценѣ, когда Флоберъ чуть не совершилъ преступленія. „Онъ сознается, — записываютъ они, — что любовь его къ этой женщинѣ была такъ сильна, что однажды она чуть-чуть не довела его до убійства. Онъ бросился на нее, и въ эту минуту онъ испыталъ галлюцинацію преслѣдованія: — Да, да, я услышалъ, какъ скамья подсудимыхъ трещитъ подо мною. — Рассказывая эту сцену, онъ прибавляетъ, что одинъ изъ его предковъ былъ женатъ на какой-то женщинѣ изъ Канады. У Флобера дѣйствительно скъзывается иногда — присовокупляютъ Гонкуры — кровь краснокожаго со всѣми порывами бѣшенства“.

Ни на кого, быть можетъ, Гонкуры не потратили такъ много красокъ, какъ на Флобера, этого неизмѣннаго друга, съ которымъ, по ихъ собственнымъ словамъ, они дѣлили „презрѣніе, негодованіе, вызываемое приниженіемъ настоящаго, ничтожностью характеровъ, деморализаціей и лакействомъ литераторовъ, нашихъ товарищей“. Они отдѣлываютъ этотъ портретъ со всею тщательностью, боясь упустить самую мелкую черту, нагромождая подробности, освѣщая его характеръ со всѣхъ сторонъ, и, быть можетъ, потому самому портретъ этотъ не производитъ впечатлѣнія такой цѣльности, какъ другіе, набросанные болѣе легко, какъ, напримѣръ, превосходный портретъ Мишлѣ. Обрисовавъ обстановку Мишлѣ, его квартиру, убранство ея, смѣсь произведеній искусства, вкуса — съ современною

вульгарностью, показавъ силуэтъ его жены, Гонкуры переходятъ къ самому Мишле, „похожему на свою исторію, гдѣ все, чтѣ внизу, залито свѣтомъ, наверху же полумракъ; лицо его—одна тѣнь, окруженная снѣгомъ длинныхъ бѣлыхъ волосъ, тѣнь, изъ которой исходитъ профессорскій голосъ, звучный, катящійся, поющій, то поднимающійся, то опускающійся... Разговоръ, полный жизни, блестящій сравненіями, глубиною обобщеній, свѣтящійся, какъ молнія, поражающій широтою историческихъ знаній, проникнутыхъ и связанныхъ любовью къ человѣчеству. Умъ вдумчивый, всегда соединяющій прошлое съ настоящимъ. Мишле поражаетъ въ своихъ разговорахъ переходами отъ историческихъ соображеній къ вопросамъ современнымъ; передъ его глазами точно постоянно бѣлѣтся та нить, которая связываетъ собою вѣка. О чемъ бы онъ ни заговорилъ, объ обстановкѣ прошлаго столѣтія, о стилѣ мебели, архитектурѣ дворцовъ и отелей, или о той роли въ исторіи, которую играли не знаменитыя женщины, но женщины, бывшія у нихъ въ услуженіи—тема, которую онъ рекомендовалъ Гонкурамъ для историческаго этюда—разговоръ его всегда отличался захватывающимъ интересомъ, такъ полонъ былъ онъ философскою мыслью“. Рисуя симпатическій образъ Мишле, Гонкуры, вѣрные своему методу, приводятъ не одинъ образчикъ его мастерскихъ бесѣдъ, въ которыхъ ярко характеризуется этотъ рѣдкій умъ историка-артиста. Приведемъ немного изъ того, чтѣ даютъ Гонкуры. „Онъ началъ разъ говорить о Людовикѣ XV и о настоящемъ времени.—Людовикъ XV—человѣкъ умный, но ничтожество, ничтожество!.. Великія дѣла и событія настоящаго менѣе поражаютъ, они какъ бы ускользаютъ отъ современниковъ. Какъ-то не видишь Суэзскаго перешейка, не видишь прорытія Альповъ. Желѣзная дорога, чтѣ она передъ глазами?—видишь локомотивъ, который убѣгаетъ, немножко дыма... а сама дорога въ сотни верстъ. Да, мы не замѣчаемъ размѣровъ того, чтѣ совершается въ наше время...—Слѣдуетъ минута раздумья, по прошествіи которой Мишле какъ бы продолжаетъ развивать свою мысль:—Однажды я дѣлалъ переѣздъ въ Англію, въ самой широкой ея части, отъ Іорка до... Я былъ въ Галифаксѣ... Въ деревнѣ оказались тротуары, трава такъ же хорошо содержится, какъ и тротуары, и возлѣ пасущіеся бараны... и все это освѣщено газомъ. О! это удивительное дѣло!..—Затѣмъ наступаетъ молчаніе, и разговоръ снова возобновляется. —Замѣтили ли вы,—

говорить Мишле, — что теперь знаменитые люди не выдѣляются своими фizioноміями. Взгляните на ихъ портреты, на ихъ фотографіи... Нѣтъ больше чудныхъ портретовъ. Замѣчательные люди не отличаются другъ отъ друга... Въ лицѣ Бальзака нѣтъ ничего характеристичнаго... Развѣ вы бы узнали, по наружному виду, Ламартина?... Мы все заимствуемъ больше отъ другихъ, а, заимствуя отъ другихъ, наша фizioномія становится менѣ исключительно намъ принадлежащею. Мы представляемъ собою портреты болѣе какой-то коллективности, чѣмъ свои собственные...”

Цѣлые часы — замѣчаютъ Гонкуры — можно было проводить слушая, какъ Мишле переворачиваетъ идеи, „часто парадоксальныя, но никогда — ходячія и избитыя“. Разговоръ зашелъ въ другой разъ о современной толпѣ, объ исчезновеніи веселья, веселья à la Раблѣ, которое Лютеръ почиталъ добродѣтелью. „Эту тоску — говорятъ Гонкуры — Мишле приписывалъ сложности современныхъ идей, затруднительности выбора между столькими новыми направленіями ума, натиску разностороннихъ изученій, такъ сказать, скопленію горизонтовъ вокругъ нашего мозга“.

Проходитъ нѣсколько лѣтъ, и Гонкуры снова возвращаются къ характеристикѣ Мишле. „Несмотря на года и громадный трудъ, сѣдой старикъ такъ же молодъ, сохраняетъ тотъ же живой умъ; онъ брызжетъ колоритомъ словъ, оригинальными идеями, геніальными парадоксами“. Гонкуры не любятъ бездоказательныхъ обобщеній, и, выражаясь такимъ образомъ о Мишле, они тотчасъ приводятъ на нѣсколькихъ страницахъ его разговоры, какъ бы подтверждающіе ихъ выводъ и обрисовывающіе во весь ростъ „бѣлоснѣжнаго“ старика. Мы бы зашли слишкомъ далеко, еслибы захотѣли воспроизводить всѣ такія страницы.

Теофилъ Готье, Тэнъ, Сентъ-Бѣвъ такъ мѣтко схвачены Гонкурами, что читатель ихъ видитъ передъ собою точно живыми, и никакая біографія, самая подробная, неспособна, кажется, возстановить ихъ образы съ такою рельефностью, какъ это удастся Гонкурамъ. Правда этихъ портретовъ чувствуется даже тогда, когда въ нихъ сквозитъ — какъ, напримѣръ, въ портретѣ Сентъ-Бѣва — если не безусловная антипатія, то тѣмъ не менѣе отсутствіе симпатіи къ обрисовываемому ими лицу. Слушая какъ-то „похвальное слово“, которое *распачалъ* Сентъ-Бѣвъ, за обѣдомъ у Маньи, одному изъ своихъ кол-

легъ по Академіи, — Жюль Гонкуръ не могъ удержаться, чтобы не воскликнуть: „если я умру прежде васъ, то да избавить меня Богъ отъ вашихъ похвалъ!“ Слова эти имѣлъ бы полное право повторить самъ Сентъ-Бёвъ, еслибы онъ увидѣлъ свой портретъ, нарисованный Гонкурами. Рисуя знаменитаго критика, Гонкуры говорятъ: „мелкая кисть — вотъ прелесть, но и виѣстъ мелочность бесѣды Сентъ-Бёва. У него нѣтъ возвышенныхъ идей, сильныхъ выраженій, этихъ образовъ, словно высѣченныхъ изъ камня. Все, что онъ говоритъ, закончено, ѣдко, тонко, точно дождь маленькихъ фразъ, которыя, въ концѣ концовъ, рисуютъ вамъ предметъ своимъ наслоеніемъ и скопленіемъ. Бесѣда остроумная, живая, но поверхностная; разговоръ его отличается изяществомъ, въ немъ вы встрѣтите эпиграмму, когти и ехидную мягкость“. Разговоры, которые они приводятъ въ своемъ журналѣ, разговоры, записанные какъ бы стенографически, служатъ блестящимъ оправданіемъ ѣдкаго опредѣленія Гонкуровъ. Умираетъ Альфредъ де-Виньи, и за обѣдомъ у Маньи Сентъ-Бёвъ заводитъ бесѣду о покойномъ писателѣ. „Воже мой! — говоритъ Сентъ-Бёвъ тономъ умиленія: — никто не знаетъ его происхожденія... Онъ былъ аристократъ 1814 года; въ это время не очень строго разбирали этотъ вопросъ. Въ корреспонденціи Гаррика попадаетъ какой-то де-Виньи, который проситъ у него денегъ, но очень *благородно*... онъ обращается къ Гаррику, желая сдѣлать ему одолженіе. Интересно было бы знать, не отъ этого ли де-Виньи и онъ происходитъ... Это былъ прежде всего *ангелъ*; де-Виньи всегда былъ ангеломъ. Дома у него никто никогда не видѣлъ бифштекса. Когда его покидали въ семь часовъ вечера, чтобы идти обѣдать, онъ говорилъ: — Какъ! вы уже уходите! — Дѣйствительность для него не существовала, онъ ничего въ ней не понималъ. У него попадались великолѣпныя слова. Когда онъ окончилъ свою вступительную рѣчь въ Академіи, одинъ изъ его друзей замѣтилъ ему, что рѣчь была немножко длинна; — но я не усталъ!“ воскликнулъ де-Виньи...“ И всѣ хвалебныя рѣчи Сентъ-Бёва всегда въ такомъ тонѣ; онъ „влагаетъ ядъ во всякую похвалу“. По тѣмъ немногимъ образцамъ, которые приведены нами, читатель можетъ составить себѣ болѣе или менѣе ясное представленіе о манерѣ братьевъ Гонкуровъ писать портреты своихъ современниковъ.

Въ ихъ богатой потретной галерей французскихъ литераторовъ

попадаютъ и два силуэта русскихъ писателей, на которыхъ они останавливаются съ любовью. Въ 1863 году Шарль Эдмонъ привелъ къ Маньи Тургенева, и Гонкуры тотчасъ заносятъ въ свою коллекцію этого иностранца-писателя, обладающаго такимъ привлекательнымъ талантомъ, автора „Записокъ Охотника“ („Mémoires d'un Seigneurs“, какъ переведено по-французски), автора „Русскаго Гамлета“. Это чудный колоссъ, нѣжный гигантъ съ бѣлыми волосами, съ видомъ лѣснаго или горнаго добраго генія. Онъ красивъ, замѣчательно красивъ, съ голубыми, небеснаго цвѣта глазами, съ прелестью пѣвучаго русскаго акцента, съ тою пѣвучестью, въ которой слышится не то ребенокъ, не то негръ. Тронутый сдѣланною ему оваціей, онъ начинаетъ интересно рассказывать о русской литературѣ, которая стоитъ на широкомъ пути реализма, начиная съ романа и кончая театромъ“. Къ сожалѣнію, портретъ Тургенева остался незаконченнымъ; быть можетъ, до 1869 г., которымъ заканчивается пока журналъ Гонкуровъ, они не имѣли случая его часто встрѣчать.

Въ другомъ силуэтѣ Гонкуры рисуютъ Герцена, съ которымъ имъ пришлось встрѣтиться у того же Шарля Эдмона, который ввелъ Тургенева на обѣды Маньи. „Лицо, напоминающее маску Сократа, окраска теплая и прозрачная портретовъ Рубенса, красный знакъ, какъ обжогъ раскаленнаго желѣза, между двумя бровями, волосы и борода съ просѣдью“,—вотъ какъ въ немногихъ словахъ Гонкуры описываютъ его внѣшность. „Онъ говоритъ, и какая-то ироническая нота у него то возвышается, то спускается въ его горлѣ. Голосъ мягкій, меланхолически-музыкальный, не заключающій въ себѣ вовсе той рѣзкой звучности, которую можно было бы ожидать при видѣ массивнаго сложенія человѣка. Идеи, которыя онъ высказываетъ, всегда отличаются мѣткостью, острою, подчасъ даже излишнею тонкостью, но онъ всегда умѣетъ искусно ихъ объяснять, освѣщать словами, заставляющими себя ждать, но которыя всегда являются выраженіями умнаго иностранца, говорящаго по-французски“. Въ подкрѣпленіе правдивости своего наброска они, какъ обыкновенно, приводятъ и выдержки изъ его разговоровъ, за которыми, однако, мы не послѣдуемъ. Герценъ очаровалъ ихъ своими разговорами о Россіи, воспоминаніями объ императорѣ Николаѣ, своими полными остроумія и блеска наблюденіями надъ англійскою жизнью, съ которой онъ имѣлъ уже время хорошо ознакомиться.

Сплошь и рядомъ, какъ и въ данномъ случаѣ, когда Гонкуры набрасывали профиль Герцена или Тургенева—чуждыхъ для нихъ натуръ, они удѣляютъ такимъ эскизамъ всего двѣ, три странички; но искусство, мастерство Гонкуровъ тѣмъ и замѣчательно, что они умѣютъ улавливать выдающіяся черты человѣка, свойство его ума, складъ мысли. Рисунокъ ихъ всегда правиленъ, краски вѣрны природѣ. Записать происходившій разговоръ, разумѣется, не трудно, но выхватить изъ этого разговора то, что представляется характернымъ, что рисуетъ ту или другую натуру человѣка — это уже удѣлъ писателя-художника, и съ этой стороны Гонкуры безупречны. Вотъ почему всѣ ихъ портреты, интересные для современниковъ, послужатъ драгоценнымъ матеріаломъ для будущихъ историковъ и французской литературы. и французскаго общества второй половины XIX столѣтія.

Мы далеко, само собою разумѣется, не исчерпали богатаго содержанія первыхъ трехъ томовъ журнала братьевъ Гонкуровъ, этихъ рѣдкихъ писателей, которые рано или поздно займутъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ пантеонѣ французской литературы. Мы желали только, хотя бы въ самыхъ крупныхъ штрихахъ, познакомить читателей съ содержаніемъ этой искренней книги, обнажившей передъ нами душу Гонкуровъ, ихъ привлекательную болѣзненно-нервную организацію, отзывающуюся въ теченіе всей ихъ жизни какою-то заунывною, мучительною, страдальческою нотой. Мы вовсе не коснулись даже послѣднихъ сорока страницъ третьяго тома журнала, гдѣ пережившій своего младшаго брата Эдмонъ Гонкуръ передаетъ потрясающій рассказъ постепеннаго угасанія лучей того яркаго свѣта, которыми такъ полонъ былъ умъ надломленнаго непосильнымъ трудомъ Жюль Гонкура. Мы не коснулись этихъ мрачныхъ страницъ, не желая раздѣлять двухъ братьевъ, такъ необъяснимо слившихся въ одну натуру, въ одинъ умъ, въ одно сердце.






—

AV
517
U8

Stanford University Libraries
3 6105 124 435 103



210

185428 / 242

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

--	--	--

